thebigbook

ДЭН СИММОНС

ДРУД, ИЛИ ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

АЗБУКА

ДЭН СИММОНС

ДРУД,

ИЛИ

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

АЗБУКА

18+

the big book

ДЭН
СИММОНС

ДРУД,

ИЛИ

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

АЗБУКА
Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44
С 37

Dan Simmons
DROOD
Copyright © 2009 by Dan Simmons
All rights reserved

Перевод с английского Марии Куренной

Оформление обложки и иллюстрация на обложке
Сергея Шикина

© М. Куренная, перевод, 2017
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-12737-1

— Как Уилки дар сгубил свой ненароком?
— Да возомнил себя чуть не пророком.

А. Ч. Суинберн. «Двухнедельное обозрение», ноябрь 1889

Глава 1

Меня зовут Уилки Коллинз, и я почти уверен — поскольку собираюсь воспретить публикацию данного документа самое малое на век с четвертью, считая со дня моей кончины, — что это имя ничего вам не говорит. Иные полагают меня большим любителем пари, и совершенно справедливо, а потому, дорогой читатель, я готов побиться с вами об заклад, что вы не читали моих романов и пьес, да и не слышали о них. Может статься, вы, британцы или американцы, живущие через сто двадцать пять лет после меня, вообще не говорите по-английски. Возможно, вы одеваетесь как готтентоты, живете в пещерах с газовым освещением, путешествуете на воздушных шарах и свободно общаетесь посредством мысли, не ограниченные никаким устным или письменным языком.

Но даже в таком случае я готов поставить все нынешнее свое состояние и все будущие авторские гонорары со своих пьес и романов на то, что вы *помните* имя, а равно книги, пьесы и персонажи некоего Чарльза Диккенса, моего друга и бывшего соавтора.

Итак, я поведаю правдивую историю о своем друге (или, по крайней мере, о человеке, в прошлом таковым являвшемся) Чарльзе Диккенсе и о железнодорожной катастрофе в Стейплхерсте, лишившей его душевного покоя, здоровья и даже, как шепотом предположат иные, рассудка. Нижеизложенная достоверная история повествует о последних пяти годах жизни Чарльза Диккенса

и о его неуклонно возраставшей одержимости неким субъектом (коли здесь применимо такое определение) по имени Друд, а также убийством, смертью, трупами, склепами, месмеризмом, опиумом, призраками и грязными улочками черножелчной лондонской клоаки, которую этот писатель всегда называл «мой Вавилон» или «гигантское пекло». В данной рукописи (ее, повторюсь, я решил — не только по причинам юридического свойства, но также из соображений чести — сокрыть от посторонних глаз на сто с лишним лет со времени нашей с ним кончины) я отвечу на вопрос, едва ли приходивший на ум еще кому-либо в наши дни: «Неужели знаменитый Чарльз Диккенс, почтенный господин, приятный во всех отношениях, замышлял убить невинного человека, сжечь тело в негашеной извести и тайно схоронить останки — скелетные кости да черел — в склепе под старинным собором, столь памятным Диккенсу по детским годам? И действительно ли он планировал затем выбросить очки, кольца, галстучные булавки, запонки и карманные часы бедной жертвы в Темзу? И если так или если Диккенс хотя бы *в помыслах* проделывал все описанное выше, то какую роль сыграл вполне реальный фантом по имени Друд в развитии подобного безумия?»

Упомянутая катастрофа произошла 9 июня 1865 года. Локомотив, везший благополучие, душевный покой, рассудок, рукопись и любовницу Диккенса, приближался — в буквальном смысле слова — к бреши в железнодорожном полотне и ужасному крушению.

Я не знаю, дорогой читатель отдаленного будущего, храните ли вы по-прежнему письменные или устные исторические свидетельства (возможно, вы давно отвергли за ненадобностью Геродота с Фукидидом и постоянно живете в нулевом году), но если в ваше время еще остались хоть какие-то представления об истории, вы должны знать о важных событиях, имевших место в году, который мы называем тысяча восемьсот шестьдесят пятым от Рождества Христова. Такое событие, как оконча-

ние братоубийственной войны в Соединенных Штатах, многие англичане признавали весьма знаменательным, хотя Чарльз Диккенс не относился к их числу. Несмотря на свой огромный интерес к Америке — он уже совершил путешествие по этой стране и написал о ней несколько книг (не вполне лестных, следует заметить), а позже яростно добивался компенсации за незаконное издание своих сочинений в бывших колониях, где творился полный беспорядок в части авторских прав, — Диккенс совершенно не интересовался войной между каким-то далеким Севером и еще более далеким Югом. Но в 1865 году — том самом, когда произошла Стейплхерстская катастрофа, — Чарльз Диккенс имел все основания быть очень довольным своей собственной жизнью.

Он был самым популярным романистом в Англии, если не в мире. Многие англичане и американцы провозглашали моего друга величайшим писателем всех времен и народов после Шекспира, ну и, возможно, Чосера и Китса.

Разумеется, я понимал всю нелепость подобных заявлений, но, как говорится (во всяком случае, как я сказал однажды), популярность порождает популярность. Я видел Чарльза Диккенса со спущенными штанами в деревенском нужнике без двери, когда он хнычущим голосом требовал бумажку, чтобы подтереть задницу, а потому вам придется простить меня, если такой образ останется для меня более достоверным, чем образ «величайшего писателя всех времен и народов».

Но в роковой июньский день шестьдесят пятого Диккенс имел все основания для довольства собой.

Семью годами ранее писатель расстался со своей женой Кэтрин, которая, по всей видимости, за двадцать два года супружества сильно провинилась перед ним, безропотно произведя на свет десятерых детей и претерпев несколько выкидышей, но с неизменным смирением снося бесконечные придирки и упреки вечно недовольного мужа и потакая каждой его прихоти. Достойным своим

поведением она внушила Диккенсу столь глубокое чувство, что в 1857 году, во время загородной пешей прогулки, после распития нескольких бутылок деревенского вина Диккенс отозвался о своей любимой супруге следующим образом: «Кэтрин очень дорога мне, Уилки, очень дорога. Но умом и статью она чистая корова: никакого обаяния, никакого изящества... пресная алхимическая смесь из рассеянности, непроходимого невежества, неуклюжей тяжеловесной медлительности и самоуспокоенной лени... безвкусная каша-размазня, сдобренная разве только острой жалостью к себе».

Вряд ли мой друг запомнил эти свои слова, но я их не забыл.

Формальным поводом для разрыва стала претензия, предъявленная Диккенсу женой. Похоже (хотя предположительная интонация здесь неуместна, ибо он расплачивался за проклятую побрякушку при мне), после премьеры «Замерзшей пучины» Диккенс купил актрисе Эллен Тернан дорогое ожерелье и болван-ювелир доставил украшение не на квартиру мисс Тернан, а в Тэвистокхаус, лондонский особняк Диккенсов. В результате такой оплошности Кэтрин несколько недель кряду проревела как корова, отказываясь поверить, что это всего лишь невинный знак почтения к актрисе, столь блистательно (хотя, на мой вкус, весьма посредственно) сыгравшей возлюбленную главного героя, Клару Бернем, в нашей... нет, *моей* драме о безответной любви в Арктике.

Надо признать, Диккенс действительно имел обыкновение (как он неустанно объяснял своей глубоко уязвленной супруге в 1858 году) осыпать щедрыми подарками актеров, принимавших участие в любительских спектаклях, которые он ставил в своем домашнем театре. После премьеры «Замерзшей пучины» он уже успел распределить между остальными участниками постановки несколько браслетов и кулонов, карманные часы и набор из трех голубых эмалевых запонок.

Но с другой стороны, во всех остальных он не был влюблен, а в юную Эллен Тернан — был. Я точно знаю.

И Кэтрин Диккенс знала. А вот знал ли о своих чувствах сам Чарльз Диккенс, трудно сказать. Великий мастер достоверного вымысла и один из самых отъявленных ханжей на свете, он едва ли осознавал и оценивал подспудные мотивы собственного поведения, если только они не были чисты, как родниковая вода.

В данном случае в ярость впал сам Диккенс — он в два счета обломал жене рога (прошу прощения за невольную отсылку к корове), закатив страшный скандал, в ходе которого вопил дурным голосом, что подобные обвинения бросают тень на чистый, светлый образ Эллен Тернан. Эмоциональные, романтические и, осмелюсь сказать, *эротические* фантазии Диккенса всегда вращались вокруг священной рыцарской любви к некой воображаемой юной богине, чья непорочность не подвергалась ни малейшему сомнению. Но Диккенс, вероятно, запамятовал, что злополучная и уже обреченная в семейном плане Кэтрин видела спектакль «Дядюшка Джон», водевиль, поставленный нами сразу после «Замерзшей пучины» (в нашем веке традиция предписывала представлять серьезные пьесы в паре с комедийными). В «Дядюшке Джоне» Диккенс (сорок шесть лет) играл пожилого господина, а Эллен Тернан (восемнадцать лет) выступала в роли его подопечной. Само собой, дядюшка Джон безумно влюбляется в девушку моложе себя в два с лишним раза. Кэтрин наверняка знала, что основную часть драмы «Замерзшая пучина», о поисках пропавшей экспедиции Франклина, написал я, а вот романтический водевиль сочинил и поставил ее муж уже после знакомства с Эллен Тернан.

Дядюшка Джон не только влюбляется в свою юную подопечную, но и преподносит ей — я цитирую авторскую ремарку из пьесы — «восхитительные подарки: жемчужное ожерелье и бриллиантовые серьги».

Оно и неудивительно, что при появлении в Тэвистокхаусе дорогого украшения, предназначенного для Эллен, Кэтрин вышла из обычной своей дремотной апатии и взревела, как дойная корова под стрекалом уэльского фермера.

Диккенс отреагировал так, как отреагировал бы любой виноватый муж — только муж, которому посчастливилось быть самым популярным писателем в Англии и англоязычном мире, а возможно, и величайшим писателем всех времен и народов.

Первым делом он велел Кэтрин нанести визит Эллен Тернан и ее матери, таким образом показав всем, что она не питает никаких подозрений и ревности. В сущности, Диккенс приказал своей жене публично извиниться перед своей любовницей — или, во всяком случае, перед женщиной, с которой намеревался вступить в любовную связь сразу, как только наберется смелости уладить все необходимые формальности. Несчастная Кэтрин, заливаясь слезами, выполнила требование мужа. Унизив свое достоинство, она нанесла визит Эллен и миссис Тернан.

Но этого оказалось недостаточно, чтобы утолить ярость Диккенса. Он выгнал мать десятерых своих детей из дома.

Чарли, старшего сына, он отправил жить с Кэтрин. Остальные дети остались жить с ним — сначала в Тэвисток-хаусе, а впоследствии в имении Гэдсхилл. (Я всегда замечал, что Диккенс находит удовольствие в общении со своими отпрысками лишь до тех пор, покуда они не начинают проявлять самостоятельность в суждениях и поступках, то есть не перестают вести себя как маленькая Нелл, Пол Домби и прочие его вымышленные персонажи, — а потом быстро теряет к ним всякий интерес.)

Разумеется, скандал получил продолжение — последовали протесты со стороны родителей Кэтрин, публичные отказы от протестов, сделанные под давлением Диккенса и его поверенных, угрозы и лживые публичные заявления писателя, юридические интриги, страшная шумиха в прессе и окончательное и бесповоротное судебное решение о раздельном проживании, силой навязанное жене. В конечном счете Диккенс вообще отказался общаться с ней даже по поводу детей.

И это человек, олицетворявший образ «отца счастливого семейства» не только для Англии, но и для всего мира!

Конечно, Диккенсу требовалась женщина в доме. У него многочисленный штат слуг. У него девять детей, с которыми он совершенно не желает возиться, готовый разве только поиграть с ними под настроение или покачать на колене, позируя фотографам. У него уйма общественных обязанностей. Кто-то же должен составлять ежедневные меню, списки необходимых покупок и цветочные заказы. Кто-то же должен надзирать за уборкой особняка и управлять хозяйственными делами. Чарльза Диккенса надлежит освободить от всех домашних забот. Ведь он, не забывайте, величайший писатель в мире.

Диккенс поступил самым естественным образом, пусть мне или вам подобный шаг может показаться сомнительным. (Возможно, в далеком двадцатом или двадцать первом веке, когда вы читаете мои мемуары, подобные поступки считаются само собой разумеющимися. Или, возможно, у вас хватило ума вообще упразднить странный и дурацкий институт брака. Как вы впоследствии увидите, я сам в свое время уклонился от супружеских уз и предпочел сожительствовать с одной женщиной, имея ребенка от другой, и многие современники, к великому моему удовольствию, называли меня мерзавцем и скотиной. Но я отвлекся от темы.)

Итак, Диккенс поступил самым естественным образом. Он поставил на роль хозяйки дома, надзирающей за детьми, принимающей гостей на званых вечерах и обедах, ведающей хозяйственными делами и отдающей распоряжения повару и слугам, незамужнюю сестру Кэтрин, Джорджину.

Когда поползли неизбежные слухи — касающиеся больше Джорджины, нежели Эллен Тернан, которая, образно выражаясь, отступила с освещенной авансцены в тень, — Диккенс вызвал в Тэвисток-хаус доктора и велел обследовать свою свояченицу, а затем обнародовать

отчет о результатах осмотра, сообщающий всем и каждому, что мисс Джорджина Хогарт является *virgo intacta*.

На том, полагал Чарльз Диккенс, дело и кончится.

Позже его самая младшая дочь сказала мне (или, во всяком случае, при мне): «Отец тогда словно повредился рассудком. История с Эллен выявила в нем все худшие черты, все постыднейшие слабости. Ему было наплевать на всех нас. Горе и страдания нашей семьи были безмерны».

Если Диккенс и знал о душевных страданиях жены и детей или придавал им значение, коли знал, то он этого никак не показывал. Ни мне, ни своим новым и более близким друзьям.

Он оказался прав в своем предположении, что неприятный момент минует, не повредив ему в глазах читателей. Они и вправду простили Диккенса, если вообще знали о его семейных неурядицах. В конце концов, он был английским певцом домашнего очага и величайшим писателем в мире. Он заслуживал снисхождения.

Все наши литературные собратья и друзья мужского пола тоже простили и забыли (за исключением одного только Теккерея, но это отдельная история), и надо признать, иные из нас в глубине души или втихомолку восхищались Чарльзом Диккенсом, избавившимся от семейных обязательств перед столь непривлекательным и тяжеловесным камнем на шее. Этот разрыв отношений давал проблеск надежды самым разнесчастным женатым мужчинам и вселял в нас, холостяков, приятную мысль, что при желании все-таки можно вернуться из неизведанной страны супружества — безвестного края, откуда якобы нет возврата.

Но прошу помнить, дорогой читатель, что речь идет о человеке, который незадолго до своего знакомства с Эллен Тернан в одном из театров, посещенных нами в поисках «нежных фиалочек» (так мы называли хорошеньких юных актрис, доставлявших нам обоим глубокое эстетическое удовлетворение), сказал мне: «Уилки, если вы знаете, как провести вечер особенно бурно,

предлагайте немедленно. Я готов на любые бесчинства. На одну ночь я отброшу всякое благоразумие! Если придумаете что-нибудь эдакое, в стиле сибаритствующего Рима эпохи предельного сластолюбия и изнеженности, можете рассчитывать на меня».

И в делах подобного рода он, в свою очередь, мог рассчитывать на меня.

Я хорошо помню день 9 июня 1865 года, когда, собственно, и началась цепь невероятных событий.

Диккенс объяснил друзьям, что он уже с середины зимы страдает переутомлением и мучается болями в «обмороженной ноге», и на неделю прервал работу над завершением романа «Наш общий друг», чтобы отдохнуть в Париже. Я не знаю, поехали ли с ним Эллен Тернан и ее мать. Но знаю, что в Лондон они возвращались вместе.

Некая дама по имени миссис Уильям Клара Питт-Бирн, с которой я никогда не встречался и не жаждал познакомиться (добрая приятельница Чарльза Уотертона — натуралиста и путешественника, писавшего о своих рискованных приключениях в разных странах мира и погибшего в результате нелепого падения с лестницы в своем поместье Уолтон-Холл всего за одиннадцать дней до Стейплхерстской катастрофы; впоследствии говорили, будто призрак Уотертона ночами бродит по поместью в облике огромной серой цапли), — так вот, эта дама имела обыкновение публиковать в «Таймс» разные злостные сплетни. Нижеприведенная язвительная заметка с сообщением, что девятого июня нашего друга видели на пароме, идущем из Булони в Фолкстон, появилась в печати через несколько месяцев после упомянутой железнодорожной катастрофы.

> Сей господин путешествовал в обществе молодой особы, не приходившейся ему ни женой, ни свояченицей, но тем не менее расхаживал по палубе с видом человека, преисполненного сознанием собственной значимости. В надменном выражении его лица, в каждом его величавом жесте и движении читалось: «Смотрите на меня, пользуйтесь

случаем. Я гениальный писатель, я единственный и неповторимый Чарльз Диккенс, каковой факт оправдывает любые мои поступки.

Миссис Бирн известна главным образом как автор книги «Фламандские интерьеры», вышедшей в свет несколько лет назад. По моему скромному мнению, ей следовало бы приберечь свое ядовитое перо для писанины о диванах и обоях. Для живописания человеческих существ сей даме явно недостает таланта.

В Фолкстоне Диккенс, Эллен и миссис Тернан сели на курьерский до Лондона, отправлявшийся в два тридцать восемь пополудни. На подъезде к Стейплхерсту они находились одни в вагоне первого класса, каких в составе насчитывалось семь штук.

Когда они проезжали Хедкорн в одиннадцать минут четвертого, машинист гнал поезд полным ходом, со скоростью добрых пятьдесят миль в час. Состав приближался к железнодорожному виадуку близ Стейплхерста, хотя слово «виадук», коим обозначается данное сооружение в официальном железнодорожном справочнике, представляется слишком громким для деревянного моста на перекрестных опорах, соединявшего берега мелкой речушки Белт.

На том участке пути производились текущие ремонтные работы по замене старых мостовых брусьев. Позже в ходе расследования выяснилось, что десятник сверился с недействительным расписанием и в ближайшие два часа не ждал фолкстонского поезда. (Похоже, не только нас, путешественников, сбивают с толку расписания Британских железных дорог, изобилующие сносками и скобками с бесконечными дополнениями и изменениями в связи с праздничными и выходными днями, периодами прилива и пр.)

Английский закон и железнодорожные правила предписывали выставлять сигнальщика за тысячу ярдов от места подобных работ — к моменту появления фолкстонского поезда две рельсины на мосту уже были сняты

и уложены вдоль полотна, — но по непонятной причине человек с красным флажком находился всего в трехстах пятидесяти ярдах от разобранного участка пути. Таким образом, у курьерского, шедшего на высокой скорости, не оставалось ни малейшего шанса остановиться вовремя.

При виде запоздало взметнувшегося красного флажка (леденящее душу зрелище, надо полагать), при виде бреши в железнодорожном полотне и мостовом покрытии впереди машинист сделал все возможное. Вероятно, в ваше время, дорогие читатели, все поезда снабжены тормозами, которыми управляет непосредственно машинист. В 1865 году дело обстояло иначе. Каждый вагон надлежало тормозить отдельно, причем только по сигналу машиниста. Последний дал отчаянный гудок, призывая кондукторов спешно привести в действие тормозные механизмы. Но было уже слишком поздно.

Согласно отчету следственной комиссии, состав все еще двигался со скоростью почти тридцать миль в час, когда достиг разобранного участка колеи. Невероятно, но локомотив *перелетел* через сорокадвухфутовую брешь и соскочил с рельсов на другой ее стороне. Все вагоны первого класса, кроме одного, свалились с моста и разбились вдребезги на дне мелкой заболоченной речки.

В единственном уцелевшем первоклассном вагоне находились Диккенс, его любовница и ее мать.

Кондукторский вагон, следовавший сразу за локомотивом, отбросило на встречную колею вместе с прицепленным к нему вагоном второго класса. Вагон Диккенса, третий по счету, частично вынесло за край моста, и он не сорвался вниз единственно благодаря сцепке с предыдущим вагоном. На рельсах устоял только самый хвост состава. Остальные шесть первоклассных вагонов со страшным грохотом рухнули в заболоченное речное русло и в большинстве своем разбились в щепы.

Впоследствии Диккенс не раз рассказывал о пережитых ужасных моментах в письмах к знакомым, но всегда

осмотрительно избегал называть имена двух своих попутчиц, чьи личности раскрыл лишь в нескольких посланиях к самым близким друзьям. Уверен, я единственный, кому он поведал всю историю без умолчаний.

«Вагон вдруг сошел с рельсов, — писал он в одной из наиболее обстоятельных эпистолярных версий случившегося, — и запрыгал по полотну, подобно корзине полусдутого воздушного шара, волочащейся по кочковатой земле. „Господи! Что это?!“ — вскричала пожилая дама (следует читать «миссис Тернан»), а ее молодая спутница (разумеется, речь идет об Эллен Тернан) пронзительно завизжала. Я подхватил их обеих... и сказал: „Единственное, что нам остается, — сохранять спокойствие. Ради бога, перестаньте кричать!“ Пожилая дама сразу же овладела собой: „Вы правы. Я буду держать себя в руках, даю вам слово“».

Вагон круто вздыбился и накренился влево. Чемоданы, картонки и прочие незакрепленные предметы посыпались с багажных полок. До конца жизни Чарльз Диккенс страдал от приступов головокружения, сопряженных с ощущением, будто «все вокруг, включая меня самого, резко накреняется влево и летит вниз».

Он продолжает повествование: «Я сказал женщинам: „Худшее уже позади. Опасность миновала. Пожалуйста, не двигайтесь, пока я не вылезу через окно“».

Затем Диккенс, все еще достаточно проворный и гибкий в свои пятьдесят три года, несмотря на «обмороженную ногу» (как человек, давно страдающий подагрой и вот уже много лет вынужденный принимать лауданум для облегчения болей, я мигом опознаю сей недуг по симптомам и почти уверен, что диккенсовское «обморожение» на самом деле являлось обычной подагрой), выбрался наружу, ловко перепрыгнул с подножки вагона на мостовое полотно и увидел двух кондукторов, в совершенном смятении бегавших взад-вперед.

Диккенс пишет, что он схватил одного из них за рукав и повелительно крикнул: «Послушайте! Остановитесь же наконец и посмотрите на меня! Вы меня узнаете?»

«Конечно, мистер Диккенс», — тотчас ответил кондуктор.

«В таком случае, уважаемый, — вскричал Диккенс почти радостно (в мелочном своем тщеславии упиваясь сознанием, что даже в такую минуту его узнали, как наверняка не преминула бы вставить Клара Питт-Бирн), — дайте поскорее ваш ключ от вагона и пошлите сюда одного из рабочих. Я хочу выпустить пассажиров».

Кондукторы, по словам Диккенса, поспешили выполнить распоряжение, рабочие перекинули две доски с края моста к висевшему в воздухе вагону, и отважный писатель благополучно вывел оттуда женщин, а потом бесстрашно вернулся обратно за своим цилиндром и фляжкой с бренди.

Здесь я прерву повествование нашего общего друга и скажу, что впоследствии, руководствуясь именами, перечисленными в официальном отчете следственной комиссии, я разыскал кондуктора, которого Диккенс якобы остановил и побудил к столь полезным действиям. У означенного кондуктора — некоего Лестера Смита — сохранились несколько иные воспоминания о тех минутах.

«Мы собирались спуститься вниз, чтобы оказать помощь раненым и умирающим, и тут к нам с Пэдди Билом подбегает этот хлыщ, что выбрался из повисшего на краю моста первоклассного вагона, бледный как смерть, с дико выпученными глазами, и орет дурным голосом: „Вы меня узнаете? Вы меня узнаете? Вы знаете, кто я такой?“ Честно говоря, я ответил: „Мне плевать, кто ты такой, приятель, — хоть сам принц Альберт. Отвали, не путайся под ногами“. Обычно я с джентльменами так не разговариваю, но тогда обстоятельства были необычные».

Во всяком случае, Диккенс действительно руководил действиями рабочих, вызволявших Эллен и миссис Тернан, он действительно вернулся обратно в вагон за цилиндром и фляжкой с бренди, он действительно зачерпнул в цилиндр воды, спустившись к реке по крутому

откосу, и все очевидцы единодушно показывают, что он незамедлительно принялся извлекать из-под обломков тела погибших и оказывать помощь пострадавшим.

До самой своей смерти, наступившей через пять лет после Стейплхерстской катастрофы, Диккенс неизменно описывал все увиденное под мостом двумя словами — «просто невообразимо», а все услышанное там коротко характеризовал наречием «невразумительно». И это английский писатель, который, по всеобщему признанию, обладал самым богатым воображением после сэра Вальтера Скотта! Человек, сочинявший повести и романы по меньшей мере чрезвычайно вразумительные!

Возможно, «невообразимое» началось, когда он спускался к реке по крутому откосу. Внезапно рядом с ним появился высокий худой мужчина в тяжелом черном плаще, гораздо более уместном для вечернего похода в оперу, нежели для поездки в Лондон на дневном курьерском. Оба они держали цилиндр в левой руке, а правой цеплялись за кусты, чтобы не упасть. Позже Диккенс хриплым шепотом (он потерял голос после катастрофы) рассказал мне, что незнакомец, тощий как скелет и мертвенно-бледный, пристально смотрел на него густо затененными глазами, глубоко посаженными под высоким бледным лбом, переходящим в бледную лысину. По сторонам черепообразного лица торчали жидкие пряди сивых волос. Впечатление черепа усиливали слишком короткий нос («две черные щели на землистой физиономии, а не нормальной длины орган обоняния», по выражению Диккенса), редкие мелкие зубы, острые и неровные, и очень бледные — светлее самих зубов — десны.

Писатель заметил также, что на правой руке у мужчины не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного, а на левой руке нет среднего. Диккенс обратил особое внимание на тот факт, что пальцы не ампутированы на уровне сустава, как часто делается в случае хирургического вмешательства при серьезных травмах, а грубо обрублены

посреди третьей фаланги. «Культи, — сказал он мне впоследствии, — походили на огарки восковой свечи».

Диккенс и странный господин в черном плаще медленно спускались по крутому откосу, цепляясь за кусты и валуны.

— Я Чарльз Диккенс, — наконец выдохнул мой друг, впавший в изрядное замешательство.

— Знаю-с-с, — присвистывая сквозь мелкие зубы, промолвил незнакомец.

Диккенс смешался еще сильнее.

— Как ваше имя, сэр? — осведомился он, съезжая вместе со спутником вниз по каменистой осыпи.

— Друд, — последовал ответ.

Во всяком случае, Диккенсу так послышалось. Незнакомец говорил глухим голосом с легким чужеземным акцентом, и слово прозвучало скорее как «труп».

— Вы ехали на этом поезде в Лондон? — спросил Диккенс.

Они уже находились у самого подножья крутого откоса.

— В Лаймхаус-с-с, — с присвистом произнес долговязый субъект в черном плаще. — Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фокс-с-сес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы.

Услышав сей странный перечень, Диккенс недоуменно взглянул на чудно́го господина — ведь поезд направлялся на вокзал в центре Лондона, а не в восточный район столицы, где находились упомянутые грязные улочки. Трущобами на жаргоне назывались беднейшие жилые кварталы города. Но откос уже кончился, и на берегу загадочный Друд, не промолвив более ни слова, повернулся прочь и скользнул в густую тень под железнодорожным мостом. Спустя несколько мгновений фигура в черном плаще растаяла в темноте.

«Как вы понимаете, — шепотом говорил мне Диккенс впоследствии, — я ни секунды не воображал, будто

странный человек в черном — это Смерть, явившаяся собрать свою дань. Или еще какое-нибудь олицетворение разыгравшейся там трагедии. Это было бы слишком банально даже для обладателя много беднейшей фантазии, чем моя. Но надо признаться, Уилки, я предположил в Друде гробовщика из Стейплхерста или какой-нибудь другой близлежащей деревушки».

Оставшись один, Диккенс окинул взором картину кровавой трагедии.

Опознать вагоны поезда в грудах искореженного металла и дерева, лежавших в речном русле и на заболоченных берегах, не представлялось возможным. Если бы не железные колеса и оси, торчавшие там и сям под немыслимыми углами, ужасное зрелище наводило бы на мысль о деревянных бунгало, принесенных мощным ураганом откуда-нибудь из Америки и сброшенных здесь с огромной высоты. Причем обломки выглядели так, словно после падения они еще раз взмыли в поднебесье, снова рухнули вниз и разбились в мелкие щепы.

Поначалу Диккенс решил, что в такой катастрофе не мог выжить ни один человек, но уже в следующий миг речную долину огласили крики несчастных страдальцев (на самом деле раненых оказалось гораздо больше, чем погибших). В этих воплях не было ничего человеческого, они звучали бесконечно страшнее, чем крики и стоны, которые мой друг слышал при посещении переполненных больниц вроде детского госпиталя на Рэтклифф-кросс (минуту назад упомянутом Друдом), куда отправляли умирать нищих и беспризорных. Казалось, будто кто-то отворил врата в преисподнюю и позволил обреченным на вечные муки в последний раз возопить о помощи к бренному миру.

Навстречу Диккенсу, шатаясь, шел мужчина с распростертыми, словно для приветственных объятий, руками. Верхняя часть черепа у него была снесена, точно макушка вареного яйца, срезанная ножом перед завтраком. Диккенс ясно видел розово-серую массу, поблескивавшую в чаше раздробленного черепа. По лицу несчаст-

ного струились потоки крови, заливая безумно вытаращенные глаза.

Диккенс дал раненому глотнуть бренди из своей фляжки, не зная, что еще можно сделать. Горлышко фляжки окрасилось в густо-красный цвет. Он уложил мужчину на траву, омыл ему лицо водой, зачерпнутой в цилиндр, а затем спросил: «Как ваше имя, сэр?» Но страдалец прошептал лишь: «Все кончено» — и испустил дух, вперив в небо остекленелый взгляд залитых кровью глаз.

Внезапно по земле скользнула тень. Диккенс резко вскинул голову, в полной уверенности, что сейчас увидит Друда, который пролетает над ними, широко раскинув полы черного плаща, точно ворон на распластанных крылах. Но то оказалось лишь облачко, на миг набежавшее на солнце.

Диккенс снова набрал воды в цилиндр и уже через несколько секунд столкнулся с женщиной, по чьему посеревшему лицу тоже текла ручьями кровь. Она была почти голой, лишь несколько окровавленных лохмотьев свисали с истерзанного тела подобием старых бинтов. На месте левой груди у нее зияла страшная рана. Она не остановилась на оклик писателя и, похоже, не услышала призывов сесть и подождать помощи, но быстрым шагом прошла мимо и скрылась за редкими деревьями на берегу.

Диккенс помог двум ошеломленным кондукторам извлечь из искореженного вагона изуродованное женское тело и осторожно положить на землю поодаль. Какой-то мужчина брел по колено в воде, истошно выкрикивая: «Моя жена! Моя жена!» Диккенс отвел его к трупу. Несчастный с душераздирающим воплем схватился за голову и принялся бешено метаться по заболоченному берегу, безостановочно испуская звуки, которые, по словам Диккенса, «походили на предсмертные хрипы кабана, чьи легкие прострелены несколькими крупнокалиберными пулями». Потом он лишился чувств и рухнул в трясину, словно пораженный пулей прямо в сердце, а не в легкое.

Диккенс направился обратно к вагонам и увидел женщину, сидящую на земле спиной к стволу дерева. Она казалась целой и невредимой — если не считать тонкой струйки крови на виске, истекавшей, вероятно, из поверхностной раны.

— Я принесу вам воды, мадам, — сказал мой друг.

— Буду вам очень признательна, сэр.

Она улыбнулась, и Диккенс отшатнулся: у нее были выбиты все передние зубы.

Возле самой речки он обернулся и увидел, что над женщиной заботливо склоняется человек, похожий на Друда (вряд ли еще кто-нибудь был наряжен в толстый оперный плащ тем теплым июньским днем). Когда через несколько секунд Диккенс вернулся с водой в цилиндре, господин в черном уже исчез, а женщина была мертва, хотя по-прежнему скалилась в жутком подобии улыбки, обнажая раздробленные беззубые десны.

Он вернулся к перевернутым разрушенным вагонам. В одном из них слабо стонал молодой джентльмен. По откосу к реке торопливо спускались еще несколько спасателей. Диккенс бросился к ним, призывая помочь ему вытащить беднягу из-под обломков железа и дерева, пересыпанных битым стеклом и клочьями красного бархата. Когда дюжие кондукторы, кряхтя, приподняли тяжелые оконные рамы и доски полового настила, теперь обратившиеся в рухнувшую крышу, Диккенс сжал руку раненого и ободряюще сказал:

— Я позабочусь о вас, сынок.

— Благодарю вас... Вы очень добры, — с трудом проговорил юноша — явно пассажир одного из вагонов первого класса.

— Как ваше имя? — спросил наш писатель, когда кондукторы понесли пострадавшего к берегу.

— Диккенсон, — ответил тот.

Чарльз Диккенс проследил, чтобы мистера Диккенсона отнесли к железнодорожному полотну, а потом, вместе с группой вновь прибывших спасателей, спустился обратно в речное русло. Он перебегал от одного

пострадавшего к другому, помогая встать, утоляя жажду, утешая, ободряя, прикрывая наготу иных раненых любым попадавшимся под руку тряпьем и внимательно осматривая недвижные тела, дабы удостовериться, что они уже бездыханны.

Несколько спасателей и уцелевших пассажиров, по словам Диккенса, действовали столь же собранно и энергично, как он, но многие просто стояли истуканами и тупо смотрели, оцепенев от потрясения. Усерднее всех прочих на месте страшной катастрофы трудились двое: Диккенс и странный субъект, назвавшийся Друдом. Правда, господин в черном плаще постоянно находился за пределами слышимости, на периферии зрения и, казалось, не переходил от одного искореженного вагона к другому, а плавно скользил.

Диккенс увидел тучную женщину, — судя по просто скроенному платью из крестьянского полотна, пассажирку одного из вагонов низшего класса. Она лежала в трясине ничком, подсунув руки под грудь. Наш друг перевернул ее на спину, дабы убедиться, что она уже не дышит, но глаза на измазанном грязью лице вдруг широко раскрылись.

— Я спасла ее! — задыхаясь, проговорила толстуха. — Я спасла мою крошку от *него*!

Диккенс не сразу заметил, что она судорожно стискивает в жирных руках младенца, чье крошечное белое личико тесно прижато к огромной отвислой груди. Ребенок был мертв — либо захлебнулся в трясине, либо задохнулся под тяжестью матери.

Диккенс услышал свое имя, произнесенное с присвистом, увидел в густой тени под разрушенным мостом неясную фигуру Друда, призывно манящего пальцем, и направился к нему. Однако по пути он остановился возле вдребезги разбитого перевернутого вагона, из сплющенного окна которого высовывалась изящная голая рука, явно принадлежащая молодой девушке. Тонкие пальцы шевелились, словно подзывая Диккенса поближе.

Он присел на корточки и взял тонкую кисть обеими руками. «Я здесь, дорогая моя», — промолвил он в темную щель, что всего пятнадцать минут назад была окном. Он сжал пальцы невидимой женщины, и она ответила слабым пожатием, словно благодаря за спасение.

Диккенс наклонился ниже, но не разглядел в крохотной конусообразной полости под обломками ничего, кроме изодранной диванной обивки да скопления черных теней. Он не смог бы даже протолкнуть плечи в узкий проем. Верхняя перекладина оконной рамы проседала чуть не до самой земли. Частое, прерывистое дыхание пострадавшей еле слышалось сквозь журчание реки. Не думая о приличиях, Диккенс погладил обнаженную бледную руку, от запястья до локтя покрытую рыжеватым пушком, отливавшим медным блеском в лучах предвечернего солнца.

— К нам направляются кондукторы и, кажется, врач, — сказал наш друг в узкую щель, продолжая сжимать кисть молодой дамы.

Он не знал наверное, является ли врачом мужчина в коричневом костюме и с кожаным саквояжем, но страстно на это надеялся. Четыре кондуктора, вооруженные топорами и ломами, бежали впереди, а господин в строгом костюме трусил за ними, пыхтя и отдуваясь.

— Сюда, скорее! — крикнул Диккенс.

Он ободряюще стиснул тонкую кисть. Бледные пальцы дрогнули, ухватились за его указательный палец и несколько раз сжались и разжались — так новорожденный младенец инстинктивно цепляется за руку отца. Девушка не промолвила ни слова, но из темноты донесся протяжный вздох, почти удовлетворенный. Диккенс по-прежнему держал пострадавшую за руку и молился, чтобы раны ее оказались не тяжелыми.

— Бога ради, поторопитесь! — воскликнул он.

Мужчины столпились вокруг. Дородный господин в костюме представился — он оказался врачом по имени Моррис. Диккенс решительно отказался покинуть свое место у окна и даже просто отпустить руку юной дамы,

когда четверо кондукторов принялись отжимать ломами вверх и в сторону оконную раму, расщепленные доски и искореженное железо, расширяя крохотное пространство, ставшее для пассажирки укрытием и спасением.

— Осторожнее! — крикнул Диккенс кондукторам. — Ради всего святого, осторожнее! Только чтобы ничего не рухнуло! Осторожнее с теми металлическими перекладинами! — Наклонившись ниже, Диккенс крепко стиснул руку девушки и прошептал в темное отверстие: — Сейчас мы вытащим вас, голубушка. Потерпите еще немного.

В слабом ответном пожатии Диккенс почувствовал благодарность.

— Вам придется отойти на минутку, сэр, — сказал доктор Моррис. — Парни приподнимут доски вот здесь, а я просунусь внутрь и посмотрю, насколько серьезно она пострадала и можно ли ее двигать прямо сейчас. Буквально на минутку, сэр. Вот и славно.

Диккенс ласково похлопал по изящной кисти и ощутил последнее прощальное пожатие тонких бледных пальцев с тщательно наманикюренными ноготками. Он отогнал прочь отчетливую, но совершенно неуместную мысль, что в таком вот телесном контакте с незнакомкой, чьего лица он еще не видел, есть что-то возбуждающее. Он сказал: «Через минуту все кончится и вы будете в безопасности, голубушка» — и неохотно отпустил руку девушки. Потом отполз на четвереньках назад, уступая место спасателям и чувствуя, как колени штанов насквозь пропитываются болотной влагой.

— Давайте! — крикнул доктор, опускаясь на колени там, где секундой ранее находился Диккенс. — Поднатужьтесь хорошенько, ребята!

Четверо дюжих кондукторов поднатужились преизрядно, сперва приподняв ломами и потом подперев плечами рухнувший половой настил, теперь превратившийся в тяжелую груду досок. Темная конусообразная полость под завалом немного расширилась, и в нее проник

солнечный луч. Мужчины разом ахнули, отчаянно стараясь удержать на плечах неподъемный груз, а потом один из них ахнул еще раз.

— О боже! — сдавленно выкрикнул кто-то.

Доктор резко отпрянул, точно прикоснувшись к оголенному электрическому проводу. Диккенс подполз ближе, собираясь предложить свою помощь, и наконец заглянул в полость под завалом.

Он не увидел там никакой женщины или девушки. В узкой щели среди обломков лежала одна только голая рука, оторванная в плечевом суставе. Шаровидная головка кости казалась ослепительно-белой в солнечном свете.

Все хором завопили, призывая подмогу. На крики прибежали еще несколько спасателей. Доктор повторил распоряжения. Кондукторы принялись орудовать топорами и ломами, сначала осторожно, а потом с разрушительным неистовством, почти умышленным. Тела молодой женщины под завалом просто-напросто не оказалось. В той груде обломков они вообще не нашли ни одного тела — лишь разномастные клочья изодранной одежды да несколько вырванных кусков мяса с фрагментами кости. Там не осталось даже подлежащего опознанию лоскута от платья погибшей — только бледная рука с бескровными скрюченными пальцами, теперь неподвижными.

Не промолвив более ни слова, доктор Моррис повернулся и скорым шагом направился к спасателям, суетившимся вокруг других жертв катастрофы.

Диккенс поднялся на ноги, нервно поморгал, облизал пересохшие губы, а потом вытащил из кармана фляжку с бренди. Ощутив во рту медный привкус, он осознал, что фляжка пуста и на языке у него лишь вкус крови, оставленной на горлышке кем-то из пострадавших, которым он давал пить. Он долго озирался по сторонам в поисках своего цилиндра, прежде чем сообразил, что тот у него на голове. Волосы у него намокли от речной воды, стекавшей из цилиндра и капавшей за воротник.

К месту происшествия уже прибывали новые спасатели и зеваки. Диккенс рассудил, что теперь здесь и без него обойдутся. Он медленно, неуклюже вскарабкался по крутому береговому откосу к железнодорожному полотну, где стояли неповрежденные вагоны, покинутые пассажирами.

Эллен и миссис Тернан сидели в тени на штабеле шпал и спокойно пили воду из чайных чашек.

Диккенс потянулся было к облаченной в перчатку руке Эллен, но так и не прикоснулся к ней. Вместо этого он спросил:

— Как вы, дорогая моя?

Эллен улыбнулась, но в глазах у нее стояли слезы. Она дотронулась до своего левого локтя и плеча.

— Набила несколько синяков, кажется, но в остальном все в порядке. Благодарю вас, мистер Диккенс.

Писатель кивнул почти рассеянно, глядя куда-то в сторону. Потом он повернулся, быстро подошел к краю разрушенного моста, с бездумной ловкостью безумца перепрыгнул на подножку висящего в воздухе вагона, пролез в разбитое окно с такой легкостью, будто вошел в дверь, и проворно спустился вниз по спинкам кресел, теперь превратившимся в подобие ступеней на круто наклоненном полу салона. Вагон висел высоко над речным руслом, ненадежно соединенный сцепкой со стоящим на мосту вагоном второго класса, и слегка покачивался, подрагивал, точно маятник сломанных настенных часов.

Еще до спасения Эллен и миссис Тернан Диккенс вынес из вагона свой кожаный саквояж с рукописью шестнадцатого выпуска «Нашего общего друга», над которым работал во Франции, но сейчас он вспомнил, что последние две главы остались в кармане его пальто, — аккуратно свернутое, оно по-прежнему лежало на багажной полке над их местами в самом конце салона. Вагон со скрипом и скрежетом раскачивался на высоте тридцати футов над рекой, бросающей зыбкие солнечные блики в разбитые окна. Утвердившись ногами на спинке кресла, Диккенс достал с полки пальто, извлек из него

рукопись — немного замусоленную, но целую и невредимую — и, по-прежнему балансируя на спинке кресла, засунул пачку страниц в карман сюртука.

В следующий миг Диккенс случайно бросил взгляд вниз, сквозь дверь с разбитым стеклом в торце вагона. Прямо под вагоном, с полным пренебрежением к опасности, которую представляла собой повисшая в воздухе многотонная махина из железа и дерева, стоял с запрокинутой головой человек по имени Друд и пристально смотрел на Диккенса — причем из-за причудливой игры солнечных бликов на речной глади складывалось впечатление, будто он стоит не в, а на воде. Тусклые глаза в глубоких глазницах казались лишенными век.

Губы Друда приоткрылись и зашевелились, за мелкими редкими зубами мелькнул мясистый язык, и Диккенс расслышал свистящие звуки, но не разобрал ни единого слова сквозь металлический скрежет раскачивающегося вагона и непрерывные крики раненых в речной долине. «Невразумительно, — пробормотал он. — Невразумительно».

Внезапно вагон сильно качнулся и дернулся вниз, словно собираясь упасть. Диккенс машинально схватился одной рукой за полку, чтобы удержаться на ногах. Когда колебание прекратилось и он снова посмотрел вниз, Друд уже исчез. Писатель перекинул пальто через плечо, вскарабкался вверх по рядам кресел и выбрался наружу.

Глава 2

Девятого июня, когда мой друг попал в железнодорожную катастрофу близ Стейплхерста, я находился в отъезде. И только по возвращении в Лондон, через три дня после трагического происшествия, я получил от моего младшего брата Чарльза, женатого на старшей дочери Диккенса, записку с сообщением о близком столкновении писателя со смертью. Я тотчас же поспешил в Гэдсхилл.

Хочется надеяться, дорогой читатель, живущий в моем далеком посмертном будущем, что вы помните Гэдсхилл — Гэдский холм — по трагедии Шекспира «Генрих IV». Вы наверняка помните Шекспира, даже если все остальные писатели, жалкие бумагомараки рядом с ним, уже давно растворились в тумане истории. Именно на Гэдском холме Фальстаф замышляет грабеж, но остается в дураках, когда принц Гарри с другом переодеваются разбойниками и грабят незадачливого грабителя, после чего сэр Джон Толстый в страхе ударяется в бегство и позже рассказывает о нападении, по ходу повествования превращая Гарри с подручным сначала в четырех разбойников, потом в восьмерых, потом в двадцатерых и так далее. Неподалеку от усадьбы Диккенса находится гостиница «Фальстаф-Инн», и мне кажется, мысль о связи собственного поместья с именем Шекспира нравилась нашему другу не меньше, чем пиво, которое он частенько пил в упомянутой гостинице в конце своих долгих прогулок.

Подъезжая в наемном экипаже к месту назначения, я невольно вспомнил, что Гэдсхилл-плейс дорог сердцу Чарльза Диккенса еще по одной причине, появившейся задолго до того, как он купил имение десять лет назад. Гэдсхилл находился в деревне под названием Чатем, примыкавшей к кафедральному городку Рочестер, расположенному милях в двадцати пяти от Лондона. В Чатеме писатель провел самые счастливые годы детства, а в зрелости часто возвращался туда и бродил по окрестностям, словно неприкаянное привидение в поисках последнего приюта. Сам дом, Гэдсхилл-плейс, показал семи- или восьмилетнему Чарльзу Диккенсу отец во время одной из бесчисленных совместных прогулок. Джон Диккенс сказал тогда приблизительно следующее: «Если будешь усердно трудиться, сынок, однажды ты станешь владельцем такого вот роскошного особняка». В феврале 1855 года, в свой сорок третий день рождения, «сынок» поехал с несколькими своими друзьями в Чатем на обычную сентиментальную прогулку и, к великому

своему изумлению, обнаружил, что недосягаемый особняк, столь памятный по детским годам, выставлен на продажу.

Диккенс признавал, что Гэдсхилл-плейс представляет собой скорее просто комфортабельный деревенский дом, нежели особняк в полном смысле слова (на самом деле прежний дом Диккенса, Тэвисток-хаус, выглядел гораздо внушительнее во всех отношениях), хотя после покупки имения писатель вложил немалые средства в реставрацию, реконструкцию, декорирование и благоустройство старинного здания. На первых порах он планировал осуществить мечту покойного отца о рентном доходе с собственности, потом вознамерился жить в Гэдсхилле наездами, но после неприятного расставания с Кэтрин он сначала сдал Тэвисток-хаус в аренду, а затем и вовсе выставил городской особняк на продажу, перебравшись на постоянное жительство в имение. (Впрочем, он всегда снимал в Лондоне несколько квартир, где время от времени жил, порой тайно, — одна из них располагалась прямо над конторой нашего журнала «Круглый год».)

После приобретения усадьбы Диккенс сказал своему другу Уиллсу: «Гэдсхилл-плейс казался мне великолепным особняком (хотя никакого великолепия там нет и в помине), когда я был странным маленьким мальчиком, в чьей голове уже зарождались смутные образы всех будущих моих книг».

Когда экипаж свернул с Грейвсенд-роуд и покатил по извилистой аллее к трехэтажному краснокирпичному зданию, я думал о том, что в конечном счете эти смутные образы материализовались для многих тысяч читателей, а сам Диккенс теперь обитает в этих прочных стенах, которые его никчемный отец, потерпевший неудачу и в семейной, и в финансовой сфере, в далеком прошлом привел своему сыну в пример как высочайшую возможную награду за успехи в личной и профессиональной жизни.

Служанка впустила меня, и я поздоровался с вышедшей мне навстречу Джорджиной Хогарт, свояченицей Диккенса и нынешней хозяйкой дома.

— Как себя чувствует Неподражаемый? — спросил я, употребив общепринятое прозвище, особо любимое писателем.

— У него расстроены нервы, мистер Коллинз, совсем расстроены, — прошептала Джорджина и приложила палец к губам.

Кабинет Диккенса находился совсем рядом, справа от парадного входа. Дверь там была закрыта, но я часто гостил в Гэдсхилле и знал, что хозяин всегда держит дверь кабинета закрытой, работает он или нет.

— Он испытал столь сильное потрясение, что в первую ночь после катастрофы мистеру Уиллсу пришлось переночевать с ним в лондонской квартире, — продолжала Джорджина театральным шепотом. — На случай, если вдруг понадобится помощь.

Я кивнул. Первоначально нанятый на должность сотрудника диккенсовского журнала «Домашнее чтение», чрезвычайно практичный и напрочь лишенный воображения Уильям Генри Уиллс — во многих отношениях полная противоположность темпераментному и энергичному Диккенсу — в конечном счете стал ближайшим другом и доверенным лицом знаменитого писателя, оттеснив в сторону даже старых друзей вроде Джона Форстера.

— Он сегодня не работает, — прошептала Джорджина. — Я спрошу, примет ли он вас. — Она приблизилась к двери кабинета с явной опаской.

— Кто там? — раздался из кабинета чей-то голос, когда Джорджина тихонько постучала.

Я сказал «чей-то», поскольку голос принадлежал явно не Чарльзу Диккенсу. У нашего знаменитого писателя, как еще долго помнили все его знакомые, был низкий голос и торопливый говор с чуть смазанной дикцией — последнюю особенность многие принимали

за шепелявость, и именно она заставляла Диккенса в качестве компенсации излишне старательно артикулировать гласные и согласные, вследствие чего его скорая, но очень четкая и гладкая речь порой производила на посторонних людей впечатление напыщенности.

Сейчас же я услышал совершенно незнакомый голос. Дребезжащий старческий тенорок.

— К вам мистер Коллинз, — пролепетала Джорджина, обращаясь к дубовой двери.

— Пускай он возвращается на свое болезное ложе, — проскрипел надтреснутый голос.

Я растерянно моргнул. Последние пять лет, с самого времени своей женитьбы на Кейт Диккенс, мой младший брат страдал сильными приступами несварения и изредка слегал с различными недугами, но я был уверен, что все они не представляют никакой опасности для жизни. Диккенс считал иначе. Писатель решительно не одобрял этот брак, догадываясь, что любимая дочь вышла замуж за Чарльза — бывшего иллюстратора диккенсовских произведений — единственно из желания досадить ему, и явно убедил себя, что мой брат находится при смерти. Как мне недавно стало известно из достоверного источника, Диккенс однажды обмолвился в разговоре с Уиллсом, что мой дорогой брат по состоянию здоровья «совершенно непригоден ни к какой деятельности», и, даже будь это правдой (а это чистая неправда), сказать подобное мог только человек в высшей степени бессердечный.

— Нет, мистер *Уилки*, — уточнила Джорджина и опасливо оглянулась через плечо, словно надеясь, что я не услышал.

— О!.. — произнес дрожащий старческий голос. — Так какого черта вы сразу не сказали?

За дверью послышались приглушенные звуки возни и шаркающие шаги, потом в замке со скрежетом провернулся ключ (что само по себе казалось странным, ибо Диккенс имел обыкновение запирать кабинет снаружи, но никогда не запирал изнутри), и дверь распахнулась.

— Милейший Уилки, милейший Уилки, — проговорил Диккенс незнакомым скрипучим голосом, простирая объятия. Он энергично потряс мне руку обеими своими руками, предварительно коротко пожав левой (в ней он держал часы с цепочкой) мое правое плечо. — Спасибо, Джорджина, — рассеянно бросил он, затворяя за нами дверь, но на сей раз не запирая на ключ. Он провел меня в темный кабинет.

Вот еще одна странность. Я никогда прежде не видел, чтобы эркерные окна в святая святых писателя были зашторены в дневное время, но сейчас их плотно закрывали портьеры. Единственным источником света служила лампа на журнальном столике в центре комнаты. На стоявшем в эркере письменном столе, обращенном к окнам, лампы не было. Лишь немногие из нас удостаивались чести лицезреть Диккенса за работой в этом кабинете, но все лицезревшие находили несколько нелепым, что он неизменно сидит лицом к окнам, выходящим в сад и на Грейвсенд-роуд, но не видит за ними ничегошеньки, когда поднимает взор от пера и бумаги. Во время работы писатель погружался в мир собственных фантазий и полностью отрешался от внешнего мира — лишь изредка посматривал на свое отражение в зеркале, гримасничая, ухмыляясь, хмурясь, выкатывая глаза как бы от ужаса и придавая лицу разные другие карикатурные выражения, какими наделял своих персонажей.

Диккенс протащил меня в глубину темного кабинета и знаком пригласил сесть в кресло у письменного стола. Если не считать наглухо задернутых штор, комната выглядела как обычно — чистота и порядок почти маниакального свойства (нигде ни пылинки, хотя Диккенс никогда не позволял слугам убираться в своем кабинете). Письменный стол с наклонной рабочей поверхностью, набор необходимых для работы предметов, аккуратно расставленных и разложенных, всегда в одной последовательности, на горизонтальной части столешницы, словно заветные талисманы, — календарь-ежедневник,

чернильница, перья, карандаш, каучуковый ластик, явно ни разу не использованный, подушечка для булавок, бронзовая статуэтка в виде двух дерущихся жаб, нож для разрезания бумаги, неизменно лежащий строго перпендикулярно краю стола, стилизованная фигурка кролика на позолоченной подставке. Все это были своего рода символы удачи — «обязательные аксессуары», по выражению Диккенса. Однажды он сказал мне, что на них «отдыхает мой глаз, когда я ненадолго откладываю перо в сторону». В Гэдсхилле он не написал бы без них ни единого слова, как не написал бы без чернил и гусиных перьев.

Вдоль стен кабинета размещались книжные стеллажи — один стеллаж с фальшивыми корешками (почти на всех значились комичные названия, придуманные самим Диккенсом), в свое время изготовленный для Тэвисток-хауса, а ныне привинченный здесь к двери, и сплошные ряды настоящих полок, которые тянулись по всему периметру комнаты, прерываясь только на окнах и красивом бело-голубом камине, украшенном двадцатью дельфтскими изразцами.

Сам Диккенс в тот июньский день выглядел страшно постаревшим. Высокие залысины, глубоко запавшие глаза, морщины и складки на лице резко выделялись в жестком свете газовой лампы, стоявшей на журнальном столике. Он то и дело посматривал на зажатый в руке хронометр с закрытой крышкой.

— Очень мило с вашей стороны, что вы приехали, дорогой Уилки, — проскрипел Диккенс.

— Да бросьте, пустое, — сказал я. — Я бы приехал раньше, когда бы не находился в отлучке, о чем, полагаю, вам сообщил мой брат. Голос у вас какой-то чудной, Чарльз.

— Чужой? — переспросил он с мимолетной улыбкой.

— Чудной.

Он отрывисто хохотнул. Редко в каком разговоре Чарльз Диккенс обходился без смеха. Я в жизни не встречал второго такого смешливого человека. Он находил

комичное практически в любой, даже самой серьезной, ситуации, как иные из нас, к великому своему смущению, находят в похоронах.

— «Чужой» в данном случае звучит уместнее, позволю себе заметить, — сказал Диккенс дребезжащим старческим тенорком. — Я самым необъяснимым образом поменялся с кем-то голосом на месте страшной Стейплхерстской катастрофы. Очень хотелось бы, чтобы сей господин вернул мне мой голос и забрал свой... Это скрипучее блеяние, приличествующее больше мистеру Микоберу в старости, мне совсем не по душе. Такое ощущение, будто кто-то дерет наждачной бумагой голосовые связки и самые звуки, ими производимые.

— Надеюсь, никаким иным образом вы не пострадали? — спросил я, подаваясь вперед, в круг света от лампы.

Диккенс небрежно отмахнулся от вопроса и снова уставился на золотые часы, зажатые в руке.

— Дорогой Уилки, нынче ночью мне приснился в высшей степени удивительный сон.

— Вот как? — сочувственно промолвил я, готовясь услышать описание кошмаров, связанных с железнодорожной катастрофой.

— Мне снилось, будто я читаю свою книгу, написанную в будущем, — тихо проговорил Диккенс, нервно вертя часы в руках; золотой корпус поблескивал в свете единственной лампы. — Страшную книгу... в ней человек сам себя загипнотизировал до такой степени, что он — или его второе «я», созданное силой внушения, — стал способен на чудовищные, немыслимые злодейства. На эгоистичные, разрушительные, продиктованные похотью поступки, которые этот человек — во сне мне почему-то хотелось называть его Джаспером — никогда не совершил бы сознательно. И еще один... еще одно существо... было замешано во всей этой истории.

— Сам себя загипнотизировал, — пробормотал я. — Разве такое возможно? Я доверяю вашему мнению, дорогой Чарльз, ведь вы дольше и лучше меня знакомы с искусством магнетического воздействия.

— Понятия не имею. Я никогда не слышал о самогипнозе, но это не значит, что подобного феномена не существует. — Он взглянул на меня. — Вы когда-нибудь погружались в месмерический транс, Уилки?

— Нет, — ответил я со смешком. — Правда, меня мало кто пытался загипнотизировать.

Я не счел нужным добавлять, что профессор Джон Эллиотсон, бывший сотрудник клиники при университетском колледже, учитель и наставник самого Диккенса в искусстве месмеризма, потерпел неудачу во всех своих попытках магнетически воздействовать на меня. Просто я обладал слишком сильной волей.

— Давайте попробуем, — сказал Диккенс, принимаясь раскачивать часы на цепочке, как маятник.

— Чарльз, — я хихикнул, хотя никакой веселости не испытывал, — ну зачем вам это, скажите на милость? Я приехал, чтобы услышать рассказ о пережитой вами ужасной катастрофе, а не играть в салонные игры с часами и...

— Ну пожалуйста, сделайте мне одолжение, милейший Уилки, — попросил Диккенс. — Вы же знаете, у меня неплохо получалось гипнотизировать других людей, — кажется, я говорил вам о долгом и довольно успешном курсе месмерического лечения, проведенного мной с бедной мадам де ля Рю во время моего пребывания на континенте.

Я неопределенно хмыкнул. Диккенс давно уже успел рассказать всем своим друзьям и знакомым о продолжительной серии магнетических сеансов, которые он с маниакальным упорством проводил с «бедной» мадам де ля Рю. Он не упомянул никому из нас лишь об одном обстоятельстве (известном, впрочем, всем нам и без него): что сеансы гипноза с замужней и явно сумасшедшей дамой, происходившие в самые разные часы дня и ночи, вызвали у его жены Кэтрин такую ревность, что она — наверное, впервые за все годы супружества — взбунтовалась и потребовала, чтобы он прекратил курс лечения.

— Пожалуйста, следите взглядом за часами, — сказал Диккенс, мерно раскачивая золотой диск в полумраке.

— Ничего не выйдет, мой дорогой Чарльз.

— Вам хочется спать, Уилки... вам очень хочется спать... у вас слипаются глаза. Вам так хочется спать, словно вы недавно приняли несколько капель лауданума.

Я едва не рассмеялся в голос. Перед самым выездом из дома я принял несколько *десятков* капель лауданума, как делал каждое утро. Вдобавок по дороге в Гэдсхилл я чересчур часто прикладывался к своей серебряной фляжке.

— Вам очень... очень... хочется спать, — монотонно продолжал Диккенс.

С минуту я честно старался впасть в дремоту, просто чтобы угодить Неподражаемому. Судя по всему, таким образом мой друг пытался отвлечься от жутких воспоминаний о недавней железнодорожной катастрофе. Я сосредоточил взгляд на раскачивающихся часах. Прислушивался к монотонному голосу Диккенса. По правде говоря, жаркая духота закрытой комнаты, приглушенное освещение, блеск мерно колеблющегося золотого диска, а прежде всего утренняя доза лауданума все-таки вызвали у меня короткий, буквально секундный, приступ сонливости.

Позволь я себе расслабиться в тот момент, я бы наверняка погрузился в сон, если не в гипнотический транс, в какой хотел ввергнуть меня Диккенс.

Но я стряхнул с себя дремоту прежде, чем она овладела мной, и резко промолвил:

— Мне очень жаль, Чарльз. Со мной ничего не получится. У меня слишком сильная воля.

Диккенс разочарованно вздохнул и убрал часы в карман. Потом он подошел к окну и слегка раздвинул портьеры. Мы оба прищурились от яркого солнечного света.

— Да, верно, — промолвил Диккенс. — Почти все писатели обладают слишком сильной волей, чтобы поддаваться гипнотическому воздействию.

Я рассмеялся:

— В таком случае, если вы когда-нибудь напишете роман, основанный на сегодняшнем вашем сновидении, наделите вашего персонажа Джаспера не писательской, а какой-нибудь иной профессией.

Диккенс натужно улыбнулся:

— Я так и сделаю, милейший Уилки.

Он вернулся к своему креслу.

— Как себя чувствуют мисс Тернан и ее мать? — осведомился я.

Диккенс нахмурился, не скрывая своего недовольства. Даже в разговорах со мной любые упоминания об этой сугубо личной, тайной стороне его жизни — сколь бы уместными они ни представлялись и сколь бы остро он ни испытывал потребность выговориться — неизменно приводили моего друга в смущение.

— Мать мисс Тернан практически не пострадала, если не считать нервного потрясения, неблагоприятного для особы столь почтенного возраста, — проскрипел Диккенс, — но сама мисс Тернан получила несколько серьезных ушибов, и доктор подозревает у нее трещину или смещение нижнего шейного позвонка. Ей очень больно поворачивать голову.

— Это весьма прискорбно, — сказал я.

Не добавив более ни слова на сей счет, Диккенс тихо спросил:

— Желаете ли вы услышать обстоятельный рассказ о катастрофе и ее последствиях, дорогой Уилки?

— Безусловно, дорогой Чарльз. Безусловно.

— Вы понимаете, что останетесь единственным человеком, посвященным во все подробности трагического происшествия?

— Вы окажете мне великую честь своим доверием, — промолвил я. — И не сомневайтесь: я буду хранить молчание до гроба.

Наконец-то Диккенс улыбнулся по-настоящему — своей внезапной, уверенной, озорной и немного маль-

чишеской улыбкой, обнажавшей желтоватые зубы в зарослях бороды, которую он отпустил для роли в моей пьесе «Замерзшая пучина» восемь лет назад и с той поры ни разу не сбривал.

— До вашего или моего гроба, Уилки? — спросил он.

Я растерянно моргнул, на секунду смешавшись.

— До обоих, заверяю вас, — наконец сказал я.

Диккенс кивнул и принялся надтреснутым старческим тенорком рассказывать историю о Стейплхерстской катастрофе.

— Боже мой! — прошептал я, когда сорока минутами позже Диккенс закончил. — Боже мой!

— Вот именно, — промолвил писатель.

— Эти несчастные люди... — проговорил я голосом почти таким же надломленным, как у Диккенса. — Несчастные люди.

— Просто невообразимо, — повторил Диккенс. Я никогда прежде не слышал от него слова «невообразимо», но сейчас он употребил его раз двадцать по ходу повествования. — Я не забыл упомянуть, что у мужчины, извлеченного нами из огромной груды обломков — беднягу там зажало вверх ногами, — текла кровь из глаз, ушей, носа и рта, пока мы метались в поисках его жены? Похоже, за считаные минуты до катастрофы он поменялся местом с каким-то французом, не желавшим сидеть у открытого окна. Француза мы нашли мертвым. Жена истекающего кровью страдальца тоже погибла.

— Боже мой, — снова прошептал я.

Диккенс на несколько мгновений прикрыл ладонью глаза, словно заслоняясь от света. А затем вновь устремил на меня острый, пристальный взгляд, какого, признаться, я в жизни не видел ни у одного другого человека. Как мы еще не раз убедимся в ходе моей достоверной истории, дорогой читатель, Чарльзу Диккенсу нельзя было отказать в силе воли.

— Что вы думаете об описанном мной загадочном субъекте, назвавшемся Друдом? — спросил Диккенс тихим, но очень напряженным голосом.

— Это что-то совершенно невероятное, — ответил я.

— Значит ли это, милейший Уилки, что вы не верите в существование Друда или в правдивость моего описания?

— Вовсе нет, вовсе нет, — торопливо сказал я. — Я уверен, что вы абсолютно точно обрисовали его внешность и повадки, Чарльз... Среди ныне живущих да и среди погребенных со всеми почестями в Вестминстерском аббатстве литераторов не найдется более прозорливого и искусного живописателя индивидуальных человеческих черт, чем вы, друг мой. Но мистер Друд... это нечто невероятное.

— Вот именно, — кивнул Диккенс. — И теперь наш с вами долг, дорогой Уилки, — разыскать его.

— Разыскать? — тупо повторил я. — Но зачем, скажите на милость?

— С мистером Друдом связана некая тайна, которую необходимо раскрыть, — прошептал Диккенс. — Прошу прощения за торжественную многозначительность сей фразы. Что делал этот человек — если он вообще человек — на фолкстонском курьерском в дневное время? Почему в ответ на мой вопрос он сказал, что направляется в Уайтчепел и трущобы Ист-Энда? Чем он занимался на месте катастрофы?

Я недоуменно уставился на собеседника:

— Но, Чарльз, чем еще он мог заниматься, если не тем же, чем занимались вы сами? Оказывал помощь живым и извлекал из-под обломков мертвых.

Диккенс снова улыбнулся, но без всякой теплоты или веселости:

— Там творились темные дела, дорогой Уилки. Я уверен. Повторяю вам: несколько раз я видел, как Друд — если это настоящее его имя — склоняется над ранеными, а когда позже я подходил к ним, они уже не дышали.

— Но вы говорили также, что несколько пострадавших, кому вы сами оказывали помощь, тоже умерли через считаные минуты.

— Да, — прохрипел Диккенс своим новым, незнакомым голосом, опуская подбородок в стоячий воротник. — Но я не помогал им отправиться в мир иной.

Ошеломленный, я откинулся на спинку кресла.

— О господи! Вы хотите сказать, что ваш трупообразный субъект в оперном плаще... убивал... несчастных жертв катастрофы?

— Я хочу сказать, что там имел место своего рода каннибализм, мой дорогой Уилки.

— Каннибализм!

Впервые за все время разговора я подумал, уж не повредился ли мой друг в уме. Да, внимая рассказу о железнодорожном крушении, я сильно усомнился в достоверности описания и даже в самом факте существования Друда — он казался скорее персонажем дешевого романа ужасов, нежели реальным человеком, какого можно встретить в дневном фолкстонском поезде, — но посчитал, что причина подобной галлюцинации кроется в тяжелом нервном потрясении, от которого Диккенс лишился голоса. Но если речь заходит о каннибализме, не исключено, что он лишился не только голоса, но и рассудка.

Диккенс снова улыбался и смотрел на меня обычным своим пронзительным взглядом, вызывавшим у многих уверенность — во всяком случае, на первых порах знакомства, — что Чарльз Диккенс умеет читать мысли.

— Нет, дорогой Уилки, я не сумасшедший, — тихо промолвил он. — Мистер Друд был столь же материальным, как вы или я, и в каком-то неопределенном смысле даже более странным, чем я описал. Возымей я желание сделать этого человека персонажем одного из своих романов, я бы не стал описывать его таким, каким увидел в действительности, — для литературного образа у него слишком странные повадки, слишком зловещий вид, слишком гротескная наружность. Но, как вам хорошо известно, подобные фантомные личности существуют в действительности. Их можно встретить в ходе ночных прогулок по Уайтчепелу и прочим трущобным

районам Лондона. И зачастую они могут поведать истории более диковинные, чем любой вымысел простого романиста.

Теперь настала моя очередь улыбнуться. Никто никогда не слышал, чтобы Неподражаемый называл себя «простым романистом», и я ни на миг не усомнился, что и сейчас он не сделал этого. Он говорил о других «простых романистах». Возможно, обо мне.

— Ну и какие же шаги вы предлагаете предпринять к розыску вашего мистера Друда, Чарльз? И что мы станем делать, когда установим местонахождение этого господина?

— Помните, мы с вами обследовали дом с привидениями?

Я помнил. Несколько лет назад Диккенс — как главный редактор своего нового журнала «Круглый год», пришедшего на смену «Домашнему чтению» после ссоры моего друга с издателями, — ввязался в дискуссию со спиритуалистами. В пятидесятые годы все повально увлекались верчением столов, спиритическими сеансами, месмеризмом (который Диккенс не только признавал, но и усердно практиковал) и прочими подобными играми с незримыми энергиями. Но хотя Диккенс верил в месмеризм, или, иначе, животный магнетизм, и в глубине души был суеверен (например, считал пятницу своим счастливым днем), он счел нужным вступить в спор со спиритуалистами. Когда один из его оппонентов, спиритуалист по имени Уильям Хоуитт, в подтверждение своих аргументов подробно рассказал о некоем доме с привидениями в лондонском пригороде Чесхант, Диккенс тотчас решил, что нам — редакторам и сотрудникам журнала «Круглый год» — надлежит немедленно туда отправиться и расследовать дело о призраках на месте.

У. Г. Уиллс и я выехали вперед в двухместной карете, но Диккенс и один из наших постоянных сотрудников, Джон Холлингсхед, прошли шестнадцать миль до деревни пешком. После продолжительных плутаний по окрестностям (к счастью, Диккенс, усомнившись в каче-

стве местной пищи, отправил со мной и Уиллсом закуску из свежей рыбы) мы наконец нашли так называемый дом с привидениями и провели остаток дня, расспрашивая о нем соседей, местных лавочников и даже прохожих, но в итоге сошлись во мнении, что «привидения» Хоуитта — это всего лишь крысы да слуга по имени Фрэнк, имевший обыкновение незаконно охотиться на кроликов по ночам.

Тогда, при свете дня и в обществе трех спутников, Диккенс держался довольно смело, но я слышал, что на другую аналогичную вылазку, предпринятую ночью с целью обследовать старое кладбище неподалеку от Гэдсхилл-плейс, по слухам населенное призраками, он отправился в сопровождении нескольких слуг и с заряженным ружьем. Младший сын писателя, носивший семейное прозвище Плорн, рассказывал впоследствии, что отец сильно нервничал и предупредил: «Любому, кто вздумает играть шутки, я отстрелю голову, коли у него таковая имеется». И они действительно услышали потусторонние завывания, стоны, «ужасные звуки — похожие и одновременно непохожие на человеческий голос». Это оказалась страдающая астмой овца. Диккенс не стал отстреливать голову бедному животному. По возвращении домой он угостил всех — и слуг, и детей — разбавленным водой ромом.

— Тогда мы знали, где находится дом с привидениями, — указал я Диккенсу. — Но как мы найдем мистера Друда? Где станем искать, Чарльз?

Внезапно у Диккенса изменились выражение и самый облик лица — оно словно вытянулось, сморщилось и побледнело пуще прежнего. Глаза расширились до такой степени, что верхних век стало не видно и белки жутковато заблестели в свете лампы. Он сильно ссутулился, приняв позу то ли согбенного летами старца, то ли притаившегося во тьме грабителя могил, то ли нахохлившегося канюка. Голос его, по-прежнему скрипучий, зазвучал тонко и пронзительно, с резким присвистом,

когда он заговорил, шевеля в воздухе длинными бледными пальцами, точно чернокнижник, читающий заклинания.

— Лаймхаус-с-с, — прошипел Диккенс, изображая Друда из своей истории. — Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фоксес-с-с. Корт. Бутчерроу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы.

Признаться, по спине у меня побежали мурашки. В отроческом возрасте, еще до начала своей писательской карьеры, Чарльз Диккенс обнаруживал столь незаурядные имитаторские способности, что отец ходил с ним по трактирам, где он изображал местных жителей, встреченных во время прогулок. В тот момент я начал верить в существование таинственного субъекта по имени Друд.

— Когда? — спросил я.

— С-с-скоро, — с присвистом произнес Диккенс, но уже приняв обычный свой облик и озорно улыбаясь. — Прежде мы с вами уже совершали подобные экскурсии в «Вавилон», милейший Уилки. Мы видели «гигантское пекло» в ночное время.

Да, верно. Лондонская клоака всегда вызывала у него живейший интерес. А «Вавилон» и «гигантское пекло» были его излюбленными словечками для обозначения самых грязных городских трущоб. Наши с Диккенсом ночные вылазки в темные лабиринты нищих улочек, тесно застроенных съемными лачугами, до сих пор снятся мне в кошмарных снах.

— Я полностью в вашем распоряжении, дорогой Диккенс, — с энтузиазмом сказал я. — И явлюсь для исполнения обязанностей завтра же вечером, коли вам угодно.

Мой друг помотал головой:

— Мне нужно восстановить голос, дорогой Уилки. Я запаздываю с последними выпусками «Нашего общего друга». И в ближайшие дни должен сделать еще много разных дел, помимо исцеления упомянутого выше

«пациента». Вы останетесь на ночь, сэр? Ваша комната готова принять вас, как всегда.

— Увы, не могу, — сказал я. — Мне необходимо вернуться в город сегодня же. У меня там важные дела.

Я не стал уточнять, что мои «важные дела» сводятся главным образом к пополнению запасов лауданума — лекарства, без которого даже тогда, в 1865 году, я не мог прожить ни дня.

— Хорошо, — промолвил он, вставая с кресла. — Могу ли я попросить вас о большом одолжении, Уилки?

— Все, что угодно, дорогой Диккенс, — живо откликнулся я. — Приказывайте, и я повинуюсь, друг мой.

Диккенс взглянул на свой хронометр:

— Вы уже опаздываете на ближайший поезд, делающий остановку в Грейвсенде, но, если Чарли заложит двуколку, мы доставим вас в Хайэм ко времени отправления курьерского, идущего на вокзал Чаринг-Кросс.

— Я еду на вокзал Чаринг-Кросс?

— Да, дорогой Уилки, — ответил Диккенс, крепко сжимая мое плечо; мы вышли из темного кабинета в более светлую прихожую. — По дороге к станции я объясню вам почему.

Джорджина не вышла с нами из дома, но Неподражаемый послал за двуколкой своего старшего сына Чарли, гостившего тогда в Гэдсхилле. На переднем дворе царил образцовый порядок, как повсюду во владениях писателя: алые герани, любимые цветы Диккенса, посаженные ровными рядами; два огромных ливанских кедра, растущие сразу за аккуратно подстриженной лужайкой и сейчас отбрасывающие тени на восток вдоль дороги.

Что-то в длинных рядах гераней, между которыми мы шагали, направляясь к Чарли и двуколке, вдруг вызвало у меня смутное беспокойство. У меня учащенно забилось сердце и похолодела спина. Спустя несколько мгновений я осознал, что Диккенс разговаривает со мной.

— ...Сразу после катастрофы я отвез его на санитарном поезде в гостиницу «Чаринг-Кросс», — говорил он. — Я заплатил двум сиделкам, чтобы они находились

с ним днем и ночью, ни на минуту не оставляя одного. Я буду премного вам благодарен, милейший Уилки, если вы зайдете к нему нынче вечером, передадите поклон от меня и скажете, что я сам наведаюсь к нему сразу, как только найду в себе силы выбраться в город, — скорее всего, завтра. Если сиделки доложат, что его состояние ухудшилось, вы окажете мне великую услугу, коли при первой же возможности отправите в Гэдсхилл посыльного с сообщением.

— Конечно, Чарльз, — откликнулся я.

По всей видимости, речь шла о юноше, которого Диккенс помог вытащить из разбитого вдребезги вагона, а потом самолично доставил в гостиницу у вокзала Чаринг-Кросс. О юноше по имени Диккенсон. Эдмонд или Эдвард Диккенсон, насколько я помнил. Довольно необычное совпадение, если подумать.

Когда мы покатили по подъездной аллее, прочь от алых гераней, необъяснимое паническое чувство исчезло так же быстро, как появилось.

Легкая рессорная коляска была рассчитана на двоих, но Диккенс втиснулся в нее вместе со мной и Чарли. Молодой человек тронул малорослую лошадку с места, и мы выехали на Грейвсенд, а потом повернули на Рочестер-роуд, ведущую к станции Хайэм. Времени до поезда оставалось предостаточно.

Поначалу Диккенс держался самым непринужденным образом, болтая со мной о разных мелочах, связанных с изданием нашего журнала, но когда двуколка набрала скорость, равняясь на другие бегущие по дороге экипажи, и далеко впереди уже показалась станция Хайэм, лицо писателя, все еще загорелое после отдыха во Франции, сперва побледнело, а потом приобрело землистый оттенок. На висках и щеках у него выступили бисеринки пота.

— Пожалуйста, помедленнее, Чарли. И не раскачивай повозку. Это страшно действует на нервы.

— Хорошо, отец.

Чарли натянул поводья, и лошадка перешла с рыси на резвый шаг.

Я заметил, как бескровные губы Диккенса сжимаются в нитку.

— Помедленнее, Чарли. Бога ради, не так быстро.

— Хорошо, отец.

Чарли в свои без малого тридцать лет походил на испуганного мальчишку, когда бросил взгляд на отца, который сейчас вцепился обеими руками в бортик кузова и без всякой необходимости подался всем корпусом вправо.

— Пожалуйста, помедленнее! — выкрикнул Диккенс.

Теперь коляска двигалась со скоростью пешего шага — причем отнюдь не быстрого ровного шага, каким Диккенс мог ежедневно проходить (и проходил) по двенадцать, шестнадцать и даже двадцать миль, покрывая по четыре мили в час.

— Мы не успеем к поезду... — начал Чарли, взглядывая сначала вперед, на отдаленные шпили и башню вокзала, а потом на часы.

— Остановись! Дай мне выйти, — приказал Диккенс. Лицо у него стало серым, как хвост нашего пони. Он с трудом вылез из двуколки и торопливо пожал мне руку. — Я пойду обратно пешком. По такой погоде прогуляться — одно удовольствие. Желаю благополучно добраться до города — и, пожалуйста, пришлите мне весточку нынче же вечером, если молодой Диккенсон в чем-нибудь нуждается.

— Непременно, Чарльз. До скорой встречи.

Обернувшись в последний раз, я не узнал Диккенса со спины: он казался гораздо старше своих лет и шагал не обычной своей уверенной скорой поступью, а еле плелся по обочине, тяжело опираясь на трость.

Глава 3

Каннибализм.

Сидя в поезде, идущем на вокзал Чаринг-Кросс, я размышлял об этом странном, диком понятии и явлении,

уже пагубно повлиявшем на жизнь Чарльза Диккенса. (Тогда я не имел понятия, сколь ужасным образом — и очень скоро — оно повлияет на мою жизнь.)

В силу какой-то своей психологической особенности Чарльз Диккенс всегда испытывал нездоровый интерес к каннибализму в прямом и переносном смысле слова. В ходе своего публичного расставания с Кэтрин и сопутствующего скандала, который он старательно раздувал и предавал гласности (хотя сам он никогда не признал бы данного факта), писатель неоднократно говорил мне: «Они едят меня заживо, Уилки. Мои враги, семейка Хогарт, введенная в заблуждение общественность, желающая верить в самое худшее, — все они пожирают меня кусок за куском».

В течение последних десяти лет Диккенс часто приглашал меня с собой в Лондонский зоологический сад, в каковых походах неизменно находил огромное наслаждение. Но как бы он ни любил наблюдать за семейством гиппопотамов, экзотическими птицами в вольере и львами в клетке, главной целью для него всегда оставалось посещение террариума в час кормления рептилий. Диккенс ни разу не пропустил этого действа и постоянно торопил меня, чтобы поспеть ко времени. Рептилий — а именно змей — кормили мышами и крысами, и это зрелище, казалось, гипнотизировало моего друга (который, будучи сам гипнотизером, решительно противился всякому гипнозу). В такие минуты он застывал, словно пригвожденный к месту. И не единожды, сидя со мной в экипаже, в театре перед началом спектакля или даже в собственной своей гостиной, Диккенс вспоминал вслух, как зачастую две змеи одновременно набрасывались с разных сторон на крысу, а несчастный грызун продолжал судорожно бить по воздуху всеми четырьмя лапами, когда его голова и хвост уже скрывались в змеиных пастях с мощными челюстями, неумолимо двигавшихся навстречу друг другу.

Всего за несколько месяцев до Стейплхерстской катастрофы Диккенс по секрету признался мне, что ножки

ванны, столов, кресел и даже толстые шнуры портьер у него в доме представляются ему змеями, медленно пожирающими ванну, столешницы, кресельные сиденья и занавеси соответственно. «Когда я не смотрю, дом пожирает сам себя, дорогой Уилки», — сказал мне мой друг как-то за пуншем. Он также сказал, что часто на разных банкетах (как правило, банкетах в его честь) он вдруг окидывает взглядом сидящих за длинным столом соратников, друзей и коллег, поглощающих куски телятины, баранины или курятины, и на мгновение, на одно ужасное мгновение ему чудится, будто все они подносят ко рту судорожно дергающиеся конечности. Но конечности не мышиные и не крысиные, а... человеческие. Диккенс сказал, что подобные видения... ну, сильно действуют на нервы.

Но именно каннибализм в подлинном смысле слова (или, во всяком случае, устойчивые слухи о нем) изменил ход жизни Чарльза Диккенса одиннадцать лет назад.

В октябре 1854-го вся Англия содрогнулась, прочитав отчет доктора Джона Рэя о находках, обнаруженных в ходе поисков пропавшей экспедиции Франклина.

Если вы никогда не слышали об экспедиции Франклина, дорогой читатель далекого будущего, мне надлежит сказать лишь, что в 1845 году сэр Джон Франклин со ста двадцатью девятью людьми предпринял попытку исследования Арктики на двух кораблях Британского военно-морского флота — «Эребус» и «Террор». Они отплыли в мае 1845-го. Главной их задачей было пройти по Северо-Западному проходу, соединяющему Атлантический и Тихий океаны (Англия всегда мечтала о новых и более коротких торговых путях на Дальний Восток). Франклин, самый старший участник экспедиции, был опытным путешественником, и все с уверенностью рассчитывали на успех смелого предприятия. В последний раз «Эребус» и «Террор» видели в Баффиновом заливе в конце лета 1845-го. Через три или четыре года, в течение которых от Франклина и его людей не поступило ни единой весточки, даже командование Военно-морского

флота забеспокоилось и снарядило несколько спасательных экспедиций. Но корабли так до сего дня и не найдены.

И парламент, и леди Франклин назначили огромное вознаграждение. Поисковые экспедиции — не только из Британии, но также из Америки и других стран — исходили Арктику вдоль и поперек в попытках найти Франклина и его людей или по крайней мере какие-нибудь свидетельства, дающие представление об участи, их постигшей. Леди Франклин твердо верила, что ее муж и команды обоих кораблей по-прежнему живы, и почти никто из правительства и флотского командования не решался переубеждать ее, даже когда большинство англичан оставили всякую надежду.

Доктор Джон Рэй, служащий торговой Компании Гудзонова залива, совершил сухопутную экспедицию в Северное Заполярье и на протяжении нескольких сезонов исследовал удаленные от материка острова (там нет ничего, кроме мерзлого гравия да бесконечных вьюг) и обширные пространства арктического ледового панциря, где бесследно сгинули «Эребус» и «Террор». В отличие от британских моряков и большинства других спасателей, Рэй жил в разных эскимосских племенах, овладел примитивными местными наречиями и в своем отчете процитировал показания многих аборигенов. Он привез из путешествия различные предметы — медные пуговицы, фуражки, столовые блюда с полустертым гербом сэра Джона, письменные инструменты, — принадлежавшие Франклину и прочим участникам экспедиции. Под конец Рэй обнаружил останки человеческих тел, как захороненных в мелких могилах, так и непогребенных, — в том числе два скелета, сидящих в корабельной шлюпке, установленной на санях.

Англию потрясли не только эти страшные доказательства гибели франклиновской экспедиции, но и представленные Рэем свидетельства эскимосов, из которых следовало, что Франклин и его люди не просто погибли, а еще и предавались каннибализму в последние дни

своей жизни. Дикари рассказали Рэю, что не раз наталкивались на стоянки белых людей, где находили обглоданные человеческие кости, груды отрубленных конечностей и даже высокие сапоги с сохранившимися в них ступней и голенью.

Разумеется, леди Франклин пришла в ужас и решительно отказалась принимать на веру отчет Рэя (она даже снарядила на собственные средства очередной корабль, чтобы возобновить поиски мужа). Чарльза Диккенса тоже ужаснула — и чрезвычайно возбудила — мысль о каннибализме.

Он начал публиковать статьи о предполагаемой трагедии не только в своем журнале «Домашнее чтение», но и в других изданиях. На первых порах он просто выражал сомнения и заявлял, что доктор Рэй «поторопился с выводом, будто участники экспедиции поедали тела умерших товарищей». Он просмотрел «уйму книг», говорил Диккенс (хотя не уточнял, каких именно), и утвердился в своем мнении, что «бедным людям Франклина и в голову не могла прийти мысль о поедании своих умерших товарищей».

Когда все англичане начали либо верить в истинность представленного Рэем отчета (он потребовал-таки у правительства вознаграждение за неопровержимые доказательства факта гибели франклиновской экспедиции), либо забывать прискорбную историю, диккенсовские возражения приобрели яростный характер. В «Домашнем чтении» он обрушился с убийственной критикой на «дикарей» — так он называл всех людей с небелым цветом кожи, но в данном случае коварных, лживых, не заслуживающих доверия эскимосов, с которыми жил и общался Рэй. В наше время Диккенс считался крайним либералом, но почему-то никто не усомнился в его либерализме, когда он, выступая от лица английской нации, заявил: «...по нашему твердому убеждению, все дикари в глубине души трусливы, вероломны и жестоки». Такого просто быть не может, утверждал он, чтобы хоть один из людей сэра Джона Франклина «для продления своего

существования прибег к столь чудовищной мере, как поедание тел погибших товарищей...»

В доказательство своей точки зрения наш друг привел чрезвычайно странный довод. Из всей просмотренной «уймы книг» он выбрал в качестве авторитетного источника «Сказки 1001 ночи» — одну из книг, оказавших на него самое сильное влияние в детстве, как он неоднократно говорил мне, — и в заключение статьи написал: «В обширном цикле „Сказок 1001 ночи" только вампиры, чернокожие одноглазые великаны, громадные чудовища ужасной наружности и богомерзкие твари, украдкой выползающие на морской берег... прибегают к поеданию человеческой плоти, или каннибализму».

Вот вам и пожалуйста. *Quod erat demonstrandum*[1].

В 1856 году борьба Диккенса против гипотезы о каннибализме среди благородной команды сэра Джона Франклина приняла новую форму — и я оказался непосредственно причастен к делу.

Во время нашего совместного пребывания во Франции (в таких поездках Диккенс неизменно называл меня «мой порочный друг», а наши прогулки по Парижу «опасными вылазками», хотя при всем своем интересе к ночной жизни города и молоденьким актрисам он никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения, в отличие от меня) Диккенс предложил мне написать пьесу для постановки в домашнем театре в Тэвисток-хаусе. Драму о пропавшей арктической экспедиции вроде франклиновской, воспевающую мужество и доблесть англичан. А также повествующую о любви и самопожертвовании.

— Почему бы вам самому не написать ее, Чарльз? — естественно, спросил я.

Он просто не может. Он начинает работу над «Крошкой Доррит», выступает с публичными чтениями, издает свой журнал... Нет, пьесу должен написать я. Диккенс

[1] Что и требовалось доказать *(лат.)*.

предложил название «Замерзшая пучина», поскольку история будет не только о ледяной пустыне, но и о сокровенных глубинах человеческой души. Он пообещал помочь мне со сценарием и «подредактировать текст», из чего я тотчас заключил, что автором будет он, а я — просто механизмом для запечатления слов на бумаге.

Я согласился.

Мы начали работать над «Замерзшей пучиной» в Париже — вернее, это я начал работать, пока Диккенс бегал по званым обедам, банкетам и прочим светским мероприятиям. К концу жаркого лета 1856 года мы оба вернулись в Лондон, и я остановился в Тэвисток-хаусе. Наши привычки, писательские и человеческие, не всегда совпадали. Во Франции я засиживался в казино далеко за полночь, а Диккенс имел стойкое обыкновение завтракать между восемью и девятью. Мне не раз приходилось завтракать гусиным паштетом в одиночестве около полудня. И в Тэвисток-хаусе, и позже в Гэдсхилле Диккенс неизменно работал с девяти утра до двух-трех часов пополудни, и все до единого в доме, члены семьи и гости, тоже должны были заниматься какими-нибудь делами в течение этого времени. Я часто наблюдал, как дочери Диккенса или Джорджина притворяются, будто вычитывают корректурные оттиски, пока писатель сидит в своем кабинете за закрытой дверью. Тогда (еще до появления второго Уилки Коллинза, исполненного решимости занять мое место за письменным столом) я предпочитал работать по ночам, а потому мне приходилось искать убежище в библиотеке, где я мог выкурить сигару и соснуть днем. Нередко Диккенс неожиданно выходил из своего кабинета, вытаскивал меня из моего укрытия и заставлял вернуться к работе.

Моя работа — наша работа — над драмой продолжалась всю осень. По моей задумке главный герой, Ричард Уордор (играть его предстояло Диккенсу, разумеется), должен был сочетать в себе черты неукротимого сэра Джона Франклина и его заместителя, довольно заурядного ирландца по имени Френсис Крозье. Я намеревался

вывести Уордора пожилым мужчиной, не очень компетентным (в конце концов, все участники франклиновской экспедиции погибли) и слегка помешанным. Возможно даже, до известной степени персонажем отрицательным.

Диккенс полностью отверг мой замысел и превратил Ричарда Уордора в молодого человека, обладающего ясным, острым умом, сложным характером и вспыльчивым нравом, но готового (как показывается в конце пьесы) на жертвенный подвиг. «Всю жизнь искавший истинную любовь, но так и не нашедший», — среди всего прочего писал Диккенс в пространных заметках по поводу образа главного героя. Он сочинил множество монологов Уордора, но не показывал их мне вплоть до последних наших репетиций (да, я играл одну из главных ролей в этом любительском спектакле). Во время визитов в Тэвистокхаус я часто видел, как Диккенс отправляется на свою двадцатимильную прогулку по окрестным полям или возвращается с нее, зычным голосом репетируя монологи Уордора собственного сочинения: «Юная девушка с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Юная, любящая и милосердная. Я храню сей образ в памяти, хотя все прочие воспоминания померкли. Я буду бесприютно странствовать по свету, не ведая сна и покоя, покуда не найду ее!»

Задним числом легко понять искренность и глубину чувств, владевших Диккенсом в тот год, когда его супружеская жизнь близилась к концу (причем по его воле). Писатель всю жизнь ждал и искал такую вот юную особу с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Для Диккенса мир грез всегда был более реальным, чем повседневная действительность, и он с самой юности рисовал в своем воображении эту непорочную, заботливую, молодую, красивую (и милосердную) женщину.

Премьера моей пьесы состоялась в Тэвисток-хаусе 6 января 1857 года — в канун Крещения, по случаю которого Диккенс всегда устраивал какие-нибудь особые мероприятия, и в день рождения его сына Чарли. Писатель не пожалел трудов, чтобы приблизить любительскую постановку к профессиональному уровню: приказал плотникам переоборудовать классную комнату в театральный зал, способный вместить свыше пятидесяти зрителей, распорядился снести имевшуюся там маленькую сцену и построить полноразмерную в широком эркере; заказал музыку к спектаклю и нанял оркестр; пригласил профессиональных оформителей, чтобы они спроектировали и изготовили сложные декорации; потратил целое состояние на костюмы (позже он хвастался, что мы, «полярные путешественники» из постановки, запросто могли бы отправиться из Лондона прямиком на Северный полюс в нашем настоящем арктическом обмундировании); самолично проследил за установкой осветительных приборов и изобрел затейливые световые эффекты для воспроизведения причудливой атмосферы полярных дней, сумерек и ночей.

Сам Диккенс привнес странную, напряженную, сдержанную, но невероятно мощную страстность в эту сугубо мелодраматическую роль. Писатель заранее предупредил, что в сцене, когда несколько из нас пытаются удержать «Уордора», убегающего за кулисы в приступе душевной муки, он «намерен драться по-настоящему» и нам придется напрячь все силы, чтобы остановить его. Как оказалось, он еще мягко выразился. Несколько актеров наполучали синяков и шишек еще в ходе репетиций. Сын Диккенса Чарли позже писал моему брату: «В какой-то момент он увлекался до такой степени, что нам действительно приходилось драться, точно профессиональным боксерам. Что же касается до меня, то я, будучи предводителем группы нападавших, неизменно оказывался в самой гуще потасовки и два или три раза был избит до синяков еще до премьеры».

Перед первым показом спектакля наш общий друг Джон Форстер прочитал пролог, который Диккенс написал в последний момент, по своему обыкновению пытаясь растолковать всем, что он сравнивает сокрытые глубины человеческой души с ужасной замерзшей пучиной Арктики:

...чтоб заключенную в нас бездну,
Закованную в панцирь ледяной,
Исследовать пытливою рукой
И к полюсу души найти проход,
Тьму разгоняя, растопляя лед, —
Познать, прозрев бездонные глубины,
В нас скрытую «Замерзшую пучину».

По прибытии поезда в Лондон я отправился на Чаринг-Кросс не сразу.

Жизнь мне издавна отравляла — отравляет ныне и будет отравлять до скончания моих дней — ревматоидная подагра. Иногда она обостряется в ноге. Чаще перемещается в голову и гнездится, подобно раскаленному железному штырю, за правым глазом. Я справляюсь с постоянной болью (а она действительно не проходит ни на минуту) благодаря силе характера. И еще с помощью опиума в форме лауданума.

В тот день, прежде чем выполнить поручение Диккенса, я взял на вокзале кеб — идти пешком я уже не мог — и доехал до аптекарской лавки, расположенной рядом с моим домом. Аптекарь там (как и многие другие его коллеги в Лондоне и других городах) знал о моей беспрестанной борьбе с физическими страданиями и продавал мне болеутоляющее средство в количествах, какие обычно предназначаются для практикующих врачей, то есть бутылями.

Осмелюсь предположить, дорогой читатель, что в ваше время лауданум по-прежнему используется — если только медицина не изобрела широкодоступный препарат, действующий еще эффективнее. Но на случай, если я ошибаюсь, позвольте мне сказать несколько слов об этом лекарстве.

Лауданумом называется спиртовая настойка опиума. На первых порах болезни я — по совету моего врача и друга Фрэнка Берда — просто разводил четыре капли опиума в половине или целом бокале красного вина. Потом доза увеличилась до восьми капель. Потом я начал принимать по восемь-десять капель опиума с вином два раза в день. В конце концов я обнаружил, что готовый препарат под названием лауданум, состоящий из равных частей опиума и спирта, утоляет невыносимую боль гораздо эффективнее. В последние месяцы у меня выработалась привычка — видимо, пожизненная — пить неразбавленный лауданум из стакана или прямо из бутылки. Признаться, когда однажды я у себя дома осушил целый стакан лекарства в присутствии знаменитого хирурга сэра Уильяма Фергюссона — не сомневаясь, что уж он-то всяко поймет необходимость подобной меры, — почтенный доктор потрясенно воскликнул, что такого количества лауданума хватило бы, чтобы убить всех сидящих за столом. (Тогда в гостях у меня находились восемь мужчин и одна женщина.) После того случая я стал скрывать, в каких дозах принимаю препарат, хотя никогда не утаивал, что употребляю спасительный наркотик.

Прошу вас понять, дорогой читатель моего посмертного будущего: в нынешнее время лауданум принимают все. Или почти все. Мой отец, не доверявший никаким медикаментам, в последние дни своей жизни поглощал в огромных количествах микстуру Бэттли, представляющую собой крепкую настойку опиума. (А я уверен, что мои подагрические боли по меньшей мере столь же нестерпимы, как предсмертные муки, которые он испытывал.) Я помню, как поэт Кольридж, близкий друг моих родителей, слезно жаловался на свое болезненное пристрастие к опиуму, и помню, как моя мать предостерегала его против злоупотребления наркотиком. Но я также всегда напоминал нескольким своим друзьям, бестактно порицавшим мою зависимость от спасительного лекарства, что сэр Вальтер Скотт принимал лауданум в изрядных дозах, когда писал «Ламмермурскую невесту»,

а такие наши с Диккенсом современники, как наш добрый приятель Бульвер-Литтон и Де Куинси, употребляли препарат в гораздо больших количествах, нежели я.

Зная, что Кэролайн и ее дочери Хэрриет сейчас нет в городе, я из аптеки заехал к себе домой (в один из двух своих лондонских особняков, расположенный по адресу Мелкомб-плейс, девять, Дорсет-Сквер) и там спрятал под замок новую бутыль лауданума, предварительно выпив два полных стакана.

Через несколько минут я снова стал самим собой — в той мере, в какой можно стать самим собой, когда подагрическая боль все еще стучит в окна и скребется в двери твоей телесной оболочки. Во всяком случае, после приема опиата боль несколько утихла и ко мне вернулась ясность мысли.

Я взял наемный экипаж и поехал на Чаринг-Кросс.

«Замерзшая пучина» имела огромный успех.

Действие первого акта происходит в Девоне, где прелестная Клара Бернем (ее играла самая привлекательная из дочерей Диккенса, Мейми) терзается страхом за своего удалого жениха Фрэнка Олдерсли (чью роль исполнял я, тогда только-только отпустивший бороду, которую ношу и поныне). Олдерсли покинул Англию в составе полярной экспедиции, посланной, как и реальная экспедиция сэра Джона Франклина, на поиски Северо-Западного морского пути, и оба корабля — «Уондерер» и «Си-Мью» — исчезли свыше двух лет назад. Клара знает, что начальником экспедиции является капитан Ричард Уордор, чье предложение о браке она отвергла. Уордор не знает личности соперника, снискавшего любовь Клары после него, но поклялся убить его при первой же встрече. Мой персонаж, Фрэнк Олдерсли, в свою очередь даже не догадывается о любви Ричарда Уордора к своей невесте.

Клара понимает, что два корабля почти наверняка затерты льдами где-то в Арктике, и содрогается до глубины души при мысли, что два влюбленных в нее мужчины

могут случайно узнать о своем соперничестве. Таким образом, бедная Клара не только мучается тревогой за возлюбленного, который может пострадать от лютого арктического холода, свирепых белых медведей и жестоких дикарей, но также изнывает от ужаса, представляя, что может сделать Ричард Уордор с ее дорогим Фрэнком, коли узнает правду.

Кларе отнюдь не становится легче, когда ее няня Эстер, обладающая даром ясновидения, рассказывает о своем кровавом видении в час багрового девонского заката. (Как я упомянул выше, Диккенс не пожалел трудов, чтобы создать в своем маленьком домашнем театре в Тэвисток-хаусе световые эффекты, реалистично воспроизводящие природное освещение в любое время суток.)

«Я вижу ягненка в когтях у льва... — сдавленным голосом говорит няня Эстер в ясновидческом трансе. — Твой пригожий голубок остался один на один с хищным ястребом... я вижу, как ты и все вокруг горько плачут... Кровь! Я вижу пятно на твоем платье... О дитя мое, дитя мое... то пятно крови!»

Молодого человека звали *Эдмонд* Диккенсон.

Диккенс сказал, что снял для него комнату в отеле «Чаринг-Кросс», но на самом деле это оказались просторные апартаменты. Пожилая и не очень привлекательная сиделка, дежурившая в гостиной, провела меня к пострадавшему.

Диккенс столь подробно рассказывал об усилиях, потребовавшихся для извлечения мистера Диккенсона из-под груды обломков, и столь красочно описывал окровавленные, изодранные одежды несчастного, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, что я ожидал увидеть на кровати сплошь обмотанный бинтами полутруп с заключенными в гипсовые лубки и подвешенными на растяжках конечностями. Но молодой Диккенсон, облаченный в пижаму и халат, сидел в постели с книгой, когда я вошел. На комоде и ночных столиках стояли цветы в вазах, в том числе букет алых гераней,

вызвавший у меня слабое подобие панического чувства, испытанного мной во дворе Гэдсхилл-плейс.

Диккенсон оказался круглолицым, розовощеким молодым человеком лет двадцати, с жидкими рыжеватыми волосами, уже редеющими над розовым лбом, с голубыми глазами и изящно вырезанными ушами, похожими на крохотные морские раковины.

Я представился, объяснил, что мистер Диккенс прислал меня справиться о самочувствии пострадавшего, и премного изумился, когда Диккенсон с энтузиазмом выпалил:

— О мистер Коллинз! Визит столь знаменитого писателя — великая честь для меня! Мне очень понравилась ваша «Женщина в белом», печатавшаяся выпусками в «Домашнем чтении» сразу после «Повести о двух городах» мистера Диккенса!

— Благодарю вас, сэр, — промолвил я, чуть не зардевшись от комплимента; действительно, «Женщина в белом» пользовалась огромным успехом и обеспечила более высокие продажи журнала, чем большинство романов Диккенса. — Приятно слышать, что скромные плоды моих трудов пришлись вам по душе, — добавил я.

— О да, роман превосходный, — сказал молодой Диккенсон. — Вам очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс.

Я уставился на него с каменным лицом, но мое холодное молчание осталось незамеченным, ибо Диккенсон возбужденно заговорил о Стейплхерстской катастрофе, кошмарных последствиях крушения и о невероятном мужестве и великодушии Чарльза Диккенса.

— Уверен, я не сидел бы сейчас здесь перед вами, если бы мистер Диккенс не нашел меня под грудой обломков, — я висел вниз головой и едва дышал, мистер Коллинз! И он ни на шаг не отходил от меня, покуда не призвал на помощь кондукторов, дабы извлечь меня из вагона, и не проследил за тем, чтобы они отнесли меня к железнодорожному полотну, где раненых готовили

к эвакуации. Мистер Диккенс неотступно находился рядом со мной в санитарном поезде, а по прибытии в Лондон — как вы сами видите! — настоял на том, чтобы поселить меня в этом прекрасном номере и приставить ко мне сиделок до полного моего выздоровления.

— Вы серьезно пострадали? — осведомился я совершенно бесстрастным тоном.

— О нет, ничуть! Отделался синяками да шишками — спина, грудь, ноги и левая рука сплошь черные. Я три дня не вставал, но сегодня сиделка помогла мне дойти до туалета и обратно, каковой поход оказался мне вполне по силам!

— Я очень рад, — промолвил я.

— Я собираюсь отправиться домой завтра, — продолжал трещать юноша. — Я никогда не смогу отблагодарить мистера Диккенса за великодушие. Он поистине спас мне жизнь! И он пригласил меня к себе в Гэдсхилл на Новый год!

На дворе стояло двенадцатое июня.

— Замечательно, — сказал я. — Уверен, Чарльз высоко ценит жизнь, в спасении которой участвовал. Так, значит, вы собираетесь домой завтра, мистер Диккенсон. Можно ли поинтересоваться, где вы живете?

Диккенсон снова затараторил. Он круглый сирота (особо любимый Чарльзом Диккенсом человеческий тип, если судить по «Оливеру Твисту», «Дэвиду Копперфилду» или «Холодному дому»), но еще в детстве унаследовал состояние через замысловатые хитросплетения родственно-наследственных связей и был поручен заботам пожилого опекуна, по сей день проживающего в чудесном нортгемптонширском поместье, которое вполне могло бы послужить прототипом Чесни-Уолда[1]. В настоящее время, однако, молодой Диккенсон предпочитает жить в скромных наемных комнатах в Лондоне, один. Он почти (или вовсе) ни с кем не водит знакомства, учится игре на разных музыкальных инструментах, не имея

[1] Поместье из вышеупомянутого романа «Холодный дом».

намерения заниматься музыкой всерьез, и осваивает разные профессии, не собираясь применять на практике приобретенные навыки. Дохода с капитала вполне хватает на еду, книги, походы в театр и поездки к морю — он живет в свое удовольствие.

Мы поговорили о театре и литературе. Выяснилось, что молодой мистер Диккенсон — подписчик не только нынешнего диккенсовского журнала «Круглый год», но и предыдущего, «Домашнее чтение», — читал мой рассказ «Странная кровать» и остался от него в восторге.

— Господи! — воскликнул я. — Да ведь он печатался почти пятнадцать лет назад! Вам тогда было, наверное, лет пять, не больше!

Молодой Диккенсон покраснел: сначала у него загорелись маленькие раковиноподобные уши, потом зарделись щеки, а потом румянец, подобно розовому плющу, поднялся по вискам и разлился по широкому бледному лбу, расползшись даже под редкими соломенными волосами.

— На самом деле семь, сэр, — сказал сирота. — Но мой опекун, мистер Уотсон — либерально настроенный член парламента, — держал в своей библиотеке переплетенные подшивки «Панча» и журналов вроде «Домашнего чтения». Моя любовь к литературе зародилась и окрепла именно там.

— Вот как, — сказал я. — Очень интересно.

Пятнадцать лет назад мое поступление на должность сотрудника «Домашнего чтения» означало для меня просто-напросто дополнительные пять фунтов в неделю. Но для этого сироты оно, похоже, имело огромное значение. Он чуть ли не наизусть знал мою книгу «Под покровом тьмы» и почтительно изумился, когда я сказал, что почти все рассказы из сборника основаны на дневниковых записях моей матери и литературно обработанной рукописи, где она вспоминает о своем браке со знаменитым художником.

По ходу разговора выяснилось, что тринадцатилетний Эдмонд Диккенсон ездил со своим опекуном в Ман-

честер, чтобы увидеть спектакль «Замерзшая пучина», дававшийся в огромном зале Фри-Трейд-Холла 21 августа 1857 года.

Действие второго акта «Замерзшей пучины» происходит в Арктике, где Уордор (Диккенс) обсуждает со своим заместителем, капитан-лейтенантом Крейфордом, скудные шансы на выживание в условиях голода и холода.

«Никогда не идите на поводу у желудка, и в конечном счете ваш желудок полностью подчинится вам», — говорит бывалый путешественник Крейфорду. Такая сильная воля, не признающая над собой ничьей власти, присуща не только персонажу, созданному пером Диккенса, но и самому писателю.

Далее Уордор объясняет, что любит арктическую пустыню именно потому, что «здесь нет женщин». В этом же акте он восклицает: «Я готов принять любые обстоятельства, воздвигающие крепостные валы лишений, опасностей и тяжкого труда между мной и моим душевным страданием... Тяжкий труд, Крейфорд, вот истинный эликсир жизни!» И под конец говорит: «...поистине несчастным мужчину может сделать только женщина».

«Замерзшая пучина» считалась моей пьесой — на театральной афише я значился в качестве автора (а равно исполнителя одной из ролей). Но почти все монологи Уордора были написаны или переписаны Чарльзом Диккенсом.

Мысли и чувства, в них выраженные, нисколько не походили на мысли и чувства человека, счастливого в браке.

В конце второго акта двое участников экспедиции отправляются в поход по ледовой пустоши в поисках последнего шанса на спасение затертых льдами кораблей. Они должны преодолеть тысячу миль замерзшей пучины. Этими двоими являются, само собой, Ричард Уордор и его удачливый соперник в любви Фрэнк Олдерсли.

(Кажется, я уже упоминал, что мы с Диккенсом оба отпустили бороду для роли.) Второй акт заканчивается сценой, где Уордор узнает, что раненый, изнуренный голодом, еле живой от слабости Олдерсли и есть злейший его враг, которого он поклялся убить при первой же встрече.

— Вы, случайно, не видели на месте крушения некоего господина по имени Друд? — спросил я Эдмонда Диккенсона, когда молодой болван наконец умолк.

— Друд, сэр? Честно говоря, не припоминаю. Мне помогало очень много людей, и я никого из них не знаю по имени — за исключением нашего замечательного мистера Диккенса.

— Похоже, этот господин обладает весьма незаурядной наружностью.

Я перечислил особые приметы, упомянутые Диккенсом при описании Призрачного Месмериста: черный шелковый плащ и цилиндр, беспалые руки, безвекие глаза, гротескно короткий нос, мертвенная бледность, лысина, обрамленная бахромой сивых волос, жутковатый пристальный взгляд, странная скользящая походка, речь с присвистом и иностранный акцент.

— О боже, нет! — воскликнул молодой Диккенсон. — Такого человека я бы точно запомнил. — Потом взгляд его словно обратился вовнутрь — похожее выражение я несколько раз замечал на лице Диккенса в ходе нашей недавней беседы в темном кабинете. — Даже несмотря на кошмарные зрелища и дикие звуки, окружавшие меня со всех сторон в тот день, — тихо добавил он.

— Да, безусловно, — промолвил я, подавляя желание сочувственно похлопать по одеялу, накрывающему черную от синяков ногу. — Значит, вы не видели никакого мистера Друда и не слышали, чтобы кто-нибудь говорил о нем... скажем, в санитарном поезде?

— Насколько я помню — нет, мистер Коллинз, — сказал молодой человек. — А что, мистеру Диккенсу непременно нужно найти этого господина? Я бы сделал для мистера Диккенса все, что в моих силах, когда бы мог.

— Нисколько в этом не сомневаюсь, мистер Диккенсон. — На сей раз я все-таки похлопал по колену, накрытому одеялом. — Мистер Диккенс поручил мне поинтересоваться, может ли он быть еще чем-нибудь полезен вам? — Я взглянул на часы. — Нет ли у вас просьб и пожеланий, удовлетворить которые могли бы сиделки или наш общий друг?

— Ровным счетом никаких, — сказал Диккенсон. — Завтра я уже достаточно оправлюсь, чтобы покинуть гостиницу и снова зажить самостоятельно. Я держу кошку, знаете ли. — Он тихо рассмеялся. — Вернее, это она держит меня. Хотя, как свойственно многим представителям кошачьего племени, она приходит и уходит когда пожелает, сама добывает пропитание и, уж конечно, не претерпела никаких неудобств из-за моего отсутствия. — Лицо юноши опять приобрело отстраненное выражение, словно перед его мысленным взором всплыли образы погибших и умирающих жертв Стейплхерстской катастрофы. — На самом деле Киса не претерпела бы никаких неудобств, умри я три дня назад. Никто не опечалился бы по поводу моей кончины.

— А ваш опекун? — мягко спросил я, желая предотвратить у собеседника приступ жалости к себе.

Диккенсон весело рассмеялся:

— Мой нынешний опекун — известный юрист, в прошлом водивший знакомство с моим дедом, — оплакивал бы мою смерть, мистер Коллинз, но наши отношения носят скорее деловой характер. Киса — единственный мой друг в Лондоне. Да и во всем мире.

Я коротко кивнул:

— Я проведаю вас утром, мистер Диккенсон.

— О, в этом нет необходимости...

— Наш общий друг Чарльз Диккенс считает иначе, — быстро сказал я. — Возможно, коли здоровье ему позволит, он самолично навестит вас завтра и справится о вашем самочувствии.

Диккенсон снова покраснел. Румянец смущения не портил юношу, хотя и придавал ему еще более безвольный и глуповатый вид сейчас, в свете предвечернего

июньского солнца, пробивавшемся сквозь гостиничные портьеры. Взяв свою трость и кивнув на прощанье, я покинул молодого Эдмонда Диккенсона, прошагал через гостиную мимо безмолвной сиделки и вышел прочь.

В начале третьего акта «Замерзшей пучины» Клара Бернем отправляется на Ньюфаундленд в надежде узнать что-нибудь о пропавшей экспедиции (так же поступила леди Франклин, отплывшая со своей племянницей Софией на наемном корабле на Крайний Север в поисках своего мужа, сэра Франклина). В ледяную пещеру на диком берегу острова, шатаясь, входит истощенный, обессиленный человек, пришедший со стороны замерзшего океана. Клара узнает Уордора и истерически обвиняет его в том, что он убил (а может, и съел, думают зрители) ее жениха Фрэнка Олдерсли. Уордор (Диккенс) выбегает из пещеры и возвращается, таща на руках живого Олдерсли (меня, в изодранных одеждах, едва прикрывающих наготу). «В долгом пути по занесенным снегом ледовым полям, — задыхаясь, говорит Уордор, — не раз я испытывал искушение оставить Олдерсли умирать».

После этих слов Диккенс — Ричард Уордор — валится с ног, ибо смертельная усталость, голод и невероятное напряжение сил, потребовавшееся от него для спасения соперника, наконец делают свое дело. Уордор с трудом выговаривает: «Сестра моя, Клара!.. Поцелуй меня, сестра, поцелуй меня напоследок!» Потом он испускает дух на руках у Клары, которая запечатлевает поцелуй на щеке умирающего, орошая слезами его лицо.

На генеральной репетиции меня чуть не вырвало прямо на сцене. А после каждого из четырех представлений «Замерзшей пучины», данных в Тэвисток-хаусе, я просыпался ночью в слезах и слышал свой шепот: «Это ужасно». Вы вольны понимать это, как вам угодно, дорогой читатель.

Актерская игра Диккенса была мощной и... странной. Уильям Мейкпис Теккерей, посетивший премьеру

спектакля, позже отозвался о Диккенсе следующим образом: «Если бы сейчас Чарльз пошел на профессиональную сцену, он зарабатывал бы по двадцать тысяч фунтов в год».

В 1857 году это было огромным преувеличением, но к моменту Стейплхерстской катастрофы Диккенс почти столько и зарабатывал «актерством», выступая с публичными чтениями в Соединенных Штатах и Англии.

На всех четырех представлениях «Замерзшей пучины» в Тэвисток-хаусе зрители рыдали как дети. Репортеры, приглашенные Диккенсом на премьерные показы, открыто признавали, что остались под глубоким впечатлением от игры Диккенса, поражавшего своей полной погруженностью в роль Ричарда Уордора. Все до единого отмечали напряженную страстность моего друга — своего рода темную энергию, потоки которой заполняли зал и затягивали зрителей в вихревую воронку.

После четвертого, и последнего, представления «Замерзшей пучины» Диккенс впал в угнетенное состояние. Он писал мне о «печальных звуках», доносящихся из классной залы, где рабочие «крушат и ломают» театральную сцену.

Диккенса настойчиво просили продолжить показ спектакля по моей драме, многие сулили изрядную прибыль. Пошли слухи (оказавшиеся достоверными), что «Замерзшую пучину» желает увидеть сама королева. Но он отверг все подобные предложения. Никто из нас, участников любительской постановки, не хотел выступать за деньги. Но в июне 1857 года — рокового года, когда семейная жизнь Диккенса бесповоротно изменилась, — писателя глубоко потрясло известие о смерти нашего общего друга Дугласа Джеролда.

Диккенс рассказывал мне, что всего за несколько дней до прискорбного события ему приснилось, будто он читает рукопись Джеролда, предназначенную для публикации, но не понимает смысла слов. Этот кошмар преследует любого писателя — внезапное обессмысливание

языка, питающего и кормящего нас, — но Диккенса сильно поразило, что он увидел жуткий сон именно тогда, когда Джеролд лежал на смертном одре (о чем никто из нас не знал).

Зная, что семья Джеролда останется в крайне стесненных обстоятельствах (Джеролд являлся гораздо более решительным сторонником реформ, чем когда-либо будет Диккенс при всех своих героических позах), Диккенс предложил устроить ряд благотворительных мероприятий: Т. П. Кук возобновляет постановку двух пьес Джеролда, «Черноглазая Сьюзен» и «День внесения арендной платы», Теккерей и Рассел выступают с лекциями, а сам Диккенс проводит дневные и вечерние публичные чтения. Ну и разумеется, мы снова играем «Замерзшую пучину».

Диккенс поставил цель собрать две тысячи фунтов для семьи Джеролда.

Мы арендовали картинную галерею на Риджент-стрит, чтобы дать там ряд представлений. Королева, всегда избегавшая посещать благотворительные мероприятия в пользу частных лиц, не только поддержала наши усилия, но также письменно сообщила о своем страстном желании увидеть «Замерзшую пучину» и предложила мистеру Диккенсу выбрать в Букингемском дворце любой зал, где можно устроить закрытый спектакль для ее величества и ее гостей.

Диккенс ответил отказом, объяснив свою позицию достаточно убедительно: его дочери, занятые в постановке, еще не были представлены при дворе, он не хочет, чтобы они впервые появились перед королевой в качестве актрис. Он предложил ее величеству прийти на закрытый показ спектакля в картинную галерею за неделю до сбора пожертвований и привести с собой своих гостей. Столкнувшись с железной волей Неподражаемого, королева согласилась.

Мы играли перед ней 4 июля 1857 года. В числе гостей ее величества присутствовали принц Альберт, король Бельгии и принц Прусский. В честь последнего Диккенс

приказал украсить вестибюль и лестницы цветами. Признаюсь, иные из нас опасались, что царственные особы будут реагировать на происходящее на сцене не так бурно, как публика, собиравшаяся в Тэвисток-хаусе зимой, но Диккенс заверил нас, что королева и ее гости будут смеяться в смешных местах, плакать в местах печальных и сморкаться ровно в таких моментах пьесы, когда это делали наши зрители попроще. И добавил, что во время водевиля «Дядюшка Джон», который пойдет после «Замерзшей пучины», многие царственные лица будут ржать как лошади. Как обычно, он оказался прав во всех отношениях.

После представления восхищенная королева пригласила Диккенса подойти к ней и принять изъявления благодарности.

Он отклонил приглашение.

На сей раз он объяснил свой отказ следующим образом: «Я не могу себе позволить предстать перед ее величеством усталым, разгоряченным, с гримом на лице».

Разумеется, на самом деле Диккенс не пожелал подойти к ее величеству вовсе не потому, что не успел смыть жирный грим. Просто в тот момент он еще оставался в костюме заглавного героя нашего романтического водевиля «Дядюшка Джон»: в мешковатом халате, нелепом парике и с красным накладным носом. Чарльз Диккенс, один из самых гордых и самодовольных людей на свете, ни за что не согласился бы появиться перед королевой Викторией в таком шутовском обличье.

И снова королева любезно уступила воле писателя.

Мы дали еще два представления «Замерзшей пучины» в картинной галерее, но, хотя драма снова вызвала безумное восхищение и самые восторженные отзывы у всех зрителей, а сборы от нее составили львиную долю средств, поступивших в фонд помощи семье Джеролда, двух тысяч фунтов у нас так и не набралось.

Джон Дин, директор манчестерской художественной галереи, уже давно настойчиво уговаривал Диккенса

сыграть «Замерзшую пучину» во Фри-Трейд-Холле. Не желая удовольствоваться суммой меньше обещанных Джеролдам двух тысяч фунтов, наш писатель безотлагательно отправился в Манчестер, чтобы выступить там с публичными чтениями «Рождественской песни» и осмотреть концертный зал, свободно вмещавший две тысячи человек.

Он сразу решил, что лучшего места для показа спектакля не найти, но зал слишком велик для скудных актерских способностей его дочерей и свояченицы Джорджины, исполнявших главные роли. (Чарльзу Диккенсу ни на миг не пришло в голову, что *он* может не соответствовать требованиям, предъявляемым актеру, выступающему в столь огромном зале перед столь многочисленной публикой. Он по опыту знал, что в состоянии подчинить своему магнетическому влиянию трех-, четырехтысячную толпу.)

Значит, придется нанять профессиональных актрис и провести с ними репетиции. (Марк Лемон, сын Диккенса Чарли и я были оставлены в труппе, но Неподражаемый принялся муштровать нас так, будто мы никогда прежде не играли пьесу.)

Альфред Уиган, директор театра «Олимпик», порекомендовал Диккенсу двух своих многообещающих молодых актрис, недавно принятых в труппу, — Фанни и Марию Тернан. Диккенс тотчас одобрил предложенные кандидатуры (мы с ним уже видели на сцене обеих поименованных Тернан, а их младшая сестра и мать играли в других спектаклях), и Уиган спросил у девушек, не хотят ли они принять участие в постановке «Замерзшей пучины». Они горели желанием.

Потом Уиган посоветовал Диккенсу подумать о том, чтобы занять в спектакле мать молодых женщин, Френсис Элеонору Тернан, а равно самого младшего и самого непримечательного члена актерской семьи — некую Эллен Лоулесс Тернан, всего восемнадцати лет от роду.

Таким образом, жизнь Чарльза Диккенса бесповоротно изменилась.

Из гостиницы «Чаринг-Кросс» я направился домой. Часть пути я проехал в кебе, а часть решил пройти пешком и зашел поужинать в клуб, членом которого не являлся, но в котором имел гостевые привилегии.

Я пребывал в дурном расположении духа. Настроение мне испортил этот дерзкий щенок Диккенсон, посмевший заявить, что мне «очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс».

Когда пять лет назад, в конце лета 1860 года, в «Круглом годе» начала публиковаться моя «Женщина в белом», сразу после диккенсовской «Повести о двух городах» (а я должен вам заметить, дорогой читатель, что диккенсовский Ричард Сидни Картон почти целиком списан с моего персонажа, бескорыстного и самоотверженного Ричарда Уордора, — даже сам Диккенс признавал, что общий замысел «Повести о двух городах» возник у него во время последнего представления «Замерзшей пучины», когда он лежал на сцене и настоящие слезы Марии Тернан — новой Клары Бернем — лились на его лицо, бороду и изодранные одежды столь обильно, что ему пришлось прошептать: «Все закончится через две минуты, милое дитя. Умоляю вас, успокойтесь!»)...

О чем я, бишь?

Ах да. Когда в новом диккенсовском еженедельнике стала печататься выпусками моя «Женщина в белом» (сразу снискавшая, скромно замечу, огромный интерес и горячее одобрение читателей), в литературных кругах пошли пустые разговоры и в прессе появился ряд критических отзывов, смысл которых сводился к тому, что я, Уилки Коллинз, научился литературному ремеслу у Чарльза Диккенса, шлифовал свое мастерство под наставничеством Чарльза Диккенса и даже позаимствовал писательский стиль у Чарльза Диккенса. Многие говорили, что мне не хватает диккенсовской глубины, а иные шептались между собой, что я «неспособен живо изображать характеры».

Разумеется, это полная чушь.

По первом прочтении моей рукописи Диккенс самолично написал мне письмо, где высказался следующим

образом: «...эта книга — большой шаг вперед по сравнению с вашими предыдущими произведениями, особенно если говорить о тонкости. Характеры превосходны... Никто не мог бы сделать ничего подобного. В каждой главе я находил примеры изобретательности и удачные обороты речи».

Но Диккенс не был бы Диккенсом, если бы не подлил ложку дегтя в бочку меда, добавив, что он «издавна возражал против вашей склонности слишком подробно объяснять все читателям, ибо это неизбежно заставляет их обращать чрезмерное внимание на отдельные моменты».

На это можно ответить, что Чарльз Диккенс сам всегда слишком подробно объяснял все читателям и что слишком много простых людей, сбитых с толку самозабвенными полетами непостижимой фантазии и ненужной изощренностью слога, безнадежно теряются в густом лесу диккенсовской прозы.

Честно говоря, дорогой читатель, живущий в далеком будущем, откуда ни малейший отзвук моей искренности не может долететь ни до одного из нынешних поклонников Чарльза Диккенса, — так вот, честно говоря, в части построения сюжета я всегда был и почти наверняка останусь десятикрат лучшим мастером, чем Чарльз Диккенс. У Диккенса сюжет зачастую вырастал из его произвольных манипуляций курьезными марионеточными персонажами: если в процессе публикации какого-нибудь из его бесчисленных романов недельные продажи журнала вдруг начинали падать, он просто вводил в повествование еще более дурацкие персонажи и заставлял их расхаживать и кривляться перед доверчивым читателем — так, например, он с легкостью отправил бедного Мартина Чезлвита в Соединенные Штаты, чтобы только возбудить читательский интерес.

Моим сюжетам свойственна такая филигранность проработки, какую Чарльз Диккенс никогда не мог оценить в полной мере и какой, разумеется, не мог добиться в своих собственных предсказуемых (для любого прони-

цательного читателя), неряшливо скроенных, извилистых сюжетах, изобилующих своевольными побочными линиями.

Наглецы и невежды вроде этого щенка Эдмонда Диккенсона всегда говорили, что я постоянно учусь у Чарльза Диккенса, но дело обстояло ровно наоборот. Как я упомянул выше, Диккенс сам признавал, что образ самоотверженного Сидни Картона из «Повести о двух городах» сложился у него под впечатлением от моего Ричарда Уордора из «Замерзшей пучины». А его «старуха в белом», всем известная мисс Хэвишем, просто откровенно списана с главной героини моего романа «Женщина в белом».

Я сел за свой одинокий ужин. Я часто наведывался в этот клуб — здешний повар отменно готовил пудинг с мясом жаворонка, каковое блюдо я считаю одним из четырех величайших достижений современности. Сегодня я решил поужинать сравнительно легко и заказал паштет двух сортов, суп, несколько сладких омаров, бутылку сухого шампанского, баранью ножку, фаршированную устрицами и рубленым луком, две порции спаржи, немного тушеной говядины, чуток крабьего мяса и яичницу.

Наслаждаясь скромной трапезой, я вспомнил, что одним из немногих достоинств, нравившихся мне в жене Диккенса, являлся ее кулинарный талант — или, по крайней мере, кулинарные шедевры, готовившиеся в Тэвисток-хаусе под ее надзором, ибо я ни разу не видел, чтобы она сама надела фартук или взялась за половник. Много лет назад Кэтрин Диккенс (под псевдонимом «леди Мария Клаттербак») издала поваренную книгу «Что у нас на обед?», содержавшую рецепты блюд, которые регулярно подавались у них в доме на Девоншир-террас. Почти все блюда из репертуара Кэтрин были мне весьма по вкусу — несколько из них стояли на моем столе нынче вечером, хотя и сопровождались не столь роскошными соусами (я вообще считаю искусство приготовления

соусов верхом кулинарного мастерства), — поскольку она тоже отдавала предпочтение омарам, бараньим ножкам, жирным бифштексам и замысловатым десертам. В книге Кэтрин приводилось столько рецептов разнообразных сырных тостов, что один рецензент заметил: «Человек, поглотивший такое количество сырных тостов, просто не может остаться в живых».

Но Диккенс выжил. И ни разу за многие годы не прибавил ни фунта. Возможно, конечно, это объяснялось его привычкой проходить скорым шагом от двенадцати до двадцати миль ежедневно. Сам я малоподвижен по натуре. Мои предрасположенности и хроническая болезнь удерживают меня близ стола, кушетки и кровати. Я хожу пешком, если это необходимо, но норовлю присесть или прилечь при каждой удобной возможности. (Гостя в Тэвисток-хаусе или Гэдсхилл-плейс, я имел обыкновение прятаться в библиотеке или одной из пустующих гостевых комнат до двух-трех часов пополудни, когда Диккенс кончал работать и отправлялся на поиски спутника для своего очередного треклятого марш-броска. Разумеется, обычно Диккенс отыскивал вашего покорного слугу — выслеживая по запаху сигарного дыма, как я теперь понимаю, — и зачастую мне приходилось проходить с ним первые пару миль длинного маршрута, каковое расстояние мы покрывали минут за двадцать, если не меньше, двигаясь с невероятной скоростью.)

Нынче вечером я никак не мог выбрать между двумя десертами, а потому, приняв соломоново решение, заказал и пудинг с мясом жаворонка, и вкуснейший яблочный пудинг. А также бутылку портвейна. И кофий.

Доедая пудинг, я заметил высокого старика аристократической наружности, выходящего из-за стола в другом конце зала, и в первый момент принял его за Теккерея. Потом я вспомнил, что Теккерей умер в сочельник 1863-го, почти полтора года назад.

Я находился в этом самом клубе в качестве гостя Диккенса, когда старший писатель и Неподражаемый помирились после семи лет холодного молчания. Отноше-

ния между ними начали портиться еще во время дикой шумихи, сопровождавшей разрыв Диккенса с Кэтрин, когда мой друг был особенно раним. В Гаррик-клубе кто-то обмолвился, что у Диккенса интрижка со свояченицей, а Теккерей, явно не подумав, возразил: «Да нет, с актрисой».

Разумеется, эти слова вскорости дошли до Диккенса. Так всегда бывает. Потом один молодой журналист, друг Диккенса из числа его «верных солдат», некий Эдмонд Йетс (мне всегда казалось, что у него, как у Кассия, вечно голодный взгляд) напечатал в журнале «Таун-ток» весьма едкий и недоброжелательный очерк о Теккерее. Глубоко уязвленный, старый джентльмен обратился к правлению Гаррик-клуба с просьбой отказать молодому человеку в членстве на том основании, что «общество джентльменов не может мириться с такими поступками, как публикация пасквильных статей».

С неожиданной резкостью ополчившись на своего старого друга Теккерея, Диккенс принял сторону Йетса в конфликте и сам вышел из членов клуба, когда правление согласилось с Теккереем и вычеркнуло журналиста из клубного списка.

И именно здесь, в клубе «Атенеум», семью годами позже примирение все-таки состоялось. Диккенс при мне рассказывал Уиллсу об этом событии. «Вешая шляпу на вешалку в холле „Атенеума“, я поднял взгляд и увидел перед собой изможденное лицо Теккерея. Он походил на привидение, Уиллс, — ни дать ни взять, мертвый Марли, только цепей не хватает[1]. Я спросил: „Теккерей, вы что, были больны?“ И вот, после семи лет молчания мы завязали разговор и обменялись рукопожатием. Теперь у нас все как прежде».

Очень трогательный рассказ. И не имеющий никакого отношения к действительности.

Мне случилось быть в «Атенеуме» упомянутым вечером, и мы с Диккенсом оба увидели Теккерея. Старый

[1] Марли — вернее, его призрак — один из героев повести Диккенса «Рождественская песнь» (1843).

джентльмен надевал пальто, путаясь в рукавах, и одновременно разговаривал с двумя членами клуба. Диккенс прошагал мимо него, не удостоив взглядом. Пока я убирал свои трость и шляпу, Диккенс достиг лестницы и уже начал подниматься по ступенькам, когда старый писатель бросился за ним следом. Теккерей заговорил первым, а потом протянул Диккенсу руку. Они обменялись рукопожатием. Затем Диккенс прошел в гостиную, а Теккерей вернулся к своим собеседникам — кажется, одним из них был сэр Теодор Мартин — и сказал: «Я рад, что сделал это».

Чарльз Диккенс был человеком добрым и зачастую сентиментальным, но он никогда не шел на примирение первым. О каковом обстоятельстве мне придется еще раз вспомнить в скором времени.

Я взял кеб и по дороге домой размышлял о странном намерении Диккенса разыскать фантома по имени Друд.

Сегодня утром, слушая рассказ друга о Стейплхерстской катастрофе, я несколько раз менял свое мнение относительно правдивости той части истории, которая касалась мистера Друда. Чарльз Диккенс не был лжецом. Но Чарльз Диккенс всегда свято верил в правдивость и истинность любых своих слов по любому поводу — изреченных ли в разговоре, начертанных ли на бумаге. Если наш друг утверждал, что нечто является правдой, он неизменно убеждал себя, что так оно и есть, даже если правдой там и не пахло. Наглядным примером данного феномена служат публичные письма семилетней давности, где Диккенс возлагает вину за разрыв супружеских отношений на Кэтрин, хотя инициатором разрыва и заинтересованной в нем стороной был он.

Но зачем придумывать историю про Друда?

С другой стороны, зачем рассказывать всем, что именно он, Диккенс, первый сделал шаг к примирению с Теккереем после многолетней ссоры, когда инициативу проявил старый писатель?

Дело в том, что все вымыслы и домыслы Чарльза Диккенса — носившие, вероятно, характер неумышленный (сам будучи романистом, я знаю, что представители нашей профессии живут в мире воображения едва ли не в большей степени, чем в так называемой реальной действительности), — почти всегда преследовали цель выставить его самого в наилучшем свете.

По свидетельствам всех очевидцев, включая пухлого коротышку Эдмонда Диккенсона (чтоб его синяки воспалились, загнили и обратились в язвы), Диккенс показал себя настоящим героем на месте Стейплхерстской железнодорожной катастрофы. История про загадочного Друда, включенная в повествование, ничего не прибавляла к героизму Неподражаемого. Наоборот, явная тревога, с какой он описывал курьезного, призрачного господина, скорее отвлекала внимание от героического ореола над челом писателя.

Тогда к чему все это?

По всей видимости, решил я, на месте крушения действительно находился некий предиковинный субъект по имени Друд и что-то близко похожее на короткий разговор и последующие странные взаимодействия с ним, описанные Диккенсом, происходили на самом деле.

Но зачем разыскивать этого человека? Спору нет, в столь эксцентричном типе определенно чувствуется некая тайна, но в Англии, в Лондоне и даже на наших железных дорогах полным-полно разных эксцентричных типов. (Даже молодой мистер Диккенсон, эта нахальная букашка, походит на персонажа одного из диккенсовских романов — сирота, с богатым опекуном и полученным по суду наследством, апатичный, ленивый, находящий удовольствие лишь в чтении да ничегонеделанье. После него сильно ли нужно напрячь воображение, чтобы поверить в существование «мистера Друда» с физиономией трупного цвета, безвекими глазами, беспалыми руками и речью с присвистом?)

«Но зачем все-таки его разыскивать?» — спрашивал я себя, подъезжая к своей улице.

Чарльз Диккенс имел обыкновение тщательно планировать и заранее обдумывать свои шаги, но при этом всегда оставался человеком импульсивным. Во время своей первой поездки по Соединенным Штатам он настроил против себя большую часть публики и всю американскую прессу, настойчиво выступая за принятие закона о международном авторском праве. Выскочки-американцы считали в порядке вещей, что произведения Чарльза Диккенса (да и всех прочих английских писателей) воруются и издаются в Штатах без каких-либо отчислений автору, так что Диккенс имел все основания для негодования. Но вскоре после поездки — после разлада отношений с изначально обожающей американской публикой — Диккенс утратил всякий интерес к проблеме авторского права. Иными словами, он был рассудительным человеком со склонностью к безрассудным поступкам под влиянием момента.

В Гэдсхилле и прежних местах проживания, в ходе любого путешествия или загородной прогулки, всегда только Чарльз Диккенс решал, куда направиться, где расположиться на пикник, в какие игры играть, кого назначить капитаном команды, и чаще всего именно Диккенс вел счет очков, объявлял победителей и вручал призы. Жители ближайшей к Гэдсхилл-плейс деревни относились к нему скорее как к местному помещику, явно считая великой честью для себя согласие знаменитого писателя раздавать награды на ярмарках и соревнованиях.

В детстве Диккенс неизменно верховодил сверстниками в играх. Он сызмалу не сомневался в своем безоговорочном праве на роль лидера и ни разу не отказался от нее во взрослом возрасте.

Но какую игру мы с ним затеем, если вдруг и вправду найдем таинственного мистера Друда? Чего добьемся этим, кроме того, что удовлетворим очередной ребяческий порыв Чарльза Диккенса? С какими опасностями будет сопряжено это дело? Кварталы и улицы, якобы

упомянутые Друдом, когда они с Диккенсом спускались по откосу к искореженным вагонам, находились далеко не в самом безопасном районе Лондона. А в той части города, которую Диккенс совершенно справедливо называл «гигантским пеклом».

По прибытии домой я изнемогал от страшных подагрических болей.

Свет уличных фонарей резал глаза. Звук собственных шагов бил в мозг тяжелым молотом. Грохот проезжающего фургона заставлял корчиться от боли. Я трясся всем телом. Внезапно во рту у меня появился горький кофейный вкус — не послевкусие кофия, выпитого с десертом в клубе, а какая-то гадость. В голове туманилось, тошнотворная слабость разливалась по телу.

Наш новый дом располагался на Мелкомб-плейс. Сюда мы переехали с Харли-стрит год назад — отчасти потому, что после «Женщины в белом» мои доходы значительно возросли и положение в литературных кругах упрочилось. (За следующий свой роман, «Без имени», я получил свыше трех тысяч фунтов от издания отдельной книгой, и мне обещали еще четыре с половиной тысячи фунтов за журнальную публикацию в Британии или Америке.)

Говоря «наша» или «мы», я подразумеваю свою давнюю сожительницу, некую Кэролайн Г***, и ее тогда четырнадцатилетнюю дочь Хэрриет, а попросту Кэрри. Ходили слухи, будто Кэролайн послужила прототипом главной героини «Женщины в белом». Действительно, наша случайная встреча произошла ночью, когда она выбежала из виллы в Риджентс-парке, спасаясь от одного мерзавца, и я бросился за ней следом и защитил от уличного сброда, каковая сцена нашла отражение в моем романе, но замысел «Женщины в белом» возник у меня задолго до знакомства с Кэролайн.

Однако в данный момент Кэролайн и Хэрриет гостили у родственницы в Дувре, наша единственная настоящая служанка тоже отсутствовала нынче вечером

(признаться, в ежегодной налоговой декларации я записывал дочь Кэролайн «служанкой»), а посему я находился в доме один. Правда, в другом доме, расположенном в нескольких милях от Мелкомб-плейс, обреталась другая женщина — некая Марта Р***, прежде служившая горничной в ярмутской гостинице, а ныне впервые приехавшая в Лондон. С Мартой я тоже надеялся пожить в уютной семейной обстановке в будущем, но сегодня и в ближайшее время не имел намерения наведываться к ней. Самочувствие не позволяло.

Дом был погружен во тьму. Я достал из кладовой бутыль лауданума, хранившуюся там под замком, заллом выпил два стакана, а потом несколько минут сидел за столом на кухне, ожидая, когда боль утихнет.

Вскоре препарат подействовал. Ощутив прилив сил и бодрости, я решил подняться в кабинет на втором этаже и поработать час-другой, прежде чем отправиться на боковую. Я пошел наверх по черной лестнице, ближайшей к кухне.

Эта лестница, предназначенная для слуг, была очень крутой. Мерцающий газовый рожок на площадке второго этажа отбрасывал лишь крохотный круг неверного света, за пределами которого сгущалась непроглядная тьма.

В кромешном мраке надо мной послышались тихие звуки движения.

— Кэролайн? — окликнул я, прекрасно понимая, что там не Кэролайн.

И не наша служанка. Она уехала в Кент, к заболевшему пневмонией отцу.

— Кэролайн? — повторил я, ожидая — но тщетно — ответа.

Звуки — теперь я опознал в них шелест шелкового платья — доносились с мансардной лестницы и медленно приближались. Я различал осторожную поступь маленьких босых ног.

Я неловко повозился с газовым рожком, но ненадежная горелка, коротко полыхнув, опять померкла и замерцала слабо, как прежде.

Потом она вступила в круг зыбкого света, всего тремя ступеньками выше меня. Она выглядела как обычно: старое темно-зеленое шелковое платье с закрытым корсажем, украшенным вышивкой в виде цепочек крохотных золотых лилий, спускающихся к перетянутой черным поясом талии. Волосы уложены в старомодную высокую прическу. Кожа зеленая — цвета застарелого сыра или полуразложившегося трупа. Глаза похожи на две чернильные лужицы, влажно поблескивающие в свете газового рожка.

Она раздвинула губы в приветственной улыбке, и я увидел длинные желтые зубы, загнутые наподобие кабаньих клыков.

Я не питал никаких иллюзий относительно причины ее появления здесь. Она хотела схватить меня и сбросить с высокой лестницы. Она предпочла заднюю лестницу передней — широкой, хорошо освещенной и не столь опасной. Она спустилась еще на две ступеньки, расплываясь в желтозубой улыбке.

Двигаясь проворно, но не испуганно и не поспешно, я распахнул дверь в служебный коридор второго этажа, шагнул в нее и тотчас закрыл за собой и запер на замок. Я не слышал дыхания за дверью — зеленокожая женщина вообще не дышала, — но различил в тишине слабое царапанье по деревянной панели и увидел, как круглая фарфоровая ручка чуть повернулась туда-сюда.

Я зажег газовые рожки в коридоре. Никого, кроме меня, здесь не было.

Глубоко дыша, я расстегнул воротничок на булавке и отправился в кабинет работать.

Глава 4

Прошло три недели. По словам моего брата Чарли, гостившего со своей женой Кейт, дочерью Диккенса, в Гэдсхилл-плейс, писатель постепенно оправлялся от тяжелого потрясения. Он ежедневно работал над «Нашим

общим другом», устраивал званые обеды, часто исчезал из дома (почти наверняка наведывался в город к Эллен Тернан) и даже читал свои произведения перед группами избранных слушателей. Я в жизни не видел чтецов или актеров, которые выкладывались бы так, как Чарльз Диккенс во время своих чтений, и самый факт подобных выступлений (даже если он слегал после них, а такое частенько случалось, по словам Чарли) свидетельствовал, что у него еще остался порох в пороховницах. Он по-прежнему смертельно боялся поездов, но, верный своей натуре, именно по этой причине заставлял себя почти каждый день кататься в Лондон железной дорогой. Чарли говорил, что при малейшем сотрясении вагона лицо у него серело, на лбу и изрезанных морщинами щеках выступали крупные капли пота, и он судорожно вцеплялся в спинку впередистоящего кресла, но после глотка бренди Диккенс овладевал собой и более не выказывал признаков внутреннего смятения. Я был уверен, что Неподражаемый напрочь забыл про Друда.

Но в июле поиски фантома начались всерьез.

Стояла самая жаркая, самая душная пора жаркого, душного лета.

Испражнения трех миллионов лондонцев смердели в открытых сточных канавах, включая самую большую из наших открытых сточных канав, Темзу (несмотря на недавно предпринятую попытку запустить сложную сеть подземных канализационных труб). Десять тысяч лондонцев спали на террасах и балконах в ожидании дождя. Но когда шел дождь, он походил на горячий душ и только добавлял к жаре еще и влажность. Знойный июль накрывал Лондон подобием тяжелого мокрого одеяла.

Каждый день на зловонных улицах собирали двадцать тысяч тонн конского навоза и отвозили на «свалку», каковым словом мы приличия ради называли громадные кучи фекалий, что вздымались близ устья Темзы, подобно английским Гималаям.

Переполненные кладбища в окрестностях Лондона тоже невыносимо смердели. Могильщикам приходилось

прыгать на трупах, часто проваливаясь по колени в изгнившую плоть, чтобы затолкать новых обитателей в мелкие могилы, вырытые в жирной перегнойной земле, и новые мертвецы присоединялись к останкам прежде захороненных тел, уложенных в несколько слоев. В июле вы за шесть кварталов узнавали по запаху о близости кладбища (чудовищное зловоние гнало людей прочь из окрестных лачуг и многоквартирных домов), а ведь какое-нибудь кладбище было где-нибудь поблизости всегда. Мы ходили по трупам и дышали трупным смрадом.

Множество неприбранных трупов валялось на беднейших улочках «гигантского пекла», разлагаясь рядом с грудами гниющего мусора, который тоже никогда не убирался. Не струйки и не ручейки, но настоящие реки нечистот текли по улицам мимо мусорных куч и трупов, порой стекая в канализационные колодцы, но чаще просто собираясь в лужи и целые озера на булыжных мостовых. Эта зловонная бурая жижа затапливала подвалы, отравляла колодцы и неизменно — рано или поздно — попадала в Темзу.

Торговые и промышленные предприятия ежедневно выбрасывали многие тонны содранных шкур, отваренных костей, конины, кошачьих кишок, коровьих копыт, голов, внутренностей и прочих органических отходов. Все это скидывалось в Темзу или сваливалось в гигантские кучи на берегах Темзы и смывалось в воду дождями впоследствии. Хозяева прибрежных лавок и обитатели прибрежных домов наглухо задраивали окна и пропитывали шторы хлоридом, а в Темзу по приказу городского правления тоннами ссыпалась гашеная известь. Люди на улицах прикрывали рты и носы надушенными платками. Это не помогало. Даже упряжных лошадей (среди них вскоре начался падеж, усугубивший ситуацию) рвало от нестерпимой вони.

Влажный знойный воздух июльских ночей казался почти зеленым, густо насыщенный испарениями от экскрементов, производимых трехмиллионным городом, и миазмами от скотобоен и прочих промышленных живодерен, являвшихся отличительной чертой нашей эпохи.

Возможно, в ваше время, дорогой читатель, дела обстоят еще хуже, но я, признаться, не представляю, куда уж хуже.

Диккенс прислал мне записку с просьбой встретиться с ним в восемь часов вечера в таверне «Блю-постс» на Корк-стрит, где он угостит меня ужином. Там также говорилось, чтобы я надел высокие сапоги для «ночной прогулки, связанной с нашим другом мистером Д.».

Хотя с утра мне нездоровилось (подагра часто обостряется по такой жаре), я подъехал к «Блю-постс» к назначенному часу. Диккенс заключил меня в объятья у дверей таверны и вскричал:

— Милейший Уилки, как же я рад видеть вас! Последние несколько недель я был страшно занят и скучал по вашему обществу!

Сама трапеза, обильная, превосходная, неторопливая, пришлась мне по вкусу, как и пиво с вином, что мы с наслаждением потягивали. Разговаривал в основном Диккенс, разумеется, но беседа, по обыкновению, носила оживленный и беспорядочный характер. Неподражаемый сказал, что рассчитывает завершить «Нашего общего друга» к первым числам сентября и абсолютно уверен, что благодаря заключительным выпускам романа продажи «Круглого года» резко возрастут.

После ужина мы взяли кеб и поехали к полицейскому участку на Леман-стрит.

— Вы помните инспектора Чарльза Фредерика Филда? — спросил Диккенс, пока кеб с грохотом катил к полицейскому участку.

— Конечно, — ответил я. — Филд служил в сыскном отделе Скотленд-Ярда. Вы часто общались с ним, когда собирали хроникальный материал для «Домашнего чтения» много лет назад, и он сопровождал нас в нашей экскурсии по... э-э... наименее привлекательным кварталам Уайтчепела.

Я не стал добавлять, что всегда был уверен: Диккенс взял инспектора Филда за прототип своего инспектора

Баккета из «Холодного дома». Излишне уверенный голос, спокойное чувство превосходства над преступниками, бандитами и уличными женщинами, встречавшимися нам той долгой ночью в Уайтчепеле, не говоря уже о способности этого верзилы взять какого-нибудь типа за локоть железной хваткой, из которой не вырваться никакими силами, да повести туда, куда тот идти вовсе не собирался... Инспектор Баккет со всеми своими грубоватыми повадками срисован с реального инспектора Филда тютелька в тютельку, как говорится.

— Инспектор Филд был нашим ангелом-хранителем во время нашего нисхождения в Аид, — сказал я.

— Совершенно верно, дорогой Уилки, — подтвердил Диккенс, вылезая вместе со мной из кеба у полицейского участка на Леман-стрит. — А поскольку инспектор Филд вышел в отставку и сменил поприще, я с великим удовольствием представляю вам нашего нового ангела-хранителя.

Человек, поджидавший нас под газовым фонарем у входа в полицейский участок, походил больше на громадную каменную глыбу, нежели на человека. Несмотря на жару, он был в длинном пальто, напоминающем просторные длиннополые пыльники, в каких часто изображают австралийских или американских ковбоев на иллюстрациях к низкопробным авантюрным романам, и в котелке, плотно сидящем на крупной голове с копной курчавых волос. Несоразмерно широкое туловище тяжеловесных прямоугольных очертаний казалось гранитным пьедесталом, увенчанным массивной головой, словно вытесанной в камне. Глаза маленькие, нос походил на треугольный выступ, высеченный из того же минерала, что и вся физиономия, а тонкогубый рот оставлял впечатление прорези, выбитой зубилом. Шея шире котелка с полями вместе. А руки в три раза больше моих.

Рост Чарльза Диккенса составлял пять футов девять дюймов. Я был на несколько дюймов ниже. Этот великан в сером ковбойском плаще казался выше Диккенса самое малое на девять дюймов.

— Уилки, познакомьтесь с бывшим инспектором уголовной полиции Хиббертом Алоизием Хэчери, — сказал Диккенс, ухмыляясь в бороду. — Сыщик Хэчери, я рад представить вам моего близкого друга, талантливого собрата по перу и напарника в деле поисков мистера Друда — мистера Уилки Коллинза, эсквайра.

— Очень приятно, сэр, — прогудел великан, нависающий над нами. — Можете называть меня Хиб, коли вам угодно, мистер Коллинз.

— Хиб, — тупо повторил я.

По счастью, инспектор ограничился тем, что приветственно приподнял котелок. При мысли об огромной лапище, сжимающей мою руку и дробящей все кости, у меня ослабли колени.

— Мой отец, человек умный, но неученый, если вы понимаете, о чем я, сэр, — сказал сыщик Хэчери, — так вот, он был уверен, что имя Хибберт есть в Библии. Увы, такое имя там ни разу не встречается — ни даже в качестве названия какого-нибудь местечка, где евреи устраивали привал во время своих блужданий по пустыне.

— Сыщик Хэчери несколько лет прослужил в чине сержанта в Столичной полиции, но в настоящее время находится в... э-э... долгосрочном отпуске и занимается частным сыском, — сказал Диккенс. — Он собирается вернуться в сыскной отдел Скотленд-Ярда через год или раньше.

— Частный сыщик, — пробормотал я. (Идея показалась мне весьма плодотворной. Я тотчас взял ее на заметку и впоследствии положил в основу своего романа «Лунный камень» — возможно, известного вам, дорогой читатель, позволю себе нескромно заметить.) — Так, значит, вы сейчас на отдыхе, сыщик Хэчери?

— Можно и так сказать, — пророкотал великан. — Меня попросили временно уволиться из-за моего неправомерного обращения с одним преступным мерзавцем в ходе исполнения служебных обязанностей, сэр. Пресса подняла шум. Мой начальник решил, что для отдела

и меня самого будет лучше, если я на несколько месяцев уйду в отпуск, так сказать, и займусь на досуге частной практикой.

— Из-за неправомерного обращения... — повторил я.

Диккенс похлопал меня по спине:

— Сыщик Хэчери при задержании вышеупомянутого мерзавца — дерзкого грабителя, средь бела дня нападавшего на пожилых дам здесь, в Уайтчепеле, — ненароком свернул преступнику шею. Как ни странно, малый выжил, но сейчас родным приходится таскать его на носилках. Небольшая потеря для общества и надлежащим образом выполненная работа, как заверили меня инспектор Филд и прочие полицейские чины, но сверхщепетильные сотрудники «Панча», не говоря уже о бульварных газетенках, решили поднять шум. Так что нам несказанно повезло: сыщик Хэчери располагает свободным временем, чтобы сопровождать нас в нашей сегодняшней вылазке в «гигантское пекло».

Хэчери извлек из-под полы своего широкого пальто фонарь «бычий глаз», выглядевший в его огромной лапище как карманные часы.

— Я буду следовать за вами, джентльмены, но постараюсь оставаться неслышным и невидимым, покуда не понадоблюсь вам.

Пока мы с Диккенсом ужинали, прошел дождь, но после него горячий ночной воздух стал только более душным. Неподражаемый шел впереди обычным своим несуразно скорым шагом — каким покрывал по четыре мили в час самое малое и мог ходить по много часов кряду, не сбавляя скорости, как я знал по горькому опыту, — и я изо всех сил старался не отставать. Сыщик Хэчери плыл в десяти ярдах позади нас, подобный безмолвному сгустку тумана.

Мы оставили позади широкие улицы и проезды и, следуя за Диккенсом, стали углубляться в лабиринт темных узких улочек и проулков, становившихся все

темнее и уже по мере нашего движения вперед. Чарльз Диккенс ни на миг не замедлял шага: он часто совершал здесь полуночные прогулки и знал эти ужасные кварталы как свои пять пальцев. Я понимал лишь, что мы находимся где-то к востоку от Фалькон-Сквер. Я смутно помнил эти места с нашей предыдущей совместной вылазки в лондонскую клоаку — Уайтчепел, Шедуэлл, Уоппинг, все городские районы, куда ни один джентльмен и носа не сунет, если только не захочет найти продажную женщину самого низкого пошиба. Похоже, мы направлялись к докам. Мерзкий запах Темзы усиливался с каждым темным узким кварталом, который мы проходили, углубляясь в этот крысиный лабиринт. Здания здесь выглядели так, словно были построены еще в Средние века, когда Лондон, плоский, темный и больной, лежал за высокими крепостными стенами; выступающие этажи древних строений нависали над нами с обеих сторон, почти заслоняя ночное небо.

— Куда мы идем? — шепотом спросил я Диккенса.

Мы шагали по совершенно пустынной улочке, но я чувствовал взгляды людей, наблюдавших за нами из темных или закрытых ставнями окон и грязных закоулков. Я старался говорить по возможности тише, но понимал, что даже шепот разносится не хуже крика в душном безмолвном воздухе.

— Блюгейт-Филдс, — коротко ответил Диккенс.

Медный наконечник его тяжелой трости (которую он, я заметил, всегда брал с собой в подобные ночные походы по «Вавилону») постукивал по разбитой брусчатке на каждом третьем его шаге.

— Иногда его еще называют Тайгер-Бэй, — раздался голос из темноты позади нас.

Признаюсь, я вздрогнул. Я совсем забыл про сыщика Хэчери.

Мы пересекли улицу пошире — кажется, Брунсвик-стрит, — но она была не чище и не лучше освещена, чем зловонные трущобные кварталы по обе стороны от нее.

Потом мы снова углубились в лабиринт узких улочек. Многоквартирные дома здесь поднимались высоко и тесно жались друг к другу, а иные из них уже обрушились и обратились в бесформенные груды камня и дерева. Но даже на пустырях и пепелищах я замечал движение смутных теней, провожавших нас пристальными взглядами. Мы перешли мост через вонючий приток Темзы. (Считаю нужным указать вам, дорогой читатель, что именно в 1865 году принц Уэльский публично повернул колесо, запустившее в действие Главную очистную станцию в Кроснессе, которая явилась первым серьезным достижением главного инженера Управления общественных работ Джозефа Базалгетти, поставившего перед собой цель обеспечить Лондон современной канализационной системой. На торжественной церемонии открытия присутствовал весь цвет английской знати и высшего духовенства. Но, отбросив в сторону всякую деликатность, считаю нужным напомнить, что Главная очистная станция — и все построенные впоследствии очистные сооружения, равно как несметное множество старых сточных канав, — по-прежнему сливает в Темзу дерьмо.)

Чем ужаснее становились трущобы, тем больше народа появлялось в поле зрения. Группы людей — вернее, скопления неясных теней — виднелись на углах улиц, в дверных проемах, на пустырях между домами. Диккенс держался середины разбитой мостовой, чтобы лучше видеть и вовремя огибать ямы и зловонные лужи нечистот. Он шел крупным шагом, постукивая своей джентльменской тростью по камням, и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на злобное ворчание и брань мужчин, встречавшихся нам по дороге.

Наконец группа таких вот оборванцев выступила из темного проулка и двинулась нам наперерез. Диккенс не сбавил шага; но продолжал спокойно идти вперед, словно видел перед собой стайку ребятишек, собирающихся попросить у него автограф. Однако я заметил, что он перехватил трость таким образом, чтобы медная рукоять —

выполненная в виде птичьего клюва, кажется, — была нацелена вперед.

Сердце у меня бешено заколотилось, и я чуть не зашатался от страха, когда Диккенс повел меня навстречу воинственно настроенным головорезам, перегородившим улицу живой стеной. Потом серая, увенчанная котелком глыба быстро проплыла мимо меня, нагнала Диккенса, и голос Хэчери негромко произнес:

— Прочь с дороги, парни. Возвращайтесь в свои дыры. Пропустите этих джентльменов без единого слова или хотя бы косого взгляда. Живо!

Круг людей расступился так же быстро, как сомкнулся вокруг нас. Я ожидал, что в спину нам полетят камни или, по крайней мере, комья грязи, но ничего крепче приглушенного проклятья не было брошено нам вслед. Сыщик Хэчери опять растаял в темноте за нами, а Диккенс, постукивая тростью, продолжал идти резвой поступью в южном (как мне казалось) направлении.

Потом мы вошли в квартал, где заправляли проститутки и их хозяева.

Я смутно припомнил, что бывал здесь несколько раз в студенческие годы. Эта улица имела более респектабельный вид, чем большинство из пройденных нами за последние полчаса. Сквозь ставни на верхних этажах пробивался свет. Человек неосведомленный запросто мог бы подумать, что в этих домах проживают фабричные рабочие и механики. Но в воздухе здесь висела гнетущая тишина. На крыльцах, балконах и растрескавшихся плитах убогих тротуарчиков стояли группы молодых женщин — мы могли рассмотреть их в свете, падающем из нижних окон, не закрытых ставнями. Почти все выглядели не старше восемнадцати лет. Многим на вид было четырнадцать или даже меньше.

При виде сыщика Хэчери они не выказали ни малейшего испуга, но, напротив, принялись поддразнивать его насмешливыми голосами.

— Эй, Хибберт, привел нам парочку клиентов, да?

— Иди к нам, расслабься маленько, старина Хиб!

— Двери нашего дома открыты для тебя, инспектор Хиб, как и двери наших комнат.

Хэчери непринужденно рассмеялся:

— Твои двери всегда открыты, Мэри, хотя надо бы их закрыть. Придержите язычки, девочки. Вы не интересуете этих джентльменов нынче ночью.

Он был не совсем прав. Мы с Диккенсом остановились подле молодой девушки лет семнадцати, которая перегнулась через перила и пыталась получше рассмотреть нас в тусклом свете. Я разглядел, что она полного телосложения и одета в довольно короткое темное платье с глубоким вырезом. Заметив заинтересованный взгляд Диккенса, она широко улыбнулась, продемонстрировав отсутствие доброй половины зубов, и спросила:

— Ищешь табачок, дорогуша?

— Табачок? — переспросил Диккенс и искоса бросил на меня искрящийся весельем взгляд. — Да нет, милая моя. С чего вы взяли, что я ищу табак?

— Потому как коли он тебе нужен, так у меня имеется, — сказала девушка. — Закрутки, щепотки в полунции, сигары и все, что твоей душе угодно. Бери, коли хошь, — тебе надо лишь зайти в дом.

Улыбка Диккенса слегка поугасла. Он положил затянутые в перчатки руки на рукоять трости.

— Мисс, — мягко промолвил он, — вы когда-нибудь думали о том, чтобы изменить свою жизнь? Чтобы распрощаться с... — Его перчатка смутно белела в темноте, когда он широко повел рукой, указывая на безмолвные здания, безмолвные сборища женщин, улицу с разбитой мостовой и даже группу громил, с выжидательным видом стоявших поодаль, за пределами бледного круга света, точно стая волков. — Чтобы распрощаться с такой жизнью?

Девица рассмеялась, показав немногие гнилые зубы, еще у нее оставшиеся. Смех до жути походил на сухой кашель больной старой карги.

— Мне — распрощаться с моей жистью, дорогуша? В таком случае почему бы тебе не распрощаться со своей? Тебе стоит лишь подойти к Ронни и ребятам, что околачиваются вон там.

— У вас нет будущего, нет надежды на будущее, — сказал Диккенс. — У нас ведь есть дома милосердия для падших женщин. Я сам участвовал в учреждении и обустройстве одного такого приюта в Бродстейрсе, где...

— Я никуда падать не собираюсь, — перебила она. — Разве только на спину — за положенную ничтожную плату. — Девица повернулась ко мне. — Ну а как насчет тебя, коротышка? На вид ты еще вполне бодрячок. Хошь зайти за закруткой табачка, пока старина Хэчери не осерчал на нас?

Я прочистил горло. Честно говоря, дорогой читатель, я находил в этой шлюхе что-то соблазнительное, несмотря на ночную жару и зловоние, взгляды моих спутников и даже гнилозубую улыбку и безграмотную речь девицы.

— Пойдемте, — промолвил Диккенс, поворачиваясь и двигаясь прочь. — Мы здесь зря теряем время, Уилки.

— Диккенс, — заговорил я, когда мы прошли по очередному скрипучему мосточку через очередной вонючий ручей и зашагали по тесным кривым проулкам, застроенным совсем уж древними домами, — я должен спросить вас: эта наша... гм... экскурсия действительно както связана с вашим таинственным мистером Друдом?

Он остановился и оперся на трость.

— Конечно, друг мой. Мне следовало сказать вам еще за ужином. Мистер Хэчери сделал для нас нечто большее, чем просто согласился сопровождать нас в прогулке по этому... неприглядному... району. Он с недавних пор работает на меня и с толком применил свои сыщицкие способности. — Диккенс повернулся к великану, подошедшему к нам сзади. — Сыщик Хэчери, будьте так любезны, расскажите мистеру Коллинзу, что́ вам удалось установить к настоящему времени.

— Слушаюсь, сэр. — Громадный сыщик снял котелок, почесал затылок, запустив пальцы в курчавую шевелюру, а потом натянул шляпу обратно на голову. — Сэр, — промолвил он, теперь обращаясь ко мне, — в последние десять дней я навел справки относительно людей, бравших билеты в Фолкстоне или на других станциях, где останавливается поезд — хотя дневной курьерский идет до Лондона без остановок, — а также осторожно навел справки насчет других пассажиров, кондукторов и проводников, ехавших тогда в поезде. И вот какое дело, мистер Коллинз: никто по имени Друд и никто, подходящий под очень странное описание, данное мне мистером Диккенсом, не покупал билета на дневной курьерский и не находился в одном из пассажирских вагонов в момент крушения.

Я взглянул на Диккенса.

— Значит, либо ваш Друд проживает в одной из деревень близ Стейплхерста, — сказал я, — либо его вообще не существует.

Диккенс лишь помотал головой и знаком велел Хэчери продолжать.

— Но во втором почтовом вагоне, — сказал сыщик, — в Лондон везли три гроба. Два из них поступили из фолкстонского похоронного бюро, а третий был доставлен на том же пароме, на котором прибыл мистер Диккенс с дама... со своими спутниками. Согласно сопроводительным документам, третий гроб, доставленный из Франции — из какого именно города, в бумагах не уточнялось, — по прибытии поезда в Лондон надлежало передать некоему мистеру Друду, имя последнего не указывалось.

Я на минуту задумался. Со стороны публичных домов, оставшихся далеко позади нас, доносились приглушенные расстоянием крики.

— Так вы полагаете, что Друд находился в одном из гробов? — наконец спросил я, взглянув на Диккенса.

Писатель рассмеялся — почти восторженно, мне показалось.

— Ну конечно, дорогой Уилки. Оказывается, второй почтовый вагон сошел с рельсов — от тряски все посылки, мешки с корреспонденцией и... да, гробы сдвинулись со своих мест, — но с моста не сорвался. Это объясняет, почему мистер Друд спускался вместе со мной по береговому откосу несколькими минутами позже.

Я потряс головой:

— Но с какой стати ему путешествовать в... боже мой... в гробу? Это ж, наверное, обходится дороже, чем билет первого класса.

— Чуть дешевле, чуть дешевле, — подал голос Хэчери. — Я проверял. Стоимость транспортировки покойников чуть ниже стоимости билета первого класса, сэр. Не намного, всего на несколько шиллингов, — но все-таки.

Я по-прежнему не понимал.

— Но, Чарльз, — мягко промолвил я, — вы же не думаете, что ваш мистер Друд был... ну... призраком? Вампиром? Ходячим мертвецом?

Диккенс снова рассмеялся, еще веселее прежнего:

— Милейший Уилки! Право слово! Будь вы преступником, известным не только лондонской, но и портовой полиции, какой самый простой и надежный способ вернуться из Франции в Лондон вы бы выбрали?

Теперь настала моя очередь рассмеяться, но без всякой веселости, уверяю вас.

— Ну уж всяко не в гробу, — сказал я. — Лежать в гробу всю дорогу? Это... немыслимо.

— Да ничего подобного, милый мой, — сказал Диккенс. — Всего несколько часов неудобства. В наши дни путешествие на обычном пароме или поезде сопряжено с неменьшими неудобствами, если уж быть предельно откровенным. А кому захочется проверять гроб, в котором разлагается труп недельной давности?

— А труп мистера Друда действительно был недельной давности? — спросил я.

Диккенс лишь одобрительно прищелкнул пальцами, словно я удачно сострил.

— Ну и зачем мы идем к докам? — поинтересовался я. — Неужели сыщик Хэчери разузнал, куда приплыл гроб мистера Друда?

— Просто-напросто, сэр, — сказал Хэчери, — следственные действия, проведенные мной в припортовых кварталах, вывели нас на людей, утверждающих, что они знают Друда. Или знали. Или имели с ним какие-то дела. К ним-то мы и направляемся.

— Так поспешим же! — воскликнул Диккенс.

Хэчери поднял огромную ладонь, будто останавливая поток экипажей на Стрэнде.

— Считаю своим долгом предупредить вас, джентльмены, что сейчас мы входим непосредственно в Блюгейт-Филдс — районч ик, прямо скажем, не совсем благополучный. Он не обозначен на большинстве городских карт, как и квартал Нью-Корт, куда мы держим путь. Джентльменам сюда опасно соваться. Здесь полным-полно таких типов, которым убить человека — раз плюнуть.

Диккенс рассмеялся.

— Полагаю, как и бандитам, недавно попавшимся нам навстречу, — сказал он. — Чем же здешние головорезы отличаются от всех прочих, дорогой Хэчери?

— Разница в том, господин хороший, что парни, давеча повстречавшиеся нам, так они отберут у вас кошелек и изобьют до полусмерти, а возможно, и до смерти. Но здесь, в Блюгейт-Филдс... здесь вам перережут глотку, сэр, просто чтобы проверить, не затупился ли нож.

Я взглянул на Диккенса.

— Ласкары, индусы, бенгальцы и прорва китайцев, — продолжал Хэчери. — А также ирландцы, немцы и тому подобный сброд, не говоря уже о самом гнусном отребье вроде сошедшей на берег матросни, охочей до женщин и опиума. Но тут, в Блюгейт-Филдс, опасаться следует прежде всего англичан. Китайцы и прочие иностранцы, они не едят, не спят, почти не разговаривают — у них в жизни одна радость: опиум. Но вот здешние англичане — народ на редкость лихой, мистер Диккенс. На редкость лихой.

Диккенс снова рассмеялся. Сейчас он производил впечатление крепко пьяного человека, но я-то знал, что он выпил лишь немного вина да портвейна за ужином. Он смеялся беспечным смехом малого ребенка, не ведающего забот.

— В таком случае мы вновь доверим нашу безопасность вам, инспектор Хэчери.

Я обратил внимание, что Диккенс повысил частного сыщика в звании. И Хэчери — судя по тому, как он смущенно переступил с ноги на ногу, — тоже заметил это.

— Есть, сэр, — сказал сыщик. — С вашего позволения, сэр, теперь я пойду впереди. И настоятельно советую вам, джентльмены, не отставать от меня.

Большинство улиц, оставленных нами позади, не значились на городских картах, а трущобные лабиринты Блюгейт-Филдс были на них едва намечены, однако Хэчери, казалось, точно знал дорогу. Даже Диккенс, шагавший следом за огромным сыщиком, похоже, тоже ориентировался на местности. Хэчери отвечал на мои шепотом задаваемые вопросы, называя нормальным голосом различные топографические объекты: церковь Сент-Джордж-на-Востоке (не помню, чтобы мы мимо нее проходили), Джордж-стрит, Розмари-лейн, Кейбл-стрит, Нок-Фергюс, Блэк-лейн, Нью-роуд, Ройал-Минт-стрит. Иные из этих названий значились на уличных указателях.

В Нью-Корте мы свернули с вонючей улицы в темный двор — единственным источником освещения нам служил фонарь Хэчери — и прошли в проем в стене, больше похожий на дыру, нежели на ворота, ведущие в лабиринт других темных дворов. Здания здесь казались заброшенными, но я предположил, что просто все окна плотно закрыты ставнями. Когда мы сходили с булыжного покрытия, под ногами хлюпала то ли заиленная речная вода, то ли нечистоты.

Диккенс остановился возле окна с выбитыми стеклами, ныне представлявшего собой черный провал в глухой стене.

— Хэчери, ваш фонарь, — крикнул он.

Луч света выхватил из темноты три скукоженных грязно-белесых тельца, лежащих на разбитом каменном подоконнике. В первый момент я решил, что кто-то бросил здесь трех освежеванных кроликов. Я подошел поближе, а потом быстро отступил назад, прикрывая платком нос и рот.

— Новорожденные младенцы, — сказал Хэчери. — Тот, что посередке, родился мертвым, полагаю. Остальные двое умерли вскоре после рождения. Не тройняшки. Родились и умерли в разное время, судя по работе, проделанной червями да крысами, и прочим признакам.

— Боже мой, — проговорил я сквозь платок. Желчь у меня поднялась к самому горлу. — Но зачем... оставлять их здесь?

— Это место не хуже любого другого, — сказал Хэчери. — Некоторые матери пытаются похоронить новорожденных. Запеленывают крошек в тряпье, надевают на них чепчики, прежде чем бросить в Темзу или закопать во дворе. Большинство не тратит времени на лишнюю возню. Им надо побыстрее возвращаться к работе.

Диккенс повернулся ко мне:

— Ну как, Уилки, все еще находите соблазнительной девку, что хотела затащить вас в дом за «табачком»?

Я не ответил, отступив еще на шаг и отчаянно борясь с рвотными позывами.

— Мне уже доводилось видеть такое, — сказал Диккенс на удивление бесстрастным, спокойным голосом. — Не в ходе моих прогулок по «гигантскому пеклу», а еще в детстве.

— Неужели, сэр? — промолвил сыщик.

— Да, много раз. Когда я был совсем маленьким, еще до переезда нашей семьи из Рочестера в Лондон, мы держали служанку по имени Мэри Уэллер. Она, зажав мою дрожащую ручонку в своей широкой мозолистой ладони, часто приводила меня в дома, где принимала роды. Так часто, что впоследствии я порой задавался вопросом, не следовало ли мне избрать ремесло повитухи.

Чаще младенцы умирали, Хэчери. Я помню одни ужасные многоплодные роды — мать тоже скончалась — с пятью мертвыми младенцами. Кажется, их было пятеро, как ни трудно такое представить... хотя, может статься, и четверо, я ведь тогда был совсем крохой... и все они лежали рядком на чистой простынке, постеленной на комоде. Знаете, что они напомнили мне тогда, в моем нежном возрасте четырех или пяти лет, Хэчери?

— Что, сэр?

— Свиные ножки, аккуратно разложенные на прилавке мясной лавки, — сказал Чарльз Диккенс. — Когда видишь такое зрелище, на ум невольно приходит Фиестов пир.

— Истинная правда, сэр, — согласился Хэчери.

Сыщик наверняка слыхом не слыхивал о древнегреческой трагедии[1], к эпизоду которой отсылал Диккенс своим замечанием. Но я понял, о чем говорит мой друг. К горлу снова подкатила желчь, и я с трудом подавил рвотный позыв.

— Уилки, — резко промолвил Диккенс, — дайте ваш платок, пожалуйста.

После секундного колебания я выполнил просьбу.

Вынув из кармана свой собственный шелковый платок, побольше и подороже моего, Диккенс аккуратно накрыл обоими платками три полуразложившихся, частично обглоданных крысами детских тельца и прижал края ткани кирпичами, вытащенными из разбитого подоконника.

— Вы позаботитесь о них, сыщик Хэчери? — спросил он, уже двигаясь прочь и вновь постукивая тростью по камню.

— Еще до рассвета, сэр. Можете на меня положиться.

— Мы в вас нисколько не сомневаемся, — сказал Диккенс, наклоняя голову и придерживая цилиндр, поскольку в тот момент мы проходили сквозь очередной

---

[1] Миф об Атрее и Фиесте отражен в трагедиях Софокла «Атрей, или Микенянки», Диогена и Акция «Атрей», Сенеки «Фиест».

низкий и узкий проем в стене, ведущий в еще более темный и смрадный крохотный дворик. — Не отставайте, Уилки. Держитесь ближе к свету.

Наконец мы достигли открытой двери, различимой во мраке не лучше, чем последние три дюжины закрытых дверей, минованных нами. Сразу при входе, в глубокой нише, стоял маленький фонарь, источавший слабый голубоватый свет. Сыщик Хэчери хмыкнул и стал подниматься по узкой лестнице.

На лестничной площадке второго этажа царил кромешный мрак. Следующий лестничный марш был у́же первого, но темноту здесь слегка рассеивал неверный тусклый свет единственной свечи, горевшей на следующей площадке. Мне показалось удивительным, что язычок пламени не гаснет в таком спертом, жарком и чудовищно смрадном воздухе.

Хэчери без стука распахнул дверь, и мы гуськом вошли в нее.

Мы оказались в первой и самой просторной из нескольких смежных комнат, которые все были видны сквозь открытые дверные проемы. В этой первой комнате на пружинной кровати, среди ворохов грязного тряпья, сидели вразвалку два ласкара и старуха. Одна из куч тряпья пошевелилась, и я понял, что на кровати лежат еще люди. Сцена освещалась несколькими оплавленными свечами и фонарем с красным стеклом, придававшим всему кровавый оттенок. Настороженные глаза уставились на нас из-под ворохов тряпья в смежных комнатах, и я понял, что на полу там валяются вповалку еще люди — китайцы, азиаты, ласкары. Несколько из них попытались уползти в угол, словно вспугнутые внезапным светом тараканы. Древняя старуха на кровати (все четыре кроватных столбика были сплошь изрезаны досужими ножами, а пыльный полог ниспадал подобием истлевшего савана) курила своего рода трубку, изготовленную из чернильной склянки, что по пенни штука. От густого дыма и терпкого приторного запаха, смешанного со зловонием Темзы, проникавшим сквозь наглухо

закрытые жалюзи, мой измученный изжогой желудок снова свело спазмом. Я пожалел, что не выпил второго стакана лауданума перед тем, как отправиться на встречу с Диккенсом сегодня вечером.

Хэчери легонько ткнул старую каргу деревянной полицейской дубинкой, которую отточенным движением вытащил из-за пояса.

— Эй, Сэл, давай-ка просыпайся, — резко сказал он. — Эти джентльмены хотят задать тебе несколько вопросов, и клянусь, ты ответишь на них исчерпывающим образом.

Сэл — беззубая древняя старуха со сморщенным мертвенно-бледным лицом, лишенным всякого выражения, если не считать тусклого порочного огонька в подслеповатых водянистых глазах, — искоса взглянула на Хэчери, потом на нас.

— Хиб, — проговорила она, в своем одурманенном состоянии все же признав великана. — Ты вернулся в полицию? Что, пришел за монетой?

— Я пришел задать несколько вопросов. — Хэчери снова легко ткнул старуху дубинкой во впалую грудь. — И мы не уйдем, покуда не получим ответов.

— Спрашивай, — сказала Сэл. — Только позволь мне сперва подналолнить трубочку старому Яхи, будь славным малым.

Я только сейчас заметил некую древнюю мумию, сидевшую среди подушек в углу за кроватью.

Старая Сэл проковыляла к сосуду, наполовину наполненному чем-то вроде густой патоки, что стоял на японском подносе посреди комнаты. Подцепив на кончик длинной иглы немного вязкого вещества, она подошла к мумии. Когда старый Яхи обернулся, я увидел, что он держит во рту опиумную трубку, которую не выпускал с момента нашего появления. Не открывая полностью глаз, он взял комочек патоки пожелтевшими пальцами с длинными ногтями, скатал в твердый шарик размером с горошину и положил оный в чашечку еще не потухшей трубки. Потом древняя мумия сомкнула веки, отверну-

лась прочь от света и неподвижно застыла в прежней позе, с поджатыми босыми ногами.

— Вот и еще четыре пенни к моему скромному капитальцу, — просипела Сэл, воротившись в узкий круг красного света от фонаря. — Старому Яхи, как тебе наверняка ведомо, Хиб, уже за восемьдесят, и он курит опий добрых шестьдесят лет, а то и поболе. Он, знамо дело, не спит ни минутки, но на здоровье не жалуется и содержит себя в опрятности. Прокурит цельную ночь — а поутру покупает рис, рыбу да овощи, но прежде непременно начистит, надраит все в доме, включая себя самого. Шестьдесят лет курит опий — и ни дня не болел. Старый Яхи, неразлучный с опием, пережил в добром здравии аж четыре эпидемии лихоманки, когда все вокруг мерли как мухи...

— Ну хватит, — перебил Хэчери. — Сейчас джентльмены зададут тебе несколько вопросов, Сэл... и коли ты дорожишь этой крысиной норой, которую называешь своим домом и коммерческим предприятием, коли ты не хочешь, чтобы я закрыл твой притон, — тогда, видит Бог, тебе лучше отвечать быстро и честно.

Старая карга с подозрительным прищуром уставилась на нас.

— Мадам, — начал Диккенс таким непринужденным и сердечным тоном, словно обращался к знатной даме, явившейся к нему с визитом, — мы ищем некоего человека по имени Друд. Нам известно, что он часто посещал ваш при... э-э... ваше заведение. Не подскажете ли нам, где его можно найти сейчас?

Одурманенная опиумом старуха испуганно вздрогнула и мигом пришла в чувство, как если бы Диккенс окатил ее ледяной водой из ведра. Глаза у нее на секунду расширились, а потом прищурились пуще прежнего и приобрели еще более подозрительное выражение.

— Друд? Не знаю я никакого Друда...

Хэчери улыбнулся и ткнул ее дубинкой посильнее.

— Так не пойдет, Сэл. Нам известно, что он часто сюда наведывался.

— Кто говорит такое? — прошипела старуха; угасающая свеча на полу зашипела с ней в унисон.

Хэчери снова улыбнулся и снова ткнул в костлявое плечо дубинкой, на сей раз еще сильнее.

— Мамаша Абдалла и Бубу, обе сказали мне, что в последние годы не раз видели здесь субъекта, которого ты называла Друдом... белый мужчина, беспалый, речь со странным акцентом. Говорят, он был твоим постоянным клиентом. От него воняет гнилым мясом, сказала мамаша Абдалла.

Сэл попыталась рассмеяться, но из горла у нее вырвался лишь задышливый хрип.

— Мамаша Абдалла — полоумная стерва. Бубу — лживая китаеза.

— Возможно, — улыбнулся Хэчери, — но не более полоумная и не более лживая, чем ты, моя Принцесса Пых-Пых. Некто по имени Друд бывал здесь, ты это знаешь — и все нам расскажешь.

По-прежнему улыбаясь, он ударил тяжелой дубинкой по длинным, изуродованным артритом пальцам старухи. Она взвыла от боли. Две груды тряпья, лежавшие в углу, поползли в соседнюю комнату, где шум не потревожит опиумного сна, коли здесь произойдет смертоубийство.

Диккенс вынул из кошелька несколько шиллингов и позвенел монетами в ладони.

— Вы извлечете выгоду из своей откровенности, мадам, если расскажете нам все, что вам известно о Друде.

— И проведешь несколько суток — а может, и недель — даже не в полицейском участке, а в самом сыром каменном мешке в Ньюгейтской тюрьме, если не расскажешь, — добавил Хэчери.

Угроза произвела на меня сильнейшее впечатление, какого не могла произвести на Диккенса. Я попытался представить несколько суток, не говоря уже о нескольких неделях, без лауданума. Эта женщина явно употребляла опиум в таких дозах, какие мне и не снились. У меня заломило кости при одной мысли о том, чтобы хоть на день лишиться моего лекарства.

В водянистых глазах Принцессы Пых-Пых выступили настоящие слезы.

— Ну ладно, ладно, Хиб, хватит махать дубинкой да стращать меня. Я никогда тебе не перечила, верно? Всегда платила в срок, верно? Всегда...

— Рассказывай джентльменам про Друда, а насчет всего остального заткни глотку, — проговорил Хэчери тихим угрожающим голосом.

Он прижал дубинку к дрожащей руке старой карги.

— Когда вы в последний раз видели Друда? — спросил Диккенс.

— Где-то с год назад, — задыхаясь, просипела Принцесса Пых-Пых. — С тех пор он здесь не показывался.

— Где он живет, мадам?

— Не знаю. Клянусь, не знаю. Чоу-Чи Джон Поттер впервой привел сюда этого вашего Друда лет восемь, не то девять назад. Они курили опий в огромных количествах. Друд всегда платил золотыми соверенами, так что репутация у него, выходит, золотая. Он никогда не пел и не горланил, как другие, — вон, слышите, разорались в соседней комнате. Он просто сидел, курил и смотрел на меня. И смотрел на других. Иной раз он уходил первый, намного раньше всех остальных, а порой засиживался дольше всех.

— Кто такой Чоу-Чи Джон Поттер? — осведомился Диккенс.

— Джек уж помер, — сказала старуха. — А был он старым китайцем, корабельным коком. Христианское имя он получил, потому как окрестился, но он был слаб умом, сэр, он был ровно малый ребенок — только ребенок злой и жестокий, ежели напивался рому. Но вот от опия он никогда не дурел до безобразия, сколько б ни выкурил. Никогда.

— Чоу-Чи был другом Друда? — спросил Диккенс.

— У Друда — коли так звали вашего человека — не было друзей, сэр. Все боялись его. Даже Чоу-Чи.

— Но в первый раз он — Друд — пришел в ваше заведение вместе с Чоу-Чи?

— Ага, сэр, с ним самым. Но сдается мне, он просто столкнулся со старым Джеком на улице и попросил добросердечного недоумка проводить его до ближайшей опиумной курильни. Джек был рад угодить любому и за доброе слово, а уж за шиллинг — тем паче.

— Друд живет где-то поблизости? — поинтересовался Диккенс.

Старуха снова рассмеялась, но почти сразу закашлялась. Ужасные звуки продолжались, казалось, целую вечность. Наконец она несколько раз глотнула ртом воздух и просипела:

— Живет где-то поблизости? В Нью-Корте, Блюгейт-Филдс, припортовом квартале или Уайтчепеле? Нет, сэр. Ни в коем разе, сэр.

— Почему вы так считаете? — спросил Диккенс.

— Да мы бы знали, господин хороший, — проскрипела Сэл. — Малый навроде Друда нагнал бы лютого страху на всех мужчин, женщин и детей в Уайтчепеле, Шедуэлле, да и во всем Лондоне. Мы бы все сбежали из города.

— Почему? — спросил Диккенс.

— Из-за евонной истории, — прошипела карга. — Доподлинной и ужасной истории.

— Расскажите нам, — велел Диккенс.

Старуха заколебалась.

Хэчери несколько раз легонько ткнул дубинкой в костлявый локоть.

Немного повыв, старая Сэл поведала историю, которую слышала от покойного Чоу-Чи Джона Поттера, другого торговца опиумом по имени Яхи и одного из завсегдатаев своего заведения, ласкара Эммы.

— Друд в наших краях человек не новый, люди знающие говорят, что он наведывается сюда вот уже сорок с лишним лет...

— А какое у мистера Друда крестильное имя, мамаша? — перебил я.

Хэчери и Диккенс сердито посмотрели на меня. Я растерянно моргнул и отступил назад. Больше я не задал Принцессе Пых-Пых ни единого вопроса.

Сэл тоже бросила на меня сердитый взгляд:

— Крестильное имя? Да нету у Друда никакого крестильного имени. Он не христианин и никогда таковым не был. Звать его просто Друд. Это часть истории. Так мне рассказывать аль нет?

Я кивнул, чувствуя, как жаркая краска смущения заливает мое лицо между нижней дужкой очков и началом бороды.

— Друд, он просто Друд, — повторила старая Сэл. — Ласкар Эмма говорил, что раньше Друд был матросом. Яхи же, который старше, чем мамаша Абдалла и грязь, вместе взятые, говорит, что он был не матросом вовсе, а пассажиром на корабле, приплывшем в Англию давным-давно. Может, шестьдесят лет назад, а может, и все сто. Но в одном они сходятся: Друд родом из Египта...

Я заметил, как Диккенс и верзила-сыщик переглянулись, словно слова старухи подтвердили что-то, что они уже знали или подозревали.

— Он, значит, был египтянином, темнокожим, как все эти поганые магометане, — продолжала Сэл. — По слухам, тогда у него еще были волосы, черные как смоль. Иные болтают, что он был красавец-мужчина. Но он всегда курил опий. Говорят, едва он сошел на берег Англии, как вскорости уже попыхивал трубочкой из чернильной склянки. Сперва Друд истратил все свои деньги — многие тысячи фунтов, если люди не врут. Должно быть, он происходил из высшей египетской знати. По крайней мере, из богатого семейства. Или разжился деньжатами каким-нибудь нечистым образом. Старый Чин-Чин, уэст-эндский торговец опием, обобрал Друда до нитки, сдирая с него в десять, двадцать, пятьдесят раз дороже, чем брал со своих постоянных клиентов. Когда все денежки вышли, Друд пробовал работать — подметал улицы, показывал фокусы знатным господам и дамам на Фалькон-Сквер, — но денег, заработанных честным путем, на опий не хватало. Оно иначе и не бывает. Тогда египтянин заделался сперва карманником, а потом и настоящим головорезом — убивал и грабил матросов

в припортовом квартале. Таким манером он оставался в милости у Чин-Чина и курил опий наилучшего качества, который китаец покупал в заведении Джонни Чанга, что в кофейне «Лондон и святая Катарина» на Рэтклиффской дороге... Потом Друд сколотил шайку — большей частью из египтян, но были там и малайцы, и ласкары, и свободные негры из матросни, и грязные ирландцы, и подлые немцы. Но в основном, повторяю, шайка состояла из египтян. У них своя религия, и они живут и молятся своим поганым богам в старом Подземном городе...

Не понимая, о чем речь, но боясь еще раз перебить рассказчицу, я взглянул сначала на Диккенса, потом на Хэчери. Оба они потрясли головой и пожали плечами.

— В один прекрасный день — или ночь — лет двадцать тому, — продолжала Сэл, — Друд напал из-за угла на одного матроса — вроде бы звали того Финн. Но Финн оказался не таким пьяным, как представлялось, и не такой легкой добычей, как думал Друд. Египтянин при разбоях да убийствах орудовал скорняжным ножом — а может, и кривым обвалочным навроде тех, какими пользуются уайтчепелские мясники, что вечно кричат про «превосходный филей отменного качества к завтрашнему ужину, без единой косточки»... Оно и верно, джентльмены и констебль Хиб: когда Друд заканчивал свою работенку в доках, в кошельке у него появлялись деньжата на опиум, а от матросов, чьи выпотрошенные трупы бросали в Темзу, точно рыбью требуху, не оставалось на виду ни единой косточки...

В одной из смежных комнат раздался стон. У меня мороз подрал по спине, но этот замогильный звук отнюдь не являлся откликом на историю старой Сэл. Просто у клиента в трубке выгорело все зелье. Карга не обратила на стон внимания, как и три ее завороженных слушателя.

— Но той ночью, двадцать лет назад, дело не вышло. Финн — коли того малого и вправду звали Финном — оказался не из тех, кого легко посадить на перо. Он перехватил руку Друда, вырвал у него нож — скорняжный ли,

обвалочный или какой еще — и оттяпал египтянину нос. Потом он вспорол своего несостоявшегося убийцу от паха прям до ключицы. Да уж, за годы службы на корабле Финн наловчился орудовать ножом, так говорит ласкар Эмма. Друд, рассеченный чуть не надвое, но все еще живой, вопит: «Нет, нет, пощади, не надо!» — а Финн, значит, отрезает мерзавцу язык, потом отхватывает причинное место и решает затолкать его нехристю в пасть взамен языка. И как решает — так и делает.

Я вдруг осознал, что часто моргаю и дышу прерывисто. Я никогда прежде не слышал подобных речей из женских уст. Кинув взгляд на Неподражаемого, я понял, что он совершенно зачарован как рассказом, так и рассказчицей.

— А под конец, — продолжала Сэл, — Финн, или как там звали этого матроса, умевшего орудовать ножом, вырезает сердце из Друдовой груди и бросает труп египтянина в реку с причала, что находится в миле без малого отсюда. Хотите верьте, хотите нет, господа хорошие.

— Но постойте, — перебил Диккенс. — Это же случилось двадцать с лишним лет назад? А немногим раньше вы сказали, что Друд семь или восемь лет кряду ходил в ваше заведение и пропал всего около года назад. Или вы настолько одурманены наркотиком, что не помните собственного вранья?

Принцесса Пых-Пых злобно вперилась в моего друга, выставила вперед руки со скрюченными пальцами, сгорбилась пуще прежнего, и мне показалось, будто ее растрепанные космы на мгновение встали дыбом. Я вдруг исполнился уверенности, что она вот-вот обернется дикой кошкой и начнет яростно фырчать, кусаться и царапаться.

Вместо этого старуха прошипела:

— Друд мертв, вот о чем я вам толкую. Мертв с тех самых пор, как матрос зарезал его и бросил в Темзу лет двадцать назад. Но евонные приспешники и единоверцы — египтяне, малайцы, ласкары, ирландцы, немцы, индусы, — они выловили из реки распухший труп своего

вожака через несколько дней после убийства, провели богомерзкие языческие ритуалы и оживили Друда. Ласкар Эмма говорит, дело было в Подземном городе, где египтянин живет и поныне. Старый Яхи, знававший Друда еще живым, говорит, что воскрешение произошло за рекой, среди гор конского и человеческого дерьма, которые вы, господа, деликатно называете «мусорной свалкой». Но где бы и как бы они ни обстряпали дело, Друда они таки оживили.

Я взглянул на Диккенса. В глазах у него горел восхищенный и одновременно озорной огонек. Кажется, я уже упоминал, что Чарльз Диккенс был не из тех людей, рядом с кем хочется стоять во время заупокойной службы: живущий в нем ребенок просто не мог удержаться от улыбки, от многозначительного взгляда, от лукавого подмига в самые неподходящие моменты. Порой мне казалось, что Чарльз Диккенс готов смеяться над всем подряд — священным ли, нечестивым ли. Я испугался, что и сейчас он начнет смеяться. Поясняю: испугался я не потому, что ситуация в целом не располагала к смеху, но потому, что в тот момент я нимало не сомневался, что все клиенты опиумного притона, все бедолаги, зарывшиеся в кучи тряпья, забившиеся в углы, спрятавшиеся под драными одеялами и развалившиеся на подушках, прислушиваются к нашему разговору со всем вниманием, на какое способен одурманенный наркотиком мозг.

Я испугался, что, если вдруг Диккенс сейчас рассмеется, все эти существа — а в первую очередь старая Сэл, окончательно превратившаяся в огромную разъяренную кошку, — набросятся на нас и разорвут на куски. В таком случае даже великан Хэчери не спасет нас, подумалось мне тогда в минутном приступе страха.

Но Диккенс, вопреки худшим моим ожиданиям, просто вручил Сэл три золотых соверена — положил монеты в грязную желтую ладонь и своею рукой свернул в кулак скрюченные шишковатые пальцы старухи.

— Где мы сейчас можем найти Друда, голубушка? — мягко спросил он.

— В Подземном городе, — прошептала она, зажимая монеты в обеих ладонях. — В самой глубине Подземного города, где китаец по прозвищу Король Лазарь снабжает Друда и всех прочих чистейшим опиумом. В самой глубине Подземного города, где он обитает вместе с другими мертвецами.

Диккенс призывно махнул рукой, и мы вышли за ним следом из задымленной комнаты на темную лестничную площадку.

— Сыщик Хэчери, — промолвил писатель, — вы когда-нибудь слышали о китайце по прозвищу Король Лазарь, торгующем опиумом под землей?

— Да, сэр.

— И вам ведомо о Подземном городе, который Сэл упоминала с таким трепетом?

— Да, сэр.

— Он находится где-то поблизости?

— Вход в него — да, сэр.

— Вы проведете нас туда?

— Ко входу-то? Да, сэр.

— Вы сопроводите нас в этот... Подземный город? Останетесь ли нашим Вергилием?

— Вы спрашиваете, спущусь ли я с вами *туда*, мистер Диккенс?

— Именно так, инспектор, — почти весело сказал Диккенс. — Именно так. За двойную плату против оговоренной, поскольку риск вдвое больше.

— Нет, сэр.

Диккенс изумленно моргнул, поднял трость и легонько постучал великана по груди бронзовой рукоятью в виде птичьего клюва.

— Ну же, ну, сыщик Хэчери. Шутки в сторону. А за тройную плату против оговоренной вы сопроводите нас с мистером Коллинзом в этот манящий и влекущий Подземный город? Приведете нас к Лазарю и Друду?

— Нет, сэр, — ответил Хэчери. Голос его звучал хрипло, словно в горле у него все еще першило от опиумного дыма. — Я ни при каких обстоятельствах не сунусь в Подземный город. Это мое последнее слово на сей счет,

сэр. И я настойчиво прошу вас не спускаться туда, коли вы дорожите своей жизнью и рассудком.

Диккенс кивнул, точно обдумывая совет.

— Но вы нам покажете... как вы там выразились?.. «вход» в Подземный город.

— Да, сэр. — Тихий голос Хэчери напоминал треск рвущегося картона. — Я покажу... с великим сожалением.

— Вот и славно, — промолвил Диккенс и стал спускаться по темной лестнице. — Просто превосходно. Сейчас уже за полночь, но ночь только начинается. Мы с Уилки пойдем дальше — и вниз — одни.

Огромный сыщик грузной поступью двинулся следом за писателем. Я стронулся с места не сразу. Видимо, густой опиумный дым, коим я надышался в тесном замкнутом помещении, подействовал на мои мышцы и сухожилия ниже пояса: ноги у меня словно налились свинцом и не слушались. Я в буквальном смысле слова не мог ступить ни шагу.

Потом, чувствуя в ногах болезненное колотье, каким сопровождается процесс восстановления кровообращения в онемелой конечности, я все же умудрился сделать первый неуклюжий шаг вниз. Мне пришлось тяжело опереться на трость, чтобы не упасть.

— Вы идете, Уилки? — донесся снизу до противного возбужденный голос Диккенса.

— Да! — крикнул я, мысленно добавив «черт бы тебя побрал». — Иду, Диккенс.

Глава 5

Здесь я должен ненадолго прервать повествование, дорогой читатель, чтобы объяснить, почему мне всегда приходилось сопровождать Диккенса в разных нелепых и опасных походах. Однажды, к примеру, я вместе с ним взобрался на Везувий. В другой раз, в Камберленде, я чуть не погиб на горе Кэррик-Фелл.

Восхождение на Везувий было одним из множества приключений, пережитых во время путешествия по Европе в 1853 году, совершенного Диккенсом, Огастесом Эггом и мной. Строго говоря, из трех путешественников только двое являлись холостяками и оба были значительно моложе Неподражаемого, но, когда мы резво носились по Европе осенью и зимой упомянутого года, именно Диккенс вел себя по-мальчишески беспечно, словно молодой холостяк, у которого еще вся жизнь впереди. Посетив почти все любимые места Диккенса на Континенте, мы в конце концов прибыли в Лозанну, где давний эксцентричный друг писателя, преподобный Чонси Таунсенд, прочитал нам ряд лекций о призраках, ювелирном деле и (излюбленная тема Диккенса) месмеризме, а оттуда направились в Шамони и сразу по прибытии поднялись на Мер-де-Глас, дабы заглянуть в ледниковые расселины глубиной в тысячу футов. В Неаполе, где я рассчитывал отдохнуть от приключений, Диккенс настоял на восхождении на Везувий.

Он был разочарован, глубоко разочарован, что вулкан не изрыгает ослепительного огня. Очевидно, сильное извержение 1850 года истощило силы Везувия: пока мы находились в Неаполе, из жерла постоянно валил густой дым, но ни единого языка пламени так и не вырвалось. Сказать, что Диккенс расстроился, значит ничего не сказать. Однако он быстро собрал группу горнолазов — в нее входил археолог и дипломат Остин Генри Лайард, — и мы безотлагательно ринулись покорять дымящуюся вершину.

За семь лет до нашего восхождения, ночью 21 января 1845 года, Диккенс видел здесь мощное извержение огня и серных паров, вполне способное удовлетворить интерес человека, настолько равнодушного к опасности, как он.

Зимой 1845-го Неподражаемый впервые приехал в Неаполь, и активность вулкана тогда была весьма высока. Прихватив с собой жену и свояченицу, Диккенс

выступил в поход — с шестью верховыми лошадьми, вооруженным солдатом в качестве охранника и (поскольку погода не благоприятствовала и вулкан действительно мог разбушеваться в любую минуту) по меньшей мере с двадцатью двумя проводниками. Они начали восхождение около четырех часов пополудни — женщин несли в паланкинах, а Диккенс шагал впереди вместе с проводниками. Тем вечером писатель пользовался тростью подлиннее и потолще той, которой нынче ночью постукивал по булыжному покрытию трущобных улочек Шедуэлла. И я уверен, что тогда, во время первого своего подъема на Везувий, он шел нисколько не медленнее, чем сейчас и здесь, на ровной местности, расположенной на уровне моря. Любой труднопреодолимый склон (как я неоднократно убеждался, к великой своей досаде и крайней усталости) только побуждал Чарльза Диккенса вдвое ускорить и без того слишком резвый шаг.

На конусообразный лавовый купол, венчающий Везувий, взойти не осмелился никто, кроме Диккенса и одного-единственного проводника. Вулкан бодрствовал. Языки пламени поднимались на высоту многих сотен футов, из каждой расселины на снежных полях и скалистых склонах валили серные пары, пепел и дым. Друг писателя, Роше, остановился в нескольких сотнях футов от кратера, боясь приблизиться еще хоть на шаг к огненному вихрю, и истошно прокричал, что Диккенс с проводником неминуемо погибнут, коли осмелятся подойти ближе к жерлу.

Диккенс настоял на том, чтобы подняться к самому краю кратера с наветренной и самой опасной стороны (одни только серные пары не раз убивали людей, находившихся несколькими милями ниже вершины) и заглянуть, как он впоследствии писал своим друзьям, «в самый кратер... в пылающие недра горы... Прекраснейшее зрелище из всех мыслимых, еще более ужасное, чем Ниагара...». Выше он привел в пример американский водопад как воплощение могущества и грозной силы Природы.

Везувий и Ниагара равны в своей мощи, писал он, «как огонь и вода».

Все остальные участники восхождения, включая испуганных и изнуренных Кэтрин с Джорджиной (на подступах к вершине они ехали верхом), впоследствии показали, что Диккенс вернулся с лавового купола «в одежде, занявшейся огнем в полудюжине мест, и весь покрытый ожогами». Оставшиеся на нем обгорелые лохмотья дымились в ходе всего долгого спуска — тоже невероятно трудного. На одном длинном, покрытом голым ледяным панцирем участке склона, где нескольким участникам похода пришлось связаться веревкой безопасности ради, а проводникам — вырубать во льду ступени, один из проводников поскользнулся и с пронзительным криком покатился вниз, в темноту, а минутой позже за ним последовал англичанин из числа примкнувших к нашему отряду. Диккенс и прочие продолжили путь, не зная об участи этих двоих. Позже писатель сказал мне, что англичанин выжил, но судьба проводника так и осталась нам неизвестной.

За тринадцать лет до нашей вылазки в лондонские трущобы на поиски Друда Диккенс затащил нас с Эггом на Везувий, но — благодарение Господу и относительному спокойствию вулкана! — этот поход оказался гораздо менее тяжелым и опасным. Диккенс и Лайард ушли вперед скорым шагом, что позволило нам с Эггом благоразумно делать передышки в пути при каждой необходимости. И перед нами, скажу прямо, открывалось поистине великолепное зрелище, когда мы стояли возле самого кратера и смотрели на заходящее над Сорренто и Капри солнце — огромное и кроваво-красное за пеленой вулканических паров и дыма. Мы спускались с горы без всякого труда при свете факелов; тонкий месяц всплывал над нашими головами, и все мы пели хором английские и итальянские песни.

Тот поход не шел ни в какое сравнение с нашим восхождением (едва не закончившимся для меня трагически) на гору Кэррик-Фелл, совершенным вскоре после

последнего представления «Замерзшей пучины» в Манчестере в 1857 году.

Диккенс тогда, как и нынче ночью в шедуэллских трущобах, просто кипел неистовой, неугасимой энергией, порожденной, казалось, чувством некоего глубинного неудовлетворения. Через несколько недель после заключительного показа спектакля он сказал мне, что сходит с ума и что (если я верно помню слова) «восхождения на все до единой горы Швейцарии или какой-нибудь дикий загул до полного упадка сил принесли бы мне лишь самое малое облегчение». В записке, которую он прислал мне однажды утром после наканунешнего совместного ужина, сопровождавшегося обильными возлияниями и обсуждениями (как серьезными, так и в высшей степени юмористическими) самых разных вопросов, говорилось: «Я хочу бежать от себя самого. Ибо, когда я вдруг заглядываю в собственную душу, как сейчас, я вижу непостижимую, неописуемую пустоту и немыслимое страдание». Могу добавить, что душевные страдания моего друга были не только немыслимыми, но также совершенно подлинными и крайне тяжелыми. Тогда я приписал все единственно неудачному браку Диккенса с Кэтрин, но сейчас понимаю, что главным образом дело было в его влюбленности в восемнадцатилетнюю девочку-женщину по имени Эллен Тернан.

В 1857 году Диккенс внезапно сообщил мне, что мы с ним немедленно отправляемся в Камберленд, дабы вдохновиться на написание ряда совместных статей о Северной Англии для нашего журнала «Домашнее чтение». Он собирался назвать сей труд «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев». Даже будучи соавтором (а в действительности, не стану скрывать, основным автором), я вынужден признать, что результатом нашей поездки стала серия заурядных и вялых путевых очерков. Уже много позже я понял, что в Камберленде Диккенса интересовала единственно чертова Кэррик-Фелл, а писать путевые очерки он вообще не имел никакого желания.

Эллен Тернан с сестрами и матерью выступала на театральных подмостках в Донкастере, каковой город, как я теперь понимаю, и являлся подлинной целью нашей дурацкой поездки на север страны.

Вот уж поистине нелепо было бы, если бы я погиб на Кэррик-Фелл из-за тайной страсти Диккенса к восемнадцатилетней актрисе, даже не догадывавшейся о его чувствах.

Из Лондона мы доехали поездом до Карлайла, а на следующий день добрались верхом до деревушки под названием Хески, расположенной у подножья горы «Кэррок, или Кэррик, или Кэррок-Фелл, или Кэррик-Фелл, о которой я читал, дорогой Уилки. Название варьируется».

Именно на Кэррик-Фелл я едва не погиб.

Чтобы дать выход килучей энергии и приглушить жгучее разочарование, Диккенсу требовалось в срочном порядке совершить горное восхождение, и по какой-то причине, не известной никому и даже, я уверен, ему самому, выбор пал на Кэррок- или Кэррик-Фелл.

В крохотной деревушке Хески не нашлось желающих провести нас к горе, а тем более подняться с нами на вершину. Погода стояла ужасная: холод, ветер, дождь. В конце концов Диккенс уговорил хозяина убогой местной гостиницы, где мы остановились, стать нашим проводником, хотя старик признался, что он «в жисти ни разу не взбирался на тую гору, сэр».

Мы не без труда отыскали дорогу к Кэррик-Фелл, чья вершина скрывалась за хмурыми вечерними облаками, и начали подъем. Хозяин гостиницы часто останавливался в нерешительности, но Диккенс обычно продолжал двигаться дальше, наобум выбирая направление. С наступлением темноты, когда из-за плотного тумана сумерки сгустились до мрака, поднялся пронизывающий ветер, однако мы не повернули назад. Вскоре мы заблудились. Старик признался, что не представляет даже, на какой стороне горы мы находимся. Театральным жестом, словно отважный Ричард Уордор в его исполнении, Диккенс

извлек из кармана компас, определил нужное направление, и мы продолжили наш путь во мгле.

Через тридцать минут купленный в городе компас разбился. Дождь полил пуще прежнего, вскоре мы промокли до нитки и страшно замерзли. Тьма северной ночи сгущалась все сильнее, пока мы петляли, кружили по каменистым склонам. Наконец мы отыскали предположительную вершину горы — скользкий каменистый гребень среди множества скользких каменистых гребней, окутанных непроницаемым туманом и ночной мглой, — и начали спускаться вниз, не имея ни малейшего представления, в какой стороне находятся наша деревня, наша гостиница, наш ужин, наш очаг и наши кровати.

Два часа мы шагали под проливным дождем, в густом тумане и в кромешном мраке, уже близком к стигийскому. Когда мы вышли к ревущему потоку, преградившему нам путь, Диккенс приветствовал его, как давно потерянного и вновь обретенного друга. «По нему мы дойдем до речки, протекающей у подножья горы, — объяснил писатель дрожащему от холода, несчастному хозяину гостиницы и своему равно несчастному соавтору. — Идеальный проводник!»

Проводник оказался не только идеальным, но еще и опасным. Стены ущелья становились все круче, скалы от дождя и коварной наледи становились все скользче, бурный поток под нами становился все шире. Я отстал от спутников, поскользнулся, упал со всего маху и почувствовал, как у меня хрустнула лодыжка. Лежа наполовину в воде, изнемогая от боли и дрожа от холода, голодный и совершенно обессиленный, я воззвал в темноту о помощи, надеясь, что Диккенс и хозяин гостиницы еще не удалились за пределы слышимости. В противном случае, понимал я, мне конец. Я не смогу ступить на поврежденную ногу, даже опираясь на трость. Мне придется ползти на четвереньках несколько миль до речки, а потом — если я чудом угадаю верное направление — ползти еще невесть сколько миль вдоль берега до деревни. Я человек городской, дорогой читатель. Подобные физические нагрузки мне не по плечу.

По счастью, Диккенс услышал мои крики. Он вернулся и нашел меня лежащим в воде, с чудовищно распухшей лодыжкой.

Поначалу он просто поддерживал меня, прыгавшего на одной ноге по предательски скользкому склону, но в конечном счете потащил на руках. Нисколько не сомневаюсь, он воображал себя Ричардом Уордором, несущим на руках своего соперника Фрэнка Олдерсли через арктические пустоши. Покуда Диккенс меня не ронял, мне было наплевать, каким там фантазиям он предается.

В конце концов мы отыскали гостиницу. Хозяин, дрожащий от холода и бормочущий проклятья себе под нос, разбудил свою жену и велел приготовить нам поздний ужин, или ранний завтрак. Слуги растопили камины в общей комнате и наших спальнях. Доктора в деревне не было — собственно говоря, там и деревни-то как таковой не было, — а посему Диккенс самолично накладывал мне ледяные компрессы и туго бинтовал распухшую лодыжку, покуда мы не вернулись в цивилизованный мир.

Мы отправились в Уигтон, потом в Эллонби, потом в Ланкастер, потом в Лидс — продолжая делать вид, будто собираем материал для путевых очерков, хотя я мог передвигаться лишь при помощи двух тростей и безвылазно сидел в гостиницах, — а затем наконец поехали в Донкастер, который с самого начала являлся нашей истинной и тайной целью (вернее, целью Чарльза Диккенса).

Там мы посмотрели несколько спектаклей, в одном из них Эллен Тернан мелькнула в эпизодической роли. На следующий день Диккенс отправился на пикник с семейством Тернан и (теперь я уверен) на долгую прогулку наедине с Эллен. Что произошло во время той прогулки, какие мысли и чувства были тогда выражены и отвергнуты, по сей день остается тайной, но я точно знаю, что из Донкастера Неподражаемый вернулся в прескверном настроении. Когда я попытался условиться с ним о часах совместной работы в конторе «Домашнего чтения»

над завершением и редактурой наших слабых путевых очерков, Диккенс ответил мне необычайно доверительным письмом, где, в частности, говорилось: «...неудача, постигшая меня в Донкастере, все еще тяготит меня столь сильно, что я совершенно не в состоянии писать и не знаю ни минуты покоя (когда бодрствую)».

Как я уже сказал, тогда я не знал, да и сейчас не знаю, в чем именно заключалась постигшая Диккенса неудача, но в самом скором времени она изменила весь ход нашей жизни.

Я рассказываю об этом, дорогой читатель, поскольку во время нашей ночной вылазки в июле 1865 года я заподозрил, а сейчас, по прошествии многих лет, утвердился в своих подозрениях, что на поиски таинственного Друда жаркой и смрадной июльской ночью Диккенса толкало не столько желание найти воскрешенного мертвеца, сколько то же, что он искал в Эллен Тернан в 1857 году в Донкастере и в течение восьми окутанных тайной последующих лет, до Стейплхерстской катастрофы.

Но, как и в случае с нашим восхождением на Кэррок- или Кэррик-Фелл, подобная одержимость может очень и очень дорого стоить другим людям, пусть сам одержимый и не злоумышляет против них. Другие люди могут в конечном счете погибнуть или получить увечья, как жертвы самого что ни на есть преднамеренного преступления.

Минут двадцать мы шагали по еще более темным и вонючим трущобным кварталам. Изредка я замечал признаки скученного человеческого обитания в покосившихся многоквартирных домах, порой слышал приглушенные голоса и посвистывания в темноте по обе стороны тесных улочек, а в иные разы тишину нарушало лишь постукивание Диккенсовой трости по булыжному мощению там, где таковое имелось. Мне вспомнилось описание ночной поездки из последнего и еще незаконченного романа Диккенса «Наш общий друг», когда два

молодых человека катят в наемном экипаже к Темзе, чтобы опознать труп, найденный и вытащенный из реки отцом и дочерью, которые таким образом зарабатывают на жизнь:

> Колеса катились дальше; катились мимо Монумента, мимо Тауэра, мимо Доков: и дальше, мимо Рэтклиффа, мимо Ротерхита, и дальше, мимо тех мест, где скопились подонки человечества, словно смытый сверху мусор, и задержались на берегу, готовые вот-вот рухнуть в реку под собственной тяжестью и пойти ко дну[1].

Честно говоря, подобно двум молодым повесам из упомянутого романа, я не следил за дорогой, а просто шагал за громоздкой, неуклюжей тенью сыщика Хэчери и стройной, гибкой тенью Диккенса. Впоследствии мне пришлось пожалеть о своей невнимательности.

Внезапно зловонный запах поменял оттенок и стал резче.

— Ф-фу! Мы что, снова приближаемся к реке? — воскликнул я, обращаясь к двум своим спутникам, смутно различимым во мраке.

— Хуже, сэр, — промолвил Хэчери, оглядываясь через плечо. — Это кладбище, сэр.

Я осмотрелся по сторонам. Поначалу у меня сложилось впечатление — противоречащее, впрочем, здравому смыслу, — будто мы приближаемся либо к Черч-стрит, либо к Лондонской больнице, но темная улочка выходила на своего рода поле, окруженное стеной и железной оградой с воротами. Никакой церкви поблизости не наблюдалось, а значит это было не церковное кладбище, а муниципальное, каких появилось очень много за последние пятнадцать лет.

Видите ли, дорогой читатель, в наше время без малого три миллиона лондонцев жили, ели и спали в буквальном смысле слова на могилах, где лежало по меньшей мере столько же, но почти наверняка гораздо больше

---

[1] Перевод В. Топер.

мертвецов. Разрастаясь, Лондон поглощал окрестные селения и деревни вместе со всеми кладбищами, и потому гниющие останки сотен и сотен тысяч наших возлюбленных усопших оказались в городской черте. Поначалу, например, погост при церкви Сент-Мартин-ин-зе-Филдс занимал площадь всего в каких-то двести квадратных футов, но к 1840 году, за двадцать пять лет до сей насыщенной событиями жаркой и зловонной июльской ночи, на нем уже покоились останки от шестидесяти до семидесяти тысяч лондонцев. Сейчас их там гораздо больше.

В пятидесятых годах, в пору Великого Зловония и самых страшных холерных эпидемий, всем стало ясно, что переполненные кладбища представляют серьезную опасность для здоровья людей, которым не посчастливилось жить поблизости от них. Все до единого городские кладбища были переполнены сверх всякой меры — положение вещей не изменилось и поныне. Многие тысячи мертвецов погребались в мелких могилах рядом с часовнями, ремесленными мастерскими, школами и на пустырях между частными домами. Посему принятый в 1852 году Закон о погребении (за него рьяно выступал Диккенс) предписывал Министерству здравоохранения учредить кладбища, открытые для всех мертвецов независимо от вероисповедания.

Возможно, вам также известно, дорогой читатель, что при моей жизни до недавних пор всех мертвецов в Англии надлежало погребать по христианскому обряду, на приходских кладбищах. Это правило нарушалось лишь изредка. В 1832 году парламент положил конец принятому в Англии обыкновению хоронить самоубийц прямо посреди общественных дорог, предварительно вогнав кол в сердце грешника. Упомянутый Парламентский акт — образец современной мысли и филантропии — разрешил погребать самоубийц на приходских кладбищах вместе с добрыми христианами, но только в случае, коли тело предадут земле между девятью часами вечера

и полуночью, без церковного обряда. Следует заметить также, что обязательное расчленение трупов убийц тоже было отменено в 1832 году — поистине знаменательный год нашей просвещенной эпохи! — и в нынешнее либеральное время на христианских кладбищах нередко покоятся даже душегубы.

Многие — точнее, большинство — из таких могил не отмечены надгробными камнями, но рано или поздно они все равно обнаруживаются. Кладбищенские рабочие, днем и ночью роющие новые могилы, неизменно вонзают лопаты в гнилую плоть, что лежит в земле слоями, и кости безымянных скелетов. На иных кладбищах нанимают людей, чтобы они каждое утро обходили территорию и проверяли (особенно после проливных дождей), не поднялись ли где на поверхность разложившиеся останки прихожан, которым слишком уж не терпится услышать трубный глас Судного дня. Я не раз видел, как рабочие во время таких обходов везут в тачках полусгнившие руки, ноги и другие, хуже поддающиеся опознанию части тел — так усердный садовник в каком-нибудь имении собирает с земли суки и ветки после сильной бури.

Такие новые места захоронений стали называться «муниципальными» кладбищами в отличие от «приходских», и они пользовались большой популярностью. Первые муниципальные кладбища являлись сугубо коммерческими предприятиями (на Континенте и по сей день принято выкапывать и выбрасывать на свалку останки, распиливать прекрасные надгробья на плиты для облицовки стен или мощения тротуаров, а сам участок продавать клиентам понадежнее, если родственники не вносят своевременно плату за могилы своих возлюбленных усопших), но после того, как, в соответствии с требованиями парламентских актов пятидесятых годов, многие переполненные приходские кладбища в Лондоне закрылись, почти все наши новые кладбища получали статус муниципальных — часть территории выделялась для

приверженцев традиционной церкви (там земля освящалась и строились часовни), а часть отводилась диссентерам. Интересно, приятно ли правоверным христианам и сектантам проводить Вечность в столь близком соседстве?

Похоже, кладбище, к которому мы приближались сейчас в темноте, изначально являлось погостом: церковь здесь пришла в запустение, когда окрестные кварталы стали слишком опасными для добропорядочных граждан, а потом церковное здание и вовсе сожгли с целью освободить участок под строительство многоквартирных домов, позволяющих домовладельцам выжимать еще больше денег из постояльцев-иммигрантов, — но сам погост сохранился и принимал все новых и новых мертвецов... вероятно, был захвачен диссентерами пару веков назад, а в какой-то момент в течение последних двадцати лет превращен в платное муниципальное кладбище.

Когда мы подошли к сырым стенам и черной железной ограде, я невольно задался вопросом, кто согласился бы заплатить хотя бы пенни за возможность упокоиться здесь. Огромные деревья, некогда росшие среди погоста, погибли уже много поколений назад и ныне обратились в окаменелые скелеты, вздымающие обкорнанные ветви к черным зданиям, что нависали над кладбищем со всех сторон. С обнесенной стеной и кованой оградой территории тянуло такой нестерпимой вонью, что я полез в карман за платком и только потом вспомнил, что Диккенс забрал его у меня, дабы накрыть мертвых младенцев. Я приготовился увидеть зеленое облако миазмов над могилами — и действительно, туман, сгустившийся в преддверии очередного теплого, парного дождя, бледно светился во мраке.

Диккенс подергал высокие черные кованые ворота, но они оказались заперты на большой висячий замок.

«Слава богу», — подумал я.

Однако сыщик Хэчери запустил руку под пальто и отстегнул от тяжело нагруженного пояса увесистую связку

ключей. Попросив Диккенса подержать фонарь, он перебрал звенящие ключи и нашел нужный, подошедший к замку. Огромные кованые ворота — сплошные полудужья да завитки — медленно отворились с таким надсадным скрипом, словно уже прошел не один десяток лет с последнего раза, когда желающие избавиться от трупа возлюбленного усопшего заплатили за вход на кладбище.

Мы зашагали по разбитым мощеным дорожкам, между темных надгробных плит, просевших могил и древних склепов, мимо мертвых деревьев. Судя по пружинистой походке и бодрому постукиванию трости, Диккенс наслаждался каждой секундой нашей прогулки. Я же боролся с рвотными позывами и внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь мягкое и вязкое.

— Я знаю это кладбище, — внезапно сказал Диккенс. В ночном безмолвии голос его прозвучал так громко, что я слегка подпрыгнул. — Я видел его при свете дня и описал в «Путешественнике не по торговым делам». Но за ворота я прежде не заходил. Я назвал его Городом Ушедших, а конкретно это место — Погостом Святого Стращателя.

— В самую точку попали, сэр, — откликнулся Хэчери. — Именно что Стращателя.

— Я не заметил на железных остриях по верху ворот украшений в виде черепов со скрещенными костями, — промолвил Диккенс все тем же неуместно громким голосом.

— Они по-прежнему там, мистер Диккенс, — заверил Хэчери. — Я почел за лучшее не светить на них фонарем. Ну вот мы и пришли, сэры. Вход в Подземный город.

Мы остановились возле узкого запертого склепа.

— Вы шутите? — спросил я.

Мой тон мог показаться несколько раздраженным. Я пропустил поздневечерний прием лауданума, и теперь подагрическая боль терзала мое тело, а голова раскалывалась, словно туго стянутая металлическим обручем.

— Нет, мистер Коллинз, никаких шуток, сэр. — Хэчери снова перебрал ключи в связке и вставил очередной массивный ключ в древний замок на металлической двери склепа. Высокая дверь с резким скрипом отворилась, когда он налег на нее плечом. Сыщик направил луч света внутрь и выжидательно посмотрел на нас с Диккенсом.

— Это нелепо, — сказал я. — Здесь не может быть никакого Подземного города, да и вообще никакого подземелья. Мы на протяжении нескольких часов чавкали сапогами по зловонной речной жиже. Уровень грунтовых вод здесь наверняка такой высокий, что все могилы вокруг затоплены.

— На самом деле — нет, сэр, — прошептал Хэчери.

— Эта часть Ист-Энда расположена на скальном основании, дорогой Уилки, — сказал Диккенс. — Под десятифутовым слоем земли — сплошная скала. Безусловно, вы знаете геологическое строение вашего родного города! Вот почему их соорудили именно здесь.

— Соорудили — что? — осведомился я, стараясь (но без особого успеха) не выдать своего раздражения.

— Катакомбы, — ответил Диккенс. — Подземные погребальные галереи под монастырями. А под древними христианскими катакомбами почти наверняка находятся еще более древние римские кубикулы.

Я не стал спрашивать, что означает слово «кубикулы». Я не сомневался, что в самом скором времени этимология данного термина прояснится.

Диккенс вошел в склеп, за ним последовал сыщик, а потом и я. Конусообразный луч света пробежал по всему крохотному помещению. Каменный постамент в центре маленькой усыпальницы — достаточно длинный, чтобы на нем поместился гроб, саркофаг или завернутое в саван тело, — был пуст. Никаких ниш в стенах или любых других мест, пригодных для упокоения мертвецов, здесь не наблюдалось.

— Тут же ни черта нет, — сказал я. — Кто-то стащил труп.

Хэчери тихо рассмеялся:

— Да бог с вами, сэр! Здесь никогда не было никаких трупов. Этот склеп является — и всегда являлся — просто входом в царство мертвых. Посторонитесь, пожалуйста, мистер Коллинз.

Я отступил к покрытой влагой каменной стене, а сыщик низко наклонился, налег плечом на растрескавшийся мраморный постамент и поднатужился. Скрип камня, трущегося о камень, болезненно резал слух.

— Я сразу заметил здесь дугообразные следы, прорезанные на старых плитах, — сказал Диккенс сыщику, по-прежнему напирающему плечом на постамент. — Свидетельство столь же ясное, как желобки, прорытые в земле сильно провисшими воротами.

— Ага, сэр, — пролыхтел Хэчери, продолжая напрягать силы. — Но обычно они засыпаны листьями, грязью и прочим мусором и не видны даже при свете фонаря. Вы очень наблюдательны, мистер Диккенс.

— Да, — довольно согласился писатель.

Я испугался, что пронзительный визг и скрежет медленно ползущего по каменному полу постамента привлечет на кладбище толпу любопытных головорезов, но потом вспомнил, что Хэчери запер кованые ворота за нами. Мы были заперты на кладбище. А поскольку дверь самого склепа неохотно отворилась только под напором могучего плеча Хэчери и он с таким же усилием закрыл ее за нами, мы были заперты и в самом склепе. Черное треугольное отверстие в полу становилось все шире по мере того, как постамент сдвигался все дальше в сторону, и в нем уже показались крутые каменные ступеньки — при одной мысли, что такая громада будет поставлена на место и мы окажемся в буквальном смысле погребенными под тяжеленным камнем в запертом склепе на запертом кладбище, у меня мороз подрал по спине, несмотря на душную жару июльской ночи.

Наконец Хэчери выпрямился. Черное треугольное отверстие в полу имело незначительные размеры, чуть более двух футов в ширину, но, когда Диккенс посветил в него фонарем, я увидел очень крутую каменную лестницу, уходящую в темноту.

Диккенс поднял лицо, причудливо освещенное снизу, и спросил сыщика:

— Вы точно не пойдете с нами, Хэчери?

— Нет, сэр, благодарю вас, сэр, — сказал великан. — Договоренность не позволяет.

— Договоренность? — с легким любопытством переспросил Диккенс.

— Так точно, сэр. Неписаное соглашение, издавна существующее между полицейскими и обитателями Подземного города. Мы не спускаемся вниз и не осложняем жизнь им, сэр, а они не поднимаются наверх и не осложняют жизнь нам.

— Похоже на соглашение, какое большинство живых пытается заключить с мертвыми, — негромко промолвил Диккенс, вновь переводя взгляд на темное отверстие в полу и крутые ступеньки.

— Именно так, сэр, — подтвердил сыщик. — Я знал, что вы поймете.

— Ну ладно, мы, пожалуй, пойдем, — сказал Диккенс. — Вы найдете обратную дорогу без фонаря, сыщик? Нам определенно понадобится фонарь внизу.

— О да, сэр, — ответил Хэчери. — У меня к поясу прицеплен еще один фонарь на случай необходимости. Но я покамест никуда не уйду. Подожду здесь до рассвета. Коли вы к тому времени не вернетесь, я отправлюсь прямиком в участок на Леман-стрит и доложу об исчезновении двух джентльменов.

— Это очень любезно с вашей стороны, сыщик Хэчери. — Диккенс улыбнулся. — Но вы же сами сказали: констебли и инспекторы не полезут вниз на наши поиски.

— Ну, не знаю, сэр. — Сыщик пожал плечами. — Все-таки оба вы известные писатели и знатные господа, — может статься, они сочтут возможным сделать исключение в вашем случае. Я просто надеюсь, что нам не придется выяснять, так это или нет.

Диккенс рассмеялся:

— Пойдемте, Уилки.

— Мистер Диккенс, — промолвил Хэчери, извлекая из-под пальто огромный пистолет револьверного типа. — Пожалуй, вам следует прихватить с собой вот это. Хотя бы для того, чтобы отпугивать крыс.

— О, это лишнее, — сказал Диккенс, отстраняя оружие облаченной в белую перчатку рукой.

(Вам следует помнить, дорогой читатель, что в наше время — я понятия не имею, как там принято у вас, — никто из служащих полиции не носил при себе огнестрельного оружия. И почти никто из преступников не носил. Слова Хэчери о «договоренностях» между преступным миром и стражами порядка во многих отношениях соответствовали истине.)

— Я возьму, — торопливо сказал я. — С радостью. Терпеть не могу крыс.

Револьвер оказался страшно тяжелым, каким и представлялся на вид, и едва поместился в правый карман моего сюртука. У меня возникло странное ощущение, будто наличие столь увесистого груза в кармане слегка нарушает мое телесное равновесие. Я сказал себе, что душевное мое равновесие наверняка нарушится гораздо сильнее, коли при мне не окажется оружия, когда в нем возникнет необходимость.

— Вы умеете обращаться с таким оружием, сэр? — спросил Хэчери.

Я пожал плечами.

— Полагаю, принцип заключается в том, чтобы направить эту штуковину на мишень тем концом, где отверстие, а потом спустить курок, — сказал я.

Все тело у меня мучительно ныло. Я словно воочию видел перед собой бутыль с лауданумом, стоящую на полке в запертой кухонной кладовой.

— Да, сэр, — кивнул Хэчери; котелок сидел у него на голове так туго, что, казалось, немилосердно сдавливал черепную коробку. — Принцип вы правильно понимаете. Вероятно, вы заметили, что у револьвера два ствола, мистер Коллинз. Верхний потоньше и нижний потолще.

Я этого не заметил. Я попытался извлечь несуразно тяжелый револьвер из кармана, но он зацепился за подкладку и порвал карман моего дорогого сюртука. Тихо чертыхаясь, я умудрился наконец вытащить оружие и принялся разглядывать его при свете фонаря.

— На нижний ствол не обращайте внимания, сэр, — произнес Хэчери. — Он предназначен для стрельбы картечью. Своего рода дробовик. Бьет со страшной силой. Надеюсь, сэр, он вам не понадобится, и в любом случае у меня нет зарядов к нему. Мой брат, до недавних пор служивший в армии, купил эту пушку у одного американца, хотя изготовлена она во Франции, — но не беспокойтесь, сэр, на ней стоят славные английские клейма, с нашей родной Бирмингемской оружейной фабрики. Барабан для стрельбы из верхнего гладкого ствола заряжен, сэр. Там девять пуль.

— Девять? — переспросил я, заталкивая огромный тяжелый револьвер обратно в карман и стараясь при этом не порвать подкладку еще сильнее. — Прекрасно.

— Может, возьмете еще про запас, сэр? У меня в кармане мешочек с пулями и капсюлями. Тогда мне придется показать вам, как пользоваться шомполом, сэр. Но это совсем несложно.

Я чуть не рассмеялся при мысли об уйме самых разных предметов, какие могут лежать в карманах и висеть на поясе сыщика Хэчери.

— Нет, спасибо, — сказал я. — Девяти вполне достаточно.

— Они сорок второго калибра, сэр, — продолжал сыщик. — Девяти штук будет более чем достаточно для крысы средних размеров — четвероногой или двуногой, смотря какая вам попадется.

Я невольно содрогнулся.

— Мы вернемся до рассвета, Хэчери, — сказал Диккенс, убирая хронометр в жилетный карман. Он начал спускаться по крутым ступенькам, держа фонарь низко перед собой. — Пойдемте, Уилки. До восхода солнца осталось меньше четырех часов.

— Уилки, вы знаете Эдгара Аллана По?

— Нет, — ответил я.

Мы спустились уже на десять ступенек, но еще не видели впереди конца круто наклоненной лестничной шахты. Ступеньки — высотой по меньшей мере три фута — походили скорее на каменные блоки египетских пирамид и были скользкими от подземной влаги, сочившейся повсюду тонкими струйками; маленький фонарь отбрасывал на них чернильно-черные обманчивые тени, и, если бы любой из нас споткнулся или оступился здесь, дело непременно закончилось бы переломанными ребрами и, вполне возможно, свернутой шеей. Я полушагнул-полуспрыгнул на следующую ступеньку, стараясь не отстать от пляшущего узкого конуса света, что исходил от руки Диккенса.

— Какой-то ваш приятель, Чарльз? — спросил я. — Специалист по криптам и катакомбам, надо полагать?

Диккенс расхохотался. Гулкое эхо в каменной шахте прозвучало до жути громко. Я искренне понадеялся, что больше он не станет смеяться.

— На первый ваш вопрос я с полной определенностью отвечу «нет», дорогой Уилки, — промолвил он. — А на второе предположение скажу «вполне возможно».

Диккенс остановился на ровной площадке у подножья лестницы, посветил фонарем на наклонные стены, низкий сводчатый потолок, а потом направил луч света в туннель, уходящий в темноту. Черные прямоугольники по обеим сторонам подземного коридора наводили на мысль об открытых проемах. Я спрыгнул с последней ступеньки и встал рядом с Диккенсом. Он повернулся ко мне и положил обе руки — в правой был зажат фонарь — на бронзовую рукоять трости.

— Я познакомился с По за пару недель до завершения своей поездки по Америке в сорок втором году, — сказал он. — Этот малый навязал мне сначала свою книгу, «Гротески и арабески», а потом и свое общество. Держась со мной как с равным или со старым другом, По часами разговаривал со мной — вернее, сам с собой

в моем присутствии — о литературе, о своих произведениях, о моих произведениях и снова о своих произведениях. Я так и не удосужился прочитать его рассказы, пока находился в Америке, но Кэтрин прочитала. Они произвели на нее чарующее впечатление. Похоже, этот По любит писать о склепах, трупах, преждевременных погребениях и сердцах, вырванных из груди живых людей.

Я пристально вглядывался в темноту за пределами крохотного круга света от фонаря. Оттого что я отчаянно напрягал зрение (а оно у меня слабое), мне мерещилось, будто повсюду сгущаются и шевелятся тени, похожие на расплывчатые высокие фигуры. Головная боль усилилась.

— Полагаю, все это имеет какое-то отношение к делу, Диккенс, — резко промолвил я.

— Только в том смысле, что сейчас у меня складывается отчетливое ощущение: мистер По получил бы от нашей вылазки гораздо больше удовольствия, чем в данный момент испытываете вы, друг мой.

— В таком случае, — грубовато сказал я, — мне очень хотелось бы, чтобы ваш друг По находился здесь сейчас.

Диккенс снова расхохотался, и гулкое эхо, запрыгавшее меж незримых стен во мраке, на сей раз прозвучало еще жутче прежнего, даром что заметно тише.

— Возможно, он и находится здесь. Вполне возможно. Помнится, я читал в прессе, что мистер По умер всего через шесть или семь лет после нашей встречи — совсем еще молодым, и при весьма странных обстоятельствах, возможно не совсем приличных. Но если судить по нашему непродолжительному, но весьма интенсивному общению, данное место в точности походит на такого рода каменную обитель, какую с радостью посещал бы призрак мистера По.

— Так что же это за место такое? — спросил я.

Вместо ответа Диккенс поднял повыше фонарь и двинулся в темный туннель. Черные проемы по обеим его сторонам оказались на поверку входами в вытянутые

прямоугольные камеры. Диккенс направил луч света в первую из них, расположенную по правую руку от нас.

На расстоянии футов шести от входа камеру перекрывала затейливая железная решетка от пола до потолка — внушительная, из толстых перекрестных прутьев, но с отверстиями в виде розеток. Красно-оранжевое железо выглядело таким древним и ржавым, что наверняка рассыпалось бы в прах, если бы я ступил в проем и ударил по решетке кулаком. Но я не собирался делать ничего подобного. За решеткой стояли рядами в несколько ярусов массивные гробы — мне показалось, окованные свинцом. Я насчитал их около дюжины в неверном, пляшущем свете фонаря.

— Вы можете прочитать надпись на табличке, Уилки?

Диккенс имел в виду белую каменную доску, закрепленную высоко на железной решетке. Другая доска валялась на полу, устланном слоем грязи и ржавчины, а третья стояла на ребре вплотную к решетке.

Я поправил очки и прищурился. Камень покрывали белые разводы, образовавшиеся от сырости, и темно-красные ржавые потеки. Я разобрал несколько букв:

Место пог*(неразборчиво)*ния
(неразборчиво) преп*(неразборчиво)*ого
Л. Л. В*(неразборчиво)*

Я прочитал это Диккенсу, вошедшему в проем, чтобы получше все там разглядеть, а потом сказал:

— Значит, они не римские.

— Катакомбы-то? — спросил Диккенс в обычной своей рассеянной манере, опускаясь на корточки и пытаясь разобрать надпись на каменной доске, что валялась в грязи, словно рухнувшее надгробие. — Да, вы правы. В целом они сооружены по римскому образцу — глубокие подземные галереи с погребальными камерами по обеим сторонам, — но подлинные римские катакомбы имеют лабиринтообразную планировку. Это христианские катакомбы, но очень древние, Уилки, очень древние, а потому они построены, как и часть нашего города,

по сетчатой схеме. В данном случае мы имеем главную галерею с погребальными камерами, окруженную коридорами поменьше. Вы, конечно же, заметили, что сводчатое перекрытие здесь, надо мной, выложено из кирпича, а не из камня... — Он направил луч света вверх.

Только тогда я увидел кирпичный свод. И только тогда сообразил, что красноватая «грязь», лежащая на полу толстым (местами в несколько дюймов) слоем, — это мелкая кирпичная и известковая крошка, осыпавшаяся с потолка.

— Это христианские катакомбы, — повторил Диккенс. — Расположенные прямо под часовней.

— Но там наверху нет никакой часовни, — прошептал я.

— В настоящее время — нет, — согласился Диккенс, поднимаясь с корточек. Он попытался стряхнуть грязь с белых перчаток, не выпуская при этом из рук фонаря и трости. — Но когда-то была. Полагаю, монастырская часовня. Часть монастыря при церкви Святого Страшателя.

— Церковь Святого Страшателя вы выдумали, — обвиняющим тоном сказал я.

Диккенс бросил на меня странный взгляд.

— Разумеется, выдумал, — промолвил он. — Ну что, двинемся дальше?

Мне нисколько не нравилось стоять в темном коридоре, где за моей спиной сгущался кромешный мрак, а потому я обрадовался, когда Диккенс вышел в галерею с намерением продолжить путь. Но сначала он повернулся и еще раз направил луч света на установленные ярусами гробы за ржавой решеткой.

— Я забыл упомянуть, — негромко проговорил он, — что, как и в случае с римскими прототипами, погребальные камеры в христианских катакомбах называются кубикулы. Каждая кубикула на продолжении многих десятилетий сохранялась за одним семейством или, возможно, за членами определенного монашеского ордена.

Римляне обычно сооружали катакомбы сразу целиком, по единому плану, но христианские погребальные галереи строились, расширялись, достраивались веками, и потому зачастую они беспорядочно расползаются в стороны. Вы знаете кофейню «У Гарраузя»?

— На Иксчейндж-элли? — уточнил я. — Близ Корнхилла? Ну конечно. Я не раз пил там кофий в ожидании, когда начнутся торги в аукционном доме по соседству.

— Под кофейней Гарраузя тоже находятся древние монастырские склепы. — Теперь Диккенс говорил шепотом, словно боялся привлечь внимание какого-нибудь призрака. — Я спускался вниз, ходил там среди винных бочек. Я часто задаюсь вопросом, не определяют ли туда на вечный постой замшелых завсегдатаев кофейни, всю жизнь проторчавших в общей зале, — туда, в прохладные подземные склепы, где обретают покой страждущие души, покинув мир, который болваны наверху называют «реальной действительностью». — Он взглянул на меня. — Но разумеется, даже парижские катакомбы — а вы там бывали вместе со мной, дорогой Уилки, — так вот, даже парижские катакомбы не смогли бы вместить всех истинно страждущих лондонцев, будь мы вынуждены спуститься под землю, в затхлую тьму, где нам самое место, когда мы разучаемся счастливо жить среди добропорядочных людей.

— Диккенс, что за вздор вы несе... — Я осекся.

В темном коридоре, за пределами тусклого круга света от нашего маленького фонаря, послышался слабый шорох или крадущиеся шаги.

Диккенс направил луч света в сторону, откуда донеслись звуки, но мы не увидели ничего, кроме каменных стен да зыбких теней. Галерея — с плоским каменным потолком, а не сводчатым кирпичным — тянулась ярдов на пятьдесят самое малое. Диккенс зашагал вперед, ненадолго останавливаясь у некоторых проемов, чтобы посветить в них фонарем. Все это были кубикулы — огороженные одинаковыми решетками погребальные камеры,

где стояли рядами и ярусами массивные гробы. В конце галереи Диккенс тщательно осветил всю торцовую стену и даже поводил по камню свободной рукой, нажимая там и сям ладонью, словно в поисках скрытого пружинного механизма, открывающего потайную дверь. Безрезультатно.

— Ну вот... — начал я.

Что я собирался сказать? «Ну вот, видите! Никакого Подземного города здесь нет. Никакого мистера Друда здесь нет. Вы удовлетворены? Пожалуйста, Диккенс, пойдемте домой. Мне нужно срочно принять лауданум».

— Похоже, больше здесь ничего нет, — сказал я.

— Это не так, — возразил Диккенс. — Вы заметили свечу на стене?

Нет, я не заметил. Мы вернулись к предпоследней кубикуле, и Диккенс поднял фонарь повыше. Да, действительно, в маленькой нише в стене стоял огарок толстой сальной свечи.

— Может, она оставлена здесь древними христианами? — предположил я.

— Не думаю, — сухо промолвил Диккенс. — Зажгите ее, пожалуйста, друг мой. И идите обратно к входу впереди меня.

— Зачем? — спросил я, но, так и не дождавшись ответа, послушно взял огарок, выудил коробок спичек из левого кармана сюртука (несуразно тяжелый револьвер по-прежнему оттягивал мой правый карман) и зажег свечной фитиль. Диккенс кивнул, довольно бесцеремонно, и я медленно зашагал по галерее в обратном направлении.

— Вот оно! — внезапно воскликнул Диккенс, когда мы преодолели примерно половину расстояния.

— Что?

— Разве вы не видели, как пламя свечи затрепетало, Уилки?

Если я и видел, то не обратил внимания. Однако я сказал:

— Да просто от входа сквозняком тянет.

— Не думаю, — отрывисто бросил Диккенс.

Упорство, с каким он выражал несогласие с каждым следующим моим замечанием, начинало раздражать меня. Подняв фонарь, Диккенс заглянул сначала в кубикулу слева от нас, а потом в противоположную.

— Ага! — воскликнул он.

По-прежнему держа перед собой слабо трепещущую свечу, я тоже заглянул в камеру, но не обнаружил там ничего, способного вызвать такое вот удивленное и довольное восклицание.

— На полу, — указал Диккенс.

Я увидел, что в красной пыли там протоптана своего рода тропинка, ведущая за железную решетку, к гробам.

— Недавнее погребение? — предположил я.

— Сильно в этом сомневаюсь, — промолвил Диккенс, упорствуя в своей решимости отвечать возражением на каждую мою реплику.

Он первым вошел под своды усыпальницы, отдал мне фонарь и потряс железную решетку обеими руками. Часть решетки отворилась внутрь подобием калитки, края и петли которой не были видны даже с расстояния нескольких футов.

Диккенс тотчас забрал у меня фонарь и вошел в проем. Через несколько мгновений он стал словно тонуть в рыжей пыли, устилавшей пол. Я не сразу сообразил, что он спускается по ступенькам в глубине погребальной камеры.

— Пойдемте же, Уилки! — донесся до меня гулкий голос писателя.

Я заколебался. У меня была свеча. У меня был револьвер. Через тридцать секунд я достиг бы подножья ведущей наверх лестницы, а спустя еще тридцать секунд оказался бы в кладбищенском склепе — снова под защитой сыщика Хэчери.

— Уилки!

Писатель и фонарь оба уже скрылись из виду. Блик света все еще дрожал на кирпичном потолке над местом, где исчез Диккенс. Я оглянулся на темный вход в кубикулу, потом посмотрел на ряды массивных гробов, стоящих

ярусами на постаментах по обе стороны от тропинки, протоптанной в красной пыли, потом снова обернулся.

— Уилки, прошу вас, поторопитесь! И загасите свечу, но непременно возьмите огарок с собой. Запас масла в фонаре не вечен.

Я прошел сквозь проем в решетке и двинулся между гробами к еще невидимой лестнице.

Глава 6

Узкая лестница из расшатанных каменных блоков тянулась под сводчатым кирпичным потолком. Через несколько минут мы оказались в другой галерее с кубикулами.

— Здесь тоже склепы, — прошептал я.

— Только более древние, — шепотом откликнулся Диккенс. — Обратите внимание, Уилки: эта галерея изгибается. И потолок тут гораздо ниже. И входы в кубикулы замурованы, что заставляет меня вспомнить один рассказ покойного мистера По.

Я не стал спрашивать, о чем рассказ. Я собирался спросить, почему мы разговариваем шепотом, но еще не успел открыть рот, когда Диккенс обернулся и прошептал через плечо:

— Видите свет впереди?

Я увидел не сразу, а только когда Диккенс пригасил наш «бычий глаз», почти полностью опустив шторку. Свет был очень тусклый и, казалось, исходил из-за поворота каменного коридора.

Диккенс двинулся вперед, знаком велев мне следовать за ним. Мощенный каменными плитами пол в этой более глубокой и древней галерее был неровным, несколько раз я спотыкался и не падал только потому, что успевал опереться на трость. Сразу за поворотом налево и направо от галереи ответвлялись равно широкие коридоры.

— Это римская катакомба? — шепотом спросил я.

Диккенс легко помотал головой, но мне показалось, что он не столько отвечает мне, сколько пытается меня успокоить. Он указал на проем в стене справа, откуда исходил слабый свет.

Это была единственная незамурованная кубикула. Темный драный занавес закрывал почти весь арочный проем, но оттуда все же просачивался тусклый свет. Я машинально нащупал рукоять револьвера в кармане, когда Диккенс решительно прошел за тронутый тленом полог.

По обеим сторонам этой длинной и узкой кубикулы находились глубокие погребальные ниши и проемы, ведущие в другие кубикулы. Трупы здесь покоились не в гробах.

Тела лежали на деревянных полках, расположенных ярусами от пола до потолка вдоль стен узкого помещения, и все они принадлежали мужчинам, причем по виду явно не англичанам, не христианам и не римлянам. Скелетообразные тела, но не скелеты. Судя по темно-коричневой коже, иссохшей сморщенной плоти и похожим на стеклянные шарики глазам, они были мумифицированы. Действительно, эти трупы в истлевших одеждах и лохмотьях запросто сошли бы за египетские мумии, если бы не азиатские черты мумифицированных лиц да косой разрез немигающих глаз. Когда Диккенс остановился, я наклонился, чтобы получше рассмотреть лицо одной из мумий.

Она моргнула.

Я вскрикнул и отпрянул, уронив свечу. Диккенс поднял ее, подошел ближе и посветил фонарем на полку с трупом.

— Вы думали — это мертвецы? — прошептал он.

— А разве нет?

— Неужели вы не заметили опиумных трубок? — тихо спросил писатель.

Нет, не заметил. Но сейчас наконец увидел. Эти трубки — почти неразличимые в полумраке, поскольку мумии накрывали ладонями чашечки и мундштуки, —

были вырезаны гораздо затейливее, чем дешевые трубки в заведении Сэл наверху.

— И не уловили опиумного запаха? — прошептал Диккенс.

Нет. Но сейчас наконец почуял. Мягкий, тонкий, сладковатый аромат, не идущий ни в какое сравнение с наркотическим смрадом в притоне Сэл. Я бросил взгляд назад и осознал, что дюжины мертвецов, лежащих в древнем подземном склепе на изгнивших деревянных полках, на самом деле являются древними, но еще вполне живыми азиатами, куряшими свои трубки.

— Пойдемте, — промолвил Диккенс и вошел в боковое помещение, откуда лился слабый свет.

Вдоль стен там тоже тянулись ряды полок (на иных из них я разглядел подушки), и в воздухе висел опиумный дым погуще, но в самом центре помещения, на широкой деревянной скамье, установленной на каменном саркофаге, сидел в позе лотоса китаец, который казался таким же древним и мумифицированным, как недвижные тела на полках позади нас и перед нами. Только надетые на нем шапочка и халат, или балахон, или как там называется подобный наряд, был из цветастого чистого шелка, красно-зеленого и сплошь расшитого золотыми и синими узорами. Длинные белые усы старика свисали дюймов на десять ниже подбородка. Позади него, у каменной стены, стояли, сложив руки в низу живота, два голых по пояс здоровенных парня, тоже китайцы, но значительно моложе. Их мощные мускулы блестели в свете двух длинных красных свечей, что высились по обе стороны от тощей буддоподобной фигуры.

— Мистер Лазарь? — спросил Диккенс, подступая ближе к старику. — Или мне следует называть вас Король Лазарь?

— Добро пожаловать, мистер Диккенс, — промолвил китаец. — И вам, мистер Коллинз, добро пожаловать.

Я невольно отступил на шаг назад, услышав из уст столь типичного олицетворения Желтой Угрозы свое имя, произнесенное на чистейшем английском языке,

без какого-либо акцента. Честно говоря, позже я осознал, что едва уловимый акцент все же имелся, но... кембриджский.

Диккенс тихо рассмеялся:

— Вы знали, что мы здесь появимся?

— Конечно, — ответил китайский Король Лазарь. — До моего ведома доводят практически все события, происходящие в Блюгейт-Филдс, Шедуэлле, Уайтчепеле, да и во всем Лондоне, коли на то пошло. А уж о визитах особ столь выдающихся и знаменитых — а я почитаю за таковых вас обоих, джентльмены, — мне докладывают незамедлительно.

Диккенс отвесил легкий, но изящный поклон. Я же мог только таращиться. Потом осознал, что по-прежнему сжимаю в левой руке погасшую свечу.

— Значит, вы знаете, зачем мы пришли, — сказал Диккенс.

Король Лазарь кивнул.

— Вы поможете нам найти его? — продолжал Диккенс. — Я имею в виду Друда.

Лазарь поднял ладонь. Я с изумлением увидел, что ногти у него длиной дюймов шесть. И загнутые. А ноготь на мизинце по меньшей мере вдвое длиннее.

— Подземный город хорош тем, — промолвил Король Лазарь, — что здесь не беспокоят тех, кто не хочет, чтобы их беспокоили. В данном отношении мы полностью сходимся с мертвецами, что окружают нас здесь.

Диккенс понимающе кивнул.

— Так это и есть Подземный город? — спросил он.

Теперь настала очередь Короля Лазаря рассмеяться. В отличие от надсадного, хриплого клекота Опиумной Сэл, смех у китайца был сочный и разливистый.

— Мистер Диккенс, это обычный опиумный притон в обычной катакомбе. В прошлом наши клиенты приходили из наземного мира и возвращались обратно, а теперь большинство предпочитает оставаться здесь годами и десятилетиями. Но Подземный город? Нет, это

не Подземный город. Можно сказать, это тамбур перед прихожей перед коридором, ведущим в вестибюль Подземного города.

— Вы поможете нам пройти туда... и разыскать его? — спросил Диккенс. — Я понимаю, вы не хотите беспокоить других... э-э... обитателей этого мира, но Друд дал мне понять, что хочет, чтобы я его нашел.

— И каким же образом он это сделал? — поинтересовался Король Лазарь.

Признаться, у меня возник такой же вопрос.

— Потрудившись представиться мне, — ответил Диккенс. — Сообщив, в какой именно район Лондона направляется. Напустив на себя таинственность, чтобы возбудить во мне любопытство и желание продолжить наше знакомство.

Китаец на деревянной скамье не кивнул и не моргнул. Только тогда я осознал, что за все время разговора он еще ни разу не мигнул. Его темные глаза казались такими же тусклыми и безжизненными, как у мумий на полках вокруг нас. Наконец Лазарь заговорил — тихим голосом, словно споря сам с собой:

— Было бы весьма прискорбно, если бы кто-нибудь из вас, джентльмены, написал и опубликовал что-нибудь о нашем подземном мире. Вы сами видите, как он хрупок... и легкодоступен.

Я подумал о колоссальных усилиях, которые пришлось приложить Хэчери, чтобы могучим плечом сдвинуть с места каменный постамент, закрывающий вход в верхнюю подземную галерею; подумал о едва заметной тропке, тянущейся по красной пыли к невидимой калитке в железных воротах; подумал о жуткой узкой лестнице, ведущей на второй ярус катакомб, и о лабиринте, по которому мы прошли, чтобы найти этот опиумный притон... в общем и целом я не был уверен, что разделяю мнение китайского короля относительно доступности этого места.

Однако Диккенс, казалось, согласился с Лазарем. Он кивнул, но все же сказал:

— Я хочу единственно найти Друда. У меня нет желания писать о Подземном городе. — Он повернулся ко мне. — Вы ведь чувствуете то же самое, правда, мистер Коллинз?

Я неопределенно хмыкнул, предоставив королю мумий-опиоманов понимать это, как ему вздумается. Я был романистом. Все и вся в моей жизни служило материалом для моих сочинений. И уж конечно, писатель, стоявший сейчас рядом со мной в свете свечей, всегда руководствовался данным принципом в большей степени, чем любой другой писатель современности или прошлого. Как он мог говорить за меня и заявлять, что я никогда не напишу о столь необычном месте? Как он мог сам с честными глазами обещать такое? Человек, превративший своих отца, мать, несчастную жену, бывших друзей и бывших возлюбленных в сырье для штамповки своих литературных персонажей.

Король Лазарь медленно наклонил голову в шелковой шапочке, каковое движение можно было истолковать как самый медленный в мире кивок.

— Было бы крайне прискорбно, если бы с вами, мистер Диккенс, или с вами, мистер Коллинз, приключилась какая-нибудь беда, пока вы гостите у нас здесь или исследуете Подземный город под нами.

— Мы тоже так считаем! — почти весело воскликнул Диккенс.

— Однако никто не может гарантировать вашу безопасность за пределами моих владений, — продолжал китаец. — Вы сами поймете это, когда... если... продолжите путь.

— Мы не просим никаких гарантий, — сказал Диккенс. — Просим лишь посоветовать, как нам действовать дальше и куда направиться отсюда.

— Вы меня не совсем поняли. — Впервые за все время разговора в голосе Короля Лазаря послышались поазиатски резкие нотки. — Если с одним из вас, джентльмены, что-нибудь случится внизу, второму не позволят вернуться в наземный мир и написать, рассказать, дать показания о случившемся.

Диккенс бросил на меня взгляд, потом снова повернулся к Королю Лазарю:

— Мы понимаем.

— Не совсем, — промолвил буддоподобный старик. — Если с вами обоими что-нибудь случится внизу — а случись что с одним из вас, как вы теперь понимаете, второй непременно разделит участь товарища, — ваши тела найдут далеко отсюда. А именно — в Темзе. Вместе с телом сыщика Хэчери. Сыщик прекрасно это понимает. Необходимо, чтобы и вы тоже ясно осознали это, прежде чем примете решение продолжить путь.

Диккенс снова взглянул на меня, но никакого вопроса не задал. Если честно, в тот момент я предпочел бы отойти с ним в сторонку, обсудить дело и проголосовать. А если совсем честно, в тот момент я предпочел бы просто пожелать опиумному китайскому королю приятного вечера и убраться оттуда восвояси — подняться из подземной усыпальницы на свежий ночной воздух, пусть и насыщенный зловонными миазмами переполненного кладбища, нареченного Диккенсом «Погост Святого Стращателя».

— Мы все понимаем, — горячо говорил Диккенс китайцу. — Мы согласны с поставленными условиями. Но мы все равно хотим спуститься вниз, в Подземный город, и разыскать мистера Друда. Как нам это сделать, Король Лазарь?

Наглость Диккенса, который принял жизненно важное решение за нас обоих, не потрудившись хотя бы посоветоваться со мной или поинтересоваться моим мнением, настолько меня ошеломила, что мне показалось, будто голос Лазаря доносится откуда-то издалека, приглушенный расстоянием.

Китаец говорил или декламировал:

Je suis un grand partisan de l'ordre,
Mais je n'aime pas celui-ci.
Il peint un éternel désordre,
Et, quand il vous consigne ici,
Dieu jamais n'en révoque l'ordre.

— Отлично! — воскликнул Диккенс.

Я же, потрясенный и возмущенный поведением Неподражаемого, поставившего на карту мою жизнь вместе со своей столь беспардонным образом, не понял ни единого французского слова.

— А как и где мы найдем эти беспорядок и порядок? — продолжал мой друг.

— Понимание, что даже в видимом беспорядке кроется совершенный порядок, как в Уэллсе, приведет к апсиде, алтарю и лестнице за грязной перегородкой, — сказал Король Лазарь.

— Да-да. — Диккенс понимающе кивнул и даже выразительно глянул на меня, словно призывая запоминать все хорошенько.

Лазарь снова принялся декламировать:

Все, чем бахвалятся пред миром греки,
Подземные описывая реки
Стикс, Ахерон, Коцит и Флегетон,
Здесь явлено в одной реке. Но стон,
И крик, и смрад сильнее здесь стократ.
На веслах нашего челна сидят
Два провожатых пострашней Харона.
Здесь каркают зады, а не вороны,
И вместо Цербера вдоль берегов
Повсюду бродят своры диких псов.
Слышны вокруг не призраков стенанья,
А вопли, брань, проклятья, причитанья
Заблудших душ, грехом отягощенных,
На адовые муки обреченных.

Я попытался поймать взгляд Диккенса, дабы своим пристальным выразительным взглядом дать понять, что нам пора уйти прочь, давно уже пора, что наш опиумный король безумен, как безумны были мы сами, когда решили спуститься сюда, — но Неподражаемый, пропади он пропадом, опять кивал с самым понимающим видом и говорил:

— Отлично, просто превосходно. Нужно ли нам знать еще что-нибудь для того, чтобы разыскать Друда?

— Только одно: вы непременно должны заплатить провожатым, — прошептал Король Лазарь.

— Разумеется, разумеется, — сказал Диккенс, явно чрезвычайно довольный собой и китайцем. — Ну, мы пойдем, пожалуй. Ах да... полагаю, коридор, которым мы только сейчас прошли, и ваш при... гм... ваше заведение являются — если говорить применительно к Уэллсу — частью порядка, имеющего видимость беспорядка?

Лазарь широко улыбнулся. Я увидел, как блеснули очень мелкие и очень острые зубы, словно заточенные напильником.

— Конечно, — мягко промолвил он. — Считайте первый южным приделом нефа, а второе внутренним двориком.

— Огромное вам спасибо, — с чувством поблагодарил Диккенс. — Пойдемте, Уилки, — бросил он мне, направляясь к выходу из опиумного притона для мумий.

— И еще одно, — сказал Король Лазарь, когда мы уже выходили в общий зал, полный мумифицированных клиентов.

Диккенс обернулся и оперся на трость.

— Остерегайтесь мальчишек, — предупредил китаец. — Среди них попадаются каннибалы.

Мы вернулись в наружную галерею и зашагали по ней в сторону, откуда пришли.

— Мы уходим? — с надеждой спросил я.

— Уходим? Нет конечно. Вы же слышали, что сказал Король Лазарь. Мы находимся неподалеку от входа непосредственно в Подземный город. Если нам хоть немного повезет, мы встретимся с Друдом и вернемся, чтобы сводить сыщика Хэчери куда-нибудь позавтракать еще прежде, чем солнце взойдет над Погостом Святого Стращателя.

— Я слышал, как этот непотребный китаец сказал, что наши тела — и тело Хэчери — будут найдены в Темзе, коли мы продолжим наши безумные поиски, — проговорил я.

Голос мой отразился эхом от каменных стен. Эхо прозвучало несколько испуганно.

Диккенс тихо рассмеялся. Кажется, в тот момент я начал ненавидеть его.

— Глупости, Уилки, глупости. Вы прекрасно понимаете, что он имел в виду. Если с нами что-нибудь случится здесь — а ведь мы с вами все-таки пользуемся известным общественным вниманием, дорогой Уилки, — маленькое святилище здешних обитателей неизбежно привлечет к себе внимание, которое станет для них губительным.

— Поэтому они нас прикончат и бросят тела в Темзу, — пробормотал я. — А что там Лазарь болтал на французском?

— Разве вы не поняли? — удивился Диккенс. — Мне казалось, вы немного говорите по-французски.

— Я слушал невнимательно, — угрюмо буркнул я.

И с трудом поборол искушение добавить: «К тому же я последние пять лет не переправлялся то и дело через пролив, чтобы тайно проводить время с некой актриской в деревушке Кондетт, а потому имел меньше возможностей практиковаться во французском».

— Это был короткий стишок, — сказал Диккенс.

Он остановился во мраке, прочистил горло и продекламировал:

> Я ревностный приверженец порядка,
> Но мне не по душе порядок здесь:
> Он видимость имеет беспорядка.
> Однако Бог, нас поселивший здесь,
> Ввек не отменит своего порядка.

Я посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, на замурованные входы в древние кубикулы. Дурацкий стишок не имел никакого — или почти никакого — смысла.

— Эти строчки вкупе с упоминанием об Уэллсе все проясняют, — продолжал Диккенс.

— Об Уэльсе? — тупо переспросил я.

— Об Уэллсе — об Уэллсовском соборе, вне всяких сомнений, — сказал Диккенс, поднимая фонарь и вновь двигаясь вперед. — Вы там бывали, полагаю.

— Да, но...

— Этот ярус катакомб, судя по всему, сооружен по плану некоего крупного собора — а именно Уэллсовского. То, что производит впечатление случайного и произвольного, на самом деле продумано и подчинено общему замыслу. Неф, зал капитула, северный и южный трансепты, алтарь и апсида. Олиумный притон Короля Лазаря, например, как он любезно нам пояснил, располагается на месте, где в Уэллсовском соборе находится внутренний дворик. Кладбищенский склеп, через который мы проникли сюда, соответствует западной башне Уэллсовского собора. Минуту назад мы вернулись в южный придел нефа, а сейчас повернули в сторону восточного трансепта. Видите, насколько этот коридор шире того, что ведет к «внутреннему дворику»?

Я кивнул, но Диккенс не оглянулся, и мой кивок остался незамеченным.

— Он упомянул что-то об алтаре и грязной ширме, — сказал я.

— А, да. Видимо, вы не расслышали и недопоняли: он говорил не о ширме, а о перегородке — и не грязной, а крестной, дорогой Уилки. Как вам наверняка известно — а мне известно тем более, поскольку я вырос в буквальном смысле слова в тени Рочестерского собора, о котором надеюсь написать однажды, — апсидой называется полукруглая сводчатая ниша в алтарной части храма. С одной стороны высокого алтаря находится алтарная перегородка, призванная скрывать от взоров мирян священнодействия служителей культа. Напротив нее, со стороны трансепта, находится так называемая крестная перегородка.

— Я знаю, — сухо промолвил я. — А что он там нес про Стикс, Ахерон, провожатых пострашней Харона и каркающие зады?

— Как, вы не вспомнили, откуда эти строки?! — вскричал Диккенс. От удивления он остановился как вкопанный и направил на меня фонарь. — Это же наш любимый Бен Джонсон и его «Памятная прогулка», написанная году в тысяча шестьсот десятом от Рождества Христова, если не ошибаюсь.

— Вы редко ошибаетесь, — пробормотал я.

— Благодарю вас, — сказал Диккенс, не заметив моей иронии.

— Но какое отношение к мистеру Друду имеет стихотворение о Коците, Флегетоне, стоне, крике, смраде, Хароне и Цербере?

— Оно говорит о том, что нам с вами придется совершить путешествие по реке, друг мой.

В свете фонаря я видел, что дальше галерея, или «неф», сужается и впереди чернеют несколько проемов в стенах. Что там? Трансепт и апсида? Алтарная и крестная перегородки? Очередные полки с азиатскими мумиями, курящими опиум? Или просто смрадные склепы, полные костей?

— Путешествие по реке? — тупо переспросил я.

Мне безумно хотелось принять свой лауданум. И безумно хотелось очутиться дома, чтобы получить такую возможность.

«Апсидой» оказалось круглое помещение с каменным куполообразным потолком высотой футов пятнадцать. Мы вошли в него сбоку — как бы из хорового обхода, если расположение подземных коридоров здесь и впрямь соотносилось с планом какого-то собора. «Алтарь» представлял собой массивный каменный постамент, очень похожий на тот, что сдвинул Хэчери в склепе высоко над нами.

— Если теперь требуется передвинуть эту штуковину, — сказал я, указывая на постамент, — значит наше путешествие здесь и закончится.

Диккенс кивнул и коротко бросил:

— Не требуется.

Полуистлевший занавес слева (он напоминал гобелен, но за несколько веков все узоры на нем потемнели в подземном мраке, стали черно-бурыми) частично отгораживал «алтарь» от пространства «апсиды» под каменным куполом. Другой занавес, попроще и еще сильнее изъеденный тленом, висел на каменной стене примитивного пресвитерия справа от нас.

— Крестная перегородка, — сказал Диккенс, указывая тростью на второй занавес.

Концом трости он отодвинул в сторону истлевшую ткань, и мы увидели узкий проем в стене. Ведущая вниз деревянная лестница была значительно круче и у́же двух предыдущих. Стены и потолок почти вертикального тоннеля, пробитого в земле и камне, подпирали нетесаные бревна.

— Как по-вашему, эта шахта более древняя, чем сами катакомбы? — шепотом спросил я, спускаясь следом за Диккенсом по крутой лестнице. — Относится к раннехристианской эпохе? Или к древнеримской? Или к друидической?

— Вряд ли. Думаю, она проложена совсем недавно, Уилки. Не более пяти лет назад. Обратите внимание: ступени, похоже, сделаны из железнодорожных шпал. На них еще остались следы смолы. И шахту, скорее всего, рыли снизу вверх.

— Снизу вверх? — повторил я. — Откуда это — снизу?

В следующую секунду на меня накатила почти физически ощутимая волна смрада, давшая ответ на мой вопрос. Я полез в карман за платком, но тотчас же снова вспомнил, что Диккенс забрал его у меня и использовал не по назначению несколько долгих часов назад.

Через пару минут мы оказались непосредственно в канализационном коллекторе. Он представлял собой сводчатый кирпичный туннель шириной всего семь-восемь футов и высотой менее шести футов, по дну которого не текла, а медленно ползла густая жижа. От нестер-

лимой вони у меня сильно заслезились глаза, и мне пришлось вытереть их рукавом, чтобы разглядеть, что там выхватывает из мрака бледный луч света, исходящий из фонаря в руке Диккенса.

Я увидел, что Диккенс прикрывает нос и рот шелковым платком. Так у него с собой было два платка! Вместо того чтобы накрыть трупики младенцев двумя своими, он реквизировал у меня мой, хотя наверняка прекрасно знал, что впоследствии платок мне понадобится. Негодование мое возросло.

— Все, дальше я не ступлю ни шагу, — решительно заявил я.

В больших глазах Диккенса отражалось недоумение, когда он повернулся ко мне.

— Но почему, скажите на милость, Уилки? Мы уже зашли так далеко!

— Я не намерен месить сапогами *это*. — Я раздраженно указал на зловонную вязкую жижу, ползущую по каналу.

— О, нам и не придется, — сказал Диккенс. — Видите кирпичные дорожки по обеим сторонам туннеля? Они на несколько дюймов выше уровня этой грязюки.

«Грязюкой» мы, писатели, называем сильно правленные рукописи и гранки, которые издатели возвращают нам на доработку. Я задался вопросом, не отпустил ли сейчас Диккенс дешевую остроту.

Но по обеим сторонам узкого канализационного туннеля действительно тянулись «дорожки». Впрочем, они едва ли заслуживали столь громкого названия: «дорожка» с нашей стороны имела не более десяти дюймов в ширину.

Я потряс головой, полный сомнений.

По-прежнему крепко прижимая платок к лицу, Диккенс достал из кармана складной нож и нацарапал три параллельные черты на кирпичной стене рядом с местом, где грубо сколоченная лестница выходила в сточный туннель.

— Зачем это? — спросил я, но тотчас же сам сообразил. Видимо, зловонные испарения пагубно влияли на мои логические способности.

— Чтобы найти дорогу обратно, — ответил Диккенс. Сложив нож, он поднес его к свету и сказал ни с того ни с сего: — Подарок американских друзей, принимавших меня в Массачусетсе в ходе моей поездки по Штатам. Очень полезная вещь, как я не раз имел случай убедиться. Ну ладно, пойдемте, час уже поздний.

— А почему вы пошли направо, а не налево? — поинтересовался я, семеня вслед за ним по узкому кирпичному выступу и пригибая голову, чтобы цилиндр не зацепился за низкий свод туннеля и не упал в нечистоты.

— Да так, по наитию, — сказал Диккенс.

Через несколько минут мы подошли к месту, где туннель разветвлялся на три разновеликих рукава. По счастью, сточный канал здесь сужался, и Диккенс перепрыгнул через него, опираясь на трость. Он нацарапал три черты у входа в средний туннель и посторонился, освобождая место для меня.

— Почему именно этот туннель? — спросил я, когда мы углубились в него на двадцать-тридцать ярдов.

— Он самый широкий, — ответил Диккенс.

Мы подошли к следующему тройному разветвлению. На сей раз он выбрал правый туннель и снова нацарапал три черты на кирпичной кладке.

Пройдя сотню ярдов по этому более узкому туннелю, Диккенс остановился. Я увидел у противоположной стены (дорожки там не было) свечной металлический отражатель, закрепленный на лопасти заступа, погруженного черенком в вязкую жижу, а ниже подобие проволочного решета, прислоненное к стене. В отражателе еще оставался крохотный, буквально в четверть дюйма, огарок сальной свечи.

— Это еще что такое? — прошептал я. — Зачем это здесь?

— Имущество какого-то подземного старателя, — обыденным тоном промолвил Диккенс. — Разве вы не читали Мэйхью?

Я не читал. Недоуменно уставившись на залепленное по краям грязью решето, я спросил:

— Но ради всего святого, что можно найти тут в нечистотах?

— Да самые разные вещи, которые мы рано или поздно теряем на улицах близ сточных канав и люков, — сказал Диккенс. — Кольца, монеты. Даже кости могут представлять определенную ценность для неимущих. — Он указал тростью на лопату и решето. — Именно такие инструменты Ричард Берд изобразил в одной из своих иллюстраций к книге Мэйхью «Лондонские рабочие и лондонские бедняки». Вам обязательно нужно прочитать ее, дорогой Уилки.

— Сразу, как только выберемся отсюда, — прошептал я, исполненный решимости выполнить свое обещание.

Мы двинулись дальше. Местами, где сводчатый потолок становился ниже, нам приходилось двигаться чуть ли не на корточках. В какой-то момент меня охватила паника при мысли, что в нашем маленьком фонаре выгорит все масло, но потом я вспомнил про увесистый огарок свечи, лежащий в моем левом кармане.

— Как по-вашему, это часть новой канализационной системы Базалгетти? — немного погодя спросил я.

К тому времени с действительностью меня примиряло лишь одно обстоятельство: от невыносимого зловония у меня почти начисто отшибло нюх. Я осознал, что рано или поздно мне придется пустить свою одежду на осветительные жгуты, и страшно расстроился, поскольку я особо дорожил сюртуком и жилетом, надетыми на мне тогда.

Кажется, я уже упоминал прежде, что в свое время Джозеф Базалгетти, главный инженер Управления общественных работ, выдвинул на рассмотрение в парламенте проект новой общегородской канализационной системы, который предполагал строительство очистных станций, препятствующих сбросу нечистот в Темзу, и сооружение каменных набережных. Скорейшему

принятию проекта поспособствовало Великое Зловоние, случившееся в июне 1858 года и выгнавшее прочь из города всю палату общин. Главная очистная станция в Кроснессе открылась год назад, но на городских улицах и под ними все еще прокладывались десятки миль основной и вспомогательных канализационных сетей. Работы по строительству набережных планировалось начать через пять лет.

— Новой? — переспросил Диккенс. — Сильно сомневаюсь. Под городом тянутся сотни сточных туннелей, проложенных много веков назад, Уилки... иные относятся аж к древнеримской эпохе... О многих из них Управление общественных работ просто забыло.

— Но помнят подземные старатели, — заметил я.

— Совершенно верно.

Внезапно туннель резко расширился, образуя довольно просторное и сравнительно сухое помещение. Диккенс остановился и посветил фонарем по сторонам. Стены здесь были каменные, сводчатый кирпичный потолок подпирали многочисленные столбы. По более-менее сухим краям этой чашеобразной камеры лежали всевозможные спальные подстилки, как сплетенные из грубой веревки, так и сотканные из дорогой шерсти. С почерневшего от копоти потолка свисали на цепях тяжелые лампы. На приподнятой площадке, своего рода островке, в центре помещения стояла железная печка с дымовой трубой, отведенной не вверх, сквозь каменный потолок, а вниз, в один из четырех расходящихся лучами туннелей. Несколько толстых досок, положенных на установленные на попа ящики, служили обеденным столом, а в самих ящиках я разглядел стопки грязных тарелок и прочую посуду. В ящиках поменьше, видимо, хранились продукты.

— Просто не верится, — выдохнул Диккенс, поворачиваясь ко мне. Глаза у него возбужденно блестели, лицо расплывалось в широкой улыбке. — Знаете, что приходит на ум при виде всего этого, Уилки?

— Маленькие дикари! — воскликнул я. — Да неужто вы читаете выпуски этого романа, Диккенс?!

— Ну конечно, — рассмеялся самый известный писатель современности. — Их читают все мои знакомые ценители и знатоки литературы, Уилки! Но никто из нас не признается в этом, боясь осуждения и насмешек.

Речь шла о низкопробном авантюрном романе под названием «Маленькие лондонские дикари, или Дети ночи. Повесть наших дней». В настоящее время он ходил по рукам в виде корректурных оттисков, но в ближайшем будущем должен был выйти в свет на потребу читающей публике, если власти не запретят публикацию под предлогом непристойного характера сочинения.

Честно говоря, я лично не видел ничего особо непристойного в написанной напыщенным слогом истории о беспризорных детях, которые живут, точно несчастные дикие звери, в канализационных туннелях под городом, хотя я по сей день помню одну особо жуткую и не вполне приличную иллюстрацию с изображением нескольких мальчишек, нашедших в сточном канале тело почти голой женщины. В другом эпизоде романа — по счастью, не проиллюстрированном — один паренек, новенький среди «дикарей», случайно наталкивается на обгрызенный крысами мужской труп. В конечном счете, возможно, роман действительно был непристойным.

Но кто бы мог подумать, что дешевая страшилка, написанная посредственным языком, основана на реальных фактах?

Диккенс рассмеялся — эхо раскатилось по всем туннелям — и сказал:

— Это место мало чем отличается от моего любимого клуба, Уилки.

— Если не считать того, что иные из обедающих здесь являются каннибалами, как предупредил нас Король Лазарь, — заметил я.

Словно в ответ на наши остроты из одного из туннелей раздались крысиный писк и царапанье. Возможно, из всех сразу.

— Так может, мы теперь пойдем назад? — спросил я, возможно, слегка умоляющим тоном. — Теперь, когда мы проникли в самое сердце тайны Подземного города?

Диккенс бросил на меня пронзительный взгляд:

— О, я сильно сомневаюсь, что это и есть самое сердце тайны. Или хотя бы печень или легкие оной. Пойдемте, вот этот туннель вроде бы пошире прочих.

Через пятнадцать минут и пять поворотов тесной кирпичной кишки мы вышли в просторную камеру, рядом с которой обиталище «маленьких лондонских дикарей» казалось крохотной кубикулой.

Этот поперечный туннель выделялся среди остальных, как большак среди проселков: он имел по меньшей мере двадцать пять футов в ширину и пятнадцать в высоту, а посередине протекал быстрый поток воды (пусть даже жалкого подобия воды, чудовищно грязного и мутного), а не ползла густая жижа. Стены, пролегающие вдоль них дорожки и высокий сводчатый потолок были сложены из новехонького кирпича.

— Вот это, должно быть, часть новой канализационной системы Базалгетти. — В голосе Диккенса впервые за все время послышались благоговейные нотки. Заметно потускневший луч фонаря плясал по стенам и потолку широкого туннеля. — Но вероятно, официальное открытие еще не состоялось.

Я мог лишь потрясти головой, одновременно устало и изумленно.

— Куда теперь, Диккенс?

— Дальше пути нет, кажется, — тихо промолвил он. — Разве только мы пустимся вплавь.

Я растерянно моргнул и тотчас понял, о чем он. Кирпичная дорожка здесь — чистая и ровная, как новый городской тротуар, — имела по меньшей мере пять футов в ширину, но она тянулась лишь на пятнадцать футов от входа в одну и другую сторону.

— Значит, возвращаемся той же дорогой? — спросил я.

При одной мысли об обратном путешествии по узким кирпичным кишкам у меня мороз подрал по коже.

Диккенс посветил фонарем на деревянный столб, стоящий ярдах в двух слева от нас. На нем висел маленький корабельный колокол.

— Думаю, нет, — негромко произнес он.

Прежде чем я успел запротестовать, он четыре раза ударил в колокол. Резкий звон раскатился эхом по широкому туннелю над быстрым потоком.

В самом конце странного кирпичного причала Диккенс нашел брошенный шест и погрузил его вертикально в воду.

— Глубина семь футов самое малое, — сообщил он. — Возможно, больше. А вы знаете, Уилки, что французы собираются устраивать лодочные экскурсии по своим подземным сточным каналам? Женщины сидят в лодках, мужчины часть пути проходят пешком: Плоскодонки приводятся в движение педальным механизмом вроде велосипеда, а установленные на них прожекторы и фонари, выданные экскурсантам, освещают все подземные достопримечательности.

— Нет, — угрюмо буркнул я. — Я этого не знал.

— В парижском высшем свете поговаривают об организации охоты на крыс для желающих.

Я был сыт по горло всем этим. Резко повернувшись кругом, я сказал:

— Все, пойдемте отсюда, Диккенс. Скоро рассвет. Если сыщик Хэчери отправится на Леман-стрит и заявит о нашем исчезновении, добрая половина лондонских констеблей спустится сюда на поиски самого знаменитого писателя современности. Королю Лазарю и его друзьям это не понравится.

Прежде чем Диккенс успел ответить, в глубине туннеля внезапно послышался шум, а в следующий миг из темноты прямо на нас вылетели несколько существ с мертвенно-бледными крысиными личиками и в развевающихся лохмотьях.

Я неловко выхватил револьвер из кармана. В первый момент я решил, что нас атакуют гигантские крысы.

Диккенс стремительно выступил вперед, встав между мной и верткими существами, которые наступали на нас, совершая различные обманные движения.

— Это мальчишки, Уилки! — выкрикнул он. — Просто мальчишки!

— Мальчишки-каннибалы! — проорал я, вскидывая револьвер.

Словно в подтверждение моих слов, один из них — длинноносый, с крохотными глазками и мелкими острыми зубами — прыгнул на Диккенса и щелкнул челюстями, словно намереваясь откусить ему нос.

Неподражаемый наотмашь ударил нападавшего по лицу тростью и попытался схватить его, но в руке у него остались лишь грязные лохмотья, а голый ребенок и двое или трое других мальчишек пустились наутек по темному узкому туннелю, откуда появились следом за нами.

— Боже мой! — выдохнул я, все еще держа тяжелый револьвер обеими руками. Я услышал непонятный приглушенный звук, донесшийся сзади, со стороны воды, и медленно повернулся, по-прежнему не опуская револьвера. — Боже мой! — снова прошептал я.

К нашей кирпичной эспланаде подплыла длинная узкая лодка необычного вида. На носу стоял высокий парень с шестом, другой сидел у руля на корме — но, если не считать высоких кормы и носа с висящими на них фонарями, суденышко лишь отдаленно напоминало итальянскую гондолу.

Парни выглядели уже не мальчиками, но еще не мужчинами — черты землисто-бледных лиц пока не обрели зрелой завершенности. Страшно худые, они были одеты в одинаковые темно-синие лохмотья, похожие чуть ли не на униформу; грудь в распахнутом вороте драной рубахи и полоска голого тела над равно драными штанами у обоих имели такой же нездоровый мучной цвет, как лицо. Что самое странное, оба полумальчика-полумужчины были в квадратных дымчатых очках, словно нахо-

дились не в сумрачном туннеле, а под ярким солнцем, резавшим чувствительные глаза.

— Полагаю, прибыли наши провожатые, Уилки, — прошептал Диккенс.

Опасливо оглянувшись на черный проем, откуда в любой момент снова могли выскочить маленькие дикари, я придвинулся поближе к Диккенсу и приготовился ступить в маленькую лодку. Неподражаемый вручил безмолвному гребцу два соверена, потом заплатил столько же рулевому. Оба парня отрицательно потрясли головой, и каждый отдал обратно один из двух соверенов. Они указали на Диккенса и кивнули. Потом указали на меня и помотали головой. Меня явно не приглашали на борт.

— Мой друг должен сопровождать меня, — сказал Диккенс безмолвной паре. — Я не оставлю его здесь. — Порывшись в кармане, он достал еще несколько монет.

Две смутные фигуры почти одновременно помотали головой.

— Вы от мистера Друда? — спросил писатель.

Он повторил вопрос по-французски. Странная пара продолжала хранить молчание. Наконец рулевой снова ткнул пальцем в Диккенса и жестом пригласил его в лодку. Гребец указал на меня, а потом на кирпичную дорожку под моими ногами, явно веля мне оставаться на месте. У меня возникло ощущение, будто они командуют мне, как собаке.

— К черту все это! — громко сказал я. — Пойдемте отсюда, Диккенс. Ну же!

Писатель посмотрел на меня, потом на туннель за моей спиной — откуда снова доносился приглушенный частый топоток, — потом опять посмотрел на лодку, а затем вытянул шею и глянул вверх и вниз по течению подземной реки.

— Уилки... — наконец проговорил он. — Мы уже зашли так далеко... и так много узнали, что я... просто не могу повернуть назад.

Я ошеломленно уставился на него.

— Вернемся в другой раз, — сказал я. — А сейчас надо убираться прочь.

Он отрицательно потряс головой и отдал мне «бычий глаз».

— У вас есть револьвер и... сколько, говорил Хэчери, там пуль?

— Девять.

Негодование, недоумение и обида поднимались во мне, как поднимается к горлу тошнота во время сильной качки в море. Так он действительно собирался бросить меня здесь!

— Девять пуль, фонарь и указатели пути в виде нацарапанных на стенах трех черточек, — торопливо проговорил Диккенс.

Я обратил внимание на характерное пришепетывание и подумал, что, возможно, оно усиливается, когда Неподражаемый совершает предательские поступки.

— А если там больше девяти мальчишек-каннибалов? — тихо спросил я. И сам удивился спокойствию своего голоса, пусть и звучавшего слегка искаженно под гулкими сводами широкого туннеля. — Или полчища крыс, которые явятся поужинать, когда вы уплывете?

— Напавший на меня мальчишка никакой не каннибал, — сказал Диккенс. — Просто беспризорный ребенок в лохмотьях столь ветхих, что они на нем едва держались. Но на худой конец, Уилки... пристрелите одного из них. Остальные дадут деру.

Тогда я рассмеялся. У меня действительно не было выбора.

Диккенс ступил в маленькую лодку, попросил гребца подождать секундочку и посмотрел на хронометр при свете кормового фонаря.

— У нас еще осталось добрых полтора часа, чтобы успеть вернуться к Хэчери до восхода солнца, — сказал он. — Подождите меня здесь, на причале, Уилки. Зажгите свечу вдобавок к «бычьему глазу», чтобы стало посветлее, и подождите меня. Я потребую, чтобы наш с мистером Друдом разговор продолжался не долее часа. Мы поднимемся наверх вместе.

Я открыл рот, собираясь заговорить или рассмеяться, но из горла моего не вырвалось ни звука. Я вдруг осознал, что по-прежнему держу перед собой дурацкий тяжелый револьвер... и что он направлен в сторону Диккенса и двух его провожатых. Мне не требовалось картечного заряда в нижнем стволе, чтобы все трое упали, бездыханные, в мутный поток лондонских сточных вод. Мне стоило лишь трижды нажать на спусковой крючок. Тогда у меня осталось бы еще шесть пуль на маленьких дикарей.

Словно прочитав мои мысли, Диккенс сказал:

— Я бы взял вас с собой, Уилки, когда бы мог. Но представляется очевидным, что мистер Друд желает поговорить со мной наедине. Если вы дождетесь меня — а я вернусь самое большее через полтора часа, уверяю вас, — мы с вами поднимемся наверх вместе.

Я опустил револьвер.

— Но если я уйду отсюда до вашего возвращения... коли вы вообще вернетесь, — хрипло проговорил я, — вам будет очень сложно найти обратную дорогу без фонаря.

Диккенс ничего не ответил.

Я зажег свечу и сел между ней и «бычьим глазом», лицом ко входу в туннель, спиной к Чарльзу Диккенсу. Я положил взведенный револьвер на колени. И не обернулся, когда плоскодонная лодка плавно отошла от крохотного причала. Она скользила по воде так бесшумно, что я не расслышал ни единого постороннего плеска в гулком шуме подземной реки. И я по сей день не знаю, вверх или вниз по течению уплыл тогда Диккенс.

Глава 7

До самого конца лета 1865 года стояла страшная жара. В начале сентября необычный зной, сопровождавшийся частыми грозами, пошел на убыль и в Лондоне установилась ясная погода с теплыми днями и прохладными ночами.

В течение двух месяцев после нашего ночного похода я редко виделся с Диккенсом. Летом и во время других школьных каникул его дети выпускали собственную маленькую газету, «Гэдсхилл гэзет», и в августе мой брат Чарльз принес мне пачку таких газеток. Там были статьи о пикниках, поездках в Рочестер, крикетных матчах и заметка о первом письме сына Диккенса, Альфреда, в мае уехавшего в Австралию, чтобы заняться овцеводством. Все сообщения о Неподражаемом (если не считать традиционных упоминаний, что пикники, поездки в Рочестер, крикетные матчи проходили под его председательством) сводились к тому, что он напряженно работает над «Нашим общим другом».

От Перси Фицджеральда я узнал, что Диккенс с детьми и довольно многочисленной группой друзей ездил в поместье Бульвер-Литтона, Нейворт, чтобы отпраздновать открытие первых домов, построенных на средства «Гильдии литературы и искусства» для нуждающихся художников и писателей. Диккенс верховодил всем собранием и, по словам Фицджеральда, «казался веселым и жизнерадостным, как прежде». Неподражаемый произнес пылкую оптимистичную речь, в частном разговоре сравнил своего излишне напыщенного друга Джона Форстера с Мальволио[1] (в присутствии нескольких писателей, которые непременно донесут Форстеру о нелицеприятном сравнении), затащил большую компанию приятелей в расположенную поблизости таверну под названием «Наш общий друг» и даже принял участие в танцах на открытом воздухе, прежде чем вернуться со всеми своими спутниками в Лондон.

Я приглашения в Нейворт не получил.

От своего брата Чарльза я узнал, что Диккенс попрежнему страдает от последствий Стейплхерстской катастрофы — в частности, предпочитает по возможности ездить на медленном поезде, так как путешествия

[1] Персонаж комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно».

на курьерском, а порой даже поездки в обычной карете вызывают у него приступы страха. Еще Чарльз сообщил мне, что в начале сентября Диккенс закончил работу над «Нашим общим другом» и добавил к нему эпилог (хотя никогда прежде не писал эпилогов), где защищает довольно необычный метод повествования, использованный в романе, кратко описывает Стейплхерстскую катастрофу (умалчивая, разумеется, о мисс и миссис Тернан и мистере Друде) и в заключение пишет фразу, вызывающую легкое беспокойство: «Чувство благоговейной благодарности не покидает меня при воспоминании, что я никогда не был так близок к вечной разлуке со своими читателями и к тому дню, когда моя жизнь должна будет завершиться тем словом, которым сейчас я завершаю эту книгу: Конец».

Поскольку вы, дорогой читатель, живете в нашем посмертном будущем, вероятно, я не открою вам большой тайны, если скажу, что Диккенсу уже не довелось написать это слово — «Конец» — в завершение следующего своего романа.

Одним погожим днем в первых числах сентября Кэролайн поднялась в мой кабинет, где я тогда работал, и вручила мне визитную карточку некоего господина, ждавшего внизу. На карточке значилось:

Инспектор Чарльз Фредерик Филд
Частное сыскное бюро

Видимо, Кэролайн заметила недоумение, отразившееся на моем лице, ибо спросила:

— Что-нибудь не так? Отослать его прочь?

— Нет-нет... Проводи его ко мне. Только затвори дверь поплотнее, когда он пройдет в кабинет, дорогая моя.

Через минуту инспектор Филд уже находился в кабинете, с легким поклоном тряс мою руку и тараторил, не давая мне открыть рот. Я вспомнил описание из давнего

диккенсовского эссе о нем, напечатанного в «Домашнем чтении»: «...мужчина средних лет, осанистый, с большими, влажными, проницательными глазами и сиплым голосом; у него манера в подкрепление своих слов выставлять толстенный указательный палец, держа его все время на уровне глаз или носа».

Сейчас Филд был уже далеко не средних лет, а лет шестидесяти, сообразил я, и от кудрявой темной гривы у него остался лишь скудный венчик седых волос, но сиплый голос, проницательные глаза и толстенный указательный палец никуда не делись и находились в полной исправности.

— Мистер Коллинз, мистер Коллинз, как я рад снова видеть вас, сэр. Причем видеть в столь явном и отрадном благополучии, сэр. Ах, какая чудесная комната, сэр! Как много книг! Полагаю, вон там, рядом со слоновьим бивнем, стоит экземпляр вашей «Женщины в белом» — да, так и есть! Говорят, замечательная книга — правда, сам я покамест не удосужился прочитать ее, но моя жена прочитала. Возможно, вы меня помните, сэр...

— Да, конечно. Вы сопровождали нас с Чарльзом Диккенсом...

— В одном из ваших походов по самым сомнительным кварталам нашего прекрасного города. Да, мистер Коллинз, сопровождал, действительно сопровождал. Возможно, вы помните также, что я присутствовал при первой вашей встрече с мистером Диккенсом...

— Признаться, я не уверен, что...

— Нет-нет, сэр, вам нет никакой нужды помнить о моем присутствии там. Дело было в пятьдесят первом году, сэр. Мистер Диккенс нанял меня частным образом, так сказать, чтобы я обеспечил порядок во время представления пьесы лорда Литтона «Не так плохи, как кажемся», поставленной при милостивом содействии герцога Девонширского. Вы тогда были начинающим актером, сэр, и мистер Диккенс по совету мистера Эгга пригласил вас на роль Смарта. Помнится, мистер Диккенс сказал вам на первой репетиции: «Роль маленькая,

но она, бесспорно, хороша!» И вы тоже, мистер Коллинз, вы тоже были, бесспорно, хороши. Я видел несколько представлений, сэр.

— Благодарю вас, инспектор. Я...

— Да... О, вы позволите мне присесть? Премного благодарен. Ах, какое прекрасное каменное яйцо у вас на столе, мистер Коллинз. Это оникс? Да, полагаю, он самый. Прелесть, просто прелесть.

— Спасибо, инспектор. Чему я обязан?..

— Вы наверняка помните, мистер Коллинз, что герцог Девонширский предоставил свой лондонский дом, Девоншир-хаус, для первого представления пьесы лорда Литтона. Насколько я помню, все сборы от спектакля пошли в фонд «Гильдии литературы и искусства». В то время президентом гильдии был сэр Эдвард. Мистер Диккенс занимал пост вице-президента. Возможно, вы помните, что меня и нескольких моих тщательно отобранных коллег наняли, чтобы мы, одетые в цивильное платье, присутствовали в зрительном зале, потому как раздельно проживавшая жена лорда Литтона — по имени Розина, кажется, — грозилась сорвать спектакль. Она обещала, помнится, переодеться продавщицей апельсинов и закидать сцену фруктами. — Инспектор Филд хихикнул, и я натужно улыбнулся в ответ. — В другой записке, — продолжал мой гость, — она обещала забросать тухлыми яйцами королеву, которая, невзирая на угрозы, все же явилась на премьеру, как вы наверняка помните, сэр, ибо у всех писателей замечательная память. Ее величество королева пришла в обществе принца Альберта и стала свидетелем первого вашего публичного выступления совместно с мистером Диккенсом. Дело было шестнадцатого мая пятьдесят первого года — а кажется, будто только на прошлой неделе, не правда ли, сэр? — и тем вечером на представлении присутствовали ваши особые гости, мистер Коллинз. Ваш брат Чарльз, кажется, и ваша матушка... леди Хэрриет, если мне не изменяет память. Надеюсь, она пребывает в добром здравии, мистер Коллинз, искренне надеюсь, и помнится мне,

когда ваша матушка наведывается в город, она проживает с вашим братом Чарльзом и его женой Кейт, старшей дочерью Диккенса. На Кларенс-террас, если я верно помню адрес. Премилый район. И ваша матушка — очаровательная дама, поистине очаровательная. О, и помнится мне, на том первом представлении присутствовали еще и другие ваши гости. Эдвард и Генриетта Уорд. Сигару? Да, сэр, с превеликим удовольствием.

Предложенная сигара превосходного качества послужила к приостановке словесного потока моего гостя, мы в молчании обрезали и зажгли наши сигары и с минуту наслаждались курением, не произнося ни слова. Потом, пока сыщик не спохватился и не возобновил словоизвержение, я сказал:

— Ваша память делает честь вашей профессии и вам самому, инспектор Филд. Но позвольте поинтересоваться: чему я обязан удовольствием видеть вас?

Он вынул изо рта сигару левой рукой, а указательным пальцем правой сначала прижал одну ноздрю, будто нюхая табак, а потом легонько постучал по губам, словно побуждая оные к произнесению следующих слов:

— Мистер Коллинз, вам следует знать, что звание «инспектор» перед моей фамилией в настоящее время является просто почетным именованием, ибо я больше не служу в сыскном отделе Скотленд-Ярда. Ушел в отставку через год после того, как обеспечивал порядок на представлении «Не так плохи, как кажемся», если быть точным на все сто.

— Уверен, это почетное именование вы в полной мере заслужили и оно должно и будет использоваться всеми, кто вас знает, — любезно ответствовал я, не посчитав нужным указать, что звание «инспектор» черным по белому значилось у него на визитной карточке.

— Благодарю вас, мистер Коллинз, — промолвил румяный сыщик, выпуская огромный клуб дыма.

Поскольку дверь была плотно затворена, а окно, по обыкновению, приоткрыто совсем чуть-чуть, чтобы улич-

ный шум не мешал мне работать, мой маленький кабинет быстро наполнялся голубым дымом.

— Так чем же я могу быть полезен вам, инспектор? — спросил я. — Вы пишете мемуары? И в вашей необъятной, поистине невероятной памяти образовался крохотный пробел, который я в силах восполнить?

— Мемуары? — Инспектор Филд хихикнул. — А ведь это дельная мысль... но нет, сэр, нет, право слово. Другие люди, вроде вашего друга мистера Диккенса, уже написали о моих... надеюсь, слово «подвиги» не прозвучит слишком громко, сэр?.. уже написали о моих подвигах и, смею предположить, еще не раз напишут в будущем. Но у меня самого в данный момент на повестке дня не стоит никаких мемуаров, сэр.

— В таком случае чем я могу служить вам, инспектор?

Крепко зажав в зубах сигару, Филд подался вперед, поставил локти на стол и дал волю своему толстому указательному пальцу, коим сначала значительно указал вверх, потом вниз, затем постучал по столу и наконец ткнул в меня.

— До моего сведения дошло, мистер Коллинз, — к сожалению, слишком поздно, — что вы с мистером Диккенсом ходили в Тайгер-Бэй и спускались в Подземный город в поисках некоего субъекта по имени Друд.

— Кто вам это сказал, инспектор? — осведомился я сухим тоном.

Отставной сыщик Скотленд-Ярда уже успел сильно раздражить меня своими любопытством и навязчивостью.

— О, Хиб Хэчери, разумеется. Он работает на меня — служит в моем частном сыскном бюро. Разве мистер Диккенс не говорил вам?

Диккенс, припомнил я, действительно обмолвился, что инспектор Филд уволился из полиции, в настоящее время не имеет возможности сопровождать нас в нашей ночной вылазке и порекомендовал нам Хэчери, но тогда я не обратил особого внимания на это замечание.

— Нет, — холодно произнес я. — Сомневаюсь, что вы узнали о нашем походе от Хэчери.

Филд кивнул. Его правый указательный палец, словно наделенный собственной волей, взметнулся вверх и прижался сбоку к его крючковатому носу; левой же рукой инспектор вытащил изо рта сигару.

— Именно от него, сэр. Хэчери — славный малый. Пусть не одаренный богатым воображением, какое необходимо любому стоящему инспектору и сыщику, но поистине славный малый. Надежный. Однако, когда Диккенс обратился ко мне с просьбой подыскать сопровождающего для экскурсии в... э-э... не самый благополучный район нашего города, я решил, что речь идет всего лишь об очередной увеселительной прогулке по трущобным кварталам — вроде той, в которой я сопровождал вас с ним или его с американскими гостями, сэр. Я довольно долго отсутствовал в городе — уезжал по делам сыскного бюро — и только по недавнем своем возвращении узнал, что объектом преследования мистера Диккенса являлся Друд.

— Ну, я бы не назвал это преследованием, — заметил я.

— Хорошо, пусть будут поиски, — сказал инспектор Филд, выпуская струю голубого дыма. — Расспросы. Расследование.

— А что, интересы Чарльза Диккенса каким-то образом касаются вас? — спросил я резким тоном, призванным поставить на место отставного полицейского, лезущего в дела джентльменов.

— О да, сэр. Да, мистер Коллинз, очень даже касаются, — сказал инспектор, откидываясь на спинку кресла с такой силой, что она затрещала. Он внимательно разглядывал все еще горящий окурок своей сигары, слегка хмуря брови. — Все, что имеет отношение к Друду, меня касается и интересует, мистер Коллинз. Абсолютно все.

— Почему, инспектор?

Он снова подался вперед.

— Друд — или монстр, называющий себя Друдом, — появился и начал творить свои зверства при мне. В буквальном смысле слова при мне. Тогда я только-только вступил в должность начальника сыскного отдела Скотленд-Ярда, сменив на этом посту инспектора Шекелла. И именно тогда... в сорок шестом году, сэр... началась власть Друдова террора.

— Власть террора? — повторил я. — Сколько я помню, в газетах ни о каком таком терроре не сообщалось.

— О, в сомнительных городских кварталах, куда вы с мистером Диккенсом наведывались в июле, происходит много событий, не получающих освещения в прессе, мистер Коллинз. Можете в этом не сомневаться.

— Уверен, вы правы, инспектор, — мягко промолвил я.

Мы уже скурили сигары почти до конца. Когда они сгорят полностью, я сошлюсь на неотложные дела и выпровожу прочь отставного полицейского.

Филд снова подался вперед, наставив на меня деятельный указательный палец.

— Мне нужно знать, что вы с мистером Диккенсом узнали про Друда той ночью, мистер Коллинз. Мне нужно знать решительно все.

— Не понимаю, каким образом наши дела касаются вас, инспектор.

Филд улыбнулся — достаточно широко, чтобы морщины и складки на его немолодом лице сложились в совершенно новый рисунок. То была отнюдь не теплая улыбка.

— Касаются самым непосредственным образом, мистер Коллинз. Вам этого никогда не понять. И я получу интересующие меня сведения во всех подробностях.

Я резко выпрямился в кресле, и простреливша спину подагрическая боль усугубила мое недовольство и раздражение.

— Вы мне угрожаете, инспектор?

Улыбка моего собеседника стала шире.

— Инспектор Чарльз Фредерик Филд — из сыскного ли отдела полиции, из собственного ли частного сыскного бюро — никогда никому не угрожает, мистер Коллинз. Но он получит все сведения, необходимые для продолжения борьбы со старым и неумолимым врагом.

— Если этот... Друд... является вашим, как вы выражаетесь, врагом вот уже более двадцати лет, инспектор, вы едва ли нуждаетесь в нашей помощи. Вы должны знать о... своем враге... гораздо больше нас с Диккенсом.

— О да, сэр, — согласился Филд. — Скажу без ложной скромности: о субъекте, которого вы называете Друдом, я знаю больше, чем кто-либо из ныне живущих. Но Хэчери сообщил мне, что мистер Диккенс встречался с ним недавно. И не в Подземном городе, а на месте Стейплхерстской железнодорожной катастрофы. Мне необходимо знать больше о той встрече и о том, что вы двое видели в Подземном городе в июле.

— Я думал, по условиям договоренности — во всяком случае, сыщик Хэчери употребил именно такое слово — полицейские и частные сыщики должны оставить в покое жителей Подземного города, покуда они не мешают жить нам, наземным обитателям.

Филд покачал головой.

— Друд не оставит нас в покое, — негромко промолвил он. — Мне доподлинно известно, что в одном только Лондоне он совершил свыше трехсот убийств с тех пор, как наши с ним дороги впервые пересеклись двадцать лет назад.

— О боже... — ошеломленно проговорил я.

От ужаса у меня все похолодело внутри, как от выпитого залпом стакана лауданума.

Инспектор снова кивнул.

— Вам придется обратиться со всеми расспросами к мистеру Диккенсу, — холодно сказал я. — Это он организовал нашу вылазку. Это он интересовался Друдом. Я с самого начала полагал, что наша... «вылазка», как вы выражаетесь... с сыщиком Хэчери является частью исследовательской работы, проводимой Диккенсом для

своего будущего романа или повести. И я по-прежнему так считаю. Но вам придется побеседовать с ним, инспектор.

— Я поехал к нему сразу, как только вернулся в Лондон после долгого отсутствия и узнал от Хэчери, зачем Диккенс нанимал его, — сказал Филд.

Он встал и принялся расхаживать взад-вперед перед моим столом. Толстым указательным пальцем он сперва постукивал по губам, потом почесывал ухо, потом трогал нос сбоку, потом поглаживал каменное яйцо на моем столе, слоновий бивень на книжной полке или персидский кинжал на каминной полке.

— Я не застал мистера Диккенса, он находился в отъезде, во Франции, — наконец продолжил Филд. — Он только на днях вернулся, и я поговорил с ним вчера. Он не сообщил мне никаких полезных сведений.

— Ну что ж, инспектор... — Я развел руками, потом положил окурок сигары на край медной пепельницы и поднялся с кресла. — В таком случае вы сами понимаете, что я ничем не в силах помочь вам. Поиски предпринял мистер Диккенс. И именно он...

Филд остановился и направил на меня палец.

— Вы сами видели Друда? Своими глазами?

Я моргнул. Я вспомнил, как очнулся от дремы на подземном кирпичном причале, когда Диккенс вернулся в плоскодонной лодке с двумя безмолвными провожатыми. Взглянув на хронометр, я понял, что солнце взошло двадцать минут назад, а значит, Хэчери уже покинул склеп. Неподражаемый отсутствовал более трех часов. Несмотря на реальную опасность, несмотря на реальный риск подвергнуться нападению малолетних каннибалов, я задремал, сидя по-турецки на влажных кирпичах, с заряженным и взведенным револьвером в руках.

— Я не видел никого, чья внешность соответствовала бы известному мне описанию мистера Друда, — сухо промолвил я. — И больше я не произнесу ни слова на данную тему, инспектор Филд. Я уже говорил вам и повторю в последний раз: эту вылазку, эти поиски организовал мистер Диккенс, и если он не желает рассказывать

вам о событиях той ночи, значит я, как джентльмен, тоже обязан хранить молчание. Желаю вам доброго дня, инспектор, а также успехов в вашем...

Я вышел из-за стола и распахнул дверь кабинета, предлагая пожилому инспектору удалиться, но Филд не двинулся с места. Он попыхал сигарой, взглянул на нее и спокойно осведомился:

— Вам известно, зачем Диккенс ездил во Францию?

— Что? — Я был уверен, что ослышался.

— Я спросил, мистер Коллинз, известно ли вам, зачем Чарльз Диккенс ездил во Францию на прошлой неделе.

— Нет, понятия не имею, — сказал я звенящим от раздражения голосом. — Среди джентльменов не принято совать нос в дела других джентльменов.

— Ну да, разумеется. — Инспектор Филд снова улыбнулся. — Диккенс провел несколько дней в Булони, а если точнее, часть времени — в Булони, а часть — в крохотной деревушке, расположенной в нескольких милях к югу от города. Она называется Кондетт, и там мистер Диккенс вот уже несколько лет — а именно с шестидесятого года — арендует скромное шале с садом у некоего месье Боку-Мютьеля. Там часто останавливается некая актриса — ныне двадцатипятилетняя — по имени Эллен Тернан со своей матерью. В Кондетте Чарльз Диккенс проводил время в обществе названных дам — иные его визиты длились до недели — свыше пятидесяти раз с той поры, как он якобы снял, но в действительности купил шале в шестидесятом году. Вероятно, вам хочется закрыть дверь, мистер Коллинз.

Я затворил дверь, но остался стоять возле нее, ошеломленный. Считая Эллен Тернан, ее мать, Диккенса и меня самого, не более восьми человек на свете знали или хотя бы догадывались о шале в Кондетте и причине частых поездок Диккенса туда. Если бы мой брат Чарльз не состоял в браке с дочерью Диккенса, я сам никогда ничего не узнал бы.

Инспектор Филд вновь принялся расхаживать по комнате, держа палец возле уха, словно тот нашептывал ему какие-то сведения.

— Сейчас мисс Тернан с матерью постоянно живут в Англии — я имею в виду, со времени Стейплхерстской катастрофы, случившейся в июне. Можно предположить, что в течение четырех дней, недавно проведенных в Булони, мистер Диккенс заканчивал все дела, связанные с шале в Кондетте. Чтобы добраться дотуда, мистеру Диккенсу пришлось проделать — в обратном направлении, разумеется, — тот самый путь, каким он возвращался из Франции, когда произошло железнодорожное крушение. Мы с вами оба знаем, мистер Коллинз, что подобная поездка наверняка стала тяжелым испытанием для нервов вашего друга... ведь нервы у него сильно расстроены после катастрофы.

— Да, пожалуй, — сказал я.

Какого черта нужно этому типу?

— Из Булони, — продолжал неутомимый пожилой господин, — Диккенс отправился в Париж, где провел пару дней. Человек более подозрительный, чем я, мог бы предположить, что поездка в Париж являлась попыткой замести следы, как выражаются иные сыщики.

— Инспектор Филд, по-моему, все это не...

— Не хотелось бы перебивать вас, сэр, но вам следует знать — чтобы упомянуть при скорой встрече с вашим другом, — что в Париже у мистера Диккенса случилось кровоизлияние в мозг, по всем признакам довольно сильное.

— Боже мой, — сказал я. — Кровоизлияние в мозг. Я ничего не знал. Вы уверены?

— В таких случаях ничего нельзя утверждать с уверенностью, как вы сами понимаете, сэр. Но в Париже с мистером Диккенсом сделался удар, и он, будучи отнесен в свой номер в гостинице, несколько часов находился в самом плачевном состоянии, не в силах ответить на обращенные к нему вопросы или хотя бы внятно произнести несколько мало-мальски осмысленных слов.

Французские врачи настаивали на госпитализации, но мистер Диккенс приписал случившееся «солнечному удару» — так он выразился, сэр, — и просто отлежался один день в парижской гостинице, а потом еще два дня в Булони, прежде чем вернуться в Англию.

Я снова подошел к столу и повалился в кресло.

— Чего вы от меня хотите, инспектор Филд?

Он наивно округлил глаза:

— Я ведь уже сказал вам, чего я не только хочу, но и требую, мистер Коллинз. Всех сведений о субъекте по имени Друд, известных вам и Чарльзу Диккенсу.

Я устало потряс головой:

— Вы пришли не по адресу, инспектор. Чтобы узнать что-нибудь новое об этом вашем Друде, вам придется снова поехать к Диккенсу. Мне не известно о нем ровным счетом ничего.

Филд медленно покивал:

— Я непременно поговорю с мистером Диккенсом еще раз, мистер Коллинз. Но я пришел по адресу. Я жду от вас серьезной помощи в моем расследовании, касающемся Друда. Я рассчитываю, что вы и добудете у Чарльза Диккенса все необходимые мне сведения.

Я рассмеялся не без горечи и снова потряс головой:

— С какой стати мне обманывать доверие моего друга, выведывая у него информацию для вас, инспектор — но только по почетному именованию — Чарльз Фредерик Филд?

Он усмехнулся в ответ на плохо завуалированное оскорбление.

— Ваша служанка, открывшая мне дверь и проводившая меня к вам, мистер Коллинз... Она весьма привлекательная женщина, несмотря на возраст. Вероятно, тоже актриса в прошлом?

Продолжая улыбаться, я покачал головой:

— Насколько мне известно, инспектор, миссис Г*** никогда не выступала на сцене. А если и выступала, меня это нисколько не касается, сэр. Как не касается вас.

Филд кивнул и вновь принялся расхаживать по кабинету, выпуская клубы табачного дыма и задумчиво трогая указательным пальцем крючковатый нос.

— Совершенно верно, сэр. Совершенно верно. Но мы можем предположить тем не менее, что она является той самой миссис Кэролайн Г***, имя которой впервые появилось в ваших банковских счетах двадцать третьего августа шестьдесят четвертого года — чуть более года назад, сэр, — и которой вы с тех пор выплачиваете через свой банк двадцать фунтов ежемесячно.

Мне все это страшно надоело. Если этот ничтожный человечек пытается шантажировать меня, он определенно не на того напал.

— Ну и что, инспектор? Наниматели всегда платят своим работникам.

— Истинная правда, сэр. Есть такое дело. А кроме миссис Кэролайн Г***, ежемесячные выплаты через ваш банк получает также ее дочь... кажется, девочку зовут Хэрриет, как и вашу матушку, поистине приятное совпадение... Хотя в случае с юной Хэрриет — насколько мне известно, вы называете ее просто Кэрри и ей совсем недавно стукнуло четырнадцать, — так вот, сэр, в случае с юной Хэрриет деньги идут на оплату домашнего обучения и уроков музыки.

— К чему вы клоните, инспектор?

— К тому лишь, что миссис Кэролайн Г*** и ее дочь Хэрриет Г*** вот уже несколько лет числятся в городских переписных листах и налоговых ведомостях как ваши квартирантки и одновременно ваши служанки.

Я промолчал.

Инспектор Филд остановился и посмотрел на меня.

— Я хочу сказать, мистер Коллинз, что немного найдется таких великодушных работодателей, которые сперва нанимают в услужение своих бывших квартиранток, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, а потом оплачивают домашнее обучение юной служанки, не говоря уже о дорогостоящих уроках музыки.

Я устало потряс головой:

— Можете оставить свои жалкие попытки шантажа, недостойные джентльмена, *мистер* Филд. Всем моим друзьям известны устройство моей личной жизни и мое стойкое отвращение к институту брака, а равно к пошлому жизненному укладу и нравственным нормам среднего класса. Миссис Г*** и ее дочь на протяжении многих лет проживают в моем доме, и мои друзья ничего не имеют против такого положения вещей. Кэролайн уже давно выполняет роль хозяйки дома, помогая мне принимать и развлекать гостей. Здесь нет никакого обмана, и мне совершенно нечего скрывать.

Филд кивнул:

— Ваши друзья мужского пола — некоторые из них действительно относятся к такому положению вещей вполне спокойно. Однако вы не станете отрицать, что они никогда не приходят к вам на обеды со своими женами. И хотя здесь нет никакого обмана — если, конечно, не считать ваших письменных показаний, где вы сообщили переписчикам населения, что миссис Г*** является вашей служанкой, как и некая Хэрриет Монтегю шестнадцати лет от роду, хотя Хэрриет Г***, дочери миссис Г***, тогда едва стукнуло десять, и прочих данных под присягой заявлений относительно двух упомянутых достойных дам, — так вот, хотя здесь нет никакого обмана, представляется совершенно очевидным, почему вот уже несколько лет мистер Диккенс применительно к маленькой Хэрриет употребляет слово «дворецкий», а мать девочки именует не иначе как «домовладельцем».

Я ошеломленно уставился на него. Откуда он может знать о шутливых прозвищах, придуманных Диккенсом, если только люди, работающие на отставного инспектора, не проверяют мою частную переписку?

— Хэрриет не моя дочь, инспектор, — процедил я сквозь зубы.

— О нет, разумеется, нет, мистер Коллинз. — Пожилой господин улыбнулся и помахал пальцем. — Я не имел

в виду ничего подобного. Даже самый бездарный сыщик в два счета выяснил бы, что некая Кэролайн Комптон, дочь плотника Джона Комптона и его жены Сары, в пятидесятом году вышла замуж за некоего Джорджа Роберта Г***, служащего счетоводной конторы в Клеркенуэлле. Бракосочетание состоялось тридцатого марта, если мне не изменяет память. Тогда молодой Кэролайн было двадцать лет, а Джорджу Роберту Г*** всего годом больше. Их дочь Элизабет Хэрриет — которую вы, сэр, предпочитаете называть Хэрриет, вероятно в честь своей матушки, или Кэрри, по причинам, известным только вам одному, — родилась в Сомерсете, на окраине Бата, третьего февраля пятьдесят первого года. К великому прискорбию, ее отец, Джордж Г***, в следующем году заболел чахоткой и умер, оставив после себя молодую вдову с годовалой дочкой на руках. В следующий раз бедная миссис Г*** попала в поле зрения властей спустя несколько лет, когда она держала старьевщицкую лавку на Чарльтон-стрит — близ Фицрой-Сквер, как вам наверняка известно, сэр, — и у нее возникли трудности с выплатой долгов. Скорее всего, история закончилась бы печально — дело могло бы дойти даже до долговой тюрьмы, мистер Коллинз, — если бы не вмешательство некоего джентльмена, произошедшее, кажется, в мае пятьдесят шестого года.

— Инспектор Филд, — резко произнес я, снова поднимаясь на ноги, — наш разговор закончен. — Я двинулся к двери кабинета.

— Не совсем еще, сэр, — мягко промолвил он.

Я подступил к нему со сжатыми кулаками и проговорил дрожащим от ярости голосом:

— Послушайте, сэр, я вас не боюсь! Мне нет до вас никакого дела. Ваши жалкие и низкие попытки шантажом вынудить меня обмануть доверие одного из ближайших моих друзей не принесут вам ничего, помимо презрения и осуждения, которых вы, несомненно, заслуживаете. Я свободный человек, сэр. Мне нечего скрывать!

Филд кивнул. Толстым указательным пальцем, уже вызывавшим у меня крайнее раздражение, он легонько постукивал по нижней губе.

— Уверен, так оно и есть, мистер Коллинз. Честным людям, как правило, нечего скрывать от окружающих.

Я открыл дверь. Моя рука, лежавшая на медной дверной ручке, заметно дрожала.

— Прежде чем я удалюсь, сделайте милость, удовлетворите мое праздное любопытство, сэр, — спокойно произнес Филд, взяв свой цилиндр и двинувшись ко мне. — Скажите, пожалуйста, известна ли вам некая молодая особа по имени Марта Р***?

— Что? — с трудом выдавил я.

— Мисс Марта Р***, — повторил он.

Я затворил дверь столь поспешно, что та громко хлопнула. Нигде в коридоре я не приметил Кэролайн, но она часто пряталась в пределах слышимости от моего кабинета. Я открыл рот, но не нашел подходящих слов.

Мое замешательство нисколько не огорчило инспектора Чарльза Фредерика Филда.

— Впрочем, с какой стати вам водить знакомство с мисс Р***? — вкрадчиво проговорил он. — Она бедная служанка, работающая по найму в частных домах и гостиницах, по словам ее бедных родителей, — а они действительно бедные в прямом и переносном смысле. Оба они — люди безграмотные. И оба родом из Уинтертона, сэр. Предки отца мисс Р*** на протяжении века-полутора служили на судах ярмутской рыболовецкой флотилии, но сам отец перебивался случайной работой в Уинтертоне, а Марта, покинувшая родной дом два года назад, подряжалась служанкой в местных гостиницах.

Я ошарашенно смотрел на Филда, борясь с тошнотой.

— Вы бывали в Уинтертоне, сэр? — спросил жалкий человечек.

— Нет, — промямлил я. — Не припомню.

— Однако всего год назад вы довольно долго отдыхали в окрестностях Ярмута — разве не так, мистер Коллинз?

— Не отдыхал, — сказал я.

— А что вы там делали, сэр? Я не вполне вас понял. Верно, у вас першит в горле от табачного дыма?

— То был не отдых как таковой. — Я прошагал обратно к столу, но не сел в кресло. Опершись всеми десятью трясущимися пальцами о заляпанную чернилами столешницу, я подался вперед и добавил: — Я там собирал материал.

— Собирали материал, сэр? О... для одного из ваших романов.

— Да, — проговорил я. — По ходу работы над последним моим романом, «Армадейл», мне потребовалось составить ясное представление о тамошних бухтах, заливах, пейзажах и всем таком прочем.

— Ах да... разумеется. — Жалкий человечек постучал указательным пальцем себя по груди, потом наставил его на меня. — Я читал отдельные главы из этого вашего «Армадейла» — в настоящее время роман издается выпусками в журнале «Корнхилл», если я не ошибаюсь. Там упоминается одна выдуманная деревушка под названием Хорли-Миер, созвучным с названием вполне реальной деревни Хорси-Миер, до которой можно добраться морем из Ярмута или по суше из Уинтертона, коли ехать оттуда по ведущей на север дороге, — не правда ли, сэр?

После продолжительной паузы я сказал:

— Я люблю путешествовать морем, инспектор. По правде говоря, тогда я действительно отчасти отдыхал. Я отправился из Ярмута на север в сопровождении двух близких друзей моего брата Чарльза... они тоже любят путешествовать морем.

— Ясно. — Инспектор кивнул, не сводя с меня влажных непроницаемых глаз. — Говорить правду всегда выгодно, так я считаю. Человек, с самого начала говорящий всю правду, избавляет себя от многих проблем. А упомянутые вами друзья — это часом не мистер Эдвард Пиготт и мистер Чарльз Уорд, сэр?

Я уже не находил в себе сил удивляться. Этот господин с влажными глазами и неутомимым указательным пальцем казался более всеведущим, чем любой повествователь в любом произведении, написанном мной, Диккенсом, Чосером, Шекспиром или любым другим смертным. И более зловредным, чем любой негодяй (включая Яго), созданный пером любого из нас. Я продолжал опираться о стол побелевшими от напряжения пальцами и продолжал слушать.

— Мисс Марте Р*** прошлым летом исполнилось восемнадцать, мистер Коллинз. Ее родители полагают, что прошлым летом, в июле, она познакомилась с неким мужчиной — то ли в «Фишерменз ритерн» в самом Уинтертоне, то ли в ярмутской гостинице, где тогда работала служанкой.

Филд умолк. Он легонько постучал указательным пальцем по потухшей сигаре в медной пепельнице, словно от одного прикосновения пальца окурок мог снова загореться. Я почти удивился, что этого не произошло.

Я перевел дыхание.

— Вы хотите сказать, что эта... эта мисс Р***... пропала без вести, инспектор? Или убита? Объявлена мертвой своими родственниками и властями Уинтертона или Ярмута?

Пожилой господин рассмеялся:

— Да упаси боже, сэр, ни в коем случае! Ничего подобного. Марта регулярно появлялась в Уинтертоне с тех пор, как рассказала родителям о своем знакомстве со «славным джентльменом», состоявшемся прошлым летом. Но в известном смысле она действительно пропала, сэр.

— О?

— Да. Минувшим летом, в июне, когда «славный джентльмен» в очередной раз ненадолго наведался в Ярмут — вероятно, по делам, связанным с работой, — Марта Р*** исчезла из Уинтертона и Ярмута, но, если верить неофициальным источникам, объявилась в Лондоне.

— Неужели? — сказал я.

Памятной июльской ночью я так и не выстрелил из огромного двуствольного револьвера, врученного мне сыщиком Хэчери. Поставив курок на предохранитель, я затолкал увесистую штуковину в карман, а когда мы, проделав обратный путь по канализационным туннелям и катакомбам, поднялись наверх и, к великому нашему облегчению, обнаружили, что Хэчери ждет нас у склепа, хотя солнце давно взошло, я отдал оружие здоровенному сыщику. Сейчас я пожалел, что не оставил револьвер у себя.

— Именно так, — промолвил Филд. — По слухам, девятнадцатилетняя служанка из Уинтертона в настоящее время проживает в наемных комнатах на Болсовер-стрит — пожилая домовладелица обретается по тому же адресу, но мне сказали, что жильцы пользуются отдельным входом. Если я не ошибаюсь, Болсовер-стрит расположена неподалеку от Мелкомб-плейс, где мы в данный момент находимся.

— Вы не ошибаетесь. — Если бы голоса имели цвета, мой можно было бы назвать совершенно бесцветным.

— Полагаю, я не ошибусь, если скажу, что миссис Кэролайн Г***, с которой вы уже свыше двенадцати лет состоите в отношениях, близких к супружеским, хотя и не благословленных обществом и Богом, а равно ее дочь мисс Хэрриет Г***, к которой вы относитесь самым достойным и великодушным образом, как к своей родной дочери, знают о существовании мисс Марты Р***, в прошлом работавшей служанкой в ярмутской гостинице, а ныне проживающей в наемных комнатах на Болсовер-стрит, и, уж конечно, знают, какую роль мисс Р*** играет в вашей жизни в настоящее время.

— Да, — сказал я. — То есть нет.

— И полагаю, мистер Коллинз, я не ошибусь, если скажу, что и вам самому, и двум дамам, проживающим под одной крышей с вами, будет не очень приятно, коли данные сведения станут известны... им или еще кому-либо.

— Не ошибетесь.

— Прекрасно, прекрасно. — Инспектор Филд взял цилиндр, но не двинулся с места. — Я не люблю ошибаться в своих суждениях, мистер Коллинз.

Я кивнул, ощущая внезапную слабость в коленях.

— Вы часом не собираетесь навестить мистера Диккенса в ближайшее время, сэр? — поинтересовался сыщик, крутя цилиндр в руках и постукивая по полям своим чертовым указательным пальцем. — И в ходе визита найти возможность поговорить с ним о его предположительной встрече с субъектом по имени Друд, состоявшейся в Подземном городе около двух с половиной месяцев назад?

— Собираюсь. — Я бессильно опустился в кресло.

— И мы с вами договорились, сэр, что все сведения, полученные вами от мистера Диккенса, будут в срочном порядке переданы мне?

Я снова кивнул.

— Отлично, сэр. На улице поблизости от вашего дома будет дежурить один паренек, мистер Коллинз. Просто уличный мальчишка, подметальщик по имени Гузберри, но вам не придется разыскивать его, сэр. Он получил приказ сторожить вас здесь. Если вы стукнете тростью или зонтиком по фонарному столбу на углу, малый тотчас подойдет к вам. Днем ли, ночью ли, сэр. Местный констебль согласился не «гонять его», как выражаются полицейские. Передайте с Гузберри любое сообщение для меня, устное или письменное, и я немедленно свяжусь с вами. Вы премного меня обяжете, мистер Коллинз, если добудете полезную информацию. Спросите любого в Лондоне, забывает ли когда-нибудь инспектор Чарльз Фредерик Филд об услугах, ему оказанных, и вам ответят: нет, не забывает. Вы все поняли, сэр?

— Да.

Когда я поднял глаза, инспектор Филд уже исчез. Я услышал, как Кэролайн закрывает за ним входную дверь, а потом направляется наверх по главной лестнице.

После инспектора осталась лишь пелена голубого дыма под потолком моего кабинета.

Глава 8

Гэдсхилл-плейс производил впечатление веселого и безмятежного семейного гнезда, когда я прибыл туда прохладным сентябрьским днем в самом скором времени после визита инспектора Филда. Была суббота, поэтому дети и гости играли во дворе. Мне пришлось признать, что Гэдсхилл представляет собой идеальный образец уютного деревенского дома счастливого семейства. Конечно, Чарльз Диккенс и хотел, чтобы Гэдсхилл представлял собой идеальный образец уютного деревенского дома счастливого семейства. Вернее, Чарльз Диккенс требовал, чтобы все вокруг старательно поддерживали эту иллюзию, эту видимость, и наверняка даже верил (несмотря на отсутствие матери семейства, ныне изгнанной, и несмотря на напряженные внутрисемейные отношения и известные трения с внешним миром), что Гэдсхилл действительно является уютным деревенским домом счастливого семейства: ничего особенного, просто веселая, мирная обитель трудолюбивого писателя, окруженного боготворящими, любящими, понимающими детьми и преданными друзьями.

Иногда, признаться, я чувствовал себя просто Кандидом по сравнению с явленным в лице Чарльза Диккенса доктором Панглоссом.

Дочь Диккенса Кейт, находившаяся во дворе, поспешила мне навстречу, когда я шагал по дорожке, обливаясь потом и промокая платком лоб и шею. Стоял, как я уже упомянул, прохладный осенний день, но я шел пешком от самой станции, а прогулки на такие расстояния всегда давались мне с трудом. Вдобавок, готовясь к встрече с Диккенсом, я выпил два стакана лауданума гораздо раньше обычного часа, и, хотя лекарство не оказывало никакого неприятного побочного действия, мне чудилось, будто трава, деревья, играющие дети и сама Кейт Макриди Диккенс источают слабое сияние.

— Привет, Уилки! — воскликнула Кейт, пожимая мне руку. — Давненько мы с вами не виделись.

— Привет, Кейти. Мой брат тоже приехал в Гэдсхилл на уик-энд?

— Нет-нет. Он немного прихворнул и решил остаться на Кларенс-террас. Я вернусь в город сегодня вечером.

Я кивнул.

— А Неподражаемый?

— Он в своем шале, завершает работу над очередной рождественской повестью.

— Я и не знал, что шале уже готово для жилья.

— Вполне готово. Обставлено еще в прошлом месяце, и с тех пор отец ежедневно работает там. Он вот-вот должен закончить на сегодня, чтобы успеть совершить свою традиционную прогулку. Уверена, он не станет возражать, коли вы отвлечете его от дела. В конце концов, нынче суббота. Вас провести по туннелю?

— Это было бы чудесно, — сказал я.

Мы неторопливо двинулись через лужайку к дороге.

Упомянутое шале Диккенс получил в подарок на прошлое Рождество от актера Чарльза Фехтера. По словам моего брата, который в числе прочих приглашенных гостил в Гэдсхилле с сочельника 1864 года по 5 января, это было не самое веселое Рождество в его жизни — не в последнюю очередь потому, что Чарльз Диккенс забрал себе в голову, будто мой брат Чарльз находится при смерти, а не просто недомогает из-за частых расстройств пищеварения. Скорее всего, разумеется, речь шла не столько о добросовестном диагнозе, сколько о тайном желании Диккенса: бракосочетание Кейти с Чарльзом, состоявшееся прошлым летом, повергло писателя не только в горе, а и в натуральную ярость. Диккенс посчитал, что нетерпимая дочь бросила его в трудный момент жизни, — собственно говоря, так оно и было. Даже мой брат понимал, что Кейт вышла за него не по любви. Она просто хотела сбежать из отцовского дома после двух лет горьких переживаний, вызванных отлучением матери от семьи.

Кейт — Кейти, как многие называли ее, — не отличалась красотой, но она единственная из всех детей Дик-

кенса унаследовала от отца живой, острый ум, чувство юмора (в ее случае более язвительное), нетерпимость к окружающим, манеру разговора и даже многие театральные повадки. Она сама предложила себя в жены моему брату, но сразу дала понять, что видит в супружестве не любовный союз, а возможность спокойно жить отдельно от отца. Чарльз согласился.

В общем, Рождество 1864 года, когда из-за крепких морозов пришлось безвылазно сидеть в четырех стенах, проходило в Гэдсхилле довольно уныло по сравнению с шумными семейно-гостевыми праздниками, устраивавшимися в предыдущие годы в Тэвисток-хаусе. Во всяком случае, так обстояло дело до утра Рождества, когда Чарльз Фехтер преподнес в дар Неподражаемому... целое швейцарское шале.

Фехтер — странный человек с землистым лицом, почти всегда погруженный в мрачное раздумье и подверженный вспышкам раздражения, направленным на жену и всех подряд (кроме Диккенса), — объявил за завтраком, что таинственные клети и ящики, которые он привез с собой, это «миниатюрное шале» в разобранном виде — хотя на поверку оно оказалось не таким уж миниатюрным. Вполне приличных размеров шале, достаточно большое, чтобы жить в нем при желании.

Воодушевленный и возбужденный, Диккенс тотчас же провозгласил, что всем «сильным, здоровым и холостым гостям» (этим он дал понять, что мой брат не подходит не только по причине своего семейного положения) надлежит выбежать на мороз и заняться сборкой замечательного подарка. Однако Диккенсу, Маркусу Стоуну (а он действительно здоровенный малый), Генри Чорли и призванным на помощь слугам, садовникам, местным умельцам, которых всех оторвали от празднования Рождества в семейном кругу, не удалось разобраться со всеми пятьюдесятью восемью ящиками, содержавшими в общей сложности девяносто четыре крупные детали. Работу заканчивал плотник-француз из «Лицеума», позже приглашенный Фехтером.

Шале — оказавшееся вопреки ожиданиям Диккенса гораздо больше, чем просто огромный кукольный дом, — теперь стояло на дополнительном земельном участке писателя, расположенном по другую сторону от Рочестерской дороги. Прелестный «пряничный» коттеджик, затененный высокими кедрами, с единственной просторной комнатой на первом этаже и комнатой поменьше на втором — там имелся резной балкончик, и к нему вела наружная лестница.

Диккенс был в детском восторге от своего шале и, когда весной земля оттаяла, приказал рабочим прорыть под дорогой пешеходный туннель, — чтобы спокойно добираться до шале от дома, не привлекая ничьего внимания и не рискуя попасть под какой-нибудь потерявший управление экипаж. Кейт рассказывала, что Диккенс буквально прыгал от радости, когда землекопы произвели смычку посередине туннеля, а потом пригласил всех — гостей, детей, рабочих, любопытных соседей и зевак из стоящей через дорогу гостиницы «Фальстаф-Инн» — выпить грога.

Когда мы неспешно вошли в прохладный туннель, Кейт спросила:

— Чем вы с отцом тайно занимаетесь по ночам в последнее время, Уилки? Даже Чарльз не знает.

— О чем вы, собственно, говорите, Кейти?

Она взглянула на меня в полумраке и крепко сжала мою руку.

— Вы знаете, о чем я говорю, Уилки. Пожалуйста, не прикидывайтесь. Даже несмотря на напряженную работу над последними главами «Нашего общего друга» и рождественской повестью, даже несмотря на нынешнюю свою паническую боязнь поездов, отец по меньшей мере раз в неделю, а порой и дважды в неделю покидает Гэдсхилл, каковое обыкновение он взял после вашего с ним июньского ночного похода. Это подтверждает Джорджина. Он уезжает в Лондон вечерним медленным поездом и возвращается на следующий день очень, очень

поздно, в середине утра. И ни слова не говорит ни Джорджине, ни кому-либо из нас о цели своих ночных вылазок. А теперь еще это путешествие во Францию, где он якобы перенес солнечный удар. Мы все, включая даже Чарльза, предполагаем, что вы познакомили отца с какой-то новой формой разврата в Лондоне, а в Париже он попытался пуститься в разгул самостоятельно, но переоценил свои силы.

Кейт говорила шутливым голосом, но в нем слышались нотки подлинного беспокойства. Я похлопал ее по руке и сказал:

— Вы же знаете, Кейти, что джентльмены считают долгом чести хранить секреты друг друга, в чем бы они ни заключались. И уж кому-кому, а вам-то прекрасно известно, что писатели — существа загадочные: мы постоянно исследуем жизнь в самых разных ее проявлениях, там ли, сям ли, днем ли, ночью ли.

Она посмотрела на меня блестящими в полутьме глазами, явно неудовлетворенная моим ответом.

— И вы также знаете еще одно, — продолжал я голосом столь тихим, что он почти поглощался кирпичным потолком и полом туннеля. — Ваш отец никогда не совершит поступков, позоряших его самого или вашу семью. Вы должны понимать это, Кейти.

— Хм... — с сомнением протянула она. Кейт Макриди Диккенс искренне считала, что отец *уже* навлек позор на себя самого и свою семью, изгнав мать из дома и вступив в связь с Эллен Тернан. — Ну, вот и свет в конце туннеля, Уилки, — промолвила она, высвобождая руку. — Здесь я вас оставлю: ступайте к свету — и к нему.

— Милейший Уилки! Заходите, заходите! Я только сейчас вспоминал вас. Добро пожаловать в мое «орлиное гнездо»! Прошу вас, дорогой друг!

Диккенс выскочил из-за маленького письменного стола и сердечно пожал мне руку, когда я остановился в дверях верхней комнаты. По правде говоря, я не знал, обрадуется ли он моему появлению после двухмесячной

разлуки и взаимного молчания. Столь теплый прием удивил меня, и я еще острее почувствовал себя предателем и шпионом.

— Я как раз вношу правки в последние фразы нынешней рождественской повести, — с энтузиазмом сказал Диккенс. — Вещица под названием «Коробейник» — и уверяю вас, дорогой Уилки, она будет пользоваться огромным успехом у читателей. По моим прогнозам, станет очень популярной. Вероятно, лучшая моя рождественская повесть после «Колоколов». Общий замысел возник у меня во Франции. Я закончу буквально через минуту, а затем буду в полном вашем распоряжении до самого вечера, друг мой.

— Да, конечно, — промолвил я, отступая назад.

Диккенс же снова уселся за стол и принялся вымарывать отдельные слова широкими росчерками пера и вписывать правки между строчками и на полях рукописи. Он вдруг представился мне энергичным дирижером, управляющим внимательным и послушным оркестром слов. Я почти слышал музыку, наблюдая за его пером, которое взлетало, стремительно опускалось, окуналось в чернильницу, со скрипом пробегалось по бумаге, снова взлетало и опускалось.

Должен признать, вид из «орлиного гнезда» Диккенса открывался поистине восхитительный. Шале стояло между двумя высокими тенистыми кедрами, что сейчас легко покачивались на ветру, и за многочисленными окнами простирались золотые пшеничные поля, темные леса и снова поля. Далеко вдали даже поблескивала Темза и угадывались белые паруса проплывающих по ней судов. С крыши особняка через дорогу можно было запросто разглядеть Лондон на горизонте, но из окон шале открывался чудесный буколический пейзаж: далекая река, шпиль Рочестерского собора и широкие поля спелой пшеницы, волнующиеся под легким ветерком. Движение на Рочестер-роуд сегодня было слабым. Диккенс оснастил свое «орлиное гнездо» новехоньким медным телескопом на деревянной треноге, и я хорошо представлял, как он, приникнув к окуляру, по ночам любуется

луной, а при свете дня рассматривает дам, катающихся на яхтах по Темзе в теплую погоду. В простенках между окнами висели большие зеркала. Я насчитал пять штук. Диккенс питал слабость к зеркалам. В Тэвисток-хаусе, а теперь и в Гэдсхилл-плейс все спальни, а равно коридоры и вестибюли изобиловали зеркалами, и в рабочем кабинете писателя стояло огромное трюмо. Здесь, в шале, благодаря зеркалам создавалось впечатление, будто ты стоишь на открытой площадке — посреди детского домика без стен, установленного в кроне высокого дерева, — и повсюду вокруг видишь ясное синее небо, солнечный свет, листву, золотые поля и дивные пейзажи. Ветерок, беспрепятственно пролетавший сквозь открытые окна, приносил ароматы цветов, запахи травы, спелой пшеницы, дыма от костра, где жгли листья или сорняки, и даже солоноватый запах моря.

Я невольно подумал о том, насколько не похож этот мир Чарльза Диккенса на мир, представший перед нами ночью в опиумном притоне Сэл, а потом в кошмарном Подземном городе. Сейчас та зловещая тьма отступала, рассеивалась, словно дурной сон, которым, собственно, она и была. Явью же были яркий солнечный свет и свежие запахи этого мира — все вокруг сияло и пульсировало, будто преображенное в моем восприятии благотворным действием лауданума. У меня просто в голове не укладывалось, каким образом смрадная тьма катакомб и сточных туннелей или даже обычных трущоб может сосуществовать с этой благоуханной светлой реальностью.

— Ну вот и все! — воскликнул Диккенс. — Я закончил. На сегодня. — Он промокнул последнюю страницу рукописи и положил к остальным в кожаную папку. Потом вышел из-за стола и взял в углу свою любимую трость из тернового дерева. — Я еще не гулял нынче. Составите мне компанию, друг мой?

— Да, конечно, — сказал я, на сей раз не столь уверенно.

Он окинул меня веселым, насмешливым и одновременно оценивающим взглядом.

— Я собирался двинуться вдоль опушки Кобхэмского леса, дойти до Чока и Грейвсенда, а потом вернуться домой.

— А... — произнес я; протяженность описанного маршрута составляла двенадцать миль. — А... — повторил я. — Но как же ваши остальные гости? И дети? Разве не в это время дня вы обычно играете с детьми и показываете гостям конюшни?

Диккенс озорно улыбнулся:

— Что, сегодня в семействе появился еще один инвалид, дорогой Уилки?

Я понимал, что он имеет в виду семейство Коллинз. Казалось, он никогда не прекратит долдонить о предполагаемой болезни моего старшего брата.

— Легкое недомогание, — грубовато сказал я. — Ревматоидная подагра, которая время от времени донимает меня, как вам известно, дорогой Диккенс. Сегодня она решила обостриться. Меня устроила бы прогулка покороче.

Я хотел дать понять, что меня вполне устроила бы неспешная прогулка до гостиницы «Фальстаф-Инн», расположенной по соседству.

— Но ведь у вас подагра не в ногах, верно?

— В общем — да, — промямлил я, не желая говорить, что подагрические боли терзают все мое существо при обострении недуга, какое начиналось у меня нынче утром. Если бы я не выпил спозаранку двойную дозу лауданума, то сейчас лежал бы пластом в постели. — Обычно больше всего у меня от нее страдают глаза и голова.

— Ну хорошо, — вздохнул Диккенс. — Я надеялся найти спутника сегодня — у нас в этот уик-энд гостят Форстеры, а Джон, вы знаете, совсем обленился с тех пор, как унаследовал состояние жены. Но мы с вами совершим совсем короткую прогулку: дойдем до Чатема и Форт-Питта, пройдем через болото Кулинг-Марш и воротимся домой.

Я кивнул, хотя по-прежнему без всякого энтузиазма. Предстояло преодолеть шесть с лишним миль, шагая

с обычной для Диккенса скоростью ровно четыре мили в час. В голове у меня зашумело, и все суставы заныли при одной мысли о столь тяжком испытании.

Все оказалось не так страшно, как я боялся. День стоял такой погожий, в воздухе веяло такой приятной прохладой, свежие ароматы так бодрили и воодушевляли, что я ни разу не отстал от Диккенса, когда мы прошли по дороге до проселка, по проселку до тропинки, по тропинке до заросшей травой колеи вдоль канала, а потом двинулись через осенние пшеничные поля (стараясь не вытаптывать урожай неизвестного фермера), достигли леса, прошли по тенистой лесной тропе, а затем вернулись к дороге и продолжили путь по обочине.

В течение первого получаса молчаливой ходьбы — моей молчаливой ходьбы, поскольку Диккенс добродушно болтал без устали, обсуждая подснеповские[1] черты Форстера, проблемы Гильдии, деловую несостоятельность своего сына Альфреда, незавидное положение своей дочери Мэри на матримониальном рынке, восстание негров на Ямайке, все еще не дававшее ему покоя, явную лень и недалекость самого младшего своего сына Плорна, — я только и делал, что кивал да обдумывал, как бы мне хитростью вытянуть из Неподражаемого информацию, интересующую инспектора Филда.

Наконец я отказался от мысли действовать исподволь и сказал:

— Вчера ко мне приходил инспектор Филд.

— Да, — небрежно бросил Диккенс, постукивая по земле тростью в такт скорым шагам. — Я так и понял.

— Вы не удивлены?

— Нисколько, дорогой Уилки. Этот гнусный тип приезжал в Гэдсхилл в четверг. Я предположил, что следующей его жертвой станете вы. Он угрожал вам?

---

[1] Мистер Подснеп — один из героев романа «Наш общий друг»; «подснеповщиной» Диккенс называл систему взглядов благополучных буржуа, презирающих все неанглийское.

— Да.

— Позвольте поинтересоваться — чем? Меня он пытался шантажировать самым неуклюжим и топорным образом.

— Он обещал предать огласке... известные обстоятельства моей личной жизни.

Тогда я был уверен лишь в одном: Диккенс не знает — не может знать — о существовании мисс Марты Р***. Инспектор Филд знает, но у него нет никаких резонов ставить в известность Неподражаемого.

Диккенс от души рассмеялся:

— Грозился рассказать всему свету о Домовладельце и Дворецком, да? Я так и думал, Уилки. Я так и думал. Мистер Филд по-бычьи напорист, но по-бычьи же недалек умом. Плохо же он знает ваш независимый нрав и ваше безразличие к общественному мнению, если воображает, будто подобная угроза заставит вас предать старого друга. Все ваши друзья знают о скелете в вашем шкафу — точнее, о двух очаровательных и остроумных женских скелетах, — и никто из них ничего не имеет против.

— Да, — сказал я. — Но почему он так наседает на нас, пытаясь вытянуть сведения о Друде? Можно подумать, будто от них зависит его жизнь.

Мы свернули с дороги на тропу, что вилась через болото Кулинг-Марш.

— В известном смысле жизнь нашего мистера Филда и вправду зависит от того, сумеет ли он доказать, что мистер Друд действительно существует, и установить его местонахождение, — сказал Диккенс. — Вы наверняка обратили внимание, что я называю нашего шантажиста мистером Филдом, а не инспектором Филдом.

— Да, — сказал я; мы шли по особо топкому участку тропы, осторожно переступая с камня на камень. — Филд упомянул, что теперь, когда он занимается частным сыском, звание инспектора является просто почетным именованием.

— Которое он сам себе присвоил, к великому неудовольствию сыскного отдела Скотленд-Ярда и Столичной полиции, друг мой. Я держал в поле зрения нашего мистера Филда с тех пор, как — прошу прощения за нескромность — увековечил его в образе инспектора Баккета в «Холодном доме», а еще раньше в восторженном очерке «С инспектором Филдом при отправлении службы», напечатанном в «Домашнем чтении» в пятьдесят первом году. Вскоре после этого он ушел в отставку... в пятьдесят третьем, кажется.

— Но тогда вы им восхищались, — заметил я. — Во всяком случае, в достаточной степени, чтобы взять его за прототип весьма симпатичного персонажа.

Диккенс снова рассмеялся. Мы уже перебрались через болото и теперь двинулись обходной тропой обратно, в сторону далекого Гэдсхилла.

— О, я восхищаюсь многими людьми, способными послужить прототипами интересных персонажей, и вы здесь не исключение, милейший Уилки. Иначе разве стал бы я столько лет терпеть подснеповские манеры Форстера? Но наш дорогой мистер Филд с младых лет привык действовать наглым нахрапом, а такие люди частенько зарываются и получают по заслугам.

— Вы хотите сказать, что он в немилости у Скотленд-Ярда и Столичной полиции? — спросил я.

— Именно так, Уилки. Вы, случайно, не следили за известным делом об отравлении Палмера, наделавшим много шума лет эдак... ох, уже целых десять лет назад? Как же все-таки быстро летит время! Так вы следили за делом Палмера по газетам или по разговорам в клубе?

— Нет.

— Неважно, — промолвил Диккенс. — Достаточно сказать, что наш отставной инспектор Филд участвовал в расследовании этого громкого убийства, пользовался огромной популярностью у газетчиков и неизменно представлялся инспектором Филдом. Честно говоря, Уилки, мне кажется, наш толстопалый друг всячески старался

создать у всех впечатление, что он по-прежнему состоит на службе в Столичной полиции. А настоящим сыщикам и инспекторам это не нравилось. Нисколечко не нравилось. Поэтому ему перестали выплачивать пенсию.

Я резко остановился.

— Пенсия? — воскликнул я. — Так дело всего-навсего в пенсии? Этот тип допрашивает вас, пытается шантажировать меня — и все из-за какой-то... паршивой... пенсии?

Диккенс явно не хотел сбиваться с темпа ходьбы, но все же остановился, пару раз рубанул тростью по придорожному бурьяну и широко улыбнулся:

— Ну да, из-за пенсии. Наш псевдоинспектор держит частное сыскное бюро и таким образом зарабатывает на жизнь — я заплатил, прямо скажем, кругленькую сумму за услуги, оказанные нам ночью верзилой Хэчери. Но если вы помните, Уилки, я говорил вам однажды, насколько... полагаю, слово «алчный» в данном случае вполне уместно... насколько алчным всегда был и до скончания дней останется бывший полицейский по имени Филд. Он не может смириться с утратой пенсии. Думаю, он пойдет даже на убийство — только бы ее вернуть.

Я растерянно моргнул.

— Но почему именно Друд? — наконец спросил я. — Чего Филд добьется, если разыщет этого фантома?

— Возможно, восстановления пенсии, — сказал Диккенс, трогаясь с места. — По крайней мере, он так считает. В настоящее время министр внутренних дел сэр Джордж Грей пересматривает дело о приостановке пенсионных выплат Филду — после многочисленных ходатайств нанятого Филдом адвоката, чьи услуги обошлись недешево, уверяю вас! И я нисколько не сомневаюсь, что мистер Филд в плену своих старческих заблуждений...

Я не стал перебивать и указывать, что Чарльз Фредерик Филд всего на семь лет старше самого Диккенса.

— ...вообразил некий фантастический вариант развития событий, где он выслеживает и арестовывает короля преступного мира — неуловимого Друда, ускольз-

нувшего от старшего инспектора Филда двадцать лет назад, — после чего министр внутренних дел, сыскной отдел Скотленд-Ярда, а равно все прежние друзья и новые люди, служащие в Столичной полиции, не только прощают его и восстанавливают в пенсионных правах, но также увенчивают лавровым венком и несут к вокзалу Ватерлоо на своих могучих плечах.

— А он действительно король преступного мира? — тихо спросил я. — Филд вчера сказал, что за минувшие годы Друд убил свыше трехсот человек...

Диккенс бросил на меня быстрый взгляд. Я заметил, что складки и морщины на его лице за лето стали глубже.

— По-вашему, это достоверная цифра, дорогой Уилки?

— Ну... не знаю, — сказал я. — Признаюсь, она кажется абсурдной. Я никогда не слышал о трехстах нераскрытых убийствах, совершенных в Уайтчепеле или в любом другом районе. Но в июле мы с вами отправились на экскурсию по жутким местам, Диккенс. Просто жутким. К слову, вы так и не рассказали мне, что с вами случилось после того, как вы уплыли на дурацкой лодке.

— Да, действительно, — кивнул он. — Той ночью я обещал вам рассказать все в самом скором времени. А уже прошло два месяца. Прошу прощения за столь долгое промедление.

— Да черт с ним, с промедлением, — сказал я. — Но мне хотелось бы узнать о событиях той ночи. Хотелось бы узнать, что вам удалось выяснить про Друда, в поисках которого мы предприняли ночную вылазку.

Диккенс снова взглянул на меня:

— И вас не беспокоит, что наш общий друг Филд шантажом вытянет из вас эту информацию?

Я стал как вкопанный.

— Диккенс!

На сей раз он не остановился, но продолжал идти дальше, крутя в воздухе тростью и с улыбкой оглядываясь на меня.

— Я шучу, дорогой Уилки, шучу. Пойдемте же... не стойте на месте, не будем сбиваться с шага под конец

пути. Давайте догоняйте меня и, прошу вас, умерьте свое яростное сопение до обычного пыхтения кузнечных мехов — тогда я поведаю вам обо всем, что со мной приключилось в Подземном городе после того, как я оставил вас на кирпичном причале в канализационном тунеле под катакомбами.

Глава 9

— Оставив вас на причале, — начал Диккенс, — я принялся рассматривать несуразную лодчонку. Она напоминала убогое суденышко Хексама Гафера, промышляющего поиском трупов и всяких разных предметов в Темзе, но в данном случае какой-то умалишенный плотник решил превратить свое творение в жалкое подобие венецианской гондолы. Чем дольше я рассматривал двух своих безмолвных провожатых — рулевого на корме и гребца на носу, — тем меньше они мне нравились, Уилки. Позолоченные карнавальные полумаски прикрывали у них только глаза, и потому я с легкостью распознал в обоих особей мужского пола, хотя мужского лишь по названию. Помните непристойных гермафродитов, в виде которых изображаются ангелы на фресках в католических соборах на Континенте? Так вот, мои спутники обладали еще ярче выраженными гермафродитными чертами, и надетые на них нелепые средневековые рейтузы и туники лишь подчеркивали их женоподобность. Я решил мысленно называть кастрата на носу Венерой, а евнуха на корме Меркурием.

Мы проплыли по широкому потоку сточных вод ярдов сто или больше. Я оглянулся, но, сдается мне, вы так ни разу и не посмотрели в мою сторону, пока наша гондола не повернула, следуя изгибу туннеля, и мы с вами не скрылись друг у друга из виду. Маленькие фонари, висевшие на железных штырях на носу и корме, слабо рассеивали мрак. Лучше всего я различал влажные кирпичные своды над нами, поблескивающие в свете фонарей.

Полагаю, мне нет нужды напоминать вам, Уилки, какое жуткое зловоние стояло в том первом туннеле. Я сомневался, что у меня хватит сил долго сдерживать рвотные позывы. Но к счастью, через несколько сотен ярдов пути по смрадному Стиксу рулевой в полумаске направил нашу гондолу в боковой туннель — столь узкий, что его следует назвать скорее сточной трубой. Венере и Меркурию (да и мне тоже) пришлось низко пригибать голову, когда они продвигали наше суденышко вперед, отталкиваясь облаченными в перчатки руками от низкого кирпичного потолка и стен, сходившихся все теснее. Потом мы выплыли в широкий поток — и я употребляю слово «поток» намеренно, Уилки, поскольку этот канализационный туннель напоминал больше забранную под высокие кирпичные своды подземную реку шириной с любой наземный приток Темзы. Вы знаете, что в Лондоне многие реки частично или полностью отведены под землю — например, Флит? Разумеется, знаете. Просто о них как-то не думаешь.

Мои андрогинные провожатые долго вели лодку вниз по течению, и дальше — должен предупредить вас, друг мой, — повествование становится фантастическим.

Наш первый провожатый, сыщик Хэчери, а равно китайский опиумный призрак Король Лазарь называли сокрытый под Лондоном мир Подземным городом, но теперь я увидел, что замысловатый лабиринт, состоящий из простых и двухъярусных подвалов, сточных труб, пещер, боковых ходов, заброшенных штолен, прорытых задолго до основания здесь первого поселения, забытых катакомб и недостроенных туннелей, является в буквальном смысле городом — эдакий жуткий Лондон под Лондоном. Настоящий Подземный город.

Мы медленно плыли по течению, и, когда мои глаза привыкли к темноте, что сгущалась по сторонам широкого потока, я вдруг стал различать во мраке людей. Именно так, дорогой Уилки, — людей. Не беспризорных мальчишек, которые, как я теперь понял, походили

скорее на одичалых псов или свирепых волков, некогда рыскавших в окрестностях какой-нибудь средневековой деревни, а самых обычных людей. Мужчин и женщин. Детей. Целые семьи у костров. А также грубо сколоченные хибары, подстилки, тюфяки, даже печки, старые колченогие стулья и продавленные кресла в выбитых в кирпичных стенах нишах, боковых пещерах и на широких, покрытых илистой грязью берегах.

Там и сям из вязкой, скользкой жижи вырывались языки голубого пламени, напоминающие трепетные огоньки свечей на рождественском пудинге, Уилки, и иные из жалких оборванцев в поисках света и тепла теснились вокруг таких вот костерков, горевших в местах газовых выбросов.

Потом, когда мне уже стало казаться, что Венера и Меркурий будут вести нашу гондолу по темным водным «улицам» вечно, туннель резко расширился, и мы приблизились к настоящей пристани — вырубленным в скальной стене широким ступеням, ярко освещенным факелами. Меркурий пришвартовал гондолу, а Венера помог мне выйти из шаткого суденышка. Оба они, недвижные и безмолвные, оставались в лодке, пока я поднимался по ступеням к медной двери.

По сторонам лестницы стояли большие египетские статуи, вытесанные из камня, а над дверью размещался темный бронзовый барельеф, похожий на выставленные в Британском музее древние барельефы, среди которых чувствуешь себя весьма неуютно зимним вечером незадолго до часа закрытия. На нем изображались мужчины с головой шакала или птицы, держащие в руке посохи, скипетры и крюки. Каменную перемычку над широким дверным проемом сплошь покрывали рисуночные письмена — иероглифы, — какие можно увидеть на иллюстрациях обелисков в книгах о Египетском походе Наполеона. Они напоминали неумелые детские рисунки, все эти вырезанные на камне волнистые линии, глаза, птицы... множество разных птиц.

Два безмолвных, но вполне живых чернокожих великана — при виде их на ум мне пришло слово «нубийцы» — стояли у массивной двери и распахнули передо мной створы, когда я приблизился. Они были в черных балахонах без рукавов и с открытой грудью, оба держали в руках диковинные посохи с крюком — похоже, железные.

Ведущая от подземной реки широкая лестница, статуи и барельефы, стражи у медной двери выглядели столь внушительно, что я приготовился вступить в некий величественный храм — однако, хотя освещенные фонарями гулкие помещения действительно смутно напоминали языческое святилище, у меня возникло впечатление, будто я очутился скорее в библиотеке, нежели в храме. На полках, что тянулись рядами вдоль стен первой залы и боковых комнат, лежали пергаментные свитки, глиняные таблицы и вполне современные книги. Я мельком заметил на корешках названия научных трудов и справочников, какие можно найти в любой хорошей библиотеке. В каждом помещении стояли несколько столов, освещенных факелами или свисающими с потолка жаровнями, и одна-другая низкая кушетка вроде тех, что встречались в богатых домах древних римлян, греков и египтян, если верить историкам. В комнатах сидели или расхаживали вдоль полок люди, в большинстве своем похожие на ласкаров, мадьяров, индусов и китайцев. Но никаких погруженных в опиумный сон старцев там не было — никаких лежачих мест, никаких опиумных трубок и ни слабейшего запаха проклятого наркотика. Я обратил внимание, что почти у всех мужчин невесть почему обриты головы.

Друд ждал меня во второй зале, Уилки. Он сидел под шипящим фонарем за маленьким столом, заваленным книгами и свитками, и пил чай из веджвудской чашки. Одетый в желтовато-коричневый балахон, сейчас он нисколько не походил на гробовщика в дурно скроенном костюме — выглядел гораздо внушительнее, — но при свете фонаря все изъяны внешности выделялись еще

резче: почти лысый череп со шрамом, безвекие глаза, уродливый нос, словно укороченный ножом хирурга, слегка раздвоенная верхняя губа и бесформенные обрубки вместо ушей. Он встал и протянул мне руку.

— Добро пожаловать, мистер Диккенс-с-с, — проговорил он с характерным присвистом и пришепетыванием, которые я столь безуспешно пытался воспроизвести для вас. — Я ждал вас-с-с.

— Откуда вы знали, что я приду, мистер Друд? — спросил я, пожимая холодную белую руку и стараясь не поморщиться от отвращения.

Он улыбнулся, Уилки, и я снова увидел мелкие, редкие, очень острые зубы и мелькающий за ними розовый язык, поразительно проворный.

— Вы человек весьма любопытный, мистер Диккенс-с-с, — сказал Друд. — Это видно по вашим замечательным романам и повес-с-стям. Все ваши с-с-сочинения вызывают у меня подлинное вос-с-схищение.

— Благодарю вас, вы очень любезны, — ответствовал я.

Можете представить, дорогой Уилки, как чудно́ я чувствовал себя, сидя в храмолодобной библиотеке Подземного города со странным субъектом, ставшим постоянным персонажем моих снов со дня Стейплхерстской катастрофы, и слушая, как он хвалит мои книги, словно я только что закончил публичные чтения в Манчестере.

Прежде чем я успел придумать, что еще сказать, Друд налил мне чаю в изящную фарфоровую чашку и промолвил:

— Уверен, у вас-с-с ес-с-сть вопрос-с-сы ко мне.

— Конечно, мистер Друд. И я надеюсь, вы не сочтете их дерзкими или чересчур личными. Не стану скрывать, мне не терпится узнать, кто вы такой и откуда родом, что привело вас сюда... в Подземный город, почему вы оказались на фолкстонском поезде, в общем — всё.

— В таком случае я рас-с-скажу вам все, мистер Диккенс-с-с, — ответил мой диковинный собеседник.

Следующие полчаса я пил чай и слушал его повествование, друг мой. Вы хотели бы узнать биографию Друда прямо сейчас — или отложим это на другой день?

Я огляделся по сторонам. Мы находились примерно в миле от Гэдсхилл-плейс. Я осознал, что слегка задыхаюсь от быстрой ходьбы, но головная боль улетучилась, пока я завороженно внимал невероятному рассказу.

— Зачем откладывать, Диккенс? Давайте уж дослушаем историю до конца.

— До конца еще далеко, дорогой Уилки, — сказал Диккенс, постукивая тростью по земле на каждом втором шаге. — Если честно, история только начинается. Но я расскажу вам все, что поведал мне Друд той ночью, — правда, в сжатой форме, поскольку конечный пункт нашего маршрута уже показался впереди.

— Человек, известный нам под именем Друд, является сыном англичанина и египтянки. Отец, некий Джон Фредерик Форсайт, родился в прошлом веке, окончил Кембриджский университет и выучился на инженера-строителя, хотя подлинной его страстью всегда были географические исследования, приключения и литература. Это правда, Уилки, я проверял. Сам Форсайт писал и художественную прозу, и научные труды, но в настоящее время он памятен своими очерками о путешествиях. Инженерное образование Форсайт получал во Франции — по окончании Наполеоновских войн, разумеется, когда англичане смогли беспрепятственно вернуться туда, — и там он свел знакомство с различными учеными, участвовавшими в египетской экспедиции Наполеона. Их рассказы возбудили в нем страстное желание посетить Египет и своими глазами увидеть всю тамошнюю экзотику — сфинкса, подвергшегося обстрелу французской артиллерии и в результате лишившегося носа, фараоновы пирамиды, местных жителей, древние города — и да, женщин. Форсайт был молод и холост, и рассказы

французов о закутанных в чадру обольстительных магометанках с подведенными сурьмой глазами воспламенили в нем мечту о чем-то большем, нежели просто путешествие в далекую страну.

Через год Форсайт завербовался в Египет в составе английской строительной фирмы, заключившей подрядный контракт с французской компанией, которая принадлежала одному парижскому знакомому Чарльза Фредерика Форсайта и работала на молодого правителя Египта, Мехмета Али. Именно Али первым попытался внедрить в Египте европейские технические достижения и новшества.

Как профессионал, Форсайт был потрясен инженерным гением древних египтян, явленным в пирамидах, руинах колоссальных сооружений и оросительных сетях по берегам Нила. Как искатель приключений, молодой человек остался в восторге от Каира и прочих египетских городов, а равно от экспедиций к удаленным руинам и местам археологических раскопок выше по течению Нила. Как мужчина, Форсайт удостоверился, что французы нисколько не грешили против истины, рассказывая об обольстительности египтянок.

В первый же год своего пребывания в Каире Форсайт познакомился с молодой египетской вдовой, впоследствии ставшей матерью Друда. Она жила поблизости от квартала, где в массе своей обретались европейские инженеры и прочие иностранные подрядчики, говорила по-английски, происходила из знатного и старинного александрийского рода (ее покойный муж занимался торговлей в Каире) и посещала званые обеды и вечеринки, устраивавшиеся английской строительной фирмой. Звали эту женщину Амиси, что в переводе означает «цветок», и многие англичане, французы и египтяне говорили Форсайту, что своей неброской красотой она в полной мере заслуживает такое имя.

Несмотря на существовавшее среди мусульман предубеждение против европейцев и христиан, ухаживание

за молодой вдовой оказалось делом нехитрым — несколько раз Амиси «случайно» показала Форсайту свое лицо близ купальни, где собирались местные женщины, каковой жест традиционно означал молчаливое согласие на помолвку, — и вскоре они поженились по мусульманскому закону без всяких затейливых церемоний. Собственно говоря, для скрепления брачных уз потребовалась одна-единственная фраза, тихо произнесенная будущей матерью Друда.

Мальчик, ныне известный нам под именем Друд, появился на свет через десять месяцев. Отец нарек новорожденного сына Джаспером, каковое имя ничего не говорило матери, соседям, а впоследствии и сверстникам бедного малого, взявшим за обыкновение избивать полукровку, точно наемного мула. Почти четыре года Форсайт воспитывал из ребенка будущего английского джентльмена, требовал, чтобы все в доме разговаривали исключительно по-английски, занимался с сыном в свободное время и заявлял, что тот получит образование в лучших учебных заведениях Англии. Амиси не имела права голоса в данном вопросе. Но — к счастью для юного Джаспера Джона Форсайта-Друда — большую часть времени отец отсутствовал дома, работая на разных строительствах вдали от Каира, жены и сына. На улицу юный Джаспер Джон Форсайт выходил всегда в дрянной одежонке — Амиси понимала, насколько важно, чтобы все соседи, стар и млад, не имели представления о материальном благополучии маленького Джаспера. Товарищи по играм и даже взрослые египтяне запросто могли бы убить светлокожего мальчонку, когда бы узнали об огромных доходах его отца.

Потом, повинуясь такой же внезапной прихоти, по какой он в свое время очутился в Египте, Чарльз Фредерик Форсайт закончил свою работу в этой стране и вернулся в Англию, чтобы начать новую жизнь. Он оставил жену-мусульманку и сына-полукровку, не потрудившись даже написать письмо со словами сожаления.

Мать Друда теперь оказалась покрыта двойным позором: во-первых, она вышла замуж за неверного, во-вторых, он ее бросил. Друзья, соседи и родственники винили бедняжку в обеих трагедиях. Однажды возле женской купальни несколько египтян с закрытыми шарфами лицами напали на Амиси, уволокли прочь и заставили предстать перед судом в составе других безлицых мужчин, после чего приговор суда был приведен в исполнение: несчастную провезли на осле по улицам под конвоем местных полицейских, а потом забили насмерть камнями — расправу вершила разъяренная толпа мужчин, а женщины в черных чадрах с удовлетворением наблюдали за казнью с крыш и балконов, испуская одобрительные крики.

Но когда полицейские явились в бывший дом Форсайта в старом квартале, чтобы схватить сына убитой женщины, мальчика там не оказалось. Слуги, соседи и родственники утверждали, что знать не знают, где он. В домах у них провели обыски, но нигде не обнаружили и следа ребенка. Все его игрушки и одежда остались на своих местах, словно мальчик просто вышел во двор и был унесен в небо или утащен в реку богами. Полицейские решили, что какой-нибудь доброжелательный сосед или слуга, прослышав о казни Амиси, велел четырехлетнему Джасперу бежать и малец выбрался из города в пустыню, где и погиб.

Но дело обстояло иначе.

Видите ли, Уилки, богатый и влиятельный дядя Амиси, александрийский торговец коврами по имени Амун, — он души не чаял в своей племяннице и премного опечалился, когда она уехала в Каир с первым мужем, а впоследствии опечалился еще сильнее, узнав о ее браке с неверным, — тоже прослышал, что англичанин бросил Амиси, и отправился в Каир с намерением уговорить бедняжку вернуться в Александрию вместе с ребенком. Амун, чье имя в переводе означает «скрытый от всех», был уже почти стариком, но имел молодых жен. Днем он торговал коврами, а по ночам отправлял обязанности

жреца в одном из тайных храмов древней религии — языческой домусульманской религии, которую исповедовали египтяне, пока не приняли магометанство под угрозой кривых сабель. И он твердо решил убедить племянницу перебраться вместе с сыном к нему в Александрию.

Амун опоздал всего на час. Прибыв в старый квартал к моменту казни племянницы, но не имея никакой возможности остановить расправу, он поспешил к дому Амиси — все слуги там предавались полуденному сну, а соседи увлеченно наблюдали за побиванием несчастной камнями, — похитил из кроватки юного Джаспера Джона Форсайта и немедленно покинул Каир, увозя с собой крохотного мальчика, что сидел в седле позади него, крепко обхватив за пояс обеими руками. Четырехлетний малыш не знал, что мать погибла, а Амун приходится ему двоюродным дедом, и в детском своем страхе вообразил, будто он похищен пустынным разбойником. Старик и маленький мальчик на белом жеребце галопом вылетели за ворота Каира и поскакали во весь опор по дороге, ведущей в Александрию.

В родном городе, в своем огромном доме, который укрывался за стенами не хуже крепостных и охранялся хорошо вооруженными стражами из родного клана, собратьями-жрецами и александрийскими наемными убийцами из числа преданных сторонников, дядя Амун принял Джаспера как собственного сына и навсегда сохранил происхождение мальчика в тайне от всех. На следующее утро после прибытия в Александрию, когда юный Джаспер Джон Форсайт проснулся в незнакомом окружении, дядя Амун отвел его к скотному загону и велел выбрать козла. Маленький Друд отнесся к делу с чрезвычайной серьезностью, на какую способно только четырехлетнее дитя, и по длительном раздумье указал на самого крупного белого козла с шелковистой шерстью и глазами ну прямо как у дьявола: с вертикальными зрачками. Дядя Амун улыбнулся, кивнул, велел мальчику вывести козла из загона, а потом отвел блеющее животное и довольного Джаспера в закрытый для посторонних

внутренний двор в самой глубине огороженной территории. Там дядя Амун, уже не улыбаясь, вынул из-за пояса длинный кривой кинжал, вручил малышу и сказал: «Этот козел — единственное, что осталось от мальчика, в прошлом звавшегося Джаспером Джоном Форсайтом, сына неверного англичанина Джона Форсайта и опозоренной женщины по имени Амиси. Джаспер Джон Форсайт умрет здесь и сейчас, и никто никогда впредь не произнесет ни одно из этих имен — ни ты сам, под страхом смерти, ни любой другой человек, под страхом смерти».

Затем дядя Амун положил сильную руку на ручонку маленького Джаспера Джона, сжимавшую эфес кинжала, и одним быстрым движением перерезал козлу глотку. Животное забилось в конвульсиях и в считаные секунды испустило дух. Кровь забрызгала белые штанишки и рубашку четырехлетнего ребенка. «Отныне тебя зовут Друд», — промолвил дядя Амун.

Это было не традиционное имя, принятое в роду Амуна, и даже не обычное египетское, Уилки. Значение его давно затерялось во мгле веков, во мраке времен, окутывающем истоки древнего языческого культа.

В последующие годы дядя Амун ввел мальчика в тайный мир, где обитал он сам и многие его знакомые. При свете дня они были магометанами — маленький Друд учил наизусть Коран и молился по пять раз на дню, как положено праведному приверженцу ислама, — а по ночам Амун и другие александрийцы из тайного общества чтили Старый Закон, поклонялись древним богам и отправляли древние религиозные ритуалы. Вместе со своим дядей и остальными жрецами Друд при свете факелов проникал в недра пирамид и спускался в подземные храмы, расположенные под святынями вроде Сфинкса. Еще не достигнув подросткового возраста, маленький Друд совершал с дядей и прочими жрецами путешествия в Каир, на остров Филе, к руинам древних некрополей на берегу Нила в Верхнем Египте и в долину, где давным-давно опочившие египетские короли (они называ-

ются фараонами, как вы наверняка помните, Уилки) покоятся в гробницах, вырубленных в каменном ложе и окрестных скалах.

В тех потаенных местах процветала древняя египетская религия и многотысячелетнее сокровенное знание. Там мальчик Друд был посвящен в тайны языческого культа и обучен ритуалам, которые отправлял еще Моисей.

Дядя Амун обладал глубокими познаниями в сакральных целительских науках. Он являлся верховным жрецом храмов Сна, посвященных Исиде, Осирису и Серапису, и подготовил Друда на такую же должность. Так называемый целительный сон, дорогой Уилки, известен египтянам и практикуется среди них уже свыше десяти тысяч лет. Жрецы, способные вводить людей в такой сон, обретали полную власть над своими пациентами. Сегодня мы называем подобную практику научным термином «месмеризм», а состояние человека, погруженного в чудодейственный сон, — магнетическим трансом.

Как вам известно, Уилки, я сам обладаю известными способностями (а по мнению иных, так и редким даром) в искусстве месмеризма. Я рассказывал вам о своих занятиях с профессором Джоном Эллиотсоном в клинике при университетском колледже в Лондоне, о собственных исследованиях данного феномена и о том, как несколько лет назад, в Италии и Швейцарии, я в течение многих месяцев лечил животным магнетизмом бедную, одержимую видениями мадам де ля Рю — по настоятельной просьбе ее мужа. Уверен, я бы полностью исцелил бедняжку, когда бы в дело не вмешалась Кэтрин, обуянная безумной и беспочвенной ревностью.

Друд сказал, что признал во мне обладателя магнетической силы сразу, как только увидел меня на береговом откосе над местом чудовищной Стейплхерстской катастрофы. По словам Друда, он распознал во мне сей богоданный дар с первого взгляда, как в свое время дядя Амун распознал скрытые способности в нем самом, когда он был четырехлетним мальчонкой.

Но я отвлекся от повествования.

Все годы отрочества и юношества Друд совершенствовал свой талант, постигая тайное знание древних египтян. Известно ли вам, к примеру, Уилки, что, по свидетельству авторитетного историка Геродота, великий фараон Рамзес, владыка всего Египта, однажды безнадежно заболел и — по выражению самого Геродота, а равно дяди и учителей Друда — «сошел в царство мертвых»? Но впоследствии Рамзес вернулся в земной мир полностью исцеленным. Чудесное возвращение фараона праздновалось на протяжении многих тысячелетий и по сию пору празднуется в Египте, где ныне господствует ислам. И знаете ли вы, Уилки, благодаря чему Рамзес столь чудесным образом вернулся из темного царства мертвых?

Здесь Диккенс сделал эффектную паузу, и по прошествии нескольких долгих секунд мне пришлось сказать:

— Не знаю.

— Благодаря месмерическому магнетизму, — возгласил Неподражаемый. — По ходу ритуального действа, проведенного в храме Сига, Рамзес погрузился в гипнотический сон, в котором он умер как человек, а потом усилиями жрецов был возвращен к жизни — полностью исцеленным и уже превосходящим смертную природу.

Тацит рассказывает нам о знаменитом храме Сна в Александрии. Именно там молодой Друд по ночам постигал сокровенное знание и в конечном счете в совершенстве освоил древнее искусство магнетического воздействия.

Той ночью в храмоподобной библиотеке Подземного города Друд поведал мне, показав соответствующие пергаменты и книги, что в свое время Плутарх говорил о некоем дурманном благовонии под названием «кифи», использовавшемся в храмах Исиды и Осириса для погружения людей в целительный и одновременно ясновидческий сон. Оно применяется даже в наше время — Друд дал мне нюхнуть из открытого флакончика, Уилки! — для введения в месмерический транс наравне с музыкой

лиры. Пифагорейцы в своих тайных ритуалах, проводимых в пещерах и храмах, тоже использовали кифи и лиру, поскольку они, вслед за древними египтянами, верили, что под воздействием магнетической силы, правильно приложенной, душа может покидать телесную оболочку и вступать в связь со спиритуальным миром.

Не смотрите на меня так, дорогой Уилки. Вы знаете: я не верю в простых призраков и духов, являющихся на сеансах столоверчения. Сколько раз я разоблачал подобные суеверия устно и письменно? Но я сведущ в животном магнетизме и надеюсь в самом скором времени углубить свои познания в данной области.

Согласно Геродоту и Клименту Александрийскому, нижеследующая молитва в сочетании с месмерическим воздействием на покойного неизменно применялась на всех важных египетских похоронах на протяжении десяти тысяч лет: «О боги, дающие жизнь людям, явите милость к душе опочившего, дабы она могла уйти к бессмертным богам».

Но некоторые души жрецы не отпускали. Некоторые души они удерживали своей магнетической силой и возвращали обратно. Так было в случае с фараоном Рамзесом. Так было в случае с человеком, известным нам с вами под именем Друд.

Диккенс остановился, и я тоже. До Гэдсхилла оставалось уже меньше полумили, хотя мы шли несколько медленнее обычного. Признаться, завороженный монотонным голосом Чарльза Диккенса, последние двадцать минут я не замечал ничего вокруг.

— Вы находите все это скучным? — спросил он, устремив на меня пытливый взгляд темных глаз.

— Глупый вопрос, — сказал я. — Все это чрезвычайно увлекательно. И в высшей степени фантастично. Не каждому и не каждый день выпадает удовольствие услышать сказку тысячи и одной ночи из уст Чарльза Диккенса.

— Фантастично, — повторил Неподражаемый с едва заметной улыбкой. — По-вашему, это слишком фантастично, чтобы быть правдой?

— Чарльз, вы спрашиваете меня, верю ли я, что Друд рассказал вам правду, или верю ли я, что вы рассказали мне правду?

— И первое, и второе, — ответил он, не сводя с меня пристального взгляда.

— Не знаю, сказал ли Друд хоть слово правды, — промолвил я. — Но я верю, что вы говорите чистую правду, рассказывая историю, поведанную вам Друдом.

Я лгал, дорогой читатель. История казалась слишком абсурдной, чтобы я поверил в нее или хоть на миг допустил, что Диккенс в нее поверил. Я помнил, как однажды Диккенс сказал мне, что в детстве его любимой книгой были «Сказки тысячи и одной ночи». И сейчас задался вопросом, не пробудились ли в нем некие детские качества от потрясения, вызванного Стейплхерстской катастрофой.

Диккенс кивнул, словно учитель, услышавший правильный ответ от ученика.

— Мне нет необходимости напоминать вам, друг мой, что все это должно остаться между нами.

— Разумеется.

Он улыбнулся почти по-мальчишески:

— Даже если наш друг инспектор Филд грозится разболтать всему свету про Домовладелицу и Дворецкого?

Я небрежно махнул рукой.

— Но вы не рассказали про Друда самого главного, — заметил я.

— Разве?

— Да, — твердо промолвил я. — Не рассказали. Почему он оказался на месте железнодорожного крушения? Откуда там взялся? Что он делал с тяжелоранеными людьми? Помнится, вы говорили, что со стороны все выглядело так, будто Друд похищал души умирающих. И что, собственно говоря, он делает в пещере у протекающей по туннелю подземной реки, глубоко под катакомбами?

— Поскольку до дома уже рукой подать, — начал Диккенс, вновь трогаясь с места, — я не стану продолжать повествование, а просто отвечу на ваши вопросы, дорогой Уилки. Во-первых, Хэчери оказался прав в своих умозаключениях и предположениях насчет появления Друда на месте крушения. Он действительно путешествовал в гробу в багажном вагоне.

— Боже милостивый! — воскликнул я. — Но почему?

— Все, как мы и думали, Уилки. В Лондоне и прочих городах Англии у Друда есть враги, исполненные решимости выследить и схватить его. Инспектор Филд — один из таких врагов. Друд не является ни подданным нашей страны, ни желанным чужеземным гостем. На самом деле, по официальному мнению и по официальным документам, он уже двадцать лет как умер. Потому-то он и возвращался в гробу из поездки по Франции... где встречался с собратьями по религии, владеющими искусством магнетизма.

— Поразительно, — сказал я. — Но что насчет странного поведения Друда на месте катастрофы? Вы сами рассказывали, как он подкрадывался и склонялся над ранеными, которые все оказывались мертвыми, когда вы подходили к ним после него. «Похищал души», по вашему же выражению.

Диккенс улыбнулся и, взмахнув тростью, точно мечом, обезглавил росток чертополоха.

— Это показывает, сколь глубоко может ошибаться даже самый умный и зоркий наблюдатель, если не знает всех обстоятельств дела. Друд вовсе не похищал души несчастных жертв катастрофы. Напротив, он воздействовал на страдальцев месмерической силой, дабы облегчить предсмертные муки, и произносил древнюю египетскую погребальную молитву, призванную помочь при переходе в мир иной, — молитву эту я процитировал вам несколько минут назад. Друд действовал на манер католического священника, проводящего соборование перед смертью. Только он проводил месмерические обряды культа Сна, твердо веря, что таким образом отправляет

души погибших на суд к богам, которым они поклонялись при жизни.

— Поразительно, — повторил я.

— А что касается обстоятельств его жизни здесь, в Англии, и причин нынешнего его проживания в Подземном городе, — продолжал Диккенс, — то рассказ инспектора Филда о прибытии Друда в Англию, об ограблении, матросе, ноже и всем прочем почти полностью соответствует истине. Только с точностью до наоборот. Двадцать с лишним лет назад Друд приехал в Англию с заданием разыскать двух своих родственников из Египта — близнецов, юношу и девушку, владевших другим древним египетским искусством — умением читать мысли. Он имел при себе огромную сумму денег в английских фунтах и золотых монетах.

На следующий же вечер после приезда в Лондон Друда ограбили. Английские матросы напали на него в припортовом квартале, обчистили, зверски исполосовали ножом — именно тогда он лишился век, ушей, носа и кончика языка — и бросили в Темзу, словно труп... да он, собственно, и был тогда почти трупом. Какие-то обитатели Подземного города вытащили Друда из реки и перенесли вниз — умирать. Но он не умер, Уилки. А если и умер, так, значит, вернул себя к жизни. Когда неизвестные бандиты грабили его, избивали и резали ножом, Друд погрузился в глубокий месмерический сон и привел свою душу — или по крайней мере свое психическое существо — к тонкой грани между жизнью и смертью. Оборванцы из Подземного города нашли бездыханное тело, но при звуке человеческих голосов Друд очнулся от магнетического сна таким же усилием воли, каким ввел себя в месмерический транс. Чтобы отблагодарить своих спасителей, Друд построил в подземном «муравейнике» храм Сна, совмещенный с библиотекой, где он исцеляет тех, кого может исцелить, помогает тем, кому может помочь посредством древних обрядов, облегчает предсмертные муки и переход в мир иной тем, кого уже нельзя спасти.

— Послушать вас, так он просто святой, — сказал я.

— В известном смысле так оно и есть.

— А почему он просто не уедет в Египет? — спросил я.

— О, он туда ездит, Уилки. Время от времени. Чтобы повидаться со своими учениками и коллегами. Помочь с отправлением некоторых древних ритуалов.

— Но он все время возвращается в Англию? До сих пор?

— Он пока так и не нашел своих родственников, — сказал Диккенс. — И Англия для него уже стала такой же родиной, как Египет. В конце концов, он ведь наполовину англичанин.

— Даже несмотря на убийство козла, носившего его английское имя?

Диккенс промолчал.

— По утверждению инспектора Филда, ваш мистер Друд — целитель, великий знаток месмеризма, праведник почище Христа и тайный мистик — за последние двадцать лет убил свыше трехсот мужчин и женщин.

Я ожидал, что Неподражаемый рассмеется. Но он хранил все тот же серьезный вид и все так же пристально смотрел на меня.

— А вы сами-то верите, что человек, с которым я разговаривал, повинен в трехстах убийствах?

Я выдержал взгляд Диккенса и ответил взглядом равно непроницаемым.

— Возможно, он гипнотизирует своих приспешников и заставляет их выполнять всю грязную работу, Чарльз.

Теперь он все-таки улыбнулся:

— Вы наверняка знаете, друг мой, — из научных трудов профессора Джона Эллиотсона, если не из собственных моих случайных заметок по данному предмету, — что даже в состоянии месмерического сна, или месмерического транса, человек не может совершить никаких поступков, противоречащих его нравственным нормам и принципам.

— В таком случае, возможно, Друд гипнотизирует убийц и головорезов и они совершают для него все убийства, — предположил я.

— Если они уже убийцы и головорезы, дорогой Уилки, — мягко промолвил Диккенс, — Друду нет никакой необходимости гипнотизировать их, не правда ли? Он может просто заплатить им звонкой монетой.

— Так, может, он и платит, — сказал я.

Наш разговор приобретал до невыносимости абсурдный характер. Я окинул взглядом широкий луг, словно мерцающий в свете осеннего солнца. За деревьями впереди я явственно различал маленькое шале и мансардную крышу Гэдсхилл-плейс.

Я положил ладонь на плечо Неподражаемому, пока он еще не тронулся с места, и спросил:

— Так вы ездите по ночам в Лондон раз-два в неделю, чтобы совершенствовать свои познания и способности в месмеризме?

— А... значит, в моем семейном кругу все-таки есть соглядатай. Некто, часто страдающий несварением желудка, насколько я понимаю?

— Нет, мой брат здесь ни при чем, — довольно резко сказал я. — Чарльз Коллинз умеет хранить секреты и бесконечно вам предан. И однажды он станет отцом ваших внуков. Вам следует относиться к нему более уважительно.

По лицу писателя пробежала тень. Похоже, тень отвращения — хотя я так и не понял, вызвано оно мыслью о женитьбе моего брата на Кейт (каковой союз Неподражаемый никогда не одобрял) или же сознанием, что сам он, Диккенс, уже достаточно стар, чтобы иметь внуков.

— Вы правы, Уилки. Прошу прощения за шутку, пусть и продиктованную теплым родственным чувством. Но тихий внутренний голос говорит мне, что я так и не дождусь внуков от брака Кейти Диккенс с Чарльзом Коллинзом.

Что он, собственно, имел в виду? Пока мы не сцепились в драке или не продолжили путь в тягостном молчании, я сказал:

— О ваших еженедельных поездках в город мне сообщила Кейти. Она, Джорджина и ваш сын Чарльз тревожатся за вас. Они понимают, что страшные воспоминания о железнодорожном крушении все еще преследуют вас и пагубно действуют на ваши нервы. Сейчас они подозревают, что я вовлек вас в какое-то дикое непотребство, творящееся в лондонских злачных местах, и теперь по меньшей мере раз в неделю вас, извиняюсь за выражение, самым магнетическим образом тянет к ночным бесчинствам.

Диккенс громко расхохотался, запрокинув голову:

— Да бросьте, Уилки! Если у вас нет никакой возможности задержаться до ужина, составленного Джорджиной из самых изысканных блюд, вы по крайней мере должны выкурить со мной сигару, обозревая конюшни и наблюдая за Джоном Форстером, играющим с моими детьми на лужайке. Потом маленький Плорн запряжет двуколку и отвезет вас на станцию прямо к вечернему экспрессу.

Навстречу нам выбежали собаки.

Диккенс почти всегда держал у ворот собак на цепи, так как слишком много разных бродяг и грязных оборванцев имели обыкновение сворачивать с Дуврской дороги и выклянчивать дармовые подачки у задней или передней двери Гэдсхилл-плейс. Первой нас встретила Миссис Поскакушка — любимица Мэри, крохотный померанский шпиц, с которым Диккенс неизменно разговаривал особым детским, почти писклявым голосом. Через секунду подлетела Линда — неутомонный, непоседливый сенбернар, вечно занятый игривой борьбой с огромным мастифом по кличке Турок. Все трое в совершенном экстазе прыгали, норовили лизнуть в лицо, бешено виляли хвостом, приветствуя своего хозяина, на удивление хорошо ладившего со всеми животными. Казалось, как и многие люди, собаки и лошади понимали, что Чарльз Диккенс поистине Неподражаемый и посему заслуживает всяческого уважения.

Пока я пытался потрепать по голове сенбернара, приласкать резвящегося мастифа и обойти прыгучего шпица, которые все через каждые несколько секунд отскакивали прочь от меня и снова набрасывались со своими изъявлениями восторга на Диккенса, из-за живой изгороди вихрем вылетел незнакомый мне пес, крупный ирландский волкодав, и с угрожающим рычанием помчался на меня, словно с намерением перегрызть мне горло. Признаться, я поднял трость и попятился.

— Стоять, Султан! — гаркнул Диккенс, и пес сначала застыл на месте всего в нескольких шагах от меня, потом припал к земле с самым виноватым и покорным видом. Диккенс укоризненным тоном выговорил злодею, а затем почесал у него за ухом.

Я подступил ближе, и волкодав злобно заворчал, опять оскалив клыки. Диккенс перестал ласкать пса. Султан виновато опустился на брюхо и уткнулся носом в башмаки хозяина.

— Я впервые вижу эту собаку, — заметил я.

Диккенс тряхнул головой:

— Перси Фицджеральд подарил мне Султана всего несколько недель назад. Честно говоря, иногда этот пес напоминает мне вас, Уилки.

— Чем же, интересно знать?

— Во-первых, он абсолютно бесстрашен, — сказал Диккенс. — Во-вторых, он абсолютно предан... слушается только меня одного, и слушается беспрекословно. В-третьих, он презирает общественное мнение и нисколько с ним не считается. Он ненавидит солдат и нападает на них, едва лишь заприметит. Он ненавидит полицейских и, говорят, гонялся за несколькими здесь по аллее. И он ненавидит всех себе подобных.

— Я не питаю ненависти к себе подобным, — мягко промолвил я. — Я в жизни не нападал ни на одного солдата и никогда не гонялся за полицейскими.

Явно не слушая меня, Диккенс опустился на колени и потрепал Султана по загривку, в то время как осталь-

ные три собаки прыгали и скакали вокруг него, снедаемые лютой ревностью.

— Султан лишь единственный раз попытался проглотить Миссис Поскакушку, но имел любезность выплюнуть ее по первому же моему приказу. Однако все кошки в округе — в частности, последний помет Кисули, что живет в сарае за гостиницей «Фальстаф-Инн», — таинственным образом пропали после появления здесь Султана.

Султан пристально посмотрел на меня, взглядом своим недвусмысленно давая понять, что перегрызет мне глотку при первой же удобной возможности.

— Но боюсь, невзирая на его преданность, дружелюбие, отвагу и забавные повадки, — заключил Диккенс, — нашего друга Султана однажды придется умертвить, и сделать это придется мне.

Вернувшись вечерним поездом в Лондон, я отправился не пешком домой на Мелкомб-плейс, а взял кеб до Болсовер-стрит, тридцать пять. Там мисс Марта Р***, записанная в домовой книге под именем миссис Марта Доусон, встретила меня у задней отдельной двери, ведущей прямо в скромные апартаменты, которые состояли из крохотной спальни, гостиной чуть побольше и зачаточной кухонки. Я прибыл несколькими часами позже, чем обещался, и она уже давно прислушивалась, не раздадутся ли мои шаги на лестнице.

— Я нажарила котлет и все держу на медленном огне, — сказала Марта. — На случай, если вам захочется поужинать сейчас же. Или разогрею их позже.

— Да, разогреешь позже, — сказал я.

Дорогой читатель отдаленного будущего, я почти могу — не вполне, но почти — вообразить такое время, когда мемуаристы или даже романисты не опускают завесу целомудренного молчания над событиями личного характера, какие могут последовать здесь, над интимными, так сказать, моментами отношений между мужчиной

и женщиной. Надеюсь, в вашу эпоху нравы не настолько испорчены, что вы свободно говорите и пишете о минутах телесной близости, но если вы ждете подобных бесстыдных откровений здесь, мне придется разочаровать вас.

Когда бы вам довелось увидеть фотографию мисс Марты Р***, наверное, вы при всем желании не разглядели бы красоты, какую я нахожу в ней при каждой нашей встрече. Постороннему взгляду или объективу фотокамеры (а Марта говорила, что у нее есть фотопортрет, сделанный с нее за родительский счет год назад, когда ей стукнуло девятнадцать) Марта Р*** представляется приземистой женщиной с угрюмым узким лицом, почти негроидными губами, прямыми волосами, разделенными на прямой пробор и туго зачесанными назад (так туго, что пробор производит впечатление длинной узкой плеши посреди макушки), глубоко посаженными глазами и слегка приплюснутым носом, приличествующим скорее сборщице хлопка на южноамериканской плантации.

Фотография Марты Р*** не дает ни малейшего представления об ее пылкости, страстности, чувственности, телесной щедрости и необузданности. Многие женщины (с одной из таких я сожительствую уже много лет) весьма убедительно изображают чувственность на людях, особым образом одеваясь, искусно раскрашивая лицо, кокетливо хлопая ресницами, но в действительности они почти или совсем не ведают плотского желания. Думаю, они прикидываются единственно по привычке. Очень и очень немногие женщины — такие, как Марта Р***, — обладают поистине страстной натурой. Найти подобную женщину среди толпы полусонных, вялых, апатичных особей женского пола в английском обществе шестидесятых годов девятнадцатого века — все равно что найти даже не алмаз в уличной грязи, а теплое живое тело среди холодных трупов на мраморных столах в парижском морге, куда Диккенс любил водить меня.

Через несколько часов, сидя при свечах за маленьким столом, накрытым для ужина, мы ели пережаренные котлеты (Марта еще не научилась хорошо готовить, и представлялось очевидным, что никогда не научится) и ковырялись вилками в холодном, пересушенном овощном рагу. К моему приезду Марта выбрала и купила бутылку вина — такого же скверного, как еда.

Я взял девушку за руку и сказал:

— Дорогая, завтра с утра пораньше ты должна упаковать свои вещи и уехать в Ярмут одиннадцатичасовым поездом. Там ты вернешься на прежнюю работу в гостинице, а если не получится — найдешь другое такое же место. Не позже чем завтра вечером ты навестишь своих родителей и брата в Уинтертоне и скажешь, что у тебя все в полном порядке и что ты потратила свои сбережения на развлекательную поездку в Брайтон.

Марта, надо отдать ей должное, не стала хныкать и разводить мокроту. Но она покусала губы и промолвила:

— Мистер Коллинз, голубчик, я чем-то обидела вас? Дело в ужине?

Несмотря на усталость и подагрические боли в глазах и суставах, я рассмеялся:

— Нет-нет, дорогая моя. Просто тут один сыщик вертится вокруг, вынюхивает да высматривает, и нам нельзя давать ему повод шантажировать меня — или тебя и твою семью, милая. Нам надо ненадолго расстаться, пока докучливому малому не надоест эта игра.

— Полицейский! — воскликнула Марта.

Несмотря на свою замечательную выдержку, она все же оставалась бедной провинциалкой. Полиция, особенно лондонская полиция, наводила ужас на людей такого сорта.

Я успокоительно улыбнулся:

— Да нет, нет. Он давно уже не полицейский, милая моя. Просто частный сыщик низкого пошиба, каких нанимают престарелые лорды, часто отсутствующие дома

по благотворительным делам, для слежки за своими молодыми женами.

— И нам надобно расстаться?

Марта окинула взглядом комнату, и я понял, что она старается запечатлеть в памяти убогие предметы обстановки и унылые эстампы на стенах, словно какая-нибудь особа королевских кровей, изгоняемая из своего родового замка.

— Ненадолго, — повторил я, ласково похлопав девушку по руке. — Я разберусь с назойливой ищейкой, а потом мы заново составим наши планы. На самом деле комнаты так и останутся записаны на имя миссис Доусон — до скорого твоего возвращения. Ты хочешь этого?

— Очень даже хочу, мистер... Доусон. Вы сегодня проведете ночь со мной? Последнюю ночь перед разлукой?

— Никак не получится, голубушка. Нынче у меня подагра разыгралась не на шутку. Мне надо домой — принять лекарство.

— Ах, как жаль, что вы не держите бутыль с лекарством здесь, дорогой мой, чтобы оно облегчало ваш недуг, покуда я ублажаю и успокаиваю вас иным способом!

Марта сжала мою ладонь так сильно, что боль пострелила мне руку до самого плеча. В глазах у нее стояли слезы, и я знал, что она расстроена моим плохим самочувствием, а не своим изгнанием. У Марты Р*** была сострадательная душа.

— Одиннадцатичасовой поезд, — напомнил я, надев пальто и положив шесть шиллингов банкнотами и монетами на туалетный столик. — Только смотри не оставляй здесь никаких своих вещей, любимая моя. Доброго тебе пути — и я вскорости пришлю весточку.

Четырнадцатилетняя Хэрриет спала в своей комнате, но Кэролайн еще бодрствовала, когда я прибыл домой по адресу Мелкомб-плейс, девять.

— Ты голоден? — спросила она. — Мы ужинали телячьими отбивными, и я оставила несколько для тебя.

— Нет. А вот вина, пожалуй, выпью, — сказал я. — Сегодня меня подагра совсем замучила.

Я прошел на кухню, отпер свою личную кладовую ключом, извлеченным из жилетного кармана, залпом выпил три стакана лауданума и вернулся в гостиную, где Кэролайн уже налила хорошей мадеры в два бокала. Во рту у меня все еще оставался привкус дрянного винца, выпитого у Марты, и мне хотелось поскорее от него избавиться.

— Ну, как ты провел день с Диккенсом? — поинтересовалась Кэролайн. — Я не ожидала, что ты так поздно задержишься.

— Ты же знаешь, какую настойчивость он проявляет порой, приглашая на ужин, — сказал я. — Он не принимает никаких отказов.

— Вообще-то, не знаю, — сказала Кэролайн. — В обществе мистера Диккенса я всегда ужинала только с тобой вместе, причем либо у нас дома, либо в отдельном кабинете в ресторане. И меня он ни разу не уговаривал задержаться допоздна за своим столом.

Я не стал опровергать данное утверждение, соответствующее действительности. Ужасная, пульсирующая боль в голове уже начинала стихать под действием лауданума, и у меня возникло странное ощущение качки — словно гостиная, стол и кресло находились на борту крохотного суденышка, идущего в фарватере большого корабля.

— Ну так как, ты приятно провел время за разговорами с Диккенсом? — настойчиво осведомилась Кэролайн.

На ней был красный шелковый халат, слишком яркий, чтобы соответствовать представлениям о тонком вкусе. Мне чудилось, будто вышитые на нем золотые цветы дрожат и пульсируют.

— По-моему, Диккенс угрожал убить меня, если я не буду беспрекословно ему подчиняться, — сказал я. — Умертвить, как непослушного пса.

— Уилки! — В голосе Кэролайн прозвучал неподдельный ужас, и ее лицо в приглушенном свете лампы заметно побледнело.

Я натянуто рассмеялся:

— Да успокойся, дорогая моя. На самом деле ничего подобного не было, разумеется. Просто очередной пример, доказывающий склонность Уилки Коллинза к преувеличениям. Мы славно прогулялись и мило поболтали нынче днем, а позже насладились беседой за долгим ужином, бренди и сигарами. Там был Джон Форстер со своей новой женой.

— А, этот зануда.

— Да. — Я снял очки и потер виски. — Пожалуй, я пойду спать.

— Бедняжка, — сказала Кэролайн. — Тебе полегчает, если я разотру тебе мышцы?

— Думаю, очень даже полегчает, — ответил я.

Я не знал, где Кэролайн Г*** овладела искусством массажа. Я никогда не спрашивал. Это оставалось тайной, как и многие другие обстоятельства ее жизни до знакомства со мной, произошедшего двенадцать лет назад.

Но я прекрасно знал, какое наслаждение и облегчение доставляют мне руки моей сожительницы.

Примерно через полчаса, в моей спальне, Кэролайн, закончив разминать мне мышцы, прошептала:

— Мне остаться с тобой сегодня, милый?

— Лучше не надо, любимая. Приступ подагры еще не прошел — приятные ощущения идут на убыль, и боль возвращается, ты же знаешь... И мне непременно нужно поработать завтра с утра пораньше.

Кэролайн кивнула, чмокнула меня в щеку, взяла лампу с туалетного столика, вышла за дверь и спустилась вниз.

Я было подумал, не просидеть ли мне в кабинете за работой ночь напролет, как я частенько делал, когда писал «Женщину в белом» и более ранние сочинения, но тихий шорох, донесшийся с лестничной площадки второго этажа, заставил меня остаться в спальне. Зеленокожая клыкастая женщина становилась все смелее. Первые несколько месяцев после нашего переезда сюда

она воздерживалась от прогулок по темной крутой лестнице для слуг, но в последнее время я все чаще слышал за полночь мягкие шаги босых ног по ковровому покрытию лестничной площадки.

Или же звуки доносились из моего кабинета. Это было бы еще страшнее: зайти туда в темноте и увидеть *его*, пишущего за моим рабочим столом в лунном свете.

Я остался в спальне. Подошел к окну и бесшумно раздвинул шторы. Возле фонаря на углу улицы я увидел мальчишку в лохмотьях, который сидел, привалившись спиной к мусорной урне. Возможно, он спал, а возможно, смотрел на мои окна. Его глаза скрывались в тени.

Я задвинул шторы и снова лег в постель. Иногда лауданум не дает мне уснуть всю ночь, а порой погружает в глубокий сон, полный ярких сновидений.

Я уже уплывал в сон, изгоняя из своего сознания Чарльза Диккенса и фантома по имени Друд, когда вдруг в ноздри мне ударил густой тошнотворный запах, похожий на смрад гнилого мяса, и перед умственным взором возникли алые герани — букеты, ворохи, надгробные груды алых гераней, пульсировавших под моими сомкнутыми веками, точно фонтаны артериальной крови.

— Боже мой! — громко сказал я и рывком сел в темноте, исполненный поистине провидческой уверенности. — Чарльз Диккенс собирается убить Эдмонда Диккенсона.

Глава 10

На следующее утро, записав наш с Диккенсом вчерашний разговор, я в одиночестве позавтракал в своем клубе.

Накануне Диккенс несколько раз настойчиво спрашивал меня, верю ли я ему, но, по правде говоря, я не верил. Или верил не до конца. Я сомневался, что он встречался с человеком по имени Друд в лабиринте канализационных туннелей под Лондоном. Я видел подобие

гондолы и двух странных типов, которых Диккенс называл Меркурием и Венерой, то есть один несомненный факт для начала имелся.

Но действительно ли я их видел? Я помнил, как подплыла лодка и Диккенс вошел в нее, помнил, как она скрылась за поворотом, приводимая в движение двумя диковинными субъектами в масках, гребцом на носу и рулевым на корме, или же мне все примстилось? Помимо безумной усталости и страха тогда мной владела сильная сонливость. Я принял лишнюю дозу лекарства перед встречей с Диккенсом, а за ужином выпил больше вина, чем обычно. Все события той ночи — даже происходившие прежде, чем мы спустились через склеп в опиумный притон Короля Лазаря, — казались нереальными, словно пригрезившимися во сне.

Но что насчет биографии мистера Друда в изложении Диккенса? А что насчет нее, собственно? Буйное воображение Чарльза Диккенса могло измыслить тысячи подобных сюжетов в считаные секунды. Честно говоря, история о детстве Друда, английском отце, убитой мусульманами матери казалась слабоватой для творческого гения Чарльза Диккенса.

Однако, как ни странно, именно часть истории, касавшаяся месмерических способностей и магнетической силы Друда, вызывала у меня желание в целом принять на веру рассказ Неподражаемого. Все это также объясняло, почему Диккенс, невзирая на нынешнюю свою паническую боязнь поездов и даже простых экипажей, по меньшей мере раз в неделю ездит в Лондон из Гэдсхилла.

Он стал учеником — или, возможно, точнее будет употребить слово «приспешник» — верховного магистра месмеризма по имени Друд.

Еще до безуспешной попытки Диккенса загипнотизировать меня, предпринятой вскоре после Стейплхерстской катастрофы, я знал, что наш друг начал увлекаться месмеризмом почти тридцать лет назад, когда он был

известен читающей публике под псевдонимом Боз. В ту пору вся Англия живо интересовалась месмеризмом: мода на него пришла из Франции, где появился некий «магнетический мальчик», обладавший способностью в состоянии гипнотического транса угадывать положение стрелок на часовых циферблатах или значение игральных карт даже с крепко завязанными глазами. Тогда я еще не был знаком с Диккенсом, но он не однажды рассказывал мне, как посещал все до единого выступления месмеристов, проводившиеся в Лондоне. Но именно упомянутый Диккенсом профессор, некий Джон Эллиотсон из клиники при университетском колледже, произвел на молодого Боза самое сильное впечатление.

Посредством своей магнетической силы Эллиотсон погружал подопытных людей — в том числе пациентов лондонской клиники — в гораздо более глубокий транс, чем получалось у других месмеристов. В состоянии транса мужчины и женщины, мальчики и девочки не только исцелялись от хронических заболеваний, но и могли обнаруживать пророческие и даже ясновидческие способности. Страдавшие эпилепсией сестры Оки не только вставали с инвалидных колясок и с песнями пускались в пляс под гипнотическим воздействием профессора Элиотсона, но также демонстрировали чудеса ясновидения — благодаря целенаправленному влиянию животного магнетизма, как твердо уверился молодой Боз. Иными словами, Диккенс был своего рода новообращенным.

Лишенный истинных религиозных убеждений, Диккенс свято поверил в животный магнетизм и месмерический дар, управляющий этой энергией. Прошу вас не забывать, дорогой читатель, об особенностях нашей эпохи: наука тогда делала огромные шаги в понимании таких скрытых, взаимосвязанных энергий и флюидов, как магнетизм и электричество. Истечение месмерических флюидов, свойственное всем живым существам, но в особенности человеческому мозгу и телу, представлялось Диккенсу таким же очевидным и наглядным научным

фактом, как процесс получения электричества с помощью магнето, продемонстрированный Фарадеем.

В следующем, 1839 году, когда Эллиотсон оставил должность профессора теоретической и практической медицины в университетском колледже — под давлением начальства, недовольного шумихой вокруг его месмерических сеансов, — Диккенс публично поддерживал доктора, втайне ссужал деньгами, приглашал лечить своих родителей и прочих членов семьи, а несколькими годами позже всячески пытался помочь обезумевшему от отчаяния Эллиотсону, когда тот начал помышлять о самоубийстве.

Сам Диккенс, разумеется, никогда не позволял погружать себя в месмерический транс. Любой, кто хотя бы на минуту мог вообразить, будто Чарльз Диккенс способен поддаться магнетическому воздействию другого человека, совершенно не знал Чарльза Диккенса. Именно молодой Боз, который вскоре станет зрелым Неподражаемым, всегда стремился подчинять окружающих своему влиянию. Месмеризм стал просто одним из средств для достижения данной цели, но интерес к нему Диккенс сохранил до конца своих дней.

В скором времени писатель начал сам проводить месмерические опыты и сеансы магнетического лечения. Во время своей поездки в Штаты в 1842 году Диккенс рассказывал американским друзьям, что регулярно гипнотизирует Кэтрин, дабы исцелить от мигреней и бессонницы. (Много лет спустя он сказал мне, что применял животный магнетизм для снятия много широчайшего набора, как он выразился, «истерических симптомов», наблюдавшихся у его несчастной жены. Он также признался, что впервые загипнотизировал Кэтрин случайно: обсуждая феномен магнетического воздействия со знакомыми американцами и «выступая по теме весьма красноречиво», он принялся водить руками над головами слушателей и потирать им брови единственно с целью продемонстрировать магнетические пассы, какие сам

наблюдал во время различных показательных сеансов, и внезапно ввел Кэтрин в состояние истерики. Он проделал еще несколько пассов, чтобы вернуть бедняжку в чувство, но добился лишь того, что она погрузилась в глубокий транс. На следующий вечер он снова использовал жену в качестве объекта опыта перед гостями, а вскоре стал лечить ее от «истерических симптомов».) По мере развития своих месмерических способностей он стал пользовать не одну только Кэтрин, но также прочих своих родственников и друзей.

Но в случае с месмерическим лечением мадам де ля Рю дело дошло до семейного конфликта.

Мадам Августа де ля Рю, англичанка по происхождению, была супругой швейцарца Эмиля де ля Рю, директора генуэзского филиала банковской фирмы, основанной его дедом. Летом 1844 года Диккенс с женой приехал в Геную, собираясь работать там всю осень и зиму, и с октября месяца они непродолжительное время жили по соседству с четой де ля Рю и часто виделись с ними в узком экспатриантском кругу генуэзского общества.

Августа де ля Рю страдала расстройством нервов, которое выражалось в бессоннице, нервном тике, лицевых судорогах и сильнейших приступах тревоги, сопровождавшихся настоящими конвульсиями. В менее просвещенную эпоху бедную женщину сочли бы одержимой бесами.

Диккенс вызвался облегчить состояние мадам де ля Рю с помощью своих месмерических способностей, и Эмиль, муж несчастной, пришел в восторг от этой идеи. «Счастлив и готов явиться к вам», — объявил Диккенс в одной из записок к ней, и в течение следующих трех месяцев — с ноября 1844-го по конец января 1845-го — он наведывался к больной по нескольку раз на дню. Иногда на сеансах присутствовал ее муж. (Он героически пытался научиться у Диккенса искусству месмеризма, чтобы самостоятельно помогать жене, но — увы! — Эмиль де ля Рю не обладал даром магнетического воздействия.)

Главная тайна нервического недуга мадам де ля Рю заключалась в частых видениях некоего Фантома, что приходил к ней во снах и являлся первопричиной болезни. «Совершенно необходимо, — заявил Диккенс Эмилю де ля Рю, — чтобы Фантом, к которому она противно своей воле постоянно обращается мыслями, вновь не забрал власть над ней».

Дабы такого не случилось, Диккенс стал откликаться на призывы четы де ля Рю в любое время суток. Иногда он оставлял Кэтрин одну в холодной генуэзской постели в четыре часа утра и опрометью несся к мадам де ля Рю, чтобы помочь своей бедной пациентке.

Постепенно судороги, нервные тики, конвульсии и бессонница начали отпускать ее. Эмиль ликовал. Тем не менее Диккенс по-прежнему каждый день гипнотизировал женщину и расспрашивал про Фантома. Со стороны месмерические сеансы, проводившиеся в особняке де ля Рю, очень походили на спиритические: погруженная в глубокий транс мадам де ля Рю рассказывала о темных и светлых духовных сущностях, кружащихся вокруг нее, и Фантоме, неизменно пытающемся подчинить ее своей власти, а Чарльз Диккенс героически старался вызволить мадам де ля Рю из-под пагубного влияния злоумышленного призрака.

Когда в конце января Диккенс и Кэтрин покинули Геную, чтобы продолжить путешествие по Италии, Эмиль продолжал ежедневно посылать писателю сообщения и дневниковые записи, касающиеся самочувствия супруги. В ответ Диккенс написал, что де ля Рю непременно должны приехать к нему в Рим не позднее конца февраля, и Эмиль с женой заблаговременно подготовились к поездке.

Кэтрин не знала, что муж собирается возобновить общение с мадам де ля Рю. И не знала, что Диккенс условился с «пациенткой» о следующем опыте: каждый день, начиная с одиннадцати утра, он в течение целого часа будет мысленно сосредоточиваться и гипнотизировать ее в своем воображении. А мадам де ля Рю у себя в Генуе будет мысленно сосредоточиваться и принимать магне-

тические токи от Диккенса, направляющего к ней «зрительный луч».

Они ехали каретой (Кэтрин сидела на наружном верхнем сиденье, ибо хотела дышать свежим воздухом, а Диккенс располагался в экипаже), когда наступило одиннадцать часов и писатель сосредоточил мысли на своей далекой пациентке. Едва начав производить в своем воображении месмерические пассы и направлять магнетические флюиды в сторону Генуи, он услышал, как женина муфта упала со скамьи на верху кареты. Кэтрин не имела понятия, что муж посылает в пространство магнетические токи, но тем не менее погрузилась в глубокий гипнотический транс, прикрыв глаза судорожно трепещущими веками.

Ко времени, когда Диккенсы устроились в Риме, самочувствие пациентки, разлученной с «магнетическим доктором», опять ухудшилось. Эмиль написал, что Фантом снова начал появляться и подчинять Августу своему влиянию. «Я не могу одолеть, подавить его на расстоянии, — написал Диккенс в ответ. — Полагаю, находясь рядом с вашей женой и продолжая воздействовать на нее магнетической силой, я сумею разбить Фантома вдребезги».

Вскоре после этого де ля Рю прибыли в Рим — к великому изумлению Кэтрин, — и Диккенс возобновил ежедневные месмерические сеансы, которые теперь проводились, как он писал, «порой под оливковыми деревьями или в винограднике, порой в катящей по дороге карете или в придорожной таверне во время полуденной остановки».

Немного позже Диккенс сообщил Эмилю, что у мадам де ля Рю появились тревожные симптомы. «Скрученная сильнейшим нервическим припадком, она лежала, свернувшись плотным клубком, и понять, где у нее голова, можно было, лишь проведя рукой по ее длинным волосам и нащупав их корни».

Именно тогда Кэтрин (в очередной раз забеременевшая в конце января, то есть примерно в то время, когда

она вместе с мужем совершала восхождение на извергающийся Везувий) заявила Диккенсу, что его вопиюще неприличные отношения с Августой для нее весьма огорчительны.

Диккенс впал в ярость, как всегда делал в ответ на любое обвинение, и закатил жене страшный скандал: мол, подобные упреки нелепы, даже непристойны, и абсолютно всем, кроме нее, совершенно ясно, что в своих поступках он руководствуется единственно заботой врача-месмериста о самочувствии тяжелобольной пациентки. Диккенс бесновался, орал на Кэтрин и грозился уехать из Рима без нее.

Однако беременную жену — особенно если в своей позиции она непоколебима, как Китайская стена, — трудно запугать.

Впервые за все годы супружества Кэтрин решительно выступила против навязчивых увлечений и флиртов Диккенса, и в первый и единственный раз он сдался. Неподражаемый объяснил супругам де ля Рю, что Кэтрин очень переживает из-за того, что он проводит столько времени со своей пациенткой, но также многословно извинился за жену, думающую только о себе и совершенно не думающую о других.

Диккенс не забыл и не простил этого унижения своих чести и достоинства. Много времени спустя, незадолго до изгнания Кэтрин из дома после истории с браслетом Эллен Тернан, он припомнил жене оскорбительный для него приступ «беспочвенной ревности», случившийся более четырнадцати лет назад. «Причина тогдашних твоих страданий в Генуе крылась в тех самых и никаких иных качествах моей натуры, благодаря которым ты обрела счастье и почет в семейной жизни, получила положение в обществе и завидный достаток», — гневно бросил он ей.

Отношения мужа с бедной, одержимой бесами мадам де ля Рю показались Кэтрин подозрительными. По прошествии многих лет Диккенс заявил, что она должна была понять — и непременно поняла бы, будь она хоро-

шей женой, — что стремление помочь несчастной женщине объяснялось единственно творческим складом и благородством его натуры. Способность гипнотизировать людей, как и способность писать великие романы, является свойством его возвышенной природы, которая есть величайший божий дар.

Но теперь Диккенс, младший магистр магнетизма, встретился с верховным магистром.

Когда после завтрака в клубе я сложил газеты, бросил салфетку на кресло, взял шляпу с тростью и направился к выходу, я уже нисколько не сомневался: Диккенс еженедельно катается в Лондон, несмотря на свой дикий страх поездов, чтобы побольше узнать кое у кого о месмеризме.

И напрашивалось предположение, что этот «кое-кто» носит имя Друд.

— О мистер Коллинз, какая приятная встреча! — произнес хриплый голос у меня за спиной, когда я шагал по Чансери-лейн к Линкольнз-Инн-Корт.

— Мистер Филд. — Я бросил взгляд через плечо и небрежно кивнул, но не остановился.

Обращение «инспектор» я опустил намеренно, но он либо не заметил этого, либо сделал вид, будто не заметил.

— Чудесный осенний денек, не правда ли, мистер Коллинз?

— Да.

— Намедни тоже погода стояла погожая. Вы хорошо провели время в Гэдсхилле?

Я застучал тростью по булыжной мостовой с удвоенной силой.

— Вы следите за мной, *мистер* Филд? Я думал, вы поставили на Мелкомб-плейс мальчишку, которому мне надлежит передавать сообщения для вас.

— О да, мистер Коллинз, — сказал Филд, отвечая только на второй мой вопрос. — Гузберри и сейчас терпеливо ждет там. Он может позволить себе быть терпеливым, поскольку я плачу ему за это. Мне же, по роду

моей профессии, подобное терпеливое ожидание обходится слишком дорого. Как говорится, время — деньги.

Мы прошли через Линкольнз-Инн-Филдс. Джон Форстер, пока не женился, много лет прожил здесь, и я всегда гадал, по случайному ли совпадению Диккенс поселил гнусного адвоката Талкингхорна из «Холодного дома» по старому адресу Форстера.

Достигнув Оксфорд-стрит, мы оба остановились на краю тротуара, пропуская несколько грузовых фургонов. Потом нам пришлось ждать, пока мимо не проедет вереница экипажей. Филд вынул часы из жилетного кармана и взглянул на циферблат.

— Одиннадцать двадцать, — сообщил он. — Мисс Р***, надо полагать, уже выезжает в лондонские предместья, направляясь обратно в Ярмут.

Я сжал трость, словно дубинку.

— Так, значит, ваши люди следят за всеми нами, — проговорил я сквозь стиснутые зубы. — Если вы платите своим агентам за слежку, инспектор, вы теряете не только время, но и деньги.

— Согласен, — сказал Филд. — Вот почему информация, которой вы располагаете, сэкономит время нам обоим, мистер Коллинз.

— Коли вы следили за мной вчера, — промолвил я, — вам известно столько же, сколько мне.

Филд рассмеялся:

— Я могу описать маршрут вашей с мистером Диккенсом трехчасовой прогулки, мистер Коллинз. Но я не имею ни малейшего понятия о предмете вашей беседы, хотя знаю, что вы двое проговорили — вернее, мистер Диккенс проговорил — почти всю обратную дорогу от Кулинг-Марш до дома.

Признаться, после этих слов лицо мое запылало от гнева. Во время нашей с Диккенсом прогулки я не заметил нигде поблизости ни единого прохожего, но оказывается, какой-то мерзавец неотступно следовал по пятам за нами. Я почувствовал себя виноватым и уличенным,

хотя мы с Диккенсом не делали ничего дурного — просто совершали послеполуденный моцион. И откуда Филд узнал, что Марта уехала одиннадцатичасовым поездом, который отошел от платформы всего за двадцать минут до того, как проклятый инспектор сообщил мне о данном обстоятельстве? Неужели один из его агентов сломя голову примчался с вокзала Чаринг-Кросс, чтобы доложить своему назойливому начальнику-шантажисту об этом жизненно важном факте? Или агенты даже сию минуту подают отставному инспектору знаки из какого-нибудь переулка близ Грейс-Инн или Севен-Дайалс? Гнев продолжал нарастать во мне, и сердце мое бешено заколотилось под накрахмаленной сорочкой.

— Не желаете ли уведомить меня, куда я направляюсь сейчас, инспектор? — раздраженно осведомился я, поворачивая налево и устремляясь на запад по Оксфорд-стрит.

— Я бы предположил, что вы направляетесь в Британский музей, мистер Коллинз, — возможно, с намерением посидеть в читальном зале, но скорее всего, с целью осмотреть ниневийские барельефы Лэйярда и Рича и египетскую этнографическую коллекцию.

Я резко остановился. По спине у меня бежали мурашки.

— Музей сегодня закрыт, — сказал я.

— Да, — кивнул Филд. — Но ваш друг мистер Рид отворит вам боковую дверь и выдаст особый пропуск.

Шагнув к пожилому хриплоголосому инспектору, я тихо, но очень твердо проговорил:

— Вы ошибаетесь, сэр.

— Неужели?

— Да. — Я стиснул рукоять трости с такой силой, что мне показалось, будто медь плющится в моем кулаке. — Шантажом вы ничего от меня не добьетесь, мистер Филд. У меня мало секретов — как от моих друзей и близких, так и от моих читателей.

Филд вскинул обе руки, словно потрясенный моим предположением.

— Разумеется, мистер Коллинз! Разумеется! И это слово... шантаж... оно совершенно неприемлемо в случае, когда речь идет о взаимоотношениях двух джентльменов вроде нас с вами. Мы просто исследуем сферу общих интересов. Если вам понадобится моя помощь, чтобы избежать неприятностей, я весь к вашим услугам, сэр. Собственно говоря, я просто обязан заботиться о благополучии ближних в силу своей профессии. Сыщик использует информацию, чтобы помогать одаренным людям, а не вредить им.

— Вряд ли вам удалось бы убедить в этом Чарльза Диккенса, — сказал я. — Особенно если бы он узнал, что вы по-прежнему следите за ним.

Филд покачал головой почти печально:

— Я хочу именно помочь мистеру Диккенсу, оградить от беды. Он и близко не представляет, сколь опасно для него общение с монстром, называющим себя Друдом.

— Со слов мистера Диккенса я понял, что Друд никакой не монстр, а просто человек, превратно понятый окружающими.

— Ну да, — пробормотал Филд. — Мистер Коллинз, вы сравнительно молоды — уж всяко моложе мистера Диккенса и меня. Но может, вы помните о смерти лорда Лукана?

Я остановился у фонарного столба и постучал тростью по брусчатке.

— Лорд Лукан? Радикально настроенный член парламента, найденный убитым много лет назад?

— Зверски убитым, — подтвердил инспектор Филд. — У него вырезали из груди сердце, когда он находился один в своем поместье под названием Вайстон, в Хартфордшире, неподалеку от Стивенеджа. Это случилось в сорок шестом году. Лорд Лукан был другом Эдварда Бульвер-Литтона, лорда Литтона — вашего знакомого по литературным кругам и давнего приятеля мистера Диккенса, — и поместье лорда Лукана располагалось всего в трех милях от имения Небворт, принадлежащего лорду Литтону.

— Я был там несколько раз. Я имею в виду — в Небворте. Но какое отношение имеет давнее убийство к предмету нашего разговора, инспектор?

Филд прижал толстый указательный палец к носу сбоку.

— Лорд Лукан — прежде чем он унаследовал титул после смерти старшего брата — звался Джоном Фредериком Форсайтом. Паршивая овца в благородном семействе, даром что он получил инженерное образование и частным порядком издал несколько книг о своих путешествиях. Ходили слухи, будто в молодости, во время длительного пребывания в Египте, лорд Лукан женился на мусульманке и даже стал отцом одного или двух детей, пока оставался там. Жестокое убийство лорда Лукана произошло меньше чем через год после того, как человек, называющий себя Друдом, впервые появился в Лондоне в сорок пятом году.

Я молча смотрел на пожилого сыщика.

— Так что вы сами видите, мистер Коллинз, — продолжал Филд, — мы с вами очень поможем друг другу, коли поделимся всеми известными нам сведениями. Мне кажется, вашему другу мистеру Диккенсу грозит серьезная опасность. Нет, я просто уверен, что мистеру Диккенсу грозит опасность, покуда он продолжает общаться с монстром по имени Друд. Я взываю к вашему чувству ответственности и прошу вас, как ближайшего друга великого писателя, помочь мне защитить его.

Я задумчиво погладил бороду и спустя несколько долгих мгновений спросил:

— Инспектор Филд, что именно вам от меня нужно?

— Только информация, которая позволит нам защитить вашего друга и арестовать злодея, — ответил он.

— Иными словами, вы хотите, чтобы я шпионил за Чарльзом Диккенсом и передавал вам все, что он рассказывает о Друде.

Пожилой сыщик по-прежнему не сводил с меня проницательного взгляда. И качнул головой еле-еле — я бы и не заметил, когда бы не ожидал кивка.

— Еще что-нибудь? — спросил я.

— Если бы вам удалось убедить мистера Диккенса, что вы непременно должны сопровождать его в очередном походе в Подземный город, на сей раз до самого логова Друда, вы бы очень помогли делу, — сказал Филд.

— Чтобы я сам смог показать вам дорогу, когда придет время арестовать этого человека?

— Да.

Теперь настала моя очередь кивнуть.

— Очень трудно, инспектор, стать доносчиком на ближайшего своего друга — особенно если этот друг обладает темпераментом и общественным влиянием мистера Чарльза Диккенса. Он может уничтожить меня — в профессиональном и буквальном смысле.

— Но вы делаете это в его же собственных интересах... — начал инспектор.

— Так считаем мы, — перебил я. — Вероятно, когда-нибудь и сам Диккенс придет к такому же мнению. Но он человек крайне эмоциональный, инспектор. Он наверняка никогда не простит меня, коли узнает, что я... шпионил за ним... пусть и ради спасения его жизни. Возможно даже, он попытается отомстить мне.

Сыщик продолжал пристально смотреть на меня.

— Я просто хочу, чтобы вы поняли, сколь сильно я рискую, — сказал я. — И почему вынужден попросить вас взамен о двух вещах.

Если по лицу Филда и скользнула улыбка, то почти неуловимая для человеческого глаза.

— Разумеется, мистер Коллинз, — вкрадчиво промолвил он. — Как я говорил, это джентльменская договоренность. Позвольте узнать, в чем заключаются две ваши просьбы.

— Инспектор, вы читали роман Диккенса «Холодный дом»?

Пожилой господин громко прочистил горло. На секунду мне показалось, что он собирается плюнуть на тротуар.

— Скажем так... просматривал, мистер Коллинз... бегло.

— Вам известно, инспектор, что многие считают вас прототипом персонажа по имени инспектор Баккет, выведенного в романе?

Филд мрачно кивнул.

— Вам не нравится этот образ?

— Персонаж по имени Баккет, действующий в нарушение всех правил, приличий и принятых процедур, показался мне карикатурой и пародией на полицейского, — прорычал пожилой сыщик.

— Тем не менее этот роман — который я лично нахожу невыносимо скучным, особенно в части, где повествование ведется от лица слащавой и надоедливой героини по имени Эстер Саммерсон, — становится заметно живее ближе к концу, когда наш инспектор Баккет берется за расследование убийства адвоката Талкингхорна и пускается в увлекательную, хотя и не увенчавшуюся успехом погоню за настоящей матерью Эстер, леди Дредлок, чье бездыханное тело он в конечном счете обнаруживает у ограды городского кладбища.

— К чему вы клоните, сэр? — осведомился Филд.

— Будучи профессиональным писателем, инспектор, я по-настоящему заинтересован в создании такого романа, где главным героем является полицейский или частный сыщик, похожий на инспектора Баккета, — только, разумеется, более умный и проницательный, более образованный, более привлекательный внешне и более порядочный. Иными словами, инспектор Филд, персонаж, очень похожий на вас.

Пожилой господин с прищуром смотрел на меня. Свой толстый указательный палец он приставил к уху, словно прислушиваясь к советам, которые тот нашептывает.

— Вы очень любезны, мистер Коллинз, — наконец произнес он. — Даже слишком любезны. И все же, возможно, в меру своих скромных сил я смогу помочь вам

в работе над подобным персонажем и подобным романом. Скажем, буду консультировать вас относительно принятых методов расследования и полицейских процедур во избежание разных искажений и нелепостей, какие допущены в книге мистера Диккенса.

Я улыбнулся и поправил очки.

— И не только это, инспектор. Я бы извлек огромную пользу для дела, если бы получил доступ к вашим... как там они называются?.. досье об убийствах. Полагаю, вы храните такие материалы, сколь бы ужасны они ни были?

— Конечно, сэр, — сказал Филд. — И они действительно окажут неоценимую помощь литератору, желающему добиться полной достоверности в подобном произведении. Вы оказываете мне честь такой своей просьбой, и я с превеликой охотой ее выполню.

— Прекрасно, — сказал я. — Вторая моя просьба тоже вряд ли затруднит вас, поскольку вы наверняка будете вести наблюдение за интересующей меня особой независимо от моих пожеланий.

— О ком именно вы говорите, сэр?

— Я хочу знать все, что вы разведаете об актрисе Эллен Тернан. По какому адресу она сейчас проживает со своей матерью и кто платит за комнаты — не Диккенс ли. Чем она зарабатывает на жизнь и хватает ли заработанных средств для покрытия всех ее расходов. Куда она ездит, с кем общается. В каких отношениях состоит с Чарльзом Диккенсом. Одним словом — все.

Инспектор Филд продолжал пристально смотреть на меня бесстрастным, непроницаемым, слегка обвиняющим взглядом — вне всяких сомнений, именно таким взглядом он смотрел на сотни преступников до меня. Но я не был преступником — пока — и потому не дрогнул.

— Странная просьба, мистер Коллинз, да будет мне позволено заметить, сэр. Если только вы не питаете личного интереса к мисс Тернан.

— Ни малейшего, инспектор, уверяю вас. Просто я убежден, что мисс Тернан имеет некое отношение к... тайне... которую мы с вами пытаемся разгадать, а равно

убежден, что знакомство с ней сильно повредило интересам Чарльза Диккенса. Чтобы защитить своего друга... и, возможно, себя самого... я должен побольше узнать о ней и их взаимоотношениях.

Филд потер нижнюю губу кривым толстым пальцем.

— Вы подозреваете, мистер Коллинз, что мисс Тернан состоит в сговоре с Друдом? Работает на него?

Я рассмеялся:

— Инспектор, я недостаточно хорошо знаю эту женщину, чтобы строить хоть какие-то предположения. Вот почему информация о ней, ее сестрах и матери, ее взаимоотношениях с моим другом Диккенсом представляется чрезвычайно важной для нас, если мы с вами договоримся действовать сообща.

Филд продолжал поглаживать и потирать пальцем нижнюю губу.

— Так мы с вами поняли друг друга, инспектор? — спросил я.

— Похоже на то, мистер Коллинз. Мне кажется, мы с вами прекрасно друг друга поняли. Я согласен на ваши условия и надеюсь предоставить вам всю интересующую вас информацию.

Филд протянул мне мозолистую руку. Я пожал ее.

Минутой позже, быстро шагая по направлению к Британскому музею, я подробно пересказал едва поспевавшему за мной Филду все, что накануне говорил мне Чарльз Диккенс в ходе нашей прогулки до Кулинг-Марш и обратно.

Глава 11

Пришла холодная зима: она раздела донага все деревья вокруг Гэдсхилл-плейс, изгнала Диккенса из летнего шале обратно в особняк, в кабинет с растопленным изразцовым камином, погубила алые герани в саду и заволокла хмурыми серыми облаками небо над хмурым серым Лондоном, где я жил.

С наступлением зимы обострились наши с Диккенсом недуги. Более знаменитый писатель по-прежнему боролся с тяжелыми психическими последствиями Стейплхерстской катастрофы и постоянной слабостью, с почечными коликами, мучавшими его с самого детства, и онемением левой стороны тела, появившимся после сентябрьского «солнечного удара» во Франции. У него явно были более серьезные нелады со здоровьем, чем он сам признавал. Нас с Диккенсом пользовал один врач, наш общий друг Фрэнк Берд, и, хотя Берд редко обсуждал со мной состояние другого своего пациента, я чувствовал, что он глубоко встревожен.

У меня были свои проблемы: ужасные подагрические боли, обмороки, мучительная ломота в суставах, избыточная тучность (у меня никак не получалось урезать дневной рацион, и я презирал себя за безволие), вздутие живота, желудочные колики и прочие расстройства пищеварения, а также сильнейшие сердцебиения. О болезнях Диккенса, казалось, никто даже не догадывался, но о моих, похоже, знали все на свете. Один француз прислал мне через моего издателя письмо, где говорил, что «он поспорил на десять бутылок шампанского, что я не умер, вопреки всеобщему мнению», и просил меня, коли я еще жив, уведомить его о данном факте.

Той осенью я писал матери: «Скоро мне сорок (на самом деле в прошлом январе мне исполнился сорок один год), голову быстро запорашивает сединой... ревматизм и подагра уже давно мучат меня, чрезмерная тучность лишает легкости и свободы движений, — наихудшие признаки среднего возраста проявляются все резче». Однако, как я признался далее, я не чувствовал себя старым. У меня не было ни похвальных привычек, ни благородных предубеждений.

Дорогой читатель, я еще не рассказал вам о главной женщине в своей жизни.

Моя мать, Хэрриет Геддес Коллинз, познакомилась с моим отцом, художником Уильямом Коллинзом, когда

обоим было хорошо за двадцать. Она тоже происходила из семьи потомственных художников и с самого детства постоянно рисовала, как и две ее сестры, одна из которых поступила в школу при Королевской академии искусств в Лондоне. Хэрриет Геддес и мой отец впервые встретились на балу, устроенном знакомыми художниками Уильяма Коллинза для своих любовниц, впоследствии несколько раз виделись в Лондоне, в 1821 году убедились, что у них обоих не появилось никаких новых привязанностей, и поженились в Эдинбурге в 1822 году. Я родился через восемнадцать месяцев, 8 января 1824 года. Мой брат Чарльз появился на свет в январе 1828 года.

Отец водил дружбу с поэтом Сэмюэлом Тейлором Кольриджем, и я живо помню, как однажды, когда я был маленьким мальчиком, он пришел к нам, не застал отца дома и долго плакался моей матери по поводу своей непреодолимой опиумной зависимости. Тогда я впервые увидел и услышал, как плачет взрослый мужчина — Кольридж прямо-таки задыхался от рыданий, — и я на всю жизнь запомнил слова, произнесенные в тот день моей матерью: «Мистер Кольридж, не убивайтесь так. Если опиум действительно вам помогает и вы без него никак не можете, вам следует просто пойти и купить наркотик».

Сколь часто в последние годы, когда я сам проливал горькие слезы из-за своей неуклонно возрастающей потребности в лаудануме, я вспоминал мнение матушки по данному вопросу.

Отец пришел домой, едва только Кольридж получил вышеизложенный совет, и я помню, как поэт сказал надтреснутым голосом: «Коллинз, ваша жена — исключительно здравомыслящая женщина».

Моя мать была здравомыслящей женщиной, но мой отец был великим художником и великим человеком. Меня назвали Уилки в честь достопочтенного сэра Дэвида Уилки, дружившего с моим отцом еще со школьной скамьи. Именно он вскоре после моего рождения взял

меня на руки, заглянул мне в глаза и провозгласил: «Он видит!» (Таким образом он объявил меня творческим преемником отца, но я не оправдал ожиданий. Мой младший брат Чарли унаследовал ярче выраженные художественные способности, и в конечном счете роль преемника досталась ему.)

Мой отец был великим человеком и водил дружбу с великими людьми. Я — большеглазый крутолобый мальчик довольно кроткого нрава — считал само собой разумеющимся, что у нас в доме запросто бывают Водсворты, Кольридж, Роберт Саути и сэр Вальтер Скотт. Отец не только получал заказы от таких уважаемых особ, как сэр Фрэнсис Чантри, герцог Ньюкаслский, сэр Роберт Пил, сэр Томас Лоуренс, сэр Томас Хиткоут, сэр Томас Бэринг, сэр Джордж Бомон и лорд Ливерпуль, но и проводил с ними много времени.

Конечно, проводить время с размахом отец считал нужным отдельно от нашей матери. Я уверен, он не стыдился своей жены, а уж тем более Чарльза или меня, но все равно предпочитал проводить время в обществе великих людей вдали от домашнего очага. Однако он исправно писал домой и зачастую, рассказав об интересных событиях и неожиданных встречах, произошедших у него за дни и недели отсутствия, добавлял постскриптум, подобный приведенному ниже, который я обнаружил, когда недавно разбирал бумаги матери.

> Я отчаянно скучаю по дому, хотя и провожу здесь время со всем удовольствием, какое только могут доставить милейшие друзья, веселые молодые дамы и самые разные развлечения, доступные нам в этой жизни. Я утешаюсь надеждой, что мое праздное времяпрепровождение тебе по нраву и что оно пойдет на пользу моему здоровью, а посему исполнен решимости отдохнуть на славу.

Думаю, отец действительно отдыхал на славу, хотя, несмотря на многочисленные заказы, поступавшие от известных персон, не имел постоянного дохода. Однако

мать жила экономно и приучала нас с Чарли к равно скромному образу жизни, а потому денежный вопрос у нас не стоял.

Отец был очень религиозным человеком. Он давно поклялся сам избавиться от всякой предрасположенности к лени и неблагочестивости и не потерпел бы подобной склонности в жене и детях. Иные считали его придирчивым занудой, даже резонером, но это несправедливо. В другом письме к моей матери, присланном из какого-то шотландского замка, когда мы Чарли еще ходили в коротких штанишках, отец писал:

> Скажи нашим милым мальчикам, что угодить своим родителям они могут единственно беспрекословным послушанием. Пусть Чарли найдет в Священном Писании места, где об этом сыновнем долге говорится с особой настойчивостью, и выпишет их для меня.

А в отдельном письме к нам с братом, которое я до сих пор храню и часто перечитываю, Уильям Коллинз выказал подлинный религиозный пыл.

> Последнее письмо вашей матери с рассказом о вас обоих премного меня порадовало. Продолжайте молиться Богу — через Иисуса нашего Христа, — дабы Он силой Святого Духа помог вам стать истинным благословением для ваших родителей.

Верный своим убеждениям, отец прослыл ярым обличителем и разоблачителем всяческого порока. Он весьма нетерпимо относился к терпимости. Когда однажды наш сосед, художник Джон Линнел (написавший несколько наших портретов), был замечен за работой в воскресенье — он подвязывал грушевые и персиковые деревья в своем саду, — отец не только строго выговорил ему, но и донес на него приходскому священнику. Он также принял на веру и распространил слух, будто Линнел обманул одного из своих садовников, не заплатив тому за работу, и, когда Линнел потребовал объяснений

по данному поводу, отец возмущенно вскричал: «Какое имеет значение, заплатили вы садовнику или нет, если вы постоянно совершаете десятикрат худшие поступки?»

К десятикрат худшим поступкам относились работа в воскресный день и обращение в пуританство.

Однажды мы с отцом столкнулись на Стрэнде с поэтом Уильямом Блейком, и когда Блейк — знакомый нашей семьи — окликнул отца и приветственно протянул руку, тот демонстративно отвернулся и увел меня прочь, прежде чем я успел открыть рот. Блейк, видите ли, в другой руке держал кружку портера.

Позже, когда в возрасте двадцати с малым лет, уже после кончины отца, я писал воспоминания о нем, я вдруг осознал, какую зависть он вызывал у многих так называемых великих художников из числа своих современников. Например, Джон Констебл, давний его знакомый, выручал всего лишь несколько сотен фунтов в год за свои сумрачные пейзажи с неизменным облачным небом, в то время как мой отец ежегодно зарабатывал свыше тысячи фунтов, выполняя заказы на картины, которые Констебл презрительно называл «миленькими пейзажиками» и «безжизненными, бездушными модными портретами». Однажды, когда Констебл остался совсем без заказчиков (главным образом потому, что упорно продолжал писать не пользующиеся спросом полотна вроде «Хлебного поля», тогда как мой отец всегда учитывал интерес заказчиков и Академии искусств к произведениям более декоративного характера), расстроенный пейзажист сочинил письмо — к великой ярости моего отца преданное гласности, — где говорилось, в частности, следующее: «Тернан выставляет большое полотно с видом Дьеппа... насчет Кэлкотта ничего не знаю... Коллинз изобразил очередной береговой пейзаж с традиционной рыбой, а также пейзаж с огромной кучей коровьего навоза — или чем-то очень на нее похожим по форме и цвету».

Как я упомянул выше, еще в нашу с братом бытность малыми детьми отец решил, что настоящим его преем-

ником в части художественного дарования и профессии станет Чарли, а не я, — несмотря на провозглашенное у моей колыбели пророчество сэра Дэвида Уилки, моего тезки. Отец отдал Чарли в частную художественную школу, много путешествовал с ним по Европе, подробно разбирая живописные произведения, представленные в музеях и соборах (хотя ему глубоко претило заходить в католические храмы), и помог моему брату поступить в престижную Королевскую академию искусств.

Отец никогда не заводил со мной разговоров о моем будущем и дальнейшем моем месте в жизни — лишь однажды, когда мне было тринадцать, посоветовал подумать о поступлении в Оксфордский университет и принятии духовного сана впоследствии.

Именно в тринадцатилетнем возрасте, когда мы всей семьей выехали в Европу и надолго остановились в Риме, я пережил первый свой полноценный любовный роман. Я в подробностях поведал о нем Чарльзу Диккенсу ровно семнадцать лет спустя, во время следующего своего посещения Рима и первой поездки на Континент в обществе знаменитого писателя, и Неподражаемый пришел в такой восторг от истории, свидетельствующей о моей преждевременной половозрелости, что рассказал все (как он позже признался) своей свояченице Джорджине Хогарт, умолчав лишь «о деталях интимного свойства». Диккенс со смехом описывал, как покраснела Джорджина, когда он завершил рассказ о моем первом опыте плотской любви следующими словами: «И наш юный Уилли показал себя чистым Юпитером в этом деле».

Во всяком случае, даже в возрасте тринадцати лет я не имел ни малейшего намерения поступить в Оксфордский университет, чтобы впоследствии заделаться священником.

Художники по натуре своей очень чувствительны и впечатлительны (по крайней мере, во всем, что касается собственных чувств), а юный Чарли был чувствительнее и впечатлительнее многих. Не будет преувеличением сказать, что мой брат был меланхоличным ребенком,

постоянно погруженным в свои думы, и наши родители — особенно мать — видели в его неизбывной печали, граничившей с угрюмостью, свидетельство великого художественного дара. И еще Чарли не любил женщин.

Здесь я прервусь, дорогой читатель, чтобы просить вас проявить снисходительность в данном пункте. Когда бы мои мемуары не предназначались далеким потомкам, я бы вообще не упомянул об этом обстоятельстве, но, как вы наверняка уже поняли, Чарльз Диккенс питал глубокую, непреходящую неприязнь к своему зятю Чарльзу Коллинзу, и я боюсь, не последнюю роль здесь сыграла именно неприязнь моего брата к женщинам (если не открытое женоненавистничество). Не знаю, как в вашу эпоху, а в наше время считалось обычным делом, что в своей жизни молодые мужчины проходят через длительные периоды, когда женскому обществу они решительно предпочитают мужское. Если учесть ограниченность женского образования в наши дни, не говоря уже об исторически подтвержденной неспособности прекрасного пола к сложным наукам, представляется вполне закономерным, что глубоко мыслящие и тонко чувствующие мужчины направляли свой интерес на других мужчин.

Однажды, когда Чарли было около пятнадцати, я случайно наткнулся на альбом с зарисовками, против обыкновения валявшийся у него в комнате на самом виду (вообще-то, мой брат всегда отличался крайней скрытностью и аккуратностью), и шутливо прошелся по поводу того факта, что все без исключения эскизы человеческих фигур там изображают обнаженных мужчин.

Чарли покраснел до ушей, но сказал с неподдельной горячностью:

— Я терпеть не могу рисовать женщин, Уилли. А ты? Я имею в виду, у них у всех нелепые жировые складки, припухлости, обвислости, выпуклости там, где не надо. Мне гораздо больше нравятся крепкие, подтянутые ягодицы, мускулистые бедра, плоские животы и рельефные грудные мышцы мужчин, чем отвратительные мясистые наросты и противные одряблости на женском теле.

Пока я силился придумать какое-нибудь остроумное замечание, достойное искушенного девятнадцатилетнего джентльмена вроде меня, Чарли продолжил:

— Я имею в виду, Уилли, что все обнаженные женщины, изображенные Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы — включая саму Еву, — на самом деле написаны с обнаженных мужчин. Даже великого Микеланджело совершенно не привлекало женское тело! Что ты на это скажешь, брат?

Я почувствовал искушение сказать, что находился вместе с ним в Риме тем жарким, душным днем, когда наш отец поведал нам обоим об этом интересном факте. Но я воздержался. Тогда, в комнате брата, пока он прятал альбом с эскизами в ящик стола, под ключ, я сказал лишь одно: «Это очень хорошие рисунки, Чарли. Действительно очень хорошие». Я не стал никак комментировать то обстоятельство, что брат не только нарушил неписаное правило, возбраняющее художнику изображать мужские гениталии (их надлежало по крайней мере обозначать незаштрихованным пятном, а предпочтительно — прикрывать узкой набедренной повязкой), но в ряде случаев нарисовал половой орган в явно возбужденном состоянии.

Всего через несколько месяцев нечто подобное — возможно, аналогичная непристойность отдельных рисунков или высказываний Чарли — стало известно отцу. Я помню, как однажды утром отец вызвал моего брата к себе в студию и плотно затворил за ним дверь, после чего оттуда несколько минут кряду доносились вопли чувствительного паренька, которого отец лупил розгой, тростью или рейсшиной.

Думаю, после смерти отца мы с Чарли оба с удовольствием прожили бы до скончания своих дней с нашей матушкой в чудесном доме на Ганновер-Террас. Но из-за связи с Кэролайн Г*** мне пришлось покинуть эту мирную гавань. И все же в течение многих месяцев и даже лет после того, как мы с Кэролайн и Хэрриет (мне страшно нравилось это совпадение имен!) перебрались

на новое место жительства, я часто возвращался в материнский дом, чтобы именно оттуда писать и отправлять письма нашим с матерью общим друзьям, — своим же собственным друзьям и знакомым я писал с нового адреса. Разумеется, матушка не знала о существовании Кэролайн, а если и знала, то никогда этого не показывала. С одной стороны, потчуя ее разными историями из своей холостяцкой жизни, я никогда не упоминал ни о каких женщинах, тем более о вдовой Кэролайн, но с другой стороны, за все годы моего проживания совместно с миссис Г*** и Хэрриет моя мать ни разу не изъявила желания приехать ко мне в гости.

Я все еще жил с матерью, когда в 1851 году познакомился с Диккенсом. Позже один журналист, вспоминая меня и Диккенса в начальной поре нашего знакомства, написал о нас следующее: «Равно энергичные и жизнерадостные, оба они страстно увлекались театром, любили шумные пирушки, общество друзей и путешествия, веселились от души, отдыхали деятельно, реагировали на все бурно». А после наших путешествий, деятельного отдыха и бурных реакций Диккенс возвращался домой, к неуклонно толстеющей и глупеющей жене, а я возвращался домой, к матушке.

Чарли наверняка жил бы с матерью до самой ее смерти и, возможно, остался бы в ее доме до самой своей смерти, если бы не женитьба на Кейт Диккенс.

Никто из нас никогда не узнает, почему вдруг Чарли сделал Кейт предложение в конце весны 1860 года. Вообще-то, насколько я понимаю, это Кейт сделала предложение Чарли. Во всяком случае, именно она настояла на том, чтобы бракосочетание произошло в самом скором времени, в середине лета, — несмотря на недовольство отца, открыто и резко возражавшего не только против даты свадебной церемонии, но и против самого брака.

Опыт общения с прекрасным полом у Чарли был небогатый. На самом деле до тридцати двух лет (то есть до своей женитьбы) он продолжал избегать женщин. Вес-

ной и летом 1860 года ходили слухи, будто Кейти Диккенс влюбилась и добивалась взаимности Эдмонда Йетса, молодого друга Неподражаемого, — журналиста, который поспособствовал разрыву отношений между Диккенсом и Теккереем, написав чрезвычайно нелестный очерк о старом писателе. Один из современников отзывался о Йетсе следующим образом: «...поистине обаятельный господин. Но весьма поверхностный».

Поверхностный или нет, Кейт Диккенс в него влюбилась, а когда Йетс отказался замечать ее страстные чувства, несмотря на свои частые визиты сначала в Тэвисток-хаус, потом в Гэдсхилл-плейс и несмотря на откровенные заигрывания Кейти, явные для всех, включая Чарльза Диккенса и меня, своевольная молодая женщина (тогда ей только-только стукнуло двадцать) сделала предложение моему брату Чарли.

За несколько месяцев до свадьбы, после своего визита в Гэдсхилл, где перенаправленные матримониальные устремления Кейти опять ни для кого не являлись секретом, я написал матери: «...Чарли по-прежнему отчаянно пытается убедить себя в необходимости жениться».

Много лет спустя, после смерти младшего брата от язвы желудка, переродившейся в злокачественную опухоль, я спросил Кейти, почему она затащила его под венец. «Мне нужно было вырваться из отцовского дома, — ответила она. — Сбежать от отца».

Диккенс не скрывал своего резко отрицательного отношения к этому союзу. Но Кейти была его любимой дочерью, и он не мог ни в чем ей отказать, даже в такой дурацкой прихоти, как брак с Чарльзом Коллинзом.

Семнадцатого июля 1860 года церковь Святой Марии в Хайеме (церковный шпиль будет виден из верхних окон диккенсовского шале, которое смонтируют пять лет спустя) буквально утопала в белых цветах. Соседи из низшего сословья соорудили на подходе к церкви цветочные арки. Накануне вечером деревенские жители дали салют из ружей в честь бракосочетания, но раздраженный

и встревоженный Чарльз Диккенс выскочил на лужайку перед домом, в ночной рубашке и с дробовиком в руках, и возмущенно осведомился: «Что здесь происходит, черт возьми?»

Для доставки гостей из Лондона был заказан специальный поезд. Помню, я болтал по дороге с Томасом Бердом, двадцатью с лишним годами ранее выступавшим в роли шафера Чарльза Диккенса. Берд являлся единственным из гостей, кто присутствовал на свадьбе отца новобрачной, хотя в своем коротком, приличествующем случаю тосте Диккенс сам иронично — даже с горечью — упомянул об «аналогичной церемонии, проведенной в столичном особняке около двадцати четырех лет назад».

Разумеется, мать Кейт, Кэтрин, на бракосочетании не присутствовала. Как и Элизабет Диккенс, престарелая мать Неподражаемого. Из числа родственников невесты по материнской линии приглашение получила одна только Джорджина Хогарт. Похоже, на отсутствие прочих представителей семейства Хогарт никто не обратил внимания.

После обряда венчания толпа гостей вернулась в Гэдсхилл, где ждал роскошный свадебный завтрак. Столовая зала тоже была красиво убрана белыми цветами. Завтрак, хотя и обильный, продолжался всего лишь час. Хозяин дома пообещал всем, что никаких речей не будет, и дело обошлось без речей. Я заметил, что новобрачные немного посидели за столом, а потом исчезли, пока гости играли в разные игры на лужайке. Моей матери, которая отнеслась к этому союзу ничуть не лучше Чарльза Диккенса, тем утром требовался постоянный уход. Когда Чарли и Кейт вернулись, уже переодетые в дорожное платье, невеста была в черном. Кейт не выдержала и разрыдалась на плече у отца. Чарли с каждой минутой бледнел все сильнее, и я даже испугался, как бы он не лишился чувств.

Мы с матерью присоединились к толпе из примерно тридцати гостей, собравшихся на песчаной дорожке,

чтобы поцеловать новобрачных, обменяться с ними рукопожатиями и пожелать счастья. Когда карета укатила, матушка пожаловалась на плохое самочувствие. Я усадил ее на скамью в тени и пошел сообщить Чарльзу Диккенсу о нашем отъезде, но не нашел хозяина дома ни на лужайке среди резвящейся молодежи, ни в гостиной на первом этаже, ни в бильярдной, ни в рабочем кабинете.

Я увидел Мейми, сходившую по лестнице, и поднялся в спальню Кейти — то есть в комнату, служившую спальней Кейти до сегодняшнего утра. Диккенс стоял там на коленях у кровати, зарывшись лицом в свадебное платье дочери, и плакал навзрыд, как малое дитя. Он поднял голову, увидел сквозь слезы мой силуэт в дверном проеме и, вероятно приняв меня за Мейми, выкрикнул прерывистым голосом: «Если бы не я, Кейти не ушла бы из дома!»

Не промолвив ни слова, я повернулся кругом, спустился вниз, вышел на лужайку и распорядился подать нам с матерью экипаж, чтобы воротиться в Лондон.

За годы совместной жизни у Чарльза и Кейти не появилось детей. Ходили слухи — возможно, пущенные Диккенсом, а возможно, и самой Кейти, — что они так и не осуществили брачные отношения. Надо признать, к лету 1865 года, когда Диккенс пережил железнодорожную катастрофу, Кейти производила впечатление положительно несчастной женщины и флиртовала со всеми мужчинами подряд, явно желая завести любовника. Многие из них без малейшего зазрения совести вступили бы в связь с замужней дамой, если бы не свирепый нрав и неусыпная бдительность ее отца.

Хронические недуги и желудочные боли Чарли тоже стали проблемой в семейном кругу Диккенса. Я всегда полагал, что брат страдает всего лишь язвенной болезнью, и, когда он умер от рака желудка в 1873 году, я нашел слабое утешение единственно в том обстоятельстве, что Чарльз Диккенс перешел в мир иной раньше его.

Странной осенью 1865 года Диккенс как-то резко сказал мне: «Вид вашего брата, Уилки, навевает мысли о смерти всякий раз, когда мы завтракаем здесь за общим столом». Всем вокруг представлялось очевидным: Неподражаемый, никогда не признающий собственных своих болезней и не допускающий даже мысли о собственной своей смерти, твердо считает, что мой брат не жилец на белом свете и что ему лучше умереть поскорее.

Теперь мы возвратимся, дорогой читатель, к плачевному состоянию собственного моего здоровья зимой с 1865 на 1866 год.

Мой отец мучился ревматизмом, который поразил у него левый глаз, лишив возможности писать картины в последние годы жизни. Моя ревматическая подагра неизменно обострялась в правом глазу, практически ослепляя меня и заставляя напряженно прищуривать левый глаз, когда я водил пером по бумаге. Боль распространялась вниз по правой руке, сковывая пальцы, и мне приходилось перекладывать перо в левую руку, чтобы обмакнуть его в чернила.

В конечном счете я вообще утрачу способность писать и стану диктовать свои романы, лежа на кушетке. Но предварительно приучу свою секретаршу, юную Хэррие (позже у меня появится другой секретарь, жуткий и зловещий), не обращать внимания на мои страдальческие крики и слушать только фразы, произносимые между ними.

Я уже говорил, что облегчение мне приносил только лауданум. Кажется, я говорил также, что обычной дозой считались от трех до пяти *капель* жидкого опиума на стакан вина, но к названной зиме мне уже требовалось от трех до пяти *рюмок* лекарства, чтобы плодотворно поработать или крепко уснуть.

Лауданум, как я упоминал выше, имел побочные действия. Чувство постоянного преследования. Различные галлюцинации. (Поначалу я принял зеленокожую клыкастую женщину за галлюцинацию, но несколько раз —

после того как она нападала на меня на темной лестнице — я по пробуждении обнаруживал глубокие царапины у себя на шее.)

Однажды ночью, когда я работал в кабинете над романом «Армадейл», я вдруг увидел человека, который сидел в кресле всего в нескольких дюймах от меня и тоже писал. Он походил на меня как две капли воды. Вернее, он был я сам: одетый в точно такой же костюм, с точно таким же пером в руке и с таким же тупым, ошеломленным выражением лица, какое, по всей вероятности, было у меня.

Он потянулся к чистой странице моей тетради.

Я не мог позволить ему писать в своей тетради. Не мог допустить, чтобы хоть одна *моя* страница стала *его* страницей.

Мы с ним сцепились в борьбе. Кресла опрокинулись, сбитая со стола лампа погасла. В кромешной тьме я оттолкнул противника, выбежал в коридор и укрылся в своей спальне.

Войдя в кабинет поутру, я увидел, что стена, окно и подоконник, угол дорогого персидского ковра, мое кресло и две книжные полки густо забрызганы чернилами. И обнаружил, что следующие шесть страниц моего нового романа написаны почерком, очень похожим на мой, но не моим.

Я сжег все их в камине.

Глава 12

В декабре 1865 года инспектор Филд через здоровенного сыщика Хэчери сообщил мне, что «пациентка» Диккенса Эллен Тернан уже вполне оправилась от травм, полученных в Стейплхерстской катастрофе: она не только присутствовала на балу, устроенном братом жениха ее сестры, Энтони Троллопом, но даже танцевала там.

С красными геранями в волосах.

К Рождеству инспектор Филд стал все чаще выражать недовольство, что он поставляет мне гораздо больше информации, чем я ему. Так оно и было. Хотя осенью Диккенс несколько раз приглашал меня в Гэдсхилл, хотя мы с ним неоднократно обедали в городе и вместе посещали различные приемы в течение нескольких месяцев, пока он медленно оправлялся после Стейплхерстской катастрофы, мы никогда больше не заводили разговоров о Друде. Складывалось впечатление, будто Диккенс каким-то образом проведал, что я вступил в предательский сговор с коварным инспектором Филдом. Но коли так, почему Неподражаемый продолжал приглашать меня в гости, писать мне письма со свежими новостями и обедать со мной в наших любимых лондонских ресторациях?

Во всяком случае, всего через неделю после того, как я слово в слово повторил Филду рассказ Диккенса о встрече с Друдом, инспектор уведомил меня, что писатель солгал мне.

А раз так, осознал я, значит никакого притока подземной реки, описанного Диккенсом, не существует. Нет никакого туннеля, ведущего к другой реке; нет никаких подземных трущоб, населенных беднягами, которым не нашлось места наверху; и нет никакого египетского храма на берегу так и не найденного подземного Нила. Диккенс либо солгал мне с целью скрыть настоящий путь к логову Друда, либо вообще выдумал всю историю про встречу с ним с начала до конца.

Инспектор был недоволен. Очевидно, он и его люди много часов или даже несколько суток кряду обследовали катакомбы и канализационные туннели — и все без толку. Если дела и дальше будут продвигаться с такой скоростью, сказал мне Филд во время одной из наших редких и безрадостных встреч, он никогда не арестует Друда и умрет от старости, не успев угодить своему бывшему начальству в Столичной полиции и добиться восстановления пенсии и своего доброго имени.

Тем не менее в течение всей зимы инспектор продолжал делиться со мной информацией. Осенью, завершив работу над «Нашим общим другом» и с удовольствием понаблюдав за появлением заключительных выпусков романа в «Круглом годе», Диккенс арендовал в Лондоне дом по адресу Саутвик-плейс, шесть, рядом с Гайд-парком. Ничего таинственного в этом не было: примерно двумя годами ранее он снимал похожий дом по соседству от нынешнего, прямо за углом, поскольку хотел иметь в Тибурнии удобное место для различных светских встреч и приемов. Новый дом у Гайд-парка предназначался также для дочери Диккенса Мейми, чтобы она в любое время могла приезжать в город по своим светским надобностям (вероятно, немногочисленным, ибо в ту пору и Мейми, и Кейти не пользовались популярностью в высшем обществе).

Коротко говоря, в аренде дома рядом Гайд-парком не было ничего таинственного. Однако — как через несколько недель заметит мне инспектор Филд, многозначительно подморгнув и потрогав нос толстым пальцем, — гораздо более загадочным представлялся тот факт, что Диккенс снял два маленьких дома в деревне Слау: один (под названием Элизабет-коттедж) на Хай-стрит, а другой на Черч-стрит, всего в четверти мили от первого. К Рождеству я еще не знал этого, но позже инспектор Филд уведомит меня, что Диккенс арендовал оба дома под фамилией Трингхэм — в первом случае он представился Чарльзом Трингхэмом, а во втором — Джоном Трингхэмом.

Поначалу, как впоследствии сообщит мне инспектор Филд, дом на Черч-стрит пустовал, но потом в него въехали некая миссис Тернан и ее дочь Эллен.

— Мы не знаем, почему мистер Диккенс назвался Трингхэмом, — сказал инспектор Филд, когда мы с ним прогуливались по Дорсет-Сквер вскоре после Нового года. — На поверхностный взгляд, это кажется неважным, но в нашем деле всегда полезно понимать, почему

человек выбирает то или иное имя, чтобы под ним творить свои грязные дела.

Проигнорировав выражение «грязные дела», я сказал:

— На Веллингтон-стрит, неподалеку от редакционной конторы нашего журнала «Круглый год», есть табачная лавка. Хозяйкой лавки является некая Мэри Трингхэм, наша с Диккенсом хорошая знакомая.

— Ага... — с сомнением протянул инспектор Филд.

— Но едва ли Диккенс позаимствовал имя *у нее,* — добавил я.

— Да?

— Да, — сказал я. — Инспектор, вам, случайно, не доводилось читать повесть некоего Томаса Худа, опубликованную в тридцать девятом году?

— Не доводилось, — проворчал инспектор.

— В ней идет речь о деревенских сплетнях, — сказал я. — И там есть один стишок с такими строками:

> Все, что угодно, узнаешь из толков и слухов,
> Коли приедешь в деревню болтливую Трингхэм.

— Ага... — повторил инспектор Филд на сей раз более убежденно. — Мистер Диккенс... или мистер Трингхэм, коли он предпочитает такое имя... всячески старается скрыть тот факт, что он бывает в Слау.

— Каким образом? — спросил я.

— Все свои письма он отправляет из Итона и говорит друзьям, что он просто-напросто прогуливается в тамошнем парке, — сказал инспектор Филд. — От Слау до Итонской железнодорожной станции он каждый раз идет обходным путем через поля, словно хочет, чтобы его видели — если уж заметят — ждущим поезда именно там, а не в Слау.

Я остановился и резко осведомился:

— Откуда вы знаете, что́ именно мистер Диккенс говорит в своих частных письмах, инспектор? Вы что, вскрываете его почту или допрашиваете его друзей?

Инспектор Филд лишь улыбнулся в ответ.

Но все это, дорогой читатель, я узнаю лишь весной 1866 года, а сейчас я должен вернуться к странному памятному Рождеству 1865-го.

Когда Диккенс пригласил меня в Гэдсхилл-плейс на Рождество, предложив погостить до Нового года, я без раздумий принял приглашение. «Дворецкий и матушка Дворецкого поймут вас», — писал он в обычной своей шутливой манере, имея в виду Хэрриет (которую в последнее время мы звали Кэрри даже чаще прежнего, даром что она взрослела) и ее мать Кэролайн. Я не уверен, что Кэролайн и Кэрри вполне поняли или одобрили мое решение провести праздничную неделю вне дома, но меня это мало волновало.

Во время короткого путешествия поездом до Чатема я держал в руках рождественский номер «Круглого года» — вышедший на днях при непосредственном моем участии и содержавший рождественскую повесть Диккенса «Коробейник» — и размышлял об «утке и основе» последних произведений Неподражаемого.

Наверное, только писатель (или какой-нибудь будущий литературный критик вроде вас, дорогой читатель) в состоянии увидеть, что́ кроется за текстом другого писателя.

Начну с упомянутой рождественской повести Диккенса.

В «Коробейнике» (в наши дни таким словом обозначали странствующих торговцев, переезжавших с разным дешевым товаром от одной деревни к другой) речь идет о человеке, потерявшем жену, похоронившем любимую дочь и вынужденном — по причинам профессионального свойства — скрывать свои чувства от окружающих. Персонаж Диккенса, так называемый король коробейников, проникается отеческим чувством к юной девушке «с очаровательным личиком и блестящими черными волосами». Не является ли заглавный герой искаженным автопортретом писателя? Не Эллен ли Тернан выведена в образе юной девушки?

Разумеется, Диккенс не был бы Диккенсом, если бы девушка с очаровательным личиком и блестящими черными волосами не оказалась еще и глухонемой. Чего бы стоила диккенсовская рождественская повесть без ложного пафоса и смешной сентиментальности?

«Поглядите на нас, пока мы на подножке, — говорит коробейник, имея в виду часы бойкой торговли с подножки фургона при большом скоплении народа, — и вы согласитесь дорого заплатить, чтобы поменяться с нами местом. Поглядите, каковы мы, когда сходим с подножки, и вы добавите еще сколько угодно, лишь бы расторгнуть сделку».

Не говорит ли здесь Чарльз Диккенс о глубокой пропасти между своей показной веселостью и общительностью в публичной жизни — и своей неизбывной печалью и глубоким одиночеством в жизни частной?

Потом еще был огромный роман «Наш общий друг» (законченный, как и «Коробейник», в сентябре), последний, девятнадцатый, выпуск которого совсем недавно появился в «Круглом годе».

Пожалуй, только профессиональному писателю дано понять, насколько это сложное и опасное произведение. Я читал «Нашего общего друга» выпусками, ежемесячно выходившими в нашем журнале в течение последних полутора лет; я слышал, как Диккенс выступал с чтением отдельных глав перед немногочисленными собраниями слушателей; я читал часть романа в рукописи, а после публикации последнего выпуска перечитал все с начала до конца. Это было что-то невероятное. Впервые в жизни, кажется, я ненавидел Чарльза Диккенса из чистой зависти.

Не знаю, как там в ваше время, дорогой читатель, но в нашу эпоху, в шестидесятые годы девятнадцатого века, трагедия уже вытесняла комедию из сердец и умов «серьезных читателей». Трагедии Шекспира ставились в театрах гораздо чаще, чем его блистательные комедии, и пользовались гораздо большим вниманием критики

и публики. Полные глубокого юмора произведения, скажем, Чосера или Сервантеса заменялись в списках обязательной литературы трагедиями и более серьезными сочинениями классических и современных авторов. Если эта тенденция так и не прекратилась, дорогой читатель, значит ко времени, когда вы читаете мою рукопись, искусство комедии уже полностью утрачено.

Впрочем, о вкусах не спорят. С течением лет — и уже десятилетий — проза Чарльза Диккенса становилась все более мрачной и серьезной, избранные писателем темы определяли структуру романов и точное (чересчур точное) место каждого действующего лица в тематически обусловленной структуре произведения — диккенсовские персонажи все сильнее напоминали библиотечные карточки, аккуратно разложенные по ящичкам. (Я вовсе не хочу сказать, что даже самые серьезные романы Диккенса, созданные в последние годы, напрочь лишены юмора. Полагаю, Диккенс ни в одном своем сочинении не мог обойтись вообще без юмора, как не мог оставаться совершенно серьезным на похоронах. В этом отношении он был неисправим. Но с течением времени он брался за все более и более серьезные темы, уходя все дальше от практически бесструктурных жизнерадостных произведений в духе «Пиквикского клуба», сделавших его Неподражаемым Бозом, и все больше сосредоточиваясь на социальной критике и социальной сатире, важных для него лично.)

Однако в «Нашем общем друге» Диккенс на протяжении всех восьмисот с лишним страниц, набранных убористым шрифтом, выдержал комедийную интонацию, не допустив, по моему мнению, ни единой фальшивой ноты.

Это было невероятно. Меня всего просто ломало, буквально физически, от зависти, смешанной с восхищением.

В «Нашем общем друге» Диккенс отказался от основных своих мотивов, представленных в «Крошке Доррит», «Холодном доме» и «Больших надеждах», и почти

полностью пренебрег своими личными и общественными убеждениями в пользу тонкой психологической проработки характеров и отточенного литературного стиля, близкого к совершенству. Очень близкого. Еще никогда раньше он не создавал образов столь сложных и неоднозначных. Казалось, он воскресил в памяти многих своих прежних персонажей и заново переосмыслил с позиции зрелости и всепрощения. Так, безнравственный адвокат Талкингхорн из «Холодного дома» вновь появляется в обличье молодого адвоката Мортимера Латвуда, но на сей раз исправляется, чего никогда не сделал бы прежний Талкингхорн. Гнусный Ральф Никльби возрождается в пройдохе Фледжби, но не избегает наказания, в отличие от Никльби. (Сцену жестокого избиения Фледжби другим пройдохой я считаю одной из лучших в обширном творческом наследии Диккенса.) Нодди Боффин — это Скрудж, не ставший скрягой. Старый еврей мистер Райя искупает грехи диккенсовского Феджина (порой подвергавшегося критике, особенно со стороны евреев), представая перед нами не бессердечным ростовщиком, а совестливым клерком бессердечного ростовщика-христианина. А Подснеп — помимо того что он являет собой убийственный портрет Джона Форстера (убийственный, но прописанный столь тонко, что Форстер так и не узнал себя в персонаже, хотя все остальные узнали), — так вот, Подснеп... это просто Подснеп. Олицетворение подснеповщины. Которую, возможно, следует признать квинтэссенцией нашей эпохи.

И все же, хотя по своей интонации и композиции «Наш общий друг» представляет собой безупречную сатирическую комедию, достойную самого Сервантеса, действие романа разворачивается на фоне болезненно мрачном. Бесплодной каменной пустыней оборачивается здесь Лондон, «погрязающий в бедности с умножением своих богатств, утрачивающий величие по мере разрастания своих владений». Это «унылый город, без единого просвета в свинцовом своде небес». Он рисуется в темных, почти траурных тонах, и даже туман, коричне-

вато-желтый на окраине, меняет цвет на бурый ближе к центру, а в самом сердце Сити становится и вовсе ржаво-черным — «столица казалась сплошной массой тумана, полной глухого стука колес и таящей в себе грандиознейший насморк». Диккенс изображает свой любимый город либо серым, либо пыльным, либо грязным, либо холодным, либо окутанным мраком, либо насквозь продуваемым ветром, либо мокнущим под проливным дождем, либо утопающим в собственных отбросах и нечистотах. В «Нашем общем друге» при описании Лондона чаще всего используются сразу все перечисленные черты.

Однако в этом безрадостном, страшном городе, среди бушующих волн недоверия, низкого коварства, бездарной лжи, вездесущей алчности и кровожадной ревности, персонажам все же удается обрести любовь и поддержку — но не в семейном кругу, как всегда прежде было принято у Диккенса и прочих писателей нашего времени, а в узком кругу друзей и возлюбленных, который, подобно семье, ограждает симпатичных нам героев от штормов нищеты и социальной несправедливости.

Диккенс создал шедевр.

Читатели этого не поняли. Первый выпуск романа в «Круглом годе» разошелся превосходно (в конце концов, это был первый за два с половиной года новый роман Диккенса), но продажи быстро упали, и последний выпуск разошелся тиражом всего девятнадцать тысяч экземпляров. Это стало для Диккенса горьким разочарованием, и, хотя сам он получил от публикации прибыль в размере примерно семи тысяч фунтов (о чем при мне обмолвилась Кейти в разговоре с моим братом Чарльзом), издатели Чапмен и Холл остались в убытке.

Критики либо безудержно превозносили, либо равно безудержно ругали «Нашего общего друга», в одном и другом случае впадая в неизбежные преувеличения, но преобладало в критических отзывах чувство разочарования. Люди интеллектуального склада ожидали от Диккенса очередного пронизанного социальной критикой

романа по образцу «Холодного дома», «Крошки Доррит» и «Больших надежд», но получили всего-навсего... комедию.

Однако, как я сказал выше, только профессиональный писатель вроде меня мог увидеть, что Диккенс достиг почти невозможного, безупречно выдержав легкую сатирическую интонацию на всем протяжении длинноющего романа, ни разу не позволив сатире соскользнуть в цинизм, комическим образам — превратиться в грубые карикатуры, безжалостной критике современного общества — вылиться в трескучие проповеди.

Иными словами, только я мог понять, что «Наш общий друг» — это подлинный шедевр.

Я возненавидел Диккенса. Тогда, сидя в поезде, катившем от Лондона к Гэдсхиллу, я, писатель-соперник, жалел, что Чарльз Диккенс не погиб в Стейплхерстской катастрофе. Ну почему он выжил? Ведь там погибло так много людей! И он, к нестерпимой моей досаде, писал и хвастался мне и прочим своим друзьям, что из всех первоклассных вагонов один только его вагон не упал с моста в речное ложе и не разбился вдребезги.

Но помимо всего перечисленного в «Нашем общем друге» я прозрел сугубо личные моменты, многое проясняющие и имеющие прямое отношение к нынешней ситуации.

Мой зоркий писательский глаз и чуткое читательское ухо находили повсюду в романе следы и отзвуки драматического разрыва долгих супружеских отношений Диккенса с Кэтрин и начала опасной связи с Эллен Тернан.

Почти все писатели изредка создают персонажей — как правило, злодеев, — ведущих двойную жизнь, но последние произведения Диккенса просто изобиловали такими вот «двуликими» героями. В «Нашем общем друге» молодой Джон Гармон (наследник огромного состояния, сколоченного на лондонских мусорных свалках, который якобы погибает при подозрительных обстоятельствах, когда возвращается в Лондон после многих лет

морских плаваний) немедленно приезжает в полицейский участок для опознания извлеченного из реки полуразложившегося тела (переодетого в его одежду и потому принятого за его труп). Затем Гармон превращается в Джулиуса Хэндфорда, а позже представляется Джоном Роксмитом, чтобы поступить секретарем к Боффинам, представителям низшего сословия, которые за отсутствием других претендентов унаследовали состояние и мусорные свалки, по праву принадлежащие Джону Гармону.

Отрицательные персонажи в «Нашем общем друге» — Гаффер Хэксем, Райдер Рогхуд, мистер и миссис Альфред Лэмл (мошенники, обманом заманившие друг друга в брак без любви и денег и теперь объединившиеся только лишь с целью обманывать и использовать в своих интересах окружающих), Сайлас Вегг на деревянной ноге, а особенно жестокий школьный учитель Брэдли Хэдстон — могут прикидываться не теми, кем они являются на самом деле, но в сущности всегда остаются самими собой. Только положительные герои романа страдают от своей вынужденной двуликости или многоликости, приводящей к совершенному смятению и разладу души.

Такое же трагическое смятение и разлад души неизбежно вызывает еще одна сила — любовь. Слепая, безумная, утраченная или тайная, любовь является движителем всех скрытых мотивов, всех интриг и насильственных деяний в единственной комедии Диккенса, мощной и страшной. «Наш общий друг», осознал я, к великой своей муке и отчаянию, — это произведение, достойное Шекспира.

Джон Роксмит/Гармон продолжает скрывать свою личность от любимой Беллы даже после женитьбы на ней и рождения ребенка, чтобы успешнее влиять на нее, испытывать и воспитывать, заставляя отказаться от любви к деньгам в пользу любви ради самой любви. Мистер Боффин с виду превращается в сварливого скареду и выживает состоящую у них под опекой Беллу из дома,

вынуждая вернуться к прежней нищенской жизни, но это всего лишь хитрая уловка, очередной способ проверить истинный характер Беллы Уилфер. Даже беспутный адвокат Юджин Рэйберн — один из ярчайших (и самых противоречивых) персонажей во всем творчестве Диккенса — из-за своей противной здравому смыслу любви к низкородной Лиззи Хэксем доходит до того, что в смятении хлопает себя по лбу и по груди, произносит собственное имя и выкрикивает: «Думай, голову ломай! Кто я, кто я, отгадай! Нет! Разве отгадаешь? И пытаться нечего!»

Джон Гармон, запутавшийся в своих ложных личностях и манипуляционных линиях поведения, в конце концов переживает такую же утрату подлинной индивидуальности и восклицает: «Но это был я не я! Такое ощущение, будто меня тогда вообще не существовало!»

Слабый и ревнивый школьный учитель Брэдли Хэдстон изобличает перед всеми тайную страсть и ревность самого Диккенса, когда говорит той же самой Лиззи Хэксем, пользующейся большим спросом:

> Вы притягиваете меня к себе. Если б я сидел в глухом каземате, вы исторгли бы меня оттуда! Я пробился бы сквозь тюремные стены и пришел бы к вам! Если б я был тяжело болен, вы подняли бы меня с одра болезни, я сделал бы шаг и упал к вашим ногам!..

И еще:

> Да, вы моя погибель... погибель... погибель! Я не знаю, что с собой делать, я перестаю доверять самому себе, я не владею собой, когда вижу вас или только думаю о вас. А мои мысли теперь непрестанно полны вами. Я не могу избавиться от этих мыслей с первой нашей встречи.

Для сравнения приведу слова, написанные Диккенсом в одном частном письме вскоре после знакомства с Эллен Тернан: «Я не знал ни минуты покоя с вечера последнего представления „Замерзшей пучины". Истинно полагаю, свет еще не видывал человека, столь одержи-

мого и мучимого одним бесом». И дальше: «О, то был самый несчастливый день для меня! Ужасный, несчастливый день!»

Страсть Чарльза Диккенса к Эллен Тернан — страсть, разрушительная для его самосознания, его семьи, его рассудка, — прорывается из-под маски каждого персонажа «Нашего общего друга», угадывается во всех неистовых поступках героев.

В жуткой сцене, где Брэдли Хэдстон признается испуганной Лиззи Хэксем в своей страсти к ней, — дело происходит на окутанном туманом кладбище, что весьма символично, ибо любовь учителя безответна, недолговечна и обречена еще прежде, чем она умирает от ревности и возрождается в качестве убийцы, — обезумевший школьный учитель кричит отчаянным голосом, вторящим безмолвным мучительным воплям самого Чарльза Диккенса:

> Ни одному человеку не дано знать до поры до времени, какие в нем таятся бездны. Некоторые так никогда и не узнают этого. Пусть живут в мире с самим собой и благодарят судьбу. Но мне эти бездны открыли вы. Вы заставили меня познать их, и с тех пор это море, разбушевавшееся до самого дна, не может успокоиться... Я люблю вас. Какой смысл вкладывают в эти слова другие люди, мне неведомо, а я вкладываю в них вот что: меня влечет к вам непреодолимая сила, она владеет всем моим существом, и противостоять ей нельзя. Вы можете послать меня в огонь и в воду, вы можете послать меня на виселицу, вы можете послать меня на любую смерть, вы можете послать меня на все, чего я до сих пор страшился, вы можете послать меня на любую опасность, на любое бесчестье. Мысли мои мешаются, я перестал быть самим собой, вот почему вы моя погибель.

И все время, пока Брэдли Хэдстон кричит о своей страсти, он впивается пальцами в кладбищенскую ограду, словно пытаясь вывернуть из нее камень, да столь яростно, что куски извести сыпятся из-под него на мостовую, а в конце концов он «с такой силой ударяет кулаком по камню, что до крови сдирает кожу на суставах».

Никогда прежде Чарльз Диккенс не писал о страшной силе любви и ревности так открыто, так пронзительно, с такой болью. И уже никогда не напишет.

Могли ли двойное существование, глубокий душевный разлад, утрата контроля над собственной жизнью, эротическая и романтическая одержимость довести Чарльза Диккенса до помешательства при свете дня и до убийства под покровом ночи, как произошло в случае с Брэдли Хэдстоном? Предположение казалось нелепым, но вполне вероятным.

Когда поезд уже подъезжал к станции, я отложил журнал в сторону и, чуть придвинувшись к окну, выглянул в холодный и пасмурный рождественский день. Визит в Гэдсхилл обещал быть интересным.

В прошлом 1864 году на Рождество в доме Диккенса собиралась довольно разношерстная компания, состоявшая из моего брата Чарльза с женой Кейти, актера Фехтера с женой (и чудесным подарком в виде швейцарского шале), Маркуса Стоуна и Генри Чорли. В этом году я слегка удивился, обнаружив в числе гостей еще одного холостяка, Перси Фицджеральда, нисколько не удивился при виде Чарли и Кейти, обрадовался, застав Мейми и Джорджину в сравнительно хорошем расположении духа, и несказанно изумился, обнаружив там молодого Эдмонда Диккенсона, приехавшего в Гэдсхилл на неделю (хотя сей уцелевший в Стейплхерстской катастрофе юноша при нашей встрече летом упоминал о приглашении Диккенса). Таким образом, холостяков набралось трое, если не считать за холостяка самого Диккенса.

Сразу по моем прибытии Диккенс сказал мне, что нынче к часу ужина нас ждет еще один приятный сюрприз.

— Дорогой Уилки, вам страшно понравятся наши неожиданные гости, я вам обещаю. Они, как обычно, доставят нам превеликое удовольствие.

Когда бы не форма множественного числа, я бы, наверное, насмешливо поинтересовался, уж не мистер ли

Друд собирается присутствовать за нашим праздничным столом. А возможно, и не стал бы ничего спрашивать: несмотря на свой энтузиазм по поводу таинственных гостей, Неподражаемый выглядел очень усталым и изможденным. Я справился у него о здоровье, и он признался, что с конца осени постоянно мучится болями в груди и испытывает непонятную слабость. Очевидно, в последнее время он часто консультировался у нашего общего друга и лечащего врача Фрэнка Берда, хотя выполнял его рекомендации крайне редко. Похоже, Берд поставил диагноз «слабость сердечной мышцы», но Диккенс был уверен, что причина сердечного недуга кроется скорее в сфере эмоций, нежели в грудной полости.

— Меня жутко угнетает погода, что стоит нынешней зимой, Уилки, — сказал Диккенс. — Три-четыре необычайно теплых, сырых дня, а потом вдруг резкое похолодание — такие перепады действуют на моральное состояние просто убийственно. Но — вы заметили? — снег не шел ни разу. Я бы, наверное, отдал все на свете за простое, морозное, снежное Рождество моего детства.

И правда, в этом году к Рождеству ни в Лондоне, ни в Гэдсхилле не появилось даже самого тонкого снежного покрова. Но сейчас как раз стояли заморозки, упомянутые Диккенсом, и наша послеполуденная прогулка — с нами пошли Перси Фицджеральд, молодой Диккенсон и сын Диккенса Чарли, но мой брат Чарльз остался дома — больше напоминала неуклюжее шествие раздутых тюков шерсти, нежели моцион джентльменов. Даже Диккенс, обычно нечувствительный к дождю, жаре и холоду, надел пальто потолще и намотал поверх воротника второй шерстяной шарф, красный, прикрыв нижнюю часть лица.

Нас пятерых сопровождали пять собак: непоседливый сенбернар Линда, маленький померанский шпиц Миссис Поскакушка, в полной мере оправдывающий свое имя, черный ньюфаундленд Дон, огромный мастиф по кличке Турок и волкодав Султан.

Диккенс всю дорогу удерживал Султана на толстом поводке. И на пса пришлось надеть кожаный намордник. Перси Фицджеральд, подаривший Диккенсу щенка ирландского волкодава в прошлом сентябре, обрадовался при виде уже почти взрослого и явно здорового Султана, но, когда он подошел с намерением приласкать пса, тот свирепо зарычал и лязгнул стянутыми намордником челюстями, словно исполненный решимости откусить Перси руку. Фицджеральд отпрянул назад, испуганный и обиженный. Диккенс казался невесть почему довольным.

— Со мной Султан по-прежнему ласков и кроток, — сказал он нам. — Но по отношению ко всем прочим живым существам он истинное чудовище. Он прогрыз уже пять намордников и часто возвращается домой с окровавленной пастью. Мы знаем наверное, что он целиком проглотил одного голубоглазого котенка, но Султан все-таки помучился совестью из-за этого своего гнусного поступка... по крайней мере, несварением желудка точно помучился.

Молодой Эдмонд Диккенсон расхохотался, а Диккенс добавил:

— Однако обратите внимание: Султан рычит и скалится на всех вас... кроме Уилки. Хотя Султан хранит верность только мне одному, между ним и Уилки Коллинзом существует некое странное родство, поверьте мне.

Я взглянул на Диккенса поверх шарфа, натянутого по самые глаза, и нахмурился.

— Почему вы так говорите, Диккенс? Потому что мы оба ирландских кровей?

— Нет, друг мой, — сказал Диккенс из-под своего красного шарфа. — Потому что вы оба можете быть опасны, если вас не сдерживать и не направлять сильной рукой.

Молодой идиот Диккенсон снова расхохотался. Чарли Диккенс и Перси просто недоуменно переглянулись.

То ли потому, что стоял мороз, то ли потому, что Диккенс шадил своих гостей, то ли потому, что сам он

неважно себя чувствовал, наш послеполуденный моцион больше напоминал неспешную прогулку по имению, нежели обычный диккенсовский марафон. Мы неторопливо дошли до конюшни и проведали лошадей — принадлежавшего Мэри верхового жеребца по кличке Мальчик, старого коня по прозвищу Быстроногий и степенного норвежского пони по имени Ньюмен Ноггз. Когда мы стояли в клубах теплого пара от лошадиного дыхания, кормя животных морковкой, я вспомнил, как приезжал летом в Гэдсхилл проведать Диккенса сразу после Стейплхерстской катастрофы и как у Неподражаемого сдали нервы, даже когда мы медленно катили в двуколке, влекомой Ньюменом Ноггзом. Двуколка и упряжь Ноггза, висевшая на стене, были, по обыкновению, украшены переливчатыми норвежскими колокольчиками, но в такой холод на открытой повозке не покатаешься.

Мы вышли из конюшни, и Диккенс, с трудом удерживавший на поводке Султана, провел нас по туннелю к шале. Пшеничные поля окрест, сочно зеленевшие летом, теперь превратились в унылые пустоши, покрытые мерзлой бурой стерней. Этим пасмурным рождественским днем Дуврская дорога была пуста — лишь одинокий накрененный набок фургон медленно полз вдали по заледенелой грязи. Мерзлая трава хрустела и ломалась под нашими сапогами.

Вслед за Диккенсом мы двинулись обратно и дошли до поля, простиравшегося за домом. Здесь писатель остановился и взглянул на меня. Я потешился мыслью, что точно знаю, о чем он думает.

На этом самом месте, всего пятью годами ранее, погожим днем в начале сентября, Чарльз Диккенс уничтожил абсолютно всю свою корреспонденцию, полученную за последние три десятилетия. С помощью сыновей Генри и Плорна он вынес из кабинета не одну огромную корзину бумаг и, игнорируя мольбы дочери Мэри, призывавшей сохранить столь бесценное литературное и личное наследие, сжег все до единого письма, когда-либо полученные от меня, Джона Форстера, Ли Ханта,

Альфреда Теннисона, Уильяма Мейкписа Теккерея, Уильяма Гаррисона Эйнсворта, Томаса Карлейля, от своих американских друзей Ральфа Уолдо Эмерсона, Генри Уодсуорта Лонгфелло, Вашингтона Ирвинга, Энни и Джеймса Томаса Филдс. А также от своей жены Кэтрин. И от Эллен Тернан.

Позже Кейти рассказывала мне, как она, держа в руках письма и узнавая почерки Теккерея, Теннисона и прочих выдающихся писателей, изо всех сил старалась отговорить отца от задуманного, просила подумать о грядущих поколениях. Но Кейти, по каким-то своим причинам, солгала мне, поведав эту историю. Третьего сентября 1860 года, когда Диккенс внезапно решил сжечь всю свою корреспонденцию, Кейт с моим братом Чарльзом находилась во Франции, где они проводили медовый месяц. Она узнала о случившемся лишь спустя много месяцев.

Вот ее младшая сестра Мейми присутствовала там — то есть здесь, на этом самом месте на краю заднего двора, откуда открывался вид на замерзшие поля и обнаженные кентские леса вдали, — и Мейми действительно умоляла отца не уничтожать бумаги. Диккенс тогда ответил: «Боже, как бы мне хотелось, чтобы и все письма, когда-либо написанные мной, тоже оказались в этой куче!»

Когда все шкафчики и ящики для хранения бумаг опустели, Генри и Плорн запекали луковицы на углях огромного костра, пока внезапный ливень с ураганом не загнал всех в дом. Впоследствии Диккенс писал мне: «Тогда полило как из ведра... подозреваю, я прогневил Небо своей корреспонденцией».

Почему же Диккенс уничтожил всю свою обширную переписку?

В прошлом, 1864 году Диккенс сказал мне, что написал своему старому другу, актеру Уильяму Чарльзу Макриди, следующее: «Я ежедневно видел недопустимое использование конфиденциальных писем, которые становятся достоянием общественности, не имеющей к ним

ни малейшего отношения, а потому не так давно развел огромный костер на заднем дворе Гэдсхилла и сжег все до единого письма из своего архива. Теперь я уничтожаю все приходящие мне письма, помимо сугубо деловых, и на душе у меня спокойно».

О каком таком недопустимом использовании он говорил? Иные наши с ним общие друзья (из тех немногих, кто знал о сожжении корреспонденции) предполагали, что после своего неприятного публичного расставания с Кэтрин (ставшего публичным, не следует забывать, по глупости самого Диккенса) он с перепугу представил, как сразу после его кончины разные биографы и прочие литературные вампиры примутся предавать гласности конфиденциальную переписку, накопившуюся у него за много лет. На протяжении нескольких десятилетий, рассуждали упомянутые друзья, жизнь и творчество Чарльза Диккенса являлись достоянием общественности. И он решительно не желает, чтобы письма друзей, с соображениями по поводу самых сокровенных его мыслей, тоже были отданы на потребу праздной публике.

Я держался несколько иного мнения насчет причин, побудивших Диккенса сжечь свои бумаги.

Полагаю, именно я заронил в голову Диккенса мысль об уничтожении переписки.

В моей новелле «Четвертый странник», напечатанной в рождественском номере «Домашнего чтения» от 1854 года, рассказчик, некий адвокат, говорит: «Мой опыт адвокатской практики, мистер Фрэнк, убедил меня, что, если бы все люди сжигали по прочтении все письма, добрая половина гражданских судов в этой стране прекратила бы свою деятельность». Тема гражданских судов премного занимала Чарльза Диккенса тогда, во время работы над «Холодным домом», и позже, в 1858 году, когда семья его жены грозилась подать на него в суд за причиненные Кэтрин несправедливости, включая, надо полагать, измену.

А всего за несколько месяцев до того, как Неподражаемый предал огню свою корреспонденцию, я написал о сожжении письма в своем романе «Женщина в белом», который тогда выходил выпусками в «Домашнем чтении», тщательно редактировавшемся Диккенсом. В моем романе Мэриан Голкомб получает письмо от некоего Уолтера Хартрайта. Сводная сестра Мэриан, Лора, и Хартрайт любят друг друга, но девушка согласилась выйти замуж за другого человека — во исполнение обещания, данного умирающему отцу. Хартрайт возвращается в Лондон и собирается отплыть в Южную Америку. Мэриан решает не рассказывать Лоре о содержании письма.

«Я даже думаю, не пойти ли еще дальше — не сжечь ли его письмо из опасения, что оно может когда-нибудь попасть в чужие руки? В нем не только говорится о Лоре в таких выражениях, которые должны навсегда остаться между нами, но и о его подозрениях — упрямых, необоснованных, но очень тревожных, — что за ним постоянно следят... Но хранить письмо опасно. Малейшая случайность — и оно может попасть в чужие руки. Я могу заболеть, могу умереть — лучше сжечь письмо сразу, пусть одной заботой будет меньше.

Оно сожжено! Кучка серого пепла лежит в камине — все, что осталось от его прощального письма, может быть, его последнего в жизни письма ко мне».

По моему мнению, данная сцена из «Женщины в белом» произвела глубокое впечатление на Неподражаемого, отчаянно старавшегося тогда наладить вторую, тайную жизнь с Эллен Тернан, а заключенный в 1860 году брак Кейт с моим братом окончательно подвиг Диккенса сжечь всю корреспонденцию и, я почти уверен, убедить Эллен Тернан уничтожить все письма, полученные от него за три года знакомства. Мне думается, Диккенс расценил брак Кейт с Чарльзом Коллинзом как предательство со стороны члена семейства и запросто мог предположить, что сыновья и дочери — особенно старшая дочь, по всеобщему мнению, очень на него похожая

нравом, — снова предадут его, продав или опубликовав его корреспонденцию после его кончины.

В период с 1857 по 1860 год Диккенс страшно постарел (по словам иных знакомых, он превратился из молодого человека сразу в старика, минуя зрелый возраст), и, вполне вероятно, враз навалившиеся болезни и неизбежно сопряженные с ними мысли о смерти вызвали у него в памяти сцену с сожжением письма из моего романа и побудили уничтожить все письменные свидетельства сокровенных дум и размышлений.

— Я знаю, о чем вы думаете, милейший Уилки, — внезапно промолвил Диккенс.

На лицах у всех остальных мужчин отразилось изумление. Тепло закутанные, они наблюдали, как бледное солнце под грядой облаков клонится к закату за кентской холмистой равниной.

— И о чем же, дорогой Диккенс? — спросил я.

— О том, что большой костер, здесь разведенный, изрядно согрел бы нас.

Я растерянно моргнул, ощутив жесткое прикосновение заиндевелых ресниц к ледяной щеке.

— Костер! — воскликнул молодой Диккенсон. — Отличная мысль!

— Которую мы непременно осуществили бы, если бы женщины и дети не ждали нас дома, чтобы привлечь к своим рождественским играм.

Диккенс хлопнул руками в толстых перчатках — со звуком, похожим на ружейный выстрел. Султан резко рванулся в сторону, туго натянув поводок, и припал брюхом к земле, словно в него и вправду пальнули из ружья.

— Горячий пунш для всех! — воскликнул Неподражаемый, и процессия неуклюжих шерстяных сфероидов, украшенных яркими шарфами, потянулась следом за ним к дому.

Я под благовидным предлогом отказался от удовольствия поиграть с детьми и женщинами в рождественские игры и отправился искать убежище в своей комнате.

В Гэдсхилл-плейс я всегда останавливался в одной и той же гостевой комнате и сейчас испытал тихое облегчение, обнаружив, что она по-прежнему закреплена за мной, что меня не понизили в статусе за последние несколько месяцев. (Из-за тесноты, возникшей в доме в связи с приездом родственников и предстоящим визитом «таинственных гостей», Перси Фицджеральда поселили в номере гостиницы «Фальстаф-Инн», расположенной через дорогу. Это показалось мне странным, поскольку Перси был старым другом семьи и, безусловно, гораздо больше заслуживал права занять одну из гостевых комнат, чем сирота Диккенсон, которого разместили в особняке. Но я уже давно оставил всякие попытки понять или предугадать прихоти Чарльза Диккенса.)

Здесь надобно заметить, дорогой читатель, что я так и не рассказал ни инспектору Филду, ни еще кому-либо о догадке, среди ночи озарившей меня, одурманенного лауданумом: что Диккенс замышляет убить богатого сироту Эдмонда Диккенсона (это имело какое-то отношение к алым гераням в саду и в гостиничном номере, похожим на брызги крови). Промолчал же я по причине вполне очевидной: все-таки речь шла о ночном наркотическом озарении — и хотя многие подобные наития сослужили мне, как писателю, неоценимую службу, я вряд ли сумел бы внятно описать скептически настроенному инспектору Филду цепь подсознательных рассуждений и опиумных интуитивных прозрений, приведшую меня к такому выводу.

Но вернемся в мою комнату в Гэдсхилле. Дом Диккенса был преудобным пристанищем для гостей, хотя после длительных пребываний там я всегда говорил Кэролайн обратное. В каждой гостевой комнате имелись широкая мягкая кровать, несколько дорогих и равно удобных предметов обстановки и стол с аккуратно разложенными на нем письменными принадлежностями, как то: пачка проштемпелеванной почтовой бумаги, конверты, заточенные перья, воск, спички и сургуч (подоб-

ные столы стояли также в коридорах и гостиных). Все гостевые комнаты содержались в безупречной чистоте и идеальном порядке.

Каждый гость обнаруживал в своей комнате весьма обширную библиотеку, и несколько томов из нее неизменно лежали на ночном столике у кровати. Книги Диккенс подбирал самолично, учитывая вкусы гостя. Сейчас на своем ночном столике я нашел экземпляр «Женщины в белом» (не с дарственной надписью, преподнесенный мной Диккенсу, а вновь купленный, с еще не разрезанными страницами), сборник очерков из журнала «Зритель», книгу «Сказки 1001 ночи» и том Геродота, с закладкой на главе о египетских путешествиях античного историка, предварявшей рассказ о храмах Сна. Над трюмо в моей комнате висела табличка, гласившая: «В этой комнате Ганс Андерсен прожил пять недель, показавшихся хозяевам дома ВЕЧНОСТЬЮ!»

Я кое-что знал о том затянувшемся визите. Однажды вечером, за бутылкой вина, Диккенс охарактеризовал вышеназванного дружелюбного датчанина (почти не говорившего по-английски, что сделало его длительный визит тем более тягостным для обитателей Гэдсхилл-плейс) следующим образом: «Помесь моего персонажа Пекснифф с Гадким Утенком, Уилки. Невыносимый скандинав, с которым и неделю-то пообщаться крайне трудно, не говоря уже о пяти неделях».

Но когда я, прогостив в Гэдсхилле несколько дней или даже недель, по возвращении в Лондон говорил Кэролайн, что визит стал для меня «тяжким испытанием», я выражался вполне буквально. Несмотря на неподдельное радушие и поистине замечательный юмор Диккенса, прилагавшего все усилия к созданию непринужденной атмосферы, заботившегося об удобстве своих гостей, неизменно старавшегося угодить им в беседах за столом или у камина, каждый человек у него в доме испытывал явственное ощущение, что Неподражаемый его оценивает и порицает. По крайней мере, у меня всегда было

такое чувство. (Полагаю, бедный Ганс Христиан Андерсен, позволявший себе высказываться — без тени недовольства — по поводу грубоватых манер Кейти, Мейми и мальчиков во время своего продолжительного визита, пропускал мимо ушей раздраженные критические замечания Диккенса в свой адрес.)

В тишине своей комнаты — хотя до слуха моего доносились радостные крики детей и Чарльза Диккенса, игравших в гостиной внизу, — я достал из чемодана бутыль лауданума и наполнил чистый стакан, стоявший, как и постоянно пополняемый кувшин холодной воды, около умывального таза. Я не сомневался, что грядущий вечер станет для меня настоящим испытанием — в буквальном и эмоциональном смысле. Я залпом выпил первый стакан лекарства и налил второй.

Возможно, дорогой читатель, вы недоумеваете, почему я согласился доносить на Диккенса назойливому бывшему полицейскому. Надеюсь, вы не стали думать обо мне хуже, когда прочитали о моем вступлении в тайный сговор с Филдом.

Я согласился на эту фаустовскую сделку по трем причинам.

Во-первых, я считал, что Диккенс хочет, чтобы я рассказал отставному инспектору Чарльзу Фредерику Филду обо всех событиях, произошедших в ночь наших совместных поисков Друда, и обо всем, что Диккенс поведал мне о Друде впоследствии. Но зачем Диккенсу было надо, чтобы я доносил на него, спросите вы. Мне трудно судить обо всех мотивах писателя, но я твердо уверен: он хотел, чтобы я информировал Филда, но не хотел просить меня об этом. Диккенс знал, что частный сыщик допрашивал меня. Он наверняка понимал, что человек вроде Филда попытается шантажировать меня не одной только угрозой предать гласности характер наших с Кэролайн отношений, и так всем известный. И главное — Диккенс никогда не рассказал бы мне историю жизни Друда и не признался бы в своих походах в лон-

донский Подземный город, если бы не предвидел, что я передам данную информацию наглому инспектору, и не желал этого.

Какую игру вел Диккенс, я не имел понятия. Но меня не покидало ощущение, что я состою в тайном сговоре скорее с Неподражаемым, нежели со злокозненным инспектором Филдом.

Во-вторых, у меня имелись свои веские причины использовать инспектора для сбора информации о Чарльзе Диккенсе и Эллен Тернан. Я знал, что об этой стороне своей жизни Диккенс никогда не станет мне ничего рассказывать. Связь с упомянутой актрисой уже давно (задолго до Стейплхерстской катастрофы, послужившей лишь к выявлению скрытых моментов) изменила всю жизнь Неподражаемого и повлияла на его отношения со всеми окружающими, включая меня. Однако подробности этой любовной связи и напряженной «второй жизни» остались бы тайной до и после смерти Диккенса, положи он хранить молчание на сей счет (ибо когда он отступался от принятых решений?). По ряду причин — о них я, возможно, поведаю позже, дорогой читатель, — я хотел знать эти подробности. Инспектор Филд, со своими недюжинными способностями к выпытыванию любых сведений, полным пренебрежением к джентльменским этическим нормам и широкой сетью расторопных агентов, представлялся идеальным источником подобной информации.

В-третьих, я вступил в тайный сговор с инспектором Филдом, поскольку хотел перестроить наши с Чарльзом Диккенсом отношения, начавшие портиться около года назад, еще до Стейплхерстской катастрофы. Ведь, в сущности, я передавал сыщику информацию о Друде, чтобы помочь защитить Чарльза Диккенса в крайне опасной для него ситуации. Мне казалось, что возобновление нашей оказавшейся под угрозой дружбы — и восстановление моего подорванного равноправия в ней — просто необходимо, если я хочу спасти и защитить своего друга Чарльза Диккенса.

Прошло двадцать минут с тех пор, как я принял лауданум, и подагрическая боль, тисками сжимавшая голову, терзавшая внутренности и крутившая суставы, стала постепенно отпускать. Глубокий покой объял душу, мысли прояснились.

Какие бы сюрпризы ни приготовил нам Диккенс к рождественскому обеду, теперь я был готов встретить их с обычными для Уилки Коллинза самообладанием и юмором.

Глава 13

— Ну нет... э... Диккенс! Право слово! Только не этот ваш... э... не этот ваш чепуховый «Общий друг»! Нет! Вот «Копперфилд»... э... э... совсем другое дело! Ей-богу, это чудесное сочетание страсти и игривости... э... э... слитых воедино самым... э... ах, право же, Диккенс! Восхищает и трогает до глубины души. Это настоящее искусство, а вы знаете... э... что я... нет, Диккенс! Черт меня побери, совсем! Ведь я видел лучшие образцы искусства в великое время, но это просто непостижимо. Как это захватывает... э... э... как это сделано... э... как только может этот человек? Он положил меня на обе... э... лопатки, и все тут!

Так говорил наш «неожиданный гость», промокая узорчатым шелковым платком огромный бледный лоб, покрытый испариной. Потом старик вытер слезящиеся глаза.

«Таинственными гостями» оказались, разумеется, Уильям Чарльз Макриди, знаменитый трагик, и его вторая жена Сесил.

Я страстно надеюсь, что это имя знакомо вам, дорогой читатель отдаленного будущего, — ведь если в вашу эпоху Уильям Чарльз Макриди уже забыт, смею ли я рассчитывать, что имя или сочинения ничтожного Уилки Коллинза дошли до вас?

Уильям Чарльз Макриди был знаменитым трагиком нашего времени, наследником неувядаемой славы Кина, по мнению многих превзошедшим великого актера «шекспировского театра» как в тонкости трактовки образов, так и в эмоциональной филигранности игры. Самые памятные свои роли за несколько десятилетий царствования на английской сцене Макриди сыграл в «Макбете» и «Короле Лире». Родившийся в 1793 году (если я не ошибаюсь в подсчетах), Макриди был уже зрелой, признанной театральной звездой и известной публичной фигурой во время, когда Диккенс — получивший прозвище Неподражаемый Боз после головокружительного успеха «Записок Пиквикского клуба» — был просто восторженным юношей, мечтающим о сцене и благоговеющим перед блистательными актерами. Уникальный дар к изображению на сцене страданий и угрызений совести, зачастую в ущерб величественному пафосу, которому отдавали предпочтение играющие Шекспира актеры, роднила Макриди с молодым писателем, обладавшим такой же способностью.

Как и Диккенс, Макриди был сложным, впечатлительным и парадоксальным человеком. Внешне столь же самоуверенный, как Неподражаемый, в глубине души Макриди — по свидетельству самых близких людей — постоянно терзался сомнениями. Он гордился своей профессией точно так же, как Диккенс — своей, но при этом сомневался (как часто делал Диккенс), что подобная профессия приличествует истинному джентльмену. Однако в конце 1830-х восходящая звезда Диккенс и его друзья Макриди, Форстер, Маклайз, Эйнсворт, Берд и Миттон составили круг талантливых и честолюбивых людей, не имевший себе равных в истории нашего маленького острова.

Из всех перечисленных особ Уильям Чарльз Макриди был — до восхождения Диккенса к славе — самым знаменитым.

В течение многих лет (даже десятилетий) Неподражаемый Боз писал восхищенные зрительские рецензии,

с особым пылом восхваляя (вместе со своим соавтором и издателем Джоном Форстером) выдающиеся театральные достижения вроде «Короля Лира» в постановке Макриди, который вернул пьесе изначальное трагическое звучание после того, как на протяжении полутора веков публике приходилось довольствоваться кошмарной версией со «счастливым концом», состряпанной Нейхемом Тейтом. Макриди вновь ввел в состав действующих лиц «Лира» Шута, на каковой вдохновенный спасительный акт впечатлительный Чарльз Диккенс откликнулся всем своим существом, как откликается колокол на удар молота. Однажды я просматривал статью восторженного Боза, посвященную конкретно этому вопросу, и в ней он не только говорит, что образ Лира еще более «выиграл от возвращения в трагедию Шута», но также называет постановку Макриди «превосходной» и поясняет свое мнение: «Сердце, душа и разум несчастного создания раскрыты перед нами в своем движении к гибели... Нежность, ярость, безумие, угрызения совести и раскаяние — все чувства вытекают одно из другого и неразрывно связаны между собой».

В 1849 году новомодный американский актер Эдвин Форрест — в прошлом водивший дружбу с Макриди и вовсю пользовавшийся его щедростью — посетил Англию и оскорбительно отозвался о его трактовке «Гамлета», посмев, в частности, заявить, что великий английский трагик семенил взад-вперед по сцене и произносил реплики на манер женоподобного фата. Как следствие, на протяжении всего своего турне здесь Форрест встречал враждебный прием у английской публики. Англичане смеялись над Гамлетом, произносящим бессмертные строки Эйвонского Барда с чудовищным американским акцентом. Чуть позже, в мае того же года, Макриди отправился в гастроль по Америке (где бывал прежде и всегда встречал теплый прием), и там бостонские и нью-йоркские бандиты, серьезные любители Шекспира, заядлые театралы и разнузданные хулиганы во время спек-

таклей забрасывали Макриди тухлыми яйцами, стульями, дохлыми кошками и еще более отвратительными снарядами. Многие американские театралы пытались защитить нашего знаменитого трагика. Нью-йоркские бандиты сговорились нанести сокрушительный удар по мистеру Макриди и английской гегемонии во всем, что касается Шекспира. В результате 10 мая 1849 года произошло одно из самых кровавых побоищ в истории Нью-Йорка. У театра «Астор-Палас» собралась пятнадцатитысячная толпа, разделившаяся на сторонников и противников Макриди; мэр города и губернатор штата запаниковали и призвали на помощь милиционные войска, так называемую национальную гвардию; солдаты открыли огонь по толпе, и от двадцати до тридцати горожан остались лежать мертвыми на улице.

Все это время Диккенс безостановочно слал Макриди телеграммы со словами поддержки и утешения, уподобляясь вооруженному полотенцем и нюхательными солями боксерскому импресарио в углу ринга.

За годы знакомства Диккенс потихоньку написал и стыдливо представил на рассмотрение великому актеру множество коротких драм и комедий, однако Макриди тактично отклонил все их (хотя Диккенс участвовал в постановке таких памятных спектаклей с Макриди в главной роли, как «Генрих V», вышедший в 1838 году). По неведомой причине это нисколько не возмутило и не оскорбило Неподражаемого, который, как мне известно по опыту, не потерпел бы подобных отказов ни от кого другого, даже от королевы.

Таким образом, их дружба продолжалась и крепла вот уже три десятилетия. Но по мере того, как они теряли общих друзей — либо лишавшихся расположения Диккенса, либо умиравших, — в отношении Неподражаемого к Макриди все отчетливее проступало печальное сострадание.

Судьба обошлась со знаменитым трагиком сурово. После побоища у «Астор-Паласа» пожилой актер принял

решение покинуть сцену, но когда он отправился в прощальную гастроль, умерла его любимая старшая дочь, девятнадцатилетняя Нина. Макриди, человек глубоко верующий и склонный к самокопанию, в буквальном смысле затворился от света, чтобы разобраться со своими вновь нахлынувшими сомнениями относительно мироздания и себя самого. Его жена Кэтрин в ту пору была беременна десятым ребенком. (Диккенсов и Макриди объединяло не просто поверхностное сходство — супружеские пары состояли в столь близких отношениях, что именно чете Макриди Чарльз Диккенс доверил своих детей, когда в начале 1840-х вместе женой отправился в первое свое турне по Америке, — но Уильям Чарльз Макриди так и не разлюбил *свою* Кэтрин.)

Последнее выступление Макриди состоялось 26 февраля 1851 года в театре на Друри-лейн. Разумеется, для прощального представления он выбрал «Макбета» — роль, принесшую ему наибольшую славу, и спектакль, во время которого его освистали и забросали тухлыми яйцами в Америке. После прощального спектакля состоялся неизбежный банкет, на сей раз столь многолюдный, что устраивать его пришлось в гулком зале старой Торговой палаты. Бульвер-Литтон прошепелявил прочувствованную речь. Джон Форстер продекламировал исключительно скверное стихотворение, сочиненное по случаю Теннисоном. Теккерей, чья единственная обязанность заключалась в произнесении тостов за здоровье присутствующих дам, чуть не лишился чувств «от нервов». Организовавший все мероприятие Диккенс, в ярко-синем сюртуке со сногсшибательными медными пуговицами и атласном черном жилете, произнес трогательную, печальную и смешную одновременно, поистине незабываемую речь.

Кэтрин Макриди скончалась в 1852 году. Как и дочь Нина, жена Макриди умерла после долгой мучительной борьбы с туберкулезом. Диккенс рассказывал мне о своем последнем визите к больной и о том, как вскоре после него он написал в письме к одному своему другу: «Роко-

вой серп широко косит повсюду вокруг тебя, когда твой собственный колос созревает». В следующем году умерли оба сына Макриди, Уолтер и Генри, и за ними почти сразу последовала их сестра Линда. Ни один из десяти детей актера не дожил до двадцати.

В 1860 году, после восьми лет траура, проведенных в уединении в мрачном шернбурнском поместье, шестидесятисемилетний Макриди женился снова — второй миссис Макриди стала двадцатитрехлетняя Сесил Луиза Фредерика Спенсер — и перебрался в роскошный новый особняк в Челтенхэме, расположенном всего в четырехпяти часах езды от Лондона. Вскоре у них родился ребенок.

Диккенс ликовал. Неподражаемый страшился, ненавидел и гнал прочь самую мысль о старости (вот почему его старшая внучка Мэри Анджела, дочь Чарли и Бесс, нынче вечером называла Диккенса «Почтенный» — он запрещал употреблять слово «дедушка» в своем присутствии) и не желал видеть или замечать признаков старения и физического угасания в ближайших своих друзьях.

Но в рождественский вечер 1865 года сидевший с нами за столом семидесятидвухлетний Уильям Чарльз Макриди видом своим являл все мыслимые признаки старости и немощи.

Черты лица, в прошлом единодушно признававшиеся чрезвычайно интересными для актера — волевой подбородок, широкий лоб, крупный нос, глубоко посаженные глаза, сложенные бутоном губы, — теперь вызывали ассоциации с некогда гордой хищной птицей в последней стадии одряхления.

Как актер, Макриди разработал особый сценический прием — ныне известный под названием «макридиевская пауза», — которому до сих пор учат в театральных школах. В сущности, это была всего лишь неуверенная заминка, запинка в речи, странная пауза посреди шекспировской строки, никак не обусловленная пунктуацией, и она действительно зачастую придавала строке дополнительную выразительность, порой даже меняя

значение предшествующих и последующих слов. Много лет назад Макриди ввел такую паузу в свою обыденную речь, и многие пародировали его властную манеру общения с актерами в ходе репетиций: «Стойте... э... э... смирно, черт бы вас... э... побрал!» или «Смотрите... э... э... на меня, сэр!»

Но теперь макридиевская пауза выхолащивала почти весь смысл из речей Макриди.

— Я не в силах... э... э... не в силах выразить вам... э... Диккенс, как... Что там за неуместный и... э... э... ужасный такой шум?.. Дети? Ваши дети, Чарли? Какая кошка? А вы... а... а... черт побери! Сесил! О чем я говорил?.. Коллинз! Нет, не *вы*, а другой... в очках! Я читал вашу... э... э... просматривал вашу... вы... вы... не... не хотели же вы сказать, что она... Пожалуйста, прелестная Джорджина, прошу вас, избавьте нас от этого... э... э... избавьте нас от этого... э... э... невыносимого грохота кастрюль на кухне, хорошо? Да! Ну право слово! Пусть кто-нибудь скажет помощнику режиссера, что этих несносных детей надо бы... Ах да!.. «Женщина в белом», вот о чем я хотел... э... э... превосходная индейка, голубушка моя! Превосходная!

Индейка действительно была недурственной. Иные люди писали, что в последние десятилетия английские семьи, собирающиеся за столом на Рождество, отказались от костистого сального гуся в пользу мясистой жирной индейки главным образом благодаря Чарльзу Диккенсу. Одна только концовка «Рождественской песни», казалось, побудила многие тысячи наших соотечественников, прежде отдававших предпочтение гусю, припасть к белой индюшачьей грудке, поистине сладостной для вкуса.

Так или иначе, индейка удалась на славу, как и все горячие гарнирные блюда. Даже белое вино оказалось лучше, чем обычно подававшееся в доме Диккенса.

По меркам Неподражаемого, компания, встречавшая у него Рождество 1865 года, была маленькой, но все же

за длинным столом сидело гораздо больше народа, чем когда-либо собиралось на рождественский ужин в нашем с Кэролайн доме. Во главе стола восседал, разумеется, Чарльз Диккенс; остов более крупной из двух поданных и уже практически изничтоженных индеек все еще покоился на блюде перед ним, словно военный трофей. Справа от него размещался Макриди, а напротив знаменитого трагика располагалась его молодая жена Сесил. (Наверняка существует незыблемое правило хорошего тона, возбраняющее усаживать супругов друг против друга — на мой взгляд, это ничем не лучше, чем усаживать мужа и жену рядом, — но Чарльз Диккенс никогда не обращал особого внимания на предписания этикета. Чистой воды подснеповщина, говорил он.)

Рядом с Макриди сидела его крестница, получившая одно из имен в честь него, Кейт Макриди Диккенс-Коллинз, но она явно не находила удовольствия в близком соседстве со своим крестным — да и в обществе всех прочих гостей, коли на то пошло. После каждой изобилующей междометиями невнятной тирады Макриди она морщилась и метала ехидный взгляд на отца, после чего переводила взор на свою сестру Мейми и выразительно закатывала глаза. Мейми, Мэри, сидевшая по левую руку от меня (по неведомой причине Диккенс даровал ей почетное право занять место в другом конце стола, напротив него), располнела еще сильнее за несколько недель, прошедших с нашей последней встречи, и становилась все больше и больше похожа на свою дородную мать.

Напротив Кейти сидел мой брат Чарльз, который действительно выглядел больным нынче вечером. Как бы неприятно ни было мне соглашаться с Диккенсом в данном вопросе, землисто-бледное лицо Чарли и вправду походило на обтянутый кожей череп.

Справа от Кейти Диккенс размещался наш любимый Молодой Сирота, счастливо уцелевшая жертва Стейплхерстской катастрофы Эдмонд Диккенсон — он весь вечер глупо ухмылялся, пялился по сторонам и одарял всех

по очереди лучезарными улыбками, как законченный дурак, каковым, собственно, и являлся. Напротив Диккенсона сидел другой холостяк, двадцатишестилетний Перси Фицджеральд, державшийся так же жизнерадостно и восторженно, как Диккенсон, но при этом умудрявшийся не производить впечатления полного идиота.

Между Диккенсоном и Мейми Диккенс располагался Чарли Диккенс. Первенец Неподражаемого казался самым счастливым из всех присутствующих, — вероятно, причина столь радостного настроения находилась прямо напротив него. Надо признать, Бесси Диккенс, жена Чарли, была самой очаровательной женщиной за столом — ну или лишь самую малость уступала в части привлекательности Сесил Макриди. Неподражаемый рвал и метал, когда Чарли влюбился в Бесси Эванс, — отец девушки, Фредерик Эванс, был старинным другом писателя, но Диккенс никогда не простил Эвансу того, что он представлял интересы Кэтрин в ходе мерзких переговоров насчет раздельного проживания, а равно того, что впоследствии он стал ее попечителем, — хотя Диккенс самолично попросил Эванса выступить в обеих этих ролях.

К счастью для себя и своего будущего, Чарли проигнорировал угрозы и ультиматумы отца и женился на Бесси. Сегодня вечером она была молчалива и сдержанна — она вообще редко подавала голос в присутствии свекра, — но от нее и не требовалось никаких слов: достаточно было просто любоваться ее прелестной стройной шеей, озаренной мягким светом свечей. Слева от Бесси сидела Джорджина Хогарт, которая без устали кудахтала про все по очереди блюда и гарниры, старательно исполняя обязанности хозяйки дома в отсутствие — весьма ощутимом — жены писателя.

Слева от Джорджины и справа от меня помещался молодой Генри Филдинг Диккенс. На моей памяти шестнадцатилетний паренек впервые сидел за столом со взрослыми на Рождество. Генри, в своем новеньком атласном жилете с чересчур заметными пуговицами, просто сиял

от гордости. Длинные бакенбарды, которые мальчик пытался — без особого успеха — отпустить на покрытых нежным пушком щеках, были заметны гораздо меньше, чем жилетные пуговицы. Он постоянно трогал — похоже, машинально — свои гладкие щеки и верхнюю губу, словно проверяя, не появилась ли там за время ужина вожделенная растительность.

По левую руку от меня, между мной и Мейми Диккенс, сидел по-настоящему «неожиданный (для меня) гость»: очень высокий, весьма упитанный, очень румяный, совершенно лысый господин с роскошными усами и бакенбардами, о каких бедный юный Генри Д. мог только мечтать. Звался он Джорджем Долби, и я два или три раза видел его в редакции «Домашнего чтения», хотя он, насколько я помнил, занимался то ли театральной, то ли предпринимательской, но уж всяко не издательской деятельностью. В ходе общей беседы перед ужином стало ясно, что Диккенс прежде водил с Долби лишь шапочное знакомство, хотел обсудить с ним какие-то дела и — поскольку Долби оказался свободен в это Рождество — пригласил его в Гэдсхилл под влиянием момента.

Долби оказался краснобаем каких поискать, несмотря на заикание, которое, впрочем, начисто исчезало, когда он пародировал других людей (что случалось часто). Он рассказывал разные занимательные истории из разряда театральных сплетен, причем рассказывал с поистине актерской выразительностью, если не считать легкого заикания, появлявшегося, только когда он говорил от собственного лица. Но он также умел слушать. И смеяться. Несколько раз в течение вечера сей господин заливался громким, веселым, раскатистым, непринужденным смехом, заставлявшим Кейти и Мейми Диккенс переглядываться и закатывать глаза, но неизменно вызывавшим улыбку у Неподражаемого. Казалось, Долби с особым интересом внимал практически недоступным пониманию тирадам Макриди и терпеливо ждал, когда старик, через бесконечное эканье и меканье, доберется

до заключительного «ей-богу!», а потом разражался жизнерадостным хохотом.

«Общая» часть вечера подошла к концу: дети и внуки пожелали Почтенному и своим родителям доброй ночи; в застольной беседе возникла такая долгая пауза, что даже говорливый Долби впал в чуть печальную задумчивость; Кейти и Мейми уже перестали переглядываться и закатывать глаза, и женщины явно готовились удалиться туда, куда они обычно удаляются, когда мужчины перемещаются в библиотеку или бильярдную, чтобы выпить бренди и выкурить сигару, — но тут молодой Диккенсон сказал:

— Прошу прощения, мистер Диккенс, позвольте полюбопытствовать, что вы сейчас пишете? Вы уже начали работу над очередным романом?

Вместо того чтобы нахмуриться на выскочку, Диккенс улыбнулся, словно весь вечер ждал этого вопроса.

— Вообще-то, — промолвил он, — я на время оставил сочинительство. Не знаю, когда я снова возьмусь за перо.

— Отец! — воскликнула Мейми с шутливой тревогой. — Ты не пишешь? Ты не работаешь в своем кабинете каждый день? Видимо, дальше ты скажешь, что солнце отныне восходит не на востоке.

Диккенс вновь улыбнулся:

— Честно говоря, в ближайшие месяцы — возможно даже, годы — я решил заняться более стоящим делом. Творческим делом, более выгодным для меня и в художественном, и в финансовом плане.

Кейти по-своему истолковала улыбку Неподражаемого.

— Ты решил податься в художники, отец? В иллюстраторы? — Она взглянула на своего тихого мужа, моего брата, поверх блюда с остовом индейки. — Берегись, Чарльз. У тебя появился еще один конкурент.

— Ничего подобного, — сказал Диккенс. Он часто раздражался на Кейт, но сегодня отреагировал на кол-

кость дочери на удивление невозмутимо. — Я решил создать совершенно новый вид искусства. Ничего подобного человечество не знало — и даже не представляло! — доселе.

— Еще один... э... э... новый... э... э... то есть... ейбогу, Диккенс! — дельно высказался Макриди.

Писатель подался влево и негромко сказал Сесил:

— Дорогая моя, ваш муж, как никто из присутствующих, в состоянии понять, сколь прекрасно и благородно дело, которым я намерен заняться в ближайшем будущем.

— Ты собираешься стать профессиональным актером, отец? — возбужденно выпалил Генри, всю жизнь видевший своего отца на любительской сцене и даже прыгавший у него на руках на этой самой сцене во время первых представлений моей «Замерзшей пучины».

— Вовсе нет, сынок, — ответил Диккенс, по-прежнему улыбаясь. — Осмелюсь предположить, наш друг Уилки, сидящий на другом конце стола, догадывается, о чем я веду речь.

— И близко не представляю, — честно признался я.

Диккенс положил ладони на стол, позой своей напомнив мне Христа из «Тайной вечери» Да Винчи. Вслед за этой мыслью в голову мне тотчас пришла другая: «А может, сейчас у нас происходит Тайная вечеря и один из присутствующих здесь — Иуда?»

— Я уполномочил Уиллса договориться от моего имени с господами Чеппелами с Нью-Бонд-стрит о контракте на тридцать публичных чтений, самое малое, — продолжал Диккенс. — Хотя переговоры еще только-только начались, я совершенно уверен, что все состоится и что это станет новой вехой в моей профессиональной жизни и в истории общественных развлечений просветительского свойства.

— Но отец! — вскричала Мейми, явно глубоко потрясенная. — Ты же отлично помнишь, что говорил доктор Берд во время последних твоих болезней: у тебя ослаблена сердечная деятельность и тебе необходимо больше

отдыхать... Твои предыдущие поездки с публичными чтениями настолько тебя вымотали...

— Ах, вздор! — воскликнул Диккенс, улыбаясь еще шире. — Мы намереваемся назначить мистера Долби... — (Упомянутый господин покраснел и чуть наклонил голову.) — ...моим импресарио и компаньоном в предстоящем турне. Чеппелы не только уладят все организационные и административные дела, но и покроют все мои личные и дорожные расходы, а равно расходы мистера Долби и, возможно, мистера Уиллса. От меня потребуется лишь взять одну из своих книг и читать отдельные главы из нее в назначенное время и в условленном месте.

— Но подобные чтения едва ли можно назвать... как ты там выразился, отец?.. новым видом искусства, — заметила Кейти. — Ты неоднократно читал свои сочинения перед публикой.

— Верно, моя дорогая, — согласился Диккенс. — Но еще никогда прежде я не выступал так, как собираюсь выступать в этом и всех последующих турне. Как тебе известно, я всегда не просто... читаю места из своих книг, хотя порой и делаю вид, будто поступаю именно так. Всякий раз я читаю по памяти и оставляю за собой право в значительной мере изменять, исправлять, переписывать отдельные эпизоды — даже пускаться в чистейшей воды импровизации, как зачастую делал присутствующий здесь знаменитый трагик, усовершенствуя самого Шекспира. — Он похлопал Макриди по руке.

— Ах... да... я, конечно... в пьесы Бульвер-Литтона, да... я вставлял отсебятину... — Бледное морщинистое лицо Макриди чуть порозовело. — Но... э... э... Эйвонский Бард... ни разу, ей-богу!

Диккенс рассмеялся:

— Ну, я все-таки не Шекспир. Мои слова не высечены на каменных скрижалях, как Моисеевы заповеди.

— Но... новый вид искусства? — подал голос мой брат. — Разве публичные чтения могут стать таковым?

— Мои — станут, — отрезал Диккенс, вмиг убрав улыбку с лица.

— Ваши чтения и так неповторимы и блистательны, сэр, — сказал молодой Диккенсон.

— Спасибо, Эдмонд. Я ценю ваше великодушие. Но в свои предстоящие выступления, которые вскоре начнутся и, возможно, будут продолжаться, как я уже сказал, много лет, я собираюсь привнести небывалое доселе актерское мастерство в сочетании с истинным пониманием природы животного магнетизма.

— О боже, магнетизм! — выпалил Долби. — Неужто, сэр, вы намереваетесь не только развлекать, но еще и гипнотизировать публику?

Диккенс снова улыбнулся и погладил бакенбарды.

— Полагаю, мистер Долби, вы читаете. Я имею в виду — романы.

— Ну разумеется, сэр! — Долби рассмеялся. — Я с наслаждением прочитал все ваши сочинения, а также сочинения присутствующего здесь мистера Коллинза — то есть мистера Коллинза, что сидит в конце стола справа от меня. — Он повернулся ко мне. — Ваш роман «Армадейл», мистер Коллинз, опубликованный в журнале мистера Диккенса... Превосходная вещь, сэр! И ваша главная героиня — Лидия Гвилт, если мне не изменяет память... Какая женщина! Просто чудо как хороша!

— Мы не имели удовольствия напечатать в нашем журнале *этот* роман мистера Коллинза, — сухо промолвил Диккенс. — И не удостоимся чести издать его отдельной книгой. Он выйдет в мае будущего года в другом издательстве. Хотя я рад сообщить, что в настоящее время мы уговариваем нашего дорогого Уилки опубликовать следующий свой роман в «Домашнем чтении».

— Ах, замечательно, просто замечательно! — воскликнул Долби с неподдельным восторгом. Он понятия не имел, какую бестактность совершил, похвально отозвавшись о моем сочинении.

Действительно, мой последний роман «Армадейл», написанный на волне успеха «Женщины в белом», опубликованной в диккенсовском «Домашнем чтении», был издан выпусками — и на гораздо выгоднейших для меня

условиях — в журнале «Корнхилл». И вскоре он должен был выйти в виде отдельной книги в издательском доме «Смит, Элдер энд компани», выпускавшем «Корнхилл».

Но не одна только эта вопиющая бестактность Долби стала причиной того, что лицо Диккенса — мгновение назад сияющее, благостное и полное жизни — вдруг показалось старым и изможденным. Такая перемена настроения, я уверен, была вызвана крайне неуместным упоминанием о моей героине Лидии Гвилт.

В какой-то момент в моем романе Лидия, не понаслышке знакомая с физической болью — как своей, так и чужой, — говорит:

> Что за человек такой изобрел лауданум? Я благодарю его от всего сердца, кем бы он ни был. Когда бы все несчастные, терзаемые болью телесной и душевной, чьи муки он облегчил, собрались вместе, дабы воспеть ему хвалы, — какой мощный хор получился бы! Я на целых шесть часов погрузилась в блаженное забытье и проснулась с ясной головой.

Я слышал от очень и очень многих людей, включая моего брата и Кейти, что Диккенс остался крайне недоволен приведенными выше словами, а равно общим моим терпимым отношением к лаудануму и прочим опиатам, выказанным в романе.

— Но вы собирались объяснить нам, какое отношение имеет публичное чтение романов к новому виду искусства, — сказал я, обращаясь к Диккенсу через тесно заставленный блюдами и тарелками стол.

— Да, — промолвил Неподражаемый и улыбнулся Сесил Макриди, словно извиняясь за мое вмешательство в разговор. — Вам известно ни с чем не сравнимое и ни на что не похожее чувство, какое испытывает человек, выступающий с чтением перед публикой. Люди ничего не видят, не слышат и не чувствуют, помимо вас и ваших слов, когда вы читаете поистине хорошую книгу.

— О да! — вскричал молодой Диккенсон. — В такие моменты реальный мир просто исчезает! Все прочие мысли бесследно пропадают! Остаются только образы,

звуки, персонажи и мир, созданные для нас автором! Окружающая действительность просто перестает существовать для тебя. Всем читателям хорошо знакомо такое чувство.

— Вот именно. — Диккенс снова улыбался, и глаза у него снова блестели. — И именно в таком восприимчивом состоянии должен находиться человек, чтобы врач-месмерист мог выполнить свою работу. Правильно используя языковые средства, фразы, описания и диалоги, чтец вводит слушателя в восприимчивое состояние, подобное тому, в какое погружается пациент под воздействием магнетических токов.

— Бог мой! — вскричал Макриди. — Зрители в... э... э... театре впадают в точно такой же... э... транс. Я всегда говорил, что... э... э... публика является третьей вершиной... э... так сказать, творческого треугольника... наряду с автором пьесы и актером.

— Совершенно верно, — подтвердил Диккенс. — В этом-то и заключается сущность моего нового исполнительского искусства, которое прежде было просто художественным чтением. Пользуясь обостренной восприимчивостью слушателей — гораздо более высокой, чем у читателя, сидящего в одиночестве дома, в вагоне поезда или даже в саду, — я намерен использовать свои месмерические способности в сочетании с интонациями и текстом, чтобы погружать людей в еще более восприимчивое, чуткое и творческое состояние, чем до сих пор удавалось театру или литературе по отдельности.

— Посредством одних только слов? — спросил мой брат.

— И тщательно продуманной жестикуляции, — сказал Диккенс. — В подобающей обстановке.

— А под обстановкой вы п-п-подразумеваете сцену, — заметил Долби. — Да уж, что и говорить! Это будет нечто из ряда вон выходящее!

— Не просто сцену. — Диккенс чуть заметно кивнул, словно уже готовясь раскланиваться в ответ на аплодисменты. — А также темный зал. Искусно настроенные

газовые осветительные приборы, выхватывающие из мрака прежде всего мое лицо и руки. И такое расположение зрительских мест, чтобы я мог свободно встретиться взглядом с каждым из сидящих в зале.

— Мы возьмем в турне своих собственных опытных осветителей, — вставил Долби. — Это одно из главных условий, выдвинутых Уиллсом в ходе переговоров.

Макриди ударил кулаком по столу и рассмеялся:

— Публика и не догадывается, что... э... э... газовые лампы... э... э... оказывают дурманящее действие. Ей-богу! Они сжигают в помещении... в театральном зале... кислород!

— Это точно, — согласился Диккенс, лукаво улыбаясь. — И мы воспользуемся данным обстоятельством в своих интересах, чтобы в процессе выступления погружать публику — смею надеяться, весьма многочисленную — в необходимое восприимчивое состояние.

— Необходимое для чего? — вяло поинтересовался я.

Диккенс вперил в меня месмерический взгляд и негромко промолвил:

— Как раз это и покажут предстоящие чтения — новая форма искусства.

После ужина мужчины с бренди и сигарами переместились в бильярдную, расположенную рядом с кабинетом Диккенса. Я провел много приятных часов в этой уютной, хорошо освещенной комнате, где одна стена была до половины высоты облицована плиткой, во избежание возможных повреждений от наших киев. Диккенс относился к игре в бильярд очень серьезно — он часто говорил, что она «выявляет в мужчине характер», и нередко добавлял, бросая взгляд на моего брата, «или отсутствие оного». Так или иначе, в памяти моей навсегда запечатлелся Неподражаемый, низко склонившийся над обтянутым зеленым сукном столом, без сюртука и в круглых пиквикских очочках, придававших ему старомодный и старообразный вид.

Диккенс любил общество Перси Фицджеральда среди всего прочего еще и потому, что молодой человек тоже относился к бильярду серьезно и играл в него весьма недурно — по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы составить партию мне или Диккенсу. Я владел кием лучше среднего, как и положено любому закоренелому холостяку, но сегодня вечером с удивлением обнаружил, что наш дорогой сирота, молодой Эдмонд Диккенсон, играет скорее как человек, зарабатывающий на жизнь игрой на деньги. (Возможно, он так и делал, что бы там ни говорил Диккенс о крупном независимом состоянии малого.)

Макриди азартно гонял шары с нами, пока жена не отправила его спать после стакана теплого молока. Но именно Джордж Долби — будущий импресарио и деловой партнер Диккенса — оживил своим присутствием вечер: сей энергичный господин с блестящей от пота лысиной часто заливался хохотом, рассказывал поистине забавные истории без малейшего намека на заикание, легко обыграл Перси, потом меня, потом Диккенса и, наконец, на изумление мастерски владевшего кием и оказавшего упорное сопротивление молодого Диккенсона, чья игра свидетельствовала не только о тонком понимании бильярдной баллистики, но также о расчетливой хитрости, какой в нем никто не заподозрил бы, на него глядя.

Диккенс, по заведенному обыкновению, удалился в полночь, но настоятельно попросил нас всех продолжить игру. Обычно я задерживался в бильярдной, если там собиралась интересная компания, и мы зачастую играли, между делом потягивая бренди, до самого рассвета, но сегодня, когда вскоре после ухода Диккенса Долби поставил свой кий на место и откланялся (вероятно, пока еще не вполне уверенный в своих гостевых привилегиях в Гэдсхилле), игра расстроилась. Перси отправился в «Фальстаф-Инн» в сопровождении слуги с фонарем, а мы с Диккенсоном поднялись наверх, каждый в свою комнату.

Несмотря на принятое ранее лекарство, подагрические боли немилосердно крутили меня ко времени, когда я разделся и приготовился отойти ко сну. Оценив количество лауданума, оставшегося в моей походной бутыли, я выпил еще два стакана тонизирующего и снотворного средства.

Я сказал «тонизирующего и снотворного», поскольку лауданум — как вам почти наверняка известно, дорогой читатель, живущий в более просвещенную в части медицины эпоху, — не только хорошо успокаивает нервы и усыпляет, но также обостряет чувства, повышает работоспособность и способствует высокой концентрации внимания. Я не знал (возможно, никто не знал), каким образом один и тот же препарат служит двум взаимоисключающим целям, но я точно знал, что он весьма эффективен в обоих случаях. Нынче ночью я нуждался в успокоительном и снотворном действии лекарства.

Мой возбужденный ум жаждал поразмыслить о странной затее Диккенса с публичными чтениями, представляющими собой «совершенно новую форму искусства», и связать всю чушь, которую он нес про месмеризм и магнетизм, с его предполагаемыми визитами к подземному обитателю по имени Друд, но благословенный лауданум избавил меня от назойливых вопросов, теснившихся у меня в голове.

Последней мыслью, посетившей меня перед сном, стала мысль об одном обстоятельстве, сообщенном мне инспектором Филдом несколькими неделями ранее.

Похоже, в течение осени Эллен Тернан несколько раз наведывалась в здешние края и даже непосредственно в Гэдсхилл. Конечно, сказал Филд, у бывшей актрисы живет родня в Рочестере, и потому она приезжала сюда вне зависимости от своей тайной связи с Диккенсом, но точно установлено, что она также посещала Гэдсхилл-плейс и в сентябре провела здесь по меньшей мере пять ночей.

Интересно, гадал я, как отреагировали Кейти и Мейми на такой захват материна места в доме? Я еще мог

представить, что Мейми, следуя примеру Джорджины Хогарт, радушно принимает незваную гостью, понимая (как понимали все), что Чарльз Диккенс мучается одиночеством и остро нуждается в юношеских иллюзиях, какие одна только любовь способна подарить уму и душе стареющего мужчины. Но Кейти? Кейт Макриди Диккенс, сколь бы несчастной и одинокой она сама ни казалась (в октябре Неподражаемый сказал мне, что жена моего брата «настолько неудовлетворена... настолько снедаема страстным желанием завести любовника, что медленно, но верно подрывает и свою репутацию, и свое здоровье, Уилки»), — так вот, она по-прежнему хранила верность памяти изгнанной из дома матери. Я не мог представить, чтобы Кейт, которая всего на год старше Эллен Тернан, приняла в свое сердце предполагаемую любовницу отца.

Далеко не каждый отважится заявить брату мужа своей дочери, что она неудовлетворена физически и усиленно ищет любовника, и я подозреваю, Диккенс сказал мне это с расчетом, что я передам его слова Чарли. Но я, разумеется, не сделал этого.

Видимо, Кейти не высказалась вслух против визитов Эллен — иначе бывшая актриса не стала бы приезжать в Гэдсхилл снова и снова.

С такими мыслями я погрузился в глубокий сон без сновидений.

Кто-то сильно тряс меня за плечо и шепотом повторял мое имя.

Я перекатился на другой бок, чувствуя себя как пьяный. Темноту в комнате рассеивал лишь слабый, странный свет, источник которого, казалось, находился на полу у кровати. Надо мной склонялась темная фигура.

— Проснитесь, Уилки.

Я вгляделся в фигуру.

У моей постели стоял Чарльз Диккенс, в ночной рубашке и наброшенной на плечи шерстяной куртке, с двустволкой в одной руке и скомканным саваном в другой.

«Пробил мой час», — подумал я.

— Вставайте, Уилки, — прошептал он. — Быстро. Наденьте туфли. Я принес вам пальто.

Он бросил саван мне на ноги, и я осознал, что это мое пальто.

— В чем де...

— Тсс, тише! Не то других разбудите. Поднимайтесь. Живо. Пока он не скрылся. Нельзя терять ни минуты. Наденьте только пальто и туфли. Вот и молодец...

Мы спустились по черной лестнице. Диккенс с ружьем и фонарем шел впереди, мы оба старались производить по возможности меньше шума.

Султан, свирепый ирландский волкодав, в намордник и ошейнике с поводком, ждал на привязи в заднем холле. Он так и рвался к двери.

— В чем дело? — спросил я. — Что случилось?

Бакенбарды у Неподражаемого и волосы на макушке нелепо топорщились со сна, что в других обстоятельствах изрядно меня позабавило бы. Но только не нынче ночью. В глазах Чарльза Диккенса читалось чувство, похожее на настоящий страх, — ничего подобного я не видел никогда прежде.

— Это был Друд, — прошептал он. — Мне не спалось. Я думал о разных делах, которые следует поручить Уиллсу. Я встал с постели, собираясь спуститься в кабинет и сделать для себя запись на память, и тут я увидел это, Уилки...

— Что именно, друг мой?

— Лицо Друда. Бледное, искаженное лицо. Оно маячило в окне. Прижималось к холодному стеклу.

— В вашем кабинете? — спросил я.

— Нет, — сказал Диккенс, уставившись на меня дикими, как у понесшей лошади, глазами. — В моей спальне.

— Но, Диккенс, — прошептал я, — это же невозможно. Ваша спальня находится на втором этаже, как и гостевые комнаты. Друду пришлось бы подняться по десятифутовой стремянной лестнице, чтобы заглянуть к вам в окно.

— Уилки, я его видел, — прохрипел Диккенс.

Он настежь распахнул дверь и, держа в одной руке фонарь и поводок, а в другой сжимая двустволку, вышел в ночь вслед за своим нетерпеливо рвущимся вперед псом.

На заднем дворе было очень холодно и очень темно — ни луны, ни звезд в небе, ни единого огонька в окнах дома. Ледяной ветер тотчас забрался под накинутое на плечи пальто и трепещущую ночную рубашку, и я задрожал всем телом. Я вышел без брюк и в туфлях на босу ногу, и сейчас, на кусачем морозном воздухе, испытывал такое ощущение, будто бритвенно-острые заледенелые травинки секут мне голые лодыжки и голени.

Султан с рычанием бросился вперед, увлекая за собой Диккенса. Мы походили на двух разъяренных селян, напавших на след убийцы, из какого-нибудь низкопробного авантюрного романа.

Возможно, таковыми мы и являлись.

Мы завернули за угол дома в кромешной тьме и остановились в саду под окнами спальни Диккенса. Султан рычал и рвался на поводке, но Диккенс на минуту задержался: отодвинул заслонку маленького фонаря и посветил на замерзшую землю клумбы. Ни подозрительных отпечатков ног, ни вмятин, оставленных приставной лестницей, там не наблюдалось. Мы оба взглянули на темное окно спальни Диккенса. Несколько звезд показались в разрыве быстро плывущих облаков и спустя несколько мгновений исчезли.

Если Друд заглядывал в окно, не пользуясь стремянной лестницей, значит он парил в воздухе на высоте десяти футов.

Султан зарычал, дернулся на поводке, и мы устремились за ним.

Вернувшись на задний двор, мы остановились на краю поля, где в 1860 году Диккенс сжег всю свою корреспонденцию. Голые ветви деревьев с костяным стуком раскачивались на ветру.

— Но откуда здесь взяться Друду? — шепотом спросил я. — Зачем ему являться сюда?

— Однажды утром он следовал за мной от Лондона, — прошептал Диккенс. Он медленно сделал полный оборот на месте, держа двустволку под правой мышкой. — Я в этом уверен. Я часто вижу по ночам неясную фигуру на другой стороне дороги, около шале. Собаки лают. Когда я выхожу из дома, фигура исчезает.

«Скорее всего, агенты инспектора Филда», — подумал я, испытывая искушение сказать это вслух. Вместо этого я повторил:

— Но зачем Друду являться сюда и таращиться в ваше окно в рождественскую ночь?

— Тш-ш-ш! — Диккенс предостерегающе вскинул ладонь, а потом крепко сжал свободной рукой челюсти Султана, чтобы заглушить рычание.

В первый момент мне показалось, будто к нам приближаются сани, хотя на земле не лежало ни тончайшего снежного покрова, но потом я осознал, что слабый звон колокольчиков доносится из темной конюшни. Там на стене висела упряжь Ньюмена Ноггза, украшенная норвежскими колокольчиками.

— За мной, — промолвил Диккенс, поспешно устремляясь к конюшне.

Двери там были распахнуты настежь — в ночном мраке смутно вырисовывался густо-черный прямоугольник дверного проема.

— А вы закры... — шепотом начал я.

— Они всегда закрываются на ночь, — прошипел Диккенс в ответ. — Я проверял их сегодня на закате. — Он передал мне поводок внезапно притихшего пса, поставил фонарь на землю и взял на изготовку дробовик.

Колокольчики слабо звякнули в последний раз, а потом наступила тишина, словно чья-то рука придержала упряжь.

— Снимите с Султана намордник, а потом отпустите поводок, — чуть слышно прошептал Диккенс, не опуская ружья, направленного на черный дверной проем.

— Он разорвет на куски любого, кто там находится, — прошептал я.

— Снимите намордник и отпустите пса, — прошипел Диккенс.

С бешено стучащим сердцем я опустился на одно колено и принялся неловко возиться с застежками намордника. Я почти не сомневался, что ирландский волкодав с налитыми кровью глазами — он весил почти столько же, сколько я, — разорвет на куски *меня*, едва лишь я сниму с него намордник.

— Вперед! — громко скомандовал Диккенс псу.

Султан рванулся с места и понесся мощными прыжками, словно вместо мышц у него были тугие металлические пружины. Но устремился он отнюдь не в конюшню: волкодав круто забрал влево, одним махом перелетел через живую изгородь и помчался через поле в сторону леса и далекого моря.

— Черт бы подрал негодного пса! — в сердцах выругался Диккенс. Я только сейчас осознал, как редко Неподражаемый чертыхался при мне. — Пойдемте, Уилки, — властно скомандовал он, словно я был вторым волкодавом, которого он держал про запас.

Вручив мне фонарь с опущенной заслонкой, Диккенс побежал к распахнутым дверям конюшни. Я поспешил следом, поскальзываясь на мерзлой траве, но он достиг дверного проема значительно раньше меня и вошел внутрь, не дожидаясь, когда подоспею я с фонарем.

Вступив в темноту, я скорее почувствовал, нежели увидел, что Диккенс находится в нескольких футах слева от меня, и понял (вероятно, прозрел ясновидчески), что он стоит со вскинутым дробовиком, направленным в сторону длинного прохода между стойлами. Клубы пара от дыхания лошадей и пони и слабое шевеление животных в кромешном мраке я тоже воспринимал скорее шестым чувством, чем зрением и слухом.

— Дайте свет! — резко приказал Диккенс.

Я неловко поднял шторку фонаря.

Расплывчатые тени в стойлах — все лошади бодрствовали, но не издавали ни звука — беспокойно зашевелились. Пар от дыхания клубился в холодном воздухе подобием тумана. Потом в дальнем конце темной конюшни, где висела на стене упряжь с колокольчиками, мелькнуло смутное белое пятно.

Диккенс поднял ружье чуть выше, готовясь спустить оба курка, и я увидел, как блеснули белки его глаз в свете фонаря.

— Стойте! — крикнул я в полный голос, заставив животных испуганно шарахнуться в стойлах. — Бога ради, не стреляйте!

Я бросился вперед, к расплывчатому белому пятну. Мне кажется, Диккенс выстрелил бы, невзирая на мои крики, если бы я не загородил от него мишень.

Неясная белая фигура в дальнем конце конюшни наконец оказалась в круге света от моего фонаря. Там, в темноте, стоял Эдмонд Диккенсон с широко раскрытыми, но совершенно бессмысленными глазами. Он явно не видел и не слышал нас. Он был в ночной рубашке, босые ступни смутно бледнели на черном брусчатом полу конюшни, кисти вяло опущенных рук походили во мраке на маленькие звезды.

Диккенс подошел и разразился смехом. Громкий хохот испугал лошадей пуще прежнего, но Диккенсон никак на него не отреагировал.

— Сомнамбула! — воскликнул Диккенс. — Бог ты мой, сомнамбула! Наш сирота разгуливает во сне!

Я поднес фонарь поближе к бледному лицу молодого человека. В его глазах заплясали яркие отблески огня, но он не моргнул и даже не шелохнулся. Перед нами действительно стоял лунатик.

— Вероятно, его-то вы и видели у себя под окном, — тихо промолвил я.

Диккенс бросил на меня столь сердитый взгляд, что мне показалось, сейчас он обругает меня, как недавно обругал сплоховавшего пса, но заговорил он неожиданно мягким тоном:

— Вовсе нет, дорогой Уилки. В саду под окном я никого не видел. Я встал с постели и ясно увидел в окне лицо Друда — он прижимался своим уродливо коротким носом к стеклу и пристально смотрел на меня безвекими глазами. Он находился непосредственно за окном, Уилки. За окном моей спальни на втором этаже. А не в саду внизу.

Я согласно кивнул, нисколько, впрочем, не сомневаясь, что Друд привиделся Неподражаемому во сне. Вероятно, он принял на ночь лауданум — я знал, что Фрэнк Берд прописал Диккенсу этот препарат, когда осенью пациент стал мучиться бессонницей. Я сам все еще ощущал теплую пульсацию в теле, вызванную действием лекарства, даром что от холода моя рука, сжимавшая фонарь, тряслась, словно у паралитика.

— Как мы с ним поступим? — спросил я, кивком указав на Диккенсона.

— Как следует поступать со всеми сомнамбулами, друг мой. Осторожно отведем парня обратно в дом, и вы проводите его в спальню и уложите в постель.

Я взглянул в сторону открытого дверного проема, что выделялся в чернильной тьме прямоугольником чуть светлее по тону.

— А Друд? — спросил я.

Диккенс потряс головой:

— После ночной охоты Султан часто возвращается домой с окровавленной пастью. Будем надеяться, такое случится и на сей раз.

У меня возникло желание уточнить у Диккенса, что именно он имеет в виду. (Инспектор Филд по достоинству оценил бы подобные сведения.) Он что, рассорился со своим наставником по части египетского месмеризма? И желал фантому смерти? Хотел, чтобы пес-убийца загрыз Друда? Неужто Диккенс больше не ходит в учениках у повелителя подземного мира, который руками своих приспешников (по словам бывшего начальника сыскного отдела Скотленд-Ярда) убил свыше трехсот мужчин и женщин?

Но я промолчал. Заводить разговор на таком морозе не особо хотелось. Подагрическая боль постепенно возвращалась, пропускала свои раскаленные щупальца сквозь глазные яблоки прямо в мозг, как обычно случалось перед сильным приступом.

Мы взяли Диккенсона под руки, медленно вывели из конюшни и повели через широкий двор к задней двери особняка. Я осознал, что мне придется вытереть полотенцем ноги молодому болвану, страдающему лунатизмом, прежде чем затолкать его в постель.

Возле самой двери я оглянулся на темный двор, почти ожидая, что вот сейчас Султан вбежит в круг света от фонаря, держа в зубах отгрызенную бледную руку, или ступню, или голову. Но никакого движения в темноте не наблюдалось, если не считать колебания ветвей в порывах ледяного ветра.

— Так заканчивается очередная рождественская ночь в Гэдсхилле, — тихо пробормотал я.

Очки у меня слегка запотели, когда мы вошли с холода в сравнительно теплую прихожую. Я ненадолго отпустил руку мистера Диккенсона, чтобы снять и протереть очки. Снова заправив металлические дужки за уши, я увидел, что Диккенс улыбается обычной своей озорной мальчишеской улыбкой, какой столь часто одаривал меня за четырнадцать лет нашего знакомства.

— Благослови всех нас Господь, — пропел он детским фальцетом, и мы с ним громко расхохотались, рискуя разбудить весь дом.

Глава 14

Я видел мерцающую сферу... вернее, мерцающий бледно-голубой эллипсоид... и черную полосу на темном фоне.

Полоса находилась на потолке и образовалась там за много-много лет от копоти восходящего вверх дыма,

Мерцающий бледно-голубой овал находился ближе, прямо передо мной, и являлся частью меня, продолжением моих мыслей. А также луной, бледным спутником, подчиненным моей власти.

Я повернулся на левый бок и увидел солнце — неизвестное солнце, ярко-оранжевое, а не бледно-голубое, посылающее лучи в черный космос. Если бледно-голубой овал был моим спутником, то я был спутником этого солнца, ослепительно сияющего во тьме космического пространства, во тьме вечности.

Какая-то тень застила мое солнце. Я не столько увидел, сколько почувствовал, как бледно-голубой овал и длинная трубка, связывающая меня с ним, стремительно отлетают прочь.

— А ну-ка, Хэчери, вытащите его оттуда. Поставьте на ноги и подоприте плечом.

— Эй, эй, эй! — провизжал совершенно незнакомый и одновременно страшно знакомый голос. — Джентльмен заплатил за койку на ночь и за зелье, все чин чинарем. Не смейте его...

— Заткнись, Сэл, — пророкотал другой знакомый голос. Голос сказочного великана. — Еще хоть раз вякнешь — и инспектор упрячет тебя в самую темную камеру Ньюгейта еще до рассвета.

Больше никто не вякал. Я парил над переливчатыми разноцветными облаками, раз за разом облетая вокруг шипящего, потрескивающего солнца, а мой бледно-голубой спутник — теперь недоступный взору — в свою очередь вращался вокруг меня. Но в следующий миг я почувствовал, как сильные руки стаскивают меня с головокружительных космических высот на бугристую, грязную, устланную соломой землю.

— Поддерживайте его, чтобы не падал, — проскрежетал голос, невесть почему вызвавший у меня ассоциацию с каким-то строго грозящим пальцем. — Возьмите на руки, коли придется.

Я снова парил — между темными спальными полками, встроенными в темные стены. Шипящее солнце

позади меня медленно удалялось, становясь все меньше и тусклее. Передо мной вырос тощий исполин.

— Сэл, убери Яхи с дороги — не то я вытрясу его прокопченные кости из его гнилой старой шкуры да загоню беспризорным мальчишкам как дуделки по три пенни штука.

— Эй, эй! — снова услышал я. Две тени слились воедино, потом одна из них уложила другую обратно в гроб. — Вот и славно, Яхи. Давай спатеньки. Хиб, ваше высочество, джентльмен еще не рассчитался со мной толком. Ты сильно заубытчишь меня, коли возьмешь да утащишь клиента прочь.

— Врешь, старая карга, — прогремел более властный из двух мужских голосов. — Ты минуту назад сказала, что он заплатил за все услуги. У него в трубке было столько зелья, что он провалялся бы тут в дурном бреду до самого рассвета. Впрочем, суньте ей еще пару монет, сыщик Хэчери. Самых мелких.

Потом мы вышли в ночь. Я отметил морозную свежесть воздуха — в нем чуялся запах еще не выпавшего снега, — отметил отсутствие своих пальто, цилиндра и трости, а также то чудесное обстоятельство, что ноги мои не касаются булыжной мостовой — я просто парю над ней, направляясь к пляшущему на ветру уличному фонарю далеко впереди. Потом я осознал, что более крупный из двух сопровождающих меня мужчин держит меня под мышкой, словно призового поросенка, полученного на деревенской ярмарке.

Я уже достаточно очухался после трубки опиума, чтобы вслух выразить свое недовольство, но шагавшая впереди темная фигура (я ни секунды не сомневался, что это мой ангел возмездия инспектор Филд) промолвила:

— Угомонитесь, мистер Коллинз. Здесь неподалеку есть трактир, который откроет нам двери, несмотря на неурочный час, и там мы приведем вас в порядок.

Трактир, куда нас впустят в такое время суток? Как бы ни туманилось мое зрение (впрочем, в холодном воздухе

нынче ночью висел густой туман), я отчетливо понимал, что морозным и ветреным мартовским утром все до единого заведения подобного толка закрыты в предрассветный час.

Я услышал и смутно увидел, как Филд стучит кулаком в дверь под вывеской с надписью: «Шесть веселых грузчиков». Как бы ни ныли у меня бока оттого, что сыщик Хэчери крепко зажимал меня под мышкой, словно призовую свинью с ярмарки, я не понимал, действительно ли нахожусь здесь, в темноте на морозе, в обществе двух мужчин. Скорее всего, я по-прежнему лежал на койке в притоне Сэл, наслаждаясь остатками зелья в чернильной склянке.

— Эй, там, придержи лошадей! — раздался женский голос, едва слышный сквозь лязг засовов и пронзительный скрип древней двери. — О, это вы, инспектор! И вы, сыщик Хэчери. И что вам обоим не спится в такую ненастную ночь? А это кто такой, Хиб? Не утопленник ли?

— Нет, мисс Аби, — сказал верзила. — Просто джентльмен, которого надобно привести в чувство.

Меня внесли в трактирный зал с красными портьерами на окнах и большим камином, где еще тлели угли, и я страшно обрадовался теплу, хотя и понимал, что все происходит во сне. Трактир «Шесть веселых грузчиков» и его хозяйка мисс Аби Поттерсон являлись плодами художественного вымысла из проклятого диккенсовского «Нашего общего друга». В припортовом квартале не было трактира с таким названием, хотя имелось великое множество заведений подобного толка, любое из которых Диккенс мог взять за прототип изображенного в романе.

— Здесь подают отличный херес, — сказал инспектор Филд, пока мисс Аби зажигала лампы и приказывала сонному мальчишке-прислужнику подбросить поленьев в камин. — Не желает ли джентльмен заказать бутылку?

Я нисколько не усомнился, что в точности такие слова есть в «Нашем общем друге». В чьих же устах они прозвучали там, если сейчас мой одурманенный опиумом

мозг создает такую галлюцинацию? «Мистер инспектор» из романа, осознал я, являлся очередным диккенсовским персонажем, списанным вот с этого самого инспектора Филда, в данный момент занявшего место в уютной кабинке.

— Джентльмен желает, чтобы его перевернули головой вверх и отпустили, — произнес я во сне.

Хэчери приподнял меня, придал мне вертикальное положение и осторожно усадил на скамью напротив инспектора. Я огляделся по сторонам, с уверенностью ожидая увидеть поблизости мистера Юджина Рэйберна и его друга Мортимера Лайтвуда, но, если не считать сидящего инспектора, стоящего Хэчери, суетящегося у камина мальчишки и выжидательно застывшей на месте мисс Аби Поттерсон, в трактире никого не было.

— Да, вашего особого хереса, пожалуйста, — распорядился Филд. — Всем троим. Для согрева.

Мисс Аби и мальчишка скрылись в задней комнате.

— Зря стараетесь, — сказал я инспектору. — Я знаю, что все это сон.

— Ай-ай-ай, мистер Коллинз. — Филд ущипнул меня за руку с такой силой, что я вскрикнул. — Джентльменам вроде вас не место в притоне Сэл. Если бы мы с Хэчери не вытащили вас оттуда вовремя, вы бы в ближайшие десять минут лишились своего бумажника и золотых зубов.

— У меня нет золотых зубов, — сказал я, стараясь четко произносить каждое слово.

— Фигура речи, сэр.

— Мое пальто, — проговорил я. — Моя шляпа. Моя трость.

Хэчери, точно фокусник, извлек невесть откуда все три поименованных предмета и положил на стол в соседней пустой кабинке.

— Нет, мистер Коллинз, — продолжал инспектор Филд, — в своем опиумном пристрастии джентльмену вроде вас следует ограничиться лауданумом, которым на законных основаниях торгуют честные аптекари вроде

мистера Коупера. И оставить опиумные притоны вместе с сомнительными припортовыми кварталами неверным китайцам да черномазым ласкарам.

Меня не удивило, что он знает имя моего главного поставщика лауданума. В конце концов, все ведь происходило во сне.

— Я вот уже несколько недель не получаю от вас никаких сообщений, сэр, — продолжал инспектор Филд.

Голова у меня раскалывалась. Я поставил локти на стол и подпер лоб кулаками.

— Мне было нечего вам сказать.

— Плохо дело, мистер Коллинз, — вздохнул инспектор. — Это идет вразрез как с общим духом, так и с конкретными условиями нашего соглашения.

— К черту наше соглашение, — пробормотал я.

— Послушайте, сэр, — сказал Филд. — Сейчас мы вольем в вас немного подогретого хереса, чтобы вы вспомнили, как подобает себя вести истинному джентльмену.

Мальчишка — несомненно, по имени Боб — вернулся с огромным кувшином, источающим приятный терпкий запах. В левой руке он держал железный сосуд в виде шляпы с конусообразной тульей (Диккенс описывал точно такой в своем романе, и я с интересом прочитал описание, даром что мы с ним видели сотни подобных новинок). Перелив в него содержимое кувшина, Боб установил наполненную до краев «шляпу» в заново растопленном камине, воткнув острым концом поглубже в угли, потом скрылся в заднем помещении и через минуту вернулся — с тремя чистыми стаканами и в сопровождении хозяйки заведения.

— Благодарю вас, мисс Дарби, — промолвил инспектор Филд.

Паренек поставил на стол стаканы, вытащил железный сосуд из огня, легонько взболтал — края «шляпы» зашипели и задымились, — а затем перелил подогретый напиток обратно в кувшин. Предпоследняя часть сего

священнодействия заключалась в том, что Боб подержал каждый из наших прозрачных стаканов над дымящимся кувшином, чтобы они запотели до необходимой степени матовости, одному ему известной. И наконец он наполнил стаканы под одобрительные возгласы инспектора и его прихвостня-сыщика.

— Спасибо, Уильям, — поблагодарил Филд.

— Уильям? — переспросил я, подаваясь вперед, чтобы вдохнуть ароматные теплые пары, исходящие из моего стакана. — Мисс Дарби? Вы, наверное, имеете в виду Боба и мисс Аби? Мисс Аби Поттерсон?

— Нет, конечно, — сказал Филд. — Я имею в виду Уильяма — славного малого Билли Лампера, обслужившего нас минуту назад, — и его хозяйку мисс Элизабет Дарби, которая владеет и управляет этим заведением вот уже двадцать восемь лет.

— Разве это не «Шесть веселых грузчиков»? — спросил я, осторожно отпивая крохотный глоток горячего хереса.

Я испытывал неприятное покалывание во всем теле — точно такое, как в отсиженной ноге или отлежанной руке. Во всем теле, кроме головы, трещавшей от боли.

— Я не знаю в Лондоне заведения с таким названием, — рассмеялся инспектор Филд. — Этот трактир с давних пор и по сей день называется «Земля и голубь». Возможно, сам Кристофер Марло развлекался с девицами здесь в задней комнате, если не в более сомнительном «Белом лебеде», что через дорогу. Но «Белый лебедь» — трактир не для джентльменов, мистер Коллинз, даже если речь идет о таких безрассудно смелых джентльменах, как вы, сэр. И в такой час хозяин «Белого лебедя» не впустил бы нас и не подогрел бы для нас хереса, как сделала моя милая Лайза. Вы пейте, сэр, пейте — только между делом объясните мне, пожалуйста, почему вы не передавали мне никаких сообщений в последнее время.

От горячего хереса мысли мои постепенно прояснялись.

— Повторяю: у меня не было никаких сведений для вас, инспектор, — резковато сказал я. — Чарльз Диккенс собирается в триумфальное турне по провинциальным городам, и в ходе нескольких наших последних встреч он ни разу не обмолвился о вашем общем знакомом, фантоме по имени Друд. С самой рождественской ночи.

Инспектор Филд подался ко мне:

— Когда, по вашим словам, Друд парил в воздухе за окном спальни мистера Диккенса, расположенной на втором этаже.

На сей раз рассмеялся я. И тут же пожалел об этом. Потирая ладонью ноющий лоб, свободной рукой я взял со стола стакан и промолвил:

— Нет, инспектор. Когда мистер Диккенс сказал, что видел Друда, парившего в воздухе у него за окном.

— Вы не верите в возможность левитации, мистер Коллинз?

— Я считаю подобный феномен крайне... маловероятным, — угрюмо пробурчал я.

— Однако в своих очерках высказываете ровно противоположное мнение на сей счет, — заметил инспектор Филд.

Он шевельнул толстым указательным пальцем, и паренек по имени Билл поспешно наполнил оба наших стакана.

— В каких еще очерках? — осведомился я.

— Кажется, в свое время они были опубликованы под общим заголовком «Магнетические сеансы на дому» и под каждой значилась подпись «У. У. К.» — Уильям Уилки Коллинз.

— О господи! — воскликнул я излишне громко. — Так они вышли в свет лет эдак... сколько?.. пятнадцать назад.

Серию очерков, упомянутых Филдом, я написал для журнала известного скептика Дж. Г. Льюиса «Лидер» в самом начале пятидесятых. В них я просто рассказывал

о различных салонных экспериментах, очень модных в то время: погружение мужчин и женщин в месмерический транс, магнетизирование неодушевленных предметов вроде стаканов с водой, чтение мыслей и предсказания будущего, попытки общения с духами умерших и... да, сейчас я вспомнил, несмотря на головную боль, несмотря на опиумный и алкогольный дурман... там действительно упоминалось о некой женщине, взмывшей в воздух вместе со своим креслом.

— У вас появились причины переменить свое мнение с тех пор, как вы наблюдали подобные явления, мистер Коллинз?

Мягкий, но одновременно категоричный и многозначительный тон Филда, как всегда, привел меня в раздражение.

— Я не высказывал никакого собственного мнения, инспектор. Просто описывал свои наблюдения.

— Но вы больше не верите, что мужчина или женщина — любой человек, искушенный в древних искусствах давно забытой цивилизации, — может воспарить в воздух, чтобы заглянуть в окно Чарльза Диккенса?

Ну все. Я был сыт по горло этим вздором.

— Я никогда не верил в подобные вещи, — резко сказал я, возвысив голос. — Четырнадцать или пятнадцать лет назад я просто описывал... фокусы... производимые доморощенными мистиками, и рассказывал о легковерии зрителей, собиравшихся на подобные выступления. Я человек современный, инспектор, каковое определение для представителей моего поколения равнозначно понятию «человек, ни во что не верящий». К примеру, я не верю даже в существование вашего таинственного мистера Друда. Или, если выразиться более категорично, я убежден, что вы и Чарльз Диккенс просто использовали легенду о названном персонаже каждый для своей цели, причем оба вы попытались использовать меня как пешку в вашей игре — какую бы там игру вы ни вели.

Для человека в моем состоянии, да в столь ранний час, это было слишком длинное выступление, и я устало уткнулся носом в стакан с дымящимся хересом.

Инспектор дотронулся до моей руки, и я вскинул голову. Его красное, испещренное прожилками лицо хранило серьезное выражение.

— Да, действительно, ведется некая игра — но отнюдь не в ущерб вам, мистер Коллинз. И в ней действительно участвуют пешки наряду с более значительными фигурами, но вы не пешка, сэр. Хотя я почти уверен, что ваш мистер Диккенс — пешка.

Я раздраженно отдернул руку:

— О чем вы говорите?

— Мистер Коллинз, вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мне так важно найти Друда?

Я не сдержал ухмылки:

— Вы хотите вернуть свою пенсию.

Своими словами я рассчитывал разозлить инспектора, а потому удивился, когда он от души рассмеялся.

— Видит бог, мистер Коллинз, вы правы. Я действительно хочу восстановить пенсию. Но в данной шахматной партии это самая малая из моих целей. Мы с мистером Друдом уже почти старики, и каждый из нас принял решение закончить игру в кошки-мышки, которую мы ведем двадцать с лишним лет. Да, у каждого из нас на доске осталось еще достаточно фигур, чтобы сделать последний ход, но мне кажется, вы не понимаете одного, сэр: игра должна — непременно должна — закончиться смертью одного из нас. Либо смертью Друда, либо смертью инспектора Филда. Только так — и никак иначе.

Я растерянно похлопал глазами и спросил:

— Но почему?

Инспектор Филд снова подался вперед, обдав меня запахом хереса:

— Видимо, сэр, вы думаете, что я преувеличивал, когда сказал вам, что Друд убил — своими собственными руками и руками своих замагнетизированных приспешников — триста человек за двадцать с лишним лет, прошедших со времени его прибытия в Англию из Египта. Так вот, я нисколько не преувеличивал, мистер Коллинз. На данный момент речь идет о трехстах двадцати восьми

жертвах. Этому не видно конца, сэр. Друда надо остановить. Все эти годы, на службе в Столичной полиции и в отставке, я сражался с дьяволом — каждому из нас пришлось пожертвовать пешками, турами и более важными фигурами в ходе этой длинной партии, — но сейчас действительно наступил эндшпиль. Либо дьявол поставит мне мат, либо я поставлю мат ему. Третьего не дано, сэр.

Я уставился на инспектора. С недавних пор я сильно сомневался в психическом здоровье Чарльза Диккенса. Теперь я точно знал, что в моем окружении имеется еще один сумасшедший, влияющий на мою жизнь.

— Да, я попросил вас о помощи, не предложив взамен ничего, кроме содействия в сокрытии факта существования мисс Марты Р*** от вашей супруги Кэролайн, — сказал инспектор Филд, выбрав, по моему мнению, весьма изящные выражения для обозначения своего шантажа. — Но я могу предложить в обмен на вашу помощь и другие услуги. Существенные услуги.

— Какие именно? — спросил я.

— Что сильнее всего отравляет вам жизнь в настоящее время, мистер Коллинз?

Я хотел сказать «знакомство с вами» и покончить на этом, но неожиданно для меня самого с губ моих сорвалось слово «боль».

— Точно, сэр... вы уже упоминали прежде о ревматоидной подагре, мучащей вас. По вашим глазам видно, как вы больны, мистер Коллинз. Терпеть постоянную боль нелегко любому человеку, но особенно художнику вроде вас. Сыщики пользуются дедуктивным методом рассуждений, сэр, и я с помощью дедукции прихожу к выводу, что этой ненастной мартовской ночью вы заявились в опиумный притон Сэл, расположенный в грязном портовом квартале, в надежде получить облегчение от боли. Разве не так, мистер Коллинз?

— Так.

Я не счел нужным сообщать Филду, что мой врач Фрэнк Берд недавно высказал предположение, что «ревматоидная подагра», давно мучащая меня, вполне может быть венерической болезнью.

— Вам ведь и сейчас худо, правда, мистер Коллинз?

— Такое ощущение, будто у меня глазные яблоки наполнены кровью, — честно признался я. — Всякий раз, когда я открываю глаза, мне кажется, что из них вот-вот хлынет кровь и потечет ручьями по щекам и бороде.

— Ужасно, сэр, ужасно. — Инспектор Филд покачал головой. — Я ни секунды не виню вас в том, что вы ищете облегчения в лаудануме или опиумной трубке. Но позвольте заметить, сэр, сомнительного качества зелье, которым торгуют в притоне Сэл, вам не поможет.

— Как вас понимать?

— Старая Сэл слишком сильно разбавляет опиум, и без того не чистый, чтобы он мог толком подействовать на человека в вашем тяжелом состоянии, мистер Коллинз. Не стану спорить, разумное сочетание лауданума и опиумной трубки может оказать благотворное — даже чудесное — влияние на ваше самочувствие, мистер Коллинз, но в Блюгейт-Филдс и чипсайдовских опиумных притонах просто не найти качественного наркотика, необходимого вам, сэр.

— Тогда где? — Едва успев задать вопрос, я уже знал ответ.

— У Короля Лазаря, — сказал инспектор Филд. — В тайном китайском притоне в Подземном городе.

— В склепах и катакомбах, — угрюмо пробормотал я.

— Да, сэр.

— Вам просто надо, чтобы я вернулся в Подземный город. — Я поднял глаза и встретился с пристальным взглядом инспектора. Сквозь щели в красных оконных портьерах «Земли и голубя» пробивался тусклый холодный свет раннего мартовского утра. — Вы хотите, чтобы я попытался привести вас к Друду.

Инспектор Филд помотал плешивой головой с седыми бакенбардами.

— Нет, так мы Друда не найдем, мистер Коллинз. Мистер Диккенс, безусловно, не солгал вам осенью, когда сказал, что регулярно наведывается в логово Друда, но он спускается под землю не через склеп на кладбище. Мои люди несколько месяцев кряду дежурили там. Друд

показал ему какой-то другой путь в свой подземный мир. Либо же египетский дьявол живет на поверхности земли и сообщил мистеру Диккенсу один из своих адресов. Так что вашему другу больше нет необходимости спускаться в Подземный город прежним путем, мистер Коллинз, но вы можете сделать это, коли хотите облегчить свои физические страдания с помощью чистого опиума Короля Лазаря.

Мой стакан был пуст. Я посмотрел на инспектора сквозь слезы, внезапно навернувшиеся на глаза.

— Не могу, — сказал я. — Я пробовал. Мне не сдвинуть тяжелый постамент в склепе, чтобы получить доступ к лестнице.

— Знаю, сэр, — промолвил инспектор голосом профессионально спокойным и печальным, как у гробовщика. — Но Хэчери с радостью поможет вам, когда вы пожелаете спуститься туда, днем или ночью. Правда, Хиб?

— С огромной радостью, сэр, — подтвердил стоявший поблизости Хэчери.

Я почти забыл о присутствии сыщика.

— А как я свяжусь с ним? — спросил я.

— На вашей улице по-прежнему дежурит мой мальчишка, мистер Коллинз. Передадите через Гузберри сообщение — и в течение часа сыщик Хэчери прибудет к вам, чтобы проводить вас через опасные кварталы, открыть доступ к лестнице и дождаться вашего возвращения. — Проклятый инспектор улыбнулся. — Он даже снова выдаст вам револьвер, мистер Коллинз. Хотя вам нечего бояться Короля Лазаря и его клиентов. В отличие от непредсказуемых посетителей притона старой Сэл, Лазарь и его живые мумии хорошо понимают, что их заведение существует только по моей милости.

Я заколебался.

— Можем ли мы оказать вам еще какую-нибудь услугу в обмен на вашу помощь в поисках Друда? — спросил Филд. — Может, у вас проблемы дома?

Я подозрительно взглянул на пожилого господина. Что он может знать о моих домашних проблемах? Откуда

может знать, что в притоне Сэл я искал спасения не только от подагрической боли, но и от нервной усталости, вызванной бесконечными ссорами с Кэролайн?

— Я уже тридцать с лишним лет женат, мистер Коллинз, — мягко промолвил инспектор, словно прочитав мои мысли. — Смею предположить, ваша любовница, даже после стольких лет сожительства, продолжает требовать, чтобы вы женились на ней... а другая ваша любовница настаивает на своем возвращении из Ярмута в Лондон, поскольку хочет находиться рядом с вами.

— Черт вас побери, Филд! — вскричал я, грохнув кулаком по столу. — Все это совершенно вас не касается!

— Разумеется, сэр, разумеется, — пропел инспектор елейным голосом. — Но подобные проблемы могут отвлекать вас не только от вашей работы, но и от наших общих дел. Я пытаюсь понять, могу ли я помочь вам... по-дружески.

— Здесь ничем не помочь, — прорычал я. — И вы мне не друг.

Инспектор Филд понимающе кивнул.

— И все же, сэр, прислушайтесь к совету давно женатого мужчины: порой перемена обстановки служит к временному прекращению семейных разногласий, к установлению в доме мира и покоя.

— Вы говорите о переезде? Мы с Кэролайн обсуждали такую возможность.

— Мне кажется, мистер Коллинз, вы с упомянутой дамой несколько раз ходили смотреть славный особнячок на Глостер-плейс.

Меня уже не удивлял и не возмущал тот факт, что агенты Филда следят за нами. Я бы не удивился, узнав, что инспектор тайно поселил в нашем доме на Мелкомб-плейс карлика, который составляет письменные отчеты обо всех наших ссорах.

— Особняк действительно славный, — сказал я. — Но нынешняя его владелица, некая миссис Шернволд, не желает его продавать. И в любом случае сейчас мне не найти денег на такую покупку.

— Оба эти препятствия вполне преодолимы, мистер Коллинз, — вкрадчиво произнес инспектор Филд. — Если бы мы с вами восстановили нашу договоренность о сотрудничестве, я бы с уверенностью пообещал вам, что вы и ваша сожительница с дочерью уже через год-другой переберетесь в чудесный особнячок на Глостер-плейс, а ваша мисс Р***, коли вам угодно, воротится в свои комнаты на Болсовер-стрит, причем мы оплатим все ее дорожные и прочие безотлагательные расходы.

Я исподлобья взглянул на старика. Голова у меня раскалывалась от боли. Мне хотелось поскорее вернуться домой, позавтракать и улечься в постель. Зарыться с головой под одеяло и проспать целую неделю кряду. Мы перешли от шантажа к подкупу. В общем и целом шантаж меня больше устраивал.

— И что от меня требуется, инспектор?

— Ничего сверх ранее оговоренных услуг, мистер Коллинз. Употребите все свое влияние, чтобы выведать у Чарльза Диккенса местонахождение и ближайшие планы Друда.

Я потряс головой:

— Диккенс всецело поглощен приготовлениями к поездке с публичными чтениями. Я уверен, он с самого Рождества не встречался с Друдом. Во-первых, он страшно напуган тем, что якобы увидел той ночью за своим окном, а во-вторых, сейчас у него дел по горло. Вы не представляете, сколько разных мелких вопросов необходимо уладить перед таким турне.

— Ваша правда, мистер Коллинз, и близко не представляю, — согласился инспектор Филд. — Но я знаю, что ваш друг откроет турне концертом, который состоится через неделю, двадцать третьего марта, в здании Общественного собрания в Челтенхэме. Десятого апреля он выступит в Сент-Джеймс-Холле здесь, в Лондоне, после чего проведет публичные чтения в Ливерпуле, потом в Манчестере, потом в Глазго, потом в Эдинбурге...

— Вам известен весь гастрольный маршрут? — перебил я.

— Конечно.

— В таком случае вы сами прекрасно понимаете, что в ходе турне мне никак не удастся толком пообщаться с Чарльзом Диккенсом. Публичные чтения страшно утомительны для любого автора. Диккенсовские публичные чтения страшно утомительны для него самого и для всех окружающих. Во время своих выступлений Диккенс выкладывается, как никто на свете, и он обещает превзойти себя самого в предстоящей гастроли.

— Я это слышал, — негромко промолвил инспектор Филд. — Друд примет участие в турне вашего друга.

Я рассмеялся:

— Да разве ж такое возможно? Разве человек с такой приметной наружностью сможет путешествовать с Диккенсом или присутствовать на представлениях, не привлекая к себе внимания?

— У Друда несчетное множество обличий. — Филд понизил голос, словно опасаясь, что Хэчери, или мисс Дарби, или мальчишка Билли может оказаться переодетым египетским преступником. — Я ручаюсь, что ваш друг Диккенс — осознанно или неосознанно, намеренно или неумышленно, как орудие Друда, — будет выполнять в предстоящем турне задачи, поставленные перед ним этим дьяволом.

— Но каким образом он сможет?.. — начал я и осекся, вспомнив странное заявление Диккенса о намерении магнетизировать публику во время каждого выступления. Месмеризировать всех присутствующих? Но с какой целью?

Все это просто в голове не укладывалось.

— Вам ведь известен весь гастрольный график Диккенса, — устало проговорил я. — И вы знаете, что с ним едут буквально несколько человек.

— Мистер Долби, — сказал инспектор Филд. — Помощник вашего друга мистер Уиллс. — Далее Филд назвал имена газового техника, театрального осветителя и даже агентов, отправленных вперед с поручением осмотреть зрительные залы, договориться о ценах на билеты,

организовать расклейку афиш и все такое прочее. — Но Диккенс, безусловно, будет весьма рад пообщаться со своим близким другом в ходе столь утомительного турне. Я знаю, что он собирается пригласить актера Макриди на первое свое публичное чтение в Челтенхэме. Не могли бы вы провести с вашим знаменитым другом несколько дней в предстоящей гастрольной поездке и поприсутствовать на одном-другом его выступлении?

— Это все, что вам от меня нужно?

— Ваша помощь в таких пустяковых делах — когда от вас только и требуется, что наблюдать, вести непринужденные беседы да докладывать мне, — может оказаться поистине неоценимой, — сладким голосом пропел инспектор Филд.

— Но каким образом, интересно знать, вы устроите так, что через год, пусть даже два, особняк на Глостерплейс перейдет в наше владение, если миссис Шернволд намерена оставить его в наследство своему сыну-миссионеру и категорически отказывается продавать?

Инспектор улыбнулся змеиной улыбкой. Я почти ожидал увидеть раздвоенное жало, мелькающее между красно-бурыми губами.

— Это моя проблема, сэр, хотя мне думается, никаких проблем здесь вообще не возникнет. Для меня великая честь помочь человеку, который содействует нам, радеющим об общественном благе, в нашем стремлении избавить Лондон от самого малоизвестного, но самого успешного серийного убийцы.

Я глубоко вздохнул и кивнул. Если бы инспектор Филд протянул мне руку, чтобы скрепить нашу гнусную сделку рукопожатием, я вряд ли дотронулся бы до нее. Вероятно, он так и понял — ибо он просто кивнул, удостоверяя соглашение, и огляделся по сторонам.

— Не угодно ли вам, сэр, чтобы мисс Дарби и Билли подогрели нам еще хереса? Самое то на сон грядущий.

— Нет. — Я предпринял безуспешную попытку подняться на ноги, а в следующий миг огромная ручища Хэчери подхватила меня под локоть и легко выдернула из кабинки. — Я хочу домой.

Глава 15

Я решил ненадолго присоединиться к Диккенсу во второй половине турне.

Инспектор Филд не ошибся в своем предположении, что Диккенс будет рад провести в моем обществе несколько дней в ходе гастрольной поездки. Я послал записку Уиллсу — несмотря на утомительность постоянных переездов из города в город с Неподражаемым, он через каждые три-четыре дня возвращался в Лондон, чтобы уладить диккенсовские и свои собственные журнальные дела с Форстером (не одобрявшим всю затею с публичными чтениями), — и уже назавтра получил телеграмму, гласившую:

> Дорогой Уилки!
>
> Турне проходит чудесно! Наш Долби оказался поистине замечательным спутником и импресарио. Вы останетесь в восторге от его выходок. Во всяком случае, я от них в полном восторге. Присоединяйтесь к нам в любое время и путешествуйте с нами сколь угодно долго. За свой счет, разумеется. С нетерпением жду встречи с вами!
>
> Ч. Диккенс

Я нередко гадал, как же Неподражаемый переносит почти ежедневные переезды по железной дороге, и удовлетворил свое любопытство уже через несколько минут после того, как наш поезд, следующий в Бирмингем, отошел от платформы Бристольского вокзала.

Я расположился в купе прямо напротив Диккенса, который сидел один. Джордж Долби и Уиллс занимали места рядом со мной, но они увлеченно беседовали друг с другом, а потому только я увидел, что писатель нервничает все сильнее по мере того, как состав набирает скорость. Сперва Диккенс стиснул обеими руками набалдашник трости, потом судорожно вцепился в узкий подоконник. Он поминутно бросал взгляд в окно и тут же поспешно отводил глаза в сторону. Его лицо — более

смуглое, чем у среднего англичанина, благодаря ежедневным продолжительным прогулкам — побледнело и покрылось испариной. Вскоре Диккенс вытащил из кармана походную фляжку, отпил изрядный глоток бренди, несколько раз глубоко вздохнул, потом сделал еще один глоток и убрал фляжку. Затем он зажег сигару и вступил в беседу со мной, Долби, Уиллсом.

Для путешествия Неподражаемый выбрал необычный — даже эффектный, если не сказать эксцентричный, — наряд: гороховый сюртук и накинутый поверх него шикарный дорогой плащ а-ля граф Д'Орсей. Широкие поля фетровой шляпы, лихо заломленной набок, наполовину прикрывали изрезанное морщинами, бронзовое от загара лицо (после пары глотков бренди нездоровая бледность исчезла). На Бристольском вокзале я случайно услышал, как медведеподобный Долби сказал скелетообразному Уиллсу, что в этой шляпе «шеф смахивает на современного благородного пирата, в чьих глазах светятся несгибаемая демоническая воля и нежное ангельское сострадание».

По-моему, Долби тоже хлебнул бренди тем утром.

У нас завязался оживленный разговор. Мы находились в купе одни — все прочие члены диккенсовской малочисленной свиты отправились в Бирмингем раньше нас. Диккенс сказал мне, что в первые дни турне Уиллс подверг Долби пристрастнейшему допросу с целью досконально выяснить, каким образом импресарио собирается исполнять свои обязанности. Поначалу Долби всякий раз выезжал вперед вместе с техником и осветителем, и Диккенс путешествовал в сопровождении одного только Уиллса. Теперь, когда Ливерпуль, Манчестер, Глазго, Эдинбург и Бристоль остались позади — и все там прошло гладко благодаря добросовестной работе Долби, — здоровенный импресарио путешествовал с Диккенсом, к великому удовольствию последнего. Неподражаемому оставалось еще выступить в Бирмингеме, Абердине, Портсмуте, а потом вернуться в Лондон и провести там серию заключительных чтений.

Долби — которого последний его клиент, американский писатель по имени Марк Твен, шутливо называл «неунывающей гориллой» — вытащил из большой плетеной корзинки льняную скатерку, застелил раскладной столик, предусмотрительно установленный посреди купе, и принялся выкладывать на него легкий завтрак, состоящий из сэндвичей с яйцами и анчоусами, лососины под майонезом, холодной курятины, телячьего языка, мясных консервов и десерта в виде сыра рокфор и вишневого пирога. Он также выставил пару бутылок весьма приличного красного вина и, насыпав в умывальник колотого льда, поставил туда охлаждаться джиновый пунш. Когда мы закончили трапезу, Долби подогрел нам кофий на спиртовке. Не знаю, как насчет всего остального, но в ловкости и расторопности этому верзиле с заразительным смехом и милым заиканием нельзя было отказать.

Допив джин и откупорив вторую бутылку вина, мы принялись петь дорожные песни — иные из них мы с Диккенсом нередко певали на пару, когда путешествовали вдвоем по Англии или Европе лет эдак десять назад. На подъезде к Бирмингему Диккенс лихо сплясал матросский танец под аккомпанемент нашего свиста. Когда он закончил и уселся на место, тяжело дыша и отдуваясь, Долби дал ему последний стакан пунша, и Неподражаемый принялся учить нас немецкой застольной песне из «Волшебного стрелка». Внезапно по соседней колее с ревом понесся встречный экспресс, и с лысеющей головы Диккенса сорвало чудесную фетровую шляпу мощной струей воздуха. Уиллс, с виду похожий скорее на туберкулезника, нежели на атлета, стремительно выбросил длинную руку в окно и в последний момент успел поймать шляпу, не дав ей бесследно сгинуть в окрестных полях. Мы все дружно зааплодировали, и Диккенс сердечно похлопал тщедушного малого по спине.

— Я недавно лишился котиковой шапки при похожих обстоятельствах, — сообщил мне Неподражаемый, нахлобучивая шляпу, поданную Уиллсом. — Утрата этой

шляпы премного огорчила бы меня. Слава богу, Уиллс у нас отличный отбивающий. Не помню, в качестве первого или второго отбивающего он снискал славу на крикетном поле, но реакция у него поистине поразительная. У него дома все полки ломятся от призов и кубков.

— Я в жизни не играл в кри... — начал Уиллс.

— Неважно, неважно, — рассмеялся Диккенс, снова похлопывая своего помощника по спине.

Джордж Долби разразился оглушительным хохотом, который был слышен, наверное, во всех вагонах, от первого до последнего.

В Бирмингеме я получил представление о напряженном распорядке дня, принятом в турне.

Хотя в свое время я много кочевал по гостиницам и обычно получал удовольствие от подобных путешествий, я прекрасно знал по личному опыту, что постоянные переезды с места на место и неизбежные неудобства гостиничной жизни никак не способствуют восстановлению здоровья, — а ведь Диккенс сильно недомогал на протяжении всей зимы и весны. Неподражаемый признался мне, что левый глаз у него страшно болит и плохо видит, что он все время ощущает тяжесть в желудке и мучится газами, что от вагонной тряски с ним случаются жестокие приступы тошноты и головокружения, от которых он успевает толком оправиться во время коротких остановок в городах, где проводит публичные чтения. Почти ежедневные переезды и утомительные вечерние выступления явно отнимали у писателя последние силы.

По прибытии в Бирмингем Диккенс сразу же поспешил в театр, не отдохнув с дороги и даже не распаковав свой чемодан. Уиллс занялся другими делами, а мы с Долби присоединились к Неподражаемому.

Обойдя зрительный зал в сопровождении владельца театра, Диккенс тотчас распорядился насчет необходимых изменений. Партерные кресла по бокам от сцены и часть кресел в ложах уже были либо убраны, либо отгорожены канатом, в соответствии с его требованиями,

но сейчас он встал за подготовленную для него кафедру и велел вынести еще часть кресел в одной и другой стороне зрительного зала. Все до единого присутствующие на выступлении должны находиться в поле его зрения, прямо перед ним. Не только для того, чтобы хорошо видеть чтеца, понял я, но и для того, чтобы он мог встретиться глазами с каждым из них.

Приехавшие раньше нас рабочие уже соорудили в глубине сцены темно-бордовый задник высотой семь и длиной пятнадцать футов, а между задником и кафедрой постелили ковер такого же цвета. Уникальное осветительное оборудование тоже уже стояло на месте. Газовый техник и осветитель установили по обеим сторонам от кафедры вертикальные трубы с горелками высотой около двенадцати футов. Между ними, скрытый от взоров публики за темно-бордовым щитом, тянулся горизонтальный ряд ламп в жестяных отражателях. В дополнение к этому яркому освещению на каждой вертикальной трубе имелся фонарь с зеленым стеклом, направленный прямо на лицо чтеца.

Я постоял на сцене при включенном освещении всего минуту, но едва не ослеп от блеска огней. Вряд ли я смог бы читать по книге, если бы мне в глаза били лучи многочисленных светильников, но я знал, что Диккенс крайне редко обращается к книгам во время своих выступлений, если вообще обращается. Он заучивал наизусть многие сотни страниц своих текстов — читал, запоминал и повторял раз по двести каждую главу, постоянно внося в нее какие-нибудь изменения и дополнения, — и либо закрывал книгу в самом начале представления, либо рассеянно и чисто символически перелистывал страницы по ходу дела. Чаще всего он устремлял пристальный взор в зрительный зал. Несмотря на слепящий глаза свет газовых ламп, Диккенс различал лица всех присутствующих — верхний ряд фонарей специально устанавливался достаточно высоко, чтобы рассеивать темноту в зале.

Прежде чем спуститься с подмостков, я внимательно осмотрел саму кафедру. Она представляла собой маленький столик на четырех изящных, тонких ножках, высотой примерно по пояс Неподражаемому. По обеим сторонам горизонтальной столешницы, сейчас накрытой малиновой тканью, находились маленькие полочки: правая предназначалась для графина с водой, а левая — для дорогих лайковых перчаток и носового платка Диккенса. С левого края к столешнице крепился прямоугольный деревянный брусок, на который Диккенс мог опираться правым или левым локтем. (Во время выступлений он часто стоял слева от кафедры и порой вдруг подавался вперед, по-мальчишески порывисто, опираясь правым локтем на эту подставку и выразительно жестикулируя обеими руками. Такой прием способствовал установлению более тесной и доверительной связи с публикой.)

Диккенс громко прочистил горло, я отошел от кафедры и спустился в зал, а писатель занял свое место на сцене и стал проверять акустику помещения, читая различные фрагменты из программы предстоящего концерта. Я присоединился к Джорджу Долби, сидевшему в последнем ряду на балконе первого яруса.

— Шеф начал турне с чтения рождественской повести «Рецепты доктора Мериголда». — Долби говорил шепотом, хотя мы находились далеко от Диккенса. — Но она не произвела на публику должного впечатления, во всяком случае шеф так посчитал, — а вы и без меня знаете, что он во всем стремится к совершенству, — и потому вместо нее он включил в программу свои любимые старые номера: сцену смерти Поля из «Домби и сына», сцену с участием мистера, миссис и мисс Сквирс из «Николаса Никльби», сцену суда из «Пиквикского клуба», эпизод с грозой из «Дэвида Копперфилда» и, разумеется, «Рождественскую песнь». Эту повесть публика всегда будет принимать восторженно.

— Нисколько не сомневаюсь, — сухо промолвил я.

В свое время я снискал известность очерком, где презрительно отзывался о «ханжеской умильности рождест-

венских настроений». Я заметил, что Долби не заикается, когда говорит шепотом. До чего же все-таки причудливы подобные недуги. Вспомнив о недугах, я извлек из кармана маленькую фляжку с лауданумом и отпил из нее несколько глотков.

— Извините, что не предлагаю вам, — сказал я нормальным по громкости голосом, не смущаясь тем обстоятельством, что Диккенс продолжает читать с далекой сцены фрагменты из разных своих произведений. — Лекарство.

— Я прекрасно все понимаю, — прошептал Долби.

— Странно, что публика не приняла «Доктора Мериголда», — сказал я. — Рождественский номер нашего журнала с этой повестью разошелся тиражом свыше двухсот пятидесяти тысяч экземпляров.

Долби пожал плечами и тихо проговорил:

— Шеф исторгал у публики смех и слезы по ходу чтения. Но, мол, недостаточно смеха и слез, сказал он. И не в те моменты, когда надо. Поэтому он исключил «Доктора Мериголда» из программы.

— Жаль, — сказал я; наркотик разливался по моему телу волнами блаженного тепла. — Диккенс репетировал эту вещь более трех месяцев.

— Шеф репетирует *все* вещи, — прошептал Долби.

Я еще не разобрался толком, какие чувства вызывает у меня дурацкое слово «шеф», которое Долби использует применительно к Диккенсу, но самому Неподражаемому новое звание определенно нравилось. Насколько я успел понять, Диккенсу нравилось почти все в дородном, неуклюжем заике-импресарио. Я не сомневался, что простой театральный делец постепенно занимает в жизни писателя место близкого друга и наперсника, свыше десяти лет остававшееся за мной. Не в первый раз я осознал (с кристальной ясностью, наступающей в мыслях под воздействием лауданума), что Форстер, Уиллс, Макриди, Долби, Фицджеральд — все мы — суть просто малые планеты, соперничающие между собой в борьбе за право вращаться по самой ближней орбите вокруг седеющего,

морщинистого, страдающего метеоризмом Солнца по имени Чарльз Диккенс.

Не промолвив более ни слова, я встал и вышел из театра.

Я собирался вернуться в гостиницу — я знал, что Диккенс тоже вскоре отправится туда, чтобы отдохнуть несколько часов перед концертом, но будет погружен в сосредоточенное молчание и изъявит готовность к общению только по завершении долгого вечернего представления, — но обнаружил вдруг, что бреду куда глаза глядят по темным грязным улицам Бирмингема, задаваясь вопросом, какого черта я здесь делаю.

Восемь лет назад, осенью 1858 года, — после того как я сопровождал Диккенса в бестолковой поездке на север страны к Эллен Тернан (пребывая в уверенности, что мы собираем материалы для «Ленивого путешествия двух досужих подмастерьев») и чуть не погиб на горе Кэррик-Фелл — я вернулся в Лондон с твердым намерением заняться театром. Сразу после прошлогоднего успеха «Замерзшей пучины» знаменитый актер Фрэнк Робсон купил у меня написанную несколькими годами ранее мелодраму «Маяк» (главную роль в ней, как и в «Замерзшей пучине», играл Диккенс), и 10 августа 1857 года моя мечта стать профессиональным драматургом сбылась. Диккенс сидел вместе со мной в авторской ложе и аплодировал наравне с остальными. Признаться, я встал и неоднократно поклонился во время овации — хотя «овация», пожалуй, слишком сильное слово: аплодисменты казались скорее уважительными, нежели восторженными.

Рецензии на «Маяк» тоже были уважительными и прохладными. Даже благосклонный Джон Оксенфорд из «Таймс» написал: «Нельзя не прийти к заключению, что „Маяк“, при всех своих достоинствах, является скорее милой театральной безделушкой, чем настоящей пьесой».

Несмотря на такой прохладный прием, в 1858 году я несколько месяцев кряду, если употребить наше с Дик-

кенсом выражение, «усиленно напрягал мозги» в попытке сочинить еще что-нибудь для театра.

Источником вдохновения стал для меня сын Диккенса Чарли, по возвращении из Германии поделившийся с нами своими впечатлениями от посещения франкфуртского морга. Я немедленно схватился за перо и в два счета написал драму «Красный флакон». Главные персонажи в ней сумасшедший и отравительница (я всегда питал глубокий интерес к ядам и отравителям). Центральная сцена происходит в морге. Признаться, я замечательно продумал мизансцену — помещение, полное трупов, которые все лежат на холодных каменных столах под простынями, и к пальцу каждого привязан шнур, соединенный с тревожным колокольчиком, на случай если вдруг кто-то из «мертвецов» окажется вовсе не мертвым. Вся жуткая обстановка пробуждала древний подсознательный страх человека перед погребением заживо и ходячими мертвецами.

Сам Диккенс ничего толком не сказал мне ни на первых порах, когда я изложил ему замысел пьесы, ни позже, когда я прочитал ему несколько законченных сцен из нее, но он посетил лондонский сумасшедший дом с целью выяснить разные мелкие подробности, призванные прибавить достоверности образу моего душевнобольного героя. Робсон, превосходно сыгравший в «Маяке», решил поставить мою драму в театре «Олимпик» и взял себе роль безумца. Я с огромным удовольствием посещал репетиции, и все занятые в спектакле актеры хвалили пьесу. Они согласились с моим мнением, что лондонские театралы превратились в тупоумную серую толпу, которой требуется крепкая встряска, чтобы выйти из сонного оцепенения.

Одиннадцатого октября 1858 года Диккенс вместе со мной присутствовал на премьере «Красного флакона» и после представления пригласил меня и моих друзей (человек двадцать самое малое) на ужин к себе в Тэвистокхаус, где жил уже без жены.

Спектакль с треском провалился. В то время как мои друзья обмирали от страха и восхищения, потрясенные

болезненной мрачностью и эмоциональностью отдельных эпизодов, все остальные зрители хихикали. Самые громкие смешки прокатились по залу в кульминационный момент сцены в морге, когда (слишком предсказуемо, по мнению рецензентов) один из трупов позвонил в колокольчик.

Первое представление оказалось и последним. Всю оставшуюся часть мучительно долгого вечера Диккенс старался поднять всем настроение, отпуская колкие остроты по адресу лондонской публики, но ужин в Тэвисток-хаусе стал для меня тяжким испытанием. По словам Перси Фицджеральда, случайно услышанным мной позже, на поминках и то было бы веселее.

Но провал «Красного флакона» не заставил меня отказаться от принятого решения воздействовать на соотечественников, одновременно будоража, чаруя, интригуя и ужасая умы. Однажды, вскоре после ошеломительного успеха «Женщины в белом», меня попросили раскрыть рецепт успеха, и я скромно перечислил следующие составляющие:

1. Сформулировать замысел произведения.
2. Придумать персонажей.
3. Определить роль каждого персонажа в развитии событий.
4. Начать рассказ с самого начала.

Сравните, коли хотите, этот почти научный подход к созданию литературных произведений с непродуманными, произвольными методами Чарльза Диккенса, который на протяжении многих лет писал романы тяп-ляп: на ходу вводил в повествование второстепенных персонажей (зачастую списанных с реальных людей), не задаваясь вопросом, имеют ли они отношение к главному замыслу произведения; приплетал множество побочных сюжетных линий, заставляя своих героев попадать в случайные ситуации и несущественные истории, никак не связанные с основной фабулой, и часто начинал рассказ

с середины, нарушая важный принцип Коллинза о необходимости начинать с начала.

Это просто чудо, что мы с Диккенсом умудрились написать довольно много вещей в соавторстве. Я немало горжусь тем, что привнес известную связность и стройность в пьесы, новеллы, путевые очерки и более крупные произведения, задуманные или созданные сообща.

«Так с какой стати, — спрашивал я себя тем не по сезону холодным и дождливым майским вечером в Бирмингеме, — я притащился сюда любоваться Диккенсом, завершающим свою триумфальную поездку с публичными чтениями по Англии и Шотландии?»

Критики постоянно порицали мою склонность к «мелодраме», но как, интересно, следует называть новое, диковинное сочетание литературы и ходульного актерства, которое Диккенс собирался продемонстрировать публике нынче вечером? Никто из представителей нашей профессии не видел прежде ничего подобного. Никто в мире не видел прежде ничего подобного. Это умаляло роль писателя и превращало литературу в дешевый балаган. Диккенс угождал вкусам толпы, точно коверный клоун с собачкой.

Такие мысли одолевали меня, когда я, уже вознамерившись воротиться в гостиницу, свернул в темную улицу, зажатую между глухими стенами, — скорее даже не улицу, а переулок, — и обнаружил, что путь мне преграждают двое мужчин.

— Прошу прощения, — резко промолвил я и махнул тростью, веля посторониться.

Они не тронулись с места.

Я перешел на правую сторону улочки, но они сделали то же самое. Я двинулся влево, но они совершили такой же маневр.

— В чем дело? — осведомился я.

Не произнося ни слова, мужчины начали подступать ко мне. Оба почти одновременно полезли в карман своих потрепанных сюртуков, и в следующий миг я увидел в грязной мозолистой руке у каждого короткий нож.

Я быстро развернулся кругом и торопливо зашагал обратно к широкой людной улице, но в переулок передо мной вышел третий парень и встал на моем пути — неясная зловещая тень в сумерках. Он тоже держал в правой руке какой-то предмет, поблескивавший в тусклом свете угасающего дня.

Признаюсь, дорогой читатель, сердце у меня бешено заколотилось и в животе мучительно похолодело. Мне неприятно сознаваться в трусости — кому приятно? — но я человек тихий и мирный, и, хотя время от времени я пишу о жестоких избиениях, кулачных драках, поножовщине и убийствах, сам я ни разу в жизни не сталкивался ни с чем подобным и решительно не желаю сталкиваться.

Мне захотелось пуститься наутек. Я почувствовал нелепое, но неодолимое побуждение громко позвать маму, даром что Хэрриет находилась во многих сотнях миль от меня.

Хотя ни один из троих бандитов так и не промолвил ни слова, я вытащил из кармана сюртука бумажник. Многие мои друзья и знакомые — особенно Диккенс — считали меня малость прижимистым. По правде говоря, Диккенс и его приятели, давно живущие в достатке, не принимали во внимание мои стесненные обстоятельства, вынуждавшие меня к аккуратности в денежных вопросах, и считали меня отъявленным скрягой вроде Эбенезера Скруджа до его чудесного преображения.

Но в тот момент я бы отдал все до последнего фунта и шиллинга — и даже свои не золотые, но вполне исправные часы, — лишь бы только эти головорезы дали мне пройти.

Как я сказал, они не потребовали денег. Возможно, именно это испугало меня сильнее всего. Или угрюмое, жестокое выражение, застывшее на обрамленных бакенбардами лицах, — особенно мертвенно-холодный и одновременно радостно-предвкушающий взгляд самого крупного мужчины, приблизившегося ко мне с поднятым ножом.

— Постойте! — пролепетал я. — Постойте... постойте...

Верзила в поношенном костюме медленно поднес нож к самому моему горлу.

— Постойте! — раздался позади нас гораздо более громкий и повелительный голос.

Мои противники и я разом обернулись.

Поодаль от нас стоял невысокий — ростом всего с меня — мужчина в коричневом костюме. Он был без шляпы, намокшие под мелким дождичком короткие сивые волосы плотно облепляли череп.

— Вали отсюда, приятель, — прорычал парень, державший нож у моего горла. — Наши дела тебя не касаются.

— Очень даже касаются, — сказал коротышка и бегом бросился к нам.

Все три головореза двинулись ему навстречу, но я не нашел в себе сил задать стрекача, ибо ноги у меня совсем ослабли от страха. Я нисколько не сомневался, что через считаные секунды я и мой незадачливый спаситель оба будем лежать мертвые на грязном булыжнике в этом безымянном темном переулке.

Человек в коричневом (который поначалу показался мне толстяком вроде меня, но при ближайшем рассмотрении оказался крепко сбитым малым, мускулистым, как акробат) проворно выхватил из кармана твидового сюртука короткую, явно увесистую палку — нечто среднее между матросской свайкой и полицейской дубинкой — с округлым набалдашником, похоже залитым свинцом или другим металлом.

Двое бандитов кинулись на него. Незнакомец двумя молниеносными ударами дубинки перебил кисть и сломал пару ребер первому, а второму мгновенье спустя проломил череп с тошнотворным треском. Самый крупный из разбойников — парень с мертвенно-холодными глазами, всего несколько секунд назад державший нож у моего горла, — выставил вперед лезвие и начал медленно приближаться к моему спасителю, по-кошачьи пружинисто прыгая на полусогнутых ногах из стороны

в сторону, резко подаваясь всем корпусом вправо-влево и совершая прочие обманные движения с ловкостью бывалого поножовщика.

Мужчина в коричневом отскочил назад, уворачиваясь от широкого полосующего удара лезвия, которое непременно распороло бы ему живот, когда бы не его прыткость. В следующий момент мой спаситель прыгнул вперед — с проворством, неожиданным для человека столь солидной комплекции, — и резким ударом дубинки сверху вниз перебил бандиту руку, возвратным ударом снизу вверх раздробил челюсть, потом саданул верзилу в пах с такой силой, что я сам невольно скривился и вскрикнул, и напоследок треснул уже осевшего на колени противника по затылку, после чего тот повалился лицом в грязь и больше не шевелился.

Теперь в сознании оставался только первый головорез, с перебитой кистью и сломанными ребрами. Он шаткой поступью уходил в глубину темного переулка.

Мой спаситель догнал его, рывком развернул к себе, дважды ударил по лицу своей короткой, но смертоносной дубинкой, пинком повалил наземь, а потом с размаху огрел громко стонущего парня по голове. Стоны прекратились.

Затем мужчина в коричневом костюме направился ко мне.

Признаюсь, я попятился, умоляюще вскинув руки. Я и так уже едва не испачкал исподнее. Только немыслимая — я бы даже сказал невероятная — молниеносность произошедшей сейчас схватки не позволила мне обделаться от страха.

Я много раз описывал в своих сочинениях различные драки, но под моим пером все насильственные действия обретали почти хореографический характер, складываясь из продуманных, замедленных движений. Реальная схватка, произошедшая у меня на глазах сейчас, — безусловно, самая страшная и жестокая из всех, когда-либо мною виденных, — продолжалась не долее семи-восьми секунд. Я осознал, что меня запросто может вырвать,

если только чудовище в коричневом костюме не убьет меня прежде. Я выставил вперед ладони и попытался заговорить.

— Все в порядке, мистер Коллинз, — сказал мужчина, убирая в карман дубинку.

Он крепко взял меня под локоть и повел обратно к хорошо освещенной широкой улице. Кареты и кебы катили по мостовой как ни в чем не бывало.

— Вы... вы... кто? — с трудом выдавил я. Сильными пальцами незнакомец стискивал мою руку, точно кузнечными клещами.

— Мистер Баррис, сэр. К вашим услугам. Вам надобно воротиться в гостиницу, сэр.

— Баррис? — переспросил я и устыдился своего слабого, дрожащего голоса.

Я всегда гордился своей способностью сохранять спокойствие в трудных ситуациях, на суше ли, на море ли (хотя в последние месяцы и годы, не стану отрицать, своей невозмутимостью я был отчасти обязан лаудануму).

— Да, сэр. Реджинальд Баррис. Сыщик Реджинальд Баррис. Для друзей — просто Реджи, мистер Коллинз.

— Вы из бирмингемской полиции? — спросил я.

Мы повернули на восток — мой спутник по-прежнему держал меня под локоть — и быстро зашагали по улице.

Баррис рассмеялся:

— О нет, сэр. Я работаю на инспектора Филда. Приехал из Лондона через Бристоль, как и вы, сэр.

Писатели в своих сочинениях довольно часто используют определение «ватные» применительно к слову «ноги» — это избитое выражение. Любой человек, у которого ноги действительно становятся ватными и непослушными, чувствует себя по-дурацки — особенно любитель морских путешествий вроде меня, способный запросто прогуливаться по ходящей ходуном палубе в штормовых водах Ла-Манша.

— Может, нам стоит вернуться? — с усилием проговорил я. — Те трое парней, наверное, серьезно ранены.

Баррис (если это было его настоящее имя) хихикнул:

— О, они и вправду серьезно ранены, ручаюсь вам, мистер Коллинз. Один мертв. Но мы не вернемся. Пускай себе валяются там.

— Мертв? — тупо переспросил я. В такое я не мог поверить. Не желал поверить. — Мы должны сообщить в полицию.

— В полицию? О нет, сэр. Я так не считаю. Инспектор Филд мигом выгонит меня с работы, коли я допущу, чтобы мое имя и название нашего частного сыскного бюро появились в бирмингемских и лондонских газетах. А вам, мистер Коллинз, наверняка придется задержаться здесь на несколько дней. И потом еще не раз возвращаться сюда для дачи свидетельских показаний в бесконечных дознаниях и судебных слушаниях. И все из-за трех паршивых уличных грабителей, собиравшихся перерезать вам глотку ради вашего кошелька? Пожалуйста, сэр, выбросьте из головы подобные мысли.

— Я не понимаю, — проговорил я. Мы свернули на еще более широкую, оживленную улицу, ярко освещенную фонарями. Отсюда я уже и сам нашел бы дорогу к гостинице. — Филд послал вас... охранять меня? Защищать?

— Да, сэр. — Баррис наконец отпустил мою руку, и я почувствовал, как кровь стремительно побежала по сосудам, ранее передавленным сильными пальцами моего спутника. — То есть нас двое, сэр. Я и мой коллега... э-э... сопровождаем вас с мистером Диккенсом в этой поездке. На случай, если вдруг появится мистер Друд. Или его агенты.

— Друд? — повторил я. — Агенты? По-вашему, тех троих парней подослал Друд, чтобы они меня убили?

При этой мысли я снова почувствовал позыв к опорожнению кишечника. До сего момента вся история с Друдом представлялась мне просто остроумной, пусть и несколько утомительной игрой.

— О нет, сэр. Я совершенно уверен, что эти мерзавцы не имеют никакого отношения к Друду, за которым

охотится инспектор. Ни малейшего, сэр. Даже не сомневайтесь.

— Но почему вы так уверены? — спросил я. Впереди уже показалась моя гостиница.

Баррис едва заметно улыбнулся:

— Они белые, сэр. Друд почти никогда не пользуется услугами белых, хотя изредка на него работают немцы или ирландцы. Нет, он послал бы китайцев, или ласкаров, или индусов, или даже черномазых из сошедшей на берег матросни, если бы хотел убить вас здесь или в Бристоле, сэр. Ну что ж, вот и ваша с мистером Диккенсом гостиница, мистер Коллинз. Там дежурит мой коллега, он возьмет вас под охрану, как только вы войдете в вестибюль. Я постою здесь, пригляжу за вами, пока вы не скроетесь за дверью.

— Коллега? — повторил я.

Но Баррис уже отступил в темный проулок и поднес руку ко лбу, словно дотрагиваясь до невидимого котелка.

Я повернулся и неверной поступью двинулся к ярко освещенному входу в гостиницу.

Я не собирался никуда идти после столь ужасного приключения. Однако, приняв ванну и выпив по меньшей мере четыре чашки лауданума (я опорожнил фляжку и снова наполнил из тщательно упакованной бутыли, хранившейся в моем чемодане), я все-таки решил облачиться в приличествующее случаю парадное платье и посетить выступление Диккенса. В конце концов, я приехал в Бирмингем именно за этим.

Со слов Уиллса и Долби я знал, что в течение пары часов перед ежевечерним представлением Диккенс решительно не расположен к общению. Он со своим импресарио уже отправился в театр пешком, а я взял кеб чуть позже. Я не имел ни малейшего желания еще раз в одиночестве прогуляться по улицам Бирмингема. (Если сыщик Баррис или его коллега и следили за мной, то я нигде их не приметил, когда вышел из кеба у служебного входа театра.)

Часы показывали четверть восьмого, и публика только начинала съезжаться. Я стоял в глубине зала и наблюдал за газовым техником и осветителем — они вышли на сцену, внимательно осмотрели конструкцию из темных труб и фонарей со всех сторон, а потом удалились. Через минуту газовый техник вернулся один, подправил что-то в верхнем ряду ламп, скрытых за обтянутым темно-бордовой тканью огромным щитом, и снова ушел. Несколько минут спустя техник появился в третий раз и включил освещение. Вспыхнувшие в темноте огни, пока еще тусклые, но уже позволявшие отчетливо разглядеть чтецкую кафедру, произвели поразительное впечатление. К тому времени уже несколько сотен людей сидели на своих местах, и все они разом умолкли и уставились на сцену с напряженным интересом, ощутимым почти физически.

Через несколько секунд из-за кулис неторопливо вышел Джордж Долби. Он с важным видом окинул взором осветительную установку и кафедру, обвел глазами зрительный зал, потом поставил на столик графин с водой, значительно кивнул, словно удовлетворенный своим существенным вкладом в дело, и медленно удалился за высокий задник. Когда я сам зашел за кулисы и случайно оказался на шаг впереди Долби, мне вспомнилась самая известная ремарка из шекспировской «Зимней сказки»: «Выходит, преследуемый медведем».

Диккенс в своей уборной уже переоделся в вечерний костюм. Я порадовался, что и сам нарядился подобающим случаю образом, хотя все мои знакомые знали, как мало меня заботят условности, связанные с формой одежды. Однако нынче вечером белый галстук и фрак казались весьма уместными... даже необходимыми.

— О дорогой Уилки! — воскликнул Неподражаемый, завидев меня. — Как мило с вашей стороны, что вы решили посетить мое выступление.

Он выглядел совершенно спокойным, но складывалось впечатление, будто он напрочь забыл, что сегодня я ехал из Бристоля в Бирмингем вместе с ним.

На туалетном столике стоял букет алых гераней, и Диккенс срезал два цветка — один вставил себе в петлицу, другой — мне.

— Пойдемте. — Он поправил золотую цепочку от часов и в последний раз взглянул в зеркало, проверяя, все ли пуговицы застегнуты и в порядке ли у него борода и напомаженные кудри. — Посмотрим одним глазком на бирмингемцев в надежде, что они уже начинают проявлять нетерпение.

Мы вышли на сцену за дощатой перегородкой, где все еще топтался Долби. Диккенс показал узкую щель в заднике, сквозь которую, если раздвинуть складки ткани, был виден весь зрительный зал, теперь уже почти полностью заполненный и возбужденно гудящий, и дал мне глянуть в нее. В тот момент даже меня охватила нервная дрожь, и я невольно задался вопросом, смогу ли когда-нибудь я, при всем своем актерском опыте, выступать с публичными чтениями, не испытывая нервозности. Однако сам Диккенс не выказывал ни малейших признаков волнения. Он кивнул подошедшему газовому технику, и тот спокойно вышел на сцену, чтобы окончательно настроить освещение. А Неподражаемый приник глазом к щели в ширме и прошептал: «Больше всего я люблю эти последние минуты перед началом выступления, Уилки».

Я придвинулся к нему так близко, что чуял запах помады, исходящий от его волос, и тоже смотрел в щель. Внезапно лампы ярко вспыхнули эффектнейшим образом, высветив из темноты лица двух тысяч зрителей. По залу прокатился восхищенный вздох.

— Вам лучше занять свое место в партере, друг мой, — прошептал Диккенс. — Я повременю еще минуту-другую, чтобы они совсем уже извелись от нетерпения, а потом мы начнем.

Я не понял, шутит он или нет, а потому кивнул и двинулся прочь в темноте, ощупью спустился по боковым ступенькам, пробрался в самый конец зала, двигаясь навстречу потоку припоздавших зрителей, а потом

прошел по центральному продольному проходу в обратном направлении, к широкому поперечному проходу, где находилось мое место. Я попросил Уиллса оставить за мной место именно в этом ряду, чтобы во время антракта, предусмотренного в двухчасовом выступлении, мне было легче выскользнуть из зала и пройти в уборную к Диккенсу. В ярком свете газовых ламп темно-бордовый ковер на сцене, незатейливый столик и даже графин с водой выглядели весьма внушительно и многообещающе.

Когда из-за кулис выступила стройная фигура Диккенса, грянули аплодисменты, в считаные секунды переросшие в оглушительную овацию. Никак не отреагировав на рукоплескания, Неподражаемый прошел к столику, налил в стакан воды из графина и стал ждать, когда шум уляжется, с невозмутимым видом человека, выжидающего удобного момента, чтобы перейти через запруженную экипажами улицу. Когда наконец установилась тишина, Диккенс... ничего не сделал. Он просто стоял на сцене и смотрел на публику, время от времени слегка поворачивая голову туда-сюда, чтобы видеть всех и каждого. Казалось, он встретился глазами со всеми до единого присутствующими — а в зале в тот вечер собралось свыше двух тысяч человек.

Двое-трое опоздавших все еще искали свои места в задних рядах, и Диккенс с полным спокойствием, невесть почему производящим жутковатое впечатление, подождал, когда они усядутся. Потом он несколько секунд смотрел на них бесстрастным, пристальным, но одновременно чуть вопросительным взглядом.

Потом он начал.

Спустя несколько лет после того вечера в Бирмингеме Долби как-то сказал мне: «В последние годы Шеф выступал так, что каждый из сидящих в зале чувствовал себя не слушателем или зрителем, а полноправным участником спектакля. Не сторонним наблюдателем, а проводником неведомой силы».

Проводником неведомой силы. Да, возможно. Или одержимым на манер столь популярных в мою эпоху

спиритов, в которых предположительно вселялись духи, указующие путь в потусторонний мир. Да, во время чтений одержимым казался не один только Чарльз Диккенс — вся публика присоединялась к нему. Как вы впоследствии поймете, к нему было трудно не присоединиться.

Мне печально сознавать, дорогой читатель, что никто из представителей вашего поколения не видел и не слышал, как Чарльз Диккенс читает свои произведения. Сегодня, когда я пишу сии строки, ученые уже пробуют записывать голоса на различных цилиндрических валиках — почти так же, как фотографы запечатлевают человеческие образы на покрытых особым составом пластинах. Но все подобные эксперименты начались только после смерти Чарльза Диккенса. Никто из живущих в вашу эпоху никогда не услышит его высокий, слегка пришепетывающий голос и не увидит диковинных метаморфоз, творившихся с Неподражаемым и публикой в ходе представлений, — не увидит, поскольку на моей памяти его ни разу не фотографировали на сцене дагеротипным или иным способом (и поскольку в наши дни процесс фотографической съемки, весьма продолжительный, требовал от позирующего полной неподвижности, а Диккенс *всегда* находился в движении). Выступления Неподражаемого не имели аналогов в наше время, и, осмелюсь предположить, никто так и не сравнился с ним в будущем (если писательское ремесло вообще сохранилось до ваших дней).

Чарльз Диккенс читал главы из своей последней рождественской повести, и мне явственно чудилось — даже несмотря на ослепительный блеск газовых фонарей, — будто над ним клубится странное переливчатое облако. Думаю, это было эктоплазматическое воплощение сразу всех созданных писателем персонажей, которых теперь он одного за другим призывал выступать перед нами.

Когда очередная фантомная сущность вселялась в него, у Диккенса тотчас менялась осанка. Он то резко вскидывал голову и расправлял плечи, то горбился от отчаяния, то принимал томно-ленивую позу в зависимости

от воли персонажа, чей дух пребывал в нем в данный момент. Лицо писателя всякий раз преображалось почти до неузнаваемости: одни лицевые мышцы расслаблялись, другие напрягались и приходили в движение. Хищные улыбки, плотоядные оскалы, злобные гримасы, заговорщицкие прищуры, совершенно нехарактерные для хозяина Гэдсхилл-плейс, мелькали на лице этого вместилища духов, стоявшего на сцене перед нами. Голос Диккенса ежесекундно менялся, и во время стремительных диалогов, произносимых без малейших заминок и пауз, складывалось впечатление, будто он одержим сразу двумя или тремя демонами.

Я и прежде неоднократно слышал, как в процессе чтения Неподражаемый мгновенно переходит от хриплого, скрипучего, шепелявого шепота Феджина — «Эге! Мне нравится этот парень. Он может нам пригодиться. Он уже знает, как дрессировать девушку. Притаитесь, как мышь, мой милый, и дайте мне послушать, о чем они говорят, дайте мне их послушать» — к унылому тенорку мистера Домби, потом к жеманному сюсюканью мисс Сквирс, а потом к говору кокни, воспроизвести который с такой поразительной точностью не мог ни один английский актер наших дней.

Но тем вечером всех нас потрясла не только эта замечательная способность менять голос и манеру речи. В момент, когда Диккенс переходил от одного персонажа к другому (или когда один персонаж покидал его тело, а другой в него вселялся), он преображался полностью. Когда он перевоплощался в еврея Феджина, его обычная, почти по-военному стройная осанка исчезала, уступая место старческой сутулости; лоб словно становился выше и шире, а брови гуще; глаза глубоко западали и загорались зловещим огнем. Руки Диккенса, остававшиеся в покое, покуда он читал текст повествовательно-описательного характера, суетливо шевелились, нервно потирали одна другую, дрожали от алчности и всё норовили спрятаться в рукава, когда они принадлежали Феджину. Во время выступления Неподражаемый постоянно расхаживал взад-вперед за чтецкой кафедрой — и уверен-

ная, плавная поступь, какой он двигался, будучи самим собой, сменялась вороватой, украдчивой, по-кошачьи мягкой поступью, когда в нем пребывал дух Феджина.

«Все персонажи, в которых я перевоплощаюсь, для меня так же реальны, как для публики, — сказал мне Диккенс перед самым турне. — Для меня самого плоды моего вымысла реальны до такой степени, что я не вызываю своих персонажей в воображении, а вижу словно воочию, ибо они возникают передо мной во всей полноте телесности. И публика тоже видит эту реальность».

В тот вечер я действительно ее увидел. Не знаю, что именно явилось тому причиной — недостаток ли кислорода, вызванный горением многочисленных газовых фонарей, или месмерический эффект, производимый ярко освещенными лицом и руками Диккенса, резко выделявшимися на темно-бордовом фоне, — но я ежесекундно чувствовал на себе пристальный взгляд писателя, даже когда он смотрел глазами одного из своих персонажей, и постепенно, вместе со всеми остальными зрителями, погрузился в своего рода транс.

Когда Диккенс снова становился самим собой, читая авторский текст, а не монологи и диалоги своих героев, я слышал неколебимую самонадеянность в его голосе, видел торжествующий блеск в глазах и ощущал исходящие от него волны агрессивности, замаскированной под уверенность, — он явно упивался сознанием, что способен на протяжении столь длительного времени гипнотизировать двухтысячную толпу.

Потом чтение рождественской повести и глав из «Оливера Твиста» завершилось, первое полуторачасовое отделение представления закончилось, и Диккенс повернулся и удалился со сцены, проигнорировав неистовую овацию точно так же, как сделал при первом своем появлении перед публикой.

Я потряс головой, словно пробуждаясь ото сна, и направился за кулисы.

Диккенс лежал пластом на кушетке и выглядел совершенно обессиленным. Долби суетился вокруг, отдавая распоряжения официанту, выставлявшему на столик

бокал охлажденного шампанского и тарелку с дюжиной устриц. С трудом приподнявшись на локте, Диккенс принялся высасывать устриц из раковин и прихлебывать шампанское.

— Вечером Шеф не в состоянии съесть ничего, кроме устриц, — прошептал мне Долби.

Услышав шепот, Диккенс поднял глаза и промолвил:

— Дорогой Уилки... прекрасно с вашей стороны, что вы заглянули ко мне. Вам понравилась первая часть выступления?

— Да, — ответил я. — Это было... замечательно... как всегда.

— Кажется, я говорил вам, что заменю главы из «Доктора Мериголда» на что-нибудь другое, коли приму подобные ангажементы осенью или зимой.

— Но публика любит эту вещь, — сказал я.

Диккенс пожал плечами:

— Не так, как любит «Домби», «Скруджа» или «Никльби», из которого я буду читать через несколько минут.

Я был уверен, что в программу вечера включена сцена суда из «Записок Пиквикского клуба», по обыкновению запланированная на второе получасовое отделение (Диккенс предпочитал заканчивать выступления слезами умиления и смехом), но не стал спорить.

Десять минут уже почти истекли. Диккенс не без труда поднялся с кушетки, бросил подувядшую алую бутоньерку на поднос и вставил в петлицу свежий цветок.

— Я подойду к вам после выступления, — сказал я и вышел прочь, чтобы присоединиться к охваченным нетерпением людям в зрительном зале.

Когда аплодисменты стихли, Диккенс раскрыл книгу и сделал вид, будто читает вслух: «Николас Никльби в школе мистера Сквирса... Глава первая». Значит, все-таки Никльби.

Сейчас я не замечал в нем ни малейших признаков усталости, столь резко бросавшейся в глаза за кулисами.

Диккенс выглядел даже более энергичным и оживленным, чем в первом полуторачасовом отделении. Он принялся читать и снова моментально приковал к себе внимание всех присутствующих, точно мощный магнит, притягивающий великое множество компасных стрелок. И снова пристальный взор Неподражаемого вперился, казалось, сразу во всех и каждого из нас.

Несмотря на такое магнетическое притяжение, мысли мои начали блуждать. Я стал думать о посторонних вещах — о своем романе «Армадейл», выходившем в свет в двух томах через неделю, — и мне пришло в голову, что надо бы определиться с темой и сюжетом следующей книги. Пожалуй, стоит написать что-нибудь покороче и еще более сенсационное, но с сюжетом попроще, чем в хитроумно запутанном «Армадейле»...

Я вдруг встрепенулся и вернулся к действительности.

В огромном зале все переменилось. Свет померк, загустел и растекался от сцены медленными, почти вязкими волнами.

Царила тишина. Не прежнее зачарованное молчание двух с лишним тысяч людей, которое изредка нарушалось приглушенными покашливаниями, пробегающими по рядам смешками, скрипом кресел и шорохами движения, а мертвая тишина. Такое ощущение, будто все зрители разом скончались. До слуха моего не доносилось ни самого слабого вздоха, ни самого легкого шороха. Я осознал, что не слышу даже собственного дыхания и не чувствую биения собственного сердца. Зал бирмингемского театра превратился в гигантский склеп и погрузился в гробовое безмолвие.

В следующий миг я различил в темноте многие сотни тонких белых шнуров — одним концом привязанные к среднему пальцу правой руки всех до единого присутствующих, они тянулись вверх. В густом мраке я не мог разглядеть точку над нашими головами, где сходились две с лишним тысячи шнуров, но догадался, что все они соединены с массивным колоколом под потолком. Все мы находились в мертвецкой. Шнуры (похоже, шелковые) привязаны к нам на случай, если вдруг один из нас

окажется живым. Звон колокола — вне всяких сомнений, нестерпимо страшный для слуха — призван привлечь неведомо чье внимание, если кто-то из нас пошевелится.

Понимая это и зная, что в полном покойников зале один только я остался в живых, я затаил дыхание и неподвижно замер на месте, стараясь не потянуть случайно за шнур, привязанный к среднему пальцу моей правой руки.

Устремив взгляд на окутанную мраком сцену, я обнаружил, что лицо и руки, смутно белеющие там в мерклом свете газовых ламп, принадлежат уже не Чарльзу Диккенсу.

Со сцены в зал смотрел Друд.

Я сразу узнал мертвенно-бледную физиономию, жесткие пучки волос над изуродованными ушами, безвекие глаза, безобразно короткий нос (просто две подрагивающие перепонки над дырой в черепе), судорожно шевелящиеся длинные пальцы и тусклые глаза, что безостановочно двигались вправо-влево.

Руки у меня задрожали. В сотне футов надо мной глухо загудел колокол.

Друд резко повернул голову и вперил в меня тусклый взор.

Я вздрогнул всем телом. Колокол гулко зарокотал, потом тяжело громыхнул. Больше ни один мертвец в зале так и не шелохнулся.

Друд вышел из-за кафедры и выступил вперед из расплывчатого прямоугольника света. Он спрыгнул с подмостков и заскользил вверх по проходу между креслами. Теперь я трясся, словно в малярийном ознобе, но не находил в себе сил сдвинуться с места или хотя бы отвести в сторону взгляд.

Я уже чуял запах, исходивший от Друда. Так пахнет Темза близ Тигровой бухты, где гниет пропитанный смрадными миазмами притон Опиумной Сэл, в пору отлива, когда обнажаются прибрежные наслоения нечистот.

В руке Друд держал какой-то предмет. К моменту, когда он оказался шагах в двадцати от меня, я разглядел нож, диковинный нож, какого мне не доводилось видеть никогда прежде. Тонкая рукоятка скрывалась в бледном костлявом кулаке египтянина, а лезвие представляло собой полукруглую металлическую пластину с бритвенно-острым изогнутым краем, покрытую иероглифами. Оно имело по меньшей мере восемь дюймов в длину и походило на развернутый веер, торчащий из крепко стиснутого кулака.

«Беги! — приказал я себе. — Спасайся! Кричи!»

Я не мог даже пальцем пошевелить.

Друд навис надо мной, и в ноздри мне ударил затхлый смрад Темзы, когда он открыл рот. Я видел бледно-розовый язык, мелькающий за редкими, острыми зубами.

— Вот видиш-ш-шь, — прошипел он, отводя руку с ножом назад и в сторону для удара, призванного снести мне голову с плеч, — как вс-с-се прос-с-сто?

В следующий миг Друд стремительно полоснул лезвием, и оно легко рассекло мне бороду, галстук, горло, трахею, пищевод и позвоночник, не встретив ни малейшего сопротивления.

Публика бешено зааплодировала. Кисельно-густой воздух разредился до нормальной плотности. Шелковые шнуры исчезли.

Диккенс двинулся прочь со сцены, не обращая внимания на овацию, но Джордж Долби встал в кулисах у него на пути. Через секунду Неподражаемый вернулся на прежнее место, под яркие лучи газовых ламп, и вскинул ладони, призывая публику к молчанию.

— Дорогие друзья, — сказал он, когда в огромном зале установилась тишина, — похоже, произошла ошибка. Вернее, я допустил ошибку. Программой концерта предусматривалось чтение сцены суда из «Пиквикского клуба» во втором отделении, но я по забывчивости взял «Николаса Никльби» и стал читать из него. Вы милостиво простили мне мою оплошность и великодушно наградили меня рукоплесканиями. Час уже поздний... мой

хронометр показывает ровно десять: точное время, когда должен закончиться наш вечер... но если вы желаете услышать сцену суда — и аплодисментами дадите мне понять это, — я с огромной радостью присовокуплю к незапланированному номеру еще один.

Публика изъявила такое желание. Все захлопали, возбужденно загудели, закричали. Никто не покинул зал.

— Позовите Сэма Уэллера! — возгласил Диккенс грозным судейским голосом, и охваченная восторгом публика зашумела и зарукоплескала еще громче. С появлением каждого следующего знаменитого персонажа — миссис Гамп, мисс Сквирс, Бутса — рев толпы усиливался. Я прижал ладонь ко лбу, холодному и покрытому испариной. Диккенс продолжал читать, а я встал и шаткой поступью вышел прочь.

Я вернулся в гостиницу и выпил еще одну чашку лауданума, пока ждал прибытия Неподражаемого со свитой. Сердце мое бешено колотилось. Меня била нервная дрожь, я умирал от голода и с удовольствием заказал бы обильный ужин в свой номер, но Диккенс, хотя сам он больше так и не притронулся к пище вечером, пригласил Уиллса, Долби и меня отужинать у него в апартаментах, пока он приходит в себя после выступления. Там он расхаживал взад-вперед, говорил о планах на ближайшие дни и о поступившем ему предложении ближе к Рождеству отправиться в очередную поездку с публичными чтениями.

Я заказал фазана, рыбу, икру, паштет, спаржу, яйца и сухое шампанское, но буквально за минуту до появления официанта со всеми перечисленными блюдами, скромным ужином Уиллса и жареной бараниной Долби стоявший у камина Диккенс повернулся ко мне, присмотрелся и воскликнул:

— Дорогой Уилки! Что это у вас на воротнике?

— А? — Признаться, я покраснел. Прежде чем выпить чашку лауданума и явиться в номер Диккенса, я торопливо совершил омовение. — Что там? — Я поднес обе руки к горлу и нащупал над шелковым галстуком какую-то жесткую шершавую коросту.

— А ну-ка, уберите руки, — сказал Уиллс, поднося лампу поближе.

— О господи!.. — вырвалось у Долби.

— Боже милосердный, Уилки! — проговорил Диккенс скорее изумленно, нежели испуганно. — Да у вас вся шея и воротник в запекшейся крови. Вы прямо как Нэнси после того, что сотворил с нею Билл Сайкс.

Глава 16

Лето 1866 года выдалось утомительным.

Мой роман «Армадейл» вышел в июне, как и предполагалось, и в печати появились именно такие рецензии, каких я ожидал от узколобых, скучных критиков. Престарелый музыкальный критик и рецензент «Атенеума» Г. Ф. Чорли высказался следующим образом: «Весьма неприятно говорить об этом безусловно талантливом произведении так, как оно того заслуживает, но в интересах всего, что нам дорого в жизни, поэзии и искусстве, мнение о нем надлежит выразить со всей прямотой».

Он держался мнения, что моя книга безнравственна.

Рецензент «Зрителя» пришел к такому же выводу, изложив свои соображения в тоне не просто резком, а почти истерическом:

> Тот факт, что в жизни встречаются персонажи и совершаются поступки, подобные описанным в романе, ничуть не оправдывает автора, выходящего за рамки приличия и оскорбляющего человеческие чувства. «Армадейл» — произведение непристойное и возмутительное. В качестве главной героини в нем выведена женщина, аморальностью своей превосходящая уличное отребье, — она благополучно доживает до зрелого тридцатипятилетнего возраста, пройдя через мерзости подлога, убийства, воровства, двоемужия, тюремного заключения и попытки самоубийства без всякого ущерба для своей замечательной красоты... Об этом откровенно рассказывается в дневнике сей особы, который, не будь он плодом вымысла, вызывал бы одно

только отвращение и для прикрытия вопиющей безнравственности которого потребовался весь глянец, наведенный изящным слогом и блистательным образным языком мистера Уилки Коллинза.

Такого рода нападки меня нисколько не задевали. Я знал, что книга будет хорошо продаваться. Кажется, я уже говорил вам, дорогой читатель, что издатель заплатил мне пять тысяч фунтов — на тот момент рекордный для меня гонорар, остававшийся таковым еще многие годы, — причем заплатил еще прежде, чем я приступил к работе над романом. Я издал «Армадейл» выпусками в американском журнале «Харперз мансли», и он не только пользовался там бешеным успехом, но и спас журнал от полного банкротства, как впоследствии написал мне редактор. Публикация романа в английском «Корнхилле» имела равно оглушительный успех, что вызвало у Диккенса известную ревность, как вы уже поняли по отдельным его высказываниям, приведенным мной в рассказе о прошлом Рождестве в Гэдсхилле. Я не сомневался, что сумею переделать «Армадейл» в пьесу, которая станет для меня еще более существенным источником дохода, чем сама книга.

Огромный гонорар, авансом выплаченный мне Джорджем Смитом из «Смит, Элдер энд компани», едва не разорил издательство, несмотря на отличные продажи моего двухтомника, но данное обстоятельство меня мало касалось. Тем не менее оно меня порядком расстроило, поскольку означало, что следующий свой роман — независимо от его содержания — мне почти наверняка придется публиковать в диккенсовском «Круглом годе», как и предрекал упомянутый писатель/редактор во время нашего рождественского ужина. Я расстраивался не столько потому, что там мне выдадут значительно меньшую сумму авансом (Диккенс, Джон Форстер и Уиллс страшно скаредничали, когда дело доходило до выплат любому автору, кроме Неподражаемого), сколько потому, что Диккенс снова станет моим редактором.

Однако я по-прежнему пребывал в безмятежной уверенности, что недоброжелательные отзывы на мой роман ничего не значат. Критики и рецензенты просто не были готовы к появлению такой героини, как моя *femme fatale*[1] Лидия Гвилт из «Армадейла». Лидия не только всецело доминирует в произведении, как ни один из литературных женских персонажей, доныне известных, но и обрисована гораздо более выпукло и выразительно, чем любая из женщин, которых изображал или когда-либо изобразит в своих сочинениях Чарльз Диккенс. Всесторонний объемный портрет Лидии Гвилт — пусть коварной и жестокосердной, на взгляд невнимательного читателя или бестолкового рецензента, — стал подлинным *tour de force*[2].

Да, к слову о жестокосердных женщинах: Кэролайн Г*** выбрала именно жаркое лето 1866 года, чтобы предъявить мне ряд претензий.

— Почему ты не хочешь подумать о женитьбе, Уилки? Ведь ты представляешь меня как свою жену всем или почти всем своим друзьям, бывающим у нас. Я для тебя и хозяйка дома, и корректор, и экономка, и любовница. Все твои знакомые знают, что мы живем как муж и жена. Давно уже пора воплотить в реальность такое о нас впечатление.

— Если ты меня хоть чуточку знаешь, дорогая Кэролайн, — сказал я, — значит ты знаешь, что мне наплевать на впечатления и мнения других людей.

— Но мне не наплевать, — звенящим голосом заявила женщина, с которой я прожил последние двенадцать лет. — И Хэрриет уже стукнуло пятнадцать. Ей нужен отец.

— У нее был отец, — невозмутимо промолвил я. — Он умер.

— Когда малютке был всего годик! — прокричала Кэролайн. Она балансировала на тонкой грани между

---

[1] Роковая женщина *(фр.)*.

[2] Проявление силы, изобретательности; *зд.*: шедевр *(фр.)*.

слезами и гневом, истерикой и здравомыслием — женщины часто доходят или умышленно себя доводят до такого состояния. — Хэрриет превращается в девушку. Она скоро выйдет в свет. Ей нужно твое имя.

— Глупости! — фыркнул я. — У нее вполне нормальное имя и вполне нормальный дом. Она всегда будет пользоваться моей поддержкой и нашей любовью. Чего еще может желать разумная юная женщина?

— Ты обещал, что мы купим или снимем особняк на Глостер-плейс в этом или следующем году, — прохныкала Кэролайн.

Я на дух не переношу женское нытье. Все мужчины, дорогой читатель, на дух не переносят женское нытье. Так было испокон веков. Разница лишь в мужской реакции на него: только очень и очень немногие мужчины, к числу которых отношусь я, отказываются поддаваться на подобный эмоциональный шантаж, весьма тягостный для слуха.

Я взглянул на нее поверх очков:

— Я сказал, что рано или поздно мы там поселимся, голубушка моя. И так оно и будет.

— Откуда такая уверенность? — раздраженно осведомилась Кэролайн. — Я еще раз встретилась с миссис Шернволд, пока ты весело проводил время с Диккенсом в Бирмингеме. Она говорит, что подумала бы о продаже или сдаче внаем своего дома, если бы ее холостой сын не собирался вернуться из Африки через год-полтора, а она обещала оставить дом ему.

— Положись на меня, милая, — сказал я. — Я обещал купить вам с Хэрриет особняк на Глостер-плейс — и сдержу свое слово. Ты можешь припомнить хоть один случай, когда я не оправдал бы твоих ожиданий, глупышка?

Она посмотрела на меня волком. Кэролайн Г*** была хорошенькой, даже красивой женщиной, несмотря на зрелый возраст (хотя она упорно скрывала свои годы, мои расследования привели меня к выводу, что, скорее всего, Кэролайн родилась тридцать шесть лет назад, в 1830-м), но она не казалась ни хорошенькой, ни красивой, когда

злилась. Пусть в сотнях и тысячах произведений романтической литературы утверждается обратное, поверьте мне на слово, дорогой читатель: ни одна женщина не может остаться привлекательной, когда она хнычет или злится.

— Ты не оправдываешь моих ожиданий, отказываясь жениться на мне и стать законным отцом Хэрриет! — срываясь на визг, прокричала Кэролайн. — Не думай, будто я не в состоянии найти другого мужчину и выйти за него замуж, Уилки Коллинз! Даже ни на секунду не воображай ничего подобного!

— Я ни на секунду не воображаю ничего подобного, глупышка, — сказал я и снова уткнулся в газету.

Чарльз Диккенс, несмотря на все свои непроходящие недуги и неуклонно возрастающую боязнь поездов, похоже, проводил лето в свое удовольствие. В конторе «Круглого года» я случайно услышал, как Уиллс говорит Форстеру, что весеннее турне принесло Диккенсу доход в четыре тысячи шестьсот семьдесят два фунта. Владельцы фирмы «Чеппелы и компания», которых Неподражаемый однажды в разговоре со мной назвал «чистой воды спекулянтами, но спекулянтами самого благородного, самого возвышенного толка», пришли в чрезвычайный восторг от своей доли прибыли и — едва только Диккенс вернулся в Гэдсхилл после состоявшегося двенадцатого июня заключительного выступления в Лондоне, чтобы «отдохнуть и вволю насладиться птичьим пением», — предложили контракт на зимнее турне из пятидесяти чтений в разных городах. Уиллс сказал Форстеру, что поначалу Диккенс хотел запросить семьдесят фунтов за вечер (он не сомневался, что выручка от продажи билетов оправдает подобное требование), но в конечном счете предложил провести сорок два выступления за две тысячи триста фунтов в общей сложности. Чеппелы тотчас согласились.

Весь июнь и июль Диккенс принимал в Гэдсхилле гостей, посещал местные ярмарки, где судил все соревнования подряд, от бега в мешках до крикетных матчей,

и занимался своими делами, конечно же. Он еще не приступил к работе над новым романом, но начал подготавливать к печати новое «Собрание сочинений Чарльза Диккенса», которое предполагалось выпускать постепенно, по одному тому в месяц. Разумеется, Неподражаемый не мог остаться в стороне от такого дела, а потому вызвался написать новое предисловие к каждому роману.

Это собрание сочинений станет не только самым популярным из всех, выходивших в свет ранее, но и последним прижизненным.

Тем летом я часто виделся с Диккенсом как в Гэдсхилле (где я всегда заставал не менее полудюжины гостей), так и в Лондоне (он наведывался в контору «Круглого года» по крайней мере два раза в неделю, и мы с ним частенько обедали или ужинали вместе). Диккенс, в настоящее время уже продумывавший сюжет следующей рождественской повести для нашего журнала, репетировавший новые вещи для зимнего турне и писавший предисловия к новому собранию сочинений, вдобавок ко всему сообщил мне, что у него имеется ряд интересных задумок для нового романа, который он рассчитывает издать выпусками весной 1867 года. Он поинтересовался, над чем я сейчас работаю.

— У меня есть несколько идей, — сказал я. — Две-три сюжетные нити и несколько бусинок, чтобы на них нанизать.

— Что-нибудь такое, что мы сможем опубликовать в нашем журнале?

— Вполне возможно. Я подумываю об истории с участием сыщика.

— Из сыскного отдела Скотленд-Ярда?

— Или из частного сыскного бюро.

— А, ясно. — Диккенс широко улыбнулся. — Что-то вроде новых приключений инспектора Баккета.

Я помотал головой:

— На мой вкус, имя Кафф звучит неплохо. Сержант Кафф.

Диккенс улыбнулся еще шире:

— Сержант Кафф. Замечательно, друг мой. Просто великолепно.

Я велел дежурившему возле моего дома мальчишке передать инспектору, что нам надо встретиться. О времени и месте встречи мы уже давно условились, и на следующий день у моста Ватерлоо в два часа пополудни я увидел приземистую фигуру Филда, торопливо шагавшего ко мне.

— Мистер Коллинз.

— Инспектор. — Я кивком указал на густую тень под мостом. — Немеблированные комнаты на полмесяца.

— Прошу прощения, сэр?

— Сэм Уэллер — Пиквику.

— Ах да, сэр. Ну конечно. Мистер Диккенс всегда восхищался этим мостом. Несколько лет назад я пособил ему в работе над очерком «С отливом вниз по реке», познакомив со здешним сборщиком пошлины. Господин литератор, насколько мне известно, очень интересовался самоубийствами и трупами, которые приносит к берегу в пору прилива.

— Тринадцать, — буркнул я.

— Прошу прощения, сэр?

— Тринадцать лет назад, — сказал я. — Диккенс опубликовал «С отливом вниз по реке» в журнале «Домашнее чтение» в феврале пятьдесят третьего года. Я редактировал очерк.

— Ну да, конечно. — Инспектор Филд поскреб подбородок большим пальцем. — Что заставило вас просить о встрече со мной, мистер Коллинз? Какие-нибудь новости?

— Скорее отсутствие всяких новостей, — сказал я. — Вы никак не отреагировали на мой письменный отчет и не ответили на мой вопрос.

— Приношу свои извинения. — В хриплом голосе инспектора не слышалось ни намека на сожаление. — Я был очень занят, мистер Коллинз. Страшно занят.

Я чрезвычайно признателен вам за отчет о выступлении мистера Диккенса в Бирмингеме, пусть даже наш приятель Друд так и не появился. Вы хотели задать какой-то вопрос?

— Меня интересует, умер ли кто-нибудь из тех троих парней, — сказал я.

— Каких таких парней? — Инспектор покраснел, картинно вскинул брови и придал своей испещренной прожилками физиономии выражение самого невинного недоумения.

— Трое парней в переулке, инспектор. Трое грабителей, которые напали на меня и которых ваш сыщик Реджинальд Для-Друзей-Просто-Реджи Баррис измолотил дубинкой. Баррис сказал, что один из них наверняка умер от удара. На следующее утро, перед отъездом из Бирмингема, я вернулся в переулок, но никого там не обнаружил.

Теперь инспектор Филд улыбался и кивал, прижав указательный палец к носу сбоку.

— Ах да, да, конечно. Баррис действительно докладывал мне о происшествии в переулке. Я уверен, все трое негодяев отделались лишь головной болью да ущемлением своей воровской гордости, мистер Коллинз. Вы уж простите Барриса. Он питает слабость к театральным эффектам. Порой мне кажется, что ремеслу частного сыщика он охотно предпочел бы актерскую карьеру.

— Зачем вы приставили его ко мне, инспектор? Мне казалось, вы собирались наблюдать за Чарльзом Диккенсом в надежде, что Друд войдет в общение с ним... а не следить за каждым моим шагом.

Кустистые брови Филда удивленно поползли вверх.

— Но сыщик Баррис наверняка все объяснил вам, сэр. Мы опасались, что Друд попытается убить вас.

— Баррис сказал, что трое парней в переулке, по всей вероятности, были обычными грабителями.

— Да, — согласился инспектор Филд, снова кивнув. — Поскольку они белые и все такое прочее, скорее

всего, именно так и обстоит дело. Но вы должны признать: вам крупно повезло, что Баррис оказался поблизости. Вас могли серьезно покалечить, мистер Коллинз, и уж как пить дать ограбили бы.

Мы уже дважды прошлись по мосту Ватерлоо из конца в конец, но на сей раз не стали поворачивать, а пошли дальше, к Стрэнду. Где-то к западу отсюда, на берегу реки, находилась фабрика ваксы Уоррена, куда Диккенса отдали работать в детстве, как однажды рассказала мне Кейти. Неподражаемый упомянул ей о данном обстоятельстве почти шутливо, но у Кейти сложилось впечатление, что работа на фабрике была самым тяжелым в жизни отца испытанием, оказавшим сильное влияние на формирование его характера.

— Я знаю, где скрывается ваш Друд, инспектор, — сказал я, когда мы повернули направо и двинулись по Стрэнду в сторону Сомерсет-хауса и Друри-лейн.

Филд остановился.

— Знаете, сэр?

— Да, сэр. — В дрожащем от грохота экипажей воздухе повисла долгая пауза, потом я наконец проговорил: — Диккенс и есть Друд.

— Прошу прощения, сэр? — сказал инспектор.

— Диккенс и есть Друд, — повторил я. — Никакого Друда не существует.

— Это в высшей степени маловероятно, мистер Коллинз.

Я улыбнулся почти снисходительно:

— Я однажды сказал вам, инспектор, что Друд представляется мне плодом воображения Диккенса. Теперь я знаю, что сей фантом — не просто порождение праздной фантазии. Диккенс сотворил Друда для своих целей.

— И для каких же именно, сэр?

— Власть, — сказал я. — Пьянящее ощущение власти над людьми. На протяжении многих лет Диккенс развлекался игрой в животный магнетизм и месмеризм. Теперь он придумал этого магистра месмеризма — свое альтер эго.

Мы уже снова шагали на восток, и инспектор Филд постукивал по мощеному тротуару тяжелой тростью.

— Вряд ли он придумал Друда, мистер Коллинз, ведь я охочусь на этого мерзавца вот уже двадцать лет.

— Вы когда-нибудь видели его, инспектор? — спросил я. — В смысле — Друда.

— Видел ли я его? Нет, сэр. Кажется, я говорил вам, что ни разу не лицезрел собственными глазами этого гнусного душегуба. Но в свое время я арестовал нескольких его приспешников, и я всяко видел результаты его кровавых деяний. Свыше трехсот убийств за минувшие двадцать лет, в том числе зверское убийство лорда Лукана в сорок шестом году. Вы же сами рассказали мне историю, переданную вам Диккенсом со слов Друда, — а лорд Лукас, по давним слухам имевший сына в Египте, идеально подходит на роль отца Друда.

— Слишком идеально, — пробормотал я.

— Прошу прощения, сэр?

— Возможно, вы хороший сыщик, инспектор Филд, — сказал я, — но вам никогда не доводилось сочинять истории с детективным сюжетом. А мне доводилось.

Инспектор продолжал шагать широким шагом, постукивая тростью, но вопросительно взглянул на меня.

— Безусловно, последние двадцать лет по городу ходила легенда о кровожадном египтянине по имени Друд, — пояснил я. — Призрачный убийца, орудующий в портовом районе. Фантомный восточный месмерист, посылающий своих приспешников убивать и грабить. Нереальный обитатель вполне реального Подземного города. Но Друд всего лишь плод вымысла, лишенный реального существования и физической телесности. Чарльз Диккенс на протяжении многих лет бродил по припортовым кварталам. Он наверняка слышал истории про Друда — возможно, еще раньше, чем впервые услышали вы двадцать лет назад, инспектор, — и для своих целей вплел реальные события вроде убийства лорда Лукаса — с вос-

хитительной подробностью о вырезанном из груди сердце — в биографию вымышленного персонажа.

— Для каких своих целей, мистер Коллинз? — спросил инспектор Филд.

Мы только что миновали Сомерсет-хаус. В этом общественном здании, построенном на месте королевского дворца, последние тридцать лет располагались различные государственные учреждения. Я знал, что там служили отец и дядя Диккенса.

Мы пересекли Стрэнд и зашагали по узкой улочке, срезая путь к Друри-лейн, где выдуманный Дэвид Копперфилд заказывал бифштекс в ресторане и где совершенно реальный Уилки Коллинз надеялся в скором времени увидеть успешную постановку своего «Армадейла».

— Для какой цели, сэр? — повторил инспектор. — Зачем мистеру Диккенсу лгать вам насчет Друда?

Я улыбнулся и взмахнул тростью.

— Позвольте рассказать вам маленькую историйку, случившуюся в ходе турне Диккенса, инспектор. Я узнал о ней от Джорджа Долби на прошлой неделе.

— Если вам угодно, сэр.

— Сопряженная с разъездами часть турне закончилась в Портсмуте в последних числах мая, — сказал я. — У Диккенса выдалось немного свободного времени, он отправился прогуляться по городу в обществе Уиллса и Долби, и они забрели в Лендпорт. «Ба! — воскликнул Диккенс. — Да ведь здесь я родился! В одном из этих домов». И он потащил Уиллса и Долби за собой по улочке в поисках того самого дома. Сначала Диккенс указал на один дом: мол, «он сильно напоминает мне отца». Потом на другой: мол, он говорит всем своим видом: «Меня покинул тот, кто родился под моей крышей». Потом на третий: мол, он явно некогда «укрывал в своих стенах слабого и тщедушного младенца» — и так далее и тому подобное, пока они не обошли всю улочку. Потом, инспектор, на городской площади, окруженной кирпичными особнячками, Диккенсу взбрело на ум отколоть шутовской номер в духе Гримальди.

— Гримальди? — переспросил инспектор.

— Мим, которого Диккенс обожал, — пояснил я. — И вот, заручившись вниманием Уиллса и Долби, знаменитый писатель Чарльз Диккенс поднялся на крыльцо одного из домов, постучал в окованную медью дверь и тотчас улегся перед ней. Через несколько мгновений, когда на пороге появилась некая дородная особа, Диккенс проворно вскочил на ноги и задал стрекача, а Уиллс и Долби помчались за ним следом. Время от времени Диккенс оборачивался, с испуганным видом указывал пальцем на воображаемого полисмена, их преследующего, и все три почтенных джентльмена припускались еще быстрее. Потом, когда ветер сорвал с головы Диккенса шляпу и погнал по улице перед ними, они трое стали участниками вполне настоящей, пусть и комичной, погони за шляпой.

Инспектор Филд остановился, я тоже. Секунду спустя он осведомился:

— Что вы хотите сказать, мистер Коллинз?

— Я хочу сказать, инспектор, что Чарльз Диккенс, несмотря на свои пятьдесят четыре года, остается сущим ребенком. Проказливым мальчишкой. Он придумывает разные игры, увлеченно в них играет и — благодаря своему влиянию и силе характера — вовлекает в них окружающих. В настоящее время мы с вами поглощены игрой в Друда, придуманной Чарльзом Диккенсом.

Филд с минуту стоял в глубокой задумчивости, почесывая нос. Внезапно он показался мне глубоким стариком, причем больным. Наконец он промолвил:

— Где вы находились девятого июня, мистер Коллинз?

Я растерянно моргнул. Потом улыбнулся и спросил:

— Разве ваши агенты не доложили вам, инспектор?

— Вообще-то, да, доложили, сэр. Поздним утром вы отправились в контору своего издателя. В тот день вышел ваш «Армадейл». Потом вы заглянули в несколько книжных лавок, расположенных на Стрэнде между Пэлл-Мэлл и Флит-стрит, и подписали несколько экземпляров книги для своих друзей и поклонников. Вечером вы

ужинали вон там... — Филд указал тростью на ресторацию «Альбион» напротив театра «Друри-лейн», — с несколькими актерами, включая пожилого господина, дружившего с вашим отцом. Вы вернулись домой немного за полночь.

Ему таки удалось стереть улыбку с моего лица, и это привело меня в раздражение.

— К чему сей докучный и бессмысленный перечень несущественных фактов, инспектор? — холодно осведомился я.

— Мы с вами оба знаем, где находились девятого июня вы, мистер Коллинз. Но ни один из нас не знает, где находился мистер Диккенс в день столь важной годовщины.

— Важной годовщины? — недоуменно повторил я и тут же сообразил: девятого июня исполнился ровно год со дня Стейплхерстской катастрофы, едва не унесшей жизнь Диккенса. Как я мог забыть?

— Мистер Диккенс в тот день оставался в Гэдсхилле, — сказал инспектор Филд, не сверяясь ни с какими записями. — Но он отправился в Лондон поездом, отходящим от станции в четыре тридцать шесть пополудни, а по прибытии в город тотчас же пустился в одну из своих продолжительных прогулок, на сей раз по району Блюгейт-Филдс.

— Опиумный притон Сэл, — предположил я. — Вход в Подземный город через склеп на Погосте Святого Стращателя.

— Нет, сэр, — сказал инспектор Филд. — За мистером Диккенсом следили семь лучших моих агентов. Мы полагали, что он захочет встретиться с Друдом в первую годовщину их знакомства. Но ваш друг заставил моих людей и меня — я тоже участвовал в слежке той ночью — погоняться за собой. Всякий раз, когда Диккенс исчезал из виду и мы уже решали, что он нырнул под землю, спустя минуту он вдруг опять появлялся из какого-нибудь глухого проулка или полуразрушенного дома, останавливал кеб и укатывал прочь. В конце концов он

покинул Блюгейт-Филдс и припортовые кварталы и направился к месту, неподалеку от которого мы с вами сейчас находимся. А именно — к церкви Святого Енона, что расположена к северу от Стрэнда, рядом с восточным входом в Клементс-Инн.

— Церковь Святого Енона, — повторил я. Название показалось смутно знакомым. В следующий миг я вспомнил: — Современная Голгофа!

— Совершенно верно, сэр. Подземное кладбище. В склепах под церковью Святого Енона скопилось столько невостребованных трупов, что в сорок четвертом году, когда я уже работал в полицейском департаменте, но еще не в должности начальника сыскного отдела, инспектор городской канализации закрыл доступ туда и распорядился о строительстве сточного туннеля под зданием. И все же трупы гнили там еще несколько лет, покуда в сорок седьмом году один врач не купил весь участок с намерением перенести останки, как он выразился, «в более подходящее место». Эксгумация продолжалась почти год, мистер Коллинз, и на дорожке над склепами выросли две громадные кучи — одна из человеческих костей, другая из полусгнивших досок от гробов.

— В молодости я ходил посмотреть на них.

Я бросил взгляд в направлении церкви Святого Енона. Я хорошо помнил, какой чудовищный смрад стоял там холодным февральским днем, когда я созерцал жуткое зрелище. И даже не представлял, как там воняет в жаркий и влажный летний день вроде нынешнего.

— Вы и еще примерно шесть тысяч лондонцев ходили поглазеть на них, — сказал инспектор Филд.

— А какое отношение имеет церковь Святого Енона к Диккенсу и девятому июня?

— Именно там он окончательно ушел от нас, мистер Коллинз, — отрывисто произнес Филд, раздраженно стуча по булыжнику тяжелой тростью с медным набалдашником. — Семь моих лучших агентов и я сам — возможно, лучший лондонский сыщик всех времен — преследуем вашего друга-писателя, а он от нас ускользает.

Я невольно улыбнулся:

— Он получает удовольствие от подобных игр, инспектор. Как я сказал, Диккенс в глубине души сущий ребенок. Он любит всяческие тайны и истории о призраках. И порой проявляет весьма жестокое чувство юмора.

— Истинно так, сэр. Но если вернуться ближе к делу, ваш друг невесть откуда знал о потайном входе в канализационный коллектор, прорытый в сорок четвертом году, когда многие тысячи изгнивших трупов все еще оставались в склепах под церковью. В конце концов мы нашли коллектор — он выходит в разветвленный туннель пошире, где в сырых, зловонных норах под лондонскими улицами обитают многие сотни отверженных, а тот ведет к очередному лабиринту туннелей, сточных каналов и пещер.

— Но вы так и не нашли там Диккенса?

— Нашли, сэр. Мы увидели огонек его фонаря во мраке впереди. Но в следующий момент мы подверглись нападению: на нас обрушился град камней, брошенных вручную и запущенных из праши.

— Маленькие дикари, — предположил я.

— Совершенно верно, сэр. Сыщику Хэчери пришлось несколько раз пальнуть из револьвера, и только тогда наши противники — смутные тени, выпрыгивающие из боковых туннелей, швыряющие в нас камни и снова исчезающие, — обратились в бегство, а мы смогли возобновить преследование. Но было уже слишком поздно. Ваш друг улизнул от нас, скрывшись в лабиринте канализационных коллекторов.

— Значит, ваша погоня оказалась неудачной, инспектор, — сказал я. — Хотя и весьма захватывающей. Но к чему вы, собственно, ведете?

— А вот к чему, мистер Коллинз: едва ли Чарльз Диккенс — знаменитый Чарльз Диккенс — в ходе своей бесцельной ночной прогулки по Подземному городу стал бы прилагать такие усилия к тому, чтобы скрыться от нас, если бы не собирался встретиться с реальным человеком по имени Друд.

Я рассмеялся. Я не мог не рассмеяться.

— Я бы предположил ровно обратное, инспектор. Только увлекательность погони и детская зачарованность тайной, им самим вымышленной, заставляют Диккенса тратить столько времени на эту вашу беготню по канализационным туннелям. Когда бы он не знал наверное, что ваши люди последуют за ним по пятам, уверяю вас, он не приехал бы в Лондон вечером девятого июня. Никакого Друда не существует.

Инспектор Филд пожал плечами:

— Думайте как хотите, но мы в любом случае признательны вам за помощь, что вы продолжаете оказывать нам в наших попытках выследить короля преступного мира и жестокого убийцу, в существование которого вы не верите. Те немногие из нас, полицейских, кто сталкивался с Друдом и его приспешниками, знают, насколько он могуществен и опасен.

На это мне было нечего сказать.

— Вы попросили о встрече со мной единственно потому, что хотели узнать об участи тех трех бандитов, мистер Коллинз?

— На самом деле — нет. — Я смущенно поежился. — Я хотел напомнить вам о вашем обещании.

— Касательно особняка на Глостер-плейс и миссис Шернволд? Я занимаюсь этим делом, сэр. И я по-прежнему абсолютно уверен, что вы и ваша... гм... миссис Г*** заполучите дом в свою собственность в течение года.

— Да нет, нет. Я о другом вашем обещании. Вы както сказали, что я смогу воспользоваться услугами сыщика Хэчери, коли мне понадобится вернуться на Погост Святого Стращателя, отодвинуть каменный постамент в склепе и спуститься в катакомбы, в опиумный притон Короля Лазаря. Последние несколько недель мои подагрические боли стали просто невыносимыми... лауданум уже не помогает.

— Сыщик Хэчери будет к вашим услугам в любое угодное вам время, — ответствовал инспектор ровным

тоном, в котором не слышалось ни осуждения, ни превосходства. — Когда вы хотите обратиться к нему за помощью?

— Сегодня, — сказал я. Сердце мое забилось учащенно. — Сегодня в полночь.

Глава 17

Октябрь 1866 года выдался необычайно холодным и дождливым. Я делил дни и ночи между клубом, домом и подземным притоном Короля Лазаря, а по уик-эндам частенько гостил в Гэдсхилле.

В одну дождливую субботу, под расслабляющим действием лауданума, я рассказал Диккенсу о нескольких своих идеях, касающихся следующей книги.

— Вы задумали историю о призраках? — спросил Диккенс.

Мы сидели в его кабинете, наслаждаясь теплом камина. Неподражаемый, писавший тогда очередную рождественскую повесть, уже закончил работу на сегодня и внял моим уговорам воздержаться от прогулки по такой промозглой погоде. Дождевые струи хлестали по стеклам эркерного окна.

— Со столоверчением и вызовом духов? — уточнил он.

— Ничего подобного, — сказал я. — Я думаю скорее о комбинации нескольких упомянутых мной ранее сюжетных мотивов — кража, расследование преступления, тайна — с мотивом предмета, несущего на себе проклятие. А реально проклятие или нет, я предоставлю решать читателю.

— И какого рода предмет? — спросил Диккенс — я определенно возбудил в нем любопытство.

— Драгоценный камень. Рубин или сапфир. Или даже алмаз. У меня в голове уже выстраивается сюжет, основанный на пагубном влиянии про́клятого камня

на каждого человека, завладевшего им честным или бесчестным путем.

— Интересно, дорогой Уилки, очень интересно. На камне лежит древнее родовое проклятие?

— Или религиозное. — Я блаженствовал, умиротворенный недавно принятым лауданумом и воодушевленный неподдельным интересом Диккенса к моему будущему роману. — Если, скажем, камень был похищен из храма какой-нибудь древней и суеверной страны...

— Индия! — выпалил Диккенс.

— Я думал о Египте, — сказал я, — но Индия тоже неплохо. Очень даже неплохо. Что же касается названия, я предварительно записал «Змеиное око» или «Око змея».

— Звучит чересчур сенсационно. — Диккенс сложил ладони домиком и вытянул ноги к камину. — Но интригующе. Вы введете в роман вашего «сержанта Каффа»?

Я покраснел и лишь пожал плечами в ответ.

— А опиум там будет фигурировать? — спросил он.

— Не исключено, — с вызовом ответил я, уже не польщенный, а раздраженный пытливыми расспросами; от нескольких наших общих друзей я слышал, что Диккенс решительно не одобряет хвалы, вознесенные наркотику моей Лидией Гвилт в «Армадейле».

Диккенс переменил тему:

— Полагаю, за прототип своего камня вы возьмете алмаз Кохинор, выставлявшийся в Хрустальном дворце на Всемирной выставке пятидесятого года.

— Я сделал несколько заметок о данном артефакте, — холодно промолвил я.

— Знаете, друг мой, а ведь действительно ходили слухи, будто на Кохинор было наложено проклятье после того, как им силой завладел махараджа Дхулип Сингх, по прозвищу Пенджабский Лев. А подлинная история о том, как генерал-губернатор Индии лорд Далхаузи тайно вывез камень из Лахора в Бомбей еще во время Великого восстания, может послужить материалом для двух или трех захватывающих романов. Говорят, леди Далхаузи собственноручно зашила алмаз в пояс, который лорд Далхаузи носил, не снимая, несколько недель кряду,

покуда не передал драгоценность капитану британского военного корабля в Бомбее. Говорят, он каждую ночь сажал на цепь двух свирепых сторожевых псов рядом со своей походной кроватью, чтобы они разбудили его лаем в случае, если в палатку проникнут воры или разбойники-душители.

— Я этого не знал, — признался я.

Я предполагал писать о рубине или сапфире, почитаемом за святыню каким-нибудь древним египетским культом, но сейчас, когда Диккенс упомянул о реальных фактах, связанных с Кохинором, у меня так и зачесались руки взяться за перо.

Нас прервал настойчивый стук в дверь кабинета.

Вошла Джорджина, вся в слезах и вне себя от волнения. Когда Диккенс успокоил свояченицу, она сообщила, что ирландский волкодав по кличке Султан напал на очередную невинную жертву — на сей раз на маленькую девочку, приходившуюся сестрой одной из служанок.

Диккенс отослал Джорджину обратно вниз. Потом с тяжелым вздохом открыл чулан и достал оттуда двуствольный дробовик, который я в последний раз видел десять месяцев назад, в рождественскую ночь. Затем он подошел к столу и вынул из нижнего правого ящика несколько крупнокалиберных патронов. Дождь уже перестал барабанить по окнам, но небо по-прежнему застилали низкие темные облака, быстро плывущие над черными ветвями полуголых деревьев.

— Боюсь, я проявлял излишнюю терпимость к этому псу, — тихо проговорил Диккенс. — У Султана доброе сердце, и он всецело мне предан, но его агрессивный нрав выкован в адовом огне. Он не желает ничему учиться. Я готов терпеть любые недостатки — в собаке ли, в человеке ли, — кроме нежелания или неспособности учиться.

— И больше никаких предупреждений? — спросил я, поднимаясь с кресла, чтобы выйти из кабинета за ним следом.

— И больше никаких предупреждений, дорогой Уилки, — сказал Диккенс. — Смертный приговор этому псу

вынес гораздо более могущественный судья, чем мы с вами, еще в ту пору, когда Султан был слепым щенком и тыкался в соски своей матери. Теперь нам остается только привести приговор в исполнение.

Палаческая команда состояла, как и положено, из одних мужчин: к нам с Диккенсом присоединился четырнадцатилетний Плорн, вызванный из своей комнаты. Мой брат Чарльз, приехавший на уик-энд в Гэдсхилл со своей женой Кейти, тоже получил приглашение присутствовать на казни, но отказался. Еще к нам примкнул старый кузнец с обветренным морщинистым лицом, тогда перековывавший двух лошадей в конюшне Диккенса. (Кузнец оказался давним другом приговоренного, он помнил убийцу крохотным щенком и всегда с удовольствием наблюдал за его выходками. Старик принялся шумно сморкаться в платок еще прежде, чем мы двинулись прочь от дома.)

С нами пошли также самый старший сын Диккенса Чарли, приехавший в Гэдсхилл на день, и двое слуг — один из них приходился мужем служанке, чья сестра подверглась нападению. Один слуга катил тачку, предназначенную для перевозки трупа Султана от места казни к месту погребения, а другой нес джутовый мешок, призванный через несколько минут послужить приговоренному саваном. Остальные домочадцы и слуги наблюдали за нами из окон; мы пересекли задний двор, миновали конюшню и вышли в поле, где Диккенс сжег свою корреспонденцию шесть лет назад.

Поначалу Султан, страшно довольный своим новым широким намордником, не стягивающим челюсти, возбужденно и радостно рвался вперед на поводке (его держал Чарли Диккенс). Очевидно, он полагал, что мы отправились на охоту: *кому-то суждено умереть!* Пес резво прыгал туда-сюда между тепло одетыми мужчинами в высоких сапогах, поднимая брызги в лужах и взрывая когтями мокрую землю. Но время от времени, озадачен-

ный поведением людей, упорно отводивших глаза в сторону, Султан останавливался и бросал настороженный взгляд на переломленное ружье, зажатое у хозяина под мышкой, и на пустую тачку, невесть зачем взятую на гусиную охоту.

Когда группа остановилась в сотне ярдов от конюшни, взгляд Султана стал задумчивым, даже мрачным, и пес уставился на человека с ружьем — своего господина и повелителя — с вопросительным выражением, которое вскоре сменилось умоляющим.

Чарли Диккенс отпустил поводок и отступил на пару шагов. Мы все отступили и стали полукругом позади Диккенса — он неподвижно стоял на месте, пристально глядя в глаза Султану. Огромный ирландский волкодав слегка наклонил голову набок, словно ставя вопросительный знак в конце непроизнесенной фразы. Диккенс загнал патроны в стволы и со щелчком закрыл тяжелый дробовик. Султан наклонил голову ниже, продолжая неотрывно смотреть на хозяина.

— Джон, — негромко обратился Диккенс к кузнецу, стоявшему в группе свидетелей казни слева от него, с самого края, — я хочу, чтобы он отвернулся. Пожалуйста, отвлеките его, бросьте камень.

Кузнец Джон громко крякнул, высморкался в последний раз, сунул платок в карман дождевой куртки, поднял с земли плоский камешек, какими удобно запускать «жабок» в пруду, и бросил. Камешек упал на землю позади Султана.

Пес обернулся. Прежде чем он успел повернуть голову обратно, Диккенс плавно вскинул ружье и выстрелил из обоих стволов. В сыром, холодном, густом воздухе двойной выстрел прозвучал просто оглушительно. Грудная клетка Султана взорвалась клочьями окровавленной шерсти, шматьями мяса и осколками костей. По всей вероятности, сердце у него остановилось мгновенно и ни один импульс, посланный нервными окончаниями, не успел достичь мозга. Пес даже не взвизгнул, когда

мощным ударом двух пуль его отбросило на несколько футов, и наверняка умер еще прежде, чем тяжело рухнул на мокрую траву.

Слуги в считаные секунды уложили тяжелый труп в мешок, погрузили на тачку и двинулись обратно к дому, толкая ее перед собой. Мы столпились вокруг Диккенса — он переломил дымящееся ружье, извлек из стволов стреляные гильзы и аккуратно положил обе в карман куртки.

При этом Неподражаемый пристально смотрел на меня точно таким взглядом, каким всего минуту назад смотрел на Султана. Я с уверенностью ожидал, что сейчас он скажет мне, возможно, на латыни: «И смерть постигнет каждого, кто предаст меня», но он промолчал.

В следующий миг юный Плорн, явно возбужденный запахом крови и пороха (тот самый мальчик, которого Диккенс недавно в разговоре со мной назвал «недостаточно усердным и целеустремленным по причине непроходимой природной апатии»), вскричал: «О, это было потрясающе, отец! Просто потрясающе!»

Диккенс не ответил. Никто из нас не промолвил ни слова, пока мы медленно шли обратно к дому. Еще прежде, чем мы достигли задней двери, снова полил дождь и поднялся сильный ветер.

Я сразу направился в свою комнату, чтобы переодеться в сухое и подкрепить силы очередной дозой лауданума, но Диккенс окликнул меня, и я остановился на лестнице.

— Не кручиньтесь, Уилки. Несмотря на все, я постараюсь утешить нашего дорогого Перси Фицджеральда, подарившего мне обреченного пса. В данную минуту два Султановых детеныша ползают в соломе в сарае. Наследственность — великая сила, а значит по крайней мере один из щенков наверняка унаследует свирепый нрав отца. И наверняка унаследует также пулю в сердце.

Я не нашелся, что сказать в ответ, а потому просто кивнул и пошел в свою комнату за следующей порцией болеутоляющего средства.

Король Лазарь, китайский повелитель живых мертвецов-опиоманов, похоже, ждал меня, когда я впервые вернулся в его королевство почти за два месяца до казни Султана, в конце августа 1866 года.

— Добро пожаловать, мистер Коллинз, — прошептал престарелый китаец, когда я раздвинул истлевшие занавеси и вступил в его потайные владения во втором ярусе катакомб под кладбищем. — Ваша койка и ваша трубка уже приготовлены для вас.

Той августовской ночью сыщик Хэчери благополучно довел меня до кладбища, отомкнул ворота и дверь склепа, сдвинул с места тяжелый постамент и снова выдал мне свой несуразно тяжелый револьвер. Вручив мне фонарь «бычий глаз», он пообещал остаться в склепе до моего возвращения. Честно признаюсь: пройти по подземной галерее между усыпальницами и спуститься по потайной лестнице на нижний ярус катакомб сейчас оказалось труднее, чем в прошлый раз, когда я следовал за Диккенсом.

Сегодня Король Лазарь щеголял в шелковых балахоне и шапочке другой расцветки, но все таких же ярких, чистых и тщательно отутюженных.

— Вы знали, что вернусь? — спросил я, следуя за древним стариком в дальний, темный конец длинной кубикулы.

Король Лазарь лишь улыбнулся в ответ и поманил меня пальцем дальше в глубину своего логова. Безмолвные тела на трехъярусных койках, пристроенных к стенам пещеры, с виду казались теми самыми восточными мумиями, которых мы с Диккенсом видели во время первого нашего визита. Но каждая мумия сжимала в иссохшей руке затейливо украшенную опиумную трубку, и только бледные струи дыма, медленно плававшие в узком, тускло освещенном фонарями проходе, свидетельствовали, что все они дышат.

Все прочие места были заняты, но одна трехъярусная деревянная кровать в самой глубине помещения, отгороженная темно-красным занавесом, пустовала.

— Вы наш почетный гость, — тихо проговорил Король Лазарь с ритмическим кембриджским акцентом, звучавшим странно в его устах. — А потому мы предоставим вам полное уединение. Хан?

Он сделал знак рукой, и другая фигура в темном балахоне вручила мне длинную трубку с изящной стеклянно-керамической чашечкой.

— Этой трубкой никто до вас не пользовался, — сказал Король Лазарь. — Она приготовлена для вас, и только вы один будете ее курить. Эта кровать тоже ваша, и только ваша. Никто, кроме вас, никогда на нее не ляжет. А опиум, что вы попробуете нынче ночью, наивысшего качества — такой употребляют лишь короли, фараоны, императоры и святые люди, желающие стать богами.

Я попытался заговорить, но не смог издать ни звука, ибо во рту у меня пересохло. Я облизал губы и повторил попытку:

— А сколько... — начал я и осекся, когда Король Лазарь дотронулся до моего плеча длинными желтыми пальцами с длинными желтыми ногтями, призывая к молчанию.

— Всякие разговоры о цене неуместны между джентльменами, мистер Коллинз. Сначала попробуйте — а потом скажете мне, стоит ли наркотик такого непревзойденного качества тех денег, которые все остальные джентльмены... — он повел перед собой костлявой рукой с длинными загнутыми ногтями, указывая на безмолвные ряды коек, — согласились отдать за него. Коли вы останетесь недовольны, я не возьму с вас платы, разумеется.

Король Лазарь отступил в темноту, а мужчина в балахоне, по имени Хан, помог мне улечься на койку, подложил мне под голову деревянный брусок с выемкой (на удивление удобный) и зажег мне трубку.

Интересно ли вам, дорогой читатель, узнать о воздействии этого чистейшего опиума? Возможно, в ваши дни все употребляют сей восхитительный наркотик. Но даже если так, вряд ли ваш опиум может сравниться по силе

действия с уникальным зельем, приготовленным по секретному рецепту Короля Лазаря.

Если вам любопытно, какой эффект оказывает обычный опиум, я процитирую здесь первый абзац последнего — так и не законченного — романа Чарльза Диккенса.

> Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора... И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней... Но его же на самом деле нет. Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей[1] усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны — их столько, что не счесть, — в блистающих яркими красками попонах и несметные толпы слуг и провожатых... Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане — где она быть никак не может, — и на колу все еще не видно извивающегося в муках тела... Стой! А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный, всего-навсего ржавый шпиль на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати? Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления[2].

Вот, пожалуйста. Опиоман, медленно приходящий в сознание на рассвете в грязном захудалом притоне. Десять тысяч ятаганов, сверкающих на солнце. Трижды десять тысяч алмей. Белые слоны в блистающих яркими красками попонах. Какая поэзия! Какой полет воображения!

Какая чушь.

Чарльз Диккенс не имел ни малейшего представления о воздействии опиума. Однажды он похвастался

---

[1] Восточных танцовщиц.

[2] Перевод О. Холмской.

мне, что во время своего второго турне (летом и осенью 1866 года оно еще оставалось в будущем), мучимый болями и бессонницей, он позволил себе призывать на помощь «лауданумного Морфея». Но когда я расспросил подробнее — Джорджа Долби, а не самого Неподражаемого, поскольку я хотел узнать правду, — выяснилось, что крылья Морфея, уносившие нашего друга в царство сна, состояли всего-навсего из двух крохотных капель опиума, разведенных в огромном бокале портвейна. Я к тому времени выпивал по несколько стаканов неразбавленного лауданума в день, не запивая ни глотком вина.

Диккенс понятия не имел о действии лауданума, не говоря уже о чистом опиуме.

Позвольте мне рассказать вам, дорогой читатель моего посмертного будущего, какой эффект оказывал опиум Короля Лазаря.

Он разливался по телу теплом, что зарождалось в подвздошной области и воспламеняло кровь в жилах. Немного похоже на действие доброго виски, только в случае с опиумом блаженное ощущение тепла неуклонно усиливалось и длилось беспрерывно.

Он, подобно волшебному эликсиру, превращал низкорослого, пухлого и румяного, обычно приятного в общении, но редко принимаемого всерьез Уильяма Уилки Коллинза — коротышку с несуразно крупным лбом, подслеповатыми глазами и комично пышной бородой, добровольного шута и услужливого «закадыку», по выражению американцев, — в могучего, самоуверенного исполина, которым Уилки всегда ощущал себя в глубине души.

Он являлся мощной преобразующей силой, что устраняла тошнотворное чувство тревоги, неотступно преследовавшее и снедавшее меня с самого детства, обостряла восприимчивость и способность понимать людей, себя самого и человеческие взаимоотношения, дарила счастливые моменты озарения, когда даже самые обыденные предметы и ситуации являются взору в чистом золотом сиянии, в каком, наверное, предстает мир божественному оку.

Это далеко не исчерпывающее описание, но я не решаюсь открыть всю правду о неповторимом и благотворном воздействии опиума древнего китайца. (Слишком многие люди, в отличие от меня не обладающие врожденной устойчивостью к общеизвестным пагубным свойствам наркотика, могут возжелать попробовать его, не понимая, что в Лондоне, да и во всем мире, в настоящее время уже не найти чистейшего опиума, каким торговали в притоне Короля Лазаря.) Достаточно сказать, что наркотик стоил всех тех денег, которые запросил за него древний китаец, — запросил много часов спустя, когда смутная тень по имени Хан помогла мне подняться с моего ложа и проводила до самого подножия крутой лестницы, ведущей в склеп, где меня ждал верный Хэчери, — и он стоил всех тех тысяч фунтов, которые я потрачу на него в грядущие месяцы и годы.

Благодарение Богу за огромный гонорар, авансом выплаченный мне за «Армадейл» Джорджем Смитом из «Корнхилла». Не скажу, что вся моя непредвиденная выручка до последнего пенни ушла на опиум — помнится, я потратил фунтов триста на вино и по меньшей мере пятьсот фунтов вложил в ценные бумаги (разумеется, еще я купил подарки Кэролайн и ее дочери Хэрриет, для нас просто Кэрри, а также послал вспомоществование Марте Р***), — но львиная доля баснословной суммы в пять тысяч фунтов, полученной мной от Смита, перешла в костлявые желтые руки подземного мандарина.

Хэчери — неуклюжий верзила в котелке — неизменно ждал меня в склепе наверху, сколь бы поздно утром (или даже днем) я ни возвращался. Каждый раз он забирал у меня громадный револьвер (его я всегда клал рядом с собой на своей койке в притоне Короля Лазаря, хотя чувствовал себя там в полной безопасности) и каждый раз сопровождал меня с кладбища через трущобы обратно в мир скучных, унылых, незрячих людей, ведать не ведающих об упоительных наслаждениях, даруемых первосортным опиумом Лазаря.

Я не меньше постоянно хнычущей Кэролайн хотел заполучить в свою собственность особняк на Глостер-плейс. Наш нынешний дом по адресу Мелкомб-плейс, девять, до сей поры меня вполне устраивал, но теперь, когда Кэролайн докучала мне беспрестанным нытьем, а Кэрри стремительно взрослела, он стал казаться тесным.

Хотя главным образом он стал казаться тесным из-за незваных гостей, в нем прочно поселившихся.

Зеленокожая клыкастая женщина по-прежнему подстерегала меня на черной лестнице всякий раз, когда там царила полутьма, но больше всего меня пугал Второй Уилки.

Второй Уилки никогда не подавал голоса, он просто наблюдал и выжидал. Независимо от того, как был одет я в момент нашей встречи, он неизменно представал передо мной в галстуке, накрахмаленной сорочке и жилете, без сюртука. Я знал: если мне вдруг придется сбрить бороду (уже ставшую настолько неотъемлемой частью меня, что я замечал ее в зеркале единственно тогда, когда подравнивал ножницами), Второй Уилки останется при бороде. Если я сниму очки, он останется в очках. Он ни разу не отважился покинуть пределы моего кабинета и появлялся там только по ночам, но его ночные визиты раздражали меня все сильнее и сильнее.

Почувствовав постороннее присутствие в комнате, я поднимал глаза и видел Второго Уилки, безмолвно сидящего на стуле с плетеной спинкой в дальнем углу. Иногда стул оказывался развернутым крутом (его рук дело, безусловно), и он сидел на нем верхом, широко расставив ноги, положив локти на спинку, чуть наклонив голову вперед и пристально глядя на меня сквозь отблескивающие стекла маленьких круглых очков. Я возвращался к работе, но, снова вскинув взгляд минуту спустя, обнаруживал, что Второй Уилки успел беззвучно переместиться в резное деревянное кресло рядом со столом, предназначенное для моих гостей. Его маленькие немигающие глазки пристально, даже жадно впивались в мою рукопись.

В конце концов я испуганно вздрагивал, в очередной раз подняв голову и обнаружив, что Второй Уилки стоит или сидит совсем рядом, едва не касаясь меня рукавом. Мой испуг и ужас усугублялись, когда Второй Уилки предпринимал попытку выхватить у меня перо. Он хотел продолжить и завершить рукопись по своему усмотрению, вне всяких сомнений, а я уже рассказывал вам, сколь ожесточенными и «чернилопролитными» стали такие вот схватки за перо, чернильницу и рукопись, прежде чем я прекратил наведываться в кабинет по ночам и начал работать там только днем, когда он не появлялся.

Но летом 1866 года я стал слышать за закрытой дверью кабинета тихие звуки возни и дыхание Второго Уилки даже среди бела дня. Я на цыпочках подходил к двери и резко ее распахивал, надеясь увидеть там слугу, или Кэролайн, или Кэрри, решившую подшутить надо мной, но коридор неизменно оказывался пустым. Однако всякий раз я слышал приглушенные частые шаги — тяжелые шаги человека примерно моей комплекции, — удаляющиеся вниз по темной задней лестнице, где также сторожила зеленокожая женщина.

Я знал, что рано или поздно Второй Уилки появится в кабинете при свете дня. Поэтому я начал брать свои заметки и письменные принадлежности в клуб «Атенеум», где устраивался в удобном кожаном кресле за столом у окна и спокойно работал.

Проблема заключалась в том, что работа не спорилась. Впервые за десять лет, прошедших со времени, когда Диккенс принял меня на должность штатного сотрудника «Домашнего чтения» (лет через пять после нашего с ним знакомства), у меня не получалось выстроить сюжет на основе уже обозначенных идей. Я сделал несколько беглых записей после нашего с Диккенсом обсуждения задуманного мной мистическо-приключенческого романа с предварительным названием «Змеиное око», но с тех пор я единственно переписал несколько статей о драгоценных камнях индийского происхождения из экземпляра «Британской энциклопедии», хранившегося

в клубной библиотеке (издание 1855 года), и дальше не продвинулся ни на шаг. Я вернулся к своему прежнему замыслу написать об отставном полицейском сыщике, занимающемся частным сыском, — инспекторе Филде в образе сержанта Каффа, — но мое вполне объяснимое нежелание проводить с Филдом больше времени, чем приходилось по его требованию, не говоря уж об отвращении к самой идее назойливого детективного расследования, тоже сильно затрудняло дело.

В глубине души я просто не хотел работать. Я гораздо больше предпочитал ночные походы на Погост Святого Стращателя по четвергам и последующие долгие часы блаженного забытья, исполненного чудесных прозрений. К великому своему разочарованию, я обнаружил, что посещавшие меня божественные видения решительно невозможно описать пером — такое не под силу никому, даже самому одаренному мастеру слова, даже Шекспир и Китс, я твердо уверен, оказались бы здесь бессильны, доведись вдруг одному или другому гению восстать из небытия в каком-нибудь лондонском опиумном притоне. И уж конечно, подобная задача была не по плечу такому внутренне несвободному человеку и лишенному воображения писателю, как Чарльз Диккенс. Каждую неделю я замечал в темных глазах Короля Лазаря выражение, свидетельствовавшее, что он ясно видит и мое неуклонное восхождение к божественной природе, и мое неуклонное погружение в пучину мрачного разочарования, вызванного неспособностью поделиться с миром вновь обретенным знанием через посредство беспомощных, инертных букв, что беспорядочно расползались по белому листу бумаги, подгоняемые моим пером, точно неповоротливые трилобиты в чернильных панцирях. Сейчас я понимаю: эти неуклюжие письменные знаки являлись всего лишь стенографическим воспроизведением жалобных стонов, какие испускают одинокие обезьяны с незапамятных времен, когда Земля и ее сестра Луна были молодыми.

Все прочие обстоятельства, в круговороте которых я жил поздней осенью 1866 года, казались слишком нелепыми, чтобы иметь значение: по-прежнему продолжавшаяся дурацкая история с Друдом или не Друдом, бесконечная шахматная борьба за власть между инспектором Филдом, Неподражаемым и мной, обольстительные нежности и невыносимые кошачьи концерты моих женщин, неспособность отыскать на бумаге вход в недра моей следующей книги, негласное и не упорядоченное никакими правилами соревнование с Чарльзом Диккенсом...

Но все разом переменилось, когда одним пятничным утром в конце ноября, после долгой восхитительной ночи в притоне Короля Лазаря, я вернулся домой в пропахшем опиумным дымом костюме и застал в гостиной Диккенса с Кэролайн. Она сидела, откинув голову назад, с закрытыми глазами и совершенно экстатическим выражением лица, а Диккенс производил у нее над головой месмерические пассы, изредка дотрагиваясь до висков и что-то нашептывая.

Прежде чем я успел заговорить, оба они повернулись ко мне. Кэролайн открыла глаза, а Диккенс вскочил на ноги и воскликнул:

— Дорогой Уилки! Вы-то мне и нужны! Мы должны сию же минуту отправиться на вокзал. Я хочу показать вам нечто поистине поразительное.

Глава 18

— Я должен убить кого-нибудь, — заявил Диккенс.

Я кивнул, но не произнес ни слова. Следовавший в Рочестер поезд уже миновал станцию Гэдсхилл.

— Я убежден, что мне необходимо кого-нибудь убить, — сказал Диккенс. — В моих чтениях не хватает единственно убийства. Все прочие человеческие страсти и эмоции отражены в нынешней, более широкой подборке номеров, подготовленных мной к следующему

турне. Там есть все... кроме убийства. — Он подался вперед, опираясь на трость, и пытливо взглянул на меня. — Как вы считаете, друг мой? Может, стоит включить в программу сцену убийства Нэнси, переписанную в сторону большей выразительности?

— Почему бы и нет? — промолвил я.

— Действительно, почему бы и нет, — хихикнул Диккенс. — Ведь речь идет всего-навсего о человеческой жизни.

Отчасти его словоохотливость объяснялась тем, что за время поездки он уже трижды хорошо приложился к своей фляжке с бренди. Каждый раз, когда вагон сильно встряхивало или дергало, Диккенс судорожно вцеплялся в спинку кресла впереди или лез в карман пальто за фляжкой.

Когда я поинтересовался, что означала сцена с месмерическим сеансом в моей гостиной, он рассмеялся и пояснил, что моя дражайшая сожительница находилась в расстроенных чувствах и рассказала ему о моих подагрических болях, усиливающейся бессоннице и возрастающей опиумной зависимости. Диккенс заверил Кэролайн, что магнетическое воздействие мигом погрузит меня в сон без всякого лауданума, имеющего вредные побочные эффекты, и как раз обучал ее месмерическим приемам, когда я вошел.

— Она способная ученица, — сказал он; поезд с грохотом несся к Рочестеру мимо болотистых пустошей, исхоженных нами с Диккенсом вдоль и поперек. — Позвольте Кэролайн попробовать замагнетизировать вас сегодня вечером. Ручаюсь, вы будете спать без всяких опиумных снов и проснетесь бодрым и полным сил.

Я издал неопределенный звук. Честно говоря, от мерного покачивания вагона и монотонного стука колес меня клонило в сон. Я провел долгую ночь в притоне Короля Лазаря, и нельзя сказать, чтобы я там спал в общепринятом смысле слова. По счастью, хотя день нынче выдался необычайно погожий для ноября, с самого утра дул крепкий ветер, и предательский запах опиума почти

полностью выветрился из моей одежды, пока мы быстро шагали к вокзалу.

— Так вы говорите, мы собираемся с кем-то встретиться в Рочестере? — спросил я.

— Именно так. — Диккенс положил обе руки на медный набалдашник своей трости. — С двумя дамами. Моя давняя приятельница для меня и дама для вас, дорогой Уилки. Мы отобедаем в одном замечательном местечке. Насколько я понимаю, обслуживание там превосходное.

Замечательное местечко с превосходным обслуживанием оказалось кладбищем, расположенным за древней каменной громадой Рочестерского собора. Упомянутыми дамами оказались не особо тайная возлюбленная Диккенса Эллен Тернан и ее мать. Логика подсказывала, что миссис Тернан станет «моей дамой» на сегодня.

Когда я стоял там среди надгробий в бледном свете послеполуденного ноябрьского солнца, учтиво кланяясь и беседуя о разных пустяках с двумя женщинами, я всерьез задавался вопросом, не повредился ли Диккенс рассудком.

Но нет, странное поведение Чарльза Диккенса объяснялось далеко не так просто. Когда мы четверо неторопливо двинулись в глубину кладбища (миссис Тернан и Эллен сказали, что приехали в Рочестер навестить дядюшку Эллен и времени у них в обрез), я осознал, что, с точки зрения Диккенса — искаженной, извращенной, самооправдательной, — в данном свидании нет ничего из ряда вон выходящего. Свою связь с Эллен Тернан он скрывал почти от всех — мой брат Чарльз сказал мне, что Диккенс частично посвятил своих дочерей и Джорджину в тайну своих внебрачных отношений после того, как Мейми одним воскресным днем случайно встретила в Лондоне своего отца в обществе мисс Тернан, а инспектор Филд сообщил мне, что Эллен Тернан несколько раз приезжала в Гэдсхилл-плейс, — но он явно считал меня человеком надежным и абсолютно безвредным. Кому я могу разболтать что-то? Диккенс не только знал по опыту, что я буду хранить молчание, но также понимал, что в силу обстоятельств моей частной жизни (еще больше

усложнившихся на прошлой неделе, когда Марта Р*** вернулась в Лондон) я слыву изгоем общества, а потому никогда не стану обсуждать частную жизнь Диккенса в печати ли, в частных ли беседах.

Вероятно, миссис Тернан знала о моей ситуации с Кэролайн Г***: пожилая дама держалась со мной весьма холодно в течение всего пикника. Очевидно, бывшая актриса (насколько я понял, они с Эллен ныне давали уроки сценической речи в своем новом доме в Слау, за который платил Диккенс) успела набраться аристократических замашек с той поры, когда мне довелось общаться с обеими женщинами во время представлений «Замерзшей пучины». Миссис Тернан со своим вновь приобретенным аристократизмом напоминала старый шлюп, густо обросший ракушками.

Мы четверо медленно шагали по кладбищу, пока Диккенс не выбрал плоское надгробье на свой вкус. По обеим сторонам от продолговатой мраморной плиты располагались плоские камни пониже. Диккенс скрылся за каменной оградой высотой футов пять — за ней стоял наемный экипаж (с ливрейным слугой на козлах), и мы видели только голову Неподражаемого, покуда он разговаривал с возницей, а потом вместе с ним направился к багажному отделению кареты. Диккенс вернулся с четырьмя подушками, положил их на плоские надгробные камни рядом с продолговатой мраморной плитой и пригласил нас сесть.

Мы подчинились. Эллен и миссис Тернан были явно обескуражены столь необычным — если не сказать кощунственным — использованием подушек в месте вечного упокоения. Голые ветви высокого дерева, росшего поблизости, отбрасывали на выбранные нами надгробья резкие, словно начерченные чернилами тени. Мы сидели в неловком молчании, не в силах завязать светскую беседу, а Диккенс торопливо направился обратно к калитке, зашел за ограду и еще раз коротко переговорил со слугой.

Минуту спустя Неподражаемый вернулся с большой клетчатой скатертью — которую аккуратно расстелил

на мраморной плите, превратив надгробье в пародию на обеденный стол, — и белой салфеткой, перекинутой через руку на манер, принятый у исполненных самомнения официантов с адамовых времен. Через несколько секунд он снова скрылся из виду и с помощью слуги выставил на каменную ограду ряд тарелок. Надо сказать, все это выглядело вполне обыденно, словно мы находились в парижском уличном ресторанчике. Потом Диккенс торопливо подошел к нам, по-прежнему с перекинутой через руку салфеткой, и с видом вышколенного метрдотеля обслужил всех нас, начав, разумеется, с дам.

Из большой плетеной корзины, выставленной на каменную стену, Неподражаемый, словно фокусник, извлек жареную камбалу и мерлузу с креветочным соусом, сухие хлебцы, паштет, пару хорошо запеченных птиц, поначалу принятых мной за голубей, но на поверку оказавшихся восхитительными фазанчиками (к ним Официант Диккенс торжественно подал соус), потом жареную баранину с тушеным луком и картофелем фри и, наконец, несколько сладких пудингов. В дополнение к еде появилась бутылка охлажденного белого вина, которую Диккенс, теперь превратившийся в сомелье, с трудом откупорил и ловко разлил по бокалам, искоса поглядывая на нас в ожидании нашей реакции, а затем огромная бутылка шампанского, все еще стоявшая в ведерке со льдом.

Диккенс настолько увлекся игрой в официанта и сомелье, что сам не успел поесть толком. К моменту, когда он подал сладкие пудинги — предложив к ним жирный соус, решительно отвергнутый дамами, но не мной, — лицо у него раскраснелось и блестело от пота, несмотря на ноябрьскую предвечернюю прохладу.

Изредка даже самым кротким и мягкосердечным людям, дорогой читатель, судьба дает или насильно вкладывает в руки орудие — а то и оружие, — позволяющее одним махом, одной фразой сокрушить некое величественное строение. Именно в такой ситуации оказался я во время нашего странного пикника на Рочестерском

кладбище, ибо я тотчас узнал обеденное меню, взятое из кулинарной книги, популярной лет пятнадцать назад. Книга называлась «Что у нас на обед?», и все приведенные там рецепты, как сообщалось в предисловии издателей, были собраны некой леди, скрывавшейся под псевдонимом Мария Клаттербак.

О, как быстро протрезвели бы мисс и миссис Тернан, сейчас развеселенные вином и шампанским, когда бы узнали, что меню восхитительного (пусть и кощунственного) обеда на погосте составила не кто иная, как Кэтрин Диккенс, отвергнутая и изгнанная из дома жена. Пусть Кэтрин получила полную отставку (по словам моего брата Чарли, всего месяц назад она написала Диккенсу умоляющее письмо с просьбой встретиться, чтобы обсудить проблемы Плорна, а Диккенс даже не пожелал самолично ответить ей и велел Джорджине отправить от его имени сухую короткую записку), но представлялось совершенно очевидным, что в ипостаси леди Клаттербак (Кэтрин еще не расплылась до неприличия в 1851 году, когда собрала и опубликовала свои меню) она по-прежнему остается желанной гостьей в Гэдсхилле. По крайней мере, ее кулинарные рецепты там в большой чести.

Во время трапезы и пустячной беседы я внимательно рассматривал Эллен Тернан, демонстративно игнорировавшую меня. В последний раз я видел ее восемь лет назад, и с годами она не стала красивее. В свою бытность восемнадцатилетней инженю она воплощала собой очарование юности, но сейчас могла считаться разве только «привлекательной дамой» и не более того. У нее были печальные томные глаза (не в моем вкусе, поскольку такие печальные глаза обычно свидетельствуют о поэтическом нраве, склонности к меланхолии и ожесточенном целомудрии), брови домиком, длинный нос и широкий тонкогубый рот. (Я отдаю предпочтение молодым особам с крохотными носиками и полными губами, желательно изогнутыми в подобии зазывной улыбки.) У Эллен был тяжелый, волевой подбородок, но если в прошлом он

заставлял предположить в ней дерзкую юношескую самоуверенность, то сейчас говорил лишь о надменном упрямстве двадцатишестилетней женщины, еще не вышедшей замуж. Красивые, не очень длинные волосы, зачесанные назад и искусно уложенные волнами, открывали высокий чистый лоб, но при этом оставались открытыми и уши, на мой взгляд великоватые. Крупные подвески, размером чуть не с фонарь каждая, изобличали в Эллен представительницу актерского ремесла, по сути своей простонародного, а ее тщательно построенные, но совершенно пустые, ходульные фразы наводили на мысль об элементарном недостатке образования. Мелодичные интонации и изысканные голосовые модуляции, отточенные на театральных подмостках, служили слабым прикрытием дремучего невежества, лишавшего стареющую инженю всякого права на роль супруги самого знаменитого английского писателя. И я не заметил в Эллен ни малейшего намека на пылкую чувственность, способную искупить все ее явные недостатки... а мое острое чутье всегда позволяло мне безошибочно улавливать эротические флюиды, исходящие даже от самых добродетельных и чопорных дам.

Эллен Тернан была просто-напросто скучна. Она являлась олицетворением пресловутой «тоски зеленой» и вдобавок обещала в самом скором будущем превратиться в почтенную матрону.

Ко времени, когда мы закончили обед, вокруг нас уже начали сгущаться предвечерние тени и холод надгробий, служивших нам стульями, постепенно проникал сквозь подушки в наши седалища. Устав от игры в официанта, Диккенс жадно доел свой пудинг, залпом допил шампанское и велел слуге «убрать со стола». Тарелки, бокалы, столовые приборы, блюда и, наконец, скатерть, салфетки и подушки в считаные секунды исчезли в плетеной корзине, которая, в свою очередь, исчезла в багажном отделении кареты. Теперь только россыпь крошек на мраморной надгробной плите свидетельствовала о нашей кладбищенской трапезе.

Мы проводили мисс и миссис Тернан до кареты.

— Благодарю вас за чудесный, пусть и весьма необычный обед, — сказала Эллен Тернан, взяв облаченной в перчатку рукой холодную руку Диккенса. — Было очень приятно повидаться с вами, мистер Коллинз, — промолвила она холодным тоном, никак не вязавшимся с теплыми словами.

Миссис Тернан прокудахтала пару равно любезных фраз, приложив еще меньше усилий к тому, чтобы они звучали убедительно. Потом слуга взобрался на козлы, взмахнул кнутом, и карета с грохотом покатила обратно в Рочестер, где наших дам, надо полагать, поджидал дядюшка Эллен Тернан.

По сладострастному блеску, загоревшемуся в глазах Чарльза Диккенса, я понял, что сегодня же вечером он встретится с Эллен наедине — вероятно, в ее тайном доме в Слау.

— Ну, как вам показался наш обед, дорогой Уилки? — спросил он страшно довольным тоном, натягивая перчатки.

— Восхитительным в своей болезненной мрачности, — сказал я.

— Это всего лишь прелюдия, — хихикнул Диккенс. — Всего лишь прелюдия. Подготавливающая нас к главному мероприятию нынешнего дня... или вечера. Ага, вот и наш приятель!

В сгущавшихся сумерках к нам приближался низкорослый оборванец с бесформенной шляпой в руке, явно пьяный. Надетый на нем серый фланелевый костюм имел такой вид, будто его нарочно изваляли в пыли и извести. Подойдя к нам, мужчина бросил на землю тяжелый парусиновый мешок. Я слышал запах рома, исходящий от него — от одежды, изо рта, из пор кожи, из самых костей, наверное. Пока я принюхивался к нему, оборванец, похоже, принюхивался ко мне — видимо, уловил сквозь собственную вонь опиумный запах, пропитывавший меня. Мы стояли, скрестив взгляды и принюхиваясь друг к другу, точно два пса в темном переулке.

— Уилки, — промолвил Диккенс, — позвольте представить вам мистера Дредлса, которого все зовут просто Дредлс. Правда, рочестерцы утверждают, что он носит крестильное имя Гранит — и мне пришлось предположить, что это прозвище. Дредлс каменотес, занимается главным образом надгробными плитами и памятниками, но также работает по найму в соборе, выполняя разный мелкий ремонт, а потому владеет всеми ключами от соборной башни, крипты, боковых дверей и прочих ныне известных и давно забытых входов. Мистер Дредлс, имею честь представить вам мистера Уилки Коллинза.

Сутулый субъект в бакенбардах и грязном фланелевом костюме с щербатыми костяными пуговицами пробурчал нечто невразумительное, весьма отдаленно напоминавшее приветственные слова. Я поклонился и поприветствовал нового знакомого более любезно.

— Дредлс! — весело воскликнул я затем. — Какое замечательное имя! Оно подлинное или является неким производным от вашего ремесла?

— Дредлс — так кличут Дредлса, — угрюмо проворчал коротышка. — И Дредлсу интересно знать, имя Коллинз подлинное или вымышленное? И Дредлс что-то не припоминает такого христианского имени, как Уилки.

Я резко выпрямился и стиснул рукоять своей трости, естественным образом отреагировав на завуалированное оскорбление.

— Меня нарекли в честь сэра Дэвида Уилки, знаменитого шотландского художника, — холодно произнес я.

— Как скажете, господин хороший, — прохрипел коротышка. — Хотя я в жисти не слыхивал ни об одном шотландце, который мог бы толком намалевать хотя бы сарай, не говоря уже о церкви или доме.

— На самом деле первое крестильное имя Уилки — Уильям, — сказал Диккенс. Он улыбался, явно забавляясь нашим разговором.

— Билли Коллинз, — просипел Дредлс. — В малолетстве Дредлс знавал одного Билли Коллинза. Несносный ирландский сопляк с куриными мозгами.

Я еще крепче стиснул рукоять трости и выразительно посмотрел на Диккенса, взглядом своим недвусмысленно вопрошая: «Должен ли я оставаться здесь и терпеть все это от деревенского пропойцы?»

Прежде чем Диккенс, по-прежнему улыбавшийся, успел ответить мне, внимание наше отвлек некий снаряд, который пролетел между нами, едва не задев плечо Диккенса и мое ухо, и в следующий миг отскочил от рыжевато-бурой шляпы, зажатой в нечистой руке Дредлса. Второй камешек чиркнул мне по левому плечу и ударил прямо в грудь каменотесу.

Дредлс крякнул, но не выказал ни малейшего удивления и даже не поморщился от боли.

Мы с Диккенсом одновременно обернулись и увидели семи-восьмилетнего мальчонку с всклокоченными волосами, в драной одежонке и стоптанных башмаках с распущенными шнурками — он выглядывал из-за надгробья близ каменной стены, отделявшей кладбище от дороги.

— Еще не время! Еще не время! — проорал Дредлс.

— А вот и врешь! — провизжал маленький оборванец и метнул в каменотеса следующий снаряд.

Мы с Диккенсом отступили в сторону от приземистой мишени, выбранной мальчишкой.

— Да чтоб у тебя зенки полопались! — проревел Дредлс. — Ежели Дредлс говорит, что еще не время, значит еще не время! Никакого тебе чаю сегодня! Ступай в «Двухпенсовые номера» и прекрати обстреливать меня — иначе не получишь нынче ни пенни от Дредлса!

— Ты врешь! — прокричал в ответ маленький дьяволенок и метнул очередной камень, на сей раз покрупнее, попавший каменотесу в ногу над самым коленом. Куски засохшей грязи, глины и извести так и брызнули в разные стороны от грязной штанины, а юный мучитель провопил пронзительным голосом: — Кук-ка-ре-ку! Я — останусь — без — чайку!

Дредлс тяжело вздохнул и сказал:

— Дредлс иногда платит этому мальцу, чтобы он камнями гнал его домой, коли вдруг Дредлс запамятует, что надобно воротиться под свой кров к чаепитию. Обычно я пью чай в этот час, но нынче я забыл отключить свое напоминательное устройство.

Диккенс расхохотался во все горло, в совершенном восторге хлопая себя по ляжкам. Очередной камешек со свистом пролетел между нами и едва не задел щеку каменотеса.

— Ты там попридержи ручонки-то! — проревел Дредлс, обращаясь к тщедушному мальцу в башмаках с распущенными шнурками, который стремительно перебегал от одного надгробья к другому. — Или не получишь ни единого пенни сегодня и еще цельный месяц! У Дредлса важные дела с этими господами, а они не любят, когда в них швыряются камнями.

— Ты все врешь! — крикнул мальчишка, притаившийся в густой тени кустарника между древними надгробьями.

— Больше он не станет докучать нам, покуда мы не покончим с делом, — сказал Дредлс. Он с недобрым прищуром посмотрел на меня, потом перевел взгляд, уже несколько смягчившийся, на Диккенса. — Что вы хотите, чтобы Дредлс показал вам нынче вечером, мистер Диккенс?

— Мы с мистером Коллинзом хотели бы посмотреть, не появилось ли что-нибудь новенькое на вашем рабочем месте, — промолвил Диккенс.

Дредлс хмыкнул, обдав нас тяжелым перегаром.

— Что-нибудь новенькое из старенького, вы хотите сказать, — прохрипел он. — В криптах редко появляется что-нибудь по-настоящему новенькое. Во всяком случае — в наше время.

— Мы будем счастливы увидеть все старенькое, — сказал Диккенс. — Указывайте нам путь, сэр. Мы с мистером Коллинзом с готовностью защитим вас нашими спинами, пусть не очень широкими, от посягательств вашего мучителя, всегда имеющего под рукой оружие.

— Да черт с ним, с Депутатом, — загадочно промолвил Дредлс. — Камни — это жизнь, работа и единственная любовь Дредлса, ежели не считать выпивки, и еще несколько камешков не составят для него особой разницы.

Затем Дредлс решительно двинулся с места, я и Диккенс, плечом к плечу, устремились за ним следом — и мы трое направились к огромному собору, чья холодная тень уже накрыла весь погост.

Сразу за границей кладбища находилась яма с высоким отвалом, из нее поднимались едкие испарения. Дредлс, прижимавший к груди свой увесистый тюк, молча прошел мимо, но Диккенс остановился и спросил:

— Это ведь известь, верно?

— Ага, — буркнул каменщик.

— Так называемая негашенка? — уточнил я.

Старик покосился на меня через плечо:

— Ага, такая в два счета пожрет ваш костюмчик, пуговицы и штиблеты, мистер Билли Уилки Коллинз. А ежели ее малость помешать, так она пожрет в придачу ваши очки, часы, зубы да кости.

Диккенс указал на дымящуюся яму и загадочно улыбнулся. Я поправил очки, потер слезящиеся глаза и двинулся дальше.

Я думал, мы поднимемся на башню собора. Диккенс часто привозил своих гостей в Рочестер (досюда от Гэдсхилла было рукой подать) и почти всегда водил на башню, чтобы они полюбовались с высоты видом старого города, представлявшего собой сплошной лабиринт тесных улочек да серых каменных кварталов, за которым с одной стороны до самого горизонта простиралось море, а с другой — темнели леса и тянулись дороги, ведущие обратно в Гэдсхилл и к противоположному горизонту.

Но я ошибался.

С минуту погремев увесистыми связками ключей (похоже, старик держал ключи во всех огромных карманах своих фланелевых штанов, сюртука и жилета), Дредлс

отпер массивную боковую дверь собора, и мы спустились по узкой каменной лестнице в крипту.

Скажу честно, дорогой читатель, мне страшно надоели всяческие склепы. Я не виню вас, коли вы испытываете такие же чувства. Я провел прошлую ночь в пропахшем опиумом логове, в точности похожем на склеп, и в последнее время по милости Чарльза Диккенса я слишком часто оказывался в таких вот сырых, сумрачных подземельях.

Дредлс не прихватил с собой фонаря, но в нем и не было нужды: меркнущий свет ноябрьского дня пробивался тусклыми лучами сквозь готические оконца с давно выбитыми стеклами. Мы прошли между толстыми колоннами, похожими на могучие корни или стволы каменных деревьев, — там, где между ними сгущались тени, царила почти непроглядная тьма, но мы держались бледных световых дорожек.

Дредлс положил свой увесистый мешок на каменный выступ, развязал стягивающие горловину шнуры и принялся рыться в нем. Я ожидал, что он вытащит оттуда бутылку — я слышал характерное бульканье, — но он извлек молоток.

— Смотрите внимательно, Уилки! — прошептал Диккенс. — И слушайте! И учитесь!

Я считал, что на сегодня с меня уже хватит разных впечатлений, но безропотно потащился дальше, когда Дредлс завязал шнуры на мешке и зашагал по еще более узкому проходу между рядами еще более толстых колонн, окутанных еще более густым мраком. Внезапно он принялся постукивать молотком по внутренней стене.

— Слышите? — спросил старый каменщик. Вопрос казался дурацким: многократное эхо ударов разносилось по всему помещению. — Стук! Стук! Цельный камень, — прошептал он. — Продолжаю стучать. И тут цельный. Опять стучу. Эге! Тут пусто. Здесь мы поворачиваем за угол — смотрите под ноги, тут ступеньки в темноте — и идем дальше вдоль стены да постукиваем по ней. И Дредлс слышит то, что ни вы, ни еще кто дру-

гой не может уловить слухом... Ага! А вот тут твердое в пустоте! А в твердом в середке опять пусто!

Мы все остановились. Здесь, за углом, где начинались ступеньки вниз, сгущался непроглядный мрак.

— Что это означает? — спросил я. — В твердом посередке опять пусто?

— А означает это, что за этой стенкой склеп, а в склепе каменный гроб, а в гробу рассыпавшийся в прах старикан!

Я почувствовал на себе значительный взгляд Диккенса, явно восхищенного мастерством Дредлса, но оставил за собой право не изображать никаких восторгов. Здесь речь шла вовсе не об открытом французами феномене ясновидения, вызывавшем у меня известный интерес. В конце концов, мы находились в церковной крипте. И без грубого старого пьяницы с каменотесным молотком любому было ясно, что за стенами тут покоятся кости.

Дредлс стал спускаться. Теперь нам требовался фонарь, а фонаря у нас не имелось. Я нащупывал тростью неровные ступени каменной лестницы, которая закручивалась по спирали вокруг одного из толстенных столбов, насквозь пронизывающих крипты и подпирающих кровлю собора. Я оделся легко, поскольку погода стояла на удивление теплая и солнечная для ноября, и теперь дрожал от сырого подземного холода, мечтая поскорее вернуться домой, к растопленному камину.

— Ну да, — сказал Дредлс, словно прочитав мои мысли, — холод здесь похужей, чем наверху. Это все сырость. Вездесущая сырость. Это холодное дыхание мертвых стариканов, что лежат по обе стороны от нас, под нами, а сейчас уже и над нами. Дыхание мертвецов проникает в собор, оставляет грязные потеки на каменных стенах и портит красивые фрески, от него гниет древесина и певчие дрожат в своих балахонах. Дредлс слышит, как сырость сочится из щелей и трещин в старых гробах, слышит так же отчетливо, как слышит отклики мертвых стариканов на свой стук.

Я уже открыл рот, собираясь высказаться в саркастическом тоне, но в следующий миг вновь раздался резкий стук каменотесного молотка. На сей раз мне почудилось, будто я тоже расслышал что-то необычное в дробной россыпи многократного эха. В каменной лестничной шахте голос Дредлса прозвучал неожиданно громко.

— В семи футах за этой стеной лежат сразу два старикана, оба с епископскими посохами, — видать, зацепились друг за друга своими клюками, случайно встретившись в кромешной тьме, — и лежат они в старинной подземной часовне, замурованной еще в те времена, когда головы летели с плеч и все пили за здоровье Красавчика Принца Чарли[1].

Мы с Диккенсом остались стоять на месте, а Дредлс спустился еще на дюжину ступенек. От холодного прикосновения сырого воздуха, обтекающего щиколотки и шею, волосы шевелились на голове.

«ТУК-ТУК-ТУК... ТУК-ТУК... ТУК-ТУК-ТУК-ТУК».

— Вот оно! — воскликнул Дредлс, возгласом своим породив жутковатое раскатистое эхо. — Слышите?

— Что мы должны услышать, мистер Дредлс? — спросил Диккенс.

В темноте раздался скребуще-скользящий звук.

— Всего лишь моя складная линейка, — сказал Дредлс. — Дредлс производит замеры здесь в темноте. Производит замеры, вот что Дредлс делает. Стена тут потолще... два фута камня, потом четыре фута пустоты. Дредлс слышит по стуку: какие-то головотяпы, хоронившие этого старикана, оставили кучу мусора промеж каменным гробом и каменной стеной. В шести футах за стеной лежит старикан среди осыпавшейся с потолка каменной крошки и оставленного ротозеями мусора — лежит себе и ждет, в гробу без крышки. Ежели я пробью тут

---

[1] Карл Эдуард Стюарт, Молодой Претендент (1720–1788) — предпоследний представитель дома Стюартов, претендент на английский и шотландский престолы; популярный герой шотландского фольклора.

стену киркой да молотком покрупнее, этот старикан, в епископской он шляпе или нет, сядет, откроет глаза и скажет: «Дреддс, дружище, я чертовски долго тебя ждал!» А потом он рассыпется в прах, как пить дать.

— Пойдемте отсюда. — Я хотел произнести эти слова шепотом, но голос мой прозвучал очень громко в темной, сырой шахте винтовой лестницы.

Снаружи, в тающем вечернем свете, Диккенс дал нахальному старику несколько монет и взмахом руки отослал прочь, поблагодарив напоследок и рассмеявшись заговорщицким (как мне показалось) смехом. Дреддс поковылял восвояси, по-прежнему прижимая к груди свой узелок. Он не успел отойти от нас и на двадцать футов, когда вдруг раздался визгливый крик: «Кук-ка-реку! Я — останусь — без — чайку! Кик-ки-ри-ки! Тогда — башку — побереги!» — и на субъекта в сером фланелевом костюме обрушился целый град камней.

— Ах, какой персонаж! — воскликнул Диккенс, когда Дреддс и полоумный мальчишка наконец скрылись из виду. — Какой восхитительный персонаж! Знаете, дорогой Уилки, я впервые увидел мистера Дреддса, когда он высекал надпись на надгробной плите — для могилы недавно опочившего кондитера и пекаря, кажется. И когда я представился, он тотчас заявил: «В моем мире я малость смахиваю на вас, мистер Диккенс». Потом Дреддс повел перед собой рукой, указывая на все надгробья, уже изготовленные и находящиеся в процессе изготовления, и промолвил: «В том смысле, что живу в окружении своих творений и слов, как любой популярный писатель».

Диккенс снова рассмеялся, но я остался холоден и равнодушен. В соборе, теперь освещенном, хор протяжно выводил: «Ответьте, пастыри, ответьте мне-е-е...»

— А знаете, Уилки, — сказал Диккенс, по-прежнему пребывавший в прекрасном расположении духа, несмотря на поздний час и крепчающий студеный ветер, который гнал сухие листья по мраморной надгробной плите,

несколько часов назад служившей нам обеденным столом, — мне кажется, я знаю имя здешнего регента.

— Да ну? — промолвил я тоном, явственно свидетельствовавшим об отсутствии у меня всякого интереса к данному обстоятельству.

— Да. По-моему, его зовут Джаспер. Джейкоб Джаспер. Нет, Джон Джаспер. Точно. Для своего любимого и любящего племянника — просто Джек.

Диккенс не имел обыкновения вести подобные праздные разговоры, во всяком случае — столь банального содержания.

— Да неужели? — сказал я таким тоном, каким отвечал Кэролайн, когда она тараторила без умолку, отвлекая меня от чтения газеты.

— Вот именно, — подтвердил Диккенс. — А вы знаете тайну мистера Джаспера?

— С чего бы вдруг? — осведомился я с легким раздражением. — Я еще секунду назад не знал даже о существовании вашего регента.

— Да, действительно, — согласился Диккенс, потирая руки. — Тайна мистера Джаспера заключается в том, что он опиоман.

Кровь прихлынула к моему лицу, я невольно выпрямился и расправил плечи. Кажется, я с полминуты не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть.

— Опиоман наихудшего пошиба, — продолжал Неподражаемый. — Мистер Джон Джаспер не признает никакого лауданума, никаких опиумных настоек, употребляемых цивилизованными белыми людьми в медицинских целях. О нет! Мистер Джон Джаспер отправляется в наихудшие кварталы Лондона, а потом в наихудшие трущобы наихудших кварталов и находит там наихудший — то есть для него наилучший — опиумный притон.

— Неужели? — с усилием выдавил я.

Я чувствовал, как холодная сырость расползается по моим костям, проникая в самый мозг, сковывая язык.

— И вдобавок ко всему наш регент — убийца, — сказал Диккенс. — Хладнокровный, расчетливый убийца,

который даже в своих опиумных грезах замышляет убить человека, его любящего и всецело ему доверяющего.

— Диккенс, — наконец пробормотал я, — о чем вы, собственно, говорите?

Он хлопнул меня по спине, и мы зашагали через кладбище к дороге, где нас уже ждал недавно вернувшийся экипаж.

— Это все выдумка, разумеется, — со смехом сказал он. — Смутный проблеск идеи общего замысла — некий персонаж, некий намек на сюжет. Вы же знаете, как это бывает.

Я с трудом сглотнул.

— Ну конечно. Так, значит, сегодняшний день посвящен именно этому? Вы собираете материал для очередного вашего романа? Который, возможно, планируете опубликовать в «Круглом годе»?

— Не для моего романа! — воскликнул Диккенс. — А для вашего, дорогой Уилки! Для вашего «Змеиного зуба».

— «Змеиного ока», — поправил я. — Или «Ока змея».

Диккенс небрежно махнул рукой — мол, никакой разницы. Я уже едва различал его лицо в сгустившемся мраке. Фонари на карете были зажжены.

— Неважно, — промолвил он. — Главное — сама история. У вас есть ваш замечательный сержант Кафф. Но даже самому лучшему сыщику нужна некая тайна, подлежащая раскрытию, если вы хотите увлечь и заинтересовать своего читателя. Именно с целью подсказать вам идею подобной тайны я и устроил сегодня пикник и встречу с Дредлсом.

— Тайна? — тупо переспросил я. — Я нигде не усмотрел никакой тайны сегодня.

Диккенс широко повел перед собой обеими руками, указывая на темный собор и еще более темное кладбище, полное надгробных памятников и могильных плит.

— Представьте себе отъявленного негодяя, друг мой, хладнокровного и расчетливого, который убивает просто из желания испытать на собственном опыте, что такое

убийство. Причем убивает не родственника, как было в деле Роуда, в свое время вызвавшем у нас с вами живой интерес, — нет, он убивает незнакомого или малознакомого человека. Убийство без всякого мотива.

— Но зачем кому бы то ни было идти на такое? — спросил я, ничего не понимая.

— Я же только что объяснил, — ответил Диккенс с легким раздражением. — Чтобы получить опыт убийства! Подумайте только, какая благодатная тема для писателя вроде вас — или меня. Для любого творца художественной прозы, а тем более художественной прозы, полной психологизма, каким славитесь вы, дорогой Уилки.

— Вы говорите о «сцене убийства», задуманной для вашего следующего турне?

— Господи, да нет же! У меня моя бедняжка Нэнси ждет, когда с ней расправится мой законченный негодяй Билл Сайкс. В скором времени, не сейчас. Я уже внес кое-какие исправления в описание этого кровавого, зверского убийства. Я говорю о вашем романе, друг мой.

— Но я собираюсь писать о бриллианте, приносящем несчастья семейству, где...

— Да к черту бриллиант! — выпалил Диккенс. — Он возник всего лишь в качестве предварительного наброска к замыслу. Все, кто из кожи вон лез, чтобы увидеть Кохинор на Всемирной выставке, в конечном счете остались страшно разочарованными. Камень оказался некрасивой желтой окраски — цвета мочи... ничего похожего на бриллиант в нашем представлении. Выбросьте на помойку ваш дрянной камешек, Уилки, и займитесь разработкой нового сюжета!

— Какого сюжета?

Диккенс вздохнул и принялся перечислять основные моменты, загибая пальцы:

— Первое: некто убивает практически незнакомого человека просто с целью получить опыт убийства. Второе: преступник находит идеальный способ избавиться

от тела. Вашему сержанту Каффу придется изрядно поломать голову, чтобы догадаться, в чем он заключается!

— О чем мы, собственно, говорим? — спросил я. — В ходе нашего странного пикника и еще более странной экскурсии в обществе пьяного Дредлса я не получил никаких подсказок касательно верного способа избавиться от трупа.

— Очень даже получили! — воскликнул Диккенс. — Для начала у нас имеется негашеная известь. Вы же наверняка не забыли ту яму!

— Мои глаза и нос не забыли.

— И не должны забывать, друг мой! Вы только вообразите, в какой ужас придут читатели, когда вдруг поймут, что ваш убийца — ваш бессмысленный, безжалостный убийца, движимый немотивированной злобой, как Яго, — сжег тело какого-то бедняги в яме с негашеной известью. И от трупа не осталось ничего, кроме нескольких косточек, жемчужных пуговиц и, скажем, часов. Или черепа.

— Но эти-то несколько косточек все же останутся. А также часы и череп, — угрюмо проворчал я. — И сама известковая яма никуда не денется, останется на самом виду, вопиющая улика под носом у сержанта Каффа и полицейских следователей.

— Да ничего подобного! — вскричал Диккенс. — Разве вы не поняли; какой чудесный подарок я преподнес вам в лице Дредлса? Ваш негодяй заручается поддержкой — с дальним умыслом или нет, решать вам — именно такого персонажа, как Дредлс, и тот помогает ему схоронить жалкие останки жертвы именно в таком склепе, какие мы с вами видели — вернее, слышали — нынче вечером. То немногое, что остается от убитого мужчины — или женщины, если вы хотите написать поистине сенсационный роман, друг мой, — упокоится рядом с прахом «стариканов», и таким образом преступник спрячет концы в воду — до той поры, покуда ваш сметливый сержант Кафф не раскроет преступление, разма-

тывая одну за другой путеводные ниточки, вплести которые в сюжет по силам одному только Уилки Коллинзу.

С минуту мы молчали. Тишину нарушали лишь постукивание копыт нетерпеливо переступающих упряжных лошадей да тихая возня озябшего возницы на козлах. Наконец я проговорил:

— Все это замечательно... и очень по-диккенсовски... но я все-таки предпочитаю свой первоначальный замысел — с легендарным алмазом, считающимся священным у индусов или любого другого языческого народа и приносящим несчастья известному английскому семейству.

Диккенс вздохнул:

— Ну ладно. Как вам угодно. Вы вправе отыскивать изъяны в дареном коне. — Но я услышал, как он чуть слышно пробормотал: — Хотя идея с алмазом и индусами принадлежит мне, теперь я вижу, что она слабовата для романа. — Более громко Неподражаемый сказал: — Вы позволите подвезти вас до станции?

Тот факт, что Диккенс, вопреки обыкновению, не пригласил меня на ужин в Гэдсхилл, окончательно утвердил меня в уверенности, что сегодня он будет ужинать с Эллен Тернан и не собирается возвращаться в Гэдсхилл-плейс.

— Буду премного вам благодарен, — промолвил я. — Кэролайн уже ждет меня.

Распахнув передо мной дверцу кареты, Диккенс тихо, чтобы не услышал возница, проговорил:

— Я бы посоветовал вам переменить платье и даже принять ванну, прежде чем вы сядете за стол с очаровательной Домоправительницей и восхитительным Дворецким нынче вечером.

Я остановился, занеся ногу на подножку, но, прежде чем я успел произнести хоть слово касательно опиума или любого другого предмета, Диккенс добавил самым невинным тоном:

— После посещения крипт одежда насквозь пропитывается запахом сырости... как наглядно продемонстрировал нам сегодня наш друг Дредлс.

Глава 19

— Чарльз Диккенс собирается убить Эдмонда Диккенсона.

Уже во второй раз за последние полтора года я резко сел в постели, вырвавшись из глубокого лауданумного сна, и вслух произнес эти слова.

— Нет, — сказал я в темноту, все еще полусонный, но исполненный твердой, дедуктивно обоснованной уверенности, свойственной герою моего еще не написанного романа сержанту Каффу. — Чарльз Диккенс уже убил Эдмонда Диккенсона.

— Уилки, голубчик, — встревоженно проговорила Кэролайн, садясь рядом со мной и хватая меня за плечо. — О чем ты? Ты разговаривал во сне, мой милый.

— Отстань от меня, — невнятно промычал я, стряхивая с плеча ее руку.

Я встал, накинул халат и подошел к окну.

— Уилки, дорогой...

— Тише! — Сердце мое бешено колотилось. Я пытался запечатлеть в памяти свой ясновидческий сон.

Я нашарил на бюро хронометр и взглянул на циферблат. Без малого три часа утра. За окном моросил мелкий косой дождик, и брусчатка скользко блестела во мраке. Я посмотрел на уличный фонарь, потом отыскал взглядом узкое крыльцо заброшенного дома на противоположном углу и различил там неясную скрюченную фигурку. Связной инспектора Филда — паренек со странными глазами, которого инспектор называл Гузберри, — по-прежнему дежурил там, спустя уже год с лишним со дня, когда я впервые его заприметил.

Я вышел из спальни и направился в свой кабинет, но остановился в нерешительности на лестничной площадке. Сейчас ночь. Второй Уилки наверняка поджидает меня там — скорее всего, сидит за моим рабочим столом, устремив немигающий взгляд на дверь. В конечном счете я спустился вниз, в гостиную, и подошел к маленькому

секретеру, где Кэролайн и Кэрри хранили свои бумаги. Я взял перо и, решительно поправив очки, написал следующее:

Инспектор Филд.

Я имею все основания полагать, что Чарльз Диккенс убил некоего молодого человека по имени мистер Эдмонд Диккенсон, одну из уцелевших жертв Стейплхерстской катастрофы. Прошу вас встретиться со мной завтра в десять часов утра на мосту Ватерлоо, дабы мы могли обсудить все обстоятельства дела и придумать, как нам хитростью заставить Диккенса сознаться в убийстве молодого Диккенсона.

Ваш покорный слуга

Уильям Уилки Коллинз.

Несколько долгих мгновений я смотрел на начертанные строки, потом удовлетворенно кивнул, засунул записку в конверт, а конверт запечатал сургучом при помощи отцовского перстня и положил во внутренний карман халата. Потом я достал из портмоне несколько монет, нашел свое пальто в стенном шкафу в холле, надел галоши поверх домашних тапочек и вышел в ночь.

Едва я успел подойти к уличному фонарю на своей стороне улицы, как от накрытого густой тенью крыльца дома напротив отделилась неясная тень. В считаные секунды мальчишка пересек улицу и подступил вплотную ко мне. Он был без верхней одежды и дрожал всем телом под холодным дождем.

— Ты Гузберри? — спросил я.

— Да, сэр.

Я уже засунул руку во внутренний карман халата, но почему-то не стал доставать письмо.

— Гузберри — это твоя фамилия? — осведомился я.

— Нет, сэр. Так меня кличет инспектор Филд. Все из-за моих глаз, видите ли.

Я видел. Его зеленоватые, несуразно выпуклые глаза не только походили на крыжовины, но еще и безостановочно перекатывались туда-сюда, точно две пули в рюмке для яиц. Я покрепче зажал в пальцах конверт

с адресованным Филду письмом, но все еще медлил в нерешительности.

— Ты уличный подметальщик, Гузберри?

— Я был уличным подметальщиком, сэр. Теперь уже нет.

— А чем ты занимаешься сейчас, дружок?

— Я обучаюсь у великого инспектора Филда сыщицкому ремеслу, вот чем я занимаюсь, — сказал Гузберри с гордостью, но без малейшего намека на бахвальство.

Он зябко поежился, потом закашлялся. Это был глубокий хриплый кашель — моя мать впадала в панику всякий раз, когда у меня или Чарли из груди вырывались подобные звуки, — но у маленького оборвыша хватало воспитанности кашлять в кулак.

— Как твое настоящее имя, дружок? — спросил я.

— Гай Септимус Сесил, — ответил мальчишка, стуча зубами.

Я наконец отдал письмо, а потом бросил пять шиллингов в торопливо подставленную ладонь Гая Септимуса Сесила. Я в жизни ни у кого не видел такого ошарашенного выражения лица — ну разве только у грабителя, которого мистер Реджинальд сбил с ног ударом дубинки в темном бирмингемском переулке.

— Сегодня и в ближайшие три дня у меня не будет сообщений для твоего хозяина, мистер Гай Септимус Сесил, — мягко сказал я. — Поди купи себе горячий завтрак. Сними комнату, непременно с отоплением. А на оставшиеся деньги купи пальто... из добротной английской шерсти, чтобы носить поверх этих лохмотьев. От тебя не будет толку ни инспектору Филду, ни мне, коли ты умрешь тут от холода.

Крыжовенные глаза паренька блуждали по сторонам, ни на секунду не останавливаясь на мне.

— Ну же, ступай! — строго велел я. — И чтобы я не видел тебя здесь до вторника.

— Слушаюсь, сэр, — с сомнением проговорил Гузберри.

Но он повернулся, трусцой пересек улицу, буквально секунду помедлил у своего крыльца, а потом побежал дальше, к теплу и пище.

Приняв решение самостоятельно выполнить трудную работу по расследованию убийства Эдмонда Диккенсона, я приступил к делу следующим же утром. Подкрепив силы двумя с половиной чашками лауданума (примерно двести минимальных доз, если считать дозой несколько капель), я доехал двенадцатичасовым поездом до Чатема и там сел в наемную коляску, чтобы домчаться до Гэдсхилл-плейс, — хотя глагол «дотащиться» представляется здесь более точным, принимая во внимание преклонный возраст и апатичность как лошади, так и кучера.

Сейчас, перед важным разговором с Диккенсом, я начал отчетливее видеть прежде расплывчатый образ моего сыщика из «Ока змея» (или «Змеиного ока») сержанта Каффа. В отличие от дородного, бесцеремонного и грубого инспектора Баккета из диккенсовского «Холодного дома» — персонажа, начисто лишенного воображения, поскольку его прототипом послужил реальный инспектор Филд в более молодом возрасте, — мой сержант Кафф будет высоким, худым, пожилым, аскетичным и предельно логичным. Прежде всего — логичным, словно помешанным на логике. Я также решил, что мой аскетичный, седовласый, узколицый и горбоносый, предельно логичный, сероглазый сержант Кафф будет предпенсионного возраста. Он собирается посвятить остаток своей жизни пчеловодству, понял я. Впрочем, нет, пчеловодство не годится — слишком диковинное, слишком эксцентричное занятие, совершенно мне не знакомое. Возможно, розоводство. Да, это как раз то, что нужно... розы. Я немного разбирался в розах и розоводстве. Сержант Кафф будет знать о розах все.

Почти все сыщики сначала обнаруживают труп со следами насильственной смерти, а затем проводят уйму времени, распутывая ниточки, ведущие к убийце. Но мы

с сержантом Каффом поступим ровно наоборот: сперва вычислим убийцу, а потом отыщем тело.

— Дорогой Уилки, какой приятный сюрприз! Какое удовольствие провести в вашем обществе два дня подряд! — воскликнул Диккенс, выходя мне навстречу в шерстяном плаще с капюшоном, надетом для защиты от студеного ветра. — Надеюсь, вы останетесь до конца уикэнда.

— Нет, я заехал только для короткого разговора с вами, Чарльз, — сказал я.

Он улыбался такой приветливой, такой искренней, по-детски радостной улыбкой (ни дать ни взять, маленький мальчик, неожиданно увидевший любимого товарища по играм), что мне пришлось улыбнуться в ответ, хотя в глубине души я оставался холоден и бесстрастен, как сержант Кафф.

— Замечательно! Я только что закончил на сегодня работу над последним предисловием и рождественской повестью и собирался отправиться на прогулку. Присоединяйтесь ко мне, друг мой!

При мысли о многомильной прогулке — скорым шагом, да в такой ветреный ноябрьский день, когда все предвещает снегопад, — острая боль запульсировала у меня за правым глазом.

— К сожалению, не могу, дорогой Диккенс. Но раз уж вы упомянули о Рождестве... среди всего прочего я хотел поговорить с вами и о нем.

— Да неужели? — Он изумленно вскинул брови. — Вы — Уилки Коллинз, для которого все на свете «чушь и вздор», — вдруг возымели интерес к Рождеству? — Он запрокинул голову и по-диккенсовски заразительно расхохотался. — Теперь я вправе сказать, что своими глазами видел чудо.

Я натянуто улыбнулся:

— Мне просто любопытно, собираетесь ли вы устраивать традиционное многолюдное празднество в этом году. Все-таки до Рождества осталось совсем недолго.

— Да, всего ничего. — Внезапно Диккенс уставился на меня холодным оценивающим взглядом. — Нет,

боюсь, никаких многолюдных празднеств в этом году не предвидится. В начале декабря я отправляюсь в очередную поездку с публичными чтениями, как вам известно.

— Ах да.

— Я вернусь домой на день-другой в само Рождество, — сказал Диккенс, — и, конечно, вы получите приглашение. Но, к сожалению, в этом году мы отметим праздник скромно.

— Не беда, не беда, — торопливо проговорил я, на ходу импровизируя с ловкостью, которая сделала бы честь моему еще не созданному сержанту Каффу. — Просто интересно знать... вы пригласите Макриди в этом году?

— Макриди? Нет, вряд ли. Кажется, у него жена серьезно недомогает. И сам Макриди все реже и реже выезжает из дома, как вам известно, Уилки.

— Ну да, разумеется. А Диккенсон?

— Кто?

«Ага!» — подумал я. Чарльз Диккенс, Неподражаемый, знаменитый писатель, человек с феноменальной памятью, никак не мог забыть имя молодого джентльмена, которого самолично спас на месте Стейплхерстской катастрофы. Он притворялся — как убийца, уже совершивший или только еще замысливший преступление!

— Диккенсон, — небрежно повторил я. — Эдмонд. Вы же наверняка не забыли прошлое Рождество, Чарльз! Сомнамбула!

— А, конечно, конечно, — сказал Диккенс, отмахиваясь от воспоминания. — Нет. Мы не пригласим молодого Эдмонда на нынешнее Рождество. В этом году соберутся только члены семьи. И самые близкие друзья.

— Вот как? — Я искусно изобразил удивление. — Мне казалось, вы с молодым Диккенсоном довольно близки.

— Ничего подобного, — возразил Диккенс, натягивая дорогие лайковые перчатки, слишком тонкие для такой погоды. — Я просто изредка навещал молодого человека в течение нескольких месяцев, пока он оправлялся после катастрофы. Он ведь сирота, как вы наверняка помните, Уилки.

— А, точно, — сказал я с таким видом, словно и вправду мог забыть о столь существенном обстоятельстве, объясняющем, почему Диккенс выбрал именно его в качестве своей жертвы. — Вообще-то, я хотел обсудить с молодым Диккенсоном пару предметов, затронутых нами в прошлое Рождество. Вы, случаем, не помните его адреса, Чарльз?

Диккенс посмотрел на меня в высшей степени странным взглядом.

— Вы желаете продолжить ваш с Эдмондом Диккенсоном разговор, состоявшийся без малого год назад?

— Да, — промолвил я безапелляционным тоном сержанта Каффа (во всяком случае, мне хотелось так думать).

Диккенс пожал плечами:

— Я абсолютно уверен, что не помнил бы адреса, даже если бы знал его когда-нибудь. По-моему, Диккенсон постоянно меняет местожительство... неугомонный молодой холостяк, постоянно переезжающий с квартиры на квартиру, и все такое прочее.

— Хм... — протянул я.

Я щурился от холодного северного ветра, сотрясавшего подстриженные живые изгороди и срывавшего последние листья с деревьев на переднем дворе Диккенса, но я с таким же успехом мог щуриться от теснившихся в моем уме подозрений.

— На самом деле, — весело сказал Диккенс, — я припоминаю, что молодой Диккенсон уехал из Англии нынешним летом или осенью. С намерением сколотить состояние в Южной Франции. Или в Южной Африке. Или в Австралии. В каком-то подобном месте, где у человека есть возможность развернуться.

«Он играет со мной, — подумал я, исполняясь железной уверенности, свойственной сержанту Каффу. — Но он не догадывается, что и я играю с ним».

— Очень жаль, — сокрушенно произнес я. — Я был бы весьма рад повидаться с Эдмондом. Но ничего не поделаешь.

— Да, ничего не поделаешь, — подтвердил Диккенс, чей голос звучал приглушенно из-под толстого красного шарфа, натянутого по самый нос. — Так вы решительно отказываетесь присоединиться ко мне? Сегодня отличный день для прогулки.

— Как-нибудь в другой раз. — Я пожал ему руку. — Мой экипаж и возница ждут меня.

Однако я подождал, когда писатель скроется из виду и стук его трости затихнет в отдалении, а потом постучал в дверь, отдал шляпу и шарф открывшей мне служанке и быстро прошел на кухню, где Джорджина Хогарт сидела за столом, составляя меню.

— Мистер Уилки, какой приятный сюрприз!

— Привет, Джорджина, привет! — любезно промолвил я.

И задумался, не следовало ли мне нарядиться в измененный костюм. Сыщики часто переодеваются с целью маскировки. Уверен, мой сержант Кафф при необходимости всегда поступал так, несмотря на свой исключительно высокий рост и аскетическую наружность. Сержант Кафф, вне всяких сомнений, в совершенстве владел искусством маскировки. Но с другой стороны, пожилой сыщик Скотленд-Ярда не страдал такими недостатками, сводящими на нет все старания переменить обличье, как малорослость, пышная борода, плешивость, слабое зрение, требующее постоянного ношения очков, и луковицеобразная голова.

— Джорджина, — беззаботным тоном сказал я, — я только сейчас разминулся с Чарльзом, отправившимся на прогулку, и на минутку заскочил к вам вот почему: мы с друзьями собираемся устроить небольшую вечеринку с участием нескольких художников и литераторов, и мы подумали, что неплохо бы пригласить молодого Диккенсона. Но у нас нет его адреса.

— Молодой Диккенсон? — Джорджина недоуменно уставилась на меня.

Может, она сообщница?

— О, вы имеете в виду надоедливого молодого джентльмена, что разгуливал здесь во сне в прошлое Рождество? — после продолжительной паузы спросила она.

— Именно.

— Так он же несносный зануда, — сказала Джорджина. — И вряд ли достоин приглашения на вашу чудесную вечеринку.

— Да, возможно, — согласился я. — Но мы подумали, что ему будет приятно.

— Помнится, в прошлом году я рассылала приглашения на Рождество. Давайте пройдем в гостиную, к секретеру, где я храню свои бумаги.

«Ага!» — воскликнул удачливый призрак еще не появившегося на свет сержанта Каффа.

Несколько записок, которые Джорджина Хогарт написала Эдмонду Диккенсону от имени Диккенса, были адресованы некоему барристеру Мэтью В. Роффу с Грейс-Инн-Сквер. Я хорошо знал этот район, разумеется, потому что сам в свое время учился юриспруденции — однажды я охарактеризовал себя как «барристера с пятнадцатилетним стажем, ни разу не выступившего в суде и даже ни разу не надевшего парик и мантию». Обучение мое происходило в расположенной поблизости юридической школе Линкольс-Инн, правда, сводилось оно главным образом к посещениям трапез в школьной столовой — хотя я помню, что серьезно готовился к адвокатуре. Потом мой интерес к кодексам угас, а интерес к трапезам сохранился. Уже тогда я водил дружбу в основном с художниками и пробовал свои силы в основном на литературном поприще. Но в ту пору в адвокатуре относились весьма снисходительно к джентльменам, не особо увлеченным юриспруденцией, и в конечном счете я, несмотря на недостаток прилежания, получил лицензию барристера в 1851 году.

Я никогда прежде не слышал о мистере Мэтью В. Роффе — судя по запущенному виду его маленькой, захламленной, пыльной конторы, расположенной на третьем этаже неприглядного здания близ Грейс-Инн,

о нем вообще мало кто слышал. В тесной приемной с низким потолком не было ни клерка, ни колокольчика, возвещающего о приходе посетителей. В кабинете, смежном с передней, я увидел старика, одетого по моде двадцатилетней давности, который сидел за столом, заваленным кипами папок, грудами документов, потрепанными фолиантами и разными безделушками, и поедал отбивную. Я громко кашлянул, чтобы привлечь его внимание.

Он нацепил пенсне на крючковатый нос и уставился из своей бумажной пещеры в темную приемную, часто моргая слезящимися крохотными глазками.

— А? Что такое? Кто там? Войдите, сэр! Приблизьтесь, дабы я опознал вас!

Я приблизился и, поскольку он меня не опознал, назвал свое имя. Мистер Рофф продолжал улыбаться, но по его лицу было ясно, что мое имя ничего ему не говорит.

— Ваше имя и адрес вашей конторы сообщил мне мой друг Чарльз Диккенс, — мягко промолвил я; это была не совсем правда, но и не совсем ложь. — Чарльз Диккенс, писатель, — добавил я.

Сморщенная марионетка встрепенулась и произвела ряд суетливых, нервических телодвижений.

— О боже, подумать только, силы небесные, да... я хочу сказать, как чудесно... да, конечно... сам Чарльз Диккенс сообщил мне ваше... то есть сообщил вам мое имя... батюшки, да что же это я?.. Прошу вас, садитесь, садитесь, пожалуйста, мистер... э-э?..

— Коллинз, — сказал я. Похоже, куча раскрытых книг и скатанных в трубку документов не убиралась с указанного мне кресла уже много лет, если не десятилетий; я предпочел присесть на высокий табурет. — Здесь вполне удобно, — сказал я и с изящным жестом, вполне достойным сержанта Каффа, добавил: — И лучше для моей спины.

— О да... да... Не желаете ли чаю, мистер... э-э... мистер... ах ты, боже ж мой.

— Коллинз. Да, я с удовольствием выпью чаю.

— Смолли! — крикнул мистер Рофф в сторону пустой приемной. — Эй, Смолли!

— Мне кажется, вашего клерка нет на месте, мистер Рофф.

— А, да... то есть нет... — Порывшись в жилетном кармане, старик извлек хронометр, взглянул на циферблат, хмуря брови, а потом потряс часы над ухом и спросил: — Мистер Коллинз, полагаю, сейчас не начало десятого утра или вечера?

— Нет, — сказал я, сверившись с собственными часами. — Сейчас начало пятого пополудни, мистер Рофф.

— О, тогда понятно, почему Смолли нет на месте! — воскликнул старик с такой радостью, словно мы разгадали великую тайну. — Около трех он всегда уходит домой пить чай и возвращается только в начале шестого.

— По роду вашей профессии вам приходится работать сверхурочно, — сухо заметил я, мне бы все-таки хотелось выпить обещанного чаю.

— О да, да... служение закону похоже на... на... пожалуй, здесь подойдет слово «супружество». Вы женаты, мистер Коллинз?

— Нет, сэр. Мне не довелось познать радостей брака, мистер Рофф.

— Мне тоже, мистер Коллинз! — вскричал старик, хлопнув ладонью по книге в кожаном переплете, лежавшей на столе перед ним. — Мне тоже. Мы с вами два горемыки, укрывающиеся от счастья, вы и я, мистер Коллинз. Но труды на юридическом поприще не оставляют мне никакого досуга: я прихожу в контору ранним утром, когда здесь еще не горят лампы, — хотя, конечно, зажигать лампы входит в обязанности Смолли, — и ухожу поздним вечером, когда лампы гасятся на ночь.

Я медленно извлек из кармана сюртука новенькую записную книжку, купленную специально для сыщицкой работы. Потом я достал остро заточенный карандаш и раскрыл записную книжку на первой, чистой странице.

Мистер Рофф резко выпрямился, точно услышав стук судейского молотка, сцепил руки на столе, таким образом усмирив наконец свои беспокойные длинные пальцы, и уставился на меня со всем вниманием, на какое в дан-

ных обстоятельствах способен человек преклонного возраста и нервического темперамента, явно слабеющий рассудком.

— Да, конечно, — промолвил он. — Давайте перейдем к делу, мистер Коллинз. Какое у нас с вами дело, мистер Коллинз?

— Господин Эдмонд Диккенсон, — твердо сказал я, услышав в своем голосе металлические, но все же не жесткие нотки, свойственные сержанту Каффу; я точно знал, как сотворенный мной персонаж провел бы подобный разговор.

— А, да, конечно... вы принесли весточку от господина Эдмонда Диккенсона, мистер Коллинз?

— Нет, мистер Рофф, хотя я знаком с этим молодым джентльменом. Я хотел спросить *вас* о нем, сэр.

— Меня? Ну да... конечно... рад помочь вам, мистер Коллинз, а через вас — и мистеру Диккенсу, коли мистер Диккенс нуждается в моей помощи.

— Уверен, он будет благодарен вам, мистер Рофф, но нынешнее местонахождение мистера Диккенсона интересует в первую очередь меня. Не могли бы вы дать мне его адрес, сэр?

У старика вытянулось лицо.

— Увы, не могу, мистер Коллинз.

— Это секретная информация?

— Нет, нет, ничего такого. Молодой господин Эдмонд всегда открыт и прозрачен, как... как летний дождь, сэр, коли вы позволите мне вторгнуться с сей метафорой в вашу с мистером Диккенсом литературную сферу. Господин Эдмонд не стал бы возражать, если бы я сообщил вам нынешний его адрес.

Я лизнул кончик остро заточенного карандаша и выжидательно уставился на собеседника.

— Но, увы, я не могу, — вздохнул престарелый мистер Рофф. — Мне неизвестно, где господин Эдмонд жительствует в настоящее время. Раньше он снимал квартиру здесь, в Лондоне, неподалеку от Грейс-Инн-Сквер, но я знаю, что он съехал оттуда в этом году. А где господин Эдмонд обретается сейчас — мне неведомо.

— Может, у своего опекуна? — подсказал я; ничья слабая память никогда не станет помехой для сержанта Каффа.

— Опекуна? — повторил старый джентльмен, слегка встревоженно. — Ну... не исключено... возможно... вполне вероятно.

Прежде чем приступить к расследованию, я порылся в памяти и в своих записях, касающихся нашей с Диккенсоном беседы, имевшей место полтора года назад в номере гостиницы «Чаринг-Кросс», где он оправлялся после катастрофы.

— Речь идет о мистере Уотсоне, проживающем в Нортгемптоншире, так ведь, мистер Рофф? Который в прошлом являлся либерально настроенным членом парламента, насколько мне известно?

— В общем — да, — промолвил Рофф, явно впечатленный моей осведомленностью. — Но — увы — нет! Наш дорогой мистер Роланд Эверетт Уотсон скончался четырнадцать лет назад. После этого молодой господин Эдмонд постоянно переезжал с места на место, во исполнение судебных постановлений об опекунстве, то и дело менявшихся. Ну, знаете... сначала тетка в Кенте... потом дядя-путешественник с домом в Лондоне — мистер Спайсхед провел в Индии почти все время, пока господин Эдмонд находился под его опекой... потом престарелая кузина бабушки. Эдмонда воспитывали главным образом слуги, знаете ли.

Я ждал со всем терпением, какое позволяла мне моя ревматоидная подагра, нетерпеливо дававшая о себе знать.

— А потом, когда господину Эдмонду стукнуло восемнадцать, — продолжал старый Рофф, — опекуном назначили меня, хотя это, конечно, была формальность, связанная с финансовыми вопросами. К тому времени господин Эдмонд уже давно снимал комнаты в Сити, а поскольку условия завещания были очень щедры и недостаточно четко сформулированы, господин Эдмонд с юных лет мог получить — и получил — доступ к своему капиталу практически без надзора взрослых. Но так как

я в течение многих лет управлял этим капиталом — в далеком прошлом я вел юридические дела деда молодого Эдмонда, видите ли, а по завещанию его покойных родителей мне передавались на хранение все счетные книги на наследство и...

— Как умерли родители мистера Диккенсона? — спросил я.

Может показаться, будто я грубо перебил старика, но на самом деле я задал вопрос, когда мистер Рофф сделал паузу, чтобы перевести дух.

— Умерли? Так ведь они погибли в железнодорожной катастрофе! — сказал он, продышавшись.

«Ага!» — прозвучал у меня в уме многозначительный голос сержанта Каффа. Диккенсон привлекает к себе внимание Чарльза Диккенса на месте страшного железнодорожного крушения, а родители самого юноши погибли при аналогичных обстоятельствах. Едва ли это случайное совпадение. Но что оно означает?

— А где произошла катастрофа? — спросил я, делая пометки в своей записной книжке. — Надеюсь, не под Стейплхерстом?

— Под Стейплхерстом! Боже правый, нет! Как раз под Стейплхерстом сам господин Эдмонд получил телесные повреждения и был спасен вашим работодателем, мистером Чарльзом Диккенсом!

— Чарльз Диккенс не мой...

Я умолк, не закончив фразы. Пускай себе старый болван пребывает в заблуждении, будто я работаю на Диккенса. Может даже, это развяжет ему язык... впрочем, язык у него и так мелет без устали.

— Вернемся к вопросу об опекунстве, — промолвил я, нацеливая карандаш в записную книжку. — Значит, в настоящее время вы и являетесь опекуном и финансовым консультантом Эдмонда Диккенсона?

— Да нет же! — воскликнул Рофф. — Во-первых, обязанности опекуна почти год назад перешли от меня к другому лицу, более пригодному для такой роли, а во-вторых, господин Диккенсон в нынешнем году достиг совершеннолетия. Четырнадцатого сентября он отметил

свой двадцать первый день рождения. По моему распоряжению Смолли каждый год посылал ему наши сердечные поздравления. Но только не на сей раз.

— А почему на сей раз вы обошлись без поздравлений, мистер Рофф?

— Ни я, ни Смолли понятия не имеем, куда ему писать, мистер Коллинз, — с самым удрученным видом признался Рофф.

Я вдруг исполнился печальной уверенности, что молодой Диккенсон являлся единственным клиентом старика — единственным клиентом этого преданного служителя закона, который трудился без устали, ежедневно приходя в свою убогую каморку с утра затемно и покидая рабочее место поздно вечером, спустя долгое время после захода невидимого солнца.

— Не могли бы вы сказать мне, кто был последним опекуном мистера Диккенсона — вплоть до его совершеннолетия, наступившего два месяца назад? — спросил я.

Мистер Рофф рассмеялся:

— Вы шутите, мистер Коллинз!

Я посмотрел на него суровейшим из взглядов сержанта Каффа.

— Уверяю вас, я нисколько не шучу, мистер Рофф.

Тень замешательства пробежала по лицу старика — так тень облака проносится по безотрадному зимнему полю.

— Но как же не шутите, мистер Коллинз? Ежели вы явились по поручению мистера Чарльза Диккенса, как вы утверждаете, тогда вам должно быть известно, что по просьбе самого господина Эдмонда законное опекунство и все права управления финансовыми делами господина Эдмонда в начале января сего года перешли от меня к мистеру Чарльзу Диккенсу. Я решил, что вы здесь именно поэтому, а значит я вправе свободно говорить о делах своего бывшего клиента... Мистер Коллинз, что же вам здесь надобно?

Я едва замечал плотные вереницы экипажей на улицах, когда шел по направлению к Дорсет-Сквер и своему дому. И не замечал приземистого мужчину, нагнавшего меня и зашагавшего рядом в ногу со мной, покуда он не заговорил:

— И чем, по-вашему, вы занимаетесь, мистер Коллинз?

Разумеется, это был чертов инспектор Филд! Чье лицо сейчас казалось краснее обычного, а почему — от студеного ли ветра или от старости и пьянства — я не знал и не желал знать. Под левой подмышкой он зажимал какой-то сверток и левой же рукой придерживал шелковый цилиндр, чтобы его не сорвало ветром.

Я остановился посреди потока людей, точно так же придерживающих головные уборы, но инспектор Филд отнял руку от своего цилиндра, подхватил меня под локоть и повлек за собой, словно одного из бесчисленных бродяг, каких в свое время задерживал в ходе ночных дежурств.

— Мои дела вас не касаются! — заявил я.

Голова у меня все еще шла кругом после открытия, сделанного в конторе старого барристера.

— Меня интересует Друд, — прорычал инспектор. — И он должен интересовать вас! С какой такой стати вы встречались с Диккенсом два дня подряд, а потом помчались обратно в Лондон, чтобы поговорить с восьмидесятилетним адвокатом?

Меня так и подмывало выложить всю правду: «Чарльз Диккенс втерся в доверие к Эдмонду Диккенсону и стал законным опекуном мальчика, прежде чем убил его! Он должен был совершить убийство до сентября, поскольку...» — но я продолжал хранить молчание, сердито глядя на настоящего сыщика. На нас налетали яростные порывы зимнего ветра, и мы оба крепко придерживали цилиндры.

Все это не укладывалось у меня в голове. Прежде я был уверен, что Диккенс убил молодого Диккенсона просто с целью получить опыт убийства, а не по корыстным мотивам. Неужели Диккенсу хотелось завладеть

деньгами сироты? Он заработал почти пять тысяч фунтов в ходе своего весеннего турне и наверняка получил огромный аванс в счет будущих доходов от продаж «Собрания сочинений Чарльза Диккенса», к которому в настоящее время писал предисловия.

Но если он убил молодого Диккенсона не из-за денег, зачем ему было становиться опекуном мальчика и навлекать на себя подозрение? Это противоречило лекции самого Диккенса, прочитанной на кладбище Рочестерского собора (и являвшейся, как я теперь понимал, формой косвенного хвастовства после совершенного преступления), — лекции об убийце, выбирающем жертву наугад и ни на миг не попадающем под подозрение за отсутствием у него мотива.

— Итак? — сурово промолвил Филд.

— Что «итак», инспектор? — раздраженно осведомился я.

Благотворное действие утренней дозы лауданума уже давно сошло на нет, и подагрическая боль нещадно крутила суставы, мучительно тянула жилы. Глаза у меня слезились от боли и от крепчающего холодного ветра. Я был совершенно не расположен выслушивать нотации, тем более от какого-то там... отставного полицейского.

— Что за игру вы ведете, мистер Коллинз? Зачем вы отослали моего мальчишку в теплую постель сегодня в предрассветный час? Чем вы с Диккенсом и субъектом по имени Дредлс занимались в подземной часовне Рочестерского собора вчера?

Я решил ответить в духе сержанта Каффа. Старый сыщик ставит на место зарвавшегося коллегу.

— У всех нас есть свои маленькие секреты, инспектор. Даже у тех, кто находится под круглосуточным наблюдением.

Красная физиономия Филда побагровела, превратившись в подобие древней пергаментной карты, испещренной тонкими фиолетовыми прожилками.

— Засуньте себе в задницу ваши «маленькие секреты», мистер Коллинз! Сейчас не время для них!

Я резко остановился посреди тротуара. «Я ни при каких обстоятельствах не позволю разговаривать с собой в таком тоне. Наше сотрудничество закончено». Я стиснул рукоять трости, пытаясь справиться с дрожью, и уже открыл рот, чтобы произнести эти фразы, когда вдруг инспектор протянул мне распечатанный конверт.

— Вот, прочтите, — угрюмо буркнул он.

— Я не желаю... — начал я.

— Прочтите, мистер Коллинз. — Это была не вежливая просьба, а грубый приказ, не допускающий пререкательства.

Я вынул из конверта единственный листок плотной бумаги. Почерк был крупный и жирный, словно писали не пером, а кисточкой, но буквы походили скорее на печатные, нежели на прописные. Послание гласило:

Дорогой инспектор!

До сих пор оба мы жертвовали только пешками в нашей увлекательной игре. Теперь начинается эндшпиль. Готовьтесь к неминуемой потере гораздо более важных и ценных фигур.

Ваш преданный противник

Д.

— Что это, собственно, значит? — спросил я.

— Ровно то, что написано, — процедил сквозь зубы инспектор Филд.

— И по-вашему, за инициалом «Д.» скрывается Друд?

— Больше некому, — прошипел инспектор.

— «Д.» может означать Диккенс, — беззаботно сказал я, мысленно добавив: «Или Диккенсон, или Дредлс».

— «Д.» означает Друд, — отрезал Филд.

— Откуда такая уверенность? Или этот фантом уже присылал вам прежде подобные записки за своей полной подписью?

— Нет.

— В таком случае послание мог написать кто угодно и...

Как я уже упомянул, под мышкой инспектор держал небольшой парусиновый сверток. Теперь он развернул

парусину и вынул какую-то драную, грязную тряпку бурого цвета. Он протянул мне ее со словами:

— Записка была завернута в это.

Брезгливо взяв тряпку — она оказалась не только грязной, но также насквозь пропитанной кровью, явно свежезапекшейся, и вдобавок изрезана на полосы бритвой, — я уже собрался спросить, какое значение может иметь дрянная ветошь, но осекся на полуслове.

Внезапно я узнал окровавленную ткань.

Двенадцать с лишним часов назад я видел эти лохмотья на мальчишке по имени Гузберри.

Глава 20

Почти весь декабрь 1866 года я прожил в доме своей матери близ Танбридж-Уэллса. Я решил задержаться там, чтобы вместе с ней отметить свое сорокатрехлетие восьмого января. Проводить время в обществе любовницы весьма приятно, однако — прошу вас поверить мне на слово, ибо почти все мужчины разделяют мои чувства, но лишь у немногих хватает смелости и честности признаться в этом, — в трудную минуту жизни или в день рождения нет места милее и отраднее материнского дома.

Я мало рассказал вам о своей матери, дорогой читатель, но данное упущение совершено умышленно. Зимой с 1866 на 1867 год и почти весь следующий год моя любимая матушка находилась в добром здравии — на самом деле, большинство ее, да и моих, ровесников считали ее более деятельной, энергичной и востребованной в свете, чем многие женщины вдвое моложе, — но к концу 1867-го она резко сдала и скончалась в марте 1868-го, страшного для меня года. Мне все еще тяжело вспоминать то время, а тем более писать о нем. В жизни любого мужчины нет дня ужаснее, чем день смерти матери.

Но зимой с 1866 на 1867 год она еще не жаловалась на здоровье, а потому я могу писать об этом периоде без нестерпимой боли в сердце.

Как я упоминал выше, звали мою матушку Хэрриет, и она всегда пользовалась любовью среди знакомых моего отца — знаменитых художников, поэтов и подающих надежды актеров. После смерти своего супруга в феврале 1847 года моя мать добилась признания собственными силами, став хозяйкой салона, чрезвычайно популярного в высших художественных и литературных кругах Лондона. Наш дом на Ганновер-террас (выходивший окнами на Риджентс-парк) в течение всех лет, пока матушка заправляла там, считался одним из очагов художественного течения, в настоящее время известного под названием «прерафаэлитизм».

Ко времени моего продолжительного визита, начавшегося в декабре 1866 года, матушка уже осуществила свою давнюю мечту перебраться в сельскую местность и поочередно жила в нескольких наемных домах в графстве Кент: в Бентам-Хилл-коттедж под Танбридж-Уэллсом, в Ильм-Лодж, в самом городке и в недавно арендованном доме на Проспект-Хилл в Саутборо. Я провел с ней несколько недель под Танбридж-Уэллсом. Каждый четверг я уезжал в Лондон, дабы ближе к ночи встретиться с Королем Лазарем и своей трубкой, а в пятницу вечером возвращался поездом в Танбридж-Уэллс и поспевал как раз вовремя, чтобы сыграть партию в криббидж с матушкой и ее подругами.

Кэролайн осталась не в восторге от моего решения покинуть дом на весь «праздничный сезон», и мне пришлось напомнить ей, что мы все равно никогда не отмечаем Рождество толком: мои женатые друзья, разумеется, вообще никогда не приглашали меня с любовницей в гости, а в рождественскую пору они даже реже обычного принимали приглашения от нас, так что в зимние праздники наша светская жизнь практически сходила на нет. Однако Кэролайн, по женскому обыкновению, отказалась внимать доводам здравого смысла и страшно рассердилась на меня за решение уехать из Лондона на весь декабрь и первую декаду января. С другой стороны, Марта Р*** с полным пониманием отнеслась к моему

желанию провести месяц с лишним у матери — она временно съехала из своих комнат, снятых на имя миссис Доусон, и вернулась в Ярмут и Уинтертон к своим собственным родителям.

Жизнь с Кэролайн Г*** утомляла и тяготила меня все сильнее, а общение с Мартой Р*** доставляло все больше удовольствия и отдохновения.

Но время, проведенное с матушкой в рождественский сезон 1866 года, было поистине восхитительным.

Старая повариха моей матери, всегда переезжавшая с ней с места на место, наперечет знала все мои любимые блюда, а матушка частенько заходила в мою комнату утром или вечером, когда мне подавали на подносе завтрак или ужин, и я с аппетитом ел в постели, беседуя с ней о том о сем.

Я бежал из Лондона, исполненный страха и ужасного чувства вины в связи с предполагаемой смертью паренька по имени Гузберри, но уже через несколько дней, проведенных в коттедже моей матери, это темное облако бесследно рассеялось. Как там настоящее имя мальчишки, необычное такое? Гай Септимус Сесил. Так вот, глупо думать, будто юный Гай Септимус Сесил был и вправду убит темными силами Подземного города, явленными в образе чужеземного колдуна Друда!

Это затейливая игра, напомнил я себе: Чарльз Диккенс ведет свою игру с одной стороны, пожилой инспектор Филд ведет похожую, но не аналогичную игру с другой стороны, а бедный Уилки Коллинз оказался между ними.

Гузберри убит — ну прямо! Инспектор показывает мне драную тряпку, забрызганную кровью — наверняка собачьей, либо же животворная жидкость принадлежит одному из тысяч бездомных котов, наводняющих родные трущобы Гузберри, — и рассчитывает, что я окончательно потеряю присутствие духа и стану исполнять все его приказания еще усерднее прежнего.

Друд перестал быть фантомом и превратился в своего рода волан в этой безумной игре в бадминтон, которую

вели душевно неуравновешенный писатель, помешанный на лицедействе, и отставной полицейский — зловредный старый гном — с уймой тайных мотивов.

Ладно, пускай они немного поиграют в свои игры без меня. Гостеприимство Танбридж-Уэллса и материнского дома пошло мне на пользу. Я не только поправил здоровье — здесь, в Кенте, подагра невесть почему отступила, хотя я продолжал принимать лауданум (правда, меньшими дозами), — но также избавился от бессонницы, перестал мучиться кошмарами по ночам и принялся более сосредоточенно обдумывать изящную фабулу и восхитительных персонажей «Змеиного ока» (или «Ока змея»). Пусть с серьезными исследованиями приходилось подождать до окончательного возвращения в Лондон и в клубную библиотеку, но я уже начал набрасывать черновые заметки и в общих чертах намечал сюжет, зачастую работая в постели.

Изредка я вспоминал о своих сыщицких обязанностях и необходимости выяснить, убил ли Чарльз Диккенс молодого Эдмонда Диккенсона, но, поскольку из разговора со стряпчим Диккенсона я не узнал ничего (помимо совершенно ошеломившего меня факта, что Чарльз Диккенс стал опекуном юноши за несколько месяцев до совершеннолетия последнего), даже мой изобретательный писательский ум не мог придумать, каким должен стать следующий шаг в расследовании. Я решил по возвращении к лондонской жизни осторожно поспрашивать знакомых по клубу, не слышал ли кто из них о некоем сквайре по имени Диккенсон, но в каком направлении двигаться дальше, я и близко не представлял.

Ко второй неделе декабря мой душевный покой нарушало единственно лишь отсутствие приглашения на Рождество в Гэдсхилл-плейс.

Я не был уверен, что принял бы приглашение (с недавних пор в наших с Неподражаемым отношениях возникла легкая, но ощутимая напряженность, объяснявшаяся среди всего прочего и тем, что я подозревал писателя в убийстве), но я с уверенностью ожидал, что меня пригласят. В конце концов, во время последней нашей

встречи Диккенс более или менее определенно пообещал пригласить меня на Рождество, как всегда.

Но в матушкин дом никаких писем на мое имя не приходило. Каждую неделю, в четверг вечером или в пятницу днем (до или после посещения опиумного притона Короля Лазаря), я заглядывал к Кэролайн, чтобы забрать свою корреспонденцию и убедиться, что у них с Кэрри достаточно денег для оплаты всех счетов, но приглашения от Диккенса так и не поступало. Однако шестнадцатого декабря в Саутборо на день приехал мой брат Чарльз, и он привез с собой адресованный мне конверт, надписанный четким почерком Джорджины.

— Диккенс говорил тебе что-нибудь про Рождество? — спросил я брата, ища нож для разрезания бумаги, чтобы вскрыть конверт.

— Мне — ничего не говорил, — хмуро ответил Чарли. Было видно, что он страдает от язвенных болей (во всяком случае, от болей, которые я тогда приписывал язвенной болезни). Мой талантливый брат казался апатичным и подавленным. — Но он сказал Кейти, что намерен, по обыкновению, назвать гостей полный дом... Насколько мне известно, Чеппелы приедут в Гэдсхилл на несколько дней, а Перси Фицджеральд задержится там до Нового года.

— Хм... Чеппелы, — пробормотал я, разворачивая письмо.

Это были новые деловые партнеры Диккенса, занимавшиеся организацией турне, и невыносимые зануды, по моему разумению. Я решил, что не останусь в Гэдсхилле на полную неделю, вопреки обыкновению, если вдруг Чеппелы возымеют желание продлить свой визит.

Представьте же мое изумление, когда я прочитал нижеследующее письмо, приведенное здесь полностью:

Дорогой Уилки!

Ничего себе положеньице! Мне придется изнывать здесь под бременем рождественских трудов, в то время как вы бороздите моря, эдакая помесь Хейворда и капитана

Кука! Но я такой верный сын Труда — и отец многодетного семейства, — что рассчитываю в скором времени получить награду в виде рабочего халата, кожаных бриджей и оловянных часов за то, что вырастил кучу детей, решительно не желающих ничего делать самостоятельно.

Но раз уж испокон веков иным из нас приходится трудиться, пока другие отважно устремляются на поиски приключений, мы посылаем вам наши сердечнейшие поздравления с Рождеством — в надежде, что сии поздравления нагонят вас в ваших дальних странствиях, — и желаем вам всяческого благополучия в новом году.

Ваш покорный слуга и бывший товарищ по путешествиям

Ч. Диккенс.

Я едва не выронил письмо от удивления. Сунув листок брату, который быстро пробежался глазами по строчкам, я возбужденно выпалил:

— Как это понимать? С чего вдруг Диккенс взял, что я отправился в морское путешествие?

— Ты ездил в Рим осенью, — сказал брат. — Может, Диккенс думает, что ты до сих пор там.

— Я почти сразу вернулся, чтобы попытаться спасти обреченную постановку «Замерзшей пучины» в театре «Олимпик», — слегка раздраженно сказал я. — И я виделся с Диккенсом по возвращении. Он не может не знать, что я нахожусь в Англии.

— Может, он думает, что ты опять уехал в Рим или Париж, — предположил Чарли. — По клубам прошел слух о твоем отъезде после того, как ты обмолвился нескольким своим знакомым, что тебе надо уладить какие-то дела в Париже. А может, Диккенс сейчас слишком поглощен мыслями о своих детях. Кейти, как тебе известно, постоянно хандрит. Мейми утратила всякую популярность в лондонском обществе. А самый младший сын не оправдал возлагавшихся на него надежд. Диккенс недавно сказал Кейти, что решил отправить Плорна в Австралию — заниматься фермерством.

— Но какое это имеет отношение ко мне и приглашению на Рождество, черт возьми? — вскричал я.

Чарли лишь потряс головой. Представлялось очевидным, что Диккенс умышленно исключил меня из списка рождественских гостей.

— Подожди здесь, — велел я брату, собиравшемуся уехать обратно в Лондон ранним поездом.

Я отправился в матушкину швейную комнату, нашел там лист почтовой бумаги с адресом коттеджа в Танбридж-Уэллсе и принялся торопливо писать:

Дорогой Чарльз!

В настоящее время я не путешествую по миру, как капитан Кук, не гуляю по Риму или Парижу. Как вы уже наверняка знаете, я тощу у своей матери в Саутборо-коттедж, Танбридж-Уэллс, и вполне в состоянии...

Я скомкал и бросил в камин начатое письмо, потом взял в секретере чистый лист почтовой бумаги.

Дорогой Чарльз!

Я в свою очередь поздравляю вас с Рождеством — пожалуйста, кланяйтесь от меня милым дамам и целуйте детей — и глубоко сожалею, что не смогу увидеться с вами ранее января нового года. В данный момент я не плаваю по морям, как капитан Кук, и не разъезжаю по Шотландии или Ирландии, как странствующий фокусник, — я всецело занят расследованием дела о Пропавшей Персоне или Персонах, которое может иметь самые серьезные последствия. Мне не терпится удивить вас результатами расследования.

Передайте от меня горячий привет и пожелания счастливого Рождества Джорджине, Мейми, Кейти, Плорну, всему семейству и вашим рождественским гостям.

Ваш верный сыщик

У. Уилки Коллинз.

Я запечатал и надписал послание, а когда вручал его Чарли, уже надевавшему дорожный плащ, сказал с чрезвычайной серьезностью:

— Это надлежит отдать лично в руки Чарльзу Диккенсу, и никому другому.

Рождество и мой день рождения, проведенные в невзыскательном женском обществе, в уютном тепле материнского дома, насыщенного божественными запахами стряпни, стали для меня счастливейшими событиями. Оба праздника пришлись на вторник, а потому обе те недели я не виделся с Кэролайн до четверга. (Именно в четверг, десятого января, я перебрался обратно в Лондон со всем своим багажом, начатой рукописью и рабочим материалом для романа, но, поскольку по четвергам я посещал притон Короля Лазаря, в свой дом на Дорсет-Сквер я окончательно вернулся только на следующий день, в пятницу, одиннадцатого января.)

Кэролайн была мной недовольна и находила множество способов продемонстрировать мне свое недовольство, но за время, проведенное в Танбридж-Уэллсе, я научился не обращать внимания на настроения миссис Г***, хорошие ли, плохие ли.

В последующие недели нового 1867 года я днями напролет сидел в клубе, используя прекрасную библиотеку «Атенеума» в качестве своего основного источника информации, — там я питался, зачастую ночевал и в целом все реже появлялся по своему адресу на Мелкомб-плейс, где по-прежнему постоянно проживали Кэролайн и Кэри. (Марта Р*** все еще оставалась в Ярмуте, но мы ежедневно обменивались письмами.)

Я часто заглядывал по делам в контору «Круглого года» (где за мной сохранялся кабинет, который я изредка делил с другими штатными и нештатными сотрудниками журнала), и там от Уиллса и прочих узнавал много всего про новое турне Диккенса. Толстые конверты с гранками, постоянно отсылавшиеся из редакции, следовали за Диккенсом из Лестера в Манчестер, из Глазго в Лидс, из Дублина в Престон. Удивительно, но Диккенс умудрялся по крайней мере раз в неделю возвращаться в Лондон, дабы выступить с чтениями в Сент-Джеймс-Холле на Пикадилли и зайти в редакцию, чтобы отдать свои рукописи, проверить бухгалтерские книги и поработать над редактурой чужих текстов. Во время своих

коротких наездов в Лондон он крайне редко наведывался в Гэдсхилл и обычно ночевал либо в своих комнатах, расположенных прямо над конторой журнала, либо по своему тайному адресу в Слау (неподалеку от дома Эллен Тернан).

В тот период мне ни разу не довелось столкнуться с Диккенсом.

Истории о разных неприятностях, бедах и поразительной отваге (или везении) Диккенса просачивались в редакцию и пересказывались мне Уиллсом, Перси Фицджеральдом и другими сотрудниками.

Похоже, Диккенс все никак не мог оправиться от потрясения, испытанного осенью (когда я ненадолго уехал в Рим): выяснилось, что личный слуга и камердинер, прослуживший у него двадцать четыре года, — угрюмый и явно страдающий несварением субъект по имени Джон Томпсон, — постоянно обкрадывал хозяина. Из нашей конторы на Веллингтон-стрит пропали восемь соверенов, но вскоре после обнаружения пропажи золотые монеты вернулись на место. Однако слишком поздно для Томпсона, чье многолетнее мелкое воровство теперь вскрылось. Диккенс, разумеется, уволил слугу, но не нашел в себе сил дать вору «плохие рекомендации». Он отправил Томпсона на поиски следующего места работы с рекомендательным письмом, составленным в туманных, но не откровенно негативных выражениях. По словам Перси Фицджеральда, Диккенс едва не повредился рассудком, узнав о предательстве старого слуги, хотя о своих переживаниях он сказал Перси только одно: «Мне пришлось значительно увеличить продолжительность своих ежедневных прогулок, прежде чем я смог наконец восстановить самообладание».

А с самообладанием дела у него обстояли все хуже, если верить последним сообщениям, поступившим Уиллсу от Долби. Диккенс страдал тяжелейшим нервным истощением, вызванным, безусловно, постоянными железнодорожными путешествиями (казалось, с каждым месяцем симптомы нервного расстройства, случившегося с ним в результате Стейплхерстской катастрофы, про-

являлись все сильнее вместо того, чтобы идти на убыль), и уже в самом начале турне, на втором своем выступлении в Ливерпуле, Диккенс настолько ослаб к концу первого отделения, что его пришлось чуть ли не на руках отнести на диван за кулисами, где он лежал пластом, покуда не настало время вставить в петлицу свежую бутоньерку и выйти на подмостки, чтобы завершить изнурительное чтение.

Во время выступления в Вулверхэмптоне металлический трос, на котором висел один из рефлекторов над головой Диккенса, начал раскаляться (согласно первым сообщениям, дело происходило в самом Бирмингеме, а не в соседнем маленьком городке, и потому поначалу в моем воображении нарисовался тамошний старый театр, каким я видел его памятным вечером, когда на меня напал призрак Друда). Тяжелая чаша рефлектора чуть выступала вперед над верхним краем задника и крепилась на толстом медном тросе, но новый газовый техник, совсем недавно присоединившийся к турне, по оплошности поместил открытую газовую горелку прямо под ним.

Долби увидел, что трос раскаляется сначала докрасна, потом добела. Нервно приплясывая на месте и лихорадочно тыча пальцем в раскаленный трос, он громко прошептал стоявшему на сцене Диккенсу: «Вы еще долго?» Видимо, Диккенс правильно оценил опасность: когда трос прогорит, тяжелый рефлектор рухнет на подмостки, но при падении заденет обтянутый материей задник, соприкасающийся с боковыми ширмами. В результате мгновенно вспыхнет пожар. От легковоспламеняемых ширм огонь тотчас перекинется на древний бархатный занавес. Представлялось очевидным: когда раскаленный трос лопнет, вся сцена и даже весь театр будут охвачены пламенем в считаные минуты, если не секунды.

Продолжая читать без единой заминки или запинки, Диккенс спокойно завел руку за спину и показал Долби два пальца.

Смятенный импресарио не понял, что это значит. Хочет ли Шеф сказать, что он закончит через две минуты или же что трос лопнет через две секунды? Долби, Бартону и газовщику ничего не оставалось, кроме как бегать взад-вперед за кулисами, поднося песок и ведра с водой и готовясь к самому худшему.

Диккенс, как выяснилось впоследствии, заметил накаляющийся трос еще в середине выступления и спокойно подсчитал в уме, сколько времени потребуется, чтобы медь прогорела. Исходя из полученных результатов, Неподражаемый на ходу вносил изменения в чтение, редактируя и сокращая текст, и закончил всего за несколько секунд до того, как расплавленный трос должен был порваться. (Когда Долби принялся подавать знаки из-за кулис, Диккенс молниеносно подсчитал, что у него остается еще две минуты до обрушения раскаленного рефлектора.) Занавес закрыли, Бартон мигом выскочил на подмостки и погасил неправильно установленную горелку, а Долби, как он сам впоследствии признался Уиллсу, находился в предобморочном состоянии, когда Диккенс похлопал его по спине, прошептал: «Никакой реальной угрозы не было» — и спокойно вышел к публике на поклоны.

Все эти с придыханием рассказывавшиеся истории о турне мало интересовали меня. Друд в них не фигурировал, и я был занят собственной литературной работой (по моему скромному разумению — более важной, чем чтение старых произведений перед толпами неотесанной деревенщины).

Как упоминалось выше, я взял за обыкновение работать над сбором материала для романа в своем клубе «Атенеум». Правление клуба с готовностью пошло мне навстречу: мое любимое кресло с подголовником передвинули к окну, где бледный зимний свет поярче, предоставили мне маленький столик для моих бумаг и приставили ко мне нескольких слуг, чтобы они отыскивали в огромной клубной библиотеке нужные мне книги. Я пользовался для записей почтовой бумагой «Атене-

ума», целую пачку которой умыкнул и разложил по большим белым конвертам.

В первую очередь мне требовалось собрать все необходимые сведения, и здесь мне очень пригодился мой многолетний журналистский опыт (такой же опыт помогал в работе и Диккенсу, хотя напомню вам, дорогой читатель, что я в свое время был настоящим журналистом, а Диккенс — всего лишь судебным репортером).

На протяжении нескольких недель я выписывал интересующие меня статьи об Индии, различных индусских культах и драгоценных камнях из «Британской энциклопедии», восьмая редакция 1855 года издания. Я также нашел новую книгу некоего С. У. Кинга «Естественная история драгоценных камней», вышедшую в 1865 году и оказавшуюся весьма полезной. По моей задумке действие первых глав «Змеиного ока» (или «Ока змея») должно было происходить в Индии, и, для того чтобы достоверно воссоздать индийский антураж, я ознакомился с недавно опубликованной «Историей Индии с древних времен» Дж. Толбойса Уилера и двухтомным сочинением Теодора Хука «Жизнь генерала сэра Дэвида Байрда», изданным в 1832 году. Кроме того, усердные клубные служители разыскали для меня несколько относящихся к делу статей из недавних выпусков журнала «Суждения и сомнения».

Таким образом, общий замысел романа начал малопомалу обретать отчетливые очертания.

Я уже решил, что сюжет будет вращаться вокруг таинственного исчезновения — здесь, в Англии, — прекрасного, но про́клятого алмаза, привезенного из Индии, где он почитался святыней в старинном культе душителей, и что тайна будет раскрываться постепенно, через рассказы разных действующих лиц (подобный прием использовал Диккенс в «Холодном доме», но гораздо успешнее применил я в своей «Женщине в белом»). Поскольку в то время мысли мои постоянно занимала — вернее сказать, отвлекала — история с Друдом, я решил,

что события в моем романе будут разворачиваться вокруг таких предметов, как восточный мистицизм, месмеризм, сила магнетического внушения и опиумная зависимость. Разгадка кражи (как я знал с самого момента возникновения замысла книги) будет настолько ошеломительной, настолько неожиданной, настолько непохожей на все ходы, доныне использовавшиеся в совсем еще молодом жанре детективной литературы, что она поразит всех американских и английских читателей, включая таких мнимых мастеров сенсационного романа, как сам Чарльз Диккенс.

Как и все писатели нашего с Диккенсом уровня, я никогда не имел возможности всецело сосредоточиться на какой-нибудь одной работе. Диккенс в ходе подготовки к турне и самого турне сочинил ежегодную рождественскую повесть, исполнял обязанности редактора «Круглого года», заканчивал обстоятельные предисловия к собранию своих сочинений, придумывал темы для новых романов и одновременно писал небольшие вещи вроде странного рассказа «Объяснение Джорджа Сильвермена», замысел которого, по словам Диккенса, возник у него, когда они с Долби случайно набрели на развалины Хотон-Тауэрс между Престоном и Блэкберном. При виде этого полуразрушенного старого дома беспорядочные, разрозненные фрагменты идей, уже довольно давно занимавших Диккенса, вдруг сложились в единое целое, но в результате получился не роман, необходимый Диккенсу для публикации в «Круглом годе», а необычный рассказ о несчастном детстве, очень похожем на детство самого Диккенса (по крайней мере, в представлении писателя, считавшего свое детство несчастным и обездоленным).

Весной 1867 года точно так же обстояло дело и с моими многочисленными, зачастую совпадающими по времени занятиями на литературном и театральном поприще. Предыдущей осенью моя переделанная «Замерзшая пучина» провалилась в театре «Олимпик», даром что в новой редакции драма стала значительно лучше после того, как я переписал персонаж Ричарда Уордора, в свое

время сыгранный (хотя слово «присвоенный» здесь гораздо уместнее) Диккенсом: я сделал своего героя более взрослым и достоверным, убрав из образа диккенсовский пафос и излишнюю сентиментальность. Но у меня по-прежнему оставались большие надежды на театральный прорыв, и той весной — когда позволяло здоровье и выпадало сравнительно свободное время — я часто ездил в Париж на переговоры с Франсуа-Жозефом Ренье (с ним меня познакомил Диккенс свыше десяти лет назад) из «Комеди Франсез», который жаждал поставить там «Женщину в белом». (Она уже шла с огромным успехом в Берлине.)

Сам же я твердо намеревался продать Ренье и французским театралам (а значит, и английским театралам) переделанный для сцены «Армадейл» — я не сомневался, что пьеса будет тепло и восторженно принята публикой, несмотря на все спорные (с точки зрения Диккенса) моменты.

Кэролайн, чья страстная любовь к Парижу была невыразима словами из ее ограниченного лексического запаса, чуть не на коленях просилась поехать со мной, но я оставался непреклонен: это сугубо деловая поездка, и там не будет времени на хождение по магазинам, экскурсии и светские мероприятия помимо имеющих сугубо деловой характер.

Той весной я писал матери из парижской гостиницы: «Сегодня утром я позавтракал яйцами с шоколадным маслом и свиными ножками „а-ля Сент-Менеу“[1]! Пищеварение превосходное. Сент-Менеу дожил до глубокой старости, питаясь одними только свиными ножками».

Мы с Ренье посетили новую оперу — представление, поражающее мощью и размахом, прошло при полном аншлаге и произвело неизгладимое впечатление. Равно неизгладимое впечатление произвели «нежные фиалочки», как мы с Диккенсом обычно называли хорошеньких

---

[1] *Сент-Менеу* — город в провинции Шампань, славящийся особым образом приготовленными свиными ножками.

молодых актрис и дам полусвета, каких полным-полно в любой стране, где ночная жизнь так же разнообразна, как кухня, — и я со стыдом должен признать, что, при известном содействии Ренье и его друзей, за все время своего пребывания в Париже не провел ни единого вечера и ни единой ночи в одиночестве (или даже с одной и той же «фиалочкой»). Перед отъездом в Лондон я не забыл купить рисованную карту Парижа для Марты (она любила подобные безделки) и прелестный шифоновый халат для Кэрри. Я также напокупал разных специй и соусов для кулинарных ухищрений Кэролайн.

На вторую ночь по возвращении из Парижа я выпил слишком много (или слишком мало) лауданума и маялся бессонницей. Поначалу я вознамерился пойти в кабинет поработать, но почти сразу передумал при мысли о неминуемой встрече со Вторым Уилки (хотя в последнее время он не проявлял особой агрессивности в своих попытках выхватить у меня перо и бумагу). Я стоял у окна в своей спальне (Кэролайн нашла причины лечь спать в своей собственной комнате), когда вдруг увидел знакомый силуэт у фонарного столба в конце улицы, рядом с площадью.

Я тотчас накинул поверх халата длинное шерстяное пальто — ночь стояла морозная — и торопливо направился к углу.

Мальчишка выступил из густой тени и двинулся навстречу мне в темноте, не дожидаясь призывного жеста с моей стороны.

— Гузберри? — спросил я, чрезвычайно довольный, что мои умозаключения насчет хитрой уловки инспектора Филда оказались верными.

— Никак нет, сэр, — откликнулся мальчишка.

Он вышел на свет, и я увидел, что обознался. Этот паренек был пониже ростом, помладше и не такой оборванный, а его глаза — пусть слишком маленькие и слишком близко посаженные на узком лице, чтобы придавать привлекательность наружности своего обладателя, — не имели ничего общего с выпуклыми, блужда-

ющими зенками Гузберри, из-за которых он и получил свое прозвище.

— Ты от инспектора? — грубовато осведомился я.

— Да, сэр.

Я вздохнул и потер щеки над бородой.

— Ты в состоянии точно запомнить и на словах передать сообщение, мальчик?

— Да, сэр.

— Хорошо. Скажи инспектору, что мистер Коллинз хочет встретиться с ним завтра в полдень — нет, в два часа пополудни — на мосту Ватерлоо. Запомнишь? Два часа пополудни, мост Ватерлоо.

— Да, сэр.

— Передай сообщение сегодня же ночью. Все, ступай.

Когда мальчишка побежал прочь, шлепая одной полуоторванной подметкой по булыжнику, я осознал, что не удосужился — просто не захотел — спросить у него имя.

Инспектор быстро подошел к середине моста Ватерлоо ровно в два часа пополудни. День стоял промозглый, холодный, ветреный, и нам обоим не хотелось беседовать на открытом воздухе в такую непогоду.

— Я не успел пообедать, — прохрипел инспектор Филд. — Здесь поблизости есть гостиница, где весь день подают превосходный ростбиф. Вы составите мне компанию, мистер Коллинз?

— Отличная мысль, инспектор. — Я позавтракал в клубе пару часов назад, но по-прежнему чувствовал голод.

Когда мы уселись друг напротив друга за столом в сумрачном зале и я присмотрелся к инспектору, жадно прихлебывающему пиво из своей первой кружки, мне показалось, что он заметно постарел и внешне опустился со времени последней нашей встречи. Глаза у него были усталые, одежда находилась в легком беспорядке. На щеках у Филда появились новые сосудистые звездочки, а вдоль косматых бакенбардов выросла неопрятная

седая щетина, придававшая ему вид человека, куда менее обеспеченного и значительного, чем бывший начальник сыскного отдела Скотленд-Ярда.

— Есть какие-нибудь новости? — спросил я после того, как нам подали обед и мы несколько минут сосредоточенно воздавали должное мясу с подливой и овощному рагу.

— Новости? — переспросил инспектор, откусывая кусок хлеба и отпивая из стакана глоток вина, заказанного после пива. — А каких новостей вы ожидаете, мистер Коллинз?

— Ну как, о мальчике по имени Гузберри, разумеется. Он объявился?

Инспектор Филд молча уставился на меня; его серые глаза, окруженные сетью морщин, хранили холодное выражение. Наконец он негромко произнес:

— Ваш юный друг Гузберри уже никогда не объявится. Его освежеванное тело покоится на дне Темзы... или в каком-нибудь месте похуже.

Я перестал орудовать ножом и вилкой.

— Похоже, вы твердо уверены в этом, инспектор.

— Так и есть, мистер Коллинз.

Я вздохнул — ни на секунду не допуская дурацкого предположения, что юный господин Гай Септимус Сесил убит, — и вновь принялся за ростбиф с овощным рагу. Видимо, инспектор Филд почувствовал мое скептическое настроение. Положив вилку на стол и отхлебнув вина из стакана, он хрипло прошептал:

— Мистер Коллинз, вы помните, что́ я говорил вам о связи, существовавшей между нашим египетским другом Друдом и покойным лордом Луканом?

— Конечно, инспектор. Вы сказали, что лорд Лукан являлся английским отцом мусульманского мальчика, впоследствии ставшего Друдом.

Инспектор Филд прижал толстый палец к губам:

— Не так громко, пожалуйста, мистер Коллинз. У нашего «подземного друга», как вы игриво выражаетесь,

уши повсюду. Вы помните, каким образом был убит Форсайт... то есть лорд Лукан?

Признаюсь, я невольно содрогнулся.

— Да разве ж такое забудешь? Грудная клетка вскрыта. Сердце вырезано...

Инспектор кивнул, снова призвав меня знаком говорить потише.

— В то время, мистер Коллинз, — в сорок шестом году — даже начальник сыскного отдела мог состоять и порой состоял в качестве так называемого конфиденциального агента при разных важных персонах. Именно такую должность занимал я с конца сорок пятого года по середину сорок шестого. Я проводил много времени в хертфордширском поместье лорда Лукана.

Я нахмурился, усиленно соображая.

— Семья лорда Лукана обратилась к вам за помощью, чтобы вы раскрыли преступление. Но вы уже занимались этим делом в качестве начальника...

Инспектор Филд, не сводивший с меня пристального взгляда, кивнул:

— Вижу, теперь вы поняли хронологию событий, мистер Коллинз. Лорд Лукан — Джон Фредерик Форсайт, отец незаконнорожденного ребенка, впоследствии ставшего оккультистом Друдом, — нанял меня за девять месяцев до своего убийства. Он хотел обеспечить свою безопасность. Я приставил к нему охрану из числа частных агентов, самолично мной нанятых. Поскольку в поместье Уайстон имелись надежные стены, высокие ограды, сторожевые псы, прочные двери, бдительные слуги и опытные егеря, сведущие в повадках браконьеров и прочих нарушителей права владения, я считал, что принятых мер вполне достаточно.

— Но это оказалось не так, — сказал я.

— Безусловно, — проворчал инспектор Филд. — Трое лучших моих людей находились в Уайстон-Холле в момент... зверского убийства. Я сам в тот день оставался там до девяти вечера, пока служебные дела не потребовали моего возвращения в Лондон.

— Невероятно. — Я никак не мог взять в толк, к чему ведет старый инспектор.

— Разумеется, я не афишировал тот факт, что в момент убийства лорда Лукана работал на него в частном порядке, — прошептал инспектор Филд, — но мир сыска тесен, и сведения об этом дошли как до моего начальства, так и до сыщиков, служивших в моем подчинении. Мне тогда пришлось ой как несладко... а ведь именно в то время моя профессиональная карьера должна была достичь вершины.

— Понимаю, — сказал я, хотя в действительности понимал лишь одно: передо мной сидит человек, признающийся в собственной некомпетентности.

— Не вполне, — прошептал инспектор. — Спустя целый месяц после убийства лорда Лукана — когда еще полным ходом шло официальное расследование, интерес к ходу которого проявляла сама королева, — в мой кабинет в сыскном отделе Скотленд-Ярда доставили маленькую посылку.

Я кивнул и откусил большой кусок ростбифа. Мясо было чуть жестковатым, но вполне недурственным.

— В посылке оказалось сердце лорда Лукана, — проскрипел Филд. — Обработанное каким-то веществом, предохраняющим от разложения... ныне забытым способом, в далеком прошлом распространенным в Египте... но самое настоящее человеческое сердце. И по утверждению нескольких судебных медиков, с кем я консультировался, оно, безусловно, принадлежало Джону Фредерику Форсайту, лорду Лукану.

Я положил на стол нож с вилкой и ошеломленно воззрился на инспектора. Наконец я умудрился проглотить полупрожеванный кусок мяса, внезапно ставшего безвкусным.

Старый инспектор подался ко мне через стол, обдав меня винными парами.

— Я не сказал вам, мистер Коллинз, что еще я получил вместе с окровавленной рубашкой Гузберри и запиской Друда. Я хотел пощадить ваши чувства.

— Его... глаза? — прошептал я.

Инспектор Филд кивнул и откинулся на спинку сиденья.

У меня напрочь отбило и аппетит, и желание продолжать беседу. Инспектор Филд заказал себе кофий и десерт. Я допил свое вино и ждал, погруженный в мрачные раздумья.

Мне несколько полегчало, когда мы наконец вышли на холодный ветер. Я с наслаждением вдыхал свежий воздух. Не то чтобы я поверил в кошмарную историю инспектора Филда о блуждающем сердце лорда Лукана или завернутых в окровавленные лохмотья глазах Гузберри (писатель, сочиняющий сенсационные романы, легко отличает правду от эффектного вымысла), но сама тема расстроила меня до такой степени, что подагрическая боль, постоянно гнездившаяся у меня за глазными яблоками, резко обострилась.

По выходе из гостиницы мы не раскланялись друг с другом, а двинулись вместе обратно к мосту Ватерлоо.

— Мистер Коллинз, — сказал инспектор, трубно высморкавшись в носовой платок, — мне кажется, вы хотели встретиться со мной не для того, чтобы узнать об участи моего злополучного юного помощника. Так зачем же вы просили о встрече?

Я прочистил горло.

— Инспектор, как вам известно, я приступил к работе над новым романом, требующим предварительных исследований самого необычного толка...

— Разумеется, — перебил отставной полицейский. — Именно поэтому я плачу одному из лучших своих агентов — уважаемому сыщику Хэчери — за то, чтобы он проводил ночь каждого четверга в кладбищенском склепе в ожидании вашего возвращения утром. Вы заверили меня, что посещаете опиумный притон Короля Лазаря с исследовательской целью, и я не вправе предполагать какой-либо иной мотив. Но я должен сказать, мистер Коллинз, что мои расходы на почасовую оплату упомянутых услуг сыщика Хэчери — не говоря уже о неудобствах,

сопряженных с еженедельным отсутствием столь полезного работника в моем собственном распоряжении в течение целой ночи и следующего дня, ибо даже сыщикам необходимо спать, сэр, — до сих пор не... скажем так, не окупаются в части вашего обещания докладывать мне обо всех перемещениях и занятиях мистера Чарльза Диккенса.

Я остановился и стиснул набалдашник трости обеими руками.

— Инспектор Филд, не полагаете же вы, будто я виноват в том, что в данное время Диккенс совершает турне по провинциям и потому находится вне досягаемости для меня.

— Я не полагаю ничего подобного, — отрезал инспектор. — Но сей уважаемый писатель по меньшей мере раз в неделю на сутки возвращается в Лондон.

— Чтобы выступить в Сент-Джеймс-Холле, — сказал я несколько запальчиво. — И изредка — поработать в своей конторе на Веллингтон-стрит!

— И навестить свою любовницу в Слау, — сухо добавил инспектор Филд. — Хотя мои агенты сообщили мне, что сейчас он подыскивает для мисс Тернан другой дом в окрестностях Пекхэма.

— Меня это совершенно не касается, — холодно произнес я. — Я не люблю сплетничать и не интересуюсь интрижками других джентльменов.

Я пожалел о неудачном выборе слова «интрижка», едва оно слетело с моих уст. Прохожие уже начинали с любопытством поглядывать на нас, и потому я стремительно зашагал дальше. Инспектор Филд тотчас нагнал меня.

— Согласно нашей договоренности, мистер Коллинз, вы должны видеться с Диккенсом по возможности чаще, чтобы выведывать у него — и передавать нам — информацию об убийце, именующем себя Друдом.

— Я так и делал, инспектор.

— Вы так и делали, мистер Коллинз... но без всякого усердия! Вы даже не приехали к мистеру Диккенсу

на Рождество, хотя он почти две недели провел дома в Гэдсхилле и регулярно наведывался в город.

— Меня не пригласили. — Я хотел сказать это холодно, но вышло почти жалобно.

— Здесь нет вашей вины, — промолвил инспектор Филд таким сочувственным тоном, что у меня возникло желание сломать свою трость о его старую плешивую голову. — Но вы также не воспользовались превосходной возможностью присоединиться к мистеру Диккенсу в нынешнем турне или пообщаться с ним во время его наездов в Лондон. Вероятно, вам будет интересно узнать, сэр, что по меньшей мере раз в две недели Диккенс попрежнему ускользает от моих агентов, исчезает в трущобных подвалах или старых церковных криптах и появляется в поле зрения только на следующий день, когда садится на поезд до Гэдсхилла.

— Вам нужны агенты получше, инспектор, — заметил я.

Старик хихикнул и снова высморкал огромный нос.

— Возможно, — сказал он. — Возможно. Но покамест мне хотелось бы не упрекать вас, мистер Коллинз, и не сетовать на... на... односторонний порядок выполнения нашего с вами соглашения, а просто напомнить вам: наши общие интересы заключаются в том, чтобы загнать в нору — или выкурить из норы — Друда, покуда новые невинные жертвы не погибли от руки этого чудовища.

Мы дошли до моста Ватерлоо. Я остановился у ограды и окинул взглядом причалы с грузовыми кранами, складские сооружения, жалкие хибары, теснящиеся по обоим берегам, и низкомачтовые речные суда, идущие вверх и вниз по Темзе. Порывистый ветер с дождем гнал по реке волны с белыми гребешками.

Инспектор поднял воротник своего старомодного сюртука.

— А теперь объясните, пожалуйста, зачем вы хотели встретиться со мной, мистер Коллинз, и я изо всех сил постараюсь удовлетворить вашу просьбу насчет дальнейшего... э-э... содействия вашим исследованиям.

— Я собирался не только просить вас о дальнейшем содействии моим исследованиям, — сказал я, — но также поделиться с вами своими соображениями, которые могут оказаться чрезвычайно полезными в деле розысков Друда.

— Вот как? — Кустистые брови инспектора Филда поползли вверх под полями цилиндра. — Прошу вас, продолжайте, мистер Коллинз.

— По сюжету моего нового романа, уже намеченному в общих чертах, — сказал я, — некоему сыщику, обладающему незаурядными умственными способностями и огромным опытом работы, придется разыскивать пропавшего человека.

— Да? По роду прошлой и нынешней деятельности мне постоянно приходилось заниматься подобными делами, мистер Коллинз, и я буду рад помочь вам профессиональным советом.

— Но мне хотелось бы, чтобы ваша помощь принесла пользу нам обоим, — сказал я, глядя на серую воду, а не на инспектора во всем сером. — Мне пришло в голову, что некий без вести пропавший лондонец может оказаться недостающим звеном, необходимым вам, чтобы проследить всю цепь взаимоотношений и событий, имевших место с момента встречи Диккенса с Друдом под Стейплхерстом... если таковые взаимоотношения действительно существуют.

— Неужели? И кто же этот ваш пропавший человек, мистер Коллинз?

— Эдмонд Диккенсон.

Старик задумчиво почесал щеку, потеребил бакенбарду и, по обыкновению, приложил толстый указательный палец к уху, словно ожидая от него дальнейших пояснений. Наконец он проговорил:

— Надо полагать, это молодой джентльмен, спасенный под Стейплхерстом при непосредственном участии мистера Диккенса. Тот самый юноша, который, по вашим словам, разгуливал во сне в Гэдсхилл-плейс год назад, в прошлое Рождество.

— Именно он.

— При каких обстоятельствах он исчез?

— Именно это мне хотелось бы знать, — сказал я. — Возможно, именно это необходимо знать и вам, чтобы подобраться вплотную к Друду.

Я вручил Филду пухлую тетрадь со своими записями, сделанными после разговора со стряпчим мистером Мэтью В. Роффом с Грейс-Инн-Сквер, последним известным адресом Диккенсона в Лондоне и приблизительной датой, когда молодой человек приказал мистеру Роффу передать опекунские обязанности — на несколько последних месяцев, остававшихся до его совершеннолетия, — не кому иному, как Чарльзу Диккенсу.

— Очень интересно, — промолвил инспектор, бегло просмотрев записи. — Вы позволите мне взять тетрадь, сэр?

— Да. Это второй экземпляр.

— Это действительно может помочь нашему общему делу, мистер Коллинз, и я благодарю вас за то, что вы обратили мое внимание на этого господина, пропавшего или нет. Но почему вы считаете, что мистер Диккенсон имеет прямое отношение к нашему расследованию?

Я развел ладони над поручнем ограды:

— Ну, это очевидно даже для непрофессионала вроде меня. Молодой Диккенсон, вероятно, единственный после Диккенса известный нам человек, находившийся, по свидетельству самого Диккенса, в непосредственной близости от Друда на месте Стейплхерстской катастрофы. Собственно говоря, именно Друд, если верить Диккенсу, направил моего друга к погребенному под обломками юноше, который наверняка погиб бы, если бы не вмешательство Диккенса — и Друда! Помимо всего прочего, подозрения вызывает необъяснимый интерес, проявленный Диккенсом к означенному сироте после катастрофы.

Инспектор Филд снова задумчиво потер щеку:

— Мистер Диккенс славится своим альтруизмом.

Я улыбнулся:

— Конечно. Но его интерес к молодому Диккенсону был почти... ну... почти навязчивым.

— Или своекорыстным? — спросил Филд.

С запада налетел крепкий ветер, и теперь мы оба придерживали цилиндры свободной рукой.

— Что вы имеете в виду, сэр?

— Какая денежная сумма находилась в доверительном управлении опекуна Эдмонда Диккенсона до совершеннолетия последнего, наступившего в прошлом году? — осведомился старик. — Вам, случаем, не пришло в голову по ходу вашего расследования наведаться в банк молодого Диккенсона и переговорить с управляющим, а, мистер Коллинз?

— Разумеется, нет! — резко произнес я снова ледяным тоном.

Самая мысль о подобном поступке шла вразрез со всеми представлениями о чести, свойственными джентльмену. Совать нос в чужие финансовые дела — все равно что читать чужие письма.

— Ладно, это будет легко выяснить, — пробормотал инспектор Филд, засовывая тетрадь в карман сюртука. — Что вы хотите в обмен на ваше содействие в розысках Друда, мистер Коллинз?

— Ничего, — ответил я. — Я не купец и не лавочник. Когда вы разберетесь в деле исчезновения мистера Диккенсона, который действительно мог видеть Друда под Стейплхерстом и, возможно даже, исчез именно по этой причине, мне единственно хотелось бы узнать в подробностях о ходе вашего расследования... ну, чтобы подостовернее описать в романе следственные действия по поиску без вести пропавшего человека, понимаете ли.

— Я все прекрасно понимаю. — Старый инспектор отступил на шаг назад и протянул мне руку. — Я рад, что мы с вами возобновили сотрудничество, мистер Коллинз.

Я несколько долгих мгновений смотрел на протянутую руку, прежде чем наконец пожал ее. Слава богу, оба мы были в перчатках.

Глава 21

На дворе стоял месяц май, и мы с Диккенсом находились в маленьком альпийском шале.

После дождливой, холодной, сонливой весны май на излете своем вдруг одарил мир ярким солнечным светом, изобилием полевых цветов, сочной зеленью лугов, теплыми днями и долгими ясными вечерами, тонкими ароматами цветения и нежными ночами, благоприятствующими крепкому сну. Моя ревматоидная подагра отпустила меня настолько, что теперь я принимал лауданум гораздо меньшими дозами, чем обычно в последние два года. Я даже подумывал о том, чтобы отказаться от своих еженедельных исследовательских вылазок в подземные владения Короля Лазаря.

День был чудесный, и я сидел в верхней комнате шале, с наслаждением подставляя лицо свежему ветерку, дующему в раскрытые окна, и частично пересказывая Чарльзу Диккенсу фабулу своего нового романа.

Слово «пересказывая» я употребил намеренно: да, на коленях у меня лежали сорок рукописных страниц с кратким изложением сюжета, но Диккенс плохо разбирал мой почерк. С этим у меня всегда были проблемы. Мне говорили, что типографские наборщики просто воют в голос и грозятся уволиться с работы всякий раз, когда сталкиваются с моими рукописями, — особенно с первой половиной любой из них, где я имею обыкновение торопливо строчить, вымарывать целые фразы, вписывать вставки на полях и всех пустых местах, еще остающихся на страницах, вносить бесчисленные изменения и правки, покуда убористый рукописный текст не превращается в сплошную темную массу расползающихся во все стороны строк, затейливых стрелок, указательных значков, помарок и надписок. Признаться, лауданум отнюдь не способствовал удобочитаемости моих рукописей.

А слово «частично» я использовал, поскольку Диккенс пожелал ознакомиться с сюжетом только первых

двух третей романа, — правда, я и сам еще толком не определился с концовкой. Мы постановили перенести более обстоятельное чтение на июнь, когда Диккенс окончательно решит, публиковать или нет мое «Змеиное око» (или «Око змея») в журнале «Круглый год».

И вот, погожим днем в конце мая 1867 года я провел целый час, читая и пересказывая фабулу своего романа Чарльзу Диккенсу, который, к его чести, слушал очень внимательно, даже не перебивая меня вопросами. Помимо моего голоса тишину нарушали лишь громыхание фургонов, изредка проезжавших по дороге, тихий шелест ветра в кронах деревьев да жужжание пчел за окнами.

Закончив, я отложил рукопись в сторону и отхлебнул изрядный глоток воды из стакана, по обыкновению стоявшего рядом с графином на письменном столе Диккенса.

После минутной паузы Диккенс буквально выпрыгнул из кресла и вскричал:

— Дорогой Уилки! Какая замечательная история! Экзотическая и одновременно очень английская! С превосходными персонажами и увлекательной тайной! А неожиданный сюжетный ход незадолго до места, где вы прервали повествование! Признаться, для меня это стало полной неожиданностью, друг мой, а ведь такого многоопытного писателя, как я, очень трудно чем-нибудь удивить!

— В самом деле? — смущенно пробормотал я.

Я всегда жаждал снискать похвалу Диккенса — и сейчас испытал неизъяснимое удовольствие, сравнимое с блаженством, какое разливается теплыми волнами по телу после приема лауданума.

— Мы непременно напечатаем ваш роман в журнале! — возбужденно продолжал Диккенс. — Я с уверенностью предсказываю: он затмит собой все, что мы публиковали до сей поры, включая вашу бесподобную «Женщину в белом»!

— Будем надеяться, — скромно промолвил я. — Но не хотите ли вы, прежде чем говорить о покупке романа, сперва узнать содержание заключительной части, где

я свяжу все концы с концами и воспроизведу полную картину преступления?

— Нисколько! — воскликнул Диккенс. — Пусть мне не терпится поскорее узнать, чем там все закончилось, но я уже услышал достаточно, чтобы понять, насколько хорош ваш роман. А тот неожиданный поворот фабулы! Когда сам рассказчик не подозревает о своей виновности! Восхитительно, дорогой Уилки, поистине восхитительно. Повторяю, редко какому писателю удавалось поразить меня столь хитроумным сюжетным ходом!

— Спасибо, Чарльз, — сказал я.

— Вы позволите задать вам несколько вопросов и внести несколько несущественных предложений? — спросил Диккенс, расхаживая взад-вперед перед открытыми окнами.

— Ну конечно же! Конечно! — горячо ответил я. — Помимо того что вы являетесь моим редактором в «Круглом годе», вы слишком много лет были моим соавтором и литературным собратом, чтобы сейчас я пренебрег возможностью извлечь пользу из ваших мудрых советов, Чарльз.

— Хорошо. Тогда насчет ключевого сюжетного поворота, — сказал Диккенс. — Вам не кажется, что, заставляя нашего героя Франклина Блэка совершать кражу алмаза как под воздействием лауданума, пусть и подлитого в вино тайно, так и под месмерическим внушением индусских факиров, вы впадаете в некоторое излишество? Я вот о чем: ведь индусы, встреченные им на лужайке, не могли знать, что наш мистер... как там его зовут?

— Кого? — Я уже достал карандаш и приготовился делать беглые заметки на обратной стороне одной из страниц рукописи.

— Врача, который под конец умирает с отшибленной памятью.

— Мистер Канди.

— Точно, — кивнул Диккенс. — В общем, я хочу сказать лишь, что индусы, случайно встреченные той ночью на территории поместья, едва ли могли знать, что мистер

Канди шутки ради подольет в вино Франклина Блэка опиум. Разве не так?

— Ну... пожалуй, — согласился я. — Да, они не могли знать этого.

— В таком случае два объяснения произошедшему — тайно подлитый в вино лауданум плюс месмерический магнетизм встреченных на лужайке индусских мистиков — это несколько чересчур.

— Чересчур?

— Я имею в виду, милейший Уилки, что вполне достаточно либо одного, либо другого фактора, чтобы Франклин Блэк совершил кражу в сомнамбулическом сне, — разве не так?

— Да... вы правы, — сказал я, торопливо записывая несколько слов.

— И не кажется ли вам, что читатель получит гораздо больше пищи для воображения, если бедный мистер Франклин Блэк похитит алмаз из шкапчика своей возлюбленной в попытке уберечь драгоценность, а не под злотворным влиянием индусов?

— Хмм... — протянул я.

Это низводило мой Большой Сюрприз до случайного стечения обстоятельств. Но вполне могло сойти.

Не дав мне времени высказаться, Диккенс продолжил:

— А эта странная хромая служанка... извиняюсь, как ее зовут?

— Розанна Спирман.

— Да, отличное имя для столь странного, душевно смятенного персонажа — Розанна Спирман. Вы упоминаете в самом начале, что она... ну... что леди Вериндер взяла ее в услужение из... из исправительного заведения?

— Совершенно верно, — подтвердил я. — Мне воображается, что Розанна содержалась в некоем учреждении, очень похожем на ваш «Юрейниа-коттедж», основанный вами при содействии мисс Бердетт-Кутс около двадцати лет назад.

— Ага. Я так и понял, дорогой Уилки, — промолвил Диккенс, по-прежнему улыбаясь и расхаживая взад-впе-

ред. — Но ведь я брал вас с собой в «Юрейниа-коттедж». Вы прекрасно знаете, что там содержатся одни только падшие женщины, получившие возможность начать новую жизнь.

— Розанна Спирман как раз из таких, — сказал я.

— Безусловно. Но просто немыслимо, чтобы леди Вериндер или любая другая дама равно высоких нравственных достоинств могла взять в услужение Розанну, зная, что в прошлом она была... уличной женщиной.

— Хмм... — снова протянул я.

Я-то именно и ставил целью показать Розанну исправившейся уличной женщиной. Это объясняло как безнадежную страстную влюбленность служанки в мистера Франклина Блэка, так и эротический подтекст влюбленности. Однако трудно было спорить с тем, что столь утонченная особа, как моя вымышленная леди Вериндер, никогда не взяла бы в услужение проститутку, пусть даже вставшую на праведную стезю. Я сделал заметку на странице рукописи.

— Воровка, — произнес Диккенс уверенным тоном, столь для него характерным. — Вам нужно сделать бедную Розанну бывшей воровкой — тогда у сержанта Кафа останется возможность опознать ее, но не как уличную женщину, а как арестантку, в свое время сидевшую у него в тюрьме.

— По-вашему, воровство менее греховно, чем проституция? — спросил я.

— Конечно, Уилки, конечно. Сделайте Розанну уличной женщиной, пусть совершенно исправившейся, — и дом леди Вериндер будет осквернен. Сделайте ее бывшей воровкой — и читатель увидит великодушие леди Вериндер, которая пытается помочь бедняжке, предоставив возможность зарабатывать на жизнь честным трудом.

— Точно! — воскликнул я. — В самое яблочко! Я отмечу здесь, что надо пересмотреть прошлое Розанны.

— Еще остается проблема с преподобным Годфри Эбльуайтом.

— Я и не понял, что преподобный Эбльуайт пришелся вам не по вкусу, Чарльз. По ходу чтения вы смеялись и приговаривали, что вам нравится разоблачительный портрет этого отъявленного лицемера.

— Так и есть, Уилки! Очень даже нравится! И читателям понравится. Дело не в самом персонаже, которого вы превосходно изобразили лицемером, карьеристом и охотником за приданым, а в его титуле.

— Преподобный?

— Вот именно. Хорошо, что вы сами понимаете проблему, друг мой.

— Признаться, я не вполне понимаю, Чарльз. Ведь изобличение ханжества и лжи производит особо сильное впечатление, когда речь идет о лице духовного звания и...

— Безусловно, вы правы! — вскричал Диккенс. — Все мы знаем таких вот двуличных священнослужителей — они всячески делают вид, будто творят добро, но в глубине души пекутся единственно о собственном благе, — однако ваше обвинение не утратит своей обличительной силы, коли мы предъявим его мистеру Годфри Эбльуайту.

Я начал было записывать замечание, но почти сразу остановился и потер лоб.

— Нет, получается как-то... бледно, невыразительно, совсем не остро. А что, если сделать преподобного Годфри председателем различных благотворительных дамских обществ? Тогда еще лучше прозвучит моя замечательная фраза: «Он был священник по профессии, дамский угодник по темпераменту и милосердный самаритянин по собственному выбору». Вы же сами рассмеялись в голос, когда я процитировал ее вам менее часа назад.

— Да, Уилки. Но она прозвучит ничуть не хуже, если вы замените священника на... ну, скажем, адвоката. Таким образом, мы пощадим чувства многих тысяч наших читателей, ничем не повредив вашему восхитительному сюжету.

— Я не уверен... — начал я.

— Сделайте пометку, Уилки. И пообещайте подумать о моем предложении в процессе завершения работы над романом. Уверяю вас, любой добросовестный редактор любого популярного журнала вроде нашего счел бы нужным обсудить с автором подобный момент. Если бы вы сами издавали чужое произведение — наверняка подняли бы вопрос о разжаловании преподобного Годфри Эбльуайта в мистера Годфри Эбльуайта...

— Я не уверен... — снова начал я.

— А еще, дорогой Уилки, надо бы определиться с заглавием романа... — продолжал Диккенс.

— Ага! — воскликнул я, оживляясь. — И какое вам больше нравится, Чарльз? «Змеиное око» или «Око змея»?

— На самом деле ни одно, ни другое, — ответил он. — По тщательном размышлении, друг мой, я нашел оба придуманных вами названия несколько сатанинскими и недостаточно удачными с коммерческой точки зрения.

— Сатанинскими?

— Ну, око *змея*. Вызывает библейские ассоциации, Уилки.

— Как и ассоциации, связанные с языческой Индией, дорогой Чарльз. Я проштудировал уйму книг о различных индусских культах...

— Среди них есть культ поклонения змею?

— Я покамест такого не нашел, но индусы поклоняются... всему подряд. У них в чести обезьяньи боги, крысиные боги, коровьи боги...

— И конечно же, змеиные боги, согласен с вами, — миролюбиво сказал Диккенс. — Но все равно такое название наводит на мысль о райском саде и змее-искусителе — то есть о дьяволе. А очевидная отсылка к алмазу Кохинор делает любые подобные ассоциации совершенно неприемлемыми.

Я впал в совершенное замешательство, ибо понятия не имел, о чем говорит мой друг. Однако, вместо того

чтобы разразиться сумбурной речью, аккуратно налил еще воды в стакан, отпил несколько глотков, а потом спросил:

— В каком смысле неприемлемыми, дорогой Диккенс?

— Ваш драгоценный камень — алмаз, или как там вы ни назовете его в конечном счете, — явно имеет своим прототипом Кохинор...

— Да? Возможно. Ну и что?

— Вы, несомненно, помните, друг мой, — во всяком случае, в ходе своих исследований наверняка выяснили, — что подлинный Кохинор родом из местности под названием Гора Света в Индии. Согласно устойчивым слухам, имевшим хождение еще до появления Кохинора на наших берегах, на всех драгоценных каменьях и прочих предметах материальной культуры из упомянутой выше местности лежит проклятье и они приносят несчастье своим владельцам.

— Да? — повторил я. — Такие глубинные ассоциации в полной мере оправдывают название «Око змея»... или «Змеиное око».

Диккенс остановился и медленно покачал головой.

— Нет, если мысль о подобном проклятье связывается в сознании нашего читателя с королевской семьей, — негромко проговорил он.

— А... — Я хотел произнести междометие неопределенным, задумчивым тоном, но оно прозвучало сдавленно, словно в горле у меня застряла куриная кость.

— Несомненно, вы помните, Уилки, что́ произошло через два дня после прибытия камня в Англию и за шесть дней до того, как он был преподнесен в дар ее величеству.

— Смутно.

— Ну, вы тогда были совсем еще молодым человеком, — сказал Диккенс. — Некий Роберт Пейт, отставной лейтенант гусарского полка, напал на королеву.

— О господи!

— Да-да. Ее величество не пострадала, но общественность моментально связала едва не случившуюся траге-

дию с алмазом, предназначенным в дар королевской семье. Сам генерал-губернатор Индии счел нужным опубликовать в «Таймс» открытое письмо, объясняющее всю нелепость подобных суеверий.

— Да, — промолвил я, продолжая бегло делать записи. — Я читал биографию лорда Дальхаузи в библиотеке «Атенеума».

— Нисколько в этом не сомневаюсь, — сказал Диккенс тоном, который показался бы мне сухим, будь я настроен покритичнее. — И с Кохинором связано еще одно страшное событие — смерть принца Альберта.

Я перестал писать.

— Что? Он умер всего шесть лет назад, через одиннадцать лет после того, как камень прибыл в Англию и демонстрировался на Всемирной выставке. Кохинор был распилен на несколько частей в Амстердаме задолго до кончины Альберта. Какая связь может существовать между этими двумя событиями?

— Вы забываете, дорогой Уилки, что принц-консорт являлся организатором и главным меценатом Всемирной выставки. Именно он предложил выставить Кохинор на странном почетном месте в Большом зале. Ее величество, разумеется, по сей день носит траур, и иные из приближенных говорят, что порой она в глубоком своем горе винит индийский камень в смерти возлюбленного супруга. Так что сами понимаете: мы должны проявить осторожность при выборе названия книги во избежание любых ассоциаций между Кохинором, приносящим несчастье королевской семье, и нашей вымышленной историей.

Я не пропустил мимо ушей местоимения «мы» и «нашей». В свою очередь, взяв сухой тон, я осведомился:

— Если не «Око змея» и не «Змеиное око»... какое, по-вашему, название подойдет к истории об алмазе, изначально вставленном в глазницу статуи индусского змеиного бога?

— О! — беспечно воскликнул Диккенс, присаживаясь на край стола и по-редакторски снисходительно ухмыляясь. — Я думаю, мы запросто можем отказаться

и от змеиного бога, и от ока. Как насчет названия, звучащего менее эффектно и одновременно более завлекательно для женской части читающей публики?

— Мои книги всегда пользовались популярностью у женщин, — холодно заметил я.

— Истинная правда! — воскликнул Диккенс, хлопнув в ладони. — Никто лучше меня не знает о триумфальном успехе вашей «Женщины в белом». На каждую сотню читателей, с нетерпением ждавших очередных выпусков вашего романа, пришелся лишь один читатель, проявлявший равный интерес к моему «Общему другу», который продавался гораздо хуже.

— Ну, я бы так не сказал...

— Как вам название... «Лунный камень»? — перебил Диккенс.

— «Лунный камень»? — тупо повторил я. — Вы предлагаете написать о камне, привезенном с Луны, а не из Индии?

Диккенс от души рассмеялся обычным своим заливистым, мальчишеским смехом.

— Отличная шутка, дорогой Уилки. Но если серьезно... название вроде «Лунного камня» возбудит интерес у особ женского пола — во всяком случае, уж точно не оттолкнет их. И оно звучит таинственно и романтично, без всякой тени кощунства или дьявольщины.

— Лунный камень, — пробормотал я, прислушиваясь к звучанию слов; после «Ока змея» (или «Змеиного ока») заглавие казалось ужасно пресным и бесцветным.

— Замечательно! — воскликнул Диккенс, поднимаясь на ноги. — Мы велим Уиллсу внести в проект договора это название в качестве предварительного. Повторяю, в кратком изложении ваш роман привел меня в такой же восторг, в какой, несомненно, приведет чтение полностью или почти законченного произведения. Превосходная история, изобилующая самыми неожиданными сюжетными поворотами. Ваша придумка с хождением во сне под воздействием опиума, когда сам герой похищает камень и впоследствии ничего не помнит, это гениально, Уилки, просто гениально.

— Спасибо, Чарльз, — повторил я, вставая и убирая карандаш в карман. В голосе моем уже не слышалось прежнего энтузиазма.

— Пора на прогулку! — объявил Диккенс, направляясь к вешалке в углу комнаты за тростью и шляпой. — По такой чудесной погоде я думаю проделать путь до самого Рочестера и обратно. В последнее время вид у вас цветущий. Вы со мной?

— Я с вами до Рочестера, а там сяду на послеполуденный поезд до Лондона, — сказал я. — Кэролайн и Кэрри сегодня ждут меня к ужину.

Насчет последнего я приврал: Кэрри гостила у родственников в деревне, а Кэролайн полагала, что я заночую в Гэдсхилле.

— Половина прогулки в обществе друга все же лучше, чем ничего, — сказал Диккенс, убирая собственные рукописи в папку и стремительно направляясь к двери. — Пойдемте скорее, пока над дорогами не поднялась пыль и день не сократился еще на минуту.

Был вечер четверга, шестого июня, и я, по заведенному с начала весны обыкновению, предавался скромному удовольствию, состоявшему в совместном походе со здоровенным сыщиком Хэчери в местную таверну — там мы легко перекусывали и выпивали по кружке пива за мой счет, прежде чем я отдавался под покровительство своего провожатого и спускался в припортовые трущобы, а потом в темные катакомбы под Погостом Святого Стращателя, которые я стал мысленно называть «Империей подземных наслаждений Короля Лазаря».

Поближе познакомившись с сыщиком Хэчери в ходе наших еженедельных посиделок в таверне, я узнал немало удивительного об этом неуклюжем верзиле, представлявшемся мне с нашей первой встречи персонажем скорее комическим. Оказывается, он жил в благопристойном квартале в районе Дорсет-Сквер, неподалеку от моего дома. Жену он похоронил несколько лет назад, но имел трех взрослых дочерей, в которых души не чаял, и сына, совсем недавно поступившего в Кембридж.

Что самое поразительное, Хэчери много читал и среди своих любимых книг числил несколько принадлежащих моему перу. Из них он выше всего ценил «Женщину в белом», хотя имел возможность прочитать роман только в журнальном варианте. Сегодня вечером я принес экземпляр книги «Женщина в белом» и как раз надписывал его для своего охранника, когда у нашего стола кто-то остановился.

Я узнал сперва коричневый твидовый костюм, а потом некрупное, но крепко сбитое тело, в него втиснутое. Мужчина снял шляпу, и мне показалось, что кудрявые сивые волосы у него сейчас подлиннее, чем были в Бирмингеме, — правда, тогда они были мокрые.

— Мистер Коллинз. — Он легко коснулся двумя пальцами лба, словно дотрагиваясь до полей шляпы. — Реджинальд Баррис к вашим услугам, сэр.

Я пробурчал что-то невнятное. Мне совершенно не хотелось видеть сыщика Реджинальда Барриса. Ни сегодня вечером, ни когда-либо впредь. Жуткие воспоминания о нескольких секундах жестокой расправы в бирмингемском переулке только-только начали меркнуть в моей памяти.

Но Баррис поприветствовал Хэчери — тот кивнул в ответ, принимая от меня надписанную «Женщину в белом», — и присоединился к нам за столом, даже не спросив разрешения: нахально придвинул стул и уселся на него верхом, положив сильные руки на спинку. Пораженный столь дурными манерами, я на секунду задался вопросом, уж не является ли Баррис, несмотря на свой кембриджский акцент, американцем.

— Какая удача, мистер Коллинз, что я случайно встретил вас, — сказал Баррис.

Я не счел нужным отвечать на подобную чушь, но с холодным неодобрением взглянул на Хэчери, посвятившего постороннего человека в детали нашего совместного времяпрепровождения. В следующий миг я сообразил, что верзила все-таки работает на инспектора Филда (и почти наверняка отчитывается не только перед ним,

но также перед несносным Баррисом, судя по всему, занимавшим должность заместителя навязчивого инспектора), а потом напомнил себе, что на самом деле мы с Хэчери никакие не друзья, невзирая на мое доброе к нему отношение.

Баррис подался вперед и произнес приглушенным голосом:

— Инспектор Филд надеется получить от вас отчет, сэр. Я вызвался напомнить вам об этом, коли вдруг случайно встречусь с вами. У нас остается мало времени.

— Я отправил Филду отчет менее двух недель назад, — сказал я. — И до чего именно у нас остается мало времени?

Баррис улыбнулся, но быстро приложил палец к губам и картинно стрельнул глазами по сторонам, напоминая о необходимости соблюдать осторожность. Я постоянно забывал, что Филду и его людям повсюду мерещатся тайные агенты фантомного Друда.

— До девятого июня, — прошептал Баррис.

— А... — промолвил я и отхлебнул пива. — Девятое июня. Святая годовщина Стейплхерстской катастрофы и...

— Тш-ш-ш! — прошипел мистер Реджинальд Баррис.

Я пожал плечами:

— Я не забыл.

— Ваш последний отчет был совершенно невразумительным, мистер Коллинз, и...

— Совершенно невразумительным? — возмущенно перебил я достаточно громким голосом, чтобы меня услышали все без исключения немногочисленные посетители таверны, ни один из которых, впрочем, не походил на соглядатая. — Я писатель, мистер Баррис. Я несколько лет проработал журналистом, а в настоящее время являюсь профессиональным литератором. Едва ли мой отчет мог быть совершенно невразумительным.

— Нет, конечно нет, — поспешно согласился молодой сыщик, сконфуженно улыбаясь. — То есть — да. В смысле — нет... я неверно выразился, мистер Коллинз.

Не совершенно невразумительным, а, напротив, очень даже вразумительным, но малость... поверхностным.

— Поверхностным? — повторил я с презрением, коего заслуживало данное определение.

— Вы изложили все предельно ясно в нескольких словах, — вкрадчиво пропел молодой сыщик, еще сильнее подаваясь вперед, — но не стали вдаваться в подробности. Например, вы сообщили, что мистер Диккенс продолжает утверждать, что не знает нынешнего местонахождения мистера Эдмонда Диккенсона, — но скажите, вы... как выражались у нас в школе и в полку... метнули в него вашу «бомбу»?

Я невольно улыбнулся.

— Мистер... сыщик... Баррис, — мягко промолвил я, искоса глянув на Хибберта Хэчери, внешне не проявлявшего ни малейшего интереса к разговору своего начальника со мной. — Я не просто, как вы изволили выразиться, метнул «бомбу» — я подверг мистера Диккенса самому натуральному мортирному обстрелу.

Под «бомбой» Баррис подразумевал предположение, что причиной исчезновения молодого Диккенсона явились его деньги.

Тем погожим майским днем я чувствовал себя настолько хорошо, что по-настоящему наслаждался долгой прогулкой от Гэдсхилла до Рочестера, несмотря на необходимость поспевать за стремительно шагавшим Диккенсом. Мы преодолели уже две трети пути до места назначения и шли по пешеходной тропе, тянувшейся вдоль дороги по направлению к отдаленным соборным шпилям, когда я метнул в Неподражаемого «бомбу», даже целый ящик бомб, или пальнул из всех своих мортир.

— Да, кстати! — сказал я. — Я тут на днях случайно столкнулся с другом молодого Эдмонда Диккенсона.

Я ожидал увидеть на лице Диккенса ошеломленное или изумленное выражение, но он лишь слегка повел царственной бровью.

— Правда? У меня сложилось впечатление, что у молодого Диккенсона нет друзей.

— Оказывается — есть, — солгал я. — Школьный приятель по имени Барнаби, или Бенедикт, или Бертрам, или что-то вроде.

— А какая у него фамилия? — поинтересовался Диккенс, часто постукивая тростью по земле в такт скорым шагам.

— Не имеет значения, — ответил я, сожалея, что не продумал поосновательнее вводную часть вымышленной истории, призванной стать ловушкой для Неподражаемого. — Просто случайный знакомый по клубу.

— Почему не имеет? Вполне возможно, ваш клубный знакомец солгал вам, — беспечно промолвил Диккенс.

— Солгал? С чего вы взяли, Чарльз?

— Я точно помню, как молодой Диккенсон говорил мне, что ни дня не учился в университете и никогда не переступал порога ни одной школы, — сказал Диккенс. — Похоже, у бедного сироты были домашние учителя, один хуже другого.

— Ну... — Я прибавил шагу, нагоняя Диккенса. — Может, они и не школьные друзья, но этот Барнаби...

— Или Бертрам, — сказал Диккенс.

— Да. В общем, этот парень...

— Или Бенедикт.

— Да. Вы позволите мне продолжить, Чарльз?

— Пожалуйста, дорогой Уилки! — Диккенс улыбнулся и сделал приглашающий жест.

Стайка серых птиц — куропаток или голубей — сорвалась с живой изгороди перед нами и взмыла в синее небо. Диккенс на ходу вскинул трость к плечу, словно ружье, и спустил воображаемый курок.

— Так вот, по словам этого парня, невесть откуда знавшего молодого Диккенсона, в прошлом году Диккенсон самолично сообщил ему, что он, Диккенсон, за несколько месяцев до своего совершеннолетия в законном порядке поменял опекуна.

— Вот как? — только и промолвил Диккенс. Равнодушно-вежливым тоном.

— Да, — сказал я и выжидательно умолк.

Мы прошли ярдов сто в молчании.

Наконец я метнул свою «бомбу».

— Этот самый парень...

— Мистер Барнаби.

— Этот самый парень, — упрямо продолжал я, — как-то случайно оказался по делам в банке своего друга Диккенсона и случайно услышал там...

— Что за банк? — осведомился Диккенс.

— Прошу прощения?

— О каком банке вы говорите, дорогой Уилки? Вернее, о каком банке говорил друг молодого Диккенсона?

— Банк Тилсона, — ответил я, ощущая сокрытую в этих двух словах силу.

У меня было такое чувство, будто я делаю решающий ход слоном, прежде чем объявить мат. Кто-то (кажется, сэр Фрэнсис Бэкон) сказал: «Знание — сила» — и я сейчас обладал сокрушительной силой, порожденной знанием, добытым инспектором Филдом.

— А, да. — Диккенс легко перепрыгнул через ветку, валявшуюся на песчаной дорожке. — Я знаю этот банк... ужасное старомодное, кичливое, тесное, полутемное, уродливое заведение, пропахшее плесенью.

К этому моменту я уже почти (но не совсем) потерял нить разговора, призванного стать петлей, чтобы заарканить совесть этого короля.

— Достаточно надежный банк, чтобы перевести примерно двадцать тысяч фунтов на счет нового опекуна Эдмонда Диккенсона, — с расстановкой проговорил я и задался вопросом, не добавил ли бы здесь мой сержант Кафф «ха-ха!».

— Ко всем перечисленным выше определениям я бы еще добавил «неосмотрительное», — хихикнул Диккенс. — Никогда больше не буду иметь никаких дел с банком Тилсона.

Я невольно остановился. Диккенс сделал еще несколько шагов и тоже остановился, явно слегка раздосадованный, что мы нарушили темп ходьбы. У меня бешено колотилось сердце.

— Так, значит, вы не отрицаете, что получили там деньги, Чарльз?

— Отрицаю? С чего бы мне отрицать, дорогой Уилки? О чем вы, собственно, говорите?

— Вы не отрицаете, что стали опекуном Эдмонда Диккенсона и перевели примерно двадцать тысяч фунтов — все состояние молодого человека — из банка Тилсона на свой счет в собственный банк?

— Не отрицаю и не собираюсь отрицать! — рассмеялся Диккенс. — Оба ваши утверждения являются констатацией фактов, а следовательно, соответствуют действительности. Ну же, пойдемте.

— Но... — проговорил я, нагоняя Диккенса и стараясь попасть в ногу с ним. — Но... когда я недавно спросил вас, знаете ли вы, где сейчас находится молодой Диккенсон, вы сказали, что понятия не имеете — мол, слышали только, будто он уехал в Южную Африку или еще в какие-то дальние края.

— И это чистая правда, — сказал Диккенс.

— Но вы же были его опекуном!

— Только по названию, — сказал Диккенс. — И только в течение нескольких недель, остававшихся до совершеннолетия бедного мальчика и его вступления в полные права наследства. Он полагал, что оказывает мне честь, назначая меня своим опекуном, и я не счел нужным разубеждать его. Безусловно, это дело касалось только нас с Диккенсоном, и никого больше.

— Но деньги... — начал я.

— Сняты со счета по просьбе Диккенсона на следующий же день после того, как он достиг совершеннолетия и получил право распоряжаться своим капиталом по собственному усмотрению, дорогой Уилки. Я имел удовольствие выписать юноше чек на всю сумму.

— Да, но... почему через ваш банковский счет, Чарльз? Это же лишено всякого смысла.

— Разумеется, — согласился Диккенс, снова хихикнув. — Юный сирота, по-прежнему считавший, что обязан мне жизнью, хотел видеть мою подпись на банковском чеке, с которым он вступал во взрослую жизнь.

Все это глупости, конечно, но от меня требовалось единственно принять перевод и выписать парню чек. Его бывший стряпчий и консультант — мистер Рофф, кажется, — уладил все дела с обоими банками.

— Но вы сказали, что понятия не имеете, куда уехал Диккенсон...

— Так оно и есть. Он говорил вроде, что собирается посетить Францию, а потом начать новую жизнь в... Южной Африке или даже Австралии. Но я не получил от него ни одного письма.

Я открыл было рот снова, но осознал, что мне больше нечего сказать. Когда я мысленно репетировал сей словесный поединок, я воображал сержанта Каффа, вынуждающего пойманного врасплох преступника признаться в убийстве.

Диккенс внимательно поглядывал на меня, явно забавляясь.

— Когда вы узнали все это от вашего поразительно осведомленного мистера Барнаби, или Бенедикта, или Бертранда, дорогой Уилки, вы решили, что я сделался опекуном молодого Диккенсона, втершись к нему в доверие, а потом убил бедного мальчика из-за денег?

— Что?! Я... конечно, я не... просто смеху подобно... как вы могли такое поду..?

— Я бы лично пришел именно к такому выводу на основании подобных косвенных улик, — весело сказал Диккенс. — Немолодой писатель, возможно испытывающий денежные затруднения, по воле случая спасает жизнь богатому сироте и вскоре осознает, что у мальчика нет друзей, нет родственников, нет близких знакомых — один только слабоумный старый стряпчий, часто забывающий даже, обедал он сегодня или нет. И тогда писатель устраивает так, чтобы доверчивый юноша назначил своим опекуном его, корыстолюбивого писателя с денежными неурядицами...

— У вас имеются финансовые проблемы, Чарльз?

Диккенс расхохотался так заразительно, что я едва не рассмеялся вместе с ним.

— Как бы, по-вашему, я убил Диккенсона, Уилки? И где? В Гэдсхилл-плейс? На глазах у многочисленных обитателей и гостей дома, снующих повсюду днем и ночью?

— В Рочестерском соборе, — мрачно пробурчал я.

Диккенс глянул вперед поверх зеленых деревьев.

— Ну вот, мы уже почти пришли. Хо-хо!.. Погодите-погодите... вы говорите, я бы убил Диккенсона в Рочестерском соборе. Ну да, конечно. Идеальное место для такого дела. Вы гений дедукции, друг мой!

— Вы любите показывать собор своим знакомым ночью, при лунном свете, — сказал я, не веря, что произношу эти слова вслух.

— Истинная правда, — рассмеялся Диккенс. — А мистер Дреддс и соборный священник, которого я в своем романе нареку Септимусом Криспарклом, дали мне ключи от башни, чтобы я мог водить туда гостей в любое время суток...

— И от крипты, — пробормотал я.

— Что? А, ну да! Превосходно. Те же ключи обеспечивают мне доступ и в крипту. Значит, остается только пригласить молодого Диккенсона на ночную прогулку, завести на соборную башню, чтобы полюбоваться видом Рочестера при луне, — как я водил вас вместе с дочерьми и зятем Лонгфелло в прошлом году, — и в подходящий момент, когда мальчик по моему настоянию перегнется через ограду, чтобы получше рассмотреть озаренное лунным светом море внизу... просто легонько подтолкнуть его.

— Давайте оставим этот разговор, Чарльз, — грубовато произнес я.

Подагрическая боль все сильнее пульсировала у меня за левым глазом, точно кровавый гейзер с перекрытой горловиной.

— Нет-нет, я в полном восторге! — вскричал Диккенс, размахивая перед собой тростью, словно тамбурмажор — жезлом. — Не нужно ни пистолета, ни молотка, ни лопаты, ни иного мерзкого орудия убийства, от которого потом придется избавляться — только сила

земного притяжения. Короткий вопль в ночи. А потом... что потом? Предположим, бедняга напоролся на один из железных штырей, торчащих по верху ограды вокруг башни, или забрызгал своими куриными мозгами одно из древних надгробий... и что потом, сержант Кафф?

— Известковая яма, — сказал я.

Диккенс резко остановился и схватился за лоб свободной рукой. Глаза у него расширились, лицо расплылось в блаженной улыбке.

— Известковая яма! — воскликнул он; всадник, рысцой проезжавший по дороге на гнедой кобыле, посмотрел в нашу сторону. — Ну конечно! Как же я мог забыть про известковую яму? А потом... вероятно, через несколько дней... подземные склепы?

Я потряс головой, отвел взгляд и до крови закусил губу. Мы двинулись дальше.

— Разумеется, — сказал Диккенс, рассеянно рубанув тростью по кусту, — тогда мне понадобится помощь старого Дредлса — чтобы разобрать и снова сложить стену гробницы. Именно так и раскрываются убийства, Уилки: решение привлечь к делу сообщника зачастую оказывается первым шагом к виселице.

— Совсем не обязательно, — возразил я бесцветным голосом. — Вы примените к бедному Дредлсу свой магнетический дар. Он не запомнит, что пособлял вам избавиться от трупа... скелета... часов, очков и прочих металлических предметов.

— Месмеризм! — вскричал Диккенс. — Превосходно! А лауданум мы здесь задействуем?

— Думаю, в этом нет надобности, Чарльз. Одного гипнотического внушения вполне достаточно, чтобы заручиться содействием пособника, ведать не ведающего о своем соучастии в преступлении.

— Бедный старый Дредлс! — воскликнул Диккенс, чуть не прыгая от восторга. — Бедный молодой Диккенсон! Те немногие, кто вообще знал о его существовании, считают — со слов убийцы, — что он уехал во Францию, или в Южную Африку, или в Австралию. Оплакивать парня некому. Некому принести хоть один цветок к заму-

рованному склепу, где он лежит с другим мертвецом. А убийца решает свои... финансовые проблемы... и живет себе как ни в чем не бывало. Просто восхитительно, дорогой Уилки!

Сердце у меня снова бешено колотилось. Я решил взорвать «бомбу», брошенную, вероятно, слишком рано.

— Да, Чарльз. Но так все произойдет только в том случае, если убийца знает, что он убийца... что он совершил убийство.

— А как он может не знать?.. — начал Диккенс, а потом взъерошил пятерней свою жидкую бороденку. — Ну да, конечно! Убийца, посредством магнетизма принудивший хранителя склепов к соучастию в преступлении, сам действовал под гипнозом!

Я ничего не ответил, но внимательно наблюдал за лицом Неподражаемого.

Он помотал головой:

— Нет, боюсь, так не пойдет, Уилки.

— Почему, Чарльз?

— Доктор Эллиотсон, мой первый наставник в искусстве магнетизма, — вы сами не раз его цитировали, Уилки! — и все остальные специалисты, которых я читал или знал лично, с уверенностью утверждают: человек, находящийся под месмерическим воздействием чужой, более сильной воли, все равно никогда не совершит поступка, какого не мог бы, не согласился бы совершить, находясь в полном сознании.

— Но вы же заставили старого Дреддса помочь вам избавиться от тела, — сказал я.

— Да, да, — проговорил Диккенс, ускоряя шаг и в глубокой задумчивости ероша обеими руками волосы и бороду. — Но погребение мертвецов в могилах и склепах — с переноской трупов при необходимости и замуровыванием гробниц — это работа Дреддса. Месмерист просто-напросто внушит Дреддсу, что он действует сообразно привычным обстоятельствам. Но заставить человека совершить убийство... нет, Уилки, это не годится для нашей истории. Никак не годится, если наш убийца душевно здоров.

— Даже душевно здоровые люди таят в сердце своем темные помыслы, — негромко промолвил я; мы уже подходили к Рочестерскому собору. — Даже у душевно здоровых людей — образцов душевного здоровья, публичных персон — имеются темные стороны, тщательно скрываемые от всех.

— Верно, верно, — откликнулся Диккенс. — Но едва ли они способны на убийство.

— А что, если истинный кукловод, стоящий за этим преступлением, является великим месмеристом и массовым убийцей? — спросил я. — Он знает сотни тайных способов подчинять мужчин и женщин своей воле, заставляя выполнять любые свои приказы, сколь угодно ужасные. Возможно, все они под магнетическим внушением считают себя актерами, участвующими в некой театральной постановке, и уверены, что убиенные жертвы в конце спектакля вскочат на ноги и выйдут на поклоны к публике.

Диккенс бросил на меня пронзительный взгляд:

— Вы еще более изощренный выдумщик, чем я думал, Уилки Коллинз. Ваш новый роман — «Лунный камень» — будет пользоваться огромным успехом, если учесть ненасытный интерес публики к зверским убийствам, морям крови и извращенным страстям, таящимся в самых темных уголках души человеческой.

— Хочется надеяться, — пробормотал я.

Мы уже вошли в город и находились меньше чем в квартале от Рочестерского собора. Громадная башня накрывала своей тенью нас и все скопление приземистых серых домов, теснившихся по обеим сторонам дороги.

— Не хотите подняться наверх и полюбоваться видом? — спросил Диккенс, указывая на высокий каменный шпиль. — У меня ключ с собой.

— Не сегодня, — сказал я. — Но все равно спасибо, Чарльз.

— Тогда как-нибудь в другой раз, — сказал Неподражаемый.

— Значит, он не выказал ни чувства вины, ни раскаяния в связи с историей с двадцатью тысячами фунтов, — медленно проговорил Реджинальд Баррис. — А что насчет годовщины?

— Прошу прощения? — промолвил я, выходя из задумчивости.

— Годовщина Стейплхерстской катастрофы, — прошептал молодой сыщик. — Инспектор Филд просил вас употребить все свои старания, чтобы повсюду сопровождать Диккенса, когда он приедет в город в означенный день, а до девятого числа осталось всего три дня. В своем отчете вы не сообщили, принял ли он или отверг ваше предложение провести с ним в Гэдсхилл-плейс весь день девятого июня и последующую ночь, когда он непременно вернется в Лондон и в Подземный город.

Я допил свое пиво и с улыбкой посмотрел на Хиберта Хэчери — здоровенный мужчина, в своих стараниях не подслушивать нас, почтительно листал экземпляр «Женщины в белом», надписанный мной для него несколько минут назад.

— Вам нравится книга, сыщик Хэчери?

— Это бесценный подарок, мистер Коллинз, — пророкотал великан.

— Годовщина, мистер Коллинз, — настойчиво повторил несносный Баррис.

— Мистер Диккенс не пригласил меня погостить с Гэдсхилле или прогуляться с ним по городу воскресной ночью — девятого июня — в поисках фантома по имени Друд, — сказал я, не глядя на Барриса.

— В таком случае, сэр, — решительно произнес сыщик, — нам необходимо условиться о времени вашей встречи с инспектором Филдом. Он уже назначил двадцать трех агентов на дежурство в воскресную ночь...

— Но мистер Диккенс, — продолжал я, непринужденно перебивая выскочку, — согласился отужинать у меня дома на Мелкомб-плейс в воскресенье и... — я выдержал паузу для пущей выразительности, — заночевать там.

Баррис похлопал глазами:

— В ночь годовщины Стейплхерстской катастрофы Диккенс будет находиться в вашем доме?

Я медленно кивнул, чувствуя себя в полном праве принять снисходительный вид.

Баррис вскочил на ноги и с грохотом развернул стул.

— Я должен немедленно сообщить об этом инспектору Филду. Благодарю вас, мистер Коллинз. Это... неожиданный... поворот событий. — Он дотронулся до полей незримой шляпы и, взглянув на Хэчери, сказал: — Вы там поосторожнее, Хиб-берт.

Потом Баррис покинул таверну, а мы с Хэчери прошли мили полторы до Погоста Святого Страшателя. Готовясь к долгому ночному дежурству в склепе, сыщик достал из карманов несколько предметов — маленький фонарь, промасленный сверток со своим заполночным ужином (приготовленным, несомненно, одной из любимых дочерей), фляжку с водой и новенький экземпляр «Женщины в белом».

Спускаясь по лестнице в древние катакомбы, я размышлял — в какой уже раз — о безграничной способности человеческих существ привыкать к любым обстоятельствам. Два года назад, когда я впервые спускался сюда в обществе Диккенса, все вокруг казалось диковинным и наводило изрядный страх. Теперь же поход в подземелье стал для меня плевым делом — таким же обыденным мероприятием, как еженедельный поход в аптеку на углу за очередной бутылью лауданума.

Король Лазарь с двумя телохранителями встретил меня у занавешенного драной портьерой входа в свое логово. Моя трубка была уже заправлена и приготовлена для меня.

Когда через восемь часов я поднялся по лестнице навстречу новому дню, сыщик Хэчери уже аккуратно рассовал по карманам все свои вещи, кроме книги, которую он читал, подставив под тонкий луч утреннего света, проникавший в приоткрытую дверь склепа.

— Все в порядке, сэр? — спросил он, убирая книгу в один из своих многочисленных поместительных карманов.

— Все в полном порядке, сыщик Хэчери. В полном порядке. Похоже, день нынче чудесный.

Глава 22

В воскресенье, 9 июня 1867 года, я воротился домой позже, чем рассчитывал. Утром я сказал Кэролайн, что буду работать в клубе до вечера, но вернусь до прибытия Диккенса к ужину. Как вы наверняка догадались, дорогой читатель, на самом деле я провел почти весь день с Мартой Р*** в ее комнатах на Болсовер-стрит, потерял счет времени и примчался домой в несколько растрепанном виде и порядком измотанный.

В гостиной я застал Чарльза Диккенса, совершающего месмерические пассы над головой Кэролайн Г***, явно погруженной в дрему.

Диккенс первый заметил меня.

— А, милейший Уилки! — воскликнул он. — Вы как раз вовремя.

Кэролайн открыла глаза и сообщила:

— Мистер Диккенс гипнотизировал меня.

— Я так и понял, — холодно сказал я.

— Показывал мне, как воздействовать на тебя животным магнетизмом! — торопливо пояснила она. — Чтобы помогать тебе заснуть в такие ночи, когда... ну, ты знаешь.

— Я знаю, что в последнее время я хорошо сплю, — солгал я.

Диккенс улыбнулся:

— Но если Кэролайн научится погружать вас в сон посредством магнетических приемов, вы сможете сократить вечернюю дозу лауданума или даже вовсе от него отказаться.

— Я и так прекрасно обхожусь без лауданума, — сказал я.

— Ох, Уилки, но это же неправда! — вскричала Кэролайн. — Всего только третьего дня ты... — Она осеклась, встретив мой ледяной взгляд. А потом пролепетала: — Пойду перемолвлюсь с поварихой и узнаю, готов ли ужин.

Ужин вскоре подали, и он удался на славу — не только в смысле вкусовых впечатлений (приятная неожиданность для меня, поскольку наша «повариха» Бесс являлась также нашей горничной и одной из скромного штата нашей прислуги, в который помимо нее входили ее муж Джордж и их дочь Агнес, ровесница Кэрри), но также в смысле приятствия и веселости застольной беседы.

Кэрри, неизменно восторгавшаяся Чарльзом Диккенсом (в отличие от собственных его дочерей, заметно к нему поостывших в последнее время), держалась с милой девичьей застенчивостью — юная Хэрриет, как и ее мать, обладала довольно живым умом и уже овладела тонким искусством очаровывать взрослых мужчин, не впадая в кокетство. Даже Кэролайн принимала участие в нашем разговоре. Сам Диккенс был благодушен и любезен.

Не знаю, дорогой читатель моего посмертного будущего, удалось ли мне объяснить это в своих жалких мемуарах достаточно внятно и доходчиво, но Чарльз Диккенс, пусть предположительно негодяй и даже убийца, почти всегда был исключительно приятен в общении. Он вел разговор легко и непринужденно, без малейшей натуги или притворства, обычно не сосредоточиваясь на собственной персоне. В кругу моих знаменитых английских друзей и знакомых он единственный казался мне неизменно занятным, интересным и сочувственным собеседником, он никогда не стремился изречь напыщенный афоризм или отпустить тяжеловесную остроту, а в роли внимательного слушателя вызывал расположение тем, что часто смеялся, причем весьма заразительно.

Тогда, девятого июня, в год от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят седьмой, Диккенс тоже

много смеялся за ужином. Он производил впечатление человека, свободного от всяких забот и тягостных мыслей.

После ужина мы с ним поднялись в мой кабинет, чтобы выпить бренди и выкурить сигару-другую. Признаться, я немного побаивался заходить в кабинет в вечерние часы — июньской порой смеркалось поздно, и, хотя сейчас похолодало и лил дождь, сквозь шторы все еще пробивался тусклый свет, — но я утешил себя соображением, что Второй Уилки редко появлялся раньше полуночи. Вдобавок я ни разу не видел Второго Уилки, когда находился в чьем-либо обществе, — хотя Второй Уилки так или иначе тревожил меня своим присутствием, сначала смутно ощущаемым, а потом явственно зримым, с самого детства (о чем мне, вероятно, следовало сказать вам раньше, дорогой читатель).

Но сегодня он не стал докучать мне.

Диккенс, извинившись, отлучился в туалет, а я подошел к окну со своим стаканом бренди, раздвинул шторы и выглянул в сумерки.

Дождь по-прежнему лил как из ведра. Я слабо улыбнулся при мысли об инспекторе Филде и двадцати трех агентах, в большинстве своем нанятых на одну ночь (буквально несколько дней назад я с удивлением узнал, что в штате частного сыскного бюро Филда служат всего-навсего семь человек). Все они сторожили где-то поблизости, невидимые глазу, и наверняка чувствовали себя не особо комфортно под дождем в такую не по сезону холодную погоду. Кэрри и служанка Агнес жарко растопили камин в моем кабинете, и здесь было тепло и уютно.

Накануне я премного позабавился, когда инспектор велел мне выпроводить из дома под разными предлогами Кэролайн, Кэрри и трех слуг, чтобы он с Баррисом и еще несколькими своими людьми мог тщательно обследовать весь дом от подвала до чердака.

Филд настоял на такой необходимости, и мне осталось лишь ходить за ним по пятам, пока они осматривали двери и окна, прикидывая вслух, можно ли допрыгнуть

до верхних окон с соседних крыш, и горячо обсуждая между собой, с каких позиций лучше всего вести наблюдение за улицей, задним двором и ближайшими переулками. Наконец они с фанатичным усердием обрыскали весь подвал и даже не поленились перекидать лопатами добрых полтонны угля с одного места на другое. В каменной стене, возле которой всегда была насыпана угольная куча высотой в несколько футов, сыщики обнаружили отверстие... отверстие диаметром дюймов десять, если не меньше.

Сыщики посветили в дыру фонарем, но узкий лаз всего через пару футов резко уходил вниз, в камень и землю.

— Куда это ведет? — осведомился инспектор Филд.

— Откуда мне знать? — сказал я. — Я впервые это вижу.

Филд отдал распоряжение Баррису и прочим своим людям, и они — уму непостижимо! — притащили кирпичи, строительную известь и необходимые инструменты, чтобы заложить столь безобидное отверстие. Они управились с делом за десять минут: Баррис самолично укладывал кирпичи и орудовал мастерком. Я заметил, с какой сноровкой он работал, и догадался, почему у него такие мускулистые руки. Мистер Реджинальд Баррис, как бы он ни щеголял своим оксфордским или кембриджским акцентом, явно происходил из низкого ремесленного сословья.

— Вы защищаете меня и Диккенса от крыс? — с улыбкой спросил я.

Инспектор наставил на меня толстый палец, каковой жест невесть почему показался угрожающим.

— Помяните мои слова, мистер Коллинз. Либо мистер Диккенс постарается встретиться с Друдом завтра, в знаменательную годовщину их встречи на месте Стейплхерстской катастрофы, либо Друд изыщет способ повидаться с Диккенсом. В любом случае, сэр, вы окажетесь в опасности, коли встреча состоится здесь.

Я рассмеялся и указал на крохотную дыру в стене, теперь наглухо заложенную кирпичом.

— По-вашему, Друд каким-то образом проникнет в дом через такое отверстие? — Я показал руками ширину лаза: сквозь него не протиснулся бы и намазанный жиром ребенок.

Филд не улыбнулся в ответ.

— Увы, мистер Коллинз, существо, которое вы называете Друдом, способно пролезать и в более узкие отверстия. Если его приглашают.

— Ну вот, вы сами себе и ответили, инспектор, — посмеиваясь, промолвил я. — Я не приглашал мистера Друда к себе домой.

— Да. Но возможно, это сделал мистер Диккенс, — сказал инспектор Филд.

Потом мужчины продолжили с превеликим тщанием обследовать мой подвал, дюйм за дюймом.

— Я еду в Америку, — сообщил Диккенс.

Мы допивали бренди и докуривали сигары, огонь в камине шипел и потрескивал у наших ног, дождь по-прежнему барабанил в окна. Сейчас, в моем кабинете, Диккенс был столь же молчалив и мрачен, сколь словоохотлив и весел он был за ужином часом ранее.

— Вы шутите! — воскликнул я.

— Нисколько.

— Но... — начал я и осекся.

Я собирался сказать: «Но ведь вам здоровье не позволяет» — однако вовремя прикусил язык. О скверном состоянии здоровья Неподражаемого я слышал от многих людей — от Фрэнка Берда, моего брата Чарли, дочери Диккенса Кейт и разных наших общих знакомых. Но Диккенс только разозлился бы, обнаружь я осведомленность касательно его серьезных немощей и недугов: хронической усталости, валившей его с ног между концертами во время весеннего турне по Англии и Шотландии; усугубляющихся проблем с левой ногой и левой почкой; несварения, метеоризма, сопутствующих головных болей и — самое главное — быстрого старения организма.

Вместо этого я сказал:

— Но ведь вы не любите Америку, и американцы воспрепятствуют вашему возвращению туда. Вы совершенно недвусмысленно выразили свое презрение к ним в своих «Американских заметках» и «Мартине Чезлвите».

— Пфа! — Диккенс небрежно махнул рукой. — Я посещал Америку двадцать пять лет назад, дорогой Уилки. Даже такая отсталая страна должна была исправиться за четверть-то века. Они всяко исправились в части уважения к авторским правам и выплат английским авторам за журнальные публикации — как вы сами прекрасно знаете.

В последнем он был прав. Я заключил превыгоднейшую сделку с американцами и уже почти завершил переговоры насчет публикации «Лунного камня» на еще лучших условиях, хотя покамест даже не начал толком писать роман.

— Кроме того, — продолжал Диккенс, — у меня там много друзей, иные из которых слишком стары или робки, чтобы пересечь океан. Мне бы хотелось повидаться с ними в последний раз до их или моей смерти.

Упоминание о смерти растревожило мою душу. Я допил последний глоток бренди и уставился в каминный огонь, снова думая о глупом инспекторе Филде и его людях, мокнущих под дождем где-то рядом. Если Диккенс собирался поступить сообразно предсказанию Филда — вспомнить вдруг о якобы назначенной встрече и под этим предлогом улизнуть из моего дома, не оставаясь на ночь, — то ему следовало поторопиться. Час был уже поздний.

— В любом случае, — проговорил Диккенс, устраиваясь поудобнее в глубоком кожаном кресле с подголовником, — я решил в начале августа послать Долби на разведку новых земель, как выражаются американцы. Он возьмет с собой два моих рассказа, «Объяснение Джорджа Сильвермена» и «Роман, написанный на каникулах». Оба они были заказаны двумя американскими издателями и в скором времени, полагаю, появятся в дет-

ском журнале под названием «Наше юное поколение» или что-то в таком духе.

— Да, — откликнулся я. — Вы показывали мне «Роман, написанный на каникулах» в Гэдсхилле несколько недель назад... вы тогда еще сказали, что все истории там сочинены детьми, давшими волю своему причудливому воображению. И я вам поверил.

— Я так и не понял, лестно это для меня или оскорбительно.

— Разумеется, я не хотел ни польстить вам, ни оскорбить вас, Чарльз, — сказал я. — Просто констатация факта. Если уж вы начинаете работать со словом, у вас все получается в высшей степени достоверно. Но я прекрасно помню, как вы говорили мне, что двадцать пять лет назад долгое, напряженное турне по Америке изрядно подорвало ваши силы. Форстер доныне утверждает, что американцы были недостойны внимания такого гения, как вы. Вы уверены, Чарльз, что вам хочется снова подвергнуть себя столь тяжким испытаниям?

Диккенс, уже взявший предложенную мной сигару, теперь выпустил струю дыма в потолок.

— Действительно, тогда я был моложе, Уилки, но я также был измотан работой над «Часами мистера Хамфри», а всего за несколько дней до отъезда перенес довольно серьезную операцию. Кроме того, постоянные выступления с речами, которых от меня требовали с первого дня моего пребывания в Америке, утомили бы даже члена парламента, не занятого ничем другим. Вдобавок тогда я был гораздо нетерпимее и раздражительнее, чем сейчас, безмятежной порой зрелости.

Я подумал о «безмятежной» поре зрелости этого писателя. Инспектор Филд сообщил мне, что Эллен Тернан с начала апреля по конец мая болела и требовала, чтобы Чарльз Диккенс — вероятно, самый публичный человек в нашей стране — пропадал из поля зрения общественности на несколько дней кряду и сидел у постели своей недужной любовницы. Выработавшаяся у Диккенса привычка к конспирации распространялась не только на его предполагаемые встречи с существом по имени Друд;

скрытность и притворство стали второй натурой писателя. В последнее время Диккенс по крайней мере дважды присылал мне письма, написанные якобы в Гэдсхилл-плейс, хотя я знал наверное, что в указанные в них даты он находился у Эллен Тернан или в своем тайном доме по соседству.

— Есть и другие причины, почему мне надо покинуть страну, — тихо проговорил Диккенс. — Настало время рассказать вам о них.

Я слегка приподнял брови и выжидательно посмотрел на него. Я приготовился услышать очередную выдумку, а потому следующие слова Диккенса стали для меня полной неожиданностью.

— Вы помните персонажа, которого я именовал Друдом? — спросил Диккенс.

— Конечно, — ответил я. — Мог ли я забыть ваш рассказ о Стейплхерстской катастрофе или наше путешествие по подземным туннелям позапрошлым летом?

— Ну да, разумеется, — сухо промолвил Диккенс. — Думаю, дорогой Уилки, вы мне не верите, когда я говорю о Друде... — Он небрежно отмахнулся от моих поспешных возражений. — Нет, выслушайте меня сейчас, друг мой. Прошу вас. Я многого не рассказывал вам, Уилки... многого не мог рассказать... вы бы просто мне не поверили, расскажи я вам. Но Друд действительно существует, как вы почти удостоверились в Бирмингеме.

Я снова открыл рот, но не сумел издать ни звука. Что он имел в виду? Я давно уже убедил себя, что кошмарный сон наяву, привидевшийся мне на выступлении Диккенса в Бирмингеме год назад, являлся опиумной фантазией, навеянной ужасным столкновением с грабителями в темном бирмингемском переулке. Кровь, позже обнаруженная на моем воротничке и галстуке, истекла из пореза, нанесенного мне грабителем, приставлявшим нож к моему горлу.

Но откуда Диккенс мог знать про сновидение, вызванное наркотиком? Я никому о нем не рассказывал, даже Кэролайн и Марте.

Прежде чем я успел сформулировать вопрос, Диккенс снова заговорил:

— Чем задаваться вопросом о реальности или нереальности Друда, дорогой Уилки, вы когда-нибудь задумывались об истинных мотивах вашего друга инспектора Филда, одержимого идеей поймать или убить этого человека?

При упоминании о моем друге инспекторе Филде я покраснел. Я всегда считал, что Диккенс ничего или почти ничего не знает о моем общении с пожилым сыщиком — откуда он мог знать? — но он часто изумлял меня высказываниями, свидетельствовавшими о его осведомленности или поразительной догадливости.

С другой стороны, если Друд действительно существует (чего я не допускал ни на минуту), вполне возможно, Диккенс получает сведения от этого фантома и его агентов — точно так же, как я узнаю информацию от инспектора Филда и его агентов.

Не впервые за последние два года я почувствовал себя пешкой в какой-то ужасной шахматной партии, разыгрываемой в непроглядной ночной тьме.

— Вы уже излагали мне свои соображения насчет так называемой одержимости инспектора Филда, — ответил я. — По собственным вашим словам, он считает, что успех в данном деле позволит ему добиться восстановления пенсии.

— Недостаточно веский мотив, чтобы оправдать драконовские, если не сказать отчаянные меры, принятые инспектором Филдом в последнее время, — вам так не кажется? — спросил Диккенс.

Я задумался. Во всяком случае, нахмурился, прищурился и придал лицу сосредоточенное выражение. Честно говоря, в тот момент я остро сознавал лишь одно: что пульсирующий шар боли начинает разрастаться за моим левым глазом, выпускать горячие щупальцы, с каждой секундой проникающие все глубже в череп.

— Нет, — наконец проговорил я. — Не кажется.

— Я знаю Филда, — сказал Диккенс. Огонь в камине шипел и потрескивал, зола осыпалась с кусков угля серыми хлопьями. В кабинете вдруг стало невыносимо жарко. — Я знаю Филда без малого двадцать лет, Уилки, и его амбициозность превосходит всякое понимание.

«Ты говоришь о себе», — подумал я, но ничего не сказал вслух.

— Инспектор Чарльз Фредерик Филд хочет снова занять должность старшего комиссара, — продолжал Диккенс. — Он метит на место начальника сыскного отдела Скотленд-Ярда.

Я рассмеялся, несмотря на неуклонно возрастающую боль.

— Безусловно, здесь вы ошибаетесь, Чарльз. Филд — старик... ему далеко за шестьдесят.

Диккенс бросил на меня сердитый взгляд:

— У нас во флоте есть адмиралы восьмидесяти с лишним лет, Уилки. Нет, смех вызывает не возраст Филда и даже не его амбиции. А его средства достижения цели.

— Но вы же сами говорили мне, что инспектор Филд настроил против себя всю Столичную полицию своими неправомерными действиями, совершенными в роли частного сыщика, — поспешно сказал я, сообразив, что оскорбил Диккенса упоминанием о преклонном возрасте. — Они же лишили его пенсии! Ясное дело, он никогда не сможет занять прежний пост в обновленной, современной лондонской полиции!

— Сможет, дорогой Уилки, сможет... если отдаст под суд предполагаемого вожака шайки убийц, на счету которого не одна сотня жертв. Филд еще много лет назад научился использовать городские газеты в своих интересах, и он непременно сделает это сейчас.

— Значит, Чарльз, вы разделяете мнение инспектора, что Друд является убийцей и предводителем шайки убийц?

— Я не разделяю никаких мнений инспектора Филда, — отрезал Диккенс. — Я просто пытаюсь объяснить вам одну вещь. Скажите, друг мой, вам нравится платоновский Сократ?

Я растерянно моргнул, обескураженный столь резкой переменой темы. Чарльз Диккенс, как всем известно, был самоучкой и довольно болезненно переживал сей факт, хотя всю жизнь с превеликим усердием занимался самообразованием. Он никогда прежде не заводил речи о Платоне или Сократе, и сейчас я не мог взять в толк, какое отношение имеют два античных философа к предмету нашего разговора.

— Платон? — недоуменно переспросил я. — Сократ? Ну да, конечно. Это превосходно.

— В таком случае вы извините меня, если я задам вам несколько вопросов по ходу наших совместных поисков некой имманентной, но не очевидной истины?

Я кивнул.

— Если допустить, что некто Друд является не просто галлюцинацией или плодом бессовестного вымысла, — негромко проговорил Диккенс, ставя на стол стакан с бренди и складывая ладони домиком, — задавались ли вы вопросом, Уилки, почему я продолжал встречаться с ним в течение последних двух лет?

— Я понятия не имел, что вы продолжали встречаться с ним, Чарльз, — солгал я.

Диккенс скептически усмехнулся, глядя на меня поверх своих длинных пальцев, сложенных кончик к кончику.

— Но если вы продолжали знакомство с ним... предположим... — продолжал я, — тогда я бы принял объяснение, данное вами ранее.

— Что я совершенствуюсь в искусстве месмеризма.

— Да. И расширяете свои познания о древнем египетском культе.

— Вполне достойные цели, — сказал Диккенс. — Но разве стоило бы, по-вашему, идти на столь великий риск единственно ради возможности утолить свою любознательность? На риск, сопряженный с неусыпной слежкой ретивых агентов инспектора Филда? С частыми сошествиями в Подземный город? И самим общением с маньяком, по словам нашего уважаемого инспектора, убившим не одну сотню человек?

Я совершенно не понимал, о чем он меня спрашивает. Через несколько секунд тупого оцепенения, которое я постарался выдать за глубокое раздумье, я промямлил:

— Нет... пожалуй, не стоило бы.

— То-то и оно, — промолвил Диккенс менторским тоном. — А вы когда-нибудь допускали мысль, что я защищаю Лондон от ярости этого монстра, милейший Уилки?

— Защищаете? — переспросил я.

Теперь боль тесным обручем сдавливала череп и болезненно пульсировала за правым глазом.

— Вы читали мои книги, дорогой друг. Вы слышали мои речи. Вы посещали приюты для бедняков и падших женщин, основанные с моей помощью и при моей финансовой поддержке. Вы знаете мои взгляды на социальные проблемы.

— Да, — сказал я. — Да, конечно, Чарльз.

— В таком случае имеете ли вы представление о гневе, кипящем и бурлящем там, в Подземном городе.

— О гневе? — повторил я. — Вы говорите о гневе Друда?

— Я говорю о гневе тысяч, возможно, десятков тысяч мужчин, женщин и детей, изгнанных в подземные логова, сточные туннели, трущобы и подвалы, — сказал Диккенс, возвысив голос до такой степени, что Кэролайн внизу, вероятно, его услышала. — Я говорю о гневе тысяч лондонцев, лишенных возможности зарабатывать на хлеб тяжелым трудом даже в наземных трущобах и изгнанных в подземную смрадную тьму, точно крысы. Точно крысы, Уилки!

— Крысы, — повторил я. — Чарльз, о чем, собственно, идет речь? Не хотите же вы сказать, что этот... Друд... является представителем десятков тысяч беднейших обитателей Лондона. Вы же сами говорили, что он фигура эксцентричная... иностранец.

Диккенс хихикнул и легко побарабанил кончиками пальцев друг по другу.

— Если Друд просто фантом, дорогой Уилки, то фантом из страшнейшего кошмара наземного Лондона.

Он — сгусток тьмы в темнейших глубинах души. Он — воплощение гнева всех тех, кто потерял последний проблеск надежды в нашем современном городе и современном мире.

Я устало потряс головой:

— Я потерял нить вашей мысли, Чарльз.

— Позвольте мне попробовать еще раз. Час уже поздний. Зачем было Друду разыскивать меня на поле смерти, каковым являлось место Стейплхерстской катастрофы, а, Уилки?

— Я и не знал, что он разыскивал вас, Чарльз.

Диккенс досадливо махнул рукой, снова поднес к губам сигару и сквозь клубы голубого дыма сказал:

— Конечно разыскивал. Вам следует научиться слушать, милейший Уилки. Говорю вам как любимому другу и собрату по перу: вам надобно развивать восприимчивость в данном отношении. Вы единственный на свете человек, кому я рассказал о существовании Друда и моих с ним отношениях. Вы должны слушать внимательно, чтобы понять ужасный смысл этой... драмы. Драмы, которую инспектор Филд упорно продолжает считать игрой и фарсом.

— Я внимательно вас слушаю, — холодно промолвил я.

Меня страшно раздражало, когда Диккенс — обычный литератор, чьи книги в последнее время продавались хуже моих, причем литератор, ни разу не получавший от издателя таких крупных авансов, какие выплачивались мне, — принимался меня критиковать.

— Почему Друд выбрал меня? Почему из всех людей, уцелевших в железнодорожном крушении, наш восставший из гроба Друд выбрал именно меня?

Я задумался, украдкой потирая пульсирующий правый висок.

— Право, не знаю, Чарльз. Безусловно, вы были самым известным человеком, ехавшим на том поезде.

«Со своей любовницей и ее матерью», — мысленно добавил я.

Диккенс помотал головой.

— Не известность моя привлекла ко мне Друда и не отпускает по сей день, — негромко проговорил он, выпуская струю голубого дыма. — А мои способности.

— Ваши способности.

— Писательские, — пояснил Диккенс почти раздраженно. — Ибо я являюсь — прошу прощения за вынужденную нескромность, — вероятно, самым значимым писателем Англии.

— Ясно, — солгал я. — Кажется, я наконец понял. По крайней мере, начинаю понимать. Друд хочет, чтобы вы написали для него что-то.

Диккенс рассмеялся. Без всякой издевки или презрения (я бы, наверное, тотчас удалился в спальню вместе со своей головной болью, когда бы услышал подобные нотки), но обычным своим мальчишеским, заливистым, искренним смехом.

— Пожалуй, да. — Он стряхнул пепел с сигары в ониксовую пепельницу. — Друд настойчиво просит меня взяться за перо. И написать не что иное, как его биографию, дорогой Уилки. Безусловно, подобный труд займет пять толстенных томов, если не шесть или семь.

— Его биографию, — проговорил я.

Если Диккенсу и надоело, что я постоянно повторяю за ним слова, то уж всяко не больше, чем мне самому. Вечер, начавшийся с чудесного ужина, приятной застольной беседы и смеха, теперь походил на бредовый сон.

— Только по одной этой причине Друд еще не обрушил всю силу своей ярости на меня и мою семью, на проклятого инспектора Филда, на вас и на весь Лондон, — устало сказал Диккенс.

— На меня? — удивился я.

Казалось, Диккенс меня не услышал.

— Почти каждую неделю я спускаюсь в этот Аид... в Подземный Лондон, — продолжал он. — Каждую неделю я достаю свою записную книжку и слушаю. И записываю. И киваю. И задаю вопросы. Всячески стараюсь растянуть разговор. Всячески стараюсь отсрочить неизбежное.

— Неизбежное?

— Неизбежный взрыв гнева, который произойдет, когда это чудовище обнаружит, что на самом деле я не записал ни слова из его гнусной «биографии», друг мой. Но я узнал многое... чего лучше и не знать вовсе. Я узнал об омерзительных древних ритуалах, непостижимых разуму душевно здорового англичанина. Я узнал о месмерическом магнетизме, применяемом для отвратительных, чудовищных целей: совращение, изнасилование, подстрекательство, использование других людей для устрашения, мести, убийства. Я узнал... слишком многое.

— Вам нужно прекратить свои походы в подземный мир, — сказал я, думая о тихом, благостном логове Короля Лазаря под Погостом Святого Стращателя.

Диккенс снова рассмеялся, но на сей раз принужденно.

— Если я не прихожу к нему, он является ко мне, Уилки. Во время моего турне. На железнодорожных станциях. В гостиницах в Шотландии, Уэльсе и Бирмингеме. В Гэдсхилл-плейс. По ночам. Именно лицо Друда я видел за окном своей спальни рождественской ночью, когда Диккенсон разгуливал во сне.

— Может, Друд убил молодого Диккенсона? — спросил я, воспользовавшись случаем перейти в наступление.

Диккенс растерянно поморгал, а потом медленно, устало проговорил:

— Понятия не имею, Уилки. Мальчик попросил меня на несколько недель стать его опекуном, только по названию. Сразу по достижении совершеннолетия он взял все свои деньги в моем банке по выписанному мной чеку. Потом он... уехал. Больше мне ничего не известно.

— Но Друду наверняка хотелось бы заполучить деньги мальчика не меньше, чем написанную вами биографию, — продолжал я давить на Диккенса. — А ну как он злоумышленно употребил свою магнетическую силу, чтобы заставить кого-нибудь убить бедного малого и похитить его деньги для него, Друда?

Диккенс посмотрел на меня так пристально, так холодно, что я невольно отпрянул назад в кресле.

— Да, — сказал Неподражаемый. — Когда дело касается Друда, все может быть. Этот монстр мог заставить меня убить мальчика и принести деньги в подземный храм, а я ничего не помнил бы. Я бы считал все произошедшее сном, смутным воспоминанием о каком-то спектакле, виденном в далеком прошлом.

У меня бешено заколотилось сердце и перехватило дыхание, когда я услышал такое признание.

— Или же, — продолжал Диккенс, — он мог заставить вас совершить это, милейший Уилки. Друд знает вас, разумеется. У него на вас виды.

Я выпустил струю дыма, закашлялся и попытался справиться с сердцебиением.

— Чепуха, — сказал я. — Я никогда не встречался с этим человеком, если он вообще человек.

— Вы уверены? — На губах Диккенса опять играла неприятная улыбка.

Я вспомнил его недавнее странное упоминание о видении, явившемся мне в бирмингемском театре. Сейчас было самое время спросить, откуда он о нем знает, — возможно, другого такого удобного момента больше не представится, — но теперь острая боль пульсировала в висках в такт частому биению сердца, и я задыхался от жары.

— Так вы говорите, он приходит к вам домой, — сказал я, решив не поднимать интересующий меня вопрос.

— Да... — Диккенс со вздохом откинулся на спинку кресла и затушил окурок сигары. — Я безумно устал от всего этого, Уилки. Необходимость таиться и скрываться. Снедающий душу страх. Лицемерие и притворство перед Друдом. Поездки в Лондон и походы в Подземный город со всеми его кошмарами. Постоянное сознание опасности, грозящей Джорджине, Кейти, детям... Эллен. Я безумно устал от всего этого.

— Разумеется, — пробормотал я.

Я подумал об инспекторе Филде и остальных, которые мокли на улице под дождем. Ждали в засаде.

— Так что сами понимаете: я должен уехать в Америку, — прошептал Диккенс. — Друд не последует за мной туда. Он не может туда поехать.

— Почему?

Диккенс резко выпрямился и уставился на меня расширенными глазами. Впервые за все время нашего знакомства я увидел на лице друга выражение неподдельного ужаса.

— Просто не может! — выкрикнул он.

— Ну да, конечно, — торопливо согласился я.

— Но во время моего отсутствия, — прошептал Диккенс, — вы будете в опасности, друг мой.

— Я? В опасности? С чего бы вдруг, Чарльз? Я не имею ни малейшего касательства к Друду и страшной игре, которую вы и Филд ведете с ним.

Диккенс потряс головой и несколько мгновений молчал, даже не улыбаясь. Наконец он проговорил:

— Вы будете в опасности, Уилки. Друд уже расправлял над вами черные крыла, всецело подчиняя своей власти, по меньшей мере однажды — и почти наверняка не раз. Он знает, где вы живете. Он знает ваши слабости. И что самое ужасное для вас — он знает, что вы писатель, ныне пользующийся популярностью в Англии и Америке.

— Какое отношение это име... — начал я и осекся на полуслове.

Диккенс кивнул.

— Да, — прошептал он. — Друд выбрал меня своим биографом, но он знает, что легко найдет мне замену, если я умру... или если он разоблачит мою рискованную игру и решит расправиться со мной. Я уеду в Америку не раньше ноября — мне нужно уладить много дел и постараться убедить Друда, что я отправляюсь в Штаты единственно с целью договориться о публикации его биографии, — и до моего отъезда нам с вами еще не раз представится возможность побеседовать на самые разные темы, Уилки. Но пообещайте мне сейчас, что вы будете очень осторожны.

— Обещаю, — сказал я.

В тот момент я понял со всей определенностью: мой друг Чарльз Диккенс сошел с ума.

Мы немного поговорили о других предметах, но у меня страшно болела голова, а Диккенс явно изнемогал от усталости. Еще не было и одиннадцати, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи и Диккенс отправился в гостевую комнату, а я в свою спальню.

Я велел служанке погасить все лампы в доме.

Я разбудил Кэролайн, заснувшую в моей постели в ожидании меня, и отослал вниз, в ее собственную спальню. Сегодня ей не стоило оставаться на втором этаже, где ночевал Диккенс.

Я переоделся в халат и выпил три стакана лауданума. Однако лекарство, обычно мне помогавшее, этой июньской ночью не уняло ни телесной боли, ни душевной тревоги. Какое-то время я лежал в темноте — сердце тяжко билось в груди, точно маятник бесшумных часов, — а потом встал и подошел к окну.

Дождь прекратился, и теперь над землей стелился летний туман, просачиваясь сквозь живые изгороди и кусты в маленьком парке напротив. Луна скрывалась за плотной облачной пеленой, но низкие облака, стремительно плывущие над крышами домов, источали жидкий сероватый свет. В лужах дрожали желтоватые блики от фонаря на углу. Сегодня на обычном посту никто не дежурил, даже мальчишка, заменивший Гузберри. Я задумался, где же заняли позицию инспектор Филд и его многочисленные агенты. В пустующем доме по соседству? В темном переулке восточнее?

Настоящие часы — в коридоре на первом этаже — медленно пробили двенадцать.

Я вернулся в постель, закрыл глаза и попытался отрешиться от тревожных мыслей.

До слуха моего долетел слабый звук, раздавшийся где-то далеко внизу и распространившийся по полым стенам. Тихий шорох. Легкое царапанье и поскребывание. Скрип двери? Нет, вряд ли. Значит, окно? Нет. Осторожная возня с недавно положенными кирпичами в кро-

мешной подвальной тьме или осторожное, целенаправленное шевеление между кучами угля. Но определенно какое-то царапанье и поскребывание.

Я сел в кровати и нервно подтянул одеяло к самому подбородку. Проклятое писательское воображение, вероятно дополнительно разгоряченное лауданумом, явственно нарисовало мне крысу размером с крупного шпица, протискивающуюся сквозь вновь пробитую дыру в стене угольного подвала. Но у этой громадной крысы было человеческое лицо. Лицо Друда.

Скрипнула дверь. Тонко заскрипели половицы.

Неужто Диккенс крадется прочь из дома, как с уверенностью предсказывал инспектор Филд?

Я выскользнул из постели, надел халат и, опустившись на одно колено, по возможности тише выдвинул нижний ящик комода. Там под стопкой летнего нижнего белья лежал огромный револьвер, выданный мне сыщиком Хэчери. Крепко сжимая в руке до нелепого увесистое, громоздкое оружие, я на цыпочках подошел к двери и осторожно приоткрыл ее, поморщившись от жалобного стона дверных петель.

В коридоре никого не было, но теперь я различал голоса. Шепчущие голоса. Мне показалось — мужские, но я не был уверен.

Радуясь, что не снял на ночь чулки, я тихонько вышел в коридор и остановился у темной лестничной площадки. С первого этажа не доносилось ни звука, если не считать глухого стука маятника да утробного тиканья напольных часов. Снова послышались шепчущие голоса. Они раздавались где-то совсем рядом.

Может, Кэролайн, выдворенная мной из спальни и потому сердитая на меня, возымела желание поговорить с Диккенсом? Или там Кэрри, всегда выделявшая Неподражаемого среди всех прочих людей, бывавших в нашем доме?

Нет, шепот доносился не из гостевой комнаты. Я увидел вертикальную полосу тусклого света, пробивающегося из приоткрытой двери моего кабинета, и медленно

двинулся по коридору, держа тяжелый револьвер стволом вниз.

Там горела единственная свеча. Приникнув к щели, я разглядел три фигуры в придвинутых к холодному камину креслах. Диккенс в красном марокканском балахоне размещался в кресле с подголовником, которое занимал немногим ранее. Он сидел, подавшись вперед, — на лице у него лежала густая тень — и горячо шептал что-то, энергично жестикулируя. В моем рабочем кресле располагался Второй Уилки. Борода у моего двойника была чуть покороче, чем у меня, словно он недавно ее подровнял, и на носу у него красовались мои запасные очки. Играющие на стеклах очков блики придавали ему демонический вид.

Третье кресло, где час назад сидел я, стояло спинкой ко мне, и я видел лишь черный рукав и длинные бледные пальцы на подлокотнике да лысую макушку над темной обивочной кожей. Разумеется, я понял, кто это такой, еще прежде, чем фигура подалась ближе к свету свечи и с присвистом прошептала несколько слов в ответ Диккенсу.

Друд находился в моем доме. Перед моим мысленным взором всплыл образ крысы в угольном подвале, а потом я словно воочию увидел клубящуюся струйку дыма или тумана, который просачивается между кирпичами и медленно сгущается, превращаясь в подобие человека.

У меня закружилась голова. Я привалился к косяку, чтобы не упасть, и в следующий миг осознал, что могу сейчас распахнуть дверь, стремительно войти в кабинет и убить Друда двумя выстрелами, а потом уложить Второго Уилки. А потом, возможно... и самого Диккенса.

Нет... я могу выстрелить в Друда, но могу ли я убить его? А если я выстрелю во Второго Уилки, не получится ли, что я выстрелю в себя самого? Не найдут ли служащие Столичной полиции, вызванные поутру истерически рыдающей Кэролайн, в кабинете Уилки Коллинза три мертвых тела, одним из которых будет охладелый труп самого Уилки Коллинза?

Я подался вперед и напряг слух, силясь разобрать слова, но шепот вдруг прекратился. Сначала Диккенс поднял голову и посмотрел на меня. Потом Второй Уилки обратил ко мне круглую бледную физиономию, похожую на кроличью морду, если не считать бороды да громадного лба, и пристально уставился на меня. А потом повернулся Друд... медленно, страшно. Безвекие глаза мерцали красным огнем, точно два уголька из адского костра.

Напрочь забыв про револьвер, я закрыл дверь с тихим щелчком и пошел обратно к своей спальне. Разговор в кабинете возобновился, еле слышный сквозь закрытую дверь, но теперь он велся не шепотом.

Действительно ли я услышал приглушенный смех, прежде чем затворил и запер на ключ дверь спальни? Этого я никогда не узнаю.

Глава 23

Летом 1867 года мы с Кэролайн, Кэрри и тремя нашими слугами (Джорджем, Бесс и Агнес) едва не остались без крыши над головой. Нас чуть не выставили на улицу. Мы знали, что срок аренды дома на Мелкомб-плейс истекает, но я не сомневался, что аренда будет продлена по меньшей мере на год-два, несмотря на мои частые ссоры с домовладельцем. Моя уверенность оказалась ошибочной, и весь июль ушел на беготню по Лондону в поисках жилья.

Само собой разумеется, поскольку в июне я усиленно занимался «Лунным камнем» (написал первые три выпуска, чтобы показать Диккенсу), а в июле взялся писать другое произведение (в соавторстве с Неподражаемым), бегать по городу пришлось Кэролайн.

Пока она лихорадочно искала нам жилье, я в мирной тишине своего клуба завершал работу над тремя первыми выпусками «Лунного камня».

Последние два дня июня, субботу и воскресенье, я провел в Гэдсхилле и прочитал законченные главы

Диккенсу — он пришел в дикий восторг и тотчас же согласился заплатить фунтов семьсот пятьдесят за право публикации романа в «Круглом годе», пообещав напечатать первый выпуск пятнадцатого декабря. Я безотлагательно написал в американский издательский дом «Харпер бразерс» и запросил у них за право журнальной публикации «Лунного камня» такую же сумму.

Когда я вернулся в Лондон первого июля, Кэролайн принялась виться вокруг меня назойливой мухой, упрашивая съездить посмотреть несколько выставленных на аренду или продажу домов, которые она нашла. Я проехал по указанным адресам, но все оказалось пустой тратой времени — лишь один особнячок на Корнвелл-террас более-менее мне приглянулся. Я выговорил Кэролайн за то, что она смотрит дома за пределами Мэрилебона — я успел полюбить этот район и вдобавок хотел поселиться с Кэролайн и Кэрри поблизости от Болсовер-стрит, где «миссис Доусон» жила уже практически постоянно.

Мой сварливый домовладелец теперь требовал, чтобы мы освободили дом к первому августа — каковое требование я встретил спокойно и собирался проигнорировать, а Кэролайн восприняла с ужасом, отчего стала страдать сильными мигренями, еще лихорадочнее искать жилье днями напролет, а по вечерам еще многословнее и плаксивее жаловаться на жизнь.

В мае Диккенс предложил мне написать в соавторстве с ним длинную повесть для следующего рождественского номера «Круглого года», и я согласился — но только после долгих и зачастую до смешного ожесточенных споров с Уиллсом по поводу гонорара (Диккенс благоразумно уклонялся от всяких финансовых переговоров со мной). За свою половину повести я запросил очень много, четыреста фунтов, хотя, признаюсь вам, дорогой читатель, данная сумма пришла мне на ум единственно потому, что она ровно в десять раз превосходила гонорар, полученный мной в 1855 году за первую успешную публикацию в диккенсовском журнале — повесть «Сестра Роза». В конце концов я согласился на триста фунтов — не по мягкотелости или за недостатком выдержки,

а потому лишь, что хотел снова публично связать свое имя с Диккенсом.

Все лето 1867 года Диккенс пребывал в наилучшем расположении духа. Я намеревался в июле продолжить работу над «Лунным камнем», но во время моего визита в Гэдсхилл Диккенс убедил меня, что нам следует немедленно приступить к написанию рождественской повести. Он предложил взять за основу наше совместное путешествие через Альпы в 1853 году (счастливое время для нас обоих) и внес на рассмотрение название — «Проезд закрыт».

Кэролайн страшно обрадовалась, узнав о моем намерении отложить работу над «Лунным камнем», и пришла в бешенство, узнав, что в течение следующих нескольких месяцев я буду проводить много времени в Гэдсхилле.

Сразу по своем возвращении из Гэдсхилла, в понедельник (когда Кэролайн, запершись в своей комнате, лила горькие слезы и гундосым голосом обвиняла меня в эгоизме и нежелании помогать ей с поисками жилья), я получил записку от Диккенса, приехавшего в город с целью поработать в конторе журнала.

> Сим удостоверяю, что я, нижеподписавшийся, показал себя (временно) слабоумным болваном, когда заявил, что рождественский номер состоит из тридцати двух страниц. Посему настоящим заявляю, что упомянутый рождественский номер состоит из сорока восьми страниц, причем страниц длинных и трудных, о чем всегда явственно свидетельствовал пот лица моего.

В таком вот шутливом настроении находился Чарльз Диккенс в июле 1867 года.

Марта Р*** пребывала в гораздо лучшем расположении духа, чем Кэролайн Г***, а потому по завершении работы в клубе «Атенеум» я чаще всего направлялся на Болсовер-стрит, чтобы поужинать и переночевать там. Поскольку иногда я действительно оставался на ночь в клубе, а также часто ездил в Гэдсхилл посоветоваться с Диккенсом по поводу повести «Проезд закрыт», Кэролайн не задавала никаких вопросов.

Однажды вечером, заканчивая ранний ужин в клубе, я вдруг увидел инспектора Чарльза Фредерика Филда, стремительно шагающего ко мне через зал. Не спросив позволения, он придвинул стул к моему столу и сел.

Первым моим побуждением было сказать: «Боюсь, в этот клуб допускаются только джентльмены, инспектор», но при виде его довольного лица, в кои-то веки сморщенного в улыбке, я просто промокнул губы салфеткой, приподнял брови и выжидательно уставился на него.

— Хорошие новости, мистер Коллинз, и я хотел первым сообщить их вам.

— Вы поймали... — я окинул взглядом немногочисленных посетителей ресторана, — вашего подземного джентльмена?

— Пока нет, сэр. Пока нет. Но скоро поймаю! Нет, речь идет о вашей проблеме с наймом нового жилья.

Я не говорил инспектору Филду об истечении срока аренды нашего дома, но нисколько не удивился его осведомленности. Я продолжал выжидательно смотреть на него.

— Помните, перед вами стояло непреодолимое препятствие в лице миссис Шернволд? — тихо промолвил он, быстро оглядываясь по сторонам, словно заговорщик, ведущий тайные переговоры с соратником.

— Конечно.

— Так вот, сэр, этого препятствия больше не существует.

Я по-настоящему изумился:

— Леди передумала?

— Леди умерла, — сказал Филд.

Я растерянно моргнул и, подавшись вперед, спросил равно, если не более заговорщицким шепотом: «Каким образом?» Миссис Шернволд относилась к разряду тех костлявых, вздорных шестидесятилетних старух, которые всем своим видом показывают, что намерены дожить до глубокой старости и превратиться в еще более костлявых и вздорных старух девяностолетних.

— Она имела любезность упасть с лестницы и свернуть себе шею, мистер Коллинз.

— Какой ужас! Где это произошло?

— В интересующем вас доме на Глостер-плейс, не стану скрывать, но на черной лестнице. Таким образом, ничто не будет зримо напоминать вам о трагическом случае, коли вы туда переедете.

— На черной лестнице, — повторил я, думая о своей зеленокожей клыкастой женщине. — А что, собственно говоря, миссис Шернволд там делала?

— Этого мы никогда не узнаем, — хихикнул инспектор. — Но она не могла выбрать время удачнее, правда, мистер Коллинз? Теперь ничто не мешает вам снять или купить дом.

— Сын-миссионер, — сказал я. — Он скоро вернется из Африки или откуда-то там и...

Инспектор Филд отмел данное соображение взмахом мозолистой руки.

— Оказывается, бедная миссис Шернволд так и не выкупила закладную на дом. Он никогда не принадлежал ей и не мог быть передан в чужое пользование, сэр.

— А у кого находится закладная?

— У лорда Портмена. Оказывается, дом всегда оставался во владении лорда Портмена.

— Я знаю лорда Портмена! — воскликнул я достаточно громко, чтобы несколько человек обернулись на меня. Понизив голос, я проговорил: — Я знаком с ним, инспектор. Здравомыслящий человек. Кажется, у него много недвижимости в районе Портмен-Сквер — не только на Глостер-плейс, но и на Бейкер-стрит.

— Полагаю, вы правы, мистер Коллинз, — сказал Филд со страшно довольной, чуть ли не сладострастной улыбкой.

— Вы имеете представление, сколько он просит за дом? — поинтересовался я.

— Я взял на себя смелость навести справки. Лорд Портмен согласен отдать данную недвижимость в аренду на двадцать лет за восемьсот фунтов в год. Разумеется, вместе с превосходными конюшнями, расположенными

за особняком. Их можно сдавать в поднаем, чтобы частично возместить арендные расходы.

Во рту у меня пересохло, и я отпил глоток портвейна. Восемьсот фунтов являлись целым состоянием — у меня на руках таких денег не было, — но я знал, что в случае смерти нашей матери мы с Чарли унаследуем в равных долях около пяти тысяч фунтов, доставшихся ей от тетки, пусть даже весь остальной семейный капитал останется связанным, согласно завещанию нашего отца. И безусловно, инспектор верно заметил насчет сдачи в поднаем довольно больших конюшен.

Филд извлек из кармана две подозрительно темные сигары.

— Полагаю, правила вашего клуба разрешают курить в столовом зале, — сказал он.

— Конечно.

Он обрезал обе сигары, одну отдал мне, зажег свою, а потом вытянул вперед руку со спичкой, предлагая мне прикурить. Я подался вперед, позволив инспектору поухаживать за собой.

Филд знаком подозвал Бартлса, самого старого и самого величественного из клубных официантов, и сказал:

— Милейший, будьте любезны принести мне стакан того, что пьет мистер Коллинз. Благодарю.

Когда Бартлс быстро двинулся прочь, явно слегка недовольный повелительным тоном посредственно одетого незнакомца, я не в первый уже раз мысленно подивился прихотям судьбы, столь тесно сведшей меня с этим странным, властным полицейским.

— Хорошая сигара, правда, мистер Коллинз?

По вкусу сигара напоминала что-то выращенное и собранное в заброшенном затхлом погребе.

— Отличная, — сказал я.

Заказанное инспектором вино прибыло, и неизменно бдительная, неизменно консервативная часть моего ума неохотно прибавила стоимость оного к моему уже весьма немалому счету в клубе.

— За благоприятный поворот вашей судьбы, — промолвил инспектор Филд, поднимая бокал.

Я легко чокнулся с ним, думая о том, что теперь Кэролайн наконец-то перестанет ныть и закатывать истерики. Признаюсь, ни тогда, ни впоследствии я ни разу не вспомнил о бедной миссис Шернволд и ее нелепой гибели — ну, разве только однажды, когда солгал Кэролайн насчет причины и места смерти старой дамы.

Мне кажется, дорогой читатель моего посмертного будущего, настало время поподробнее рассказать вам о Втором Уилки.

По всей вероятности, до сих пор вы считали Второго Уилки либо плодом моего воображения, либо галлюцинацией, вызванной лауданумом. Но он не является ни первым, ни вторым.

Всю жизнь меня преследовало мое второе «я». Совсем еще малым ребенком я был уверен, что у меня есть двойник — мой товарищ по играм, — и часто рассказывал о нем матери. Став постарше, я нередко слышал, как мой отец упоминает о своих занятиях рисованием «с Уилки», но точно знал, что в час занятий меня не было дома. Уроки рисования получал мой двойник. Когда я пятнадцатилетним отроком приобретал первый опыт плотской любви с женщиной много старше меня, я нисколько не удивился, увидев в темном углу спальни Второго Уилки — такого же юного, ясноглазого и безбородого, как я, — с превеликим интересом наблюдавшего за мной. В мои зрелые годы второе «я» отступило в туманные области, откуда вышло. Довольно долго я считал, что навсегда избавился от него.

Однако несколько лет назад, когда моя ревматоидная подагра обострилась и терпеть приступы боли стало невозможно без опиумной настойки, Второй Уилки вернулся. Но если *я* с возрастом сделался значительно мягче, общительнее и дружелюбнее, то Второй Уилки за время нашей разлуки стал резче, грубее и агрессивнее. Помнится, в первую пору своего знакомства с Перси Фицджеральдом (еще до того, как Фицджеральд заделался любимчиком Диккенса) я признался младшему товарищу,

что «подвержен странному потустороннему влиянию и часто испытываю такое ощущение, будто кто-то стоит у меня за спиной».

Я всегда ясно сознавал связь, существовавшую между приемом лауданума и появлением Второго Уилки. Томас де Куинси, автор «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» и друг обоих моих родителей, однажды написал: «Если человек, постоянно говорящий о быках, начнет употреблять опиум, скорее всего (если он не настолько тул, чтобы быть чуждым всяким грезам), он будет видеть в грезах быков». И в жизни, и в творчестве меня неотступно преследовала тема раздвоения личности — тема двойника, таящегося сразу за пределами повседневной действительности, — а потому не приходится удивляться, что постоянно принимаемый мной опиум, наркотик, часто и эффективно использующийся для выхода в иные реальности, призывал ко мне из неведомых сфер Второго Уилки, повсюду сопровождавшего меня с раннего детства.

Если вы знакомы с моим творчеством, дорогой читатель, то знаете, что тема подлинной личности проходит сквозь большинство моих повестей и все романы, начиная с «Антонины», к работе над которой я приступил в возрасте всего двадцати двух лет. Двойники, зачастую воплощающие добро и зло, разгуливают по страницам моих сочинений. Иные мои персонажи (Лора Фэрли из «Женщины в белом» и Магдален Вэнстоун из более позднего романа «Без имени») насильственным путем лишаются своей личности и вынуждены рядиться в полые оболочки чужих имен, чужих характеров, чужих жизней.

Даже когда моим персонажам дозволяется сохранить собственную личность, им зачастую приходится скрывать свое истинное «я» под разными масками, а порой они утрачивают индивидуальность вследствие потери зрения, слуха, речевых способностей или из-за тяжелых увечий. У них постоянно образуются новые личности, и из-за употребления наркотиков трансформации происходят все чаще и чаще.

Чарльз Диккенс ни во что не ставил мои литературные разработки данной темы, но читателям они явно нравились. Следует заметить, что я не единственный литератор, одержимый интересом к проблеме «второго „я"» и раздвоения или множественного расщепления личности: некий писака по имени Уильям Шекспир обращался к ней в своих произведениях гораздо чаще, чем я в своих.

Я нередко размышлял (еще даже до начала кошмарной истории с Друдом), не умаляет ли мою личностную значимость отсутствие у меня таких черт характера, какими явно обладал Второй Уилки. Возьмем, к примеру, вопрос моего имени — вернее, вопрос использования оного окружающими.

Для всех я был просто Уилки — не мистер Коллинз (правда, инспектор Филд и его агенты усиленно применяли именно такое почтительное обращение) и даже не Коллинз (на манер моего непринужденного «дорогой Диккенс», часто звучавшего в наших с Неподражаемым беседах), а просто... Уилки. Кэрри с малых лет называла меня Уилки. Многочисленные дети Диккенса с первых дней нашего знакомства называли меня Уилки, если только Диккенс, Кэтрин или Джорджина не указывали на недопустимость подобной фамильярности. Члены моего клуба, которые никогда, даже после нескольких десятилетий знакомства, не обращались по имени к равным по положению, чувствовали себя вправе называть меня Уилки уже буквально через минуту после церемонии представления.

Странное дело.

Наутро после ночи, когда я увидел в своем кабинете Диккенса, занятого разговором с Друдом и Вторым Уилки, а потом торопливо удалился, я признался Неподражаемому за завтраком, что мне приснился чудной сон о такой вот встрече.

— Но ведь это все происходило в действительности! — вскричал Диккенс. — Вы сидели с нами, милейший Уилки! Мы проговорили несколько часов кряду.

— Я напрочь не помню содержания разговора, — пробормотал я, покрываясь ледяными мурашками.

— Возможно, оно и к лучшему, — сказал Диккенс. — Друд иногда использует свою магнетическую силу для частичного или полного стирания воспоминаний о встречах с ним, если он считает, что подобные воспоминания представляют опасность для него или для собеседника. Со мной такой номер не проходит, разумеется, поскольку я тоже владею искусством месмеризма.

«Да неужели?» — саркастически подумал я. А вслух произнес:

— Если я видел сон наяву, если ночной разговор происходил в действительности, то каким образом Друд проник в дом? Я знаю наверное, что все двери и окна здесь были надежно заперты.

Диккенс улыбнулся, намазывая мармелад на второй тост.

— Этого он не сказал мне, дорогой Уилки. За два года нашего с ним знакомства у меня сложилось впечатление, что на свете очень мало мест, куда Друд не мог бы явиться при желании.

— Вы намекаете, что он призрак?

— Вовсе нет, друг мой. Вовсе нет.

— В таком случае, — грубовато сказал я, — может, вы расскажете мне содержание нашей многочасовой беседы... забытой мной по приказу нашего фантома?

После минутного колебания Диккенс промолвил:

— Расскажу. Но мне кажется, с этим лучше немного повременить. Грядут события, о которых вам лучше пока не знать, Уилки. Вдобавок вам выгодно сохранять неведение и с точки зрения чести... чтобы вам не пришлось лгать, когда вы скажете инспектору Чарльзу Фредерику Филду, что не встречались с Друдом и понятия не имеете о его планах.

— Тогда зачем он... или вы... рассказали мне о них ночью? — осведомился я.

Я еще не принял утреннюю дозу своего лекарства, и мое тело, мой мозг настойчиво требовали лауданума.

— Чтобы получить ваше разрешение.

— Разрешение на что? — Я начинал раздражаться.

Диккенс снова улыбнулся и похлопал меня по руке с невыносимо снисходительным видом.

— Скоро узнаете, друг мой. А когда все останется позади, я в подробностях расскажу вам о нашем долгом разговоре, состоявшемся нынче ночью. Даю вам слово.

Мне пришлось удовольствоваться этим, хотя я сильно сомневался, что встреча Друда, Диккенса и Второго Уилки действительно имела место. Гораздо более вероятным казалось, что Диккенс воспользовался моим лауданумным сновидением для своих непостижимых целей.

Или что у Второго Уилки есть собственные тайные цели и планы. От одной этой мысли меня мороз подрал по коже.

Мы перебрались на Глостер-плейс в начале сентября 1867 года. Чтобы заплатить восемьсот фунтов за аренду, мне пришлось взять кредит через поверенных, но инспектор Филд оказался прав насчет конюшен. Я сдал их в поднаем владелице четырех лошадей за сорок фунтов в год, правда, изрядно с ней намучился, требуя вносить плату своевременно.

Особняк на Глостер-плейс был значительно больше и роскошнее нашего прежнего дома на Мелкомб-плейс. Он стоял со значительным отступом от улицы — пятиэтажный дом с террасой, в котором свободно разместилось бы семейство куда обширнее нашего, с гораздо более многочисленным штатом не в пример лучше вышколенных и добротнее одетых слуг, чем трое наших бедных приблуд. Количество гостевых комнат там позволяло принять на постой целую роту гостей. Столовая зала на первом этаже втрое превосходила размерами столовую залу на Мелкомб-плейс, а уютную комнату, расположенную за ней, мы отвели под семейную гостиную. Огромное Г-образное в плане помещение на первом этаже я тотчас занял под рабочий кабинет, хотя оно находилось прямо на пути всех проходящих через холл людей — гостей ли, слуг ли — и располагалось рядом со швейной комнатой Кэролайн, в самом средоточии повседневной

жизни дома. Но эта просторная светлая комната с громадным камином и высокими окнами разительно отличалась от сумрачного кабинета на Мелкомб-плейс. Мне оставалось только надеяться, что Второй Уилки не переехал вместе с нами.

К концу осени, по завершении всех перепланировочных и ремонтных работ, дом приобрел вид, полностью отвечающий моему вкусу. Я расставил повсюду книги и развесил картины, смотревшиеся на обшитых панелями стенах роскошного особняка гораздо лучше, чем на темных, оклеенных обоями стенах нашего прежнего обиталища.

В кабинете я повесил созданный Маргарет Карпентер портрет моей матери, запечатленной в образе прелестной девушки в белом платье. Матушка так и не увидела его на новом месте (ибо ей не приличествовало посещать дом, где проживает Кэролайн Г***), но я сообщил в письме, что «и сейчас, по прошествии стольких лет, она в точности походит на свой портрет в юности». Здесь я слукавил: Хэрриет уже перевалило за семьдесят, и возраст брал свое.

В кабинете висели также автопортрет моего отца и пейзаж Сорренто его же кисти — два крупных холста, расположенные по обе стороны от массивного письменного стола, тоже отцовского. На другой стене там размещался мой портрет в молодости, написанный братом Чарли, и другой мой портрет, кисти Миллеса. Единственную в доме картину собственной работы — созданное еще в годы учебы в Академии полотно под названием «Отплытие контрабандистского судна» — я повесил в столовой зале.

Я не признавал новомодного газового освещения (хотя Диккенс и прочие были от него в восторге), и потому мои комнаты, книжные стеллажи, портьеры, письменный стол и картины в доме на Глостер-плейс по-прежнему освещались восковыми свечами. Мне нравился мягкий живой свет свечей и каминов — особенно когда он

ложился теплыми бликами на лица людей, сидящих за столом или у домашнего очага, — и я ни за что не променял бы его на резкий, холодный свет газовых рожков, пусть даже от долгой работы при свечах у меня часто начинались жестокие головные боли и мне приходилось увеличивать дозу лауданума. Я был готов платить такую цену за красоту.

Особняк, как бы роскошно он ни выглядел снаружи, несколько обветшал за годы правления покойной миссис Шернволд, и потребовались целая армия наемных рабочих и месяц с лишним времени, чтобы покрасить стены, починить или провести водопровод, снести перегородки, поменять панельную обшивку, перекрыть черепичную кровлю и вообще привести все в идеальное состояние, в каком надлежит содержать прекрасный дом.

Перед лицом ремонтно-строительного хаоса я сделал две вещи: во-первых, временно покончил со всякой светской жизнью, прекратив как принимать гостей, так и наносить визиты; во-вторых, сбежал с Глостер-плейс (несколько недель я жил и работал либо у матери в Саутборо, либо у Диккенса в Гэдсхилле), предоставив всю пыльную, грязную надзорно-распорядительную работу Кэролайн. Десятого сентября, на следующий день после нашего переезда, я написал своему другу Фредерику Леману: «Мне пришлось освободить старый дом и искать новый, пришлось торговаться, заключать договор аренды, консультироваться с адвокатами и инспекторами, нанимать рабочих — и при всем этом усиленно заниматься своими литературными делами, не прерываясь даже на день».

Осень 1867 года выдалась теплая, и мы с Диккенсом работали над нашей совместной повестью «Проезд закрыт» в чудесном швейцарском шале. Диккенс превратил свой длинный письменный стол в двухместный (с двумя проемами для ног), и мы по много часов кряду писали в благостной осенней тишине, нарушаемой лишь жужжанием пчел да приглушенными репликами и вопросами, которыми мы изредка перебрасывались.

Еще в конце августа Неподражаемый прислал мне письмо, задавшее тон нашему свободному обмену мыслями и соображениями по поводу сюжетной линии нашего совместного произведения:

> У меня появилась мысль, которая, надеюсь, придаст нашей повести необходимую занимательность. Сделаем кульминационным пунктом бегство и преследование через Альпы — зимой, в одиночестве и вопреки предостережениям. Подробно опишем все ужасы и опасности такого приключения в самых чудовищных обстоятельствах — бегство от кого-либо или попытка догнать кого-либо (думаю, что последнее, именно последнее), причем от этого бегства или погони должны зависеть счастье, благополучие и вообще вся судьба героев. Тогда мы сможем добиться захватывающего интереса к сюжету, к обстановке, напряженного внимания ко времени и к событиям и привести весь замысел к такой мощной кульминации, к какой только пожелаем. Если мы оба будем иметь в виду и начнем постепенно развивать рассказ в этом направлении, мы извлечем из него настоящую лавину силы и обрушим на головы читателей.

Но даже к концу сентября никакой лавины у нас еще не было и в помине, и Диккенсу оставалось только сообщать мне, что-де «я тащусь со скоростью тачки, толкаемой гринвичским пенсионером», или «дело у меня, как и у вас, продвигается черепашьим шагом...». Но с началом совместной работы в Гэдсхилле оба мы, занятые каждый своей частью повести, стали писать быстрее и с бóльшим энтузиазмом.

Пятого октября, когда я снова жил у матери, наслаждаясь превосходной кухней и сознанием, что наши соединенные труды близятся к завершению, Диккенс прислал мне следующее письмо:

> Я привел Маргерит к спасению и заставил Вендейла сказать, щадя ее чувства, что это был всего лишь несчастный случай во время бури. Кстати, Вендейл ранил Обенрейцера его собственным кинжалом. Это на случай, если вы захотите прибавить к внешнему облику Обенрейцера

шрам. А не захотите, так и бог с ним. В гранках моей части повести наверняка будет полно ошибок, т. к. у меня не очень разборчивая рукопись. Но вы сами увидите, о чем я. Развязку я представляю не лучше вас — пока довольно смутно. Вопрос с Обенрейцером я обдумаю (м. б., самоубийство?). Я сделал Маргерит всецело преданной своему возлюбленному. Как только вы известите меня о своей готовности, мы встретимся здесь, чтобы довести дело до конца.

Я спрашиваю себя, дорогой читатель, какое значение будут иметь подобные рабочие письма, написанные одним профессиональным литератором другому, через сто с лишним лет от сего дня? Полагаю, очень малое. Но поскольку Диккенс все-таки пользовался славой великого писателя, по крайней мере при моей жизни, возможно, даже эти наспех нацарапанные загадочные послания однажды представят интерес для какого-нибудь мелкого ученого. Могли бы мы сказать то же самое о моих письмах к Диккенсу? Увы, этого мы никогда не узнаем, ибо Диккенс по-прежнему регулярно сжигал всю свою корреспонденцию, так сказать поддерживая костер, разожженный осенью 1860 года.

Тогда же, пятого октября, в первую субботу месяца, я вернулся на Глостер-плейс, не предупредив Кэролайн о своем возвращении письмом или телеграммой. Я прибыл поздно вечером, когда почти во всех комнатах нового дома уже погасили свет, и застал Кэролайн ужинающей на кухне в обществе неизвестного мне мужчины. Признаюсь, я очень удивился, если не рассердился. Кэролайн улыбнулась мне со своего места за столом (слуг тем вечером она отпустила), но я увидел, как краска смущения заливает ее шею, поднимается к ушам и растекается по щекам.

— В чем дело? — осведомился я, обращаясь к незнакомцу. — Кто вы такой?

Он был тощим, малорослым, невзрачным человечком с землистым востроносым лицом, в сюртуке из самого

заурядного молескина. Все в нем дышало заурядностью. Он встал, собираясь ответить, но я его опередил:

— Постойте, я вас помню... Я нанял вас месяц назад. Клоу, так ведь? Или что-то вроде. Вы водопроводчик.

— Джозеф Клоу, сэр, — сказал он гнусавым голосом с подвыванием. — Да, я водопроводчик, сэр. Сегодня мы закончили работы наверху, и ваша домоправительница миссис Г*** любезно пригласила меня отужинать здесь, сэр.

Я посмотрел на «домоправительницу» испепеляющим взглядом, но она лишь улыбнулась в ответ. Какая наглость! Я только что занял и потратил целых восемьсот фунтов, чтобы снять для этой наглой шлюхи один из прекраснейших особняков в районе Портмен-Сквер — а она у меня за спиной водит шашни с простым водопроводчиком в моем собственном доме!

— Прекрасно, — сказал я с улыбкой, которая недвусмысленно означала «я разберусь с тобой позже, Кэролайн». — Я заехал взять смену белья. Собираюсь переночевать в клубе.

— Ваша домоправительница превосходно готовит «пятнистую собаку»[1], — сообщил жалкий субъект.

Улови я в его голосе хотя бы нотку сарказма, я бы, наверное, набросился на него с кулаками, но он явно не имел умысла оскорбить меня.

— Отец мистера Клоу держит винокурню, и мистер Клоу имеет долю в предприятии, — доложила Кэролайн, вконец обнаглев. — Он принес бутылку отличного хереса, чтобы отметить завершение работ.

Я кивнул и отправился наверх. Свежего белья у меня в саквояже хватало. На самом деле я заехал, чтобы пополнить свои запасы лауданума из большой бутыли. Наполнив походную флягу и залпом выпив два стакана, я подошел к комоду, пошарил в нижнем ящике под стопками белья и нашел заряженный револьвер, давным-давно выданный мне Хэчери.

---

[1] Вареный пудинг с изюмом.

Кто стал бы винить меня, если бы я застрелил Кэролайн и ее любовничка — тощего, чумазого, усатого водопроводчика? Вполне возможно, этот тип успел поваляться в моей постели в моем новом доме даже прежде меня — по крайней мере, я не сомневался, что он на это надеялся.

С другой стороны, осознал я, в глазах общественности Кэролайн действительно является моей домоправительницей, а не женой. Я бы имел полное право убить Джозефа Клоу, будь он ночным взломщиком, но немногие судьи или присяжные оправдали бы меня в убийстве джентльмена, согласившегося отужинать на кухне с моей домоправительницей. Даже чертову бутылку хереса какой-нибудь ретивый прокурор мог бы представить на суде в качестве обличающей улики.

Мрачно улыбаясь, я убрал револьвер обратно в ящик, взял несколько смен белья для отвода глаз, проверил, полна ли фляга, и покинул дом через переднюю дверь. Я не зашел на кухню, чтобы еще раз взглянуть на разрумяненную Кэролайн, — она выглядела очаровательно при свете свечей, несмотря на свои тридцать с лишним лет, — и ее будущего любовника и мужа в лице плюгавого водопроводчика.

Ко времени, когда кеб подкатил к клубу, я беззаботно насвистывал и пребывал в прекрасном расположении духа. Уже тогда я сообразил, как использовать мистера Джозефа Клоу в своих интересах.

Мы с Диккенсом завершили работу над повестью «Проезд закрыт» в конце октября, на месяц-полтора позже, чем предполагали. Я отвечал за вопрос издательских прав и вел переговоры с Фредериком Чапменом, но в результате Джордж Смит из фирмы «Смит, Элдер энд компани» предложил более выгодные условия, и я немедленно передал права ему.

Мы с Диккенсом оба считали, что «Проезд закрыт» так и просится на сцену, а поскольку в наши дни любой

вор, имеющий в своем распоряжении подмостки да нескольких актеров, мог запросто украсть любое литературное произведение, сперва написав по нему инсценировку, мы решили опередить всех вероятных воров и написать инсценировку самолично. Диккенс, торопясь закончить все свои дела, чтобы поскорее отбыть в Америку, всучил черновой план пьесы нашему общему другу, актеру и импресарио Фехтеру и поручил мне заняться тяжелой работой по переделке повести для театра, когда он, Диккенс, покинет страну.

В конце октября огромный дом на Глостер-плейс (и даже водопровод) был окончательно приведен в порядок, и мы с Кэролайн дали по случаю новоселья званый обед, послуживший также прощальной вечеринкой в честь Диккенса, который планировал отплыть в Америку девятого ноября. Я нанял прекрасную французскую повариху (в последующие годы она часто работала на нас на полупостоянной основе, хотя и не жила с нами) и принял деятельное участие в составлении меню и надзоре за приготовлениями к торжеству.

Званый обед, первый из многих в доме на Глостер-плейс, удался на славу.

Через несколько дней, второго ноября, я выступил в роли одного из распорядителей на многолюдном и гораздо более официальном прощальном банкете в честь Диккенса, устроенном во Фримейсонс-Холле. Толпа из четырехсот пятидесяти приглашенных гостей — весь цвет лондонского искусства, литературы и театра (все мужчины, разумеется) — собралась в главном зале, а примерно сто представительниц прекрасного пола (включая своячениицу Диккенса Джорджину и дочь Мэри, а также двуличную, но очаровательную Кэролайн Г***) сидели отдельно на верхней дамской галерее. Правда, впоследствии женщины получили дозволение присоединиться к мужчинам за кофием. Дочь Кэролайн Кэрри, теперь уже почти семнадцати лет, тоже присутствовала там. Не в силах справиться с волнением, я дважды письменно обратился к организаторам банкета за подтверждением, что мой заказ на два билета для дам выполнен.

Оркестр Гренадерского гвардейского полка играл на другой верхней галерее. Одним из неожиданных гостей был сын Диккенса Сидни — моряк, чей корабль вошел в Портсмутский порт всего двумя днями ранее. Главную столовую залу украшали британские и американские флаги, а над всеми двадцатью арками сияли позолоченные лавровые венки, на каждом из которых значилось название одного из произведений Диккенса. Лорд Литтон — ныне шестидесяти четырех лет, но выглядевший вдвое старше — председательствовал на банкете и надзирал за происходящим с почетного места во главе стола, похожий в своем черном парадном платье на зоркую хищную птицу.

Когда после длинного ряда хвалебных речей, одна восторженнее другой, Диккенс наконец встал и взял слово, он сначала заговорил сбивчиво, прерывистым голосом, а потом и вовсе расплакался. Совладав с собой, он выступил весьма красноречиво — но, как впоследствии говорили многие, еще красноречивее были его слезы.

Признаться, когда в тот вечер я сидел там за центральным столом, испытывая легкое головокружение от вина и дополнительной дозы лауданума, я задавался вопросом, что сказали бы все эти знаменитые гости — лорд главный судья Кокберн, сэр Чарльз Рассел, лорд Хотон, компания академиков Королевской академии художеств, лорд мэр Лондона, — если бы увидели Диккенса разгуливающим по канализационным туннелям Подземного города. Или если бы догадывались о предположительной участи одинокого молодого человека по имени Эдмонд Диккенсон.

Впрочем, возможно, это никак не повлияло бы на их отношение к Неподражаемому.

Девятого ноября я вместе с Кэролайн и Кэрри отправился в Ливерпуль, чтобы проводить Диккенса.

Писателя разместили в просторной каюте второго помощника капитана на палубе корабля «Куба». (Позже Кэрри спросила меня, где же будет спать сам помощник капитана во время плавания, и мне пришлось признаться, что я понятия не имею.) В этой каюте, в отличие

от большинства остальных, можно было дышать свежим воздухом, открыв не только окно, но и дверь.

Во время нашего короткого визита Диккенс был раздражителен и рассеян, и только я один знал — почему. И знал единственно потому, что продолжал общаться с инспектором Филдом.

Хотя Диккенс еще четверть века назад получил ясное представление о пуританских, консервативных нравах американцев, он не отказался от намерения взять с собой в Америку Эллен Тернан, чтобы она сопровождала его в поездке по стране, возможно, под видом помощницы Долби. Разумеется, такой номер не прошел бы ни при каких обстоятельствах, но Диккенс всегда был безнадежным романтиком, когда дело доходило до подобных фантазий.

Мне знать об этом не полагалось, но Неподражаемый поручил Уиллсу переслать молодой актрисе условную телеграмму, которую Диккенс отправит в редакционную контору сразу по прибытии в Новый Свет. Сообщение «Все в порядке» будет означать, что она должна отплыть в Америку ближайшим кораблем, взяв деньги на дорожные расходы у Уиллса, уполномоченного распоряжаться одним из банковских счетов Диккенса. Условная фраза «Добрался благополучно» будет означать, что Эллен следует оставаться на Континенте, где она в настоящее время отдыхала с матерью, ожидая решения своей участи.

Тогда, погожим днем девятого ноября, в глубине души — а правильнее было бы сказать «в глубине своего рационального ума» — Диккенс должен был понимать (как понял я, едва лишь узнал от инспектора Филда о вышеописанном дурацком плане), что Эллен получит через Уиллса телеграмму с сообщением «Добрался благополучно», означающим «Безумно скучаю, но постоянно нахожусь под прицелом хмурых, пытливых, оценивающих взглядов американской общественности».

При нашем прощании Диккенс сильно разволновался. Он понимал, что оставил мне очень много работы (корректура и окончательная редактура повести «Проезд закрыт» плюс ее инсценировка и последующая поста-

новка совместно с Фехтером), но нервничал он не только поэтому. Едва мы с Кэрри и Кэролайн спустились по сходням на причал, я тотчас же вернулся в просторную, светлую каюту второго помощника капитана под тем предлогом, что забыл там перчатки. Диккенс ждал меня.

— Я молю Бога, чтобы Друд не последовал за мной в Америку, — прошептал он, когда мы еще раз пожимали друг другу руки на прощанье.

— Не последует, — сказал я с уверенностью, которой в действительности не чувствовал.

Когда я уже двинулся к двери — с мыслью, что, возможно, даже вероятно, я никогда больше не увижу своего друга, — Диккенс остановил меня:

— Уилки... в ходе разговора с Друдом, состоявшегося девятого июня в вашем кабинете... разговора, напрочь вами забытого... я считаю необходимым предупредить вас...

Я застыл на месте, не в силах пошевелиться. Мне показалось, будто кровь в моих жилах обратилась в лед и лед этот проник в самые клетки моего тела.

— Вы согласились стать биографом Друда в случае, если со мной что-нибудь стрясется, — сказал Диккенс. Он выглядел как человек, измученный морской болезнью, хотя «Куба» все еще стояла на швартовых у причала в Ливерпульском порту и ничуть не покачивалась. — Друд пригрозил убить вас и всю вашу семью, коли вы измените своему слову... точно так же он угрожал, неоднократно, убить меня и моих близких. Если он узнает, что я отправился в Америку в попытке скрыться от него, а вовсе не для того, чтобы договориться с тамошними издателями о публикации его биографии...

Через минуту я нашел в себе силы моргнуть. Еще через минуту я обрел дар речи.

— Не берите в голову, Чарльз, — сказал я. — Желаю вам удачных гастролей по Америке. И благополучного возвращения на родину.

Я вышел из каюты и спустился по сходням на причал, где меня ждали Кэрри и угрюмая, встревоженная Кэролайн.

Глава 24

После отъезда Диккенса я целый месяц чувствовал себя так, словно мой отец снова умер. Не самое неприятное состояние.

Я никогда еще не был так загружен делами. Диккенс не только оставил мне работу по корректуре и редактуре нашей совместной повести, но также назначил меня ответственным за выпуск всего рождественского номера «Круглого года». Данное решение изрядно озадачило нашего друга Уильяма Генри Уиллса, который занимал должность заместителя главного редактора журнала и категорически возражал против поездки Диккенса в Америку, но Уиллс, неизменно послушный солдат, быстро свыкся с положением моего заместителя. В течение ноября я проводил все больше и больше времени в редакции — а поскольку Диккенс, помимо всего прочего, попросил меня регулярно проведывать Джорджину, Мейми и Кейти в Гэдсхилле (а также поскольку я обнаружил, что там мне лучше работается, и поскольку туда часто наведывался мой брат Чарли), в скором времени я жил скорее жизнью Чарльза Диккенса, нежели жизнью Уилки Коллинза.

Кэролайн такое положение вещей вполне устраивало, хотя она, вопреки моим ожиданиям, не стала покладистее и благодушнее, но взяла за обыкновение затевать со мной ссоры всякий раз, когда я проводил на Глостерплейс по нескольку дней кряду. Ближе к декабрю я стал все реже появляться в своем новом лондонском доме и все больше времени проводил в Гэдсхилле или в свободных комнатах Диккенса, расположенных над конторой журнала.

Именно там я находился, когда Уиллс получил телеграмму «Добрался благополучно» и переслал Эллен Тернан во Флоренцию, где она отдыхала с матерью и родственниками. Как Диккенс вообще мог вообразить, что Эллен одна совершит морское путешествие из Италии в Америку, — у меня в голове не укладывалось. Эта бре-

довая фантазия просто свидетельствовала о степени его одержимости романтическими грезами в ту пору. Позже я узнал от Уиллса, почти случайно, что еще до своего отъезда Диккенс прекрасно понимал: американцы не потерпят присутствия незамужней женщины в его маленькой свите. Долби разведал о планах Диккенса и вынес свой вердикт по поводу уместности присутствия Эллен, прислав телеграмму, состоящую из единственного короткого слова: «Нет».

Мы с Диккенсом сошлись во мнении, что драму «Проезд закрыт» следует поставить в театре «Адельфи» перед самым Рождеством и что злодея Обенрейцера надлежит играть нашему общему другу Чарльзу Фехтеру. Я впервые увидел блистательного Фехтера на сцене почти пятнадцать лет назад и познакомился с ним в 1860 году, когда он приехал в Лондон со спектаклем «Рюи Блаз» по пьесе Виктора Гюго. По обоюдному побуждению мы с Фехтером в первые же дни знакомства оставили всякие церемонии и заделались близкими друзьями.

Сын англичанки и немца, родившийся в Лондоне и воспитывавшийся во Франции, но теперь снова поселившийся в Лондоне, Фехтер был человеком невероятно обаятельным и преданным (подарок в виде швейцарского шале, преподнесенный Диккенсу на Рождество два года назад, был типичным проявлением его щедрости и импульсивности), но напрочь лишенным деловой хватки.

Лондонский дом Фехтера являлся, наверное, единственным в городе салоном, где о правилах этикета заботились еще меньше, чем в моем доме. Если я имел обыкновение оставлять гостей за столом на попечение Кэролайн, когда мне требовалось срочно убежать по делам, то Фехтер славился тем, что принимал гостей в халате и шлепанцах и позволял каждому выбрать бутылку вина на свой вкус, чтобы взять с собой за стол. Мы с ним обожали французскую кухню и дважды подвергали строгой проверке неисчерпаемые ресурсы гастрономической Франции, обедая одним-единственным продуктом, но приготовленным самыми разными способами. Сначала мы

устроили «картофельный» обед из шести блюд, а потом — «яичный» из восьми блюд.

Единственным недостатком Фехтера-актера был жесточайший страх сцены, и перед началом каждого спектакля его костюмер ходил за ним по пятам с тазиком.

В ноябре и начале декабря я спешно писал инсценировку. Я отослал корректурные гранки повести прямо Фехтеру, который сообщил мне, что «безумно влюбился в своего героя», и немедленно присоединился ко мне в работе над пьесой. Меня не удивило, что актеру понравился главный злодей Обенрейцер, ведь мы с Диккенсом создавали этот персонаж «под него».

Всякий раз, когда я ехал на поезде в Рочестер, направляясь в Гэдсхилл-плейс, мне легко представлялось, что Чарльз Диккенс навсегда исчез (я по-прежнему допускал такую вероятность, принимая в соображение плачевное состояние его здоровья и тяготы американского турне) и что я не только смогу когда-нибудь занять, но уже занимаю его место в мире.

В начале декабря повесть «Проезд закрыт» выйдет в «Круглом годе» и, несомненно, будет пользоваться огромным успехом. Конечно, успеху поспособствует магия имени Диккенса — вот уже двадцать лет декабрьские номера его журналов с его рождественскими повестями раскупались нарасхват, — но правда и то, что моя «Женщина в белом» продавалась успешнее иных романов Диккенса, а «Лунный камень», который выйдет в свет в 1868 году, наверняка будет продаваться еще лучше. Сидя за обеденным столом в Гэдсхилл-плейс, в обществе Джорджины, моего брата Чарли, Кейти и нескольких из детей Диккенса, я испытывал такое чувство, будто я заменил Неподражаемого так же легко, окончательно и бесповоротно, как в свое время Джорджина Хогарт заменила Кэтрин Диккенс.

Я продолжал собирать материал для «Лунного камня» и в ходе поисков достоверных источников сведений об Индии (а равно обрядовой стороне индуизма и магометанства) уже успел пообщаться со многими людьми, когда меня свели с неким Джоном Уилли — господином,

довольно долго прожившим в индийской провинции Катьявар в бытность свою служащим государственного департамента Индии.

— Больше нигде в Индии не процветают столь пышно религиозный фанатизм и первобытная жестокость, — сказал мне Уилли за стаканом бренди. Он отослал меня к «собранию писем Уилера» и статьям в «Англичанине». — Элевсинские мистерии — просто детский лепет по сравнению с мерзостями, там творящимися.

Я объяснил, что трое моих индусов в «Лунном камне» будут выведены, конечно же, в черных красках, но одновременно наделены неким ореолом благородного мученичества, ибо все-таки им придется не одно десятилетие умилостивлять своих богов, вымаливая прощение за нарушение кастового правила, возбраняющего пересекать «Темные воды», — однако Уилли иронически усмехнулся и уверенно заявил, что восстановление моих индусов в касте будет зависеть единственно от мзды, которую надобно дать нужным брахманским группировкам, а вовсе не от пожизненных усилий обрести очищение.

Посему я оставил без внимания большинство замечаний и советов мистера Джона Уилли, бывшего служащего государственного департамента Индии, и стал следовать велениям Музы. Английский антураж романа я создавал, опираясь на свои воспоминания об Йоркширском побережье. За историческими фактами (основное действие романа начиналось в 1848 году) я по-прежнему обращался к превосходной библиотеке «Атенеума». Из всех сведений, полученных от мистера Уилли, я воспользовался лишь информацией о глухой провинции Катьявар: поскольку мало кто из белых людей бывал там и вернулся живым, чтобы рассказать о ней, я решил просто выдумать географию и топографию Катьявара, а равно течения и культы индуизма, якобы там распространенные.

Я работал над «Лунным камнем» каждый день, несмотря на страшную занятость, связанную с переделкой повести «Проезд закрыт» для театра.

Слухи о нашей новой пьесе каким-то образом достигли Соединенных Штатов еще до прибытия туда соавтора произведения, положенного в ее основу. Диккенс прислал мне письмо, где сообщал, что сразу по его приезде в Нью-Йорк к нему явились театральные импресарио, явно уверенные, что текст инсценировки лежит у него в кармане. Он попросил меня высылать один за другим акты по мере завершения работы над ними и добавил: «Я не сомневаюсь, дорогой Уилки, что из нашей повести выйдет отличная пьеса».

В ходе последовавшего обмена корреспонденцией Диккенс сообщил, что он спешно ищет какого-нибудь американского подданного, которому мы могли бы продать право постановки драмы в Америке, оставив за собой право на долю прибыли. Под Рождество Диккенс получил от меня окончательный текст инсценировки и прислал мне из Бостона следующий ответ: «Пьеса написана с большим старанием и мастерством, но боюсь, она слишком длинная. Ее судьба будет решена прежде, чем вы получите это послание, но я сильно сомневаюсь в ее успехе...» Ниже он выражал опасения по поводу неизбежного в Америке нарушения авторских прав и самовольных постановок какой-нибудь версии нашей пьесы, но, честно говоря, дальше слов «...я сильно сомневаюсь в ее успехе» я не стал читать.

Несмотря на нехватку времени и сил, в середине декабря я соблаговолил откликнуться на письменную просьбу инспектора Филда о встрече на мосту Ватерлоо. Я догадывался, о чем он хочет поговорить со мной, и не ошибся в своем предположении.

Старый сыщик выглядел чрезвычайно довольным собой, что сначала показалось мне странным — ведь после десятого июня, когда я доложил, что накануне ночью ничего дурного в моем доме не произошло, след Друда совсем потерялся. Однако почти сразу, пока мы шли с поднятыми воротниками против ветра со снегом по мосту Ватерлоо, инспектор Филд, похожий на летучую мышь в своем развевающемся за спиной шерстяном плаще,

сообщил мне, что Столичная полиция арестовала некоего малайца, подозреваемого в убийстве. Малаец этот, как выяснилось, являлся одним из ближайших помощников Друда, и в настоящий момент его допрашивали с пристрастием в тюремной камере. Показания, полученные от него в начале допроса, заставляли предположить, что Друд покинул Подземный город и сейчас скрывается в трущобных кварталах Лондона. Инспектор Филд доверительно сказал мне, что теперь, рано или поздно, они всяко получат в руки ниточку, ведущую прямиком к египетскому убийце, — самую надежную из всех, какие оказывались у них в руках в течение двадцати лет бесплодных усилий.

— Значит, полицейские делятся с вами информацией, — сказал я.

Инспектор Филд обнажил в улыбке крупные желтые зубы:

— Допрос проводят мои люди и я, мистер Коллинз. В полиции у меня осталось много близких друзей, пусть даже комиссар и высшие чины относятся ко мне с меньшим уважением, чем я заслуживаю.

— А нынешний начальник сыскного отдела знает об аресте одного из помощников Друда? — спросил я.

— Пока — нет, — ответил Филд, прикладывая толстый палец к носу сбоку. — Верно, вы гадаете, зачем я вызвал вас на встречу в столь морозный день, мистер Коллинз.

— Да, — солгал я.

— Так вот, сэр, с сожалением вынужден сообщить вам, что наше длительное деловое сотрудничество закончено, мистер Коллинз. Мне печально расставаться с вами, но мои возможности ограниченны — как вы сами наверняка понимаете, сэр, — и отныне я хочу направить все имеющиеся в моем распоряжении силы и средства на разыгрывание эндшпиля против чудовища Друда.

— Я... удивлен, инспектор, — сказал я, подтягивая свой красный шарф к самому носу, чтобы скрыть улыбку. Именно этого я и ожидал. — Означает ли это, что

рядом с моим домом на Глостер-плейс больше не будет дежурить мальчишка-связной?

— Увы, именно так, мистер Коллинз. Что заставляет вспомнить о прискорбной участи бедного юного Гузбери. — К великому моему изумлению, старик вытащил из кармана огромный платок и долго сморкал в него свой красный нос.

— Ну, если наше сотрудничество необходимо прекратить... — начал я с притворно огорченным видом.

— Боюсь, у нас нет выбора, мистер Коллинз. И я полагаю, сэр, что Друд более не нуждается в услугах нашего общего друга мистера Чарльза Диккенса.

— Неужели? — спросил я. — Почему вы пришли к такому заключению, инспектор?

— В первую очередь, сэр, я исхожу из того факта, что Друд не предпринял никаких попыток встретиться с мистером Диккенсом в годовщину их знакомства под Стейплхерстом.

— Безусловно, вы лишили Друда всякой возможности повидаться с ним, выставив у моего дома кордон из опытных агентов. — Мы дошли до конца моста, повернулись спиной к ветру и зашагали в противоположном направлении.

Инспектор Филд издал кудахтающий смешок:

— Это совершенно исключено, сэр. Если Друду угодно явиться куда-нибудь, он туда является. И пятьсот отборных полицейских не помешали бы ему встретиться с Диккенсом той ночью — прямо в вашем доме при необходимости, сэр, — когда бы он хотел этого. Такова уж дьявольская природа нашего чужеземного монстра. Но в том, что мистер Диккенс больше не нужен Друду, меня окончательно и бесповоротно убедил тот простой факт, что упомянутый писатель в настоящее время находится в Америке.

— Да при чем же здесь Америка, инспектор?

— Друд не позволил бы мистеру Диккенсу уехать так далеко, если бы все еще нуждался в его услугах, — сказал старый сыщик.

— Очень интересно, — пробормотал я.

— И известно ли вам, о каких именно услугах идет речь, мистер Коллинз? Мы с вами никогда не говорили об этом.

— Я никогда не задавался вопросами на сей счет, инспектор, — солгал я, радуясь, что на моих разрумянившихся от мороза щеках стыдливый румянец не заметен.

— Друд хотел, чтобы мистер Диккенс кое-что написал для него, — объявил инспектор Филд тоном человека, изрекающего откровение. — При необходимости — под принуждением. Я бы не удивился, если бы узнал, что Друд устроил всю трагедию под Стейплхерстом с единственной целью обратить в рабство самого известного писателя Англии.

Он городил чушь, ясное дело. Даже «чужеземный монстр», существующий в воображении старого сыщика, никак не мог знать, что Диккенс не погибнет при падении вагонов первого класса с разобранного моста.

Но вслух я произнес лишь:

— Очень интересно.

— А вы догадываетесь, мистер Коллинз, что именно Друд заставил бы мистера Диккенса написать и опубликовать для него?

— Свою биографию? — предположил я, чтобы показать старику, что я не законченный тупица.

— Нет, сэр, — сказал инспектор Филд. — Труд, посвященный древней языческой религии, с описанием всех нечестивых обрядов, ритуалов и тайных магических приемов.

Теперь я удивился по-настоящему. Я остановился, и инспектор Филд тоже. Боковые фонари на проезжающих по мосту каретах горели, несмотря на ранний час.

— Зачем Друду заставлять писателя-романиста описывать в подробностях какую-то мертвую религию? — спросил я.

Инспектор Филд широко улыбнулся и снова легонько постучал себя пальцем по носу сбоку.

— Для Друда она не мертва, мистер Коллинз. Она не мертва для великого множества последователей Друда,

обитающих в Подземном городе, если вы меня понимаете, сэр. Видите вот это, сэр?

Я посмотрел вдоль берега Темзы на северо-запад, куда указывал инспектор.

— Театр «Адельфи»? — спросил я. — Старую фабрику ваксы Уоррена? Или вы имеете в виду сам Скотленд-Ярд?

— Все вместе, мистер Коллинз. И все, что находится дальше — вплоть до Сент-Джеймс-плейс, а также вдоль Пикадилли, до самой Трафальгарской площади и дальше, включая Чарринг-Кросс, и Лестер-Сквер, и весь Стрэнд до Ковент-Гардена.

— Ну и что, инспектор?

— Представьте себе там громадную стеклянную пирамиду, мистер Коллинз. Представьте себе весь Лондон, от Биллингсгейта до Блумсберри и Риджентс-парка, в виде скопления гигантских стеклянных пирамид с бронзовыми сфинксами... представьте, коли можете, сэр. Ибо Друд представляет себе такое.

— Это безумие, — сказал я.

— Верно, мистер Коллинз, чистой воды безумие, — рассмеялся инспектор Филд. — Но именно этого хотят Друд и все подземные почитатели древних египетских богов, сэр. И они намерены достичь своей цели, если не в этом веке, так в следующем. Представьте себе, что в двадцатом веке повсюду там будут возвышаться громадные стеклянные пирамиды — и храмы, сэр, где отправляются тайные обряды с использованием месмерической магии, превращающей людей в безропотных рабов.

— Это безумие, — повторил я.

— Да, сэр, — сказал инспектор Филд. — Но безумие Друда не делает его менее опасным. Скорее — наоборот.

— Ну ладно. — Мы как раз дошли до конца моста. — Я выхожу из игры. Благодарю вас за все ваши заботы и покровительство, инспектор Филд.

Старик кивнул, но тотчас же кашлянул в кулак.

— И еще одна мелочь, сэр. Печальное побочное последствие прекращения нашего сотрудничества.

— Что такое, инспектор?

— Ваши исследования.

— Я не вполне вас понимаю, — промолвил я, хотя прекрасно все понял.

— Ваши исследования, проводимые в опиумных притонах Подземного города. Ваши еженедельные посещения притона Короля Лазаря, если точнее. С сожалением вынужден сказать, что я больше не смогу предоставлять вам сыщика Хэчери в качестве провожатого и телохранителя.

— А-а-а... — протянул я. — Ясно. Не берите в голову, инспектор. Я в любом случае собирался закончить свои исследования в этом направлении. Сейчас, когда я занимаюсь постановкой пьесы и работаю над романом, более половины которого уже написано, у меня просто нет ни времени на подобные исследования, ни дальнейшей необходимости в них.

— Вот как, сэр? Что ж... признаться, у меня прямо камень с души свалился. Я беспокоился, что перевод сыщика Хэчери на другую работу причинит вам неудобства.

— Вовсе нет, — солгал я.

Честно говоря, мои еженедельные встречи с Хэчери в таверне перед походом к Королю Лазарю уже давно превратились в еженедельные совместные ужины. В ноябре, во время одного из таких ужинов, Хэчери, теперь ставший моим осведомителем, предупредил меня, что инспектор Филд вскоре освободит его от обязанностей моего телохранителя.

Я был готов к этому и спросил, весьма дипломатично, имеет ли он, Хэчери, право заниматься работой, не связанной с сыскным бюро инспектора Филда.

«Да, — сказал он. — Конечно». И он действительно договорился, чтобы Филд не занимал его делами по четвергам вечером. «Я сказал, мол, хочу выделить время для общения со своими девочками», — сообщил мне Хэчери за кофием с сигарой.

Я предложил ему щедрую плату за то, чтобы он продолжал сопровождать и охранять меня в моих еженедельных походах, не ставя инспектора в известность.

Хэчери тотчас согласился, и мы скрепили сделку рукопожатием — моя ладонь утонула в его лапище.

Сейчас, декабрьским днем 1867 года, мы с инспектором Филдом тоже обменялись рукопожатием и зашагали по мосту Ватерлоо в разные стороны, полагая (по крайней мере, я полагал), что больше никогда не встретимся.

На той же неделе, когда я удалил инспектора Филда из своей жизни, у меня состоялась (на сей раз по моей просьбе) еще одна встреча, в ресторации «Петух и чеширский сыр» на Флит-стрит. Я умышленно опоздал, и к моменту моего прибытия Джозеф Клоу, одетый в дурно скроенный саржевый костюм, уже сидел за столом, явно чувствуя себя крайне неловко в обстановке, гораздо более изысканной и роскошной, чем привычная для водопроводчика и сына винокура.

Я подозвал сомелье и сделал заказ, но еще не успел сказать Клоу ни слова, когда плюгавый человечек нервно заговорил:

— Сэр... мистер Коллинз... если вы насчет того, что я остался на ужин тогда в октябре, то я нижайше извиняюсь, сэр, и могу лишь сказать, что ваша домоправительница миссис Г*** пригласила меня отужинать с ней, желая таким образом вознаградить меня за досрочное окончание водопроводных работ на верхних этажах, сэр. Если мне не следовало принимать приглашение... а я теперь понимаю, что не следовало... я прошу прощения и...

— Нет-нет, не извиняйтесь, — перебил я. Положив ладонь на грубошерстный рукав водопроводчика, я тотчас задал разговору иной тон. — Я попросил вас о встрече, мистер Клоу... вы позволите называть вас просто Джозеф?.. поскольку сам хочу извиниться перед вами. Уверен, тогда вечером, два месяца назад, вы могли ошибочно принять... и наверняка приняли... мой изумленный вид за недовольный. Я надеюсь хотя бы отчасти загладить свою вину перед вами, угостив вас отличным ужином здесь, в ресторации «Петух и чеширский сыр».

— Не стоит, сэр, право слово... — начал Клоу, но я снова перебил его:

— Видите ли, мистер Клоу... Джозеф... сейчас я говорю с вами как давний работодатель миссис Г***. Вероятно, она говорила вам, что служит у меня уже много лет.

— Да, — кивнул Клоу.

Нас прервало появление официанта, который узнал меня и восторженно поприветствовал. Клоу явно не знал, что выбрать из меню, и я сделал заказ на двоих.

— Да, — продолжил я, — хотя миссис Г*** все еще довольно молода, она и ее дочь уже много лет состоят у меня в услужении. Она нанялась ко мне, когда Хэрриет — так зовут ее дочь — была малым ребенком. Сколько вам лет, мистер Клоу?

— Двадцать шесть, сэр.

— Прошу вас, называйте меня просто Уилки, — горячо сказал я. — А вы будете Джозефом.

Молодой человек растерянно захлопал глазами. Он явно не привык переступать сословные барьеры.

— Вы наверняка понимаете, Джозеф, что я питаю к миссис Г*** глубочайшее уважение и считаю своим долгом заботиться о ней и ее прелестной дочери.

— Да, сэр.

Я попробовал вино и наполнил бокал Клоу до краев.

— Когда она рассказала мне о своей сердечной склонности к вам, Джозеф, я очень удивился... признаюсь, я премного удивился, поскольку Кэролайн... миссис Г***... за все пятнадцать лет нашего знакомства ни разу не отзывалась столь высоко ни об одном джентльмене. Но ее чувства и желания для меня святое. На сей счет даже не сомневайтесь.

— Да, сэр, — повторил Клоу.

У него был вид человека, крепко получившего по голове одним из самых увесистых водопроводных инструментов.

— Миссис Г*** — молодая женщина, Джозеф, — продолжал я. — Она поступила ко мне в услужение совсем еще юной девушкой, почти девочкой. Несмотря на свои многочисленные хозяйственные обязанности и ответственное положение в моем доме, она женщина все еще молодая, примерно вашего возраста.

На самом деле третьего февраля, меньше чем через два месяца, Кэролайн исполнялось тридцать восемь.

— Отец выделил миссис Г*** значительное приданое, и я с превеликим удовольствием присовокуплю к нему известную сумму, — сказал я. — Разумеется, помимо приданого имеется скромное наследство.

Отец Кэролайн умер в Бате в январе 1852 года, не оставив ей ни приданого, ни наследства, и я не собирался прибавлять ни полпенни к этим несуществующим суммам.

— Уверяю вас, сэр Уилки, сэр... то был просто поздний ужин... Миссис Г*** хотела всего лишь вознаградить меня за усердие, — пролепетал Клоу.

Тут на стол затеяли подавать блюда, у молодого человека глаза полезли на лоб при виде количества и качества пищи, и наш разговор принял совсем уже односторонний характер — я продолжал подливать Клоу вино и исподволь гнул свою странную линию, якобы бескорыстную, но в действительности насквозь лицемерную.

В то время моя мать тоже постоянно жаловалась и настойчиво требовала моего внимания. Она, по ее словам, начала страдать от мучительных болей непонятного происхождения. Так и хотелось сказать ей, что в семидесятисемилетнем возрасте боли непонятного происхождения (и возможно, порой даже мучительные) являются частью платы за долгожительство.

Моя мать всегда жаловалась на разные хвори и всегда была здоровой — здоровее своего мужа, умершего молодым; здоровее своего сына Чарльза, многие годы изнемогавшего от язвенной болезни, на поверку оказавшейся раком; и уж всяко здоровее своего бедного сына Уилки, который жестоко мучался ревматоидной подагрой и зачастую просто лез на стену от нестерпимой боли.

Но мать постоянно жаловалась и просила — почти требовала, — чтобы я провел с ней в Танбридж-Уэллсе несколько дней в рождественскую пору. Об этом не могло идти речи, разумеется, хотя бы потому, что Кэролайн тоже требовала, чтобы я провел Рождество или несколько

дней в рождественскую пору с ней и Кэрри. О последнем также не могло идти речи.

Премьера спектакля «Проезд закрыт» была назначена на «день подарков» — второй день Рождества.

Двадцатого декабря я написал матери:

Милая матушка!

В самый разгар хлопот по подготовке спектакля выбрал минутку черкнуть пару строк, дабы уведомить вас, что я приеду в Рождество, если не раньше.

Работа над пьесой подвигалась медленно и сопровождалась чудовищными трудностями. Мне пришлось заново переписать весь пятый акт — его я закончил только сегодня, — и премьера назначена на следующий четверг — сразу после Рождества!

Коли я изыщу возможность написать еще раз — напишу. В противном же случае условимся сейчас на том, что я всенепременно приеду в рождественский день. Если же мое присутствие не потребуется на репетициях в следующий понедельник и вторник, я объявлюсь раньше. У вашего замученного делами сына нет ни единой минуты досуга. Но работа над пьесой наконец завершена — так что главная моя забота с плеч долой. Как же хочется мне насладиться тишиной и покоем вашего дома!

Пришлите мне кратенькое письмецо до Рождества. Привезу вам таблеток от изжоги и шоколад, доставленный Чарли из Парижа. Надо ли привезти вам еще что-нибудь — только такое, что помещалось бы в саквояж?

Ваш любящий У. К.

Чарли собирается приехать к вам из Гэдсхилла на рождественской неделе в пятницу.

В общем, я провел рождественский день со своей матерью в Танбридж-Уэллсе — она безостановочно жаловалась на расстроенные нервы и изжогу, а равно на подозрительных, зловещей наружности незнакомцев, появившихся в округе, — и на следующее утро с первым же поездом уехал в Лондон.

В день премьеры Фехтер, одержимый страхом сцены, по обыкновению, находился в самом плачевном состоянии. Последние два часа перед спектаклем его почти

безостановочно рвало, и несчастный костюмер вконец замучился бегать взад-вперед с тазиком.

В конечном счете я предложил актеру принять несколько капель лауданума, чтобы унять волнение. Не в силах вымолвить ни слова, Фехтер покорно высунул язык. От всепоглощающего ужаса, владевшего беднягой, язык у него стал металлически-черным, как у попугая. Однако, едва лишь занавес поднялся, Фехтер тотчас обрел дар речи и уверенной поступью вышел на подмостки в образе гнусного злодея Обенрейцера.

Я же, следует заметить, нисколько не волновался. Я знал, что спектакль обречен на успех, и оказался прав.

Двадцать седьмого декабря я написал матери из конторы «Круглого года», расположенной в доме двадцать шесть по Веллингтон-стрит:

> Милая матушка!
>
> Выдалась минутка сообщить вам, что вчерашняя премьера прошла с огромным успехом. Зрители остались в восторге, актеры выступили превосходно.
>
> Получил высланные вами гранки в целости и сохранности.
>
> Полагаю, Чарли сегодня гостит у вас.
>
> Коли сможете, напишите, как ваше здоровье и в какой день на следующей неделе мне можно приехать. Искренне надеюсь, что сейчас вы чувствуете себя лучше, чем в последний мой приезд.
>
> Кланяйтесь от меня Чарли.
>
> Ваш любящий У. К.

День премьеры стал единственным за весь 1867 год четвергом, когда мне пришлось пропустить еженедельный поход в подземный притон Короля Лазаря. Но я заблаговременно договорился о переносе данного мероприятия на пятницу, двадцать седьмого декабря (и писал матери из диккенсовских комнат при редакции журнала именно потому, что сказал обеим своим женщинам, Кэролайн и Марте, что проведу ночь там), и сыщик Хэчери любезно согласился сопровождать меня не в «день подарков», а в следующую за ним пятницу.

Кэролайн Г*** хотела выйти замуж. Такую возможность я даже не рассматривал. С другой стороны, Марта Р*** хотела только ребенка (или детей, во множественном числе). Она не настаивала на браке, поскольку ее вполне устраивала роль «миссис Доусон», жены вымышленного «мистера Доусона», постоянно разъезжающего по миру торговца, который редко бывает в своем доме на Болсовер-стрит.

Примерно в то время, когда драма «Проезд закрыт» с успехом шла в театре и работа над «Лунным камнем» близилась к завершению, а в особенности после второй тайной встречи с мистером Джозефом Клоу в чуть менее дорогой лондонской ресторации, я начал подумывать о том, чтобы пойти навстречу желанию Марты.

Первые две недели нового 1868 года выдались бурными для меня, и мне кажется, я никогда в жизни не был так счастлив, как тогда. В моих письмах к матери (и десяткам друзей и знакомых) не содержалось ни малейших преувеличений. Пьеса «Проезд закрыт» — несмотря на критический отзыв о ней Чарльза Диккенса, пришедший из далекой Америки, — имела настоящий успех. Я продолжал по меньшей мере дважды в неделю наведываться в Гэдсхилл-плейс и сидеть за обеденным столом в обществе Джорджины, моего брата Чарли и Кейти (когда Чарли находился там), сына Диккенса Чарли и его жены Бесси (они тоже часто там бывали), дочери Диккенса Мейми (жившей там постоянно), а равно изредка наезжающих гостей вроде Перси Фицджеральда или Уильяма Макриди с очаровательной второй женой.

Я пригласил всех их в Лондон на спектакль «Проезд закрыт». Я разослал множество писем с приглашениями другим своим знакомым вроде Уильяма Холмена Ханта, Т. Х. Хиллса, Нины Леманн, сэра Эдвина Лэндсира, Джона Форстера и прочих.

Я пригласил всех упомянутых особ и еще многих отобедать со мной в доме на Глостер-плейс в субботу, восемнадцатого января (*не* в парадном платье, подчеркнул я), а оттуда отправиться в театр и посмотреть спектакль,

удобно расположившись вместе со мной в поместительной авторской ложе. Кэролайн пришла в совершенный восторг и, образно выражаясь, взялась за кнут, чтобы трое наших слуг спешно подготовили огромный дом к столь торжественному приему. И она целыми часами обсуждала меню предстоящего обеда с французской поварихой.

Матушка написала (на самом деле она продиктовала письмо Чарли, на день заехавшему в Танбридж-Уэллс), что к ней наведывался некий доктор Рамсис — врач, пользовавший одно местное семейство и прослышавший о ее недомогании. После тщательного осмотра он поставил диагноз «закупорка сердечной артерии», выдал ей три лекарственных препарата (которые, по словам матери, нисколько не помогали) и посоветовал съехать из коттеджа, дабы спастись от шума, сопровождающего ремонтно-строительные работы, что велись в деревне в настоящее время. Когда она упомянула доктору о своем любимом домике в расположенном поблизости Бентам-Хилле, он настоятельно порекомендовал перебраться туда безотлагательно. В конце письма Чарли от себя приписал, что матушка пригласила с собой в Бентам-Хилл свою экономку, кухарку и соседку по имени миссис Уэллс — к нашему с Чарли облегчению, ибо теперь мы знали, что за матерью будет кому присматривать, покуда она оправляется от своих мелких недугов.

Ниже матушка добавила, мол, доктор Рамсис говорит, что ей требуется полный покой и что он — при помощи назначенных лекарств и дальнейшего ухода — сделает все возможное, дабы обеспечить ей таковой. В постскриптуме она сообщила, что много лет назад доктор Рамсис претерпел жесточайшие муки от полученных при пожаре ожогов, навсегда оставивших на нем шрамы, и потому решил посвятить свою жизнь облегчению телесных страданий своих ближних.

Все наши надежды выгодно продать право постановки пьесы американскому продюсеру рухнули, когда пришло письмо от Диккенса: «Пираты повсюду ставят собственные дрянные переделки».

Диккенс утверждал, что сделал все возможное, дабы передать мою инсценировку или по крайней мере право на сотрудничество в честные руки — и даже зарегистрировал «Проезд закрыт» как собственность Тикнора и Филдса, своих бостонских издателей, — но я сомневался в искренности (или по крайней мере — настойчивости) его усилий. В конце концов, в предыдущих своих письмах он называл мою пьесу «слишком длинной» и говорил, к великому моему раздражению, что «она скатывается в простую мелодраму» — посему я подозревал, что Диккенс просто выжидает возможности переработать пьесу... или написать новую инсценировку с нуля. (Мои подозрения подтвердились в июне следующего года, когда Диккенс именно так и поступил: написал в соавторстве с Фехтером новую версию драмы для постановки в Париже. Спектакль провалился.)

Так или иначе, далее в своем письме Диккенс сообщал, что бостонский театр «Мюзеум» выпустил спектакль по нашей повести в уму непостижимые сроки: всего через десять дней после прибытия в Америку оригинального текста инсценировки. Это было чистой воды пиратство, конечно же, и Диккенс, по его словам, заставил Тикнора и Филдса пригрозить руководству театра судебным запретом — но пираты, учитывая снисходительное отношение американцев к нарушению авторских прав, прекрасно понимали, что общественность поднимет голос против *Диккенса*, коли он будет упорствовать, а потому не поддались на угрозы издателей и продолжали показывать чудовищно плохую версию нашей пьесы. «А тем временем, — писал далее Диккенс, — нагрянула доблестная рать пиратов, и теперь наша пьеса, так или иначе изуродованная, идет повсюду».

Впрочем, бог с ним. Меня мало волновали эти далекие неприятности. Тридцатого декабря я писал матери: «Спектакль приносит хорошую прибыль. Это подлинный успех — скоро мы все разбогатеем».

В следующий свой приезд, второго января, я привез матушке на подпись юридические бумаги, удостоверяющие наше с Чарли право на получение в равных долях

пяти тысяч фунтов, доставшихся ей от тети Дэвис и приносящих процентный доход, а также право распоряжаться этими деньгами по собственному усмотрению — в случае, если она умрет раньше нас.

Стремительно приближался день торжественного званого обеда и последующего похода в театр. Кэролайн и Кэрри украсили огромный дом на Глостер-плейс так пышно, словно там предстояло провести коронацию, а наши счета за продукты на той неделе составили сумму, какую мы обычно расходовали за полгода. Неважно. Сейчас было время праздновать.

В четверг я написал:

Глостер-плейс, 90
Портмен-Сквер В.
17 января 1868 г.

Милая матушка!

Мы с Чарли вздохнули с облегчением, узнав, что вы перебрались в Бентам-Хилл и вновь поручили себя заботам миссис Уэллс. Меня нисколько не удивляет, что переезд совершенно вас обессилил. Надеюсь, отдохнув и восстановив силы, вы начнете ощущать пользу от перемены места жительства. Пожалуйста, известите меня парой строк о своем самочувствии и сообщите, как скоро мне (или Чарли) можно будет проведать вас на новом месте. Помните, что тишина, покой и свобода от лондонской суеты помогают мне в моей работе. И еще уведомьте меня (как только сможете написать, не совершая над собой чрезмерных усилий), когда будет удобнее прислать в Бентам-Хилл небольшой запас бренди и вина.

Пьеса пользуется колоссальным успехом. Каждый вечер театр переполнен. Эта игра на чувствах зрителей весьма доходна и обещает еще долго приносить мне пятьдесят — пятьдесят пять фунтов в неделю. Так что по поводу денежных вопросов не волнуйтесь.

Я уже написал почти половину «Лунного камня».

Больше никаких новостей нет. До свидания.

Ваш любящий

У. К.

Не знал я, что это письмо станет последним, которое я напишу своей дорогой матушке.

На второй неделе нового года я был так занят работой над «Лунным камнем» и театральными делами, что мне снова пришлось перенести поход в притон Короля Лазаря с четверга на пятницу. Сыщик Хэчери, похоже, ничего не имел против — он сказал, что в пятницу ему всяко легче освободить вечер, чем в четверг, — и я снова угостил своего огромного телохранителя превосходным ужином (на сей раз в таверне «Голубые столбы» на Корк-стрит), прежде чем он повел меня в темные припортовые трущобы и благополучно довел до жуткого скопления могил и гранитных надгробий, которое Диккенс давным-давно окрестил Погостом Святого Стращателя.

На то ночное дежурство Хэчери взял новую книгу — «Историю Генри Эсмонда», принадлежащую перу Теккерея. Диккенс однажды одобрительно отозвался о решении Теккерея произвольно разделить длинный роман на три «книги» и позаимствовал у него сей прием для всех своих последующих крупных произведений. Но я не стал упоминать сыщику об этом несущественном профессиональном моменте, ибо мне не терпелось поскорее спуститься вниз.

Король Лазарь поприветствовал меня, по обыкновению, сердечно. (На прошлой неделе я предупредил старого китайца, что, скорее всего, приду не в четверг, а в пятницу, и он заверил меня на своем безупречном английском, что мне будут рады в любое время.) Лазарь и его могучий телохранитель-китаец проводили меня к моей койке и вручили мне мою опиумную трубку, уже заправленную и зажженную, как всегда. Довольный прошедшим днем и своей жизнью — уверенный, что приятное чувство удовлетворения стократ усилится за часы, проведенные здесь с трубкой, — я закрыл глаза, устроился поудобнее в своей уютной глубокой нише и в сотый раз поплыл на восходящих волнах дыма в царство сладостных грез.

В тот момент прежняя моя жизнь закончилась.

Глава 25

— Теперь можете проснуться, — говорит Друд.

Я открываю глаза. Нет, неверно. Мои глаза уже были открыты. Сейчас, с *его* позволения, я обретаю способность видеть.

Я не могу ни поднять, ни просто повернуть голову, но с места, где лежу навзничь на какой-то холодной поверхности, я вижу достаточно, чтобы понять: я нахожусь не в опиумном притоне Короля Лазаря.

Я голый — это я вижу, и, не поднимая головы, а по давлению холодного мрамора на спину и ягодицы, по дуновениям холодного воздуха, овевающего грудь, живот и гениталии, я понимаю, что лежу на каменной плите или низком алтаре. Справа надо мной возвышается черная ониксовая статуя высотой не менее двенадцати футов — она изображает обнаженного по пояс мужчину в короткой золотой юбке, который сжимает в могучих мускулистых руках золотое копье или пику. Но жуткое черное тело увенчано головой шакала. Слева стоит похожая статуя, такой же высоты и тоже с копьем, но вместо шакальей у нее голова какой-то хищной птицы с крючковатым клювом. Обе они пристально смотрят на меня.

Друд вступает в поле моего зрения и тоже молча смотрит на меня.

У него все то же мертвенно-бледное, уродливое лицо, какое привиделось мне в Бирмингеме, а потом, в прошлом июне, в собственном моем доме, но в остальном он выглядит иначе.

Он по пояс обнажен, если не считать широкого, массивного ожерелья, выполненного, похоже, из чеканного золота и инкрустированного рубинами и лазуритом. На грязно-белой груди у него висит тяжелый золотой крест — поначалу я принимаю его за христианский, но потом замечаю овальную петлю на месте верхнего луча. Я видел подобные предметы в витринах Лондонского музея, даже знаю, что они называются «анкхами», но понятия не имею, какое символическое значение они имеют.

У Друда все тот же нос — две вертикальные щели на черепообразной физиономии — и все те же безвекие глаза, но сейчас они густо обведены темно-синими, почти черными, вытянутыми к вискам стрелками, воспроизводящими кошачий разрез глаз. От переносья через лоб и выше тянется кроваво-красная полоса, делящая пополам лысый, белый, словно лишенный кожи череп.

В руке Друд сжимает кинжал с усыпанной драгоценными камнями рукоятью. Острие клинка недавно было обмакнуто в красную краску или свежую кровь.

Я пытаюсь заговорить, но не могу издать ни звука. Я не в силах даже открыть рот и пошевелить языком. Я чувствую свои руки и ноги, но они меня не слушаются. Только глаза и веки подчиняются моей воле.

Друд поворачивается направо.

Ун ре-а Птах, уау нету, уау нету, ару ре-а ан нетер нут-а,
И арефм Джехути, мех апер ем хека, уау нету, уау нету,
ен Сути сау ре-а,
Хесеф-ту Тем утен-неф сенеф саи сет.
Ун ре-а, апу ре-а ан Шу ем нут-еф туи ент иффе
ен пет енти ап-неф ре ен нетеру ам-ес.
Нук Секхет! Хемс-а хе кес амт урт аат ент пет.
Нук Сакху! Урт хер-аб байу Анну.
Ар хека неб т'етет неб т'ету ер-а сут. Аха нетеру ер-сен
паут нетеру темтиу.

О Птах, даруй мне голос! Сними печать, сними печать,
что наложили на мои уста малые боги.
Войди в меня, о Джехути, носитель Хека, исполненный
Хека!
Сними печать, сними печать Сути, сковывающую
мои уста.
О Тем, изгони прочь всех, кто препятствует мне!
Даруй мне голос! О Шу, отверзни мои уста божественным
железным орудием, что наделило богов голосами.
Я Секхет! Я охраняю западное небо.
Я Сакху! Я сторожу души, обитающие в Анну.
О боги и дети богов, услышьте мой голос и восстаньте
на тех, кто не желает внимать мне!

Стремительным, плавным движением он чертит в воздухе кинжалом вертикальную линию справа от меня.

— *Кебсеннуф!*

Добрая сотня голосов, принадлежащих существам, что находятся вне моего поля зрения, хором выкрикивает:

— *Кебсеннуф!*

Друд поворачивается в сторону, куда обращены мои ноги, и снова чертит в воздухе вертикальную линию.

— *Амсет!*

Хор бестелесных голосов вторит:

— *Амсет!*

Друд поворачивается налево и опять чертит в воздухе клинком вертикальную линию.

— *Туамутеф!*

— *Туамутеф!* — гремит хор.

Друд направляет острие кинжала на меня и чертит вертикальную линию в воздухе, насыщенном, как я теперь замечаю, дымом и ароматом курений.

— *Хапи! Я — огонь, проливающий свет на Открывающего Врата Вечности!*

Незримый хор испускает протяжный, заунывный вопль, похожий на вой шакальей стаи в полночь на нильском берегу:

— *Хапи!*

Друд улыбается и ласково произносит:

— Мис-с-стер Уилки Коллинз-з, теперь вы можете пошевелить головой, но только головой.

Внезапно ко мне возвращается способность движения. Я не могу приподнять плечи, но свободно поворачиваю голову вправо-влево. Очков на мне нет. Все, что находится дальше десятка футов, словно подернуто туманной дымкой: мрамор, уходящие в темноту колонны, шипящие жаровни, десятки фигур в балахонах с капюшонами.

Мне не нравится этот опиумный сон.

Хотя вслух я этого не говорю, Друд запрокидывает голову и хохочет. Золотое ожерелье на тощей шее блестит в свете свечей.

Я отчаянно пытаюсь пошевелить конечностями, но все без толку: одна лишь голова слушается меня. Я плачу от сознания собственного бессилия, перекатывая голову из стороны в сторону, и слезы льются на белый алтарь.

— Мис-с-стер Уилки Коллинз-з, — вкрадчиво мурлычет Друд. — Хвала владыке ис-с-стины, чей храм сокрыт от взоров, из чьих очей вышло человечес-ство, из чьих ус-ст на свет появились боги. Кто выс-с-сок, как небо, необъятен, как земля, глубок, как море.

Я пытаюсь закричать, но челюсти, губы и язык по-прежнему не повинуются мне.

— Теперь можете заговорить, мис-с-стер Уилки Коллинз, — произносит Друд.

Он обошел алтарь и сейчас стоит справа от меня, обеими руками держа кинжал с кроваво-красным острием на уровне груди. Фигуры в балахонах с капюшонами подступают ближе и выстраиваются полукругом за ним.

— Ах ты, сволочь! — ору я. — Чужеземный выродок! Вонючий кусок египетского дерьма! Это *мой* опиумный сон, черт тебя побери! Я тебя не звал!

Друд снова улыбается. Сизый дым от жаровен и курильниц клубится вокруг мертвенно-бледного лица.

— Мис-с-стер Уилки Коллинз, — шепчет он, — надо мной прос-с-стирается Нуит, богиня Неба. Подо мной прос-с-стирается Геб, бог Земли. По правую мою руку находится Ас-ст, богиня Жизни. А по левую руку — Ассар, бог Вечности. Передо мной — перед вами — возвышается Херу, возлюбленный С-сын и С-скрытый С-свет. За мной и над всеми нами с-сияет Ра, чьих имен не знают даже боги. А теперь умолкните.

Я пытаюсь закричать, но опять не могу издать ни звука.

— Отныне и впредь вы будете нашим пис-сцом, — говорит Друд. — До с-скончания с-своей бренной жизни вы будете приходить к нам, дабы пос-стигать нашу древнюю религию, древние обычаи и вечные ис-стины. Вы напишете о них на вашем родном языке, чтобы грядущие поколения узнали о нас-с-с.

Я яростно мотаю головой, но не в силах пошевелить языком.

— Говорите, коли хотите, — мягко молвит Друд.

— Твой писец — Диккенс! — визжу я. — Не я! Твой писец — Диккенс!

— Он один из многих, — отвечает Друд. — Но он... с-сопротивляется. Мис-с-стер Чарльз Диккенс-с-с полагает себя ровней жрецу или жрице храма С-сна. Он полагает, что не ус-с-ступает нам с-силой воли. Он решил пройти через древнее ис-с-спытание, чтобы ос-свободиться от обязанностей нашего постоянного пис-сца.

— Какое еще испытание? — выкрикиваю я.

— Надо убить невинного человека на виду у вс-с-сех, — шепчет Друд, снова обнажая в улыбке мелкие острые зубы. — Мис-с-стер Диккенс-с надеется, что пис-сательское воображение сослужит ему добрую службу в этом деле и он сумеет одурачить богов, но пока что он... со с-своим хваленым воображением... потерпел неудачу.

— Нет! — ору я. — Диккенс убил молодого Диккенсона! Молодого Эдмонда Диккенсона. Я уверен!

Теперь мне ясен мотив убийства. Речь идет о предписанном древним языческим культом условии, выполнение которого освобождает Диккенса от беспрекословного подчинения этому гнусному колдуну. Он обменял жизнь молодого сироты на свою свободу от абсолютной власти Друда.

Друд качает головой и знаком подзывает одного из своих последователей. Человек выступает из толпы расплывчатых фигур и откидывает назад темный капюшон. Это молодой Диккенсон. Он обрился наголо, и глаза у него тоже обведены синей краской на языческий манер, но это молодой Диккенсон.

— Мис-с-тер Диккенс-с любезно предложил нашей маленькой общине этого человека, а этому человеку — нашу маленькую общину, — говорит Друд. — Здес-сь рады и деньгам, и религиозным убеждениям брата Дик-

кенс-сона. Приведя новообращенного в наше Братство, мис-с-стер Чарльз Диккенс-с-с заслужил... известную поблажку.

— Проснись! — кричу я себе. — Бога ради, проснись, Уилки! Хорошенького понемножку! Уилки, проснись же!

Диккенсон и толпа фигур в балахонах отступают на несколько шагов назад, в полумрак.

— Теперь можете снова умолкнуть, мис-с-стер Уилки Коллинз, — произносит Друд.

Он наклоняется, тянется за чем-то, что находится на полу у самого алтаря, вне поля моего зрения, а когда выпрямляется, я вижу у него в правой руке непонятный черный предмет. Овальный, довольно крупный, размером с бледную ладонь Друда; на одном конце у него два изогнутых рога чуть покороче несуразно длинных белых пальцев египтянина.

Я напрягаю зрение, предмет начинает шевелиться.

— Да, — говорит Друд. — Это жук. У меня на родине такой жук называется с-скарабей и считается с-священным в нашей религии...

Огромный черный жук часто перебирает шестью своими длинными лапками, пытаясь уползти прочь. Друд сгибает пальцы, и жук соскальзывает обратно в сложенную чашечкой ладонь.

— Наш с-скарабей состоит в родстве с несколькими представителями семейства *Scarabaeodae*, — сообщает Друд, — но вообще с-скарабеи относятся к обычным навозным жукам.

Я пытаюсь выгнуть спину, взбрыкнуть ногами, взмахнуть руками, но мне удается лишь покрутить головой. На меня накатывает дурнота, и я вынужден расслабиться на холодном камне, борясь с рвотными позывами. Если меня вырвет сейчас, когда я не в состоянии открыть рот, я точно умру от удушья.

— Мои предки с-считали всех жуков с-самцами, — шипит Друд, поднимая руку, чтобы получше рассмотреть отвратительное насекомое. — Они полагали, что шарик,

который навозный жук катает перед собой, состоит из его с-семенной с-субстанции — из с-спермы. Они заблуждалис-сь...

Я бешено моргаю — одно из немногих посильных мне действий. Может, если я буду моргать достаточно часто, это сновидение перетечет в другое или я пробужусь на знакомой койке в теплом логове Короля Лазаря, неподалеку от маленькой угольной печки, где он постоянно поддерживает огонь.

— На с-самом деле, как установила ваша британская наука, именно с-самка навозного жука, отложив на землю оплодотворенные яйца, облепляет оные экскрементами — пищей личинок — и катит перед собой этот мягкий навозный шарик. Он увеличивается в размерах по мере того, как на него налипают пыль и пес-сок, мис-с-стер Уилки Коллинз, — вот почему у прапрапрадедов моих прапрапрадедов с-скарабей ас-с-социировался с ежедневным появлением и движением с-солнца... великого бога с-солнца, причем бога с-солнца вос-сходящего, а не заходящего, имя которому — Хепри.

«Проснись, Уилки! Проснись, Уилки! Проснись же!» — беззвучно кричу я.

— По-египетски обычный навозный жук назывался «хпрр», — монотонным голосом продолжает Друд, — что означает «возникающий, или обретающий, бытие». Это с-слово очень близко к нашему «хпр», что переводится как «с-становление, изменение». Легко понять, как оно преобразовалось сначала в «хпри», а потом в «Хепри» — с-священное имя юного вос-сходящего с-светила, нашего бога-творца.

«Заткнись, черт бы тебя побрал!» — мысленно ору я Друду.

Словно услышав меня, он на миг умолкает и улыбается.

— Этот с-скарабей покажет вам, что значит неизменность изменения, мис-с-стер Уилки Коллинз, — вкрадчиво мурлычет он.

Толпящиеся вокруг фигуры в балахонах заводят монотонную песнь.

— Перед вами не обычный навозный жук, — шепчет Друд. — А европейская разновидность жука-оленя. Эти огромные... как там они называются по-английски, ми-с-стер Коллинз? Мандибулы? Жвалы? Они крупнее и беспощаднее, чем у всех прочих представителей отряда жесткокрылых. И этот *хпрр* — этот с-священный с-скарабей — благословлен богами на с-свое с-святое дело...

Он роняет огромное насекомое на мой голый живот.

Ун ре-а Птах, уау нету, уау нету, ару ре-а ан нетер нут-а,
И арефм Джехути, мех апер ем хека, уау нету, уау нету,
ен Сути сау ре-а,
Хесеф-ту Тем утен-неф сенеф саи сет, —

монотонно выводит незримый хор.

Шесть колючих лапок легко царапают покрытую мурашками кожу, скарабей ползет вверх, к грудной клетке. Я поднимаю голову, изгибая шею до хруста в позвонках, и глаза у меня выкатываются от ужаса при виде громадного черного жука со жвалами длиннее моих пальцев, который приближается к моему лицу.

Я хочу завопить — я должен завопить, — но не могу. Хор голосов звучит все громче в напоенной ароматом курений тьме:

Ун ре-а, апу ре-а ан Шу ем нут-еф туи ент иффе ен пет
енти ап-неф ре ен нетеру ам-ес.
Нук Секхет! Хемс-а хе кес амт урт аат ент пет.
Нук Сакху! Урт хер-аб байу Анну.

Гигантские жвалы жука-оленя впиваются в мою плоть прямо под грудиной. Такой дикой боли я еще никогда не испытывал. Я отчетливо слышу треск шейных сухожилий, когда пытаюсь поднять голову еще выше, чтобы получше видеть.

Скарабей яростно молотит всеми своими шестью лапками, находит коготками точку опоры и проталкивает свои черные серповидные мандибулы, а потом и голову в мягкую плоть моего надчревья. Через пять секунд громадный жук исчезает — целиком скрывается во мне, —

и кожа смыкается над ним, точно вода над упавшим в нее черным камнем.

«Господи! Боже мой! Нет! Господи Иисусе!» — беззвучно кричу я.

— Нет, нет, нет, — говорит Друд, услышав мои мысли. — *Ибо камни из стен возопиют, и жуки из дерева будут отвечать им.* Но именно с-скарабей, а не ваш человекобог Христос-с является «единородным Сыном Божьим», мис-с-стер Уилки Коллинз, с-сэр, пусть даже ваш мнимый бог однажды возгласил: «Но в зависти своей к истинному *Хепри* я с-скарабей, а не человек».

Я чувствую огромного жука *внутри меня.*

Хор людей в темных балахонах монотонно выводит:

— *Ар хека неб т'етет неб т'ету ер-а сут. Аха нетеру ер-сен паут нетеру темтиу.*

Друд вскидывает руки ладонями вверх, закрывает глаза и речитативом произносит:

— Призываю тебя, о Аст! Пусть великая Истина Жизни снизойдет на этого чужака, как она снизошла на наших предков. Прими эту душу как свою собственную, о ты, Открывающий Врата Вечности! Очисти прежнюю его душу в восходящем пламени своем, которое есть Небт-Хет. Напитай это орудие, как ты питала Херу в укрытии среди тростника, о Аст, чье дыхание есть жизнь, чей голос есть смерть.

Я чувствую, как мерзкое существо шевелится внутри меня! Я не могу закричать. У меня не открывается рот. От мучительного напряжения из глаз моих льются кровавые слезы.

Друд поднимает длинный металлический прут с подобием чаши на одном конце.

— Пусть Шу отверзнет нашему пис-с-сцу ус-с-ста божественным железным орудием, что в начале времен наделило богов голос-с-сами, — напевно произносит Друд.

Рот у меня открывается — все шире и шире, до треска челюстных мышц, — но я по-прежнему не в силах издать ни звука.

Колючие лапки скарабея царапают мой кишечник, продвигаясь вдоль него. Я чувствую, как жук находит коготками точку опоры. Чувствую жесткость хитинового панциря в своих внутренностях.

— Мы — Секхет! — громко возглашает Друд. — Мы охраняем западное небо. Мы — Сакху! Мы сторожим души, обитающие в Анну. Пусть боги и дети богов услышат наш голо-с-с-с — наш голос-с-с, звучащий в словах нашего пис-с-сца, — и смерть всем, кто не желает внимать нам!

Друд проталкивает железный ковш в мой широко разинутый рот. В сосуде с острыми краями находится что-то округлое, мягкое, покрытое шерстью. Друд резким движением накреняет ковш, и пушистый комок вываливается из него мне глубоко в горло.

— Кебсеннуф! — выкрикивает Друд.

— *Кебсеннуф!* — рокочет незримый хор.

Я задыхаюсь. Мое горло плотно закупорено пушистым комком. Я чувствую, как жук останавливается в низу брюшной полости. Колючие лапки скребут мои внутренности, разрывают стенку желудка, продвигаются выше, в грудную клетку, к сердцу.

Я хочу изрыгнуть шерстистый шарик из горла, но не в силах сделать даже этого. Глаза мои выпучены до предела и, кажется, вот-вот выскочат из орбит. «Вот так умрет известный писатель Уилки Коллинз, — думаю я. — И никто никогда об этом не узнает». Из-за кислородного голодания мое поле зрения начинает сужаться, обращаясь в подобие темного туннеля, и все мысли покидают меня.

Лапки скарабея царапают мое правое легкое. Жвалы скарабея скребут по наружной оболочке сердца. Жук ползет вверх по горлу, я чувствую, как раздувается моя шея.

Насекомое хватает пушистый комок, закупоривший мне глотку, и тащит его вниз по пищеводу к желудку.

Доступ воздуха в легкие снова открыт! Я кашляю, судорожно хватаю ртом воздух, тужусь в попытке вызвать рвоту и наконец вспоминаю, как дышать.

Друд кругообразными движениями водит горящей свечой над моими лицом и грудью. Горячие капли воска обжигают голую кожу, но эта боль не идет ни в какое сравнение с дикой болью, которую причиняет мне скарабей. Он снова ползет вверх.

— Я взлетаю, как птица, и опускаюс-сь, как жук, — речитативом произносит Друд, нарочно проливая раскаленный воск мне на грудь и шею. — Я взлетаю, как птица, и опускаюс-сь, как жук, на пус-стой трон, воздвигнутый на твоей ладье, о Ра!

Громадное насекомое, закованное в жесткий хитиновый панцирь, протискивается мне в горло и проникает в черепную полость сквозь мягкое нёбо — легко, точно сквозь сухой песок. Я чувствую, как оно проталкивается в носовые пазухи, упирается колючими лапками в глазные яблоки, продвигаясь все выше и выше. Я слышу, как огромные жвалы скребут черепную кость, погружаясь в мягкую кору мозга.

Боль дикая — неописуемая, невыносимая! — но я могу дышать.

Взгляд мой по-прежнему намертво прикован к Друду — две статуи, с шакальей и птичьей головой, видятся мне расплывчатыми темными пятнами, фигуры в балахонах сливаются в сплошную темную массу на периферии зрения, — и я сознаю вдруг, что смотрю на него сквозь пелену кровавых слез.

Огромный навозник проникает все глубже и глубже в мозговые ткани. Я понимаю: еще секунда — и я сойду с ума.

В самом центре мозга скарабей останавливается. И начинает грызть.

— Можете закрыть глаза, — говорит Друд.

Я зажмуриваюсь и чувствую, как кровавые слезы ужаса текут по моим заляпанным воском щекам.

— Теперь вы с-стали нашим пис-с-цом, — возглашает Друд. — И навс-сегда им останетес-с-сь. Вы будете работать по нашему приказу. Вы будете являться по нашему призыву. Отныне вы принадлежите нам, мис-с-стер Уилки Коллинз.

Я слышу, как пощелкивают жвалы и челюсти скарабея. Я словно воочию вижу, как он скатывает из моего полупереваренного мозгового вещества кроваво-серый шарик и катит его перед собой.

Но нет, жук не двигается с места. Пока не двигается. Он устроил гнездо у основания моего мозга. Когда он дергает лапками, я чувствую нестерпимый зуд и снова борюсь с сильными рвотными позывами.

— Хвала владыке ис-стины! — восклицает Друд.

— *Чей храм сокрыт от взоров*, — напевно выводит хор голосов.

— Из чьих очей вышло человечество, — речитативом произносит Друд.

— *Из чьих уст на свет появились боги*, — гудит хор.

— Мы поручаем нашему пис-сцу исполнить волю возлюбленного С-сына и С-скрытого С-света, — кричит Друд.

— *За ним сияет Ра, чьих имен не знают даже боги*, — гремит хор.

Я пытаюсь открыть глаза, но не могу. Я ничего не слышу и не чувствую.

Единственным ощущением и единственным звуком в моей вселенной теперь остаются зуд и царапанье в черепной коробке, где скарабей быстро перебирает лапками, разворачивается, проталкивается чуть глубже в мозг и снова принимается грызть.

Глава 26

По пробуждении от опиумного кошмара я обнаружил, что ослеп.

Я не видел ни зги. В притоне Короля Лазаря повсюду царил полумрак: рассеянный свет от притушенных фонарей в главном помещении всегда сочился сквозь красный занавес, и от угольной печки, стоявшей у входа в мою каморку, всегда исходило тусклое оранжевое сияние. Сейчас же я лежал в кромешной тьме. Я поднес руки к лицу и удостоверился, что глаза у меня открыты,

прикоснувшись кончиками пальцев к глазным яблокам. Я моргнул, прищурился, но не увидел своих пальцев.

Я закричал и на сей раз явственно услышал свои вопли, отразившиеся эхом от каменных стен. Я позвал на помощь. Я громко позвал Короля Лазаря и его помощника. Никто не откликнулся.

Мало-помалу я осознал, что лежу не на своей высокой койке с подушками, а на холодном каменном полу или твердой земле. Причем голый.

В точности как в моем кошмарном сне. Или в реальном логове Друда, похитившего меня. Я дрожал всем телом. Именно от холода я и проснулся. Но я мог двигаться и уже через несколько мгновений стоял на четвереньках в непроглядной тьме и водил по сторонам руками, пытаясь нащупать край деревянной койки или даже угольную печку.

Пальцы мои пробежали по шершавому камню, вошли в углубление и наткнулись на деревянную поверхность. Я пошарил обеими руками вокруг отверстия, проверяя, не стена ли это, в которую вделана одна из деревянных коек. Нет. Камень и дерево были древними — они пахли древностью, — и камень местами искрошился, осыпался, а под ним я нащупывал прохладное дерево. Все вокруг источало запах застарелой гнили.

Я нахожусь в одной из кубикул — в одной из бессчетных погребальных камер многоярусных катакомб. Это каменная или цементная стенка саркофага, а в нем помещается деревянный гроб. Деревянный гроб, обшитый изнутри свинцом. Я внизу, среди мертвецов.

Они переправили меня сюда.

Ну да, конечно. Перенесли вниз, в Подземный город, спустившись по крутой винтовой лестнице за крестной перегородкой в круглой апсиде. И доставили по подземной реке к храму Друда. Возможно, сейчас я нахожусь в нескольких милях от притона Короля Лазаря, на глубине целой мили под Лондоном. Без фонаря мне отсюда в жизни не выбраться.

Тут я снова заорал дурным голосом, пополз вдоль ряда саркофагов, попытался подняться на ноги, но снова упал на четвереньки и принялся лихорадочно шарить

по сторонам руками в поисках фонаря, который я всегда брал с собой в притон Короля Лазаря, чтобы освещать себе путь туда и обратно.

Никакого фонаря я не нашел.

Наконец я перестал метаться и скорчился в кромешной тьме, похожий больше на объятого паникой зверя, нежели на человека.

Чтобы отыскать путь к подземной реке или сточному каналу, нужно спуститься на добрый десяток ярусов катакомб. Вдоль бесчисленных прямых и извилистых галерей на всех десяти ярусах размещаются многие сотни кубикул. Лестница, ведущая наверх с первого яруса, и выход в галерею сразу под Погостом Святого Стращателя, где предположительно все еще ждет меня сержант Хэчери (как долго я оставался здесь, внизу?), находятся всего в десяти ярдах слева от входа в притон Короля Лазаря — оттуда надо пройти по короткому изогнутому коридору, пролезть сквозь пролом в задней стене одной из кубикул, прошагать мимо ряда установленных один на другой саркофагов, потом повернуть направо, выйти в широкую галерею и наконец подняться на десять ступенек, чтобы выйти в наземный склеп и — вероятно, возможно — на свет дня. Я сотню раз проходил этим путем после своих опиумных ночей.

Я потянулся к жилетному карману за часами. Никакого жилета, никаких часов. Вообще никакой одежды.

Я осознал, что замерзаю — частый стук зубов отражался эхом от незримых каменных стен. Я трясся так сильно, что мои локти выбивали дробь на стенке каменного саркофага, к которому я бессильно привалился.

Я потерял всякое чувство ориентации, пока слепо метался из стороны в сторону, — даже если бы я сейчас находился в притоне Короля Лазаря, я не сообразил бы, где выход.

По-прежнему дрожа всем телом, я выставил вперед руки с растопыренными пальцами и неверной поступью двинулся вдоль ряда саркофагов и гробов. Несмотря на вытянутые руки, я умудрился врезаться во что-то головой с такой силой, что шлепнулся на задницу. Почувствовав,

как из ссадины на виске потекла кровь, я торопливо ощупал рану и невесть зачем поднес пальцы к глазам, словно вдруг обрел способность видеть в кромешной тьме. Рана оказалась поверхностной и кровоточила слабо.

Осторожно поднявшись на ноги, я поводил перед собой руками и наконец нашарил препятствие, чуть не отправившее меня в нокаут.

Холодная металлическая решетка, покрытая столь толстыми наростами ржавчины, что проемы между прутьями уже почти исчезли.

Железная решетка! Во всех кубикулах, расположенных вдоль подземных галерей, вход перекрыт древней железной решеткой. Если я нашел решетку, значит я нашел галерею — пусть одну из многих, что пролегают здесь на разных ярусах, в большинстве своем мне совершенно незнакомых.

А вдруг решетка заперта? Тогда мне в жизни отсюда не выбраться. Через двадцать, пятьдесят или сто лет кто-нибудь обнаружит мой скелет среди саркофагов и гробов — и просто решит, что я один из «стариканов», как выражается Дреддс, хранитель подземной часовни Рочестерского собора.

Снова охваченный паникой, я принялся лихорадочно елозить ладонями, колотить коленями по металлической решетке, сдирая кожу о наросты ржавчины, но наконец нашел, что искал. Проем! Отверстие! По крайней мере — щель, образовавшуюся на месте насквозь проржавевшего и выпавшего вертикального сегмента решетки.

Щель была всего дюймов десять шириной, с неровными зазубренными краями, но я протиснулся в нее, ободрав до крови грудь, спину и сморщенные гениталии.

Теперь я находился в галерее. Вне всяких сомнений!

«Если только ты не пролез сквозь решетку, что находится за гробами, — сказал я себе. — Тогда ты окончательно заблудишься на одном из нижних ярусов бесконечного лабиринта, расположенных на неизмеримой глубине».

Я упал на четвереньки и ощутил под ладонями и коленями шероховатые каменные плиты. Нет, это одна из главных галерей. Теперь мне остается лишь добраться по ней до полупотайной лестницы, ведущей на самый верхний ярус, а потом преодолеть последние десять ступенек до склепа, где меня ждет Хэчери.

В какую сторону идти? Как я отыщу лестницу в кромешной тьме? В какую сторону идти?!

Я отполз немного влево, нащупал решетку, сквозь которую протиснулся минуту назад, и осторожно поднялся на ноги — я даже не знал, какая здесь высота потолка. Когда два года назад мы с Диккенсом спускались к подземной реке, иные коридоры имели высоту добрых десять футов, а другие представляли собой узкие туннели, где приходилось идти на полусогнутых, чтобы не удариться головой. С фонарем все было очень просто.

Так налево или направо?

Я повернул лицо сначала в одну, потом в другую сторону, не ощутил ни малейшего движения воздуха. Будь у меня свеча, возможно, я определил бы, есть ли здесь сквозняк...

«Будь у меня чертова свеча, я бы спокойно выбрался отсюда и без всяких сквозняков!» — мысленно проорал я. Оказывается, я заорал вслух. Гулкое эхо раскатилось по галерее в обоих направлениях. О господи, еще немного — и я точно спячу.

Я решил положиться на инстинкт и идти так, как если бы я шел из притона Короля Лазаря. Мое тело хорошо помнило обратный путь, пусть даже мой мозг — сейчас лишенный всякой зрительной информации — категорически отказывался в это верить.

Держась левой рукой за стену, я двинулся по галерее. Я проходил мимо других решеток, других входных проемов, но ни в одном из них не висела драная занавеска, отделявшая притон Короля Лазаря от коридора. У каждого неперекрытого проема я опускался на колени и, переползая с места на место, шарил руками по полу в поисках ступенек, но не находил ничего, кроме изъеденных

ржавчиной обломков заградительной решетки, гробов да пустых ниш в стенах.

Я продвигался все дальше в непроглядном мраке, по-прежнему дрожа всем телом и громко стуча зубами. Голос рассудка говорил, что я здесь не замерзну насмерть — ведь в подземных пещерах держится постоянная температура, около пятидесяти градусов[1]. Впрочем, какое мне дело до голоса рассудка? Мое покрытое ссадинами и синяками тело замерзало.

Мне кажется — или коридор действительно чуть изгибается налево? Галерея, ведущая к притону Короля Лазаря, слегка изгибалась направо, если приближаться к нему со стороны потайной лестницы, что спускалась с первого яруса катакомб. Если я нахожусь на втором ярусе и справа от лестницы, туннель здесь должен немного изгибаться налево.

Я понятия не имел, где нахожусь. Но одно я знал наверное: я уже прошел в два раза больше, чем нужно пройти, чтобы добраться от занавешенного входа в притон Короля Лазаря до выхода со второго яруса катакомб.

Тем не менее я продолжал двигаться дальше. Дважды откуда-то справа тянуло холодным сквозняком. От прикосновения ледяного воздуха к коже дрожь омерзения пробегала по моему телу — мне чудилось, будто некое мертвое, безглазое существо гладит меня длинными, мертвенно-бледными, бескостными пальцами.

Я дрожал и шел дальше.

Когда мы с Диккенсом, во время первого нашего сошествия в катакомбы, шли из притона Короля Лазаря, здесь были два коридора слева — сейчас они находятся справа от меня. С тех пор я множество раз проходил мимо, не глядя и не светя фонарем в ту сторону. От одного из них ответвлялся коридор с такими же кубикулами, ведущий к круглому помещению с алтарем, крестной перегородкой и потайной лестницей, спускающейся на нижние ярусы Подземного города.

---

[1] Пятидесяти градусам по Фаренгейту соответствуют десять градусов по Цельсию.

Где ждал Друд.

Но возможно, я уже нахожусь на одном из нижних ярусов.

Несколько раз я останавливался и корчился в рвотных позывах. Мой желудок был пуст (меня, помнится, стошнило еще в первой кубикуле, где я очнулся), но приступы рвоты все равно изредка накатывали, заставляя меня сгибаться пополам и бессильно приваливаться к каменной стене.

Я обследовал очередной не перекрытый решеткой входной проем (ничего, кроме груды мусора) и шаткой поступью прошел еще шагов двадцать, прежде чем уперся в глухую торцовую стену.

Коридор кончился. Стена справа от меня тянулась в направлении, откуда я пришел.

Тогда я закричал. И кричал долго. Гулкое эхо прыгало в темноте за моей спиной.

Они заложили кирпичом коридор, где оставили меня. Наглухо перегородили, чтобы никто даже костей моих не нашел.

Я принялся царапать, скрести стену, ломая ногти и сдирая лоскуты кожи с пальцев; кирпичи с кусками древней извести сыпались мне под ноги.

Бесполезно. За кирпичами оказались другие кирпичи. А дальше начиналась прочная каменная кладка.

Я рухнул на колени, задыхаясь и давясь от рвотных позывов, а потом пополз в обратном направлении.

Последний обследованный мной входной проем — заваленный мусором — теперь находился справа от меня, но на сей раз я заполз в него, раздирая в мясо и без того разодранные ладони и колени об острые камни на полу.

Это не просто груда камней. Это ступеньки, вделанные в холодную землю.

Я стал лихорадочно карабкаться по ним, рискуя удариться лицом о какое-нибудь препятствие в темноте, но напрочь забыв о всякой осторожности.

Я врезался лбом в стену и едва не скатился обратно вниз, но в последний момент успел схватиться за край

проема. Там *был* проем. Я почти *видел* неровную каменную кладку с одной и другой стороны.

Я рванулся вперед и сильно оцарапал висок и щеку о шершавый камень. Еще один саркофаг. С трудом поднявшись на ноги, я осознал, что вокруг меня на каменных или цементных постаментах стоят гробы. Я попал в очередную кубикулу. Лязгая зубами от холода, я повернул голову налево, и мне почудилось, будто я вижу там чуть заметный проблеск света.

Я налетел в темноте на железную решетку, принялся молотить, елозить по ней ободранными, скользкими от крови ладонями, наконец нашел проем и, шатаясь, вышел через него в некое пустое пространство — вероятно, в следующую галерею.

Да, я действительно видел свет — бледный призрак света — справа, всего в двадцати ярдах от выхода из кубикулы.

Шлепая босыми ногами по каменному или кирпичному полу широкой галереи, я побежал к свету.

Да. Теперь я явственно различал во мраке свои руки. С окрашенными в темно-красный цвет пальцами.

Там была лестница с высоченными каменными ступенями, что уходили вверх и скрывались из виду, заворачиваясь спиралью.

Хорошо знакомая лестница.

Рыдая, взывая о помощи к сыщику Хэчери, поскальзываясь, падая, поднимаясь и снова карабкаясь вверх, я добрался до знакомого клиновидного отверстия и протиснулся в него.

Яркий свет ослепил меня, хотя через несколько мгновений я осознал, что в склеп проникает лишь слабый предрассветный свет январского утра — при таком даже читать невозможно.

Я привалился спиной к каменному постаменту над потайным входом в Подземный город (куда я никогда впредь даже не сунусь, поклялся я себе там и тогда) и бессильно осел на пол.

— Хэчери! Бога ради, помогите! Хэчери!

Звук собственного голоса так сильно напугал меня, что я едва не обмочился. Тогда я посмотрел вниз, на свое голое белое тело. Взгляд мой приковался к животу, к месту под самой грудиной.

Я увидел там красную рану или ссадину.

Именно там скарабей заполз в твое нутро.

Я потряс головой, прогоняя жуткое видение из опиумного кошмара. Все мое тело было сплошь покрыто синяками и ссадинами. Ступни, колени и ладони ободраны до мяса. Голова раскалывалась от боли.

Потому что в твоем мозгу копошится огромный жук.

— Прекрати! — выкрикнул я вслух.

Почему Хэчери нет на месте? Почему он бросил меня именно сегодня, когда я нуждаюсь в нем, как никогда?

Возможно, ты провел внизу несколько дней, Уилки Коллинз.

«Мис-с-стер Уилки Коллинз», — отдалось эхом в мучительно ноющем мозгу.

Тут я рассмеялся. Не имеет значения. Они пытались убить меня, кем бы они ни были (наверняка это Король Лазарь со своими погаными друзьями-чужеземцами и товарищами-опиуманами), но у них ничего не вышло.

Я свободен. Я выбрался из катакомб. Я жив.

Взглянув наверх, я с изумлением обнаружил, что за время моего отсутствия кто-то украсил стены маленького склепа гирляндами. Этих тускло поблескивающих серых лент точно не было здесь, когда мы с Хэчери пришли несколько часов (дней? недель?) назад. С Рождества минуло уже более двух недель. И вообще — зачем украшать пустой склеп?

Впрочем, неважно. В тот момент для меня ничто не имело значения — ни мое истерзанное, дрожащее тело, ни дикая головная боль, ни страшная жажда, ни лютый голод. Я хотел лишь одного: навсегда убраться отсюда.

Стараясь держаться подальше от черного клиновидного отверстия в полу, я обогнул каменный постамент — торопливо, ибо буйное писательское воображение живо

нарисовало мне длинную серую руку с длинными, белыми, бескостными пальцами, которая выскальзывает из этой дыры, точно змея, и утаскивает меня, истошно кричащего, в холодную тьму, — но в следующий миг резко остановился.

Мне пришлось остановиться.

Путь мне преграждало тело, распростертое на каменном полу. Это был сыщик сержант Хибберт Хэчери — с застывшей на мертвенно-белом лице гримасой ужаса, с разодранным в беззвучном вопле ртом, с вытаращенными остекленелыми глазами, устремленными на украшенный гирляндами барельеф под потолком. На полу рядом с трупом валялись остатки послеполуночного ужина, маленькая фляжка, шляпа-котелок и роман Теккерея. Из распоротого живота Хэчери тянулись к потолку поблескивающие серые гирлянды, которые были вовсе не гирляндами.

Не в силах даже заорать, я перепрыгнул через мертвое тело, поднырнул под туго натянутые серые ленты и выбежал, голый, на окутанный предрассветными сумерками Погост Святого Стращателя.

Глава 27

Двумя часами позже я находился в другом опиумном притоне. Ждал.

Счастье, что я вообще остался жив. Все-таки я пробежал, не разбирая дороги, через самые опасные припортовые трущобы Блюгейт-Филдс, причем нагишом и с дурными воплями. Только неурочное время суток (даже грабители спали по домам холодным, снежным январским утром) да тот факт, что даже грабители испугались бы буйного сумасшедшего с окровавленными руками, объясняют, почему первым человеком, встреченным мной в ходе панического бегства, оказался констебль, обходивший дозором свой квартал.

Полицейский сам изрядно струхнул при виде меня. Он вытащил из-за пояса короткую увесистую дубинку

и, несомненно, оглушил бы меня и оттащил за волосы в ближайший участок, если бы я хоть минутой дольше лопотал совершенную невнятицу, не произнося ни единого осмысленного слова.

На деле же он спросил:

— Как вы сказали? Вы сказали «тело Хэчери»? В смысле — Хибберта Хэчери?

— Бывшего сержанта Хибберта Хэчери, не частного сыщика Хибберта Хэчери... да, констебль... они выпустили ему кишки и развесили их по стенам склепа... о боже! о господи!.. он работал на меня, частным образом, неофициально, а не на инспектора Филда, на которого он работал частным образом официально.

Полицейский крепко тряхнул меня за плечи:

— Что там насчет инспектора Филда? Вы знаете инспектора Филда?

— О да! Да! — вскричал я и рассмеялся. Потом расплакался.

— Кто вы такой? — осведомился густоусый констебль в побеленном снегом шлеме.

— Уильям Уилки Коллинз, — проговорил я, стуча зубами. — Уилки Коллинз для миллионов моих читателей. Уилки для моих друзей и почти всех знакомых. — Я снова истерически захихикал.

— Никогда о таком не слышал, — заявил полицейский.

— Я близкий друг и соавтор мистера Чарльза Диккенса. — Нижняя челюсть у меня тряслась так сильно, что я с трудом выговорил словосочетание «близкий друг».

Констебль отступил на шаг и, похлопывая тяжелой дубинкой по ладони, хмуря брови под козырьком шлема, с минуту разглядывал меня, стоящего голым на ветру со снегом.

— Хорошо, тогда пойдемте. — Он крепко взял меня за посинелое от холода, исцарапанное предплечье и повел по улице.

— Пальто, — пролепетал я, лязгая зубами. — Одеяло. Что-нибудь.

— Потерпите немного, — сказал он. — Сейчас придем. Пошевеливайтесь. Не отставайте.

Я представил себе полицейский участок, куда он ведет меня, в виде уютной каморки с громадной, докрасна раскаленной, пышущей жаром печью. Моя рука, зажатая в мертвой хватке констебля, безудержно тряслась. Я снова плакал навзрыд.

Но он отвел меня не в полицейский участок. Я смутно узнал трухлявую лестницу и темный коридорчик, по которому он протащил меня. Потом мы оказались в убогой сумрачной комнатушке, и я узнал морщинистую старуху с крючковатым носом, торчащим из-под натянутой низко на лоб черной шали.

— Сэл, — сказал полицейский, — устрой этого... джентльмена... где потеплее и дай ему какую-нибудь одежку. Желательно не особо завшивленную, хотя, в общем-то, без разницы. Смотри, чтобы он не улизнул. Приставь к нему своего малайца.

Опиумная Сэл кивнула и принялась виться вокруг, тыкая меня в голые бока и живот корявым пальцем с длинным ногтем.

— Этого я туточки не раз видела, констебль Джо. Он частенько захаживал, чтобы выкурить трубочку-другую, валяючись вон на той койке, ага. Инспектор Филд уволок его отседова как-то посередь ночи. А впервой он заявился сюда со стариной Хибом Хэчери и одним джентльменом, который, они сказали, прям-таки наиважнейшая персона. Этот тогда чванливо эдак задирал свой носишко, ага, все хмурился да смотрел свысока сквозь свои стекляшки, хотя теперича он без очков.

— И кто же был той важной персоной? — осведомился полицейский.

— А Диккенс, что про Пиквика сочинил, — вот кто! — выпалила Сэл с таким торжеством, словно ей потребовалось напрячь все свои умственные силы, чтобы извлечь это имя из глубин одурманенного опиумом сознания.

— Не спускай с него глаз, — прорычал констебль. — Раздобудь для него какую-никакую одежду, даже если

тебе придется отправить своего идиота на поиски тряпок. Приставь к нему малайца. И размести его подле своей дрянной печурки, куда ты никогда не кладешь больше одного куска угля, — мне надо, чтобы он не скопытился до моего возвращения. Тебе все ясно, Сэл?

Старая карга утробно хрюкнула, потом мерзко хихикнула:

— В жизни своей еще не видела мужчинки с таким махоньким скукоженным петушком — а вы, Джо?

— Делай что велено, — рявкнул констебль и вышел прочь.

Волна холодного воздуха от двери накатила на нас, словно дыхание Смерти.

— Ну как, впору пришлось, голубчик? — спросила Опиумная Сэл, заглядывая в заднюю каморку, где я находился один.

Рослый малаец с ритуальными шрамами на щеках сторожил за дверью. Окно здесь было наглухо закрыто ставнями и заколочено гвоздями. Даже в январе смрад Темзы просачивался сквозь него с ледяным сквозняком.

— Нет, — сказал я.

Грязная, вонючая рубаха была мне мала. Рабочие штаны и куртка пахли так же скверно, а кожа от них зудела гораздо сильнее. Ни исподнего, ни носков мне не дали. Древние, разбитые башмаки свободно болтались на ногах.

— Скажите спасибо, что хоть такая одежка нашлась, — захихикала полоумная старуха. — У нас и этого-то не оказалось бы, кабы старый Яхи не помер тут нежданно-негаданно два дня тому, а за вещами евонными никто не явился.

Я сидел там в холодном свете субботнего утра, пробивавшемся сквозь щели в ставнях и...

Постойте. А действительно ли сейчас утро субботы — утро, наступившее после пятницы, когда я спустился в мир Короля Лазаря? По ощущениям — прошло несколько дней, а то и недель. Я хотел было спросить у Опиумной Сэл, но почти сразу понял, что, скорее всего, старая

карга сама не знает, какое нынче число или день недели. Я мог бы обратиться к сидевшему за дверью малайцу со шрамами, но он, по всем признакам, не понимал и не говорил по-английски.

Я тихо рассмеялся, потом судорожно всхлипнул. Какой сегодня день недели, не имело ни малейшего значения.

Голова болела так сильно, что я боялся потерять сознание. Я ощущал средоточие боли глубоко в мозгу, далеко за глазными яблоками — ничего общего с подагрической головной болью, еще совсем недавно казавшейся мне невыносимой.

Навозный жук прокапывает ход пошире. Ползет по нему, толкая перед собой блестящий серый шарик...

Я присел на край грязной койки и опустил голову к самым коленям, борясь с рвотными позывами. Рвать было нечем, и от сухих спазмов внутренности мои превратились в сплошной комок боли.

Блестящие серые гирлянды, тянущиеся к потолку.

Я потряс головой, прогоняя жуткое видение, но от резкого движения боль накатила с новой силой, вызвав очередной приступ дурноты. В воздухе висел мерзкий запах опиумного дыма — запах дрянного, дешевого, разбавленного, грязного опиума. Даже не верилось, что на протяжении многих недель я приходил сюда за низкопробным товаром старой Сэл и забывался наркотическим сном на одной из этих грязных коек. О чем я тогда думал?

О чем я думал минувшей ночью (неважно, сколько суток прошло с нее), когда спустился под склеп, чтобы присоединиться к китайским мумиям в другом опиумном притоне?

Именно инспектор Филд при участии Хэчери вытащил меня отсюда много месяцев назад. Именно инспектор Филд посоветовал мне ходить в притон Короля Лазаря под охраной Хэчери. Может, все это было задумано с самого начала? Не Филд ли убил Хэчери — возможно разозлившись на здоровенного сыщика за то, что он без спросу работает на меня?

Я снова потряс головой. Нет, все это не имело никакого смысла.

Я чувствовал, как некое существо с шестью колючими лапками и огромными жвалами шевелится глубоко в моем мозгу. Я ничего не мог поделать. Я пронзительно завопил — не только от боли, но также от ужаса.

В комнатушку ворвались инспектор Чарльз Фредерик Филд и сыщик Реджинальд Баррис.

— Хэчери погиб, — проговорил я, снова стуча зубами.

— Знаю! — рявкнул инспектор Филд. Он схватил меня за предплечье такой же ловкой, цепкой хваткой, какой рано утром меня держал другой полицейский. — Вставайте. Мы идем туда.

— Ничто не заставит меня туда вернуться!

Я ошибался. Сильные пальцы Филда нащупали на моей руке какой-то нерв, о существовании которого я не подозревал. Взвыв от боли, я вскочил на ноги, шаткой поступью двинулся между Баррисом и пожилым дородным инспектором к выходу, с грохотом спустился по лестнице — сопровождающие поддерживали меня под руки и подталкивали в спину — и вывалился на улицу, где нас ждали еще несколько человек.

Вместе с инспектором Филдом и Баррисом в группе насчитывалось семеро спокойных, крепких мужчин — хотя все они были в партикулярном платье, я тотчас признал в них бывших полицейских. Трое из них имели при себе дробовики, у одного на боку висел громадный кавалерийский пистолет. Я никогда не интересовался атрибутами военного ремесла и испытал потрясение при виде всего этого оружия на лондонской улице.

Впрочем, мы находились не в самом Лондоне, а в Блюгейт-Филдс. Когда мы покинули Нью-Корт и зашагали грязными улочками, которыми я ходил вот уже два года при любой погоде, — Джордж-стрит, Розмарилейн, Кейбл-стрит, Нок-Фергюс, Блэк-лейн, Нью-роуд, Ройял-Минт-стрит, — я заметил, что закутанные в лохмотья фигуры во дворах и дверных проемах, похожие

на бесформенные драные тюки, отступают в тень или исчезают при нашем приближении. Здешние обитатели тоже мгновенно признавали полицейских в семерых вооруженных суровых мужчинах, с угрюмой решимостью шагавших широким шагом мимо их убогих логовищ.

— Что произошло? — осведомился инспектор Филд.

Он по-прежнему держал меня железной хваткой за дрожащую руку. Я кутался в одеяло, наброшенное на плечи поверх грязной рабочей куртки подобием шали, но дешевая шерсть не защищала от пронизывающего ветра. Снова шел снег.

— Что произошло? — повторил Филд, слегка встряхивая меня. — Расскажите все по порядку.

В тот момент я принял одно из самых важных решений в жизни.

— Я ничего не помню, — заявил я.

— Вы лжете, — прорычал инспектор Филд и снова встряхнул меня, теперь покрепче.

От прежней его показной почтительности теперь не осталось и следа. Я вполне мог быть одним из многочисленных смитфилдских или лаймхаусских преступников, к которым он применял такую вот железную хватку в течение многих лет службы.

— Я вообще ничего не помню, — снова солгал я. — Ровным счетом ничего — с момента, когда закурил трубку в притоне Короля Лазаря прошлой ночью около полуночи, как обычно. Несколько часов назад я очнулся в темноте, отыскал путь наверх и обнаружил там... бедного Хэчери.

— Вы лжете, — повторил инспектор.

— Меня одурманили каким-то наркотиком, — проговорил я безжизненным голосом; мы уже свернули в переулок, ведущий прямиком к кладбищу. — Лазарь или кто-то другой подмешал сильнодействующий наркотик мне в опиум.

Сыщик Баррис отрывисто хохотнул, но инспектор Филд взглядом заставил его замолчать.

У ворот Погоста Святого Страшателя дежурил еще один высокий мужчина в пальто, вооруженный дробо-

виком. Завидев нас, он прикоснулся пальцами к козырьку кепки. Когда мы подошли к воротам, я стал упираться, но Филд потащил меня за собой, точно малого ребенка.

Снег покрыл белым саваном могильные плиты, надгробные памятники и плоские крыши склепов. Мертвое дерево, нависавшее над последним склепом, походило на фоне пасмурного неба на растекшуюся чернильную кляксу, густо обведенную белым мелом.

В склепе нас ждали еще трое мужчин; клубы пара от дыхания колыхались над ними, точно скованные морозом души. Я отвел взгляд в сторону, но прежде успел увидеть, что выпотрошенное тело Хэчери накрыто куском просмоленной парусины. Блестящие серые гирлянды исчезли, однако я заметил в углу второй кусок парусины, поменьше, под которым что-то лежало. Даже несмотря на мороз, здесь пахло как на скотобойне.

Почти все наши спутники остановились в дверях склепа или остались снаружи. Маленькое помещение казалось переполненным, ибо все шестеро находившихся там людей старались держаться подальше от накрытого парусиной трупа Хэчери.

Я вдруг осознал, что один из мужчин, ждавших в склепе, не полицейский и не сыщик, а здоровенный малаец с длинными черными сальными волосами — руки у него были заведены за спину и скованы железными наручниками. В первый момент я принял его за малайца из притона Опиумной Сэл, но уже в следующий миг увидел, что он заметно старше и щеки у него не покрыты шрамами. Он смотрел на меня без всякого любопытства, вообще без всякого выражения — тусклым взглядом, какой мне доводилось видеть у приговоренных к казни перед повешением или сразу после.

Инспектор Филд потянул меня к узкому отверстию в полу, но я уперся изо всех сил.

— Я не хочу туда, — задыхаясь, пробормотал я. — Я не пойду!

— Пойдете, — сказал инспектор и пихнул меня в спину.

Один из охранников высокого малайца отдал свой фонарь инспектору, другой — Баррису. Мы трое стали спускаться вниз по узкой лестнице — впереди Баррис, потом я, а за мной инспектор, подталкивающий меня в спину. Еще только один мужчина — незнакомый мне сыщик с тяжелым дробовиком — последовал за нами.

Должен признаться, дорогой читатель, многое из происходившего в течение следующего получаса по сей день остается для меня покрыто мраком неизвестности. Отупевший от ужаса, усталости и боли, я находился в состоянии, близком к засыпанию, когда человек то сознает окружающую действительность, то проваливается в дрему, то вновь возвращается к яви, потревоженный каким-нибудь звуком, ощущением, другим внешним раздражителем.

Лучше всего мне запомнились раздражители, поступавшие со стороны инспектора Филда, — он продолжал стискивать мое предплечье железной хваткой, таская за собой и толкая перед собой в подземном мраке, слабо рассеиваемом фонарями.

При свете фонарей спуск по короткой лестнице и путь к притону Короля Лазаря показались знакомыми и привычными, как давний повторяющийся сон, — ничего похожего на кошмар моего панического бегства в кромешной тьме.

— Это опиумный притон? — спросил инспектор Филд.

— Да, — сказал я. — То есть нет. То есть да. Не знаю.

Вместо красного занавеса во входном проеме я увидел ржавую решетку, какие стояли во всех остальных кубикулах. Лучи фонарей выхватили из мрака штабеля гробов, а не ряды трехъярусных коек и каменный постамент с буддообразной фигурой Короля Лазаря.

— Эта решетка, в отличие от прочих, не вделана в стену, — пробормотал Баррис, хватаясь за ржавые прутья и налегая на них.

Решетка, ударившись о каменный пол, громыхнула, как колокол Судного дня. Мы вошли в узкий проход.

— Никакой кирпичной крошки с потолка, — сообщил Баррис, светя фонарем себе под ноги. — Пол чисто подметен.

Четвертый мужчина из нашей группы остался в галерее со своим дробовиком.

— Да, это притон Короля Лазаря, — сказал я, когда фонари получше осветили знакомый коридор и маленькую погребальную камеру.

Но там не осталось ничего, даже следов на каменном полу, где стояли тяжелые койки и железная печка. На постаменте, где всегда восседал Король Лазарь в своем ярком одеянии, теперь покоился древний пустой саркофаг. Мой личный альков в глубине помещения теперь превратился в обычную нишу, забитую гробами.

— Но вы очнулись не здесь, — сказал инспектор Филд.

— Нет. Вроде бы дальше по коридору.

— Пойдемте глянем. — Инспектор знаком велел Баррису идти вперед. Мужчина с дробовиком поднял свой фонарь и двинулся следом за нами.

Я думал о Диккенсе. Продолжает ли он свою гастрольную поездку по Америке? В последнем письме, отправленном из Нью-Йорка, Неподражаемый жаловался на «слабую сердечную деятельность» и столь угнетенное состояние духа, что он каждый день валяется в постели до трех часов пополудни и лишь невероятным усилием воли заставляет себя встать и подготовиться к вечернему концерту.

Может, у Диккенса скарабей внутри? Может, чудовищный жук переползает из мозга к сердцу и запускает в него свои громадные жвалы всякий раз, когда Диккенс предпринимает попытку освободиться от власти Друда?

Из первоначального плана турне и из телеграмм, приходивших Уиллсу в редакцию, я знал, что в январе Диккенс должен выступить с чтениями в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Балтиморе, Бруклине и что каждый

концертный зал продавал от шести до восьми тысяч билетов на выступление, — но в каком именно из перечисленных городов с непривычными для слуха названиями он находится сейчас?

Хорошо зная Диккенса, я с уверенностью предполагал, что он непременно оправится от болезни и уныния и опять начнет резвиться да дурачиться, развлекая детей и зевак в поездах во время путешествий из одного города в другой, и полностью выкладываться физически и морально на дневных и вечерних концертах. Но я также знал, что при этом он будет маяться хандрой и считать дни до своего отъезда на родину в апреле.

Доживет ли Диккенс до апреля? Пощадит ли его скарабей, коли изобличит в предательстве?

— Вы очнулись тут? — резко спросил инспектор Филд.

Он крепко встряхнул меня, выводя из задумчивости. Я заглянул в кубикулу, ничем не отличавшуюся от большинства прочих, если не считать следов на густо устланном пылью полу — следов, оставленных маленькими, босыми, уязвимыми ногами. А на зазубренных краях отверстия в ржавой решетке, сквозь которое я протискивался в кромешном мраке, темнела запекшаяся кровь. Я невольно провел рукой по одежде, прикрывавшей свежие ссадины на моих ребрах и бедрах.

— Да, — тупо проговорил я. — Кажется, здесь.

— Чудо, что вам удалось отыскать путь к выходу в темноте, — заметил Баррис.

На это мне было нечего сказать. Я трясся, словно в малярийном ознобе, и хотел лишь одного: поскорее убраться из этой преисподней. Но инспектор Филд еще не закончил со мной.

Мы двинулись обратно по галерее. Лучи трех фонарей зловеще метались по изрезанным проемами стенам, заставляя сердце мое замирать от ужаса. Казалось, будто реальность и вымысел, жизнь и смерть, свет и беспросветная тьма кружатся в безумном страшном танце.

— Этот коридор ведет к крестной перегородке и спуску на нижние ярусы? — осведомился инспектор Филд.

— Да, — сказал я, понятия не имея, о чем он спрашивает.

Мы прошли по узкому коридору к круглому помещению, расположенному под местом, где прежде находилась апсида собора Святого Страшателя. Именно здесь Диккенс обнаружил лестницу, ведущую в настоящий Подземный город.

— Я туда не пойду, — взвизгнул я, резко вырываясь из хватки инспектора и едва не падая. — Я не могу!

— Вас никто и не заставляет, — сказал Филд, и я чуть не расплакался от облегчения. — Сегодня, — добавил он. А потом повернулся к мужчине с дробовиком и отрывисто промолвил: — Приведите малайца.

Я стоял в оцепенении, потеряв всякий счет времени, и чувствовал шевеление скарабея глубоко в моем мозгу. Я изо всех сил боролся с дурнотой, но в воздухе там висел смрадный могильный запах разложения. Вернулся сыщик с дробовиком — не один, а с другим сыщиком, в коричневом пальто и с винтовкой. Между ними шел закованный в наручники малаец. Войдя в подземную апсиду, азиат уставился на меня узкими черными глазами, почти такими же мутными от боли или отчаяния, как у меня, но также обвиняющими. Он ни разу не взглянул на Филда или Барриса — смотрел только на меня, словно я был его личным врагом.

Инспектор Филд коротко кивнул, двое вооруженных мужчин провели арестованного за истлевшую крестную перегородку и стали спускаться по узкой лестнице. Баррис с инспектором вывели меня обратно в галерею, а вскорости и на свет дня.

— Я не понимаю, — задыхаясь, проговорил я, когда мы наконец вышли из склепа на морозный январский воздух; снегопад прекратился, но на землю спустился густой зимний туман. — Вы поставили в известность полицию? Почему здесь одни только частные сыщики? Вы же наверняка сообщили в полицию. Где полицейские?

Инспектор Филд повел меня к улице, где ждала черная карета, похожая на катафалк. Пар от конского дыхания клубился в туманном воздухе.

— Полиция скоро будет поставлена в известность. — Голос Филда звучал мягко, но за этой мягкостью я чувствовал яростную решимость, столь же неумолимую, как железная хватка, которой он стискивал мое предплечье. — Эти люди знали Хибберта Хэчери. Многие работали с ним. Иные любили его.

Баррис с инспектором затолкали меня в карету. Баррис обошел экипаж и забрался в него с другой стороны. Филд, по-прежнему державший меня за предплечье, стоял у открытой дверцы.

— Друд ожидает, что мы сегодня же ринемся в Подземный город — в количестве десяти-двадцати человек. Он хочет этого. Но завтра здесь соберется добрая сотня отставных полицейских — все они либо знали Хэчери, либо ненавидят Друда. Завтра мы спустимся вниз. Завтра мы найдем Друда и выкурим мерзавца из его норы. — Он захлопнул дверцу с глухим стуком. — Отмените все свои дела на завтра. Вы нам понадобитесь.

— Я не могу... — начал я, но в следующий миг увидел двух вооруженных сыщиков, выходящих из склепа. Малайца с ними не было. Я в ужасе уставился на правый рукав мужчины повыше ростом. На рукаве дорогого коричневого пальто — над обшлагом — темнело большое пятно, похожее на свежую кровь.

— Малаец... — с трудом выдавил я. — Видимо, это тот самый тип, которого арестовали полицейские. Тот самый, которого служащие Столичной полиции передали вам для допроса.

Инспектор Филд молчал.

— Где он? — прошептал я.

— Мы отправили малайца вниз в качестве послания, — сказал инспектор.

— В смысле — в качестве посланника?

— В качестве *послания*, — бесстрастным тоном повторил Филд.

Он хлопнул ладонью по дверце экипажа, и мы с Баррисом покатили прочь по узким улочкам Блюгейт-Филдс.

Баррис высадил меня у моего дома на Глостер-плейс, не промолвив ни слова на прощанье. Прежде чем войти в дверь, я с минуту стоял, дрожа от холода, и смотрел вслед темному экипажу, покуда тот не скрылся за поворотом. Мимо проехала еще одна темная карета, с зажженными боковыми фонарями. И тоже свернула за угол. Я не слышал, остановились ли там оба экипажа, — туман да снег заглушали даже стук копыт и грохот колес, — но, скорее всего, остановились. Баррис расставит дозорных по постам. Люди инспектора Филда, я не сомневался, будут наблюдать за моим домом с улицы и со двора — правда, не в столь многочисленном составе, как девятого июня.

Где-то там в тумане дежурят мои новые гузберри. Но, для того чтобы перехитрить их, мне нужно всего-навсего спуститься в собственный угольный подвал, выбить из стены несколько кирпичей и проползти сквозь узкую дыру на верхний уровень Подземного города. Тогда я смогу свободно разгуливать где моей душе угодно... по крайней мере — под землей.

При этой мысли я захихикал, но почти сразу умолк, когда истерическое хихиканье перешло в сухие рвотные спазмы. Скарабей шевельнулся в моем мозгу.

Войдя в вестибюль своего дома, я едва не завопил от ужаса. От карниза до люстры, от люстры до лестницы, от лестницы до настенных канделябров тянулись кишки сыщика Хэчери. В точности такие, как в склепе, — серые, влажные, блестящие. Но я не завопил, хотя и затрясся всем телом, как насмерть перепуганный ребенок. Через несколько мгновений я осознал, что «кишки» — это всего лишь гирлянды, серо-серебристые, обвитые лентами гирлянды, сохранившиеся после какой-то давней дурацкой вечеринки на Мелкомб-плейс.

В ноздри мне ударил запах стряпни — тушеной говядины, жареной баранины, прочих мясных блюд, находящихся в процессе приготовления, — и рвотные позывы вновь подкатили к горлу.

Кэролайн вылетела навстречу мне из столовой залы.

— Уилки! Где ты шлялся, скажи на милость? Или ты думаешь, что можешь исчезать каждую ночь, не ставя в изве... О боже! Откуда у тебя эти мерзкие лохмотья? И где твоя одежда? Что это за запах такой?

Не обращая на нее внимания, я во все горло крикнул горничную. Когда она прибежала, с раскрасневшимся от кухонного жара лицом, я грубо приказал:

— Приготовь мне горячую ванну — немедленно. Очень горячую. Пошевеливайся.

— Уилки, — раздраженно взвизгнула Кэролайн, — ты собираешься ответить на мои вопросы и объяснить, в чем дело?

— Это ты объясни мне, — прорычал я, широким взмахом руки указывая на развешанные повсюду гирлянды. — Что это за дрянь такая? Что здесь происходит?

Кэролайн моргнула, словно получив пощечину.

— Что здесь происходит? Через несколько часов начинается твой чрезвычайно важный званый обед. Придут все приглашенные. Нам придется отобедать пораньше, как ты особо оговаривал, поскольку мы должны поспеть в театр к... — Она осеклась и после короткой паузы заговорила потише, чтобы слуги не услышали. Голосом, похожим на яростное шипение кипящего чайника: — Ты что, пьян, Уилки? Одурманен своим чертовым лауданумом?

— Заткнись! — рявкнул я.

На сей раз голова у нее резко дернулась назад и щеки запылали, словно она действительно схлопотала крепкую оплеуху.

— Отмени все, — сказал я. — Отправь мальчишку... отправь посыльных... сообщи всем, что мероприятие отменяется.

Кэролайн рассмеялась почти истерически:

— Но это совершенно невозможно, ты сам прекрасно понимаешь. Повариха уже взялась за стряпню. Люди уже распорядились насчет экипажей. Стол накрыт, и именные пригласительные билеты в театр разложены по местам. Сейчас уже решительно невозможно...

— Отмени все, — повторил я и стремительно прошел мимо нее к лестнице.

Поднявшись наверх, я залпом выпил пять стаканов лауданума, отдал мальчишке вонючее тряпье, приказав сжечь немедленно, и залез в ванну.

Я бы заснул в дымящейся воде, если бы не копошение жука в моей черепной коробке.

Скарабей столь крепко напирал сверху на нёбо, что трижды я выскакивал из ванны и подбегал к зеркалу. Придвинув свечи поближе, я разевал рот шире некуда — до хруста челюстных суставов — и на третий раз успел заметить тусклый отблеск на черном панцире огромного насекомого, торопливо уползающего прочь, подальше от света.

Я повернулся и склонился над тазом, давясь рвотными спазмами, но рвать было нечем, а жук к тому времени уже забрался обратно в мой мозг. Я снова лег в ванну, но каждый раз, стоило мне задремать, видел внутренность знакомого кладбищенского склепа и блестящие серые гирлянды, чувствовал тошнотворный смрад скотобойни, сквозь который пробивался приторный запах курений, слышал монотонное пение и видел громадного черного жука, прорывающего ход в мое чрево с такой легкостью, словно тело мое слеплено из песка...

Раздался стук в дверь.

— Убирайся!

— Тебе телеграмма, — доложила Кэролайн сквозь дверь. — Курьер сказал — важная.

Выругавшись, я вылез из ванны — все равно вода уже остывала, — надел халат и на секунду приоткрыл дверь, чтобы выхватить телеграмму из тонких белых пальцев миссис Г***.

Я решил, что сообщение пришло от Фехтера или еще кого-нибудь из театра — они имели расточительную привычку телеграфировать по любому поводу, как будто простой записки, отправленной с посыльным, оказалось бы недостаточно. А возможно — от Диккенса. Озаренный страшной догадкой, я на миг вообразил: вот сейчас

он признается, что носит в своем нутре скарабея и знает, что я обзавелся таким же.

Мне пришлось четыре раза перечитать пять слов и подпись, прежде чем смысл короткого послания дошел до моего измученного, изгрызенного чудовищным жуком мозга.

МАТЬ ПРИ СМЕРТИ. ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО.
ЧАРЛИ

Глава 28

При виде матушкиного лица я невольно подумал о трупе, в котором все еще бьется безмолвная душа в отчаянных попытках вырваться из телесной оболочки.

Закаченные глаза — одни белки, лишь тонкие полоски радужных оболочек виднеются из-под набрякших, покрасневших век — налиты кровью и вылезают из орбит, словно под чудовищным давлением изнутри. Рот широко раскрыт, но губы, язык, нёбо кажутся бледными и сухими, как старый пергамент. Она не могла говорить. Не могла издать ни единого звука, только редкие свистящие хрипы вырывались у нее из груди. Думаю, она нас не видела.

Мы с Чарли, охваченные ужасом, обнялись под незрячим взглядом матери, и я с трудом выдавил:

— Господи... да как же такое случилось?

Любимый брат лишь потряс головой в ответ. Миссис Уэллс стояла неподалеку, бессильно опустив изуродованные подагрой руки под черной кружевной шалью, а в дальнем углу комнаты топтался доктор Эйхенбах, пожилой врач из Танбридж-Уэллса, давно пользовавший матушку.

— По словам миссис Уэллс, вчера она хорошо себя чувствовала... то есть нет, она покашливала и жаловалась на боли... но достаточно хорошо, чтобы с аппетитом пообедать, выпить чаю в обычный час, послушать чте-

ние и поболтать с миссис Уэллс вечером. А сегодня утром... я приехал без предупреждения, хотел сделать сюрприз... и увидел это.

— Такое часто случается со стариками, ждущими смерти и желающими поскорее покинуть бренный мир, — пробормотал доктор Эйхенбах. — В одночасье. В одночасье.

Поскольку тугой на ухо Эйхенбах беседовал в углу с миссис Уэллс, я горячо прошептал брату:

— Я хочу, чтобы маму осмотрел мой доктор. Фрэнк Берд приедет мигом.

— Я пытался связаться с последним ее врачом, доктором Рамсисом, — тихо промолвил Чарли.

— Как вы сказали? — спросил доктор Эйхенбах из своего угла за камином. — Доктор?..

— Рамсис, — со вздохом сказал Чарли. — Видимо, новый местный врач — последние несколько недель он взял за обыкновение навещать нашу матушку. Я совершенно уверен, что у нее не было причин обращаться к нему... ведь ее вполне устраивали ваши замечательные рекомендации и лечебные меры.

Эйхенбах нахмурился:

— Доктор Рамси?

— Рам*сис*, — сказал Чарли, излишне громко и четко, как свойственно расстроенному человеку, разговаривающему с глухим.

Эйхенбах помотал головой:

— Никакого врача по имени Рамси или Рамсис в Танбридж-Уэллсе нет. Да и в Лондоне, насколько мне известно, — если не считать старого Чарльза Бирбонта Рамси, чья клиентура нынче ограничивается одним только семейством лорда Лейтона. Кроме того, он специализируется по венерическим заболеваниям и больше ничем не интересуется — а я сильно сомневаюсь, что миссис Коллинз обращалась к нему за такого рода консультацией. И что это за имя такое — Рамсис? Звучит как название комитета.

Чарли снова вздохнул:

— Кажется, доктор Рамсис навещал одно семейство в Танбридж-Уэллсе и там прослышал о матушкином недуге. Не так ли, миссис Уэллс?

Старуха с удрученным видом развела подагрическими руками под шалью.

— Право слово, не знаю, господин Чарльз. Я слыхала о докторе Рамсисе только от вашей милой, милой матушки. Сама я ни разу с ним не разговаривала.

— Но вы его хоть видели? — спросил я.

Холодная рука тревоги сжала мне сердце, и одновременно скарабей шевельнулся в моем мозгу.

— Только один раз, — сказала чистосердечная старуха. — И издалека. На прошлой неделе, идучи по тропке через луг, я видела, как он выходил из дома.

— Как он выглядел? — спросил я.

— Ох... не знаю даже, господин Уилки. Я мельком увидала со спины высокого худого мужчину, шагавшего по улочке. Одетого весьма парадно, но довольно старомодно в разумении нынешней молодежи. Он был в черной визитке и цилиндре устарелого фасона, если вы понимаете, о чем я.

— Боюсь, я не вполне понимаю, миссис Уэллс. — Я старался говорить твердым голосом. — Что значит «цилиндр устарелого фасона»?

— Ой, да вы знаете, господин Уилки. Такой с полями поширше да тульей пониже — больше похожий на шляпу для верховой езды, какие носили джентльмены в пору моей юности. И по всему касторовый, а не шелковый.

— Благодарю вас, миссис Уэллс, — сказал Чарли.

— Да... и еще вуаль, конечно, — добавила миссис Уэллс. — Даже издалека я разглядела вуаль. Ваша матушка позже помянула о ней.

— Мне она ничего такого не говорила, — сказал Чарли. — Зачем доктору Рамсису вуаль?

— Чтобы скрывать ожоги, ясное дело. Страшные ожоги, сказала Хэрриет... то есть миссис Коллинз. Ваша милая матушка. Доктор Рамсис не хотел пугать людей на улицах.

Я на несколько мгновений закрыл глаза, а когда открыл, взгляд мой намертво приковался к судорожно искаженному лицу матери и разинутому рту, где болтался сухой язык, точно обрывок чалочного каната. Белые глазные яблоки, вылезающие из орбит, походили на два яйца, невероятным усилием втиснутые под веки.

— Миссис Уэллс, — тихо проговорил Чарли, — окажите любезность, сходите за соседским мальчиком, который иногда выполняет разные матушкины поручения. Нам нужно отправить телеграмму доктору Фрэнку Берду в Лондон. Уилки сейчас напишет ее, а мальчик отнесет в телеграфную контору.

— Так поздно, господин Чарльз? Контора-то закроется меньше чем через час.

— Значит, нам надобно поторопиться, верно, миссис Уэллс? Спасибо вам за помощь. Матушка от всего сердца поблагодарила бы вас, когда бы могла.

Перед отъездом в Танбридж-Уэллс я наговорил Кэролайн резкостей.

Уму непостижимо, невероятно, но она продолжала задавать вопросы, требовать ответов и преграждать мне путь к двери даже после того, как я показал телеграмму от брата.

— Где ты провел ночь? — не унималась она. — Где вырядился в мерзкие лохмотья, которые сжег Томми? Что за дрянью они воняли? Когда ты вернешься? Что нам делать со званым обедом? С билетами в театр? Все настроились на...

— Во-первых, сними и выброси эти чертовы гирлянды, — прорычал я. — И устраивай на здоровье свой званый обед. Отправляйся в театр со всеми моими друзьями. Тебе не впервой принимать гостей и развлекаться за мой счет в мое отсутствие.

— Как тебя понимать, Уилки? Ты что, не хочешь, чтобы я выполнила наши обязательства перед твоими друзьями? Не хочешь, чтобы мы воспользовались билетами на твою пьесу, хотя ты пообещал доброй дюжине

людей, что они увидят ее сегодня из авторской ложи? Что ты хочешь, чтобы я сделала?

— Я хочу, чтобы ты пошла к черту! — рявкнул я.

Кэролайн застыла на месте.

— Моя мать умирает, — сказал я резким тоном, не допускающим возражений. — А что касается вопроса, с кем тебе обедать и ходить в театр, так по мне — развлекайся хоть с самим дьяволом. — Я в бешенстве уставился на нее. — Или со своим водопроводчиком.

Кэролайн Г***, по-прежнему стоявшая неподвижно, залилась краской от линии волос до линии декольте.

— О чем... о чем ты говоришь, Уилки?

Распахнув дверь в туман и холод, я рассмеялся ей в лицо:

— Ты прекрасно все понимаешь, дорогая моя. Я говорю о мистере Джозефе Чарльзе Клоу, сыне винокура с Авеню-роуд, водопроводчике по профессии и соблазнителе — или жертве соблазна — по призванию. О том самом мистере Клоу, которого ты тайком кормишь за моим столом и с которым ты пять раз тайно встречалась после Рождества.

Я вышел и с грохотом захлопнул дверь перед красным, полным ужаса лицом Кэролайн.

В Танбридж-Уэллсе, покрытом снежной пеленой и окутанном густым, тревожно-белым туманом, царила жутковатая тишина, когда Чарли подъехал на санях к станции, чтобы встретить меня с дневного поезда. Тишина и туман сгустились и стали совсем уже зловещими к десяти часам вечера, когда тепло закутанный Фрэнк Берд возник из морозной мглы, подкатив к дому на санях, которыми и на сей раз правил вечно недужный, но с виду неутомимый Чарли. Я оставался с матушкой и уснувшей миссис Уэллс, пока брат ездил к станции за нашим другом и врачом. Доктор Эйхенбах давно откланялся.

Фрэнк Берд пожал мне руку, безмолвно выражая сочувствие, и принялся обследовать матушку. Мы с Чарли

ждали в соседней комнате. Там слабо горел камин, и мы решили не зажигать ни свечей, ни ламп. Миссис Уэллс спала на диване в дальнем углу. Мы с братом разговаривали шепотом.

— Она ведь не в таком состоянии находилась на прошлой неделе, в последний твой приезд? — спросил я.

Чарли помотал головой:

— Она жаловалась на боли и затрудненное дыхание... ну ты знаешь, Уилки, как она постоянно сетует... сетовала... Но нет, ничто не предвещало этого... кошмара.

В скором времени к нам вышел Берд, и мы разбудили миссис Уэллс, чтобы вместе выслушать его заключение.

— Похоже, у Хэрриет случилось сильнейшее кровоизлияние в мозг, — тихо промолвил он. — Как вы сами видите, она утратила речевую способность, координацию движений и — вполне вероятно — рассудок. Что же касается до остального... — Он повернулся к миссис Уэллс. — Не упала ли миссис Коллинз на днях? Не поранилась при падении ножницами, кухонным ножом или вязальной спицей?

— Нет конечно! — воскликнула старая женщина. — Миссис Коллинз вела не настолько подвижный образ жизни, чтобы такое могло с ней приключиться. Да и я бы не допустила ничего подобного. И она непременно сказала бы мне, кабы... нет, нет, она не могла пораниться.

Берд кивнул.

— А почему вы спрашиваете, Фрэнк? — осведомился Чарли.

— У вашей матери свежий порез вот здесь... — Берд дотронулся до своего живота прямо под грудиной. — Длиной около двух дюймов. Ранка не представляет опасности для здоровья и уже заживает, но непонятно, откуда она взялась у человека, который не... — Он потряс головой. — Впрочем, неважно. Я уверен, это никак не связано с кровоизлиянием в мозг, случившимся, по всей видимости, прошлой ночью.

До этого я стоял, но сейчас ощутил такую слабость в коленях, что был вынужден сесть.

— Каков... прогноз? — спросил Чарли.

— Надежды нет, — твердо произнес Берд. — Мозг поврежден слишком сильно. Она еще может прийти в сознание, у нее даже может проясниться рассудок перед смертью — но я уверен: надежды нет. Теперь это вопрос дней или недель.

Миссис Уэллс пошатнулась, словно собираясь упасть в обморок, и Фрэнк с Чарли подхватили ее под руки и отвели обратно к дивану.

Я сидел, тупо уставившись в огонь. В Америке сейчас середина дня. В комфортабельных, светлых, чистых апартаментах Чарльз Диккенс, окруженный поистине королевскими почестями, готовится к очередному вечернему сеансу народного обожания. В недавнем письме, показанном мне Уиллсом, Диккенс писал: «Люди оглядываются, оборачиваются, всматриваются в меня, бросаются ко мне за автографами... или возбужденно переговариваются: „Смотрите, смотрите! Диккенс!“» — и еще упоминал, что его всегда узнают в поездах: «...в железнодорожных вагонах, при виде человека, явно желающего заговорить со мной, я обычно предупреждаю его желание, заговаривая первым».

Какое чувство долга! Как несказанно великодушно со стороны моего бывшего соавтора и вечного соперника! Он там снисходит до общения с десятками тысяч исполненных благоговения (пусть сознательно невежественных и безнадежно безграмотных) американцев, боготворящих самую землю, по которой ступала его нога, — а я сижу здесь, истерзанный болью, сокрушенный горем, исполненный отчаяния... моя мать умирает в страшных муках... скарабей скребется в моем черепе, словно...

— Я покидаю вас. Я переночую у знакомых в деревне и проведаю Хэрриет завтра утром перед тем, как вернуться поездом в Лондон.

Со мной говорил Фрэнк Берд. Я потерял счет времени. Очевидно, Чарли отвел плачущую миссис Уэллс в ее комнату и сейчас, в пальто и меховой шапке, ждал у двери, чтобы отвезти врача. Я вскочил с кресла, обеими руками пожал Берду руку и рассыпался в благодарностях.

— Я останусь с мамой, — сказал я Чарли.

— А я сменю тебя по возвращении и посижу с ней ночью, — сказал брат. — У тебя изнуренный вид, Уилки. Растопи камин пожарче, чтобы лечь здесь на кушетке, когда я вернусь.

Я помотал головой, но хотел ли я сказать, что останусь возле матери до утра, или что я не изнурен, или что мне не нужен огонь, — я не знаю. Потом Чарли с Бердом удалились, и я услышал фальшиво-радостный зимний звон колокольчиков на упряжи, когда они покатили обратно к деревне.

Я вошел в матушкину спальню и сел на деревянный стул, придвинутый к кровати. Ее глаза были по-прежнему открыты, но явно ничего не видели, веки изредка подрагивали. Безжизненные руки с подвернутыми кистями напоминали перебитые крылья жалкой птахи.

— Матушка, — тихо проговорил я, — простите меня, что...

Я умолк. За что я прошу прощения? За то, что убил ее, связавшись с Друдом? Но так ли это?

— Матушка... — снова начал я и снова умолк.

В последние месяцы я писал ей и разговаривал с ней главным образом о собственных своих успехах. Я был слишком занят работой над пьесой, репетициями пьесы и походами на первые представления пьесы, чтобы уделять время матери, — даже в Рождество я с трудом высидел с ней несколько часов и с утра пораньше умчался на станцию, чтобы поспеть на первый поезд до Лондона. Во всех письмах, написанных с прошлого лета, я говорил либо о себе (хотя мать очень радовалась известиям о моих успехах), либо об условиях передачи нам с Чарли ее свободного капитала в случае, если она умрет раньше нас.

— Матушка...

Ее веки снова затрепетали. Может, она пытается что-то сказать мне? Хэрриет Коллинз всегда была деловой, рассудительной, уверенной, толковой женщиной, занимающей прочное положение в обществе. В течение многих лет после смерти моего отца она являлась хозяйкой

салона, где собирались известнейшие художники и литераторы. Образ матери всегда связывался в моем сознании с компетентностью, чувством собственного достоинства и почти царственным самообладанием.

А теперь — это...

Не знаю, дорогой читатель, сколько времени просидел я у матушкиной постели. Помню только, что в какой-то момент я начал плакать. Потом наконец я решился: я должен знать. Я поставил свечу поближе, склонился над бесчувственным телом и откинул одеяло.

Матушка была в ночной рубашке, но та застегивалась лишь на несколько пуговиц у шеи — недостаточно для моей цели. Продолжая плакать, вытирая нос рукавом, я стянул верхнюю простыню к бледным, испещренным голубыми прожилками, опухшим щиколоткам и — рыдая уже в голос, держа свечу в одной руке — медленно задрал подол фланелевой ночной рубашки.

Опаляя волосы свечой, я прикрыл глаза согнутой в локте левой рукой, чтобы мне, любящему сыну, не видеть полной наготы своей матери. Но признаюсь, я слишком высоко поднял подол влажной от пота рубашки и увидел все-таки сморщенные обвислые груди, когда глянул вниз, по-прежнему ограничивая свое поле зрения поднесенной к глазам рукой.

А под ними, под резко выступающими ребрами, обтянутыми бледной кожей, прямо под грудиной я увидел багровую ранку.

Похоже, такой же длины, такого же оттенка, такой же формы, как у меня.

Окончательно обезумев от усталости и ужаса, я рванул на себе сорочку, и пуговицы брызнули в стороны, запрыгали по дощатому полу, закатываясь под кровать. Я согнулся чуть не пополам, чтобы увидеть красную отметину на своем животе, и быстро водил свечой туда-сюда, сравнивая ранку, оставленную моим скарабеем, с багровым рубцом у матери под ребрами.

Они были совершенно одинаковые.

Внезапно позади скрипнула половица, потом послышался сдавленный возглас. Я круто развернулся — у меня

сорочка выпущена из брюк и расстегнута, у матери ночная рубашка задрана до самого горла — и увидел миссис Уэллс, в диком ужасе смотревшую на меня вытаращенными глазами.

Я открыл рот, чтобы все объяснить, но не нашел слов. Я стянул подол ночной рубашки обратно к ногам матери, накрыл недвижное тело простыней и одеялом, поставил свечу на прикроватный столик и повернулся к старой экономке, резко отпрянувшей назад.

Неожиданно раздался громовый стук в дверь.

— Останьтесь здесь, — велел я миссис Уэллс.

Старуха молча попятилась и закусила костяшки пальцев, когда я торопливо прошел мимо.

Я кинулся к двери — в смятении мыслей я решил, что вернулся Фрэнк Берд с новым, чудесным образом пересмотренным прогнозом, на сей раз обнадеживающим, — и уже у самого порога бросил взгляд в сторону маминой спальни. Миссис Уэллс нигде не было видно.

Стук продолжался, становился все яростней.

Я распахнул дверь.

На крыльце под ночным снегопадом стояли четверо крупных мужчин в почти одинаковых черных пальто и зимних рабочих кепках. Катафалкоподобная карета с тускло горящими фонарями ждала поодаль.

— Мистер Уилки Коллинз? — осведомился самый крупный мужчина, стоявший впереди.

Я тупо кивнул.

— Пора, — сказал он. — Инспектор ждет. Ко времени нашего возвращения в Лондон все будет готово. Поторопитесь.

Глава 29

Подземный город пылал.

Инспектор Филд говорил, что через двадцать четыре часа он соберет сотню человек — бывших сыщиков, свободных от дежурства и отставных полицейских, —

горящих желанием спуститься под землю, чтобы отомстить за сержанта Хибберта Хэчери.

Похоже, он недооценил свои возможности. Даже судя по обрывочным картинам, проносившимся перед моим взором в последующие часы, представлялось очевидным, что в операции задействовано гораздо больше ста человек.

В широкой плоскодонке, куда меня доставили по приказу Филда, находилась дюжина мужчин. На наклонном шесте, выступающем за корму, висел яркий фонарь. Двое парней на носу управляли огромным карбидовым прожектором, какие используются на уэльских рудниках в чрезвычайных обстоятельствах, например при обрушении шахт. Ослепительно-белый конусообразный луч прожектора, установленного на вращающейся опоре, то падал на темные воды широкой подземной реки, известной под названием Канава Флит, то упирался в сводчатый кирпичный потолок, то скользил по стенам туннеля и узким дорожкам, тянувшимся по обеим сторонам потока.

За нами следовала еще одна плоскодонка. Насколько я понял, еще две шаланды двигались навстречу нам от устья Флит, то есть от самой Темзы. Впереди и позади нашей странной флотилии плыли верткие узкие лодки — на корме и носу стояли гребцы с длинными веслами или шестами, на скамьях сидели люди, вооруженные винтовками, дробовиками и пистолетами.

В нашей головной шаланде тоже не было недостатка в винтовках, дробовиках и пистолетах. Похоже, молчаливые мужчины в темной рабочей одежде прежде служили стрелками в армии или Столичной полиции. Весьма далекий от военного ремесла, я никогда прежде не видел такого количества огнестрельного оружия. Мне даже в голову не приходило, что в Лондоне так много штатских лиц, владеющих оружием.

В длинном зловонном туннеле, обычно погруженном в кромешный мрак, сейчас плясали лучи и круги света от многочисленных фонарей, которыми светили по сторонам люди в лодках и шаландах, еще сильнее рассеивая

тьму, разогнанную мощными лучами громадных прожекторов. Эхо криков раскатывалось над смрадным потоком. Еще десятки мужчин, тоже с фонарями и оружием, шагали по узким каменным или кирпичным дорожкам, пролегающим вдоль стен извилистого коллектора.

Нам не пришлось возвращаться на Погост Святого Стращателя, чтобы добраться до нижнего уровня Подземного города (честно говоря, дорогой читатель, вряд ли у меня хватило бы духа еще раз пройти тем путем). Существовали новые — сооруженные в ходе строительства подземной железной дороги — туннели, коридоры и лестницы, соединявшиеся с древними катакомбами при кладбище Эбни-парк в Сток-Ньюингтоне, и нам просто потребовалось спуститься по хорошо освещенным каменным ступеням, пройти по слабо освещенным туннелям, спуститься по следующему пролету каменных ступеней, преодолеть короткий, но замысловатый лабиринт катакомб, пропитанных могильным запахом, потом спуститься по деревянным лестницам типа стремянных к коллекторам Кросснесской очистной станции, где все еще велись строительные работы, а потом по узким шахтам и древним туннелям спуститься еще ниже, непосредственно в Подземный город.

Как они доставили сюда лодки и прожектора, я понятия не имел.

Мы продвигались вперед далеко не бесшумно. В дополнение к умножаемым эхом возгласам, гулким шагам и редким выстрелам по особо агрессивным крысам (стаи мерзких грызунов плыли перед нашей шаландой, рядом с лодками, и поверхность воды представляла собой сплошную массу бурых спин), впереди то и дело гремели взрывы, столь оглушительные, что мне приходилось зажимать уши ладонями.

В кирпичных стенах сводчатого туннеля, с одной и другой стороны, располагались без всякого порядка разновеликие проемы, иные всего три фута в поперечнике, другие гораздо больше — устья малых канализационных коллекторов, впадающих в главный, Канаву Флит.

Большинство проемов было перекрыто ржавыми решетками. Инспектор Филд приказал взрывать решетки динамитом и отправил вперед команды подрывников, пешие и на лодках.

Грохот взрывов, многократно усиленный акустикой кирпичного туннеля, раздавался каждые несколько минут, и мне всякий раз представлялось, будто мы находимся в самой гуще одного из кровопролитных сражений Крымской войны, окруженные со всех сторон артиллерийскими батареями.

Это было невыносимо — особенно для нервов, измотанных за трое (самое малое) бессонных суток, для тела, которое совсем недавно обездвижили наркотиком и бросили умирать в темноте, и для измученного рассудка, отчаянно протестующего против такого насилия. Я вытащил заветную флягу из прихваченного с собой саквояжа и выпил еще четыре дозы лауданума.

Внезапно смрад усилился. Я прикрыл платком рот и нос, но мерзопакостный слезоточивый запах просачивался сквозь него.

У инспектора Филда я не приметил никакого оружия, но он был в черном зимнем плаще с капюшоном, надвинутой на лоб широкополой шляпе и красном шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи и закрывавшем нижнюю половину лица. В кармане такого широкого плаща можно спрятать любое оружие.

Филд не сказал мне ни слова, когда четыре призрака в черном и присоединившийся к ним позже Реджи Баррис доставили меня в Подземный город и на шаланду. Но теперь он, в промежутке между взрывами, принялся декламировать:

Как решились
Вы с вашим нюхом утонченным
На плаванье по рекам сим зловонным
Столь жарким летом, когда все едят
Горох стручковый, кабачки, шпинат
И прочую слабительную пищу,
А после в нужниках обильно дрищут,
Где стены не водой — мочой потеют?

Баррис и прочие подчиненные уставились на него как на сумасшедшего, но я рассмеялся.

— У вас с Чарльзом Диккенсом есть кое-что общее, инспектор.

— Да ну? — Темные кустистые брови старика удивленно изогнулись над красным шарфом.

— Похоже, вы оба знаете наизусть «Памятное путешествие» Бена Джонсона, — пояснил я.

— Любой образованный человек знает, — сказал инспектор Филд.

— И то верно, — согласился я, несколько взбодренный чудотворным лауданумом. — Вообще говоря, существует целый отдельный жанр: сортирная проза, сортирная поэзия.

— Синекдоха, обозначающая вонь и грязь огромного города, раскорячившегося над нами во всей своей клоачной мерзости, — сказал инспектор, совершенно неожиданно для меня демонстрируя грубоватое аллитеративное красноречие.

Скорее всего, впрочем, он был крепко пьян.

— Не желаете ли послушать строки из свифтовского «Описания ливня в городе»? — продолжал старик. — Полагаю, господин Уилки Коллинз, вам, писателю, хорошо известно, что Свифт имел в виду вовсе не дождь. А хотите — я прочитаю вам вторую часть сортирной «Дунсиады» Поупа, что представляется более уместным сейчас, в ходе нашей одиссеи по зловонной Канаве Флит.

— Как-нибудь в другой раз, — сказал я.

Канава Флит расширилась, превратившись в настоящую подземную реку, достаточно широкую, чтобы две наши шаланды и десяток лодок шли по ней развернутым строем. Кирпичный потолок туннеля исчез, когда мы вошли в естественную пещеру протяженностью с четверть мили, если не больше, — высокие неровные своды здесь скрывались за плотной пеленой тумана, пара или дыма. Справа по ходу нашего движения десятки перекрытых решетками сточных труб — порой диаметром до дюжины футов — изливали свои дымящиеся сточные воды

в главный нечистотный поток, а по левую руку виднелись низкие, широкие насыпи земли и битого камня — своего рода берег. Над ним на высоту тридцати-сорока футов поднимались ярусы выступов, проемов, ниш, катакомбных камер, древних шахтных устий и глубоких подвалов, которые все придавали пещерной стене сходство с многоэтажным домом на Стрэнде.

Когда мы подошли ближе к берегу, я посмотрел наверх и увидел там жалких оборванцев, выглядывающих из-за низких оград, трепещущие костры, убогие тряпки, развешанные на веревках над пропастью, приставные лестницы и грубо сколоченные мостки, соединяющие подземные жилища.

Чарльз Диккенс всегда считал, что он спускался на самое дно лондонских трущоб и познакомился с жизнью беднейших бедняков нашей столицы, но здесь, глубоко под землей, становилось ясно, что есть люди и более бедные, чем беднейшие из бедняков, населяющих гнилые, тифозные трущобы наверху.

В нишах и на широких уступах стояли целые семьи с детьми в разношерстных грязных лохмотьях; и все они смотрели на нас с тревогой и страхом, словно мы были викингами, совершающими набег на некое древнее, богом забытое саксонское поселение. Вырубленные в пещерной стене глубокие полости, в каждой из которых теснились шалаши, сооруженные из парусины, старой жести, битого кирпича и глины, напомнили мне иллюстрацию с изображением покинутых скальных жилищ индейских племен в каньонах на западе или юго-западе Америки. Только эти скальные жилища никто не собирался покидать, — по моей оценке, здесь, глубоко под городом, обитала не одна сотня отверженных.

Еще десятки людей инспектора Филда появлялись из невидимых туннелей и лестничных шахт, подходили с юга по мощеным дорожкам вдоль сточного канала. Шаланды и лодки пристали к берегу, прохрустев по битому камню; мужчины в черном, с факелами, фонарями и винтовками, сошли с них и рассыпались в разные стороны.

— Поджечь все, к чертовой матери, — спокойно сказал инспектор Филд, и ближайшие его помощники повторили тихий приказ громкими голосами, раскатившимися многократным эхом.

Огромная пещера загудела от криков и воплей. Я видел, как люди Филда карабкаются по приставным лестницам, взбегают по каменным ступеням, стремительно шагают по вырубленным в скале дорожкам, выгоняя ничтожных оборванцев из лачуг и шалашей. Я не замечал никакого сопротивления со стороны здешних обитателей. И задался вопросом, зачем вообще человеку спускаться сюда, в эти подземные пещеры, но почти сразу сообразил, что здесь, под землей, держится постоянная температура, не менее пятидесяти пяти градусов, тогда как наверху, на мощеных улицах и в неотапливаемых трущобных домах, она сейчас гораздо ниже.

Когда первые языки пламени взметнулись над человеческим муравейником, по пещере прокатился единый вздох, испущенный несколькими сотнями людей. Сухое тряпье, дерево, старые тюфяки, притащенные со свалки диваны горели, как трут, и уже через две минуты — хотя большую часть дыма вытягивало в вырубленные в скале шахты и галереи — под сводами пещеры висело плотное черное облако. Сквозь дымную пелену засверкали оранжевые вспышки, прогремело несколько взрывов подряд — соратники инспектора Филда взрывали решетки в устьях сточных труб на другой стороне потока. Вся сцена напоминала картину яростной летней грозы.

Внезапно с одной из верхних террас свалился тюк тряпья и с шипением ушел под воду подземной реки. Я страстно надеялся, что это был всего лишь тюк тряпья. Я страстно надеялся, что видел всего лишь развевающиеся в полете лохмотья, а не молотящие по воздуху руки и ноги.

Я подошел к инспектору Филду, стоявшему на носу шаланды, и спросил:

— Разве так уж необходимо выкуривать отсюда этих несчастных?

— Да.

Он не соизволил посмотреть на меня, всецело поглощенный зрелищем. Время от времени он делал знак Баррису или одному из других своих любимчиков, приказывая согнать бегающих оборванцев в кучу или поджечь факелом какой-нибудь шалаш, еще не занявшийся огнем.

— Но зачем? — упорствовал я. — Это же просто убогие босяки, неспособные выжить на городских улицах. Они никому не причиняют вреда.

Филд повернулся ко мне.

— Эти жалкие подобия мужчин, женщин со своими отпрысками не являются подданными ее величества, — мягко промолвил он. — Здесь, внизу, нет англичан, мистер Уилки Коллинз. Здесь королевство Друда, а это его приспешники. Они хранят ему верность и так или иначе оказывают ему услуги и помощь.

Я начал смеяться и понял, что мне не остановиться.

Инспектор Филд приподнял кустистую бровь:

— Я сказал что-нибудь смешное, сэр?

— Королевство Друда... — наконец сумел выговорить я. — Верные подданные... Друда. — Я снова залился безудержным смехом.

Инспектор отвернулся от меня. Над нами тюки тряпья разных размеров покидали задымленные скальные жилища и под конвоем подчиненных Филда уходили наверх.

— Будьте любезны, перейдите в лодку мистера Барриса, — сказал мне инспектор спустя какое-то время.

Я плохо следил за происходящим.

Помню, мы оставили позади длинную пещеру с горящими скальными жилищами и снова двинулись по тоннелю, заключающему в своих стенах Канаву Флит. Впереди поток разветвлялся на два канала, один из них — левый — перегораживала низкая плотина или водослив, и вторую шаланду пришлось перетаскивать через преграду с помощью талей. Лодки поменьше уже преодолели

препятствие. Наша плоскодонка поплыла по правому каналу, но впереди показалось устье большого коллектора, и, очевидно, инспектор хотел, чтобы я обследовал тот вместе с Реджинальдом Баррисом.

— Вы видели храм Друда, — пояснил инспектор.

— Я не видел никакого храма, — устало сказал я.

— Вы его описывали, сэр. Ступени, ведущие наверх от реки, высокие бронзовые двери, статуи по бокам лестницы — египетские реликты, человеческие фигуры с шакальими или птичьими головами.

По спине у меня побежали мурашки при воспоминании о кошмарном сне с жуком, привидевшимся мне меньше тридцати шести часов назад, — правильно ли я оцениваю временной промежуток? Действительно ли прошло всего полтора дня с момента, когда я очнулся в темном склепе?

— Его описывал Чарльз Диккенс, — сказал я. — Я никогда не говорил, будто видел мифический храм Друда... да и самого Друда, коли на то пошло.

— Вы были там вчера, мистер Уилки Коллинз, мы оба это знаем, — промолвил инспектор Филд. — Но не будем спорить. Пожалуйста, перейдите к сыщику Баррису.

Прежде чем перебраться в лодку, я спросил:

— Ваши поиски здесь подходят к концу, инспектор?

Старик отрывисто хохотнул:

— Да мы толком и не приступили к поискам, сэр. Еще часов восемь самое малое — покуда мы не встретимся с моими людьми, идущими на шаландах от Темзы.

Услышав это, я снова почувствовал головокружение и тошноту. Когда я в последний раз спал по-настоящему — не валялся в беспамятстве, одурманенный наркотиком Короля Лазаря или Друда, а именно спал? Сорок восемь часов назад? Семьдесят два?

Я неуклюже спустился в шаткую лодку, где ждали Баррис и еще двое мужчин — один стоял на носу с длинным шестом, другой сидел на корме у руля, — и мы

покинули реку и медленно двинулись по боковому кирпичному туннелю. Я сидел на скамье в середине шестнадцатифутового суденышка, а Баррис стоял рядом, сохраняя равновесие с помощью второго шеста. Поросший мхом кирпичный потолок был здесь таким низким, что Баррис мог отталкиваться от него руками, помогая двигать лодку вперед. Я видел зеленые пятна на его дорогих желто-коричневых перчатках.

Я уже начал клевать носом, когда мы вышли из узкого коллектора в канал шириной футов двадцать.

— Сэр! — Сыщик на носу посветил фонарем вперед.

Четыре маленьких дикаря стояли по пояс в воде, возясь с неким тяжелым, разбухшим от влаги предметом, похоже только что выпавшим из устья канализационной трубы, расположенного высоко в стене туннеля.

При ближайшем рассмотрении «разбухший от влаги предмет» оказался позеленелым трупом мужчины. Мальчишки шарили в карманах изгнившего сюртука. Они застыли на месте в луче света, уставившись на нас широко раскрытыми, блестящими, нечеловеческими глазами.

На меня накатило головокружительное дежавю, а потом я осознал, что вижу сцену, словно взятую из низкопробного авантюрного романа «Маленькие лондонские дикари, или Дети ночи. Повесть наших дней», о котором мы с Диккенсом оба упоминали — смущаясь тем обстоятельством, что читали данное творение, — во время первого нашего похода в Подземный город два года назад.

Казалось, по блестящему мокрому лицу мертвеца пробегала частая дрожь — такое впечатление, будто мучнисто-белые полуразложившиеся черты накрыты тончайшей, прозрачной шелковой тканью. Казалось, глаза открывались и закрывались, губы подергивались, словно пытаясь сложиться в улыбку — наверняка скорбную, ибо приятно ли быть участником сцены из столь дурно написанного бульварного романа.

Потом я сообразил, что движутся-то вовсе не лицевые мускулы трупа. Лицо мертвеца, руки, все открытые

участки тела были сплошь покрыты червями, безостановочно переползающими с места на место.

— Стоять! — гаркнул Баррис, когда маленькие дикари бросили разбухший труп обратно в темную вонючую воду и пустились наутек.

Мужчина на носу направил луч фонаря на улепетывающую четверку, а парень на корме сильно толкнул лодку вперед, глубоко погрузив шест в густую жижу на дне коллектора. Я от души наслаждался безумной абсурдностью происходящего — только тошнотворное дополнение в виде трупных червей несколько портило впечатление.

— Стоять! — снова рявкнул Баррис, в руке сыщика внезапно оказался маленький серебристый револьвер.

Я по сей день не понимаю, зачем он хотел задержать этих одичалых существ.

Двое мальчишек, подтянувшись на руках, заползли в устье канализационной трубы, расположенное высоко в стене, — оно казалось слишком узким даже для этих чудовищно худых, оголодалых призраков, но они, яростно извиваясь, умудрились протиснуться в него. Когда бледные босые ступни последнего из них, судорожно молотящие, елозящие по внутренней поверхности трубы, скрылись из виду, я почти ожидал услышать хлопок, с каким пробка вылетает из бутылки шампанского. Третий мальчишка присел на корточки и проскользнул в отверстие на противоположной стене туннеля.

Четвертый, стоявший уже по грудь в потоке нечистот, внезапно повернулся и швырнул в нашу приближающуюся лодку две пригоршни дерьма. Сыщик с фонарем проворно пригнулся и выругался. Мерзкая жижа расплескалась по скамье, где я сидел, и несколько крупных брызг попало на лацканы толстого шерстяного пальто Реджинальда Барриса.

Я рассмеялся.

Баррис выстрелил два раза. В узком кирпичном туннеле выстрелы прогрохотали столь оглушительно, что я зажал уши ладонями.

Маленький дикарь упал ничком в воду.

Лодка проплыла мимо облепленного червями трупа и приблизилась к мальчишке. Сыщик с шестом наклонился, перевернул тело и наполовину втащил в лодку. Грязная зловонная вода стекала с лохмотьев и выливалась из раскрытого рта ребенка.

Ему было не больше десяти-одиннадцати лет. Одна из пуль Барриса попала в горло, зацепив яремную вену. Кровь все еще лилась толчками из раны, но еле-еле. Вторая пуля вошла в щеку под глазом — по-прежнему широко открытым. Глаза у него были голубые и, казалось, смотрели на нас с укором.

Мужчина столкнул тощее тельце обратно в черную воду.

Я вскочил на ноги и схватил Барриса за широкие плечи.

— Вы убили ребенка!

— Здесь, в Подземном городе, нет детей, — холодно, равнодушно ответил Баррис. — Только паразиты.

Помню, я набросился на него. Лишь благодаря невероятным усилиям сыщика с шестом и кормчего, использовавшего румпель в качестве балансира, наше шаткое суденышко не перевернулось, вывалив четыре наших тела в смрадный поток, где плавали изъеденный червями труп и убитый мальчишка.

Помню, я издавал разные звуки — яростные рыки, хрипы, сдавленные вопли, нечленораздельные крики, — но не произносил ни единого осмысленного слова. Я накинулся на сыщика не с кулаками, как подобает мужчине, а пустил в ход ногти, норовя выцарапать ему глаза, как сделала бы взбешенная женщина.

Смутно помню, Баррис отбивался от меня одной рукой, пока не стало ясно, что я не уймусь и в конце концов опрокину лодку. Смутно помню, вопли мои становились все исступленнее и моя слюна брызгала на красивое лицо молодого сыщика. Помню, он отрывисто бросил несколько слов кормчему у меня за спиной,

а потом серебристый револьвер взметнулся вверх, сверкнув коротким, но тяжелым стволом в пляшущем свете фонаря.

А потом — слава богу — я не помню ничего, ибо провалился в черноту без сновидений.

Глава 30

Очнулся я при свете дня, в собственной постели, в собственной ночной рубашке, в жестоких телесных муках. Надо мной стояла Кэролайн с лицом мрачнее тучи. Голова у меня раскалывалась от дикой боли, какой я не испытывал никогда прежде, и все до единой мышцы, сухожилия, кости и клетки моего тела, казалось, со скрежетом трутся друг о друга, истошно крича нестройным хором от нестерпимых физических страданий. Я чувствовал себя так, словно уже много дней или даже недель не принимал целительного лауданума.

— Кто такая Марта? — осведомилась Кэролайн.

— Что? — с трудом проговорил я, еле шевеля сухими, потрескавшимися губами и распухшим языком.

— Кто такая Марта? — повторила Кэролайн голосом резким и жестким, как пистолетный выстрел.

Из всех приступов паники, пережитых мной за последние два года — даже ночью, когда я очнулся в кромешной тьме подземного склепа, — ни один не шел в сравнение с тем, что я испытал сейчас. Так, наверное, чувствует себя сытый, довольный жизнью, уверенный в собственной безопасности человек, когда комфортабельный экипаж, где он сидит, вдруг срывается с горной дороги в пропасть.

— Марта? — пролепетал я. — Кэролайн... дорогая... о чем ты говоришь?

— Ты два дня и две ночи повторял во сне имя Марта. — Ни тон Кэролайн, ни выражение лица не смягчились. — Так кто такая Марта?

— Два дня и две ночи! Сколько же времени я находился без сознания? Как я оказался здесь? Почему у меня голова перевязана?

— Кто такая Марта? — упорствовала Кэролайн.

— Марта... это... персонаж Диккенса из «Дэвида Копперфилда», — сказал я с притворно равнодушным видом, ощупывая повязку на голове. — Ну ты знаешь... уличная женщина, которая ходит вдоль грязной, зловонной Темзы в поисках клиентов. Кажется, мне снилась река.

Кэролайн скрестила руки на груди и прищурилась.

Не стоит недооценивать, дорогой читатель, находчивость писателя-романиста, даже оказавшегося в столь сложной ситуации.

— Как долго я спал? — спросил я.

— Сегодня среда, — наконец промолвила Кэролайн. — В воскресенье около полудня мы услышали стук в дверь и обнаружили тебя на крыльце без сознания. Где ты был, Уилки? Чарли... они с Кейти заходили два раза, и он говорит, что состояние вашей матери остается прежним... так вот, Чарли сказал, что миссис Уэллс сообщила, что ты покинул материнский дом без всяких объяснений в субботу ночью. Куда ты направился? Почему твоя одежда — нам пришлось ее сжечь — воняла дымом и... кое-чем похуже? Что с твоей головой? Фрэнк Берд уже трижды проведывал тебя и всякий раз выражал беспокойство по поводу раны на виске и возможного сотрясения мозга. Он боялся, что ты в коме. Так где же ты был? И почему, скажи на милость, тебе снится диккенсовский персонаж по имени Марта?

— Потерпи минуту. — Я придвинулся к краю кровати, но тотчас решил, что не устою на ногах, а если даже устою, не смогу сделать ни шагу. — Я отвечу на все твои вопросы через минуту, но сперва прикажи служанке принести тазик. Живо. Меня сейчас вырвет.

Вполне возможно и даже вероятно, дорогой читатель, в Далекой Стране, где вы живете через сто с лишним лет от сего дня, медицина победила все болезни, истребила всякую боль и все недуги, обычные для моих современ-

ников, знакомы вам лишь по слухам, слабые отголоски которых докатились до вас из прошлого. Но в мое время, дорогой читатель, — несмотря на неизбежное высокомерие, с каким мы противопоставляли себя более примитивным народам, — мы не обладали знаниями, необходимыми для борьбы с болезнями и исцеления телесных повреждений, и не располагали достаточно действенными медицинскими препаратами, чтобы преуспеть в наших жалких попытках справиться со старейшим врагом рода человеческого — болью.

Мой друг Фрэнк Берд выгодно отличался от большинства представителей своего сомнительного ремесла. Он не стал пускать мне кровь. Не стал прикладывать мне пиявок к животу или использовать свой арсенал жутких стальных инструментов, предназначенных для трепанации (хирурги девятнадцатого века имели обыкновение при каждом удобном случае самым непотребным образом просверливать дыры в черепе пациента, словно вырезая сердцевину яблока плотницким буравом, и выдергивать круглый кусок черепной кости, точно пробку из винной бутылки, — причем неизменно с таким видом, будто это самое обычное дело). Нет, Фрэнк Берд часто навещал меня, встревоженный и искренне озабоченный, осматривал рану и жуткий кровоподтек на моем виске, менял повязки, пытливо расспрашивал о непроходящих болевых ощущениях, прописывал полный покой и молочную диету, тихо отдавал указания Кэролайн, корил меня за постоянное употребление лауданума, но не запрещал принимать его и в конечном счете выполнял первую заповедь Гиппократа: «Не навреди». Как и за своим более знаменитым пациентом Чарльзом Диккенсом, Фрэнк Берд усердно ухаживал за мной, не имея возможности мне помочь.

Посему я продолжал терпеть жестокие муки.

Я пришел в сознание — пусть не вполне ясное — в собственной спальне двадцать второго января, через четыре дня после последнего своего спуска в подземный притон Короля Лазаря. До конца недели я был слишком

плох, чтобы встать с постели, хотя остро сознавал необходимость навестить мать. За все годы страданий от ревматоидной подагры я ни разу не испытывал ничего подобного. Помимо обычных болей в мышцах, суставах и внутренностях меня мучила поистине нестерпимая, дикая пульсирующая боль, гнездившаяся глубоко за правым глазом.

Словно некое огромное насекомое вгрызалось в мой мозг.

Именно тогда я вдруг вспомнил случайные слова Диккенса, сказанные мне давным-давно.

Мы обсуждали в общих чертах современную хирургию, и Диккенс мимоходом упомянул о «некой простой медицинской операции», перенесенной им много лет назад, перед первой поездкой в Америку.

Неподражаемый не стал вдаваться в подробности, но от Кейти Диккенс и прочих я знал, в чем заключалась та едва ли такая уж «простая» операция. У Диккенса, тогда работавшего над «Барнаби Раджем», резко обострились боли в области заднего прохода. (Сравнимы ли они с нынешними моими невыносимыми головными болями, я не знал.) Врачи поставили диагноз «фистула» — то есть свищевое отверстие в стенке прямой кишки, в которое проникли внутренние ткани.

Диккенсу ничего не оставалось, как согласиться на срочную операцию, и в качестве своего хирурга он выбрал доктора Фредерика Салмона, автора книги «Практическое описание строения прямой кишки». Сама операция состояла в том, что сначала анальное отверстие рассекли скальпелем, потом раскрыли прямую кишку, поочередно вставляя в нее все более крупные расширители, а потом, медленно и осторожно, вырезали проникшие в свищевое отверстие ткани и наконец зашили стенку прямой кишки.

Диккенс перенес все это без морфия, опиума или любого другого препарата из разряда тех, что ныне называются «анестетиками». По словам Кейти (узнавшей подробности от матери, разумеется), ее отец в ходе операции держался весело и быстро после нее оправился. Всего

через несколько дней он снова писал «Барнаби Раджа» — правда, лежа на диване, обложенный подушками. И уже готовился к долгому и изнурительному Первому Американскому Турне.

Но я отвлекся от предмета.

Замечания Диккенса по поводу «простых медицинских операций» касались счастливой способности человека забывать боль.

— Меня часто поражает, Уилки, — сказал он тогда, едучи со мной в двухместной карете по дорогам Кента, — что, по сути, мы не сохраняем настоящих воспоминаний о боли. О да, мы помним, что нам было больно, и живо помним, как это было ужасно и как мы хотели никогда впредь не испытывать ничего подобного, — но ведь по-настоящему мы боль не помним, верно? Мы помним общее состояние, но не детали, как в случае с... скажем... роскошным обедом. Думаю, именно поэтому женщины соглашаются претерпевать родовые муки более одного раза — они просто забывают подробности прежних своих страданий. Таково мое мнение, дорогой Уилки.

— О родах? — спросил я.

— Да нет же, — сказал Диккенс. — О разнице между болью и наслаждением. Боль мы помним в общих, пусть и ужасных, чертах, но по-настоящему не помним. А вот наслаждение мы помним во всех подробностях. Сами подумайте — разве не так? Когда человек отведал изысканнейшего вина, выкурил лучшую сигару, отобедал в превосходнейшем ресторане... даже прокатился в такой вот шикарной карете, как наша теперешняя... или же познакомился с поистине красивой женщиной, все менее яркие впечатления подобного рода, полученные ранее, сохраняются у него и дальше, годами, десятилетиями... до конца жизни! Боль мы никогда толком не помним. Наслаждение — во всех сибаритских подробностях — никогда не забываем.

Что ж, возможно. Но уверяю вас, дорогой читатель: чудовищную боль, терзавшую меня в январе, феврале, марте и апреле 1868 года, я не забуду до скончания дней.

Когда заболевает фермер, пашню возделывают другие фермеры. Когда заболевает солдат, его кладут в лазарет, а на бранное поле посылают другого солдата. Когда заболевает торговец, кто-нибудь другой — скажем, жена — выполняет его повседневные обязанности в лавке. Когда заболевает королева, миллионы подданных молятся о ней и в спальном крыле дворца придворные ходят на цыпочках и разговаривают шепотом. Но жизнь фермы, армии, торговой лавки или государства продолжает идти своим чередом.

Если тяжело заболевает писатель, все останавливается. Если он умирает, творческий процесс навсегда прекращается. В этом смысле участь известного писателя очень похожа на участь знаменитого актера — но даже у самых знаменитых актеров есть дублеры. У писателя таковых нет. Заменить его никто не может. Его голос неповторим и уникален. Это особенно верно в случае с популярным писателем, чье произведение уже выходит выпусками в одном из главных журналов страны. «Лунный камень» начал издаваться в английском «Круглом годе» и американском «Харперз уикли» в январе. Несколько выпусков, написанных заблаговременно, уже были набраны в типографии, от меня ждали очередных выпусков в самом скором времени. А они существовали лишь в виде черновых заметок и набросков, и мне еще предстояло их написать.

Давление обязательств усугубляло ужас, владевший мной; к физическим страданиям, вызванным жестокой болью, денно и нощно терзавшей мое тело и мозг, прибавлялись страдания нравственные.

В первую неделю мучительной болезни я — неспособный сидеть и держать перо в руке, истерзанный неописуемой болью, прикованный к постели — пытался диктовать следующую главу Кэролайн, а потом ее дочери Кэрри. Ни одна, ни другая не могли выносить моих душераздирающих криков и стонов, помимо моей воли ежеминутно прерывавших диктовку. Обе то и дело бросались ко мне с утешениями, вместо того чтобы спокойно сидеть и ждать, когда я продолжу наговаривать текст.

В конце недели Кэролайн наняла мне секретаря, чтобы он сидел в кресле у моей постели и писал под диктовку. Но сей молодой человек, видимо обладавший чувствительной натурой, тоже не смог выносить моих стонов, жалоб и непроизвольных корчей. Уже через час он сбежал. Второй секретарь, явившийся в понедельник, оставался равнодушным и безучастным к моим мукам, но никак не мог выделить отдельные фразы из общего фона моих воплей и стенаний. Спустя два часа я отказался от его услуг.

В понедельник ночью, когда все домашние спали, но мне не давала уснуть или хотя бы просто лежать спокойно (даже после полудюжины доз лауданума) дикая боль от острых жвал, грызущих мой мозг, я встал с постели, с трудом добрел до окна, раздвинул траурно тяжелые портьеры, поднял штору и выглянул в слякотную тьму.

Я посмотрел в сторону Портмен-Сквер. Где-то там наверняка дежурили один-два агента инспектора Филда, пусть и незримые для непрофессионального глаза. Он не оставит меня без надзора теперь, когда я стал свидетелем его деяний.

Я попросил Кэролайн принести мне номера «Таймс», вышедшие за время, проведенное мной в беспамятстве, и каждый день просматривал свежие газеты. Но старые газеты она уже выбросила, а в новых ни словом не упоминалось о выпотрошенном теле отставного полицейского, найденном на кладбище в трущобах. В них не содержалось никаких сообщений о пожарах в припортовом квартале или в канализационных туннелях, и Кэролайн лишь странно посмотрела на меня, когда я спросил, не слыхала ли она о таких пожарах.

Я задал тот же вопрос Фрэнку Берду, а потом моему брату Чарли, но ни одному, ни другому не попадались на глаза газетные заметки об убийстве сыщика и подземных пожарах. Оба они решили, что мои расспросы являются следствием мучащих меня кошмаров (мне тогда действительно снились жуткие кошмары всякий раз, едва я погружался в тревожный, прерывистый сон), и я не стал выводить их из заблуждения.

Очевидно, инспектор Филд использовал свое влияние, чтобы заставить полицию и прессу хранить молчание о зверском убийстве сержанта Хэчери... но почему?

Вероятно, Филд — и сотня или более людей, участвовавших в карательной экспедиции под городом, — просто утаили от полиции факт убийства.

Но опять-таки... почему?

Той ночью, когда я стоял у окна, вцепившись в портьеру, и смотрел в холодную, туманную полуночную тьму, у меня не было ни физических, ни умственных сил, чтобы ответить на собственные вопросы, но я все искал, искал взглядом агентов инспектора Филда, напряженно всматривался во мрак, словно в надежде узреть Спасителя.

Почему? Разве может инспектор Филд избавить меня от этой боли?

Скарабей переместился на дюйм-два в основании моего мозга, и я дважды вскрикнул, — второй крик я заглушил, прижав ко рту край бархатной занавеси.

Филд был вторым шахматистом в этой ужасной игре, и в способности противостоять чудовищу Друду с ним мог сравниться разве только отсутствующий Чарльз Диккенс (чьи мотивы я понимал еще хуже). Я вдруг осознал, что начинаю приписывать старому толстому сыщику невероятные, почти мистические способности.

Мне нужен кто-то, кто спасет меня.

Такого человека не было.

Всхлипывая, я дотащился до кровати, ухватился за кроватный столбик, на миг ослепленный дикой болью в мозгу, а потом, с трудом переставляя ноги, добрел до комода. Ключ от самого нижнего ящика хранился в футляре с платяной щеткой, спрятанный под обшивку.

Револьвер, выданный мне сыщиком Хэчери, лежал на прежнем месте, под стопкой чистого белья.

Я вытащил оружие, в очередной раз подивившись его тяжести, отошел от комода на трясущихся ногах и присел на край кровати поближе к единственной горящей свече. Нацепив на нос очки, я осознал, что выгляжу со стороны сумасшедшим, каким, собственно, себя и чув-

ствую: волосы и борода растрепаны, лицо искажено страдальческой гримасой, в безумных глазах застыло выражение боли и ужаса, ночная рубашка задрана над бледными дрожащими голенями.

В меру своего умения (все-таки я совершенно не разбирался в огнестрельном оружии) я удостоверился, что пули по-прежнему находятся в гнездах барабана. Помню, я думал: «Этой боли не будет конца. Скарабей никогда не оставит меня в покое. Я никогда не закончу „Лунный камень". Через несколько недель десятки тысяч читателей выстроятся в очередь за следующим номером „Круглого года" и „Харперз уикли", но обнаружат там пустые белые страницы».

Мысль о пустоте, о последней и окончательной пустоте той ночью казалась мне невыразимо привлекательной.

Я поднес револьвер к лицу и засунул тяжелый, широкий ствол в рот, зацепив по верхним зубам каким-то крохотным выступом — видимо, мушкой.

Давным-давно кто-то — кажется, старый актер Макриди — объяснял сидящей за столом веселой компании, что человек, всерьез решивший вышибить себе мозги, должен посылать пулю вверх, сквозь мягкое нёбо, а не сквозь твердую черепную кость — мол, она зачастую изменяет траекторию пули, вследствие чего незадачливый самоубийца превращается не в труп вовсе, а в безмозглый овощ и объект презрения.

Дрожа всем телом, я по возможности крепче сжал рукоять револьвера в одной руке и поднял другую, чтобы оттянуть массивный курок назад до щелчка. Справившись с этим делом, я осознал: если бы мой потный большой палец соскользнул со скобы на спусковой крючок, револьвер уже выстрелил бы и пуля пробила бы остатки моего изъеденного жуком мозга.

И скарабей погиб бы — во всяком случае, перестал бы докучать мне, ибо я больше не испытывал бы боли.

Я затрясся сильнее и зарыдал, но не вытащил изо рта непристойный револьверный ствол. Я давился сильнейшими рвотными позывами, и если бы меня не вырвало

с полдюжины раз днем и вечером, то наверняка вывернуло бы сейчас. Мучительные спазмы сводили пустой желудок, перехватывали горло, но я медленно направил ствол вверх и почувствовал прикосновение стали к мягкому нёбу, упомянутому Макриди.

Я положил большой палец на спусковой крючок и начал потихоньку на него надавливать. Мои стучащие зубы сомкнулись на длинном стволе. Я осознал, что долго задерживал дыхание, но больше не могу — и судорожно вздохнул в последний раз.

Я дышу через револьверный ствол.

Многие ли знают, что такое возможно? Я чувствовал кисло-сладкий вкус ружейного масла — нанесенного покойным сыщиком Хэчери давным-давно, но все еще хорошо ощутимого на языке — и холодный медноватый привкус самого металла. Но я свободно дышал через зажатый в зубах ствол и слышал свист воздуха, обтекающего барабан и выходящего в гулкую полость рядом со взведенным курком.

Сколько людей ушли из жизни с такой вот неуместной последней мыслью, пролетающей в мозгу, который вот-вот погибнет, разорванный пулей в клочья, и скоро остынет?

Нелепость подобной ситуации, ясно осознанная писательским умом, показалась мучительнее дикой боли, что причинял мне скарабей, и я начал смеяться. Странным, глухим, непристойным смехом, звучавшим искаженно из-за стиснутого в зубах револьверного ствола. Через несколько секунд я вынул его изо рта — измазанный слюной тусклый металл блестел в неверном свете свечного огонька, — взял свечу и шаткой поступью вышел из спальни, по-прежнему держа оружие в руке.

Дверь в мой новый кабинет на первом этаже была закрыта, но не заперта. Я вошел и затворил за собой широкие дверные створки.

Второй Уилки сидел боком ко мне за письменным столом и читал книгу в темноте. Он взглянул на меня и поправил очки, в которых моя свеча отражалась двумя

вертикальными дрожащими полосками желтого пламени. Я заметил, что борода у него чуть короче моей и в ней чуть меньше проседи.

— Ты нуждаешься в моей помощи, — сказал Второй Уилки.

За все годы, минувшие с далекой поры, когда я впервые начал смутно сознавать существование своего второго «я», Второй Уилки ни разу не заговаривал со мной и вообще не издавал ни звука. Меня удивило, насколько женственный у него голос.

— Да, — хрипло прошептал я. — Я нуждаюсь в твоей помощи.

Я сообразил, что по-прежнему держу в правой руке заряженный и взведенный револьвер. Я вполне могу сейчас поднять оружие и выпустить пять — шесть? — пуль в этого слишком уж телесного призрака, с наглым видом сидящего за моим столом.

Умру ли я, когда умрет Второй Уилки? Умрет ли Второй Уилки, когда я умру? Я хихикнул, позабавленный вопросом, но смешок получился похожим на сдавленное рыданье.

— Начнем сегодня же? — спросил Второй Уилки, кладя раскрытую книгу страницами вниз на стол.

Он снял очки, протер носовым платком (извлеченным из того же кармана сюртука, где я всегда носил платок), и я заметил, что глаза у него — даже когда они не прикрыты стеклами, отражающими свет, — все равно представляют собой два мерцающих язычка пламени, похожие на кошачьи зрачки.

— Нет, не сегодня, — сказал я.

— Но скоро? — Он снова водрузил на нос очки.

— Да, — сказал я. — Скоро.

— Я приду к тебе, — пообещал Второй Уилки.

У меня едва осталось сил, чтобы кивнуть. По-прежнему босиком, по-прежнему со взведенным револьвером в руке, я шаткой поступью вышел из кабинета, закрыл за собой массивную дверь, прошлепал вверх по лестнице, вошел в свою спальню, рухнул на кровать и заснул

на скомканных покрывалах, по-прежнему сжимая в руке оружие и по-прежнему держа указательный палец на холодном спусковом крючке.

Глава 31

На протяжении многих лет я объяснял Кэролайн, что не могу на ней жениться, поскольку моя эмоционально неуравновешенная мать, всегда страдавшая повышенной нервной возбудимостью и теперь от нее умиравшая (по словам доктора Берда), никогда бы не поняла и не одобрила моего союза со вдовой женщиной, которая, как выяснилось бы после бракосочетания, уже не один год проживала в моем доме. Я объяснял, что должен уберечь болезненную старую даму (на самом деле вовсе не болезненную, а просто нервическую) от подобного потрясения. Кэролайн никогда полностью не принимала мои доводы, но со временем перестала их оспаривать.

И вот теперь моя мать умирала.

В четверг, тридцатого января, — спустя восемь дней с момента, когда я очнулся в собственной постели после пожара в Подземном городе и моей схватки с Барисом, — Кэролайн помогла мне одеться, и Чарли чуть не на руках дотащил меня до кареты, отвезшей нас на железнодорожную станцию. Я более-менее утихомирил скарабея, удвоив обычную дозу лауданума, который теперь иногда пил прямо из графина.

Я собирался принимать лауданум такими вот лошадиными дозами и работать над романом в коттедже матери, покуда она не умрет. Когда эта веха останется позади, я изыщу способ разобраться с Кэролайн, со скарабеем в моем мозгу и с прочими проблемами.

Пока мы ехали поездом в Танбридж-Уэллс и Саутборо, меня так ломало, мутило и трясло, что бедному Чарли, мучимому желудочными резями, пришлось всю дорогу обнимать меня за плечи и сидеть в кресле у прохода боком, чтобы хоть немного загораживать меня от посто-

ронних взоров. Я старался подавлять стоны, но остальные пассажиры наверняка слышали их сквозь шум паровозного двигателя и грохот состава, рассекающего холодный воздух сельской местности. Одному Богу ведомо, какие звуки издавали бы мы со скарабеем, не прими я перед поездкой огромную дозу лауданума.

Внезапно я до жути ясно понял, какие адовы муки претерпевал Чарльз Диккенс все три года с момента Стейплхерстской катастрофы (особенно в ходе своих изнурительных, напряженных турне, включая нынешнее американское), заставляя себя почти каждые сутки трястись в выстуженных или душных, задымленных, воняющих жженым углем и пóтом вагонах.

Обзавелся ли Диккенс скарабеем в свое время? Живет ли скарабей в нем сейчас?

Об одном только этом мог я думать в грохочущем вагоне. Если Диккенс носил Друдова скарабея в своем нутре, но сумел избавиться от него — путем убийства ни в чем не повинного человека? — значит он единственная моя надежда. Если Диккенс по-прежнему носит в себе чудовищного жука, но научился жить и работать с ним, значит он по-прежнему остается единственной моей надеждой.

Вагон сильно тряхнуло, и я громко застонал. Все головы повернулись в мою сторону. Я уткнулся лицом в пахнущее мокрой шерстью пальто Чарли, словно пытаясь спрятаться от окружающего мира, и в следующий миг вспомнил, что ребенком делал ровно то же самое в темной раздевалке частной школы.

Мое письмо в американский издательский дом «Харпер энд бразерс» начиналось строками, исполненными сдержанной мужской печали и одновременно профессиональной ответственности:

> Опасный недуг матери потребовал моего присутствия в ее деревенском доме, и я со всем усердием работаю над «Лунным камнем» в перерывах между дежурствами у болезного одра.

Далее я писал — равно профессионально — о своих поправках, внесенных в двенадцатый и тринадцатый выпуски романа, и пространно высказывался о присланных мне пробных оттисках иллюстраций, сперва отзываясь о них похвально, а потом указывая на отдельные погрешности. (Первого из ряда моих повествователей, дворецкого Габриэля Беттериджа, художник изобразил в ливрее. Я объяснил американцам, что такое решительно недопустимо, ибо дворецкий в столь аристократическом доме должен носить строгий черный костюм с белым галстуком и внешне походить на старого седовласого священника.) Заканчивал же я эффектным пассажем личного характера:

> Можете не сомневаться: я внимательнейшим образом рассмотрю ваши пожелания после того, как вы изъявили готовность учесть мои. Я рад, что пока роман вам нравится. Далее вас ждут сюжетные ходы, подобные которым — если я не заблуждаюсь — никогда прежде не использовались в литературе.

Признаюсь, последняя фраза звучала несколько самонадеянно, даже нагло, но я собирался раскрыть тайну похищенного Лунного камня через длинное, подробное описание действий человека, погруженного в глубокий опиумный сон, — ночью он совершает ряд сложных действий, о которых ничего не помнит наутро и во все последующие дни, покуда некий более искушенный опиоман не помогает ему восстановить воспоминания, — и я с уверенностью полагал, что в серьезной английской литературе такие сцены и сюжетные ходы не имеют прецедентов.

Что же касается работы в перерывах между дежурствами у болезного одра, я не счел нужным или уместным пояснять, что дежурства были крайне редкими, а перерывы длинными, хотя я проводил в коттедже матери все время. Дело в том, что она не выносила моего присутствия в своей спальне.

Чарли предупредил меня, что за почти две недели моего отсутствия к матери вернулась речь, хотя «речь» —

неточное слово для обозначения визгов, стонов, нечленораздельных воплей и звериных звуков, которые она издавала, когда кто-нибудь — особенно я — находился рядом с ней.

Когда мы с Чарли впервые вошли в спальню матери в четверг, двадцать девятого января, произошедшие с ней перемены потрясли меня до тошноты. Она потеряла, казалось, весь свой живой вес — фигура в постели представляла собой скелет, обвитый сухожилиями и обтянутый сухой крапчатой кожей. Она напомнила мне — невольная ассоциация! — мертвого птенчика, однажды найденного мной в нашем саду в далеком детстве. Как и у птичьего трупика (с ужасными, бесперыми, сложенными крылышками), темная, испещренная коричневыми пятнами кожа у матери была прозрачной, и под ней проступало все, что должно быть сокрыто от глаз.

Ее глаза — едва видные под полуопущенными веками — все еще быстро, суетливо двигались туда-сюда, точно воробышки в западне.

Но к ней действительно отчасти вернулись голосовые способности. Когда я в тот четверг стоял у постели матери, она непрестанно корчилась, конвульсивно дергала согнутыми в локте руками, похожими на сложенные птичьи крылышки, судорожно шевелила скрюченными пальцами — и кричала. Не столько кричала, сколько рычала — словно каллиопа, в чьи трубки нагнетается под чудовищным давлением пар, — и от этих звуков редкие волосы, что еще остались на моей голове, шевелились от ужаса.

Мать корчилась и стонала, и я тоже начал корчиться и стонать. Должно быть, это произвело жуткое впечатление на Чарли, которому пришлось подхватить меня под руку, чтобы я не упал. (Миссис Уэллс поспешно удалилась при моем появлении и продолжала избегать меня все три дня, проведенные мной в материнском доме. Я не имел возможности — да и особых причин — объяснить старухе, чем я занимался ночью, когда она увидела, как я задираю ночную рубашку матери с целью взглянуть

на оставленную жуком ранку. Объяснять свои поступки слугам не принято.)

Я корчился, стонал — и явственно чувствовал, как корчится и мечется взад-вперед скарабей в моем мозгу. Я догадывался — я знал, — что точно такой же скарабей, живущий в мозгу у матери, реагирует на мое присутствие (и присутствие моего паразита).

Вконец обессиленный, я застонал и упал в объятья Чарли. Он чуть не волоком дотащил меня до дивана в соседней комнате. Крики матери стали тише, едва мы вышли из спальни. Мой скарабей угомонился. Я краем глаза увидел миссис Уэллс, торопливо прошмыгнувшую мимо, пока Чарли укладывал меня на диван возле камина в гостиной.

Так продолжалось все три дня, что я провел с матерью — вернее, с пронзительно визжащим, бьющимся в конвульсиях, корчащимся от дикой боли существом, которое в прошлом было моей матерью, — в коттедже в Саутборо близ Танбридж-Уэллса.

Слава богу, Чарли все время находился там — миссис Уэллс наверняка оставила бы свои обязанности сиделки, не будь между нами такого буфера. Если Чарли и задавался вопросом, почему мы с миссис Уэллс стараемся ни минуты не оставаться наедине, он так ничего и не спросил. В пятницу приехал Фрэнк Берд — он снова сказал, что надежды нет, и сделал матери укол морфия, чтобы она заснула. Вечером, перед своим отъездом, он сделал укол морфия и мне. Наверное, то были единственные несколько часов тишины, когда бедный Чарли, мучимый желудочными резями, смог наконец немного поспать, оставив мать под присмотром миссис Уэллс.

Я пытался работать, пока находился в материнском доме. Я привез с собой лакированную оловянную коробку с черновыми записями, заметками, выписками из энциклопедии и часами сидел за крохотным столом у окна, но в моей правой руке, казалось, совсем не было сил. Чтобы макнуть перо в чернила, мне приходилось перекладывать его в левую руку. Но слова все равно

не лились на бумагу. Три дня кряду я тупо смотрел на белый лист бумаги, не осквернённый моей писаниной, если не считать трех-четырех корявых строчек, вымаранных мной в конечном счете.

Через три таких бесплодных дня мы с братом перестали делать вид, будто мое присутствие там необходимо. Матери становилось гораздо хуже, когда я к ней приближался; стоило мне войти к ней в спальню, она начинала корчиться, биться в судорогах, пронзительно вопить, и у меня тоже боль неуклонно усиливалась, покуда я не падал в обморок или не удалялся прочь.

Чарли упаковал мои вещи и отвез меня обратно в Лондон на послеполуденном курьерском. Перед отъездом он отправил Фрэнку Берду и моему слуге Джорджу телеграммы с просьбой встретить нас на станции — чтобы усадить меня в наемный экипаж, понадобились соединенные усилиях всех троих. Когда меня на руках втащили в дом и понесли наверх, в мою спальню, от внимания моего не ускользнуло, каким взглядом смотрела на меня Кэролайн, — во взгляде том читались тревога и жалость, но также смущение и презрение, возможно даже, презрение, граничащее с отвращением.

Берд сделал мне дополнительный укол морфия, и я провалился в глубокий сон.

Пробудись в благости!
Ты пребываешь в благости!
Гор из Эдфу пробуждается к жизни!
Боги восстают ото сна, дабы поклониться духу твоему,
О, священный крылатый шар, взмывающий в небо!
Ты, пронзающий небо огненный шар,
Каждый день заливаешь землю светом с востока,
А потом скрываешься на западе, дабы провести ночь
в Иунете.
О ты, Гор из Эдфу,
Который пробуждается в благости,
Великий бог неба в многоцветном оперенье,
Восстающий над горизонтом,
Огромный крылатый шар, охраняющий святилища!

И ты пробудись в благости!
Айхи, который пробуждается в благости,
Великий бог, сын Хатхор,
Возвеличенный Златоликим из Нетеров!
Пробудись в благости!
В благости!
Айхи, сын Хатхор, пробудись в благости!
Прекрасный лотос Златоликого!
И ты пробудись в благости!
Пробудись в благости, Харсиесис, сын Осириса,
Бесспорный наследник, потомок Всемогущего,
Порожденный Уннефером Победоносным!
И ты пробудись в благости!
Пробудись в благости, Осирис!
Великий бог, пребывающий в Иунете,
Старший сын Геба!
И ты пробудись в благости!
Пробудитесь в благости, Нетеры, и Нетеруты,
И Эннеады, окружающие Всевеличайшего!
И вы пробудитесь в благости!

Я пробудился в темноте, в мучительных корчах и в совершенном смятении.

Никогда прежде мне не снились одни только слова, звучащие напевным речитативом слова, причем на незнакомом мне языке, с которого, впрочем, мой ум — или мой скарабей — невесть почему легко переводил на английский. Приторный запах курений и маслянистого дыма все еще щекотал мои ноздри. Эхо давно умерших голосов звенело в моих ушах. Перед взором моим — точно остаточное изображение в виде красного круга на сетчатке глаза после долгого смотрения на солнце — стояли нетеры, боги Черной Земли: Нуит, богиня Звезд; Аст, или Исида, владычица Небес; Асар, или Осирис, бог наших Предков; Небт-Хет, или Нефтис, богиня Смерти, которая не вечна; Сути, или Сет, Враг; Гор, или Хор, владыка Грядущих Вещей; Анпу, или Анубис, проводник в Царстве Мертвых; Дахаути, или Тот, хранитель Книги Жизни.

Скарабей возился в моем черепе, причиняя дикую боль, и я пронзительно закричал в темноте.

На мой крик никто не пришел — ночь стояла в самой глухой поре, дверь спальни была закрыта, а Кэролайн и ее дочь спали внизу, тоже за закрытыми дверями, — но когда эхо воплей стихло в моем истерзанном мозгу, я осознал, что нахожусь в комнате не один. Я слышал чье-то дыхание. Я ощущал чье-то присутствие, подсознательно воспринимая не токи живого тепла, по каким мы порой узнаем, что рядом с нами в темноте находятся другие люди, но исходящий от незримого существа холод. Казалось, будто кто-то вытягивает остатки тепла из воздуха.

Я нашарил на комоде спички и зажег свечу.

На деревянном стуле в ногах кровати сидел Второй Уилки. Он был в черном широком пальто, что я выбросил несколько лет назад; на коленях у него лежала планшетка с чистым листом бумаги. В левой руке он держал карандаш. Ногти у него были обгрызены сильнее, чем у меня.

— Чего тебе надо? — прошептал я.

— Я жду, когда ты начнешь диктовать, — сказал Второй Уилки.

Я снова машинально отметил, что голос у него не такой низкий и звучный, как у меня. Но с другой стороны... разве кто-нибудь слышит по-настоящему тембр собственного голоса?

— Что диктовать? — прохрипел я.

Второй Уилки молча ждал. Сердце мое сократилось добрую сотню раз, прежде чем он наконец промолвил:

— Ты хочешь продиктовать мне описание твоих снов или следующую часть «Лунного камня»?

Я заколебался. Это наверняка какая-то ловушка. А вдруг, если я сейчас не начну диктовать подробный рассказ о ритуалах, посвященных богам Черной Земли, скарабей примется прогрызать ход наружу в затылочной или лицевой кости? Неужели последним, что я увижу в жизни, будут огромные жвалы, вылезающие у меня из щеки или глазницы?

— «Лунный камень», — сказал я. — Но я буду писать сам.

Я был слишком слаб, чтобы встать с постели. После полуминуты отчаянных усилий мне удалось лишь приподняться чуть повыше на подушках. Но скарабей не стал убивать меня. Возможно, с надеждой подумал я, он не понимает по-английски.

— Надо запереть дверь, — прошептал я. — Я сейчас запру. — Но у меня опять не хватило сил встать.

Второй Уилки поднялся на ноги, задвинул щеколду и вернулся на свое место. Он держал карандаш наготове, и я увидел, что он левша. Сам я правша.

«Он задвинул щеколду, — попытался сказать мне истерзанный, пылающий от боли мозг. — Он... оно... может воздействовать на предметы материального мира».

Ничего удивительного. Оставила же зеленокожая клыкастая девица багровый след укуса на моей шее.

Второй Уилки ждал.

Стеная и вскрикивая от боли, я начал:

— ПЕРВЫЙ РАССКАЗ — это прописными буквами — *написанный* МИСС КЛАК — имя тоже прописными, после имени двоеточие — *племянницей покойного сэра Джона Вериндера*... три междустрочных интервала... ГЛАВА ПЕРВАЯ, римской цифрой... два междустрочных интервала... *Любезным моим родителям, ныне покойным*... нет, не так... скобка открывается, *оба теперь на небесах*, скобка закрывается... *я обязана привычкой к порядку и аккуратности, внушенной мне с юных*... нет, мисс Клак никогда не была юной... напишите: *с самого раннего возраста*, точка, следующий абзац.

Я застонал и сполз пониже на влажных от пота подушках. Второй Уилки терпеливо ждал, держа карандаш наготове.

После двух-трех часов населенного кошмарами сна меня разбудил стук в дверь спальни. Я нашарил часы на комоде и увидел, что уже без малого одиннадцать утра. Стук повторился, вслед за ним раздался суровый, но обеспокоенный голос Кэролайн:

— Уилки, впусти меня.

— Входи, — сказал я.

— Не могу. Дверь заперта.

Я несколько минут собирался с силами для того, чтобы откинуть одеяло, шаткой поступью добрести до двери и отодвинуть щеколду.

— С какой стати ты заперся? — спросила Кэролайн, врываясь в комнату с самым взволнованным видом.

Я уселся на кровать и набросил на колени одеяло.

— Я работал. Писал.

— Работал? — Она увидела стопку исписанных страниц, по-прежнему лежавшую на деревянном стуле, и взяла ее. — Написано карандашом. Разве ты когда-нибудь прежде писал карандашом?

— Не могу же я пользоваться ручкой, лежа навзничь в постели.

— Уилки... — Кэролайн странно взглянула на меня, — это не твой почерк. — Она протянула мне страницы.

Это действительно был не мой почерк. Торопливо нацарапанные буквы имели наклон в противоположную сторону (так пишут левши, осознал я) и другие очертания — более резкие, заостренные, они казались почти агрессивными в своей жесткой угловатости. И даже междустрочные интервалы и поля были выдержаны в манере, отличной от моей. Минуту спустя я сказал:

— Ты же видела: дверь была заперта. Почти всю ночь я не мог заснуть от боли, поэтому работал. Ни ты, ни Кэрри, ни малодушные секретари, которых ты приводила, не могли писать под мою диктовку, и мне ничего не оставалось, кроме как взяться за дело самому. Я должен отослать следующие выпуски романа и в Америку, и в контору Уиллса уже через неделю. Вот мне и пришлось писать ночь напролет, держа карандаш в левой руке, когда правая отказывалась меня слушаться. Удивительно, что почерк вообще разборчивый.

Это была самая длинная тирада, произнесенная мною с момента, когда меня нашли без чувств у нашего порога

двадцать второго января, но на миссис Г***, похоже, это не произвело впечатления.

— Более разборчивый, чем обычный твой почерк, — заметила Кэролайн. Она огляделась по сторонам. — А где карандаш, которым ты пользовался?

Глупо, но я покраснел. Видимо, Второй Уилки прихватил карандаш с собой, когда ушел вскоре после рассвета. Сквозь запертую дверь и каменные стены.

— Должно быть, я его уронил. Наверное, под кровать закатился.

— Что ж... судя по нескольким абзацам, бегло прочитанным мной сейчас, — промолвила Кэролайн, — ни новая твоя ужасная болезнь, ни тяжелый недуг твоей матери нисколько не повредили твоим писательским способностям. А напротив, пошли на пользу. Рассказ мисс Клак жутко смешной. Я думала, ты выведешь ее более напыщенной и суровой, нарисуешь грубую карикатуру — но на первых двух страницах она предстает поистине комичным персонажем. Мне не терпится поскорее прочитать продолжение.

Когда она удалилась, чтобы отдать служанке распоряжения относительно моего завтрака, я просмотрел на удивление толстую пачку страниц. Первая фраза была в точности такой, как я продиктовал. Все остальное не имело ко мне ни малейшего отношения.

Кэролайн оказалась права в своем скоропалительном суждении: «мисс Клак» — несносная, назойливая старая дева, помешанная на религиозных брошюрах, — была изображена с подлинной художественной силой и мастерством. В описании людей и событий, увиденных глазами сей пожилой дамы, имеющей превратное представление о себе и окружающих, чувствовалась гораздо более уверенная рука и содержалось гораздо больше изящного юмора, чем в длинных, замысловатых, тяжеловесных предложениях, что я диктовал ночью.

Черт бы его побрал! Второй Уилки писал «Лунный камень», и я ничего не мог с этим поделать.

И он писал лучше меня.

Глава 32

Матушка скончалась девятнадцатого марта.

Погребение прошло без меня. Не имея возможности присутствовать на похоронах, я письменно попросил своего друга Холмена Ханта, всего неделей ранее сопровождавшего меня в моем очередном походе на спектакль «Проезд закрыт», поехать вместо меня. В моей записке к нему среди всего прочего говорилось:

> Я уверен, для него (я имел в виду брата Чарли) будет величайшим утешением увидеть старого друга, которого любила моя мать и которого любим мы.

Честно говоря, дорогой читатель, я понятия не имел, любила ли моя мать Холмена Ханта и питал ли он нежные чувства к ней, но он несколько раз обедал с ней при мне, а потому я не видел причин, почему бы ему не заменить меня на похоронах Хэрриет Коллинз.

Вы наверняка сочли меня холодным и бессердечным — ведь я не поехал на похороны собственной матери, хотя самочувствие позволяло! — но вы перемените свое мнение, когда узнаете о мыслях и чувствах, одолевавших меня тогда. Все представлялось до жути логичным. Если я вместе с Чарли приеду попрощаться с покойной, как поведут себя скарабеи — ее и мой, — почувствовав близкое присутствие друг друга? Мысль об отвратительном насекомом, ползающем, грызущем, скребущем лапками в мертвом теле матери, казалась просто невыносимой.

И что произойдет — еще до похорон, когда открытый гроб выставят в гостиной для прощания, — если я увижу (особенно если увижу только я один), как жвалы, голова и закованное в панцирь тело скарабея вылезают из мертвых белых губ матери?

Мой рассудок такого не выдержит.

А во время самих похорон, когда гроб опустят в мерзлую яму рядом с могилой нашего отца, один я подамся

вперед, напряженно вглядываясь и прислушиваясь, вглядываясь и прислушиваясь даже после того, как первые комья земли ударятся о крышку гроба.

Ибо кому, как не мне, знать, что повсюду под Лондоном пролегают туннели и в туннелях тех обитают ужасные существа? И кто знает, какому злотворному влиянию и подстрекательству со стороны Друда подвергается хитинопанцирное насекомое, к настоящему времени сожравшее все мертвое мозговое вещество и наверняка выросшее до размеров, какие прежде имел мозг матери?

Посему я остался страдать дома, в постели.

К концу февраля я снова начал писать «Лунный камень» — сидя за рабочим столом в кабинете, если самочувствие позволяло, но чаще полулежа в постели. Когда я работал один в кабинете или спальне, ко мне часто присоединялся Второй Уилки, молча смотревший на меня почти укоризненным взглядом. Мне пришло в голову, что, возможно, он рассчитывал заменить меня (закончить этот роман и сочинить следующий, сорвать рукоплескания читающей публики, занять мое место в постели Кэролайн и в обществе) в случае моей смерти. Кто знает? Разве я недавно не собирался точно так же заменить Чарльза Диккенса?

Я понимал, что неожиданно обнаружившаяся болезнь (и еще более неожиданная кончина) одной из моих героинь — всеми любимой и уважаемой леди Вериндер, чья роль с начала и до конца остается второстепенной, но чье закулисное присутствие, умиротворяющее и великодушное, ощущается на протяжении всего романа, — подсказаны мне подсознательными велениями моего творческого ума и являются своего рода данью почтения, отданной покойной матери.

Следует заметить, что скарабей явно не видел сквозь мои глаза, что именно я пишу. Каждую ночь, когда Фрэнк Берд колол мне морфий, мне снились нетеры, боги Черной Земли, и различные ритуалы, им посвященные, но я ни разу не выполнил обязанностей писца, возложен-

ных на меня Друдом, — я не написал ни единого слова о темных языческих богах.

Когда я брался за перо, жук в моем мозгу утихомиривался, вероятно полагая, будто я записываю свои сны о древних ритуалах. На самом деле все это время я писал о курьезном старом слуге Габриэле Беттередже (и его одержимости «Робинзоном Крузо», книгой, высоко ценимой и мной), об отважной (хотя и до глупого упрямой) Рэчел, о героическом (пусть и странным образом одураченном) Франклине Блэке, о служанке Розанне Спирман, страдающей физическим уродством и обреченной на гибель в зыбучих песках, о набожной любительнице брошюр благочестивого содержания мисс Клак (чей уморительный образ являлся вкладом Второго Уилки) и, конечно же, об умном (но не главном в раскрытии тайны) сержанте Каффе. Живущий во мне паразит считал, что я лихорадочно строчу целыми днями, покорно выполняя обязанности писца.

Тупое насекомое.

Первые выпуски моего романа публика принимала с неослабным и даже возрастающим восторгом. Уиллс сообщал, что с каждым месяцем в день выхода очередного номера журнала к редакционной конторе на Веллингтон-стрит стекается все больше народа. Все только и говорили что о Лунном камне, да о том, кто и каким образом похитил бесценный алмаз. Разумеется, никто не представлял всей меры моей изобретательности, проявленной в развязке романа, и, еще даже не приступив к работе над заключительными главами, я был абсолютно уверен: никто и близко не догадывается, сколь поразительным образом раскроется тайна. Принимая во внимание это и триумфальный успех моей пьесы, я рассчитывал произвести сильное впечатление на Чарльза Диккенса, когда он вернется.

Если он вернется живым.

Все чаще и чаще мы с Уиллсом получали из различных источников (но обычно из искренних писем Джорджа Долби к дочерям Диккенса) тревожные сведения

об ухудшающемся здоровье Неподражаемого. Из-за инфлюэнцы, подхваченной во время почти ежедневных поездок по американским провинциям, он оставался в постели почти весь день и ничего не ел до трех часов пополудни. Все мы премного удивились, узнав, что Диккенс — в ходе своих турне всегда настаивавший на проживании в гостиницах, а не в частных домах — в Бостоне разнедужился до такой степени, что был вынужден остановиться у своих друзей Филдсов, а не в «Паркер-хаусе», как планировалось.

Помимо инфлюэнцы и катара дыхательных путей, Диккенса изводили крайняя усталость и острые боли во вновь опухшей левой ноге. Долби каждый вечер чуть не на плечах вытаскивал Шефа на сцену, хотя уже в кулисах Неподражаемый собирался с силами и выходил к чтецкой кафедре широким шагом, превосходно имитируя прежнюю свою резвую, пружинистую поступь. А во время антрактов и после концерта Долби и прочим приходилось подхватывать на руки совершенно изнуренного писателя, готового лишиться чувств. Миссис Филдс написала дочери Диккенса Мейми, что перед последним концертом в Бостоне, состоявшимся восьмого апреля, Диккенс похвастался, что к нему вернулись прежние силы, — тем не менее после выступления он не смог даже переодеться и добрых полчаса лежал пластом на диване «в крайне изнеможенном состоянии», прежде чем позволил отвести себя в свою комнату.

И еще (на это я обратил особое внимание) в одном из писем Долби почти мимоходом упомянул, что из-за бессонницы Неподражаемый начал снова принимать лауданум на ночь — правда, всего по несколько капель на стакан вина.

Может, усыплять приходилось заодно и ненасытного скарабея?

В любом случае дочери Диккенса и сын Чарльз беспокоились об отце, хотя письма самого Неподражаемого дышали оптимизмом и изобиловали хвастливыми рассказами о толпах восторженных почитателей, рукоплещущих ему в каждом городе, где он выступает. Однако

в марте и апреле, когда я медленно, очень медленно шел на поправку и боль потихоньку отступала (хотя острые рецидивы болезни довольно часто приковывали меня к постели на несколько дней кряду), я начал верить, что Диккенс либо вообще не вернется из Америки живым, либо вернется умирающим инвалидом.

Во время болезни я не имел возможности письменно сноситься с Мартой Р***. Сразу после кризиса мне удалось отправить девушке одно письмо через своего слугу Джорджа — под видом наведения справок о наемных квартирах на Болсовер-стрит. Но продолжать было слишком рискованно.

В феврале я три раза говорил Кэролайн и Кэрри, что еду с Чарли в Танбридж-Уэллс проведать мать, а на станции поворачивал назад, сказав брату, что мне совсем невмоготу трястись в поезде и я вернусь домой в кебе. Два раза из трех я провел ночь (или несколько ночей) у Марты — хотя слишком плохо себя чувствовал, чтобы использовать время с толком, — но и такой вариант был крайне рискованным, поскольку Чарльз в любой момент мог упомянуть Кэролайн или в присутствии Кэролайн о том, что я так и не доехал до матери.

Марта могла бы писать мне (указывая фальшивый обратный адрес на конвертах), но она не любила писать письма. На самом деле моя Марта была тогда совсем безграмотной, хотя впоследствии я обучу ее грамоте настолько, что она сможет читать простые книжки и писать незатейливые письма.

Едва встав на ноги в конце марта, я изыскал способы видеться с ней: объяснял Кэролайн или даже своему врачу, что мне необходимо совершать одинокие прогулки в карете (я не собирался делать вид, будто хожу пешком часами), способствующие сосредоточенному раздумью над моим романом, или заявлял, что мне нужно посидеть в превосходной клубной библиотеке, собирая дополнительный материал для книги. Но подобные визиты к «миссис Доусон» на Болсовер-стрит всякий раз давали

нам лишь несколько тайком урванных часов общения и не удовлетворяли ни Марту, ни меня.

Но в тот самый трудный для меня период Марта Р*** выказывала мне искреннее и осязаемое сострадание — в отличие от вечно недовольной и часто подозрительной Кэролайн.

Маат наделяет мир смыслом. Маат привносит порядок в первозданный хаос в Начале Времен и постоянно поддерживает порядок и равновесие во Вселенной. Маат надзирает за движением звезд, следит за восходом и заходом солнца, управляет течением и разливами Нила и полагает свое космическое тело в основу всех законов природы.

Маат — богиня справедливости и истины.

Когда я умру, мое сердце будет вырвано у меня из груди и отнесено в Судный зал Туата, где его положат на чашу весов супротив пера Маат. Если мое сердце не будет обременено страшной тяжестью греха — греха против богов Черной Земли, греха преступного небрежения обязанностями, предписанными мне Друдом, к выполнению коих меня принуждал священный скарабей, — я получу дозволение продолжить путь и, возможно, в конечном счете примкнуть к сонму самих богов. Если же мое греховное сердце окажется тяжелее пера Маат, душу мою пожрут и истребят звероподобные демоны Черной Земли.

Маат наделяла мир смыслом в незапамятной древности и по сей день наделяет мир смыслом. Мой Судный день в Туате уже близок, дорогой читатель. И ваш тоже.

По утрам я терпел жестокие муки. Теперь, когда я перестал диктовать «Лунный камень» Второму Уилки в глухие часы ночи, я часто пробуждался от своих лауданумных и лауданумно-морфиновых снов в два-три часа пополуночи, и мне ничего не оставалось, как стонать и корчиться от боли до самого рассвета.

Обычно у меня хватало сил около полудня спуститься в свой большой кабинет на первом этаже, где я работал

до четырех часов, после чего Кэролайн, или Кэрри, или обе выводили меня на улицу — по крайней мере в сад — подышать свежим воздухом. В том апреле я писал одному своему другу, изъявившему желание навестить меня: «Если вы придете — приходите до четырех, ибо ровно в четыре меня выставляют из дома для проветривания».

Однажды после полудня, в середине апреля, спустя ровно два месяца со дня кончины моей матери, Кэролайн вошла в мой кабинет. Я сидел за столом с пером в руке и задумчиво смотрел сквозь окно на улицу. Признаюсь, в тот момент я размышлял, как бы мне связаться с инспектором Филдом. Я по-прежнему был уверен, что агенты Филда наблюдают за мной, но ни разу ни одного не видел, хотя и шел на самые хитрые уловки, чтобы заставить кого-нибудь из них выдать себя. Я хотел знать, как обстоят дела с Друдом. Выкурил ли Филд при помощи ста с лишним своих линчевателей египетского убийцу из подземного логова, пристрелил ли его, точно бешеного пса, в сточном туннеле — как Баррис пристрелил маленького дикаря у меня на глазах? И что насчет Барриса? Наказал ли инспектор мерзавца за то, что тот ударил меня револьвером?

Только накануне мне вдруг пришло в голову, что я понятия не имею, где находится контора инспектора Филда. Я вспомнил, что в первый свой визит ко мне на Мелкомб-плейс он передал через Кэролайн визитную карточку — на ней наверняка есть адрес конторы. Однако, перерыв все ящики в столе и отыскав наконец карточку, я обнаружил, что там значится: «Инспектор Чарльз Фредерик Филд. Частное сыскное бюро» — и больше ничего.

Помимо того что мне хотелось узнать о событиях, произошедших в Подземном городе, я хотел поручить инспектору и его агентам одну работу: разведать, когда и где Кэролайн встречается с водопроводчиком Джозефом Чарльзом Клоу (я не сомневался, что они тайно встречаются).

С такими мыслями на уме я сидел, уставившись в окно, когда Кэролайн легонько кашлянула у меня за спиной. Я не обернулся.

— Уилки, милый мой, я давно выжидаю удобного случая обсудить с тобой один вопрос. Уже прошел месяц со дня кончины твоей дорогой матушки.

Данная реплика не требовала ответа, посему я промолчал. По улице с грохотом прокатил фургон старьевщика. Бока старой клячи были сплошь покрыты струпьями, но седой возница все равно безжалостно охаживал их кнутом. «Куда может спешить фургон, набитый тряпьем и костями?» — подумал я.

— Лиззи уже достаточно взрослая, чтобы выйти в свет, — продолжала Кэролайн. — Чтобы найти джентльмена, достойного составить ей партию.

С течением лет я заметил: когда Кэролайн хотела поговорить о своей дочери — Элизабет Хэрриет Грейвз — именно как о своей дочери, она называла ее Лиззи. Когда же она говорила о ней как о предмете нашей общей заботы, девочка неизменно превращалась в Кэрри, каковое имя сама предпочитала.

— Лиззи будет гораздо проще найти приличную партию и снискать расположение в обществе, коли она предстанет дочерью добропорядочного семейства, — продолжала Кэролайн.

Я по-прежнему не поворачивался к ней.

Шагавший по противоположному тротуару молодой человек в сером костюме, слишком светлом и слишком легком для капризной весенней погоды, остановился, мельком посмотрел на наш дом, взглянул на часы и пошел дальше. Это был не Джозеф Клоу. Может, один из агентов инспектора Филда? Хотя вряд ли кто-нибудь из людей инспектора обнаглел до такой степени, тем более что меня было хорошо видно в эркерных окнах на первом этаже.

— Она должна носить фамилию своего отца, — заявила Кэролайн.

— Она и носит фамилию своего отца, — ничего не выражающим голосом сказал я. — Твой муж дал ей свою фамилию, пусть даже больше ничем не облагодетельствовал ни одну из вас.

Я уже упоминал, дорогой читатель, что именно Кэролайн вдохновила меня на создание «Женщины в белом». Когда летом 1854 года мы с братом Чарли и моим другом Джоном Миллесом натолкнулись на призрака в белых одеждах, вылетающего из сада некой виллы в северном районе Лондона (разумеется, это была Кэролайн, убегающая от своего мужа, грубого скота, который, сказала она, удерживал ее в заточении посредством гипноза), из нас троих один я бросился за ней. И поначалу я даже поверил горестному рассказу Кэролайн о вечном пьяном, склонном к насилию богатом муже по имени Джордж Роберт Грейвз и о том, как она жила в заточении с годовалой Кэрри, претерпевая невыразимые душевные страдания.

Через несколько лет Кэролайн сообщила мне, что Джордж Роберт Грейвз умер. Откуда у нее такие сведения, я не знал и не стал спрашивать (хотя и понимал, что она едва ли могла получить подобное известие, поскольку постоянно проживала в моем доме с той самой ночи, когда выбежала, вся в слезах, на Чарльтон-стрит в лунном свете). Но я принял новость как факт и ни разу не задавал никаких вопросов на сей счет. Все эти годы мы оба делали вид, будто она — миссис Элизабет Грейвз (я нарек ее именем Кэролайн, когда взял под свою опеку), которая подвергалась жестокому обращению со стороны мужа, пускавшего в ход магнетизм и кочергу.

Уже на первых порах нашего сожительства я пришел к мысли — и сейчас, спустя четырнадцать лет, не имел причин менять свое мнение, — что, скорее всего, летней ночью 1854 года Кэролайн убегала от сутенера или от впавшего в неистовство клиента.

— Ты сам понимаешь, какие преимущества получит наша девочка в ближайшие несколько лет, если сможет рекомендоваться дочерью благопристойного семейства, — продолжала Кэролайн, обращаясь к моей спине. Теперь голос у нее слегка дрожал.

Слова «наша девочка» разозлили меня. Я всегда относился к Кэрри с любовью и щедростью, как к собственной дочери. Но она не была таковой. И никогда не будет.

Кэролайн часто прибегала к такого рода шантажу, а я имел основания подозревать, что она освоила подобные уловки еще до нашего с ней знакомства, и не собирался на них поддаваться.

— Уилки, мой милый, ты должен признать: я всегда проявляла понимание, когда ты говорил мне, что твоя болезненная престарелая мать является непреодолимым препятствием к нашему браку.

— Да, — промолвил я.

— Но теперь, когда Хэрриет умерла, ты свободен?

— Да.

— Свободен жениться, коли пожелаешь?

— Да. — Я по-прежнему сидел лицом к окну и улице.

Кэролайн подождала, не скажу ли я еще чего-нибудь. Я молчал. Спустя долгую минуту, в течение которой я отчетливо слышал каждый мах маятника напольных часов в холле, Кэролайн повернулась и вышла из кабинета.

Но я понимал: разговор не закончен. Кэролайн собиралась разыграть еще одну, последнюю свою карту — по ее разумению, выигрышную. Она не знала, что у меня самого на руках полно карт. И еще несколько припрятано в рукаве.

— ...Шебуршание, постоянное шебуршание.

— Что?

Меня разбудили раньше обычного — часы показывали без малого девять, — и я не на шутку встревожился при виде выстроившихся у кровати Кэролайн, Кэрри, моего слуги Джорджа и жены Джорджа, Бесси, выполнявшей обязанности горничной.

— Что? — снова пробормотал я, садясь в постели. Вторжение в мою спальню до завтрака возмутило меня до глубины души.

— Там кто-то шебуршится, — пояснила Кэролайн.

— О чем ты говоришь? Где?

— На нашей лестнице, сэр, — промямлил Джордж, красный от смущения, что находится в моей спальне.

Он определенно явился сюда не по своей воле — Кэролайн приказала.

— На черной лестнице? — спросил я, протирая глаза.

Накануне я заснул без укола морфия, но голова все равно болела. Просто раскалывалась.

— Они уже давно слышат скребущие звуки на всех этажах дома, — сказала Кэролайн голосом громким и пронзительным, как клаксон. — Теперь я тоже услышала. Такое впечатление, будто там огромная крыса. Бегает вверх-вниз и скребется.

— Крыса? — переспросил я. — Мы же вызывали крысоловов осенью, когда делали ремонт и прокладывали новый *водопровод*. — Последнее слово я намеренно произнес с нажимом.

Кэролайн имела любезность покраснеть, но не отступила.

— На черной лестнице кто-то постоянно скребется.

— Джордж, — сказал я, — ты проверял, в чем там дело?

— Так точно, сэр, мистер Коллинз. Я ходил туда-сюда по ступенькам, сэр, все время шел на звуки, сэр. Но каждый раз, когда приближался... в общем, я ничего там не нашел, сэр.

— По-твоему, это крысы?

Джордж всегда был туповат, но он редко выглядел таким законченным придурком, как сейчас, когда напряженно обдумывал ответ на вопрос.

— Она, по всему, громадная, сэр, — наконец промолвил он. — И там вовсе не *крысы*, сэр, а... одна-единственная чертовски крупная крысища, прошу прощения у дам.

— Глупости, — сказал я. — Выйдите вон, все вы. Я оденусь и через минуту спущусь вниз. Я найду и убью эту вашу «единственную чертовски крупную крысищу», а потом, возможно, все вы будете настолько любезны, что позволите больному человеку хорошенько выспаться.

Я решил выйти на черную лестницу в самом низу, с кухни, чтобы *она* не могла оказаться подо мной.

Я-то знал наверное, кто производит скребущие звуки. На самом деле я неоднократно задавался вопросом,

почему я ни разу не видел зеленокожую клыкастую женщину за восемь месяцев нашего проживания в новом доме. Ведь Второй Уилки без особого труда перебрался следом за мной с Мелкомб-плейс.

Но почему ее стали слышать другие?

В течение всех лет, когда зеленокожая женщина обреталась на темных задних лестницах в прежних моих домах, никто, кроме меня, ее не видел и не слышал. В этом я нисколько не сомневался.

Может, боги Черной Земли постепенно превращают ее в более материальную сущность, в какую превратили Второго Уилки?

Я прогнал прочь эту тревожную мысль и взял свечу со стола. Я запретил домочадцам входить следом за мной в кухню и велел держаться подальше от дверей на заднюю лестницу на всех этажах.

Зеленокожая клыкастая женщина однажды уже оставила кровавые отметины на моем горле — задолго до того, как в мою жизнь вошли Друд, скарабей и боги Черной Земли. Я не сомневался, что сейчас она попытается убить меня, коли я подпущу ее близко и потеряю бдительность. Я не собирался делать ни первого, ни второго.

Приотворив дверь на служебную лестницу, я вынул из кармана сюртука тяжелый револьвер сыщика Хэчери.

Закрыв за собой дверь, я оказался в почти кромешной темноте. Окон в задней стене дома не имелось, а немногочисленные свечи в настенных подсвечниках не горели. Лестница была необычайно (и пугающе) узкой и крутой — первый пролет поднимался сразу до третьего этажа, где находилась короткая площадка, а второй тянулся в обратном направлении до самого чердака, расположенного еще двумя этажами выше.

Прежде чем двинуться вверх по ступенькам, я несколько мгновений прислушивался. Ни звука. Держа свечу в левой руке, а револьвер — в правой, я стал тихо подниматься по лестнице столь узкой, что мои локти задевали за стены.

На полпути между первым и вторым этажами я остановился, чтобы зажечь первую настенную свечу.

Подсвечник оказался пустым, хотя дочь нашей горничной среди всего прочего была обязана регулярно менять в нем свечи. Подавшись вперед, я разглядел на прочно прикрепленном к стене старом подсвечнике царапины и вмятины, словно кто-то вытащил из него огарок когтями. *Или зубами.*

Я снова напряг слух. Где-то надо мной раздался едва уловимый шорох, похожий на торопливую легкую поступь.

Зеленокожая клыкастая женщина никогда прежде не производила никаких звуков, осознал я. Она всегда скользила вверх и вниз по лестнице, ко мне или прочь от меня, словно и не касаясь ступеней босыми ногами.

Но так было в других моих домах. Возможно, по какой-то причине здесь подобные злые духи успешнее входят в резонанс с реальным миром.

Как там погибла Шернволд? Скатилась вот с этих самых ступенек и свернула шею — но что она делала на черной лестнице?

Обследовала ту на предмет крыс? И почему она упала? А свечи из настенных подсвечников — они что, съедены?

Я поднялся на второй этаж и на несколько секунд остановился у двери — старые толстые створки не пропускали ни единого звука, но под ними виднелась тонкая полоска утешительного света, — а потом двинулся дальше.

Второй подсвечник тоже оказался пустым.

Где-то выше, довольно близко от меня, явственно послышались суетливый шорох и царапанье.

— Кто здесь? — негромко спросил я.

Признаюсь, я почувствовал себя гораздо увереннее, когда выставил вперед револьвер. Если зеленокожая женщина достаточно телесна, чтобы оставить царапины на моей шее, как она однажды сделала, — значит, она достаточно телесна, чтобы ощутить воздействие одной из пуль. Или сразу нескольких.

Сколько всего пуль в барабане?

Девять — это я помнил с того дня, когда сыщик Хэчери, перед первым моим схождением в притон Короля

Лазаря, вложил револьвер мне в руку и сказал, что мне следует прихватить с собой оружие, дабы защищаться от крыс. Я даже помнил, что́ он сказал про калибр пуль...

«Они сорок второго калибра, сэр. Девяти штук будет более чем достаточно для крысы средних размеров — четвероногой или двуногой, смотря какая вам попадется».

Я подавил нервный смешок.

Когда я остановился и оглянулся у двери на третьем этаже, круто уходящая вниз лестница, тускло освещенная неверным огоньком моей свечи, показалась мне почти вертикальной. От этого — а также, возможно, от трех утренних стаканов лауданума, выпитых натощак и ничем не заеденных, — у меня закружилась голова.

Надо мной раздался звук, страшно похожий на поскребывание когтей по штукатурке или дереву.

— А ну, покажись! — крикнул я в темноту.

Признаюсь, это была просто бравада, вызванная надеждой, что Джордж, Кэролайн, Бесс и девочка услышат меня. Но они, вероятно, сейчас находились двумя этажами ниже. И двери были очень толстыми.

Я двинулся дальше совсем уже медленно, держа револьвер прямо перед собой и покачиваясь из стороны в сторону, точно несуразно тяжелый флюгер при переменном ветре.

Поскребывание стало громче, и теперь я примерно определил местоположение источника звуков: он находился то ли на площадке, где лестница поворачивала в обратном направлении, то ли где-то между мной и площадкой. Я взял на заметку, что в наружной кирпичной стене здесь нужно вырубить хотя бы одно окно — на лестничной площадке, если негде больше.

Я поднялся еще на три ступеньки.

Я сам толком не знаю, дорогой читатель, откуда изначально взялся призрак зеленокожей женщины с желтыми клыками, знаю только, что она была со мной с раннего детства. Помню, как она заходила в нашу детскую, когда Чарльз спал. Помню, как она явилась мне

на чердаке отцовского дома, когда я в возрасте девяти или десяти лет опрометчиво решил обследовать то темное, затянутое паутиной помещение.

Говорят, чем дольше знаешь, тем меньше боишься, но в моем случае это не совсем так. Зеленокожая женщина — лицом непохожая ни на одну живую женщину из встреченных мной в жизни, хотя иногда она смутно напоминала мне нашу с Чарли первую гувернантку, — вгоняла меня в дрожь всякий раз, когда я с ней сталкивался, однако я знал по опыту, что могу отбиться от нее, коли она набросится на меня.

Но до сих пор никто никогда не слышал ее. Она никогда прежде не производила ни единого звука.

Я поднялся еще на три ступеньки и остановился.

Поскребывание и суетливое шебуршание стали гораздо громче. Источник шума находился совсем рядом, чуть выше меня, хотя сейчас бледный круг света от свечи подполз уже почти вплотную к краю лестничной площадки. Но звуки были очень громкие — теперь я понимал страх Джорджа — и действительно очень похожие на те, что производят крысы. Скреб-поскреб. Тишина. Скреб-скреб-скреб-поскреб. Тишина. Скреб-поскреб.

— У меня для тебя сюрприз, — сказал я, не без труда взводя одной рукой курок.

Помнится, Хэчери говорил, что толстый нижний ствол является своего рода дробовиком. Я пожалел, что он не выдал мне патронов к нему.

Еще две ступеньки — и я увидел всю лестничную площадку. На ней никого не было. Снова послышалось поскребывание. Казалось, оно раздается надо мной и даже позади меня. Я высоко поднял свечу и всмотрелся в темноту над головой.

Поскребывание превратилось в истошный вопль; от ужаса я застыл на месте и стоял так, наверное, целую минуту, прежде чем сообразил, что дикие крики исторгаются из моей груди. Объятый паникой, я ринулся вниз по ступенькам, достиг двери на третьем этаже и принялся яростно дергать за ручку, продолжая орать дурным

голосом. Я оглянулся через плечо, заорал пуще прежнего и выстрелил два раза, прекрасно понимая, что это не поможет. Это не помогло. Я с грохотом сбежал ниже по лестнице — дверь на втором этаже тоже оказалась запертой — и завопил во все горло, когда какая-то зловонная жижа закапала на меня сверху... потом я помчался дальше вниз, отскакивая от стены к стене, точно мячик. Я выронил свечу, и она погасла. Что-то задело мои волосы на макушке, скользнуло по загривку. Круто развернувшись в кромешном мраке, я пальнул еще два раза, оступился и полетел головой вперед с высоты последних двенадцати ступенек.

Я по сей день не понимаю, каким чудом я не выронил револьвер или не застрелил себя ненароком. Я рухнул у подножья лестницы и, испуская душераздирающие вопли, принялся колотить кулаком в дверь.

Что-то тонкое, длинное и сильное обвилось вокруг моей правой ступни и сорвало с ноги туфель. Если бы я застегнул на нем пряжку, прежде чем идти сюда, неведомое существо уволокло бы меня обратно наверх.

Снова дико заорав, я в последний раз пальнул в темноту, толчком распахнул дверь и, ослепленный ярким светом, рванулся всем телом через порог кухни. Судорожно дрыгая ногами, я в несколько пинков затворил за собой массивную дверь.

В кухню ворвался Джордж, нарушив мой запрет. В дверном проеме, ведущем в холл, я видел бледные, ошеломленные лица Кэролайн и двух других женщин.

Я чуть не повалил Джорджа на пол, когда со всей мочи вцепился в лацкан его сюртука и истерически прошептал: «Запри! Запри дверь! Запри! Скорее!»

Джордж сделал что велено, задвинув удручающе маленькую щеколду. Из-за двери не доносилось ни звука. Мое хриплое, прерывистое дыхание, казалось, разносилось по всему дому.

По-прежнему держа наготове взведенный револьвер, я с трудом поднялся на колени, потом на ноги, притянул Джорджа вплотную к себе и прошипел ему на ухо:

— Достань столько досок, сколько нужно, и найми столько рабочих, сколько нужно. Я хочу, чтобы через полчаса все двери на черную лестницу были наглухо заколочены досками. Ты меня понял? Ты... *понял*?

Джордж кивнул, высвободил руку из моей хватки и побежал выполнять распоряжение. Я, пятясь, вышел из кухни, ни на миг не отрывая взгляда от слишком ненадежной двери на черную лестницу.

— Уилки... — начала Кэролайн.

Она положила руку мне на плечо, но тут же отдернула, ибо я так и подскочил на месте.

— Это были крысы, — выдавил я, опуская в исходное положение курок револьвера, внезапно ставшего слишком тяжелым для меня. Я попытался вспомнить, сколько пуль я выпустил, но не смог. Ладно, пересчитаю оставшиеся. — Просто крысы.

— Уилки... — опять начала Кэролайн.

Я отмахнулся от нее и поднялся в свою спальню, чтобы извергнуть содержимое желудка в тазик и снова приложиться к спасительной фляжке.

Глава 33

Кэролайн разыграла свою козырную карту в среду, двадцать девятого апреля, за день до прибытия в Квинстаунский порт парохода «Россия», на борту которого находились Диккенс и Долби.

Кэролайн знала, что я пребываю в прекрасном расположении духа, хотя понятия не имела почему. Для меня же причины моего приподнятого настроения не составляли тайны. Когда Диккенс отплывал в Америку в ноябре, он был мастером, а я — усердным подмастерьем. Теперь же журнальный вариант «Лунного камня» пользовался грандиозным успехом, толпы у редакционной конторы на Веллингтон-стрит становились все больше от выпуска к выпуску, люди всех чинов и званий с нетерпением ждали каждой следующей части, чтобы узнать, кто же все-таки похитил алмаз и каким образом. А я хранил

безмятежное спокойствие, непоколебимо убежденный, что даже самому сообразительному читателю не под силу угадать развязку.

Когда Чарльз Диккенс отплывал в Америку в ноябре, моя драма «Проезд закрыт» — а после всех исправлений, переработок и новых идей, внедренных мной в нее с прошлой осени, она воистину стала *моей* — была всего только мечтой расплывчатых очертаний. Теперь же она стала гвоздем сезона и прошла при полном аншлаге в театре «Адельфи» уже свыше ста тридцати раз. В настоящее время полным ходом велись переговоры о постановке пьесы в Париже.

И наконец, смерть моей матери, глубоко меня опечалившая (а равно ужаснувшая своим энтомологическим аспектом и загадочной скоропостижностью), одновременно освободила меня. Теперь, в возрасте сорока четырех лет, я окончательно и полностью стал сам себе хозяином.

Кэролайн видела: несмотря на происшествие на черной лестнице (сейчас, две недели спустя, я по-прежнему не заходил как в кухню, так и в коридоры на верхних этажах, ведущие к наглухо заколоченным досками дверям), несмотря на частые рецидивы болезни и неослабную боль, вынуждающую меня принимать лауданум и морфий огромными дозами ради возможности работать хотя бы по несколько часов в день, я нахожусь в гораздо лучшем настроении, чем когда-либо за последние много лет.

Диккенс уезжал в ноябре, считая себя великим мастером, а меня — своим протеже. Возвращался же он (больной и немощный, по словам всех), чтобы увидеть меня популярнейшим писателем, успешным драматургом и совершенно независимым человеком. На сей раз мы встретимся как равные (по меньшей мере).

И оба мы, как я убеждался все сильнее, носили Друдова скарабея в черепе. Один этот факт привносил новое ужасное равенство в наши отношения.

Кэролайн явилась ко мне в среду утром, когда я принимал ванну. Видимо, она полагала, что именно сейчас я буду наиболее благодушен... или по крайней мере наиболее внушаем.

— Уилки, милый, я тут все думала о нашем разговоре.

— О каком еще разговоре? — спросил я, хотя прекрасно понял, о чем она.

Очки у меня запотели, я взял лежавшее поблизости полотенце и принялся протирать стекла, подслеповато щурясь. Кэролайн превратилась в расплывчатое белорозовое бугристое пятно.

— Про выход Лиззи в свет и про будущность наших собственных отношений под этой крышей. — Кэролайн явно очень нервничала.

Я же, напротив, сохранял полное спокойствие.

— И что? — промолвил я, нацепляя крохотные очочки обратно на нос.

— Я решила, Уилки, что для вящего благополучия нашей Лиззи... Кэрри... совершенно необходимо, чтобы ее мать состояла в браке и она являлась дочерью добропорядочного семейства.

— Полностью с тобой согласен, — сказал я.

Пар из ванны подымался к потолку и клубами расползался во все стороны. Лицо у Кэролайн раскраснелось от него.

— Правда? — спросила она. — Ты согласен?

— Ну конечно, — заверил я. — Пожалуйста, подай мне вон то полотенце, дорогая.

— Я не знала... все это время... я не была уверена... — сбивчиво заговорила Кэролайн.

— Глупости, — сказал я. — Твое благоденствие... и благоденствие Кэрри, разумеется... всегда имели для меня первостепенное значение. Ты права: тебе пора замуж.

— О Уилки... — Голос у нее пресекся, слезы потекли по раскрасневшимся от пара щекам.

— Полагаю, ты по-прежнему поддерживаешь знакомство со своим водопроводчиком, — сказал я, отбрасывая в сторону полотенце и надевая велюровый халат. — С мистером Клоу. Джозефом Чарльзом Клоу.

Кэролайн оцепенела. Румянец медленно сошел с ее лица.

— Ну... да...

— Вероятно, мистер Клоу к настоящему времени уже сделал тебе предложение, дорогая. Полагаю, именно об этом ты и хотела сообщить мне сейчас.

— Да, но я не... я не...

Я похлопал Кэролайн по руке и весело сказал:

— В объяснениях нет необходимости — мы же с тобой старые друзья. Тебе пора выйти замуж — ради Кэрри и ради себя самой, — а наш мистер Клоу сделал тебе предложение. Ты должна немедленно дать согласие.

Теперь Кэролайн побледнела до самых кончиков пальцев. Она непроизвольно попятилась и наткнулась на умывальную раковину.

— Я прикажу Бесси сейчас же упаковать твою одежду, — продолжал я. — Все прочие вещи, книги и тому подобное, мы пришлем позже. Я велю Джорджу поймать кеб, как только ты соберешься.

Кэролайн дважды судорожно пошевелила губами, прежде чем сумела произнести единственное слово.

— Лиззи...

— Кэрри, разумеется, останется со мной, — сказал я. — Мы с ней уже договорились на сей счет. Это выбор самой Кэрри — окончательный и не подлежащий обсуждению. Сколь бы нежен и угодлив ни был твой водопроводчик... мистер Джозеф Чарльз Клоу... и каким бы уважением в своем кругу ни пользовался его отец-винокур, мелкобуржуазная жизнь, полная надежд, но порой тяжелая, которую ведет твой водопроводчик, совсем не то, что сейчас нужно Кэрри. Как ты сама указала, Кэролайн, девочку пора выводить в высшее общество. Она решила выйти в свет из этого прекрасного дома на Глостер-плейс, в окружении писателей, художников, композиторов и высокородных особ. Она будет часто навещать

тебя, разумеется, но жить останется здесь. Я обсудил этот вопрос не только с Кэрри, но и с твоей матерью, и обе они согласились со мной.

Кэролайн опиралась обеими ладонями о тумбочку под раковиной и, казалось, держалась на ногах только за счет усилия напряженно вытянутых, дрожащих рук.

Я не прикоснулся к ней, когда быстро прошел мимо, направляясь к двери в коридор. Похоже, в тот момент Кэролайн не смогла бы и пальцем пошевелить ни при каких обстоятельствах.

— Думаю, ты приняла разумное решение, дорогая, — мягко промолвил я с порога. — Мы с тобой навсегда останемся друзьями. Если тебе или мистеру Джозефу Чарльзу Клоу когда-нибудь понадобится помощь, я постараюсь свести вас обоих с людьми, способными оказать необходимую услугу при желании.

Кэролайн по-прежнему смотрела невидящим взглядом в пустоту — туда, где несколькими секундами раньше стоял я.

— Я велю Бесси заняться упаковкой вещей, — сказал я. — И пошлю Джорджа на улицу — лучше поймать кеб загодя. Я не против заплатить вознице за ожидание, коли понадобится. В такие путешествия лучше отправляться с утра пораньше, когда ты бодр и полон сил.

Как я упомянул выше, пароход «Россия» с Диккенсом и Долби на борту прибыл в Квинстаунский порт в последний день апреля, но никто из друзей Неподражаемого не помчался в Ливерпуль с распростертыми объятиями. В телеграммах Долби говорилось, что Диккенс хочет «несколько дней акклиматизироваться в уединении, прежде чем вернуться к своим обязанностям и старым привычкам».

По моему предположению, это означало, что изнуренный автор не поедет прямиком в Гэдсхилл-плейс и не остановится в Лондоне (хотя второго мая он проехал через столицу поездом), но двинется сразу в Пекхэм, дабы пасть в ждущие объятия Эллен Тернан. Я оказался прав в своей догадке. Я знал также — из нескольких замечаний,

вскользь оброненных Уиллсом в конторе на Веллингтон-стрит, — что актриса с матерью всего двумя днями ранее вернулись из Италии.

Все сложилось очень удобно для Неподражаемого.

Прошло еще четыре дня, прежде чем Уиллсу, Фрэнку Берду и мне представилась возможность поприветствовать Диккенса. Он приехал поездом из Пекхэма к раннему ужину с Фехтером и остальными, а потом мы все отправились в «Адельфи», чтобы Диккенс наконец посмотрел «Проезд закрыт».

Я был более чем готов выразить сострадательное беспокойство и даже потрясение в связи с немощным, изнуренным состоянием Диккенса после американского турне, но Берд на вокзале изъявил общее наше мнение, громко воскликнув: «О боже, Чарльз! Да вы помолодели лет на семь!»

Истинная правда. Ни малейшего намека на хромую опухшую ногу, столь часто упоминавшуюся в письмах. В Америке Диккенс немного похудел, но от этого стал выглядеть моложе и здоровее. За восемь дней плавания он по-настоящему отдохнул от всех забот, а его лицо, всегда быстро загоравшее, приобрело бронзовый оттенок за долгие часы, проведенные на палубе под весенним солнцем. Даже волосы и борода у него стали темнее и гуще. Глаза у Неподражаемого оживленно блестели, улыбка не сходила с губ, а его смех и звучный голос разносились по всей ресторации, где мы ужинали, и гулко резонировали в карете, отвезшей нас пятерых в «Адельфи» после ужина.

— Боже мой, Уилки, — тихо проговорил Диккенс, когда мы отдавали наши шляпы, перчатки и трости театральной служащей, — я знал, что вы были больны, но выглядите вы просто ужасно, старина. Бледны лицом, весь трясетесь и шаркаете ногами, как Теккерей незадолго до смерти. Что за хворь такая точит вас изнутри?

Точит изнутри. Ах, как умно. Ах, как... смешно. Я слабо улыбнулся Диккенсу и ничего не ответил.

Позже, во время спектакля, я испытал изрядное потрясение.

Наша небольшая группа разместилась в авторской ложе — за исключением Фехтера, разумеется, который сразу по прибытии в театр бросился за кулисы, чтобы загримироваться и стошнить в тазик перед представлением (возможно, в роли злодея Обенрейцера он выступал в Англии последний месяц, ибо у него быстро ухудшалось здоровье). Несмотря на собственную болезнь, я в течение пяти предыдущих месяцев сидел в этой ложе много раз, но сегодня на спектакле впервые присутствовал Диккенс, начинавший вместе со мной работу над пьесой. Естественно, зал стоя приветствовал Неподражаемого бурной овацией еще перед открытием занавеса. Но я этого ожидал, а потому не почувствовал себя уязвленным.

Нет, потрясением для меня стала сама пьеса. Если считать вместе с репетициями, я видел «Проезд закрыт» с начала и до конца раз тридцать, самое малое. Я знал наизусть все до единой реплики, как в изначальном виде, так и в переработанном. Я с точностью до секунды знал, когда тот или иной герой уйдет за кулисы или выйдет на сцену.

Но сегодня у меня было такое впечатление, будто я смотрю спектакль впервые.

А если точнее, дорогой читатель, такое впечатление, будто *один мой глаз* видит спектакль впервые. Головная боль, никогда не отпускавшая меня полностью, по обыкновению, сосредоточилась за правым глазом и обострилась до такой степени, что мне казалось, глазное яблоко вот-вот зашипит, как шипит кувшин хорошего грога, когда мальчишка-прислужник сует в него добела раскаленный железный прут, чтобы нагреть напиток. И я ощущал там энергичное шевеление скарабея. Временами мне казалось, что он прогрызает ход наружу, намереваясь выглянуть из моей правой глазницы.

И вот, когда я сидел в авторской ложе, держась то за правый висок, то за левый, украдкой прикрывая ладонью то левый глаз, то правый, меня не оставляло впечатление, будто я впервые смотрю пьесу, мною написанную и много раз виденную прежде.

Я тотчас осознал, что сцена в сиротском доме, где найденышей секут розгами, скорее смехотворна в своей нелепости, нежели пронзительно печальна, — несмотря на бурный эмоциональный отклик легковерной публики. То обстоятельство, что все душещипательные эпизоды писал главным образом Диккенс, служило слабым утешением.

Смерть нашего Уолтера Уайлдинга (от разбитого сердца и угрызений совести, вызванных сознанием, что он случайно унаследовал состояние и имя другого человека), как обычно, исторгла у зрителей слезы, но у меня вызвала тошноту. Несусветная чушь. Бред собачий. Я недоумевал, как вообще серьезный писатель мог состряпать столь нелепую сцену? А теперь Фехтер расхаживает взад-вперед в обличье злодея Обенрейцера. Какой дурацкий персонаж. Какой дурацкий спектакль.

В свое время я показал Фехтеру один абзац из опубликованной повести, дававший ключ к пониманию душевного склада и скрытых мотивов этого персонажа. Сейчас я удрученно вспомнил те слова:

> Но Обенрейцер обладал следующей странной особенностью: время от времени глаза его застилала некая безымянная пелена (несомненно призванная усилием собственной его воли), которая полностью скрывала всякое выражение его лица, помимо в высшей степени внимательного. Это ни в коем случае не означало, что он всецело сосредоточивал внимание на собеседнике или хотя бы на звуках и предметах окружающего мира. Скорее, он настороженно следил за ходом собственных своих мыслей, а равно за известным наверное или предполагаемым ходом мыслей других людей.

Я помнил, как писал этот абзац почти год назад, и помнил также, как гордился тогда своей способностью изобразить сложные психические и физические особенности злодея. В то время я полагал, что описываю собственное тайное отношение к обществу — лицемерному и исполненному решимости расстроить все мои честолюбивые планы.

Но сейчас я вдруг ясно осознал: данный отрывок из первоначальной рождественской повести — так называемый ключ к образу Обенрейцера — попросту бездарен. Бездарен, глуп и лишен всякого смысла. А Фехтер, руководствуясь моей подсказкой, наделил своего Обенрейцера крадущейся, вороватой походкой в сочетании с безумным пристальным взглядом, слишком часто устремленным в никуда, каковые черты сейчас наводили меня на мысль не об умном, расчетливом негодяе, а скорее о деревенском придурке, пережившем сильное сотрясение мозга.

Но зрителям Обенрейцер нравился.

Нравился им и наш новый герой Джордж Вендейл (принимавший эстафетную палочку героизма из рук Уолтера Уайлдинга, когда последний умирал от безвинного стыда). Я же сегодня отчетливо увидел, что Джордж Вендейл — идиот почище Обенрейцера с его вороватой поступью, самодовольными ухмылками и тупо вытаращенными глазами. Даже трехлетний ребенок легко распознал бы бесконечные козни и постоянное вранье Обенрейцера, однако Вендейл — и несколько сотен зрителей, присутствовавших нынче на представлении, — безоговорочно соглашались с нашим дурацким исходным положением, что данный персонаж просто славный, доверчивый малый.

Если бы человечество породило еще хоть несколько таких славных, доверчивых малых, как Джордж Вендейл, оно давным-давно вымерло бы от собственной тупости.

Даже сцены в Швейцарских Альпах, ясно увидел я, вооруженный беспощадно-острым скарабеевым зрением, были чудовищно глупыми и совершенно лишними здесь. Действие постоянно переносилось из Лондона в Швейцарию и обратно без всякой необходимости, с единственной целью представить на обозрение горный пейзаж наподобие тех, какие видели мы с Диккенсом во время нашего путешествия через Альпы в 1853 году. Последние сцены, где возлюбленная Вендейла, Маргерит Обенрейцер (прекрасная и безгрешная племянница злодея), сообщает, что Вендейл вовсе не погиб, когда его

столкнули с ледника год назад, но все это время находился под ее тайной опекой в уютном шале, расположенном, надо полагать, прямо у подножья вышеупомянутого ледника, едва не заставили меня разразиться презрительным хохотом.

Сцена, где Обенрейцер Хитроумный (который и заманил Вендейла на ледник над пропастью годом ранее) лезет на опасный ледяной склон по той единственной причине, что для полного счастья в конце пьесы требовалось убить отрицательного героя, довела вновь пробудившийся во мне скептицизм до последнего мыслимого предела. Мне безумно хотелось, чтобы тем вечером Фехтер низринулся в настоящую бездонную пропасть, а не плюхнулся с высоты восьми футов на кучу тюфяков, сокрытых от взоров публики за размалеванным фанерным задником, изображающим ледник.

Мне пришлось закрыть глаза на финальной сцене, где мертвое тело Обенрейцера доставляют в швейцарскую деревушку, празднующую бракосочетание Вендейла и Маргерит (почему они женятся там, а не в Лондоне, скажите на милость?), и уносят на носилках за левую кулису, тогда как счастливые новобрачные в великом ликовании удаляются за правую кулису, — а зрители одновременно освистывают похороны злодея и со слезами умиления на глазах рукоплещут свадьбе. Такое противопоставление, представлявшееся нам с Диккенсом очень остроумным, когда мы набрасывали мизансцену на бумаге, сейчас показалось мне, обретшему скарабееву ясность зрения, по-детски наивным и нелепым. Но публика бурно свистала и рукоплескала, когда труп Фехтера уносили за левую кулису, а наши новобрачные укатывали в свадебной карете за правую.

В зрительном зале сидели одни идиоты. Спектакль играли полные идиоты. Пьеса была идиотской мелодрамой, сочиненной бездарным идиотом. В вестибюле после спектакля — и после того, как добрых пятьсот человек подошли, чтобы пожать Диккенсу руку или выразить

восхищение его замечательной драмой (обо мне, настоящем авторе, почти никто не вспомнил, каковое обстоятельство нисколько не огорчило меня теперь, когда на меня снизошло прозрение), — Диккенс сказал мне:

— Что ж, дорогой Уилки, пьеса превосходна, спору нет. Но, выражаясь языком вашего «Лунного камня», она по-прежнему остается необработанным алмазом. Там есть великолепные сцены... просто великолепные! Но все-таки она малость затянута.

Я уставился на него. Да один ли спектакль мы с ним смотрели?

— В нынешней постановке слишком много упущено по части выразительности актерской игры, — продолжал Диккенс. — Упущены многочисленные возможности усилить драматизм образов и нагляднее показать низкое коварство Обенрейцера.

Мне пришлось призвать на помощь все свои силы, чтобы не рассмеяться в лицо Неподражаемому. Последнее, в чем нуждалась эта огромная дымящаяся куча пафосно-мелодраматического дерьма, так это в еще большей выразительности актерской игры, в усилении драматизма образов и в наглядней шей демонстрации низкого коварства. Что здесь действительно требуется, подумал я, так это лопата и глубокая яма где-нибудь подальше.

— Как вы наверняка знаете, Фехтеру, возможно, вскоре придется выйти из спектакля по причине здоровья, — продолжал Диккенс, — но мы твердо решили поставить новую версию «Проезда» в парижском Театре Водевиля в начале следующего месяца и надеемся, что Фехтер рано или поздно повторит свой успех в роли Обенрейцера.

«Повторит наш публичный позор», — только и подумал я.

— Я лично прослежу за переработкой пьесы и, возможно, потружусь в Театре Водевиля режиссером-постановщиком спектакля, — сказал Диккенс. — Надеюсь, вы поедете с нами, Уилки. Дело предстоит интересное.

— Боюсь, я не смогу составить вам компанию, Чарльз, — сказал я. — Мне просто-напросто здоровье не позволит.

— А-а... — протянул Неподражаемый. — Очень жаль. — В его голосе я не услышал искреннего сожаления, но явственно различил нотки облегчения. — Ну ладно, — торопливо проговорил он. — Фехтер сейчас слишком изнурен, чтобы присоединиться к нам, так что я загляну к нему за кулисы и передам наши поздравления с блестящим выступлением в роли Обенрейцера — возможно, последнем... по крайней мере, в этой версии пьесы!

С этими словами Диккенс быстро пошел прочь, по пути принимая поздравления от последних театралов, тянувшихся к выходу.

Берд, собиравшийся присоединиться к нам, болтал с какими-то своими знакомыми, поэтому я вышел на улицу. В воздухе висел густой запах конского навоза, как всегда бывает возле театров, когда кареты и наемные экипажи разъезжаются в разные стороны, увозя принаряженных зрителей. Зловоние казалось весьма уместным.

Диккенс заставил нас с Бердом прождать более получаса. Позже я узнал, что он ссудил рыдающего Фехтера двумя тысячами фунтов, каковой факт раздражил меня тем сильнее, что всего две недели назад я дал взаймы глупому актеру тысячу фунтов, совсем для меня не лишнюю.

Пока я ждал на улице, где стоял запах скотного двора, я хорошо приложился к серебряной фляжке с лауданумом и сообразил, что, несмотря на все свои разговоры о театральном триумфе в Париже, Диккенс не задержится там дольше первой недели июня.

Друд и скарабей вернут его в Лондон девятого июня или раньше. Это будет третья годовщина Стейплхерстской катастрофы. У Чарльза Диккенса, я не сомневался, ночью девятого числа назначена встреча, и я поклялся себе, что на сей раз проведу всю ночь с ним.

Я допил остатки лауданума и улыбнулся такой холодной и злобной улыбкой, какую Фехтер в роли Обенрейцера не сумел бы изобразить при всем старании.

Глава 34

В конце мая я узнал, что Кэролайн сейчас проживает у матери Чарльза Клоу, вдовы винокура (это мне сообщила престарелая свекровь Кэролайн, миссис Г***, которая теперь время от времени гостила у нас на Глостерплейс, поскольку Кэрри не подобало жить в холостяцком доме без того, чтобы к ней хотя б изредка не наведывалась приличия ради какая-нибудь почтенная дама). Они назначили бракосочетание на начало октября. Эта новость нисколько меня не огорчила — напротив, я счел это правильным шагом, сделанным в правильное время правильными людьми. К слову о правильных шагах: получив паническое письмо от Кэролайн, я написал в ответ, что всенепременно помогу ей сочинить и поддерживать до самой смерти любой вымысел о ее прошлом и ее семье (тем паче о собственных своих отношениях с ней), какой она пожелает преподнести мелкобуржуазному и довольно пуританскому клану Клоу.

Тем временем я устроил Кэрри гувернанткой на неполную занятость в одно благородное семейство, хорошо мне знакомое. Работа пришлась девочке по сердцу, и она радовалась, что у нее стали водиться собственные деньги, но лучше всего было то, что хозяева часто представляли ее своим гостям почти как родную дочь. Общаясь с лучшими художниками и литераторами на моих званых обедах, знакомясь с именитейшими представителями английской знати, политическими деятелями и коммерсантами в своем втором доме, юная Кэрри успешно готовилась к выходу в свет.

Кэрри шел шестнадцатый год, а Марте Р*** еще не стукнуло двадцати трех. Марта была гораздо счастливей сейчас, когда я стал чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы время от времени навещать ее (разумеется, под видом мужа, «мистера Доусона», возвращающегося из деловых поездок) в комнатах на Болсовер-стрит. Марта знала о существовании Кэролайн и, вероятно, догадывалась,

что Кэролайн была не просто домоправительницей, значившейся в моих ежегодных переписных бланках, но она не проявила никаких эмоций и ничего не сказала, когда я сообщил ей, что «миссис Г*** съехала из моего дома и собирается выйти замуж осенью».

Но Марта, всегда очень пылкая и чувственная, в конце весны и летом была страстной, как никогда. Она говорила, что хочет ребенка, но я отшучивался: мол, «бедный мистер Доусон» вынужден так много разъезжать по свету, дабы обеспечить свою любимую женушку, что будет просто несправедливо, если у него появится семья, а он не сможет проводить с ней все время.

> Приди, Исида, владычица Небес! Прикажи зачать это дитя в пламени Небт-Хет, священной Нефтис, богини смерти, которая не вечна. Спрячься в укромном месте с дитем Осириса, богом наших предков. Вскорми и взрасти этого младенца в укрытии среди тростника, как ты вскормила и взрастила Гора, владыку Грядущих Вещей. Девочка эта станет сильна телом и умом, она взойдет на алтарь своего отца и станет служить Храму, в коем заключена истина Двух Земель. Услышь нас, о Осирис! Ты, чье дыхание — жизнь! Услышь нас!

Я очнулся от морфинового забытья и обнаружил на прикроватном столике несколько страниц, исписанных в таком духе. Почерк принадлежал Второму Уилки. Я не помнил, чтобы диктовал что-нибудь подобное. Без памяти о содержании ночных сновидений слова казались бессмысленными.

Но мой скарабей утихомирился.

Когда я впервые обнаружил такие страницы, я тотчас развел огонь в камине и сжег всю писанину. После этого я два дня кряду пролежал в постели, воя в голос от боли. Впоследствии каждое утро, когда я выходил из забытья, вызванного вечерней инъекцией морфия, я собирал убористо исписанные листки и клал в шкатулку с замком, которую хранил на верхней полке в чулане при кабинете.

Потом я запирал чулан на ключ. Когда-нибудь все это будет предано огню — вероятно, после моей смерти. Тогда скарабей уже не сможет причинить вред.

В мае 1868 года мне пришло в голову, что отсутствие всякой связи между мной и инспектором Филдом невыгодно скорее мне, нежели ему.

Конечно, последняя ночь на подземной реке была поистине ужасна — мне до сих пор виделся в кошмарных снах маленький дикарь, падающий ничком в воду, и у меня остался шрам над линией волос, куда Реджинальд Баррис ударил меня стволом револьвера, — но факт оставался фактом: когда я поддерживал связь с инспектором Филдом, я узнавал от него гораздо больше сведений (о Диккенсе, Друде, Эллен Тернан, о происходящих событиях), чем он получал от меня. Теперь, когда близился час нашего с Диккенсом последнего противоборства (после которого все окончательно убедятся, что я ни в чем ему не уступаю или даже превосхожу его во всех отношениях), я отчетливо осознал, что мне очень нужна именно такая информация, какую поставлял мне инспектор Филд вплоть до января.

Поэтому в мае я принялся разыскивать его.

Как бывший газетный репортер, я понимал, что вернее всего было бы обратиться к кому-нибудь из начальства Столичной полиции или сыскного отдела Скотленд-Ярда. Хотя Филд давно ушел в отставку, кто-нибудь наверняка знает как его собственный адрес, так и местоположение его частного сыскного бюро. Но от такого шага меня удерживали несколько веских причин. Во-первых, инспектор Филд упорно враждовал с полицией из-за своей пенсии, из-за своего вмешательства в дело об отравлении Палмера много лет назад и из-за прочих разногласий. Во-вторых, я опасался, что у самого инспектора могли выйти крупные неприятности с полицией после январского налета на Подземный город, поджогов и стрельбы, свидетелем которых я явился.

Я не желал иметь никакого отношения к подобным противозаконным действиям.

А в-третьих, — и это самое главное, — я знал, что и у Друда, и у Диккенса есть свои люди в Столичной полиции, а я не собирался ставить обоих в известность о своих розысках инспектора Филда.

Тогда я решил наведаться в редакцию «Таймс» или любой другой газеты: уж если кто и знает, где находится контора старого инспектора, так это наверняка какой-нибудь предприимчивый уличный репортер.

Но и здесь сдерживающие соображения оказались сильнее побудительных. Я решительно не желал, чтобы полицейские узнали о моей связи с инспектором Чарльзом Фредериком Филдом, но еще меньше мне хотелось, чтобы о ней узнали газетчики. Я так давно ушел с репортерской работы, что у меня не осталось в газетах и журналах никаких знакомых, достойных моего доверия.

Посему мне пришлось действовать самостоятельно. В течение мая я со всем усердием занимался поисками — ходил по улицам пешком, когда здоровье позволяло, в противном же случае колесил по городу в кебе и посылал Джорджа во все многообещающие с виду здания и переулки посмотреть, не там ли располагается контора Филда. Поскольку мы с инспектором часто проходили по Стрэнду и через Линкольнз-Инн-Филдс (и поскольку именно там находилась контора престарелого стряпчего молодого Эдмонда Диккенсона), а также поскольку мы с ним постоянно встречались на мосту Ватерлоо, у меня сложилось впечатление, что частное бюро старого сыщика помещается где-то между Чаринг-Кросс и тюрьмой Флит — вполне вероятно, в тесно застроенном старыми домами квартале между Друри-лейн и Чансери-лейн.

Но несколько недель напряженных поисков там не принесли никакого результата. Тогда я обмолвился в клубе, что разыскиваю (по своей писательской надобности) отставного полицейского, о котором Диккенс писал в середине пятидесятых, — но, хотя многие помнили, что Филд послужил прототипом «инспектора Баккета» (пока он ни у кого не ассоциировался с чрезвычайно популяр-

ным ныне «сержантом Каффом» из моего еще не до конца опубликованного романа), никто в клубе не знал, где его можно найти. На самом деле почти все, с кем я разговаривал, полагали, будто инспектор Филд давно умер.

Я по-прежнему с уверенностью полагал, что Филд свяжется со мной еще до осени. Как бы он ни огорчался из-за выходки своего подчиненного, ударившего меня револьвером в январе (по моей догадке, старый сыщик боялся, что я предъявлю иск о возмещении ущерба), я был убежден, что он по-прежнему нуждается в сведениях от меня. Рано или поздно один из его уличных мальчишек или неприметный мужчина в коричневом костюме (хотя вряд ли Филд поручит такое дело Реджинальду Баррису) подойдет ко мне на улице, и я возобновлю отношения с одержимым инспектором.

А до той поры, понял я, мне придется использовать своих собственных шпионов, чтобы как следует подготовиться к решающему поединку с Чарльзом Диккенсом.

В начале июня Диккенс почти ежедневно писал мне из отеля «Дю Хелдер», где остановился в Париже. Фехтер присоединился к нему, чтобы наблюдать за репетициями, но настоящим режиссером-постановщиком являлся сам Диккенс, как он и обещал. Французы назвали мою драму «L'Abîme» («Пропасть»), и премьера была назначена на второе июня. Неподражаемый сообщил мне, что французская версия пьесы (по словам Фехтера, переводчика Дидье, а равно актеров и всех его парижских знакомых) гораздо лучше лондонской и обречена на успех. Еще он сообщил, что, по всей вероятности, задержится в Париже до середины июня.

Я безошибочно предположил, что, с уверенностью предсказывая шумный успех «L'Abîme», он выдает желаемое за действительное, а сообщая о своем намерении остаться во Франции еще на две недели, попросту лжет. Если не скарабей, то Друд уж точно заставит Диккенса вернуться в Лондон к девятому июня, дню годовщины Стейплхерстской катастрофы. В этом я нисколько не сомневался.

Соответственно, я привел в действие свою скромную сеть агентов. Я отправил Фехтеру в Париж конфиденциальное письмо с просьбой телеграфировать мне сразу, как только Чарльз покинет город, направляясь обратно в Англию. Объяснив, что я готовлю Неподражаемому маленький, но весьма приятный сюрприз и потому мне необходимо знать точное время его приезда, я попросил Фехтера никому не говорить про телеграмму. (Поскольку к настоящему моменту актер был мне должен свыше полутора тысяч фунтов, я знал наверное, что он выполнит мою просьбу.) Затем я обратился с аналогичной конфиденциальной просьбой к своему брату Чарли, который сейчас вместе с женой Кейти на несколько недель перебрался в Гэдсхилл, чтобы оправиться после особо сильного приступа желудочной болезни. (Чарли и Кейти держали одну служанку, но она была нерадива и плохо стряпала.) Своего агента Чарли я просто попросил сперва письменно оповестить меня о прибытии Диккенса в Гэдсхилл, а затем о его отъезде в Лондон — я не сомневался, что дома он долго не задержится.

Я знал также, что после короткой остановки в Гэдсхилле по возвращении из Франции Неподражаемый поедет вовсе не в Лондон, а в Пекхэм, к Эллен Тернан. Именно из Пекхэма, я был уверен, Диккенс отправится в город на встречу с Друдом в день годовщины.

Часть шпионской работы я проделал сам. Одна моя пожилая родственница (по возрасту ближе к моей матери, нежели ко мне) обреталась в Пекхэме. Я уже много лет не поддерживал с сей старой девой никаких отношений, но в мае наведался к ней дважды — якобы за тем, чтобы утешить ее после матушкиной кончины. На самом же деле в каждый свой приезд в Пекхэм я пользовался случаем пройтись пешком или прокатиться в кебе мимо дома Тернан по адресу Линден-гроув, шестнадцать (за него платил Диккенс под вымышленным именем Чарльз Трингхэм, если вы помните). Я также несколько раз прогуливался мимо пустующего сейчас коттеджа, который тайно снимал Диккенс неподалеку от гостиницы «Файв-

Беллз-Инн» и всего в двадцати минутах ходьбы (скорым диккенсовским шагом) от Линден-гроув, шестнадцать.

В двухэтажном доме, снятом писателем для Эллен Тернан и ее матери, свободно разместилась бы зажиточная семья из пяти человек с соответствующим штатом слуг. Дом (скорее помещичий особняк, нежели коттедж) стоял посреди ухоженного сада, а с трех сторон от сада простирались широкие поля, каковое окружение создавало здесь, в лондонском предместье, вольготную атмосферу сельской местности. Представлялось очевидным: положение близкой, но тайной подруги самого известного в мире писателя приносило ощутимую выгоду. Мне пришло в голову, что, возможно, Марта Р*** была бы не так уж довольна своими маленькими комнатками на Болсовер-стрит, если бы когда-нибудь видела хоромы, предоставленные в распоряжение Эллен Тернан и ее матери. В оба своих приезда в Пекхэм я проходил кратчайшим путем от дома Тернан до железнодорожной станции.

И наконец, я предположил, что Диккенс покинет Париж через день-два после премьеры «L'Abîme».

Я ошибся только в последнем своем предположении. Оказалось, к началу спектакля Диккенс и Фехтер просто сходили с ума от волнения, и Диккенс не нашел в себе сил войти в театр. Посему, вместо того чтобы сидеть в зрительном зале, писатель и актер весь вечер катались по парижским улицам в открытой коляске, часто возвращаясь в кафе рядом с театром, куда переводчик Дидье прибегал между актами, чтобы сообщить двум издерганным мужчинам, что публика — пока — принимает пьесу «на ура».

Во время последнего акта Диккенс снова попытался войти в театр, опять жутко разнервничался и приказал возничему отвезти его на железнодорожную станцию, чтобы он мог сесть на поздний поезд до Булони. Фехтер и Диккенс обнялись на прощание, поздравили друг друга с успехом, а затем актер вернулся в гостиницу, не забыв по дороге телеграфировать мне во исполнение моей просьбы.

Уже на следующий день, третьего июня, Диккенс был дома в Гэдсхилле, и мой брат прислал мне записку с сообщением, что завтра утром писатель отправляется в Лондон. Я оставил своего слугу Джорджа на станции в Пекхэме, приказав следовать за Диккенсом (которого он неоднократно видел в моем доме и хорошо знал в лицо) на почтительном расстоянии (мне пришлось растолковать недалекому малому значение слова «почтительный» в данном контексте). На случай, если вдруг Неподражаемый заметит Джорджа, я снабдил последнего запиской, адресованной к своей родственнице и призванной объяснить присутствие моего не шибко смышленого слуги в Пекхэме, — но Диккенс слежки не заметил. В соответствии с полученными от меня инструкциями Джордж удостоверился, что Диккенс вошел в дом Тернан, и прождал два часа на улице (не привлекая к себе внимания, надо надеяться), дабы убедиться, что писатель не отправился в свой собственный коттедж близ «Файв-Беллз-Инн». Потом Джордж вернулся поездом в Лондон и сразу поспешил домой с отчетом о проделанной работе.

Разумеется, мне не удалось бы осуществить ни одной из перечисленных махинаций, если бы Кэролайн по-прежнему жила на Глостер-плейс. Но она там больше не жила. А ее дочь Кэрри, служившая гувернанткой, днем почти всегда отсутствовала и нередко задерживалась на работе до позднего вечера.

Но если я хочу перехватить Диккенса по пути на встречу с Друдом — а свидание с египтянином по случаю памятной годовщины я не собирался пропускать, — значит мне надо предугадать дальнейший ход событий, как делают сыщики. (Здесь я сильнее всего пожалел, что лишен возможности обратиться за помощью к инспектору Филду и его многочисленным агентам.) Диккенс вернулся в Гэдсхилл-плейс в среду, третьего июня, поздно вечером, отправился в Пекхэм навестить Эллен Тернан в четверг, четвертого числа, и, по всей вероятности, встретится с Друдом не раньше следующего вторника, девятого июня.

Или он, в согласии с обычным своим летним распорядком жизни, приедет в город в понедельник и остановится в своей квартире над редакционной конторой на Веллингтон-стрит?

Диккенс — человек привычки, поэтому разумно предположить, что он приедет в город в понедельник утром, восьмого июня. Однако в таком случае он наверняка написал бы мне из Франции, что задержится в Париже по меньшей мере еще на неделю, — следовательно, скорее всего, он собирается остаться с Эллен Тернан до вторника, девятого июня, не ставя в известность о своем возвращении в страну и в город ни Уиллса, ни Долби, ни меня — никого из нас.

Отыскать Диккенса на вокзале Чаринг-Кросс будет трудно. Еще труднее будет представить дело таким образом, будто мы столкнулись случайно. Даже во вторник вечером там будет полно народа и страшная толкотня. Чтобы завести разговор на интересующую меня тему, мне необходимо соблазнить Диккенса отужинать со мной. В ходе продолжительной застольной беседы я уговорю его взять меня с собой на свидание с Друдом позже вечером. А чтобы убедить Диккенса составить мне компанию за ужином, мне придется «случайно» встретиться с ним раньше — либо на станции Пекхэм, либо непосредственно в поезде.

С другой стороны, если Диккенс остановится не у Тернан, а в собственном своем коттедже близ «Файв-Беллз-Инн», он, вполне возможно, поедет в Лондон вовсе не со станции Пекхэм. От «Файв-Беллз-Инн» ближе добираться до станции Нью-Кросс. Мне надо либо выбрать между Пекхэмом и Нью-Кроссом, рискуя промахнуться, либо же остановиться на более надежном варианте и поджидать Диккенса в городе на вокзале Чаринг-Кросс.

Я остановил выбор на станции Пекхэм.

Но когда именно девятого июня Диккенс отправится в Лондон? В первые две годовщины Стейплхерстской катастрофы Диккенс ускользал от агентов Филда

и встречался с Друдом поздно вечером. Я видел его в своем кабинете в обществе Друда и Второго Уилки после полуночи.

Если же Неподражаемый останется с дамами Тернан — по крайней мере с Эллен Тернан — вплоть до самого дня третьей годовщины, он, скорее всего, выйдет из дома вечером, доедет до вокзала Чаринг-Кросс, поужинает в одной из своих излюбленных таверен, а где-то после десяти спустится в Подземный город через один из тайных входов.

Следовательно, мне лучше всего занять позицию на станции Пекхэм после полудня и дежурить там до появления Диккенса.

Но здесь возникали определенные проблемы. Во-первых, на станции Пекхэм, как я уже упоминал, никогда не собирается особо много народа, и даже такой респектабельный господин, как я, наверняка привлечет внимание станционных служащих или даже пекхэмской полиции, коли будет ошиваться там семь-восемь часов кряду, не садясь на поезд. А во-вторых, Диккенс непременно заметит меня, если я буду поджидать его на станции. Меньше всего мне хотелось, чтобы писатель узнал, что я слежу за ним.

К счастью, благодаря заранее проведенной разведке местности, я нашел решение обеих проблем.

За зданием станции, между депо и дорогой, ведущей в предместье и к Линден-гроув, шестнадцать, находился маленький общественный парк, представлявший собой скопление весьма посредственно ухоженных скверików с фонтаном в центре и несколькими песчаными дорожками, одна из которых пролегала по периметру парка. Чтобы создать здесь подобие уединения, отцы Пекхэма посадили между парком и проезжей дорогой живую изгородь высотой около семи футов. Здание же станции, располагавшееся с другой стороны от парка, через пешеходную дорожку под перголой, было обращено к нему глухим задним фасадом.

Путешественник, коротающий время в этом крохотном парке, привлечет к себе гораздо меньше внимания,

чем человек, торчащий на платформе несколько часов подряд. Особенно если означенный путешественник — респектабельный господин в очках, сидящий на солнышке и работающий над рукописью, в данном случае над корректурными листами последнего выпуска «Лунного камня».

Две каменные скамьи там стоят в тени молодых деревец и — по счастью — почти вплотную к живой изгороди, тянущейся вдоль дороги. Даже тот факт, что парк довольно запущен, играет мне на руку: в живой изгороди есть просветы, сквозь которые можно наблюдать за дорогой из Пекхэма, не выдавая своего присутствия людям, подъезжающим или подходящим к станции.

Окончательный мой план выглядел так: дождаться Чарльза Диккенса, укрывшись в крохотном парке, незаметно сесть на поезд за ним следом, а потом «совершенно случайно» натолкнуться на него и уговорить отужинать со мной в Лондоне.

К утру вторника, девятого июня, я весь извелся от тревоги и исполнился уверенности, что мой план не сработает и пройдет по меньшей мере еще один год, прежде чем Диккенс — может быть — отведет меня к Друду. Да и мысль об ужине с сопутствующим разговором не вызывала энтузиазма у меня в нынешнем моем настроении. Ведь именно нынче вечером я намеревался раз и навсегда покончить с образом Уилки Коллинза как послушного и благожелательного, но вечно в чем-то недостаточного протеже Великого Писателя Чарльза Диккенса. Именно нынче вечером, по моему замыслу, Диккенс должен был признать во мне равного, если не высшего во всех отношениях.

А вдруг он вообще не поедет в город вечером? А вдруг он уже покинул дом своей любовницы и сядет на поезд в Нью-Кросс? А что, если Неподражаемый все-таки поедет из Пекхэма, но я невесть почему прозеваю его на станции или же... еще хуже... он заметит, что я слежу за ним, и потребует объяснений?

Я сто раз обдумал все подобные моменты и сто раз поменял свои планы, но в конечном счете вернулся

к первоначальному замыслу с пекхэмской станцией. Он был далеко не идеальным, но наилучшим из всех возможных.

Погода девятого июня выдалась погожая. После многодневных дождей небо прояснилось, цветы в моем саду блестели в солнечных лучах, свежий воздух сулил жаркое лето — но не изнурительно знойное и влажное, как обычно в Лондоне.

Готовясь к поездке в Пекхэм, где мне предстояло прождать Диккенса неведомо сколько времени, я уложил в старый кожаный саквояж, который носил на ремне через плечо, корректурные листы последней части «Лунного камня», портативный письменный прибор, последний роман Теккерея (на случай, если закончу вычитку корректуры), легкую закуску, состоящую из сыра, печенья, нескольких тонких ломтиков вареного мяса и крутого яйца, фляжку с водой, фляжку с лауданумом и револьвер покойного сыщика Хэчери.

У меня получилось проверить вращающийся барабан. Поначалу я премного изумился, увидев все патроны на месте — во всех гнездах блестели медные кружочки, — и невольно спросил себя, уж не приметилось ли мне, что я стрелял на черной лестнице. Но потом я сообразил, что в такого рода пистолете медные гильзы остаются в барабане после того, как свинцовые пули вылетают.

Пять из девяти патронов я израсходовал. Четыре осталось.

Я задумался, следует или нет вытащить пустые гильзы из гнезд (я просто не знал, как положено), но в конечном счете все-таки вытащил и выбросил. Только потом я вспомнил, что оставшиеся патроны надо подогнать к стволовому каналу, чтобы они выстрелили один за другим при последующих нажатиях на спусковой крючок. Для этого мне потребовалось всего лишь повернуть барабан назад, установив в прежнем положении, в каком он находился до того, как я извлек оттуда пустые гильзы.

Я задался вопросом, хватит ли мне четырех патронов для моих целей нынче ночью. Но вопрос носил чисто

отвлеченный характер, ибо я даже близко не представлял, где можно раздобыть новые заряды для этого диковинного оружия.

Четырех должно хватить. По меньшей мере три из них предназначены для Друда. Я хорошо помнил, как однажды, после нашего четвергового ужина в таверне, по дороге к Погосту Святого Страшателя сыщик Хэчери сказал мне, что даже в случае с таким крупнокалиберным оружием (я понятия не имел, что именно обозначает калибр) полицейских учат производить по меньшей мере два выстрела в грудь человеческой мишени и один в голову.

Тогда эти слова привели меня в содрогание. Теперь они показались мне советом из могилы.

По меньшей мере три из них предназначены для Друда. Два — в грудь и один — в отвратительную, плешивую, змееподобную голову.

Четвертая, и последняя, пуля...

Это я решу сегодня ночью.

Глава 35

Поначалу все шло гладко.

Примерно с полудня и до самого вечера я просидел в крохотном парке между станцией Пекхэм и большаком, наблюдая за экипажами и пешеходами. Обычно мне хватало одного взгляда сквозь живую изгородь, дабы удостовериться, что прибывающие к станции люди не представляют для меня интереса. Единственная пешеходная дорожка, ведущая от подъездной аллеи к платформе, тянулась как раз мимо оформленного в виде шпалерной арки входа в парк, расположенного всего шагах в тридцати от моей скамейки, и я обнаружил, что, шагая вдоль живой изгороди со своей стороны, я запросто могу подслушать разговор любых людей, идущих к станции по этой дорожке.

Как я надеялся и рассчитывал, живая изгородь служила мне надежным укрытием и одновременно давала

возможность следить за проезжей дорогой сквозь узкие просветы, похожие на вертикальные амбразуры. Пользуясь выражением, позаимствованным у английских охотников на шотландских гусей и бенгальских тигров, дорогой читатель, я сидел в засидке.

Погожий день сменился погожим вечером. Я управился с закуской и на две трети опустошил фляжку лауданума. Я также закончил корректуру последнего выпуска «Лунного камня» и убрал гранки в саквояж вместе с огрызком яблока, крошками печенья и яичной скорлупой.

Казалось бы, после многих часов бесплодного ожидания я уже должен был с ума сходить от тревоги, все сильнее терзаясь подозрением, что Диккенс уехал со станции Нью-Кросс или вообще не поехал в город сегодня. Но чем дольше я ждал, тем спокойнее становился. Даже болезненное шевеление скарабея, похоже переместившегося вниз, к самому основанию позвоночника, не нарушало крепнущей во мне уверенности, которая успокаивала нервы лучше любого опиата. Я нисколько не сомневался, что Диккенс появится здесь сегодня вечером — я еще никогда в жизни ни в чем не был настолько уверен. Я снова подумал об опытном охотнике на тигров, что сидит на замаскированном помосте высоко на дереве где-нибудь в Индии, крепко зажав под мышкой приклад хорошо смазанного смертоносного ружья. Он знает о приближении своей опасной жертвы еще прежде, чем она появляется в поле зрения, хотя и не может объяснить, откуда знает.

А потом, около восьми часов, когда уже начали сгущаться прохладные июньские сумерки, я отвлекся от Теккерея, не вызывавшего у меня интереса, глянул в просвет в живой изгороди — и увидел Диккенса.

Удивительно, но Неподражаемый был не один. Они с Эллен Тернан медленно шагали по ближнему к парку тротуару вдоль пыльного большака. Она была одета в прогулочное платье и — хотя на пешеходной дорожке лежала сплошная тень от деревьев и домов на западной

стороне улицы — держала над головой зонтик от солнца. За ними, ближе к противоположной обочине, ползла двуколка, то останавливаясь, то двигаясь дальше черепашьим шагом, и я понял, что это нанятый Диккенсом экипаж, который должен отвезти Эллен обратно на Линден-гроув. Влюбленные голубки решили прогуляться до станции вместе, дабы она могла помахать Диккенсу платочком на прощанье.

Но между ними творилось что-то неладное. Это чувствовалось по неверной, почти затрудненной поступи Диккенса, по напряженной дистанции между ними двумя, по нервозному поведению Эллен Тернан — она то опускала и складывала бесполезный зонтик, крепко стискивая рукоятку обеими руками, то вновь вскидывала и раскрывала. Сейчас это были не два влюбленных голубка, а две подраненные птицы.

Экипаж остановился в последний раз и стал ждать у противоположного бордюра, ярдах в тридцати от поворота на подъездную аллею, ведущую к станции.

Когда Диккенс и Эллен подошли к самому парку, я вдруг оцепенел от страха. Угасающий вечерний свет и тень от высокой живой изгороди играли мне на руку, ибо со стороны улицы довольно жидкая изгородь сейчас казалась плотной и темной, но я на секунду исполнился уверенности, что меня отлично видно сквозь нее. Через несколько мгновений Диккенс и его любовница увидят знакомого очкастого коротышку с высоким лбом и пышной бородой, съежившегося на скамье меньше чем в двух футах от дорожки, по которой они идут. Сердце у меня заколотилось так сильно, что я нимало не усомнился: они непременно услышат стук. Я полуподнял обе руки, словно собираясь закрыть лицо ладонями, и застыл в такой позе. Я предстану перед Диккенсом, похожий на слабого, бледного, бородатого кролика с испуганно вытаращенными глазами, пойманного охотником в луч света.

Они не посмотрели в мою сторону, шагая вдоль изгороди. Разговор велся на приглушенных тонах, но я без особого труда разбирал слова. Поезд еще не подошел,

пригородная дорога была пуста, если не считать стоявшего у обочины экипажа, и единственным другим звуком, долетавшим до моего слуха, была тихая воркотня голубей под карнизом станционного здания.

— ...Мы можем оставить нашу Печальную Историю в прошлом, — говорил Диккенс.

Прописные буквы явственно угадывались в его интонации. И в голосе слышались умоляющие нотки, каких я никогда... никогда прежде не слышал у Чарльза Диккенса.

— Наша Печальная История похоронена во Франции, Чарльз, — тихо промолвила Эллен. Она задела широким рукавом живую изгородь, когда они проходили мимо меня. — Но она никогда не останется в прошлом.

Диккенс вздохнул. Вздох получился похожим на стон. Они двое остановились за десять шагов до поворота дорожки к станции. Шагах в шести от моей засидки. Я не шелохнулся.

— Так что же нам делать? — спросил он. В словах прозвучала такая боль, словно они были исторгнуты у него под пыткой.

— Только то, о чем мы уже говорили. У нас нет другого выбора.

— Но я не могу! — воскликнул Диккенс рыдающим голосом; если бы я подался ближе к изгороди дюймов на шесть, то увидел бы его, но я не смел пошевелиться. — У меня не хватает воли! — добавил он.

— Тогда собери все свое мужество, — сказала Эллен Тернан.

По тротуару тяжело шаркнула подошва, легко чиркнул каблучок маленькой туфельки. Мне представилось, как Диккенс резко подается к Эллен, а она невольно отступает на шаг назад, и он снова отстраняется от нее.

— Да, — после продолжительной паузы произнес он. — Мужество. Я могу призвать на помощь мужество, когда меня подводит воля. И призвать на помощь волю, когда мужество иссякает. Я всю жизнь только этим и занимался.

— Милый мой, славный мальчик, — ласково промолвила Эллен; я вообразил, как она дотрагивается до его щеки облаченной в перчатку рукой. — Давай же будем оба мужественны, — продолжала она с наигранной беспечностью, совсем не идущей зрелой женщине без малого тридцати лет. — Давай отныне и до скончания дней станем братом и сестрой.

— И никогда не будем вместе... как раньше? — спросил Диккенс тусклым, монотонным голосом, каким приговоренный к гильотине повторяет приговор судьи.

— Никогда.

— Никогда не будем мужем и женой?

— Никогда!

Наступило молчание, затянувшееся настолько, что у меня опять возникло искушение наклониться к просвету в изгороди и посмотреть, уж не дематериализовались ли Диккенс и Эллен неким чудесным образом. Потом я снова услышал вздох Неподражаемого. Когда он наконец заговорил, голос его звучал громче и тверже, но до жути глухо, как из могилы:

— Значит, так тому и быть. Прощай, любимая.

— Прощай, Чарльз.

Я был уверен, что они не прикоснулись друг к другу и не поцеловались, хотя откуда у меня взялась такая уверенность, я не знаю, дорогой читатель. Я сидел неподвижно, прислушиваясь к шагам Диккенса вдоль плавного изгиба живой изгороди. Один раз шаги прекратились — несомненно, он оглянулся на Эллен, — а потом возобновились.

Тогда я все-таки подался вперед, приник лицом к самым веткам изгороди и увидел, как Эллен Тернан переходит через дорогу. Возница заметил ее и тронул вперед. Она опять сложила зонтик и прикрывала лицо ладонями. Эллен не взглянула в сторону станции, когда садилась в коляску, — старый кучер с пышными бакенбардами поддержал пассажирку под локоть, помогая взойти на приступку, и аккуратно закрыл дверцу, когда она уселась. Она не взглянула в сторону станции и потом, когда

старик забрался на козлы и двуколка медленно развернулась по широкой дуге на пустом большаке и покатила обратно к Пекхэму.

Именно тогда я повернул голову налево и посмотрел сквозь шпалерную арку.

Диккенс уже прошел мимо нее, поднялся по четырем ступенькам на платформу и теперь остановился как вкопанный.

Я понял, что произойдет в следующий момент. Он повернется и бросит взгляд поверх парка и живой изгороди, чтобы в последний раз увидеть открытый экипаж Эллен Тернан, исчезающий за поворотом. Он должен повернуться. Неодолимая потребность сделать это явственно читалась в очертаниях его напряженных плеч под летним холщовым сюртуком, в страдальческом наклоне головы, во всей застылой позе.

А когда Диккенс повернется — через две секунды или даже раньше, — он увидит своего бывшего соавтора и предполагаемого друга Уилки Коллинза, съежившегося на скамье возле живой изгороди, сквозь которую он подсматривал, словно трусливый извращенец, с обращенным к нему бескровным, виноватым лицом и отражающими бледное небо стекляшками очков вместо глаз.

Невероятно, уму непостижимо — но Диккенс не повернулся. Он широким шагом двинулся по платформе и скрылся за станционным зданием, так и не оглянувшись на единственную и величайшую любовь своей жизни, пронизанной сентиментально-романтическим духом.

Буквально через несколько секунд к станции подошел поезд, устрашающе пыхтя незримым паром и громко скрежеща металлическими частями.

Трясущимися руками я достал часы из жилетного кармана. Курьерский прибыл точно по расписанию. Он отправится от станции Пекхэм через четыре с половиной минуты.

Чувствуя слабость во всем теле, я встал и вытащил из-под скамьи саквояж, но прождал еще полных четыре минуты, давая Диккенсу время зайти в вагон и занять место.

Может, он будет сидеть у окна со стороны платформы и увидит меня, бегущего к поезду?

До сих пор сегодня боги были милостивы ко мне. Зная наверное, что они продолжат мне помогать невесть почему, я прижал саквояж к груди и бросился к платформе, покуда отбытие бездумной, но неукоснительно следующей расписанию машины не расстроило все мои тщательно разработанные планы.

Поездка от Пекхэма и Нью-Кросс до вокзала Чаринг-Кросс была недолгой. Большую часть времени я провел, собираясь с духом, чтобы пройти вперед из последнего купе вагона, в который запрыгнул буквально за секунду до отправления. Я часто путешествовал с Диккенсом и знал, какой вагон он выберет и где там займет место.

И все равно внутри у меня все оборвалось, когда я, по-прежнему крепко прижимая саквояж к груди, приблизился к купе, где Неподражаемый сидел один, уставившись невидящим взглядом на собственное отражение в оконном стекле. Он являл собой воплощение печали.

— Чарльз! — воскликнул я, всем своим видом изображая радостное изумление. Не спросив разрешения, я уселся напротив него. — Какая неожиданная, но приятная встреча! Я думал, вы во Франции!

Голова Диккенса резко мотнулась в мою сторону, словно от пощечины. В следующие несколько секунд на обычно непроницаемом лице Неподражаемого отразилась стремительная череда эмоций: сначала глубокое потрясение, потом раздражение, граничащее с яростью, потом мучительная досада, на миг сменившаяся прежней печалью, и наконец... непроницаемое безразличие.

— Что вы здесь делаете? — сухо спросил Диккенс; он не поприветствовал меня и даже не попытался принять дружелюбный вид.

— Я навещал свою пожилую родственницу. Вы наверняка помните, Чарльз: я вам о ней рассказывал. Она живет между Нью-Кросс и Пекхэмом, и теперь, когда моя матушка умерла, я счел нужным...

— Вы сели на поезд в Пекхэме? — осведомился он.

Его глаза, обычно теплые и живые, сейчас смотрели пронзительным, ледяным прокурорским взглядом, оценивающим и гипнотизирующим.

— Нет, — сказал я; рискованная ложь на мгновение застряла в горле, точно рыбья кость. — Ближе к Гэдсхиллу. Моя родственница живет между Пекхэмом и Нью-Кросс. Я доехал в кебе до Нью-Кросс и сел на поезд там.

Диккенс продолжал пристально смотреть на меня.

— Дорогой Чарльз, — с усилием заговорил я после минутного молчания. — Вы писали мне, что задержитесь во Франции. Я несказанно удивлен, что встретил вас здесь. Когда вы вернулись?

Он хранил молчание еще десять ужасных, мучительно долгих секунд, а потом снова повернул голову к окну и равнодушно промолвил:

— Несколько дней назад. Я нуждался в отдыхе.

— Ну разумеется, — сказал я. — Разумеется, вам следовало отдохнуть. После Америки... и после премьеры вашей пьесы в Париже! Но как все-таки чудесно, что я столкнулся с вами в этот знаменательный вечер.

Диккенс медленно повернул голову обратно ко мне. Я вдруг осознал, что он выглядит лет на десять старше, чем месяц назад, когда вернулся из Америки. Правая сторона лица казалась омертвелой, землисто-бледной, перекошенной.

— Знаменательный вечер? — переспросил он.

— Девятое июня, — мягко напомнил я. Сердце у меня опять забилось чаще. — Третья годовщина...

— Годовщина?..

— Ужасной Стейплхерстской катастрофы, — закончил я. Во рту у меня пересохло.

Диккенс рассмеялся. Смех прозвучал жутко.

— Найдется ли лучше место, чтобы отметить годовщину подобного кровавого события, чем здесь, в грохочущем, тряском вагоне точно такого же состава, как потерпевший крушение в тот роковой день. Интересно... через сколько старых мостов мы переедем нынче вечером, прежде чем достигнем вокзала Чаринг-Кросс?

— Я хочу пригласить вас на ужин, — выпалил я.

— Нет, сегодня никак, — сказал он. — Мне надо... — Тут он осекся и снова взглянул на меня. — А впрочем, почему бы и нет?

Оставшуюся часть пути до Лондона мы ехали в молчании.

Мы решили отправиться в ресторацию Верея, где часто устраивали праздничные трапезы в былые годы. Сегодняшний ужин обещал быть не самым приятным.

Готовясь к прямому разговору с Диккенсом, я планировал сразу, без всяких обиняков, заявить: «Мне непременно нужно увидеться с Друдом. Мне надо, чтобы вы взяли меня собой в Подземный город нынче ночью».

Если Диккенс потребует объяснений, я опишу телесные и душевные муки, причиняемые мне скарабеем. (Я с основанием полагал, что он имеет представление о телесных и душевных муках такого происхождения.) А если он ни о чем не спросит, я просто пойду вместе с ним после ужина.

Я не собирался говорить Диккенсу, что намерен всадить Друду две пули в грудь и одну в уродливую голову. Диккенс наверняка указал бы мне, что подземные приспешники Друда — ласкары, китайцы, негры и даже молодой Эдмонд Диккенсон — разорвут нас на куски. А я бы тогда ответил: «Значит, так тому и быть», хотя я надеялся, что до такой крайности дело не дойдет.

Но после подслушанного в Пекхэме разговора Неподражаемого с актрисой (бывшей актрисой) я понял, что более тонкий, окольный подход вернее послужит моей цели. (Инспектор Филд со своими агентами ни разу не сумел проследить за Диккенсом до Подземного города, хотя они часто видели, как писатель заходит в различные подвалы и склепы в центре Лондона. Настоящие секретные входы и туннели, ведущие к логову египтянина, оставались тайной, известной лишь Диккенсу и Друду.)

Мы обсудили меню с метрдотелем Генри, пересыпая фразы столь любимыми мной иностранными выражениями, обозначающими соусы, приправы и кулинарные

приемы. Потом мы вдумчиво выбрали и заказали несколько сортов вина, а также крепкие напитки для начала. Затем у нас завязалась беседа.

Мы расположились не в отдельном кабинете — теперь в ресторации Верея таковые предназначались только для более многочисленных компаний, — но в части уединения не заметили особой разницы: наш стол с сиденьями размещался в кабинке с оклеенными красными тиснеными обоями перегородками и тяжелыми портьерами, расположенной на возвышении в углу главной залы. Даже голоса других посетителей не достигали нашего слуха.

— Ну-с, — промолвил я наконец, когда Генри, прочие официанты и сомелье удалились, — поздравляю вас с успешной премьерой «L'Abîme»!

Мы выпили за это. Диккенс, очнувшись от мрачных раздумий, сказал:

— Да, успех был огромный. В переработанном виде пьеса вызвала у парижских театралов восторг, какого не испытала лондонская публика.

«Можно подумать, ты был в Лондоне в январе и видел, как зрители принимали спектакль», — подумал я. Вслух же я сказал:

— Лондонская постановка по-прежнему не сходит со сцены — но все же следует воздать хвалы и новой, парижской версии.

— Она гораздо лучше, — заметил Диккенс.

Подобное высокомерие не особо уязвило меня, поскольку из конфиденциальных писем Фехтера я знал: хотя Диккенс и обольщался иллюзией, что парижская премьера стала подлинным триумфом, французские театральные критики и просвещенная публика отзывались о ней, как о *succès d'estime*[1]. Один парижский рецензент написал: «Только врожденная благожелательность французов спасла авторов „L'Abîme" от позорного низвержения в сию пропасть».

---

[1] Умеренный успех *(фр.)*.

Иными словами, любимая «Пропасть» Диккенса и Фехтера ровно таковой для них и стала.

Но я не мог показать Диккенсу свою осведомленность в данном вопросе. Если он узнает о моей тайной переписке с Фехтером, он поймет также, что я прекрасно знал: он покинул Париж в вечер премьеры и всю прошлую неделю скрывался у своей любовницы. А тогда станет ясно, что я лгал, изображая удивление при «случайной» встрече с ним в поезде.

— За последующие успехи, — провозгласил я, и мы чокнулись и выпили.

Спустя пару-другую секунд я сказал:

— «Лунный камень» закончен. Сегодня я вычитал последний выпуск.

— Да, — откликнулся Диккенс без тени интереса. — Уиллс прислал мне гранки.

— Вы видели столпотворение на Веллингтон-стрит? — Я говорил о толпах, каждую пятницу собиравшихся у дверей редакции, чтобы купить новый выпуск «Лунного камня».

— Действительно, — сухо промолвил Диккенс. — В конце мая, перед отъездом во Францию, мне приходилось орудовать тростью на манер мачете, чтобы в давке прорубать путь к своей конторе. Очень неудобно.

— Еще бы, — сказал я. — Когда я привозил Уиллсу корректуру или деловые бумаги, я видел мальчишек-рассыльных и привратников, которые стояли на углах, по-прежнему держа на плечах свою ношу, и запоем читали последние выпуски романа.

— Хм... — протянул Диккенс.

— Насколько я понял, на улицах — и в нескольких лучших лондонских клубах, даже у меня в «Атенеуме», — заключаются пари, когда будет найден алмаз и кто окажется вором.

— Англичане готовы заключать пари по любому поводу, — сказал Диккенс. — Однажды я видел, как джентльмены на охоте делают ставку в тысячу фунтов на то, в каком направлении пролетит следующая стая гусей.

В голове у меня постоянно звучала фраза «Наша Печальная История похоронена во Франции», произнесенная голосом Эллен Тернан. Интересно, подумал я, какого пола был новорожденный младенец? Устав от бесконечной снисходительности Диккенса, я улыбнулся и сказал:

— Уиллс говорит, по продажам «Лунный камень» далеко обошел и «Нашего общего друга», и «Большие надежды».

Диккенс поднял голову и впервые посмотрел на меня. Его губы под редеющими, седеющими усами медленно, очень медленно раздвинулись в улыбке.

— Неужели? — тихо произнес он.

— Да. — Я несколько мгновений пристально рассматривал свой стакан с янтарно-желтым горячительным напитком, а потом спросил: — Вы сейчас работаете над чем-нибудь, Чарльз?

— Нет. У меня все не получается сесть за новый роман или хотя бы рассказ, даром что идеи и образы, по обыкновению, так и роятся в моей голове.

— Ну разумеется.

— Мне... никак не сосредоточиться.

— Оно и понятно. Одного американского турне хватило бы, чтобы надолго отвлечь любого писателя от работы.

Я упомянул об американском турне нарочно, чтобы дать Диккенсу возможность переменить тему разговора, ибо после своего возвращения и до отъезда во Францию он с великим удовольствием обсуждал со всеми друзьями, включая меня, свои триумфальные выступления там. Но он не пожелал заглотить мою наживку.

— Я прочитал гранки ваших последних выпусков, — сказал он.

— Вот как? Вам понравилось?

Впервые за все время нашего знакомства я задал такой вопрос без особого интереса. Диккенс не был моим редактором — в течение нескольких месяцев его отсутствия эту ненужную роль исполнял Уиллс, — и хотя формально, через свой журнал, он являлся моим издателем,

я уже нашел настоящего издателя, Уильяма Тинсли, готового выпустить роман отдельной книгой первым тиражом в полторы тысячи экземпляров и пообещавшего мне гонорар в семь с половиной тысяч фунтов.

— В законченном виде роман показался мне крайне скучным, — тихо промолвил Диккенс.

С минуту я только и мог, что сжимать свой стакан обеими руками да ошарашенно таращиться на собеседника.

— Прошу прощения? — наконец промямлил я.

— Вы меня слышали, сэр. Я считаю «Лунный камень» крайне скучным. Конструкция романа чудовищно неуклюжа и тяжеловесна, и все повествование пронизано духом самодовольного высокомерия, вызывающего у читателя неприязнь.

Я просто не верил, что мой старый друг говорит мне такое. Я страшно смутился, почувствовав, как запылали мои щеки и уши. После долгой паузы я с усилием проговорил:

— Мне искренне жаль, Чарльз, если роман разочаровал вас. Но он всяко не разочаровал многие тысячи увлеченных читателей.

— Да, вы уже сказали.

— А что именно в конструкции моего романа показалось вам утомительным? Ведь она повторяет конструкцию вашего собственного «Холодного дома»... только усовершенствована по сравнению с ней.

Как я уже упоминал вам, дорогой читатель, композиционное строение «Лунного камня» поистине превосходно — роман состоит из ряда письменных свидетельств, составленных по просьбе одного из закулисных персонажей несколькими главными персонажами, которые рассказывают каждый свою историю, опираясь на дневниковые записи, различные заметки и письма.

Диккенс имел наглость рассмеяться мне в лицо.

— В «Холодном доме», — негромко произнес он, — число точек зрения на происходящие события ограниченно, и все они излагаются автором в третьем лице и неизменно подвергаются авторской оценке, а единственное

повествование от первого лица ведется мисс Эмили Сammерсон. Роман построен по образу симфонии. «Лунный камень» производит на любого читателя впечатление натужной какофонии. Бесконечная последовательность свидетельств, написанных от первого лица, как я уже указал, оставляет ощущение чудовищной надуманности и невыразимо утомляет.

Я несколько раз моргнул и поставил бокал на стол. В кабинку торопливо вошли Генри и два официанта с первым блюдом. Следом появился сомелье с первой бутылкой — Диккенс попробовал вино и кивнул, — а потом суетливо мельтешащие черные фалды и туго накрахмаленные белые воротнички скрылись прочь. Когда мы остались одни, я сказал:

— Должен вам заметить, что весь город обсуждает мою мисс Клак и главы, где она выступает в качестве рассказчицы. Один человек в моем клубе недавно сказал, что не смеялся так со времени выхода в свет «Пиквикских записок».

Диккенс прищурился:

— Сравнивать мисс Клак с Сэмом Уэллером или любым другим персонажем «Пиквикских записок» — все равно что сравнивать дряхлого хромого мула с породистой лошадью. Все персонажи «Пиквика» — как вам скажут несколько поколений читателей, коли вы потрудитесь спросить, — выписаны с любовью и твердой рукой. А мисс Клак — просто злая карикатура, вырезанная из дрянного дешевого картона. Подобных «мисс клак» не существует ни на Земле, ни на любой другой планете, сотворенной душевно здоровым Творцом.

— Ваша миссис Джеллибай из «Холодного дома»... — начал я.

Диккенс вскинул ладонь:

— Избавьте нас от сравнений с миссис Джеллибай. Они совершенно неуместны. Совершенно неуместны.

Я уставился в свою тарелку.

— И еще этот ваш Эзра Дженнингс, который вдруг возникает ниоткуда, чтобы решить все загадки в последних главах, — продолжал Диккенс бесстрастным, ров-

ным и неумолимым голосом, похожим на гудение землеройных машин, прокладывающих туннели под Флит-стрит.

— А что неладно с Эзрой Дженнингсом? По единодушному мнению читателей, он весьма очаровательный персонаж.

— Очаровательный. — Диккенс жутковато улыбнулся. — И очень знакомый.

— Что вы имеете в виду?

— Вы думаете, я его не помню?

— Я не понимаю, о чем вы говорите, Чарльз.

— Я говорю о помощнике врача, встреченном нами во время нашего северного пешего похода в сентябре пятьдесят седьмого года — господи, почти одиннадцать лет назад! — когда мы поднялись на Кэррик-Фелл, а вы поскользнулись и растянули лодыжку и мне пришлось тащить вас с горы на руках, а потом везти на повозке в ближайшую деревню, где местный врач перевязал вам ногу. У его помощника были именно такие пегие волосы и смуглая кожа, какими вы наградили ваше чудовище по имени Эзра Дженнингс.

— Но разве мы пишем наших персонажей не с натуры? — спросил я. Я сам услышал жалобные нотки в своем голосе, и меня всего передернуло.

Диккенс тряхнул головой:

— С натуры, конечно. Но не могли же вы запамятовать, что мы с вами уже вывели вашего Эзру Дженнингса в образе «мистера Лорна», пеговолосого помощника доктора Спедди в нашей совместной повести «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев», опубликованной в рождественском номере журнала в том же самом году.

— Не вижу между ними никакого сходства, — холодно промолвил я.

— Правда? Очень странно. История мистера Лорна — покойника, оживающего в номере доктора Спедди в переполненной гостинице, — занимает значительную часть той довольно проходной повестушки. То же трагическое прошлое. То же задумчиво-отстраненное выражение лица, та же манера речи. Такие же пегие волосы

и смуглая кожа. Я отчетливо помню, как мы писали сцены с ним.

— Эзра Дженнингс и мистер Лорн — два совершенно разных персонажа, — решительно заявил я.

Диккенс кивнул:

— По природе они, безусловно, разные. Мистер Лорн — человек с характером и трагическим прошлым. А ваш Эзра Дженнингс — самый омерзительный и сомнительный персонаж из всех телесно и душевно нездоровых героев, каких вы создали в погоне за сенсационностью.

— В каком смысле «сомнительный», можно поинтересоваться?

— Можно, и я вам отвечу, милейший Уилки. Эзра Дженнингс — помимо того, что он является опиоманом самого худшего пошиба, каковой чертой вы наделили очень многих своих персонажей, старина, — обнаруживает все признаки полового извращения.

— Полового извращения? — Я уже несколько минут назад поднял над тарелкой вилку с подцепленным на нее куском пищи, но так еще и не донес ее до рта.

— Если говорить без обиняков, — мягко произнес Диккенс, — всем читателям «Лунного камня» совершенно ясно, что Эзра Дженнингс — содомит.

Я неподвижно застыл с поднятой вилкой и открытым ртом.

— Чушь! — наконец выпалил я. — Я не подразумевал ничего подобного!

Или все-таки подразумевал? Я осознал, что почти все главы с участием Эзры Дженнингса, как и главы с мисс Клак, написал Второй Уилки, пока я пытался диктовать, глубоко одурманенный лауданумом и морфием.

— И ваши так называемые Трясучие пески... — начал Диккенс.

— Зыбучие пески, — поправил я.

— Как вам угодно. Таковых просто не существует, должен вам заметить.

Вот здесь я поймал его. Здесь *я* поймал *его*!

— Вы заблуждаетесь, — сказал я, возвысив голос. — Любой яхтсмен вроде меня знает о таком явлении. В дельте Темзы, в девяти милях к северу от Херн-Бэй, есть отмель, в точности похожая на мои Зыбучие пески.

— Таких песков нет нигде на йоркширском побережье, — уточнил Диккенс. Я осознал, что он спокойно нарезает и поглощает свою порцию мяса. — Это известно любому, кто бывал в Йоркшире. Или хотя бы читал про Йоркшир.

Я открыл рот, собираясь ответить — ответить язвительно, — но не нашел слов. Именно в этот момент я вспомнил про заряженный револьвер в саквояже, стоящем на сиденье рядом со мной.

— И многие считают — как считаем мы с Уиллсом, — что сцена, где ваши Зыбучие пески начинают колебаться, тоже весьма непристойна.

— Бога ради, Диккенс, да что же непристойного может усмотреть умственно здоровый человек в описании простой отмели, обычного участка берега, песчаного плывуна?

— Возможно, дело в авторском выборе языка и намеках, — сказал Диккенс. — Я цитирую по памяти и привожу выражение вашей несчастной, обреченной мисс Спирман: «Коричневое тело песков медленно приподнялось, а потом содрогнулось и мелко задрожало». Коричневое *тело*, дорогой Уилки, которое содрогается, мелко дрожит, а потом, я снова цитирую, «втягивает глубоко в себя» — как оно и поступило с бедной мисс Спирман. Откровенное и весьма топорное описание, наводящее на мысль о наивысшей точке физического наслаждения, испытываемого женщиной в процессе любовного акта, — разве не так?

Я снова лишился дара речи и ошеломленно уставился на него с разинутым ртом.

— Но именно развязка истории, ваша долгожданная разгадка восхитительной тайны, показалась мне верхом натужной надуманности, дружище, — продолжал Диккенс.

Я понял, что он никогда не умолкнет. Мне представилось, как несколько дюжин посетителей ресторации, сидящих в других кабинках и главном зале, сейчас прекратили жевать и изумленно слушают, стараясь не пропустить ни единого слова.

— Неужто вы и вправду верите, — неумолимо продолжал Диккенс, — или рассчитываете, что мы, читатели, поверим, будто под воздействием нескольких капель опиума, растворенных в бокале вина, человек способен встать во сне, войти в спальню своей невесты — нарушение приличий, делающее сцену почти непристойной, — порыться в ее шкапчике с личными вещами, похитить и перепрятать алмаз — а наутро ничегошеньки не помнить?

— Я уверен, что такое возможно, — ледяным тоном произнес я.

— Да ну? Как вы можете быть уверены в столь вопиющей несуразности, дружище?

— Все особенности поведения человека, находящегося под влиянием лауданума, чистого опиума или других наркотиков, я тщательно исследовал на собственном опыте, прежде чем взяться за перо.

Тут Диккенс рассмеялся. Громким, непринужденным, жестоким смехом, продолжавшимся слишком долго.

Я резко встал, швырнул на стол салфетку и открыл свой саквояж. Огромный револьвер лежал там на дне, под свернутыми в трубку гранками и остатками закуски. Я захлопнул саквояж и стремительно вышел прочь, едва не забыв шляпу и трость в спешке. Я услышал, как за моей спиной Генри вбегает в нашу кабинку с вопросом, нет ли у «мистера Диккенса» еще каких пожеланий в части еды и обслуживания.

В трех кварталах от ресторации Верея я остановился, все еще тяжело дыша, все еще крепко стискивая трость, точно молот, все еще не замечая проезжающих мимо экипажей, людских потоков, текущих по тротуарам в этот погожий июньский вечер, и даже «ночных бабочек», наблюдающих за мной из затененного переулка на противоположной стороне улицы.

— Черт побери! — выкрикнул я, испугав двух дам, проходивших мимо в обществе сутулого пожилого джентльмена. — Черт побери!

Я круто развернулся и бегом бросился обратно к ресторации. На сей раз все разговоры действительно смолкли, когда я стремглав пронесся через главную залу к недавно покинутой мной кабинке и рывком раздвинул портьеры.

Диккенс уже ушел, разумеется. И я упустил свой последний шанс наведаться вместе с ним в логово Друда в 1868 году.

Глава 36

В июле мой брат по состоянию здоровья длительное время провел в Гэдсхилле. Чарли мучился ужасными желудочными спазмами, сопровождавшимися безудержной рвотой. Кейти по-прежнему предпочитала ухаживать за больным мужем в отцовском доме, а не в своем лондонском. (Подозреваю также, что она предпочитала проживать в Гэдсхилле, поскольку там ее саму обслуживали слуги.)

В день, о котором пойдет речь, Чарли чувствовал себя несколько лучше прежнего и сидел в библиотеке, разговаривая с другим Чарли — сыном Диккенса, — корпевшим там над какой-то работой. (Кажется, я еще не упоминал, дорогой читатель, что в мае мой редактор и неутомимый заместитель Чарльза Диккенса в «Круглом годе» Уильям Генри Уиллс умудрился упасть с лошади во время охоты и сильно разбил голову. Уиллс уже вполне оправился после травмы, но говорил, что по-прежнему постоянно слышит хлопанье дверей. Данное обстоятельство мешало ему исправно выполнять обязанности редактора, а тем паче администратора, бухгалтера, импресарио и даже преданного слуги Диккенса, и потому Неподражаемый — в мае обратившийся ко мне с письменной просьбой вернуться в редакцию журнала, но не получивший положительного ответа — поручил своему

довольно никчемному и бесталанному сыну Чарльзу взять на себя хотя бы малую часть многочисленных обязанностей Уиллса, а всеми прочими занялся он сам, Диккенс. В результате сын стал отвечать на письма в конторе и дома, но даже такое нехитрое дело потребовало запредельного напряжения слабых умственных способностей Чарльза Диккенса-младшего.)

Итак, в тот июльский день мой брат Чарли находился в библиотеке вместе с Чарли Диккенсом, когда вдруг оба молодых человека услышали громкие голоса двух людей, мужчины и женщины, которые кричали и ссорились с криками и бранью где-то на лужайке за домом, за пределами видимости. Женские вопли, позже сказал мне брат, звучали поистине ужасно.

Оба Чарли ринулись вниз, вылетели за порог и обежали дом. Сын Диккенса опередил моего выздоравливающего брата на целых полминуты.

Там, на лугу за длинным двором, где несколько лет назад, в Рождество, мы с Диккенсом видели разгуливающего во сне Эдмонда Диккенсона, сейчас расхаживал взад-вперед Чарльз Диккенс — он разговаривал и кричал двумя разными голосами, мужским и женским, яростно жестикулируя, а потом вдруг набросился на незримую жертву и принялся избивать... избивать *ее*... невидимой дубинкой.

Диккенс превратился в головореза Билла Сайкса из «Оливера Твиста» и совершал зверское убийство Нэнси.

Она попыталась убежать, умоляя о пощаде. «И не надейся», — прорычал Билл Сайкс. Она воззвала о помощи к Богу. Бог не ответил, но Билл Сайкс ответил грязной руганью и сбил несчастную с ног ударом тяжелой дубинки.

Она попыталась встать, прикрывая голову рукой. Диккенс —Сайкс ударил еще раз и еще, сломав ей тонкие пальцы, перебив предплечье, а потом с размаху обрушил дубинку на ее окровавленную голову. И еще раз, и еще.

Чарли Диккенс и Чарли Коллинз словно воочию видели кровь и ошметки мозга, летящие в стороны. Они словно воочию видели лужу крови, медленно растека-

ющуюся под умирающей женщиной, которую Билл Сайкс продолжал осыпать ударами дубинки. Они словно воочию видели брызги крови на искаженном яростью лице Сайкса. Даже у Сайксова пса все лапы были в крови!

Злодей продолжал избивать Нэнси и после того, как она испустила дух.

По-прежнему склоняясь над воображаемым трупом, по-прежнему сжимая обеими руками дубинку, занесенную над зверски избитым, окровавленным телом в траве, Чарльз Диккенс поднял взгляд на своего сына и моего брата. На его перекошенной физиономии застыла жуткая, торжествующая гримаса. Широко раскрытые глаза хранили дикое, совершенно безумное выражение. Впоследствии мой брат сказал мне, что в страшных тех глазах он явственно увидел вселенское кровожадное зло.

Неподражаемый наконец-то нашел «убийство» для следующей серии публичных чтений.

Именно в тот день я понял, что должен убить Чарльза Диккенса.

Пусть он убивает воображаемую Нэнси на сцене перед публикой. Я убью его по-настоящему. Он увидит, какое из ритуальных убийств успешнее способствует изгнанию скарабея из человеческого мозга.

Дабы подготовить условия для осуществления задуманного, я написал Диккенсу извинительное письмо, хотя мне было совершенно не за что извиняться, а ему надлежало попросить у меня прощения за очень и очень многое. Но это не имело значения.

Глостер-плейс, 90
Суббота, 18 июня 1868 г.

Дорогой Чарльз!

Я приношу искренние и глубокие извинения за неприятную ситуацию, спровоцированную мной в прошлом месяце в нашей любимой ресторации Верея. Тот факт, что я не удосужился принять в соображение ваше переутомление, вызванное бесконечными разъездами и напряженными трудами, несомненно, послужил к возникновению

видимости ссоры между нами, а присущее мне неумение изъясняться с тактом привело к печальным последствиям, за которые я еще раз извиняюсь и нижайше прошу прощения. (Все бездумно предпринятые мной попытки сравнить мои жалкие литературные потуги с вашим непревзойденным «Холодным домом» были непростительной наглостью и ошибкой с моей стороны. Никто никогда не спутает вашего смиренного протеже с Великим Мастером.)

В настоящее время мне стало сложнее принимать у себя гостей, поскольку миссис Кэролайн Г*** оставила мой дом и место моей домоправительницы, но я все же надеюсь, что вы наведаетесь ко мне на Глостер-плейс, не откладывая дела в долгий ящик. Уверен, невзирая на свою загруженность работой в «Круглом годе» в отсутствие нашего бедного друга Уиллса, вы заметили, что наша поразительно успешная пьеса «Проезд закрыт» наконец сошла со сцены «Адельфи». Признаюсь, я начал набрасывать примерный план следующей драмы — я думаю назвать ее «Черно-белый», ибо в ней пойдет речь о французском дворянине, который волею судьбы оказывается на аукционе на Ямайке в качестве подлежащего продаже раба. Наш дорогой общий друг Фехтер подсказал мне общий замысел несколько месяцев назад — я собираюсь обсудить с ним сюжет подробнее в октябре или ноябре, — и он с великим удовольствием сыграет главную роль. Буду вам очень признателен, коли вы поможете мне советом и критическими замечаниями, дабы я избежал еще грубейших ошибок, нежели допущенные в написанных мной частях «Проезда». В любом случае я почту за честь, если вы со всей вашей семьей станете моими гостями в вечер премьеры в «Адельфи», буде скромный плод нынешних моих усилий удостоится постановки.

С нижайшими извинениями и искренним желанием уладить непредвиденную и нежелательную размолвку, омрачившую историю нашей сердечной дружбы, остаюсь Ваш любящий и преданный

Уилки У. Коллинз.

Я внимательно перечитал письмо и внес несколько незначительных исправлений, усиливая покаянный и подобострастный тон послания. Я не боялся, что после внезапной и таинственной смерти Диккенса оно вдруг

обнаружится и вызовет любопытство у биографа, в чьи руки попадет. Неподражаемый по-прежнему ежегодно сжигал все до единого полученные письма. (Будь его воля, он бы сжигал и все свои отправленные письма, но никто из нас, состоявших в переписке со знаменитым писателем, не разделял его пироманских наклонностей в части корреспонденции.)

Потом я велел Джорджу отнести письмо на почту, а сам вышел купить бутылку хорошего бренди и щенка.

На следующий день, прихватив с собой бренди, последний номер «Круглого года» и безымянного щенка, я доехал поездом до Рочестера и нанял кеб до собора.

Оставив щенка в экипаже, но взяв бренди и журнал, я прошел через кладбище к высоченному, массивному собору. Рочестер был прибрежным городком с узкими улочками и краснокирпичными зданиями, в каковом окружении эта громада из древнего серого камня казалась еще более внушительной и мрачной.

Здесь прошло детство Чарльза Диккенса. Именно этот собор стоял у него перед глазами, когда много лет спустя он сказал мне, что Рочестер представляется ему воплощением «всемирного тяготения, тайны, разложения и безмолвия».

В этот жаркий и влажный июльский день тут действительно царило безмолвие. И я чуял запах разложения, доносившийся от прибрежных отмелей, затопляемых в пору прилива. Хотя совсем рядом находилось море, «рокочущее и плещущее приливными волнами», как однажды выразился Диккенс, сегодня никакого рокота не слышалось, лишь слабый, нежный плеск, и стояло полное безветрие. Густой солнечный свет лежал на раскаленных надгробных плитах и порыжелой траве подобием неуместного золотого одеяла.

Даже тень от соборной башни не давала прохлады. Запрокинув голову, я посмотрел на могучую серую башню и вспомнил, что́ Диккенс однажды сказал мне о впечатлении, которое она производила на него, когда он

был совсем еще маленьким мальчиком: «...сколь ничтожным, смехотворным, мимолетным существом казался я, друг мой, по сравнению с ее мощью, величием, прочностью и долговечностью».

Ну ладно, коли у меня все получится — а я твердо решил осуществить задуманное, — собор простоит еще много веков или даже тысячелетие, но жизнь маленького мальчика, превратившегося в пожилого писателя, очень скоро закончится.

Пройдя по чуть заметной тропке за дальней границей кладбища, я обнаружил известковую яму, по-прежнему открытую, по-прежнему полную густой жижи и все такую же вонючую. Глаза у меня слезились, когда я шагал обратно через погост, мимо надгробий, каменной ограды и могильной плиты, памятных мне по жутковатому ланчу в обществе Диккенса и Эллен Тернан с матерью.

Двигаясь на тихий стук, я обогнул собор, миновал приходский дом и вошел во двор за ним. Там, между каменной оградой и приземистой лачугой с тростниковой кровлей, мистер Дредлс с придурковатым на вид молодым помощником трудились над надгробным памятником, чья высота превосходила рост обоих. На мраморе были высечены только имя и даты рождения и смерти:

ДЖИЛС БРЕНДЛ ДЖИМБИ
1789—1866

Мистер Дредлс повернулся ко мне, и я увидел, что лицо у него — под налетом каменной пыли, исчерченным струйками пота, — апоплексически красное. Он вытер со лба пот, когда я приблизился.

— Вероятно, вы меня не помните, мистер Дредлс, — начал я. — Но я как-то приезжал сюда вместе с...

— Дредлс помнит вас, мистер Билли Уилки Коллинз, нареченный в честь художника, намалевавшего то ли дом какой, то ли еще чего, — прохрипел красномордый субъект. — Вы были здесь с мистером Чарльзом Д., сочинившим кучу книжек, — он интересовался стариканами, что покоятся в своих темных норах.

— Совершенно верно, — сказал я. — Но мне показалось, в тот день мы с вами оба встали не с той ноги и произвели плохое впечатление друг на друга.

Дредлс посмотрел на свои изношенные, дырявые башмаки, которые, я заметил, не разделялись на «правый» и «левый», а были скроены по одной колодке на манер, принятый несколько десятилетий назад.

— Никаких других ног, помимо этих двух, у Дредлса нету, — заявил он. — И ни одна из них не может быть «не той».

Я улыбнулся:

— Ну разумеется, разумеется. Просто я подумал, что у вас могло сложиться неверное впечатление обо мне. Я привез вам это... — Я вручил каменщику бутылку превосходного бренди.

Дредлс снова промокнул платком лицо и шею, откупорил бутылку, понюхал горлышко, отхлебнул изрядный глоток, с прищуром глянул на меня и сообщил:

— Это пойло будет получше того, что наливают Дредлсу в «Двухпенсовых номерах» или любом другом заведении. — Он отхлебнул еще.

Молодой помощник, с такой же красной от жары и натуги физиономией, как у Дредлса, тупо пялился на него, но выпить не попросил.

— Кстати о «Двухпенсовых номерах», — компанейским тоном сказал я. — Что-то я не вижу нигде поблизости вашего камнеметающего постреленка. Как там вы его называли? Депутат? Или сейчас еще не время гнать вас камнями домой?

— Чертов мальчишка помер, — сказал Дредлс и хихикнул, увидев выражение моего лица. — О нет, его убил не Дредлс, хотя у Дредлса не раз возникало такое желание. Нет, мальца убила оспа, и спасибо оспе за доброе дело. — Он снова приложился к бутылке и с прищуром посмотрел на меня. — Ни один джентльмен, ни даже мистер Д., не приезжает из Лондона, чтобы напоить Дредлса дорогущим бренди без всякой причины, мистер Билли Уилки Коллинз. Мистер Д. хотел, чтобы я отпирал для

него двери ключом из своей огромной связки да простукивал стены, выискивая норы с мертвыми стариканами. А чего мистер Билли У. К. хочет от старого Дредлса в такой жаркий денек?

— Может, вы помните, что я тоже писатель. — Я вручил каменотесу и смотрителю подземного кладбища экземпляр «Круглого года». — Это пятничный номер журнала, содержащий заключительные главы моего романа «Лунный камень». — Я открыл журнал на нужной странице.

Дредлс уставился на столбцы убористого шрифта, но лишь хмыкнул. Я понятия не имел, умеет ли он читать. Но склонялся к мысли, что не умеет.

— И так случилось, что я тоже собираю материал о большом соборе вроде этого, необходимый мне для следующего романа, — сказал я. — О большом соборе и склепах под ним.

— Дредлс полагает, мистеру К. нужны ключи, — сказал каменотес. — Мистеру К. нужны ключи от темных нор, где покоятся мертвые стариканы.

Казалось, он обращался к своему лопоухому придурковатому помощнику с неряшливой стрижкой, явно вышедшей из-под овечьих ножниц, но парень производил впечатление глухонемого.

— Вовсе нет, — возразил я с непринужденным смехом. — Ключи находятся под вашей ответственностью и должны оставаться в вашем владении. Мне просто хотелось бы время от времени наведываться сюда и, возможно, воспользоваться вашим опытом по нахождению полостей в стенах подземной часовни. Разумеется, я буду приезжать не с пустыми руками.

Дредлс отхлебнул очередной глоток. Бутылка уже опустела более чем наполовину, и грязное лицо каменотеса, даже под мертвенно-серым налетом пыли, стало краснее прежнего (если такое вообще возможно).

— Дредлс честно трудится день-деньской ради приятной возможности изредка закладывать за воротник, — хрипло проговорил он.

— Я тоже, — сказал я, добродушно хохотнув.

Он кивнул и вернулся к работе — вернее, к наблюдению за придурковатым парнем, орудующим зубилом. По всей видимости, разговор был закончен и договоренность достигнута.

Вытирая платком потное лицо, я медленно направился обратно к экипажу. Щенок — неуклюжее, но жизнерадостное существо с длинными лапами, коротким хвостом и пятнистой шерстью — при виде меня запрыгал от восторга на мягком сиденье.

— Я ворочусь через минуту, кучер, — промолвил я.

Старик на мгновение очнулся от дремы, промычал что-то невнятное и снова уронил подбородок на ливрейную грудь.

Взяв щенка, я опять двинулся через кладбище мимо места нашего пикника. Я невольно заулыбался, вспомнив, как Диккенс веселил всех нас, когда убедительно изображал официанта с перекинутым через руку полотенцем, расторопно поднося блюда к могильной плите, служившей нам столом, и ловко разливая вино. Щенок удобно устроился у меня под мышкой и время от времени пытался вилять хвостиком, с обожанием глядя на меня большими глазами. В течение десяти с лишним лет мы с Кэролайн и Кэрри держали нескольких собак. Наш последний любимец умер всего несколько месяцев назад.

Под старым кривым деревом на дальней границе погоста валялась сухая ветка длиной фута четыре. По-прежнему держа щенка под левой мышкой и рассеянно почесывая ему голову и загривок большим пальцем, я поднял ветку и отломал от нее сучки, превратив в подобие трости.

В зарослях бурьяна за кладбищем я остановился и оглянулся назад. Кеб и дорога уже скрылись из виду. На самом кладбище не наблюдалось никакого движения. Из-за собора доносилось приглушенное расстоянием «тук-тук-тук», сопровождавшее усердную и аккуратную работу Дредлса, — вернее, его подмастерья. Помимо этого звука тишину нарушали лишь жужжание да стрекот насекомых в бурьяне и высокой траве на болотистой

пустоши, простиравшейся вплоть до прибрежных отмелей. Даже море и впадающая в него река хранили безмолвие в ослепительных солнечных лучах.

Одним плавным движением я свернул щенку шею. Раздался отчетливый, но тихий хруст. Маленькое тельце обмякло в моих руках. Я снова быстро осмотрелся по сторонам и бросил труп щенка в яму с известью. Никакого эффектного шипения или бульканья не последовало. Крохотное пятнистое тельце просто лежало там, наполовину погруженное в густую серую жижу. Наклонившись вперед, я осторожно тыкал мертвого щенка веткой в голову, грудь и крестец, покуда он полностью не скрылся под известью. Затем я швырнул ветку в высокую траву и запомнил место, куда она упала.

Двадцать четыре часа? Сорок восемь? Я решил выждать семьдесят два часа (даже чуть больше, поскольку я планировал дождаться сумерек), прежде чем вернуться, с помощью той же самой ветки выудить останки и посмотреть, во что они превратились.

Тихо насвистывая мотивчик, популярный в мюзик-холлах нынешним летом, я неторопливо направился через кладбище обратно к экипажу, ждущему на дороге.

Глава 37

Через три дня я получил от Диккенса приятное послание — он благодарил меня за письмо, косвенно давал понять, что принимает мои извинения, и приглашал в Гэдсхилл-плейс. А также любезно высказывал предположение, что, возможно, мне захочется навестить брата, ибо состояние здоровья все еще не позволяет Чарли возвратиться в Лондон.

Я принял приглашение и отправился в Гэдсхилл безотлагательно. Все сложилось удачнейшим образом, ведь я в любом случае нынче вечером собирался наведаться к известковой яме на Рочестерском кладбище.

Кейти Диккенс встретила меня на передней лужайке, как несколькими годами ранее. День стоял теплый,

но дул ласковый ветерок, приносивший благотворные запахи с окрестных полей. Ухоженные кусты, деревья и красные герани слабо трепетали в легких порывах ветра, как и длинное кисейное платье Кейти. Волосы у нее были подхвачены заколками над ушами, но распущены сзади — непривычная прическа очень ей шла.

— Чарльз сейчас спит, — сказала Кейти. — Он всю ночь промучался ужасными болями. Я знаю, вам хочется повидаться с ним, но мне кажется, его лучше не беспокоить.

Я понял, что она говорит о моем брате, а не о своем отце, и кивнул.

— Мне придется уехать еще до ужина, но, возможно, Чарли проснется к тому времени.

— Возможно, — сказала Кейти, но с явным сомнением на лице. Она просунула руку мне под локоть. — Отец работает в шале. Я провожу вас через туннель.

Я удивленно вскинул брови:

— Работает в шале? У меня создалось впечатление, что он сейчас ничего не пишет.

— Он и не пишет, Уилки. Он репетирует свой новый ужасный чтецкий номер с убийством.

— А...

Мы неторопливо пересекли тщательно подстриженную лужайку и спустились в туннель. Как обычно летом, прохладный воздух в длинном темном туннеле приносил облегчение от влажной жары наверху.

— Уилки, вы когда-нибудь задумывались, прав ли мой отец?

«Нет, — пронеслось у меня в уме. — Никогда».

Вслух же я спросил:

— В каком отношении, дорогая?

— В отношении вашего брата.

Я почувствовал легкую тревогу.

— В смысле — насчет серьезности его заболевания?

— Насчет всего.

У меня в голове не укладывалось, что она задает такой вопрос мне. Слухи, что Кейт и Чарли так и не осуществили брачные отношения, по-прежнему имели хождение

и подогревались злобными высказываниями Чарльза Диккенса. Если верить клеветническим измышлениям последнего, мой брат являлся либо тайным содомитом, либо импотентом, либо и тем и другим одновременно. Разумеется, расспрашивать о подобных вещах никак не годилось.

Я похлопал свою спутницу по руке:

— Вашему отцу больше всего на свете не хотелось расставаться с вами, Кейти. Он всегда любил вас сильнее всех прочих своих детей. Любой ваш поклонник или муж навлек бы на себя его гнев.

— Да, это так, — согласилась Кейти; скромность не входила в число ее достоинств. — Но мы с Чарли проводим столько времени здесь, в Гэдсхилл-плейс, что мне почти кажется, будто я никогда не покидала отчий дом.

На это мне было нечего сказать. Тем более что все знали: именно она решила жить здесь, когда Чарли плохо себя чувствует, — а теперь он чувствовал себя плохо практически постоянно.

— Вы когда-нибудь задумывались, Уилки, как все сложилось бы, если бы я вышла замуж за вас, а не за вашего брата?

Я чуть не остановился. Сердце мое, уже возбужденное полуденной дозой лауданума, бешено заколотилось.

В свое время я подумывал о том, чтобы приударить за молодой Кейт Диккенс. Когда происходило то, что все, кроме семейства Диккенс, полагали обычным «разводом» — ужасный и необратимый разрыв всяких отношений, успешно осуществленный Чарльзом Диккенсом, отправившим свою жену Кэтрин в пожизненную ссылку, — так вот, тогда юная Кейт тяжелее всех прочих детей переживала внезапный распад единой общности, которую она считала образцовой английской семьей. В ту смятенную, сумбурную пору ей было восемнадцать — она вышла замуж за моего брата в двадцатилетнем возрасте, — и признаться, я по-прежнему находил ее привлекательной в некоем не поддающемся определению смысле. Даже сейчас я чувствовал, что она, в отличие от

своей сестры Мейми, никогда не расплывется и не обабится, как ее мать.

Но прежде, чем я успел хотя бы проанализировать свой интерес к Кейти, она влюбилась в нашего с Диккенсом общего друга Перси Фицджеральда — или по крайней мере увлеклась им. Когда Фицджеральд довольно холодно отверг ее девичьи заигрывания, Кейт внезапно перевела внимание на моего брата Чарльза, тогда иллюстрировавшего произведения Диккенса и часто бывавшего в Гэдсхилле.

Возможно, дорогой читатель, я уже упоминал прежде, что романтический интерес, проявленный Кейти к моему брату, премного изумил всех нас. Чарли тогда совсем недавно стал жить отдельно от нашей матери, и он в жизни не выказывал сколько-либо серьезного интереса к представительницам прекрасного пола.

А теперь вдруг это. Там, в темном уединенном туннеле, от моего понимания не ускользнуло, что Кейти наверняка знает — хотя бы от своего любящего посплетничать отца, — что я выпроводил Кэролайн Г*** из своего дома и ныне являюсь (в их разумении) состоятельным и довольно известным холостяком, одиноко проживающим со своими слугами и «племянницей» Кэрри.

Я улыбнулся, давая Кейти понять, что оценил шутку, и сказал:

— Уверен, это был бы в высшей степени забавный союз, дорогая моя. С вашей несгибаемой волей и моим ослиным упрямством наши ссоры стали бы легендарными.

Кейти не улыбнулась в ответ. Мы уже подошли почти к самому выходу из туннеля, когда она остановилась и пристально взглянула на меня.

— Мне иногда кажется, что все мы сошлись не с теми людьми — мои отец и мать, Чарльз и я, вы и... наверное, все до единого, кроме Перси Фицджеральда с этой его жеманницей.

— И еще Уильяма Чарльза Макриди, — подхватил я веселым, шутливым тоном. — Мы не должны забывать

о второй жене нашего престарелого трагика. Похоже, этот брак поистине был заключен на небесах.

Кейти рассмеялась.

— Единственная Кейт, обретшая счастье, — промолвила она, взяла меня за руку, вывела на свет дня и отпустила.

— Милейший Уилки! Ах, какой же вы молодец, что приехали! — вскричал Диккенс, когда я вошел в просторную комнату на втором этаже шале.

Он вскочил на ноги, быстро обогнул свой незатейливый стол и обеими руками стиснул мою руку. Я внутренне сжался, с ужасом ожидая дружеского объятия. Он держался так, словно никакой размолвки между нами за ужином в ресторации Верея месяц с лишним назад и в помине не было.

В летнем кабинете Неподражаемого было, по обыкновению, приятно находиться, особенно сейчас, когда легкий ветерок, летящий от далекого моря, шелестел ветвями двух могучих кедров за распахнутыми окнами. Диккенс поставил с другой стороны письменного стола еще одно кресло, плетеное, с выгнутой спинкой, и сейчас, возвращаясь к своему удобному, массивному рабочему креслу, жестом пригласил меня сесть. Он повел перед собой рукой, указывая на шкатулки и графин на столе.

— Сигару? Воды со льдом?

— Нет, благодарю вас, Чарльз.

— Просто нет слов, как я рад, что все забыто и прощено, — сердечно сказал он, не уточняя, кому именно пришлось забывать и прощать.

— Полностью разделяю ваши чувства.

Я взглянул на стопки страниц на столе. Заметив мой взгляд, Диккенс протянул мне несколько из них. Я такое уже не раз видел. Он вырывал страницы из какой-нибудь своей книги — в данном случае из «Оливера Твиста», — наклеивал на жесткий картон и вносил в текст многочисленные исправления, дополнения, вставки, заметки на полях. Потом он отсылал все это в типографию,

где печатали окончательный вариант — крупным шрифтом, с тройным междустрочным интервалом, с широкими полями, оставленными для последующих ремарок и пометок. Сейчас я держал в руках текст, который он готовил для следующей своей концертной программы.

Диккенс внес в него довольно интересные исправления, превращавшие роман, предназначенный для чтения, в инсценировку, предназначенную для слушания, но внимание мое привлекли сценические ремарки, беглым почерком написанные на полях: «Наклоняет голову... Вскидывает руку... Дрожит... Оглядывается в ужасе... Сейчас свершится убийство...»

А на следующей наклеенной на картонку странице: «...он дважды бьет по запрокинутому лицу, которого почти касается своим лицом... хватает тяжелую дубинку и ударом сбивает ее с ног!.. лужа крови блестит, дрожит в солнечных лучах... безжизненное тело, и как много крови!!! Даже лапы у пса в крови!!! вышибает ему мозги!!!»

Я растерянно моргнул. Вышибает *ему* мозги. Я совсем забыл, что Сайкс убил не только Нэнси, но и пса.

В разных местах на полях по меньшей мере пять раз повторялись слова «Запредельный Ужас!».

Я положил страницы обратно на стол и улыбнулся:

— Ваше «убийство» наконец-то.

— Да, наконец-то, — кивнул Диккенс.

— А я-то, Чарльз, наивно считал автором сенсационных романов себя.

— Это «убийство» призвано не просто потрясти чувства, дорогой Уилки. Я хочу, чтобы у зрителей, которые посетят мои последние, прощальные публичные чтения, осталось впечатление чего-то исступленно-неистового и трагического, чего-то достигнутого простыми средствами, но вызывающего бурю эмоций.

— Понимаю, — сказал я; на самом деле я понимал, что Диккенс намерен грубо шокировать свою впечатлительную публику. — Значит, эта серия выступлений действительно станет последней?

— Хм... — промычал Неподражаемый. — На этом настаивает наш друг Берд. На этом настаивают лондонские и парижские врачи. На этом настаивает даже Уиллс, хотя он и так никогда не приветствовал мои публичные чтения.

— Ну, нашего дорогого Уиллса можно не принимать в расчет, Чарльз. В настоящее время он склонен к пессимизму из-за постоянного хлопанья дверей у него в черепе.

Диккенс хихикнул, но потом промолвил:

— Увы, бедный Уиллс! Я знал его, Горацио.

— Надо же, на охоте... — сказал я с напускной печалью.

Словно услышав сигнальную реплику, по Грейвсендроуд прогарцевал всадник в красном охотничьем сюртуке, белых бриджах и начищенных до блеска высоких сапогах, ладно сидящий на сером в яблоках горячем жеребце, грызущем удила. Сразу следом за сим благородным господином прогрохотала телега, полная навоза. Мы с Диккенсом переглянулись и одновременно расхохотались. Как в старые добрые времена.

Если не считать того обстоятельства, что сейчас я желал его смерти.

Когда мы отсмеялись, Диккенс сказал:

— Я тут поразмыслил получше над вашим «Лунным камнем», Уилки.

Я весь напрягся, но выдавил слабую улыбку.

Диккенс выставил вперед ладони:

— Нет-нет, друг мой. С полным восхищением и профессиональным уважением.

Я продолжал натужно улыбаться.

— Наверное, вы сами этого не сознаете, Уилки, но, возможно, данным сенсационным романом вы положили начало совершенно новому литературному жанру.

— Конечно, я сознаю это, — холодно произнес я, понятия не имея, о чем он говорит.

Казалось, Диккенс меня не услышал.

— Роман, весь сюжет которого вращается вокруг одной-единственной тайны, с поставленным в центр

повествования интересным объемным персонажем — сыщиком, причем скорее сыщиком частным, нежели отставным полицейским, — с развитием всех прочих персонажей и достоверным описанием даже самых мелких событий повседневной жизни, вызванных прямыми и побочными последствиями преступления, служащего пружиной главной сюжетной линии... знаете, это новое слово в литературе!

Я скромно кивнул.

— Я решил и сам забабахать нечто подобное, — сказал Диккенс, употребив одно из самых дурацких американских выражений, подхваченных во время последнего турне по Штатам.

В тот момент я ненавидел его лютой ненавистью.

— Вы уже придумали название для своего будущего романа? — услышал я свой голос, звучащий вполне нормально.

Диккенс улыбнулся:

— Я склоняюсь к какому-нибудь незамысловатому названию, дорогой Уилки... ну, например, «Тайна Эдмонда Диккенсона».

Признаться, я вздрогнул.

— Так, значит, до вас дошли какие-то сведения о молодом Эдмонде?

— Вовсе нет. Но ваши прошлогодние расспросы о нем навели меня на мысль, что бесследное и с виду беспричинное исчезновение некоего молодого человека может послужить завязкой интереснейшего запутанного сюжета, если в нем имеет место убийство.

Сердце у меня бешено заколотилось, и я пожалел, что не могу сейчас отхлебнуть из фляжки с лауданумом, лежащей у меня в нагрудном кармане сюртука.

— А вы полагаете, что молодой Эдмонд Диккенсон был убит? — спросил я.

Я вспомнил Диккенсона с обритой головой, острыми зубами и фанатично горящими глазами, облаченного в балахон с капюшоном и нараспев повторяющего странные слова в ходе ритуала, когда Друд внедрял скарабея

в мое нутро. При одном этом воспоминании скарабей зашевелился, завозился в задней части моего мозга.

— Ни в коем случае! — рассмеялся Диккенс. — У меня есть все основания верить молодому Эдмонду, который сказал, что собирается забрать из банка все свои деньги и отправиться путешествовать по свету, — возможно, в конечном счете поселиться в Австралии. И конечно же, я изменю имя главного героя и название романа. Я просто хотел дать вам представление об общем замысле произведения.

— Интересно, — солгал я.

— И еще месмеризм. — Диккенс улыбнулся, складывая ладони домиком и откидываясь на спинку кресла.

— А что насчет него, Чарльз?

— Я знаю, вы интересуетесь данным явлением, Уилки. Интересуетесь почти так же давно, как я, хотя, в отличие от меня, никогда месмеризм не практиковали. Вы исподволь ввели месмеризм в свой «Лунный камень» — правда, скорее в виде метафоры, нежели реального явления, — но не сумели правильно им распорядиться.

— То есть?

— Разгадка вашей так называемой тайны, — сказал Диккенс обычным своим снисходительным менторским тоном, всегда приводившим меня в страшное раздражение. — Ваш мистер Франклин Блэк похищает алмаз в своем опиумном сне наяву, но не знает, что он совершил кражу...

— Как я уже говорил, — холодно промолвил я, — такое вполне возможно. Я самолично исследовал подобные состояния и...

Диккенс небрежно отмахнулся от моих слов:

— Дорогой Уилки, пытливый читатель — а возможно, любой читатель — спросит: «Почему вообще Франклин Блэк похищает алмаз своей возлюбленной?»

— Ответ очевиден, Чарльз. Он боится, что кто-нибудь может украсть камень, и потому, под снотворным воздействием опиума, принятого без собственного ведома, он встает во сне и... похищает камень. — Я услышал неуверенные нотки в своем голосе.

Диккенс улыбнулся:

— Вот именно. Это вызывает сомнения и нарушает достоверность повествования. Но если бы один из ваших персонажей загипнотизировал Франклина Блэка и приказал ему украсть алмаз, а вдобавок кто-нибудь шутки ради подмешал бы опиум в его вино — хотя я бы сделал как месмерическое влияние, так и применение опиума не случайными, а умышленными, предусмотренными преступным планом... ну, тогда все стало бы на свои места, разве не так, друг мой?

Я ненадолго задумался. Вносить изменения было уже слишком поздно. Последний выпуск романа уже появился и в «Круглом годе», и в американском журнале издательского дома «Харпер энд бразерс», а в типографии Тинсли уже лежали экземпляры подарочного трехтомного издания в кожаном переплете, предназначенные для Диккенса и прочих моих друзей.

— Но я все же утверждаю, что такой вариант противоречит природе месмеризма, Чарльз. Как нам обоим известно, профессор Эллиотсон и остальные специалисты считают, что под воздействием магнетизма человек никогда не совершит поступков, каких не смог бы совершить в полном сознании.

Диккенс кивнул:

— Да, но Эллиотсон показал — и я показал, — что в состоянии месмерического транса человек зачастую изменяет свое поведение на продолжительные периоды времени, коли ему внушили некие представления, не соответствующие истине.

Я не понял, что он имеет в виду, о чем и сказал.

— Женщина никогда не вынесет своего грудного ребенка из дома среди ночи, — продолжал Диккенс. — Но если вы ее загипнотизируете и скажете, что дом горит — или загорится, положим, в девять часов вечера, — то она либо сразу, в состоянии месмерического транса, либо позже, под воздействием внушенных представлений, схватит свое дитя и выбежит на улицу, даже не увидев никакого огня. Таким образом ваши индусы в «Лунном камне» могли бы загипнотизировать Франклина Блэка,

когда он встретился с ними на территории поместья, а тогда ваш докучливый доктор... мистер Санди?

— Мистер Канди, — уточнил я.

— Мистер Канди тайно опоил бы бедного Франклина Блэка лауданумом в соответствии с неким преступным планом, а не просто ради злой шутки, за которую его следовало бы упечь в тюрьму.

— Вы хотите сказать, что славный старый мистер Канди тоже находился под месмерическим влиянием индусов? — спросил я.

Внезапно я увидел, что при таком варианте замечательно увязываются все концы, так и не увязанные мной в романе.

— Это было бы изящным ходом, — сказал Диккенс, по-прежнему улыбаясь. — Или, возможно, ваш мерзкий наркоман Эзра Дженнингс являлся участником заговора с целью похищения Кохинора.

— Лунного камня, — машинально поправил я. — Но мой Эзра Дженнингс персонаж в своем роде героический. Именно он объясняет тайну кражи, а потом воссоздает картину преступления в йоркширском доме тетушки Франклина Блэка...

— Эпизод с воссозданием хода событий чрезвычайно удобен для развязки вашего романа, — спокойно промолвил Диккенс, — но может вызвать у читателя еще серьезнейшие сомнения, чем любой другой момент повествования.

— Почему же?

— Да потому, что в точности воссоздать все обстоятельства первой ночи — ночи похищения алмаза — они не смогли бы при всем желании, милейший Уилки. Невозможность соблюсти одно существенное условие исключила бы всякие шансы, что хождение во сне с последующей кражей повторится.

— О каком условии вы говорите? — спросил я.

— Во время вашего так называемого эксперимента мистер Франклин Блэк знает, что он одурманен наркотиком; он знает, что Дженнингс считает именно его похитителем алмаза; он знает последовательность событий,

которые имели место ранее и должны повториться. Одно это напрочь исключило бы всякую вероятность, что та же самая доза опиума...

— Дженнингс развел в вине большее количество препарата, чем использовал мистер Канди, — перебил я.

— Не имеет значения, — сказал Диккенс, вновь отметая мое возражение небрежным взмахом руки, каковой жест приводил меня в бешенство. — Суть в том, что само воссоздание событий невозможно. И ваш мистер Эзра Дженнингс — предположительный содомит и заядлый опиоман, с его отвратительными восторгами по поводу «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Куинси, — в качестве положительного героя смотрится очень неубедительно. А Франклин Блэк у вас производит впечатление идиота. Но если бы вы разумно распорядились индусами и ввели в повествование месмеризм как часть преступного плана, а применение опиума сделали скорее средством для достижения цели, нежели чистой случайностью...

Диккенс умолк, не закончив фразы. Мне было нечего сказать. По дороге внизу, вне поля видимости, прогрохотал тяжело груженный фургон, судя по стуку копыт, запряженный четверкой рослых лошадей.

— Но ваш сыщик — сержант Кафф — поистине великолепен, — неожиданно сказал Диккенс. — Именно он вдохновил меня на мысль самому написать роман, где фигурирует некая тайна и в центре событий находится равно умный и проницательный герой. Кафф у вас получился превосходно... это худощавое телосложение, этот холодный пронзительный взгляд, этот почти нечеловечески острый ум.

— Спасибо, Чарльз, — тихо промолвил я.

— Если б только вы распорядились им правильно!

— Прошу прощения?

— Вы блестяще изображаете Каффа, блестяще вводите в повествование, и он действует блестяще... до момента, когда вдруг сбивается со следа, исчезает со сцены на целую вечность, строит неверные гипотезы, несмотря

на множество фактов, противоречащих его выводам, а потом и вовсе уезжает в Брайтон разводить пчел...

— В Доркинг, разводить розы, — поправил я, испытывая странное дежавю.

— Ну да, конечно. Но сам персонаж — сама идея поместить в центр романа скорее частного сыщика, нежели полицейского, — вызывает восхищение. Полагаю, читатели остались бы в совершенном восторге от такого непревзойденного мастера дедукции, как ваш худой, властный сержант Кафф, эксцентричный и совершенно бесстрастный, если бы вы чуть подробнее обрисовали его характер и обстоятельства его жизни. Интересно, удастся ли мне создать подобный персонаж в моей «Тайне Эдмонда Диккенсона», соберись я когда-нибудь написать такой роман?

— Вы можете воскресить вашего инспектора Баккета из «Холодного дома», — угрюмо сказал я. — Он пользовался чрезвычайной популярностью. Помнится, изображение Баккета печаталось на табачных картах.

— Было дело, — хихикнул Диккенс. — Он, наверное, самый популярный герой «Холодного дома», и мне, признаюсь, очень нравятся все сцены с ним. Но инспектор Баккет — человек от мира сего и в мире сем живущий... в нем нет тайны, нет необъяснимой привлекательности вашего худого, холодного, отчужденного от всех и вся сержанта Каффа. Помимо всего прочего, поскольку прототип Баккета, инспектор Чарльз Фредерик Филд, приказал долго жить, мне следует, приличия ради, похоронить и персонажа, с него списанного.

Я не мог произнести ни слова, казалось, целую вечность. Я приложил все усилия к тому, чтобы восстановить пресекшееся дыхание и не выдать выражением лица всех чувств и мыслей, нахлынувших на меня. После долгой паузы я наконец спросил по возможности спокойным тоном:

— Инспектор Филд умер?

— О да! Умер минувшей зимой, когда я находился в Америке. Джорджина увидела некролог в «Таймс»

и вырезала для меня, справедливо предполагая, что мне захочется присовокупить заметку к своим архивам.

— Я ничего об этом не слышал, — с усилием проговорил я. — А вы часом не помните дату его смерти?

— Прекрасно помню, — сказал Диккенс. — Девятнадцатое января. Двое моих сыновей — Фрэнк и Генри — родились пятнадцатого января, как вам известно, потому-то я и запомнил дату кончины Филда.

— Просто поразительно. — Не знаю, относилось ли мое замечание к превосходной памяти Диккенса или к факту смерти инспектора Филда. — А в некрологе «Таймс» говорилось, как он умер?

— Дома, в собственной постели, от тяжелого недуга, насколько я понял, — ответил Диккенс. Разговор про инспектора явно ему наскучил.

Девятнадцатого января — то есть на следующий день или на следующую ночь после нашей вылазки в Подземный город. Я оставался в беспамятстве до двадцать второго января и потом еще несколько недель был не в состоянии читать газеты. Ничего удивительного, что я не видел некролога. Ничего удивительного, что в последующие месяцы я ни разу не вошел в сообщение с людьми Филда. Несомненно, частное сыскное бюро инспектора закрылось и все агенты разбежались в поисках другой работы.

Если только Диккенс не лжет.

Я вспомнил свое прошлогоднее прозрение — когда я вдруг понял, что Диккенс, Друд и инспектор Филд ведут некую затейливую трехстороннюю игру, где я оказался пешкой в самой гуще схватки. Может, Диккенс лжет насчет смерти Филда из каких-то своих тактических соображений?

Нет, вряд ли. Мне не составило бы особого труда проверить через своих знакомых в «Таймс», соответствует ли действительности напечатанный там некролог. А если смерть действительно имела место, значит где-то непременно должна быть могила бедного старого Чарльза Фредерика Филда. Это тоже легко проверить. На какой-то безумный миг я подумал, не имеет ли здесь место

некий хитрый тактический ход самого инспектора Филда, инсценировавшего свою смерть с целью обезопасить себя от приспешников Друда, но я почти сразу потряс головой, решительно отметая данное предположение, которое казалось слишком натянутым даже в свете событий, произошедших в течение последних трех лет.

— Вам нездоровится, дорогой Уилки? Вы вдруг страшно побледнели.

— Просто проклятая подагра донимает, — сказал я.

Мы оба поднялись на ноги.

— Вы останетесь на ужин? Ваш брат по нездоровью не выходит к общему столу, но, возможно, сегодня, когда вы здесь...

Я взглянул на свои часы:

— В другой раз, Чарльз. Мне надо вернуться в город. Кэролайн готовит для нас какой-то особый ужин, а потом мы идем в театр...

— Кэролайн! — изумленно воскликнул Диккенс. — Так она вернулась?

Я помотал головой, улыбнулся и постучал себя пальцем по лбу.

— Я хотел сказать «Кэрри».

Здесь я тоже солгал. Кэрри на всю неделю осталась в доме, где служила гувернанткой.

— Ну ладно, как-нибудь в другой раз в ближайшем будущем, — сказал Диккенс.

Вместе со мной он спустился вниз по лестнице, вышел из шале и проследовал через туннель.

— Я прикажу кому-нибудь из слуг довезти вас до станции, — сказал он.

— Спасибо, Чарльз.

— Я рад, что вы наведались в Гэдсхилл, друг мой.

— Я тоже рад, Чарльз. Визит оказался в высшей степени познавательным.

Я поехал не сразу в Лондон. На станции я подождал, когда запряженная пони коляска со слугой Диккенса скроется из виду, а потом сел на поезд до Рочестера. Бренди я с собой не привез, а потому дождался, когда

погост полностью опустеет — на земле уже лежали длинные вечерние тени от надгробных памятников, — и затем быстро прошел к известковой яме. На поверхности густой серой жижи я не обнаружил никаких признаков мертвого щенка. Немного пошарив в траве, я отыскал ветку, которой пользовался в прошлый раз. Через три-четыре минуты мне удалось подцепить и подтянуть поближе останки — главным образом череп с зубами, скелетные кости и хрящи, но также несколько клочьев шерсти и лоскутов шкуры. Вытащить все это на поверхность с помощью ветки оказалось делом трудным.

— Дредлс думает, мистеру Билли Уилки Коллинзу нужна вот эта штуковина, — раздался голос прямо у меня за спиной.

Я вздрогнул так сильно, что едва не свалился в известковую яму.

Дредлс удержал меня, подхватив под локоть твердой как камень рукой. В другой руке он сжимал усеянный шипами железный прут длиной футов шесть — то ли часть соборной ограды, то ли элемент декора со шпиля, то ли громоотвод с одной из башенок.

Дредлс протянул мне прут.

— Этим вам будет сподручнее, сэр.

— Спасибо, — промямлил я.

Действительно, длинный металлический прут, да еще с шипами, пришелся очень кстати. Я перевернул скелет щенка, решил, что более крупному телу потребуется пролежать в гашеной извести пять или шесть дней, и снова утопил останки крохотного существа в густой жиже. На секунду я представился себе неким зловещим поваром, помешивающим бульон, и с трудом подавил истерический смешок.

Я отдал железный прут Дредлсу и повторил:

— Спасибо.

— Да не за что, для Дредлса одно удовольствие услужить джентльмену, — просипел грязный каменотес.

Даже сейчас, прохладным вечером, лицо у него было таким же красным, как несколько дней назад, когда он орудовал молотком и зубилом в самую жару.

— Я забыл привезти бренди сегодня, — с улыбкой сказал я, — но любезно прошу вас пропустить несколько стаканчиков за мой счет в «Двухпенсовых номерах», когда в следующий раз туда заглянете. — Я вручил Дреддсу пять шиллингов.

Он подкинул монеты на темной от въевшейся каменной пыли, мозолистой ладони и широко ухмыльнулся. Я насчитал у него четыре зуба.

— Спасибочки вам, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Дреддс всенепременно выпьет за ваше здоровье.

— Замечательно. — Я кивнул, приятно улыбаясь. — Ну-с, мне пора.

— Мистер Ч. Диккенс, знаменитый писатель, тоже пользовался этой железякой, когда приезжал сюда год назад, — сообщил Дреддс.

Я резко повернулся. От едких испарений, поднимавшихся над ямой с известью, у меня слезились глаза, но на Дреддса ядовитые пары, похоже, не действовали.

— Прошу прощения? — промолвил я.

Дреддс снова ухмыльнулся.

— Он тоже пользовался этой железякой, которую я дал ему, чтоб ковыряться в этом месиве, сэр, — сказал он. — Только у мистера Чарльза Диккенса, знаменитого писателя, собака была покрупнее, сэр.

Глава 38

Двадцать девятого октября 1868 года я облачился в лучший свой парадный костюм и взял кеб до приходской церкви Сент-Мариле бон, где происходило бракосочетание Кэролайн Г*** и Джозефа Чарльза Клоу.

Невеста выглядела на все свои тридцать восемь лет, если не старше. Жених же выглядел даже моложе своих двадцати семи. Любому стороннему наблюдателю, не знакомому со Счастливой Четой, было бы вполне простительно принять Кэролайн за мать невесты или жениха.

Мать жениха присутствовала там — тупая низкорослая толстуха в нелепом темно-бордовом платье, вышед-

шем из моды лет десять назад. Она прорыдала всю церемонию и последующий короткий прием, и ее пришлось вести под руки к экипажу после того, как Счастливая Чета укатила — не в роскошное свадебное путешествие, а обратно в крохотный домишко, где они будут жить вместе с матерью Джозефа.

Гостей с одной и другой стороны было мало. Миссис Г***, свекровь Кэролайн, по понятной причине на свадьбу не явилась (хотя старуха всегда очень хотела, чтобы невестка вышла замуж вторично). Другая причина, почему бывшая свекровь Кэролайн решила не присутствовать на бракосочетании (если она вообще о нем знала), стала ясной, когда я мельком заглянул в метрическую книгу: Кэролайн придумала фальшивое имя для своего отца — некий «Джон Кортиней, джентльмен». Она вообще всю себя придумала заново — свою семью, свое прошлое, свое первое замужество, — каковой вымысел я (будучи ее «последним официальным работодателем») согласился поддерживать в любых мелочах в случае необходимости.

Соблазн перекроить себя на новый лад оказался заразительным. Я заметил, что юная Кэрри, выступавшая в роли свидетеля, подписалась на брачном сертификате «Элисабет Хэрриет Г***», изменив написание обоих своих имен. Но самую наглую ложь позволил себе жених, обозначивший род своих занятий словом «джентльмен».

Да уж, если водопроводчик с въевшейся в кожу грязью за ушами и нечистыми ногтями теперь считается английским джентльменом, значит Англия достигла наконец-то расчудесного социалистического строя, за который столь рьяно ратовали многочисленные реформаторы.

Надо признать, единственной особой, имевшей по-настоящему счастливый вид, была Кэрри — из-за юношеской ли своей беспечности или просто из-за преданной любви к матери она не только выглядела очаровательно, но и держалась так, будто все мы присутствуем при чрезвычайно радостном событии. Впрочем, под словами «все мы» я разумею лишь крохотную горстку людей.

Со стороны Джозефа Клоу в церкви сидели двое: рыдающая мамаша в креповом платье и не представленный нам небритый мужчина — может, брат Клоу, а может, просто приятель-водопроводчик, явившийся в надежде, что после церемонии будет угощение.

Со стороны Кэролайн на свадьбе присутствовали только Кэрри, Фрэнк Берд и я. Нас было так мало, что Берду пришлось расписаться в метрической книге после Кэрри в качестве второго из двух необходимых свидетелей. (Берд предложил расписаться мне, но я обладал не настолько сильной склонностью к ироническому абсурду.)

Джозеф Клоу всю церемонию простоял в одеревенелой позе, явно парализованный страхом. Кэролайн так широко улыбалась, и лицо у нее было таким красным, что я думал, она вот-вот разразится слезами и забьется в истерике. Даже приходский священник, похоже, чувствовал что-то неладное и, близоруко щурясь, часто окидывал взглядом наше крохотное собрание, словно ожидая услышать от кого-нибудь из нас, что все происходящее — просто шутка такая.

В ходе всей церемонии я ощущал странное онемение в теле и мозгу. Возможно, дело было в дополнительной дозе лауданума, принятой перед трудным днем для укрепления сил, но мне кажется, так выражалось сознание окончательной и бесповоротной разлуки. Признаюсь, когда жених и невеста повторяли заключительные клятвы, я смотрел на Кэролайн, неестественно прямо стоявшую в своем дешевом, плохо подогнанном свадебном платье, и вспоминал все мягкие (теперь слишком мягкие) изгибы и выпуклости тела, скрытого под ним. Я не испытывал никаких эмоций — только странное, всепоглощающее чувство опустошенности, которое впервые стало одолевать меня в последние недели, когда по возвращении домой на Глостер-плейс я не заставал там ни Кэролайн, ни Кэрри, ни даже всех трех своих слуг, часто отсутствовавших (с моего разрешения) в связи с болезнью родителей Бесс. Огромный дом, где не слышны голоса и звуки человеческой жизни, кажется вымершим.

По завершении церемонии не последовало ни угощения, ни приема, достойного таковым зваться, — просто непродолжительное и неловкое топтание во дворе приходской церкви. Потом новобрачные отбыли в открытом экипаже — погода стояла довольно холодная, и начал накрапывать дождь, но у молодых, по всей видимости, не хватило денег на карету. Образ счастливой четы, укатывающей навстречу блаженству, несколько подпортил Фрэнк Берд, когда предложил подвезти Кэрри и мать Джозефа Клоу в своей карете до того же самого дома, куда минутой ранее отправились молодожены. (Кэролайн посчитала важным, чтобы первые несколько недель ее супружества Кэрри провела вместе с ней в тесном, спартанском домишке, хотя девочка будет по-прежнему работать гувернанткой и вскоре вернется ко мне на Глостер-плейс.)

Наконец, после того как священник в полном замешательстве удалился обратно в полутемную церковь, во дворе на промозглом позднеоктябрьском ветру остались только второй водопроводчик (я все-таки решил, что он не приходится Джозефу родней) да я. Дотронувшись до шляпы и легко кивнув голодному мужчине, я двинулся прочь и дошел пешком до дома своего брата на Саут-Одли-стрит.

К концу жаркого лета Чарли несколько полегчало, и с середины сентября они с Кейти проводили больше времени в своем лондонском доме, нежели в Гэдсхилл-плейс. Чарли по мере сил работал над разными иллюстрациями, но с ним часто случались приступы желудочной боли и общей слабости.

Тем не менее я удивился, не застав брата дома в тот четверг двадцать девятого октября. Кейти тепло приняла меня в маленькой сумрачной гостиной. Она знала о свадьбе Кэролайн и попросила меня рассказать «обо всех восхитительных основных моментах». Она предложила мне бренди — очень кстати, ибо я озяб по дороге и явился с красными от холода щеками, носом и руками, — и у меня сложилось четкое впечатление, что Кейти уже выпила до моего прихода.

Я поведал «обо всех восхитительных основных моментах» — но не одной только свадебной церемонии, а всего своего многолетнего знакомства с миссис Кэролайн Г***. История, конечно, возмутительная с точки зрения обывателя, но я давно знал, что Кейти не разделяет многих мелкобуржуазных заблуждений своего отца. Если верить многочисленным слухам, Кейти уже давно завела любовника — или нескольких любовников, — дабы восполнить отсутствие страсти (или неспособность проявить оную) со стороны моего брата. Здесь, в маленькой полутемной гостиной с закрытыми ставнями и крохотным камином, служившим единственным источником света, рядом со мной сидела, потягивая бренди, обычная земная женщина, и я вдруг осознал, что рассказываю ей такие подробности наших с Кэролайн взаимоотношений, которыми не делился ни с кем, включая ее отца.

Потом в какой-то момент я понял: помимо потребности отвести наконец душу перед кем-нибудь есть еще одна причина, почему я рассказываю Кейт Диккенс все это.

Пусть неохотно, тайно, с мучительным чувством, но мне пришлось в конечном счете согласиться с предсказанием ее бессердечного отца, что мой старший брат долго не протянет. Болезнь Чарли, несмотря на редкие периоды облегчения, в целом неуклонно усугублялась. Теперь представлялось вполне вероятным (даже мне, преданному и любящему брату), что Чарли через год-другой умрет и эта увядающая (сейчас ей было двадцать восемь), но все еще привлекательная женщина станет вдовой.

Кейти тоже позволила себе излишнюю откровенность, заявив вдруг:

— Вы бы удивились, если бы узнали, что отец сказал о замужестве миссис Г***.

— И что же? — Я подался ближе к ней.

Она подлила еще бренди нам обоим, но помотала головой.

— Это уязвит ваши чувства.

— Чепуха. Никакие высказывания вашего отца не могут уязвить мои чувства. Очень уж давно нас с ним

связывают близкие, доверительные отношения. Пожалуйста, скажите мне. Что он сказал по поводу сегодняшней церемонии?

— Ну, мне он ничего не сказал, разумеется. Но я случайно услышала, как он сказал тете Джорджине: «Любовные истории с участием Уилки совершенно непредсказуемы. Вполне вероятно, вся затея с замужеством — просто фарс, разыгранный этой женщиной с умыслом заставить Уилки жениться на ней, однако, вопреки ее ожиданиям, послуживший к окончательному разрыву».

Я сидел, ошеломленный. И да, уязвленный. И изумленный. Неужели это правда? Неужели даже свадьба являлась очередной уловкой, на которую пустилась Кэролайн с целью затащить меня под венец? Неужели она надеялась, что я, осознав величину утраты, явлюсь за ней даже в дом Джозефа Клоу, презрев и поправ всякие супружеские узы, и попрошу ее вернуться ко мне... выйти замуж за меня? Я передернул плечами, испытывая чувство, похожее на отвращение.

— Ваш отец — очень умный человек, Кейти, — только и сумел выдавить я.

Ввергнув меня в удивление и трепетное волнение, она подалась ко мне и крепко сжала мою руку.

После третьего бренди я вдруг услышал, что плачущим голосом произношу тираду, которую много позже и в совершенно другой ситуации почти слово в слово повторю своему брату Чарли.

— Кейт... будьте ко мне снисходительны. Год у меня выдался просто ужасный: моя тяжелая болезнь, смерть матери, одиночество... Сегодня, на бракосочетании Кэролайн, я чувствовал, с одной стороны, странное удовлетворение, а с другой — непонятную горечь. В конце концов, она свыше четырнадцати лет была частью моей жизни и свыше десяти жила в моем доме. Мне кажется, дорогая Кейти, человек в моем положении достоин жалости. Я не... Я уже очень давно... Я не привык жить один. Я привык, чтобы рядом со мной постоянно находилась добрая женщина, которая бы разговаривала

со мной, как вы сейчас, Кейт... заботилась обо мне и немножко меня баловала. Это нравится всем мужчинам, но мне, вероятно, больше, чем очень и очень многим. Вам, женщине, жене, трудно понять, что испытывает мужчина, привыкший ежедневно видеть в доме очаровательное создание... всегда изящно одетое, всегда находящееся в одной комнате с ним или где-нибудь поблизости, привносящее тепло и свет в жизнь старого холостяка... что он испытывает, когда вдруг, не по собственному выбору, остается один, как я сейчас... совсем один в темноте и холоде.

Кейти смотрела на меня очень пристально. Похоже, она придвинулась ко мне, пока я говорил. Ее бедро под зеленым шелковым платьем было всего в нескольких дюймах от моего. Внезапно я почувствовал острое желание упасть перед Кейти на колени, уткнуться ей в подол и разрыдаться, как малое дитя. В тот момент я не сомневался: она бы обняла меня, погладила по спине, по голове, возможно даже, прижала бы к груди мое мокрое лицо.

Я остался сидеть на месте, но подался к ней еще ближе.

— Чарли очень болен, — прошептал я.

— Да. — В этом односложном слове не слышалось печали, только согласие.

— Я тоже тяжело болел, но точно выздоровлю. Моя болезнь носит преходящий характер. Даже сейчас она не мешает мне работать и... жить полноценной жизнью.

Кейти смотрела на меня, как мне показалось, выжидательно.

Тогда я проговорил тихо, но выразительно:

— Кейти, я полагаю, вы смогли бы выйти замуж за человека, который...

— Не смогла бы, — решительно промолвила она. И поднялась на ноги.

Сконфуженно отшатнувшись, я тоже встал. Кейт крикнула служанке принести мои пальто, трость и шляпу. Я очутился на крыльце, не успев придумать, что сказать. В любом случае я еще не обрел дар речи. Дверь с грохотом захлопнулась за мной.

Я прошел половину квартала, наклоняясь против холодного ветра с дождем, когда вдруг увидел Чарли на другой стороне улицы. Он окликнул меня, но я притворился, будто не заметил и не услышал его, и стремительно прошагал дальше, придерживая шляпу и заслоняя рукавом лицо.

Через два квартала я поймал кеб и поехал на Болсовер-стрит.

Марта Р*** открыла дверь сама, поскольку все слуги тогда отсутствовали. Она не ждала меня сегодня, и по ее лицу я понял, что она по-настоящему мне обрадовалась.

Той ночью она зачала первого нашего ребенка.

Глава 39

В ноябре Диккенс представил «убийство» перед зрительской аудиторией из сотни ближайших своих друзей и знакомых.

Уже больше года Неподражаемый вел переговоры с фирмой Чаппела насчет своего следующего турне — так называемой прощальной серии публичных чтений. Чаппел предложил провести семьдесят пять выступлений, но Диккенс — чей недуг усугублялся, слабость возрастала, а список разных болячек увеличивался с каждым днем — настаивал на ста выступлениях за круглую сумму в восемь тысяч фунтов.

Его старейший друг Форстер, всегда выступавший против чтецких гастролей по той веской причине, что они отвлекают Диккенса от литературной работы и отнимают у него здоровье и силы, решительно заявил Неподражаемому, что попытка дать сто выступлений сейчас, в нынешнем его состоянии, равнозначна самоубийству. Фрэнк Берд и остальные доктора, пользовавшие Диккенса последний год, были полностью согласны с Форстером. Даже Долби, чье присутствие в жизни писателя целиком зависело от публичных чтений, полагал, что пускаться сейчас в турне не стоит, а замахиваться аж на сто выступлений категорически нельзя.

И все до единого родственники, друзья, врачи и надежные советчики сходились во мнении, что Диккенсу не следует включать в программу прощального турне «убийство Нэнси». Иные — например, Уиллс и Долби — просто считали номер слишком сенсационным для столь уважаемого и почитаемого писателя. Большинство же остальных — Берд, Перси Фицджеральд, Форстер, я и многие другие — почти не сомневались, что этот номер убьет Неподражаемого.

В изнурительных тяготах предстоящего турне, не говоря уже о душевных муках, сопряженных с каждодневными путешествиями железной дорогой, Диккенс видел (как он выразился в разговоре с Долби) «облегчение для ума».

Здесь Диккенса не понимал никто, кроме меня. Я-то знал, что Чарльз Диккенс является своего рода суккубом в мужском обличье — на выступлениях он не только подчинял своей месмерической, магнетической власти сотни и тысячи зрителей, но также вытягивал из них энергию. Не имей он потребности и возможности питать свои силы таким образом, он наверняка уже много лет назад умер бы от болезней и немощей. Он был вампиром и нуждался в публичных выступлениях, чтобы за счет энергии зрителей поддерживать в себе жизнь.

В результате Чаппел согласился на условия Неподражаемого: сто выступлений за восемь тысяч фунтов в общей сложности. Программа американского турне — которое, как Диккенс признался мне, довело его до полного изнеможения — предусматривала восемьдесят выступлений, но из-за отмены нескольких дат сократилась до семидесяти шести. Кейти сказала мне (задолго до нашей встречи двадцать девятого октября), что совокупный заработок Диккенса от гастролей в Штатах составил двести двадцать восемь тысяч долларов, а расходы — главным образом на переезды, аренду концертных залов, проживание в гостиницах плюс пять процентов комиссионных отчислений американским агентам из фирмы «Тикнор и Филдс» — вылились в сумму менее тридцати девяти тысяч долларов. Предварительные расходы Дик-

кенса в Англии составили шестьсот четырнадцать фунтов, ну и разумеется, он выплатил три тысячи фунтов комиссионных Долби.

Вышесказанное заставляет предположить, что американское турне 1867–1868 годов принесло Диккенсу доход, равный небольшому состоянию — огромные деньги для любого литератора, — но он решил отправиться в гастрольную поездку по Штатам спустя всего три года после окончания Гражданской войны. Во время войны доллар повсюду сильно обесценился, и к началу лета 1868 года еще не восстановил свою меновую стоимость. Кейти объяснила мне: если бы отец просто вложил заработанные от американского турне деньги в ценные бумаги той страны и дождался, когда доллар вернет прежние позиции, он получил бы почти тридцать восемь тысяч фунтов прибыли. Но вместо этого Неподражаемый тогда же обратил доллары в золото, уплатив налог в размере сорока процентов. «Мой доход, — похвастался он дочери, — составил порядка двадцати тысяч фунтов».

Сумма внушительная, спору нет, но явно недостаточная, чтобы сопряженные с турне дорожные тяготы, физические и моральные затраты, изнурение сил и упадок писательских способностей окупились сполна.

Так что, вполне возможно, в случае последней сделки с Чаппелом Диккенс руководствовался столько же своими вампирическими потребностями, сколько элементарной жадностью.

Или же он пытался совершить самоубийство посредством турне.

Признаюсь, дорогой читатель, такое предположение не только приходило мне на ум и казалось вполне вероятным, но также обескураживало меня. Я хотел сам убить Чарльза Диккенса. Но возможно, будет лучше, если я просто помогу Неподражаемому совершить самоубийство выбранным им способом.

Диккенс начал турне шестого октября в своем любимом концертном зале Сент-Джеймс-Холл в Лондоне, но «убийство» в программу чтений не включил. Он знал,

что гастроли придется на время прервать: в ноябре предстоят всеобщие выборы, и на период выборной кампании он будет вынужден прекратить выступления по той простой причине, что арендовать концертные залы или театры, отвечающие нужным требованиям, будет решительно невозможно, покуда политики неистовствуют и беснуются. (Ни для кого не являлось секретом, что Неподражаемый поддерживал Гладстона и либеральную партию, но близкие друзья знали: он поступает так скорее потому, что всегда на дух не переносил Дизраэли, нежели потому, что верит в способность либералов провести в жизнь социальные реформы, за которые он, Диккенс, всегда ратовал в своих художественных произведениях, публицистике и публичных речах.)

Но даже щадящие октябрьские чтения, без «убийства» (Лондон, Ливерпуль, Манчестер, снова Лондон, Брайтон и Лондон), сильно подкосили здоровье Диккенса.

В начале октября Долби рассказывал о прекрасном настроении и радости Шефа в связи с возобновлением публичных чтений, но уже через две недели Долби признавал, что Неподражаемый мучится бессонницей в дороге, страдает тяжелыми приступами меланхолии и впадает в ужас всякий раз, когда садится в поезд. При малейшем толчке или покачивании вагона, по словам Долби, он вскрикивал от страха за свою жизнь.

К великой тревоге Фрэнка Берда, у Диккенса снова распухла левая нога (неизменный симптом более серьезных недугов) и с небывалой силой возобновились старые почечные боли и желудочные кровотечения.

Еще большее впечатление производили сообщения Кейти, доходившие до меня через брата: Диккенс часто плакал и порой был совершенно безутешен. Спору нет, в течение лета и ранней осени Диккенс понес немало личных утрат.

Его сын Плорн, сейчас семнадцати лет без малого, в конце сентября уехал в Австралию к своему брату Альфреду. На станции Диккенс разрыдался, хотя прежде всегда хранил спокойствие при расставаниях с близкими.

В конце октября, уже сильно утомленный тяготами турне, Неподражаемый узнал о смерти своего брата Фредерика, с которым очень давно не поддерживал никаких отношений. Форстер сказал мне, что в письме к нему Диккенс написал: «Он прожил никчемную жизнь, но не дай бог, чтобы кто-нибудь сурово осуждал это или вообще что-нибудь на свете, помимо умышленных и безусловно дурных деяний».

Мне же, во время одного из наших редких совместных ужинов в ресторации Верея, Диккенс просто сказал: «Уилки, мое сердце превратилось в кладбище».

В начале ноября, когда до публичного убийства Нэнси оставалось две недели, мой брат сообщил мне, что Кейти случайно услышала, как Неподражаемый говорит Джорджине: «Мне никак не справиться с душевным разладом, и у меня началась жестокая бессонница».

Он писал Форстеру: «Мне нездоровилось, и меня одолевала усталость. Однако мне не на что жаловаться — совершенно не на что. Хотя я изнурен, как Мариана».

Форстер, сам тогда находившийся не в лучшем состоянии, по секрету показал мне письмо (воображая, будто существует некий круг ближайших друзей Диккенса, премного озабоченных состоянием его здоровья), но признался, что не понял отсылки к «Мариане». Я-то сразу понял и с трудом подавил улыбку, цитируя слова Марианы из поэмы Теннисона, на которую, несомненно, и ссылался Диккенс:

> Изнурена, изнурена безмерно я.
> О боже, лучше умереть!

Одно из октябрьских выступлений в Сент-Джеймс-Холле я посетил без ведома Диккенса. Тогда Неподражаемый начал вечер с обычной живостью, всем своим видом показывая, сколь великое наслаждение лично он получает от очередного обращения к «Пиквикским запискам» (такие его чувства, искренние или притворные, неизменно приводили публику в восторг), но уже через несколько минут он запнулся и долго не мог выговорить слово «Пиквик».

— Пиксник, — назвал он своего персонажа, осекся, чуть не рассмеялся и попытался снова: — Пеквикс... Прошу прощения, дамы и господа, я хотел сказать, разумеется... Пикник! То есть Пакритс... Пекснифф... Пикстик!

После еще нескольких равно конфузных попыток Диккенс умолк и посмотрел на своих друзей в первом ряду (я в тот вечер сидел на балконе далеко от сцены) с выражением веселого изумления. Но я прочитал также на его лице легкое отчаяние, словно он просил о помощи. И даже со своего места в задних рядах смеющейся, обожающей толпы я почти физически ощутил запах внезапно нахлынувшей на него паники.

Все последние недели Диккенс без устали шлифовал текст «Убийства Нэнси», но пока не представлял номер перед публикой. За ужином в ресторации Верея он признался мне:

— Я просто боюсь выступать с ним, Уилки. Я не сомневаюсь, что повергну зрителей в ужас, даже если прочитаю хотя бы одну восьмую текста!.. Но не окажется ли впечатление столь страшным, столь невыносимо жутким, что они зарекутся впредь ходить на мои чтения, — вот какой вопрос смущает меня.

— Вы определитесь через несколько выступлений, когда хорошенько прощупаете публику, дорогой Чарльз, — сказал я тогда. — Вы почувствуете, когда настал нужный момент. Чутье никогда вам не изменяло.

Диккенс просто кивнул, принимая комплимент, и рассеянно отхлебнул вина.

Позже Долби сообщил мне, что я приглашен в качестве особого гостя — в числе ста пятнадцати других «особых гостей» — на закрытое чтение, которое состоится в субботу, четырнадцатого ноября, в Сент-Джеймс-Холле (дело происходило во время перерыва в турне, вызванного выборной кампанией).

Наконец-то Диккенс решился убить Нэнси.

Днем четырнадцатого ноября я отправился в Рочестер. Дредлс встретил меня перед собором, и я совершил заведенный ритуал дароприношения. Для этого пыль-

ного старика я покупал гораздо более дорогой бренди, чем для себя или своих особых гостей.

Довольно крякнув, Дредлс быстро затолкал подарок за пазуху, под толстые парусиновые куртки, фланелевые сюртуки и молескиновые жилеты. Он был таким пухлым и округлым в своих ста одежках, что я даже не заметил выпуклости от спрятанной под ними бутылки.

— Дредлс говорит, пожалте за мной, губернатор, — прохрипел он и повел меня вокруг собора и башни ко входу в подземную часовню.

Он нес с собой фонарь «бычий глаз» с опущенной шторкой, который ненадолго поставил на землю, пока хлопал себя по бокам и груди в поисках ключей. Он поочередно извлек множество ключей и ключных связок из множества своих карманов, прежде чем отыскал нужный.

— Берегите голову, мистер Билли Уилки Коллинз, — только и промолвил он, поднимая зашторенный фонарь и вступая в темный лабиринт.

День стоял пасмурный, и сквозь незастекленные трапециевидные проемы в крестосводчатом потолке почти не проникал свет. Эти сквозные отверстия, по замыслу давно умерших строителей собора призванные служить для освещения подземного некрополя, сейчас чуть не сплошь затягивали древесные корни, кусты, а в иных местах так и просто дерн. Я следовал за Дредлсом, ориентируясь главным образом по звуку и скользя ладонью по влажной каменной стене. Восходящая сырость.

«Тук-тук-тук... тук-тук-тук...» Похоже, Дредлс услышал эхо нужного тона. Он поднял шторку фонаря и показал мне участок стенной кладки в месте, где коридор плавно поворачивал и ступеньками уходил ниже в подземелье.

— Мистер Билли У. К. видит это? — спросил он, насыщая холодный воздух между нами алкогольными парами.

— Здесь стену разобрали, а потом отверстие заложили камнями поновее, заново посаженными на известковый раствор, — сказал я, стараясь не стучать зубами.

Говорят, в пещерах, где постоянно держится температура за пятьдесят градусов, всегда теплее, чем на промозглом ветру в ноябрьский день. Но только не в этой пещере-часовне.

— Так точно, сам Дредлс и поработал тут всего два года без малого назад, — сообщил он, обдав меня спиртным духом. — И никто на свете, ни настоятель, ни регент, ни даже другой каменщик, уже через два-три дня ничегошеньки не заметит, ежели новый раствор здесь сменится совсем свежим. Никто — коли за дело возьмется Дредлс.

Я кивнул.

— И прямо за стеной находится склеп?

— Нет, нет, — рассмеялся облаченный в сто одежек каменщик. — От мертвого старикана нас отделяют две стены. За этой стеной находится другая, подревнее. А промеж ними — полость шириной дюймов восемнадцать, не больше.

— Этого достаточно? — спросил я, у меня не хватило духу закончить фразу словами «для тела».

Дредлс пристально взглянул на меня, красные слезящиеся глаза заблестели в свете фонаря. Казалось, он ясно прочитал мои мысли и забавлялся от всей души.

— Нет, для цельного тела недостаточно, — сказал он чересчур громко. — Но для ребер, хребта, таза, мелких костяшек, часовой цепочки, одного-двух золотых зубов да славного, гладкого, оскаленного черепа... там места хватит с избытком, сэр. Хватит с избытком. Старикан в склепе не станет возражать, ежели в полости промеж стенами поселится новый постоялец, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр.

Меня затошнило. Если я не уберусь отсюда сейчас же, меня вырвет прямо на грязные, скроенные по одной колодке башмаки кладбищенского каменотеса. Но я все-таки задержался еще на минуту, чтобы спросить:

— Вы с мистером Диккенсом выбрали это место для костей, что он принесет?

— О нет, сэр. Наш мистер Чарльз Диккенс, знаменитый писатель, выбрал местечко потемнее и поглубже

для костей, которые он притащит Дреллсу. В низу вон той лестницы, сэр. Господину Уилки угодно посмотреть?

Я помотал головой и, не дожидаясь, когда мой спутник с фонарем двинется следом, ощупью выбрался наверх и наружу.

Вечером, сидя в Сент-Джеймс-Холле в числе ста с лишним ближайших друзей и знакомых Чарльза Диккенса, я прикидывал, сколько раз Неподражаемый выступал на этой сцене — либо в качестве актера, либо в качестве первого представителя новой породы писателей, начавших читать перед публикой свои произведения. Сотни раз? По меньшей мере. Он сам и является — или являлся — этой «новой породой писателей». Похоже, у него нет равных и нет достойных соперников. Публичное убийство Нэнси откроет новую страницу в профессиональной жизни литераторов.

Форстер сказал мне, что именно он убедил Диккенса спросить мнение Чаппелов по поводу пагубной (как считал Форстер) идеи включить «Убийство Нэнси» в программу чтений. И именно Чаппелы предложили опробовать столь мрачный и страшный номер на избранной зрительской аудитории.

Перед самым представлением я случайно услышал, как известнейший лондонский врач (не наш славный друг Берд, а другой) говорит Неподражаемому: «Мой дорогой Диккенс, поверьте мне на слово: если хотя бы одна из женщин завизжит, когда вы будете разделываться с Нэнси, в зале начнется повальная истерика».

В ответ Диккенс лишь скромно опустил голову и улыбнулся улыбкой, которую любой, кто его знал, посчитал бы скорее злобной, нежели озорной.

Заняв место во втором ряду, рядом с Перси Фицджеральдом, я заметил, что эстрада оборудована несколько иначе, чем всегда. Помимо привычной осветительной установки в виде рамы на переднем плане и фиолетово-бордового задника, создававшего чрезвычайно выгодный фон для чтеца на погруженной во мрак сцене, по обеим сторонам были поставлены еще две большие

ширмы того же цвета, наподобие кулис в театре, а за ними находились занавеси, тоже темно-бордовые, при помощи которых предполагалось уменьшать размеры широкой сцены до крохотного, ярко освещенного пространства, таким образом изолируя фигуру чтеца и привлекая к ней напряженное внимание зрителей.

Признаюсь, я ожидал, что Диккенс начнет выступление с какого-нибудь менее сенсационного номера — скажем, с сокращенной версии старинной и неизменно популярной сцены Суда из «Пиквикских записок» («Позовите Сэма Уэллера!»), — дабы постепенно подготовить публику к «буре и натиску» последующего убийства Нэнси и показать всем нам, как другие номера из концертной программы смягчат и сгладят впечатление от столь жуткого финала.

Но он этого не сделал. Он начал сразу с «убийства».

Я уже рассказывал вам, дорогой читатель, о ремарках Неподражаемого, сопровождавших черновой текст сцены убийства, написанный ранним летом, но я не могу сказать вам, насколько слабое представление дают они о том, что происходило в течение следующих сорока пяти минут, — да и мои скромные способности к описанию, пусть и отточенные за многие годы литературной практики, здесь бессильны.

Возможно, дорогой читатель, в вашем невообразимо далеком будущем, в конце двадцатого или начале двадцать первого века (если у вас все еще принято вести летоисчисление от Рождества Христова), вы изобрели, пользуясь новейшими достижениями научной алхимии, некое зеркало, способное отражать прошлое, и теперь можете видеть и слышать Нагорную проповедь, или речи Перикла, или первые представления шекспировских пьес в постановке самого автора. Коли так, я посоветовал бы вам добавить к вашему списку Обязательных к Просмотру Исторических Выступлений номер «Билл Сайкс убивает Нэнси» в исполнении некоего Чарльза Диккенса.

Разумеется, он приступил к «убийству» не с ходу.

Если вы помните, ранее я уже описывал вам публичные чтения Диккенса: спокойное поведение, открытая

книга в руке, хотя он практически никогда не заглядывал в текст, театральный эффект, достигавшийся за счет имитации самых разных голосов, наречий, осанок и ухваток в ходе выступления. Но еще никогда прежде Неподражаемый не превращал чтецкий номер в настоящий спектакль, мастерски перевоплощаясь в своих персонажей.

Здесь он начинал издалека, неспешно, но с величайшей актерской выразительностью, какой я доселе не видел у него (да и у любого писателя, публично читающего свои произведения). Фейджин, этот нравственно растленный еврей, явился взорам как никогда зримо — он ломал пальцы с видом, свидетельствующим об алчном предвкушении краденых денег, но одновременно о чувстве вины, и нервно потирал руки, словно пытался смыть с них кровь Христову. Ноэ Клейпол казался еще более трусливым и тупым, чем в романе. При появлении Билла Сайкса зрители невольно содрогнулись, исполняясь дурными предчувствиями, — редко когда удавалось столь убедительно изобразить лютую мужскую жестокость через диалог на нескольких страницах и воспроизведенные актерскими средствами повадки пьяницы, грабителя и головореза.

Ужас, владевший Нэнси, явственно ощущался с самого начала, но к моменту, когда она испустила первый из своих многочисленных воплей, все зрители сидели бледные и полностью поглощенные происходящим на подмостках.

Словно обозначая резкое различие между всеми своими предыдущими чтениями, происходившими на протяжении нескольких десятилетий (не говоря уже о жалких потугах подражателей), и новой эпохой сенсационного декламаторского искусства, наступившей для него, Диккенс отбросил в сторону книжку с текстом номера, вышел из-за чтецкой кафедры и буквально с головой окунулся в сцену, которую представлял перед нами.

Нэнси отчаянно молила о пощаде.

Билл Сайкс изрыгал проклятия в своей безжалостной ярости. Пощады не будет, несмотря на пронзительные

крики несчастной: «Билл! Дорогой Билл! Ради бога, Билл! Ради бога!»

Голос Диккенса отчетливо разносился по всему залу, и даже последние предсмертные мольбы Нэнси, произнесенные прерывистым шепотом, каждый из нас расслышал столь ясно, словно находился на эстраде, рядом с чтецом. Во время редких (но ужасных) пауз воцарялась такая тишина, что было слышно, как скребется мышь на пустом балконе позади нас. Мы слышали тяжелое, частое дыхание Диккенса, когда он изо всех сил опустил свою невидимую (очень даже видимую!) дубинку на череп бедной девушки... потом еще раз! И еще! И еще!

С помощью яркого освещения Диккенс добился поразительного зрительного эффекта. Вот он стоит на одном колене, изображая Нэнси, и в лучах света видны только запрокинутая голова и две бледные руки, вскинутые в тщетной мольбе. А в следующий миг он, уже в образе Билла, вскакивает на ноги и, откидываясь назад всем телом, заносит дубинку высоко над головой — причем внезапно он самым непостижимым образом раздается в плечах, становится выше ростом и гораздо плотнее Диккенса, и в залитых густой тенью глазницах жутко сверкают белки безумных глаз Сайкса.

Потом он бьет кулаком... дубинкой... снова кулаком... и снова дубинкой, сильнее прежнего. Умирающий голос милой девушки звучал все тише, все глуше по мере того, как жизнь и надежда покидали ее, и зрители цепенели от ужаса. Какая-то женщина судорожно всхлипнула.

Когда мольбы Нэнси прекратились, все на миг почувствовали облегчение, даже надежду, что жестокий негодяй внял мольбам и малая толика жизни все же осталась в зверски избитом теле. Многие зрители решились наконец открыть глаза — и только тогда Диккенс испустил самый громкий и самый дикий вопль Сайкса и вновь принялся колотить дубинкой умирающую девушку, потом мертвую девушку, потом бесформенную груду истерзанной, окровавленной плоти и волос.

Когда Диккенс закончил и враскорячку застыл над телом в той самой ужасной позе, которую его сын и мой

брат мельком видели на лугу за Гэдсхилл-плейс, его частое, тяжелое дыхание разнеслось в мертвой тишине, точно хриплое пыхтенье некой сумасшедшей паровой машины. Я не понимал, действительно он так запыхался или это просто часть представления.

Он закончил.

Женщины плакали. По меньшей мере с одной приключилась истерика. Мужчины сидели неподвижно, бледные, со сжатыми кулаками и вздутыми желваками. Я осознал, что оба моих соседа, Перси Фицджеральд и старый друг Диккенса Чарльз Кент, судорожно хватают ртом воздух.

Что же касается меня, скарабей в моем черепе совершенно обезумел во время чтения и лихорадочно прорывал, прогрызал ходы в моем мозгу. Боль была неописуемая, однако я не мог закрыть глаза или заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать «убийства», — настолько оно завораживало. Едва лишь Нэнси испустила дух, я вытащил из кармана серебряную фляжку и отпил четыре больших глотка лауданума. (Я заметил, что многие мужчины в зале тоже прикладываются к фляжкам.)

После того как Диккенс закончил, вернулся к своей кафедре, поправил лацканы, галстук и легко поклонился, в зале несколько долгих мгновений царила гробовая тишина.

В первый момент я решил, что аплодисментов не будет и что чудовищное непотребство, коим является «Убийство Нэнси», никогда впредь не повторится публично. Потрясенное молчание аудитории подскажет Чаппелам, какой приговор следует вынести. Форстер, Уиллс, Фицджеральд и все прочие друзья Диккенса, выступавшие против этой затеи, окажутся правы.

Но потом начались аплодисменты. Они становились все громче. И переросли в овацию, когда весь зал встал в едином порыве. И долго не стихали.

Мокрый от пота, но теперь улыбающийся Диккенс поклонился более глубоко, вышел из-за своей высокой кафедры и эффектно взмахнул рукой на манер фокусника. На сцену тотчас выбежали рабочие и в мгновение ока

убрали ширмы. Затем проворно раздвинули фиолетово-бордовые занавеси.

Взорам присутствующих открылся длинный, прекрасно освещенный банкетный стол, ломящийся от яств. Бутылки шампанского охлаждались в бесчисленных ведерках со льдом. Целая рота одетых по форме официантов была готова по первому сигналу броситься открывать устрицы и стрелять пробками. Диккенс снова взмахнул рукой и громко пригласил всех (после второго взрыва восторженных аплодисментов) подняться на сцену и отведать скромных угощений.

Даже эта часть вечера была тщательно срежиссирована. Когда люди вереницей потянулись на сцену, мощные газовые лампы живописнейшим образом освещали раскрасневшиеся лица, золотые запонки мужчин, разноцветные туалеты дам. Казалось, будто представление продолжается, но теперь все мы участвуем в нем. С ужасом, леденящим кровь, но одновременно сладостно щекочущим нервы, мы осознали, что ступаем по следам недавно убитой Нэнси.

Поднявшись на сцену, я остановился поодаль от стола и стал слушать, что люди говорят Диккенсу, который весь расплывался в улыбке, безостановочно промокая платком влажный лоб, щеки и шею.

В числе первых к нему подошли две актрисы, мадам Селест и миссис Келли.

— Вы мои судьи и присяжные, — весело промолвил Диккенс. — Продолжать мне выступать с этим номером или нет?

— О да, да, да, *oui*, да, — прошептала мадам Селест. Казалось, она в предобморочном состоянии.

— Конечно продолжать! — воскликнула миссис Келли. — Добившись такого результата, нельзя отступать! Никак нельзя. Но видите ли... — Тут актриса медленно и очень выразительно повела по сторонам своими огромными черными глазами и закончила фразу, тщательно выговаривая каждое слово: — Последние полвека пуб-

лика с нетерпением ждала сенсации, и вот наконец она ее дождалась!

Затем миссис Келли глубоко, прерывисто вздохнула и замерла неподвижно, словно лишившись дара речи. Неподражаемый глубоко поклонился, взял ее руку и поцеловал.

Подошел Чарли Диккенс, с пустой устричной раковиной в руке.

— Ну-с, Чарли, что ты теперь скажешь? — спросил Диккенс.

(Чарли был одним из тех, кто возражал против публичного чтения сцены убийства.)

— Это даже лучше, чем я ожидал, отец, — сказал Чарли. — Но я все же прошу тебя: не надо продолжать.

Диккенс с удивленным видом похлопал глазами. К ним приблизился Эдмонд Йетс со своим вторым бокалом шампанского.

— Как вам это нравится, Эдмонд? — спросил Диккенс. — Мой собственный сын Чарли говорит, что ничего лучше он в жизни не видел и не слышал, но тут же, не объясняя причин, настойчиво просит меня не выступать с этим номером.

Йетс взглянул на Чарли и серьезным, почти скорбным тоном промолвил:

— Я полностью согласен с Чарли, сэр. Не выступайте с этим больше.

— Боже милосердный! — со смехом вскричал Диккенс. — Меня окружают одни скептики. А вы, Чарльз... — Он указал на Кента, стоявшего рядом со мной.

Никто из нас еще не воспользовался случаем подкрепиться. Гул толпы вокруг нас набирал силу, голоса звучали все непринужденнее.

— И вы, Уилки, — добавил Диккенс. — Какого мнения держатся два старых моих друга и собрата по перу? Вы согласны с Эдмондом и Чарли, которые считают, что мне не следует выступать с «убийством»?

— Ни в коем случае, — ответил Кент. — Единственное мое возражение носит сугубо технический характер.

— Вот как? — произнес Диккенс.

Он говорил вполне дружелюбным тоном, но я знал, как мало его волнуют «возражения технического характера», когда дело касается его чтений или театральных работ. Он мнил себя великим мастером режиссуры и технических эффектов.

— Вы заканчиваете чтение... представление... тем, что Сайкс уволакивает мертвого пса из комнаты, где произошло убийство, и запирает за собой дверь, — сказал Кент. — Мне кажется, публика ждет большего... Возможно, бегства Сайкса? Почти наверняка — его падения с крыши на острове Джекоба. Публика хочет... ей необходимо увидеть, что Сайкс наказан.

Диккенс нахмурился. Воспользовавшись его молчанием, я заговорил:

— Я согласен с Кентом. То, что вы представили нам, поистине поразительно. Но концовка кажется... усеченной, что ли? Преждевременной? Я не берусь говорить за женщин, но мы, мужчины, по завершении действа испытываем известное неудовлетворение, ибо жаждем крови и смерти Сайкса столь же страстно, как Сайкс жаждал убить бедную Нэнси. Дополнительные десять минут послужили бы к переходу от беспросветного ужаса, в котором вы оставляете зрителя сейчас, к сильнейшему эмоциональному возбуждению в предвкушении желанной развязки.

Диккенс скрестил руки на груди и покачал головой. Я видел, что его накрахмаленная манишка насквозь промокла от пота и что пальцы у него мелко дрожат.

— Поверьте мне, Чарльз, — сказал он, обращаясь к Кенту, — удерживать внимание аудитории в течение еще десяти — даже пяти! — минут после смерти Нэнси решительно невозможно. Поверьте мне на слово. Я стою там... — он махнул рукой в сторону своей установленной на возвышении кафедры, — и я знаю.

Кент пожал плечами. Диккенс говорил в высшей степени убежденно — категорическим тоном Мастера, к какому он неизменно прибегал, когда хотел оставить за собой последнее слово в дискуссиях на предмет литературы

или театра. Но я сразу понял, что Неподражаемый тщательно обдумает поступившее предложение, и впоследствии нисколько не удивился, когда он в точности последовал совету Кента и удлинил номер, добавив к нему еще по меньшей мере три страницы текста.

Я отошел за устрицами и шампанским, а потом присоединился к Джорджу Долби, Эдмонду Йетсу, Чарли Диккенсу, Перси Фицджеральду, Чарльзу Кенту, Фрэнку Берду и прочим, стоявшим в глубине сцены, сразу за пределами яркого прямоугольника света. Диккенса теперь окружили дамы — все они пребывали в таком же возбужденном состоянии и, похоже, так же горячо призывали писателя выступать с «убийством Нэнси» и в дальнейшем, как две актрисы, подходившие к нему ранее. (Диккенс приглашал меня на представление вместе с Дворецким, то бишь с Кэрри, но я ничего не сказал девочке и сейчас был рад, что она здесь не присутствовала. Многие из нас, расхаживая по сцене с устрицами и шампанским, невольно смотрели себе под ноги, дабы убедиться, что наши начищенные черные туфли не ступают по лужам Нэнсиной крови.)

— Это безумие, — говорил Форстер. — Если он включит этот номер в программу хотя бы трети из оставшихся семидесяти пяти выступлений, он просто убьет себя.

— Согласен, — проворчал Фрэнк Берд; обычно жизнерадостный врач хмуро смотрел на узкий бокал в своей руке, словно шампанское в нем испортилось. — Это равносильно самоубийству. Диккенс не вынесет такого напряжения.

— Он пригласил репортеров, — сказал Кент. — Я слышал, как они делятся впечатлениями. Им страшно понравилось. В завтрашних газетах появятся восторженные отзывы. Все до единого мужчины, женщины и дети в Англии, Ирландии и Шотландии бросятся продавать свои зубы, чтобы купить билет на концерт.

— Большинство из них уже продали последние свои зубы, — заметил я. — Им придется найти еще что-нибудь, что можно заложить в ломбарде у еврея-ростовщика.

Мужчины вежливо рассмеялись, но затем наступило тягостное молчание и почти все снова помрачнели.

— Ежели репортеры напишут похвальные отзывы, — прогудел медведеподобный Долби, — Шеф непременно будет выступать с этим номером. По меньшей мере четыре раза в неделю вплоть до июня.

— Это убьет его, — повторил Фрэнк Берд.

— Многие из вас знают моего отца гораздо дольше, чем я, — сказал Чарли Диккенс. — Вы знаете способ отговорить его от этой затеи сейчас, когда он сознает, что вызвал — и сможет вызывать впредь — сенсацию своим «убийством»?

— Боюсь, это невозможно, — промолвил Перси Фицджеральд.

— Совершенно исключено, — подтвердил Форстер. — Он не станет внимать доводам разума. Не удивлюсь, если в следующий раз все мы встретимся в Вестминстерском аббатстве, на торжественных похоронах Диккенса.

Я чуть не расплескал шампанское при последних словах.

Вот уже несколько месяцев — с момента, когда Диккенс впервые объявил о своем намерении включить «убийство Нэнси» в большинство выступлений зимне-весеннего турне, — я считал, что подобное самоубийство очень даже на руку мне, страстно желающему смерти Неподражаемому. Но сейчас Форстер заставил меня осознать один почти несомненный факт: умрет Диккенс от естественных причин, или в результате самоубийственного турне, или под колесами тяжело груженного фургона завтра на Стрэнде, общественность в любом случае громко потребует устроить торжественные похороны. Лондонская «Таймс» и прочие газетенки, которые на протяжении многих лет являлись политическими противниками и злостными литературными критиками Чарльза Диккенса, первыми выступят с требованием погрести Неподражаемого в Вестминстерском аббатстве. Общественность, безнадежно сентиментальная, единодушно поддержит эту идею.

На похороны соберутся несметные толпы народа. Диккенс упокоится среди величайших литературных гениев Англии.

При одной мысли о неизбежности такого исхода я едва не заорал прямо там, на сцене.

Диккенс должен умереть, это решено. Но только сейчас я отчетливо осознал то, что в глубине души понял еще несколько месяцев назад, когда начал планировать убийство: Диккенс должен не просто умереть, а бесследно исчезнуть.

Ни о каких торжественных похоронах, ни о каком погребении в Вестминстерском аббатстве не может идти и речи. Мне невыносимо даже представить такое.

Потрясенный ужасным прозрением, я не следил за разговором, но смутно сознавал, что мужчины продолжают обсуждать, как бы отговорить Диккенса от намерения публично убить Нэнси еще много-много раз.

— Мне кажется, Чарльз все равно поступит так, как считает нужным, — тихо промолвил я. — Но именно мы, ближайшие друзья и родственники, должны позаботиться о том, чтобы Неподражаемого не погребли в Вестминстерском аббатстве.

— Вы имеете в виду — в самом скором времени, — сказал Фицджеральд. — Чтобы его не погребли там в самом скором времени.

— Разумеется. Именно это я и имел в виду.

Извинившись, я отошел за следующим бокалом шампанского. Толпа уже несколько поредела, но стала более шумной. По-прежнему хлопали пробки и официанты продолжали разливать игристое вино.

Я остановился, заметив краем глаза какое-то движение в глубине сцены, где совсем недавно суетились рабочие, уносившие прочь кафедру, ширмы и прочее оборудование.

Сейчас там не было никаких рабочих. Окутанная мраком, там стояла одинокая фигура в дурацком оперном плаще, тускло отблескивающем в свете газовых ламп, установленных на авансцене. Я увидел мертвенно-белое лицо и мертвенно-белые длиннопалые кисти.

Друд.

Сердце у меня подскочило к горлу, обитающий в моем мозгу скарабей мигом переместился на свою излюбленную наблюдательную позицию за левым глазом.

Но это был не Друд.

Фигура отвесила мне театральный поклон, широким жестом сняв цилиндр. Я увидел редеющие светлые волосы и узнал Эдмонда Диккенсона.

Не мог же Диккенс пригласить Диккенсона на свое пробное чтение. Как бы он разыскал его? И вообще, с какой стати ему?..

Мужчина выпрямился и улыбнулся. Даже с такого расстояния я разглядел, что у молодого Диккенсона нет верхних век. И передние зубы у него остро заточены.

Я круто развернулся, чтобы посмотреть, увидел ли Диккенс или еще кто-нибудь этого призрака. Похоже, больше никто его не заметил. Когда я повернулся обратно, фигура в черном оперном плаще уже исчезла.

Глава 40

В день Нового года я проспал до полудня и проснулся один, мучимый жестокой болью. Всю неделю до 1 января 1868 года стояла на удивление теплая погода, бесснежная, безоблачная, — никакого ощущения зимы, а сегодня еще и ни единой живой души в доме. Но день нынче выдался холодный и пасмурный.

Мои слуги Джордж и Бесс, муж и жена, попросили у меня разрешения уехать по меньшей мере на неделю в Уэльс, в «родовое гнездо» Бесс. Похоже, ее немощный отец и еще до недавних пор здоровая мать решили преставиться одновременно. Это было неслыханно, да и просто глупо, — отпустить всех слуг разом (они, я так понял, собирались взять с собой и Агнес, свою туповатую и невзрачную семнадцатилетнюю дочь), но я по доброте сердечной не стал возражать, только предупредил, что за время, проведенное в Уэльсе, они жалованья не получат. В связи с приемом, что я устраивал на Глостер-

плейс в канун Нового года, им пришлось отложить отъезд на неделю. Они отбыли первого января, через два дня после моего возвращения из Гэдсхилла, где я гостил неделю.

Кэрри оставалась со мной почти весь декабрь (у своей матери и нового отчима, который, шепотом сообщила она мне, сильно пьет, девочка провела всего дней десять), но ее работодатели, продолжавшие относиться к ней скорее как к гостье, чем как к гувернантке, собирались в сочельник укатить на пару недель в свое деревенское поместье, и я уговорил Кэрри поехать с ними. Там будут праздничные приемы, маскарады и фейерверк в новогоднюю ночь, там будут санные прогулки и катание на коньках при луне, там будут молодые джентльмены... я же не могу предложить ей подобных развлечений.

Первого января 1869 года я чувствовал, что вообще ничего никому не могу предложить.

После бракосочетания Кэролайн я старался по возможности реже бывать в пустом пятиэтажном доме на Глостер-плейс. В ноябре я гостил у Леманов и Бердсов столько времени, сколько мне позволили эти славные люди. Я даже провел несколько дней у Форстера (сильно меня недолюбливавшего) в нелепом, но комфортабельном особняке на Пэлис-Гейт. Форстер стал еще более надменным и занудным, чем после своей женитьбы на деньгах, и его неприязнь ко мне (или скорее ревность, ибо он видел соперника в любом, кто состоял с Диккенсом в более близких отношениях, чем он) возросла соразмерно с его благосостоянием и обхватом талии, но все же он слыл и сам полагал себя слишком благовоспитанным джентльменом, чтобы выставить меня прочь или поинтересоваться, с чего вдруг я решил погостить у него. (Если бы Форстер спросил, чему он обязан моим визитом, я бы честно ответил тремя словами: вашему винному погребу.)

Но нельзя же вечно жить по друзьям и знакомым, и потому часть декабря я провел в огромном старом доме на Глостер-плейс в обществе Кэрри, а Джордж, Бесс

и стеснительная Агнес суетливо сновали где-то на заднем плане, безуспешно стараясь избежать вспышек моего раздражения.

Когда Диккенс письменно пригласил меня приехать вместе с Кейт и Чарли на Рождество в Гэдсхилл-плейс, я поначалу заколебался — вроде как нечестно пользоваться гостеприимством человека, которого ты твердо решил убить при первом же удобном случае, — но в конечном счете неохотно принял приглашение. Просто дом на Глостер-плейс казался слишком пустым, когда пустовал.

Диккенс отдыхал в Гэдсхилле перед турне, возобновлявшимся через неделю, — он планировал впервые выступить с «убийством Нэнси» перед обычной публикой пятого января, снова в Сент-Джеймс-Холле, — но несколько декабрьских выступлений уже отняли у него все силы и пагубно сказались на здоровье. В коротком письме, которое он написал мне в декабре, когда ехал в Эдинбург на «Летающем шотландце», говорилось:

Дорогой Уилки!

Долби громоподобно спит рядом, и наш медведеобразный друг ни на миг не прервал своего оглушительного храпа, когда только сейчас наш вагон несколько раз подряд крепко тряхнуло, словно на разошедшихся рельсовых стыках, способных стать причиной крушения, а я потратил пару минут на вычисление следующего поразительного факта: за время, потраченное на все разъезды-переезды в ходе такого вот турне, приходится испытать в общей сложности свыше тридцати тысяч отдельных нервных потрясений. А с нервами у меня, как вам известно, дела нынче обстоят не лучшим образом. Воспоминания о Стейплхерстской катастрофе всегда со мной, а стоит мне хоть немного от них отвлечься, очередная нервная встряска, вызванная толчком вагона, мигом заставляет меня живо вспомнить все в мельчайших подробностях. И даже когда я совершенно неподвижен, грешная душа не знает покоя. Недавно я сказал нашему уважаемому американскому другу мистеру Филдсу, что я провожу оставшиеся и неумолимо убывающие часы своей жизни в пути к изнурительной пытке

палящими лучами моих особых газовых ламп на сцене и что близок момент, когда я сгорю дотла в этом раскаленном свете.

Диккенс находил еще чем изнурять себя помимо своего турне и замысловатого синтаксиса. Хотя он наконец упразднил проклятый «рождественский номер» «Круглого года» (что следовало сделать еще несколько лет назад, по моему разумению), он по-прежнему проводил по много часов в неделю в конторе на Веллингтон-стрит, возясь с макетом журнала, оценивая оформление, спрашивая у всех подряд мнение насчет размера типографских шрифтов и сочиняя жизнерадостные «Заметки редактора», где заверял всех читателей, встревоженных отсутствием «рождественского номера», что «мои коллеги и я останемся на своих постах, вместе с нашими более молодыми товарищами, которых я имел удовольствие привлекать к сотрудничеству время от времени и умножение числа которых я неизменно считаю одной из приятнейших своих редакторских обязанностей...».

Я не знаю, кого он подразумевал под «более молодыми товарищами», привлеченными к сотрудничеству: сам я отказался от работы в журнале; сыну Диккенса, Чарли, позволялось лишь отвечать на письма да вести нерегулярную колонку объявлений; а Уиллс, хотя и вернулся в редакционную контору, был способен единственно сидеть у себя в кабинете и таращиться в пустоту, прислушиваясь к беспрерывному хлопанью дверей в своем поврежденном черепе. В любом случае под определение «более молодой товарищ» он никак не подходил.

«Круглый год» всегда был почти телепатическим продолжением ума и личности Чарльза Диккенса.

Как будто ему было мало редакционной работы, выступлений в Шотландии и постоянных репетиций предстоящих «убийств Нэнси», Диккенс еще по много часов в день тратил на исполнение последней воли своего покойного друга Чонси Хэа Таунсенда, который в предсмертном бреду попросил Неподражаемого собрать все

его бесчисленные разрозненные записи на предмет религии. Диккенс занимался делом со всем усердием, доводя себя до еще сильнейшего изнеможения, но когда в сочельник, за стаканом посредственного бренди, Перси Фицджеральд спросил: «Они хоть представляют интерес как религиозные взгляды?» — Диккенс ответил: «Ни малейшего, мне кажется».

Во время моего недельного пребывания в Гэдсхилле Диккенс в свободные от работы часы пользовался теплой погодой, чтобы во второй половине дня совершать двадцатимильные прогулки, а не обычные пустяковые двенадцатимильные. Перси и несколько других гостей пытались сопровождать его в этих форсированных походах, но моя ревматоидная подагра и египетский скарабей не позволяли мне принимать в них участие. Посему я ел, пил бренди, вино и виски, курил довольно скверные сигары Неподражаемого, принимал лауданум лошадиными дозами, пытаясь справиться с меланхолией, читал книги, которые Диккенс и Джорджина всегда подбирали для своих гостей с учетом их вкусов и выкладывали в каждой гостевой комнате (на моем ночном столике лежала «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Де Куинси, подсунутая мне с нетонким намеком, но я уже читал ее, да и вообще лично знал Де Куинси с самого своего детства), и проводил в праздности дни, оставшиеся до тридцать первого декабря, когда я давал званый ужин на Глостер-плейс для Леманов, Чарли с Кейт, Фрэнка Берда и нескольких других приглашенных.

Но неделя в Гэдсхилле прошла для меня не совсем впустую.

На сей раз Чарльз Фехтер не прятал в кармане целое швейцарское шале, но он привез с собой черновой вариант пьесы «Черно-белый», общий замысел которой сам и подсказал мне несколькими месяцами ранее.

Дружба с Фехтером порой тяготила и утомляла меня: он постоянно претерпевал какие-то финансовые бедствия, а в части умения распоряжаться деньгами мало отличался от особо беспечного четырехлетнего ребенка.

Тем не менее поданная им сюжетная идея с французским дворянином, имеющим восьмую часть негритянской крови, который умудряется попасть на ямайский аукцион в качестве подлежащего продаже раба, показалась мне весьма плодотворной. Что еще важнее, Фехтер пообещал мне помочь в работе над пьесой, дабы избежать провисаний действия, композиционных изъянов, излишней многословности диалогов и прочих недостатков, коими — если верить Диккенсу и моему скарабею — грешила драма «Проезд закрыт».

Фехтер сдержал свое слово и в течение следующих двух месяцев частенько трудился в буквальном смысле бок о бок со мной, когда я писал «Черно-белого», — актер правил и сокращал текст, шлифовал и оживлял диалоги, отлаживал непроработанные моменты выхода и ухода со сцены действующих лиц, указывал на упущенные сценические возможности. А начали мы нашу совместную и не лишенную приятности работу над «Черно-белым» в библиотеке Гэдсхилл-плейс, за Диккенсовыми сигарами и бренди, сразу после Рождества 1868 года.

По завершении визита все мы вернулись к своим делам: Диккенс — к «убийству Нэнси», Фехтер — к усиленным поискам пьес и ролей, достойных своего, как он считал, великого таланта, а я — к пустой каменной громаде по адресу Глостер-плейс, девяносто.

Мой брат Чарли явился на устроенный мной новогодний прием, невзирая на усилившиеся нелады с желудком. Чтобы поднять всем настроение, я пригласил Берда, Леманов, Чарли и Кейт (она держалась со мной отчужденно после моего неудачного визита к ней двадцать девятого октября) на пантомиму во вновь открывшийся театр «Гэйети» непосредственно перед праздничным ужином.

Мой новогодний прием должен был удаться на славу: недавно я помог Нине Леман найти новую повариху, каковую особу теперь временно нанял, чтобы она приготовила нам изысканные французские блюда; я закупил огромное количество шампанского, вина и джина; пантомима привела нас в приятное расположение духа.

Но долгий вечер вымученного веселья обернулся прискорбным провалом. Казалось, будто все мы внезапно обрели способность проницать взором завесу времени и ясно увидели все бедствия, что постигнут нас в грядущем году. Нашим натужным стараниям удариться в разгульное веселье нимало не способствовало неприкрытое стремление моих слуг, Джорджа и Бесс, поскорее покончить со всеми этими хлопотами и уехать с утра пораньше в Уэльс к родителям Бесс, лежащим на смертном одре. (Их дочь Агнес свалилась с тяжелым крупом, а потому не помогала обслуживать гостей с обычной своей неуклюжей медлительностью.)

В общем, первого января я проснулся с чудовищной головной болью, позвонил Джорджу, чтобы он подал мне чай и приготовил горячую ванну, а потом, когда на звонок никто не явился, вспомнил, чертыхнувшись вслух, что эти двое уже уехали в Уэльс. С какой стати я отпустил слуг, когда мне без них никак?

Бродя в спальном халате по холодному дому, я обнаружил, что все следы вчерашней пирушки убраны, посуда перемыта и расставлена по местам, чайник стоит на плите, а на кухонном столе приготовлен завтрак для меня. Я застонал и налил себе чаю.

Все камины были заправлены, но не растоплены, и мне пришлось изрядно повозиться с дымоходными заслонками, прежде чем удалось разжечь огонь в гостиной, кабинете, спальне и кухне. Солнечная и необычно теплая для рождественской недели погода закончилась с наступлением нового года — сегодня было пасмурно, ветрено и сыпал мокрый снег, как я увидел, слегка раздвинув портьеры и выглянув в окно.

Управившись с поздним завтраком, я обдумал возможные варианты дальнейшего времяпрепровождения. Я сказал Джорджу и Бесс, что, скорее всего, на неделю переберусь в клуб, но два дня назад выяснилось, что в «Атенеуме» не будет свободных номеров до шестого или седьмого числа.

Я в любой момент мог вернуться в Гэдсхилл, но Диккенс собирался во вторник, пятого января (нынешний отвратительный день нового года приходился на пятницу), впервые «совершить убийство» перед ничего не подозревающей публикой в Сент-Джеймс-Холле и затем возобновить турне по Ирландии и Шотландии, а значит в ближайшие дни у него в доме будет царить страшная суета, сопряженная с бесконечными репетициями и последними приготовлениями к поездке. Мне нужно писать «Черно-белого», Фехтер сейчас в Лондоне, и возбужденная атмосфера Гэдсхилла меня совершенно не привлекает.

Но мне нужны слуги, горячая пища и женское общество.

Продолжая предаваться подобным мрачным размышлениям, я долго бродил по пустому дому, а потом наконец заглянул в кабинет.

В одном из двух кожаных кресел у камина сидел Второй Уилки. Ждал меня. Как я и предполагал.

Я оставил дверь кабинета открытой — все равно в доме никого больше не было — и уселся в свободное кресло. Теперь Второй Уилки редко разговаривал со мной, но он всегда внимательно меня выслушивал и порой утвердительно кивал. Изредка он мотал головой или бросал на меня вежливый, уклончивый взгляд, который, как я знал из высказываний Кэролайн относительно моих собственных внешних реакций, означал несогласие.

Вдохнув, я принялся рассказывать Второму Уилки о своем плане убийства Диккенса.

Я говорил обычным голосом минут десять и уже дошел до рассказа о Дредлсе, нашедшем полость между стенами склепа под Рочестерским собором, и воздействии негашеной извести на труп щенка, когда вдруг увидел, что затуманенный опиумом взгляд Второго Уилки перемещается чуть в сторону и останавливается на чем-то, находящемся у меня за спиной. Я быстро обернулся.

Там стояла Агнес, дочь Джорджа и Бесс, в ночной сорочке, халате и стоптанных тапках. Ее круглое, плоское,

некрасивое лицо заливала такая бледность, что даже губы побелели. Она переводила глаза с меня на Второго Уилки и обратно. Маленькие руки с обгрызенными ногтями девочка держала у груди на манер кроличьих лапок. Я ни на миг не усомнился, что она уже давно стоит там и слышала все до единого слова.

Прежде чем я успел открыть рот, Агнес резко повернулась и бросилась к лестнице. Я слышал частое шлепанье тапок — она бежала к своей спальне на четвертом этаже.

Объятый паникой, я взглянул на Второго Уилки. Он потряс головой с видом скорее печальным, нежели встревоженным. По выражению его лица я понял, что́ мне придется сделать.

Если не считать слабого света от каминов, горевших в нескольких комнатах, дом теперь погрузился во тьму. Теплая погода рождественской недели закончилась снежной бурей, разразившейся к вечеру первого января. Я продолжал стучать в дверь Агнес.

— Агнес, пожалуйста, выйди. Мне нужно поговорить с тобой.

Никакого ответа, только сдавленные рыданья. Дверь была заперта. В спальне у девочки горели свечи, и, судя по очертаниям теней, различимых в припорожной щели, она придвинула к двери тяжелое бюро или умывальник.

— Агнес, выйди, пожалуйста. Я не знал, что ты здесь, в доме. Выйди, давай поговорим.

Снова рыданья. Потом:

— Извините, мистер Коллинз... Я не одета. Мне нездоровится. Я не хотела ничего дурного... Мне нездоровится.

— Ну ладно, — спокойно сказал я. — Мы поговорим утром.

Я спустился в темную гостиную, зажег несколько свечей и обнаружил записку, которую не заметил раньше днем. Она была написана Джорджем и оставлена на каминной полке.

Уважаемый мистер Коллинз, Сэр!

Наша дочь Агнес захворала. Мы с Бесс собирались взять ее с собой в Уэльс, но нынче утром передумали, потому как бедняжку лихоманит. Мы думаем, негоже приносить лихоманку к двум смертным одрам.

С Вашего позволения, Сэр, мы оставляем Агнес под вашей опекой и покровительством до следущего вторника, когда я (Джордж) надеюсь вернутся к вам в услужение, не зависимо оттого, как Судьба распорядится с родителями Бесс.

Она может стряпать для вас, Сэр. (Агнес) Худо бедно. И хотя угодить Вашим вкусам у ней не получится, она будет каждый день убирается в доме, коли вы не решите провести всю неделю в Вашем Клубе. По крайней мере, мистер Коллинз, пока она оправлятся от болезни и выполняет свои не хитрые обязанности, грабители будут знать, что дом непустует в Ваше отсутствие.

Ваш покорный слуга

Джордж.

Как же я не заметил записки несколько часов назад, когда возился с дымоходными заслонками и разжигал камин? Я хотел было бросить ее в огонь, но потом передумал. Стараясь не смять листок, я положил его на прежнее место. Что делать?

Ладно, час уже поздний. Я займусь этим делом завтра с утра пораньше. А для этого мне понадобятся деньги.

На следующий день, в субботу, я проснулся на рассвете и принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. Когда серый сумрак в спальне стал рассеиваться (я нарочно не задернул тяжелые портьеры позавчера ночью), я увидел на стуле рядом с дверью тоненькую стопку страниц, исписанных Вторым Уилки. Вчера днем я их не заметил, но, скорее всего, они появились здесь позапрошлой ночью, поскольку по завершении новогоднего приема Фрэнк Берд любезно сделал мне укол морфия перед уходом. Чаще всего я видел сны, связанные с Друдом, и диктовал своему двойнику именно под воздействием морфия.

Никакой необходимости в спешке нет, продолжал повторять я себе. Что бы там ни подслушала туповатая девочка, она никому ничего не расскажет до возвращения своих родителей или, по крайней мере, Джорджа.

Лежа на широкой кровати в бледном свете раннего утра, я размышлял о том, как мало внимания обращал на присутствие Агнес в течение многих лет. Поначалу она была просто лишним крохотным ртом, который приходилось кормить (но не требующим иных расходов), — неким довеском к Джорджу и Бесс, слугам далеко не самым лучшим, зато очень дешевым. На деньги, сэкономленные на них за многие годы, я всегда мог нанять превосходную повариху в случае надобности. Собственно говоря, одной арендной платы, по-прежнему поступавшей мне за огромные конюшни, расположенные за домом на Глостер-плейс, с лихвой хватало на жалованье для родителей Агнес.

Агнес — со своими обгрызенными ногтями, плоским круглым лицом, неуклюжими повадками и легким заиканием — стала такой привычной частью моего домашнего окружения (и здесь, и на Мелкомб-плейс), что я воспринимал ее как предмет обстановки. И еще на протяжении многих лет я видел в ней не столько служанку, сколько некий выгодный фон для ума и красоты Кэрри, хотя девочки и играли вместе в детстве. (Кэрри потеряла всякий интерес к тупой и напрочь лишенной воображения Агнес, едва немного подросла.)

Но что же мне делать теперь, когда Агнес увидела Второго Уилки и услышала, как я рассказываю о своем плане убийства Диккенса?

Здесь нужны деньги, ясное дело. На ум пришла сумма в триста фунтов. Такая сумма, зримо явленная в банкнотах и золотых монетах, покажется туповатой девочке целым состоянием, однако не настолько огромным, чтобы превзойти всякое понимание и превратиться в чистую абстракцию. Да, триста фунтов — самое то, что следует предложить.

Но где их достать?

За последние несколько дней я истратил все свои наличные и выписал кучу чеков, приобретая билеты на пантомиму, покупая джин и шампанское для праздничного ужина, оплачивая услуги новой лемановской поварихи. Банки откроются только в понедельник, и, хотя я лично знаком с управляющим моего банка, мне никак не пристало являться к нему домой в выходные с просьбой обналичить чек на триста фунтов.

Диккенс ссудил бы меня такой суммой, разумеется, но мне понадобится добрых полдня, чтобы добраться до Гэдсхилла и воротиться обратно. А я не хотел оставлять Агнес одну на столь долгое время. Сейчас, когда ее родителей и Кэрри нет дома, ей не с кем поговорить. Но что, если она напишет и отправит письмо в мое отсутствие? Это было бы катастрофой.

Вдобавок я не хотел возбуждать у Диккенса любопытство, с чего мне вдруг срочно понадобились триста фунтов в выходные.

То же самое относилось и к другим людям в Лондоне, которые могли бы ссудить меня нужной суммой по первой же просьбе, — Фред и Нина Леманы, Перси Фицджеральд, Фрэнк Берд, Уильям Холмен Хант. Никто из них не отказал бы мне, но все задались бы лишними вопросами. Фехтер никогда не спросил бы, зачем мне нужна такая сумма, и никогда не стал бы гадать, куда я потратил деньги и верну ли долг, но Фехтер, по обыкновению, сам сидел на мели. На самом деле за последний год я взаимообразно передал актеру столько денег и вложил столько собственных средств в «постановочные расходы» (еще не окупившиеся) сначала на спектакль «Проезд закрыт», а теперь уже и на «Черно-белого» (хотя работа над пьесой только началась), что к началу нового года я сам находился в довольно стесненных обстоятельствах.

Приняв ванну и одевшись с особым тщанием, я услышал суетливую возню на кухне внизу.

Агнес тоже нарядилась в лучшее платье из своего скудного гардероба (при мысли, что она приоделась для

поездки, я испытал приступ паники) и готовила сытный завтрак для меня, когда я вошел в кухню.

При моем появлении девочка вздрогнула и попятилась в угол.

Я одарил Агнес самой своей сердечной и добродушной улыбкой, остановился в дверях и вскинул раскрытые ладони, показывая миролюбие своих намерений.

— Доброе утро, Агнес. Ты сегодня очаровательно выглядишь.

— Д-д-доброе утро, мм... мистер Уилки. Спасибо, сэр. Ваши тосты и яичница с фасолью и беконом уже п-п-почти готовы, сэр.

— Замечательно, — сказал я. — Можно я позавтракаю на кухне, в твоем обществе?

На лице у нее отразился неподдельный ужас.

— Хотя нет, пожалуй, я поем в столовой зале, как обычно. «Таймс» уже принесли?

— Д-д-да... д-д-да... с-сэр, — пролепетала девочка. — Г-газета на столе в столовой. — Во второй раз слово «сэр» она опустила, чтобы не запнуться на нем опять. Щеки у нее пылали, бекон на плите подгорал. — В-вам сегодня подать кофий... мистер Уилки... или чай?

— Кофий. Спасибо, Агнес.

Я прошел в столовую и ждал там несколько минут, просматривая газету. На каждой тарелке, принесенной служанкой, все было либо подгорелым, либо сырым, либо — странное дело — подгорелым и сырым одновременно. Даже кофий отдавал гарью, и девочка расплескала его в блюдце, когда наливала. Я съел и выпил все, старательно изображая удовольствие.

Когда она зашла в столовую, чтобы подлить мне кофия, я снова лучезарно улыбнулся и сказал:

— Ты можешь присесть и поговорить со мной, Агнес?

Она бросила взгляд на пустые стулья у стола и снова с ужасом уставилась на меня. Сидеть за господским столом? Такое недопустимо.

— Или можешь стоять, коли тебе так удобнее, — дружелюбно добавил я. — Думаю, нам следует поговорить о...

— Я ничего вчера не слыхала, — задыхаясь, выпалила она; слово «ничего» прозвучало как «ничо». — С-с-совсем ничего, мистер Уилки, сэр. И ничего не видала. Я никого не видала с вами в вашем кабинете, мистер Уилки, — клянусь, никогошеньки! И не слыхала ничего... — *(Ничо.)* — Ни про мистера Диккенса, ни про что другое.

Я натужно хихикнул:

— Все в порядке, Агнес. Все в порядке. Меня навещал мой кузен...

Ну да, кузен. Мой кузен-близнец. Кузен-двойник. Похожий на меня как две капли воды кузен, о котором я ни разу прежде словом не обмолвился, ни разу не упомянул Джорджу или Бесс. В точности похожий на меня во всем, вплоть до очков, сюртука и жилета, толстого живота и проседи в бороде.

— ...и я познакомил бы тебя с ним, если бы ты не убежала столь стремительно, — закончил я.

Так долго удерживать на лице широкую ласковую улыбку было трудно — особенно в процессе речи.

Девочка тряслась всем телом. Она схватилась одной рукой за спинку стула, чтобы не упасть. Я заметил, что ногти у нее обгрызены уже до крови.

— Мой... кузен... он тоже литератор, — мягко произнес я. — Возможно, вчера ты услышала заключительную часть вымышленной истории, что мы вдвоем сочиняли... об убийстве некоего писателя вроде мистера Диккенса, который, как тебе известно, часто бывает у меня и счел бы нашу историю весьма занятной. Речь шла о человеке вроде мистера Диккенса — его имя мы взяли чисто условно, — но, разумеется, не о самом мистере Диккенсе. Ты ведь знаешь, что я пишу сенсационные романы и пьесы, а, Агнес?

Девочка затравленно озиралась по сторонам. Что я стану делать, коли она сейчас упадет в обморок, или завизжит, или выбежит на улицу в поисках констебля?

— В любом случае, — закончил я, — ни я, ни мой кузен не хотим, чтобы ты превратно истолковала наш с ним разговор.

— Извините, мистер Уилки. Я ничего не видала и не слыхала. — Последнюю фразу она повторила четыре раза.

Я отложил газету и встал со стула. Маленькая Агнес подскочила на добрых полфута.

— Я отлучусь из дома на несколько минут, — бодро промолвил я. Больше я ни словом не упомяну о прошлом вечере. Ни разу. — И скоро вернусь. Будь добра, погладь восемь лучших моих парадных сорочек.

— Мама погладила их перед самым отъездом, — сдавленным голосом проговорила Агнес. При словах «мама» и «отъезд» глаза у нее наполнились слезами и руки задрожали пуще прежнего.

— Да, — почти грубо сказал я, — но недостаточно тщательно. На следующей неделе я несколько раз иду в театр, и мне потребуются безупречно отутюженные сорочки. Не могла бы ты заняться ими сейчас же?

— Да, мистер Уилки. — Девочка низко опустила голову и, взяв кофейник, торопливо вышла прочь.

Доставая пальто из стенного шкафа в вестибюле, я услышал, как она ставит утюг на плиту.

Мне необходимо занять Агнес каким-нибудь делом на час. Я должен быть уверен, что у нее не будет времени написать и отправить письмо, не будет времени обдумать ситуацию и сбежать.

Если я сумею удержать девочку здесь в течение ближайшего часа, потом мне уже ничего не будет угрожать.

Ничо.

Марта Р*** страшно обрадовалась, увидев меня на пороге. Она всегда радовалась при виде меня. Жила она неподалеку от Глостер-плейс, и мне повезло сразу остановить свободный кеб, выезжавший с Портсмен-Сквер рядом с моим домом. Еще немного такого везения — и я вернусь прежде, чем Агнес отутюжит первую сорочку, и, уж конечно, прежде, чем она успеет написать письмо.

На первый взгляд Марта (известная своей домохозяйке и соседям под именем «миссис Доусон») казалась

недостаточно состоятельной особой, чтобы обращаться к ней за тремястами фунтами, хотя она и получала от меня весьма щедрое содержание в двадцать фунтов ежемесячно. Но я знал ее образ жизни. Она почти ничего для себя не покупала, питалась скромно, сама шила все свои платья и вообще тратила очень мало. Она всегда откладывала из денег, что я давал каждый месяц, и вдобавок привезла из Портсмута кое-какие сбережения.

Я сообщил, что мне нужно.

— Ну конечно, — сказала Марта, вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с тремястами фунтами в банкнотах и монетах разного достоинства.

Отлично.

Я засунул деньги в карман пальто и взялся за дверную ручку.

— Спасибо, голубушка. Я верну деньги в понедельник утром, когда банки откроются. А возможно, и раньше.

— Уилки?

Я остановился. Она редко называла меня по имени.

— Да, дорогая моя? — Мне пришлось совершить над собой изрядное усилие, чтобы не выдать голосом своего нетерпения.

— Я в тягости.

Я часто поморгал. Меня вдруг обдало жаром, и волоски на загривке встали дыбом.

— Вы меня слышите, Уилки? Я в тягости.

— Да, я слышу.

Я отворил дверь, но задержался на пороге. Марта понятия не имела, сколь драгоценны секунды и минуты, что я тратил на нее.

— Какой срок? — тихо спросил я.

— Думаю, наш ребеночек родится в конце июня или в начале июля.

Значит, она зачала чуть больше двух месяцев назад. Той самой октябрьской ночью — после бракосочетания Кэролайн.

Я улыбнулся. Я понимал, что мне следует сделать три шага вперед и обнять Марту, — я знал: она ждет этого,

хотя обычно ничего не ждала и не требовала от меня, — но я слишком спешил. Посему я просто улыбнулся.

— Нам придется повысить твое содержание впоследствии, — сказал я. — Возможно, с двадцати фунтов до двадцати пяти.

Она кивнула и уставилась в вытертый ковер под ногами.

— Я верну эти три сотни при первой же возможности, — пообещал я.

И вышел прочь.

— Зайди в гостиную, дитя мое.

К моменту моего возвращения Агнес утюжила третью сорочку. Кебмену я велел ждать у дома. По дороге с Болсовер-стрит я напряженно обдумывал, где бы нам с девочкой лучше поговорить. В кухне обстановка слишком обыденная... и пока еще я не хотел соваться туда. В обычных обстоятельствах я велел бы служанке явиться ко мне в кабинет для разговора, но сейчас такой приказ испугал бы Агнес. Оставалась гостиная.

— Присядь, пожалуйста, — сказал я.

Сам я разместился в большом кожаном кресле у камина и теперь указал ей на простой деревянный стул, который заранее придвинул. На сей раз я говорил тоном, не допускающим возражений. Девочка села и опустила взгляд на свои красные руки, сложенные на коленях.

— Агнес, в последнее время я часто думал о твоем будущем...

Она не подняла глаз. Ее била мелкая дрожь.

— Как тебе известно, недавно я устроил Кэрри... мисс Г***... на замечательное место гувернантки в прекрасной семье.

Агнес ничего не сказала.

— Не молчи, пожалуйста. Ты знаешь, что Кэрри служит гувернанткой?

— Да, сэр. — Слова прозвучали так тихо, что их мог бы заглушить даже шорох осыпающейся золы в камине.

— Я решил, что пора и тебе получить такую же возможность.

Наконец-то она посмотрела на меня. Веки у нее были такие же красные, как руки. Она что, плакала в мое отсутствие?

— Пожалуйста, прочитай это. — Я протянул девочке письмо, которое написал накануне вечером на лучшей своей почтовой бумаге.

Желтоватый плотный лист дрожал в ее руках, пока она медленно читала, шевеля губами. Закончив, она попыталась вернуть письмо мне.

— Вы... очень добры... сэр. Очень добры.

По крайней мере, чертово заиканье прошло.

— Нет, оставь это у себя, дитя мое. Это твое рекомендательное письмо, причем составленное в самых изысканных выражениях, позволю себе заметить. Я уже выбрал семью, где ты будешь работать. У них поместье под Эдинбургом. Я письменно уведомил их, что ты приедешь и приступишь к выполнению своих обязанностей завтра.

Глаза у нее расширились до чрезвычайности. Мне показалось, она вот-вот лишится чувств.

— Я ничего не умею по части гувернантства, мистер Уилки.

Ничо.

Я по-отечески улыбнулся. Я испытывал искушение податься вперед и ласково похлопать девочку по трясущимся рукам, но боялся, что она вскочит и бросится прочь, коли я до нее дотронусь.

— Это не имеет ни малейшего значения, Агнес. Мисс Кэрри тоже ничего не умела, пока не начала работать. И посмотри, каких успехов она добилась.

Агнес снова уставилась на свои руки, сложенные на коленях. Когда я неожиданно встал с кресла, она вздрогнула всем телом. В тот момент я начал понимать, почему мужики колотят своих жен: человек, ведущий себя как трусливый заяц, просто напрашивается на побои, коих трусливый заяц и заслуживает. Тяжелая каминная кочерга назойливо лезла мне в глаза.

Я раздвинул оконные портьеры.

— Глянь-ка туда, Агнес, — велел я.

Она подняла на меня затравленный, полный ужаса взгляд.

— Встань, Агнес. Вот и умница. Посмотри в окно. Что ты видишь?

— Крытый экипаж, сэр.

— Это кеб, Агнес. Он ждет тебя. Кучер отвезет тебя на железнодорожную станцию.

— Я еще никогда не каталась в кебе, сэр.

— Знаю. — Я со вздохом отпустил тяжелые портьеры. — Впереди тебя ждет множество новых, чудесных впечатлений — и поездка в кебе станет первым из них.

Я отошел к столу и вернулся с планшеткой, листом почтовой бумаги и карандашом. Я решил, что в нынешнем своем состоянии девочка не управится с пером и чернилами.

— Агнес, сейчас ты напишешь коротенькую записку родителям — сообщишь, что тебе подвернулась замечательная работа и что ты уезжаешь из Лондона. В подробности вдаваться не надо... просто пообещай, что напишешь обо всем обстоятельно, как только приступишь к обязанностям на новом месте.

— Сэр... я... я не могу... я не умею...

— Напиши то, что я продиктую, Агнес. Возьми карандаш. Вот умница.

Я продиктовал всего четыре предложения — самых незатейливых, какие написала бы эта туповатая девочка, — и потом просмотрел записку. Корявый нервный почерк, заглавные буквы вперемежку со строчными, чудовищные ошибки в самых простых словах — но так было бы в любом случае.

— Прекрасно, голубушка. Теперь поставь свою подпись. Напиши «ваша любящая дочь Агнес».

Она так и сделала. Я отнес планшетку и карандаш обратно на стол, а записку свернул и спрятал в карман. Потом я выложил триста фунтов на диван между нами.

— Это тебе, дитя мое. Семья, которой я рекомендовал тебя, будет тебе платить, разумеется... платить очень хорошо, даже больше, чем сейчас зарабатывает мисс

Кэрри, — старинные шотландские семейства бывают очень щедрыми... Но на эти деньги — согласись, тоже немалые — ты сможешь по прибытии в Эдинбург купить себе новую одежду, более подходящую для твоей новой работы. И даже после этого у тебя еще останется кругленькая сумма, которой вполне хватит на первые год-два.

Я никогда раньше не замечал у нее веснушек. Сейчас круглое лицо Агнес заливала такая бледность, что веснушки резко выделялись.

— Мама... — с усилием проговорила она. — Папа... я не могу... они...

— Они страшно обрадуются, — заверил я. — Я все объясню им, когда они вернутся, и они наверняка приедут проведать тебя при первой же возможности. Теперь ступай наверх и собери все вещи, какие ты хочешь взять с собой в новую жизнь. Не забудь самые свои красивые платья. Там будут приемы и балы.

Она не шелохнулась.

— Ступай! — скомандовал я. — Нет! Вернись. Возьми деньги. А теперь иди!

Агнес побежала наверх паковать свои тряпки и прочие убогие вещички.

Я поднялся за ней, чтобы проверить, выполняет ли она мое распоряжение. Потом я спустился в подвал, где Джордж хранил свой ящик с инструментами. Взяв большой молоток с гвоздодером и увесистый ломик, я вернулся наверх.

Дорогой читатель далекого будущего, если сейчас вы склонны осудить меня, я прошу вас воздержаться. Доведись вам встречать меня в реальной жизни, вы бы знали, что я человек мягкий.

Я сызмалу проявлял мягкость в поведении и поступках. Я пишу... писал... сенсационные романы, но живу... жил... тихой, мирной жизнью, просто образцово-показательной. Моя мягкость всегда привлекала женщин, вот почему я — низенький, полноватый господин в очках —

пользовался большим успехом у дам. Даже наш друг Чарльз Диккенс постоянно подтрунивал над моей мягкотелостью, как будто отсутствие всякой агрессивности превращало меня в посмешище.

По пути домой от Марты я в очередной раз осознал, что неспособен даже пальцем тронуть юную Агнес, сколь бы губительной ни оказалась для моей жизни и карьеры ее неизбежная неосмотрительность. Я никогда ни на кого не поднимал руки во гневе.

«Ага! — воскликнете вы, дорогой читатель. — Но как же насчет вашего намерения застрелить Друда и Диккенса?»

Позвольте напомнить вам, дорогой читатель: Друд не является человеком в привычном понимании этого слова. Он убил десятки, если не сотни невинных людей. Он выходец из Черных Земель, что видятся мне во сне каждый раз, когда Фрэнк Берд колет мне морфий.

А Диккенс... Я уже рассказал вам, как Диккенс обращался со мной. Судите сами, дорогой читатель. Сколько лет вы смогли бы выносить высокомерие и снисходительность этого человека, хвастливо величавшего себя Неподражаемым, прежде чем подняли ли бы наконец руку (или оружие) в праведном гневе?

Но вы должны понять: я никогда не поднял бы руки на бедное тупое дитя вроде Агнес.

Она спустилась вниз в лучшем из своих дешевых нарядов и в тонком пальтишке, в котором продрогла бы уже через десять минут после выхода на улицу здесь, в Англии, и через пару минут — в Шотландии. Она тащила два дешевых чемодана. И она плакала.

— Ну-ну, дружок, ты это брось. — Я ласково похлопал Агнес по спине, и она снова отпрянула от меня. — Посмотри, пожалуйста, ждет ли еще кеб там.

Она глянула сквозь жалюзи, закрывавшие окно у входной двери.

— Да, сэр. — Она снова расплакалась. — Я не знаю, как п-платить вознице. Я не знаю, как найти н-нужный

вагон на с-станции. Я вообще ничего не знаю и не умею. — Несчастное дитя находилось на грани истерики.

— Полно, полно, Агнес. Вознице я уже заплатил. И приплатил сверх положенного, чтобы он помог тебе найти твой вагон и место. Он не оставит тебя, покуда не убедится, что ты села в свой поезд, в свой вагон и удобно устроилась на своем месте. Я попросил его позаботиться о тебе и не уходить с платформы до самого отправления поезда. И я уже телеграфировал славному семейству, где ты будешь служить... они встретят тебя на Эдинбургском вокзале.

— Мои мама и папа... — опять начала она, давясь слезами.

— Они будут страшно рады, что у тебя хватило смелости воспользоваться редкостной, замечательной возможностью, представившейся тебе. — Я взялся за дверную ручку, но тотчас хлопнул себя по лбу. — Ох, чуть не забыл. Я хочу напоследок попросить тебя об одной услуге.

Агнес уставилась на меня испуганными, заплаканными глазами, но я уловил в них слабый проблеск надежды. Похоже, она посчитала это отсрочкой приговора.

— Сюда. — Я направился в глубину дома, к кухне.

Девочка не сразу заметила, что доски, которыми была заколочена дверь на черную лестницу, отодраны. Но когда заметила — остановилась как вкопанная.

— Я решил снова пользоваться задней лестницей, Агнес, и мне нужно зажечь там все настенные свечи. Но мои усталые старые глаза плохо видят в темноте... — Я снова лучезарно улыбался.

Она помотала головой. Выронила из рук свои дешевые чемоданы. Рот у нее был открыт, и на лице застыло бессмысленное выражение, придававшее ей сходство с идиотками, каких держат в сумасшедших домах.

— Нет... сэр, — наконец проговорила она. — Папа запретил мне...

— О, сейчас там нет ни мышей, ни крыс! — со смехом перебил я. — Давно уже нет! Твой отец знает о моем

намерении открыть лестницу. Тебе потребуется не больше минуты, чтобы зажечь все свечи, а потом ты отправишься в увлекательное путешествие.

Она лишь потрясла головой в ответ.

Я уже зажег свечу. Теперь я вложил ее девочке в руку и зашел ей за спину.

— Не упрямься, Агнес, — прошептал я на ухо бедняжке. И невольно задался вопросом, не смахивает ли сейчас мой голос на Друдово шипенье с присвистом. — Будь умницей.

Я двинулся вперед, потихоньку тесня Агнес к двери. Она не упиралась, пока я не открыл дверь и не заставил вступить в черный проем.

Тогда она внезапно остановилась, повернулась и устремила на меня такой же печальный, понимающий и одновременно недоверчивый взгляд, каким смотрел на Диккенса ирландский волкодав Султан на последней своей прогулке с хозяином.

— Я не... — начала она.

— Зажги все свечи до единой, Агнес, и постучи, когда захочешь выйти. — Я подтолкнул девочку вперед и запер за ней дверь.

Потом я принес с кухонной стойки молоток, гвозди, доски и принялся заколачивать дверь, вгоняя гвозди в старые отверстия в косяках, чтобы все выглядело как прежде и Джордж с Бесс ничего не заметили по своем возвращении.

Девочка закричала, разумеется, и очень громко. Но стены и двери в доме на Глостер-плейс были очень толстые, и даже в кухне, с расстояния нескольких футов, я едва различал крики, а уж с улицы их точно никто не мог услышать.

Она застучала по дубовой двери кулаками, потом (судя по звукам) стала царапать ногтями, но затихла к моменту, когда я забил последний гвоздь в самом низу. Теперь ни малейший лучик света не проникал сквозь припорожную щель в темный лестничный колодец.

Я прижался ухом к доскам, и мне показалось, будто я слышу, как Агнес начала подниматься по ступенькам,

медленно и неуверенно. Должно быть, даже тогда она в глубине души не сомневалась, что все происходящее — просто такая жестокая игра и что я выпущу ее, как только она зажжет все свечи.

Последние крики несчастной были поистине душераздирающими. Но продолжались они недолго. Как я и предвидел, истошный вопль оборвался на высокой, пронзительной ноте самым ужасным образом.

Я поднялся в комнатушку Агнес и тщательно все обыскал там, не думая о времени и не беспокоясь по поводу кебмена, ждавшего у дома. Убедившись, что девочка не оставила записки ни в своей каморке, ни в родительской комнате, ни еще где-либо, я проверил, все ли свои ценные вещи она упаковала в два дешевых чемодана.

На ее аккуратно заправленной кровати, под покрывалом, я нашел бесформенную и уже безглазую тряпичную куклу. Взяла бы она игрушку с собой в новую жизнь в Эдинбурге? Я решил, что, скорее всего, взяла бы, а потому отнес куклу вниз и затолкал в чемодан побольше.

С заколоченной черной лестницы не доносилось ни звука.

Прихватив молоток и ломик, я спустился в подвал и надел длинный резиновый фартук Джорджа, предназначенный для разной грязной работы. Я позаимствовал также толстые рабочие перчатки.

Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы отгрести лопатой уголь от задней стены угольного подвала. Заделанная дыра в стене была по-прежнему видна; известковый раствор между кирпичами и каменной кладкой растрескался и частично осыпался. С помощью ломика я принялся выковыривать кирпичи.

Это заняло у меня больше времени, чем я предполагал, но я не торопился. Наконец отверстие, сквозь которое Друд проник в дом два года назад, открылось полностью. Я просунул в него свечу.

Язычок пламени затрепетал в слабых потоках сырого воздуха, но не погас. За пределами круга света сгущалась темнота, и там узкий лаз круто уходил вниз, в еще более густую темноту.

Я затолкал оба битком набитых чемодана Агнес в дыру и прислушался, не раздастся ли всплеск или стук от падения, но ничего не услышал. Такое впечатление, будто под моим домом находилась бездонная яма.

Еще больше времени потребовалось, чтобы установить камни и кирпичи обратно на место и заполнить щели между ними свежим известковым раствором. В свое время дядя обучил меня основам каменщицкого дела, и в детстве я гордился таким своим умением. Теперь эти навыки очень мне пригодились.

Потом я подгреб уголь обратно к стене, отнес на место инструменты, фартук и перчатки, поднялся наверх, тщательно умылся, уложил в поместительный кофр запас белья и одежды на пару недель (в том числе две свежевыглаженные парадные сорочки), прошел в кабинет и собрал все письменные материалы, необходимые мне для работы (включая рукопись с началом «Черно-белого»), поднялся в комнатушку Агнес и оставил ее записку на видном месте, в последний раз обошел дом, проверяя все ли окна закрыты и двери заперты (с черной лестницы, разумеется, по-прежнему не доносилось ни звука, и я был уверен, что и впредь не донесется), а затем вышел за порог с кофром и кожаным портфелем и запер за собой парадную дверь.

Возница проворно спрыгнул с козел, чтобы стащить кофр с крыльца и уложить в багажное отделение экипажа.

— Спасибо, что подождали. — Я слегка задыхался, но пребывал в прекрасном расположении духа. — Я не думал, что сборы займут у меня так много времени. Надеюсь, вы не очень замерзли и утомились.

— Нисколечки, сэр, — весело откликнулся кебмен. — Я маленько вздремнул там на козлах, сэр.

Судя по красным щекам и носу, он позволил себе не только вздремнуть.

Возница придержал дверцу, пока я садился в экипаж. Взобравшись на козлы, он приоткрыл верхнее окошечко и спросил:

— Куда теперь, сэр?

— Гостиница «Сент-Джеймс», — сказал я.

Для меня это было роскошью — Чарльз Диккенс селил там гостей вроде Лонгфелло и Филдса, когда они приезжали в Лондон, и порой сам останавливался там, но я обычно предпочитал обходиться номерами подешевле. Однако сегодня был особый случай.

Маленькое окошечко захлопнулось с глухим стуком. Я поднял облаченную в перчатку руку, резко стукнул в потолок экипажа, и мы покатили.

Настроение мое лишь слегка омрачилось чуть позже, когда я вспомнил, что забыл забрать у Агнес триста фунтов перед тем, как навсегда закрыть дверь на черную лестницу.

Глава 41

Во вторник, пятого января, Диккенс впервые убил Нэнси в Сент-Джеймс-Холле перед широкой публикой. Несколько десятков женщин завизжали. По меньшей мере четыре упали в обморок. Видели, как некий пожилой господин, поддерживаемый под руки двумя бледными спутниками, шаткой поступью выходил из зала, судорожно хватая ртом воздух. Я покинул театр прежде, чем начались бурные аплодисменты, но они достигли моего слуха на заснеженной улице, запруженной каретами и наемными экипажами, ждущими, когда народ повалит наружу. Облачка пара от дыхания лошадей и тепло укутанных возниц на высоких козлах смешивались и клубились подобием тумана в холодном свете газовых фонарей.

Днем пятого января я вернулся домой из гостиницы. Никакой ужасный запах не встретил меня в вестибюле. Собственно, я и не ожидал ничего такого — и не только потому, что отсутствовал всего три дня.

С черной лестницы пахнуть не будет, в этом я был уверен. Я там выпустил пять пуль, но без всякого толку.

Существо, которому предназначались пули, плевать на них хотело. Оно уже сожрало зеленокожую клыкастую женщину, не оставив даже клочка платья или обломка зуба. От Агнес наверняка не осталось ровным счетом ничего.

Я находился в своей спальне и укладывал в чемодан свежие рубашки (ибо возвращался обратно в гостиницу, где ко мне пару дней назад присоединился Фехтер), когда услышал в коридоре шаги и тихое покашливанье.

— Джордж? Ты уже здесь? Я запамятовал, когда ты собирался вернуться, — весело промолвил я.

Лицо Джорджа, подернутое пасмурной тенью, казалось серым.

— Да, сэр. Жена задержится еще на два дня. Ейная мать скончалась первой — мы-то ждали смерти отца, но померла мать. Он находился при последнем издыхании, когда я уезжал, но мы не могли оставить вас здесь без ваших преданных слуг, сэр, и потому я воротился.

— Что ж, печально слышать это, Джордж, и... — Я посмотрел на записку в его руке. Он наставлял ее на меня, точно пистолет. — Что это, Джордж?

— Записка от нашей маленькой Агнес, сэр. Вы читали?

— Нет, конечно. Я думал, Агнес с вами в Уэльсе.

— Да, сэр. Я сразу понял, что вы не заприметили нашу записку на каминной полке в гостиной — она так и лежала там, куда мы положили. Видать, вы не знали, что Агнес оставалась с вами в доме той ночью, сэр. То есть ежели она вообще была здесь той ночью... ежели она уехала утром, когда вы еще спали, а не среди ночи.

— Уехала? О чем, собственно, ты говоришь, Джордж?

— Вот, сэр. — Он сунул мне записку.

Я прочитал и изобразил на лице удивление, не переставая думать: «Не ловушка ли это? Неужели тупой девчонке удалось изменить почерк или еще каким-нибудь образом дать родителям понять, что случилось неладное?» Но все было написано слово в слово, как я дикто-

вал. Орфографические ошибки не производили впечатления нарочитых.

— Выгодное место? — промолвил я, опуская записку. — Что Агнес имеет в виду, Джордж? Она уехала куда-то работать, не предупредив меня? Или вас с Бесс?

— Нет, сэр, — мрачно сказал Джордж. Он так и буравил меня немигающим взглядом темных глаз. — Тут в записке все неправда, сэр.

— Неужели? — Я уложил в чемодан последнюю смену белья и захлопнул крышку.

— Да, сэр. Никакого «выгодного места» нет, мистер Коллинз. Ну кто станет нанимать в услужение ленивую и неуклюжую девчонку вроде нашей Агнес? На самом деле все не так, сэр. Все не так.

— Тогда как все это следует понимать? — спросил я, возвращая записку слуге.

— Тот солдат, сэр.

— Солдат?

— Молодой шельмец из шотландского полка, с ним она познакомилась на рынке в декабре. Капрал. Десятью годами старше Агнес, с бегающими глазками, холеными руками и дрянными усишками, похожими на мерзкую гусеницу, заползшую к нему на губу, чтобы подохнуть, сэр. Бесс, она увидела, что наша дочка разговаривает с ним, и тотчас промеж них встряла. Но Агнес снова повстречалась с малым, когда ходила за покупками. Она сама призналась перед Рождеством, когда мы заглянули к ней в комнату, а она там ревет, как дура.

— Ты хочешь сказать...

— Так точно, сэр. Глупая девчонка сбежала с солдатом — это так же верно, как то, что матушка Бесс лежит в сырой земле, да и батюшка, скорее всего, тоже уже упокоился рядом. Ничего-то от нашей маленькой семьи не осталось — кто помер, кто сбежал.

Подняв чемодан, я ободряюще похлопал Джорджа по плечу:

— Ерунда, дружище. Она вернется. Они всегда возвращаются после первого любовного разочарования.

Поверь мне на слово, Джордж. А если Агнес не вернется... ну, мы наймем кого-нибудь, кто ее разыщет и призовет к здравому смыслу. Я вожу знакомство с несколькими частными сыщиками. Тебе не о чем беспокоиться, Джордж.

— Да, сэр, — сказал он голосом таким же унылым, как выражение лица.

— Я пробуду в гостинице «Сент-Джеймс» еще несколько дней. Будь любезен, ежедневно доставляй мне туда почту, а к субботе проветри весь дом, приберись хорошенько и закупи продуктов для ужина — возможно, мистер Фехтер и еще несколько господ приедут в гости.

— Слушаюсь, сэр.

— Не вешай носа! — Я в последний раз похлопал Джорджа по спине, прежде чем выйти к ждущему у дома кебу. — Все кончится наилучшим образом.

— Да, сэр.

Можно только догадываться, как тяжело пришлось Диккенсу — чьи нервы, подорванные Стейплхерстской катастрофой, не поправлялись, а сдавали все сильнее со временем, — когда он пустился в изнурительное турне, требующее почти каждодневных железнодорожных поездок. Кейти сообщила мне через моего брата, что на следующий день после Сент-Джеймс-Холла Диккенс не нашел в себе сил даже встать с постели и принять обычный холодный душ. Через несколько дней должны были состояться последние его выступления в Дублине и Белфасте, и он решил взять с собой Джорджину и дочь Мэри, чтобы все походило больше на праздник, нежели на прощание. Почти сразу произошел случай, едва не закончившийся трагедией, который нанес тяжелейший урон нервной системе Диккенса.

Неподражаемый, Долби, Джорджина, Мэри и обычные сопровождающие лица возвращались из Белфаста, чтобы сесть на пакетбот до Кингстона. Они ехали в первоклассном вагоне, следующем сразу за локомотивом,

и вдруг по крыше вагона что-то оглушительно прогрохотало. Выглянув в окно, они успели увидеть некий предмет, похожий на громадный железный серп, — он стремительно летел по воздуху, срезая телеграфные столбы, точно тростинки.

«Ложись!» — крикнул Диккенс, и все бросились плашмя на пол. В вагонные окна ударила мощная воздушная волна, несущая огромные щепки, песок, землю, камни, водяные брызги. Вагон содрогнулся, словно налетев на препятствие, а потом запрыгал, затрясся так сильно, что Диккенс, как он признался впоследствии, нисколько не усомнился, что они сошли с рельсов и катят по шпалам.

Когда наконец состав остановился, во внезапно наступившей тишине слышались лишь тяжкое пыхтенье паровой машины да крики, доносившиеся из вагонов второго класса. Диккенс первый поднялся на ноги, вышел наружу и тотчас спокойно заговорил с машинистом, а Долби и прочие мужчины, не потерявшие присутствия духа, столпились вокруг них.

Машинист (по словам Долби из письма Фехтеру, он находился в гораздо сильнейшем смятении, чем Диккенс, и весь трясся) объяснил, что металлический обод огромного ведущего колеса раскололся, буквально взорвался, и обломки полетели в стороны, срубая телеграфные столбы. Самый крупный обломок врезался в крышу вагона, где ехал Диккенс. «Если б он был чуть побольше, — сказал машинист, — или летел чуть пониже и чуть побыстрее, он бы точно пробил крышу и сотворил с пассажирами то же самое, что остальные железяки сотворили с телеграфными столбами».

Диккенс успокоил Мейми, Джорджину и других пассажиров (даже Долби, как он признавался впоследствии, был глубоко потрясен, а вывести из равновесия Джорджа Долби очень и очень непросто), но на следующий вечер, после очередного «убийства Нэнси», Долби пришлось уводить Шефа со сцены под руку по завершении номера.

Диккенс с самого начала запланировал выступление в Чертенхэме, чтобы его дорогой престарелый друг Макриди смог увидеть «убийство». Потом сей немощный семидесятипятилетний старец приковылял за кулисы, тяжело опираясь на руку Долби, и не мог произнести ни слова, пока не выпил два бокала шампанского. Он находился в столь сильном эмоциональном возбуждении после «убийства», что Диккенс попытался шутливо отмахнуться от всяких обсуждений, но Макриди все же пожелал высказаться. В его дребезжащем голосе послышались нотки былой сценической страсти, когда он прокричал: «Нет, Диккенс... э... э... я НЕ стану молчать. В мои... э... лучшие времена... э... вы помните их, милый мальчик... э... они минули, безвозвратно минули!.. Нет! — Здесь крик перерос в неистовый рев: — Это стоит... э... ДВУХ МАКБЕТОВ!»

Последние слова прозвучали так громко и страстно, что Диккенс и Долби могли лишь ошеломленно уставиться на старого актера, сделавшего Макбета своей коронной ролью, которой он гордился даже больше, чем молодой женой и прелестной взрослой дочерью. Похоже, он хотел сказать, что по силе эмоционального воздействия Диккенсово «убийство Нэнси» равнозначно — не только в части производимого на аудиторию впечатления, но и в части актерской игры — лучшему из его лучших Макбетов.

Затем престарелый великан свирепо уставился на Долби, словно импресарио (не проронивший ни слова) осмелился возражать. А спустя несколько мгновений Макриди просто... исчез. Его тело по-прежнему оставалось там, с вызывающе вскинутой головой и упрямо выдвинутой тяжелой челюстью, с третьим бокалом шампанского в руке, — но сам Макриди пропал, оставив после себя, как позже Диккенс сказал Долби и Форстеру, лишь бледную оптическую иллюзию в виде своей телесной оболочки.

В Клифтоне «убийство» вызвало, по шутливому выражению Диккенса, целую эпидемию обмороков. «Мне

кажется, в ходе выступления из зала вынесли от пятнадцати до двадцати дам, недвижных и оцепенелых. Под конец даже забавно стало». Неподражаемому это понравилось.

В Бате сам Диккенс, казалось, находился в предобморочном состоянии, поскольку город произвел на него самое тяжелое впечатление. «Бат представляется мне кладбищем, где мертвецы восстали из могил, — сказал он Долби. — Понастроив домов из своих старых надгробных камней, они бродят по улицам, стараясь казаться живыми. Но без всякого успеха».

В феврале Перси Фицджеральд намекнул мне, что после того, как Джорджина и Мейми вернулись в Гэдсхилл, к Диккенсу снова присоединилась Эллен Тернан. Во всяком случае, я так понял (Перси никогда не посмел бы сказать такое открытым текстом). Но Фицджеральд наконец-то собрался жениться, и когда он, задыхаясь от волнения, сообщил об этом Диккенсу на вокзале, последний промолвил: «Я должен сказать об этом одному человеку, путешествующему со мной». Одному человеку, путешествующему со мной... Вряд ли Диккенс употребил бы такое расплывчатое выражение применительно к Долби, или к своему осветителю, или к газовому технику. Неужели Эллен проживала в одной с ним гостинице, но теперь как сестра, а не любовница? Можно только догадываться, сколь жестокие дополнительные муки это причиняло Диккенсу.

Я сказал «дополнительные муки» умышленно, ибо теперь не оставалось сомнений, что Чарльза Диккенса мучат не только физические недуги. Несмотря на его радостные сообщения о десятках упавших в обморок женщин, «убийство Нэнси» явно вредило не только физическому, но и душевному здоровью писателя. Все, с кем я общался, — Фицджеральд, Форстер, Уиллс, все до единого, — хором утверждали, что в своих письмах Неподражаемый говорит только об «убийстве», и ни о чем другом. Он выступал с ним по меньшей мере четыре

раза в неделю, включая в программу из своих традиционных популярных номеров, и казалось, был одержим желанием не только превратить каждый концертный зал в Театр Ужаса, но и полностью отождествиться с Биллом Сайксом.

«Я убиваю Нэнси...»

«Я готовлюсь к убийству...»

«Я часто думаю о своих собратьях-преступниках...»

«Я убиваю опять, опять и опять...»

«Когда я брожу по улицам, меня не покидает смутное ощущение, будто я объявлен в розыск...»

«Я снова обагряю руки невинной кровью...»

«Мне нужно совершить еще много убийств, а времени остается мало...»

Подобными фразами пестрели послания Диккенса ко всем друзьям и знакомым. Долби написал Форстеру, что теперь Шеф отказывается даже ненадолго задерживаться в любом городе после выступления, а потому приходится менять заранее составленное расписание переездов, обменивать железнодорожные билеты, платить новые пошлины, — чтобы изнуренный Неподражаемый, едва способный дойти до вокзала, мог без промедления бежать из города, точно находящийся в розыске преступник.

— Люди стали иначе относиться ко мне после того, как я убил Нэнси, — сказал Диккенс пустоголовому Уиллсу во время одной из своих остановок в Лондоне. — Мне кажется, они меня боятся. В помещении все держатся поодаль от меня... не из робости перед знаменитостью, а скорее из страха и, возможно, ненависти или отвращения.

В другой раз Долби, как он сам рассказывал Форстеру, зашел после представления в уборную, дабы доложить о прибытии наемного экипажа, и обнаружил, что Диккенс уже пятнадцать или больше минут моет руки. «Никак не могу смыть кровь, Долби, — с отчаянием проговорил изнуренный писатель, подняв затравленный взгляд. — Она остается под ногтями и в складках кожи».

Лондон, Бристоль, Торкей, Бат — Диккенс уже знал тамошние гостиницы, вокзалы, концертные залы и даже лица зрителей как свои пять пальцев, — потом снова Лондон как перевалочный пункт на пути в Шотландию. Но теперь левая нога у него так распухла, что Фрэнк Берд категорически запретил шотландское турне — и оно было ненадолго отложено. Однако всего через пять дней Диккенс опять уехал, хотя Джорджина, дочери, сын Чарли и такие друзья, как Перси, Уиллс и Форстер, умоляли его остаться.

Я решил отправиться в Эдинбург, чтобы посмотреть, как Диккенс убивает Нэнси. И увидеть, как «убийство» убивает Чарльза Диккенса.

К настоящему времени я почти не сомневался, что писатель пытается совершить самоубийство посредством турне, но первоначальный мой гнев по этому поводу уже поостыл. Да, говорил я себе, тогда он останется при своей славе и при своей могиле в Вестминстерском аббатстве, но он по крайней мере умрет. И самоубийства не всегда удаются, не без удовольствия вспоминал я. Порой пуля пробивает череп и застревает в мозгу, но самоубийца не умирает, а остается до конца жизни слюнявым идиотом. Или женщина вешается, но шейные позвонки у нее не ломаются, и кто-то успевает перерезать петлю — но слишком поздно, чтобы предотвратить нарушение мозгового кровообращения. До самой смерти у нее останутся шрам на горле, уродливое искривление шеи и бессмысленный взгляд.

Попытка самоубийства посредством турне, говорил я себе, тоже может сорваться и закончиться подобным восхитительным образом.

Я прибыл в Эдинбург раньше и снял номер в гостинице, а потому Диккенс удивился и обрадовался, увидев меня на вокзале в числе встречающих.

— Вы чудесно выглядите, дорогой Уилки! — воскликнул он. — Пышете здоровьем. Вы что, днями ходили

на одной из своих арендованных яхт, в позднефевральские-то шторма?

— Да вы и сами замечательно выглядите, Чарльз, — сказал я.

Выглядел он ужасно — сильно постарел и поседел; макушка полностью облысела, и на нее зачесано несколько сивых прядей; даже борода казалась жидкой и неухоженной. Воспаленные веки, фиолетовые круги под глазами, впалые щеки. Изо рта у него скверно пахло. И он хромал, как ветеран Крымской войны на деревянной ноге.

Я знал, что выгляжу немногим лучше. Фрэнку Берду пришлось увеличить количество уколов морфия (их надлежало делать ровно в десять часов вечера) с двух-трех до семи в неделю. Он научил меня наполнять шприц и впрыскивать самому себе препарат (не такое трудное дело, как кажется) и оставил мне целую бутыль морфия. Я удвоил ежевечернюю дозу морфия и одновременно удвоил количество лауданума, принимаемого в течение дня.

Как следствие, у меня резко повысилась работоспособность. Когда Диккенс спросил, над чем я сейчас тружусь, я честно сказал, что Фехтер практически переехал ко мне на Глостер-плейс и мы по много часов в день работаем над нашей пьесой «Черно-белый». Я добавил, что у меня уже появился замысел следующего романа, основанного на неких странных аспектах английских брачных законов, и что я почти наверняка приступлю к работе над ним сразу после премьеры «Черно-белого», намеченной на конец марта.

Диккенс похлопал меня по спине и пообещал прийти на премьеру со всей семьей. Я задался вопросом, доживет ли он до конца марта.

Я не сказал Диккенсу, что теперь каждую ночь, после короткого морфинового сна, я в час или в два просыпаюсь и диктую Второму Уилки тексты с описанием своих сновидений. Наш совместный труд о древнеегипетских

ритуалах, посвященных богам Черных Земель, уже насчитывал свыше тысячи рукописных страниц.

Тем вечером в Эдинбурге Диккенс сыграл сцену убийства просто блестяще. Признаться, меня самого мороз подирал по коже. На сей раз в зале было не так жарко и душно, как, возможно, было в Клифтоне, но все равно около десятка дам лишились чувств.

После концерта Диккенс провел немного времени с группой зрителей, а потом шаткой поступью удалился в свою уборную, где в очередной раз сказал нам с Долби, что после представления люди как-то неохотно подходят и заговаривают с ним и вообще стараются держаться от него подальше. «Они чувствуют мои кровожадные инстинкты», — сказал он с невеселым смехом.

Затем Диккенс вручил Долби список с перечнем оставшихся выступлений, и Долби совершил почти роковую (то есть способную обернуться увольнением) ошибку, вежливо предложив исключить «убийство» из программы чтений в маленьких городках и выступать с ним только в крупных городах.

— Гляньте сюда, Шеф... просмотрите внимательно составленный вами список — вы не замечаете здесь ничего странного?

— Нет. А в чем дело?

— Ну, вы включили «убийство» в три из четырех выступлений в неделю.

— И что с того? — резко осведомился Диккенс. — Что, собственно, вы хотите сказать?

Похоже, он напрочь забыл о моем присутствии. Я стоял, прямой и безмолвный, с бокалом шампанского в руке, как в недавнем прошлом стоял престарелый Макриди.

— Только одно, Шеф, — мягко промолвил Долби. — Не подлежит ни малейшему сомнению: успех вашего прощального турне уже предрешен окончательно и бесповоротно... независимо от того, какие номера вы выберете для дальнейших выступлений. А потому не имеет значения, отрывки из каких своих книг вы будете читать.

Сцена с Сайксом и Нэнси дается вам страшно дорогой ценой, Шеф. Я это вижу. И другие это видят. Вы сами понимаете и чувствуете это. Почему бы не приберечь этот номер для крупных городов — или вообще отказаться от него до конца турне?

Диккенс круто развернулся в кресле, отворачиваясь от зеркала, перед которым он снимал легкий грим. Столь яростное выражение лица у него я видел, только когда он выступал в роли Билла Сайкса.

— Вы закончили, сэр?

— Я высказал свое мнение, — бесстрастно, но твердо промолвил Долби.

Вскочив на ноги, Диккенс схватил тарелку с несколькими устрицами и ударил по ней черенком ножа. Тарелка разлетелась на полдюжины осколков.

— Долби! Черт бы вас побрал! Ваша чертова осторожность в конце концов погубит вас — и меня!

— Возможно, Шеф. — Медведеподобный верзила густо покраснел, и я мог поклясться, что в глазах у него выступили слезы. Но его голос оставался тихим и твердым. — Однако в таком случае, надеюсь, вы отдадите мне справедливость, признав, что я проявляю осторожность исключительно в ваших интересах.

Ошеломленный, я осознал, что за долгие годы нашего знакомства Чарльз Диккенс впервые при мне повысил голос на человека (вне театральных подмостков). Даже когда он жестоко уязвлял мои чувства во время памятного ужина в ресторации Верея, он говорил негромким, почти ласковым голосом. Гнев Неподражаемого, зримо явленный в реальной жизни, а не на сцене, был ужаснее, чем я мог представить.

Диккенс неподвижно стоял в молчании. Я оставался в глубине комнаты, забытый обоими участниками необычного диалога. Долби направился к походному бюро, чтобы положить на него список. Он отворачивался в сторону, словно не желая расстраивать Шефа своим обиженным выражением лица, а когда повернулся к нему — увидел то, что видел я.

Диккенс беззвучно плакал.

Долби потрясенно застыл на месте, а в следующий миг Диккенс, как и следовало ожидать, порывисто шагнул к нему и обнял с самым покаянным видом.

— Простите меня, Долби, — сдавленно проговорил он. — Я не хотел вас обидеть. Я устал. Мы все устали. И я знаю: вы правы. Мы все спокойно обсудим завтра утром.

Но утром (при мне, ибо мы завтракали вместе) Диккенс оставил «убийство» во всех трех концертах и добавил в программу четвертого.

Ко времени своего возвращения в Лондон я доподлинно знал о следующих фактах.

Диккенс испражнялся с кровью и считал, что дело здесь в застарелом геморрое, но Долби сомневался, что именно это является причиной постоянного кровавого поноса.

Левая нога у Неподражаемого снова распухла так сильно, что он не мог сесть в кеб или зайти в вагон без посторонней помощи. Он переставал хромать, только когда выходил на сцену и уходил за кулисы.

Он признавался, что находится в жутко подавленном состоянии духа.

В Честере с ним случилось сильное головокружение, вызвавшее легкий паралич. Пришедшему по вызову врачу он сказал, что у него «кружится голова и его то качает назад, то ведет в сторону». Позже Долби рассказал мне, что один раз, когда Диккенс пытался положить на стол какой-то маленький предмет, дело закончилось тем, что он неловко сдвинул стол вперед, едва не перевернув его.

Диккенс говорил о странных ощущениях в левой руке и признавался, что для того, чтобы произвести ею некое действие — скажем, положить или взять предмет, — он должен пристально на нее посмотреть и послать ей мысленный приказ.

В последнее утро в Эдинбурге Диккенс сказал мне — со смехом, — что ему становится все труднее поднимать к голове руки, особенно непокорную левую, и в скором времени придется нанять работника, чтобы тот расчесывал ему три оставшиеся волосины перед выходом на сцену.

Однако после Честера он выступил в Блэкберне, а затем в Болтоне — и везде убивал Нэнси.

К двадцать второму апреля Диккенс окончательно сдал. Но я забегаю вперед, дорогой читатель.

Вскоре после возвращения из Эдинбурга я получил письмо от Кэролайн. Оно было написано без всякого пафоса и сантиментов — языком почти бесстрастным, словно она составляла орнитологический отчет о поведении воробьев в своем саду, — но Кэролайн сообщала мне, что в течение шести месяцев супружеской жизни ее муж Джозеф не зарабатывает средств к существованию, что они живут на гроши, которые неохотно выдает его мать (унаследовавшая крохотное состояние от мужа), и что он ее бьет.

Я прочитал письмо со смешанными чувствами — среди них, следует признать, преобладало легкое удовлетворение.

Кэролайн не просила ни денег, ни помощи, ни даже ответного послания, но подписалась словами «Ваш очень давний и истинный друг».

Я с минуту сидел за столом в кабинете, задаваясь вопросом, что же такое фальшивый друг, если Кэролайн Г***, ныне миссис Хэрриет Клоу, является образцом истинного друга.

В тот же день пришло письмо на имя Джорджа и Бесс — они оба горевали каждый на свой лад, безмолвно, разумеется, но Бесс тяжелее мужа переживала побег Агнес (особенно сейчас, после смерти родителей, не оставивших никаких денег), — и я не видел доставленного конверта, иначе почерк на нем (корявые печатные буквы) непременно привлек бы мое внимание.

На следующий день Джордж появился в дверях моего кабинета, тихо кашлянул и вошел с извиняющимся выражением лица.

— Прошу прощения, сэр, но поскольку вы выказали столь добрый интерес к судьбе нашей дорогой дочери Агнес, я решил, что вы захотите увидеть это, сэр.

Он вручил мне листок гостиничной почтовой бумаги.

ДараГие Мама и паПа.

У миня все Харашо и надеюс у Вас тоже. Я устроилас Прикрасно. Капрал МакдональД, мой вазлюбленый, и я хатим Паженитца 9 Июня. Я напишу Вам ищо после этово Щастливово События.

Ваша любящая доч

АГНЕС.

На несколько мгновений все мои лицевые мышцы онемели, одеревенели, как бывало в редких случаях, когда я слишком уж сильно перебирал с дозой морфия или лауданума. Я поднял взгляд на Джорджа, но обнаружил, что не в силах произнести ни слова.

— Да, сэр, — весело сказал он. — Отличные новости, правда?

— Капрал Макдональд — тот самый парень, с которым она сбежала? — с трудом проговорил я наконец. Мой голос, даже для меня в моем оглушенном состоянии, звучал так, словно просачивался сквозь тончайший фильтр.

Я должен был знать про капрала. Джордж наверняка говорил мне. Я уверен, что говорил. Разве нет?

— Точно так, сэр. И я переменю свое плохое мнение о малом, ежели он сделает из нашей милой Агнес честную женщину.

— Надеюсь, так оно и будет, Джордж. Чудесные новости. Я чрезвычайно рад узнать, что Агнес жива-здорова и счастлива.

Я вернул слуге записку. В самом верху листка было вытиснено название эдинбургской гостиницы, но не той, где останавливался я в свой приезд к Диккенсу.

Отправились ли мы ужинать в другую гостиницу после того, как Неподражаемый пожаловался на скверное качество мясных блюд в нашей гостинице? Да, я уверен. Не оттуда ли лист почтовой бумаги, который Джордж сейчас прячет в карман своего молескинового жилета? Я почти уверен, что именно оттуда. Прихватил ли я несколько листов почтовой бумаги там в вестибюле? Возможно. Вполне возможно.

— Я просто подумал, что вам будет интересно узнать добрые новости, сэр. Благодарствуйте, сэр. — Джордж неловко поклонился и, пятясь, вышел из кабинета.

Я посмотрел на письмо, которое до прихода слуги писал своему брату Чарли. От волнения я поставил огромную кляксу посреди последнего абзаца.

После размолвки, вышедшей у Диккенса с Долби тем вечером, я принял необычайно большую дозу лауданума. Мы пошли ужинать. Что было после первых нескольких бокалов вина, я плохо помню. Я что, написал письмо от имени Агнес по возвращении в свой номер? Из ее записки, накорябанной под мою диктовку в январе, я знал, какого рода орфографические ошибки она делает. Получается, ночью я спустился в вестибюль и отправил письмо Джорджу и Бесс?

Возможно. Видимо, так оно и было.

Это единственное объяснение — и самое простое.

Под воздействием опиума и лауданума я и прежде не раз совершал различные действия, о которых не помнил ни на следующий день, ни впоследствии. На этом построена интрига «Лунного камня».

Но разве я знал имя чертова шотландского капрала?

Внезапно почувствовав головокружение, я быстро подошел к окну и поднял раму. В комнату повеяло свежим весенним воздухом, слегка отдающим жженым углем, конским навозом и запахом далекой Темзы, уже начинающей смердеть под робкими лучами мартовского солнца. Я вздохнул полной грудью и облокотился о подоконник.

На противоположном тротуаре стоял человек в нелепом оперном плаще. У него было пергаментно-бледное лицо и глубоко запавшие глаза, как у трупа. Даже с такого расстояния я увидел, что он улыбается мне, и разглядел темные щели между остро заточенными зубами.

Эдмонд Диккенсон. Или живой мертвец из Друдовой свиты, который в прошлом был молодым Эдмондом Диккенсоном.

Легко дотронувшись до своего высокого, блестящего, старомодного цилиндра, он зашагал прочь по тротуару и лишь раз с улыбкой оглянулся на меня перед тем, как свернуть на Портмен-Сквер.

Глава 42

Премьера моей драмы «Черно-белый» состоялась в воскресенье, 29 марта 1869 года. Я маялся за кулисами, в крайнем своем нервном возбуждении не в силах даже оценить реакцию публики по наличию или отсутствию смеха и аплодисментов. Я слышал лишь биение собственного сердца да шум крови в ноющих висках. Мой желудок безостановочно бунтовал на протяжении всех девяноста двух минут пьесы (тщательно рассчитанная Фехтером продолжительность: не слишком долго, чтобы зрители успели заскучать, но и не слишком коротко, чтобы у них осталось смутное чувство неудовлетворенности). Последовав примеру Фехтера, который перед началом спектакля, по обыкновению, пользовался услугами мальчишки с тазиком, я велел тому же самому пареньку повсюду следовать за мной с той же самой посудиной. До конца третьего акта мне несколько раз пришлось прибегнуть к ней.

Приникнув к щели в занавесях, я увидел своих родственников и друзей в авторской ложе — Кэрри, выглядевшую особенно очаровательно в новом платье, подаренном семейством Уорд (она по-прежнему служила у них), брата Чарли с женой Кейти, Фрэнка Берда с супругой, Фреда и Нину Леман, Холмена Ханта (ездившего на похороны моей матери вместо меня) и прочих. В большой ложе, расположенной ниже и ближе к сцене, сидел Чарльз Диккенс со всей своей многочисленной семьей, не считая отбывших в Австралию и Индию или сосланных в одиночную ссылку (Кэтрин), — Джорджиной, дочерью Мейми, сыном Чарли и его женой, сыном

Генри, приехавшим на каникулы из Кембриджа, и всеми остальными.

Не в силах наблюдать за их реакцией, я бросился обратно в глубину закулисья, и мальчишка с тазиком поспешил за мной.

Наконец занавес опустился, театр «Адельфи» взорвался бурными аплодисментами, Фехтер и исполнительница главной женской роли Карлотта Леклерк вышли на поклоны, а потом пригласили на сцену остальных актеров. Все улыбались. Овация не стихала, и я слышал крики: «Автора! Автора!»

Фехтер сходил за мной, и я вышел к публике, изо всех сил стараясь держаться со скромным достоинством.

Диккенс рукоплескал стоя и, похоже, задавал ритм громовым аплодисментам толпы. Он был в очках, и отражавшийся в них друммондов свет превращал глазницы в два круга синего огня.

Мы произвели сенсацию. Так говорили все. На следующий день газеты поздравили меня с тем, что я нашел — наконец-то! — совершенный рецепт театрального успеха, овладев «важным умением выстраивать четкую, плотную композицию пьесы».

«Проезд закрыт» не сходил со сцены шесть месяцев. Я с уверенностью предполагал, что «Черно-белый» будет идти (с полным аншлагом) целый год, а то и полтора.

Но уже через три недели в зале начали появляться пустые места, точно язвы на лице прокаженного. Через шесть недель Фехтер и его труппа изображали страсти перед полупустым залом. Спектакль закрылся всего через шестьдесят дней, не продержавшись на сцене и половины того времени, что шла гораздо более нескладная драма «Проезд закрыт», написанная в соавторстве с Диккенсом.

Я винил во всем непроходимую тупость лондонских театралов. Мы преподнесли им жемчужину чистой воды, а они спрашивают, куда же делось протухшее устричное мясо. Я винил также привнесенные Фехтером в пьесу моменты, которые, на мой взгляд (и по мнению ряда

французских газет), слишком уж отдавали «дядитомовщиной». В начале шестидесятых годов Англия (как немногим раньше — Америка) бурно восторгалась «Хижиной дяди Тома» — все англичане, имевшие в своем гардеробе мало-мальски сносное вечернее платье, видели спектакль дважды, — но интерес к жестокостям рабовладения заметно угас с тех пор, особенно после американской Гражданской войны.

Между тем «триумф» Фехтера довел меня чуть ли не до долговой тюрьмы Маршалси — правда, сама Маршалси была закрыта и частично снесена еще несколько десятилетий назад. Когда Фехтер обещал найти «кучу меценатов» для «Черно-белого», он имел в виду главным образом меня. Я согласился и потратил целое состояние на жалованье актеров, жалованье художников-декораторов, жалованье музыкантов и т. п.

Вдобавок я по-прежнему ссужал деньгами вечно неплатежеспособного (но всегда живущего на широкую ногу) Чарльза Альберта Фехтера, и меня нисколько не утешал тот факт, что Диккенс тоже субсидирует шикарный образ жизни актера (к настоящему времени задолжавшего ему уже свыше двадцати тысяч фунтов в общей сложности).

Когда через шестьдесят дней «Черно-белый» сошел со сцены, Фехтер пожал плечами и пустился на поиски новых ролей. Я продолжал получать счета. Когда я наконец припер его к стенке вопросом о денежном долге, он ответил с обычным своим ребяческим лукавством: «Дорогой Уилки, вы же знаете: я вас люблю. Разве я любил бы вас, кабы не знал, что на моем месте вы поступали бы точно так же?»

Этот ответ заставил меня вспомнить, что в моем владении по-прежнему находится пистолет бедного Хэчери с оставшимися четырьмя патронами.

Чтобы оплатить счета и начать выбираться из долговой ямы, в которую я столь быстро скатился с высот финансового благополучия (от матушкиного наследства и гонораров за «Лунный камень» и прочие произведения

уже почти ничего не осталось), я сделал то, что в такой чрезвычайной ситуации сделал бы любой писатель: увеличил дневную порцию лауданума и ежевечернюю дозу морфия, стал пить больше вина, чаще спать с Мартой и приступил к работе над следующим романом.

Пусть Диккенс и вскочил на ноги с юношеской резвостью, аплодируя на премьере «Черно-белого», но уже через месяц турне окончательно подорвало его здоровье. В Блэкберне он страдал от сильных головокружений, а в Болтоне шатался и чуть не упал прямо на сцене, хотя позже я случайно услышал, как он говорит своему американскому другу Джеймсу Филдсу: «...одна только Нелли заметила, что я шатался и что в какой-то момент мне отказало зрение, и только она осмелилась сказать мне об этом».

Под именем Нелли проходила Эллен Тернан, которую Диккенс называл также Пациенткой, памятуя о легких травмах, полученных ею в Стейплхерстской катастрофе четырьмя годами ранее. Теперь пациентом стал он. А она по-прежнему время от времени сопровождала его в поездках. Это были интересные новости. Сколь ужасен и бесповоротен переломный момент в жизни стареющего мужчины, когда молодая любовница превращается в сиделку.

От Фрэнка Берда я знал, что Диккенсу в конце концов пришлось написать ему о своих симптомах. Берд так встревожился, что отбыл поездом в Престон сразу по получении письма.

По прибытии Берд осмотрел Диккенса и объявил, что ни о каких дальнейших чтениях и речи не может идти.

— Вы уверены? — спросил Долби, находившийся в комнате. — Все билеты проданы, и возвращать их уже поздно.

— Если вы настоите на том, чтобы Диккенс вышел на сцену сегодня, — сказал врач, глядя на Долби почти так же яростно, как в свое время смотрел Макриди, — я не поручусь, что у него не отнимется нога.

Берд привез Диккенса обратно в Лондон тем же вечером и на следующий день устроил консультацию с известным врачом сэром Томасом Уотсоном. Тщательнейшим образом осмотрев Неподражаемого и подробно расспросив о самочувствии, Уотсон объявил: «Описанные симптомы ясно свидетельствуют, что Ч. Д. находился на грани левостороннего паралича и, возможно, апоплексического удара».

Диккенс отмахнулся от страшных прогнозов и в последующие месяцы говорил, что страдал единственно от переутомления. Тем не менее он сделал перерыв в турне. Он уже провел семьдесят четыре чтения из ста запланированных (всего на два меньше, чем количество выступлений, доведшее его до крайнего истощения в Америке).

Но через несколько недель относительного отдыха в Гэдсхилл-плейс и Лондоне Неподражаемый начал требовать у доктора Уотсона разрешения закончить прерванное турне. Сэр Томас покачал головой, предостерег против излишнего оптимизма, предписал соблюдать осторожность и сказал: «Предупредительные меры всегда вызывают раздражение, ибо необходимость в них меньше всего ощущается тогда, когда они действуют успешнее всего».

Диккенс, разумеется, взял верх в споре. Он всегда брал верх. Но он согласился сократить количество заключительных чтений (*по-настоящему* прощальных чтений) до двенадцати, отказаться от всяких железнодорожных путешествий и отложить все это дело на восемь месяцев, до января 1870 года.

Диккенс вернулся в Лондон, поселился в своей квартире над конторой «Круглого года» (почти все уик-энды он проводил в Гэдсхилле) и с головой окунулся в работу в журнале: редактировал, писал, планировал следующие номера.

Если ему было нечем заняться, он отправлялся в кабинет Уиллса, теперь часто пустовавший, и наводил там порядок, вытирал пыль, разбирал бумаги (я сам видел это, когда однажды зашел в редакцию за чеком).

Он также велел своему поверенному Уври составить и окончательно оформить завещание — оно было готово в считаные дни, а заверено подписями и вступило в законную силу двенадцатого мая.

Но уныние, владевшее Диккенсом в самые тяжелые дни турне, никак не проявлялось в конце весны и начале лета. Неподражаемый ожидал долгого визита своих старых американских друзей, Джеймса и Энни Филдс, с лихорадочным нетерпением, какое может выказывать лишь малый ребенок, жаждущий поделиться своими игрушками и вовлечь в свои игры.

И вот сейчас, когда он составил завещание, когда врачи предсказали скорую апоплексию и смерть и когда небывало знойное и влажное лето накрыло Лондон подобием мокрой попоны, пропитанной смрадом Темзы, Диккенс начал думать о следующем романе.

К лету я уже приступил к работе над новой книгой — и собирал материалы и писал с великим рвением.

Я окончательно определился с темой и формой романа во время одного из уик-эндов в конце мая, когда навещал Марту Р*** («Марту Доусон» для домовладелицы) в образе Уильяма Доусона, странствующего коммивояжера. То был один из тех редких разов, когда я, чтобы угодить Марте, провел у нее две ночи подряд. Фляжку лауданума я привез с собой, разумеется, но вот морфий и шприц решил оставить дома. В результате я обе ночи не спал (даже повышенная доза лауданума позволяла мне забыться тревожным сном лишь на несколько минут). На вторую ночь я в какой-то момент осознал, что сижу в кресле и внимательно смотрю на спящую Марту Р***. Еще вечером я открыл окно и не стал задергивать шторы, поскольку спальня выходила в частный сад. Широкая белая полоса лунного света лежала на полу и на кровати с Мартой.

Ныне принято считать, что женщина в тягости становится особенно привлекательной. И действительно, все женщины (за исключением самых хилых) излучают

непостижимый свет радости и благости по крайней мере часть срока. Но многие мужчины — во всяком случае, среди моих знакомых — держатся также странного мнения, что беременная женщина становится эротически привлекательной (прошу прощения за столь откровенные и, возможно, вульгарные речи, дорогой читатель будущего, — наверное, мое время было более искренним и честным), но я так не считал.

На самом деле, дорогой читатель, когда я сидел там в глухой час жаркой и душной майской ночи, рассеянно вертя в руках подушку, и смотрел на спящую Марту, я видел не невинную юную девушку, пленившую мое сердце всего несколько лет назад, а стареющую, тучную, грудастую бабищу со вздутыми венами на ногах — и на женщину-то не особо похожую, на мой острый писательский взгляд.

Кэролайн никогда так не выглядела. Конечно, у Кэролайн хватило такта ни разу не забеременеть, по крайней мере при мне. Вдобавок Кэролайн всегда выглядела как леди, которой очень хотела и очень старалась стать. А эта храпящая фигура в лунном свете казалась... свиноподобной.

Я еще раз перевернул подушку и обдумал ситуацию с той ясностью мысли, какую только правильно рассчитанная доза лауданума может придать уму, уже заостренному образованием и логическим рассуждением.

Миссис Уэллс, домовладелица Марты (не путать с гораздо более смышленой миссис Уэллс из Танбридж-Уэллса, последней сиделкой моей матери), не видела, как я пришел. Она, по словам Марты, уже больше недели лежала в своей комнате с крупом. Соседский мальчишка вечером приносил ей суп, а утром — чай и тосты, но я его не видел ни когда приехал, ни в любое другое время, пока находился у Марты. Миссис Уэллс была глупой старухой, которая ничего не читала, почти никогда не выходила на улицу и не имела ни малейшего представления о современной жизни. Она знала меня только как «мистера Доусона», и мы с ней лишь несколько раз мимоходом перемолвились парой слов. Она считала меня

коммивояжером. Я был уверен, что она слыхом не слыхивала о писателе по имени Уилки Коллинз.

Я крепко сжал, а затем расправил подушку в своих с виду слабых, но на самом деле (мне кажется) сильных руках.

Конечно, был еще агент по недвижимости, по моему поручению нанявший эти комнаты для миссис Доусон три года назад. Но он тоже знал меня под именем «мистер Доусон», и я дал ему вымышленный адрес.

Марта почти никогда не писала родителям, и не только потому, что отдалилась от них из-за связи со мной. Несмотря на мои терпеливые занятия с ней, Марта оставалась безграмотной, как и ее мать, — обе они умели кое-как составлять буквы в слова и могли нацарапать свое имя, но читали по складам и не затрудняли себя писанием писем. Ее отец знал грамоте, но не считал нужным писать дочери. Изредка Марта ездила домой — ни в родном городке, ни в близлежащем Портсмуте у нее не было настоящих друзей, только родители, — но она всегда заверяла меня, что никого не посвящала в подробности своей жизни здесь: не давала своего адреса и не рассказывала о своих истинных обстоятельствах, тем паче о фальшивом браке с «мистером Доусоном». Насколько знали родители, Марта оставалась незамужем, работала горничной в какой-то лондонской гостинице и жила в дешевой наемной квартире с тремя другими благочестивыми девушками, зарабатывающими на жизнь честным трудом.

Могу ли я быть уверен, что она не сказала им правду?

Да, вне всяких сомнений. Марта никогда не лгала мне.

Видел ли я хоть раз кого-нибудь из своих знакомых — или, что важнее, видели ли они нас, — когда мы с Мартой Р*** прогуливались вместе?

Почти наверняка — нет. Лондон, конечно, город маленький, и пути друзей и знакомых, принадлежащих к верхушке общества, здесь часто пересекаются, но я никогда — особенно в дневное время — не водил Марту туда, где мы могли случайно столкнуться с людьми из моего

круга. В ходе нескольких наших совместных прогулок я каждый раз отправлялся с Мартой в дальние уголки города — окраинные парки, плохо освещенные гостиницы или затрапезные ресторанчики в глухих переулках. Я не сомневался, что она видит насквозь мои хитрости, — мол, мне хочется отыскать и исследовать неизвестные кварталы Лондона, точно играющему в прятки ребенку, — но она никогда не выражала недовольства.

Нет, никто ничего не знал — а если кто нас и видел, они понятия не имели и не задавались вопросами о личности моей молодой спутницы. Просто очередная молоденькая актриса, гуляющая под ручку с этим шалуном Уилки Коллинзом. Я проводил время с очень и очень многими. Просто очередная юная «фиалочка». Даже Кэролайн знала про «фиалочек».

Я поднялся с кресла и присел на край кровати.

Марта пошевелилась, повернулась ко мне и ненадолго перестала храпеть, но не проснулась.

Подушка лежала у меня на коленях, но я по-прежнему не выпускал ее из рук. Лунный свет озарял мои длинные нервные пальцы, словно покрывая белой краской. Пальцы были белее наволочки, и внезапно все они словно слились с тонкой тканью, растаяли и просочились в нее. Руки трупа, исчезающие в меловом порошке.

Или в известковой яме.

Я подался вперед и занес подушку над лицом спящей Марты. Скарабей за моим правым глазом проворно переместился вперед, чтобы лучше видеть.

Фрэнк Берд!

Два месяца назад я рассказал врачу о замужней, но оставленной супругом подруге одной своей знакомой — женщина в тягости, совсем одна и стеснена в средствах. Не может ли он порекомендовать повитуху?

Берд взглянул на меня отчасти насмешливо, отчасти укоризненно и спросил:

— А вы знаете, когда эта подруга вашей знакомой должна родить?

— По-моему, в конце июня, — ответил я, чувствуя, как у меня загораются уши. — Или в начале июля.

— Тогда я сам осмотрю ее на девятом месяце... и, скорее всего, сам приму роды. Иные повитухи — мастерицы своего дела. Многие из них — убийцы. Дайте мне имя и адрес вашей дамы.

— Я не располагаю такими сведениями, — сказал я. — Но я спрошу у своей знакомой и сообщу имя и адрес в письме.

Я так и сделал. А потом забыл об этом.

Но Фрэнк Берд наверняка вспомнит, коли в ближайшие дни прочитает газету и...

— Черт! — рявкнул я и швырнул подушку через комнату.

Марта тотчас проснулась и неуклюже села в постели, похожая на некоего Левиафана, подымающегося над поверхностью простынного моря.

— Уилки! Что стряслось?

— Ничего, дорогая. Просто моя подагра и страшная головная боль. Извини, что разбудил тебя.

Насчет головной боли я не соврал: скарабей, почему-то пришедший в ярость, уполз обратно в глубину моего мозга.

— Ах, бедняжка! — воскликнула Марта Р*** и заключила меня в объятья.

Немного погодя я уснул, лежа головой на ее раздутой груди.

Роман, над которым я тогда работал, назывался «Муж и жена». В нем шла речь о том, как мужчина может попасться в западню нежелательного брака.

Незадолго до этого я прочитал отчет королевской комиссии о браке в нашем королевстве, опубликованный годом ранее. Поразительно, но комиссия утвердила шотландский закон, санкционировавший так называемый брак по согласию, а потом и защищала подобные браки, указывая, что таким образом «соблазненные женщины» связывают супружескими узами мужчин, имеющих бесчестные намерения по отношению к ним. Я жирно подчеркнул отдельные строки и написал на полях отчета:

«В иных случаях брачные законы оборачиваются ловушками для поимки распутных мужчин!!!!»

Возможно, четыре восклицательных знака покажутся вам перебором, дорогой читатель, но, уверяю вас, они просто свидетельствуют о моем глубоком негодовании по поводу нелепого, возмутительного выверта закона, направленного на содействие любой девке, жаждущей прибрать к рукам мужчину. Одна мысль о вынужденном браке — заключенном с согласия и при пособничестве Короны! — приводила меня в неописуемый ужас. Даже сильнейший, чем ужас перед Существом, обитавшим на черной лестнице в доме на Глостер-плейс.

Но я понимал, что не могу писать с точки зрения пострадавшего мужчины. В 1869 году Читающая Публика — нет, Широкая Публика — просто не поняла бы трагедии уловленного в подобную западню мужчины, которого они ханжески обозвали бы «животным» (хотя большинство представителей мужского пола из читающей и широкой публики имели аналогичный опыт «распутства»).

Посему я хитроумно превратил своего пострадавшего мужчину в неустойчивую к искушениям, но очень знатную и высокородную даму, вынужденную — вследствие своего минутного безрассудства — вступить в нежелательный брак с грубым скотом.

Я сделал грубого скота не просто оксфордским выпускником (о, как я ненавидел Оксфорд и все с ним связанное!), а оксфордским спортсменом.

Последняя характеристика персонажа была поистине гениальной находкой, позволю себе заметить. Вы должны понять, дорогой читатель невообразимо далекого будущего, что в наше время в Англии идиотическое увлечение физической культурой и спортом сплавилось с религиозным ханжеством, породив в результате чудовище под названием «мускулистое христианство». Огромной популярностью пользовалась идея, что добрые христиане должны быть «мускулистыми» и рьяно заниматься самыми разными бессмысленными и жестокими видами

спорта. «Мускулистое христианство» считалось практическим применением гипотез мистера Дарвина и убедительным объяснением, почему Британская империя имеет право господствовать над миром и всеми обитающими в нем ничтожными темнокожими людишками. Это была идея Превосходства, воплощенная в штангах, беговых дорожках и толпах дураков, прыгающих, скачущих и выжимающихся в упоре на спортивных площадках. Призывы к «мускулистому христианству» неслись со страниц прессы и с церковных кафедр. Оксфорд и Кембридж — старейшие английские питомники по разведению педантичных болванов — откликнулись на призывы с обычным своим высокомерным рвением.

Так что сами понимаете, почему мне так нравилось швырять дурацкое брачное право в лицо ничего не подозревающему читателю. Пусть я один буду знать, что моя героиня, вышедшая замуж поневоле и терпящая дурное обращение, на самом деле является коварно охомутанным мужчиной, но мой оксфордский мерзавец вызовет достаточно много споров.

Уже в самом начале работы над «Мужем и женой» я обзавелся врагами из-за него. Дети Фрэнка Берда и дети Фреда Лемана, которые все прежде любили меня и которых я нередко развлекал захватывающими байками о боксерских боях с описанием мощных бицепсов чемпиона Англии Тома Сайерса, прослышали о моем оксфордском скоте и страшно на меня разозлились. Они сочли это предательством.

Я позабавился еще сильнее, когда Фрэнк Берд по моей настойчивой просьбе стал брать меня с собой в различные спортивные лагеря, где он время от времени подвизался лечащим врачом. Там я вытягивал из тренеров и прочих служащих истории о том, насколько вредна на самом деле эта самая «мускулистая» жизнь, превращающая спортсменов в тупых скотов с таким же успехом, с каким превратило бы возвращение в дарвиновские джунгли, и забрасывал лагерных докторов вопросами о физическом и нервном истощении, к которому приво-

дят напряженные тренировки. Проводить по много часов кряду под палящим солнцем, записывая подобные свидетельства, мне было нелегко, но я подкреплял силы, прикладываясь к фляжке с лауданумом по меньшей мере раз в час.

Помимо основной темы (несправедливость брака поневоле) я развивал в романе мысль, что нравственность прямо пропорциональна способности человека к угрызениям совести — способности, которой начисто лишены животные (и спортсмены).

Берд, сам большой почитатель спорта, никак не высказывался о моих теориях, разъезжая со мной по губительным для здоровья лагерям кровавопотного труда. Именно Фрэнк 4 июля 1869 года передал в руки Марте новорожденную девочку в комнатах на Болсовер-стрит. И именно Фрэнк уладил довольно сложные формальности, связанные с занесением в метрическую книгу имени матери (миссис Марта Доусон), имени младенца (Мэриан, в честь моего самого популярного женского персонажа) и имени отца (Уильям Доусон, эсквайр, странствующий торговец).

По причине крайней своей занятости я не присутствовал при родах, но проведал мать и орущего ребенка через неделю-другую. В соответствии с обещанием, данным вечером двадцать девятого октября, когда моя любовница вышла замуж и я сделал предложение жене своего умирающего брата, я повысил ежемесячное содержание Марты с двадцати до двадцати пяти фунтов. Женщина расплакалась, когда благодарила меня.

Но я слишком далеко забежал вперед и пропустил слишком много важных подробностей, дорогой читатель. Чтобы полностью понять окончание этой истории, вам надобно находиться со мной вечером среды девятого июня — в четвертую годовщину Стейплхерстской катастрофы и знакомства Диккенса с Друдом. По сути, четвертая годовщина стала последней в жизни Чарльза Диккенса.

Глава 43

Сколь бы тяжелые недуги ни одолевали Диккенса и сколь бы неутешительные прогнозы ни делали его многочисленные врачи, он снова превратился в маленького мальчика, когда к нему приехали из Америки добрые друзья.

Джеймс и Энни Филдс водили дружбу с Неподражаемым со времени его первого триумфального турне по Америке, состоявшегося в 1842 году. Джеймс однажды сказал мне, что еще прежде, чем их с Диккенсом представили друг другу, он примкнул к группе страстных поклонников литературы, которые повсюду следовали за «странно одетым англичанином» по Бостону в головокружительные дни первого визита писателя туда. О глубине привязанности Диккенса к этим двоим отчасти свидетельствует тот факт, что в ходе второго американского турне, когда он наконец был вынужден нарушить свое незыблемое правило никогда не останавливаться в частных домах, именно чудесный дом Филдсов в Бостоне стал для него пристанищем.

Вместе с ними в Англию приехала Мейбел, дочь Джеймса Рассела Лоуэлла, старого друга Чарльза Элиота Нортона и Диккенса. В компанию входили также доктор Фордайс Баркер и Сол Эйтиндж, в свое время иллюстрировавший восхитительное американское издание сочинений Диккенса.

На период визита дорогих гостей в Гэдсхилл-плейс были запланированы разные увлекательные мероприятия (излишек холостяцкой братии предполагалось разместить в лучших номерах «Фальстаф-Инн» через дорогу), но сначала Филдсы сделали остановку в Лондоне, и Диккенс поселился в гостинице «Сент-Джеймс» на Пикадилли (той самой, где я потратил уйму денег, привечая и кормя Фехтера в январе), чтобы быть поближе к гостинице на Ганновер-Сквер, где остановились Филдсы.

Надев для маскировки широкополую шляпу и темный летний плащ с пелериной, я тайно следовал за ними

повсюду, когда они выходили из гостиниц, а позже из особняка в Гэдсхилле. Я купил подзорную трубу и взял в долгосрочный наем кеб (с возницей и лошадью такими же неприметными, как мой маскировочный наряд). Все те дни, когда я занимался сыщицкой работой, ходил переодетый и постоянно следил за кем-нибудь, мне частенько вспоминался бедный покойный инспектор Филд.

В первые дни пребывания в Лондоне Филдсы и компания главным образом совершали экскурсии по местам, описанным в диккенсовских романах: после быстрых прогулок по берегу Темзы (очевидно, призванных доказать, что он все так же молод и здоров) Неподражаемый показывал своим гостям комнаты в «Фернивал-Инн», где он начал работу над «Записками Пиквикского клуба», показывал комнату в Темпле, где жил Пип из «Больших надежд», и изображал Мэгвича, ощупью поднимаясь по той самой темной лестнице, где происходила одна из сцен романа.

Следуя за ними в кебе или пешком, я видел, как Диккенс указывает на старые дома или узкие переулки, где жили или умирали различные его персонажи, и мне вспоминалось, как он водил меня на такую же экскурсию более десяти лет назад, когда *я* был его другом.

В среду, девятого июня, в день годовщины, меня не пригласили поучаствовать в вылазке (хотя Долби получил приглашение присоединиться к Филдсам и Эйтинджу ближе к вечеру), но я дежурил подле гостиницы Филдсов, когда вся компания расселась по экипажам и тронулась в путь. Выехав за город тем теплым вечером, первую остановку они сделали на Кулингском кладбище.

Именно это сельское кладбище с ромбовидными могилами Диккенс превосходно описал в «Больших надеждах» (весьма посредственный роман, коли хотите знать мое мнение). Наблюдая за ними в свою верную подзорную трубу с расстояния ярдов ста, я с изумлением увидел, что Диккенс в точности воспроизводит жутковатую кладбищенскую трапезу, которую он устраивал для Эллен Тернан с матерью и меня на погосте Рочестерского собора много месяцев назад.

В качестве обеденного стола была выбрана примерно такая же могильная плита; произошло такое же превращение писателя Чарльза Диккенса в метрдотеля Чарли Диккенса; как и в прошлый раз, каменная ограда служила стойкой для напитков; и писатель-официант с перекинутым через руку полотенцем точно так же извлекал из плетеных корзин и подавал на «стол» хрустальную посуду, белоснежные салфетки и великолепно зажаренных голубей.

Даже окрестные болота и соленый запах моря были точно такими же, хотя полоса прибрежных топей здесь казалась более пустынной и глухой, чем в Рочестере.

Зачем Диккенс повторяет все это со своими американскими друзьями? В слегка подрагивающем объективе подзорной трубы я видел, что Джеймсу Филдсу весьма не по душе вынужденная пирушка на костях. Дамы сидели с ошеломленным видом и почти ничего не ели.

Только Эйтиндж, иллюстратор, смеялся и разделял с Диккенсом веселье в этом кладбищенском театре — скорее всего, потому, что выпил три бокала вина еще прежде, чем подали жаркое.

Может, таким манером Диккенс, смертный человек, делает некое заявление перед лицом скорого паралича или смерти, предсказанных Бердом и прочими врачами?

Или скарабей, живуший у него в мозгу, наконец свел Неподражаемого с ума?

Той ночью дамы и большинство остальных гостей остались в гостинице, а Диккенс с Джеймсом Филдсом, все еще пьяным Солом Эйтинджем и совершенно трезвым Долби отправились в «гигантское пекло» Лондона. (Я отправился с ними, хотя и не получил приглашения, — когда они вышли из кеба, я крадучись последовал за ними пешком.) Они ненадолго задержались у полицейского участка на Рэтклиффской дороге, чтобы захватить полицейского сыщика, который будет охранять их в ходе ночной экспедиции. Я в охране не нуждался: в огромном кармане моего темного летнего плаща лежал револьвер сыщика Хэчери.

Все, что сейчас казалось экзотичным и даже жутким бостонцу Филдсу, для меня, после двух с лишним лет еженедельных походов по этим улицам с Хэчери, было хорошо знакомым, почти уютным окружением.

Почти.

Надвигалась гроза, в небе над узкими улочками и осмоленными наклонными крышами сверкали молнии и гремел гром, подобный непрестанному грохоту канонады вокруг осажденного города, но дождь так и не начинался. Становилось лишь все жарче да все темнее. Нервное напряжение царило повсюду в Лондоне, но здесь, в этом гноеродном аду нищеты и отчаяния, населенном одинокими женщинами, детьми-сиротами, китайцами, ласкарами и индусами, промышляющими грабежом и разбоем, немецкими и американскими матросами-убийцами, сбежавшими с кораблей, в воздухе витало безумие, почти столь же зримое, как голубые электрические сполохи, плясавшие вокруг покосившихся флюгеров и между железных растяжек, что подобием тугих ржавых вант спускались к земле со зданий, давно разучившихся стоять прямо самостоятельно.

Экскурсия, которую Диккенс и полицейский сыщик проводили сейчас для двух американцев и Долби, в основном пролегала по местам, что инспектор Филд и Хэчери показывали нам с Неподражаемым много лет назад: беднейшие трущобы Уайтчепела, Шедуэлла, Уоппинга и Нью-Корта в окрестностях Блюгейт-Филдс; кварталы домов с дешевыми меблированными комнатами, где на улице у дверей стояли пьяные мамаши, равнодушно держа в охапке грязных младенцев (я видел с почтительного расстояния, как Диккенс выхватил ребенка из рук одной пьяной женщины и отнес в дом); кутузки, полные грабителей и беспризорных детей; сырые подвальные помещения, где десятки и сотни лондонских изгоев спали вповалку на грязной соломе, в зловонных миазмах, исходивших от реки. Нынешней жаркой ночью приливные наносы по берегам состояли, казалось, исключительно из конского навоза, требухи со скотобоен, куриных потрохов, собачьих и кошачьих трупов — даже

дохлых свиней и лошадей — и многих акров человеческих фекалий. По улицам шатались праздные мужчины, вооруженные ножами, и даже более опасные праздные женщины, пораженные дурными болезнями.

Любимый «Вавилон» Чарльза Диккенса. Милое его сердцу «гигантское пекло».

В одном из своих малых романов (кажется, в провальной по сюжету «Крошке Доррит») Диккенс сравнил бездомных детей, шныряющих под ковент-гарденскими аркадами, с крысами и предостерег, что однажды эти крысы, неутомимо подгрызающие фундамент общества, которое не считает нужным обращать на них внимание, «сокрушат Английскую империю». Его негодование было искренним, как и его сострадание. Сегодня ночью, девятого июня, глядя в подзорную трубу с расстояния полуквартала, я увидел, как Диккенс берет на руки грязного чесоточного ребенка, одетого в лохмотья, словно изодранные на полосы. Джеймс Филдс и Долби, похоже, прослезились, а Эйтинджа наблюдал за трогательной сценой равнодушным взглядом пьяного художника.

Поскольку стояло лето или во всяком случае жара, двери и окна домов были открыты, а обитатели трущоб толклись в грязных дворах и слонялись по равно грязным улочкам. Хотя сейчас была середина рабочей недели, большинство мужчин (и немало женщин) едва держались на ногах от выпитого. Несколько раз группы хмельных оборванцев направлялись нетвердой походкой к компании Диккенса, но мигом отступали, когда полицейский сыщик светил на них ярким фонарем и показывал свою дубинку и мундир.

Только сейчас я забеспокоился о собственной безопасности. Дешевый плащ и широкополая шляпа служили отличной маскировкой и позволяли мне смешаться с толпой, но иные парни примечали меня и увязывались за мной, пьяными голосами призывая «проставиться». Я торопливо шагал следом за компанией Диккенса. Если они предпочитали держаться середины улицы, где посветлее, то я шел в густой тени под выступающими гале-

реями и потрепанными навесами, жался к стенам покосившихся домов.

Какое-то время я был уверен, что за мной следят.

Приземистый бородатый мужчина в лохмотьях, похожих на грязные ленты морских водорослей, шаткой поступью следовал по моим пятам, сворачивая туда, куда сворачивал я за компанией Диккенса, и останавливаясь, когда я останавливался.

На какой-то безумный миг я исполнился уверенности, что за мной следует Второй Уилки, раз и навсегда покинувший стены моего дома.

Однако потом я осознал: хотя подозрительный тип (чьего лица мне никак не удавалось разглядеть) ростом с меня (и Второго Уилки), он скорее плотен и крепко сбит, нежели тучен и рыхл, как Уилки.

Когда мы под покровом тьмы вошли в собственно Блюгейт-Филдс, я потерял бородатого оборванца из виду и отнес все на счет случайного совпадения и своих разыгравшихся нервов. Я отхлебнул несколько изрядных глотков из фляжки, нащупал пистолет в кармане плаща, чтобы успокоиться, и прибавил шагу, подбираясь чуть ближе к полицейскому, Диккенсу, Долби, Филдсу и Эйтинджу.

Они зашли в притон Опиумной Сэл, как я и ожидал. Здесь я нашел бы дорогу с завязанными глазами, но из-за ярких вспышек молний (грохот канонады усилился, но освежающим дождем и не пахло) я подождал, когда они поднимутся в верхние помещения трухлявого дома, и только потом крадучись взошел по лестнице на площадку второго этажа и притаился там за углом в темноте. Благодаря открытым дверям и громким голосам я слышал пояснения Диккенса и полицейского, а равно обрывки фраз, которыми перекидывались туристы, обходя опиумный притон.

В воздухе висел запах жженого опиума, пробудивший в моем теле и мозге с обитающим в нем скарабеем неистовую жажду наркотика. Чтобы приглушить ее, я отпил большой глоток из фляжки.

— Принцесса Пых-Пых... — донесся до меня голос Диккенса в промежутке между раскатами грома.

Лишь спустя много месяцев до меня дошло, о ком он говорил.

— У нее трубка, похоже, сделана из старой чернильной склянки... — услышал я голос Филдса.

До меня долетали знакомые, но неразборчивые кудахтанье, хныканье, причитанья и мольбы Опиумной Сэл. Полицейский то и дело прикрикивал на старуху, веля заткнуться, но после каждой паузы кудахтанье возобновлялось с новой силой и достигало моего слуха, как аромат опиумного дыма достигал нюха. Даже в своем укрытии этажом ниже я мог определить по запаху, что этот опиум худшего качества и сорта, чем превосходный наркотик, в свое время горевший в прекрасных трубках в подземном притоне Короля Лазаря. Я снова приложился к фляжке.

Диккенс и полицейский двинулись вниз по изгнившим, просевшим ступенькам, и я проворно отступил поглубже в темноту пустой лестничной площадки.

Куда они направятся дальше? Может, он отведет всех прямо на Погост Святого Стращателя, в склеп со входом на верхние ярусы Подземного города?

Нет, тотчас осознал я, такого Диккенс никогда не сделает. Но ведь сегодня девятое июня, годовщина Стейплхерстской катастрофы, а он всегда встречается с Друдом в этот день. Как он собирается свидеться с ним в присутствии Филдса и остальных, не говоря о полицейском?

Шумная группа скрылась за поворотом, и я сам уже двинулся к лестнице, когда вдруг толстая мускулистая рука обхватила меня за шею сзади и ухо мое обжег жаркий шепот: «Не двигайтесь».

Однако я задвигался — судорожно, поскольку перепугался до смерти, но быстро — и неловко выхватил из кармана пистолет Хэчери, даром что крепкая рука передавливала мне горло, препятствуя доступу воздуха в легкие.

Бородатый мужчина вырвал у меня оружие и положил в карман своей драной куртки — с такой легкостью, словно отобрал игрушку у малого ребенка.

Сильная рука толкнула меня к стене, и грязный бородач зажег спичку.

— Это я, мистер Коллинз, — прохрипел он.

В первый момент я не узнал ни голоса, ни лица, но потом увидел не только грязную неряшливую бороду, но и жесткий, пристальный взгляд.

— Баррис, — выдохнул я; сильная рука по-прежнему крепко прижимала меня к стене.

— Да, сэр, — сказал человек, которого я в последний раз видел, когда он саданул меня револьвером по голове, предварительно пристрелив мальчишку в сточном канале Подземного города. — Следуйте за мной...

— Я не могу...

— За мной, — приказал бывший сыщик Реджинальд Баррис. Он схватил меня за рукав и грубо потащил за собой. — Диккенс уже встречался с Друдом. Нынче ночью вы ничего нового не увидите.

— Этого не может быть... — начал я.

— Очень даже может. Чудовище встретилось с Диккенсом в его номере в гостинице «Сент-Джеймс» сегодня утром, перед самым рассветом. Вы еще спали дома. Сейчас следуйте за мной — и поосторожнее здесь в темноте. Я хочу показать вам нечто интересное.

Баррис протащил меня погруженным в кромешный мрак коридором — даже свет полыхающих молний не проникал сюда — и вывел на боковую галерею, которую я ни разу не замечал в бытность свою завсегдатаем притона Опиумной Сэл. Здесь, на высоте пятнадцати футов, через проулок шириной фута четыре, если не меньше, были перекинуты две доски на просевшую галерею соседнего дома.

— Я не... — начал я.

Баррис подтолкнул меня к доскам, и я на цыпочках прошел по узкому мостику, прогибавшемуся под моей тяжестью.

По темной круговой галерее мы добрались (ступая с великой осторожностью, ибо в изгнившем полу зияли дыры) до угла, а потом немного прошли вдоль фасада, обращенного к реке, и вошли в дом. Смрадный запах

Темзы ощущался здесь сильнее, но вспышки молний освещали нам путь, когда мы с Баррисом шагали по коридору и поднимались по лестнице на три длинных пролета. Ни самого слабого лучика света не пробивалось из-под закрытых дверей многочисленных комнат. Казалось, все здание пустует, даром что располагалось оно в трущобном квартале, где семьи бедняков и полчища опиоманов теснились во всех зловонных подвалах и бывших коровниках.

Лестница была узкой и крутой, как корабельный трап, и к тому времени, когда мы достигли пятого этажа, я пыхтел и шумно отдувался. Наружная галерея здесь полностью обвалилась, но сквозь проем в стене справа я видел реку, бесчисленные гонтовые крыши и дымовые трубы — они внезапно возникали из темноты, когда сверкала молния, и тотчас тонули в кромешном мраке до следующей вспышки.

— Сюда, — отрывисто промолвил Баррис, он с трудом отворил перекошенную скрипучую дверь и зажег спичку.

Казалось, в комнате уже много лет никто не жил. Крысы стремительно прошмыгнули вдоль плинтусов и скрылись либо в смежном помещении, либо в норах, прогрызенных в стенах. Единственное окно было наглухо заколочено, и ни проблеска света не проникало сквозь него, даже когда грохотал гром и дверной проем у нас за спиной озарялся голубыми вспышками. Комната была совершенно пустой, только в дальнем углу валялось что-то вроде сломанной стремянки.

— Помогите-ка мне, — приказал бывший сыщик.

Мы перетащили тяжелую конструкцию из толстых досок на середину комнаты, и Баррис (который, несмотря на свои грязные лохмотья, застарелую немытость, растрепанные нечесаные волосы и неряшливую бороду, свидетельствовавшие о полуголодном существовании, по-прежнему оставался поразительно сильным) упер верхний конец стремянки в провисший, покрытый трещинами потолок.

Под давлением потайная панель в потолке откинулась наверх, явив нашим взорам черный прямоугольный проем.

Баррис приставил лестницу к краю проема и велел:

— Лезьте первый.

— Не полезу, — отрезал я.

Он зажег вторую спичку, и я увидел белые зубы, сверкнувшие в зарослях темной бороды. При виде этих крепких, здоровых зубов сразу становилось понятно: Реджинальд Баррис со своим кембриджским акцентом не является коренным обитателем нищих улочек Блюгейт-Филдс.

— Ладно, — покладисто согласился он. — Я полезу первый и запалю там следующую спичку. У меня в кармане, рядом с вашим пистолетом, лежит маленький полицейский фонарь. Когда вы подниметесь, я его зажгу. Поверьте мне, сэр, там совершенно безопасно. Но вот предпринимать попытку к бегству и вынуждать меня пускаться в погоню для вас очень даже небезопасно.

— Все такой же бандит, я вижу, — презрительно заметил я.

Баррис от души рассмеялся:

— О да. И даже хуже, чем вы можете представить, мистер Коллинз.

Он проворно взобрался наверх, и я увидел мерцание спички там в темноте. На секунду мной овладело искушение повалить стремянку на пол и дать деру. Но я чувствовал железную хватку, которой Баррис держал верхнюю перекладину лестницы, и хорошо помнил, с какой силой он тащил меня по коридору и вверх по ступенькам.

Я неуклюже (ибо весь последний год продолжал прибавлять в весе) вскарабкался за ним следом, вполз на коленках в затхлую темноту наверху, а потом, раздраженно стряхнув с плеча услужливую руку сыщика, поднялся на ноги. Баррис зажег фонарь.

Прямо передо мной возникла из тьмы черная шакалья морда бога Анубиса. Я резко повернулся. Меньше чем в шести футах от меня возвышалась семифутовая

статуя Осириса. Бог был, как и полагается, в белом одеянии, высоком белом головном уборе и держал в руках традиционные бич и посох с крюком.

— Сюда, — бросил мне Баррис.

Мы двинулись вперед по длинному чердаку. По обеим сторонам от нас стояли другие высокие статуи. Слева — Гор с головой сокола, справа — Сет с вытянутой ослиной мордой. Мы прошли между Тотом с головой ибиса и Бастет с кошачьей головой. Я видел, что просевший пол здесь укреплен в ходе недавних плотницких работ. Даже горизонтальные перемычки ниш, где стояли боги, были переделаны в сводчатые, чтобы изваяния свободно помещались туда.

— Они гипсовые, — сказал Баррис, который шел впереди, светя фонариком по сторонам. — Каменных статуй не выдержали бы даже отремонтированные полы.

— Куда мы идем? — спросил я. — Что все это значит?

В торцовой стене чердака находился прямоугольный дверной проем со сравнительно новой рамой, занавешенный куском парусины, служащим для защиты от голубей и непогоды. Когда Баррис отодвинул занавес, чердак озарила голубая вспышка молнии и густой ночной воздух обтек нас подобием вонючего сиропа. От порога этой двери к темному проему в стене соседнего здания, на высоте пятидесяти-шестидесяти футов над переулком тянулась единственная доска длиной добрых двенадцать футов и шириной не более десяти дюймов. В преддверии грозы поднялся ветер, и парусина шумно хлопала, точно тяжелые крылья хищной птицы.

— Я туда не пойду, — решительно заявил я.

— Придется, — сказал Баррис.

Он схватил меня под локоть, втащил на порог и вытолкнул на доску. Другой рукой он направил фонарь вперед, освещая чудовищно узкий мостик. Меня едва не сдуло порывом ветра еще прежде, чем я успел сделать первый шаг.

— Идите! — скомандовал Баррис и крепким толчком в спину отправил меня в путь через смертоносную пропасть.

Луч света на мгновение исчез, и я сообразил, что Баррис присел на доске и закрепляет нижний край парусины, зацепляя за гвозди.

С бешено колотящимся сердцем, вытянув руки в стороны, ставя одну ступню перед другой, я неловко продвигался вперед, похожий на циркового клоуна, предваряющего выступление настоящих акробатов.

Потом я вдруг очутился у противоположного окна, но не смог забраться в него, поскольку парусина здесь была натянута туго, как барабан. Я испуганно присел на корточки, вцепился в тонкую деревянную раму, с ужасом чувствуя, как пружинит и прогибается доска под нами, и уже начал соскальзывать вниз, когда сзади подоспел Баррис.

Потянувшись свободной рукой через мое плечо (шевельнись я тогда хоть самую малость, мы оба сорвались бы с доски и разбились насмерть), он повозился с парусиной, а потом пляшущий луч фонаря высветил темный проем между раздвинутыми полотнищами. Я рванулся вперед всем телом и оказался в следующем, более просторном чердаке.

Тут нас ждали Геб, зеленокожий бог Земли; владычица неба Нут в голубой короне, усеянной золотыми звездами; Сехмет, богиня-разрушительница с львиной пастью, широко разинутой в грозном реве. Неподалеку стояли священный Ра с головой ястреба; Хатхор с коровьими рогами; Исида в короне в виде трона; Амон, увенчанный двумя высокими перьями... все они были здесь.

Ноги подо мной подкашивались, и я бессильно опустился на настил из свежих досок, проложенный посреди просторного помещения. В скате крыши, обращенном, похоже, на юг, в сторону Темзы, было установлено новое круглое окно диаметром двенадцать футов самое малое, а прямо под ним находился алтарь. В круглой деревянной раме стояло высококачественное толстое свинцовое стекло, еще не искривленное под действием гравитации, и в него были вделаны концентрические металлические кольца — именно так я всегда представлял некий диковинный орудийный прицел на военном корабле.

— Это наведено на альфу Большого Пса, или Сириус, — пояснил Баррис, уже закрепивший парусиновые полотнища и погасивший фонарь; беспрестанные вспышки молний достаточно хорошо освещали огромный пустой чердак, богов Черной Земли и алтарь, задрапированный черной тканью. — Я не знаю, почему Сириус играет столь важную роль в их ритуалах, — смею предположить, *вы* знаете, мистер Коллинз, — но подобные окна, нацеленные на эту звезду, имеются во всех их лондонских чердачных логовах.

— Логовах? — ошеломленно повторил я.

Скарабей впал в страшное возбуждение и лихорадочно рыл круговые ходы в насквозь изрешеченном сером веществе, сходившем тогда за мой мозг. Боль была дикой. Мне казалось, будто мои глазные яблоки медленно наполняются кровью.

— У последователей Друда по всему Лондону такие чердачные логова, — сказал Баррис. — Многие дюжины. Некоторые из них состоят из полудюжины или больше чердаков.

— Значит, в Лондоне есть не только Город-под-Городом, но и Город-над-Городом.

Баррис проигнорировал мое замечание.

— Это логово было покинуто несколько недель назад, — сказал он. — Но они вернутся.

— Зачем вы привели меня сюда? Что вам от меня надо?

Баррис снова зажег фонарь и направил луч на наклонный потолок и стену. Я увидел там множество схематичных рисунков: птицы, глаза, волнистые линии, опять птицы... так называемые иероглифы.

— Вы можете прочитать это? — спросил Баррис.

Я уже открыл рот, чтобы ответить отрицательно, но вдруг осознал, к великому своему потрясению, что и вправду могу прочитать знаки и фразы. «И ты, Дахаути, приди к нам! Дахаути, чьи слова стали маат...»

То была ритуальная молитва, которая произносится при наречении имени новорожденному младенцу.

И слова — не начертанные краской, а вырезанные на трухлявых досках — находились прямо над статуей Маат, богини справедливости, увенчанной страусиным пером.

— Разумеется, я не могу прочитать эту белиберду. Я же не музейный научный работник. Что за странный вопрос?

Я до сей поры считаю, что эта ложь спасла мне жизнь тогда.

Баррис шумно выдохнул и, похоже, расслабился.

— Я так и думал, просто очень уж многие стали рабами и слугами Друда...

— О чем вы говорите?

— Вы помните ночь, когда мы с вами виделись в последний раз, мистер Коллинз?

— Да разве ж такое забудешь? Вы убили невинного ребенка. А когда я выразил свое негодование, вы со всей силы ударили меня по голове — вы могли меня убить! Я несколько дней не приходил в сознание. Уверен, вы пытались убить меня.

Баррис потряс грязной всклокоченной головой. Его чумазое лицо, насколько я мог видеть, хранило печальное выражение.

— То был не невинный ребенок, мистер Коллинз. Тот маленький дикарь был агентом Друда. В нем уже не осталось ничего человеческого. Если бы он улизнул, чтобы сообщить о нашем присутствии там, полчища Друда напали бы на нас через считаные минуты.

— Это нелепо, — холодно промолвил я.

Баррис улыбнулся так широко, что остаточное изображение улыбки хранилось на сетчатке моего глаза еще несколько секунд в темноте между молниевыми вспышками.

— Неужели, мистер Коллинз? Вы так считаете? Выходит, вы ничего не знаете — и слава богу! — о мозговых жуках.

Внезапно во рту у меня пересохло. Я совершил над собой огромное усилие, чтобы не скривиться от острой

боли за правым глазом, причиненной ударом скарабеевых жвал. По счастью, оглушительный раскат грома прервал наш разговор, дав мне время оправиться от потрясения.

— О чем? — с трудом выдавил я.

— О мозговых жуках, если употребить наше с инспектором Филдом выражение, — сказал Баррис. — Друд внедряет этих египетских насекомых — в действительности английских, но обученных особым повадкам по нечестивой языческой традиции — в тело и мозг своих рабов и новообращенных. Или он заставляет их думать, что сделал это. Конечно, на самом деле он просто гипнотизирует их. Они годами подчиняются Друду, находясь в состоянии постмесмерического транса, а он при каждой возможности укрепляет свою власть над ними. Мозговые жуки — это гипнотический символ Друдовой власти над жертвой.

— Полная чушь! — громко сказал я в перерыве между раскатами грома. — В свое время мне довелось весьма обстоятельно исследовать месмеризм и животный магнетизм. Невозможно управлять людьми на расстоянии и в течение длительного времени, а тем более поработить внушенной галлюцинацией вроде этого вашего... мозгового жука.

— Вы так считаете? — спросил Баррис. В мерцающем свете я видел, что негодяй по-прежнему улыбается, но теперь жутковатой, иронической улыбкой. — Вы, мистер Коллинз, не видели кошмара, произошедшего в Подземном городе через несколько часов после того, как я отправил вас в нокаут — за что я искренне извиняюсь, сэр, но тогда я принял вас за одного из них, за Друдова агента с жуком в нутре.

— И что же за кошмар произошел там после того, как вы оглушили меня до беспамятства, сыщик Баррис?

— Я больше не сыщик, мистер Коллинз. Это звание и ремесло навсегда потеряны для меня. А что случилось через несколько часов после того, как вас вынесли из Подземного города, сэр, так это засада и кровавая резня.

— Вы преувеличиваете.

— По-вашему, сэр, девять убитых славных парней — преувеличение? Мы искали Друдово логово, Друдов храм и самого Друда, разумеется... но он с самого начала заманивал нас все дальше и дальше в западню.

— Это нелепо, — сказал я. — Вас там было человек двести той ночью.

— Сто тридцать девять, мистер Коллинз. Почти все — свободные от дежурства или отставные полицейские. И почти все — люди, знавшие Хибберта Хэчери и сошедшие с нами под землю, чтобы поймать его убийцу. Меньше двадцати человек среди нас знали, что за чудовище Друд на самом деле — не обычный душегуб и вообще не человеческое существо, — и пятеро из них погибли той ночью от рук рабов-убийц. От рук многочисленных головорезов и душителей, покорных магнетической воле мозговых жуков, которых, по вашему утверждению, не существует. А сам инспектор был убит на следующий день.

У меня отвалилась челюсть.

— Убит? Убит?! Не лгите мне, Баррис. Вы меня не проведете. В лондонской «Таймс» — а я разговаривал с составлявшими некролог репортерами — сообщалось, что инспектор Филд скончался от естественных причин. Он умер во сне.

— Да ну? Разве ваши репортеры были там наутро после его смерти и видели выражение ужаса, запечатлевшееся на мертвом лице бедного старика, мистер Коллинз? Я был там. Именно за мной перво-наперво послала жена инспектора Филда, когда нашла его мертвым. Разинутый рот и выпученные глаза не наводили на мысль о мирной смерти во сне от остановки сердца, мистер Коллинз. У него в глазах полопались все сосуды.

— Насколько мне известно, именно такие симптомы бывают при апоплексическом ударе.

Сверкнула молния, и на сей раз раскат грома последовал незамедлительно за вспышкой. Гроза бушевала прямо над нами.

— А после апоплексического удара остается шелковый шнур, завязанный двойным узлом, мистер Коллинз?

— О чем вы говорите?

— О визитной карточке индусского душителя, убившего бедного Чарльза Фредерика Филда во сне, сэр. В данном случае — о трех или четырех душителях. Один прижимал подушку к искаженному удушьем лицу моего работодателя и друга, а по меньшей мере двое — скорее всего, трое, поскольку Филд был сильным человеком, несмотря на возраст, — удерживали его, пока затягивалась петля. Он умер мучительной смертью, мистер Коллинз. Страшной смертью.

Я не знал, что сказать.

— В штате сыскного бюро инспектора работали семь агентов, включая меня, — продолжал Баррис. — Все они, включая меня, были самыми лучшими, самыми опытными отставными полицейскими в Англии. С января пятеро из них погибли при загадочных обстоятельствах. Шестой покинул семью и бежал в Австралию, но это ему не поможет. У Друда агенты во всех до единого портах мира. Я уцелел потому только, что залег здесь, в вонючем Друдовом болоте, — и тем не менее за последние полгода мне пришлось расправиться уже с тремя наемными убийцами, приходившими по мою душу. Поверьте мне, сэр: я сплю вполглаза, когда вообще сплю.

Словно что-то вспомнив, Баррис вынул из кармана пистолет Хэчери и отдал мне.

Вспышка боли полыхнула за пульсирующим правым глазом, и в голову мне пришла мысль, что я запросто могу застрелить Барриса сейчас и его труп не обнаружат еще несколько недель или месяцев, пока сюда не вернутся Друдовы последователи. Заслужу ли я их расположение таким своим деянием?

Жмурясь от слепящей, тошнотворной боли, я спрятал дурацкий пистолет в карман плаща.

— Зачем вы привели меня сюда? — прохрипел я.

— Во-первых, чтобы проверить, не стали ли вы... одним из них, — сказал Баррис. — По моему мнению — не стали.

— Вам не нужно было тащить меня на поганые языческие чердаки, чтобы выяснить это, — прокричал я, перекрывая грохот грома.

— На самом деле — нужно, — сказал Реджинальд Баррис. — Но что важнее, я хотел сделать предостережение.

— С меня довольно предостережений, — отрезал я.

— Это предостережение не для вас, сэр.

На полминуты воцарилась тишина — первая продолжительная пауза между громовыми раскатами с момента, когда мы покинули дом Опиумной Сэл. И тишина эта невесть почему наводила больше страха, чем предшествующий грохот грозы.

— А для Чарльза Диккенса, — закончил Баррис.

Теперь настал мой черед рассмеяться.

— По вашим же словам, Диккенс встречался с Друдом сегодня утром перед рассветом. Если он один из Друдовых... как вы там выразились?.. жуконосных рабов, то чего ему опасаться?

— Мне кажется, он не раб, мистер Коллинз. Мне кажется, ваш друг заключил с Друдом сделку наподобие фаустовской — какого именно рода, я не знаю.

Я вспомнил, как Диккенс однажды сказал мне, что пообещал написать биографию Друда. Но об этом обстоятельстве было глупо даже задумываться и уж тем более — упоминать.

— В любом случае, — продолжал Баррис, чье лицо под налетом грязи внезапно приобрело изможденный вид, — от одного из убийц, посланных Друдом по мою душу, я узнал, что Диккенс умрет в семидесятом году.

— Я думал, вы убили всех убийц, посланных Друдом по вашу душу, — сказал я.

— Так и есть, мистер Коллинз. Так и есть. Но двух из них я заставил заговорить, прежде чем они освободились от смертной оболочки.

При этих словах меня прошиб холодный пот.

— До семидесятого остался год, — проговорил я.

— На самом деле чуть больше шести месяцев, сэр. Друдовы приспешники не сказали, в каком именно месяце они совершат покушение на мистера Диккенса.

В следующий момент, словно услышав сигнальную реплику, гроза разразилась во всем неистовстве. Мы оба вздрогнули, когда вдруг ливень с дикой яростью обрушился на старую гонтовую крышу.

Луч фонаря бешено заметался по стенам, когда Баррис резко прянул назад и с трудом восстановил равновесие.

Я мельком увидел вырезанные на потолке иероглифы, и то ли скарабей в моем мозгу, то ли сам я перевел: «...даруй крепость нашим членам, о Исида, и храни нас подобием талисмана, дабы мы получили оправдание в Судный день, который скоро грядет».

Я добрался домой мокрый до нитки. Кэрри встретила меня в вестибюле, и я обратил внимание, что она не в халате, а все еще в платье, несмотря на поздний час, и что вид у нее встревоженный.

— В чем дело, милая?

— К тебе гость. Он пришел незадолго до девяти и настоял на том, чтобы дождаться тебя. Не будь Джорджа и Бесс дома, я бы ни за что его не впустила — жуткий тип, и у него нет визитной карточки. Но он сказал, что дело срочное...

«Друд», — подумал я. Я так устал, что даже не испугался.

— Тебе не о чем беспокоиться, Кэрри, — мягко промолвил я. — Вероятно, какой-нибудь торговец явился с неоплаченным счетом. Куда ты отвела его?

— Он спросил, можно ли подождать в твоем кабинете. Я сказала «да».

«Черт побери!» — подумал я. Меньше всего мне хотелось принимать Друда в кабинете. Но я ласково потрепал Кэрри по щеке и сказал:

— Иди ложись спать, будь умницей.

— Повесить твой плащ на вешалку?

— Нет, я пока не хочу его снимать, — сказал я, не объясняя Кэрри, почему хочу остаться в насквозь промокшем дешевом плаще.

— А ты будешь ужинать? Я велела кухарке перед уходом приготовить твое любимое мясо по-французски...

— Я сам найду и разогрею, Кэрри. Беги спать. Я позову Джорджа, если мне что-нибудь понадобится.

Я подождал, когда ее шаги стихли наверху, а потом прошел через холл, через гостиную и распахнул дверь в кабинет. Мистер Эдмонд Диккенсон, эсквайр, сидел не в гостевом кожаном кресле, а за моим рабочим столом. Он нагло курил одну из моих сигар, положив ноги на выдвинутый нижний ящик.

Я вошел и плотно закрыл за собой дверь.

Глава 44

В начале октября Диккенс пригласил меня провести в Гэдсхилле несколько дней во время последнего визита Филдсов перед их возвращением в Бостон. Я уже довольно давно не получал приглашений остаться на ночь в доме Диккенса. Честно говоря, со времени мартовской премьеры «Черно-белого», когда Неподражаемый выказал мне поддержку и одобрение, мы с ним виделись довольно редко и держались друг с другом крайне официально (особенно по сравнению с теплой доверительностью наших отношений в прошлом). Хотя мы продолжали подписывать наши письма словами «любящий вас», никакой любви с одной и другой стороны, похоже, уже не осталось.

По дороге в Гэдсхилл я задумчиво смотрел в окно вагона, размышлял об истинных причинах приглашения и соображал, что бы такое рассказать Неподражаемому, чтобы он удивился. Мне нравилось удивлять Диккенса.

Я мог бы поведать о своей экскурсии в Город-над-Городом, состоявшейся четыре месяца назад, девятого

июня, когда они с Филдсом, Долби и Эйтинджем бегали по трущобам под охраной своего полицейского, но это было бы чересчур. (Вдобавок как бы я объяснил, почему таскался за ними по пятам первую половину вечера?)

Конечно, я премного удивил бы Диккенса, Филдсов и любых других приехавших на уик-энд гостей рассказом об «очаровательных» гримасах, гуканье, лепете своей новорожденной дочки Мэриан и прочими дешевыми умильными историйками, какие принято рассказывать о младенцах, но это определенно было бы чересчур. (Чем меньше Чарльз Диккенс и его подпевалы да лизоблюды будут знать о моей частной жизни, тем лучше.)

Так чем же его развлечь?

Я непременно сообщу всем, что работа над «Мужем и женой» продвигается весьма успешно. Если мы с Диккенсом окажемся наедине, я расскажу о письмах, которые миссис Элизабет Хэрриет (Кэролайн) теперь пишет мне почти каждый месяц, — об ее эмоциональном отчуждении от мужа и рукоприкладстве неотесанного водопроводчика. Письма Кэролайн служили благодатным материалом для моего романа. Мне оставалось только заменять малообразованного скота-водопроводчика на высокообразованного скота-оксфордца (если вдуматься, между этими двумя категориями мужчин нет особой разницы) — и случаи побоев, издевательств, запирания в погребе, описанные Кэролайн, мигом становились эпизодами из жизни моей высокородной, но неудачно вышедшей замуж героини.

Что еще?

Если мы проведем наедине достаточно долгое время и хотя бы отчасти восстановим прежнюю взаимную доверительность, я смогу поведать Чарльзу Диккенсу о ночном визите, нанесенном мне девятого июня молодым человеком, которого он вытащил из-под обломков на месте Стейплхерстской катастрофы ровно четыре года назад, — нашим мистером Эдмондом Диккенсоном.

Диккенсон не только развалился в моем кресле за письменным столом и положил ноги в грязных ботинках на выдвинутый нижний ящик — наглый щенок еще успел подняться в мою спальню, отпереть там чулан и принести вниз восемьсот страниц с описанием моих сновидений о богах Черной Земли, написанных убористым косым почерком Второго Уилки.

— Что означает это вторжение? — резко осведомился я.

Моя попытка взять властный тон, вероятно, несколько потеряла в убедительности оттого, что даже в плаще я промок насквозь, точно бездомный кот под ливнем, и сейчас с меня ручьями стекала вода на пол и персидский ковер.

Диккенсон рассмеялся и уступил мне кресло (но рукопись не отдал). Мы двое обошли стол с разных сторон, двигаясь осторожно, как затеявшие драку поножовщики в нью-кортской таверне.

Я уселся в свое рабочее кресло и задвинул нижний ящик стола, а Диккенсон плюхнулся в гостевое кресло, не спросив позволения. Мокрый плащ подо мной противно похлюпывал при каждом моем движении.

— Вид у вас преплачевный, если мне будет позволено заметить, — сказал Диккенсон.

— Пусть вас это не беспокоит. Верните мне мою собственность.

Диккенсон взглянул на пачку страниц в своих руках и состроил гримасу удивления.

— *Вашу* собственность, мистер Коллинз? Вы отлично знаете, что ни ваши сновидения о Черной Земле, ни данные записи не принадлежат вам.

— Принадлежат. И я хочу получить свою собственность обратно.

Я вынул из кармана пистолет Хэчери, упер в столешницу основание тяжелой ложи, или рукояти, или ручки, или как там эта штуковина называется, и обеими руками оттянул назад массивный курок до щелчка. Дуло было направлено прямо в грудь Эдмонда Диккенсона.

Несносный юнец расхохотался. Я снова увидел, какие странные у него зубы: в Рождество 1865 года они были белыми и здоровыми. Интересно, они сгнили и раскрошились с тех пор или же сточены до таких вот острых пеньков?

— Это ваш почерк, мистер Коллинз?

Я заколебался. Друд встречался со Вторым Уилки год назад, в эту самую ночь. Друдов приспешник, сидящий передо мной, наверняка знает об этом.

— Отдайте рукопись, — сказал я. Теперь я держал палец на спусковом крючке.

— Вы намерены застрелить меня, коли я не отдам?

— Да.

— А зачем вам убивать меня, мистер Коллинз?

— Возможно, чтобы удостовериться, что вы не призрак, которым прикидываетесь, — тихо проговорил я.

Меня одолевала страшная усталость. Казалось, прошло уже много недель, а не каких-то двенадцать часов с момента, когда я последовал за Диккенсом, везущим своих гостей обедать на Кулингское кладбище.

— О, я начну истекать кровью, если вы в меня выстрелите, — сказал Диккенсон тем самым раздражающе счастливым тоном, что страшно бесил меня в Гэдсхилле давным-давно. — И умру, если вы попадете удачно.

— Попаду, — заверил я.

— Но зачем вам это надо, сэр? Вы же знаете, что эти бумаги являются собственностью Хозяина.

— Под Хозяином вы подразумеваете Друда.

— Кого же еще? Вне всякого сомнения, я уйду отсюда с рукописью — ваш пистолет, направленный мне в грудь с расстояния трех шагов, не так страшен, как малейшее неудовольствие Хозяина, находящегося на тысячекратном расстоянии отсюда, — но раз уж вы сейчас имеете надо мной легкое преимущество, я готов удовлетворить ваше любопытство, прежде чем удалиться.

— Где Друд? — осведомился я.

Диккенсон лишь рассмеялся в ответ. Вероятно, именно при виде его зубов у меня возник следующий вопрос.

— Вы ведь едите человечину по меньшей мере раз в месяц, мистер Диккенсон?

Он разом перестал смеяться и улыбаться.

— С чего вы взяли, сэр?

— Возможно, я знаю о вашем... Хозяине... и его рабах больше, чем вы полагаете.

— Возможно, — согласился Диккенсон. Он опустил голову, нахмурился и смотрел на меня исподлобья странным, нервирующим взглядом. — Но вам следует также знать, — добавил он, — что у Хозяина нет никаких рабов... только ученики и последователи, любящие его и добровольно служащие ему.

Теперь настал мой черед рассмеяться.

— Вы разговариваете с человеком, в чьем мозгу обитает один из скарабеев вашего проклятого Хозяина, Диккенсон. Я не могу представить худшей формы рабства.

— А наш с вами друг мистер Диккенс может, — сказал Диккенсон. — Вот почему он предпочел сотрудничать с Хозяином ради достижения общей цели.

— Что за вздор вы несете? — рявкнул я. — У Диккенса и Друда нет никаких общей целей.

Молодой человек — прежде почти по-младенчески круглолицый и розовощекий, а теперь тощий как смерть — помотал головой.

— Вы были в Нью-Корте, Блюгейт-Филдсе и окрестных кварталах нынче вечером, мистер Коллинз, — тихо промолвил он.

«Откуда он знает, что я там был? — с легкой паникой подумал я. — Может, они поймали и замучили бедного сумасшедшего Барриса?»

— Мистер Диккенс понимает, что этому общественному злу пора положить конец, — продолжал Диккенсон.

— Общественному злу?

— Бедность, сэр, — не без горячности сказал Диккенсон. — Социальная несправедливость. Малолетние сироты, вынужденные жить на улице. Матери, ставшие... продажными девками... от безысходного отчаяния. Больные

дети и женщины, которые никогда не получат лечения. Мужчины, которые никогда не найдут работу при общественном строе, где...

— Ох, избавьте меня от этой коммунистической болтовни, — сказал я. Вода капала с моей бороды на стол, но пистолет, зажатый в моих руках, ничуть не подрагивал. — Диккенс почти всю жизнь был реформатором, но он не революционер.

— Вы ошибаетесь, сэр, — мягко произнес Диккенсон. — Он сотрудничает с Хозяином именно ради революции, которую Хозяин совершит сначала в Лондоне, а потом и во всем мире, где дети брошены умирать от голода. Мистер Диккенс поможет Хозяину установить Новый Строй — такой, где справедливость будет вершиться по отношению ко всем без изъятья, независимо от цвета кожи и уровня достатка.

Я снова рассмеялся, и снова от всей души.

Четырьмя годами ранее, осенью 1865 года, толпа черномазых ямайцев напала на здание суда в Морант-Бэй. По приказу английского губернатора острова, Эдварда Эйра, четыреста тридцать девять повстанцев были расстреляны или повешены, а еще шестьсот подвергнуты жестокой порке. Иные из самых наших ретивых либералов выразили возмущение мерами, принятыми губернатором Эйром, но в разговоре со мной Диккенс выразил предпочтение, чтобы возмездие и наказание были более суровыми.

«Я категорически против единения с черномазыми — или туземцами, или неграми, — заявил он тогда, — и считаю, что решительно недопустимо общаться с готтентотами так, словно они ровня чисто одетым джентльменам из Кэмберуэлла...»

Во время восстания сипаев в Индии, задолго до нашего с ним знакомства, Диккенс горячо поддержал британского генерала, который привязывал пленных мятежников к пушечным дулам и отправлял «домой» в виде кровавых ошметков. Гнев и презрение Диккенса в «Холодном

доме» и дюжине других романов были направлены скорее на идиотов-миссионеров, больше озабоченных положением темнокожих людей за пределами нашей страны, нежели проблемами добропорядочных англичан — белых мужчин, женщин и детей — здесь, на родине.

— Вы глупец, — сказал я той июньской ночью Эдмонду Диккенсону. — И ваш Хозяин глупец, коли он полагает, что Чарльз Диккенс готов вступить в заговор против белых людей ради благоденствия ласкаров, индусов, китайцев и египетских убийц.

Диккенсон натянуто улыбнулся и встал.

— Я должен доставить эти записи Хозяину до рассвета.

— Стойте. — Я поднял пистолет и нацелился в лицо молодому человеку. — Забирайте чертовы бумаги, только скажите, как мне изгнать скарабея из тела. Из головы.

— Он сам уйдет, когда Хозяин прикажет или когда вы умрете, — сказал Диккенсон, снова расплываясь в счастливой, плотоядной улыбке. — Не раньше.

— Даже если я убью невинного человека? — спросил я.

Тощий юнец удивленно вскинул светлые брови:

— Так, значит, вы знаете об этом ритуальном исключении? Прекрасно, мистер Коллинз. Можете попробовать. За успех ручаться нельзя, но почему бы не попытать счастья. Ах да... и будьте уверены: юная барышня, впустившая меня в дом сегодня, завтра ничего не будет помнить о моем визите.

И без дальнейших слов он круто повернулся и вышел прочь.

Насчет Кэрри Диккенсон оказался прав: когда наутро я спросил девочку, что именно во внешности нашего вчерашнего посетителя встревожило ее, она недоуменно уставилась на меня и сказала, что не помнит никакого посетителя — помнит лишь скверный сон про какого-то незнакомца, который стоял под дождем, барабаня в дверь кулаком и требуя впустить его.

«Да уж, — подумал я, когда поезд подъезжал к станции, где меня уже должен был ждать кто-нибудь из Гэдсхилл-плейс с каретой или коляской, запряженной пони, — если я расскажу, чем закончилась та насыщенная событиями июньская ночь, Неподражаемый наверняка удивится... С другой стороны, как будет ужасно, если он *не* удивится».

В воскресенье, на четвертый день приятного пребывания в Гэдсхилл-плейс (а мне даже сейчас трудно забыть или переоценить, насколько приятная атмосфера царила в доме Диккенса, когда там собирались веселые дружные компании), я сидел в комнате Джеймса Филдса и разговаривал с ним о литературной жизни в Бостоне. Раздался стук в дверь, и один из старейших слуг Диккенса вошел с церемонной важностью, точно придворный королевы Виктории, щелкнул каблуками и вручил Филдсу записку, написанную тонким каллиграфическим почерком на свернутом в свиток тонком пергаменте. Филдс показал мне послание, а затем прочитал вслух:

> Мистер Чарльз Диккенс свидетельствует нижайшее почтение достопочтенному Джеймсу Т. Филдсу (Бостон, Массачусетс, США) и будет счастлив принять достопочтенного Дж. Т. Ф. в маленькой библиотеке, как прежде, в любое удобное достопочтенному Дж. Т. Ф. время.

Филдс хихикнул, потом смущенно кашлянул и сказал мне:

— Уверен, Чарльз имеет в виду, что приглашает в библиотеку нас обоих.

Я улыбнулся и кивнул, но нимало не усомнился, что шутливое приглашение Диккенса мне не предназначалось. Мы с ним не перемолвились и парой слов наедине за четыре дня моего пребывания в Гэдсхилл-плейс, и я все яснее сознавал, что Неподражаемый не собирается менять характер нашего общения: вежливые беседы на людях, отчужденное молчание наедине. Тем не менее

я последовал за Филдсом, когда американец поспешил в маленькую библиотеку внизу.

Диккенс не сумел полностью скрыть свое недовольство при виде меня, хотя пасмурная тень набежала на его лицо лишь на долю секунды (только старый друг, знакомый с ним много лет, мог заметить это мимолетное выражение неприятного сюрприза) и уже в следующий миг он улыбнулся и воскликнул:

— Дорогой Уилки, какая удача! Вы избавили меня от трудоемкой необходимости писать приглашение и для вас! Каллиграфия мне всегда плохо давалась, и боюсь, мне пришлось бы потратить еще полчаса на изготовление подобного документа. Входите же оба, прошу вас! Присаживайтесь, присаживайтесь.

Сам Диккенс сидел боком на краю маленького стола, рядом со стопкой исписанных страниц. Он выставил только два кресла, предназначенных для слушателей. На какой-то головокружительный момент я решил, что он собирается читать описания своих собственных снов о богах Черной Земли.

— Мы единственные ваши слушатели сегодня? — радостным голосом спросил Джеймс Т. Филдс.

Эти двое находили великое наслаждение в общении друг с другом, просто молодели на глазах, пускаясь в мальчишеские приключения, но последние несколько дней я чувствовал в Диккенсе печаль. «Ничего удивительного, — подумал я в тот момент. — На следующей неделе Филдс с женой отбудут в Америку, и они с Диккенсом уже никогда больше не увидятся. Неподражаемый умрет задолго до следующего приезда Филдса в Англию».

— Вы двое, дорогие друзья, действительно вся моя аудитория на этом чтении, — подтвердил Диккенс.

Он отошел закрыть дверь библиотеки и, вернувшись, снова удобно присел на краешек тонконогого столика.

— Глава первая. «Рассвет», — начал Диккенс. — Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная,

над крышей собора... И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней... Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, то просто кол и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять алмей усыпают дорогу цветами. А дальше — белые слоны в блистающих яркими красками попонах...

И так он читал почти полтора часа. Джеймс Филдс внимал завороженно. Чем дольше я слушал, тем сильнее у меня немели кончики пальцев и стягивало кожу на затылке, будто от холода.

Первая глава содержала импрессионистическое (и сенсуалистское) описание того, как некий курильщик опиума медленно выплывает из грез в опиумном притоне, явно списанном с притона Опиумной Сэл. И сама Сэл здесь присутствует — точно охарактеризованная как «худая изможденная женщина» с «хриплым шепотом» — вместе с коматозным китайцем и ласкаром. Центральный персонаж главы — белый мужчина, пробуждающийся от опиумного сна, — продолжает повторять «нет, нельзя понять», прислушиваясь к бессвязному лепету китайца (он даже хватает его за горло и поворачивает лицом к себе) и неразборчивому бормотанью ласкара, все еще находящегося в забытьи. Потом он покидает притон и возвращается в некий «соборный городок», в котором легко узнается Рочестер (под дурацким вымышленным названием Клойстергэм). И там, во второй главе, мы встречаем ряд обычных диккенсовских персонажей, включая младшего каноника преподобного Септимуса Криспаркла, принадлежащего к числу именно таких любезных, туповатых, но исполненных благих намерений «мускулистых христиан», каких я изображал в пародийном виде в своем собственном, еще не дописанном романе.

Во второй главе также становится ясно, что гнусный опиоман, промелькнувший перед нами в первой главе, — это некий Джон Джаспер, регент соборного хора. Джаспер, как мы сразу понимаем, обладает благозвучным голосом (временами даже более благозвучным, чем обычно) и темной, изощренной душой. Во второй же главе мы знакомимся с племянником Джаспера, недалеким, неискушенным, беспечным, но явно ленивым и довольным собой господином Эдвином Друдом... признаюсь, я вздрогнул, когда Диккенс произнес это имя.

Третья глава открывается довольно поэтичным, но мрачным описанием Клойстергэма и рассказом о прошлом городка, а потом перед нами предстает очередная прелестная девица из почти несметного сонма диккенсовских безупречных, румяных, непорочных, юных, романтических героинь: на сей раз наделенная тошнотворно пошлым прозвищем Розовый Бутончик. Присутствие сей барышни на нескольких страницах кряду не вызвало у меня желания немедленно придушить ее — каковое желание вызывали многие из юных, целомудренных, подиккенсовски примерных героинь вроде Крошки Доррит, — и к моменту, когда Эдвин Друд и Розовый Бутончик прогуливаются по улицам вдвоем (мы уже знаем, что они были помолвлены в детстве по воле своих родителей, ныне покойных, но что молодой Эдвин относится к Розе и самой помолвке со снисходительным самодовольным спокойствием, а Роза просто хочет поскорее вырваться из приюта), я почувствовал в отношениях названных персонажей подобие отчужденности, возникшей между Эллен Тернан и Диккенсом, о которой они двое говорили памятным вечером у железнодорожной станции в Пекхэме, когда я подслушивал.

Из первых глав мы с Филдсом узнали, что Диккенс сделал своего Друда — незрелого юнца Эдвина Друда — молодым инженером, уезжающим в Египет, чтобы перестроить там всю жизнь. И по смерти упокоиться в одной из пирамид, как говорят иные глупые женщины в сиротском приюте (почему, ну почему все диккенсовские юные девы непременно должны быть сиротами?!).

— Ну там... арабы, турки, феллахи... она их ненавидит, да? [Спрашивает Роза, имея в виду воображаемую идеальную жену «Эдди» Друда.]

— Нет. Даже и не думает.

— Ну а пирамиды? Уж их-то она наверняка ненавидит? Сознайся, Эдди!

— Не понимаю, почему она должна быть такой маленькой... нет, большой — дурочкой и ненавидеть пирамиды?

— Ох, ты бы послушал, как мисс Твикнлтон про них долдонит, — Роза кивает головкой, по-прежнему смакуя осыпанные сахарной пудрой липкие комочки, — тогда бы ты не спрашивал! А что в них интересного, просто старые кладбища! Всякие там Исиды и абсиды, Аммоны и фараоны! Кому они нужны? А то еще был там Бельцони, или как его звали, — его за ноги вытащили из пирамиды, где он чуть не задохся от пыли и летучих мышей. У нас девицы говорят, так ему и надо, и пусть бы ему было еще хуже, и жаль, что он совсем там не удушился.

Я видел, что Диккенс намерен и дальше проводить тщательно продуманное сопоставление между пылью склепов и могил в Клойстергэме (то есть Рочестере с его самым что ни на есть реальным собором) и исследователями египетских гробниц типа Бельцони, «чуть не задохшегося от пыли и летучих мышей».

Третья глава — дальше Диккенс не стал читать в тот день — заканчивалась тем, что Роза кокетливо (но по-прежнему без особого интереса, во всяком случае по отношению к Эдвину) спрашивала этого «Друда»:

— Ну, Эдди, скажи, что ты там видишь?

— Что я могу увидеть, Роза?

— А я думала, вы, египтяне, умеете гадать по руке — только посмотрите на ладонь и сразу видите все, что будет с человеком. Ты не видишь там нашего счастливого будущего?

Счастливое будущее? Быть может. Но достоверно одно: что настоящее никому из них не кажется счастливым в тот момент, когда растворяются и снова затворяются тяжелые двери и она исчезает в доме, а он медленно уходит прочь.

Именно так написал бы и я о том, что произошло на моих глазах между Эллен Тернан и Диккенсом у станции Пекхэм.

Когда Диккенс — читавший негромко, профессионально, сдержанно в противоположность излишнему актерствованию, каким он грешил в ходе своих последних турне, особенно при представлении «убийства», — отложил в сторону последнюю страницу, Джеймс Филдс бешено захлопал в ладоши. Я молчал, неподвижно уставившись перед собой.

— Превосходно, Чарльз! Поистине превосходно! Восхитительное начало! Чудесное, интригующее, увлекательное начало! Еще никогда прежде ваше писательское мастерство не проявлялось столь ярко!

— Благодарю вас, дорогой Джеймс, — мягко промолвил Диккенс.

— Но название! Вы нам не сказали. Как вы собираетесь назвать ваш новый замечательный роман?

— Он будет называться «Тайна Эдвина Друда», — ответил Диккенс, пристально взглянув на меня поверх очков.

Филдс одобрительно зааплодировал и не заметил, как я беззвучно ахнул. Но Чарльз Диккенс, я уверен, заметил.

Филдс ушел наверх, чтобы переодеться к ужину, а я проследовал за Диккенсом в его кабинет и сказал:

— Нам нужно поговорить.

— Действительно? — откликнулся Неподражаемый, кладя страниц пятьдесят рукописи в кожаную папку и запирая ее в ящике стола. — Хорошо, давайте уйдем подальше от навостренных ушей домочадцев, друзей, детей, слуг и собак.

Октябрь выдался теплый, и стоял теплый ранний вечер, когда мы с Диккенсом шагали к шале. Обычно в эту пору шале уже наглухо запирали в преддверии сырой зимы, но не в этом году. Желтые и красные листья неслись через лужайку и застревали в живых изгородях и отцветших кустах красной герани, насаженных вдоль

аллеи. Диккенс повел меня не через туннель, но прямо через дорогу. В этот воскресный вечер движения на ней не было, но я увидел горячих породистых лошадей, стоящих в ряд на привязи у гостиницы «Фальстаф-Инн». Группа охотников заехала туда перекусить после лисьей охоты.

В комнате на втором этаже шале Диккенс знаком пригласил меня сесть в гостевое виндзорское кресло, а сам развалился в своем рабочем. По аккуратно расставленным на столе шкатулкам с голубой и кремовой бумагой, чернильницам с перьями и статуэткам дерущихся лягушек я понял, что Диккенс недавно здесь работал.

— Ну-с, друг мой, о чем вы хотите поговорить со мной?

— Вы сами прекрасно знаете, дорогой Диккенс.

Он улыбнулся, вынул из футляра очки и нацепил на нос, словно собираясь снова читать.

— Давайте предположим, что я не знаю, и начнем плясать отсюда. Вам не понравилась затравка моего нового романа? Я прочитал не все, что успел написать, знаете ли. Возможно, еще глава-другая — и повествование увлекло бы вас.

— Это опасно, Чарльз.

— Да? — Его удивление не казалось наигранным. — А что опасно-то? Писать криминально-авантюрный роман? Я говорил вам несколько месяцев назад, что мне показались интересными отдельные моменты вашего «Лунного камня» — наркотическая зависимость, месмеризм, индусские злодеи, тайна похищения — и что я, возможно, попробую силы в подобном жанре. Ну вот я и пробую. Во всяком случае — начал.

— Вы используете имя *Друда*, — проговорил я так тихо, что получилось почти шепотом.

Из гостиницы до нас доносились мужские голоса, распевающие застольную песню.

— Дорогой Уилки, — вздохнул Диккенс. — Вы не считаете, что нам — вам — пора избавиться от страха перед всякой друдовщиной?

Что я мог сказать на это? На несколько мгновений я лишился дара речи. Я никогда не рассказывал Диккенсу о смерти Хэчери — о серых блестящих гирляндах в склепе. Или о ночи, проведенной мной в храме Друда. Или о вторжении инспектора Филда в Подземный город и об ужасных последствиях, которые оно имело для Филда и его людей. Или о Реджинальде Баррисе — грязном, заросшем, ходящем в лохмотьях, питающемся объедками, скрывающемся в трущобах, вздрагивающем при каждом шорохе. Или о тайных святилищах в Городе-над-Городом, показанных мне Баррисом всего четыре месяца назад...

— Если у меня будет время вечером, — промолвил Диккенс, словно размышляя вслух, — я излечу вас от этого наваждения. Освобожу от него.

Я встал и принялся раздраженно расхаживать взад-вперед по маленькой комнате.

— Вы распрощаетесь с жизнью, коли опубликуете этот роман, Чарльз. Однажды вы сказали мне, что Друд просил вас написать его биографию... но ведь это *пародия*.

— Ничего подобного, — рассмеялся Диккенс. — Это будет очень серьезный роман, исследующий пласты, уровни и противоречия преступного ума — в данном случае ума убийцы, а также опиомана и одновременно гипнотизера и жертвы гипноза.

— Как можно быть одновременно гипнотизером и жертвой гипноза, Чарльз?

— Прочитайте книгу, когда она будет закончена, Уилки, и узнаете. Вам многое станет ясно... не только в том, что касается заявленной в названии тайны, но и в том, что касается вашего собственного затруднительного положения.

Последние слова я проигнорировал, поскольку они казались лишенными смысла.

— Чарльз, — горячо сказал я, опираясь обеими руками о стол и пристально глядя на Диккенса, — неужто вы и вправду полагаете, что при курении опиума возникают видения сверкающих на солнце ятаганов, многих

десятков алмей и — как там у вас? — «несметного множества белых слонов, вышагивающих в разноцветных попонах»?

— ...Белые слоны в блистающих яркими красками попонах и несметные толпы слуг и провожатых, — поправил Диккенс.

— Пусть так. — Я отступил на шаг назад и снял очки, чтобы протереть их носовым платком. — Но неужели вы действительно думаете, что любое количество слонов в разноцветных или блистающих яркими красками попонах и сверкающие ятаганы могут привидеться в настоящем опиумном сне?

— Я принимал опиум, знаете ли, — спокойно сказал Диккенс. Казалось, он забавлялся.

Я выразительно закатил глаза, услышав такое признание.

— Ну да, Фрэнк Берд говорил мне. Чуть-чуть лауданума, да и то всего несколько раз, когда вас мучила бессонница во время ваших последних турне.

— И все же, друг мой, лауданум — это лауданум. Опиум — это опиум.

— По сколько минимов вы принимали?

Я по-прежнему расхаживал взад-вперед, от одного открытого окна до другого. Вероятно, моя нервозность объяснялась увеличенной дозой лауданума, принятой утром мною самим.

— Минимов? — переспросил Диккенс.

— Капель опиата на стакан вина, — сказал я. — Сколько капель?

— О, понятия не имею. Те несколько вечеров, когда я прибегал к такому медицинскому методу, препарат для меня разводил Долби. Думаю, две.

— Две капли... два минима? — повторил я.

— Да.

Я молчал добрую минуту. В тот самый день я, приехавший в Гэдсхилл ненадолго и привезший с собой лишь фляжку и маленькую бутылку лауданума, принял самое малое двести минимов, а возможно, и вдвое больше. Потом я сказал:

— Ни меня, ни любого другого человека, исследовавшего свойства наркотика столь же тщательно, как я, дорогой Чарльз, вы не заставите поверить, что вам пригрезились слоны, ятаганы и золотые купола.

Диккенс рассмеялся:

— Дорогой Уилки, вы же говорили, что... «на собственном опыте проверяли» — кажется, именно так вы выразились... способен ли Франклин Блэк, персонаж «Лунного камня», среди ночи войти в спальню своей невесты...

— В гостиную, смежную со спальней, — поправил я. — Мой редактор настоял на этом из соображений приличия.

— Ах да, — улыбнулся Диккенс; он и был тем самым редактором, разумеется. — Среди ночи войти в гостиную, смежную со спальней своей невесты, находясь под воздействием лауданума, принятого им без собственного ведома...

— Вы уже выражали сомнения в правдоподобности этого эпизода, — кисло сказал я. — Хотя я говорил вам, что проводил эксперименты на себе, выясняя, возможно ли подобное поведение под воздействием наркотика.

— Вот и я об этом, друг мой! Вы преувеличили свои впечатления для пользы сюжета. Точно так же и мои хоботные в попонах и сверкающие ятаганы призваны служить общему повествованию.

— Речь не об этом, Чарльз.

— Тогда о чем же?

Диккенс казался искренне заинтересованным. А еще он казался крайне изможденным. В те дни, когда Неподражаемый не устраивал чтения и не предавался разным забавам, он выглядел стариком, в которого внезапно превратился.

— О том, что Друд убьет вас, коли вы издадите эту книгу, — сказал я. — Вы сами говорили мне, что он хочет получить свою биографию, которую сможет распространять частным образом, а никак не сенсационный роман, где фигурируют опиум, месмеризм, разные египетские дела и слабохарактерный персонаж по имени Друд...

— Слабохарактерный, но важный для сюжета, — перебил Диккенс.

Я безнадежно потряс головой:

— Вы не желаете внимать моему предостережению. Возможно, если бы вы видели лицо бедного инспектора Филда наутро после его убийства...

— Убийства? — переспросил Диккенс, резко выпрямляясь в кресле. Он сдернул очки и часто поморгал. — Кто сказал, что Чарльз Фредерик Филд был убит? Как вам прекрасно известно, в «Таймс» сообщалось, что он скончался во сне. И что за разговоры насчет видел — не видел Филдово лицо? Уж вы-то всяко не могли видеть, Уилки. Я помню, вы тогда тяжело болели, не вставали с постели много недель кряду и даже не знали о смерти бедного инспектора, покуда я не сказал вам спустя несколько месяцев.

Я заколебался, соображая, стоит ли передать Диккенсу рассказ Реджинальда Барриса об истинной причине смерти инспектора Филда. Но тогда мне придется объяснить, кто такой Баррис, где и когда я встретился с ним, а также поведать о святилищах в Городе-над-Городом...

Пока я раздумывал, Диккенс вздохнул и промолвил:

— Ваша вера в Друда забавна на свой жутковатый манер, Уилки, но мне кажется, с этой историей пора кончать. Наверное, ее и затевать-то не следовало.

— Вера в Друда?! — воскликнул я. — Позвольте напомнить вам, дорогой Диккенс, что именно вы своим рассказом о встрече с ним на месте Стейплхерстской катастрофы и последующими рассказами о встречах с этим монстром в Подземном городе втянули меня во всю эту историю. Теперь уже слишком поздно призывать меня отказаться от веры в Друда, словно он призрак Марли или Дух Будущих Святок.

Я думал, последний «бортовой залп» рассмешит Диккенса, но он лишь тяжело вздохнул, с видом еще более подавленным и усталым против прежнего, и медленно произнес, словно разговаривая сам с собой:

— Может, и поздно, дорогой Уилки. А может, и нет. Но если говорить о часе дня — сейчас определенно уже поздно. Я должен вернуться и насладиться одной из, возможно, последних в моей жизни трапез в обществе милых моему сердцу Джеймса и Энни...

Голос его стал так тих и печален к концу фразы, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова сквозь шум, поднятый отъезжающими от «Фальстаф-Инн» охотниками.

— Мы поговорим об этом в другой раз, — сказал Диккенс, вставая с кресла.

Я заметил, что в первый момент левая нога подломилась под ним, он оперся правой рукой о стол, удерживая равновесие, и несколько мгновений стоял так, пошатываясь, с бессильно болтающимися левыми рукой и ногой, точно малое дитя, делающее первые шаги. Потом он опять улыбнулся, теперь скорбно, и похромал к двери и вниз по лестнице, направляясь обратно в особняк.

— Мы поговорим об этом в другой раз, — повторил Диккенс.

И мы поговорили, дорогой читатель. Но, как вы увидите, слишком поздно, чтобы предотвратить грядущие трагедии.

Глава 45

Последние осень, зиму и весну своей жизни Чарльз Диккенс продолжал писать свой роман, а я тем временем продолжал писать свой.

Верный себе, Диккенс не отказался от безрассудного, самоубийственного решения использовать имя Друда в названии новой книги, хотя от Уиллса, Форстера и болвана Перси Фицджеральда (практически полностью занявшего мое место в редакции «Круглого года» и в сердце Диккенса) я слышал, что поначалу Неподражаемый рассматривал другие варианты — например, «Исчезновение Джеймса Уэйкфилда» и «Живой или мертвый?».

(Он явно никогда всерьез не собирался использовать в заглавии имя Эдмонда Диккенсона — и упомянул мне о нем минувшей весной единственно из желания подразнить меня.)

Я взялся писать свой роман на несколько месяцев раньше, чем Диккенс приступил к работе над своим, и должен был начать публиковать «Мужа и жену» в журнале «Касселлз мэгэзин» в январе 1870 года. Я также продал права на журнальную публикацию моему старому нью-йоркскому партнеру «Харперз мэгэзин» и во избежание пиратства устроил так, что они напечатали первые выпуски романа двумя неделями раньше, чем «Касселлз». Первый выпуск диккенсовской «Тайны Эдвина Друда», в зеленой обложке издательского дома «Чапмен энд Холл», вышел из печати только в апреле. Из запланированных двенадцати ежемесячных выпусков свет увидели только шесть.

Мой брат Чарли был нанят иллюстрировать этот злосчастный роман — он не сможет завершить работу по причине болезни, но Диккенсом, по всей видимости, руководило желание обеспечить своего зятя (а таким образом и дочь) дополнительным доходом. Я допускал также, что Диккенс дал заказ моему брату просто для того, чтобы хоть чем-нибудь занять Чарли, который праздно болтался дома или в Гэдсхилле, мучась желудочными резями. Дело уже дошло до того, что один только вид моего брата приводил Чарльза Диккенса в бешенство.

Продолжая работать над очередными выпусками, Неподражаемый нарушал одно свое прежде незыблемое правило — никогда не писать ничего серьезного в периоды выступлений с публичными чтениями или подготовки к ним, — но серия из последних двенадцати «прощальных чтений», разрешения на которые он добился от врачей мольбами и угрозами, должна была начаться уже в январе.

У меня же работа над «Мужем и женой» шла как по маслу, чему немало способствовали ежемесячные письма от Кэролайн с обстоятельными рассказами о бесko-

нечных бесчинствах, творимых ее водопроводчиком. Ревнивец Джозеф Клоу запирал ее в угольном подвале всякий раз, когда отлучался на длительное время. Пьяница, он жестоко избивал ее, когда напивался. Хвастун, он приглашал домой своих дружков на кутежи с азартными играми и говорил о Кэролайн пошлые гадости и смеялся вместе с остальными мужланами, когда его жена краснела и пыталась укрыться в своей комнате. (Но Клоу нарочно снял дверь их крохотной спальни, чтобы она не могла там спрятаться.) Маменькин сынок, он позволял своей матери постоянно оскорблять Кэролайн и отвешивал моей бывшей любовнице пощечину, если она осмеливалась хотя бы взглянуть на свекровь без должного почтения.

На все эти скорбные послания я отвечал лишь вежливыми уведомлениями о получении и расплывчатыми соболезнованиями — письма я передавал, как всегда, через Кэрри (и полагал, что Кэролайн сжигает их по прочтении, ибо Клоу наверняка прибил бы ее, если бы обнаружил, что она состоит в переписке со мной), — но все подробности жестокого обращения и общий угнетенный настрой мигом переносил в «Мужа и жену».

Выведенный там соблазнитель — Джеффри Деламейн — был (и остается, на мой профессиональный взгляд) поистине восхитительным персонажем: бегун на длинные дистанции с великолепной мускулатурой и крохотным мозгом, любитель разнообразных спортивных игр, неуч с оксфордским образованием, грубый скот, мерзавец, чудовище.

Уже после публикации первых выпусков «Мужа и жены» критики назовут мой роман гневным и горьким. И я подтверждаю вам, дорогой читатель: именно таким он и был. А еще — очень искренним. Я изливал в «Муже и жене» не только ярость, вскипавшую во мне при одной лишь мысли о возможности затащить человека в брак против его воли — охомутать, как в свое время пыталась сделать со мной Кэролайн и как теперь рассчитывала

сделать Марта Р***, «миссис Доусон», — но также праведный гнев насчет жестокостей, чинимых по отношению к Кэролайн нечистыми кулаками низкородного негодяя, которого ей удалось-таки заманить в брак.

В «Тайне Эдвина Друда» не было ни гнева, ни горечи, но правда жизни и личные откровения, привносимые Чарльзом Диккенсом в роман, производили, как я пойму лишь много позже, куда более сильное впечатление, чем все мои попытки искренности.

По окончании своей последней осени Чарльз Диккенс продолжал работать в течение своей последней зимы и весны. Вот так все мы, писатели, отдаем дни, годы и десятилетия жизни в обмен на стопки страниц, сплошь покрытых каракулями да закорючками. А когда Смерть призовет к себе, сколь многие из нас отдадут все исписанные страницы, все рожденные в муках каракули да закорючки, на которые потрачена жизнь, в обмен на еще всего один день, всего один полнокровно прожитый день? И какую цену мы, писатели, с готовностью заплатим за единственный дополнительный день, проведенный в общении с теми, кого мы игнорировали в продолжение многих лет высокомерного уединения, выводя каракули да закорючки за закрытыми дверями своих кабинетов? Отдадим ли мы все эти страницы за один-единственный час? Или все наши книги — за одну минуту настоящей жизни?

Я не получил приглашения в Гэдсхилл-плейс на Рождество.

Мой брат поехал туда с Кейт, но он тогда находился в еще более глубокой опале у Неподражаемого, чем обычно, и они вернулись в Лондон вскоре после рождественского дня. Диккенс закончил второй выпуск «Тайны Эдвина Друда» в последних числах ноября и пытался поторопить Чарли с оформлением обложки и первыми внутренними иллюстрациями, но, нарисовав эскиз к обложке на основании полученного от Диккенса туманного описания общей канвы истории, мой брат в декабре решил, что не сможет работать с такой скоростью без

ущерба для здоровья. Не скрывая раздражения — возможно даже, отвращения, — Диккенс поспешил в Лондон, посоветовался со своим издателем Фредериком Чапменом, и они постановили взять в качестве замены молодого художника, новичка в иллюстраторском деле, некоего Люка Филдса.

В действительности, как бывало почти всегда, решение принял Диккенс, на сей раз руководствуясь советом художника Джона Эверетта Миллеса, который недавно гостил в Гэдсхилле и показал Неподражаемому иллюстрацию Филдса в первом номере журнала «Графика». В ходе беседы Диккенса с Филдсом в конторе Фредерика Чапмена молодой выскочка имел наглость заявить, что он «человек серьезный», а потому добьется большего успеха, иллюстрируя драматичные и трагичные сцены из романов Неподражаемого (в отличие от Чарли и многих предыдущих иллюстраторов Диккенса вроде Физа, отдававших предпочтение комичным эпизодам). Диккенс согласился — ему и вправду пришлись по вкусу и более современный стиль, и более серьезный подход Люка Филдса, — и таким образом мой брат, выполнив лишь эскиз к обложке да пару набросков к внутренним иллюстрациям, навсегда распрощался с ролью иллюстратора Чарльза Диккенса.

Но Чарли, отчаянно боровшийся с непреходящими желудочными проблемами, похоже, нимало не огорчился (ну разве только из-за потери заработка, расстроившей их с женой планы). Я тоже нимало не огорчился, не получив от Диккенса приглашения в Гэдсхилл на Рождество в нарушение многолетней приятной традиции.

От брата и разных знакомых я узнал, что левая нога у Диккенса распухла настолько, что почти весь рождественский день он провел в библиотеке, меняя на ноге припарки, а вечером сидел за праздничным столом, положив раздутую перебинтованную конечность на стул. После ужина он сумел — с посторонней помощью — доковылять до гостиной, где устраивались традиционные семейные игры, хотя на сей раз противно обыкновению

(Диккенс обожал подобные развлечения) ограничился тем, что лежал на диване и наблюдал за ходом состязаний.

На Новый год Диккенс принял приглашение провести пятницу и субботу (тридцать первое декабря в том году выпадало на пятницу) в роскошном логове Форстера, но, по словам Перси Фицджеральда, узнавшего это от Уиллса, в свою очередь узнавшего это от самого Форстера, левая нога, все еще обложенная припарками, и левая рука у Неподражаемого по-прежнему сильно болели. Тем не менее он подшучивал над своими недугами и прочитал второй выпуск «Эдвина Друда» с таким воодушевлением и юмором, что новый «серьезный» иллюстратор, Филдс, наверняка затруднился бы найти там сцену, пригодную для иллюстрирования, коли «серьезность» являлась для него единственным критерием отбора.

С присущей ему точностью Диккенс рассчитал время таким образом, чтобы закончить триумфальное чтение ровно в полночь, с последним ударом часов. Так начался для Чарльза Диккенса 1870 год — с громких аплодисментов и мучительной боли, — и так он будет продолжаться до самой его смерти.

Я подумывал устроить очередной новогодний прием на Глостер-плейс, девяносто, но потом вспомнил, что в прошлом году подобное мероприятие прошло не особо успешно. К тому же любимыми моими гостями были Леманы и Бердсы, чьи дети злились на меня за то, что я сказал правду о спортсменах (вдобавок в сугубо неформальной обстановке я по-прежнему чувствовал себя чуточку неловко с Фрэнком с тех самых пор, как он принял роды у Марты Р*** прошлым летом), — а потому я решил провести новогодний вечер с братом и его женой.

Вечер проходил так тихо, что было слышно тиканье двух самых громких часов в доме. Посреди ужина Чарли почувствовал себя плохо и, извинившись, удалился наверх, чтобы прилечь. Он пообещал постараться проснуться и присоединиться к нам в полночь, но при виде

болезненной гримасы, искажавшей его лицо, я усомнился, что такое случится.

Я тоже встал и собрался откланяться (поскольку других гостей не было), но Кейт почти приказным тоном велела мне остаться. При обычных обстоятельствах это показалось бы нормальным — в свое время я часто оставлял Кэролайн с гостями, уходя в театр или еще куда-нибудь, и не придавал этому ни малейшего значения, — но со дня бракосочетания Кэролайн, состоявшегося более года назад, в наших с Кейт отношениях появилась натянутость.

К тому же Кейт выпила много вина до ужина и за ужином, а после ужина, когда мы переместились в гостиную с оглушительно тикающими каминными часами, достала бренди. Язык у нее не заплетался (Кейти умела владеть собой), но по неестественно прямой осанке и застывшему лицу я видел, что спиртное на нее подействовало. Молодая девушка Кейти Диккенс, которую я так давно знал, на глазах превращалась в старую, ожесточенную женщину, хотя еще не достигла тридцати лет.

— Уилки, — внезапно сказала она, и голос ее прозвучал почти пугающе громко в полумраке маленькой зашторенной комнаты, — вы знаете, почему отец пригласил вас в Гэдсхилл в октябре?

Честно говоря, вопрос несколько уязвил меня. До сих пор никогда не требовалось никакой особой причины, чтобы пригласить меня в Гэдсхилл-плейс. Понюхав бренди, чтобы скрыть неловкость, я улыбнулся и сказал:

— Наверное, ваш отец хотел прочитать мне начало своего нового романа.

Кейт довольно бесцеремонно махнула рукой, отметая мое предположение:

— Ничего подобного, Уилки. Я случайно знаю, что отец намеревался удостоить этой чести своего дорогого друга мистера Филдса и был неприятно поражен, когда вы явились в библиотеку вместе с ним. Но он не мог заявить вам, что чтение закрытое.

Вот теперь я действительно почувствовал себя уязвленным. Я попытался сделать скидку на тот факт, что

Кейт сильно пьяна. По-прежнему стараясь говорить приятным, даже слегка шутливым тоном, я спросил:

— В таком случае почему же он пригласил меня тогда, Кейти?

— Потому что Чарльз — ваш брат, мой муж — тяжело переживал из-за отчуждения, возникшего между отцом и вами, — быстро ответила она. — Отец посчитал, что ваш приезд в Гэдсхилл на уик-энд развеет слухи об этом отчуждении и немного поднимет настроение Чарли. Увы, ни первого, ни второго не произошло.

— Да нет никакого отчуждения, Кейти.

— Ох, бросьте! — Она снова небрежно махнула рукой. — Вы думаете, я ничего не вижу, Уилки? Ваша дружба с отцом практически закончилась, и никто — ни в нашей семье, ни в кругу наших знакомых — не понимает толком почему.

Я не знал, что сказать на это, а потому отпил маленький глоток бренди и промолчал. Минутная стрелка громко тикающих часов на каминной полке ползла к двенадцатичасовой отметке невыносимо медленно.

Я чуть не вздрогнул, когда Кейти вдруг спросила:

— Вы слышали толки, что я заводила любовников?

— Разумеется, нет! — воскликнул я.

Но, разумеется, я слышал — в своем клубе и вообще повсюду.

— Это все правда, — сказала Кейти. — Я пыталась заводить любовников... даже на Перси Фицджеральда поглядывала, пока он не женился на этой своей жеманной прелестнице — пухлые щечки в ямочках, пышный бюст и куриные мозги.

Я поднялся на ноги и поставил бокал на стол.

— Миссис Коллинз, — официальным тоном произнес я, мысленно дивясь тому, что теперь другая женщина носит имя и титул моей матери, — вероятно, оба мы немножко переусердствовали с вашим превосходным вином и бренди. Как брату Чарльза, любящему брату, мне не пристало выслушивать определенного рода речи.

Она рассмеялась и опять легко махнула ладонью:

— Ох, ради бога, Уилки, сядьте! Сядьте! Вот и молодец. Вы выглядите страшно глупо, когда изображаете негодование. Чарльз знает, что я заводила любовников, и знает почему. А *вы* знаете?

Я подумал, что надо бы встать и выйти прочь без дальнейших слов, но вместо этого продолжал сидеть на месте с несчастным видом. Если вы помните, Кейт однажды уже пыталась завести со мной разговор о слухах, что мой брат так и не осуществил брачные отношения с ней. Тогда я переменил тему. Теперь я мог лишь отвести взгляд в сторону.

Она похлопала меня по ладоням, сложенным на коленях:

— Бедняжка. — Я подумал, что она говорит обо мне, но это оказалось не так. — Чарли не виноват. В общем, не виноват. Чарльз — человек слабый во многих отношениях. Вот мой отец... ну, вы знаете отца. Даже сейчас, когда он умирает, — а он действительно умирает, Уилки, от какой-то болезни, природа которой непонятна никому, даже доктору Берду, — так вот, даже сейчас он остается сильным. Для себя самого. Для всех окружающих. Вот почему он не выносит вида вашего брата за своим обеденным столом. Отец всегда терпеть не мог слабости. Вот почему я оборвала вас на полуслове, когда вы пытались предложить мне выйти за вас замуж — после смерти Чарльза, разумеется, — год с лишним назад, в день бракосочетания... той вашей женщины.

Я снова встал.

— Мне правда пора идти, Кейт. А вам следует подняться наверх и заглянуть к мужу. Возможно, он нуждается в вашей помощи. Я желаю вам обоим счастья в новом году.

Она тоже встала, но не последовала за мной, когда я вышел в прихожую, надел пальто, шляпу, шарф и отыскал свою трость. Их единственная служанка ушла, приготовив ужин.

Я подошел к открытой двери гостиной, прикоснулся к полям шляпы и сказал:

— Доброй ночи, миссис Коллинз. Благодарю вас за чудесный ужин и превосходный бренди.

Кейт стояла с закрытыми глазами, опираясь длинными пальцами о подлокотник дивана, чтобы не пошатываться.

— Вы вернетесь, Уилки Коллинз. Я вас знаю. Когда Чарли испустит дух, вы вернетесь еще прежде, чем его труп остынет. Вы прибежите, точно пес, точно отцовский волкодав Султан, и будете гоняться за мной, словно за сукой в течке.

Я снова дотронулся до шляпы и, спотыкаясь, ринулся прочь из дома.

Ночь стояла холодная, но ясная. Звезды сверкали до жути ярко. Снег на булыжном тротуаре громко скрипел под моими до блеска начищенными ботинками. Я решил дойти до Глостер-плейс пешком.

Звон колоколов в полночь застал меня врасплох. По всему Лондону церковные и городские колокола возвещали наступление Нового года. Я услышал приглушенные расстоянием крики, исполненные пьяного ликования, а откуда-то издалека, со стороны реки, донесся звук, похожий на ружейный выстрел.

Лицо у меня вдруг замерзло, несмотря на теплый шарф, и, когда я поднес к щеке руку в перчатке, я с изумлением обнаружил, что я плачу.

Первое из серии последних лондонских чтений Диккенса состоялось в Сент-Джеймс-Холле вечером одиннадцатого января. До конца месяца он собирался выступать дважды в неделю, по вторникам и пятницам, а потом — вплоть до пятнадцатого марта, когда серия концертов завершалась, — раз в неделю.

Фрэнк Берд и прочие врачи решительно возражали против чтений, ясное дело, и еще сильнее возражали против частых железнодорожных поездок Диккенса в город и обратно. Чтобы успокоить их, Диккенс арендовал

дом Миллера Гибсона по адресу Гайд-Парк-плейс, пять (прямо напротив Мраморной Арки) на срок с января по первое июня, хотя снова сказал всем, что сделал это для своей дочери Мейми, — чтобы она могла останавливаться там, наведываясь в город зимой и весной.

Вы предположите, что теперь, когда Диккенс почти все время проводил в Лондоне, наши с ним пути пересекались так же часто, как в былые дни, но на самом деле все свободное от выступлений время он работал над своим романом, а я продолжал работать над своим.

Фрэнк Берд спросил меня, не желаю ли я вместе с ним и Чарли посещать чтения Неподражаемого, но я отказался по причине занятости и скверного самочувствия. Берд присутствовал на всех концертах — на случай, если понадобится неотложная помощь, — и он признался мне, что опасается, как бы Диккенс не умер прямо на сцене. Вечером одиннадцатого января, перед первым чтением, Фрэнк сказал сыну Диккенса: «Чарли, я распорядился соорудить несколько ступенек с боку эстрады. Вы должны сидеть в первом ряду каждый вечер, и, если заметите, что ваш отец хоть слегка пошатнулся, тотчас бегите к нему, подхватывайте под руку и ведите ко мне — иначе, ей-богу, он умрет на глазах у зрителей».

Но в первый вечер Диккенс не умер.

Он прочитал отрывок из «Дэвида Копперфилда» и неизменно пользовавшуюся успехом сцену суда из «Пиквикского клуба», и выступление, как он сам позже выразился, «прошло поистине блестяще». Но после концерта, когда Неподражаемый бессильно рухнул на диван в своей уборной, Берд обнаружил, что пульс у него участился с нормальных семидесяти двух ударов в минуту до девяносто пяти.

И этот показатель продолжал возрастать во время и после каждого следующего чтения.

По просьбе актеров и актрис, желавших увидеть его выступление, но не имевших возможности прийти позже днем или вечером, Диккенс назначил два концерта на середину дня, а одно даже на утро. Именно на утреннем

чтении двадцать первого января, когда в зале сидели хихикающие, щебечущие молоденькие актрисы, Неподражаемый впервые после долгого перерыва снова представил «убийство». Несколько юных «фиалочек» лишились чувств, многих пришлось выводить из зала под руки, и даже иные из актеров вскрикивали от ужаса.

После концерта Диккенс был настолько изнурен, что даже не смог выказать удовольствие такой реакцией публики. Позже Берд сообщил мне, что тем утром, когда писатель еще только готовился к «убийству Нэнси», пульс у него поднялся до девяноста, а после выступления, когда Неподражаемый лежал пластом на диване, с трудом переводя дух («Он задыхался, точно умирающий», — дословно сказал Берд), пульс у него был сто двенадцать и даже спустя пятнадцать минут снизился лишь до ста.

Через два дня, когда Диккенс в последний раз в жизни встречался с Карлейлем, левая рука у него висела на перевязи.

И все же он продолжал выступать с чтениями, как планировалось. Пульс у него поднялся до ста четырнадцати, потом до ста восемнадцати, потом до ста двадцати четырех.

Во время каждого антракта двое крепких мужчин, дежуривших за кулисами по приказу Берда, чуть не на руках уносили Диккенса в уборную — там он долго лежал на диване, тяжело задыхаясь, не в силах выговорить ни единого внятного слова, только разрозненные слоги да бессмысленные звуки, и проходило добрых десять минут, прежде чем человек, написавший великое множество длинных романов, умудрялся наконец произнести хотя бы одну связную фразу. Тогда Берд или Долби давали Диккенсу выпить несколько глотков сильно разведенного водой бренди, и он вставал, вставлял в петлицу свежий цветок и бросался обратно на сцену.

Пульс у него учащался все сильнее с каждым следующим представлением.

Вечером 1 марта 1870 года Неподражаемый в последний раз прочитал фрагмент из своего любимого «Дэвида Копперфилда».

Восьмого марта он в последний раз убил Нэнси. Несколько дней спустя я случайно встретил на Пикадилли Чарльза Кента, и за ланчем Кент сказал, что, направляясь к сцене, дабы совершить последнее убийство, Диккенс прошептал ему: «Я разорву себя на куски».

По словам Фрэнка Берда, он уже разорвал себя на куски. Но не останавливался.

В середине марта, когда он собирал на чтениях наибольшее количество зрителей, королева вызвала Неподражаемого на аудиенцию в Букингемский дворец.

Вечером накануне назначенного дня и следующим утром Диккенс не мог сделать ни шагу без посторонней помощи, но сумел-таки приковылять во дворец и предстать перед ее величеством. Придворный этикет не позволял ему сидеть в присутствии королевы (хотя в прошлом году Карлейль, удостоенный аналогичной чести, заявил, что он немощный старик, и уселся в кресло, послав этикет к черту).

Диккенс простоял всю беседу. (Правда, Виктория тоже стояла, слегка опираясь о спинку дивана, в каковом преимуществе было отказано изнемогавшему от боли писателю.)

Эта встреча состоялась отчасти потому, что немногим ранее Диккенс показал несколько фотографий с полей сражений американской Гражданской войны мистеру Артуру Хелпсу, секретарю тайного совета, а Хелпс упомянул о них ее величеству. Диккенс переслал фотографии Виктории.

Движимый обычной своей проказливостью, Неподражаемый отправил злосчастному Хелпсу записку, где делал вид, будто полагает, что вызван во дворец для возведения в титул баронета. «С вашего позволения, к титулу баронета мы присовокупим слова „из Гэдсхилла“, как у божественного Уильяма и Фальстафа, — писал он. — На этом условии прилагаю к сему свое благословение и прощение».

По слухам, мистер Хелпс и прочие члены совета пребывали в страшном замешательстве в связи с возникшим

недоразумением, пока кто-то не просветил их насчет присущего писателю своеобразного чувства юмора.

В ходе встречи с королевой Диккенс быстро навел разговор на тему о вещем сне, который, согласно молве, президент Авраам Линкольн увидел (и о котором рассказал приближенным) в ночь перед своим убийством. Подобные предвестия смерти явно занимали мысли Неподражаемого в ту пору, и он затевал разговор о сновидении Линкольна со многими своими друзьями.

Ее величество напомнила Диккенсу о том, как присутствовала на представлении «Замерзшей пучины» тринадцать лет назад. Они двое обсудили возможную участь экспедиции Франклина, потом нынешнее положение дел в области арктических исследований, а потом каким-то образом перешли к вечной проблеме со слугами. Далее длинная беседа свернула на тему государственного образования и чудовищных цен на мясо.

Как и вы, дорогой читатель, живущий через много десятилетий после описываемых событий, я могу лишь мысленно представить сцену аудиенции, когда ее величество стояла возле дивана и держалась, как впоследствии Диккенс сказал Джорджине, «на удивление застенчиво... с девичьей скромностью», а Неподражаемый стоял перед ней, выпрямив спину, но с виду непринужденно, возможно заложив руки за спину, хотя у него темнело в глазах от невыносимой, пульсирующей боли в левых руке и ноге.

Говорят, в конце аудиенции королева мягко промолвила:

— Мы глубочайше сожалеем, что никогда не имели возможности поприсутствовать на одном из ваших чтений.

— Я тоже сожалею об этом, мадам, — сказал Диккенс. — Увы, но всего два дня назад я бесповоротно покончил с ними. После столь многих лет с чтениями навсегда покончено.

— И о частном чтении не может идти речи? — спросила Виктория.

— Боюсь, что так, ваше величество. В любом случае я не пожелал бы читать в частном порядке. Видите ли, мадам, для успешного выступления мне необходима смешанная аудитория. Возможно, с другими авторами, читающими перед публикой, дело обстоит иначе, но в моем случае оно всегда обстояло именно так.

— Мы понимаем, — сказала ее величество. — И понимаем также, что с вашей стороны было бы непоследовательно взять вдруг да переменить решение. Мы знаем, мистер Диккенс, что вы человек в высшей степени последовательный и непреклонный.

Тут она улыбнулась, и Диккенс впоследствии признался Форстеру, что он нисколько не усомнился: королева вспомнила случай тринадцатилетней давности, когда он категорически отказался предстать перед ней в костюме и гриме комического персонажа из водевиля, шедшего после «Замерзшей пучины».

На прощание Виктория подарила Неподражаемому экземпляр своего «Дневника нашего путешествия по горной Шотландии» с автографом и взамен попросила собрание его сочинений.

— Нам хотелось бы, — сказала она, — получить книги сегодня же, коли такое возможно.

Диккенс улыбнулся, легко поклонился, но ответил так:

— Я прошу у вашего величества милостивого снисхождения и чуть больше времени, дабы я смог подобающим образом переплести книги для вашего величества.

Позже он прислал королеве свое собрание сочинений в сафьяновом переплете с золотым тиснением.

Заключительное чтение, о котором Диккенс упомянул Виктории, состоялось пятнадцатого марта.

В последний вечер Неподражаемый читал фрагменты из «Рождественской песни» и сцену суда из «Пиквикского клуба». Эти номера всегда пользовались наибольшим успехом у публики. Его внучка, крохотная Мекитти, впервые присутствовала на представлении, и Кент позже сказал мне, что малютка вся задрожала, когда дедушка —

«постенный», как она его называла, — вдруг заговорил разными странными голосами. И безутешно разрыдалась, увидев, как «постенный» плачет.

Я был в числе зрителей тем вечером — сидел в глубине зала, в тени, неприглашенный. Я не мог не прийти.

В последний раз на этой земле, осознал я, английская публика слышит, как Чарльз Диккенс наделяет голосом Сэма Уэллера, Эбенезера Скруджа, Боба Катчита и Малютку Тима.

Зал был переполнен. Огромные толпы собрались у двух театральных подъездов на Риджент-стрит и Пикадилли еще за несколько часов до начала чтений. Впоследствии сын Диккенса Чарли сказал моему брату: «Мне казалось, я никогда прежде не слышал, чтобы он читал так хорошо и без малейшего усилия».

Но я был там и видел, каких усилий стоило Диккенсу сохранять самообладание. Завершив чтение сцены суда из «Записок Пиквикского клуба», он, по обыкновению, тотчас ушел за кулисы.

Огромная аудитория впала в исступление. Стоячая овация граничила с настоящей истерикой. Диккенс несколько раз выходил на эстраду и снова удалялся, но его вызывали опять и опять. Наконец он успокоил толпу и произнес короткую, явно заранее заготовленную речь, с трудом преодолевая волнение, — слезы катились градом по щекам Неподражаемого в свете газовых ламп, и его маленькая внучка плакала навзрыд в семейной ложе.

— Дамы и господа, было бы не просто тщетно, было бы лицемерно и бессердечно скрывать от вас, что я завершаю этот эпизод своей жизни с глубокой душевной болью.

Он коротко упомянул о пятнадцати годах своих выступлений перед широкой публикой — мол, он видел в подобных концертах свой долг перед своими читателями и слушателями — и с благодарностью отозвался о любви и понимании, которыми она платила ему. Словно желая хотя бы отчасти компенсировать свой уход со сцены, Диккенс сообщил, что вскоре выйдет в свет «Тайна Эдвина Друда» (публика, оцепеневшая в безмолвном

экстазе, не смогла даже зарукоплескать при сем радостном известии).

— Из-под этих ярких лучей, — сказал он, подступая ближе к газовым лампам и публике, замершей в благоговейном молчании (если не считать тихих всхлипываний), — я удаляюсь навсегда, сердечно, благодарно, почтительно и нежно прощаясь с вами.

Он уковылял за кулисы, но нестихающий гром аплодисментов заставил его вернуться на сцену еще один, последний раз.

С мокрыми от слез щеками Чарльз Диккенс послал в зал воздушный поцелуй, помахал рукой и, тяжело хромая, ушел со сцены, чтобы больше уже не вернуться.

Возвращаясь пешком на Глостер-плейс под мелким мартовским дождем, с очередным, еще не распечатанным письмом от Кэролайн Клоу в кармане (несомненно, содержавшим обстоятельный рассказ о новых бесчинствах водопроводчика), я часто прикладывался к серебряной фляжке.

Поклонники Неподражаемого — восторженно ревущая толпа, которую я видел и слышал сегодня, — непременно настоят на том, чтобы их чертов любимец, когда бы он ни собрался наконец преставиться, был погребен в Вестминстерском аббатстве рядом с великими поэтами. Теперь я нисколько в этом не сомневался. Они похоронят Диккенса там, даже если им придется нести его труп на своих плечах, одетых в грубую шерстяную ткань, и самим рыть могилу.

Я решил завтра — в среду — взять выходной, чтобы съездить в Рочестер, наведаться в собор, разыскать мистера Дредлса и сделать последние приготовления к смерти и погребению Чарльза Диккенса.

Глава 46

— Вот этот камень, — прошептал Дредлс, похлопывая ладонью по камню в стене, выглядевшему во мраке в точности как все прочие. — А вот инструмент, чтоб

с ним управиться. — В тусклом свете фонаря я увидел, как он засовывает руку глубоко под свои грязные фланелевые, молескиновые, парусиновые одежки и извлекает оттуда ломик длиной с мое предплечье. — А вот тут, наверху, я вырубил махонькую выемку, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Все проще простого — как отмыкаешь ключом дверь в собственном дому.

В полутьме я не разглядел выемки на верхней кромке камня, прямо под известковым швом, но плоский конец ломика живо ее нашел. Дредлс крякнул, обдав меня спиртными парами, и навалился всем весом на ломик. Камень завизжал.

Я написал «завизжал», дорогой читатель, а не «заскрипел» или «заскрежетал», поскольку каменный блок выдвинулся на несколько дюймов из древней стены со звуком, в точности похожим на женский визг.

Я помог Дредлсу вытащить из кладки на удивление тяжелый камень и положить на темную сырую ступень изогнутой лестницы. Фонарь высветил прямоугольное отверстие, на вид слишком маленькое для моих целей. Когда Дредлс бросил железный ломик на пол у меня за спиной, признаться, я подскочил на несколько дюймов.

— Ну же, нагнитесь, загляните туда, познакомьтесь с мертвыми стариканами, — захихикал каменотес.

Он в очередной раз отхлебнул из своей неизменной бутылки, а я поднес фонарь к отверстию и попытался заглянуть внутрь.

Мне по-прежнему казалось, что здесь слишком мало места для моих целей. Менее фута отделяло наружную стену от первой, внутренней стены старинного склепа, и, хотя дно этой щели находилось на пару футов ниже уровня пола, где мы сидели на корточках, межстенная полость, уходившая в обе стороны от проделанной нами дыры, была наполовину заполнена битым камнем, пыльными бутылками и прочим мусором.

Я услышал хриплый смешок Дредлса. Должно быть, он увидел мое ошеломленное выражение лица в слабом свете фонаря.

— Вы думаете, узковато будет для ваших нужд, так, мистер Билли Уилки Коллинз? Но вовсе нет. В самый раз. А ну-ка, подвиньтесь.

Я продолжал светить фонарем на отверстие в стене, а Дредлс подобрался на корточках ближе, похлопал себя по раздутым карманам, и внезапно в правой руке у него оказалась длинная берцовая кость какого-то животного.

— Чья это? — прошептал я.

— Да одной из ваших испытательных собак с известковой ямы, ясное дело. Той, что покрупнее. Ведь это ж я выгребаю там всякий мусор, верно? А теперь смотрите и слушайте.

Дредлс засунул собачью или бог знает чью кость в маленькую дыру и сильным щелчком пальцев отправил ее вбок. Я услышал, как она с сухим стуком упала на битый камень в нескольких футах в стороне от отверстия и ниже уровня пола.

— Тут хватит места для скелетов хоть цельной своры псов, — излишне громко сказал каменотес. — Но мы-то с вами собираемся подселить к старым мертвякам с их-ними крючковатыми посохами не собак вовсе, а?

Я промолчал.

Дредлс снова похлопал по карманам грязной, пропыленной куртки, и в руках у него вдруг оказался человеческий череп без нижней челюсти.

— Кто это... был? — прошептал я.

В этом тесном, но гулком пространстве создавалось крайне неприятное впечатление, будто голос мой дрожит.

— А, ну да, имена важны для мертвяков, хотя не столько для них, сколько для нас, живых, так ведь? — рассмеялся Дредлс. — Давайте назовем его Йориком.

Верно, старик опять увидел выражение моего лица в тусклом свете фонаря, ибо он расхохотался в голос — эхо пьяного лающего смеха отразилось от сводов часовни уровнем выше, от стен изогнутой, ведущей вниз лестницы, где мы находились, от пола неведомых помещений, туннелей и пещер далеко внизу, погруженных в кромешный мрак.

— Пущай мистер Билли Уилки Коллинз не думает, что простые каменотесы не знают и не могут цитировать Великого Барда, — прошептал старик. — Ну, давайте проводим бедного Йорика в последний путь. — С этими словами он осторожно просунул череп в узкое отверстие и резким движением кисти отправил его влево. Череп упал на камни, бутылки и мусор внизу с поистине незабываемым звуком.

— С черепушками приходится труднее всего, — радостно сообщил Дредлс. — Хребтину, даже ежели там все позвонки целы, можно скрутить в кольцо, точно одеревенелую змеюку, и не беда, коли пара-другая костяшек отвалится. Но куда пролезет череп, туда и цельный человек пройдет. Или десять цельных человеков. Или сотня. Вы удовлетворены, мистер Билли Уилки?

— Да.

— Тогда будьте добры, пособите мне поставить этот камень на место. Когда вы управитесь со своим делом здесь, дадите знать старому Дредлсу, и я замажу щели раствором так ловко, что никому и в голову не придет, будто эту стену трогали хоть раз со дня Всемирного потопа.

Снаружи, на холодном мартовском ветру, я вручил старому каменщику триста фунтов разными купюрами. Пока я отсчитывал деньги, длинный, сухой, розово-серый язык Дредлса чуть не ежесекундно выстреливал изо рта, точно у галапагосской ящерицы, и стремительно облизывал губы, дотягиваясь даже до пыльных щетинистых щек.

— И я буду платить вам по сто фунтов каждый год, — прошептал я. — До конца ваших дней.

Он с подозрительным пришуром взглянул на меня. Голос его, когда он заговорил, прозвучал слишком, слишком громко:

— Надеюсь, мистер Билли Уилки Коллинз не думает, что молчание старого Дредлса надобно покупать? Дредлс умеет молчать не хуже господина хорошего, что стоит

рядом с ним. Или плохого, коли на то пошло. Ежели человек, сотворивший такое дело, какое вы замышляете, думает платить за молчание, он может додуматься пойти на еще одно непотребство, чтобы *окончательно* гарантировать молчание. Это будет ошибкой, мистер Билли Уилки. Точно вам говорю. Я все рассказал своему подмастерью про ваши тутошние дела и взял с него клятву хранить молчание под страхом смерти от руки разгневанного Дреддса, но он знает, сэр, он знает. И он всем расскажет, ежели с его господином и повелителем, старым здоровяком Дреддсом, случится какая беда.

Я подумал о подмастерье — глухонемой идиот, насколько я помнил. Но сказал:

— Чепуха. Считайте это ежегодным пособием. Ежегодной платой за ваши услуги и вклад в наше общее...

— Дреддс знает, что такое ежегодное пособие так же хорошо, как знает, что старый Йорик, оставленный нами внизу, был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки Горацио. В общем, дайте Дреддсу знать, когда вам понадобится на веки вечные посадить на раствор тот замечательный старый камень.

С этими словами он развернулся на стоптанных каблуках и двинулся восвояси, на ходу дотронувшись пальцами до воображаемых полей воображаемой шляпы.

Ежемесячные продажи «Мужа и жены» были не столь впечатляющими, как продажи «Лунного камня». На сей раз длинные очереди не выстраивались каждый месяц за новыми выпусками романа. Критики встретили книгу прохладно, даже враждебно. Английских читателей, как я и ожидал, привело в негодование точное и подробное описание бесчинств и самоистязаний мускулистого христианина-спортсмена. Согласно сообщению Харперов из Нью-Йорка, американских читателей мало заинтересовала и еще меньше возмутила несправедливость английских матримониальных законов, которые разрешали — и даже поощряли — уловление в сети нежелательного брака.

Меня все это нисколько не волновало.

Если вы в своем будущем не читали «Мужа и жену», дорогой читатель (хотя я искренне надеюсь, что мой роман все еще издается век с лишним спустя), позвольте мне дать вам представление о нем. В нижеприведенной сцене из главы пятьдесят четыре (страница двести двадцать шесть в первом издании) у моей несчастной, попавшей в матримониальную западню героини Эстер Детридж происходит жуткая (по крайней мере — в моем разумении) встреча.

> Существо крадучись двинулось мне навстречу, темное и расплывчатое в ярком солнечном свете. Поначалу я видела лишь смутную женскую фигуру. Через несколько мгновений она начала обретать отчетливость очертаний, светлеть изнутри кнаружи. Она становилась все светлее, светлее, светлее, и наконец я увидела перед собой САМУ СЕБЯ, словно в зеркале, — точную свою копию, смотревшую на меня моими глазами... она сказала мне собственным моим голосом: «Убей его».

«Касселлз мэгэзин» выплатил мне пятьсот фунтов авансом и потом еще семьсот пятьдесят. Я договорился с издательским домом Ф. С. Эллиса об издании «Мужа и жены» в трех томах, первый из которых выйдет в свет двадцать седьмого января. Несмотря на скромные продажи в Америке, Харперам настолько понравились начальные выпуски романа, что они прислали мне совершенно неожиданный чек на пятьсот фунтов. Вдобавок я писал «Мужа и жену» с твердым расчетом на последующую переработку для театра (этот и следующие мои романы по форме приближены к пьесе) и рассчитывал получить дополнительный доход от очень скорого его переноса на лондонскую и американскую сцены.

Сравните мою производительность с литературным бездействием Чарльза Диккенса, ничего не написавшего в течение последнего года с лишним.

Тем сильнейшую досаду испытал я однажды в мае, когда заглянул в контору «Круглого года» на Веллингтон-стрит, чтобы обсудить (в требовательном тоне) возвра-

щение моих авторских прав с Уиллсом или Чарли Диккенсом, и, по старой привычке прохаживаясь там из кабинета в кабинет, случайно наткнулся на распечатанное письмо с финансовым докладом от Форстера и Долби.

В нем подытоживались доходы Диккенса от публичных чтений, и при виде указанных там цифр скарабей лихорадочно завозился за моим правым глазом, от чего мучительная боль кольцом сдавила голову. Сквозь туман нестерпимой боли я прочитал нижеприведенный отчет, написанный убористым почерком Долби:

> За последние годы Чарльз Диккенс провел в общей сложности четыреста двадцать три платных публичных чтения — сто одиннадцать при импресарио Артуре Смите, семьдесят при Томасе Хедленде и двести сорок два при Долби. Похоже, при Смите и Хедленде Неподражаемый никогда не вел строгого учета своих заработков, но нынешней весной он оценивал их в сумму примерно двенадцать тысяч фунтов. При Долби его доходы достигли почти тридцати трех тысяч. В итоге получалось около сорока пяти тысяч (в среднем свыше ста фунтов за выступление), каковая сумма, согласно приложенной к письму записке Диккенса, составляла почти половину всего его состояния, которое сейчас оценивалось приблизительно в девяносто три тысячи фунтов.

Девяносто три тысячи фунтов. Весь прошлый и нынешний год я едва сводил концы с концами — из-за вложения личных средств в постановку «Черно-белого», из-за чрезмерных денежных ссуд Фехтеру, из-за постоянных расходов на содержание громадного дома на Глостер-плейс (и сопутствующих выплат жалованья двум слугам и поварихе), из-за щедрых вспомоществований Марте Р*** и особенно из-за постоянной необходимости покупать огромные количества опиума и морфия для лекарственных нужд. Годом раньше в письме к Фредерику Леману (когда этот верный друг предложил мне денег взаймы) я написал: «Я отплачу Искусству. Будь оно проклято!»

Погода тогда стояла плохая, а потому я поехал домой с Веллингтон-стрит в кебе и на Стрэнде увидел бредущую под дождем дочь Диккенса Мэри (в семье и в кругу близких друзей семьи все звали ее Мейми). Я тотчас велел вознице остановиться, подбежал к ней и узнал, что она идет по улице одна, без зонтика, поскольку не сумела поймать кеб. Я помог ей сесть в мой экипаж, постучал в потолок тростью и крикнул вознице: «Гайд-Парк-плейс, дом пять, прямо напротив Мраморной Арки».

Вода текла с нее ручьями, и я дал ей два чистых носовых платка, чтобы она вытерла хотя бы лицо и руки, а потом увидел ее покрасневшие глаза и понял, что она плакала. Пока кеб медленно полз в северном направлении по запруженным улицам, а Мейми вытиралась платком, у нас завязался разговор. В тот день дождь стучал по крыше кеба особо настойчиво.

— Вы очень добры, — начала расстроенная молодая женщина (хотя в своем преклонном возрасте тридцати двух лет она едва ли могла сойти за молодую женщину). — Вы всегда были очень добры к нашей семье, Уилки.

— И всегда буду, — промямлил я. — Ибо за многие годы знакомства я видел много добра от вашей семьи.

Кучер над нами, мокнущий под ливнем, орал и щелкал кнутом, замахиваясь не на свою бедную лошадь, а на возницу какого-то фургона, переехавшего нам дорогу.

Казалось, Мейми не слышала меня. Вернув мне влажные теперь платки, она вздохнула и сказала:

— Знаете, я на днях была на королевском балу и развеклась на славу. Там было так весело! Отец собирался сопровождать меня, но в последний момент не смог пойти...

— Надеюсь, не по причине здоровья? — промолвил я.

— Увы, именно так. Он говорит, что левая нога у него — я передаю дословно, так что уж извините — болит до чертиков. Он с трудом доковыливает до рабочего стола каждый день.

— Мне прискорбно это слышать, Мейми.

— Да, да, мы все опечалены. За день до королевского бала к отцу приходила посетительница — совсем юная

девица с литературными устремлениями, которой лорд Литтон порекомендовал поговорить с отцом, — и, когда отец рассказывал ей, какое удовольствие он получает от работы над «Друдом», у этой выскочки хватило наглости спросить: «А вдруг вы умрете, не успев дописать книгу?»

— Возмутительно, — пробормотал я.

— Да, да. А отец... вы же знаете, как иногда во время разговора он улыбается, но взгляд его при этом внезапно устремляется куда-то вдаль... так вот, он сказал: «Ну да, такое со мной бывает». Девица сконфузилась...

— И правильно сделала, — вставил я.

— Да, да... Но когда отец увидел, что смутил ее, он очень мягко, самым добрым своим голосом промолвил: «Остается только работать — работать, пока есть время и силы».

— Совершенно верно, — сказал я. — Все мы, писатели, держимся такого же мнения на сей счет.

Мейми принялась возиться со своей шляпкой, заправлять мокрые развившиеся локоны за уши, и мне выпала минутка поразмыслить о довольно печальном будущем обеих дочерей Диккенса. Младшая, Кейти, состояла в браке с тяжелобольным молодым человеком и в настоящее время была изгоем светского общества как из-за разрыва отца с матерью, так и из-за собственного своего поведения и бесконечных флиртов. У нее всегда был слишком острый язык для слуха светского общества и большинства мужчин, представляющих собой приемлемую партию. Мейми была не так умна, как Кейти, но ее отчаянные попытки занять положение в свете всегда происходили на периферии высшего общества и обычно сопровождались вихрем злобных сплетен, вызванных политическими взглядами отца, поведением сестры и ее собственным стародевичеством. Последним серьезным кандидатом в мужья Мейми являлся Перси Фицджеральд, но, как заметила Кейти в канун Нового года, Перси остановил выбор на «жеманной прелестнице» и отказался от последнего шанса породниться с семейством Диккенса.

— Мы будем страшно рады вернуться в Гэдсхилл-плейс, — внезапно сказала Мейми, закончив оправлять обвисшие мокрые юбки и приводить в подобие порядка кружева на корсаже.

— О, вы так скоро покидаете дом Милнера Гибсона? Мне казалось, Чарльз арендовал его на более долгий срок.

— Только до первого июня. Отцу не терпится вернуться в Гэдсхилл на лето. Он хочет, чтобы дом гостеприимно распахнул двери и мы все съехались и устроились там уже ко второму или третьему июня. До конца лета у него будет мало поводов наведываться в Лондон. Отец очень тяжело переносит железнодорожные поездки, Уилки. К тому же Эллен проще навещать его там, чем в городе.

Я растерянно моргнул, потом снял очки и протер стекла одним из влажных носовых платков, чтобы скрыть свою реакцию.

— Так мисс Тернан по-прежнему бывает в Гэдсхилле? — небрежно спросил я.

— О да. Последние несколько лет Эллен нередко у нас гостила — ваш брат или Кейти наверняка говорили вам, Уилки! Если подумать, странно, что вы ни разу не приезжали в Гэдсхилл, когда Эллен находилась там. Но с другой стороны — вы же страшно занятой человек!

— Да, конечно, — промолвил я.

Значит, Эллен Тернан по-прежнему частый гость в Гэдсхилле. Неожиданная новость. Я был уверен, что Диккенс взял с дочерей клятву молчать на сей счет (дабы не давать обществу еще одного повода избегать всех их), но рассеянная Мейми забыла об этом. Или полагала, что я все еще остаюсь близким другом отца, посвященным во все его дела.

В тот момент я осознал, что никто из нас — никто из родственников, друзей и даже будущих биографов Диккенса из какой-нибудь грядущей эпохи вроде вашей, дорогой читатель, — никогда не узнает подлинной истории его странных отношений с актрисой Эллен Тернан. Действительно ли они похоронили своего ребенка во Фран-

ции, как я предположил на основании подслушанного разговора, состоявшегося между ними у Пекхэмской станции? Действительно ли они жили теперь как брат и сестра, навсегда оставив страсть в прошлом (коли таковая вообще имела место)? Или эта страсть приобрела новую форму, предполагающую публичность и гласность, — возможно, скандальный развод и второй брак стареющего писателя. Найдет ли когда-нибудь Чарльз Диккенс счастье с женщиной, которая, похоже, всегда держала на расстоянии своего пылкого, наивного, романтически настроенного поклонника?

Писатель во мне с интересом задавался подобными вопросами. Остальная часть меня плевать на них хотела. Старый друг во мне смутно желал, чтобы Диккенс обрел счастье при жизни. Остальная часть меня понимала, что жизни Диккенса пора положить предел, что он должен исчезнуть — бесследно сгинуть, испариться, пропасть, не оставив после себя трупа, — чтобы раболепная толпа не могла похоронить его на кладбище Вестминстерского аббатства. Это было крайне важно.

Мейми продолжала болтать какой-то вздор — что-то о господине, с которым она танцевала и флиртовала на королевском балу, — но внезапно экипаж остановился, я выглянул в исчерченное дождем окошко и увидел Мраморную Арку.

— Я провожу вас до двери, — сказал я, выходя из кеба и подавая руку глупой старой деве.

— О Уилки! — воскликнула она, опираясь на мою руку. — Вы воистину добрейший человек на свете!

Через несколько дней после вышеописанной случайной встречи, когда я один шел домой из театра «Адельфи», кто-то окликнул меня свистящим шепотом из темного переулка.

Я остановился, повернулся и поднял трость с медным набалдашником, как сделал бы любой джентльмен при столкновении с подозрительным типом поздним вечером.

— Мис-с-стер Коллинз, — прошипела черная фигура в узком проеме между домами.

«Друд», — подумал я. Сердце у меня бешено заколотилось, кровь зашумела в ушах. Я застыл на месте, не в силах пуститься в бегство. Стиснул трость обеими руками.

Неясная фигура подступила на два шага ближе к выходу из переулка, но на свет не вышла.

— Мис-с-стер Коллинз... это я, Реджинальд Баррис-с-с. — Он поманил меня рукой.

Я не собирался заходить в эту вонючую черную расселину, но разглядел лицо фигуры в рассеянном, слабом свете фонаря, стоявшего поодаль. Все та же нечистая кожа, все та же всклокоченная борода, все те же глаза под набрякшими веками и затравленно бегающий по сторонам взгляд. Я лишь мельком увидел тускло блеснувшие в полумраке зубы, но мне показалось, они сгнили и разрушились. Некогда привлекательный, самоуверенный, крепко сбитый сыщик Реджинальд Баррис превратился в призрачную жутковатую фигуру, шипящую мне из темного переулка.

— Я думал, вас уже нет в живых, — прошептал я.

— Мне недолго осталос-сь жить, — тихо проговорил Баррис. — Они охотятся за мной повс-сюду. Не дают мне времени ни пос-спать, ни поес-сть. Мне приходится пос-стоянно менять местонахождение.

— Какие у вас новости? — осведомился я, по-прежнему держа наготове тяжелую трость.

— Друд и его прис-спешники назначили дату, когда заберут вашего друга Диккенс-са, — прошипел он.

Я сообразил, что он присвистывает по-друдовски из-за отсутствующих зубов.

— Когда?

— Девятого июня. Через три недели без малого.

«Пятая годовщина», — подумал я. Это было логично.

— Что значит «заберут»? — спросил я. — Они убьют его? Похитят? Заберут в Подземный город?

Грязный оборванец пожал плечами. Он натянул потрепанную шляпу пониже, и на его лицо снова легла тень.

— Что мне делать?

— Вы можете предупредить его, — прохрипел Баррис. — Но он не найдет мес-ста, где спрятаться, — не с-скроется от них ни в одной с-стране.

Сердце у меня по-прежнему билось часто.

— Я могу чем-нибудь помочь *вам*?

— Нет, — сказал Баррис. — С-со мной все кончено.

Прежде чем я успел задать следующий вопрос, он попятился и, казалось, провалился под грязное булыжное покрытие. Верно, там была подвальная лестница, которой я не видел, но у меня создалось впечатление, будто неясная фигура просто вертикально ушла под землю в темном переулке.

Девятое июня. Но как мне успеть самому расправиться с Диккенсом до этой даты? Скоро он вернется в Гэдсхилл-плейс, и мы оба усердно трудимся каждый над своим романом. Удастся ли мне оторвать его от работы и заманить в Рочестер, чтобы осуществить задуманное? Причем до девятого июня, до дня годовщины Стейплхерстской катастрофы, когда Диккенс неизменно встречался с Друдом?

Я написал официальное и довольно холодное письмо Уиллсу с требованием вернуть мне авторские права на все мои повести и романы, когда-либо публиковавшиеся в «Круглом годе», и Диккенс самолично ответил мне на него в последнюю неделю мая 1870 года.

Даже деловая часть этого послания была на удивление дружелюбной — Неподражаемый заверял меня, что необходимые бумаги уже составляются и что, хотя подобное возвращение авторских прав в нашем контракте не оговаривалось, все права будут возвращены мне незамедлительно.

Но в нескольких коротких заключительных фразах сквозила печаль, даже тоска:

> Дорогой Уилки, я не наведываюсь к вам, поскольку не хочу вас беспокоить. Может статься, вы не против повидаться со мной не сегодня завтра. Как знать?

Это было то, что надо.

Я тотчас же написал Диккенсу сердечное письмо, где спрашивал, можем ли мы встретиться «в ближайшее удобное для вас время, но желательно до памятной даты, которую вы ежегодно отмечаете в начале лета».

Если Неподражаемый не сжег письмо, по обыкновению, данная фраза наверняка покажется загадочной любому, кому оно попадется в руки впоследствии.

Когда первого июня от Диккенса пришел теплый утвердительный ответ, я завершил последние приготовления и перешел к Акту Третьему, заключительному.

Глава 47

Где я?

Гэдсхилл, но не Гэдсхилл-плейс, а просто Гэдсхилл, то самое место, где Фальстаф пытался ограбить карету, но подвергся нападению «тридцати разбойников» (на самом деле — принца Генри с другом) и сам едва не стал жертвой ограбления, прежде чем удрал в панике.

Моя черная карета стоит сбоку от «Фальстаф-Инн». Наемный экипаж похож на катафалк, что представляется весьма уместным. Он почти невидим в тени высоких деревьев сейчас, когда начинают сгущаться сумерки. Кучер на козлах не кучер вовсе, а матрос, нанятый мной на одну ночь за плату, равную полугодовому заработку настоящего кучера. Кучер из него никудышный, но зато он иностранец. Он не говорит по-английски (я объясняюсь с ним на скудном немецком, который изучал еще в школе, и на языке жестов) и ничего не знает об Англии и знаменитых англичанах.

Через десять дней он снова уйдет в плавание и, возможно, никогда больше не вернется на английские берега. Он не испытывает ни малейшего любопытства к происходящему. Кучер он препаршивый — лошади чувствуют отсутствие сноровки и не выказывают никакого уважения к нему, — но он идеальный кучер на сегодня.

Когда происходит дело?

Теплым вечером восьмого июня, спустя двадцать минут после захода солнца. Ласточки и летучие мыши чертят стремительные зигзаги в воздухе, то исчезая в тени, то вновь появляясь; крылья летучих мышей и раздвоенные хвосты ласточек похожи на распластанную букву V на фоне акварельно-бледного сумеречного неба.

Я вижу Диккенса, он скорым шагом переходит дорогу — вернее, пытается идти скорым шагом, но слегка прихрамывает. Он в темном костюме, надетом, полагаю, специально для нашей вылазки, и мягкой шляпе с широкими опущенными полями. Я открываю дверцу, и он запрыгивает в карету и усаживается рядом со мной.

— Я никому не сказал, куда ушел, — отдуваясь, говорит он. — Как вы и просили, друг мой.

— Благодарю вас. Такая секретность необходима лишь на сей раз.

— Все это очень таинственно, — говорит он, когда я стучу в потолок экипажа тяжелой тростью.

— Так надо, — отвечаю я. — Сегодня, дорогой Чарльз, мы оба найдем разгадку каждый своей великой тайны, но ваша тайна более велика, чем моя.

Он никак не откликается на мои слова и лишь раз высказывается по поводу возницы, когда карета, раскачиваясь, трясясь и подпрыгивая, с грохотом катится по большаку на восток. Кучер-матрос гонит лошадей слишком быстро, и экипаж, подскакивающий на выбоинах и вихляющий из стороны в сторону при объездах незначительных препятствий, грозит опрокинуться в придорожную канаву с водой.

— Похоже, ваш кучер страшно спешит, — произносит Диккенс.

— Он иностранец, — поясняю я.

Немного погодя Диккенс перегибается через меня, выглядывает в левое окошко и видит башню Рочестерского собора, черный шпиль на фоне меркнущего неба.

— Ага, — произносит он, но скорее утвердительно, нежели удивленно.

Карета со скрипом и скрежетом останавливается у кладбищенских ворот, мы выходим из нее — я держу в руке маленький незажженный фонарь, и оба мы двигаемся несколько скованно после нещадной тряски в дороге, — а кучер взмахивает кнутом, и черная карета с грохотом укатывает в сгущающиеся сумерки.

— Вы не хотите, чтобы возница подождал нас? — спрашивает Диккенс.

— Он вернется за мной в условленное время, — говорю я.

Если Диккенс и замечает, что я сказал «за мной», а не «за нами», он не выражает никакого недоумения по сему поводу. Мы заходим на кладбище. Собор, кладбище и эта старая часть города пустынны и безмолвны. Сейчас пора отлива, и мы слышим зловоние гниющей на отмелях тины, но откуда-то с моря доносятся свежий соленый запах и тихий рокот ленивых волн.

— Что дальше, Уилки? — спрашивает Диккенс.

Я достаю из кармана сюртука револьвер — после нескольких секунд неловкой возни, ибо он зацепился курком и мушкой за подкладку, — и направляю на него.

— Ага, — снова произносит он и снова без малейшего удивления. Сквозь шум крови в ушах я слышу в голосе Диккенса просто печаль, даже облегчение.

Несколько мгновений мы стоим так, странная и нелепая сцена. Ветер с моря шелестит в ветвях сосны, что растет у кладбищенской стены, скрывающей нас от взоров с улицы. Полы длинного летнего сюртука Диккенса развеваются на ветру, точно черный стяг. Он поднимает руку, чтобы придержать мягкую шляпу.

— Значит, известковая яма? — спрашивает он.

— Да.

Мне удается выговорить слово лишь после двух неудачных попыток. Во рту у меня пересохло. Мне безумно хочется приложиться к фляжке с лауданумом, но я боюсь даже на миг отвести взгляд от Диккенса.

Я коротко взмахиваю пистолетом, и Диккенс направляется к окутанной сумерками границе кладбища, где

находится известковая яма. Я следую за ним на расстоянии нескольких футов, стараясь сохранять безопасную дистанцию на случай, если вдруг Неподражаемый набросится на меня с намерением отнять оружие.

Внезапно он останавливается, я тоже останавливаюсь и отступаю на пару шагов, вскидывая и наставляя на него револьвер.

— Дорогой Уилки, могу я обратиться к вам с одной просьбой? — Он говорит так тихо, что я с трудом разбираю слова сквозь шум ветра в немногочисленных деревьях и густой болотной траве.

— Сейчас не время для просьб, Чарльз.

— Возможно.

В слабом лунном свете я вижу, что он улыбается. Мне не нравится, что он повернулся ко мне и смотрит на меня. Я надеялся, что он останется ко мне спиной, покуда мы не достигнем ямы и не покончим с делом.

— Но у меня все же есть просьба, — тихо продолжает он. К своему крайнему раздражению, я не слышу страха в его голосе, звучащем гораздо тверже, чем мой. — Одна-единственная.

— Какая именно?

— Возможно, вам покажется странным, Уилки, но последние несколько лет я остро предчувствовал, что умру в годовщину Стейплхерстской катастрофы. Вы позволите мне достать хронометр из жилетного кармана и посмотреть, который час?

«Зачем?» — тупо думаю я. Перед отъездом из дома я выпил почти две обычные свои дозы лауданума и сделал два укола морфия, и теперь действие препаратов сказывается, не столько укрепляя мою решимость, сколько вызывая головокружение и замутняя сознание.

— Хорошо, посмотрите, только быстро, — с усилием произношу я.

Диккенс спокойно достает хронометр, вглядывается в него в лунном свете и раздражающе медленно заводит, прежде чем положить обратно в карман.

— Начало одиннадцатого, — говорит он. — В июне темнеет как раз в это время, и мы выехали поздно. До полуночи ждать недолго. Я не могу объяснить, почему... ведь ваша цель — чтобы никто не узнал, как и где я умер и погребен... но для меня важно, чтобы мое предчувствие сбылось и я покинул этот мир не восьмого, а девятого июня.

— Вы надеетесь, что кто-нибудь здесь появится или вам вдруг представится возможность сбежать, — говорю я своим новым, дрожащим голосом.

Диккенс пожимает плечами:

— Если кто-нибудь зайдет на кладбище, вы сможете застрелить меня и через заросли травы добраться до вашей кареты, ждущей неподалеку.

— Тогда ваше тело найдут, — невыразительным голосом говорю я. — И похоронят вас в Вестминстерском аббатстве.

Тут Диккенс смеется. Громким, заливистым, беззаботным смехом, столь хорошо мне знакомым.

— Неужели все дело в этом, Уилки? В Вестминстерском аббатстве? Рассею ли я ваши опасения, если скажу, что уже изъявил в завещании волю, чтобы меня похоронили скромно, без шумихи? Никаких церемоний в Вестминстерском аббатстве или любом другом месте. Я выразил свое желание в самых недвусмысленных выражениях: не больше трех карет в похоронной процессии и не больше провожающих, чем поместится в этих трех каретах.

Кажется, мое тяжело стучащее сердце — а теперь еще и пульсирующая головная боль — пытается попасть в такт далекому рокоту прибоя на песчаной отмели где-то к востоку, но неравномерные порывы ветра отказываются подчиняться ритму.

— Никакой похоронной процессии не будет, — говорю я.

— Ясное дело, — соглашается Диккенс и приводит меня в ярость едва заметной усмешкой. — Тем больше оснований оказать мне последнюю маленькую любезность, прежде чем мы расстанемся навеки.

— Чего ради? — спрашиваю после долгой паузы.

— Вы сказали, что каждый из нас сегодня разгадает тайну. Видимо, мне предстоит раскрыть тайну, что же ждет человека после смерти, если там вообще есть что-нибудь. А что насчет вас, Уилки? Какую тайну желаете разгадать этим погожим вечером вы?

Я молчу.

— Позвольте мне высказать предположение, — говорит Диккенс. — Вы хотели бы узнать, чем должна была закончиться «Тайна Эдвина Друда». И возможно даже, узнать, каким образом мой Друд связан с вашим Друдом.

— Да.

Он снова смотрит на часы.

— До полуночи осталось всего полтора часа. Я прихватил с собой фляжку бренди — по вашему совету, хотя Фрэнк Берд пришел бы в ужас, когда бы узнал об этом, — а вы наверняка взяли что-нибудь бодрящее для себя. Почему бы нам не найти где-нибудь здесь удобное местечко и не побеседовать в последний раз, прежде чем колокола соборной башни возвестят о моем смертном часе?

— Вы надеетесь, что я передумаю, — говорю я со злобной улыбкой.

— На самом деле, дорогой Уилки, я ни секунды не сомневаюсь, что такого не случится. И я не уверен, что мне хочется, чтобы вы передумали. Я очень... устал. Но я не прочь напоследок поговорить с вами и выпить бренди.

С этими словами Диккенс круто поворачивается и начинает высматривать среди надгробных камней место, куда присесть. Мне остается либо уступить его желанию, либо пристрелить его прямо здесь и отволочь труп к известковой яме, на расстоянии многих ярдов. Я надеялся избежать подобного непотребства, оскорбительного для нас обоих. И, честно говоря, я ничего не имел бы против того, чтобы спокойно посидеть несколько минут, покуда у меня не пройдет головокружение.

Он выбирает в качестве стульев два плоских надгробных камня, расположенных по сторонам от могильной плиты подлиннее, способной сойти за низкий стол, —

напоминание о происходившей на этом самом кладбище трапезе, когда Диккенс изображал официанта перед Эллен Тернан, ее матерью и мной.

Получив разрешение, Диккенс достает из кармана сюртука фляжку с бренди и ставит ее на плиту-стол перед собой, а я делаю то же самое со своей серебряной фляжкой. Я запоздало соображаю, что мне следовало похлопать Неподражаемого по карманам, когда я в первый раз направил на него пистолет. Я знаю, что в Гэдсхилл-плейс он держит свой собственный пистолет, а также дробовик, из которого убил Султана. Тот факт, что Диккенс нисколько не удивился, узнав о цели нашей «таинственной вылазки», наводит меня на мысль, что он мог прихватить из дома оружие... тогда получает объяснение его иначе необъяснимая беспечность.

Но сейчас уже слишком поздно. Я просто буду начеку все оставшееся до полуночи время.

Несколько минут мы сидим в молчании. Потом колокола соборной башни начинают отбивать одиннадцать — нервы у меня так напряжены, что я дергаюсь и едва не спускаю курок оружия, по-прежнему нацеленного Диккенсу в грудь.

Он замечает мою реакцию, однако ничего не говорит, когда я кладу револьвер на колено, продолжая направлять дуло на него, но убрав палец из штуковины, которую Хэчери называл, кажется, «спусковой скобой».

Я снова вздрагиваю всем телом, когда после долгого молчания Диккенс подает голос:

— Это то самое оружие, что однажды показывал мне Хэчери?

— Да.

Несколько мгновений слышен лишь шелест ветра в траве. Словно страшась этой тишины, словно она ослабляет мою решимость, я заставляю себя сказать:

— Вы знаете, что Хэчери умер?

— О да.

— А вам известно, как он умер?

— Да, — кивает Диккенс. — Известно. Мне сообщили знакомые из Столичной полиции.

Больше нам нечего сказать на эту тему. Но от нее я перехожу к интересующему меня предмету, единственно благодаря которому Чарльз Диккенс до сих пор остается жив.

— Меня удивило, что вы ввели в «Эдвина Друда» персонажа по имени Дэчери, явно переодетого сыщика в пышном парике, — говорю я. — Такая карикатура на бедного Хэчери — особенно если учесть... э... прискорбные обстоятельства его смерти, — кажется довольно обидной.

Диккенс смотрит на меня. Сейчас, когда мои глаза привыкли к темноте, на кладбище, расположенном далеко от освещенных фонарями улиц и жилых домов с горящими окнами, создается впечатление, будто надгробные камни вокруг — особенно белая мраморная плита между нами, похожая на ломберный стол, за которым мы разыгрываем нашу последнюю партию в покер, — отбрасывают на лицо Диккенса блики лунного света, словно жалкие подобия газовых ламп в осветительной установке, сооруженной для его публичных чтений.

— Не карикатура, — возражает он. — Теплое воспоминание.

Я отпиваю маленький глоток из фляжки и небрежно отмахиваюсь.

Это неважно.

— Вы не написали еще и половины «Друда» — из печати вышло только четыре первых выпуска, — но уже убили молодого Эдвина Друда. Позвольте спросить вас как профессионал профессионала — как человек, бесспорно более опытный и предположительно более искусный в деле сочинения «романов с тайной», — как вы надеетесь удерживать интерес читателя, Чарльз, если вы совершили убийство в первой трети истории и имеете лишь одного кандидата в убийцы — вашего умнейшего негодяя Джона Джаспера.

— Ну что ж, — говорит Диккенс, — как профессионал профессионалу отвечу вам: не следует забывать что... Стойте!

Я резко вскидываю револьвер и, промаргиваясь, целюсь ему в грудь. Кто-то зашел на кладбище? Он пытается отвлечь мое внимание?

Нет. Похоже, Неподражаемому просто пришла в голову какая-то мысль.

— Но откуда, дорогой Уилки, — продолжает Диккенс, — вы знаете о внешности Дэчери и даже об убийстве бедного Эдвина, если эти сцены, эти главы еще не появились в печати и... а, ясно... Уиллс! Вы каким-то образом раздобыли копию законченной рукописи у Уиллса. Уильям Генри — славный малый, верный друг, но после несчастного случая стал совсем другим, со всеми своими дверями, скрипящими и хлопающими в голове.

Я молчу.

— Ну ладно, — говорит Диккенс. — Вы знаете об убийстве молодого Друда в сочельник. Вы знаете, что Криспаркл находит в реке часы и галстучную булавку, хотя тела нигде не находят. Вы знаете, что подозрение падает на вспыльчивого молодого иностранца с Цейлона, Невила Ландлеса, брата прекрасной Елены, а на трости Ландлеса обнаруживают запекшуюся кровь. Вы знаете, что Эдвин и Роза разорвали помолвку, и знаете, что дядя Эдвина, опиоман Джон Джаспер, падает в обморок после убийства, когда узнает, что помолвка была расторгнута и он ревновал понапрасну. К настоящему времени я написал шесть выпусков из двенадцати, предусмотренных контрактом. Но о чем вы хотите спросить?

Я чувствую тепло от лауданума в теле, и мое нетерпение возрастает. Скарабей в моем мозгу испытывает еще сильнейшее нетерпение — он суетливо бегает взад-вперед у меня за переносицей и выглядывает то из одного, то из другого глаза, словно выбирая, откуда лучше видно.

— Джон Джаспер совершил убийство в сочельник, — говорю я, слегка взмахивая пистолетом. — Я даже могу назвать орудие убийства — длинный черный шарф, который вы потрудились упомянуть без особой причины по меньшей мере трижды. Ваши намеки не назовешь тонкими, Чарльз.

— Сперва у меня был длинный галстук, — говорит он с очередной убийственной улыбкой. — Но потом я заменил его на шарф.

— Знаю, — раздраженно выпаливаю я. — Чарли говорил мне, что вы подчеркивали необходимость изобразить галстук на иллюстрации, а позже велели Филдсу нарисовать вместо него шарф. Галстук, шарф — не имеет значения. Мой вопрос остается прежним: как вы надеетесь держать читателя в напряжении всю вторую половину книги, если всем известно, что убийца — Джон Джаспер?

Диккенс несколько секунд молчит, словно пораженный неожиданной мыслью. Потом аккуратно ставит фляжку с бренди на выщербленный дождями и ветром камень. Он зачем-то надел очки — словно предполагая, что при обсуждении романа, который теперь навсегда останется незаконченным, понадобится прочитать мне вслух несколько мест, — и сейчас дважды отраженный лунный свет превращает стекла очков в матовые белосеребристые диски.

— Вы хотите дописать мою книгу, — шепчет он.

— Что?!

— Вы меня слышали, Уилки. Вы хотите явиться к Чапмену и сказать, что можете закончить роман за меня, — Уильям Уилки Коллинз, знаменитый автор «Лунного камня», изъявляет готовность продолжить работу своего погибшего друга, своего бывшего соавтора, ныне покойного. Уильям Уилки Коллинз, скажете вы скорбящим Чапмену и Холлу, единственный человек в Англии — единственный человек в англоязычном мире — единственный человек во всем мире! — который знал образ мыслей Чарльза Диккенса настолько хорошо, что он, Уильям Уилки Коллинз, может закончить историю с тайной, к прискорбию оборванную на полуслове в связи с внезапным исчезновением упомянутого мистера Диккенса, наверняка наложившего на себя руки. Вы хотите дописать «Тайну Эдвина Друда», Уилки, и таким образом в буквальном смысле слова занять мое место

не только в читательских сердцах, но и в ряду великих писателей нашего времени.

— Вздор несусветный! — кричу я так громко, что тотчас съеживаюсь и опасливо озираюсь по сторонам. Мой голос отражается эхом от стен собора и башни. — Глупости, — яростно шепчу я. — У меня нет подобных мыслей и устремлений. И никогда не было. Я сам пишу бессмертные произведения — «Лунный камень» продавался лучше вашего «Холодного дома» или нынешней вашей книги! И «Лунный камень», как я уже указывал вам нынче вечером, продуман и выстроен не в пример тщательнее, чем ваша невнятная, сумбурная история про убийство Эдвина Друда.

— Да, конечно, — тихо произносит Диккенс.

Но он улыбается, этот несносный Диккенс опять улыбается. Если бы я получал по шиллингу за каждый раз, когда видел эту улыбку, мне бы не пришлось работать.

— Кроме того, — продолжаю я, — я знаю ваш секрет. Я знаю «большой сюрприз», на котором держится ваш хитроумный сюжет, вся ваша весьма очевидная, по моим профессиональным меркам, история.

— Вот как? — довольно любезно говорит Диккенс. — Сделайте милость, просветите меня, дорогой Уилки. Будучи новичком в этом жанре, я, возможно, проглядел свой собственный «большой сюрприз».

Проигнорировав сарказм, я небрежно направляю револьвер в голову Неподражаемому и говорю:

— Эдвин Друд не умер.

— Да?

— Да. Джаспер пытался убить его, это ясно. Возможно даже, Джаспер считает, что преуспел в своей попытке. Но Друд уцелел, он жив и вскоре объединит силы с вашими столь откровенно положительными персонажами — Розовым Бутончиком, Невилом и его сестрой Еленой, младшим каноником Криспарклом из породы мускулистых христиан и даже с новым персонажем, приплетенным к истории весьма запоздало, этим моряком... — Я роюсь в памяти в поисках имени.

— Лейтенант Тартар, — услужливо подсказывает Диккенс.

— Да, да. Героический веревколазающий лейтенант Тартар, с первого взгляда и очень кстати влюбившийся в Елену Ландлес, и все прочие ваши... благодетельные ангелы... вступят в сговор с Эдвином Друдом, чтобы изобличить убийцу — Джона Джаспера!

Диккенс снимает очки, с улыбкой разглядывает их несколько мгновений, потом аккуратно кладет в футляр, а футляр убирает в карман сюртука. Мне хочется крикнуть: «Да выброси ты свои стекляшки! Они тебе больше не понадобятся! Если ты сейчас оставишь очки при себе, мне просто придется выуживать их из ямы с известью впоследствии!»

Он тихо спрашивает:

— И Дик Дэчери станет одним из этих... благодетельных ангелов... помогающих воскресшему Эдвину разоблачить несостоявшегося убийцу?

— Нет, — говорю я, не в силах скрыть ликование. — Ибо так называемый Дик Дэчери и есть сам Эдвин Друд — переодетый и загримированный!

— Вы... ваше предположение... весьма остроумно, Уилки, — после долгой паузы говорит он.

Мне нет необходимости отвечать. Должно быть, уже почти полночь. Я нервничаю и горю желанием поскорее добраться до известковой ямы и покончить с делом, а потом вернуться домой и принять очень горячую ванну.

— Только один вопрос, с вашего позволения, — тихо произносит Диккенс, постукивая по своей фляжке наманикюренным пальцем.

— Пожалуйста.

— Если Эдвин Друд уцелел после покушения своего дяди, зачем ему идти на такие ухищрения — скрываться, заручаться содействием союзников, маскироваться под почти комического Дика Дэчери? Почему бы просто не объявиться и не сообщить властям, что дядя пытался убить его в сочельник? Возможно даже, бросил предположительно мертвое, но на самом деле просто бесчувственное тело Эдвина в яму с негашеной известью —

откуда он выбрался, очнувшись, когда ядовитое вещество начало разъедать одежду и кожу, — восхитительная сцена, скажу вам как профессионал профессионалу, хотя у меня, признаюсь, не имелось причин ее писать... Но в таком случае, получается, у нас нет никакого убийцы — только сумасшедший дядя, покушавшийся на убийство, и у Эдвина Друда нет никаких причин скрываться. То есть нет убийства Эдвина Друда и нет никакой тайны.

— У Эдвина Друда есть причины скрываться до поры до времени, — уверенно заявляю я, хотя и близко не представляю, в чем они могут заключаться.

Я отхлебываю изрядный глоток из фляжки, но ни на секунду не прикрываю глаза.

— Что ж, желаю вам удачи, дорогой Уилки, — говорит Диккенс с непринужденным смехом. — Но прежде, чем пытаться закончить книгу в соответствии с планом, так мной и не написанным, вам следует знать следующее: молодой Эдвин Друд мертв. Джон Джаспер, находясь под воздействием такого же опиата, какой вы сейчас пьете, убил Эдвина в сочельник, как и предполагает читатель здесь же, в середине романа.

— Это нелепо, — говорю я. — Джон Джаспер так сильно ревнует Розу к своему племяннику, что убивает его? Но тогда... у нас впереди еще половина романа, которую нечем заполнить, кроме как... чем? Признанием Джона Джаспера?

— Да, — кивает Диккенс с гадкой усмешкой. — Именно так. Оставшаяся часть «Тайны Эдвина Друда» — во всяком случае, в своей основной линии — посвящена признаниям Джона Джаспера и его второго «я», Джаспера Друда.

Я трясу головой, но головокружение лишь усиливается.

— И Джаспер вовсе не дядя Друда, как нам позволяют считать вначале, — продолжает Диккенс. — Он брат Друда.

Я хочу рассмеяться, но у меня получается лишь громко фыркнуть:

— Брат!

— О да. Молодой Эдвин, как вы наверняка помните, собирается уехать в Египет в составе группы инженеров. Он планирует изменить Египет, возможно, навсегда поселиться там. Но Эдвин не знает, что его единокровный брат — не дядя, — Джаспер *Друд*, а не Джон Джаспер родился там... в Египте. И овладел там тайным искусством.

— Тайным искусством? — Я давно забыл целиться в Диккенса, но сейчас снова направляю на него револьвер.

— Месмеризм, — шепчет Неподражаемый. — Управление умами и поведением людей. Причем месмеризм не знакомого нам салонно-развлекательного толка, Уилки, а настоящее управление умами, граничащее с чтением мыслей, то есть с телепатией. Именно такого рода мысленная связь существует между молодым Невилом и его прекрасной сестрой Еленой Ландлес. Они развили свои телепатические способности на Цейлоне. Джаспер Друд овладел своим искусством в Египте. Когда Елена Ландлес и Джаспер Друд сойдутся наконец в месмерическом поединке — а он непременно состоится, — это будет сцена, о которой еще много веков читатели будут говорить с благоговейным трепетом.

«Елена Ландлес, — думаю я. — Эллен Лоулесс Тернан. Даже в последней незаконченной части несостоявшейся книги Диккенс непременно должен связать самую красивую и загадочную женщину в романе со своим собственным плодом фантазии и наваждением. Эллен Тернан».

— Вы меня слушаете, Уилки? — спрашивает Диккенс. — У вас такой вид, будто вы засыпаете.

— Вам кажется, — говорю я. — Но даже если Джон Джаспер на самом деле является Джаспером Друдом, намного старшим братом жертвы, какой в этом интерес для читателя, вынужденного скучать на протяжении еще нескольких сотен страниц, посвященных обычным признаниям?

— Не обычным признаниям, — хихикает Диккенс. — В этом романе мысли и сознание убийцы будут вскрыты

и исследованы так, как не делалось никогда прежде в истории литературы. Ибо Джон Джаспер, он же Джаспер Друд, — это два разных человека, две самостоятельные трагические личности, заключенные в одурманенном опиумом мозгу регента Клойстергэмского... — он на миг умолкает и театральным жестом указывает на громадное здание позади, — Рочестерского собора. Именно в этих самых склепах... — Он снова указывает на собор, и я машинально перевожу туда помутненный взгляд. — ...В этих самых склепах Джон Джаспер — Джаспер Друд спрячет полусожженные известью кости и череп своего любимого племянника и брата Эдвина.

— Чушь собачья, — тупо бормочу я.

Диккенс коротко хохочет.

— Возможно, — говорит он, продолжая тихо посмеиваться. — Но с учетом всех последующих сюжетных поворотов и ходов читатель будет... был бы... в восторге от многочисленных открытий и сюрпризов, которые его ждут... ждали бы... впереди. К примеру, наш Джон Джаспер-Друд совершил убийство под влиянием гипноза и опиума одновременно. Последний — опиум, принимаемый во все больших и больших дозах, — подготовил почву для воздействия первого — гипнотического приказа убить брата.

— Это лишено всякого смысла, — говорю я. — Мы с вами неоднократно обсуждали тот факт, что месмерист не может приказать человеку совершить убийство... совершить любое преступление... несовместное с нравственно-этическими взглядами, которых этот человек держится в сознательном состоянии.

— Да, — соглашается Диккенс.

Он доливает последний глоток бренди и кладет фляжку в верхний левый внутренний карман сюртука (я запоминаю на будущее, где она находится). Как всегда при обсуждении сюжетных ходов и прочих моментов своих произведений, Чарльз Диккенс говорит смешанным тоном многоопытного профессионала и возбужденного мальчишки, сгорающего от желания рассказать интересную историю.

— Но вы не слушали меня, дорогой Уилки, — продолжает он, — когда я объяснял, что достаточно сильный гипнотизер — я, например, и уж точно Джон Джаспер-Друд и другие, пока неизвестные нам египетские персонажи, остающиеся за кулисами повествования, — может внушить человеку вроде нашего регента Клойстергэмского собора иллюзию существования в воображаемом мире, где тот не отдает себе отчета в своих поступках. А под дополнительным воздействием опиума и, скажем, морфия, подпитывающих данную иллюзию, он вполне может без собственного ведома совершить убийство или еще худшее злодейство.

Я подаюсь вперед. Я по-прежнему держу в руке револьвер, но напрочь о нем забыл.

— Если Джаспер убивает своего племянника... своего брата... под гипнотическим внушением призрачного Некто, — шепчу я, — то кто этот Некто?

— Ага! — ликующе восклицает Чарльз Диккенс, хлопая себя по колену. — Это самая восхитительная и занимательная часть тайны, Уилки! Ни один читатель из тысячи — нет, ни один из десяти миллионов, — даже ни один писатель из сотен собратьев по перу, которых я знаю и уважаю, в жизни не догадается, что гипнотизером и истинным убийцей в загадочном деле Эдвина Друда является не кто иной, как...

Колокола на высокой башне за спиной Диккенса начинают отбивать полночь.

Я вздрагиваю и часто моргаю. Диккенс резко поворачивается на камне и смотрит на башню, словно она живое существо, представляющее для него угрозу, а не безмолвное, холодное, слепое вместилище колоколов, возвещающих его смертный час.

Когда эхо двенадцатого удара замирает над узкими темными улицами Рочестера, Диккенс снова поворачивается ко мне и улыбается.

— Куранты пробили полночь, Уилки.

— Так о чем вы говорили? — подсказываю я. — О личности гипнотизера? Подлинного убийцы?

Диккенс складывает руки на груди.

— Я рассказал достаточно на сегодня. — Он встряхивает головой, вздыхает и едва заметно улыбается. — И достаточно на свой век.

— Вставайте, — говорю я.

У меня так кружится голова, что я чуть не падаю, поднявшись с камня. Мне трудно держать как надо револьвер и незажженный фонарь, словно я разучился делать две вещи одновременно.

— Идите, — командую я, хотя сам толком не понимаю, кому отдаю приказ — Диккенсу или своим ногам.

Позже я сознаю, что Диккенсу ничего не стоило спастись бегством, пока мы шли к задней границе кладбища, а потом через заросли травы на краю болота, где нас ждала известковая яма.

Если бы он пустился бежать, а мой первый поспешный выстрел оказался неудачным, тогда для него было бы пустяшным делом скрыться в высокой болотной траве и бегом, ползком убраться подальше. Найти его там было бы сложно и при дневном-то свете, а уж ночью практически невозможно, даже с фонарем. Вдобавок шум крепчающего ветра и отдаленный рокот прибоя заглушали бы шорох, производимый им в траве.

Но Диккенс не собирается бежать. Он спокойно идет впереди. Кажется, он тихонько напевает себе под нос. Я не улавливаю мелодии.

Когда мы останавливаемся, он встает на краю ямы, но лицом ко мне.

— Вам следует помнить, — говорит он, — что металлические предметы в моих карманах известь не уничтожит. Часы, подаренные мне Эллен... фляжку... галстучную булавку и...

— Я помню, — хриплю я. Мне вдруг становится тяжело дышать.

Диккенс коротко взглядывает через плечо на яму, но продолжает стоять лицом ко мне.

— Да, мой Джаспер Друд признался бы, что именно сюда он притащил труп Эдвина Друда... Джаспер моложе нас с вами, Уилки, а потому, хотя опиум существенно подорвал его физические силы, ему не составило бы труда пронести мертвого юношу несколько сотен ярдов...

— Замолчите, — говорю я.

— Вы хотите, чтобы я повернулся кругом? — спрашивает Диккенс. — Стал спиной к вам, лицом к яме?

— Да. Нет. Как вам угодно.

— Тогда я буду смотреть на вас, дорогой Уилки. Мой бывший друг, товарищ по путешествиям и некогда вдохновенный соавтор.

Я стреляю.

Выстрел гремит оглушительно, и револьвер дает столь сильную отдачу, что едва не выпрыгивает у меня из руки (честно говоря, я толком не помню, как палил из него на черной лестнице прошлой зимой).

— Боже мой! — восклицает Диккенс.

Он так и стоит где стоял. Он ощупывает грудь, живот, бедра с почти комическим видом.

— Похоже, вы промахнулись.

Тем не менее он не пытается бежать.

В барабане осталось еще три патрона.

Теперь я прицеливаюсь, стараясь унять дрожь в руке, и спускаю курок еще раз.

Пола Диккенсова сюртука взлетает до уровня талии и падает. Он опять ощупывает себя. Потом отводит полу сюртука в сторону и просовывает палец в отверстие, пробитое пулей. Должно быть, она прошла менее чем в дюйме от его бедра.

— Уилки, — мягко произносит Диккенс, — может, для нас обоих будет лучше, если...

Я снова стреляю.

На сей раз пуля попадает Диккенсу в грудь — этот звук ни с чем не спутать: словно тяжелый молоток ударяет по холодному металлу. Резко крутанувшись на месте, он падает навзничь.

Но не в яму. Он лежит на краю ямы.

И он все еще жив.

Я слышу его громкое, хриплое, затрудненное дыхание. Клокочущее, булькающее, словно легкие у него наполнены кровью. Я подхожу и останавливаюсь над ним. Он смотрит вверх, и я задаюсь вопросом, кажусь ли я сейчас Диккенсу ужасным черным силуэтом на фоне звездного неба.

В своих произведениях я несколько раз использовал отвратительное французское выражение *coup de grâce*[1] и почему-то всегда забывал, как оно правильно пишется. Но я никогда не забывал, что оно означает. Последний выстрел надо сделать в голову — чтобы наверняка.

И в пистолете Хэчери осталась всего одна пуля.

Опустившись на колено, я склоняюсь над Неподражаемым, создателем разных дураков вроде дедлоков, барнаклов, домби и грюджиусов, но также таких негодяев, паразитов и злодеев, как феджины, артуры доджерсы, сквирсы, кэсби, слаймы, пекснифф, скруджи, воулсы, смолвиды, вегги, бамблы, лэмлы, хоуки, фэнги, тигги и...

Я приставляю дуло тяжелого пистолета Хэчери к виску стонущего Чарльза Диккенса. Сознаю, что прикрываю левой рукой свое лицо, заслоняясь от осколков черепа, брызг крови и ошметков мозга, которые полетят в стороны через секунду-другую.

Диккенс мычит, силясь что-то сказать.

— Невообразимо... — с трудом разбираю я. А потом: — Проснись... Да просыпайся же... Уилки...

Бедный ублюдок пытается очнуться от того, что кажется ему кошмарным сном. Возможно, именно так все мы уходим из этой жизни — жалко стеная, гримасничая и умоляя далекого, бесчувственного Бога даровать нам пробуждение от сна.

— Пробудись... — лепечет он, и я спускаю курок.

Все кончено. Мозг, придумавший и наделивший жизнью Дэвида Копперфилда, Пипа, Эстер Саммерсон,

---

[1] Завершающий смертельный удар *(фр.)*.

Урию Гипа, Барнаби Раджа, Мартина Чезлвита, Боба Крэчита, Сэма Уэллера, Пиквика и сотни других персонажей, живущих в умах миллионов читателей, теперь растекся на краю ямы серо-розовой лужицей, маслянисто поблескивающей в лунном свете. Только осколки черепа белеют во мраке.

Даже несмотря на услужливое напоминание, я едва не забываю вынуть золотые и металлические вещи у него из карманов, прежде чем столкнуть труп в яму.

Мне противно дотрагиваться до мертвеца, и я стараюсь прикасаться только к ткани, что получается в случае с часами, фляжкой, монетами и галстучной булавкой, но в случае с кольцами и запонками мне всяко придется дотронуться до остывающей плоти.

Чтобы снять последние с трупа, я зажигаю фонарь с полуопущенной шторкой и замечаю — с долей удовлетворения, — что руки у меня не дрожат, когда я чиркаю спичкой и подношу ее к фитилю. Я вынимаю из наружного кармана своего сюртука свернутый джутовый мешочек и складываю туда все металлические предметы, внимательно следя за тем, чтобы ничего не уронить в высокую траву у ямы.

Закончив, я засовываю мешочек в оттопыренный карман, где лежит пистолет. Надо не забыть остановиться у протекающей неподалеку реки и выбросить пистолет с мешочком на глубоководье.

Диккенс лежит, раскинув конечности, в совершенно расслабленной позе, известной лишь мертвым. Поставив ногу на его окровавленную грудь, я собираюсь сказать несколько слов, но потом передумываю. В некоторых случаях слова излишни даже для писателя.

Мне приходится приложить больше усилий, чем я предполагал, но после нескольких крепких толчков ногой и заключительного пинка Диккенс один раз переворачивается и соскальзывает в негашеную известь. Предоставленное самому себе, тело осталось бы погруженным в жижу лишь наполовину, но я приношу длинный

железный прут, заранее припрятанный в траве поблизости, и пихаю, толкаю им, налегаю на него всей тяжестью (по ощущениям — все равно что тыкать шестом в огромный мешок с мягким нутряным салом), покуда труп не погружается в известь целиком.

Быстро проверив, нет ли на мне кровяных пятен или других вопиющих улик, я гашу фонарь и направляюсь обратно к дороге, чтобы подозвать ожидающего неподалеку кучера-матроса с каретой. Шагая между сияющими под луной надгробьями, я тихонько насвистываю какую-то мелодию. Возможно, думаю я, это та же самая мелодия, которую Диккенс мурлыкал себе под нос всего несколько минут назад.

— Проснись! Уилки... да просыпайся же!

Я протяжно застонал, закинул на лоб согнутую в локте руку, но умудрился открыть один глаз. Голова раскалывалась от боли, свидетельствовавшей о передозировке лауданума и морфия. Бледный лунный свет лежал беспорядочными полосами на мебели в моей спальне. И прямо перед собой, всего в нескольких дюймах, я увидел лицо.

Второй Уилки сидел на краю кровати. Он никогда прежде не приближался так близко... никогда.

Он заговорил.

На сей раз не моим голосом, даже не измененным голосом, имитирующим мой. А голосом старой сварливой женщины, голосом одной из ведьм-сестер в начальной сцене «Макбета».

Он (она?) дотронулся до моей голой руки, и это не было прикосновением живого существа.

— Уилки...

Он (она?) дышал мне в лицо, едва не касаясь бородой моих щек. Его (ее?) дыхание — мое дыхание — пахло гнилостью.

— Убей его. Проснись. Слушай меня. Закончи свою книгу... до девятого июня. Закончи «Мужа и жену» быстро, на следующей неделе. И в тот же день, когда завершишь работу, убей его.

Глава 48

В ответ на мое письмо, которым я откликнулся на «может статься, вы не против повидаться со мной не сегодня завтра», Диккенс пригласил меня в Гэдсхилл-плейс в воскресенье, пятого июня. Я сообщил, что приеду в три, к каковому часу Диккенс заканчивал работу по воскресеньям, но на самом деле сел на более ранний поезд и последнюю милю-полторы прошел пешком.

От красоты июньского дня просто дух захватывало. После дождливой весны все, что могло зазеленеть, зазеленело, как никогда, сочно и буйно, а все, что могло распуститься и расцвести, пышно распустилось и цвело вовсю. Солнечный свет проливался на землю благословением небес. Ветерок гладил кожу так нежно, так ласково, что почти смущал интимностью прикосновений. Несколько белых кучевых облаков — воздушные овцы — плыли над зелеными округлыми холмами вглубь острова, но над морем синело чистое небо, пронизанное солнечным светом. Воздух был так прозрачен, что я видел башни Лондона с расстояния двадцати миль. На пастбищах, простиравшихся за окном вагона и по обеим сторонам пыльной дороги, по которой я прошагал последнюю милю-полторы пути, резвились телята, жеребята и стайки человеческих детенышей, занятых разными играми, в какие принято играть в полях и лесах ранним летом. Всего этого было почти достаточно, чтобы даже у самого закоренелого городского жителя вроде меня возникло желание купить ферму — но глоток лауданума, запитый глотком бренди из второй фляжки, поменьше, остудил сей мимолетный идиотский порыв.

Сегодня никто не встретил меня на подъездной аллее Гэдсхилл-плейс, даже пара сторожевых псов (наверняка из потомства убитого Султана, этого Гренделя[1] собачьего мира), обычно сидевших на цепи у ворот.

---

[1] Чудовище из англосаксонской эпической поэмы «Беовульф» (VIII в.).

Красные герани (по-прежнему любимые цветы Диккенса, по чьему приказу садовники высаживали эти однолетние растения каждую весну и сберегали до поздней осени) росли повсюду — по сторонам аллеи, на солнечной лужайке под эркерными окнами рабочего кабинета писателя, вдоль живых изгородей, по обочинам дороги за воротами усадьбы, — и, как всегда, по непонятной мне пока причине, я содрогнулся от ужаса при виде бесчисленных скоплений этих кричаще-красных клякс на зеленом фоне.

Предположив, что в такой чудесный день Диккенс, скорее всего, работает в шале, я спустился в прохладный туннель — хотя на дороге над ним почти не наблюдалось движения — и вышел неподалеку от наружной лестницы, ведущей в кабинет на втором этаже.

— Эй там, на мостике! — гаркнул я.

— Эй там, на шлюпе! — раздался звучный голос Диккенса.

— Можно подняться к вам на борт?

— Как называется ваша посудина, мистер? Откуда вы идете и куда направляетесь?

— Мое жалкое суденышко именуется «Мэри Джейн», — крикнул я, старательно подделываясь под американский акцент. — Мы вышли из Сент-Луиса и направляемся в Калькутту через Самоа и Ливерпуль.

Легкий ветерок донес веселый смех Диккенса.

— Тогда какие разговоры — милости просим, капитан!

Диккенс только что закончил работать и укладывал страницы рукописи в кожаную папку, когда я вошел. Его левая нога покоилась на подушке, лежащей на низком табурете, но он опустил ее на пол при моем появлении.

Он указал мне на единственное гостевое кресло, но я был слишком возбужден, чтобы сидеть, и принялся расхаживать взад-вперед, от одного окна к другому.

— Я страшно рад, что вы приняли мое приглашение, — сказал Диккенс, убирая на место письменные принадлежности и застегивая папку.

— Настала пора повидаться, — промолвил я.

— Вы немного пополнели, Уилки.

— А вы немного похудели, Чарльз. Вот только ваша нога, похоже, набрала несколько фунтов.

Диккенс рассмеялся:

— Наш дорогой общий друг Фрэнк Берд обеспокоен состоянием здоровья нас обоих, верно?

— В последнее время я редко вижусь с Фрэнком Бердом, — сказал я, переходя от восточного окна к южному. — Милые дети Фрэнка объявили мне войну, когда я разоблачил лицемерную сущность «мускулистого христианства».

— О, едва ли они рассердились на вас за разоблачение этой самой лицемерной сущности, Уилки. Скорее — за еретическую хулу на их спортивных кумиров. У меня не нашлось времени прочитать «Мужа и жену», но я слышал, выпуски вашего романа многих привели в негодование.

— И при этом продавались все лучше и лучше с каждым месяцем, — сказал я. — Еще до конца июня я собираюсь издать «Мужа и жену» в трех томах, в типографской фирме Ф. С. Эллиса.

— Эллиса? — переспросил Диккенс, вставая с кресла и беря палку с серебряной рукоятью. — Я не знал, что фирма Эллиса издает книги. Я думал, они занимаются визитными карточками, календарями, такого рода вещами.

— За книгу они берутся впервые, — сказал я. — Будут продавать на комиссионной основе, и я буду получать по десять процентов с каждого проданного экземпляра.

— Замечательно! — воскликнул Диккенс. — Вы сегодня несколько взволнованы, даже возбуждены, Уилки. Не желаете отправиться со мной на прогулку?

— Вы в состоянии ходить на значительные расстояния?

Я рассматривал новую палку Неподражаемого, именно палку — крепкую, с длинной рукоятью, — с какими ходят хромые старики, а не модную прогулочную трость,

каким отдают предпочтение молодые мужчины вроде меня. (Как вы, вероятно, помните, дорогой читатель, летом 1870 года мне было сорок шесть лет, а Диккенсу пятьдесят восемь, и он выглядел на свой преклонный возраст и даже старше. Но с другой стороны, несколько знакомых недавно высказались по поводу седины в моей бороде, моего лишнего веса, моей одышки и появившейся в последнее время сутулости, и иные из них имели наглость заявить, что и я выгляжу гораздо старше своих лет.)

— Да, вполне, — ответил Диккенс, не обидевшись на мое замечание. — И стараюсь ходить каждый день. Час уже поздний, а потому я не предлагаю вам совершить основательную прогулку до Рочестера или еще какого-нибудь устрашающе далекого пункта назначения, но мы можем пройтись через поля.

Я кивнул, и Диккенс первый начал спускаться по лестнице, оставив папку с незаконченной рукописью «Тайны Эдвина Друда» здесь, на своем рабочем столе, откуда ее мог украсть любой прохожий, свернувший с большака и беспрепятственно проникший в шале.

Мы пересекли дорогу и направились к дому, но потом свернули к конюшням, прошли через задний двор, где Неподражаемый некогда предал огню всю свою корреспонденцию, и вышли в поле, где несколько лет назад осенью погиб Султан. Трава, тогда сухая и бурая, сейчас была зеленой, высокой и слабо колыхалась на легком ветерке. Утоптанная тропинка вела к пологим холмам и полосе деревьев, тянувшейся вдоль широкого ручья, который бежал к реке, бежавшей к морю.

Никто из нас не бежал сегодня, но если прогулочный шаг Диккенса и стал медленнее, то я этого не заметил. Я пыхтел и отдувался, стараясь поспевать на ним.

— Фрэнк Берд говорит, что для борьбы с бессонницей вам пришлось добавить к обычным своим лекарственным средствам еще и морфий, — сказал Диккенс. Он шагал, бодро выбрасывая вперед трость (зажатую в

левой руке; а не в правой, как всегда прежде). — И что шприц, выданный вам на время, куда-то пропал, хотя вы заявили, что прекратили колоться морфием.

— Берд — славный человек, но зачастую неблагоразумный, — сказал я. — В ходе последней серии ваших чтений он оповещал весь свет о частоте вашего пульса, Чарльз.

Мой спутник промолчал.

После долгой паузы я добавил:

— Дочь моих слуг, Джорджа и Бесс, — они по-прежнему работают на меня, пока что по крайней мере, — воровала по мелочам. Мне пришлось отослать ее из дома.

— Маленькая Агнес? — воскликнул Диккенс. — Воровала? Уму непостижимо!

Мы перевалили через первый холм, и Гэдсхилл-плейс, проезжая дорога и растущие вдоль нее деревья скрылись из виду позади нас. Тропинка здесь тянулась параллельно берегу ручья, а потом свернула к узкому мосту.

— Вы не против, если мы немного передохнем, Чарльз?

— Нисколько, друг мой. Нисколько!

Я привалился к перилам горбатого мостика и отпил три глотка из серебряной фляжки.

— Сегодня слишком жарко, правда?

— Вы так считаете? А по мне, погода почти идеальная.

Мы двинулись дальше, но Диккенс либо начинал уставать, либо замедлил шаг, щадя меня.

— Как ваше здоровье, Чарльз? Столько разных толков ходит. Как послушаешь зловещие пророчества нашего славного Фрэнка Берда, так просто не знаешь, что и думать. Вы оправились после турне?

— В последнее время мне гораздо лучше, — промолвил Диккенс. — По крайней мере — последние несколько дней. Вчера я сказал одному знакомому, что собираюсь жить и работать лет до девяноста. И я чувствовал себя так, словно иначе и быть не может. А в иные дни...

ну, вы знаете, что такое скверные дни, друг мой. В иные дни приходится работать и выполнять свои обязательства через «не могу».

— Как продвигается «Эдвин Друд»? — спросил я.

Диккенс искоса взглянул на меня, прежде чем ответить. Мы редко обсуждали друг с другом ход работы над произведениями, писавшимися в данный момент. Окованный металлом конец его палки рассек высокую траву на обочине тропинки с приятным летним шелестом.

— «Друд» продвигается медленно, но верно, — наконец сказал он. — В смысле сюжетных хитросплетений и неожиданных ходов это гораздо более сложная книга, чем большинство прежних моих сочинений, дорогой Уилки. Впрочем, вы сами это знаете! Вы же специалист по «романам с тайной»! Мне давно следовало обратиться к вам со всеми своими проблемами, обычными для новичка, чтобы под вашим вергилиевым водительством познать искусство криминально-авантюрного жанра. А как у вас продвигается «Муж и жена»?

— Собираюсь закончить через два-три дня.

— Замечательно! — снова воскликнул Диккенс.

Мы уже изрядно удалились от ручья, но тихое журчание по-прежнему доносилось до нас, когда мы прошли через рощицу и вышли на следующее широкое поле. Извилистая тропинка тянулась в направлении далекого моря.

— Когда я завершу работу, сможете ли вы оказать мне большую любезность, Чарльз?

— Если это в моих скудных и неуклонно убывающих силах, я постараюсь, конечно же.

— Полагаю, в наших силах раскрыть сразу две тайны в одну ночь... то есть если вы готовы совершить со мной секретную вылазку вечером в среду или четверг.

— *Секретную* вылазку! — рассмеялся Диккенс.

— Вероятность разгадать упомянутые тайны возрастет, коли мы с вами никому — ни единой живой душе — не скажем, что мы куда-то отправляемся.

— Вот теперь вы меня по-настоящему заинтриговали.

Мы достигли вершины холма. Там лежали грудами и вразброс огромные камни — деревенская ребятня и местные фермеры называли их друидическими, хотя они не имели никакого отношения к друидам.

— Каким образом секретность нашей вылазки может повысить шансы на ее успех? — спросил он.

— Поверьте мне на слово, если вы присоединитесь ко мне примерно через полчаса после заката в среду или четверг, вы, скорее всего, узнаете ответ на этот вопрос, Чарльз.

— Хорошо, — сказал Диккенс. — Значит, в среду или четверг? Четверг у нас девятое июня. Возможно, в четверг вечером я буду занят. Вас устроит среда?

— Вполне.

— Прекрасно. А теперь... я давно хотел обсудить с вами один вопрос, милейший Уилки. Давайте устроимся на одном из этих камней, где поудобнее, если вы не против. Разговор займет лишь несколько минут, но именно ради этого я попросил вас приехать, и это действительно очень важно.

«Чтобы Чарльз Диккенс остановился и присел во время прогулки?» — подумал я.

Я в жизни не предполагал, что такой день наступит когда-нибудь. Но поскольку я обливался потом и дышал с хрипом и присвистом, точно боевая лошадь с простреленным легким, я с радостью согласился.

— Я весь к вашим услугам, сэр, — промолвил я и жестом предложил Диккенсу пройти вперед и выбрать камень поудобнее.

— Прежде всего, Уилки, я должен принести вам глубокие и искренние извинения. Извинения по нескольким поводам, но в первую очередь — за поступок столь бесчестный, столь непорядочный по отношению к вам, что я, по правде говоря, даже не знаю, с чего начать.

— Пустое, Чарльз. Я даже не представляю, о чем...

Диккенс остановил меня, вскинув ладонь. С высокого камня, где мы сидели, открывался вид на холмистые равнины Кента, простиравшиеся вокруг. В ярком свете

солнца я видел висящую над Лондоном дымку и Пролив слева от нас. Башня Рочестерского собора в отдалении походила на серый гвоздь, вогнанный в небесную твердь.

— Наверное, вы не сможете простить меня, Уилки, — продолжал он. — Я бы не простил... не смог бы простить вас, будь я на вашем месте.

— О чем, собственно, вы говорите, Чарльз?

Диккенс указал рукой на далекие верхушки деревьев, растущих вдоль большака и вокруг Гэдсхилл-плейс, словно сей жест все объяснял.

— Вот уже почти пять лет — ровно пять будет через несколько дней — мы с вами продолжаем шутейную историю с существом по имени Друд...

— Шутейную? — с долей раздражения переспросил я. — Я бы не назвал эту историю шутейной.

— Именно поэтому я и хочу извиниться, друг мой. Никакого Друда не существует, разумеется... и никакого египетского храма в Подземном городе...

Что у него на уме? В какую игру Диккенс играет со мной теперь?

— Значит, все ваши рассказы про Друда, начиная со дня железнодорожного крушения, были ложью, Чарльз?

— Именно так, — подтвердил Диккенс. — Ложью, за которую я нижайше прошу прощения. Нижайше и со стыдом поистине невыразимым... хотя мне ли не знать, что такое стыд.

— Вы не были бы человеком, когда бы не ведали стыда, — сухо промолвил я.

И снова задался вопросом, какую игру он ведет теперь. Будь я простофилей, лишь на основании Диккенсовых россказней поверившим, что Друд реален — реален, как белый парус, который оба мы сейчас ясно видели в далеком море, — тогда Неподражаемому было бы за что извиняться.

— Вы мне не верите, — сказал Диккенс, искоса взглядывая на меня.

— Я вас не понимаю, Чарльз. Ведь вы не единственный, кто видел Друда и пострадал от его действий. Я сво-

ими глазами видел людей, ставших рабами египтянина. А как насчет гондолы с двумя парнями в масках, подплывшей к нам по подземной реке июльской ночью, когда мы спустились много ниже склепов и катакомб? Или вы хотите сказать, что гондола и гребцы, забравшие вас, нам пригрезились?

— Нет, — сказал Диккенс. — То были мои садовники Гоуэн и Смайт. А так называемая гондола была обычной речной лодкой, с приделанными к корме и носу дополнительными деревянными деталями, грубо сколоченными и размалеванными. Она не сошла бы за гондолу даже в самом паршивом любительском театре и вообще в любом освещенном месте. Гоуэну и Смайту пришлось изрядно попотеть, чтобы спустить эту дырявую посудину по бессчетным маршам лестницы, ведущей к канализационным туннелям, — тащить ее обратно они не стали, так и бросили там.

— Вы отправились с ними в храм Друда, — сказал я.

— Я оставался в так называемой гондоле, пока мы не скрылись у вас из виду за поворотом вонючего сточного канала, а потом высадился и несколько часов кряду искал обратную дорогу в соседних туннелях. Едва не заблудился навсегда и безнадежно. И поделом бы мне было, если б заблудился.

Я рассмеялся:

— Да вы послушайте себя, Чарльз. Только сумасшедший мог спланировать и разыграть столь замысловатую шараду. Это было бы не только жестокостью, но и полным безумием.

— Иногда я думаю так же, Уилки, — вздохнул Диккенс. — Но вам следует учесть, что спуск в Подземный город и катание на гондоле замышлялись как последняя сцена последнего акта этого спектакля — во всяком случае, в том, что касается меня. Откуда мне было знать, что ваше писательское подсознание и возбужденное огромными дозами опиума воображение продолжат разыгрывать эту пьесу еще многие годы?

Я потряс головой:

— Люди Друда в гондоле были не единственными участниками этой истории. Что насчет сыщика Хэчери? Вы хотя бы знаете, что бедный Хэчери умер?

— Да, — сказал Диккенс. — Я узнал об этом по возвращении из Америки и счел нужным навести в Столичной полиции справки об обстоятельствах его смерти.

— И что они вам сказали?

— Что отставной сыщик Хибберт Хэчери был убит в том самом склепе на Погосте Святого Страшателя, куда я приводил вас ранее в ходе нашей фальшивой экспедиции в подземный мир.

— Не помню ничего «фальшивого» в нашем схождении в преисподнюю, — заявил я. — Но сейчас это не имеет отношения к делу. Они сообщили вам, как именно он умер?

— Его оглушили до беспамятства при попытке ограбления, а потом ему выпустили кишки, — тихо проговорил Диккенс с болью в голосе. — Я сразу подумал, что вы почти наверняка находились внизу, в притоне Лазаря, и я хорошо представляю, какой ужас вы испытали, наткнувшись на труп бедняги.

Я невольно улыбнулся:

— И кто же, по мнению сыскного отдела, сотворил такое злодейство, Чарльз?

— Четыре индийских матроса, сбежавших с корабля. Отчаянные головорезы. Очевидно, они незаметно проследили за вами с Хэчери до склепа — разумеется, про вас полиция не знала, Уилки, но я предположил, что вы спокойно курили опиум в притоне Короля Лазаря внизу и ведать ничего не ведали, — дождались, пока здоровенный сыщик не уснул где-нибудь перед рассветом, а потом напали на него. Видимо, они хотели отнять у него часы и деньги.

— Это нелепо.

— Учитывая могучее телосложение нашего покойного друга, соглашусь с вами, — сказал Диккенс. — Хэчери удалось свернуть шею одному из четырех налетчи-

ков. Но это привело в бешенство остальных, и они, оглушив Хэчери дубинкой... сделали с ним то, что сделали.

«Ах, как гладко все получается, — подумал я. — Скотленд-Ярд найдет объяснение всему, что не в силах понять».

— А откуда в сыскном отделе узнали, что это были четыре индийских матроса? — спросил я.

— Они схватили троих оставшихся в живых, — сказал Диккенс. — Схватили после того, как труп четвертого был найден в Темзе. Арестовали и вынудили у них признание. При них обнаружили принадлежавшие Хэчери часы с гравировкой, семейные фотографии и немного денег. В полиции с ними не церемонились... многие офицеры хорошо знали Хэчери.

Я просто диву давался. «Они чрезвычайно тщательно продумали свою ложь».

— Дорогой Чарльз, — тихо, но с долей раздражения проговорил я, — ничего этого не было в прессе.

— Разумеется, не было. Я же сказал: в полиции с этими индусами, убившими полицейского, не церемонились. Ни один из троих не дожил до суда. Газетчики даже не знают, что по делу об убийстве Хибберта Хэчери производился арест. Собственно говоря, Уилки, подробности убийства так и не дошли до прессы. Столичная полиция, в общем и целом, государственный институт не хуже всех прочих, но у них есть свои темные стороны, как у всех нас.

Я потряс головой и вздохнул:

— Так вы хотели извиниться передо мной за это, Чарльз? За то, что лгали мне про Друда? За то, что разыграли дурацкий фарс со склепами и гондолой? За то, что не рассказали мне об истинных, по вашему мнению, обстоятельствах смерти инспектора Хэчери?

Я подумал обо всех случаях, когда собственными глазами видел Друда, говорил с инспектором Филдом о Друде, слушал разговоры сыщика Барриса о Друде, видел Эдмонда Диккенсона после его вступления в общину Друда, видел приспешников Друда в Городе-под-Городом и святилища Друда в Городе-над-Городом. Я видел

записку от Друда и видел самого Друда, сидевшего у камина и беседовавшего с Диккенсом в моем собственном доме. Своей явной ложью Диккенс не заставит меня поверить, что я сумасшедший.

— Нет, — сказал он, — это не главное, за что я хотел попросить прощения, хотя это имеет прямое отношение к более серьезному моему проступку, за который мне надлежит извиниться. Уилки, вы помните первый ваш визит ко мне после Стейплхерстской катастрофы?

— Конечно. Тогда вы подробно рассказали мне о вашей первой встрече с Друдом.

— А до этого. Когда вы только вошли в мой кабинет. Вы помните, что я делал и о чем мы говорили?

Мне пришлось напрячь память, но в конце концов я сказал:

— Вы вертели в руках часы, и мы немного поговорили о месмеризме.

— Я загипнотизировал вас тогда, Уилки.

— Нет, Чарльз, ничего подобного. Разве вы не помните? Вы изъявили желание попробовать загипнотизировать меня и начали раскачивать часы на цепочке, но я просто отмахнулся от этой затеи. Вы сами согласились, что у меня слишком сильная воля, чтобы подчиниться магнетическому внушению. А потом убрали часы и рассказали мне про железнодорожное крушение.

— Да, я действительно сказал, что у вас слишком сильная воля, Уилки, но сказал через десять минут после того, как вы погрузились в месмерический транс.

Я рассмеялся в голос. Какую игру он ведет?

Я надвинул шляпу пониже, чтобы солнце не било в глаза.

— Вот сейчас вы точно лжете, Чарльз... но с какой целью?

— Это был своего рода эксперимент.

Диккенс печально склонил голову набок, ну прямо как Султан перед самой своей смертью. Будь у меня тогда в руках дробовик, я бы обошелся с Неподражаемым точно так же, как он в свое время обошелся с Султаном.

— Уже тогда, — продолжал он, — уже тогда я замышлял написать роман о человеке, совершающем некие... поступки... в течение невероятно долгого периода постгипнотического внушения. Признаюсь, меня особенно интересовало, каким образом подобное внушение подействует на творческую личность. То есть на человека, обладающего развитым профессиональным воображением... писателя... и вдобавок ко всему принимающего опиум в больших дозах. Ибо тема опиума должна была стать лейтмотивом задуманного романа.

Тут я не только расхохотался, но еще и хлопнул себя по колену:

— Отлично! О, просто отлично, Чарльз! Иными словами, вы просто приказали мне — предварительно подвергнув месмерическому воздействию — поверить в историю про Друда, которую рассказали позже, когда я вышел из транса?

— Я ничего не приказывал, — уныло промолвил Диккенс. — Просто внушил вам такую веру.

Теперь я хлопнул руками по обоим коленям:

— Превосходно! А дальше вы заявите, что наш друг Друд является чистой воды вымыслом, порожденным буйным воображением Чарльза Диккенса, большого любителя всего жуткого и зловещего?

— Вовсе нет. — Диккенс устремил взгляд на запад, и я мог поклясться, что в глазах у него блестят слезы. — Друд приснился мне накануне ночью — в моем сне он ходил между мертвыми и умирающими на месте Стейплхерстской катастрофы в точности так, как я описывал вам, дорогой Уилки, смешивая и переплетая фантазию о Друде с ужасными фактами действительности.

Я не сдержал широкой улыбки. Снял очки, промокнул лоб узорчатым носовым платком и потряс головой, восхищаясь наглостью, с какой Диккенс лгал и морочил мне голову.

— То есть теперь вы говорите, что просто наделили существованием случайный образ из сна?

— Нет, — сказал Диккенс. — Легенду о Друде я впервые услышал от инспектора Чарльза Фредерика Филда за десять с лишним лет до Стейплхерстской катастрофы. Почему я вплел навязчивую фантазию старого инспектора в свой кошмарный сон о крушении поезда, я никогда не узнаю.

— Фантазию Филда! — вскричал я. — Значит, теперь Друда придумал не кто иной, как инспектор Филд!

— Еще до нашего с вами знакомства, друг мой. Вы наверняка помните мою серию очерков о преступности и городской полиции, опубликованных в журнале «Домашнее чтение» в пятьдесят втором году. С инспектором Филдом меня познакомили актеры, знавшие Филда в пору, когда он был актером-любителем в старом театре на Кэтрин-стрит десятью годами ранее. Но именно полицейский сыщик Чарльз Фредерик Филд, во время наших долгих прогулок по ночным улицам «гигантского пекла» в начале пятидесятых, поведал мне о существующем в его воображении фантоме по имени Друд.

— Фантоме, — повторил я. — То есть инспектор Филд был сумасшедшим?

— Думаю, поначалу не был, — сказал Диккенс. — Позже я разговаривал о нем со многими его коллегами и начальниками из сыскного отдела, а также с человеком, сменившим Филда на посту комиссара полиции, когда бедняга действительно тронулся рассудком.

— Тронулся рассудком из-за Друда, — саркастически промолвил я. — Из-за собственной фантазии о египетском оккультисте-убийце по имени Друд.

— Да. Сперва это была не голая фантазия. В пору, когда Чарльз Фредерик Филд занимал должность начальника сыскного отдела, в городе произошла серия убийств — все они остались нераскрытыми. Иные из них казались связанными с преступлениями, которые сыщику Филду не удалось раскрыть в предшествующие годы. Многие ласкары, малайцы, китайцы и индусы, арестованные в то время, пытались возложить вину на некоего призрачного монстра по имени Друд — никто не мог

рассказать о нем ничего определенного, но все сходились в том, что он египтянин, он серийный убийца, он способен управлять людьми посредством силы мысли и ритуалов своего древнего культа и он живет в огромном храме под землей или, согласно показаниям отдельных преступников-опиоманов, в храме под самой Темзой.

— Не пора ли нам возвращаться? — спросил я.

— Потерпите немного, Уилки. — Диккенс положил дрожащую ладонь мне на руку, но тотчас убрал, заметив мой раздраженный взгляд. — Теперь вы понимаете, — продолжал он, — что все это превратилось у Филда сначала в навязчивую идею, а потом в фантазию. По мнению многих полицейских и сыщиков, включая Хэчери, с которыми я разговаривал впоследствии, именно после зверского убийства лорда Лукана, находившегося под личной защитой Чарльза Фредерика Филда, — убийства, так и оставшегося нераскрытым... Что здесь смешного, Уилки?

Я заливался безудержным смехом. Эта история, этот сюжет были столь восхитительно нелепы и одновременно столь безупречно логичны.. Это было так... так... подиккенсовски.

— Именно из-за фантазии об этом выдуманном неуловимом преступнике, Друде, Филд в конечном счете лишился работы и пенсии, — сказал Диккенс. — У инспектора Чарльза Фредерика Филда просто в голове не укладывалось, что чудовищные преступления, о которых он узнавал ежедневно на протяжении многих лет службы, могут быть столь случайными... столь бессмысленными. В его уме, приходившем во все сильнейшее расстройство, постепенно складывалось представление, что за всеми этими ужасами и страданиями должен стоять один-единственный гениальный преступник. Один-единственный злодей, всемогущая Немезида преступного мира. Противник, достойный великого инспектора Чарльза Фредерика Филда. Противник, обладающий не вполне человеческой природой, чья поимка — произведенная инспектором Чарльзом Фредериком Филдом,

разумеется, — положит конец бесконечным сериям зверских убийств, творившихся в городе.

— То есть вы говорите, — сказал я, — что наш общий знакомый, уважаемый отставной начальник сыскного отдела Чарльз Фредерик Филд, был безумен.

— Совершенно безумен, — кивнул Диккенс. — В течение многих лет. Навязчивая идея превратилась у него в наваждение, наваждение в фантазию, а фантазия в кошмар, от которого он уже никогда не очнулся.

— Все это очень складно, Чарльз, — мягко промолвил я. У меня даже сердцебиение не участилось от столь явного вздора. — Но вы забываете о других людях, видевших Друда.

— О каких «других» вы говорите? — тихо осведомился он. — Помимо вас, обманутого мной, моими садовниками и своими гипнотическими галлюцинациями, дорогой Уилки, я не знаю ни одного человека, кто когда-либо верил в существование Друда, — за исключением, возможно, сына Филда.

— Сына?

— У него был внебрачный сын от одной молодой женщины, состоявшей с ним в связи несколько лет. Она уроженка Вест-Индии, жила неподалеку от притона Опиумной Сэл, хорошо нам знакомого — вам лучше, чем мне, полагаю. Жена инспектора так никогда и не узнала ни об этой женщине — она умерла вскоре после рождения ребенка, вероятно, от передозировки опиума, — ни о мальчике, но Филд не оставил сына: отдал его на воспитание в хорошую семью подальше от портовых кварталов, потом отправил в престижную частную школу, а потом в Кембридж — во всяком случае, я так слышал.

— А как звали мальчика? — спросил я.

Во рту у меня вдруг пересохло. Я пожалел, что не взял с собой воды вместо лауданума.

— Кажется, Реджинальд, — сказал Диккенс. — Я наводил о нем справки в прошлом году, но молодой человек куда-то пропал после смерти своего отца. Возможно, уехал в Австралию.

— От чего, по-вашему, умер инспектор Филд, Чарльз?

— От сердечного приступа. Как и сообщалось в газетах. Мы с вами уже обсуждали это.

Я соскользнул с камня и встал на ноги, затекшие от долгого сидения в одной позе. Не стесняясь Диккенса, я отхлебнул изрядный глоток из своей фляжки.

— Мне пора возвращаться, — хрипло проговорил я.

— Но вы ведь останетесь на ужин? Ваш брат и Кейти приехали на уик-энд. Скоро прибудут Перси Фицджеральд с женой и...

— Нет, — перебил я. — Я должен вернуться в город. Мне надо работать. Надо закончить «Мужа и жену».

Диккенсу пришлось опереться на палку, чтобы подняться с камня. Было видно, что левая нога у него страшно болит, хотя он старался не показывать этого. Он вынул из жилетного кармана часы с цепочкой.

— Позвольте мне загипнотизировать вас, Уилки. Прямо сейчас.

Я отступил от него на шаг. Мой смех прозвучал испуганно даже для моего собственного слуха.

— Вы, верно, шутите.

— Я серьезен, как никогда, дорогой друг. Когда я загипнотизировал вас в июне шестьдесят пятого, мне даже в голову не приходило, что период постгипнотических галлюцинаций будет — и вообще может — продолжаться столь длительное время. Я недооценил как силу опиумного воздействия, так и силу писательского воображения.

— Я не желаю играть в эти дурацкие игры, — отрезал я.

— Мне уже давно следовало сделать это. — Диккенс тоже говорил хриплым, словно от подступивших к горлу слез, голосом. — Если вы помните, дорогой Уилки, я не раз пытался снова загипнотизировать вас — чтобы устранить внушенные представления и пробудить вас от бесконечного сна, создаваемого вашим воображением. Я даже пробовал научить Кэролайн, как загипнотизировать вас, дабы затем произнести командное кодовое слово,

которое я внедрил в ваше подсознание. Услышав данное ключевое слово в состоянии месмерического транса, вы наконец очнетесь от своего затянувшегося сна.

— И что это за командное... кодовое слово? — спросил я.

— «Невообразимо», — ответил Диккенс. — Я нарочно выбрал нерасхожее слово, какое вы слышите далеко не каждый день. Но чтобы оно сработало, вы непременно должны находиться в гипнотическом трансе.

— «Невообразимо», — повторил я. — Слово, неоднократно произнесенное вами в день Стейплхерстской катастрофы, насколько я помню.

— Да, я действительно многажды повторил его тогда, — подтвердил Диккенс. — То была реакция на ужас происходящего.

— Думаю, это вы сумасшедший, Чарльз.

Он потряс головой. И он плакал. Неподражаемый плакал посреди зеленого поля, залитого солнечным светом.

— Я не надеюсь на ваше прощение, Уилки, но ради Бога — ради себя самого — позвольте мне сейчас подвергнуть вас магнетическому воздействию и освободить от проклятия, мной ненароком на вас наложенного. Пока не стало слишком поздно!

Он шагнул ко мне — обе руки подняты, зажатые в правой часы ярко блестят на солнце, — и я отступил на два шага. Я мог только гадать, что за игру он ведет, и все догадки были весьма туманными.

Инспектор Филд однажды назвал все происходящее трехсторонней игрой между ним самим, Друдом и Диккенсом. Теперь я занял место инспектора в этой совершенно реальной трехсторонней игре не на жизнь, а на смерть.

— Вы действительно хотите загипнотизировать меня, Чарльз? — спросил я дружелюбным, рассудительным голосом.

— Я должен, Уилки. Только так я смогу начать заглаживать вину за самую жестокую шутку, сыгранную мной в жизни, пусть и неумышленно.

— Не сейчас, — сказал я, отступив от него еще на шаг, но выставив перед собой ладони в успокоительной манере. — Сейчас я слишком взбудоражен и возбужден, чтобы все толком получилось. Но вот в среду вечером...

— В среду вечером? — переспросил Диккенс. Внезапно он уставился на меня с потерянным, оглушенным видом — так выглядит профессиональный боксер, который много раундов подряд выкладывался сверх своих возможностей, но по-прежнему держится на ногах, хотя уже не в состоянии защититься от ударов противника. — А что у нас в среду вечером, Уилки?

— Секретная вылазка, вы согласились меня сопровождать, — мягко промолвил я. Подступив ближе, я вынул часы у него из руки — они здорово нагрелись на солнце — и засунул в его жилетный карман. — Вы согласились отправиться со мной в небольшую экспедицию, и я пообещал, что в ее ходе мы с вами раскроем по меньшей мере две тайны. Помните, как мы ездили обследовать дом с призраками в Честнате?

— В Честнате... — повторил Диккенс. — Вы с Уиллсом поехали вперед в экипаже. А мы с Джоном Холлингсхедом шли до деревни пешком.

— Шестнадцать миль, если мне не изменяет память, — сказал я, похлопывая его по плечу. — Давно это было. — Диккенс вдруг показался мне безнадежно дряхлым стариком.

— Но мы не обнаружили там никаких призраков, Уилки.

— Да, но мы замечательно провели время, правда? Повеселились на славу. Так будет и вечером в ближайшую среду, восьмого июня. Только вы не должны никому говорить, что собираетесь со мной куда-то.

Мы уже двинулись в обратный путь, Диккенс шел с трудом, тяжело хромая. Но после последних моих слов он внезапно остановился и посмотрел на меня.

— Я отправлюсь с вами в эту... экспедицию... если вы пообещаете, друг мой... если сейчас пообещаете и дадите слово чести... что позволите мне первым делом

загипнотизировать вас в среду вечером. Загипнотизировать и освободить от жестокой иллюзии, которую я навязал вам по самонадеянности и недомыслию.

— Обещаю, Чарльз, — сказал я. И добавил, когда он не отвел от меня пристального взгляда: — При нашей следующей встрече вы перво-наперво попробуете загипнотизировать меня, а я всячески постараюсь помочь вам в вашей попытке. Вы произнесете ваше магическое слово... «невообразимо»... к полному своему удовлетворению, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Даю вам слово чести.

Диккенс промычал что-то неразборчивое, и мы медленно поковыляли дальше.

Я покидал шале в обществе средних лет мужчины, исполненного чувства вины, творческой энергии и жажды жизни. Я возвращался туда в обществе умирающего инвалида.

— Уилки, — пролепетал он, когда мы вступили под сень деревьев. — Я вам когда-нибудь рассказывал про вишни?

— Про вишни? Нет, Чарльз, не припомню такого. — Я прислушивался к сбивчивому старческому бормотанью, но ни на миг не сбавлял шага, чтобы Диккенс продолжал ковылять с прежней скоростью, выбиваясь из сил. — Расскажите мне про вишни.

— Давным-давно, когда я был трудным лондонским подростком... должно быть, уже после той ужасной фабрики ваксы... да, точно, после фабрики ваксы... — Он слабо дотронулся до моей руки. — Напомните мне как-нибудь, чтобы я рассказал вам про фабрику ваксы, дорогой Уилки. Я никогда никому не рассказывал про фабрику ваксы, где работал в детстве, хотя ничего ужаснее я в жизни... — Похоже, он потерял нить повествования.

— Обещаю, что как-нибудь обращусь к вам с такой просьбой, Чарльз. Вы говорили про вишни.

В тени деревьев дышалось легко. Я продолжал резво шагать. Диккенс продолжал с трудом ковылять.

— Вишни? Ах да... давным-давно, в мою бытность трудным лондонским подростком, я однажды шел по

Стрэнду и случайно оказался прямо позади рабочего, который нес на плече довольно невзрачного большеголового ребенка — видимо, своего сына. Но, понимаете, я ведь потратил всё до последнего пенса на этот пакет спелых вишен...

— Вот как, — промолвил я, задаваясь вопросом, уж не приключился ли с Диккенсом солнечный удар. Или апоплексический.

— Да, вишни, Уилки. Но что самое замечательное, мальчонка этот посмотрел на меня как-то так... по-особенному... и я начал кидать ему в рот вишни, одну за другой, а он выплевывал косточки совершенно бесшумно. Его отец так и не обернулся. Он так и не узнал. Кажется, я скормил большеголовому мальцу все свои вишни, все до единой. А потом рабочий с сынишкой на плече повернул налево на перекрестке, а я продолжал идти прямо, и отец не узнал ничего нового, но я стал беднее — по крайней мере, в смысле вишен, — а большеголовый мальчуган стал толще и счастливее.

— Прелестная историйка, Чарльз, — сказал я.

Диккенс попытался прибавить шагу, но левая нога у него уже не выдерживала никакой нагрузки. Ему приходилось опираться всей тяжестью на палку при каждом мучительном шаге. Он бросил на меня взгляд.

— Порой мне кажется, друг мой, что вся моя писательская карьера являлась всего лишь продолжением тех нескольких минут, когда я кидал вишни в рот большеголовому ребенку, сидевшему на плече у отца. Вы меня понимаете?

— Конечно, Чарльз.

— Так вы обещаете, что позволите мне загипнотизировать вас и освободить от иллюзий, с бездумной жестокостью внушенных мной? — вдруг резко спросил он. — Вечером в среду, восьмого июня? Вы даете мне слово?

— Слово чести, Чарльз.

Ко времени, когда мы достигли ручья с горбатым мостиком, я насвистывал мелодию из своего недавнего провидческого сна.

Глава 49

Я закончил свой роман «Муж и жена» в среду, 8 июня 1870 года, во второй половине дня.

Я сказал Джорджу и Бесс (которых в любом случае собирался вскоре уволить), что мне нужно отдохнуть в тишине, и отослал их на день навестить кого им будет угодно.

Кэрри уехала на неделю с Уордами.

Я отправил одно письмо своему редактору в «Касселлз мэгэзин», а другое своему будущему книгоиздателю Ф. С. Эллису с уведомлением, что рукопись закончена.

Я отправил Диккенсу письмо с сообщением о завершении работы над романом и напоминанием о нашей встрече, назначенной на завтра, девятое июня. Разумеется, мы не собирались встречаться девятого июня — мы встречались сегодня вечером, восьмого июня, — но я был уверен, что письмо придет не раньше следующего утра и таким образом послужит для меня тем, что сведущие в уголовном праве люди называют латинским словом «алиби». Я также отослал Леманам, Бердам и прочим знакомым теплые письма, где сообщал, что закончил «Мужа и жену» и по такому радостному случаю собираюсь — после длинной ночи долгожданного, заслуженного сна — отправиться с визитом в Гэдсхилл завтра днем, девятого числа.

Ближе к вечеру, одетый в темный дорожный костюм и плащ с откинутым назад широким капюшоном, я доехал в наемном экипаже до Гэдсхилла и остановился под старыми деревьями рядом с «Фальстаф-Инн», когда солнце уже садилось и ночная тьма медленно выпускала свои щупальца из леса за названным заведением.

Мне не удалось найти индусского матроса, готового покинуть Англию (и никогда не возвращаться) через десять дней. Не удалось мне найти и немецкого, или американского, или даже английского матроса, согласного

поработать на меня кучером. Не раздобыл я и черной кареты из своего опиумно-морфинового сновидения. Посему я сам правил экипажем — не имея опыта в данном деле, я полз к Гэдсхиллу черепашьим шагом, гораздо медленнее, чем ехал бы лихой кучер-индус, порожденный моей фантазией, — а экипаж представлял собой крохотную открытую бричку размером с запрягаемую пони коляску, в которой обычно возил меня Диккенс.

Но под единственным сиденьем позади меня стоял маленький фонарь «бычий глаз», а в кармане моего сюртука, рядом с джутовым мешочком для металлических предметов, лежал пистолет Хэчери с четырьмя оставшимися патронами в барабане — все, как я планировал. Если подумать, оно было и лучше, что я сам правил: никакой возница, индус или не индус, никогда не сможет шантажировать меня.

Реальный вечер тоже нисколько не походил на погожий июньский вечер, пригрезившийся мне во сне.

Всю дорогу лило как из ведра, и под дождевыми струями и брызгами, летевшими из-под лошадиных копыт на нелепо низкие козлы миниатюрного экипажа, я промок до нитки ко времени, когда подъехал к «Фальстаф-Инн» сразу после заката. Сам закат — серый, мутный, водянистый постскриптум минувшего дня — не имел ничего общего с восхитительной картиной, рисовавшейся в моем воображении.

Я загнал единственную (древнюю) лошадь и шаткий экипаж возможно глубже под густые деревья сбоку от гостиницы, но продолжал мокнуть, ибо порывы ветра поминутно задували в мое укрытие дождевые струи, а все остальное время на меня капало с ветвей.

И Диккенс не пришел.

Мы с ним условились встретиться через полчаса после захода солнца — положим, его можно было извинить за то, что он не заметил точное время нынешнего пасмурного заката, но он не появился и спустя час.

Возможно, подумал я, он не видит в темноте под деревьями темную бричку, мокрую черную лошадь и меня

самого в насквозь промокшей черной одежде. Я решил зажечь один из боковых фонарей экипажа.

Ни боковых, ни задних фонарей на моей дешевой бричке не имелось. Я решил зажечь «бычий глаз» и поставить на козлы рядом. Но тотчас осознал: в таком случае Диккенс наверняка увидит меня из дома или с переднего двора, но меня увидят также все люди, входящие в гостиницу и выходящие из нее или даже просто проезжающие мимо по дороге.

Я решил зайти в гостиницу, заказать горячего рома с маслом и послать мальчишку-прислужника в Гэдсхилл-плейс сообщить Диккенсу, что я жду здесь.

«Не будь идиотом», — хором прошептали юрист во мне и криминальный писатель во мне. И в мозгу снова всплыло диковинное, но существенно важное для меня понятие — «алиби».

Прошло уже полтора часа после заката, а Чарльз Диккенс — наверное, самый пунктуальный пятидесятивосьмилетний человек во всей Англии — так и не появился. Дело близилось к десяти часам. Если мы не выедем в Рочестер в самом скором времени, все предприятие сорвется.

Я привязал дремлющую лошадь к ветке, поставил в рабочее положение хлипкий тормозной башмак брички и двинулся между деревьями в направлении шале. При каждом порыве холодного ветра с хвойных и лиственных ветвей на меня низвергались потоки воды.

За последние полтора часа я видел по меньшей мере три экипажа, свернувших на подъездную аллею Гэдсхилл-плейс, и два из них, разглядел я, все еще стояли перед домом. Возможно ли, что Диккенс забыл о нашей тайной встрече — или просто решил ее проигнорировать? На миг я исполнился леденящей душу уверенности, что мое написанное для отвода подозрений письмо с напоминанием о завтрашней нашей встрече каким-то образом пришло в Гэдсхилл-плейс сегодня, но потом я вспомнил, что нарочно отправил его поздно днем. Ни один почтовый курьер в Англии не доставил бы посла-

ние столь быстро — на самом деле почтовая служба проявит небывалую расторопность, коли означенное письмо получат в Гэдсхилл-плейс к вечеру пятницы (а сейчас только вечер среды).

Я нащупал пистолет в кармане и решил воспользоваться туннелем.

Что я собираюсь делать, если загляну в окно новой оранжереи (минувшей весной пристроенной к дому сзади, к полному восторгу Диккенса) и увижу Неподражаемого все еще сидящим за обеденным столом? Или читающим книгу?

Я постучу в окно, знаком попрошу его выйти ко мне и насильно уведу с собой под угрозой пистолета. Все очень просто. И ничего другого не остается.

Если только поблизости не окажется Джорджины и прочих прихлебателей, живущих за счет Диккенса, точно миноги, что присасываются к более крупной рыбе. (К каковой группе метафорических паразитов следует отнести и моего брата Чарльза.)

В туннеле было очень темно и пахло дикими зверями, вероятно испражнявшимися здесь. Тем вечером я чувствовал себя одним из них и, промокший насквозь, никак не мог справиться с дрожью.

Выйдя из туннеля, я пошел не по хрусткому гравию аллеи, а по траве и пробрался сквозь низкую живую изгородь на передний двор. Теперь я увидел на стояночной площадке перед домом три экипажа (хотя в темноте не сумел определить, кому они принадлежат), и одна из лошадей вдруг вскинула голову и испуганно всхрапнула, словно почуяв мой запах. Я снова задался вопросом, не пахну ли я хищным зверем.

Немного пройдя вправо, я остановился и поднялся на цыпочки, чтобы поверх живых изгородей и подрезанных молодых кедров разглядеть, что творится за раздвинутыми белыми шторами. Эркерные окна рабочего кабинета Диккенса были темными, но, похоже, во всех остальных комнатах горел свет. Я увидел женскую голову — Джорджина? — промелькнувшую в одном из окон.

Женщина действительно двигалась поспешно — или мне в моем взвинченном состоянии просто показалось? Я отступил на несколько шагов назад, чтобы лучше видеть горящие верхние окна, и вынул тяжелый пистолет из кармана.

Пуля неизвестного убийцы пробивает оконное стекло и поражает самого известного писателя в мире... Что за идиотская мысль? Диккенс должен не просто умереть, он должен исчезнуть. Бесследно. Сегодня ночью. И он непременно исчезнет, как только выйдет за порог, запоздало вспомнив о назначенной встрече со мной. В этом я поклялся не только Богу, но и всем богам Черной Земли.

Внезапно чьи-то руки схватили меня сзади и полуповолокли-полупонесли прочь от дома.

Эта фраза дает слабое представление о насилии, примененном к моей особе в тот момент. Руки принадлежали сразу нескольким мужчинам и были очень сильными. Обладатели этих грубых рук, нимало не заботясь о моем самочувствии, протащили меня сквозь живую изгородь, сквозь низко нависающие ветки дерева и швырнули на камни и клумбу, тесно засаженную колючими кустиками герани.

Красные герани! Они заполонили все поле зрения — вместе с искрами, посыпавшимися из глаз от удара головой о землю, — и даже в темноте на миг ослепили меня невероятно ярким красным цветом.

Диккенсовские красные герани. Кровавое пятно петличного цветка на белоснежном фоне парадной сорочки. Цветок красной герани из сцены зверского убийства Нэнси.

Прежние мои кошмары были подсознательными предчувствиями, возможно усиленными опиумом, который подпитывал мои творческие силы, когда все остальные средства не действовали.

Я попытался встать, но сильные руки толкнули меня обратно на мокрую землю.

Три белых лица плавали во мраке надо мной, когда я устремил взгляд вверх и мельком увидел тусклый месяц, скользящий между быстро бегущих черных туч.

Словно в подтверждение пророческого характера прошлых моих видений, в поле моего зрения появилась костлявая физиономия Эдмонда Диккенсона, всего в футе от моего лица. Его остро сточенные зубы походили на крохотные белые кинжалы.

— С-с-спокойно, мис-с-стер Коллинз. С-с-спокойно. Никаких фейерверков с-с-сегодня, с-с-сэр. Только не с-с-сегодня.

Словно в объяснение этих загадочных слов, чьи-то сильные руки выхватили пистолет из моей судорожно дергающейся руки. Я совсем про него забыл.

Физиономию Диккенсона сменило бледное лицо Реджинальда Барриса. Крепко сбитый мужчина то ли скалился в улыбке, то ли жутко гримасничал (я не видел разницы), и я осознал, что черные щербины у него во рту, замеченные мной при последней нашей встрече в узком переулке, образовались вовсе не вследствие разрушения зубов. Баррис тоже спилил зубы, придав им форму острых клиньев.

— Это наш-ш-ша ночь, мис-с-стер Коллинз, — прошипел он.

Я отчаянно напряг силы, пытаясь приподняться, но тщетно. Когда я снова взглянул вверх, надо мной парило лицо Друда.

Я умышленно употребляю слово «парило». Весь Друд, казалось, парил надо мной, раскинув руки, обратив ко мне мертвенно-бледное лицо; его облаченное в черный плащ тело недвижно висело параллельно моему, опираясь на незримые воздушные потоки, всего в трех-четырех футах над землей.

На месте ноздрей и верхних век у него краснели язвы — такие свежие, словно ноздри и веки отсекли скальпелем всего несколько минут назад. Я уже успел забыть, как Друдов длинный язык, похожий на ящеричий, стремительно мелькает между тонких губ.

— Ты не можешь убить Диккенса! — задыхаясь, проговорил я. — *Ты* не можешь убить Диккенса. Это я должен...

— Тш-ш-ш! — прошипело парящее надо мной белое черепообразное лицо, увеличиваясь в размерах.

Друдово дыхание отдавало зловонием могильной земли и сладковатым смрадом разбухших мертвых тел, плавающих в подземных сточных каналах.

Его глаза сочились кровью.

— Тш-ш-ш! — повторил Друд, слово успокаивая демона-дитя. — Мы заберем с-с-сегодня лишь душ-ш-шу Чарльза Диккенс-с-са. Все ос-с-стальное можете взять с-себе, мис-с-стер Билли Уилки Коллинз. Все, что ос-с-станется, — ваш-ш-ше.

Я открыл рот, чтобы завопить, но парящий надо мной Друд молниеносно выхватил из кармана своего оперного плаща надушенный черный шелковый платок и прижал к моему искаженному лицу.

Глава 50

Я проснулся поздно утром, разбуженный дочерью Кэролайн, Кэрри, хотя она (как упоминалось выше) должна была сейчас путешествовать вместе с Уордами, своими работодателями. Девочка с плачем настойчиво стучала в дверь, а потом, не дождавшись от меня ответа, вошла в спальню.

Плохо соображая, я сел в постели и подтянул к подбородку одеяло. Спросонья мне пришло в голову лишь одно: Кэрри вернулась домой раньше, чем предполагалось, взломала запертый нижний ящик моего комода и залезла в запертую шкатулку, где я хранил письма ее матери. В последнем письме Кэролайн — полученном и прочитанном всего три дня назад — рассказывалось, как она выразила недовольство по поводу очередного ночного кутежа мужа с разгульными приятелями и очнулась только на следующий день, в запертом подвале, с заплывшим глазом и выбитым передним зубом.

Но Кэрри плакала по другой причине.

— Уилки, мистер Диккенс... Чарльз Диккенс... твой друг... он умер!

Давясь рыданиями, Кэрри объяснила, что ее покровители, мои друзья Эдвард и Генриетта Уорд, по дороге в Бристоль узнали о смерти Диккенса от одного своего знакомого, случайно встреченного на вокзале, и тотчас же вернулись в Лондон, чтобы Кэрри могла находиться рядом со мной.

— Как подумаешь... сколько раз мистер Диккенс... сидел за нашим сто... столом... когда мама жила здесь... — Кэрри плакала навзрыд.

Я протер глаза, ноющие от боли.

— Ступай вниз, будь умницей, — наконец проговорил я. — Вели Бесс сварить кофий и состряпать завтрак.

— Джорджа и Бесс нет дома, — сказала она. — Я отперла дверь ключом, что мы прячем в кусте у крыльца.

— Ах да... — промычал я, все еще потирая ладонями лицо. — Я отпустил их вчера на пару дней... чтобы хорошенько выспаться. Вчера вечером я закончил свою книгу, Кэрри.

Похоже, сей факт не произвел на нее должного впечатления. Девочка вновь залилась слезами, хотя я понятия не имел, с чего она так убивается из-за известия о смерти старого джентльмена, который уже много месяцев не наведывался в наш дом и который на протяжении многих лет называл ее Дворецким.

— Тогда сбегай за поварихой, — сказал я. — А потом, будь умницей, быстренько приготовь кофий и чай. Да, Кэрри, и еще сбегай в табачную лавку за площадью и принеси мне все сегодняшние газеты, какие там найдешь. Ступай живо!

Когда она ушла, я откинул прочь одеяло и осмотрел себя. Похоже, Кэрри ничего не заметила сквозь слезы, но я был не в пижаме, а в измаранных белой сорочке, панталонах и штиблетах, все еще зашнурованных. А простыни были измазаны грязью, выглядевшей — да и пахнувшей — ну в точности как испражнения.

Я встал, запер дверь и отправился в ванную комнату, чтобы вымыться и переодеться до возвращения Кэрри.

В течение дня обрывки достоверных сведений постепенно складывались в цельную картину.

Восьмого июня, начав утро с пустяшной болтовни с Джорджиной за завтраком, Диккенс, в нарушение заведенных правил и обычного рабочего режима, проработал в шале весь день напролет — он вернулся в дом лишь на ланч около часа, а затем снова удалился в свое уединенное гнездышко, чтобы писать до самого вечера.

Впоследствии я увидел последнюю страницу «Тайны Эдвина Друда», написанную им в тот день. Там значительно меньше исправлений и вычеркиваний, чем в любых черновых рукописях Чарльза Диккенса, виденных мной когда-либо прежде. И там содержится нижеприведенный абзац, описывающий, несомненно, чудесное утро в Рочестере, очень похожее на восхитительное утро, которое Неподражаемый совсем недавно видел в Гэдсхилле. Он начинается словами: «Яркое утро занимается над городом...» — и продолжается так:

> Все древности и развалины облеклись в невиданную красоту; густые завесы плюща сверкают на солнце, мягкие ветер колышет пышную листву деревьев. Золотые отблески от колеблющихся ветвей, пенье птиц, благоуханье садов, полей и рощ — вернее, единого огромного сада, каким становится наш возделанный остров в разгаре лета, — проникают в собор, побеждают его тлетворные запахи и проповедуют Воскресенье и Жизнь. Холодные каменные могильные плиты, положенные здесь столетья назад, стали теплыми; солнечные блики залетают в самые сумрачные мраморные уголки и трепещут там, словно крылья.

Последними словами, написанными Диккенсом в рукописи «Тайны Эдвина Друда» в тот день были: «...а затем с аппетитом принимается за еду».

Диккенс покинул шале поздно вечером и перед ужином уединился в своем кабинете. Там он написал два письма (о них впоследствии Кейти рассказала моему брату, а он сообщил мне). Одно — Чарльзу Кенту, в нем Диккенс извещал, что будет в Лондоне завтра (девятого

июня) и хотел бы встретиться с Чарльзом в три часа пополудни. Хотя он добавлял: «Если я не смогу... что ж, тогда не приду».

Второе письмо Неподражаемый написал священнику и именно там процитировал предостерегающие слова брата Лоренцо, обращенные к Ромео: «Таких страстей конец бывает страшен».

Потом Диккенс вышел к ужину.

Позже Джорджина рассказывала моему брату, что, едва они сели ужинать, она внимательно взглянула на него и чрезвычайно встревожилась, увидев выражение его лица.

— Вам нездоровится, Чарльз? — спросила она.

— Да, сильно нездоровится. Последний час... я... дурно себя чувствую.

Джорджина хотела немедленно послать за доктором, но Диккенс жестом остановил ее и настоял на том, чтобы они спокойно поели.

— Нам нужно поужинать, — сказал он со странным, отсутствующим видом, — ибо сразу после ужина я должен уехать. Я должен поехать... в Лондон... немедленно. После ужина. У меня назначена встреча... завтра... сегодня... сегодня вечером.

Внезапно он начал корчиться в сильнейшем припадке. Джорджина впоследствии сказала Кейти: «Было такое впечатление, будто какой-то демон пытается внедриться в его тело, а бедный Чарльз отчаянно сопротивляется».

Диккенс лепетал слова, казавшиеся Джорджине бессвязными и бессмысленными. Потом он вдруг вскричал:

— Я должен ехать в Лондон сейчас же! — и резко отодвинулся от стола вместе со своим креслом, обитым малиновой парчой.

Он встал, но сильно пошатнулся и непременно упал бы, если бы Джорджина не бросилась к нему и не подхватила под руку.

— Пойдемте в гостиную, — проговорила она, страшно испуганная его пепельно-серым лицом и остекленелым взглядом. — Вы там приляжете.

Она хотела отвести Диккенса к дивану, но он не мог сделать ни шагу и с каждой секундой все тяжелее наваливался на нее. Только тогда, впоследствии сказала Джорджина Кейти, она по-настоящему поняла, что означает выражение «мертвый груз».

Джорджина оставила попытки отвести Диккенса к дивану и стала осторожно опускать его на пол. Он уперся ладонями в ковер, тяжело завалился на левый бок и чуть слышно пробормотал:

— Да. На землю.

Затем он потерял сознание.

В этот момент я выезжал с оживленных лондонских улиц на большак, ведущий к Гэдсхиллу, и проклинал дождь. Но в Гэдсхилле дождь не шел. Пока что.

Находись я тогда в темноте под деревьями, где занял позицию немногим позже, я бы увидел, как один из молодых слуг (возможно, Смайт или Гоуэн, садовник-гондольер, если верить Диккенсу) мчится во весь опор на Ньюмане Ноггзе — пони, столь часто возившем меня неспешной рысью от станции к усадьбе, — за местным доктором.

Деревенский врач, мистер Стил, прибыл в половине седьмого, все еще задолго до моего прибытия, и нашел Диккенса «лежащим без чувств на полу в столовой зале».

Слуги перенесли в столовую длинный диван, и мистер Стил проследил за тем, чтобы находящегося без сознания, но судорожно подергивающего конечностями писателя уложили на него. Потом Стил поставил пациенту клистир и применил «прочие целительные меры», но без всякого результата.

Тем временем Джорджина посылала телеграмму за телеграммой, точно военный трехпалубник, палящий сразу из всех бортовых пушек. Одна из них пришла Фрэнку Берду, и он тотчас выехал из города и прибыл в Гэдсхилл поздно вечером — возможно, как раз тогда, когда меня, тоже лишенного чувств, увозили оттуда в моем собственном наемном экипаже.

Я по сей день гадаю, кто же привез меня в город той ночью, обшарил мои карманы в поисках ключа от дома, отнес меня в спальню и засунул в постель. Явно не Друд. Диккенсон? Реджинальд Баррис-Филд? Еще какой-нибудь ходячий мертвец из числа Друдовых прислужников, которого я даже не видел в темноте во время нападения на меня.

Кто бы это ни был, он ничего не украл. Я даже нашел свой револьвер — револьвер Хэчери — с четырьмя последними патронами в запертом ящике комода, где он всегда хранился.

А что стало с моим экипажем? — гадал я. Даже при всем своем буйном писательском воображении я решительно не мог представить, как один из облаченных в черный оперный плащ кошмарных помощников Друда отдает бричку обратно в бюро по найму экипажей в Криплгейте, где я ее взял, и требует возвращения залога. Разумеется, я нарочно выбрал бюро подальше от дома и при заключении сделки использовал вымышленное имя — любимое вымышленное имя Диккенса, Чарльз Трингхэм, — но утрата залога произошла в трудное для меня в финансовом смысле время. А бричка гроша ломаного не стоила.

Фонаря я тоже безвозвратно лишился.

Когда Кейт Диккенс, мой брат Чарльз и все прочие, вызванные телеграммами Джорджины, примчались в Гэдсхилл поздно вечером, Чарльз Диккенс по-прежнему лежал в беспамятстве на диване, никак не реагируя на вопросы и прикосновения. (Три экипажа, виденные мной перед домом, знаменовали лишь начало нашествия.)

Всю длинную ночь — если точнее, короткую ночь, поскольку дело близилось к летнему солнцестоянию, — так вот, всю короткую ночь родственники, Берд и мой брат по очереди держали Неподражаемого за руку и прикладывали нагретые кирпичи к его ступням.

«Уже к полуночи, — впоследствии сказал мне брат, — руки и ноги у Диккенса стали холодными, как у трупа».

Перед рассветом сын Диккенса телеграфировал известному лондонскому врачу Расселу Рейнольдсу, который, прочитав имя «Диккенс», тотчас же выехал из города самым ранним курьерским и прибыл в Гэдсхилл вскоре после восхода солнца. Но заключение доктора Рассела Рейнольдса совпало с заключением мистера Стила и Фрэнка Берда — писатель перенес обширный «паралличный удар» и медицина здесь бессильна.

Кейти отправилась в Лондон, чтобы сообщить прискорбное известие матери и подготовить ее к еще более страшному известию. Никто из тех, с кем я беседовал впоследствии, не удосужился узнать и никогда не упоминал, как отреагировала на печальную новость Кэтрин Диккенс, изгнанная жена Неподражаемого, прожившая с ним в браке двадцать два года и родившая ему десятерых детей. Я точно знаю, что самого Диккенса не интересовали бы ее чувства по данному поводу.

Эллен Тернан приехала в Гэдсхилл вскоре после полудня, тогда же и Кейти вернулась из Лондона.

Той весной, во время короткого перерыва между чтениями, Диккенс показывал мне свою новую оранжерею, смежную со столовой залой. Он говорил, что она обеспечит доступ солнечного и лунного света в прежде довольно сумрачные комнаты и наполнит весь дом благоуханием его любимых цветов (последнее обстоятельство, похоже, представлялось ему самым важным, когда он демонстрировал мне оранжерею с восторгом маленького мальчика, похваляющегося перед другом новой игрушкой). Цветы вездесущей алой герани (именно их он неизменно вставлял в петлицу перед концертами) толком не пахнут, но листья и стебли источают землистый, мускусный аромат, присущий также стеблям голубой лобелии.

Девятого июня стояла погожая теплая погода, и все окна в доме были распахнуты настежь — словно для того, чтобы через любое из них могла беспрепятственно улететь душа, все еще заключенная в немощном теле

на диване в столовой зале, смежной с оранжереей, полной зеленых растений и кроваво-красных цветов.

Но сильнее всего в тот день благоухали жасмины. Диккенс наверняка высказался бы по поводу этого приторного запаха, когда бы находился в сознании и занимался убийством Эдвина Друда. Во всяком случае, его сын Чарли — почти весь день просидевший со своей сестрой Кейт на ступеньках крыльца, где жасминный аромат насыщал воздух особенно густо, — впоследствии просто не переносил эти цветы.

Дыхание Диккенса, словно старавшегося поглубже вдохнуть аромат, который его сын возненавидит до конца своих дней, становилось все громче и прерывистее по мере приближения вечера. За проселочной дорогой, где проезжали экипажи в полном неведении о драме, разыгрывавшейся в тихом, мирном доме, тени двух кедров наползли на швейцарское шале, в котором сегодня не было написано ни строчки (и уже никогда не будет).

Похоже, никто из собравшихся у смертного одра не вознегодовал, когда Эллен Тернан взяла руку человека, лежавшего без сознания на диване. Около шести вечера дыхание Диккенса стало слабым и поверхностным. К всеобщему смущению (во всяком случае, я бы смутился, если бы находился там), Неподражаемый вдруг начал всхлипывать, не приходя в чувство. Глаза его оставались закрытыми, и он не отвечал на пожатия руки Эллен, полной надежды, полной отчаяния, но примерно в десять минут седьмого из правого глаза у него выкатилась единственная слеза и сбежала по щеке.

А потом он испустил дух.

Чарльз Диккенс умер.

Мой друг и враг, мой соперник и соавтор, мой учитель и мучитель прожил четыре месяца и два дня после своего пятьдесят восьмого дня рожденья.

И ровно пять лет, с точностью почти до часа, после Стейплхерстской катастрофы и своей первой встречи с Друдом.

Глава 51

Впоследствии мои знакомые отмечали между собой, что я воспринял смерть Диккенса довольно спокойно.

К примеру, хотя все знали об охлаждении наших с Диккенсом отношений, немногим ранее я написал Уильяму Тинделлу, что «Мужа и жену» можно прорекламировать, вклеив цветную листовку в июльский выпуск «Эдвина Друда». В постскриптуме я добавил:

> Диккенс пользуется большой известностью и уважением... Если надо, я могу оказать личное влияние.

Седьмого июня — за день до того, как с Диккенсом приключился удар, — Тинделл ответил, что не одобряет эту идею.

В письме от девятого июня (отправленном десятого числа) я написал:

> Вы совершенно правы. Кроме того, он умер. Я закончил «Мужа и жену» вчера вечером, тотчас заснул от страшной усталости, а по пробуждении узнал о смерти Диккенса.
>
> Рекламные листовки на железнодорожных станциях — превосходная мысль.

В другом случае мой брат показал мне карандашный эскиз, сделанный Джоном Эвереттом Миллесом десятого июня. По принятой в наше время традиции запечатлевать посмертный образ Великих Людей (подозреваю, она сохранилась и до вашего времени, дорогой читатель) семейство Диккенса тотчас обратилось к художнику (Миллесу) и скульптору (Томасу Вулнеру) с просьбой увековечить черты усопшего. И на рисунке Миллеса, и на посмертной маске, выполненной (по словам брата) Вулнером, глубокие складки и морщины, оставленные тревогой и страданиями, были сглажены, размыты, отчего лицо получилось значительно моложе. На рисунке был изображен неизбежный широкий бинт (или полотенце), подвязанный под подбородком Диккенса, чтобы челюсть не отвисала.

— Правда он выглядит спокойным и величественным? — спросил Чарли. — Правда у него такой вид, будто он просто уснул — вздремнул после обеда, — но вот-вот проснется, вскочит на ноги с обычной своей резвостью и снова примется за работу?

— Он выглядит мертвым, — сказал я. — Мертвым, как дронт.

Как я и предвидел, английская — нет, мировая — общественность принялась вопить о необходимости похоронить Диккенса в Вестминстерском аббатстве еще прежде, чем *rigor mortis* ослабил свою хватку.

Лондонская «Таймс», старинный враг Диккенса и противник всех политических и реформаторских предложений, когда-либо публично выдвинутых Неподражаемым (не говоря уже о статье, обходившей снисходительным молчанием почти все его последние произведения), с пафосом восклицала в передовице с заголовком на всю полосу:

> Многие государственные деятели, филантропы, общепризнанные благодетели народа уходят из жизни, не оставляя после себя невосполнимую пустоту, какая останется после смерти Чарльза Диккенса... Ни один человек нашей эпохи не достигал такого положения. Требуется сочетание могучего ума и исключительных нравственных качеств... чтобы общество согласилось признать человека своим бесспорным и бессменным кумиром. Именно такое положение занимал мистер Диккенс в сердцах английской и американской общественности на протяжении доброй трети века... Вестминстерское аббатство — последний приют великих писателей Англии, и лишь немногие из тех, чей священный прах покоится там и чьи имена высечены на стенах, достойны такой могилы больше Чарльза Диккенса. Еще меньше среди них таких, кого будут почитать все глубже с течением времени, все сильнее восхищаясь величием гения.

Как я стонал, читая это! И как хохотал бы Чарльз Диккенс, когда бы мог прочитать столь раболепную и лицемерную передовицу в газете, всю жизнь враждовавшей с ним.

Настоятель Вестминстерского аббатства, отнюдь не глухой к подобным воплям, письменно известил семейство Диккенса, что он, настоятель, «готов вступить с родственниками усопшего в переговоры относительно погребения».

Но Джорджина, Кейти, Чарли и прочие члены семьи (Гарри примчался из Кембриджа слишком поздно, чтобы застать отца в живых) давно знали, что маленькое кладбище под стенами Вестминстерского замка переполнено и захоронения там не производятся. Диккенс не раз говорил, что хотел бы упокоиться на церковном погосте в Кобхэме или Шорне, но выяснилось, что эти кладбища тоже закрыты для погребений. Поэтому, когда от настоятеля Рочестерского собора поступило предложение похоронить Диккенса в стенах самого собора, в могиле, уже приготовленной там в часовне Девы Марии, семейство Неподражаемого дало предварительное согласие — еще прежде, чем пришло письмо от настоятеля Вестминстерского аббатства Стенли.

О, дорогой читатель, как же возликовал я при мысли, что труп Диккенса на веки вечные упокоится в считаных ярдах от склепа, в межстенной полости которого я собирался схоронить его череп и кости! У меня все еще оставался дубликат ключа от подземной часовни, изготовленный Дредлсом! У меня все еще оставался ломик для извлечения камня из стены, выданный мне Дредлсом (точнее, проданный за триста фунтов и пожизненное ежегодное вспомоществование в сумме ста фунтов).

Как замечательно! Как восхитительно! Я прочитал все это в полученном утром письме от Чарли и плакал от счастья за завтраком.

Но — увы! — этому не суждено было случиться. Все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой.

Когда труп Диккенса начал разлагаться на июньской жаре, Форстер (как он, должно быть, упивался сознанием своей значимости!) и Чарли Диккенс поехали в Лондон на встречу с настоятелем Вестминстерского аббатства.

Они сообщили настоятелю, что завещание Диккенса в самых недвусмысленных выражениях предписывает провести частные, тихие похороны, без воздания каких-либо общественных почестей. Настоятель Стенли согласился, что волю великого человека следует выполнить в точности, но заявил, что и «желание народа» надлежит уважить.

В общем, они постановили погрести Чарльза Диккенса в Вестминстерском аббатстве.

Чтобы добавить к одному оскорблению следующее (а такое происходило постоянно в течение двадцати лет моего общения с Диккенсом, дорогой читатель), мне отвели особую роль в этих неофициальных похоронах. Четырнадцатого июня я отправился на вокзал Чаринг-Кросс, чтобы встретить специальный поезд из Гэдсхилла и «принять» гроб с бренными останками Чарльза Диккенса. В согласии с волей усопшего, гроб перенесли в простой катафалк без траурного убранства (запряженный лошадьми без черных плюмажей). Сей экипаж вполне мог сойти за почтовый фургон, несмотря на нервную суетливость возницы и носильщиков.

Опять-таки в соответствии с указаниями Диккенса только трем каретам было позволено проследовать за катафалком до аббатства.

В первой карете сидели четверо детей Диккенса, оставшихся в Англии, — Чарли, Гарри, Мэри и Кейти.

Во второй находились Джорджина, сестра Диккенса Летиция (с ней он почти не общался при жизни), жена его сына Чарли и Джон Форстер (который, несомненно, хотел бы ехать в первой карете, если не в самом гробу рядом со своим господином).

А в третьей помещались душеприказчик Диккенса Фредерик Уври, его преданный (пусть и не всегда благоразумный) врач Фрэнк Берд, мой брат Чарльз и я.

Колокола церкви Святого Стефана отбивали половину десятого утра, когда наша маленькая процессия достигла ворот Вестминстерского аббатства. Сведения о похоронах не просочились за пределы узкого круга друзей

и близких покойного — маленькая победа Неподражаемого над прессой, — и народ не выстраивался вдоль улиц по ходу нашего движения. Посетителей в тот день в аббатство не пускали.

Когда наши экипажи въехали во двор, все большие колокола начали звонить. С помощью нескольких мужчин помоложе мы пронесли гроб по западному нефу Вестминстерского собора в южный трансепт, в Уголок поэтов.

О, если бы люди, несшие гроб вместе со мной, и прочие скорбящие могли прочитать мои мысли, когда мы опустили сей простой деревянный ящик в могилу в Уголке поэтов! Интересно, произносилось ли мысленно еще когда-нибудь в стенах Вестминстерского аббатства столько непотребных ругательств и проклятий, хотя иные из погребенных там поэтов наверняка присоединились бы ко мне, если бы их мозг по-прежнему работал, а не гнил под землей.

Прозвучало несколько коротких надгробных слов. Я не помню, кто и что говорил. Не было ни певчих, ни хора, но незримый органист заиграл похоронный марш, когда скорбящие потянулись вереницей к выходу. Я немного задержался и с минуту стоял у могилы один. Самые кости моего тучного тела вибрировали от органных басов, и меня позабавила мысль, что кости Диккенса точно так же вибрируют в гробу.

«Знаю, ты бы предпочел, чтобы твои кости упокоились в безвестии в стене склепа с останками одного из любимых стариканов Дредлса», — мысленно сказал я своему другу и врагу, глядя на скромный гроб. На добротных дубовых досках красовалось лишь два слова: ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС.

«Все равно, даже этого слишком много для тебя, — подумал я, когда наконец двинулся к выходу, чтобы присоединиться к остальным. — Слишком много. И это еще только начало».

После стылого сумрака, царившего под высокими каменными сводами аббатства, солнечный свет показался беспощадно жарким и ярким.

Друзья покойного получили дозволение навестить могилу, по-прежнему открытую, и ближе к вечеру, после многократных приемов лауданума и укола морфия, я вернулся туда вместе с Перси Фицджеральдом. К этому времени на каменных плитах в ногах Диккенсова гроба лежал венок из роз, а у изголовья высилась громадная груда кричаще-зеленых папоротников.

Через несколько дней занудная элегия, напечатанная в «Панче», провыла:

> Он спит средь тех, кто составляет славу
> И гордость Англии, в аббатстве старом —
> Средь избранных, кто удостоен права
> Покоиться с монархами недаром.

«И это еще только начало», — снова подумал я, когда мы с Перси вышли на сумеречный воздух, напоенный июньскими ароматами.

Настоятель Стенли разрешил оставить могилу открытой на несколько дней. Уже в первый день послеполуденные газеты вовсю трубили о смерти Диккенса. Они набросились на эту новость, как в свое время старина Султан набрасывался на любого человека в форменной одежде — яростно деря когтями, терзая зубами и снова деря когтями.

Когда мы с Перси уходили оттуда в начале седьмого (в каковой час пятью днями ранее Диккенс всхлипнул, выпустил единственную слезу и соизволил испустить дух), за воротами стояла тихая торжественная очередь из доброй тысячи людей, не успевших пройти в Уголок поэтов до закрытия аббатства.

Могила оставалась открытой еще два дня, и еще два дня скорбящие бесконечной вереницей тянулись мимо нее. Многие тысячи проливали слезы над гробом и бросали на него цветы. Даже когда могилу наконец закрыли и установили над ней каменный монумент с высеченным на нем именем Диккенса, люди еще много месяцев беспрерывным потоком шли туда, возлагали цветы и проливали слезы.

И это только начало.

Когда мы с Перси — рыдавшим столь же безутешно, как позапрошлой весной рыдала крохотная внучка Диккенса Мекитти, увидев своего «постенного» плачущим и разговаривающим странными голосами на сцене, — вышли из аббатства, я извинился, отошел в сторонку, нашел уединенное местечко за высокими живыми изгородями и до крови искусал костяшки пальцев, чтобы подавить рвущийся из груди вопль.

И это было только начало.

Поздно вечером четырнадцатого июня я ходил взад-вперед в своем пустом доме.

Джордж и Бесс вернулись из своего двадцатичетырехчасового отгула девятого июня, и я тотчас объявил, что они уволены, и велел паковать вещи. Они не получили от меня ни объяснений касательно причины увольнения, ни рекомендательного письма. Новых слуг я еще не нанял. Кэрри приедет завтра, в среду (будет ровно неделя со дня нашей с Диккенсом несостоявшейся встречи у гостиницы «Фальстаф-Инн» после заката), но почти сразу отправится с ежемесячным визитом к матери в дом Джозефа Клоу.

Пока же я находился в огромном доме один. С улицы сквозь открытые окна доносился лишь шелест листвы, колеблемой легким ветром, да изредка — громыханье поздних экипажей, проезжающих мимо. Время от времени до моего слуха долетали тихие царапающие звуки — точно сухие веточки елозили по толстым дубовым доскам. То бедная маленькая Агнес (что бы там от нее ни осталось) скреблась в заколоченную дверь черной лестницы.

В первые два дня после того, как я узнал о смерти Диккенса, подагрические боли, к великому моему удивлению, утихли. Еще сильнее меня удивило — и обрадовало — отсутствие какого-либо движения в моем черепе. Я решил, что ночью, неделю назад, когда Диккенсон, Баррис-Филд и сам Друд неведомым образом привели

меня в бессознательное состояние на клумбе с алыми геранями, Друд извлек скарабея у меня из мозга.

Но сегодня, когда я нес гроб к Уголку поэтов, а позже возвратился туда с Перси, прежняя давящая боль, суетливое копошение за глазными яблоками и даже звуки жучиной возни в моем мозгу возобновились.

В дополнение к обычной ежевечерней дозе лауданума я сделал себе три больших инъекции морфия, но все равно не мог заснуть. Несмотря на теплую погоду и открытые окна, я жарко растопил камин в своем кабинете.

Что бы такое почитать... что бы почитать?

Я медленно ходил взад-вперед вдоль книжных полок, потом брал какую-нибудь книгу из непрочитанных или недочитанных, пробегал глазами страницу-другую, стоя либо у камина, либо под зажженной свечой на стеллаже, либо у лампы на письменном столе, а затем ставил том на место.

Той ночью и всегда впоследствии при виде недостающих книжных корешков на тесно заставленных полках мне невольно вспоминался кладочный камень, который я должен был вынуть из стены Дредлсова склепа. Сколько костей, черепов и скелетов бесследно кануло в пустоту недостающих, ненаписанных книг?

Наконец я взял «Холодный дом», превосходно изданный экземпляр в кожаном переплете, надписанный и подаренный мне Диккенсом вскоре после нашего знакомства. Мне кажется, тогда я выбрал «Холодный дом» потому, что этот роман вызывал у меня одновременно восхищение и отвращение, как и все прочие сочинения покойного.

Никому, помимо нескольких самых доверенных своих друзей, я никогда не говорил, сколь нелепым я нахожу хваленый диккенсовский стиль в упомянутой книге. Повествование от лица Эстер Саммерсон, ведущееся там временами, представлялось мне верхом нелепости.

Если этот посредственный роман дожил до ваших дней, дорогой читатель (в чем я сильно сомневаюсь, хотя почти уверен, что «Лунный камень» дожил), вы просто

посмотрите на метафору, которой Диккенс открывает произведение — я говорю о тумане! Он появляется, он превращается в центральную метафору, а потом уползает, чтобы уже никогда не вернуться в качестве таковой.

Какое дилетантство! Какое неумение выстраивать лейтмотив и доводить до конца замысел!

Просто посмотрите, дорогой читатель, — как смотрел я в ночь после похорон Диккенса, листая страницы с лихорадочным усердием юриста, выискивающего прецедент, чтобы оправдать (или, в моем случае, осудить) клиента, — так вот, просто посмотрите, сколь смехотворны абсолютно неправдоподобные стечения обстоятельств, описанные там... сколь неправдоподобно жестоко «вечное дитя» Гарольд Скимпол, а ведь все мы знали, что Диккенс писал Скимпола с нашего общего знакомого Ли Ханта... а чудовищно недостоверная детективная линия, введенная к концу романа... а постоянно меняющиеся противоречивые впечатления о внешности Эстер, тяжело переболевшей оспой (обезобразила ли болезнь лицо девушки? Только сейчас казалось — да, конечно! А в следующий момент — вовсе нет! Какое сочетание писательского непрофессионализма и повествовательского мошенничества!)... но сперва посмотрите на это!.. посмотрите, коли вам угодно, на все повествование от лица Эстер Саммерсон! Что вы на это скажете? Что можете вы — да и любой другой честный читатель — сказать на это?

Эстер начинает свой рассказ языком плохо образованной и наивной девицы, какого и следует ожидать от плохо образованной и наивной девицы, она говорит по-детски простыми предложениями (я порвал несколько страниц, пока яростно листал книгу в поисках нижеследующего места):

> Милая старая кукла! Я была очень застенчивой девочкой, — не часто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердца своего не открывала никому, кроме нее... Милая, верная куколка, я знала, что ты ждешь меня!

Я прощаю вас, дорогой читатель, коли по прочтении сих строк вам понадобилось (как понадобилось мне) сбегать в отхожее место, чтобы стошнить.

Но Диккенс почти сразу забыл, что Эстер думает и изъясняется в такой манере! Немного погодя Эстер при описании самых простых сцен начинает использовать чисто диккенсовские аллитерации и непринужденные ассонансы — «часы потикивали, дрова потрескивали», — а вскоре бедная, плохо образованная девица на протяжении целых страниц, целых глав ведет повествование с поразительным, завораживающим красноречием, свойственным только и исключительно Чарльзу Диккенсу. Как недостоверно! Как нелепо!

А позже той ночью после похорон Диккенса (вернее, уже утром следующего дня, ибо разве не слышал я несколькими часами ранее, как пробили двенадцать потикивающие часы над камином с потрескивающими дровами?), когда я лихорадочно листал измятые, порванные страницы книги в поисках оружия для дальнейших нападок (если не наступательной войны), чтобы убедить вас, дорогой читатель (и, возможно, себя самого), в заурядности новопреставленного литератора, я вдруг наткнулся на следующий эпизод. Нет, не эпизод, а фрагмент... нет, буквально строчка из фрагмента эпизода — подобные места Диккенс тогда постоянно вымарывал, не возвращаясь к ним впоследствии и особо над ними не задумываясь.

Эстер приезжает в гостиницу в портовом городке Дил, чтобы встретиться с Ричардом, женихом своей лучшей подруги, молодым человеком, над которым неусыпно сторожат Рок, Несчастье, Наваждение и Горе, точно стая воронов (или канюков, если употребить американское название) на голых ветвях ноябрьского дерева, — сторожат, выжидая момента, чтобы наброситься на него, как они издавна и по сей день сторожат надо мной.

Диккенс позволяет нам бросить взгляд поверх плеча Эстер и увидеть бухту. Там стоит на рейде множество

судов и еще больше появляется, словно по волшебству, когда туман начинает подниматься. Подобно Гомеру в «Илиаде», Диккенс коротко перечисляет корабли, включая один большой, только что вернувшийся на родину из Индии. Эту картину автор видит и показывает нам в тот момент, «когда солнце засияло, выглянув из-за облаков, и бросило на темное море светлые блики, похожие на серебристые озерца».

Серебристые озерца на море.

Озерца *на* море.

Одним из моих любимых развлечений, дорогой читатель, являются морские прогулки вдоль побережья на яхте с наемной командой. Именно во время одной из таких экскурсий я познакомился с Мартой Р***. Я видел озаренное солнцем море тысячи раз и описывал его в своих повестях и романах десятки, возможно даже, сотни раз. Я употреблял слова «лазурное», «голубое», «сверкающее», «пляшущее», «серое», «в белых барашках», «зловещее», «грозное» и даже «ультрамариновое».

Я десятки или сотни раз видел, как солнце «бросает на темное море светлые блики, похожие на серебристые озерца», но мне никогда не приходило в голову описать сей феномен в своей прозе, используя или нет аллитерацию беглых, чуть смазанных свистящих звуков, к которой прибегает Диккенс в данном случае.

Потом, не переводя дыхания (возможно даже, не макая перо в чернила), Диккенс подымает завесу тумана за плечом Эстер, вскользь упоминая об «изменчивой игре света и тени на кораблях», — и едва я пробежал лихорадочно горящими глазами эти несколько слов в этом коротком фрагменте, я с убийственной ясностью понял, что никогда в жизни, даже если доживу до ста лет, сохранив все свои литературные способности до последнего часа, я не сумею думать и писать таким вот образом.

«Холодный дом» — это только и исключительно стиль, а стиль — это только и исключительно автор. А автором этим является — являлся — Чарльз Диккенс.

Я швырнул дорогостоящий экземпляр романа — в кожаном переплете, с золотым обрезом, с дарственной надписью — в потрескивающий, потикивающий, похихикивающий и еще какой угодно чертов огонь.

Затем я поднялся в спальню и яростно сорвал с себя одежду, мокрую от пота. Я по сей день могу поклясться, что все мои вещи, вплоть до липнувшего к телу исподнего, источали не только сладковатый запах надгробных цветов, но также приторный смрад могильной земли, ссыпанной в кучу у ямы — последней пустоты, — предназначенной для дубового ящика (в конце пути ждущего всех нас).

Смеясь и выкрикивая что-то (не помню, почему я смеялся и какие слова выкрикивал), я непослушными руками достал ключ и отпер ящик комода, где хранился револьвер Хэчери.

Металлическая штуковина казалась тяжелее, чем обычно. Патроны, как я неоднократно упоминал, по-прежнему сидели в гнездах барабана.

Я взвел благословенный курок и приставил дуло к потному виску. Потом вспомнил: нёбо. Самый верный путь к мозгу.

Я попытался засунуть длинный стальной фаллос в рот, но не смог. Даже не возвратив курок в исходное положение, я бросил бесполезный револьвер обратно в ящик комода. Он не разрядился.

Потом, прежде чем принять ванну и облачиться в пижаму и халат, я сел за маленькое бюро в спальне (возле него всегда сидит Второй Уилки, когда пишет под мою диктовку о богах Черной Земли) и написал короткое, но предельно ясное и внятное письмо. Отложив его в сторону, чтобы завтра отправить с посыльным, а не почтой, я наконец принял ванну, лег в постель и уснул, невзирая на скарабееву возню в черепе.

Я оставил входную дверь незапертой и окна открытыми, на радость ночным грабителям (если кто-нибудь из них осмелился бы сунуться в дом, который в свое время

удостоил визитом сам Друд), и не погасил свечи, керосиновые лампы и камин на первом этаже. Я даже не поставил на место каминный экран после того, как сжег «Холодный дом».

В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июня я наверное знал одно: погибнуть при пожаре мне не суждено.

Глава 52

Четвертого июля 1870 года, во второй день рожденья своей маленькой дочки Мэриан, я закончил работать рано (я занимался переделкой «Мужа и жены» для театра) и отправился вечерним поездом в Рочестер. Я взял с собой украшенную вышивкой диванную подушку, сшитую для меня Мартой еще до первого ее приезда в Лондон. Какие-то дети в вагоне, заметив у меня под мышкой подушку вместе с кожаным саквояжем, стали смеяться и показывать пальцем — пожилой господин сорока шести лет и почти семи месяцев от роду, с лысеющей головой, седеющей бородой и слабеющим зрением, таскает с собой собственную подушку, вероятно, по причинам физиологического свойства, слишком нелепым, чтобы Юность хотя бы задалась вопросом, в чем именно они заключаются, — а я улыбнулся и помахал рукой им в ответ.

В Рочестере я прошел пешком милю от станции до собора. Очередной выпуск «Тайны Эдвина Друда» на днях вышел в свет, и этот город и собор с кладбищем — замаскированные на страницах романа под названиями «Клойстергэм» и «Клойстергэмский собор» столь же плохо, как Дик Дэчери со своим пышным париком, про который он постоянно забывает, — уже облекались ореолом тайны и вызывали литературные ассоциации в сознании внимательного читателя.

Солнце недавно зашло, и я с подушкой и саквояжем стоял там и ждал, когда последние посетители — два священника со странно расставленными руками (очевидно,

они здесь копировали угольным карандашом надписи на надгробьях) — выйдут за открытые ворота и скроются за поворотом дороги, ведущей к центру города и железнодорожной станции.

От дальней границы кладбища доносились два голоса, но самих людей не было видно за волнообразными возвышенностями, деревьями, густыми живыми изгородями, отделявшими участок с бедными могилами, расположенный рядом с зарослями болотной травы, и даже за высокими надгробными монументами, возведенными высокомерными, но исполненными сомнений людьми вроде мистера Томаса Сапси, который все еще жив-здоров и важно расхаживает и беспрестанно похваляется, восхищается, упивается длинной эпитафией на надгробном памятнике своей жены (сочиненной им самим и про себя самого, разумеется, и высеченной на камне колоритным кладбищенским каменотесом по имени Дреддс). Жив-здоров, следует заметить, только на страницах романа, который сейчас приближался к преждевременному концу столь же стремительно и неотвратимо, как пятью годами ранее фолкстонский курьерский приближался к мосту с разобранными рельсами у Стейплхерста.

— Что за дурацкая идея! — прорычал мужской голос.

— Я думала, будет славно, — послышался женский голос. — Вечерний пикник у моря.

Я остановился менее чем в двадцати футах от бранящейся пары, но они меня не видели за высоким, массивным мраморным памятником — обелиском наподобие Сапсианова, водруженным на могиле местного чиновника, чье имя, в любом случае быстро забытое, уже почти стерлось на камне под воздействием ветра, дождей и соли.

— Чертов пикник на чертовом кладбище! — проорал мужчина.

Даже самому незаинтересованному человеку (и даже издалека) сразу становилось ясно, что этот мужчина никогда не стесняется орать во все горло.

— Глянь, какая удобная... каменная плита. Ну чем не стол? — произнес усталый женский голос. — Присядь, передохни, а я открою твое пиво.

— К черту мое пиво! — прорычал мужчина. Раздался звон хрупкого фарфора, разбитого о вековечный — или по крайней мере увековечивающий — камень. — Укладывай все обратно в корзину. Эй, сперва дай стакан и ведерко с пивом. Тупая корова. Теперь мне придется ждать несколько часов, чтобы пожрать. А ты заработаешь и вернешь мне деньги, потраченные на поездку, иначе... Вот те на! А *вы* что здесь делаете? Что это у вас в руках? Подушка?

Улыбаясь, я подошел к мужчине на расстояние вытянутой руки — он едва успел подняться на ноги, стараясь не расплескать пиво из ведерка и стакана. Продолжая улыбаться, я прижал подушку к его впалой груди и надавил на спусковой крючок револьвера, приставленного дулом к подушке. Выстрел прозвучал на удивление глухо.

— Что за?! — выкрикнул Джозеф Клоу.

Пошатываясь, он отступил на несколько шагов. Казалось, он никак не мог решить, куда смотреть: на меня, по-прежнему державшего в руках подушку — она слегка дымилась, — или на собственную грудь.

Единственный алый цветок герани расцвел на манишке дешевой, но безупречно белой сорочки. Клоу поднял руки с грязными ногтями к расстегнутому жилету и принялся терзать неверными пальцами сорочку, отрывая пуговицы.

Я снова прижал подушку к теперь голой, безволосой груди, на пол-ладони выше грудины, и выстрелил еще дважды. Оба раза без осечки.

Покачиваясь, Клоу отступил еще на несколько шагов, зацепился пятками за низкую могильную плиту вроде той, что они выбрали в качестве стола, упал навзничь, перекатился один раз и распластался там на спине.

Он открыл рот, чтобы закричать, но у него не вырвалось ни звука, помимо бульканья и хрипа, исходивших,

осознал я, не из горла, а из простреленных легких. Его глаза расширились, зрачки закатились. Длинные ноги уже начали конвульсивно подергиваться.

Кэролайн бросилась вперед, присела на корточки рядом с мужем и выхватила подушку из моих твердых рук. Опустившись на колени, она крепко прижала дымящуюся подушку к лицу с судорожно разинутым ртом и вылезшими из орбит глазами.

— У тебя осталась одна пуля, — сказала она мне. — Стреляй. Живее!

Я вдавил ствол пистолета в подушку с такой силой, словно собирался задушить Клоу, затолкав в глотку перья и ткань. Стоны и натужные хрипы стали совсем не слышны. Я нажал на спусковой крючок, и верное оружие выстрелило в последний раз. На сей раз послышался знакомый (по крайней мере мне, по моему опиумному сновидению) треск черепа, похожий на треск расколотого грецкого ореха громадных размеров.

Я притоптал тлеющую подушку.

Кэролайн смотрела неподвижным взглядом на бело-красное лицо с искаженными, но теперь уже навек застывшими чертами. У нее самой на лице невозможно было прочитать ничего — даже мне, знавшему ее много лет.

Потом оба мы оглянулись по сторонам, ожидая услышать крики и топот. Я почти приготовился увидеть младшего каноника Криспаркла, решительно идущего размашистым шагом от кладбищенских ворот.

Но в поле зрения не было ни души. И ни единого тревожного крика не раздалось вдалеке. Тем вечером ветер дул в сторону моря. Болотная трава мерно колыхалась.

— Бери его за ноги, — тихо проговорил я, вынимая из саквояжа и надевая длинный желтый фартук: Кэролайн написала, чтобы я непременно прихватил фартук, и даже сообщила, где именно в доме на Глостер-плейс он хранится. — Тащить волоком нельзя — следы на земле останутся... Чем ты, собственно, там занимаешься?

— Подбираю пуговицы, — ответила Кэролайн, сидевшая на корточках.

Она говорила совершенно спокойно и проворно ворошила траву длинными ловкими пальцами, натренированными шитьем и карточными играми. Она не суетилась.

Потом мы понесли тело Джозефа Клоу к известковой яме, до нее было футов шестьдесят. То был самый рискованный момент — я подхватывал труп под мышки (и радовался, что на мне фартук, впитывающий содержимое раздробленного черепа, хотя понятия не имел, откуда Кэролайн знала, что он понадобится), а Кэролайн держала за ноги, — но я никого не заметил ни на кладбище, ни за пределами оного, сколько ни крутил головой по сторонам. Я даже опасливо поглядывал на море, зная наверное, что разного рода мореплаватели обычно вооружены подзорными трубами или биноклями. Внезапно Кэролайн залилась смехом, и я от неожиданности вздрогнул, едва не уронив ношу.

— Что тебя так развеселило, скажи на милость? — пропыхтел я.

Я задыхался вовсе не потому, что тащил Клоу (мертвый водопроводчик казался полым, так мало он весил), а просто от ходьбы.

— Да мы с тобой, — сказала Кэролайн. — Только представь, как мы выглядим со стороны: я — согнутая пополам, как горбунья, ты — в своем желтом фартуке, оба беспрестанно вертим головой, точно марионетки в руках неумелого кукловода...

— Не понимаю, что здесь смешного, — сказал я.

Мы дотащили Клоу до промежуточного места назначения, и я осторожно — гораздо осторожнее, чем того требовали обстоятельства, — опустил верхнюю половину тела на самом краю ямы.

— Когда-нибудь поймешь. — Кэролайн уронила на землю свою часть ноши и отряхнула ладони. — Ты позаботься обо всем здесь, а я пойду уберу с могилы посуду и прочее. — Прежде чем тронуться с места, она бросила

взгляд на море, потом на соборную башню. — Тут действительно можно было бы устроить славный пикник. Да, не забудь про мешочек в саквояже и кольца, часы, монеты, пистолет...

Хотя я имел больше опыта в подобных делах (по крайней мере, мне так казалось), я бы непременно забыл и сбросил Клоу в яму с кольцами, золотым медальоном на цепочке (в нем окажется портрет женщины, но не Кэролайн), часами и кучей мелких монет, которые все было бы трудно или попросту невозможно отыскать в извести через неделю-другую, когда я собирался вернуться сюда. Так или иначе, все металлические предметы, включая револьвер Хэчери, теперь полностью разряженный и бесполезный (с ним я расстался без малейшего сожаления), уже через минуту покоились в джутовом мешочке, а еще через две минуты труп Клоу целиком погрузился в густую серую жижу.

Я отшвырнул подальше металлический прут, столь долго пролежавший здесь в зарослях в ожидании своего часа, и вернулся к месту несостоявшегося пикника.

— Что ты делаешь? — спросил я странным, сдавленным голосом; я задыхался, словно мы карабкались по горному склону где-нибудь высоко в Альпах, а не стояли на кладбище, расположенном на уровне моря.

— Ищу осколки тарелки, которую он разбил. Хорошая была тарелка.

— Ох, ради всего свя... — Я осекся, услышав голоса, донесшиеся с дороги.

Мимо проезжал открытый экипаж. Мужчина, женщина и двое детей смеялись и показывали пальцем на розовые облака над западным горизонтом, в противоположной стороне от собора и кладбища. Они укатили прочь, ни разу не взглянув в нашем направлении.

— Надо избавиться от *этого*, — сказала Кэролайн, вручая мне испачканную, почерневшую, но все еще тлеющую внутри подушку.

Теперь настал мой черед рассмеяться, но я усилием воли сдержался, поскольку не был уверен, что смогу остановиться, если начну.

— И бога ради, Уилки, — добавила она, — сними этот яркий фартук!

Я так и сделал, а затем отнес подушку и свой кожаный саквояж с подлежащими уничтожению предметами к яме. Трупа Клоу не было видно. В ходе экспериментов с собачьими трупами я убедился, что даже после вздутия и разложения, повышающих плавучесть мертвых тел, они *не* поднимаются на поверхность, если их погрузить в известь достаточно глубоко.

Но что делать с подушкой? Вероятно, негашенка съест ее за день-два, как съедала все предметы одежды, с которыми я здесь экспериментировал (пуговицы, ремни — за вычетом медных пряжек, — помочи, шнурки и подметки растворялись медленнее всего), но утонет ли она в жиже? Металлический прут я уже выбросил и не имел ни малейшего желания лезть за ним в болото, заросшее камышовой травой.

В конечном счете я швырнул украшенную вышивкой коричневую штуковину по возможности дальше в сторону моря. Происходи дело в одном из моих — или диккенсовских — криминальных романов, она стала бы главной уликой против меня (и Кэролайн). Какой-нибудь сыщик вроде инспектора Баккета, сержанта Каффа или даже Дика Дэчери, только поумнее, непременно разоблачил бы нас, и оба мы, поднимаясь по тринадцати ступеням к виселице, думали бы: «Чертова подушка!» (Хотя я никогда не приписал бы подобных выражений женщине.)

Так или иначе, несчастная подушка — едва видимая в сумерках, ибо яркая луна еще не взошла, — описала в воздухе широкую дугу и исчезла в зарослях камыша и рогоза.

Вспомнив, кто преподнес мне в подарок сей расшитый кошмар, я наконец улыбнулся и подумал: «Возможно, это самый большой вклад, внесенный Мартой Р*** в мое счастливое будущее».

Кэролайн уже собрала и уложила в корзину осколки своей любимой тарелки, и мы с ней покинули кладбище.

Мы поедем в Лондон курьерским, отходящим из Рочестера в девять тридцать, но будем сидеть порознь, даже не в одном вагоне.

— Ты всё взяла, ничего там не оставила? — тихо спросил я, когда мы шли по старым узким улочкам Рочестера к огням железнодорожной станции.

Она кивнула.

— Возвращаться не придется?

— Нет.

— Значит, три недели, — промолвил я. — У меня записан адрес маленькой гостиницы близ Воксхолл-Гарден, где будет жить миссис Г***.

— Но никакого общения в ближайшие три недели, — прошептала Кэролайн, когда мы вышли на более оживленную улицу. — Ты действительно считаешь, что я смогу вернуться на Глостер-плейс к первому сентября?

— Абсолютно в этом уверен, — сказал я.

И я говорил правду.

Глава 53

С полчаса назад, вскоре после восхода солнца, погасив лампу рядом со своим креслом, я написал Фрэнку Берду следующую записку:

Я умираю — приходите, коли можете.

Тогда я не думал, что действительно умираю, но сейчас мне стало гораздо хуже, и агония может начаться с минуты на минуту — а хороший писатель планирует все вперед. Возможно, позже у меня не хватит сил написать записку, а потому я приготовил ее заранее. Не исключено, в скором времени я попрошу Мэриан или Хэрриет отослать ее Фрэнку Берду, такому же старому, слабому и немощному, как я. Но верному другу не придется далеко идти. Из окна моей спальни виден его дом.

Вполне возможно, дорогой читатель, сейчас вы зададетесь вопросом: «Когда же вы это пишете?»

Впервые за все время нашего долгого совместного путешествия я отвечу на этот вопрос.

Я заканчиваю длинную рукопись, адресованную вам, в третью неделю сентября 1889 года. Минувшим летом я тяжело болел (но не прервал работы над мемуарами), а к осени мне стало гораздо лучше. Третьего сентября я написал в письме к Фредерику Леману:

> Я заснул, и врач запретил меня будить. Он говорит, что сон меня исцеляет, и он верит в скорое мое выздоровление. Не обращайте внимания на кляксы и пачкотню, рукав моего халата слишком широкий, но рука моя по-прежнему тверда. До свидания, мой дорогой старый друг, будем с уверенностью надеяться на лучшие — в смысле моего самочувствия — дни.

Но уже через неделю у меня, в дополнение ко всем прочим моим недугам, развилась легочная инфекция, и старина Фрэнк — хотя он ничего такого мне не сказал — оставил всякую надежду.

Полагаю, вы тоже заметите кляксы и пачкотню на последних страницах моей рукописи, адресованной вам. У моего халата действительно слишком широкие рукава, и, если уж сказать вам всю правду (которую мне не хочется говорить Фредерику, Фрэнку, Кэролайн, Хэрриет, Мэриан или Уильяму Чарльзу), зрение и координация движений у меня теперь далеко не те, что были прежде.

В мае сего года, когда некий любопытный и дерзкий молодой корреспондент прямо спросил меня, правдивы ли слухи о моем длительном употреблении стимулирующих средств, я ответил следующим образом:

> Я пишу романы последние тридцать пять лет и имею обыкновение снимать вызванную напряженной умственной работой усталость (по мнению Жорж Санд, тяжелейшую из всех известных форм усталости) либо шампанским, либо бренди (выдержанным коньяком). В январе, коли я доживу, мне исполнится шестьдесят шесть лет, и в данный момент я пишу очередное художественное произведение. Таков мой опыт по части возбуждающих средств.

В этот холодный день двадцать третьего сентября я уверен, что не дотяну до января, когда колокола пробили бы шестьдесят шесть раз по случаю моего дня рожденья. Но я уже прожил на пять лет дольше своего непьющего отца и примерно на двадцать лет дольше своего любимого брата Чарльза, никогда не употреблявшего стимулирующих средств сильнее глотка-другого виски.

Чарли скончался 9 апреля 1873 года. Он умер от рака желудка и кишечника, на каковом диагнозе всегда настаивал Диккенс, несмотря на все наши возражения. Я нахожу утешение единственно в мысли, что Диккенс уже почти три года как лежал в могиле ко времени, когда Чарли в конце концов сдался перед болезнью и отдал Богу душу. Я бы точно убил Диккенса, если бы услышал, как он торжествует по поводу того, что правильно поставил диагноз моему дорогому брату.

Надо ли рассказывать о девятнадцати годах, прожитых мной с момента смерти Неподражаемого? Думаю, это не стоит ни моих, ни ваших усилий, дорогой читатель, ибо не имеет никакого отношения к предмету данных мемуаров. И нисколько не интересует вас, я уверен. Я писал о Диккенсе и Друде, и для вас представляют интерес именно они, а не ваш скромный, недостойный внимания повествователь.

Достаточно сказать, что Кэролайн Г*** вернулась в мой дом на Глостер-плейс в начале осени 1870 года, всего через пару месяцев... да, через пару месяцев после смерти Диккенса и исчезновения своего мужа. (Поскольку мать Джозефа Клоу к тому времени перенесла ряд апоплексических ударов, казалось, никто не заметил, что он бесследно пропал, причем вместе с женой.) Несколько слабо заинтересованных лиц наводили о них справки, но все счета мистера и миссис Клоу были оплачены, все их долги погашены, июльская арендная плата за их крохотный домик внесена, а сам домик освобожден от всех личных вещей и наглухо заперт (в скором времени он со всей своей скудной обстановкой перешел обратно в распоряжение владельца), — и немногочисленные знакомые

четы Клоу решили, что сильно пьющий водопроводчик и его несчастная жена переехали на новое место жительства. Большинство непотребных приятелей Джозефа Клоу посчитали, что невезучий малый со своей злополучной супругой перебрался в Австралию, ибо после нескольких стаканов Клоу всегда грозился взять вдруг да уехать куда подальше.

К марту 1871 года миссис Кэролайн Г*** снова числилась в приходских ведомостях моей домоправительницей. Кэрри страшно обрадовалась возвращению матери и ни разу, насколько мне известно, не задала ни единого вопроса о том, как Кэролайн удалось вырваться из неудачного брака.

Четырнадцатого мая 1871 года «миссис Марта Доусон» родила мне младшую дочь, Хэрриет, — названную так в честь моей матери, разумеется. В Рождество 1874 года появился на свет наш третий ребенок, Уильям Чарльз Коллинз-Доусон.

Едва ли нужно говорить, что во время и после каждой беременности Марта все больше толстела. После рождения Уильяма она оставила всякие попытки скрывать лишний вес, все свои наслоения жира и сала. Казалось, она махнула рукой на свою внешность. Некогда я написал, что Марта Р*** являет собой милый моему сердцу «образчик дородной английской девицы, вскормленной жирной говядиной». Но мясное питание имело вполне предсказуемые последствия. Если бы в 1874 году меня попросили переписать вышеприведенную фразу, она бы гласила: «образчик жирного куска говядины, в какой зачастую превращаются английские девицы».

Если Кэролайн Г*** и знала о существовании Марты и детей (которых я переселил на Таунтон-плейс, в лучшие условия и поближе к своему дому), она ни разу не обмолвилась и не дала понять, что знает. Если Марта Р*** и знала, что Кэролайн Г*** проживает со мной на Глостер-плейс (а с 1870 года на Уимпол-стрит), она ни разу не обмолвилась и не дала понять, что знает.

Если вас, дорогой читатель, интересует, как развивалась моя литературная карьера после смерти Диккенса, я выскажусь о ней одной-единственной жестокой фразой: все считали, и я с самого начала понимал, что моя карьера и я вместе с ней обречены на самый прискорбный провал.

Следуя примеру Диккенса, я в конце концов стал выступать с публичными чтениями. Близкие друзья говорили мне, что они восхитительны и пользуются большим успехом. Но я понимал — и честные критики здесь и в Америке говорили, — что мои выступления невнятны, безжизненны, бессвязны и вообще никуда не годятся.

Следуя примеру Диккенса, я продолжал писать и перерабатывать свои произведения для театра при всяком удобном случае. Каждый следующий мой роман был слабее предыдущего, и все они были слабее моего шедевра, «Лунного камня», хотя я уже давно понимал, что «Лунный камень» далеко не шедевр. (Понять это меня заставила незаконченная «Тайна Эдвина Друда».)

Возможно, я начал терять популярность уже через несколько дней после смерти Чарльза Диккенса, когда я письменно снесся с Фредериком Чапменом из издательского дома «Чапмен и Холл» и сообщил, что могу закончить «Тайну Эдвина Друда» для них, коли они пожелают. Я дал понять, что, хотя Диккенс не оставил никаких записей относительно продолжения романа (и действительно, никаких заметок на полях и сюжетных заготовок на голубой бумаге, имеющих отношение к заключительной части «Друда», так никогда и не было обнаружено), он незадолго до смерти поведал мне — мне одному — дальнейшую фабулу. Я — один я — могу за ничтожную плату написать вторую половину «Тайны Эдвина Друда» как соавтор Диккенса (в каковом качестве неоднократно выступал прежде).

Реакция Чапмена стала для меня полной неожиданностью. Издатель пришел в ярость. Он заявил, что ни один английский писатель, сколь бы талантливым он ни был или ни мнил себя (а Чапмен недвусмысленно

намекнул, что не считает меня талантливым), никогда не сможет заменить Чарльза Диккенса, даже если у него в кармане лежит сотня законченных планов продолжения романа. «Лучше остаться в неведении относительно личности убийцы Эдвина Друда — то есть если Эдвин Друд действительно убит, — написал он мне, — чем позволить менее одаренному писателю поднять перо, выпавшее из руки Мастера».

Последняя метафора показалась мне чрезвычайно нелепой и неуместной.

Чапмен даже поклялся, что ни словом никому ни обмолвится о моем предложении (и призвал меня тоже помалкивать на сей счет) из опасения, что «вы неминуемо и безвозвратно станете самым ненавистным, непременно прослывете самым наглым и самонадеянным человеком в Англии, в Британской империи и во всем мире».

Как издатель и редактор мог написать столь корявую фразу — я по сей день не понимаю.

Но вскоре после смерти Диккенса обо мне и вправду поползли недоброжелательные слухи, и именно тогда публика начала открыто выказывать враждебность по отношению ко мне.

Следуя примеру Диккенса, я совершил турне с публичными чтениями по Соединенным Штатам и Канаде. Оно происходило в 1873–1874 годах и может быть охарактеризовано как полный провал. Долгое путешествие — сначала на корабле, потом на поезде, потом в карете — изнурило меня еще до начала турне. Американская публика, похоже, сходилась с английской во мнении, что моим выступлениям недостает живости и даже внятности. В ходе всего турне я чувствовал себя прескверно, и дело дошло до того, что даже огромные дозы лауданума (найти и купить который в Штатах оказалось на удивление сложно) не восстанавливали мои силы и не поднимали настроения. Американская публика состояла из одних идиотов. Вся нация состояла из одних ханжей, «синих чулков» и невеж. Если французы

никогда не имели ничего против присутствия Кэролайн в моей свите, то американцев шокировала бы самая мысль о сопровождающей меня женщине, не связанной со мной брачными узами, — посему на протяжении нескольких мучительно долгих месяцев в Америке мне пришлось переносить тяготы путешествий, недуги и ежевечерние унижения без помощи и поддержки Кэролайн.

И у меня не было Долби, который занимался бы всеми организационными вопросами. Импресарио, нанятый мной для того, чтобы проследить за постановкой одной моей пьесы в Нью-Йорке и Бостоне (из числа нескольких театральных премьер, намеченных на период моего американского турне), попытался ободрать меня как липку.

В феврале 1874-го в Бостоне и прочих городах, обозначенных мелкими точками на белой простыне, которую они называют картой Новой Англии, я общался со светилами американской литературы и интеллектуальной жизни — Лонгфелло, Марком Твеном, Уиттиром и Оливером Уэнделлом Холмсом — и должен сказать: если поименованные господа являлись «светилами», значит литература и интеллектуальная жизнь в Соединенных Штатах прозябают во мраке. (Хотя мне понравилось стихотворение, написанное в мою честь и публично прочитанное Холмсом.)

Тогда я понял и по сей день считаю, что большинство американцев рвались на мои выступления и платили деньги за возможность услышать мое чтение единственно потому, что я был другом и соавтором Чарльза Диккенса. Диккенс был призраком, преследовавшим меня повсюду. Диккенс был лицом Марли на дверном молотке, приветствовавшим меня у каждой двери.

В Бостоне я встретился со старыми друзьями Диккенса, Т. Филдсом и его женой. Они сводили меня в ресторацию, где угостили великолепным ужином, а потом в оперу, но я видел, что Энни Филдс держится обо мне невысокого мнения, и нисколько не удивился, когда

немногим позже прочитал нижеследующий отзыв обо мне, сделанный ею в частном письме, но очень скоро перекочевавший на страницы прессы:

> Низкорослый господин с нелепой фигурой, огромным лбом и несоразмерно широкими плечами. Говорил он быстро и любезно, но совсем неинтересно... Человек, удостоенный многих почестей и обласканный в лондонском обществе, который слишком много ест, слишком много пьет, постоянно хворает, страдает подагрой, — одним словом, не самый замечательный образчик человеческой породы.

В общем, за несколько месяцев в Америке я провел в приятной, по-настоящему благожелательной обстановке лишь несколько дней, когда гостил у своего старого друга, французско-английского актера Фехтера (в свое время подарившего Диккенсу на Рождество швейцарское шале), у него на ферме близ Квакертауна, штат Пенсильвания.

Фехтер превратился в запойного пьяницу и буйного параноика. Некогда видный актер (хотя и не особо красивый, ибо он выступал в амплуа злодеев) разжирел, обрюзг и, по всеобщему мнению, опустился внешне и внутренне. Перед тем как навсегда покинуть Лондон, Фехтер рассорился со всеми своими театральными партнерами — разумеется, он всем задолжал денег, — а потом разругался со своей ведущей актрисой Карлоттой Леклерк и публично оскорбил ее. Когда он уехал в Пенсильванию с намерением жениться на девушке по имени Лизи Прайс — тоже актрисе, но бесталанной, — никто не счел нужным сообщить мисс Прайс, что у Фехтера в Европе есть жена и двое детей.

Фехтер умер от цирроза печени в 1879 году, «всеми презираемый и забытый», как говорилось в некрологе, опубликованном в одной лондонской газете. Его смерть стала для меня ударом еще и потому, что во время последней нашей встречи в Квакертауне, произошедшей за шесть лет до его смерти, он опять занял у меня денег и так и не вернул долг.

Год назад от сего дня, когда я пишу эти строки (роняя кляксы), или, возможно, два года назад, в 1887-м... во всяком случае, вскоре после того, как я переехал с Глостер-плейс по адресу Уимпол-стрит, восемьдесят два, где я живу (и умираю) в настоящее время (Агнес, понимаете ли, начала орать дурным голосом, и, вне всяких сомнений, я не единственный слышал вопли — ведь миссис Уэбб и остальные новые слуги всеми силами старались держаться подальше от заколоченной черной лестницы), и...

О чем это я?

Ах да! В прошлом или позапрошлом году, когда меня представили Холлу Кейну (остается только надеяться, дорогой читатель, что вы знаете, кто он такой, а равно знаете, кто такой Россетти, познакомивший нас), он долго пристально смотрел на меня и позже выразил свои впечатления обо мне следующим образом: «У него большие глаза навыкате и затуманенный сонный взгляд, какой мы порой видим у слепца или у человека, одурманенного хлороформом».

Но я был не настолько слеп тогда, чтобы не заметить, какой ужас я ему внушаю. В тот день я сказал Кейну: «Вижу, вам никак не отвести взгляда от моих глаз, и должен сказать, у меня в них гнездится подагра, которая всячески старается ослепить меня».

Только тогда, разумеется, и в течение многих предшествующих лет под «подагрой» я подразумевал жука, то есть скарабея, то есть насекомого, внедренного Друдом в мой мозг, прямо за глазными яблоками. И он действительно всячески старался ослепить меня. Так было всегда.

Ну ладно... читатель. Я знаю, вам нет никакого дела до моей жизни, до моих телесных страданий и даже до того, что я умираю сейчас, когда с трудом пишу эти строки для вас. Вас интересуют только Диккенс и Друд, Друд и Диккенс.

Я с самого начала не заблуждался на ваш счет... читатель. Все, что касается *меня* в данных мемуарах, не вызывало у вас ни малейшего любопытства. Только Диккенс и Друд, Друд и Диккенс удерживали ваше внимание.

Я начал эти мемуары много лет назад, питая надежду, что вы знаете меня и — самое важное — мое творчество, читали мои книги, смотрели мои пьесы. Но нет, читатель равнодушного будущего, я знаю: вы никогда не читали «Женщину в белом» и даже «Лунный камень», а тем более «Мужа и жену», «Новую Магдалину», «Закон и жену», «Две судьбы», «Отель с привидениями», «Жизнь негодяя», «Опавшие листья», «Дочь Иезавели», «Черную рясу», «Душу и науку», «Я говорю „нет“», «Злого гения», «Наследство Каина» — или роман «Слепая любовь», над которым я усердно работаю в настоящее время (когда в состоянии держать перо в руке) и который выходит выпусками в «Иллюстрейтед Лондон».

Вы ведь даже о них не слышали, правда... читатель?

И в своем надменном будущем, когда вы катите в книжную лавку в безлошадном экипаже и возвращаетесь в свой подземный дом, освещенный ярким электрическим светом, или даже читаете прямо в экипаже, где имеются электрические лампы (все возможно), или едете в театр вечером (надеюсь, театр сохранился до вашего времени)... едва ли вы видели на сцене мою «Замерзшую пучину» (впервые показанную в Манчестере и не имеющую никакого отношения к Диккенсу), или «Черно-белого» (впервые показанного в «Адельфи»), или «Женщину в белом» (впервые показанную в «Олимпике»), или «Мужа и жену» (впервые показанного в театре Принца Уэльского), или «Новую Магдалину» (впервые показанную также в «Олимпике», а потом в Нью-Йорке во время моего пребывания там), или «Мисс Гвилт» (впервые показанную в «Глобусе»), или «Глубокую тайну» (впервые показанную в «Лицеуме»), или, наконец, «Лунный камень» (впервые показанный в «Олимпике»), или...

Одно перечисление всего этого утомило меня, отняло последние силы.

Я писал на протяжении тысяч дней и ночей — писал, превозмогая невыразимую боль, отчаяние невыносимого одиночества и смертельный ужас, — а вы... читатель... даже не читали и не видели на сцене ни одного моего произведения.

К черту все. К черту вас.

Вас интересуют только Друд и Диккенс. Диккенс и Друд. Хорошо... расходуя последние капли энергии... сейчас уже начало десятого... я напишу про Друда. Можете засунуть Друда себе в волосатую задницу, читатель. На этой странице больше клякс, чем слов, но я не извиняюсь. И за слог не извиняюсь. Мне до смерти надоело извиняться. Я всю жизнь только и делал, что извинялся перед всеми подряд без всякой причины...

Я издавна считал, что обладаю провидческим даром — прекогнитивными способностями, если употребить выражение, принятое ныне в околонаучных кругах, — но я никогда не был уверен, реальны ли мои прозрения.

Теперь у меня нет сомнений.

Я вижу в мельчайших подробностях всю свою оставшуюся жизнь, и мою способность ясно видеть будущее, несмотря на слабость телесного зрения, нисколько не умаляет тот факт, что «вся оставшаяся жизнь» продлится менее двух часов. Так что прошу прощения за употребление будущего времени. Будущего времени осталось всего ничего. Я пишу это с такой уверенностью (пока в состоянии писать), поскольку прозреваю на два часа вперед и вижу конец своей жизни, последние мгновения, когда уже не смогу писать.

Друд был со мной так или иначе каждый день в течение девятнадцати лет и трех месяцев, прошедших после смерти Диккенса.

Выглядывая в окно дождливой осенней или зимней ночью, я видел на противоположной стороне улицы одного из Друдовых приспешников — Барриса, или Диккенсона, или даже мертвого мальчишку со странными глазами, Гузберри, — пристально глядящего на меня.

Когда я ходил по лондонским улицам, пытаясь скинуть лишний вес (теперь я от него избавлюсь лишь в могиле в процессе разложения), я неизменно слышал позади шаги одного из Друдовых пособников, Друдовых соглядатаев.

Представьте себе, читатель, коли сможете, каково это — находиться в каком-нибудь захолустном городишке у черта на рогах, скажем в Олбани, штат Нью-Йорк, где плевательниц больше, чем жителей, и выступать в огромном, выстуженном, темном зале, за стенами которого свирепствует снежная буря. Мне услужливо доложили, что шестнадцатью годами ранее на чтение Чарльза Диккенса пришло свыше девятисот человек, а на моем присутствовало двадцать пять от силы, — но среди них, над ними, на хлипком старом балконе, отпертом на один вечер, сидел Друд, глядя на меня немигающими безвекими глазами и улыбаясь неподвижной острозубой улыбкой.

И провинциальные американцы еще удивлялись, почему мой голос звучит столь невнятно, напряженно и безжизненно.

Друд со своими приспешниками и своим скарабеем высасывал из меня жизнь, читатель, день за днем, ночь за ночью.

Открывая рот во время одного из врачебных осмотров, проводившихся Фрэнком Бердом все чаще и чаще, я каждый раз ожидал, что он вскричит в ужасе: «Боже мой! Я вижу огромного черного жука-рогача у вас в горле, Уилки! Он пожирает вас заживо!»

Вы обратили внимание на мою игру с «говорящими» названиями моих произведений, читатель?

«Две судьбы». Некогда они были у меня. Но Диккенс и Друд выбрали для меня более страшную.

«Глубокая тайна». Мое сердце. Оно всегда оставалось тайной для женщин, деливших со мной постель (но не мое имя), и для детей, унаследовавших мою кровь (но опять-таки не имя).

«Жизнь негодяя». Здесь пояснений не требуется.

«Муж и жена». Единственная ловушка, которой мне удалось избежать, хотя во все остальные я попался.

«Я говорю „нет“». Вся моя жизнь.

«Злой гений». Друд, разумеется.

«Наследство Каина». Но кем я был — Каином или Авелем? Некогда я считал Чарльза Диккенса своим братом. Думая о своей попытке убить его, я всегда сожалел единственно о том, что у меня не получилось, что Друд лишил меня такого удовольствия.

Вы видите... читатель? Видите, сколь неумолимо преследовало меня ужасное проклятие Чарльза Диккенса?

Я никогда не верил и поныне ни секунды не верю, что Друд являлся некой гипнотической галлюцинацией, внушенной мне по случайной прихоти в июне 1865 года и с тех пор отравлявшей каждый день моей жизни. Но если бы Диккенс действительно сотворил такое — если бы на самом деле Друда не существовало, — он совершил бы поступок поистине чудовищный и гнусный. За одно только это злодеяние Диккенс заслуживал бы смерти и сожжения в известковой яме.

Но если он не внедрял образа Друда в мое затуманенное опиумом, погруженное в сон писательское сознание в ходе забытого (мной) гипнотического сеанса в 1865 году, он совершил гораздо более жестокий, циничный и расчетливый, непростительно ужасный поступок, сказав мне, что сделал это — и что может за несколько минут, покачав передо мной часы на цепочке и промолвив единственное командное слово «Невообразимо», навсегда избавить меня от Друда, пробудить от кошмара, в который превратилась моя жизнь.

За одно это Диккенса стоило убить. Много раз.

А в первую очередь... читатель... Чарльз Диккенс заслуживал смерти и посмертного поругания потому, что, при всех своих слабостях и недостатках (и писательских, и человеческих), он был литературным гением, а я — нет.

Это проклятие — это постоянное сознание, мучительное и непоправимое, как ужасное пробуждение Адама, соблазненного съесть яблоко с древа познания, — было даже страшнее Друда. А страшнее Друда нет ничего.

«Слепая любовь». Так называется мой роман, который я писал в последнее время и черновой вариант которого недавно закончил. Сейчас я знаю: доработать его мне уже не придется.

Но слепая любовь к кому?

Не к Кэролайн Г*** и не к Марте Р***. Моя любовь к ним была условной, практичной и расчетливой, обычно скупой на проявления и всегда — всегда — по существу плотской.

Не к моим взрослым и взрослеющим детям — Мэриан, Хэрриет и Уильяму Чарльзу. Я рад, что они живут на белом свете. Больше мне нечего сказать.

Не к моим книгам и не к трудам, на них потраченным. Я не люблю ни одну из них. Они, как и мои дети, всего лишь побочные продукты моей жизни.

Но — хотите верьте, хотите нет — я любил Чарльза Диккенса. Любил его внезапный заразительный смех, дурацкие мальчишеские затеи, занимательные рассказы и ощущение важности каждого момента, проведенного с ним. Я ненавидел его гениальный дар — гениальный дар, который затмевал меня и мое творчество при жизни Неподражаемого, с каждым годом все сильнее затмевал меня после его смерти и затмит окончательно — я уверен, читатель, — в вашем недосягаемом будущем.

В минувшие девятнадцать лет я часто вспоминал последнюю короткую историю, рассказанную мне Диккенсом. Про то, как он в свою бытность бедным юношей однажды шел по лондонской улице и скармливал вишни из пакета большеголовому мальчугану, сидевшему на плече у отца.

Думаю, Диккенс рассказал историю с точностью до наоборот. Думаю, это он воровал вишни у мальчика из пакета. А отец так ничего и не узнал. Никто на свете не узнал.

Или, возможно, то была моя история. Или, возможно, Диккенс воровал вишни у меня, ехавшего у него на плечах.

Через час я отправлю Мэриан с запиской к Фрэнку Берду. «Я умираю — приходите, коли можете».

Конечно, он придет. Берд всегда приходит.

И придет быстро. Он живет через улицу. Но он придет слишком поздно.

Я буду сидеть в своем большом кресле, как сейчас. Под головой у меня будет подушка, как сейчас.

Огонь будет по-прежнему гореть в камине под решеткой.

Но я уже не буду чувствовать тепла.

Прошу прощения за кляксы. У моего халата действительно слишком широкие рукава.

В окно будет светить солнце, как сейчас, только к тому времени оно поднимется в небо чуть выше, а кучка горящих углей в камине станет чуть ниже. Будет одиннадцатый час. Несмотря на солнечный свет, в комнате с каждой минутой будет становиться все темнее.

Я буду не один.

Вы с самого начала знали, читатель, что в последние минуты жизни я буду не один.

Несколько фигур будут находиться в моей спальне и медленно подступать ко мне все ближе, а я — вероятно — все еще буду пытаться писать, но рука перестанет меня слушаться, уже навсегда, и перо оставит на бумаге лишь бессмысленные каракули да кляксы.

Там будет Друд, разумеется. Беспрестанно облизывающий губы вертким языком. Он с-с-страшно хочет поделиться с-с-секретом с мис-с-стером Коллинзом.

За Друдом и слева от него, полагаю, я увижу Барриса, сына инспектора Филда. А позади него и самого Филда. Оба они будут скалить острые людоедские зубы. Справа

от Друда будет стоять Диккенсон, так и не ставший приемным сыном Диккенса. Он как был, так навсегда и останется верным рабом Друда. А за ними я увижу еще фигуры. Все в черных костюмах и накидках с капюшоном. Они будут смотреться несуразно здесь, в меркнущем свете солнца.

Я не смогу отчетливо разглядеть их лица. Скарабей наконец-то прогрызет мои глаза насквозь.

Но я разгляжу, хоть и с трудом, здоровенную расплывчатую фигуру в задних рядах толпы. Напоминающую сыщика Хэчери. Я смутно различу жуткую впадину под черным жилетом и похоронным костюмом, своего рода беременность наоборот.

Однако Диккенса среди них не будет (я вижу тебя насквозь, читатель, и знаю, что он интересует тебя больше, чем я). Диккенс не там.

Но я там буду. Я уже там.

Потом я услышу шаги Берда на лестнице, но фигуры в моей спальне вдруг подступят вплотную ко мне, окружат тесным кольцом, заговорят все разом, оглушая шипящими, свистящими, скрежещущими, режущими звуками, заговорят, затараторят, закричат хором. Я зажму ладонями уши, коли у меня хватит сил. Я закрою прогрызенные скарабеем глаза, коли у меня хватит сил. Ибо лица эти будут поистине страшными. И шум будет поистине невыносимым. И боль будет такой, какой я не знал никогда прежде.

У меня осталось еще сорок пять минут — через сорок пять минут я отправлю записку Фрэнку Берду, и Другие явятся ко мне до него, — но уже сейчас все так страшно, так мучительно, так невыносимо и невообразимо.

Невообразимо.

Колорадо
23 апреля, 2008

Симмонс Д.

С 37 Друд, или Человек в черном : роман / Дэн Симмонс ; пер. с англ. М. Куренной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 928 с. — (The Big Book).

ISBN 978-5-389-12737-1

9 июня 1865 года Чарльз Диккенс, самый знаменитый писатель в мире, путешествуя на поезде со своей тайной любовницей, попадает в железнодорожную катастрофу — и становится совершенно другим человеком. Встретив на месте аварии кошмарного незнакомца, представившегося Эдвином Друдом, Диккенс начинает вести двойную жизнь — посещает трущобы, тайные подземелья и опиумные притоны, интересуется растворением тел в негашеной извести и захоронениями в склепах. Что это — исследовательская работа для его нового романа, «Тайна Эдвина Друда» (который, как мы знаем, окажется последним и не будет закончен), или нечто более зловещее? Именно этими вопросами задается Уилки Коллинз, выступающий у Симмонса повествователем, — создатель «Женщины в белом» и «Лунного камня», прославленный соавтор и соперник прославленного Диккенса, рассказчик увлекающийся, но малонадежный.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ДЭН СИММОНС

ДРУД, ИЛИ ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

Ответственный редактор Александр Гузман
Художественный редактор Виктория Манацкова
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Владимира Сергеева
Корректор Анна Быстрова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 22.02.2017. Формат издания 75 × 100 1/32.
Печать офсетная. Тираж 6000 экз. Усл. печ. л. 40,89. Заказ № 8165/17.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.): 18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина"»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина"»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/

YMBB2084901R

·thebigbook·

Если какой автор и вызывает у меня восторженную оторопь, так это Дэн Симмонс.
Стивен Кинг

Дэн Симмонс возвышается над современными писателями подобно гиганту.
Линкольн Чайлд

Автор «Террора», самого толстого — и страшного — романа последних лет, пишет следующую книгу таких же размеров, в котором снова вместо выдуманных персонажей настоящие герои из истории. В этот раз — знаменитейшие английские писатели, жившие еще в XIX веке: Чарльз Диккенс и Уилки Коллинз, которые сами, кстати, живо следили за поисками застрявших во льдах кораблей: в книжке есть сцены из спектаклей, которые Диккенс поставил по мотивам этой истории. А соль вся — еще в одном странном персонаже, о реальности существования которого Симмонс и размышляет весь роман: берет героя последней, незаконченной книги Диккенса «Тайна Эдвина Друда», превращает его во всамделишного, но неуловимого человека-гипнотизера-убийцу и заставляет следить за самим Диккенсом.
Афиша

Мастерски соединяя исторический реализм, готический ужас и древнюю мифологию, Симмонс будто идет по тонкому льду; какой-нибудь менее искусный автор на его месте давно провалился бы.
Washington Post

ISBN 978-5-389-12737-1 01
9 785389 127371
www.azbooka.ru

·thebigbook·

ДЭН СИММОНС

ДРУД, ИЛИ ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

АЗБУКА